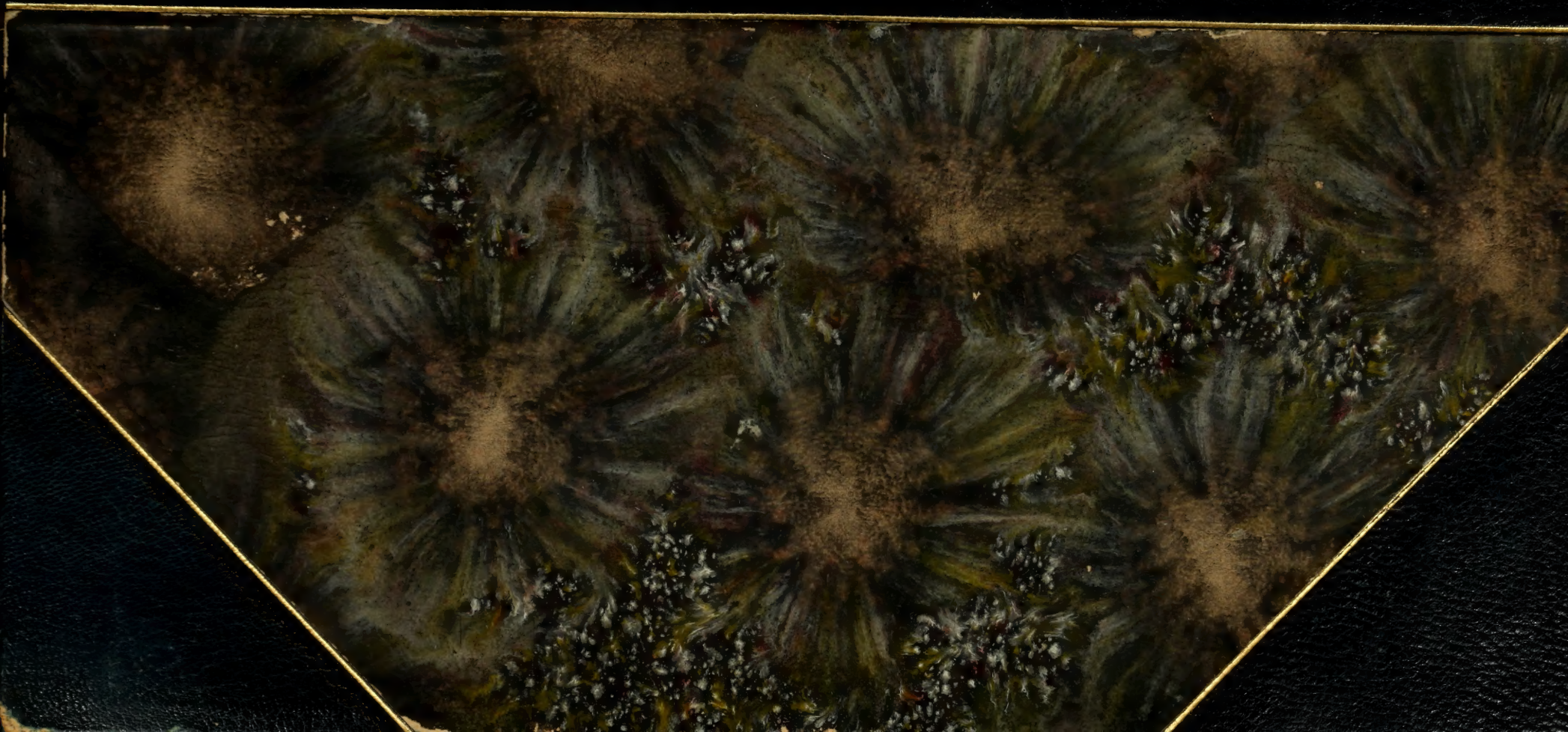
3 1761 08821033 1



ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

LR
L6266
Leskov, Nikolai Semenovich

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ Н. С. ЛѢСКОВА.

Polnoe sobranie sochineny
2. izd.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго, съ приложеніемъ пяти портретовъ Лѣскова и снимка съ его рабочаго кабинета, гравированныхъ на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

v. 3-4

СОДЕРЖАНІЕ:

Обойденные.—Островитяне.

541996
29.5.52

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1897.

Типографія А. Ф. МАРКСА, Средняя Подъяческая, д. № 1.

ОБОЙДЕННЫЕ.

РОМАНЪ ВЪ 3-ХЪ ЧАСТЯХЪ.

Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Крючокъ падаетъ въ воду.

Этотъ русскій романъ начался въ Парижѣ и, вдобавокъ, въ самомъ приличномъ, самомъ историческомъ зданіи Парижа—въ Луврѣ. Въ двѣнадцать часовъ яснаго зимняго дня, картинныя галлереи Лувра были залиты сплошною и очень пестрою толпою добраго французскаго народа. Зала мурилевской Мадонны была непроходима; на зеленыхъ бархатныхъ диванахъ круглой залы тоже не было ни одного свободнаго мѣста. Только въ первой залѣ, гдѣ слабые нервы поражаются ужасной картиной потопа, и другою, не менѣе ужасной картиной предательскаго убійства—было просторнѣе. Здѣсь, передъ картиной, изображающей юношу и аскета, погребающихъ въ пустынѣ молодую красавицу, тихо прижавшись къ стѣнѣ, стоялъ господинъ лѣтъ тридцати, съ очень кроткимъ, немного грустнымъ и очень выразительнымъ, даже, можно сказать, съ очень красивымъ лицомъ. Закинутые назадъ волнистые каштановые волосы этого господина придавали его лицу что-то такое, по чему у насъ въ Россіи отличаютъ художниковъ. Съ перваго взгляда было очень трудно опредѣлить національность этого человѣка, но, во всякомъ случаѣ, лицо его не рисовалось тонкими чертами романской расы и

скорѣе всего могло напомнить собою одушевленные типы славянскаго юга.

Въ трехъ шагахъ отъ этого незнакомца, прислонясь слегка плечикомъ къ высокому табурету, на которомъ молча работала копировщица, такъ же тихо и задумчиво стояла молодая восхитительной красоты дѣвушка, съ золотисто-красными волосами, разсыпавшимися около самой милой головки. Эта стройная дѣвушка скорѣе напоминала собою заблудившуюся къ людямъ ундину или никсу, чѣмъ живую женщину, способную считать франки и сантимы, или вести домашнюю свару. Нарядъ этой дѣвушки былъ простъ до послѣдней степени; видно было, что онъ нимало не занималъ ее больше, чѣмъ нарядъ долженъ занимать человѣка: онъ былъ очень опрятенъ и надъ нимъ нельзя было разсмѣяться.

— Насмотрѣлась?—произнесъ по-русски тихій женскій голосъ сзади никсы.

Молодая дѣвушка не шевельнулась и не отвѣтила ни слова.

— Я уже два раза обошла всѣ залы, а ты все сидишь; пойдемъ, Дора!—позвалъ черезъ нѣсколько секундъ тотъ же голосъ.

Этотъ голосъ принадлежалъ молодой женщинѣ, тоже прекрасной, но составляющей рѣзкій контрастъ съ воздушной Дорой. Это была женщина земная: высокая, стройная, съ роскошными круглыми формами, съ большими черными глязами, умно и страстно смотрящими сквозь густыя рѣсницы, и до синевы черными волосами, изящно оттѣняющими высокій мраморный лобъ и блѣдное лицо, которое могло много разсказать о борьбѣ воли съ страстями и страданіями.

Дѣвушка привстала съ приножка высокаго табурета художницы, поблагодарила ее за позволеніе посидѣть и сказала:

— Да, я опять расфантазировалась.

— И что тебѣ такъ нравится въ этой картинѣ?—спросила брюнетка.

— Вотъ поди же! Мнѣ, знаешь, съ нѣкотораго времени кажется, что эта картина имѣетъ не одинъ прямой смыслъ: старость и молодость хоронятъ свои любимыя радости. Смотри, какъ грустна и тяжела безрадостная старость, но въ безрадостной молодости есть что-то ужасное, что-то... проклятое просто. Всмотрись, пожалуйста, Аня, въ эту падающую голову.

— Ты вездѣ увидишь то, чего нѣтъ и чего никто не видитъ,—отвѣчала брюнетка, съ самой доброй улыбкой.

— Да, *чего никто не хочетъ видѣть*, это можетъ быть, но не то, чего вовсе нѣтъ. Хочешь, я спрошу вотъ этого шута, что его занимаетъ въ этой картинѣ? онъ тутъ еще прежде меня прилипъ.

Та, которая называлась Анею, покачала съ упрекомъ головою и произнесла:

— Тсс!

— Сдѣлай милость, успокойся, не забывай, что онъ ничего этого не понимаетъ.

Дамы вышли налѣво; молчаливый господинъ посмотрѣлъ имъ вслѣдъ, весело улыбнулся и тоже вышелъ. Они еще разъ встрѣтились внизу, получая свои зонтики, взглянули другъ на друга и разошлись.

Черезъ двѣ недѣли послѣ этой встрѣчи, извѣстный намъ человѣкъ стоялъ, съ маленькой карточкой въ рукахъ, у дверей омнибуснаго бюро, близъ св. Магдалины. На дворѣ былъ дождь и рѣзкій зимній вѣтеръ—самая непріятная погода въ Парижѣ. Изъ-за угла Магдалины показался высокій желтый омнибусъ, на имперіалѣ котораго не было ни одного свободнаго мѣста.

— Начинается нумеръ седьмой!—крикнулъ кондукторъ.

Нашъ луврскій знакомый подалъ свою карточку, вспрыгнулъ въ карету и полный экипажъ тронулся снова, оставивъ всѣ дальнѣйшіе нумера дрогнуть на тротуарѣ, или грѣться около раскаленныхъ желѣзныхъ печекъ безпріютнаго бюро.

Въ каретѣ, vis-à-vis противъ новаго пассажира, сидѣли

двѣ дамы, изъ которыхъ одна была закрыта густымъ чернымъ вуалемъ, а въ другой онъ тотчасъ же узналъ лувр-скую ундину; только она теперь казалась раздраженной и даже сердитой. Она сдвигала бровями, кусала свои губки и упорно смотрѣла въ заднее окно, гдѣ на сѣромъ дождевомъ фонѣ мелькала козлиная фигурка кондуктора въ синемъ кэпи и безобразныхъ вязаныхъ нарукавникахъ, изобрѣтеніе которыхъ, къ стыду великой германской націи, приписывается добродѣтельнымъ нѣмкамъ. Дама, закрытая вуалемъ, плакала. Хотя густой вуаль и не позволялъ видѣть ни ея глазъ, ни ея лица, а сама она старалась скрыть свои слезы, но ихъ предательски выдавало судорожное вздрагиванье неповиновавшихся ея волѣ плечъ. При каждомъ такомъ, впрочемъ, едва примѣтномъ движеніи, Дора еще пуще сдвигала брови и сердитѣе смотрѣла на стоящую въ воздухѣ мокрядь.

— Это, наконецъ, глупо, сестра!—сказала она, не вытерпѣвъ, когда дама, закрытая вуалемъ, не удержалась и неосторожно всхлипнула.

Та молча пронесла подъ вуаль мокрый отъ слезъ платокъ и, видимо, хотѣла заставить себя успокоиться.

— Неужто и послѣ этихъ неслыханныхъ оскорбленій, въ тебѣ еще живетъ какая нибудь глупая любовь къ этому негодяю!—сердито проговорила Дора.

— Оставь, пожалуйста,—тихо отвѣчала дама въ вуалѣ.

— Нѣтъ, тебя надо ругать: ты только тогда и образумливаешься, когда тебя хорошенько выбранишь.

— Извините, пожалуйста, отнесся къ ундинѣ пассажиръ, сѣвшій у Магдалины:—я считаю нужнымъ сказать, что я знаю по-русски.

Дама, закрытая вуалемъ, сдѣлала едва замѣтное движеніе головою, а Дора сначала вспыхнула до самыхъ ушей, но черезъ минуту улыбнулась и, отворотясь, стала глядѣть изъ-за плеча сестры на улицу. По легкому, едва замѣтному движенію щеки можно было догадаться, что она смѣется.

Совершенно опустѣвшій омнибусъ остановился у Одеона.

Пассажиръ отъ св. Магдалины посмотрѣлъ вслѣдъ Дорѣ съ ея сестрою. Онѣ вышли въ ворота Люксембургскаго сада. Пассажиръ всталъ послѣдній и, выходя, поднялъ распечатанное письмо съ московскимъ почтовымъ штемпелемъ. Письмо было адресовано въ Парижъ, госпожѣ Прохоровой, poste restante. Онъ взялъ это письмо и бѣгомъ бросился по прямой аллеѣ Люксембургскаго сада.

— Не обронили ли вы чего нибудь?—спросилъ онъ, догнавъ Дору и ея сестру.

Послѣдняя быстро опустила руку въ карманъ и сказала:

— Боже мой! что я сдѣлала? Я потеряла письмо и мой вексель.

— Вотъ ваше письмо, и посмотрите, можетъ быть, здѣсь же и вашъ вексель,—отвѣчалъ господинъ, подавая поднятый конвертъ.

Вексель, дѣйствительно, оказался въ конвертѣ, и господинъ, доставившій дамамъ эту находку, уже хотѣлъ спокойно откланяться, какъ та, которая напоминала собою ундину или никсу, застѣнчиво спросила его:

— Скажите пожалуйста, вы русскій?

— Я русскій-съ,—отвѣчалъ незнакомецъ.

— Скажите, пожалуйста, какая досада!

— Что я русскій?

— Именно. Я этого никакъ не ожидала, и вы меня, пожалуйста, простите, — проговорила она серьезно и протянула ручку.—Сама судьба хотѣла, чтобъ я просила у васъ извиненія за мою вѣтренность, и я его прошу у васъ.

— Извините, я не знаю, чѣмъ вы меня оскорбили.

— Недѣли двѣ назадъ, въ Луврѣ... Помните теперь?

— Назвали меня что-то шутомъ, или дуракомъ, кажется?

— Да, что-то въ этомъ вкусѣ, отвѣчала, краснѣя, смѣясь и тряся его руку, ундина.—Позволяю вамъ за это десять разъ назвать меня дурой и шутихой. Меня зовутъ Дарья Михайловна Прохорова, а это—моя старшая сестра Анна Михайловна, тоже Прохорова: обѣ принадлежимъ къ одному гербу и роду.

— Мое имя Несторъ Долинскій,—отвѣчалъ незнакомый господинъ, кланяясь и приподнимая шляпу.

— А какъ васъ по батюшкѣ?

— Несторъ Игнатьевичъ,—пояснилъ Долинскій.

— Отлично! вы, Несторъ Игнатьевичъ, веселитесь или скучаете?

— Скорѣе скучаю.

— Безподобно! мы живемъ два шага отъ сада, вотъ сейчасъ нумеръ десятый, и у насъ есть свой самоваръ. Пожалуйста, докажите, что вы не сердитесь и приходите къ намъ пить чай.

— Очень радъ,—отвѣчалъ Долинскій.

— Пожалуйста, приходите, упрашивала дѣвушка. — Кромѣ гадкихъ французовъ ровно никого не увидишь — просто несносно.

— Пожалуйста, заходите,—попросила для порядка Анна Михайловна.

— Непремѣнно зайду, отвѣчалъ Долинскій и повернулъ назадъ къ Латинскому кварталу.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Небольшая исторія, случившаяся до начала этого романа.

У каждаго изъ трехъ лицъ, съ которыми мы встрѣчаемся на первыхъ страницахъ этого романа, есть своя небольшая исторія, которую читателю не мѣшаетъ знать. Начнемъ съ исторіи нашихъ двухъ дамъ.

Анна Михайловна и Дорушка, какъ мы уже знаемъ изъ собственныхъ словъ послѣдней, принадлежали къ одному гербу: первая была дочерью кучера княгини Сурской, а вторая, родившаяся пять лѣтъ спустя послѣ смерти отца своей сестры, могла считать себя безошибочно только дитемъ своей матери. Княгиня Ирина Васильевна Сурская, о которой необходимо вспоминать, разсказывая эту исторію, была барыня стараго покроя. Доводилась она какъ-то сродни князю Потемкину-Таврическому; куртизанила въ свое

время на стоящихъ выше всякаго описанія его вельможескихъ пирахъ; имѣла какой-то романъ, изъ рода романовъ, отличавшихъ тогдашнюю распудренную эпоху сѣверной Пальмиры, и, наконецъ, вышла замужъ за князя Аггея Лукича Сурскаго, человѣка стараго, не безобразнаго, но страшнаго съ виду и еще болѣе страшнаго по характеру. До своей женитьбы на княжнѣ Иринѣ Васильевнѣ, князь Сурскій былъ вдовъ, имѣлъ двѣнадцатилѣтнюю дочь отъ перваго брака, и самому ему было уже лѣтъ подъ шестьдесятъ, когда онъ рѣшился осчастливить своею рукою двадцатитрехлѣтнюю Ирину Васильевну и посватался за нее черезъ свѣтлѣйшаго покорителя Тавриды. Впрочемъ, князь Сурскій былъ еще свѣжъ и бодръ; какъ истый аристократъ, онъ не позволялъ себѣ дряхлѣть и разрушаться раньше времени, назначеннаго для его окончательной сломки; кафтаны его всегда были ловко подхвачены, волосы выкрашены, лицо реставрировано всѣми извѣстными въ то время косметическими средствами. Но, разумѣется, не этотъ достатокъ силъ и жизни продиктовалъ крѣпкому старику мысль жениться на двадцатитрехлѣтней княжнѣ Иринѣ Васильевнѣ. Княжна не обѣщала много интереса для его чувствительной любознательности, и князь вовсе не желалъ быть Раулемъ - Синей - бородой. Дѣло было гораздо проще. Князь былъ богатъ, знатенъ и честолюбивъ; ему хотѣлось во что бы то ни стало породниться съ Таврическимъ, и княжна Ирина Васильевна была избрана средствомъ для достиженія этой цѣли. Совершилась пышная свадьба, къ которой Ирину Васильевну, какъ просвѣщенную дѣвицу, не нужно было нимало склонять, ни приневоливать; стала княжна Ирина Васильевна называться княгинею Сурскою, а князь Сурскій немножко еще выше приподнялъ свое бѣломраморное чело и отращивалъ розовые ногти на своихъ длинныхъ тонкихъ пальцахъ. Но вдругъ коловратное время перемѣнило козырь и такъ перетасовало колоду, что князь Сурскій, несмотря на родство съ Таврическимъ, былъ несказанно радъ, попавъ при этой перетасовкѣ не далѣе

своей степной деревни въ одной изъ низовыхъ губерній. Здѣсь, въ сторонѣ отъ всякаго шума, вдали отъ далекаго, упоительнаго свѣта, очутилась княгиня Ирина Васильевна съ перспективой здѣсь же протянуть долгіе-долгіе годы. А въ двадцать четыре года жизнь такъ хороша, и жить такъ хочется, даже и за старымъ мужемъ... можетъ быть, даже особенно за старымъ мужемъ...

Князь Сурскій въ деревнѣ явился совершенно другимъ человѣкомъ, чѣмъ былъ въ столицѣ. Его мягкія, великосвѣтскія манеры, отличавшія вельможъ екатерининскаго времени, въ степномъ селѣ уступили мѣсто неудержимой рѣзкости и порывистости. Широкіе и смѣлые замыслы и планы князя рухнули: рамки его съузились до мелкой придирчивости, до тиранiи, отъ которой въ домѣ страдали всѣ, начиная отъ маленькаго поваренка на кухнѣ до самой молодой княгини, въ ея образной и опочивальнѣ. Князь мстилъ за свое униженіе людямъ, которые при тогдашнихъ обстоятельствахъ не могли ничего поставить въ свою защиту. Молодая княгиня не находилась, какъ ей вести себя въ ея печальномъ положеніи и какой методы держаться съ своимъ грознымъ и неприступнымъ мужемъ.

Черезъ полгода послѣ переѣзда ихъ въ деревню, княгиня Ирина Васильевна родила сына, котораго назвали, въ честь дѣда, Лукою. Рожденіе этого ребенка имѣло весьма благотворное, но самое непродолжительное вліяніе на крутой нравъ князя. На первыхъ порахъ онъ велѣлъ выкатить крестьянамъ нѣсколько бочекъ пѣннаго вина, пожаловалъ по рублю всѣмъ дворовымъ, барски одарилъ бѣдный сельскій причтъ за его услышанныя молитвы, а на колокольнѣ велѣлъ держать трехдневный звонъ. Робкій, запуганный и задавленный нуждою священникъ не смѣлъ ослушаться княжаго приказа, и съ приходской колокольни три дня сряду торжественнѣйшимъ звономъ возвѣщалось міру рожденіе юнаго княжича. Но не прошло со дня этого великаго событія какой-нибудь одной недѣли, какъ старикъ началъ опять раздражаться. Въ цѣлой губерніи онъ не находилъ

человѣка, достойнаго быть воспріемникомъ его новорожденнаго сына, и, наконецъ, рѣшилъ крестить *самъ*! При всемъ своемъ смиреніи передъ грознымъ вельможей, сельскій священникъ отказался исполнить эту княжескую прихоть. Князь бѣсновался, бѣсновался, наконецъ одинъ разъ, грозный и мрачный какъ градовая туча, вышелъ изъ дома, взялъ за воротъ зипуна перваго попавшагося ему навстрѣчу мужика, молча привелъ его въ домъ, молча же поставилъ его къ купели рядомъ съ своей старшей дочерью и велѣлъ священнику крестить ребенка. Трепещущій священникъ совершилъ обрядъ.

— А теперь, любезный кумъ, — сказалъ князь, тотчасъ же послѣ крещенія: — вотъ тебѣ за твой трудъ по моей кумовской и княжеской милости тысяча рублей, завтра ты получишь отпускную, а послѣ-завтра чтобъ тебя, пріятеля, и помину здѣсь не было, чтобъ духу твоего здѣсь не пахло!

Оторопѣвшій мужикъ повалился князю въ ноги.

— Но помни, куманёкъ, что если ты станешь жить такъ, что хоть какой-нибудь слухъ о тебѣ до меня дойдетъ, такъ я тебя, каналью... за ребро повѣшу!

Князь заскрипѣлъ зубами и сильно закачалъ за воротъ своего кума.

Мужикъ опять упалъ ему въ ноги, закричалъ:

— Милуйте, жалуйте! милуйте, ваше сіятельство!

Приказаніе княжеское было исполнено въ точности. Семья нечаяннаго воспріемника новорожденнаго княжича, потихоньку голося и горестно причитывая, черезъ день, оплаканная родственниками и свойственниками, выѣхала изъ родного села на доморощенныхъ, косматыхъ лошаденкахъ и, гонимая страшнымъ призракомъ грознаго князя, потянулась отъ родныхъ степей заволжскихъ далеко-далеко къ цвѣтущей заднѣпровской Украйнѣ, къ этой обѣтованной землѣ великорусскаго крѣпостного, убѣгавшаго отъ своей горе-горькой жизни.

Потѣшивъ свой обычай, князь сдѣлался еще свирѣпѣе.

Дня не проходило, чтобъ удары палками, розгами, охотничьими арапниками или кучерскими кнутьями не отсчитывались кому-нибудь сотнями, и случалось зачастую, что самъ князь, собственной особой, присутствовалъ при исполненіи этихъ жестокихъ истязаній и равнодушно чистилъ во время ихъ свои розовые ногти. Народъ трепеталъ, и безмолвно-могильными тѣнями скользилъ около княжескихъ хоромъ. Съ годами жестокость князя все усиливалась. Въ имѣніи князя случилось, что одинъ вѣшался, другой—рѣзался, третій бросался съ высокой плотины въ мутную вонючую воду тинистаго, мелкаго пруда. Имѣніе князя стало мѣстомъ всяческихъ ужасовъ; въ народѣ говорили, что всѣ эти утопленники и удавленники встаютъ по ночамъ и бродятъ по княжьимъ палатамъ, стоная о своихъ душахъ, погибающихъ въ вѣчномъ огнѣ, уготованномъ самоубійцамъ. Эолова арфа, устроенная вверху большой башни княжескаго дома, при малѣйшемъ вѣткѣ, наводила цѣпенящій ужасъ повсюду, куда достигали ея прихотливые звуки. Люди слышали въ этихъ причудливыхъ звукахъ стоны покойниковъ, падали на колѣна, трясясь всѣмъ тѣломъ, молились за души умершихъ, молились за свои души, если Богъ не ниспошлетъ желѣзнаго терпѣнья тѣлу, и ждали своей послѣдней минуты. Князь не измѣнялся. Онъ жилъ одинъ, какъ владыка Морвены, никого не принималъ и продолжалъ свирѣпствовать. Княгиня совершенно потерялась. Она ничего не умѣла предпринять: старалась только какъ можно рѣже оставлять свою комнату, начала много молиться и вся отдалась сыну.

Какая-то простодушная Коробочка того времени, наслушавшись столь много лестнаго объ умѣньи князя управляться съ людишками, приползла къ нему на подводишкѣ просить вступиться за нее, вдову беззащитную, поучить и ея людишекъ дисциплинѣ и уму-разуму.

— Ѳедька Лапотокъ кучеромъ со мной пріѣхалъ, жаловалась Коробочка:—прикажи, государь-князь, хоть его поучить для острастки! Пусть пріѣдетъ и разскажетъ, какой

страхъ дается глупому народу, молилась добравшаяся предъ княжьи очи помѣщица.

Вмѣсто того, чтобы оскорбиться, что его считаютъ образцовымъ сѣкуномъ, одичавшій князь выслушалъ Коробочку, только слегка шевеля бровями, и велѣлъ ей ѣхать съ своимъ Ѳедькою Лапоткомъ къ конюшнѣ. Больно высѣкли Лапотка, подняли оттрезвоненнаго и посадили въ уголокъ у двери.

— А ну-ка ее теперь, спокойно буркнулъ князь, и прежде чѣмъ Коробочка успѣла что-нибудь понять и сообразить, ее разложили и пошли отзванивать въ глазахъ князя и всего его холопства.

Знали коробочкины людишки, что страшенъ, для всѣхъ страшенъ домъ княжескій! Дерзость и своевластіе князя забыли всякій предѣлъ. Князь разгнѣвался на вывезенную имъ изъ Парижа гувернантку своей дочери и въ припадкѣ бѣшенства бросилъ въ нее за столомъ тарелкой. Француженка вскипѣла:

— Я не крестьянка ваша; вы не смѣете... сказала ему она.

Князь, давно отвыкшій отъ всякаго возраженія, побагровѣлъ:

— Не смѣю? я не смѣю!.. проговорилъ онъ, свиснулъ своихъ челядинцевъ и, безъ всякаго стѣсненія, велѣлъ несчастную дѣвушку высѣчь.

Гувернантка схватила со стола ножъ и подняла его къ своему горлу; вѣрные слуги схватили ее сзади за руки. Сопротивляться приказаніямъ князя никто не смѣлъ, да никто и не думалъ.

Упавшую въ обморокъ гувернантку вырвали изъ рукъ молодой княжны, высѣкли ее въ присутствіи самого князя, а потомъ спеленали, какъ ребенка, въ простыню и отнесли въ ея комнату. Здѣсь держали ее спеленатою, пока зажили рубцы отъ розогъ и, какъ ребенка же, кормили рожкомъ и соской, а, наконецъ, когда слѣдовъ наказанія не было болѣе замѣтно, ее, со всѣми ея пожитками, отвезли на

крестьянской подводѣ въ ближайшій городъ. Француженка обратилась къ кому-то съ жалобой, но ей посовѣтовали прекратить дѣло, такъ какъ въ данномъ случаѣ свои люди не могли быть свидѣтелями противъ князя. Могучій Орсалъ не повелъ ни усомъ, ни ухомъ: равнодушный, какъ вольтеріянецъ, къ суду божескому, онъ знать не хотѣлъ ни о какомъ судѣ человѣческомъ. По примѣру наказанной француженки, онъ вздумалъ высѣчь своего управителя, какого-то американскаго янки, и это было причиною собственной погибели князя. Янки не дался. Ко всеобщему ужасу, онъ смѣло открылъ окно своего флигеля, окруженнаго княжескими людьми, краснорѣчиво выставилъ передъ собою два заряженныхъ пистолета, пробѣжалъ никѣмъ нетронутый черезъ оторопѣвшую толпу ликторовъ и, вскочивъ на стоявшую у коновязи осѣдланную лошадь земскаго, понесся на ней во всю мочь къ городу. Посланная погоня, угрожаемая убѣдительными поворотами пистолетовъ бѣглеца, рѣшилась оставить опасную погоню и вернулась съ пустыми руками.

Князь задыхался отъ ярости. Передъ крыльцомъ и на конюшнѣ наказывали гонцовъ и другихъ людей, виновныхъ въ упускѣ изъ рукъ дерзкаго янки, а князь, какъ дикій звѣрь, съ пѣною у рта и красными глазами, метался по своему кабинету. Онъ рвалъ на себѣ волосы, швырялъ и ломалъ вещи, ругался страшными словами.

Стоны, доносившіеся черезъ окно до его слуха, только разжигали его бѣшенство.

Среди такого ужаса, княгиня не выдержала и вошла къ мужу.

— Князь!—позвала она тихо, остановившись у порога.

Возлѣ княгини, тутъ же на порогѣ, стоялъ отворившій ей дверь, весь блѣдный отъ страха, любимый доѣзжачій князя, восемнадцатилѣтній мальчикъ Михайлушка, котораго мѣстная хроника шопотомъ называла хотя незаконнымъ, но, тѣмъ не менѣе, несомнѣнно роднымъ сыномъ князя.

— А! что! Кто васъ звалъ? Кто васъ пустилъ сюда?— закричалъ, трясясь и топая, старикъ.

— Я *сама* пришла, князь; я ваша жена, кто же меня смѣетъ не пустить къ вамъ?

— Вонъ! сейчасъ вонъ отсюда!—бѣшено заоралъ безумный князь и забарабанилъ кулаками.

— Князь! вы опомнитесь—Сибирь...

Княгиня не успѣла договорить своей тихой рѣчи, какъ тяжелая малахитовая щетка взвилась со стола, у котораго стоялъ князь, и молодой Михайлушка, зорко слѣдившій за движеніями своего грознаго владыки, тяжело грохнулся къ ногамъ княгини, защитивъ ее собственнымъ тѣломъ отъ направленнаго въ ея голову смертельнаго удара.

Князь закачался на ногахъ и повалился на полъ. Бѣшенымъ звѣремъ покатился онъ по мягкому ковру; изъ его опѣненныхъ и посинѣвшихъ губъ вылетало какое-то звѣрское рычаніе; всѣ мускулы на его багровомъ лицѣ тряслись и подергивались; красные глаза выступали изъ своихъ орбитъ, а зубы судорожно схватывали и теребили ковровую покромку. Все, что̀ отличаетъ человѣка отъ кровожаднаго звѣря, было чуждо въ эту минуту бѣснующемуся князю, самая слюна его, вѣроятно, имѣла всѣ ядовитыя свойства слюны разъяреннаго до бѣшенства звѣря.

Княгиня спросила черезъ порогъ воды и пошла со стаканомъ къ мужу.

«Рррбуу», рычалъ князь, закусивъ коверъ и глядя на жену столбенѣющими глазами; лицо его изъ багроваго цвѣта стало переходить въ синій, потомъ блѣдно-синій; пѣнистая слюна остановилась и рычаніе стихло. Смертельный апоплексическій ударъ разомъ положилъ конецъ ударамъ арапниковъ, свиставшихъ по приказанію скоропостижно-умершаго князя.

Бѣжавшій княжескій управитель умѣлъ заставить проснуться тяжелыя на подъемъ губернскія власти; но судъ божескій освободилъ судъ людской отъ обязанности карать преступленіе опальнаго вельможи. Спѣшно-прибывшая изъ города комиссія застала князя на столѣ и откушала на его погребеніи.

Ни въ чемъ неповинная княгиня Ирина Васильевна осталась въ имѣніи, которое должны были наслѣдовать ея сынъ и падчерица. Она не вмѣшивалась въ управленіе приставленнаго опекуна, цѣлый рядъ лѣтъ никуда не выѣзжала, молилась, старилась, начинала чудить и годъ отъ года все становилась страннѣе и страннѣе. Михайлушку, котораго молодая, хотя и весьма нѣжная натура вынесла жестокій ударъ, назначавшійся княгинѣ, она считала своимъ спасителемъ и пристрастилась къ нему всею душею. Михайлушка на всю жизнь остался немножко глухимъ, и эта глухота постоянно не позволяла княгинѣ забывать объ оказанной ей этимъ человѣкомъ услугѣ. Михайлушка сдѣлался избраннѣйшимъ любимцемъ и factotum старѣющейся въ одиночествѣ княгини. Единственнымъ ея развлеченіемъ, зимою и лѣтомъ, было катанье по гладкой и ровной степи, но, ко множеству развивавшихся въ ней странностей, она питала необоримую боязнь къ лошадямъ, и могла ѣздить только съ Михайлушкой. Поэтому, Михайлушка главнымъ образомъ состоялъ выѣзднымъ кучеромъ при ея особѣ. Съ нимъ княгиня ѣздила спокойно, съ нимъ она отправляла на своихъ лошадяхъ въ Москву въ гимназію подросшаго князя Луку Аггеича, съ нимъ, наконецъ, отправила въ Петербургъ къ мужниной сестрѣ подросшую падчерицу, и вообще была твердо увѣрена, что гдѣ только есть ея Михайлинька, оттуда далеки всѣ опасности и невзгоды. Грязные языки, развязавшіеся послѣ смерти страшнаго князя и не знавшіе исторіи малахитовой щетки, сочиняли насчетъ привязанности княгини къ Михайлушкѣ разныя небывалыя вещи и не хотѣли просто понять ея слѣпой привязанности къ этому человѣку, спасшему нѣкогда ея жизнь и нынѣ платившему ей за ея довѣріе самою страстною, рабской преданностью.

Когда Михайлинькѣ минуло двадцать шесть лѣтъ, княгиня вздумала женить своего фаворита и, не откладывая этого дѣла въ дальній ящикъ, обвѣнчала его съ писаной красавицей, сѣнной дѣвушкой Феней. Пять лѣтъ у молодого супружества не было дѣтей, а потомъ явилась дочь Ан-

нушка, и вслѣдъ затѣмъ Михайлинька умеръ отъ простуды, поручивъ свою дочь и жену заботамъ и милостямъ совершенно состарившейся княгини. Княгиня старалась какъ можно добросовѣстнѣе выполнить предсмертную просьбу своего любимца. Вдова его получала удобную квартиру и полное содержаніе, а маленькая Аня со второго же года была совсѣмъ взята въ барскій домъ, и не только жила съ княгинею, но даже и спала съ нею въ одной комнатѣ. Въ это время молодой князь Лука Аггеичъ счастливо женился, получилъ мѣсто по дипломатическому корпусу, и собирался за границу. Онъ пріѣхалъ къ матери съ женою и трехлѣтнимъ сыномъ Кириломъ. Одинокая старушка еще болѣе сиротѣла, отпуская сына въ чужіе края; князю тоже было жалко покинуть мать, и онъ уговорилъ ее ѣхать вмѣстѣ въ Парижъ. Княгинѣ жалко было и деревни, но все-таки она не захотѣла разстаться съ сыномъ, и все семейство тронулось за границу. Аню княгиня, къ крайнему прискорбію ея матери, тоже увезла съ собою. Черезъ два года, княгиню посѣтило новое горе: ея сынъ съ невѣсткою умерли другъ за другомъ въ теченіе одной недѣли, и осиротѣлая, древняя старушка снова осталась и воспитательницею, и главною опекуншею малолѣтняго внука.

Княгиня Ирина Васильевна въ это время уже была очень стара; лѣта и горе брали свое, и воспитаніе внука ей было вовсе не по силамъ. Однако, дѣлать было нечего. Точно такъ же, какъ она нѣкогда неподвижно осѣлась въ деревнѣ, теперь она засѣла въ Парижѣ и вовсе не помышляла о возвращеніи въ Россію. Одна мысль о какихъ бы то ни было сборахъ заставляла ее трястись и пугаться. «Пусть доживу мой вѣкъ, какъ живется» говорила она и страшно не любила людей, которые напоминали ей о какихъ бы то ни было перемѣнахъ въ ея жизни.

Внука она отдала въ одинъ изъ лучшихъ парижскихъ пансіоновъ, а къ Анѣ пригласила учителей и жила въ полной увѣренности, что она воспитываетъ дѣтей какъ нельзя лучше.

Дѣти росли, княгиня старѣлась и стала быстро подаваться къ гробу.

Восемнадцатилѣтній князь Кирила Лукичъ смотрѣлъ молодцомъ, хотя и французомъ. Аня расцвѣла пышною розой.

Кромѣ того, чему Аню учили французскіе учителя и дьячокъ русской посольской церкви, она не мало сдѣлала для себя и сама. Старая княгиня не могла имѣть сильнаго вліянія на всестороннее развитіе дѣвушки. Она учила ее вѣрить въ верховную опеку промысла; старалась передать ей небольшой запасъ сухихъ правилъ, замѣнявшихъ для нея самой весь нравственный кодексъ; любовалась красотою ея лица, очаровательною граціею стана, изяществомъ манеръ, и болѣе ничего. Анна Михайловна сама додумалась, что положеніе ея въ домѣ княгини фальшивое, что ей нужно самой обставить совсѣмъ себя иначе и что на заботы княгини во всемъ полагаться нельзя. Анна Михайловна была существо самое кроткое, нѣжное сердцемъ, честное до болѣзненности и безпредѣльно-довѣрчивое. Начитавшись романтическихъ писателей французской романтической школы, она сама очень порядочно страдала романтизмомъ, но при всемъ томъ она, однако, понимала свое положеніе, и хотѣла смотрѣть въ свое будущее не сквозь розовую призму. О семьѣ своей Анна Михайловна знала очень мало. Съ тѣхъ поръ, какъ ее маленькимъ дитятей вывезли заграницу, разъ въ годъ, когда княгиня получала изъ имѣнія бумаги, прочитывая управительскіе отчеты, она обыкновенно говорила: «твоя мать, Аня, здорова», и тѣмъ ограничивались свѣдѣнія Ани о ея матери.

Когда дѣвочкѣ было шесть лѣтъ, княгиня, читая вновь полученный ею отчетъ, сказала: «твоя мать, Аня, здорова, *и*...» и на этомъ *и* княгиня поперхнулась.

— И у тебя, Аня, родилась сестрица,—добавила она черезъ нѣсколько времени съ досадою и вмѣстѣ съ такимъ удивленіемъ, какъ будто хотѣла сказать: что это еще за моду такую глупую выдумали!

А Аня была необыкновенно какъ рада, что у нея есть сестрица.

— Маленькая?—спрашивала она у княгини.

— Очень, мой другъ, маленькая, и зовутъ ее Дорушкой, отвѣчала княгиня.

Аня такъ и запрыгала отъ этой радостной вѣсти.

— Ахъ, какая это должна быть прелесть—эта Дорушка!—размышляла дѣвочка цѣлый день до вечера.

Ночью сквозь сонъ ей слышалось, что княгиня какъ будто дурно говорила о ея матери съ своею старой горничной; будто упрекала ее въ чемъ-то противъ Михайлиньки, сердилась и обѣщала немедленно велѣть разсчитать молодого, бѣлокураго швейцарца Траппа, управлявшаго въ селѣ заведенною княземъ ковровою фабрикой. Аня рѣшительно не понимала, чѣмъ ея мать оскорбила покойнаго Михайлушку и зачѣмъ тутъ при этой смѣтѣ приходился бѣлокурый швейцарецъ Траппъ: она только радовалась, что у нея есть очень маленькая сестрица, которую, вѣрно, можно купать, пеленать, няньчить и производить надъ ней другія подобныя интересныя операціи. Черезъ годъ еще,—княгиня сказала:

— Ты, Аня, будь умница — не плачь: твоя мать, мой дружочекъ, умерла.

— Умерла!—закричала Аня.

— Давно, мой другъ, не плачь, не теперь, она давно ужъ умерла.

Аня все-таки горько плакала.

— А сестрица моя?—спрашивала она княгиню.

— Я велю, дружочекъ, твою сестрицу прибрать; велю, чтобы ей хорошо было, успокоивала княгиня.

Аня утѣшалась, что ея маленькой сестрицѣ будетъ хорошо.

А между тѣмъ время работало свою работу. Маленькая сестрица Ани, взятая изъ состраданія очень доброю и просвѣщенною женою новаго управителя, подросла, выучилась писать и прислала сестрѣ очень милое дѣтское письмо.

Между сестрами завязалась живая переписка: Аня заочно пристращалась къ Дорушкѣ; та ей взаимно, изъ своей степной глуши, платила самой горячей любовью. Преобладающимъ стремленіемъ дѣвочекъ стало страстное желаніе увидаться другъ съ другомъ. Княгиня и слышать не хотѣла о томъ, чтобы отпустить шестнадцатилѣтнюю Аню изъ Парижа въ какую-то глухую степную деревню.

— Послѣ моей смерти ступай куда хочешь, а при мнѣ не дѣлай глупостей, говорила она Аннѣ Михайловнѣ, не замѣчая, что та въ ея-то именно присутствіи и дѣлаетъ самую высшую глупость изъ всѣхъ глупостей, которыя она могла бы сдѣлать.

Анна Михайловна, не видавшая ни одного мужчины, кромѣ своихъ учителей и двухъ или трехъ старыхъ роялистскихъ генераловъ, изрѣдка навѣщавшихъ княгиню, со всею теплотою и дѣтскою довѣрчивостью своей натуры привязывалась къ князю Кирилѣ Лукичу. Князь Кирилъ, выросшій во французской школѣ и пропитанный французскими понятіями о чести вообще и о честности по отношенію къ женщинѣ въ особенности, называлъ Аню своей хорошенькой кузиной и былъ къ ней добръ и предупредителенъ. Анѣ всегда очень нравилось вниманіе князя; ей съ нимъ было веселѣе и какъ-то лучше, пріятнѣе, чѣмъ съ старушкой-княгиней и ея французскими, роялистскими генералами, или съ дьячкомъ русской посольской церкви. Молодые люди вмѣстѣ гуляли, катались, ѣздили за городъ; княгиня все это находила весьма приличнымъ и естественнымъ, но ей показалось совершенно неестественнымъ, когда Аня, сидя одинъ разъ за чаемъ, вдругъ тихо вскрикнула, поблѣднѣла и откинулась на спинку кресла.

Анна Михайловна не умѣла скрыть отъ княгини свой беременности. Княгиня, впрочемъ, ни въ чемъ не упрекала Анну Михайловну и только страшно сердилась на своего внука. Родилось дитя, его свезли и отдали на воспитаніе въ небольшую деревеньку около Версаля. Прошло два мѣсяца; Анна Михайловна оправилась, а княгиня заболѣла

и умерла. Кончаясь, она вручила Аннѣ Михайловнѣ давно приготовленную вольную для нея и Доры, банковый билетъ въ десять тысячъ рублей ассигнаціями, и долговое обязательство въ такую же сумму, подписанное еще покойнымъ княземъ Лукою и вполнѣ обязательное для его наслѣдника.

Поведеніе князя Кирила, по отношенію къ Аннѣ Михайловнѣ, было весьма неодобрительно, какъ французы говорятъ: *онъ поступилъ какъ мужчина.* Аня теперь ясно видѣла, что князь никогда не любилъ ее и что она была ни большѣ, ни меньше, какъ одна изъ тысячи жертвъ, преслѣдованіе которыхъ составляетъ пріятную задачу праздной и пустой жизни князя. Анна Михайловна была обижена очень сильно, но ни въ чемъ не упрекала князя, и не мѣшала ему избѣгать съ нею встрѣчъ, которыми онъ еще такъ недавно очень дорожилъ, и которыхъ такъ горячо всегда добивался. Она ненавидѣла князя. Въ ея нѣжной душѣ оставалось къ нему то теплое, любовное чувство, которое иногда навсегда остается въ сердцахъ многихъ хорошихъ женщинъ къ нѣкогда любимымъ людямъ, которымъ онѣ обязаны всѣми своими несчастіями.

Анна Михайловна просила князя только навѣдываться по-временамъ о ребенкѣ, пока его можно будетъ перевезть въ Россію, и тотчасъ послѣ похоронъ старой княгини уѣхала въ давно оставленное отечество.

Тутъ же она взяла изъ деревни Дорушку, увезла ее въ Петербургъ, открыла очень хорошенькій модный магазинъ и стала работать.

Личныя впечатлѣнія, произведенныя сестрами другъ на друга, были самыя выгодныя. Дорушка не была такъ образована, какъ Анна Михайловна; она даже съ великимъ трудомъ объяснялась по-французски, но была очень бойка, умна, искренна и необыкновенно понятлива. Благодаря внимательности и благоразумію бездѣтной и очень прямо смотрѣвшей на жизнь жены управителя, у которой выросла Дора, она была развита не по лѣтамъ, и Анна Михай-

ловна нашла въ своей маленькой сестрицѣ друга, уже способнаго понять всякую мысль и отозваться на каждое чувство.

Въ это время Аннѣ Михайловнѣ шелъ двадцатый, а Дорушкѣ пятнадцатый годъ. Труды и заботы Анны Михайловны вѣнчались полнымъ успѣхомъ: магазинъ ея пріобрѣталъ день ото дня лучшую репутацію, здоровье служило какъ нельзя лучше; Амуръ щадилъ ихъ сердца и не шевелилъ своими мучительными стрѣлами: нечего желать было больше.

Такъ прошло три года.

Въ эти три года Анна Михайловна не могла добиться отъ князя трехъ словъ о своемъ ребенкѣ, существованіе котораго не было секретомъ для ея сестры, и рѣшилась ѣхать съ Дорушкой въ Парижъ, гдѣ мы ихъ и встрѣчаемъ.

Онѣ здѣсь пробыли уже около мѣсяца прежде, чѣмъ столкнулись въ Луврѣ съ Долинскимъ. Анна Михайловна во все это время никакъ не могла добиться аудіенціи у своего князя. Его то не было дома, то онъ не могъ принять ее. Къ Аннѣ Михайловнѣ онъ обѣщалъ заѣхать и не заѣзжалъ.

— Очень милый господинъ! Вѣжливъ какъ сапожникъ,— говорила Дорушка, непомѣрно раздражаясь на князя, котораго Анна Михайловна всякій день съ тревогою и нетерпѣніемъ дожидала съ утра до ночи и все-таки старалась его оправдывать.

Наконецъ и Анна Михайловна не выдержала. Она написала князю самое убѣдительное письмо, послѣ котораго тотъ назначилъ ей свиданіе у Вашета.

Анну Михайловну очень удивляло, почему князь не могъ принять ее у себя и назначаетъ ей свиданіе въ ресторанѣ, но отъ него это была уже не первая обида, которую ей приходилось прятать въ карманъ. Анна Михайловна въ назначенное время отправилась съ Дорою къ Вашету. Дорушка спросила себѣ чашку бульону и осталась внизу, а Анна Михайловна показала карточку, переданную ей лакеемъ князя.

Ее проводили въ небольшую, очень хорошо меблированную комнату въ бель-этажѣ.

Анна Михайловна опустилась на диванъ, на которомъ года четыре назадъ сиживала веселая и довѣрчивая съ этимъ же княземъ, и вспомнилось ей многое, и стало ей и горько, и смѣшно.

«Каково-то будетъ это свиданіе?» подумала она съ грустной улыбкой.

«Поговоримъ о дѣлѣ, *о нашемъ ребенкѣ*, и пожелаемъ другъ другу счастливо оставаться».

Въ дверь кто-то слегка постучался.

«Это его стукъ», — подумала Анна Михайловна и отвѣчала: «войдите».

Вошелъ расфранченный господинъ, совершенно незнакомый Аннѣ Михайловнѣ.

— Вы госпожа Прохорова?—спросилъ онъ ее чистѣйшимъ парижскимъ языкомъ.

— Я,—отвѣчала она.

— Вамъ угодно было видѣть князя Сурскаго.

— Да, мнѣ нужно видѣть князя Сурскаго?

— Онъ не можетъ лично видѣться съ вами сегодня.

Анна Михайловна смѣшалась.

— Однако, надѣюсь, онъ пригласилъ меня сюда!

— Да, это онъ, который васъ пригласилъ сюда, но ручаюсь вамъ, madame, онъ здѣсь не будетъ. Вы вѣрно знаете— князь помолвленъ.

— Помолвленъ! нѣтъ, я этого не знала и не намѣрена искать чести узнавать его невѣсты, говорила торопясь и мѣшаясь Анна Михайловна. — Скажите мнѣ только одно: гдѣ и когда, наконецъ, я могу его видѣть на нѣсколько минутъ?

— Говоря по-истинѣ, я полагаю, *никогда*, отвѣчалъ, вскидывая голову, французъ. — Князь много дѣлъ такихъ покончилъ чрезъ меня и теперь уполномочилъ меня переговорить и кончить съ вами. Я, его камердинеръ — къ вашимъ услугамъ.

Французъ развязно поклонился.

— Я вамъ не вѣрю, отвѣчала, вся вспыхнувъ, Анна Михайловна.

Камердинеръ развернулъ свою записную книжечку и показалъ листокъ, на которомъ рукою князя было написано: «я уполномочилъ моего камердинера, господина Рено, войти съ госпожею Прохоровою въ переговоры, которыхъ она желаетъ».

— Гдѣ мой ребенокъ?—рѣзко спросила, роняя изъ рукъ записную книжку, Анна Михайловна.

— Умеръ, больше двухъ лѣтъ назадъ, отвѣчалъ спокойно господинъ Рено.

— Такъ вы скажите вашему князю, что я только это и хотѣла знать, твердо произнесла Анна Михайловна и вышла изъ комнаты.

— Какая неслыханная дерзость! — воскликнула Дора, когда сестра, дрожа и давясь слезами, разсказала ей о своемъ свиданіи.

— Онъ пустой и ничтожный человѣкъ, отвѣчала краснѣя Анна Михайловна—и заплакала.

— О чемъ же, о чемъ это ты плачешь?.. Тебя, честную женщину, выписываютъ въ кабакъ, въ трактиръ какой-то, довѣряютъ твои тайны какимъ-то французикамъ, лакеямъ, а ты плачешь! Развѣ въ такихъ случаяхъ можно плакать? Такой мерзавецъ можетъ вызывать одно только пренебреженіе, а не слезы.

— Не могу пренебрегать равнодушно.

— Ну, мсти!

— Я не умѣю мстить и не хочу. Я гадка сама себѣ, онъ мнѣ просто жалокъ.

— Жалокъ!.. Да, очень жалокъ... Я бы съ жалости ему разгрызла горло и плюнула-бъ въ глаза его лакею.

— Дора, оставь меня лучше въ покоѣ!

Дорушка пожала плечами и онѣ поѣхали въ томъ омнибусѣ, въ которомъ встрѣтились у св. Магдалины съ Долин-

скимъ, когда встревоженная Анна Михайловна обронила присланный ей изъ Москвы денежный вексель.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Исторія въ другомъ родѣ.

Дѣдъ Долинскаго, полуполякъ, полумалороссіянинъ, былъ кіевскимъ магистратскимъ войтомъ незадолго до потери этимъ городомъ привилегій, которыми онъ пользовался по магдебургскому праву. Войтъ Долинскій принадлежалъ къ старой городской аристократіи, какъ по своему роду, такъ и по почетному званію, и по очень хорошему, честно нажитому состоянію пользовался въ заднѣпровской Украйнѣ очень почтенною извѣстностью и уваженіемъ. Стойкость, строгая справедливость и дальновидный дипломатическій умъ можно ставить главными чертами, способными характеризовать личность стараго войта. Сынъ такого отца, Игнатій Долинскій не наслѣдовалъ всѣхъ родительскихъ качествъ. Онъ былъ человѣкъ очень честный въ буржуазномъ смыслѣ этого слова, и даже неглупый, но лѣнивый, вялый, безпечный и ко всему всесовершенно равнодушный. Жена Игнатія Долинскаго, сиротка, выросшая «въ племянницахъ» въ одномъ русскомъ купеческомъ домѣ, принадлежала къ весьма немалочисленному разряду нашихъ съ дѣтства забитыхъ великорусскихъ женщинъ, остающихся на цѣлую жизнь безотвѣтными, сиротливыми дѣтьми и молитвенницами за затолокшій ихъ міръ Божій. Игнатій Долинскій неспособенъ былъ разбудить въ своей безотвѣтно-доброй женѣ ни смѣлости, ни воли, ни энергіи. Выйдя замужъ и рожая дѣтей, она оставалась такимъ же сиротливымъ и безхитростнымъ ребенкомъ, какимъ была въ домѣ своего московскаго дяди и благодѣтеля. Жизнь въ Кіевѣ, на высокомъ Печерскѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ златоверхой лавры, вѣчно полной богомольцами, стекающимися къ родной святынѣ отъ запада, и сѣвера, и моря, рельефнѣе всего выработала въ характерѣ Долинской одну черту, съ дѣтства

спавшую въ ней въ зародышѣ. Съ каждымъ годомъ Ульяна Петровна Долинская становилась все религіознѣе; постилась все строже, молилась больше; скорбѣла о людской злобѣ и не выходила изъ церкви или отъ бѣдныхъ. Нищіе, странные и убогіе были любимою средою Долинской, и въ этой исключительной средѣ ея робкая и чистая душа старалась скрываться отъ мірскихъ суетъ и треволненій.

Деньги для Долинской никогда не имѣли никакой цѣны, а тутъ, отдаваясь съ лѣтами одной мысли о житьѣ по слову Божію, она стала даже съ омерзѣніемъ смотрѣть на всякое земное богатство. Ни одна монета не могла получаса пролежать въ ея карманѣ, не перепрыгнувъ въ дырявую суму проползшаго тысячу верстъ мужичка или въ хату къ дѣтямъ пьянствующаго сосѣда-ремесленника. Рука Долинской давала и направо и налѣво; мужъ смотрѣлъ на это филаретовское милосердіе совершенно спокойно. Онъ не только не удерживалъ ея безмѣрно щедрую руку, но даже одобрялъ такое распоряженіе имуществомъ.

— Моя Ульяна Петровна — ангелъ, говорилъ онъ, благоговѣйно поднимая глаза къ небу: — она истинная христіанка, безсребренница, незлобивая.

Такъ и шли дѣла, пока состоянія, оставленнаго войтомъ, доставало на удовлетвореніе щедрости его невѣстки; но, наконецъ, въ городѣ стали замѣчать, что Долинскіе «начали пріупадать», а еще немножко — и семья Долинскихъ ужъ вовсе не считалась зажиточною. Ульяна Петровна все шла своею дорогою. Дѣтей у Долинскихъ были трое: два сына: Аристархъ и Несторъ и дочь Леокадія. Росли эти дѣти на полной свободѣ: мать и отецъ были съ ними очень нѣжны, но не дѣлали дѣтское воспитаніе своею главною задачею. Изъ дѣтей, однако, не выходило ничего дурного: они росли дѣтьми нѣжными, дружными и ласковыми. Ульяна Петровна любила ихъ всѣхъ ровно, одною чисто-евангельскою любовью, но ближе двухъ другихъ къ ней былъ Несторъ. Этотъ очаровательно-красивый мальчикъ былъ страшно привязанъ къ своей благочестивой матери и вслѣдствіе этой страстно-

сти самъ пристрастился къ ея образу жизни и занятіямъ. Торопливо протирая сонные глазенки, вскакивалъ онъ при первомъ движеніи матери о полуночи; стоя на колѣняхъ, лепеталъ онъ за нею слова вдохновенныхъ молитвъ Сирина, Дамаскина и, шатаясь, выстаивалъ долгій часъ монастырской полунощницы. И такъ всякій день. Весь домъ, наполненный и истинными, и лукавыми «людьми божьими», спитъ безмятежнымъ сномъ, а какъ только раздается въ двѣнадцать часовъ первый звукъ лаврскаго палеелейнаго колокола, Несторъ съ матерью становятся на колѣна и молятся долго, тепло, со слезами молятся «о еже спастися людямъ и въ разумъ истинный внити».

Подкрѣпленная усердной молитвой, Ульяна Петровна въ три часа ночи снова укладывала Нестора въ его постельку и сама спускалась въ кухню, и съ этой ранней поры тамъ начиналось стряпанье ежедневно на сорокъ человѣкъ нуждающихся въ пищѣ. Съ шести часовъ утра въ домѣ Долинскихъ уже пили и ѣли, а Ульяна Петровна съ этого часа позволяла себѣ снова искать своей духовной пищи. Сходятъ они съ Несторомъ въ лавру, въ Великую церковь, или на Пещерахъ, поклонятся останкамъ древнихъ христіанскихъ подвижниковъ, найдутъ по дорогѣ кого нибудь немощнаго или голоднаго, возьмутъ его домой, покормятъ, пріютятъ и утѣшатъ. Приходитъ къ чаю какой нибудь странникъ, иногда немножко изувѣръ, немножко лгунъ, немножко фанатикъ, а иногда и этакой простой, чистый и поэтически вдохновенный русскій экземпляръ, который не помнитъ, какъ и почему еще съ самого ранняго дѣтства —

Имъ овладѣло безпокойство,
Охота къ перемѣнѣ мѣстъ,
Весьма мучительное свойство
И многимъ добровольный крестъ.

Идутъ здѣсь разсказы о разныхъ чудесныхъ мѣстахъ и еще болѣе чудесныхъ событіяхъ. Горы, долы, темные лѣса дремучіе, подземныя пещеры, мрачныя и широкія безпредѣльныя степи съ ковылемъ-травой, легкимъ перекати-по-

лемъ и божьей птицей аистомъ «змѣеистребителемъ»; все это такъ и рисуется въ воображеніи съ разсказовъ обутаго въ лапотки «человѣка Божія», а надо всѣмъ надъ этимъ серьезно возвышаются сухіе, строгіе контуры схимниковъ, и еще выше лучезарный ликъ св. Николая, «скораго въ бѣдахъ помощника», Георгій на бѣломъ, какъ кипѣнь, конѣ, рѣющій въ высокомъ голубомъ небѣ, и, наконецъ, выше всего этого свѣтъ, тотъ свѣтъ невечерній, размышленіе о которомъ обнимаетъ вѣрующія души блаженствомъ и трепетомъ.

Наслушавшись такихъ рѣчей, Ульяна Петровна велитъ себѣ запречь одноколочку, садится съ Несторомъ и ѣдетъ въ Китаевъ, или въ Голосеевъ. Выѣдетъ Ульяна Петровна за городъ, пахнетъ на нее съ Днѣпра вѣчной свѣжестью, и она вдругъ оживится, почувствовавъ ласкающее дыханіе свободной природы, но влѣво пробѣжитъ по зеленой муравкѣ сѣрый дымокъ, раздастся взрывъ саперной мины, или залпъ ружей въ лѣтнихъ баракахъ—и Ульяна Петровна вся такъ и замретъ. Не слабонервный страхъ, а какой-то ужасъ духовный охватываетъ ее при мысли о враждѣ человѣческой, о силѣ и разрушеніи. То же самое чувствовала она при разсказѣ о всякомъ преступленіи. «Богъ съ ними! Богу судить зло человѣческое, а не людямъ. Это не нами, не нашими руками создано, и не нашимъ умомъ судится», говорила она, и никогда въ цѣлую свою жизнь не высказала ни одного сужденія, никогда не хотѣла знать, если у нея что нибудь крали.

— Никто не укралъ; зачѣмъ обижать человѣка! Взялъ кому нужно было; ну, и пошли ему Богъ на здоровье, отвѣчала она на жалобы слугъ, доводившихъ ей о какой нибудь пропажѣ.

Кончилось тѣмъ, что «пріупадавшій» домъ Долинскихъ упалъ и разорился совершенно. Игнатій Долинскій покушалъ спѣлыхъ дынь-дубровокъ, легъ соснуть, всталъ часа черезъ два съ жестокою болью въ желудкѣ, а къ полуночи умеръ. Съ него распочалась въ городѣ шедшая съ сѣверо-

запада холера. Ульяна Петровна схоронила мужа, не уронивъ ни одной слезы на его могилѣ и дѣтямъ наказывала не плакать.

— Зачѣмъ, говорила она:—его, друга нашего, смущать нашими глупыми слезами? Пусть тихъ и миренъ будетъ путь его въ селенія праведныхъ.

Точно Офелія, эта шекспирова «божественная нимфа» съ своею просьбою не плакать, а молиться о немъ, Ульяна Петровна совсѣмъ забыла о мірѣ. Она молилась о мужѣ сама, заставляла молиться за него и другихъ, ѣздила исповѣдывать грѣхи своей чистой души къ схимникамъ Китаевской и Голосеевской пустыни, молилась у кельи извѣстнаго провидца Парѳенія, отъ которой вдалекѣ былъ видѣнъ весь городъ, унывшій подъ тяжелою тучею налетѣвшей на него невзгоды.

Картина была непріятная, сухая и зловѣщая: стоявшая въ воздухѣ сѣрая мгла задергивала все небо чернымъ, траурнымъ крепомъ; солнце висѣло на западѣ безъ блеска, какъ ломоть печеной рѣпы съ пригорѣлыми краями и тускло мѣдной серединой; съ пожелтѣвшихъ заднѣпровскихъ луговъ не прилетало ни одной ароматной струи свѣжаго воздуха, и вмѣсто запаха чебреца, меруники, богородицкой травки и горчавки, оттуда доносился тяжелый пропаленный запахъ, какъ будто тамъ гдѣ-то тлѣло и дымилось несмѣтное количество слеглаго сѣна.

— Будетъ молиться, Ульянушка; пора тебѣ собираться въ путь,—сказалъ Ульянѣ Петровнѣ заставшій ее на вечерней молитвѣ старецъ.

Ульяна Петровна растолковала себѣ эти слова по-своему. Она посмотрѣла въ угасшія очи отшельника, поклонилась ему до земли, вернулась домой, отговѣлась въ лаврѣ, причастилась въ пещерѣ св. Антонія, потомъ соборовалась и черезъ день скончалась. Съ нею и прекратилась въ городѣ холера.

Дѣти Долинскихъ остались одни, съ однимъ деревяннымъ домомъ, обремененнымъ тяжелыми долгами. Аристархъ, шестнадцати лѣтъ, пошелъ служить къ купцу; сестру Леокадію

взяла тетка и увезла куда-то къ Ливнамъ, а Нестора, имѣвшаго четырнадцать лѣтъ, призрѣлъ дядя, бѣдный братъ Ульяны Петровны, добившійся каѳедры въ московскомъ университетѣ. Братъ Ульяны Петровны былъ человѣкъ и добрый, и ученый, но слабый характеромъ, а жена его была недобрая женщина, пустая и тщеславная. Въ этомъ домѣ Несторъ Долинскій началъ только учиться. Двадцати одного года онъ окончилъ курсъ гимназіи, двадцати пяти вышелъ первымъ кандидатомъ изъ университета и тотчасъ поступилъ старшимъ учителемъ въ одну изъ московскихъ гимназій, а двадцати семи женился самымъ неудачнымъ образомъ.

Несторъ Игнатьевичъ Долинскій во многихъ своихъ сторонахъ вышелъ очень страннымъ человѣкомъ. Никто не сомнѣвался, что онъ человѣкъ очень умный, чувствительный, но никто бы не умѣлъ продолжать его характеристику далѣе этихъ общихъ опредѣленій.

— Мой Сторя будетъ истинный инокъ Божій,—говаривала часто его мать, поглаживая сына по головкѣ, обрекаемой подъ черный клобукъ.

Можетъ быть, покойная Ульяна Петровна и не ошиблась. Можетъ быть, ея кроткій красавецъ-сынъ и точно болѣе всего обладалъ качествами, нужными для сосредоточенной, самосозерцательной и молитвенной жизни, которую нашъ народъ считаетъ приличною истинному иночеству. Онъ вѣроятно могъ быть хорошимъ проповѣдникомъ, утѣшителемъ и наставникомъ страждущаго человѣчества, которому онъ съ ранняго дѣтства привыкъ служить подъ руководствомъ своей матери и которое оставалось ему навсегда близкимъ и понятнымъ; къ людскимъ неправдамъ и порокамъ онъ былъ снисходителенъ не менѣе своей матери, но страстная религіозность его дѣтскихъ лѣтъ скоро прошла въ домѣ дяди. Онъ былъ, что̀ у насъ называется, «человѣкъ разноплетеный». Нарушаемый извнѣ міръ своего внутренняго *я* онъ не умѣлъ врачевать молитвой, какъ его мать, но онъ и самъ ничего не отстаивалъ, ни за что не бился крѣпко.

Онъ никогда не жаловался ни на что ни себѣ, ни людямъ, а, огорченный чѣмъ нибудь, только уходилъ къ общей нашей матери-природѣ, которая всегда умѣетъ въ мѣру успокоить оскорбленное эстетическое чувство, или возстановить разрушенный міръ съ самимъ собою. Жизнь въ одномъ домѣ съ придирчивой, мелочной и сварливой женой дяди заставляла его часто лѣчить свою душу, возмущавшуюся противъ несправедливыхъ и неделикатныхъ поступковъ ея въ отношеніи мужа.

Въ какой мѣрѣ это портило характеръ Нестора Игнатьевича, или способствовало лучшей выработкѣ однѣхъ его сторонъ насчетъ угнетенія другихъ — судить было невозможно, потому что Долинскій почти не жилъ съ людьми; но онъ самъ часто вздыхалъ и ужасался, считая себя человѣкомъ совершенно неспособнымъ къ самостоятельной жизни. Сильно поразившая его, послѣ чистаго нрава матери, вздорная мелочность дядиной жены, развила въ немъ тоже своего рода мелочную придирчивость ко всякой людской мелочи откуда пошла постоянно сдерживаемая раздражительность, глубокая скорбь о людской порочности въ постоянной борьбѣ съ снисходительностью и любовью къ человѣчеству и, наконецъ, болѣзненный разладъ съ самимъ собою, во всемъ мучительная нерѣшительность — безволье. Это послѣднее свойство своего характера Долинскій очень хорошо сознавалъ, и оно-то приводило его въ совершенное отчаяніе. Во что̀ бы то ни стало, онъ хотѣлъ быть сильнымъ господиномъ своихъ поступковъ и самымъ безжалостнымъ образомъ заставлялъ свое сердце приносить самыя тяжелыя жертвы не разуму, а именно рѣшимости выработать въ себѣ волю и рѣшимость. Эти экспериментальныя упражненія надъ собою до такой степени забили Нестора Долинскаго, что, классифицируя свое желаніе, онъ уже затруднялся разбирать, хочетъ ли онъ чего нибудь потому, что этого ему хочется, или потому, что онъ долженъ этого хотѣть. Это его страшно пугало. Два-три страшныхъ случая, въ которыхъ онъ, преслѣдуя свою задачу, въ одно и то же время поступалъ на-

перекоръ и своей волѣ и своимъ желаніямъ, повергали его въ глубокую апатію—у него развивалась мизантропія.

Въ это время изъ самаго хлѣбороднаго уѣзда хлѣбороднѣйшей губерніи, въ разлатомъ цыновочномъ возкѣ, приплыло въ Москву почтенное семейство мелкопомѣстныхъ дворянъ Азовцовыхъ. Новоприбывшая фамилія состояла изъ матери, толстомясой барыни съ сѣдыми волосами, румянымъ лицомъ, черными корнетскими усиками и живыми черными же барсучьими глазами, напоминающими, впрочемъ, болѣе глаза свареннаго рака. Потомъ здѣсь были двѣ дѣвушки, дочери, Юлія и Викторина. Викторинѣ всего шелъ пятнадцатый годъ, и о ней не стоитъ распространяться. Довольно сказать, что это было довольно милое и сердечное дитя, изъ котораго, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, могла выдти весьма милая женщина. Старшей ея сестрѣ Юліи было полныхъ девятнадцать лѣтъ. Это была небольшая черненькая фигурка, некрасивая, неизящная, несимпатичная, такъ себѣ какъ въ сказкѣ сказывается, «дѣвка-чернявка», или, какъ народъ говоритъ, «птица-пиголица». Нравъ у этой чернявки былъ самый гнусный: хитра, предательски ехидна, самолюбива, жадна, мстительна, требовательна и жестокосерда. Притомъ каждаго изъ этихъ почтенныхъ свойствъ въ ней находилось по самой крупной дозѣ.

При столь почтенныхъ свойствахъ характера, «дѣвица-чернявка» была довольно неглупа. Ее нельзя было назвать особенной умницей, но она несомнѣнно владѣла всѣми тѣми способностями ума, которыя нужны для того, чтобы хитрить, чтобы расчищать себѣ въ жизни дорожку и сдвигать съ нея другихъ самымъ тихимъ и незамѣтнымъ манеромъ. Справедливость требуетъ сказать, что у чернявки когда-то, хоть очень давно, хоть еще въ раннемъ дѣтствѣ, въ натурѣ было что-то доброе. Такъ она, напримѣръ, не могла видѣть, какъ бьютъ лошадь или собаку, и способна была заплакать при извѣстіи, что застрѣлился какой нибудь молодой человѣкъ, особенно если молодому человѣку благоразумно вздумалось застрѣлиться отъ любви, но... но сама любить кого нибудь

кромѣ себя и денегъ... этого Юлія Азовцева не могла, не умѣла и не желала. У нея бывали и друзья, которые не могли имѣть при ней никакого значенія. Одинъ такой ея другъ, нѣкая бѣдная купеческая дѣвушка Устинька, цѣлые годы служила Юліи Азовцовой для сбрасыванія на нее всякаго сору и гадостей, и, благодаря ей, невинно утратила репутацію, столь важную въ узенькомъ кружкѣ бѣднаго городишка.

Обстоятельства, при которыхъ протекло дѣтство, отрочество и юность Юліи Азовцовой, были таковы, что разсматриваемая нами особь, подходя къ данной порѣ своей жизни, не могла выдти ничѣмъ инымъ, какъ тѣмъ, чѣмъ она нынѣ рекомендуется снисходительному читателю. Она съ самаго ранняго дѣтства была поилицею и кормилицею цѣлой семьи, въ которой, кромѣ матери и сестры, были еще грызуны въ видѣ разбитаго параличемъ и жизнью отца и двухъ младшихъ братьевъ. Состояніе Азовцовыхъ заключалось въ небольшомъ наслѣдственномъ хуторѣ, въ которомъ, по мѣстному выраженію, было «два двора-гончара, а третій — тетеречникъ». Объ отцѣ Юліи Азовцовой съ гораздо большею основательностью, чѣмъ о мужѣ слесарши Пошлепкиной, можно было сказать, что онъ рѣшительно «никуда не годился». Мать ея, у которой, какъ выше замѣчено, были черные рачьи глаза навыкатѣ и щегольскіе корнетскіе усики, называлась въ своемъ уѣздѣ «матроской». Она довольно побилась съ своимъ мужемъ, опредѣляя и перемѣщая его съ мѣста на мѣсто, и, наконецъ, произведя на свѣтъ Викториночку, бросила супруга въ его хуторномъ тетеречникѣ и перевезла весь свой приплодъ въ ближайшій губернскій городъ, гдѣ въ то святое и приснопамятное время содержалъ винный откупъ человѣкъ, извѣстный нѣкогда своимъ богатствомъ, а нынѣ — позоромъ и безславіемъ своихъ дѣтей. Бабушка этого богача съ бабушкою «матроски», какъ говорятъ, на одномъ солнышкѣ чулочки сушили, и въ силу этого сближающаго обстоятельства «матроска» считала богача своимъ дяденькой. Радостно срѣ-

тая нѣкогда его коммерческое восхожденіе, она упросила его быть воспріемнымъ отцомъ Юлиньки. Коммерческая двойка, влѣзавшая въ то время въ онёрную фигуру, была честолюбива, какъ всѣ подобныя двойки, но еще не заѣлась поклоненіями, была, такъ сказать, довольно ручна и великодушно снизошла на матроскину просьбу. Въ фигурѣ валета эта добродѣтельная карта сдѣлалась матроскинымъ дядей и кумомъ, а когда три ограбленныя валетомъ губерніи произвели его въ тузы, матроска, безъ всякихъ средствъ въ жизни, явилась въ его резиденцію. Главнымъ и единственнымъ ея средствомъ въ это время была «Юлочка», и Юлочка цѣною собственнаго глубокаго нравственнаго развращенія, вывезла на своихъ дѣтскихъ плечахъ и мать, и отца, и сестру, и братьевъ. Маленькою, пятилѣтнею дѣвочкой, всю въ завиточкахъ, въ коротенькомъ платьицѣ и обшитыхъ кружевцами панталончикахъ, матроска отвезла ее въ вертепъ откупного туза и научила, какъ она должна плакать, какъ притворяться слабой, какъ ласкаться къ тузу, какъ льстить его тузихѣ, какъ уступать во всемъ тузенятамъ. Выпущенная къ рампѣ, Юлочка съ перваго же раза обнаружила огромныя дипломатическія и сценическія дарованія. Она лгала, какъ историкъ, и вернулась домой съ тысячью рублей. Съ этихъ поръ Юлочка была запродана ненасытному мамону и вѣрно поработала ему до седьмого пота. Начавшееся съ этихъ поръ христорадничанье и нищебродство Юлочки не прекращалось до того самаго дня, въ который мы встрѣчаемъ ее въѣзжающею въ разлатомъ возкѣ съ сестрою, матерью и младшимъ братомъ Петрушей въ Москву. Много дѣвка-чернявка натерпѣлась обидъ и горя въ своей нищебродной жизни! Обижала ее и сухая, жесткая тузиха, и надменные тузенята, и лакеи, и большая меделянская собака Выдра, имѣвшая привычку поднимать лапу на каждаго, кто боялся прогнать ее предъ очами самого туза. Юлочка глотала слезы, глядя на свое свѣженькое платьице, безпощадно спорченное Выдрою, но все сносила терпѣливо. Благодѣтель замѣчалъ это и дарилъ

Юлочкѣ за одно испорченное платьице пять новыхъ, но за то тузиха и тузенята называли ее *тумбочкой* и вообще дѣлали предметомъ самыхъ злобныхъ насмѣшекъ. Юлочка все это слагала въ своемъ сердцѣ, ненавидѣла надменныхъ богачей и кланялась имъ, унижалась, лизала ихъ руки, лгала матери, стала низкою, гадкою лгуньею; но очень долго никто не замѣчалъ этого, и даже сама мать, которая учила Юлочку лгать и притворяться, кажется, не знала, что́ она изъ нея дѣлаетъ; и она только похваливала ея умъ и расторопность. Духовнаго согласія у матери съ дочерью, впрочемъ, вовсе не было. Оба эти паразиты составляли плотный союзъ только тогда, когда дѣло шло о томъ, чтобы тѣмъ или инымъ ловкимъ фортелемъ вымозжить что нибудь у своихъ благодѣтелей. Въ остальное же время они нерѣдко были даже открытыми врагами другъ другу: Юла мстила матери за свои униженія—та ей не вѣрила, видя, что дочь начала далеко превосходить ее въ искусствѣ лгать и притворяться. Вообще довольно смѣлая и довольно наглая, матроска была, однако, недостаточно дальновидна и очень изумилась, замѣчая, что дочь не только пошла далѣе ея, не только употребляетъ противъ нея ея же собственное оружіе, но даже самое ее, матроску, дѣлаетъ своимъ оружіемъ. Вдругъ туза стукнулъ кандрашка; все неожиданно перекрутилось, съѣхавшіеся изъ Москвы и Питера сыновья и дочери откупщика смотрѣли насмѣшливо на неутѣшныя слезы матроски съ Юлою и отдѣлили имъ изъ всего отцовскаго наслѣдства остальныя визитныя карточки покойнаго да еще что-то въ родѣ трехъ стаметовыхъ юбокъ. Видя, что съ визитными карточками да тремя стаметовыми юбками на этомъ бѣломъ свѣтѣ немного можно подѣлать, матроска, по совѣту Юлочки, снарядила возокъ и дернула въ Бѣлокаменную, гдѣ прочною осѣдлостью жили трое изъ дѣтей покойнаго благодѣтеля. Ѣхали наши паразиты съ тѣмъ, чтобы такъ-не-такъ, а ужъ какъ-нибудь что-нибудь да вымозжить у наслѣдниковъ, или, по крайней мѣрѣ, добиться, чтобы они пристроили Викториночку и Петрушу.

— Я скажу имъ: помилуйте, вашъ отецъ — мой дядя, вотъ его крестница; вамъ будетъ стыдно, если ваша тетка съ просительнымъ письмомъ по нумерамъ пойдетъ. Должны дать; не могутъ не дать, канальи! — разсказывала она, собираясь идти къ тузовымъ дѣтямъ.

Юлочка молчала. Она вѣрила, что мать можетъ что-нибудь вымозжить, но ей-то, Юлочкѣ, въ этомъ было очень немного радости. Ей нужно было что-то совсѣмъ другое, болѣе прочное и самостоятельное. Она любила богатство и въ глаза величала тѣхъ богачей, отъ которыхъ можно было чѣмъ-нибудь поцтиться; но въ душѣ она не терпѣла всѣхъ, кто родомъ, племенемъ, личными достоинствами и особенно состояніемъ былъ поставленъ выше и виднѣе ея, а выше и виднѣе ея были почти всѣ. Юлочка понимала, что ей нуженъ прежде всего мужъ. Она знала, что въ своихъ мѣстахъ, на ней, «попрошайкѣ», нищей, не женится никто, ибо такого героизма она не подозрѣвала въ своихъ мѣстныхъ кандидатахъ на званіе мужей, да ей и ненужны были герои, точно такъ же, какъ ей не годились люди очень мелкіе. Ей нуженъ былъ человѣкъ, которымъ можно было бы управлять, но котораго все-таки и не стыдно было бы назвать своимъ мужемъ; чтобы онъ для всѣхъ казался человѣкомъ, но чтобы въ то же время его можно было сдѣлать слѣпымъ и безотвѣтнымъ орудіемъ своей воли.

Такимъ человѣкомъ ей показался Несторъ Игнатьевичъ Долинскій, и она перевѣнчала его съ собою.

Происшествіе это случилось съ Долинскимъ въ силу все той же его доброты и извѣстной, несчастной черты его характера.

Дѣла Азовцовыхъ устроились. Петрушу благодѣтели опредѣлили въ пансіонъ; на воспитаніе Викторинушки они же ассигновали по триста рублей въ годъ, и на житье самой матроски съ крестницей покойника назначили по шестисотъ. Азовцовы, заручившись такой благодатью, однако не поѣхали назадъ, а рѣшились оставаться въ Москвѣ. Онѣ знали, что «благодѣтели» отъ природы народъ разсѣянный,

вѣтренный, забывчивый и требующій понужденія. Юлія Азовцова растолковала матери, что Викторинушка ужъ велика, чтобы ее отдавать въ пансіонъ; что можно найти просто какого-нибудь недорогого учителя далеко дешевле чѣмъ за триста рублей и учить ее дома.

— Такимъ образомъ, говорила она,—вы сдѣлаете экономію, и благодѣтели наши будутъ покойны, что деньги употребляются на то самое, на что онѣ даны.

При этихъ соображеніяхъ вспомнили о братѣ Леокадіи Долинской, съ которой Юлія была знакома по губернской жизни. Нестора Игнатьевича отыскали; наговорили ему много милаго о сестрѣ, которая только съ полгода вышла замужъ; разсказали ему свое горе съ Викторинушкой, которая такъ запоздала своимъ образованіемъ, и просили посовѣтовать имъ хорошаго наставника. Вѣчно готовый на всякую услугу, Долинскій тотчасъ же предложилъ въ безвозмездные наставники Викторинѣ самого себя. Матроска, было, начала жеманиться, но Юлія быстро встала, подошла къ Долинскому, съ одушевленіемъ сжала въ своихъ рукахъ его руку и съ глазами, полными слезъ, торопливо вышла изъ комнаты. Она казалась очень растроганною. Матроску это даже чуть было не сбило съ такту.

— Такъ, моя милѣйшая, нельзя-съ держать себя, говорила она, проводивъ Долинскаго, Юлочкѣ.—Здѣсь не губернія, и особенно съ этимъ человѣкомъ... Мы знакомы съ его сестрой, такъ должны держать себя съ нимъ совсѣмъ на другой ногѣ.

— Не безпокойтесь, пожалуйста, знаю я, на какой ногѣ себя съ кѣмъ держать, отвѣчала Юлія.

Долинскій началъ заниматься съ Викторинушкой и понемногу становился близкимъ въ семействѣ Азовцовыхъ. Юлія находила его очень удобнымъ для своихъ плановъ и всячески старалась разгадать, какъ слѣдуетъ за него браться вѣрнѣе.

— Кажется, на поэзію прихрамливаетъ! — заподозрѣла она его довольно скоро, разумѣя подъ словомъ *поэзія*

именно то самое, что разумѣютъ подъ этимъ словомъ практическіе люди, признающіе только то, во что можно пальцемъ ткнуть. Заподозрѣла Юлія этотъ порокъ за Долинскимъ и стала за нимъ приглядывать. Сидитъ Долинскій у Азовцовыхъ, молча, передъ топящеюся печкою, Юла тихо взойдетъ неслышными шагами, тихо сядетъ и сидитъ молча, не давая ему даже чувствовать своего присутствія. Долинскій встанетъ и извиняется. Это повторилось два-три раза.

— Пожалуйста, не извиняйтесь; я очень люблю сидѣть вдвоемъ и молча.

Долинскій конфузился. Онъ вообще былъ очень застѣнчивъ съ женщинами и робѣлъ предъ ними.

— Этакъ я не одна, и между тѣмъ никому не мѣшаю, мечтательно досказала Юла.—Вы знаете, я ничего такъ не боюсь въ жизни, какъ быть кому-нибудь помѣхою.

— Этого, однако, я думаю, очень не трудно достигнуть, отвѣчалъ Долинскій.

— Да, не трудно, какъ вы говорите, но и не всегда: часто по-неволѣ долженъ во что-нибудь вмѣшиваться и чему-нибудь мѣшать.

— Вы, пожалуйста, не подумайте, что эти слова имѣютъ какой-нибудь особый смыслъ! Я, право, такъ глупо это сказала.

Юлочка улыбнулась.

— Нѣтъ, я... ничего не думаю, отвѣчалъ Долинскій.

— То-то, ужъ хоть бы намъ не мѣшали, а то гдѣ намъ, грѣшнымъ!—замѣчала съ тою же снисходительною улыбкой Юлія.

Въ такихъ невинныхъ бесѣдахъ Юлія тихо и незамѣтно шла къ сближенію съ Долинскимъ, заявляясь ему особенно со стороны смиренства и благопокорности. Долинскій, кромѣ матери и тетки, да сестры, не зналъ женщинъ. Юлочка была первая сторонняя женщина, обратившая на него свое вниманіе. Юліи и это обстоятельство было извѣстно, и его она тоже приняла къ свѣдѣнію и надлежащему соображенію.

Тонкостей особенныхъ, значитъ, было не надо и онѣ могли оказать болѣе вреда, чѣмъ пользы. Нуженъ былъ одинъ ловкій подводъ, а затѣмъ смѣлыя варіаціи поэффектнѣе, и дѣло должно удаться.

Не прошло двухъ мѣсяцевъ со дня ихъ перваго знакомства, какъ Долинскій сталъ находить удовольствіе сидѣть и молчать вдвоемъ съ Юліей; еще долѣе они стали незамѣтно высказывать другъ другу свои молчаливыя размышленія и находить въ нихъ стройную гармонію. Долинскій напримѣръ, вспоминалъ о своей благословенной Украйнѣ, о старомъ Днѣпрѣ, о наклонившихся крестахъ Аскольдовой могилы, о набережной часовнѣ Выдубецкаго монастыря и музыкальномъ гулѣ лаврскихъ колоколовъ. Юлочка тоже и себѣ начинала упражняться въ поэзіи: она вздумала о кисельныхъ берегахъ своей мелкопомѣстной Тускари и гнилоберегой Неручи, о ракиткахъ, подъ которыми въ полдневный жаръ отдыхаютъ идущіе въ отпускъ отечественные воины; о кукушкѣ, кукующей въ губернаторскомъ саду, и бѣломъ купидонѣ, плачущемъ на могилѣ откупщика Сыропятова, и о прочихъ симъ подобныхъ поэтическихъ прелестяхъ. Если истинная любовь къ природѣ рисовала въ душѣ Долинскаго впечатлѣнія болѣе глубокія, если его поэтическая тоска о незабвенной украинской природѣ была настолько сильнѣе дѣланной тоски Юліи, насколько грандіозныя и поражающія своимъ величіемъ картины его края сильнѣе тщедушныхъ, неизмѣнныхъ, черноземно-вязкихъ картинъ, по которымъ проводила молочныя воды въ кисельныхъ берегахъ подшпоренная фантазія его собесѣдницы, то за то въ этихъ кисельныхъ берегахъ было такъ много топкихъ мѣстъ, что Долинскій не замѣчалъ, какъ ловко тускарскіе пауки затягивали его со стороны великодушія, состраданія и ихъ непонятныхъ высокихъ стремленій. Юлочка зорко слѣдила за своею жертвою и, наконецъ, послѣ одной бесѣды о любви и о Тускари, рѣшила, что ей пора и на приступъ. Вскорѣ послѣ такого рѣшенія, въ одинъ несчастливѣйшій для Долинскаго вечеръ, онъ засталъ Юлію въ са-

мыхъ неутѣшныхъ, горькихъ слезахъ. Какъ онъ ее ни разспрашивалъ съ самымъ теплѣйшимъ участіемъ—она ни за что не хотѣла сказать ему этихъ горькихъ слезъ. Такъ это дѣло и прошло, и кануло, и забылось, а черезъ мѣсяцъ въ домѣ Азовцовыхъ появилась пожилая благородная дѣвушка Аксинья Тимоѳеевна, и тутъ вдругъ, съ рѣчей этой злополучной Аксиньи Тимоѳеевны оказалось, что Юлія давно благодѣтельствовала этой дѣвушкѣ втайнѣ отъ матери, и что горькія слезы, которыя мѣсяцъ тому назадъ у нея замѣтилъ Долинскій, были пролиты ею, Юліею, отъ оскорбленій, сдѣланныхъ матерью за то, что она, Юлія, движимая чувствомъ состраданія, чтобы выручить эту самую Аксинью Тимоѳеевну, отдала ей заложить свой единственный мѣховой салопъ, справленный ей благодѣтелями. Выстрѣлъ попалъ въ цѣль. Съ этихъ поръ Долинскій сталъ серьезно задумываться о Юличкѣ и измышлять различныя средства, какъ бы ему вырвать столь достойную дѣвушку изъ столь тяжелаго положенія.

Выпущенная по красному звѣрю Аксинья Тимоѳеевна шла верхнимъ чутьемъ и работала какъ нельзя лучше; заложенная шуба тоже служила Юліи не хуже, какъ Кречинскому его бычокъ, и тепло прогрѣвала безхитростное сердце Долинскаго. Юлія Азовцова, обозрѣвъ поле сраженія и сообразивъ силу своей тактики и орудій съ шаткою позиціей атакованнаго непріятеля, совершенно успокоилась. Теперь она не сомнѣвалась, что, какъ по нотамъ, разыграетъ всю свою хитро-скомпанованную пьесу.

«Нашла дурака», думала матроска и молчала, выжидая, что̀ изъ всего этого отродится.

— Этотъ агнецъ кроткій въ стадѣ козлемъ, — шептала Долинскому Аксинья Тимоѳеевна, указывая при всякомъ удобномъ случаѣ на печальную Юлію.

— И нѣтъ достойной души, которая исторгла бы этого ангела, говорила она въ другой разъ.—Подлые все нынче люди стали, интересаны.

Пятаго декабря (многими замѣчено, что это — день осо-

бенныхъ несчастій) вечеркомъ Долинскій завернулъ къ Азовцовымъ. Матроски и Викторинушки не было дома, онѣ пошли ко всенощной, одна Юлія ходила по залѣ, прихотливо освѣщенной краснымъ огнемъ разгорѣвшихся въ печи дровъ.

— Что вы это... хандрите, кажется? — спросилъ ее, садясь противъ печки Долинскій.

— Нѣтъ, Несторъ Игнатьевичъ... некогда мнѣ хандрить; у меня настоящаго горя...

Юлочка прервала рѣчь проглоченною слезою.

— Что съ вами такое?—спросилъ Долинскій.

Юлія сѣла на диванъ и закрыла платкомъ лицо. Плечи и грудь ея подергивались, и было слышно, какъ она силится удержать рыданія.

— Да что съ вами? что у васъ за горе такое? — добивался Долинскій.

Раздались рыданія менѣе сдержанныя.

— Не подать ли вамъ воды?

— Д... д... да... й... те, судорожно захлебываясь, произнесла Юлочка.

Долинскій пошелъ въ другую комнату и вернулся съ свѣчою и стаканомъ воды.

— Погасите, пожалуйста, свѣчу, не могу смотрѣть, простонала Юлія, не отнимая платка.

Долинскій дунулъ, и картина осталась опять при одномъ красномъ, фантастическомъ полусвѣтѣ.

— А, а, ахъ!—вырвалось изъ груди Юліи когда она отпила полстакана и откинулась съ закрытыми глазами на спинку дивана.

— Вы успокойтесь, проронилъ Долинскій.

— Могила меня одна успокоитъ, Несторъ Игнатьичъ.

— Зачѣмъ все представлять себѣ въ такомъ печальномъ свѣтѣ?

Юлія плакала тихо.

— Полжизни, кажется, дала бы, говорила она тихо и не спѣша:—чтобъ только хоть годъ одинъ, хоть полгода... чтобъ только уйти отсюда, хоть въ омутъ какой-нибудь.

— Ну, что же, подождите, мы поищемъ вамъ мѣста. О чемъ же такъ плакать?

— Никуда меня, Несторъ Игнатьичъ, не пустятъ: нечего объ этомъ говорить, произнесла, сдѣлавъ горькую гримасу, Юлія и, хлебнувъ глотокъ воды, опять откинулась на спинку дивана.

— Отчего же не пустятъ?

Юлія истерически засмѣялась и опять поспѣшно проглотила воды.

— Отъ любви... отъ нѣжной любви... къ... къ... арендной статьѣ, произнесла она, прерывая свои слова порывами къ истерическому смѣху, и, выговоривъ послѣднее слово, захохотала.

Долинскій сорвался съ мѣста и бросился къ дверямъ въ столовую.

— Ос... остань... останьтесь! — торопливо процѣдила заикаясь Юлія.

— Это такъ... нич... ничего. Позвольте мнѣ еще воды.

Долинскій принесъ изъ столовой другой стаканъ; Юлія выпила его залпомъ и приняла свое положеніе.

Минутъ десять длилась пауза. Долинскій тихо ходилъ по комнатѣ, Юлія лежала.

— Боже мой! Боже мой! шептала она... хоть бы...

— Чего вамъ такъ хочется? — спросилъ, остановившись передъ ней Долинскій.

— Хоть бы буточникъ какой женился на мнѣ, докончила Юлія.

— Какія вы нынче странности, Юлія Петровна, говорите!

— Что-жъ тутъ, Несторъ Игнатьичъ, страннаго? Я очень хорошо знаю, что на мнѣ ни одинъ порядочный человѣкъ не можетъ жениться, а другого выхода мнѣ нѣтъ... рѣшительно нѣтъ! — отвѣчала Юлія съ сильнымъ напряженіемъ въ голосѣ.

— Отчего же нѣтъ? и отчего, наконецъ, порядочный человѣкъ на васъ не женится?

— Отчего? Гм! Оттого, Несторъ Игнатьичъ, что я нищая. Мало нищая, я побирашка, христорадница, *лгунья*; понимаете—*лгунья*, презрѣнная, гадкая *лгунья*. Вы знаете, въ чемъ прошла моя жизнь?—въ лганьѣ, въ нищебродствѣ, въ вымаливаньи. Вы не съумѣете такъ поцѣловать своей невѣсты, какъ я могу перецѣловать руки всѣхъ откупщиковъ... пусть только даютъ хоть по... пяти цѣлковыхъ.

— О, Господи! что это вы на себя за небылицы взводите, говорилъ сильно смущаясь Долинскій.

— Что это васъ такъ удивляетъ! *Это мой честный трудъ;* меня этому только учили; меня этому теперь учатъ. Вѣдь я же дочь! *Жизнью обязана;* помилуйте!

Вышла опять пауза. Долинскій молча ходилъ, что-то соображая и обдумывая.

— Теперь пилить меня замужествомъ!—начала какъ бы сама съ собою полушопотомъ Юлія. — Ну, скажите, ну, за кого я пойду? Ну, я пойду! ну, давайте этого дурака: пусть хоть сейчасъ женится.

— Опять!

— Да что-же такое! я говорю правду.

— Хорошій и умный человѣкъ, начала Юлочка: — когда узнаетъ насъ, за сто верстъ обѣжитъ. Вѣдь мы *ложь*, мы, Несторъ Игнатьичъ, самая воплощенная ложь! — говорила она, трепеща и приподнимаясь съ дивана. — Вѣдь у насъ въ домѣ все лжетъ, на каждомъ шагу лжетъ. Мать моя лжетъ, я лгу, Викторина лжетъ, все лжетъ... мебель лжетъ. Вонъ, видите это кресло, вѣдь оно также лжетъ, Несторъ Игнатьичъ! Вы, можетъ быть, думаете, шелки или бархаты тамъ какіе закрыты этимъ чехломъ, а выйдетъ, что дерюга. О, Боже мой, да я рѣшительно не знаю, право... Я даже удивляюсь, неужто мы вамъ еще не гадки?

Долинскій постоялъ съ секунду и, ничего не отвѣтивъ, снова заходилъ по комнатѣ. Юлинька встала, вышла и черезъ нѣсколько минутъ возвратилась съ свѣчою и книгою.

— Темно совсѣмъ; я думаю, скоро должны придти ото всенощной, проговорила она и стала листовать книжку, съ

очевиднымъ желаніемъ скрыть отъ матери и сестры свою горячую сцену и придать картинѣ самый спокойный характеръ.

Она перевернула нѣсколько листковъ и съ болѣзненнымъ усиліемъ даже разсмѣялась.

— Послушайте, Несторъ Игнатьичъ, вѣдь это забавно—

Вообрази, я здѣсь одна,
Меня никто не понимаетъ;
Разсудокъ мой изнемогаетъ
И молча гибнуть я должна.

— Нѣмъ, это не забавно, отвѣчалъ Долинскій, остановившись передъ Юлинькой.

— Вамъ жаль меня?

— Мнѣ прискорбна ваша доля.

— Дайте же мнѣ вашу руку, попросила Юлинька, и на глазахъ ее замигали настоящія, искреннія, художественныя слезы.

Долинскій подалъ свою руку.

— И мнѣ жаль васъ, Несторъ Игнатьичъ.—Человѣку съ вашимъ сердцемъ плохо жить на этомъ гадкомъ свѣтѣ.

Юлочка быстро выпустила его руку и тихо заплакала.

— Я и не желаю жить очень хорошо.

— Да, вы святой человѣкъ! Я никогда не забуду, сколько вы мнѣ сдѣлали добра.

— Ничего ровно.

— Не говорите мнѣ этого, Несторъ Игнатьичъ. Зачѣмъ это говорить! Узнавши васъ, я только и поняла все... все хорошее и дурное, свѣтъ и тѣни, вашу чистоту, и.:. все собственное ничтожество...

— Полноте, Бога-ради!

— И полюбила васъ... не какъ друга, не какъ брата, а... (Долинскій совершенно смутился). Юлинька быстро схватила его снова за руку, еще сильнѣе сжала ее въ своихъ рукахъ и съ слезами въ голосѣ договорила:—а какъ моего нравственнаго спасителя и теперь еще, можетъ быть въ послѣдній разъ, ищу у васъ, Несторъ Игнатьичъ, спасенія.

Юлинька встала, близко придвинулась къ Долинскому и сказала:

— Несторъ Игнатьичъ, спасите меня!

— Что вы хотите сказать этимъ? что я могу для васъ сдѣлать?

— Несторъ Игнатьичъ!.. Но вы вѣдь не разсердитесь, какая бы была моя просьба?

Долинскій сдѣлалъ головою знакъ согласія.

— Мы можемъ платить за уроки Викторины; вы не вѣрьте, что мы такъ бѣдны... а вы... не ходите къ намъ; оставьте насъ. Я васъ униженно, усердно прошу объ этомъ.

— Извольте, извольте, но зачѣмъ это нужно и какой предлогъ я придумаю?

— Какой хотите.

— И для чего?

— Для моего спасенія, для моего *счастія. Для моего счастія*, повторила она и засмѣялась сквозь слезы.

— Не понимаю!—произнесъ, пожавъ плечами, Долинскій.

— И не нужно, сказала Юлія.

— Я васъ стѣсняю?

— Да, Несторъ Игнатьичъ, вы создаете мнѣ новыя муки. Ваше присутствіе увеличиваетъ мою борьбу—ту борьбу, которой не должно быть вовсе. Я должна идти какъ ведетъ меня моя судьба, не раздумывая и не оглядываясь.

—Что это за загадки у васъ сегодня?

— Загадки! Отъ нищенки благодѣтели долгъ требуютъ.

— Ну-съ!

— Я вѣдь вотъ говорила, что я привыкла цѣловать откупщичьи руки... ну, а теперь одинъ благодѣтель хочетъ пріучить меня цѣловать его самого. Кажется, очень просто и естественно... Подросла.

— Ужасно!.. Это ужасно!

— Несторъ Игнатьичъ, мы нищіе.

— Ну, надо работать... лучше отказать себѣ во всемъ.

— Вы забываете, Несторъ Игнатьичъ, что мы *ничего* не умѣемъ дѣлать и *ни въ чемъ* не желаемъ себѣ отказывать.

— Но ваша мать, наконецъ!

— Мать! Моя мать твердитъ, что я *обязана ей жизнію* и должна заплатить ей за то, что она выучила меня побираться и... да, наконецъ, вѣдь она же не слѣпа, въ самомъ дѣлѣ, Несторъ Игнатьичъ! вѣдь она-жъ видитъ, въ какія меня ставятъ положенія.

Долинскій заходилъ по комнатѣ и вдругъ, круто повернувъ къ Юлинькѣ, произнесъ твердо:

— Вы бы хотѣли быть моею женою?

— Я!—какъ бы не понявъ и оторопѣвъ переспросила Юлинька.

— Ну, да; я васъ откровенно спрашиваю; лучше было бы вамъ, еслибы вы теперь были моею женою?

— Вашей женой! твоей женой! Это *ты* говоришь *мнѣ!* Ты — мое божество, мой геній хранитель! Не смѣйся, не смѣйся надо мною!

— Я не смѣюсь, отвѣчалъ ей Долинскій.

Юлинька взвизгнула, упала на его грудь, обняла его за шею и тихо зарыдала.

— Тсс, господа! господа!—заговорилъ за спиною Долинскаго подхалимственный голосъ Аксиньи Тимоѳеевны, которая, какъ выпускная кукла по пружинкѣ, вышла какъ разъ на эту сцену въ залу.—Ставни не затворены,—продолжала она въ мягко-наставительномъ тонѣ:—подъ окнами еще народъ слоняется, а вы этакъ... Нехорошо такъ неосторожно дѣлать —прошептала она какъ нельзя снисходительнѣе и опять исчезла.

Не смотря на то, что дипломатическая Юлочка, разыгрывая въ первый разъ и безъ репетиціи новую сцену, чуть не испортила свою роль перебавленнымъ театральнымъ эффектомъ, Долинскій былъ совершенно обманутъ. Сконфуженный неожиданнымъ страстнымъ порывомъ Юлочки и еще болѣе неожиданнымъ явленіемъ Аксиньи Тимоѳеевны, онъ вырвался изъ горячихъ юлочкиныхъ объятій и прямо схватился за шапку.

— Боже мой! Аксинья Тимоѳеевна все видѣла! Она пер-

вая сплетница, она всѣмъ все разболтаетъ, шептала между тѣмъ, стоя на прежнемъ мѣстѣ, Юлочка.

— Что-жъ такое? это все равно, пробурчалъ Долинскій.—Прощайте.

— Куда же вы? Куда ты! Подожди минутку.

— Нѣтъ, прощайте.

Долинскій ничего не слушалъ и убѣжалъ домой.

По выходѣ Долинскаго Юлинька возвратилась назадъ въ залъ, остановилась среди комнаты, заложила за затылокъ руки, медленно потянулась и стукнула каблучками.

— Вотъ ужъ именно что можно чести приписать, заговорила, тихо выползая изъ темной комнаты, Аксинья Тимоѳеевна.

Юлочка нервно вздрогнула и сердито оторвала:

— Фу, какъ вы всегда перепугаете съ своимъ ползаньемъ!

— Однако, сдѣлайте же ваше одолженіе: что же онъ обо мнѣ подумаетъ?—говорила Юлинькѣ ночью матроска, выслушавъ отъ дочери всю сегодняшнюю вечернюю исторію въ сокращенномъ разсказѣ.

— А вамъ очень нужно что онъ о васъ подумаетъ? — отвѣчала презрительно, смотря черезъ плечо на свою мать, Юлинька.

— Нужно или не нужно, но вѣдь я же, однако, не торгую моими дѣтьми.

— Не торгуете! Молчите ужъ, пожалуйста!

— Торгую!—крикнула азартно матроска.

— Ну, такъ *заторгуете*, если будете глупы, отвѣчала спокойно Юлія.

Однимъ словомъ, Долинскій сталъ женихомъ и извѣстилъ объ этомъ сестру.

— Да спасетъ тебя Господь Богъ отъ такой жены, отвѣчала Долинскому сестра.—Какъ ты съ ними познакомился? Я знаю эту фальшивую, лукавую и безсердечную дѣвчонку. Она вся ложь, и ты съ нею никогда не будешь счастливъ.

Долинскому въ первыя минуты показалось, что въ сло-

вахъ сестры есть что-то основательное, но потомъ показалось опять, что это какое нибудь провинціальное предубѣжденіе. Онъ не хотѣлъ скрывать это письмо и показалъ его Юлинькѣ; та прочла все отъ строки до строки съ спокойнымъ, яснымъ лицомъ, и, кротко улыбнувшись, сказала:

— Вотъ видишь, въ какомъ свѣтѣ я должна была казаться. Вѣрь чему хочешь, — добавила она со вздохомъ, возвращая письмо.

«Не умѣю высказать, какъ я рада, что могу тебѣ послать доказательство, что такое твоя невѣста—писала Долинскому его сестра черезъ недѣлю.—Вдобавокъ ко всему она вѣчно была эффектница и фантазерка и вотъ провралась самымъ достойнымъ образомъ. Прочитай ея собственное письмо и, ради всего хорошаго на свѣтѣ, Бога ради не дѣлай несчастнаго шага».

При письмѣ сестры было приложено другое письмецо Юлиньки къ той самой пріятельницѣ, которая всегда служила для нея помойной ямой.

«Я наконецъ выхожу замужъ — писала Юлинька между прочимъ.—Моя нѣжная родительница распорядилась всѣмъ по своему обыкновенію и сама безъ моего вѣдома дала за меня слово, не считая нисколько нужнымъ спросить мое сердце. Черезъ мѣсяцъ, для блага матери и сестры, я буду *madame Долинская*. Будущій мужъ мой человѣкъ очень неглупый и на хорошей дорогѣ; но ужасно не развитъ, и мы съ нимъ не пара ни по чему. Живя съ нимъ, я буду исполнять мой долгъ и недостатокъ любви замѣню заботою о его развитіи, но жизнь моя будетъ, конечно, одно сплошное страданіе. Любить его, увы, я, разумѣется, не могу. Какъ я понимаю любовь, такъ любятъ одинъ разъ въ жизни; но... я, можетъ быть, привыкну къ нему и помирюсь съ грустной необходимостью. Моя вся жизнь, вѣрно, жертва и жертва—и кому? Что онъ? Что видитъ въ немъ моя мать и почему предпочитаетъ его всѣмъ другимъ женихамъ, которые мнѣ здѣсь надоѣдаютъ, и между которыми есть люди очень богатые, просвѣщенные и съ прекраснымъ свѣтскимъ

положеніемъ? Я просто не умѣю понять ничего этого и иду, яко овца, на закланіе».

Долинскій запечаталъ это письмо и отослалъ его Юлинькѣ; та получила его за обѣдомъ, и какъ взглянула, такъ и остолбенѣла.

— Что̀ это?—спросила ее матроска, поднося къ своимъ рачьимъ глазамъ упавшее на полъ письмо. «Милая Устя!»—прочла она, и сейчасъ же воскликнула: А! вѣрно, опять романтическія сочиненія!

— Оставьте!—крикнула Юлинька и, вырвавъ изъ рукъ матери письмо, торопливо изорвала его въ лепесточки.

— Да ужъ это такъ! Героиня!

Юлинька накинула на себя капотъ и шубку.

— Куда?!—крикнула матроска.—Къ милому? обниматься? Теперь прости, молъ, голубчикъ!

— А хоть бы и обниматься!—отвѣчала, проходя, Юлинька, и исчезла за дверью.

— Ты у меня, Викторина, смотри! — заговорила, стуча ладонью по столу, матроска.—Если еще ты, мерзавка, будешь похожа на эту змѣю, я тебя, шельму, пополамъ переpву. На одну ногу стану, а другую оторву.

Викторина молчала, а Юлинька въ это время именно обнималась.

— Это была шутка, я нарочно хотѣла попытать мою глупенькую Устю, хотѣла узнать, что̀ она скажетъ на такое вовсе непохожее на меня письмо; а онѣ, сумасшедшія, подняли такой гвалтъ и тревогу!—говорила Юлинька, весело смѣясь въ лицо Долинскому.

Потомъ она расплакалась, упрекала жениха въ подозрительности, довела его до того, что онъ же самъ началъ просить у нея прощенія, и потомъ она его, какъ слабое существо, простила, обняла, поцѣловала, и еще поцѣловала, и столь увлеклась своею добротою, что пробыла у Долинскаго до полуночи.

Матроска ожидала дочь и, не смотря на поздній для нея часъ, съ азартомъ вязала толстый шерстяной чулокъ. По

сердитому стуку вязальныхъ прутиковъ и электрическому трепетанію сѣраго крысинаго хвоста, торчавшаго на матроскиной макушкѣ, видно было, что эта почтенная дама весьма въ тревожномъ положеніи. Когда у подъѣзда раздался звонокъ, она сама отперла дверь, впустила Юлочку, не сказавъ ей ни одного слова, вернулась въ залу, и только когда та прошла въ свою комнату, матроска не выдержала и тоже явилась туда за нею.

— Ну, что жъ?—спросила она, тяжело разсаживаясь на щупленькомъ креслицѣ.

— Пожалуйста, не рвите чехла; его ужъ и такъ болѣе чинить нельзя, отвѣчала, мало обращая вниманія на ея слова, Юлія.

— Не о чехлахъ, сударыня, дѣло, а о васъ самихъ, возвысила голосъ матроска, и крысиный хвостикъ закачался на ея макушкѣ.

— Пожалуйста, безпокойтесь обо мнѣ поменьше; это будетъ гораздо умнѣе.

— Да-съ, но когда жъ этотъ болванъ, наконецъ, рѣшится?

Юлинька помолчала и, спокойно свертывая косу подъ ночной чепецъ, тихо сказала:

— Дней черезъ десять можете потребовать, чтобы свадьба была немедленно.

Матроска, прищуривъ глаза, язвительно посмотрѣла на свою дочь и произнесла:

— Значитъ, ужъ спроворила, милая?

— Дѣлайте, что́ вамъ говорятъ, отвѣтила Юлинька и, бросивъ на мать совершенно холодный и равнодушный взглядъ, сѣла писать Устѣ ласковое письмо о ея непростительной легковѣрности.

— Готовъ Максимъ и шапка съ нимъ, ядовито проговорила, вставая и отходя въ свою комнату, матроска.

Черезъ мѣсяцъ Юлинька женила на себѣ Долинскаго, который, послѣ ночного посѣщенія его Юлинькой, уже не колебался въ выборѣ, что̀ ему дѣлать, и рѣшилъ, что сила

воли должна заставить его загладить свое увлеченіе. Счастья онъ не ожидалъ и его не послѣдовало.

Мѣсяца медоваго у Долинскаго не было. Юлинька сдерживалась съ нимъ, но онъ все-таки не могъ долго заблуждаться и видѣлъ бѣду неминучую. А между тѣмъ Юлинька никакъ не могла полюбить своего мужа, потому что женщины ея закала не терпятъ, даже презираютъ въ мужчинахъ характеры искренніе и добрые, и эффектный порокъ для нихъ гораздо привлекательнѣе; а о томъ, чтобы щадить мужа, хоть не любя, но уважая его, Юлинька, конечно, вовсе и не думала: окончивъ одну комедію, она бросалась за другую и входила въ свою роль. Мать и сестру она оставила при себѣ, находя, что этакъ будетъ приличнѣе и экономнѣе. Викторина, дѣйствительно, была полезна въ домѣ, а матроска нужна. Первыя слезы Юлиньки пали на сердце Долинскаго за визиты ея родственникамъ и благодѣтелямъ, которыхъ Долинскій не хотѣлъ и видѣть. Матроска влетѣла и ощипала Долинскаго какъ мокраго пѣтуха.

— Этакъ, милостивый государь, съ своими женами одни мерзавцы поступаютъ! — крикнула она, не говоря худого слова, на зятя. (Долинскій сразу такъ и оторопѣлъ. Онъ сроду не слыхивалъ, чтобы женщина такъ выражалась).— Вашъ долгъ показать людямъ, — продолжала матроска, — какъ вы уважаете вашу жену, а не поворачиваться съ нею какъ воръ на ярмаркѣ. Что́, вы стыдитесь моей дочери, или она вамъ не пара?

— Я думаю, мой долгъ жить съ женою дружески, а не стараться кому-нибудь это показывать. Не все ли равно, кто что́ о насъ думаетъ?

— Покорно васъ благодарю! покорнѣйше-съ васъ благодарю-съ! — замотавъ головою разъярилась матроска. — Это значитъ—вамъ все равно, что̀ моя дочь, что̀ Любашка.

— Какая такая Любашка?

— Ну, что́ бѣлье вамъ носила; думаете—не знаю?

— Фу, какая грязь!

— Да-съ! А вы бы, если вы человѣкъ такихъ хорошихъ

правилъ, такъ не торопились бы до свадьбы-то въ права мужа вступать, такъ это лучше бы-съ было, честнѣе. А и тебѣ, дурѣ, ништо, ништо, ништо, оборотилась она къ дочери.—Рюмь, рюмь теперь, а вотъ, погоди немножко, какъ корсажи-то въ платьяхъ придется разставлять, такъ и совсѣмъ тебя будетъ прятать.

Долинскій вскочилъ и послалъ за каретой. Юлинька дѣлала визиты съ заплаканными глазами, и своимъ угнетеннымъ видомъ ставила мужа въ положеніе весьма странное и неловкое. Въ откупномъ мірѣ матроскиныхъ благодѣтелей Долинскій не понравился.

— Какой-то совсѣмъ неискательный, отозвался о немъ главный благодѣтель, котораго Юлинька поклепала ухаживаніемъ за нею.

Матроска опять дала зятю встрепку.

— Своихъ отряхъ, учителишекъ, умѣете примѣчать, а людей, которые всей вашей семьѣ могутъ быть полезны, отталкиваете, наступала она на Долинскаго.

Юлинька въ глаза всегда брала сторону мужа и просила его не обращать вниманія на эти грубыя выходки грубой женщины. Но на самомъ дѣлѣ каждый изъ этихъ маневровъ всегда производился по непосредственной иниціативѣ и подробнѣйшимъ инструкціямъ самой Юлиньки. По ея соображеніямъ, это былъ хорошій и вѣрный методъ обезличить кроткаго мужа, насколько нужно, чтобы распоряжаться по собственному усмотрѣнію, и въ то же время довести свою мать до совершенной остылицы мужу и въ удобную минуту немножко попустить его, такъ, чтобы не она, а *онъ* бы выгналъ матроску и Викторинушку изъ дома. Роды перваго ребенка показали Юліи, что мужъ ея уже обшколенъ весьма удовлетворительно, и что теперь она сама, безъ материнаго посредства, можетъ обращаться съ нимъ какъ ей угодно. Дней черезъ двѣнадцать послѣ родовъ, она вышла съ сестрою изъ дома, гуляла очень долго, наѣлась султанскихъ фиников и, возвратясь, заболѣла. Тутъ у нея въ этой болѣзни оказались виноватыми всѣ, кромѣ ея

самой: мать, что не удержала; акушерка — что не предупредила и мужъ, должно-быть, въ томъ, что не вернулъ ее домой за ухо.

— Я же чѣмъ виноватъ?—говорилъ Долинскій.

— Вы ничѣмъ не виноваты!.. крикнула Юлинька. — А вы съѣздили къ акушеру? разспросили вы, какъ держаться женѣ? посовѣтовались вы... прочитали вы? да прочитали вы, напримѣръ, что-нибудь о беременной женщинѣ? вообще позаботились вы? позаботились? Кому-съ, я васъ спрашиваю, я всѣмъ этимъ обязана?

— Чѣмъ?—удивлялся мужъ.

— Чѣмъ?.. Ненавистный человѣкъ! Еще онъ спрашиваетъ: *чѣмъ?*.. Только съ нѣжностями своими противными умѣетъ лѣзть, а удержать жену отъ неосторожности — не его дѣло.

— Я полагаю, что это всякая женщина сама знаетъ, что черезъ двѣ недѣли послѣ родовъ нельзя дѣлать такихъ прогулокъ, отвѣчалъ Долинскій.

— Это у васъ, ваши кіевскія тихони все знаютъ, а я ничего не знала. Если бъ я знала болѣе, такъ вы, навѣрно, со мною не сдѣлали бы всего, что̀ хотѣли.

— Ого-го-го! Забыли, видно, батюшка, ваши благородныя дѣянія-то!—подхватила изъ другой комнаты матроска.

— Ахъ, убирайтесь вы всѣ вонъ!—закричала Юлія.

Долинскій махалъ рукою и уходилъ къ себѣ въ канурку, отведенную ему для кабинета.

Автономіи его рѣшительно не существовало, и жизнь онъ велъ прегорькую-горькую. Дома онъ сидѣлъ за работою, или выходилъ на уроки, а не то такъ, или сопровождалъ жену, или занималъ ея гостей. Матроска и Юлинька, какъ тургеневская помѣщица, были твердо увѣрены, что супруги

Не другъ для друга созданы:
Нѣтъ—*мужъ устроенъ для жены,*

и ни для кого больше, ни для міра, ни для себя самого даже. Товарищей Долинскаго принимали холодно, небрежно и, наконецъ, даже часто вовсе не принимали. Новыя зна-

комства, завязанныя Юлинькою съ разными тонкими цѣлями, не нравились Долинскому, тѣмъ болѣе, что ради этихъ знакомствъ его заставляли быть «искательнымъ», что̀ вовсе было и не въ натурѣ Долинскаго и не въ его правилахъ. Къ тому же, Долинскій очень хорошо видѣлъ, какъ эти новые знакомые часто безцеремонно третировали его жену и даже нерѣдко въ глаза открыто смѣялись надъ его тещей; но ни остановить чужихъ, ни обрезонить своихъ онъ рѣшительно не умѣлъ. А матроскѣ положительно не везло въ гостиной; что̀ она ни станетъ разсказывать о своихъ аристократическихъ связяхъ—все выходитъ какимъ-то нелѣпѣйшимъ вздоромъ, и къ тому же, въ этомъ же самомъ разговорѣ вздумавшая аристократничать матроска, какъ нарочно, стеариновую свѣчу назоветъ *стерлиновою*, вмѣсто сиропа — *суропъ*, вмѣсто камфина — *канхинъ*. Съѣздила матроска одинъ разъ въ театръ и послѣ цѣлый годъ разсказывала, что она была въ театрѣ на *Эспанскомъ дворянинѣ*; желая похвалиться, что ея Петрушу примутъ въ училище Правовѣдѣнія, она говорила, что его примутъ въ училище *Праловѣдѣнія*, и тому подобное, и тому подобное.

Прошелъ еще годъ, Долинскій совсѣмъ сталъ неузнаваемъ. «Брошу», рѣшалъ онъ себѣ не разъ послѣ трепокъ за неискательность и недостатокъ средствъ удовлетворенію расширявшихся требованій Юліи Петровны, но тутъ же опять вставалъ у него вопросъ: «а гдѣ же твердая воля мужчины?» Да въ томъ-то и будетъ твердая воля, чтобы освободиться изъ этой уничтожающей среды, рѣшалъ онъ, и сейчасъ же опять запрашивалъ себя: развѣ болѣе воли нужно, чтобъ уйти, чѣмъ съ твердостью и достоинствомъ выносить свое тяжкое положеніе? А между тѣмъ, явился другой ребенокъ. Долинскій, въ качествѣ отца двухъ дѣтей, сталъ подвергаться сугубому угнетенію и, наконецъ, не выдержалъ и собрался ѣхать съ письмами жениныхъ благодѣтелей въ Петербургъ. Долинскій собрался скоро, торопливо, какъ бы боялся, что онъ останется, что его что-то

задержитъ. Пріѣхавъ въ Петербургъ, онъ никуда не пошелъ съ письмами благодѣтелей, но освѣжился, одумался и въ откровенную минуту высказалъ все свое горе одному старому своему дѣтскому товарищу, земляку и другу, художнику Ильѣ Макаровичу Журавкѣ, человѣку очень доброму, пылкому, суетливому и немножко смѣшному.

— Одно средство, братецъ мой, вамъ другъ съ другомъ разстаться,—отвѣчалъ, выслушавъ его исповѣдь, Журавка.

— Это, Ильюша, легко, братъ, сказать.

— А сдѣлать еще легче.

Долинскій походилъ и въ раздумьѣ произнесъ:

— Не могу, какъ-то все это съ одной, будто, стороны такъ, а съ другой—опять.

— Пф! да брось, братецъ, брось, вотъ и вся недолга, либо заплеснѣвѣешь, бабы ѣздить на тебѣ будутъ! воскликалъ Журавка.

Поживя мѣсяцъ въ Петербургѣ, Долинскій чувствовалъ, что, дѣйствительно, нужно собрать всю волю и уйти отъ людей, съ которыми жизнь мука, а не спокойный трудъ и не праздникъ.

— Ну, положимъ такъ, говорилъ онъ,—положимъ, я бы и рѣшился, оставилъ бы жену, а дѣтей же какъ оставить?

— Дѣтей обезпечь, братецъ.

— Чѣмъ, чѣмъ, Илья Макарычъ?

— Деньгами, разумѣется.

— Да какія же деньги, гдѣ я ихъ возьму?

— Пф! хочешь десять тысячъ обезпеченія, сейчасъ, хочешь?

— Ну, ну, давай.

— Нѣтъ, ты говори коротко и узловато: хочешь или не хочешь?

— Да, давай, давай.

— Стало-быть, хочешь?

— Да ужъ, конечно, хочу.

— Идетъ, и да будетъ тебѣ, яко же хощеши! Послѣзавтра у твоихъ дѣтей десять тысячъ обезпеченія, супругѣ

давай на дѣтское воспитаніе, а самъ живи во славу Божію; ступай въ Италію, тамъ, братъ, итальяночки... уххъ, одними глазами такъ и вскипятитъ иная! Я тебѣ скажу, наши-то женщины, братецъ, вѣдь, если по правдѣ говорить, все-таки, вѣдь, дрянь.

— А я думаю, — говорилъ на другой день Долинскій Журавкѣ,—я думаю, точно ты правъ, надо, вѣдь, это дѣло покончить.

— Да какъ же, братецъ, не надо?

— То-то, я всю ночь продумалъ и...

— Ты, пожалуйста, ужъ лучше и не раздумывай.

Черезъ два дня въ рукахъ Долинскаго былъ полисъ на его собственную жизнь, застрахованную въ десять тысячъ рублей, и предложеніе редакціи одного большого изданія быть корреспондентомъ въ Парижѣ.

Долинскій, какъ всѣ несильные волею люди, старался исполнить свое рѣшеніе какъ можно скорѣе. Онъ перемѣнилъ паспортъ и уѣхалъ за границу. Во все это время онъ ни малѣйшимъ образомъ не выдалъ себя женѣ; извѣщалъ ее, что онъ хлопочетъ, что ему даютъ очень выгодное мѣсто, и только въ день своего отъѣзда вручилъ Ильѣ Макаровичу конвертъ съ письмомъ слѣдующаго содержанія:

«Я, наконецъ, долженъ сказать вамъ, что я нашелъ себѣ очень выгодное мѣсто и отправляюсь къ этому мѣсту, не заѣзжая въ Москву. Главная выгода моего мѣста заключается въ томъ, что вы его никогда не узнаете, а если узнаете, то не можете меня болѣе мучить и терзать. Я васъ оставляю навсегда за вашъ дурной нравъ, жестокость и лукавство, которые мнѣ ненавистны и которыхъ я болѣе переносить не могу. Ссориться и браниться я не пріученъ, а на великодушіе, хотя бы даже въ далекомъ будущемъ, я не надѣюсь, и потому просто бѣгу отъ васъ. На случай моей смерти оставляю моему извѣданному другу полисъ страхового общества, которое уплатитъ моимъ дѣтямъ десять тысячъ рублей; а пока живъ, буду высылать вамъ на ихъ воспитаніе столько, сколько позволятъ мнѣ мои средства.

«Не выражаю вамъ никакихъ доброжелательствъ, чтобы вы не приняли ихъ за насмѣшку, но ручаюсь вамъ, что не питаю къ вамъ, ни къ вашему семейству ни малѣйшей злобы. Я хочу только, чтобы мы, какъ люди совершенно несходныхъ характеровъ и убѣжденій, не мѣшали другъ другу, и вы сами вскорѣ увидите, что для васъ въ этомъ нѣтъ рѣшительно никакой потери. Я знаю, что я неспособенъ ни состроить себѣ служебную карьеру, ни нажить денегъ, съ которыми можно бы не нуждаться. Вы ошиблись во мнѣ, я—въ васъ. Не будемте безполезно упрекать ни себя, ни другъ друга, и простимтесь, утѣшая себя, что передъ нами раскрывается снова жизнь, если и не счастливая, то, по крайней мѣрѣ, не лишенная того высшаго права, которое называется свободою совѣсти и которое, къ несчастію, люди такъ мало уважаютъ другъ въ другѣ.»

«Н. Долинскій.»

С.-Петербургъ.

Такъ покончилась семейная жизнь человѣка, встрѣченнаго Дорушкою уже послѣ четырехлѣтняго его житья въ Парижѣ.

Въ Россію Долинскій еще боялся возвращаться, потому что даже и изъ-за границы ему два или три раза приводилось давать въ посольствѣ непріятныя и тяжелыя объясненія по жалобамъ жены.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Главныя лица романа знакомятся ближе.

Продолжаемъ прерванную повѣсть.

Домъ, въ которомъ Анна Михайловна съ своею сестрою жила въ Парижѣ, былъ изъ новыхъ домовъ Rue de l'Ouest. Въ немъ съ улицы не было воротъ, но тотчасъ, перешагнувъ за его красиво-отдѣланныя, тяжелыя двери, открывался маленькій дворикъ, почти весь занятый большою цвѣточною клумбою; направо была красивенькая клѣтка, въ которой жила старая concierge, а налѣво дверь и лег-

кая спиральная лѣстница. Черезъ два дня послѣ свиданія съ Прохоровыми, Долинскій съ несовсѣмъ довольнымъ лицомъ медленно взбирался по этой ажурной лѣстницѣ и позвонилъ у одной двери въ третьемъ этажѣ. Его ввели черезъ небольшой коридорчикъ въ очень просторную и хорошо меблированную комнату, передѣленную густою шерстяною драпировкою.

По комнатѣ, на диванѣ и на стульяхъ, лежали кучи лентъ, цвѣтовъ, синели, рюшу и разной галантерейщины; на столѣ были набросаны выкройки и узоры, передъ которыми, опустивъ въ раздумьѣ голову, стояла сама хозяйка. Немного нужно было имѣть проницательности, чтобы отгадать, что Анна Михайловна стоитъ въ этомъ положеніи не одну минуту, но что не узоры и не выкройки занимаютъ ея голову.

При входѣ Долинскаго, Анна Михайловна покраснѣла, какъ институтка, и сказала:

— Ахъ, извините Бога ради, у насъ такой ералашный безпорядокъ.

Долинскій ничего не отвѣтилъ на это, но, взглянувъ на Анну Михайловну, только подумалъ: «а какъ она дивно хороша, однако».

Анна Михайловна была одѣта въ простое коричневое платье съ высокимъ лифомъ подъ душу, и ея черные волосы были гладко причесаны за уши. Этотъ простой уборъ, впрочемъ, шелъ къ ней необыкновенно и прекрасная наружность Анны Михайловны, дѣйствительно, могла бы остановить на себѣ глаза каждаго.

— Пожалуйста, садитесь, сестры дома нѣтъ, но она сейчасъ должна вернуться, говорила Анна Михайловна, собирая со стола свои узоры.

— Я, кажется, совсѣмъ не во-время?—началъ Долинскій.

— А, нѣтъ! Вы, пожалуйста, не обращайте на это вниманія, мы вамъ очень рады.

Долинскій поклонился.

— Дорушка еще вчера васъ поджидала. Вы курите?

— Курю, если позволите.

— Сдѣлайте милость.

Долинскій зажегъ папироску.

— Дора все не дождется, чтобы помириться съ вами,— начала хозяйка.

— Это, если я отгадываю, все о луврской еще встрѣчѣ?

— Да, сестра моя ужасно сконфужена.

— Это пресмѣшной случай.

— Ахъ, она такая...

— Непосредственная, кажется, подсказалъ, улыбаясь, Долинскій.

— Даже черезчуръ иногда, — замѣтила снисходительно Анна Михайловна.—Но вы не повѣрите, какъ ей совѣстно, что̀ она надѣлала.

Долинскій хотѣлъ отвѣтить, что объ этомъ даже и говорить не сто̀итъ, но въ это время послышался колокольчикъ и звонкій контральтъ запѣлъ въ коридорчикѣ:

Если жизнь тебя обманетъ,
Не печалься, не сердись.
Въ день несчастія смирись,
День веселья, вѣрь, настанетъ.

— Вотъ и она, сказала Анна Михайловна.

На порогѣ показалась Дорушка въ легкомъ бѣломъ платьѣ съ своими оригинальными красноватыми кудрями, распущенными по волѣ, съ снятой съ головы соломенной шляпой въ одной рукѣ и съ картонкой въ другой.

— А-а!—произнесла она протяжно при видѣ Долинскаго и остановилась у двери.

Гость всталъ съ своего мѣста.

— Стар... Стар... нѣтъ, все не могу выговорить вашего имени.

— Несторъ, произнесъ, разсмѣявшись, Долинскій.

— Да, да, есть Несторъ-Лѣтописецъ.

— То-есть—былъ; но это во всякомъ случаѣ не я.

— Я это ужъ сообразила, что вы, должно-быть, совершенно отдѣльный, особенный Несторъ. Ахъ, Несторъ

Игнатьичъ, я передъ вами на колѣни сейчасъ опущусь, если вы меня не простите.

— Помилуйте, вы только заставляете меня краснѣть отъ этихъ вашихъ просьбъ.

— О, если вы это безъ шутокъ говорите, то вы просто покорите мое сердце своею добродѣтелью.

— Увѣряю васъ, что я ужъ забылъ объ этомъ.

— Въ такомъ случаѣ, Полканушка, дай лапу.

Анна Михайловна неодобрительно качнула головою, на что́ не обратили вниманія ни Долинскій, ни Дорушка, крѣпко и весело сжимавшіе поданныя другъ другу руки.

— А моя сестра ужъ, вѣрно, морщится, что мы дружимся, — проговорила Дора, и, взглянувъ въ лицо сестры, добавила:—такъ и есть, вотъ удивительная женщина, никогда она, кажется, не будетъ вѣрить, что я знаю, что̀ дѣлаю.

— Ты знала, что̀ дѣлала, и тогда, когда разсуждала о monsieur Долинскомъ.

— Это въ первый разъ случилось, но, впрочемъ, вотъ видишь, какъ все хорошо вышло: теперь у меня есть русскій другъ въ Парижѣ. Вѣдь, мы друзья, правда?

— Правда, отвѣчалъ Долинскій.

— Вотъ видишь, Аня. Я говорю, что всегда знаю, что̀ я дѣлаю. Я женщина практичная—и это правда. Вы хотите мароновъ? спросила она Долинскаго, опуская въ карманъ руку.

— Нѣтъ-съ, не хочу.

— Тепленькіе совсѣмъ еще.

— Все-таки покорно васъ благодарю.

— Зачѣмъ ты покупаешь эту дрянь, Дора?—вмѣшалась Анна Михайловна.

— Я совсѣмъ ихъ не покупаю, это мнѣ какой-то французъ подарилъ.

— Какой это у тебя еще французъ завелся?

— Не знаю, глупый, должно-быть, какой-то, далеко-далеко меня провожалъ и все глупости какія-то вретъ. Зав-

тракать съ собой звалъ, а я не пошла, велѣла себѣ тутъ, на этомъ углу, въ лавочкѣ, мароновъ купить и пожелала ему счастливо оставаться на улицѣ.

— Вотъ видите, какъ она знаетъ, что̀ дѣлать, произнесла Анна Михайловна. — Только того и ждешь, что налетитъ на какую-нибудь исторію.

— Пустяки это, съѣдомое всегда можно брать, особенно у француза.

— Почему же особенно у француза?

— Потому что онъ, во-первыхъ, глупъ, а, во-вторыхъ, это ему удовольствіе доставляетъ.

— И тебѣ тоже?

— Нѣкоторое.

— А если этотъ французъ тебѣ сдѣлаетъ дерзость?

— Не смѣетъ.

— Отчего же не смѣетъ?

— Такъ, не смѣетъ — да и только. Вы давно за границею?—обратилась она опять къ Долинскому.

— Скоро четыре года.

— Ой, ой, ой, это одурѣть можно.

Анна Михайловна засмѣялась и сказала:

— Вы ужъ, monsieur Долинскій, теперь насъ извиняйте за выраженія; мы, какъ видите, скоро дружимся и, подружившись, всѣ церемоніи сразу въ сторону.

— Сразу, серьезно подтвердила Дора.

— Да, у насъ съ Дарьей Михайловной все вдругъ дѣлается. Я того и гляжу, что она когда-нибудь пойдетъ два аршина лентъ купить, а мимоходомъ зайдетъ въ церковь, да съ кѣмъ-нибудь обвѣнчается и вернется съ мужемъ.

— Нѣтъ-съ, этого, душенька, не случится, отвѣчала, сморщивъ носикъ, Дора.

— Охъ, а все-таки что-то страшно, шутила Анна Михайловна.

— Во-первыхъ, выкладывала по пальцамъ Дора, — на мнѣ никогда никто не женится, потому что по множеству

разныхъ пороковъ я неспособна къ семейной жизни, а, во-вторыхъ, я и сама ни за кого не пойду замужъ.

— Какое суровое рѣшеніе!—произнесъ Долинскій.

— Самое гуманное. Я знаю, что́ я дѣлаю; не безпокойтесь. Я увѣрена, что я въ полгода или бы уморила своего мужа, или бы умерла сама, а я жить хочу—жить, жить и пѣть.

Дорушка подняла вверхъ ручку и пропѣла:

Золотая волюшка мнѣ милѣй всего.
Не надо мнѣ съ волею въ свѣтѣ ничего.

— Вотъ, начала она, — я почти такъ же велика, какъ Шекспиръ. У него Гамлетъ говоритъ, чтобъ никто не женился, а я говорю—пусть никто не выходитъ замужъ. Совершенно справедливо, что если выходить замужъ, такъ надо выходить за дурака, а я дураковъ терпѣть не могу.

— Почему же непремѣнно за дурака? — спросилъ Долинскій.

— А потому, что умные люди больше не будутъ жениться.

— Триста лѣтъ близко, какъ нашъ Гамлетъ положилъ зарокъ людямъ не жениться, а видите, все люди и женятся, и замужъ выходятъ.

— Ну, да, все потому, что люди еще очень глупы, потому что посвистываетъ у нихъ въ лбахъ-то, резонировала Дора.—Умный человѣкъ всегда знаетъ, что онъ дѣлаетъ, а дураки—дураки всегда охотники жениться. Вѣдь, вы вотъ, полагаю, не женитесь?

— Нѣтъ-съ, не женюсь, отвѣчалъ, немного покраснѣвъ, Долинскій.

— А-а, то-то и есть. Даже вонъ въ краску васъ бросило при одной мысли, а скажите-ка, отчего вы не женитесь? оттого, что вы не хотите попасть въ дураки?

— Нѣтъ, оттого, что я женатъ, еще болѣе покраснѣвъ и засмѣявшись, отвѣчалъ Долинскій.

Дорушка быстро откинулась, значительно закусила свою

нижнюю губку и, вспрыгнувъ съ своего мѣста, юркнула за драпировку.

Долинскій обтиралъ выступившій у него на лбу потъ и смѣялся самымъ веселымъ, искреннимъ смѣхомъ. Анна Михайловна сидѣла совершенно переконфуженная и ворочала что-то въ своей рабочей корзинкѣ. Щеки ея до самыхъ ушей были покрыты густымъ пунцовымъ румянцемъ.

Секунды три длилась тихая пауза.

— Нѣтъ, это ужъ чортъ знаетъ что такое! — крикнула изъ-за драпировки Дорушка голосомъ, въ которомъ звучали и насилу сдерживаемый смѣхъ, и досада.

— Да, все это оттого, что ты всегда знаешь, что̀ ты дѣлаешь!—тихо проговорила съ упрекомъ Анна Михайловна.

Долинскій опять разсмѣялся и вслѣдъ затѣмъ послышался несдержанный смѣхъ самой Доры. Аннѣ Михайловнѣ тоже измѣнила ея физіономія, она улыбнулась и съ упрекомъ проронила:

— Чудо, какъ умно!

— Что-жъ, «*чудо, какъ умно!*» — заговорила, появляясь между полами драпировки, смѣющаяся Дора.

— Очень умно, повторила Анна Михайловна.

— Да развѣ же я виновата, оправдывалась Дора,—что насталъ такой вѣкъ, что никакъ не наспасешься? Кто ихъ знаетъ, какъ они такъ женятся, что это по нихъ незамѣтно! Ну, чего, ну, что это вы женились и не сказываете объ этомъ пріятномъ происшествіи? обратилась она къ смѣющемуся Долинскому и сама расхохоталась снова.

— Да нѣтъ, это вы вышиваете, продолжала она, махнувъ ручкой.

— Ну, не вѣрьте.

— И не вѣрю, отвѣчала Дора.—Мнѣ даже этакъ удобнѣе.

— Что это, не вѣрить?

— Конечно; а то, Господи, что же это въ самомъ дѣлѣ за напасть такая! Опять бы надо во второй разъ передъ однимъ и тѣмъ же господиномъ извиняться. Не вѣрю.

— Да совершенно не въ чемъ-съ извиняться. Вы мнѣ только доставили искреннее удовольствіе посмѣяться, какъ я давно не смѣялся, отвѣчалъ Долинскій.

Хозяйки, по-русски, оставили Долинскаго у себя отобѣдать, потомъ вмѣстѣ ходили гулять и продержали его до полночи. Дорушка была умна, рѣзва и весела. Долинскій не замѣтилъ, какъ у него прошелъ цѣлый день съ новыми знакомыми.

— Вы, Дарья Михайловна, бываете когда-нибудь и грустны?—спросилъ онъ ее, прощаясь.

— Ой, ой, и какъ еще!—отвѣчала за нее сестра.

— И тогда ужъ не смѣетесь?

— Черной тучею смотритъ.

— Грозна и величественна бываю. Приходите почаще, такъ я вамъ доставлю удовольствіе видѣть себя въ мрачномъ настроеніи, а теперь adieu, mon plaisir, спать хочу,— сказала Дорушка и, дружески взявъ руку Долинскаго, закричала портьеру: «откройте».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Кое-что о чувствахъ.

Прошелъ мѣсяцъ, какъ нашъ Долинскій познакомился съ сестрами Прохоровыми. Во все это время не было ни одного дня, когда бы они не видались. Ежедневно, аккуратно въ четыре часа, Долинскій являлся къ нимъ и они вмѣстѣ обѣдали, вмѣстѣ гуляли, читали, ходили въ театры и на маленькіе балики, которые очень любила наблюдать Дора. Анна Михайловна, съ своими хлопотами о закупкахъ для магазина, часто уклонялась отъ такъ-называемаго Дорою «шлянья» и предоставляла сестрѣ мыкаться по Парижу съ однимъ Долинскимъ. Знакомство этихъ трехъ лицъ въ этотъ промежутокъ времени, дѣйствительно, перешло въ самую короткую и искреннюю дружбу.

— Чудо, какъ весело мы теперь живемъ!— восклицала Дора.

— Это правда, отвѣчалъ необыкновенно повеселѣвшій Несторъ Игнатьевичъ.

— А все, вѣдь, мнѣ, всѣмъ обязаны.

— Ну, конечно-съ, вамъ, Дарья Михайловна.

— Разумѣется; а не будь вы такой пентюхъ, все могло бы быть еще веселѣе.

— Что жъ я, напримѣръ, долженъ бы дѣлать, если бъ не имѣлъ чина пентюха?

— Это вы не можете догадаться, что бы вы должны дѣлать? Вы, милостивый государь, даже изъ вѣжливости должны бы въ которую-нибудь изъ насъ влюбиться, говорила ему не разъ, расшалившись, Дорушка.

— Не могу, отвѣчалъ Долинскій.

— Отчего это не можете? Какъ бы весело-то было, чудо?

— Да вотъ видѣть чудесъ-то я именно и боюсь.

— Э, лучше скажите, что просто у васъ, батюшка мой, вкуса нѣтъ, шутила Дора.

— Ну, какъ тебѣ не стыдно, Дора, уши право вянутъ слушать, что ты только врешь, останавливала ее въ такихъ случаяхъ скромная Анна Михайловна.

— Стыдно, мой другъ, только красть, лѣниться да обманывать,—обыкновенно, отвѣчала Дора.

Мрачное настроеніе духа, въ которомъ Дорушка, по ея собственнымъ словамъ, была *грозна* и *величественна*, во все это время не приходило къ ней ни разу, но она иногда очень упорно молчала часъ и другой, и потомъ вдругъ разрѣшалась вопросомъ, показывавшимъ, что она все это время думала о Долинскомъ.

— Скажите мнѣ, пожалуйста, вы, въ самомъ дѣлѣ, женаты?—спросила она его однажды послѣ одного такого раздумья.

— Безъ всякихъ шутокъ, отвѣчалъ ей Долинскій.

Дорушка пожала плечами.

— Гдѣ же теперь ваша жена?—спросила она опять послѣ нѣкоторой паузы.

— Моя жена? Моя жена въ Москвѣ.

— И вы съ ней не видались четыре года?

— Да, вотъ скоро будетъ четыре года.

— Что̀ жъ это значитъ? вы съ нею, вѣроятно, разошлись?

— Дора!—остановила Анна Михайловна.

— Что̀ жъ тутъ такого обиднаго для Нестора Игнатьича въ моемъ вопросѣ? Дѣло ясное, что если люди по собственной волѣ четыре года кряду другъ съ другомъ не видятся, такъ они другъ друга не любятъ. Любя—нельзя другъ къ другу не рваться.

— У Нестора Игнатьича здѣсь дѣла.

— Нѣтъ, что жъ, Анна Михайловна, я, вѣдь, вовсе не вижу нужды секретничать. Вопросъ Дарьи Михайловны меня нимало не смущаетъ: я, дѣйствительно, не въ ладахъ съ моей женою.

— Какое несчастье, проговорила съ искреннимъ участіемъ Анна Михайловна.

— И вы твердо рѣшились никогда съ нею не сходиться?—допрашивала, серьезно глядя, Дора.

— Скорѣе, Дарья Михайловна, земля сойдется съ небомъ, чѣмъ я съ своей женою.

— А она любитъ васъ?

— Не знаю; полагаю, что нѣтъ.

— Что жъ, она измѣнила вамъ, что ли?

— Дора! Ну, да что̀ жъ это, наконецъ, такое!—сказала, порываясь съ мѣста, Анна Михайловна.

— Не знаю я этого, и знать объ этомъ не хочу, отвѣчалъ Долинскій,—какое мнѣ до нея теперь дѣло, она вольна жить какъ ей угодно.

— Значитъ, вы ее не любите? продолжала съ прежнимъ спокойствіемъ Дорушка.

— Не люблю.

— Вовсе не любите?

— Вовсе не люблю.

— Это вамъ такъ кажется, или вы въ этомъ увѣрены?

— Увѣренъ, Дарья Михайловна.

— Почему жъ вы увѣрены, Несторъ Игнатьичъ?

— Потому, что... я ее ненавижу.

— Гм! ну, этого еще иногда бываетъ маловато, люди иногда и ненавидятъ, и презираютъ, а все-таки любятъ.

— Не знаю; мнѣ кажется, что даже и слова *ненавидѣть* и *любить* въ одно и то же время вмѣстѣ не вяжутся.

— Да, разсуждайте тамъ, вяжутся или не вяжутся; что̀ вамъ за дѣло до словъ, когда это случается на дѣлѣ; нѣтъ, а вы попробовали ли себя спросить, что̀ если бъ ваша жена любила кого-нибудь другого?

— Ну-съ, такъ что же?

— Какъ бы вы, напримѣръ, смотрѣли, если бы ваша жена цѣловала своего любовника, или... такъ, вышла что ли бы изъ его спальни?

— Дора! да ты, наконецъ, рѣшительно несносна!—воскликнула Анна Михайловна и, вставши съ своего мѣста, подошла къ окошку.

— Смотрѣлъ бы съ совершеннымъ спокойствіемъ, отвѣчалъ Долинскій на послѣдній вопросъ Дорушки.

— Да, ну, если такъ, то это хорошо! Это, значитъ, дѣло капитальное, протянула Дора.

— Но смѣшно только, отозвалась съ своего мѣста Анна Михайловна, — что ты придаешь такое большое значеніе ревности.

— Гадкому чувству, которое свойственно только пустымъ, щепетильно-самолюбивымъ людишкамъ, подкрѣпилъ Долинскій.

— Толкуйте, господа, толкуйте; а отчего, однако, это гадкое чувство переживаетъ любовъ, а любовь не переживаетъ его никогда?

— Но, тѣмъ не менѣе, все-таки оно гадко.

— Да я же и не говорю, что оно хорошо; я только хотѣла пробовать имъ вашу любовь, и теперь очень рада, что вы не любите вашей жены.

— Ну, а тебѣ что до этого? — укоризненно качая головою, спросила Анна Михайловна.

— Мнѣ? Мнѣ ничего, я за него радуюсь. Я вовсе не желаю ему несчастія.

— Какія ты сегодня глупости говорила, Дора, сказала Анна Михайловна, оставшись одна съ сестрою.

— Это ты о Долинскомъ?

— Да, разумѣется. Почемъ ты знаешь, какая его жена? Можетъ-быть, она самая прекрасная женщина.

— Нѣтъ, этого не можетъ быть: онъ не такой человѣкъ, чтобы могъ бросить хорошую женщину.

— Да откуда ты его знаешь?

— Ахъ, Господи Боже мой, развѣ я дура, что ли?

— Ну, а Богъ его знаетъ, какой у него характеръ?

— Дѣтскій; да, впрочемъ, какой бы ни былъ, это ничего не значитъ: умъ и сердце у него хорошіе,—это все, что нужно.

— Нѣтъ; а ты пресантиментальная особа, Аня, начала, укладываясь въ постель, Дорушка. — У тебя все какъ бы такъ, чтобъ и волкъ наѣлся и овца бъ была цѣлою.

— А, конечно, это всего лучше.

— Да, очень даже лучше, только, къ несчастію, вотъ досадно, что это невозможно. Ужъ ты повѣрь мнѣ, что его жена—волкъ, а онъ—овца. Въ немъ есть что-то такое до безпредѣльности мягкое, кроткое, этакое, знаешь, какъ будто жалкое, мужской умъ, чувства простыя и теплыя, а при всемъ этомъ онъ дитя,—правда?

— Да, кажется. Мнѣ и самой иногда очень жаль его почему-то.

— А, видишь! Мы—чужія ему, да намъ жаль его, а ей не жаль. Ну, что жъ это за женщина?

Анна Михайловна вздохнула.

— Страшный ты человѣкъ, Дора, проговорила она послѣ минутнаго молчанія.

— Повѣрь, Аничка, отвѣчала, приподнявшись съ подушки на локоть, Дора,—что вотъ этакое твое мягкосерде-

чіе-то иной разъ можетъ заставить тебя сдѣлать болѣе несправедливости. А по-моему, лучше кого-нибудь спасать, чѣмъ надъ цѣлымъ свѣтомъ охать.

— Я живу сердцемъ, Дора, и, можетъ-быть, очень дурно увлекаюсь, но ужъ такая я родилась.

— А я развѣ не сердцемъ живу, Аня?—отвѣтила Дорушка и заслонила рукою свѣчку.

— А, вѣдь, онъ очень хорошъ, сказала черезъ нѣсколько минутъ Дора.

— Да, у него довольно хорошее лицо, тихо отвѣчала Анна Михайловна.

Нѣтъ, онъ просто очаровательно хорошъ.

— Да, хорошъ, если хочешь.

— Какіе-то притягивающіе глаза, произнесла послѣ короткой паузы Дора, щуря на огонь свои собственные глазки, и молча задула свѣчу.

— Люблю такія тихія, покорныя лица, досказала она, ворочаясь впотьмахъ съ подушкой.

— Ну, что это, Дора, сто разъ повторять про одно и то же! Спи, сдѣлай милость, отвѣчала ей Анна Михайловна.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Романъ чуть не прерывается въ самомъ началѣ.

Доходилъ второй мѣсяцъ знакомству Долинскаго съ Прохоровыми, и сестры стали собираться назадъ въ Россію. Долинскій помогалъ имъ въ ихъ сборахъ. Онъ сдалъ комиссіонеру всѣ покушки, которыя нужно было переслать Аннѣ Михайловнѣ черезъ всѣ таможенныя мытарства въ Петербургъ; даже помогалъ имъ укладывать чемоданы; самъ напрашивался на разныя мелкія порученія и вообще разставался съ ними, какъ съ самыми добрыми и близкими друзьями, но безъ всякой особенной грусти, безъ горя и досады. Отношенія его къ обѣимъ сестрамъ были совершенно ровны и одинаковы. Если съ Дорушкой онъ себя чувствовалъ нѣсколько веселѣе и самъ оживлялся въ ея присутствіи, за-

то каждое слово, сказанное тихимъ и симпатическимъ голосомъ Анны Михайловны, вѣяло на него какимъ-то невозмутимымъ, святымъ покоемъ, и Долинскій чувствовалъ силу этого спокойнаго вліянія Анны Михайловны не менѣе, чѣмъ энергическую натуру Доры.

Дорушка не заводила болѣе рѣчи о бракѣ Долинскаго, и только разъ, при какомъ-то разсказѣ о бракѣ, совершившемся изъ благодарности, или изъ какого-то другого весьма почтеннаго, но безстрастнаго чувства, сказала, что это ужъ изъ рукъ вонъ глупо.

— Но благородно,—замѣтила сестра.

— Да, знаешь, ужъ именно до подлости благородно, до самоубійства.

— Самопожертвованіе!

— Нѣтъ, Аня, — глупость, а не самопожертвованіе. Изъ самопожертвованія можно дать отрубить себѣ руку, отказаться отъ наслѣдства, можно сдѣлать самую безумную вещь, на которую нужна минута, пять, десять... ну, даже хоть сутки, но хроническое самопожертвованіе на цѣлую жизнь, нѣтъ-съ, это невозможно. Вотъ вы, Несторъ Игнатьичъ, тоже не изъ состраданія ли женились? — отнеслась она къ Долинскому.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ Долинскій, стараясь сохранить на своемъ лицѣ какъ можно болѣе спокойствія.

Анна Михайловна и Дорушка обѣ пристально на него посмотрѣли.

— Пожалуй, что и да, мой батюшка; отъ него и это могло статься, произнесла нѣсколько комическимъ тономъ Дора.

Долинскій самъ разсмѣялся и сказалъ:

— Нѣтъ, право, нѣтъ, я не такъ женился.

За день до отъѣзда сестеръ изъ Парижа, Долинскій принесъ къ нимъ нѣсколько эстамповъ, вложенныхъ въ папку и адресованныхъ: *Ильѣ Макаровичу Журавкѣ, по 11-й линіи, домъ Клеменца.*

— Скажите, какой скромникъ! — воскликнула Дорушка,

прочитавъ адресъ.—Скоро два мѣсяца знакомы и ни разу не сказалъ, что онъ знаетъ Илью Макаровича.

— Развѣ и вы его знаете?

— Кого? Журавку? это нашъ другъ, отозвалась Анна Михайловна.—Я его кума, дѣтей его крестила. У насъ даже есть портреты его работы.

— Какъ же онъ мнѣ ничего не говорилъ о васъ?

— Изъ ревности, вмѣшалась Дорушка.—Онъ, вѣдь, бѣдный Ильюша, влюбленъ въ Аню.

— Право?

— По уши.

Послѣдній день Долинскій провелъ у Прохоровыхъ съ самаго утра. Вмѣстѣ пообѣдавъ, они сѣли въ нѣсколько опустѣвшей комнатѣ, и всѣмъ имъ разомъ стало очень невесело.

— Ну, помните, дитя мое, все, чему я васъ учила, пошутила Дорушка, гладя Долинскаго по головѣ.

— Слушаю-съ, отвѣчалъ Долинскій.

— Не хандрите, работайте и самое главное — непремѣнно влюбитесь.

— Послѣдняго только, самаго-то главнаго, и не обѣщаю.

— Отчего?

— Смысла не вижу.

— Какой же вамъ надо смыслъ для любви? Развѣ, любовь сама по себѣ не есть смыслъ,—смыслъ жизни.

— Я не могу любить, Дарья Михайловна, права не имѣю давать въ себѣ мѣста этому чувству.

— Это право принадлежитъ каждому живущему.

— Не совсѣмъ-съ. Напримѣръ, въ какой мѣрѣ можетъ пользоваться этимъ правомъ человѣкъ, обязанный жить и трудиться для своихъ дѣтей?

— А, такъ и эта прелесть есть въ вашемъ положеніи?

— У меня двое дѣтей.

— Да, это кое-что значитъ.

— Нѣтъ, это *очень много* значитъ, отозвалась Анна Михайловна.

— Н-н-ну, не знаю, отчего такъ ужъ очень много. Можно любить и своихъ прежнихъ дѣтей, и женщину.

— Да, если бы любовь, которая, какъ вы говорите, сама по себѣ есть цѣль-то, или главный смыслъ нашей жизни, не налагала на насъ извѣстныхъ обязанностей.

— Что-то не совсѣмъ понятно.

— Очень просто! всей моей заботливости едва достаетъ для однихъ моихъ дѣтей, а если ее придется еще раздѣлить съ другими, то всѣмъ будетъ мало. Вотъ почему у меня и выходитъ, что нельзя любить, слѣдуетъ бѣжать отъ любви.

— Да это дико! это просто дико!

— И очень честно, очень благородно, вмѣшалась Анна Михайловна.—Съ этой минуты, Несторъ Игнатьичъ, я васъ еще болѣе уважаю и радуюсь, что мы съ вами познакомились. Дора сама не знаетъ, что̀ она говоритъ. Лучше одному тянуть свою жизнь, какъ ужъ Богъ ее устроилъ, нежели видѣть около себя кругомъ несчастныхъ, да слышать упреки, видѣть страдающія лица. Нѣтъ, Боже васъ спаси отъ этого!

— Нѣтъ, извините, господа, это вы-то, кажется, не знаете, что̀ говорите! Любовь, деньги, обезпеченія... фу, какой противоестественный винегретъ! Все это очень умно, звучно, чувствительно, а самое главное то, что все это ce sont des пустяки. Кто ведетъ свои дѣла умно и рѣшительно, тотъ все это отлично уладитъ, а вы, милашечки мои, сами неудобь какая-то, оттого такъ и разсуждаете.

— Дарья Михайловна смотритъ на все очень ужъ молодо, смѣло черезчуръ, снисходительно, проговорилъ Долинскій, относясь къ Аннѣ Михайловнѣ.

— Крылышки у нея еще непомяты, отвѣчала Анна Михайловна.

— Именно; а пуганая ворона, какъ говоритъ пословица, и куста боится.

— Вотъ, вотъ, вотъ! Это—самое лучшее средство разрѣшать себѣ все пословицами, то-есть чужимъ умомъ! Ну,

и поздравляю васъ, и оставайтесь вы при своемъ, что *вороны куста бояться*, а я буду при томъ, что *со́колу лѣсъ не страшенъ*. Вѣдь, это тоже пословица.

Долинскій простился съ Прохоровыми у вагона сѣверной желѣзной дороги и они дали слово иногда писать другъ другу.

— Прощайте, пуганая ворона! — крикнула изъ окна Дорушка, когда вагоны тронулись.

— Летите, летите, мой смѣлый со̀колъ.

Посмотрѣвъ вслѣдъ уносившемуся поѣзду, Долинскій обернулся, и въ эту минуту особенно тяжко почувствовалъ свое одиночество, почувствовалъ его сильнѣе, чѣмъ во всѣ протекшіе четыре года. Не тихая тоска, а какое-то зло на свое сиротство, желчная раздражительная скука охватила его со всѣхъ сторонъ. Онъ заѣхалъ на старую квартиру Прохоровыхъ, чтобы взять оставленныя тамъ книги, и пустыя комнаты, которыя мела француженка, окончательно его сдавили; ему стало еще хуже. Долинскій зашелъ въ кафе, выпилъ два грога и, возвратясь домой, заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Опять онъ оставался въ Парижѣ одинъ-одинёшенекъ, утомленный, разбитый и безотрадно-смотрящій на свое будущее.

«Вернуться бы ужъ, что ли, самому въ Россію?» подумалъ онъ, лежа на другое утро въ постели.

«Да какъ вернуться? того гляди, исторію сдѣлаетъ. Нѣтъ ужъ», размышлялъ онъ, переворачивая, по своему обыкновенію, каждый вопросъ со всѣхъ сторонъ,—«нужно имѣть надъ собою власть и мыкать здѣсь свое горе. Все же это достойнѣе, чѣмъ не устоять противъ скуки и опять рисковать попасться въ какую-нибудь гадкую исторію».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Дора знаетъ, что̀ дѣлаетъ.

Такъ попрежнему скучно, тоскливо и одиноко прожилъ Долинскій еще полгода въ Парижѣ. Въ эти полгода онъ

получилъ отъ Прохоровыхъ два или три малозначущія письма съ шутливыми приписками Ильи Макаровича Журавки. Письма эти радовали его, какъ доказательства, что тамъ, на Руси, у него все-таки есть люди, которые его помнятъ; но, читая эти письма, ему становилось еще грустнѣе, что онъ оторванъ отъ родины и, какъ изгнанникъ какой-нибудь, не смѣетъ въ нее возвратиться безъ опасенія для себя большихъ непріятностей.

Наконецъ, въ одинъ прекрасный день, Несторъ Игнатьевичъ получилъ письмо, которое сначала его поразило, а потомъ весьма порадовало и дало ему толчокъ, котораго давно ждала его робкая, нерѣшительная натура.

Письмо это сначала до конца было писано Дорушкою, безъ всякой сторонней приписки.

«Несторъ Игнатьевичъ (писала Дора Долинскому)! Я никакъ не могу себѣ опредѣлить, очень умно или до крайности глупо я поступаю, что пишу къ вамъ это письмо; но не могу удержаться и все-таки пишу его. Когда я сказала моимъ и вашимъ друзьямъ, то-есть Анѣ и Ильѣ Макаровичу, что васъ непремѣнно надо немедленно извѣстить о томъ, о чемъ вы теперь узнаете изъ этого письма, то они подняли такой гвалтъ, что съ ними не стоило спорить и приходилось бы отказаться отъ всякаго намѣренія посвятить васъ въ ваши же собственныя дѣла. Но мой грѣшный разумъ и тайный голосъ моего сердца, которыхъ я привыкла слушаться, склонили меня къ преступленію противъ Ани и Ильи Макаровича. Я пишу вамъ это письмо тайно отъ нихъ и прошу васъ это хорошенько запомнить.

«Дѣло идетъ, конечно, о васъ и заключается въ томъ, что вашихъ дѣтей, на воспитаніе которыхъ вы высылаете деньги, уже четвертый годъ не существуетъ на свѣтѣ, а жена ваша тоже около года живетъ въ Эмсѣ съ старымъ богачомъ, откупщикомъ Штульцемъ. Дѣти ваши почти обои разомъ умерли отъ крупа, вскорѣ послѣ вашего отъѣзда изъ Москвы, а у вашей жены за границею родился новый

ребенокъ, на котораго откупщикъ Штульцъ (какой-то задушевный пріятель родственниковъ вашей жены) далъ очень серьезную сумму. Говорятъ, что этою суммою на цѣлую жизнь прочно обезпечены и мать, и ребенокъ.

«Всѣ эти аккуратно и достовѣрно собранныя свѣдѣнія привезъ намъ Илья Макаровичъ, который на-дняхъ ѣздилъ въ Москву реставрировать какую-то вновь открытую изъ-подъ старой штукатурки допотопную фреску. Обстоятельства эти мнѣ показались очень важными для васъ и я настаивала, чтобы извѣстить васъ обо всемъ этомъ подробно; но и сестра, а за нею и милѣйшій другъ нашъ Журавка завопили: «нельзя! невозможно! это все нужно исподволь, да другими путями, *чтобы не сразить* васъ и не попасть самимъ въ сплетники». Я не могла съ ними совладѣть, но и не могла съ ними согласиться, потому что все это, мнѣ кажется, должно имѣть для васъ очень большое и, по-моему, не совсѣмъ грустное значеніе. А для того, чтобы на свѣтѣ не было сплетень, я думаю, самое лучшее дѣло— какъ можно болѣе сплетничать. Это одно только можетъ отучить людей распускать запечные слухи. Хочу думать, Несторъ Игнатьевичъ, что я васъ понимаю и не дѣлаю ошибки, посылая къ вамъ это конфиденціальное посланіе.

«Пребываю къ вамъ благосклонная

«*Дора*».

«PS. Нашъ независимый Илья Макаровичъ продолжаетъ все болѣе и болѣе терять независимость отъ своей Граціэллы и приходитъ къ намъ довольно рѣдко и то урывкомъ».

Въ отвѣтъ на это письмо Долинскій написалъ Дорѣ: «Вы прекрасно сдѣлали, Дарья Михайловна, что послушались самихъ себя и извѣстили меня о происшествіяхъ въ моей семьѣ. Сразить меня это никакъ не могло. Дѣтей, разумѣется, жалко, но если подумать, что ихъ могло ожидать при семейномъ разладѣ родителей, то, можетъ-быть, для нихъ самихъ лучше, что они умерли въ самые ранніе годы. А что касается до моей жены, то я былъ всегда

увѣренъ, что она устроится самымъ лучшимъ и выгоднымъ для нея образомъ. Я очень радъ за нее и не сомнѣваюсь, что она поведетъ свои дѣла прекрасно. Для меня же теперь исчезаютъ препятствія къ возвращенію на родину, и я черезъ мѣсяцъ надѣюсь лично поблагодарить васъ за оказанную мнѣ услугу».

— Да ты, стало-быть, въ самомъ дѣлѣ, иногда знаешь, что̀ дѣлаешь, сказала Анна Михайловна, когда Дора, получивъ письмо Долинскаго, сама открыла свой секретъ.

Не прошло и мѣсяца, какъ одинъ разъ, густыми осенними сумерками, Журавка влѣзъ въ маленькую столовую Анны Михайловны, гдѣ сидѣли хозяйка и Дора, и закричалъ:

— Неудобь наше пріѣхало.

— Долинскій! Гдѣ жъ онъ?—спросили вмѣстѣ обѣ сестры.

Въ эту же минуту въ темной рамѣ дверей показалась фигура безъ облика; но, взглянувъ на эту фигуру, и Дорушка, и Анна Михайловна разомъ закричали: «Несторъ Игнатьевичъ, это вы?»

— Я, Анна Михайловна, отвѣчалъ Долинскій, цѣлуя руки обѣихъ сестеръ.

— Когда пріѣхали?

— Сегодня въ четыре часа.

— А теперь шесть; это очень мило, похвалила Дорушка.— А мы васъ здѣсь, знаете, какъ прозвали? «*Неудобь*».

Долинскій махнулъ рукой и сказалъ:

— Ужъ это хоть не спрашивай — Дарья Михайловна выдумала.

— Пф! сразу, шельмецъ, узналъ, воскликнулъ Журавка, и тотчасъ же, нагнувшись къ уху Анны Михайловны, прошепталъ:

— Вы намъ, кумушка, чаишка дадите, а я тѣмъ часомъ тутъ слетаю; всего на одну минуточку слетаю и ворочусь; дѣлишко есть у Пяти Угловъ.

— Летите, летите,—отвѣчала ему Анна Михайловна, и художникъ юркнулъ.

Обѣ хозяйки были необыкновенно радушны съ Долин-

скимъ. Онѣ его внимательно разспрашивали, какъ ему жилось, что̀ онъ думалъ, что̀ видѣлъ?

Долинскій давно не чувствовалъ себя такъ хорошо: словно онъ къ самымъ добрымъ, къ самымъ теплымъ роднымъ пріѣхалъ. Подали свѣчи и самоваръ; Дорушка сѣла за чай, а Анна Михайловна повела Долинскаго показать ему свою квартиру.

Квартира Анны Михайловны помѣщалась въ одномъ изъ лучшихъ домовъ на Владимірскомъ проспектѣ. Эта квартира состояла изъ шести прекрасныхъ комнатъ въ бельэтажѣ, съ параднѣйшимъ подъѣздомъ съ улицы. Самая большая комната съ подъѣзда была занята магазиномъ. Здѣсь стояли шкафы, шифоньерки, подставки и два огромныхъ, дорогихъ трюмо. За большимъ орѣховымъ шкафомъ, устроеннымъ по размѣрамъ этой комнаты и раздѣлявшимъ ее на двѣ ровныя половины, помѣщался длинный липовый столъ и около него шесть или восемь такихъ же чистенькихъ, некрашеныхъ, липовыхъ табуреточекъ. Половина этого отдѣленія комнаты была еще разъ передѣлена драпировкою изъ зеленаго коленкора, за которою стояли три кроватки, закрытыя недорогими, сѣрыми, байковыми одѣялами. Здѣсь была спальня трехъ небольшихъ дѣвочекъ, отданныхъ ихъ родными Аннѣ Михайловнѣ для обученія мастерству. Когда Анна Михайловна ввела за собою своего гостя въ это зашкафное отдѣленіе, на Долинскаго чрезвычайно благопріятно подѣйствовала представившаяся ему картина. Надъ чистымъ липовымъ столомъ, заваленнымъ кучею тюля, газа, лентъ и матеріи, висѣла огромная мѣдная лампа, освѣщавшая весь столъ. За столомъ, на табуреткахъ, сидѣли четыре очень опрятныя, миловидныя дѣвушки и три дѣвочки, одѣтыя, какъ институтки, въ одинаковыя люстриновыя платьица съ бѣлыми передниками. Въ одномъ концѣ стола, на легкомъ деревянномъ креслѣ съ рѣшетчатою деревянною спинкой, сидѣла небольшая женская фигурка съ взбитымъ хохломъ и чертообразными мохрами напереди сѣтки.

— Это моя помощница, mademoiselle Alexandrine,—отрекомендовала Анна Михайловна эту фигурку Долинскому.

Mademoiselle Alexandrine тотчасъ же, очень ловко и съ большимъ достоинствомъ, удостоила Долинскаго легкаго поклона, и такъ произнесла свое bonsoir, monsieur, что Долинскій не вообразилъ себя въ Парижѣ только потому, что глаза его въ эту минуту остановились на невозможныхъ архитектурныхъ украшеніяхъ трехъ другихъ дѣвушекъ, очевидно стремившихся, во что бы то ни стало, не только догнать, но и далеко превзойти и хохолъ, и чертообразность сѣтки, всегда столь ненавистной русской швеѣ «француженки». Дѣвочки были острижены въ кружокъ и не могли усвоить себѣ заманчивой прически; но у одной изъ нихъ волосёнки на лбу были подрѣзаны и торчали, какъ у самаго благочестиваго раскольника. Это постриженіе надъ нею совершила Дора, чтобы освободить молодую русскую франтиху отъ воска, съ помощію котораго она старалась выстроить себѣ французскій хохолъ на остриженной головкѣ. Въ другомъ концѣ стола, противъ кресла, на которомъ сидѣла mademoiselle Alexandrine, стояло точно такое же другое пустое кресло. Это было мѣсто Доры. Никакихъ аттрибутовъ старшинства и превосходства не было замѣтно возлѣ этого мѣста, даже подножная скамейка возлѣ него стояла простая, деревянная, точно такая же скамейка, какія стояли подъ ногами дѣвушекъ и ученицъ. Единственное преимущество этого мѣста заключалось въ томъ, что прямо противъ него, надъ чернымъ карнизомъ драпировки, отдѣлявшей спальню дѣвочекъ, помѣщались довольно большіе часы въ черной деревянной рамкѣ. По этимъ часамъ Даша вела рабочій порядокъ мастерской. Сестра Анны Михайловны не любила выскакивать по дверному звонку и торчать въ магазинѣ, что, напротивъ, очень нравилось mademoiselle Alexandrine. Поэтому, продажею и пріемомъ заказовъ преимущественно завѣдывала француженка и сама Анна Михайловна, а Дора сидѣла за рабочимъ столомъ и дирижировала работою, и выходила въ магазинъ только въ крайнихъ

случаяхъ, такъ сказать, на особенно важные консиліумы. На ея же попеченіи были и три ученицы. Она не только имѣла за ними главный общій надзоръ, но она же наблюдала за тѣмъ, чтобы эти оторванныя отъ семьи дѣти не терпѣли много отъ грубости и невѣжества другихъ женщинъ, по натурѣ хотя и не злыхъ, но утратившихъ подъ ударами чужого невѣжества всю собственную мягкость. Кромѣ того, Дора, по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ, учила этихъ дѣвочекъ грамотѣ, счисленію и разсказывала имъ, какъ умѣла, о Богѣ, о людяхъ, объ исторіи и природѣ. Дѣвочки боготворили Дарью Михайловну; взрослыя мастерицы тоже очень ее любили и довѣряли ей всѣ свои тайны, требующія гораздо бо́льшаго секрета и вниманія, чѣмъ мистеріи иной свѣтской дамы, или тайны тѣхъ безплотныхъ нимфъ, которыя «такъ непорочны, такъ умны и такъ благочестія полны», что какъ мелкіе потоки текутъ въ большую рѣку, такъ и онѣ катятся неуклонно въ одну великую тайну: добыть себѣ во что бы то ни стало богатаго мужа и роскошно пресыщаться всѣми благами жизненнаго пира, бросая честному труду обглоданную кость и презрительное снисхожденіе. Изъ четырехъ дѣвушекъ этой мастерской особеннымъ расположеніемъ Доры пользовалась Анна Анисимовна. Это была та единственная дѣвушка, у которой надо лбомъ не было французскаго хохла. Аннѣ Анисимовнѣ было отъ роду лѣтъ двадцать восемь; она была высокая и довольно полная, но весьма граціозная блондинка, съ голубыми, рано померкшими глазами и характерными углами губъ, которыя, въ сочетаніи съ немного выдающимся подбородкомъ, придавали ея лицу выраженіе твердое, честное и рѣшительное. Анна Анисимовна родилась крѣпостною дѣвочкою, выучена швейному мастерству на Кузнецкомъ мосту въ Москвѣ и отпущена своею молодою барыней на волю. Имѣя девятнадцать лѣтъ, она совсѣмъ близко познакомилась съ однимъ молодымъ, замотавшимся купеческимъ сыномъ и мѣсяца черезъ два приняла своего милаго въ свою маленькую комнатку, которую нанимала неподалеку отъ магазина, гдѣ ра-

ботала. Три года она работала безъ отдыха, что называется, не покладывая рукъ, денно и нощно. Въ эти три года Богъ далъ ей трехъ дѣтей. Анна Анисимовна кормила и дѣтей, и любовника, и ни на что не жаловалась. Наконецъ, кончилъ ея милый курсъ покаянія, получилъ радостное извѣстіе о смерти самодура-отца и удралъ, обѣщая Аннѣ Анисимовнѣ не забывать ее за хлѣбъ и соль, за любовь вѣрную и за дружбу. О женитьбѣ, или хотя о чемъ-нибудь другомъ посущественнѣе словесной благодарности, и рѣчи не было. Анна Анисимовна сама тоже не сказала ни о чемъ подобномъ ни слова. Приходили съ тѣхъ поръ Аннѣ Анисимовнѣ не разъ крутыя времена съ тремя дѣтьми, и знала Анна Анисимовна, что забывшій ее милый живетъ богато, губернаторовъ принимаетъ, чуть пáру въ банѣ шампанскимъ не поддаетъ, но никогда ни за чтó она не хотѣла ему напомнить ни о дѣтяхъ, ни о старомъ долгѣ. «Самъ не помнитъ, такъ и не надо; значитъ, совѣсти нѣтъ», говорила она, и еще сильнѣе разрывалась надъ работой, которою и питала, и обогрѣвала дѣтей своей отверженной любви. Просила у Анны Анисимовны одного ея мальчика въ сыновья бездѣтная купеческая семья, обѣщала сдѣлать его наслѣдникомъ всего своего состоянія—Анна Анисимовна не отдала.

— Счастье у своего ребенка отнимаете, говорили ей дѣвушки.

— Ничего, отвѣчала Анна Анисимовна,—зато совѣсти не отниму; не выучу бѣдныхъ дѣвушекъ обманывать, да дѣтей своихъ пускать пò-міру.

Этой Аннѣ Анисимовнѣ Дорушка оказывала полнѣйшее уваженіе и своимъ примѣромъ заставляла другихъ уважать.

Мертвая блѣдность нѣкогда прекраснаго, рано отцвѣтшаго лица и крайняя простота наряда этой дѣвушки невольно остановили на себѣ мимолетное вниманіе Долинскаго, когда изъ противоположныхъ дверей вошла съ свѣчою въ рукахъ Дорушка и спросила:

— Правда, хорошо у насъ, Несторъ Игнатьичъ?

— Прекрасно,—отвѣтилъ Долинскій.

— Вотъ тамъ мой тронъ, или, лучше сказать, мое президентское мѣсто: а это все моя республика. Аня вѣрно уже познакомила васъ съ mademoiselle Alexandrine?

Долинскій отвѣчалъ утвердительно.

— Ну, а я еще познакомлю васъ съ прочими: это—Полинька: видите, она у насъ совсѣмъ перфская красна-дѣвица, и если у васъ есть хоть одна капля вкуса, то вы въ этомъ должны со мною согласиться; Полинька, нечего, нечего закрываться! Сама очень хорошо знаешь, что ты красавица. Это,—продолжала Дора:—это Оля и Маша, отличающіяся замѣчательною неразрывностью своей дружбы и потому называемыя «симпатичными попугаями» (дѣвушки засмѣялись); это все мелкота, пока еще неуспѣвшая ничѣмъ отличиться, — сказала она, указывая на маленькихъ дѣвочекъ,—а это Анна Анисимовна, которую мы всѣ уважаемъ и которую совѣтую уважать и вамъ. Она—самый честный человѣкъ, котораго я знаю.

Долинскій нѣсколько смѣшался и протянулъ Аннѣ Анисимовнѣ руку; дѣвушка торопливо положила на столъ свою работу и съ неловкою застѣнчивостью подала Долинскому свою исколотую иголкою руку.

— Ну, пойдемте дальше теперь,—позвала Анна Михайловна.

Хозяйка и гость вышли за двери, которыми за минуту вошла Дора, и вслѣдъ за ними изъ мастерской послышался дружный, веселый смѣхъ нѣсколькихъ голосовъ.

— Ужасныя сороки и хохотушки, проговорила, идя впереди со свѣчою, Дорушка:—а за то народъ все преискренній и пресердечный.

Тотчасъ за мастерскою у Анны Михайловны шелъ небольшой коридоръ, въ одномъ концѣ котораго была кухня и черный ходъ на дворъ, а въ другомъ двѣ большія, свѣтлыя комнаты, которыя Анна Михайловна хотѣла кому нибудь отдать, чтобы облегчить себѣ плату за весьма дорогую квартиру. Посреди коридора была дверь, которою

входили въ ту самую столовую, куда Журавка ввелъ сумерками къ хозяйкамъ Долинскаго. Эта комната служила сестрамъ въ одно и то же время и залой, и гостиною, и столовой. Въ ней были четыре двери: одна, какъ сказано, вела въ корридоръ; другая въ одну изъ комнатъ, назначенныхъ въ наймы, третья въ спальню Анны Михайловны, а четвертая въ уютную комнату Доры. Вся квартира была меблирована не роскошно и не бѣдно, но съ большимъ вкусомъ и комфортно. Все здѣсь давало чувствовать, что хозяйки устраивались тутъ для того, чтобы жить, а не для того, чтобы принимать гостей и заботиться выказываться предъ ними съ какой-нибудь изящной стороны. Это жилье дышало тою спокойною простотою, которая сразу даетъ себя чувствовать и которую, къ сожалѣнію, все рѣже и рѣже случается встрѣчать въ наше суетливое и суетное время.

— Очень хорошо у насъ, Несторъ Игнатьевичъ?—спрашивала Дора, когда всѣ усѣлись за чай.

— Очень хорошо,—соглашался съ нею Долинскій.

Здѣсь нѣтъ мебели богатой,
Нѣтъ ни бронзы, ни картинъ,
И хозяинъ, слава Богу,
Здѣсь не знатный господинъ—

проговорила Дора и съ послѣдними словами сердечно поцѣловала свою сестру.

— Дорого только,—сказала Анна Михайловна.

— Э! полно, пожалуйста, жаловаться. Отдадимъ двѣ комнаты, такъ вовсе не будетъ дорого. За эти комнаты всякій охотно дастъ триста рублей въ годъ.

— Это даже дешево,—сказалъ Долинскій.

— Но вѣдь подите же съ нами!—говорила Дора. Наняли квартиру съ тѣмъ, чтобы кому-нибудь эти двѣ комнаты уступить, а перешли сюда, и баста; вотъ третій мѣсяцъ не можемъ рѣшиться. Мужчинъ боимся, женщинъ еще болѣе, а дѣти на наше горе не нанимаютъ; ну, кто же намъ виноватъ, скажите пожалуйста?

— Ты, отвѣчала Анна Михайловна, сбила меня.—Послу-

шалась ее, наняла эту квартиру; правда, она очень хороша, но велика совсѣмъ для насъ.

Изъ коридора показался Илья Макаровичъ.

— А какъ вы, люди, мыслите? Я... какъ бы это вамъ помудренѣе выразиться?—началъ, входя, художникъ.

— Крошечку выпилъ,—подсказала Дора.

— Да-съ... въ этомъ въ самомъ густѣ.

— Объ этомъ и говорить не стоило,—сказала, разсмѣявшись, Дора.

Всѣ взглянули на Илью Макаровича, у котораго на щечкахъ пылалъ румянецъ и волосы слиплись на потномъ челѣ.

— Нельзя, Несторка пріѣхалъ, — проговорилъ, икнувъ, Журавка.

— Никакъ нельзя,—поддержала серьезно Дора.

Всѣ еще болѣе засмѣялись.

— Да ужъ такъ-съ!—лепеталъ художникъ.—Вы сдѣлайте милость... не того-съ... не острите. Я иду, бацъ на углѣ этакій каламбуръ.

— Хорошій человѣкъ встрѣчается,—сказала Дора.

— Да-съ, именно хорошій человѣкъ встрѣчается и...

— И говоритъ, давай, говоритъ, выпьемъ! — снова подсказала Дора.

— И совсѣмъ не то! Денкера приказчикъ, это...—Журавка икнулъ и продолжалъ:—Денкера приказчикъ, говоритъ, просилъ тебя привезти къ нему; портретченко, говоритъ, жены хочетъ тебѣ заказать. Ну, вѣдь, волка, я думаю, ножки кормятъ; такъ это я говорю?

— Такъ.

— Я, разумѣется, и пошелъ.

— И, разумѣется, выпилъ.

— Ну, и выпили, и работу взялъ. Вѣдь нельзя же!.. А тутъ вспомнилъ, Несторка тутъ меня ждетъ! Другъ, говорю, ко мнѣ пріѣхалъ неожиданно; позвольте, говорю, мнѣ въ долгъ пару бутыльченокъ шампанскаго. И ужъ извините, кумушка, двѣ бутыльченки мы разопьемъ! Вотъ онѣ, ка-

нашки французскія!—воскликнулъ Журавка, торжественно вынимая изъ-подъ пальто двѣ засмоленныя бутылки.

Всѣ глядѣли, посмѣиваясь, на Илью Макаровича, на лицѣ котораго выражалось полнѣйшее блаженство опьяненія.

— Хорошаго, должно быть, о васъ мнѣнія остался этотъ денкеровъ приказчикъ,—говорила Дора.

— А что же такое?

— Ничего; пришелъ говорить о заказѣ, сейчасъ натянулся и еще въ долгъ пару бутыльченокъ выпросилъ.

— Да, двѣ; и вотъ онѣ здѣсь; вонъ онѣ, заморскія, засмоленныя... Нельзя, Дарья Михайловна! Вы еще молоды; вы еще писанія не понимаете.

— Нѣтъ, понимаю, шутила Дора.—Я понимаю, что дома вамъ нельзя, такъ вы вотъ...

— Тсс! тс, тс, тс... нѣтъ, ей-Богу же для Несторки. Несторка... вамъ вѣдь онъ ничего, а мнѣ онъ другъ.

— И намъ другъ.

— Ну, нѣтъ-съ, вы погодите еще! Я его отъ бѣды, отъ чорта оторвалъ, а вы... нѣтъ... вы...

— «А вы... нѣтъ... вы», передразнила, смѣшно кривляясь, Дора и добавила:—совсѣмъ пьянъ, голубчикъ!

— А это развѣ худо, худо? Ну, я и на то согласенъ; на то я художникъ, чтобъ все худое дѣлать. Правда, Несторъ Игнатьичъ? Канашка ты, шельмецъ ты!

Журавка обнялъ и поцѣловалъ Долинскаго.

— Вотъ видишь, говорилъ, освобождаясь изъ дружескихъ объятій, Долинскій:—теперь толкуешь о дружбѣ, а какъ я совсѣмъ разбитый ѣхалъ въ Парижъ, такъ, небось, не вздумалъ меня познакомить съ Анной Михайловной и съ mademoiselle Дорой.

— Не хотѣлъ, братишка, не хотѣлъ; тебѣ было нужно тогда уединеніе.

— Уединеніе! Все вздоръ, вретъ, просто отъ ревности не хотѣлъ васъ знакомить съ нами, разбивала художника Дора.

— Отъ ревности? Ну, а отъ ревности, такъ и отъ ревности. Вы это навѣрное знаете, что я отъ ревности его не хотѣлъ знакомить?

— Навѣрное.

— Ну, и очень прикрасно, пусть такъ и будетъ, отвѣчалъ художникъ, налегая на букву *и* въ умышленно портимомъ словѣ прекрасно.

— Да, и очень прикрасно, а мы вотъ теперь съ Несторомъ Игнатьичемъ вмѣстѣ жить будемъ, сказала Дора.

— Какъ это вмѣстѣ жить будете?

— Такъ; Аня отдаетъ ему тѣ двѣ комнаты.

— Да вы это со мною шутите, смѣетесь или просто говорите?—вопросилъ съ эффектомъ Журавка.

— А вотъ отгадайте?

— Я и съ своей стороны спрошу васъ, Дарья Михайловна, вы это шутите, смѣетесь, или просто говорите?— сказалъ Долинскій.

Изъ шутки вышло такъ, что Анна Михайловна, послѣ нѣкотораго замѣшательства и нѣсколькихъ минутъ колебанья, уступила просьбѣ Долинскаго и въ самомъ дѣлѣ отдала ему свои двѣ свободныя комнаты.

— И очень прикрасно! — возглашалъ художникъ, когда переговоры кончились въ пользу перехода Долинскаго къ Прохоровымъ.

— А прикрасно, говорила Дора:—по крайней мѣрѣ, будетъ хоть съ кѣмъ въ театръ пойти.

— Прикрасно, прикрасно, отвѣчалъ Журавка шутя, но съ тѣнью нѣкоторой, хотя и легкой, но худо скрытой досады.

Послѣ уничтоженія принесенныхъ Ильею Макаровичемъ двухъ бутыльченокъ, онъ началъ высказываться нѣсколько яснѣе:

— Еслибъ я былъ холостой, заговорилъ онъ:—ужъ тебѣ-бъ, братишку, тутъ не жить.

— Да вы же развѣ женаты?

— Пфъ! не женатъ! да вѣдь я же ей вексель выдалъ.

Этого событія между Ильею Макаровичемъ и его Граціэллою до сихъ поръ никто не вѣдалъ. Извѣстно было только, что Илья Макаровичъ былъ помѣшанъ на свободѣ любовныхъ отношеній и на итальяночкахъ. Счастливый случай свелъ его, гдѣ-то въ Неаполѣ, съ довольно безобразной синьорой Луизой, которую онъ привезъ съ собою въ Россію, и долго не переставалъ кстати и некстати кричать о ея художественныхъ талантахъ и страстной къ нему привязанности. Поэтому извѣстіе о векселѣ, взятомъ съ него итальянкою, заставило всѣхъ очень смѣяться.

— Фу, Боже мой! да вѣдь это только для того, чтобъ я не женился, оправдывался художникъ.

Дорогою, по пути къ Васильевскому острову, Журавка все твердилъ Долинскому:

— Ты только смотри, Несторъ... ты, я знаю... ты человѣкъ честный...

— Ну, ну, говори яснѣе, требовалъ Долинскій.

— Онѣ... вѣдь это я тебѣ говорю... пфъ! это божественныя души!.. чистота, искренность... довѣрчивость...

— Да ну, что ты сказать-то хочешь?

— Не... обезпокой какъ нибудь, не оскорби.

— Полно, пожалуйста.

— Не скомпрометтируй.

— Ну, ты, я вижу, въ самомъ дѣлѣ пьянъ.

— Это, другъ, ничего, пьянъ я, или не пьянъ—это мое дѣло; пьянъ да уменъ, два угодья въ немъ, а ты имъ... братомъ будь. Минутъ пять пріятели проѣхали молча и Журавка опять началъ:

— Потому что, что-жъ хорошаго...

— Фу, надоѣлъ совсѣмъ! что я самъ будто не знаю, — отговорился Долинскій.

— А знаешь, братъ, такъ и помни. Помни, что кто за довѣріе заплатитъ нехорошо, тотъ подлецъ, Несторъ Игнатьичъ.

— Подлецъ, Илья Макаровичъ, — шутя отвѣчалъ Долинскій.

Оба пріятеля весело разсмѣялись и распростились у гостинницы, тотчасъ за Николаевскимъ мостомъ.

На другой день, часу въ двѣнадцатомъ, Долинскій переѣхалъ къ Прохоровымъ и прочно водворился у нихъ на жительствѣ.

— Вчера Илья Макаровичъ цѣлую дорогу все читалъ мнѣ нотацію, какъ я долженъ жить у васъ, разсказывалъ за вечернимъ чаемъ Долинскій.

— Онъ большой нашъ другъ и, къ несчастію его, совершенно слѣпой Аргусъ,—отвѣчала Дора.

— Онъ рѣдкій человѣкъ и любитъ насъ чрезмѣрно,— проговорила Анна Михайловна.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Пансіонеръ.

Несторъ Игнатьевичъ зажилъ такъ, какъ еще не жилось ему ни одного дня съ самаго выхода изъ отцовскаго дома. Постоянная внутренняя тревога и недовольство и собою, и всѣмъ окружающимъ, совершенно его оставили въ домѣ Анны Михайловны. Аккуратный какъ часы, но необременительный, какъ несносная дисциплина, порядокъ въ жизни его хозяекъ возвратилъ Долинскаго къ своевременному труду, который смѣнялся своевременнымъ отдыхомъ и возможными удовольствіями. Всякій день неизмѣнно, въ восемь часовъ утра, ему приносили въ его комнату стаканъ кофе со свѣжею булкою; въ два часа Дорушка звала его въ столовую, гдѣ былъ приготовленъ легкій завтракъ, потомъ онъ проходилъ съ Дорою (которой была необходима прогулка) отъ Владимірской до Адмиралтейства и назадъ; въ пять часовъ садились за столъ, въ восемь пили вечерній чай и въ двѣнадцать ровно расходились по своимъ комнатамъ.

Въ недѣлю раза два Долинскій съ Дорою бывали въ театрѣ. Дни у нихъ проходили за дѣломъ, но вечерами они не отказывали себѣ въ роздыхѣ и нѣкоторыхъ удо-

вольствіяхъ. Жизнь шла живо, ровно, безъ скуки, безъ задержки.

Пансіонеръ совершенно привыкъ къ порядкамъ своего пансіона и удивлялся, какъ могъ онъ жить иначе столько лѣтъ сряду!

Со смертью своей благочестивой матери, Несторъ Игнатьевичъ разлучился съ стройною домашнею жизнью. Жизнь у дяди, въ которой поверхъ всего плавало и все застилало собою эгоистическое самовластіе его тетки, оставила въ немъ одни тяжелыя воспоминанія. Воспоминанія о семейной жизни съ женою и тещею, уничтожившими своею требовательностію всякую его свободу и обращавшими его въ раба женниной суетности и своекорыстія, были еще отвратительнѣе. Съ тѣхъ поръ Несторъ Игнатьевичъ велъ студенческую жизнь въ Латинскомъ кварталѣ Парижа, то есть жилъ бездомовникомъ и отличался отъ прочихъ, истинныхъ студентовъ только развѣ тѣмъ, что немножко чаще ихъ просиживалъ вечера дома за книгою и рѣже таскался по ресторанамъ, кафе и баламъ Прадо. Впрочемъ, не смотря на это, Несторъ Игнатьевичъ все-таки совсѣмъ отучился вовремя встать, во-время лечь и въ свое время погулять. Обращать свѣтлый день въ скучную ночь, и скучную ночь въ бѣдный радостями день для него не составляло ничего необыкновеннаго. Онъ зналъ, что ему будетъ скучно на балу, потому что всѣ удовольствія этого бала можно было всегда разсказать впередъ — и все-таки онъ шелъ отъ скуки на балъ и отъ скуки зѣвалъ здѣсь, пока не пустѣла зала. Отъ скуки онъ валялся въ постели до самаго вечера; между тѣмъ позарѣзъ нужно было изготовить срочную корреспонденцію, и потомъ вдругъ садился, читалъ листы различныхъ газетъ, брошюръ и работалъ напролетъ цѣлыя ночи. Огромный расходъ силъ и постоянная тревога, происходящая оттого, что работа врывалась въ сроки отдыха, а отдыху посвящалось время труда, вовсе не обращали на себя вниманія Долинскаго.

— Все равно, какъ ни живи, — все скучно, говаривалъ

онъ себѣ, когда нестройность жизни напоминала ему о себѣ утомленіемъ, разстройствомъ нервной системы, или неудачею догнать безполезно потерянное время въ работѣ.

Теперь онъ не могъ надивиться, какъ въ былое время у него недоставало досуга написать въ недѣлю двухъ довольно короткихъ корреспонденцій, когда нынче онъ свободно велъ порученный ему цѣлый отдѣлъ газеты и на все это не требовалось ни одной безсонной ночи. Несторъ Игнатьевичъ не только успѣвалъ кончить все къ шести часамъ вечера, когда къ нему приходилъ разсыльный изъ редакціи, но даже и изъ этого времени у него почти всегда оставалось нѣсколько свободныхъ часовъ, которые онъ могъ употребить по своему произволу. Съ шести часовъ онъ обыкновенно сидѣлъ въ столовой и что нибудь читалъ своимъ хозяйкамъ. Анна Михайловна любила чтеніе, хотя въ послѣднее время за хлопотами и недосугами читала далеко меньше, чѣмъ Дора. Эта перечитала Богъ-знаетъ сколько и, обладая неимовѣрною памятью, обо всемъ имѣла собственное, иногда не совсѣмъ вѣрное, но всегда вполнѣ независимое мнѣніе.

Гостей у Анны Михайловны и у Дорушки бывало немного; даже можно сказать, что, кромѣ Ильи Макаровича, у нихъ почти никто не бывалъ, но къ Долинскому кое-кто таки-навертывался, особенно изъ газетчиковъ. По семейному образу жизни, который Долинскій велъ у Прохоровыхъ, его знакомые незамѣтнымъ образомъ становились и знакомыми его хозяекъ. Газетчики для Дорушки были народъ совершенно новый и она очень охотно съ ними знакомилась, но потомъ еще скорѣе начинала тяготиться этимъ знакомствомъ и старалась отъ нихъ отдѣлываться. Особенною ея антипатіею были два молодые газетчика: Спиридонъ Меркуловичъ Вырвичъ и Иванъ Ивановичъ Шпандорчукъ. Это были люди того нехитраго разбора, который въ настоящее время не представляетъ уже никакого интереса. Нынче на нихъ смотрятъ съ тѣмъ же равнодушіемъ, съ какимъ смотрятъ на догорающій домъ, около котораго обломаны всѣ постройки

и огонь ничему по сосѣдству сообщиться не можетъ; но было другое, *старое* время, года три-четыре назадъ, когда и у насъ въ Петербургѣ и даже частію въ просторной Москвѣ на Неглинной безъ этихъ людей, какъ говорятъ, и вода не святилась. Было это доброе, простодушное время, когда въ извѣстныхъ слояхъ петербургскаго общества нельзя было повернуться, не сталкиваясь съ Шпандорчукомъ или Вырвичемъ, и когда многими нехитрыми людьми умъ и нравственныя достоинства человѣка опредѣлялись тѣмъ, какъ этотъ человѣкъ относится къ Шпандорчукамъ и Вырвичамъ. Такое положеніе заставляетъ насъ нѣсколько оторваться отъ хода событій и представить читателямъ образцы, можетъ быть, весьма скудныхъ размѣровъ, выражающихъ отношеніе Доры, Анны Михайловны и Долинскаго къ этому рѣдкостному явленію петербургской цивилизаціи.

И Шпандорчукъ, и Вырвичъ въ существѣ были люди незлые и даже довольно добродушные, но недалекіе и безтактные. Оба они, прочитавъ извѣстный тургеневскій романъ, начали называть себя нигилистами. Дора тоже прочла этотъ романъ и при первомъ словѣ кстати сказала:

— Нѣтъ, вы совсѣмъ не нигилисты.

— Какъ это, Дарья Михайловна?

— Да такъ, не нигилисты, да и только.

— Какъ же, когда мы сами говоримъ вамъ, что мы въ Бога не вѣруемъ и мы нигилисты.

— Сами вы можете говорить что̀ вамъ угодно, а все-таки вы не то, что̀ тутъ названо нигилистомъ.

— Такъ что́ же мы такое по вашему?

— Богъ васъ, господа, знаетъ, что вы такое!

— Вотъ это-то и есть; вотъ такіе-то люди, какъ мы, и называются нигилистами.

— Знаете, по-моему, какъ называются такіе люди, какъ вы?—спросила, смѣясь, Дора.

— Нѣтъ, не знаемъ; скажите, пожалуйста.

— А не будете сердиться?

— Сердиться глупо. Всякая свобода — нашъ первый принципъ.

— Такъ видите ли, такіе люди, какъ вы, называются *скучные люди.*

— А! а вамъ веселья хочется.

Да не веселья, но помилуйте, что же это цѣлую жизнь сообщать, въ видѣ новостей, то, что̀ каждому человѣку давно очень хорошо извѣстно: «А знаете ли, что мужикъ тоже человѣкъ? А знаете ли, что женщина тоже человѣкъ? А знаете ли, что богачи давятъ бѣдныхъ? А знаете ли, что человѣкъ долженъ быть свободенъ? Знаете ли, что цивилизація навыдумывала пропасть вздоровъ?»—Вѣдь это-жъ, согласитесь, скучно! Кто-жъ этого не знаетъ, и какой же умный человѣкъ со всѣмъ этимъ давно не согласенъ? И главное дѣло, что все-то вы насъ учите, учите... Право, даже страшно подумать, какіе мы, должно быть, всѣ умные скоро подѣлаемся! А въ самомъ-то дѣлѣ, все это нуль; на все это жизнь дунетъ—и все это разлетѣлось; все выйдетъ совсѣмъ не такъ, какъ написано въ рецептѣ.

— Да вотъ, то-то и есть, Дарья Михайловна, что вы и сами выходите нигилистка.

— Я! Боже меня сохрани! — отвѣчала Дора, и какъ бы въ доказательство тотчасъ же перекрестилась.

— Да что̀ же дурного быть нигилисткой?

— Ничего особенно дурного, и ничего особенно хорошаго, только на что мнѣ мундиръ? я не хочу его. Я хочу быть свободнымъ человѣкомъ, я не люблю зависимости.

— Да это и значитъ быть независимой. Вы сами не знаете, что̀ говорите.

— Благодарю за любезность, но не вѣрю ей. Я очень хорошо знаю, что̀ я такое. У меня есть совѣсть и, какой случился, свой царь въ головѣ, и, кромѣ ихъ, я ни отъ кого и ни отъ чего не хочу быть зависимой, отвѣчала съ раздувающимися ноздерками Дора

— Крайнее свободолюбіе!

— Самое крайнее.

— Но можно найти еще крайнѣе.

— Напримѣръ, можно даже стать въ независимость отъ здраваго смысла.

— А что-жъ! Я, пожалуй, лучше соглашусь и на это! Лучше же быть независимою отъ здраваго смысла, и такъ ужъ и слыть дуракомъ или дурой, чѣмъ зависѣть отъ этихъ господъ, которые всѣхъ учатъ. Моя душа не дудка и я не позволю на ней играть никому, говорила она въ пылу горячихъ споровъ.

— Ну, а что же будетъ, если вы, въ самомъ дѣлѣ, наконецъ, станете независимы отъ здраваго смысла — отвѣчали ей.

— Что? Свезутъ въ сумасшедшій домъ. Все же, говорю вамъ, это гораздо лучше, чѣмъ цѣлый вѣкъ слушать учителей, сбиться съ толку и сдѣлаться пѣшкой, которую, пожалуй, еще другіе, чего добраго, слушать станутъ. Я жизни слушаюсь.

— Да вѣдь странны вы, право! Теорію вѣдь жизнь же выработала, убѣждали Дору.

— Нѣтъ-съ; ужъ это извините пожалуйста; этому я не вѣрю! Теорія—сочиненіе, а жизнь—жизнь. Жизнь—это то, что есть, и то, что всегда будетъ.

— Значитъ, у васъ человѣкъ—рабъ жизни?

— Извините, у меня такъ: думай что хочешь, а дѣлай что долженъ.

— А что же вы *должны?*

— Должна? Должна я прежде всего работать и какъ можно больше работать, а потомъ не мѣшать никому жить свободно, какъ ему хочется, отвѣчала Дора.

— А не должны вы, напримѣръ, еще позаботиться о человѣческомъ счастьѣ?

— То есть какъ же это о немъ позаботиться? Кому я могу доставить какое нибудь счастье—я всегда очень рада; а всѣмъ, то есть цѣлому человѣчеству, ничего не могу сдѣлать: ручки не доросли.

— Эхъ-съ, Дарья Михайловна!—ручки-то у всякаго дорасли, да желанья мало.

— Не знаю-съ, не знаю. Для этого нужно очень много знать, вообще надо быть очень умнымъ, чтобъ не подѣлать еще худшей безтолочи.

— Такъ вы и рѣшаете быть въ сторонкѣ?

— Мимо чего пойду, то сдѣлаю — позволенія ни у кого просить не стану, а то, говорю вамъ, надо быть очень умной.

— Несторъ Игнатьичъ! да полноте же батюшка, отмалчиваться! Какія же, наконецъ, *ваши* на этотъ счетъ мнѣнія?—затягивали Долинскаго.

— Это, господа, вѣдь все вещи рѣшенныя: «ищите прежде всего царствія Божія и правды Его, а вся сія приложатся вамъ».

— Фу ты, какой онъ! Такъ отъ него и претъ моралью! Что это за царствіе, и что это за правда?

— Правда? Внутренняя правда — *быть*, а не *казаться*.

— А царствіе?

— Да что-жъ вы меня разспрашиваете? Сами возрастъ имате; чтите и разумѣйте.

— Это о небѣ.

— Нѣтъ о землѣ.

— Обѣтованной, по которой потечетъ медъ и млеко?

— Да, конечно, объ обѣтованной, гдѣ нѣсть ни рабъ, ни свободь, но всяческая и во всѣхъ одинъ духъ, одно желаніе любить другого, какъ самого себя.

— Я за васъ, Несторъ Игнатьичъ!—воскликнула Дора.

— Да и я, и я!—шумѣлъ Журавка.

— И я, говорили хорошіе глаза Анны Михайловны.

— Широко это, очень широко, батюшка Несторъ Игнатьичъ—замѣчалъ Вырвичъ.

— Да какъ же вы хотите, чтобы такая міровая идея была узка, чтобы она, такъ сказать, въ аптечную коробочку, что ли, укладывалась?

— То-то вотъ отъ ширины-то ея ей и не удается до сихъ поръ воплотиться-то; а вы поуже, пояснѣе формулируйте.

— Да любви мало-съ. Вы говорите: идея не воплощается до сихъ поръ потому, что она очень широка, а посмотрите, не оттого ли она не воплощается, что любви нѣтъ, что все и во имя любви-то дѣлается безъ любви вовсе.

Дорушка заплескала ладонями.

Эти споры Доры съ Вырвичемъ и съ Шпандорчукомъ обыкновенно затягивались долго. Дора давно терпѣть не могла этихъ споровъ, но, по своей страстной натурѣ, все-таки опять увлекалась и опять при первой встрѣчѣ готова была спорить снова. Шпандорчукъ и Вырвичъ тоже не упускали случая сказать ей нарочно что нибудь почуднѣй и снова втянуть Дорушку въ споры. За глаза же они надъ ней посмѣивались и называли ее «*философствующей выдержкой*».

Дора съ своей стороны тоже была о нихъ не очень выгоднаго мнѣнія.

— Что это за люди? — говорила она Долинскому: — все вычитанное, все чужое, взятое напрокатъ, и своего рѣшительно ничего.

— Да чего вы на нихъ сердитесь? Они сколько видѣли, сколько слышали, столько и говорятъ. Все ихъ несчастье въ томъ, что они мало знаютъ жизнь, мало видѣли.

— И еще меньше думали.

— Ну, думать-то они, пожалуй, и думаютъ.

— Такъ какъ же ни до чего путнаго не додумаются?

— Да вѣдь это... Ахъ, Дарья Михайловна, и вы-то еще мало знаете людей!

— Это и не удивительно; но удивительно, какъ они другихъ учатъ, а сами какъ дѣти лепечутъ! Я, по крайней мѣрѣ, нигдѣ не видная и ничего не знающая человѣчица, а вѣдь это... видите... разсуждаютъ совсѣмъ будто какъ большіе!

Долинскій и Дора вмѣстѣ засмѣялись.

— Нѣтъ, а вы вотъ что, Несторъ Игнатьичъ, даромъ что вы такой тихоня, а прехитрый вы человѣкъ. Что вы никогда почти не хотите меня поддержать передъ ними?— говорила Дора.

— Да не въ чемъ-съ, когда вы и сами съ ними справляетесь. Я бы вѣдь такъ не соспорилъ, какъ вы.

— Отчего это?

— Да оттого, что̀ за охота съ ними спорить? Вы вѣдь ихъ ничѣмъ не урезоните.

— Ну-съ?

— Ну-съ, такъ и говорить не стоитъ. Что мнѣ за радость открывать передъ ними свою душу! Для меня что̀ очень дорого, то для нихъ ничего; васъ вотъ все это занимаетъ серьезно, а имъ лишь бы слова выпускать; вы убѣждаетесь или разубѣждаетесь въ чемъ нибудь,—а они много-что если зарядятся какимъ нибудь впечатлѣніемъ, а то все такъ...

— Это, выходитъ, значитъ, что я глупо поступаю, споря съ ними?

Долинскій тихо улыбнулся.

— Ммм! какой любезный! — произнесла Дора, бросивъ ему въ лицо хлѣбнымъ шарикомъ.

— Вы думаете, что для нихъ ошибаться въ чемъ нибудь—очень важная вещь? Жизни не будетъ стоить: скажетъ: *ошибся*, да и дѣло къ сторонѣ; не изболитъ сердцемъ, и тѣломъ не похудѣетъ.

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ, Несторъ Игнатьичъ! кому жъ, однако, вѣрить-то остается? А вѣдь нужно же кому нибудь вѣрить, хочется, наконецъ, вѣрить! — говорила задумчиво Дора.

— Вѣруйте смѣлѣе въ себя, идите бодрѣе въ жизнь; жизнь сама покажетъ, что̀ дѣлать: нужно имѣть умъ и правила, а не росписаніе, — успокоивалъ ее Долинскій, и у нихъ перемѣнялся тонъ и заходила долгая, живая бесѣда, кончая которую, Даша всегда говорила:—зачѣмъ эти люди мѣшаютъ намъ говорить?

Долинскій самъ чувствовалъ, что очень досадно, зачѣмъ эти люди мѣшаютъ ему говорить съ Дорой, а эти люди являлись къ нимъ довольно рѣдко и разъ отъ разу посѣщенія ихъ становились еще рѣже.

— Ну, какое сравненіе разговаривать, напримѣръ, съ ними, или съ простодушнымъ Ильею Макаровичемъ?—спрашивала Дора. Это — человѣкъ, онъ живетъ, сочувствуетъ, любитъ, страдаетъ, однимъ словомъ, *несетъ жизнь;* а тѣ, точно кукушки, по чужимъ гнѣздамъ прыгаютъ; точно ученые скворцы сверкочатъ: «дай скворушкѣ кашки!» И еще этакія-то кукушки хотятъ, чтобы всѣ ихъ слушали. Нечего сказать, хорошо бы стало на свѣтѣ! Вышло бы, что ни одной твари на землѣ нѣтъ глупѣе, какъ люди.

— Это мы вамъ обязаны за такое знакомство, шутила она съ Долинскимъ.—Къ намъ прежде такія птицы не залетали. А, впрочемъ, ничего—это очень назидательно.

— А не спорить я все-таки не могу, говорила она въ заключеніе.

Вырвичъ и Шпандорчукъ пробовали заводить съ Дорушкой рѣчь о стѣсненности женскихъ правъ, но она съ перваго же слова осталась къ этому вопросу совершенно равнодушною. Развиватели дали ей прочесть нѣсколько статей, касавшихся этого предмета; она прочла всѣ эти статьи очень терпѣливо и сказала:

— Пожалуйста, не носите мнѣ больше этого сора.

— Неужто, говорили ей, —вы не сочувствуете и тому, что люди бьются за васъ же, бьются за ваши же естественныя права, которыя у васъ отняты?

— Я очень довольна моими правами; я нахожу, что у меня ихъ ровно столько же, сколько у васъ, и отнять ихъ у меня никто не можетъ, отвѣчала Дора.

— А вотъ не можете быть судьей.

— И не хочу; мнѣ довольно судить самое себя.

— А другихъ вы судите чужимъ судомъ?

— Нѣтъ, своимъ собственнымъ.

— Спорщица! Когда ты перестанешь спорить! — останавливала сестру Анна Михайловна, обыкновенно не принимавшая личнаго участія въ заходившихъ при ней длинныхъ спорахъ.

— Не могу, Аня, за живое меня задѣваютъ эти молодыя фразы, горячо отвѣчала Дора.

— Но позвольте, вѣдь вы могли бы пожелать быть врачемъ?—возражалъ ей Шпандорчукъ.

— Могла бы.

— И вамъ бы не позволили.

— Совершенно напрасно не позволили бы.

— А все-таки вотъ взяли бы, да и не позволили бы.

— Очень жаль, но я бы нашла себѣ другое дѣло. Не только свѣта, что въ окнѣ.

— Ну, хорошо-съ, — ну, положимъ, вы можете себѣ создать этакое другое независимое положеніе, а тѣ, которыя не могутъ?

— Да о тѣхъ и говорить нечего! Кто не умѣетъ стать самъ, того не поставите. Бѣлинскій прекрасно говоритъ, что тому нѣтъ спасенія, кто въ слабости своей натуры носитъ своего врага.

— Ахъ, да оставьте вы, сдѣлайте милость, въ покоѣ вашего Бѣлинскаго! Помилуйте, что-жъ это, приговоръ, что ли, что сказалъ Бѣлинскій?

— Въ этомъ случаѣ, да—приговоръ. Попробуйте-ка отнять независимость у меня, у моей сестры, или у Анны Анисимовны! Не угодно ли?

— Что за Анна Анисимовна?

— А, это счастливое имя имѣетъ честь принадлежать совершенно независимой швеѣ изъ нашего магазина.

Дорушка любила ставить свою Анну Анисимовну въ примѣръ, и охотно разсказывала ея несекретную исторію.

— Вотъ видите! — говорили ей послѣ этого разсказа развиватели: — а легко за то этой Аннѣ Анисимовнѣ?

— Ну, господа, простите меня великодушно! — запальчиво отвѣчала Дора. — Кто смотритъ, легко ли ему, да еще выгодно ли ему отстоять свою свободу, тотъ ея не стоитъ, даже говорить о ней не долженъ.

— Да, женщина, почти каждая — раба; она раба и въ семьѣ, раба въ обществѣ.

— Потому что она большей частью раба по натурѣ.

— То есть какъ это? Не можетъ жить безъ опеки?

— *Не хочетъ-съ,* не хочетъ сама себѣ помогать, продаетъ свою свободу за кареты, за положеніе, за прочія глупыя вещи. Раба! Всякій, кто дорожитъ чѣмъ нибудь больше чѣмъ свободой — рабъ. Не все ли равно, женщина раба мужа, мужъ рабъ чиновъ и мѣстъ, вы рабы вашего либерализма, соболи, бобры—всѣ равны!

— Даже досюда идетъ!

— А еще бы! Вѣдь вы не смѣете быть не либераломъ?

— Потому что мы убѣждены...

— Убѣждены! — съ улыбкой перебивала Дора. — Не смѣете, просто не смѣете. Не знаете, что̀ дѣлать; не знаете, за что зацѣпиться, если васъ выключатъ изъ либераловъ. Отъ жизни даже отрекаетесь.

— Вотъ то-то, Дарья Михайловна, говорили ей: — не знаете вы, сколько труда въ послѣднее время положено за женщину.

— Это правда. Только я, господа, объ одномъ жалѣю, что я не писательница. Я бы всѣ силы мои употребила растолковать женщинамъ, что всѣ ваши о насъ попеченія... просто для насъ унизительны.

— Да что-жъ, Дарья Михайловна, *унизительно*, вы говорите? Позвольте вамъ замѣтить, что въ настоящемъ случаѣ вы нѣсколько неосторожно увлеклись вашимъ самолюбіемъ. Мы хлопочемъ вовсе и не о васъ — то есть не только не о васъ лично, а и вообще не объ однѣхъ женщинахъ.

— А о себѣ—я это такъ и догадывалась.

— Да хотя бы-съ и о себѣ! Пора, наконецъ, похлопотать и о себѣ, когда на насъ ложится весь трудъ и тяжесть заработка; а женщины живутъ въ тягость и себѣ, и другимъ — ничего не дѣлаютъ. Вопросъ женскій — общій вопросъ.

— Да то-то вотъ; пожалуйста, хоть не называйте же вы этого вопроса *женскимъ*.

— А какъ же прикажете его называть въ вашемъ присутствіи?

— *Барыньскій, дамскій* — однимъ словомъ какъ тамъ хотите, *только не женскій*, потому что, если дѣло идетъ о томъ, чтобъ русская женщина трудилась, такъ она, русская-то женщина, monsieur Шпандорчукъ, всегда трудилась и трудится, и трудится нерѣдко гораздо больше своихъ мужчинъ. А это вы говорите о барышняхъ, о дамахъ— такъ и не называйте же ихняго вопроса нашимъ *женскимъ*.

— Мы говоримъ вообще о развитой женщинѣ, которая въ наше время не можетъ себѣ добыть хлѣба.

— *Развившаяся до того, что не можетъ добыть себѣ хлѣба*! Ха-ха-ха!..

Дорушка неудержимо расхохоталась.

— Не смѣшите, пожалуйста, людей, господа! Эти ваши такимъ манеромъ развившіяся женщины, не въ наше только время, *а во всякое время* будутъ безъ хлѣба.

— Нѣтъ-съ, это немножко не такъ будетъ. А впрочемъ, гдѣ же эти ваши и не-дамы, и не-барышни, и ужъ, разумѣется, тоже и не судомойки же, а женщины?

— А-а! это, господа, ужъ ищите, да-съ, ищите, какъ голодный хлѣба ищетъ. Женщина вѣдь стоитъ того, чтобъ ее поискать повнимательнѣе.

— Но гдѣ-съ? гдѣ?

— А-а! вотъ то-то и есть. Помните, какъ Кречинскій говоритъ о деньгахъ: «деньги вездѣ есть, во всякомъ домѣ, только надо знать, гдѣ онѣ лежатъ; надо знать, какъ ихъ взять». Такъ точно и женщины: вездѣ онѣ есть, въ каждомъ общественномъ кружочкѣ есть женщины, *только нужно ихъ умѣть найти*!—проговорила Дорушка, стукая внушительно ноготкомъ по столу.

— Да и о̀ чемъ собственно рѣчь-то?—вмѣшался Долинскій.—Если объ общемъ счастіи, о мужскомъ и о женскомъ, то я вовсе не думаю, чтобы женщины стали счастливѣе, если мы ихъ завалимъ работою и заботою; а мужчина, который, дѣйствительно, *любитъ* женщину, тотъ самъ охотно

возьметъ на себя все тяжелѣйшее. Что тамъ ни вводите, а полюбя женщину, я все-таки стану заботиться, чтобы ей было легче, такъ сказать, чтобъ ей было лучше жить, а не буду производить надъ ней опыты, сколько она вытянетъ. Мнѣ же пріятно видѣть ее счастливою и знать, что это я для нея устроилъ!

— Да-съ, это прекрасно, только съ одной стороны — со стороны поэзіи; а вы забываете, что есть и другія точки, съ которыхъ можно смотрѣть на этотъ вопросъ: напримѣръ, съ точки хлѣба и брюха.

Долинскій нѣсколько смутился словомъ «брюхо», и отвѣчалъ:

— То есть вы хотите сказать: со стороны денегъ; ну, что же-съ! Если женщина даетъ вамъ счастье, создаетъ ваше благополучіе, то неужто она не участвуетъ такимъ образомъ въ вашемъ трудѣ и не имѣетъ права на вашъ заработокъ? Она вашъ половинщикъ во всемъ—въ горѣ и радостяхъ. Какъ вы расцѣните на рубли вліяніе, которое хорошая женщина можетъ имѣть на васъ, освѣжая вашъ духъ, поддерживая въ васъ бодрость, успокоивая васъ лаской, однимъ словомъ—утѣшая васъ своимъ присутствіемъ и поднимая васъ и на работу, и на мысль, и на все хорошее? Можетъ быть, не половина, а восемь десятыхъ, даже все почти, что вы заработаете, будетъ принадлежать ей, а не вамъ, несмотря на то, что это будетъ заработано вашими руками.

— Все же, я думаю, согласитесь вы, что нужно развить въ женщинѣ вкусъ, то есть я хотѣлъ сказать, развить въ ней любовь и къ труду, и къ свободѣ, чтобъ она умѣла цѣнить свою свободу и ни на что ее не промѣнивала.

— Да противъ этого никто ничего не говоритъ. Давай имъ Богъ и этой любви къ свободѣ, и умѣнья честно достигать ее— одно другому ничуть не мѣшаетъ.

— Кто цѣнитъ свою свободу, тотъ ни на что ее и такъ не промѣняетъ, тотъ и самъ отстоитъ ее и совсѣмъ не по вашимъ рецептамъ, равнодушно сказала Дора.

— А вы забываете наши милые законы, заговорилъ, перемѣняя тонъ, Шпандорчукъ.

— Очень они мнѣ нужны, ваши законы! Я сама себѣ законъ. Не убиваю, не краду, не буяню — какое до меня дѣло закону?

— Ну, а если вы полюбите и законъ станетъ вамъ поперегъ дороги?

— Что за вздоръ такой вы сказали! Гдѣ же есть для любви законы? Люблю—вотъ и все.

— И какъ же будете поступать?

— Какъ укажетъ мое чувство.—Нѣтъ, всѣ вы, господа—рабы, заканчивала Дора.

Съ нею обыкновенно никто изъ спорящихъ не соглашался и даже нерѣдко ставили Дорушку въ затруднительное положеніе заученными софизмами, но всего чаще она на-голову побивала своею живою и простою рѣчью всѣхъ своихъ ученыхъ противниковъ, и Несторъ Игнатьевичъ ликовалъ за нее, молча похаживая по оглашенной споромъ комнатѣ.

— Бѣдовая эта ученая швейка! — говорили о ней ея новые знакомые.

— Да, разсуждаетъ!

— Придетъ, братъ, видно, точно, шекспировское время, что мужикъ станетъ наступать на ногу дворянину и не будетъ извиняться. Я, разумѣется, понимаю *дворянина мысли.*

— Ну, еще бы!

— Надъ ней, однако, очень бы стоило поработать прилежно, заключилъ Вырвичъ.

— Очень жаль, что вы безъ системы все читаете, поучительно заявлялъ онъ ей одинъ разъ.

— Напротивъ, спросите Нестора Игнатьича; я его, я думаю, замучила, заставляя переводить себѣ.

— Несторъ Игнатьичъ—извѣстный старовѣръ.

— А какая же новая-то есть вѣра? — спросилъ сквозь зубы Долинскій.

— Вѣра въ лучшихъ людей и въ лучшее будущее.

— Это самая старая вѣра и есть,—также нехотя и равнодушно отвѣчалъ Долинскій.

— Да-съ, да это не о томъ, а о томъ, что Дарья Михайловна съ вами, я думаю, въ чемъ вѣдь упражняется? Все того же Шекспира, небось, заставляетъ себѣ переводить?

— Русскихъ журналовъ я болѣе не читаю, отвѣчала за Долинскаго Дора.

— Это за что такая немилость?

— Нечего читать. Своихъ прежнихъ писателей я всѣхъ знаю, а новыхъ... да и новыхъ, впрочемъ, знаю.

— Даже не читавши!

— А это васъ удивляетъ? Тутъ ничего нѣтъ такого удивительнаго. Дѣло очень извѣстное: всѣ вѣдь почти они на одинъ фасонъ! одинъ говоритъ: пусть женщина отдается по первому влеченію, другой говоритъ — пусть никому не отдается; одинъ учитъ, какъ наживать деньги, другой — говоритъ, что деньги наживать нечестно, что надо жить совсѣмъ иначе, а самъ живетъ еще иначе. Все одна докучная басня: «жили были кутыль да журавль; накосили они себѣ стожекъ сѣнца, поставили посередь польца, не сказать ли вамъ опять съ конца?» зарядила сорока «*Якова*», и съ тѣмъ до всякаго.

— А у вашего Шекспира?

— А у моего Шекспира? А у моего Шекспира — вотъ что: я вотъ сегодня устала, забила свою голову всякой дрязгой домашней, а прочла Ричарда — и это меня освѣжило; а прочитай я какую-нибудь вашу статью, или нравоученіе въ лицахъ — я бы только разозлилась, или еще больше устала.

— Въ Ричардѣ Третьемъ—жизнь!.. О, разумъ!—къ тебѣ взываю. Что это такое, эта Анна? Уродъ невозможный. Живая на небо летитъ за мертвымъ мужемъ, и тутъ же на шею вѣшается его убійцѣ. Помилуйте, развѣ это возможно.

— Иль палецъ выломить *любя*, какъ леди Перси, вставилъ съ своей стороны Шпандорчукъ.

— Да... и палецъ выломитъ, спокойно отвѣчала Дора.

— Такъ ужъ, послѣдовательно идя, почему-жъ не свернуть любя и голову?

— Да... свернуть и голову.

— Любя!

Дорушка помолчала и, посмотрѣвъ на обоихъ оппонентовъ, медленно проговорила, качая своею головкою:

— Эхъ, господа, господа! Какія у васъ должны быть крошечныя-крошечныя страстишки-то!—Она приложила палецъ къ концу ногтя своего мизинца и добавила: — вотъ этакія должно быть, чупушныя, малюсенькія; меньше воробьинаго носка.

— Прекрасно-съ! ну, пусть тамъ страсти, такъ и страсти; но зачѣмъ же въ небо-то было лѣзть?

— Да что вы такъ этого неба боитесь? Не безпокойтесь, пожалуйста, никто живьемъ ни въ небо не вскочитъ, ни въ землю совсѣмъ не закопается.

Журавка обыкновенно фыркалъ, пыхалъ, подпрыгивалъ и вообще ликовалъ при этихъ спорахъ. Вырвичъ и Шпандорчукъ одинъ или два раза круто поспорили съ нимъ о значеніи художества и вообще говорили объ искусствѣ неуважительно. Илья Макаровичъ былъ плохой діалектикъ; онъ не могъ соспорить съ ними, и за то питалъ къ нимъ всегдашнюю затаенную злобу.

Чуть, бывало, онъ завидитъ ихъ еще изъ окна, какъ сейчасъ же завертится, забѣгаетъ, потираетъ свои руки и кричитъ: «волхвы идутъ! волхвы, гадатели! сейчасъ будутъ намъ будущее предсказывать».

Съ появленіемъ Вырвича и Шпандорчука, Журавка стихалъ, усаживался въ уголокъ и только тихонько пофыркивалъ. Но за то, пересидѣвъ ихъ и дождавшись, когда они уйдутъ, онъ тотчасъ же вскакивалъ и шумѣлъ безпощадно.

— Кошлачки! кошлачки!—говорилъ онъ о нихъ:—отличные кошлачки!—Славные такіе, все какъ на подборъ шершавенькіе, все сѣренькіе, такіе, что хоть выжми ихъ, такъ ничего живого не выйдетъ... То есть, добавлялъ онъ, кипя-

тясь и волнуясь:—то есть вотъ, что называется, ни вкусато, ни радости, опричь самой гадости... Торчатъ на свѣтѣ, какъ вывѣтрѣлыя шишки еловыя... Тьфу, вы сморчки ненавистные!

Долинскій всей душой сочувствовалъ Дорѣ, но вслѣдствіе ея молодости и дѣтскаго ея положенія при нѣжной, страстно ее любящей сестрѣ, онъ привыкъ смотрѣть на нее только какъ на богато-одаренное дитя, у котораго все еще... не устоялось и бродитъ. Онъ очень любилъ Дору и съ удовольствіемъ исполнялъ каждое ея желаніе, но ко многимъ ея требованіямъ относился какъ къ капризамъ ребенка и даже исполнялъ ихъ съ снисходительной улыбкой. Дорушка, при всемъ своемъ умѣ и прочихъ хорошихъ качествахъ, дѣйствительно, иногда позволяла себѣ немножко покапризить, и материнское снисхожденіе Анны Михайловны къ этимъ капризамъ упрочивало за ея сестрою положеніе дитяти. Въ поведеніи Дорушки таки-случались своего рода грѣшки и странности, и Анна Михайловна не безъ основанія говаривала, что Дора про себя самое поетъ романсъ:

«То безъ рѣчей, то говорлива,
«То холодна, то жжетъ въ ней кровь».

Отношенія Долинскаго къ Аннѣ Михайловнѣ были совершенно иныя. Это было что-то въ родѣ благоговѣйнаго почтенія. Долинскій даже перемѣнялся въ лицѣ, когда Анна Михайловна относилась къ нему съ вопросомъ. Онъ смотрѣлъ на нее какъ на что-то неприкосновенное, высшее обыкновенной женщины; разговаривалъ съ нею онъ, не сводя своего взора съ ея прекрасныхъ глазъ; держался передъ нею какъ передъ идоломъ: ни слова необдуманнаго, ни шутки веселой—словомъ, ничего такого, что̀ онъ даже позволялъ себѣ въ присутствіи одной Доры—онъ не могъ сдѣлать при Аннѣ Михайловнѣ. Если Анна Михайловна, которая любила походить въ сумерки по комнатѣ, заводила съ Долинскимъ рѣчь о дѣлахъ, онъ весь обращался въ слухъ, во вниманіе, и Анна Михайловна скоро стала чувствовать безотчетное влеченіе о всѣхъ своихъ нуждахъ и заботахъ

поговорить съ Несторомъ Игнатьевичемъ. Въ его бесѣдѣ не было ни энергической порывчивости Доры, ни верхолетной суетливости Ильи Макаровича, и слова Долинскаго ближе ложились къ сердцу тихой Анны Михайловны, чѣмъ слова сестры и художника. Въ чувствѣ Долинскаго къ Аннѣ Михайловнѣ преобладало именно благоговѣйное поклоненіе высокимъ и скромнымъ достоинствамъ этой женщины, а вмѣстѣ и глубокая, нѣжная любовь, чуждая всякаго знакомства съ страстью. Анна Михайловна очень уважала въ Долинскомъ хорошаго человѣка, жалѣла о его разбитой жизни и... ей нравилось то робкое благоговѣніе къ ней, которое она внушила этому человѣку безъ всякаго умысла, но котораго, однако, не могла не замѣтить и которымъ не отказывала себѣ иногда скромно любоваться ея женское самолюбіе.

Такъ прошелъ цѣлый годъ. Всѣ были счастливы, всѣмъ жилось хорошо, всѣ были довольны другъ другомъ. Илья Макаровичъ, забѣгая раза два въ недѣлю хватить водчонки, говорилъ Долинскому:

— Спасибо тебѣ, Несторка, отлично, братецъ, ты себя ведешь, отлично!

Ильѣ Макаровичу и даже проницательной Дорѣ и въ умъ не приходило пощупать Анну Михайловну или Долинскаго съ ихъ сердечной стороны. А тѣмъ временемъ ихъ тихія чувства крѣпли и крѣпли.

Задумалъ Долинскій, по дорушкиному же подстрекательству, написать небольшую повѣсть. Писалъ онъ неспѣшно, довольно долго, и по мѣрѣ того, что̀ успѣвалъ написать между своей срочной работой, читалъ по кусочкамъ Аннѣ Михайловнѣ и Дорушкѣ.

Сначала Дора, внимательно слѣдившая за медленно подвигавшеюся повѣстью, не замѣчала въ ней ничего, кромѣ ея красотъ или недостатковъ въ выполненіи; но вдругъ вниманіе ея стало останавливаться на сильномъ сходствѣ характера самаго симпатичнаго женскаго лица повѣсти съ дѣйствительнымъ характеромъ Анны Михайловны. Еще немножко позже она замѣтила, что ея всегда ровная и спокойная се-

стра слѣдитъ за ходомъ повѣсти съ страшнымъ вниманіемъ; увлекается, дѣлая замѣчанія; горячо споритъ съ Дорою и просто дрожитъ отъ радости при каждой удачной сценкѣ. Дописалъ Долинскій повѣсть до конца и сталъ выправлять ее и окончательно приготовлять къ печати. Черезъ недѣлю онъ прочелъ ее всю разомъ въ совершенно отдѣланномъ видѣ.

— Да это у васъ живая Аня списана!—вскрикнула, по окончаніи чтенія, Дора.

Анна Михайловна и Долинскій смутились.

Дора посмотрѣла на нихъ обоихъ и не заводила объ этомъ болѣе рѣчи; но дня два была какъ-то задумчивѣе обыкновеннаго, а потомъ опять вошла въ свою колею и шутила.

— Вотъ погоди, скоро его какой-нибудь пріятель отваляетъ за эту повѣсть, — говорила она Аннѣ Михайловнѣ, когда та въ десятый разъ просматривала напечатанную въ журналѣ повѣсть Долинскаго.

— За что же?—вся вспыхнувъ и потерявшись, спросила Анна Михайловна.

— Будто ругаютъ за что-нибудь. Такъ, просто, потому что это ничего не стоитъ.

Дорушка замѣтила, что сестра ея поражена мыслью о томъ, что Нестора Игнатьевича могутъ разбранить, обидѣть и вообще не пожалѣть его, когда онъ самъ такой добрый, когда онъ самъ такъ искренно всѣхъ жалѣетъ.

— Гм! такъ, видно, этому дѣлу и быть,—произнесла Дора, долго посмотрѣвъ на Анну Михайловну и тихонько выходя изъ комнаты.

— Что ты, Дорушка, сказала? — спросила ее вслѣдъ сестра.

— Что такъ этому и быть.

— Какому, душка, дѣлу?

— Да никакому, мой другъ! Я такъ себѣ, Богъ знаетъ, что́ сболтнула,—отвѣчала Дорушка и, возвратясь, поцѣловала сестру въ лобъ и ласково разгладила ея волосы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Мальчикъ Бобка.

Прошло очень немного времени, какъ Дорѣ представился новый случай наблюдать сестру по отношенію къ Долинскому.

Одинъ разъ, въ самый ясный погожій осенній день, позднимъ утромъ, такъ часовъ около двѣнадцати, къ Аннѣ Михайловнѣ забѣжалъ Журавка, а черезъ нѣсколько минутъ, какъ по сигналу, явились Шпандорчукъ и Вырвичъ, и у Доры съ ними, за кофе, къ которому они сошлись было въ столовую, закипѣлъ какой-то ожесточенный споръ. Чтобы положить конецъ этому пренію и не потерять рѣдкаго въ эту пору хорошаго дня, Долинскій, допивъ свою чашку, тихонько вышелъ и возвратился въ столовую въ пальто и въ шляпѣ: на одной рукѣ его была перекинута драповая тальма Доры, а въ другой онъ бережно держалъ ея сѣренькую касторовую шляпу съ черными марабу. Замѣтивъ Долинскаго, Дора улыбнулась и сказала:

— Pardon, господа, мой вѣрный пажъ готовъ.

— Да-съ, готовъ, — отвѣчалъ Долинскій: — и полагаетъ, что его благородной госпожѣ будетъ гораздо полезнѣе теперь пройтись по свѣжему воздуху, чѣмъ спорить и кипятиться.

— Кажется, вы правы,—произнесла Дора, оборачиваясь къ нему спиною для того, чтобы тотъ могъ надѣть ей тальму, которую держалъ на своей рукѣ.

Долинскій раскрылъ тальму и уже поднесъ ее къ Доринымъ плечамъ, но вдругъ остановился и, поднявъ вверхъ одинъ палецъ, тихо произнесъ:

— Тсс!

Всѣ посмотрѣли на него съ нѣкоторымъ удивленіемъ, но никто не сказалъ ни слова, а между тѣмъ Долинскій швырнулъ въ сторону тальму, торопливо подошелъ къ двери, которая вела въ рабочую комнату и, притворивъ ее безъ

всякаго шума, схватилъ Дорушку за руку и, весь дрожа всѣмъ тѣломъ, сказалъ ей:

— Вызовите Анну Анисимовну въ мои комнаты! Да сейчасъ! сейчасъ вызовите!

— Что такое?!—спросила удивленная Дора.

— Зовите ее оттуда!—отвѣчалъ Долинскій, крѣпко подернувъ Дорину руку.

— Да что? что?

Вмѣсто отвѣта Долинскій взялъ ее за плечи и показалъ рукою на фронтонъ высокаго надворнаго флигеля.

— Ахъ!—произнесла чуть слышно Дорушка и побѣжала къ комнатамъ Долинскаго.—Душенька! Анна Анисимовна!—говорила она идучи: — подите ко мнѣ, мой дружочекъ, съ иголочкой въ Несторъ Игнатьевича комнату.

По корридорчику вслѣдъ за Дашей прошумѣло ситцевое платье Анны Анисимовны.

Между тѣмъ всѣ столпились у окна, а Долинскій, шепнувъ имъ: Видите, Бобка на карнизѣ! выбѣжалъ и, снова возвратясь черезъ секунду, проговорилъ, задыхаясь:—Богаради, чтобъ не было шума! Анна Михайловна! Пожалуйста, чтобъ ничто не привлекало его вниманія!

Сказавъ это, Долинскій исчезъ за дверью и въ это мгновеніе какъ-то никому не пришло въ голову ни остановить его, ни спросить о томъ, что онъ хочетъ дѣлать, ни подумать даже, что онъ можетъ сдѣлать въ этомъ случаѣ.

Общее вниманіе было занято карнизомъ. По узкому деревянному карнизу, крытому зеленымъ листовымъ желѣзомъ и отдѣляющему фронтонъ флигеля и бѣльевую сушильню отъ верха третьяго жилого этажа, преспокойнымъ образомъ, весело и граціозно ползъ самый маленькій, трехлѣтній сынъ Анны Анисимовны, всеобщій фаворитъ Борисушка, или Бобка. Онъ ползъ на четверенькахъ по направленію отъ слухового окна, изъ котораго онъ выбрался, къ острому углу, подъ которымъ крыша соединяется съ фронтономъ. Передъ нимъ, въ нѣсколькихъ шагахъ разстоянія, подпрыгивалъ и взмахивалъ связанными крылышками не-

большой сизый голубокъ, котораго ребенокъ все старался схватить своею пухленькою ручкою. Голубокъ не дѣлалъ никакой попытки разомъ отдѣлаться отъ своего преслѣдователя; чуть ребенокъ, подвинувшись на колѣночкахъ, распускалъ надъ нимъ свою ручку, голубокъ встрепенался, взмахивалъ крылышками, показывая свои бѣленькія подмышки, припрыгивалъ два раза, потомъ дѣлалъ своими красненькими ножками два вершковыхъ шага, и опять давалъ Бобкѣ подползать и изловчаться. Голубокъ отодвигался, и Бобка сейчасъ же заносилъ ножонку впередъ и осторожно двигался на четверенькахъ. Тонкіе желѣзные листы, которыми былъ покрытъ полусгнившій карнизъ, гнулись и подъ маленькимъ тѣломъ Бобки и, гнувшись, шумѣли; а изъ-подъ нихъ на землю потихоньку сыпалась гнилая пыль гнилого карниза. Бобкѣ оставалось два шага до соединенія карниза съ крышею, гдѣ онъ непремѣнно бы поймалъ своего голубя, и откуда бы еще непремѣннѣе полетѣлъ съ нимъ вмѣстѣ съ десяти-саженной высоты на дворовую мостовую. Гибель Бобки была неизбѣжна, потому что голубь бы непремѣнно удалялся отъ него тѣмъ же аллюромъ до самаго угла соединенія карниза съ крышей, гдѣ мальчикъ ни за что не могъ ни разогнуться, ни поворотиться; надѣяться на то, чтобы ребенокъ догадался двигаться задомъ, было довольно трудно, да и всякій, кому въ дѣтствѣ случалось путешествовать по такъ-называемымъ «кошачьимъ дорогамъ», тотъ, конечно, пойметъ, что такой фортель былъ для Бобки совершенно невозможенъ. Еще двѣ-три минуты, или какой-нибудь шумъ на дворѣ, который бы заставилъ его оглянуться внизъ, или откуда-нибудь сердобольный совѣтъ, или крикъ ужаса и состраданія—и Бобка бы непремѣнно оборвался и легъ бы съ размозженнымъ черепомъ на гладкихъ голышахъ почти передъ самымъ окномъ, у котораго работала его бѣдная мать.

Но на Бобкино счастье во дворѣ никто не замѣтилъ его воздушнаго путешествія. И Журавка, выбѣжавшій вслѣдъ за Долинскимъ, совершенно напрасно, тревожно стоя подъ

карнизомъ, грозилъ пальцемъ на всѣ внутреннія окна дома. Даже Анны Михайловны кухарка, рубившая котлетку прямо противъ окна, изъ котораго видно было каждое движеніе Бобки, преспокойно работала сѣчкой и распѣвала:

Полюбила я любовничка,
Канцелярскаго чиновничка;
По головкѣ его гладила,
Волоса ему помадила.

Долинскій, выйдя изъ комнаты, духомъ перескочилъ дворикъ и въ одно мгновеніе очутился на чердакѣ за деревяннымъ фронтономъ.

— Бобка!—позвалъ онъ потихоньку сквозь доску, стараясь говорить какъ можно спокойнѣе и какъ разъ у мальчиковой головы.

— А! — отозвался на знакомый голосъ юный Блонденъ.

— Гляди-ка сюда! — продолжалъ Долинскій, имѣя въ виду привлечь глаза мальчика къ стѣнѣ, чтобы онъ далѣе не трогался и не глянулъ какъ нибудь внизъ...

— Говабь повзаетъ, говорилъ, весь сіяя, Бобка.

— Вижу; а ты гляди-ко, Бобка, какъ я его, шельму, сейчасъ изловлю!

— Ну, ну, ну, лови! — отвѣчалъ мальчикъ, и самъ воззрился въ одно мѣсто на нижней доскѣ фронтона.

— Ты только смотри, Бобка, не трогайся, а я уже его сейчасъ.

Мальчикъ отъ радости оскалилъ бѣленькіе зубенки и закусилъ большой палецъ своей лѣвой руки.

Въ это же мгновеніе, въ слуховомъ окнѣ показалась прелестная голова Долинскаго. Красивое, дышащее добротою и кротостью лицо его было оживлено свѣжею краскою спокойной рѣшимости; волнистые волосы его разсыпались отъ вѣтра и легкими, тонкими прядями прилипали къ лицу, покрывающемуся отъ страха крупными каплями пота. Черезъ мгновеніе вся его стройная фигура обрисовалась на сѣромъ фонѣ выцвѣтшаго фронтона, и прежде чѣмъ желѣзные листы загромыхали подъ его ногами, лѣвая рука До-

линскаго ловко и крѣпко схватила ручонку Бобки. Правою рукою онъ сильно держался за край слухового окна и въ одну секунду бросилъ въ него мальчика, и вслѣдъ за нимъ прыгнулъ туда самъ.

Все это произошло такъ скоро, что когда Долинскій съ Бобкою на рукахъ проходилъ черезъ кухню, кухарка еще не кончила пѣсню про любовничка канцелярскаго чиновничка, и разсказывала, какъ она

Напоила его мятою,
Обложила кругомъ ватою.

— Ахъ, скверный ты мальчикъ! — нервно вскрикнула Анна Михайловна при видѣ Бобки.

— Насилу поймалъ, говорилъ весело Долинскій.

— Боже мой, какой страхъ былъ!

Изъ корридора выбѣжала блѣдная Анна Анисимовна: она было сердито взяла Бобку за чубокъ, но тотчасъ же разжала руку, схватила мальчика на руки и страстно впилась губами въ его розовыя щеки.

— Миндаль вамъ за спасеніе погибавшаго, проговорилъ шутливо Вырвичъ, подавая Долинскому выколупнутую съ булки поджаренную миндалину.

Анна Михайловна вспыхнула.

— Страшно! у васъ голова могла закружиться, говорила она, обращаясь къ Долинскому.

— Нѣтъ, это вѣдь одна минута; не надо только смотрѣть внизъ, отвѣчалъ Долинскій, спокойно кладя на столъ поданную ему миндалинку, и съ этими словами ушелъ въ свою комнату, а оттуда вмѣстѣ съ Дашею прошелъ черезъ магазинъ на улицу.

Часа черезъ полтора, когда они возвратились домой, Дора застала сестру въ ея комнатѣ, сильно встревоженною.

— Что̀ это такое съ тобою?—спросила она Анну Михайловну.

— Ахъ, Дорушка, не можешь себѣ вообразить, какъ меня разбѣсили!

— Ну?

— Да вотъ эти господа ненавистные. Только что вы ушли, какъ начали они разсуждать, слѣдовало или не слѣдовало Долинскому снимать этого мальчика, и просто вывели меня изъ терпѣнія.

— Рѣшили, что не слѣдовало?

— Да! Рѣшили, что дворника надо было послать; потомъ стали увѣрять меня, что здѣсь никакого страха нѣтъ и никакого риска нѣтъ; потомъ ужъ опять, какъ-то опять стало выходить, что рискъ былъ, и что потому-то именно не слѣдовало рисковать собой.

— Да вѣдь они ничѣмъ и не рисковали, у окошка стоя. Жаль, что я ушла, не послушала рѣчей умныхъ.

— Ужъ именно! И что̀ только такое тутъ говорилось!.. И о развитіи, и о томъ, что отъ погибели одного мальчика человѣчеству не стало бы ни хуже, ни лучше; что истинное развитіе обязываетъ человѣка беречь себя для жертвъ болѣе важныхъ, чѣмъ одна какая нибудь жизнь, и все такое, что просто... разстроили меня.

— Что ты даже взялась за гофманскія капли?

— Ну, да.

— Успокойся, моя Софья Павловна, твой Молчалинъ живъ; ни лбомъ не треснулся о землю, ни затылкомъ, проговорила Дора, развязывая передъ зеркаломъ ленты своей шляпы.

— И ты тоже!—нетерпѣливо сказала Анна Михайловна.

— Господи, да что̀ такое за «не тронь-меня» этотъ Долинскій.

— Не Молчалинъ онъ, а я не Софья Павловна.

— Пожалуйста, прости, если неловко пошутила. Я не знала, что съ тобой на его счетъ ужъ и пошутить нельзя, сухо проговорила, выходя изъ комнаты, Дора.

Черезъ минуту Анна Михайловна вошла къ Дорушкѣ и молча поцѣловала ея руку; Дора взяла̀ обѣ руки сестры и обѣ ихъ поцѣловала также молча.

Въ очень короткое время Анна Михайловна удивила Дору еще болѣе поступкомъ, который прямо не свойственъ былъ

ея характеру. Анна Михайловна и Дора какъ-то случайно знали, что Шпандорчукъ и Вырвичъ частенько заимствовались у Долинскаго небольшими деньжонками и что должки эти частію кое-какъ отдавались пополамъ съ грѣхомъ, а частію не отдавались вовсе и возрастали до цифръ, хотя и небольшихъ, но все-таки для рабочаго человѣка кое-что значущихъ. Было извѣстно также и то, что Долинскій иногда самъ очень сбивается съ копѣйки и что въ одну изъ такихъ минутъ онъ самымъ мягкимъ и деликатнымъ образомъ попросилъ ихъ, не могутъ ли они ему отдать что̀ нибудь; но отвѣта на это письмо не было, а Долинскій пересталъ даже напоминать пріятелямъ о долгѣ. Эта деликатность злила необыкновенно самолюбиваго Шпандорчука; ему непремѣнно хотѣлось отомстить за нее Долинскому, хотѣлось хоть какой нибудь гадостью расквитаться съ нимъ въ долгѣ и, поссорившись, уничтожить всякую мысль о какой бы то ни было расплатѣ. Но поссориться съ Несторомъ Игнатьевичемъ бывало гораздо труднѣе, чѣмъ помириться съ глупой женщиной. Шпандорчукъ пробовалъ ему и кивать головою, и подавать ему два пальца, и полунасмѣшливо отвѣчать на его вопросы, но Долинскій хорошо зналъ, сколько все это стоитъ, и не удостоивалъ этихъ продѣлокъ никакого вниманія. Шпандорчуку даже видъ Долинскаго сталъ ненавистенъ.

— Какое это у васъ лицо, гляжу̀ я? — говорилъ одинъ разъ, прощаясь съ нимъ, Вырвичъ.

— Какое лицо? — спросилъ, не понимая вопроса, Долинскій.

— Да я не знаю, что̀ такое, а Шпандорчукъ что-то увѣряетъ, что у Долинскаго, говоритъ, совсѣмъ неблагопристойное лицо какое-то дѣлается.

Вырвичъ откровенно захохоталъ.

— А это вѣрно господинъ Шпандорчукъ не чувствуетъ ли себя передъ Несторомъ Игнатьевичемъ въ чемъ нибудь... неисправнымъ?—тихо вмѣшалась Анна Михайловна.—Всѣ пустые люди, продолжала она: — у которыхъ очень много

самолюбія и есть какіе-то слѣды совѣсти, а нѣтъ ни искренности, ни желанія поправиться, всегда кончаютъ этимъ, что ихъ раздражаютъ лица, напоминающія имъ объ ихъ собственной гадости.

Все это Анна Михайловна проговорила съ такимъ холоднымъ спокойствіемъ и съ такимъ достоинствомъ, что Вырвичъ не нашелся сказать въ отвѣтъ ни слова, и красненькій-раскрасненькій молча вышелъ за дверп.

— Вотъ, братъ, отдѣлала тебя!—началъ онъ, являясь домой, и разсказалъ всю эту исторію Шпандорчуку.

— Кто васъ просить сообщать мнѣ такія мерзости, взвизгнулъ Шпандорчукъ, неистово вскакивая съ постели!— Я ей, негодяйкѣ, просто... уши оболтаю на Невскомъ!— зарѣшилъ онъ, перекрутивъ и бросивъ на полъ коробочку изъ-подъ зажигательныхъ спичекъ.

Съ этихъ поръ ни Вырвичъ, ни Шпандорчукъ не показывались въ домѣ Анны Михайловны, и послѣдній, встрѣчаясь съ нею, всегда поднималъ носъ какъ можно выше, по недостатку смѣлости задорно смотрѣлъ въ сторону.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Интересное домино.

Была зима. Святки наступили. Долинскому кто-то подарилъ семейный билетъ на маскарады дворянскаго собранія. Дорушка во что бы то ни стало хотѣла быть въ этомъ маскарадѣ, а Аннѣ Михайловнѣ, наоборотъ, смерть этого не хотѣлось и она всячески старалась отговорить Дашу. Для Долинскаго было все равно: ѣхать ли въ маскарадъ или просидѣть дома.

— Охота тебѣ, право, Дора!—отговаривалась Анна Михайловна.—Въ благородномъ собраніи бываетъ гораздо веселѣе—да не ѣздишь, а тутъ что? Кого мы знаемъ?

— Я? я знаю цѣлый десятокъ франтихъ и всѣ ихъ грязные романы, и нынче всѣ ихъ перепутаю. Ты знаешь эту барыню, которая какъ взойдетъ въ магазинъ—сейчасъ вотъ

такъ начинаетъ водить носомъ по потолку? Сегодня она потерпитъ самое страшное пораженіе.

— Полно вздоры затѣвать, Дора!

— Нѣтъ, пожалуйста, поѣдемъ.

И поѣхали.

О томъ, какъ залъ сіялъ, гремѣли хоры и волновалась маскарадная толпа, не стоитъ разсказывать: всему этому есть ужъ очень давно до подробности вѣрно составленныя описанія.

Дорушка какъ только вошла въ первую залу, тотчасъ же впилась въ какого-то конногвардейца и исчезла съ нимъ въ густой толпѣ. Анна Михайловна прошлась раза два съ Долинскимъ по заламъ и стала искать укромнаго уголка, гдѣ бы можно было усѣсться поспокойнѣе.

— Душно мнѣ—уже устала; терпѣть я не могу этихъ маскарадовъ, жаловалась она Долинскому, который отыскалъ два свободныхъ кресла въ одномъ изъ менѣе освѣщенныхъ угловъ.

— Я тоже не большой ихъ почитатель, отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Духота, давка и всякаго вздора наслушаешься—только и хорошаго.

— Ну, вѣдь для этого же вздора, Анна Михайловна, собственно и ѣздятъ.

— Не понимаю этого удовольствія. Я, знаете, просто... боюсь масокъ.

— Боитесь!

— Да, дерзкія онѣ... имъ все нипочемъ... Не люблю.

— За то можно многое сказать, чего не скажешь безъ маски.

— Тоже не люблю и говорить съ незнакомыми.

— Да и съ знакомыми такъ какъ-то совсѣмъ иначе говорится.

— Да это въ самомъ дѣлѣ. Отчего бы это?

Разсуждая, почему и отчего подъ маскою говорится совсѣмъ не такъ, какъ безъ маски, они сами незамѣтно заговорили иначе, чѣмъ говаривали внѣ маскарада.

Прошелъ часъ-другой, голубое домино Доры мелькало въ толпѣ; изрѣдка оно, проносясь мимо сестры и Долинскаго, ласково кивало имъ головою и опять исчезало въ густой толпѣ, гдѣ ее неотступно преслѣдовали разные фешенэбельные господа и грандіозныя черныя домино. Дора была въ ударѣ и бросала на всѣ стороны самыя ѣдкія шпильки, постоянно увеличивавшія гонявшійся за нею хвостъ. Анна Михайловна тоже развеселилась и не замѣчала времени. Несмотря на то, что онѣ видѣлись съ Долинскимъ каждый день и, кажется, могли бы затрудняться въ выборѣ темы для разговора, особенно занимательнаго, у нихъ шла самая оживленная бесѣда. По поводу нѣкоторыхъ припомненныхъ ими здѣсь извѣстныхъ маскарадныхъ интригъ, они незамѣтно перешли къ разговору объ интригѣ вообще. Анна Михайловна возмущалась противъ всякой любовной интриги и относилась къ ней презрительно, Долинскій еще презрительнѣе.

— Ужъ если случится такое несчастіе, то лучше нести его прямо, разсуждала Анна Михайловна. Долинскій былъ съ нею согласенъ во всѣхъ положеніяхъ и на эту тему.— Или бороться, говорила Анна Михайловна; Долинскій и здѣсь былъ снова согласенъ и не ставилъ борьбу съ долгомъ, съ привычнымъ уваженіемъ къ извѣстнымъ правиламъ, ни въ вину, ни въ порицаніе. Борьба всегда говоритъ за хорошую натуру, неспособную перешвыривать всѣмъ, какъ попало, между тѣмъ, какъ обманъ...

— Гадость ужасная!—съ омерзеніемъ произнесла Анна Михайловна.—Странно это, говорила она черезъ нѣсколько минутъ:—какъ люди мало цѣнятъ то, что̀ въ любви есть самаго лучшаго, и спѣшатъ падать какъ можно грязнѣе.

— Таковъ ужъ человѣкъ, да можетъ быть его въ этомъ даже нельзя слишкомъ и винить.

— Нѣтъ, все это очень странно... ни борьбы, ни увѣренности, что мы любимъ, другъ въ другѣ... что-то все-таки высшее... человѣческое... Неужто-жъ ужъ это въ самомъ дѣлѣ только шутовство! неужто ужъ такъ нельзя любить?

Анна Михайловна выговорила это съ затрудненіемъ и она бы вовсе не выговорила этого Долинскому безъ маски.

— Какъ же нельзя, если мы и въ литературѣ и въ жизни встрѣчаемъ множество примѣровъ такой любви?

— Ну, не правда ли, всегда можно любить чисто? Ну, что̀ эти волненья крови... интриги...

— Да, мнѣ кажется, что вы совершенно правы.

— Какъ, Несторъ Игнатьичъ, «кажется»! Я вѣрю въ это, отвѣчала Анна Михайловна.

— Да, конечно... Борьба... а не выйдешь изъ этой борьбы побѣдителемъ, то все-таки знаешь, что я—человѣкъ, я спорилъ, боролся, но не совладѣлъ, не устоялъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ?—Чистая, чистая любовь и борьба—вотъ настоящее наслажденіе: «блѣднѣть и гаснуть... вотъ блаженство».

— Долинскій, здравствуй!—произнесло, остановясь передъ ними, какое-то черное, кружевное домино.

Несторъ Игнатьевичъ посмотрѣлъ на маску и никакъ не могъ догадаться, кто бы могъ его знать на этомъ аристократическомъ маскарадѣ.

— Давай свою руку, несчастный страдалецъ! — звало его пискливомъ голосомъ домино.

Долинскій отказался, говоря, что у него есть своя очень интересная маска.

— Лжешь, совсѣмъ не интересная, пищало домино — Я ее знаю—совсѣмъ не интересная. Пора ужъ вамъ наскучить другъ другу.

— Иди, иди себѣ съ Богомъ, маска, отвѣчалъ Долинскій.

— Нѣтъ, я хочу идти съ тобою, настаивало домино.

Долинскій едва-едва могъ отдѣлаться отъ привязчивой маски.

— Вы не знаете, кто это такая? — спросила Анна Михайловна.

— Рѣшительно не знаю.

— Долинскій!—опять запищала та же маска, появляясь

съ другой стороны подъ руку съ другою маскою, покрытою звѣзднымъ покрываломъ.

Несторъ Игнатьевичъ оглянулся.

— Оставь же, наконецъ, на минутку свое сокровище, начала, смѣясь, маска.

— Оставь меня, пожалуйста, въ покоѣ.

— Нѣтъ, я тебя не оставлю; я не могу тебя оставить, мой милый рыцарь! — рѣшительно отвѣчала маска. — Ты мнѣ очень дорогъ, пойми ты — дорогъ мнѣ, Долинскій.

Маски слегка хихикали.

— Ахъ, ужъ оставь его! Онъ радъ бы, видишь ли, и самъ идти съ тобой, да не можетъ, картавило звѣдное покрывало.

— Ты думаешь, что она его причаровала?

— О, нѣтъ! Она не чаровница. Она его просто пришила—*пришила его*, отвѣчало, громко разсмѣявшись, звѣздное покрывало и обѣ маски побѣжали.

— Пойдемте, пожалуйста, ходить... Гдѣ Дора?—говорила нѣсколько смущенная Анна Михайловна, еще болѣе смущенному Долинскому.

Они встали и пошли; но не успѣли сдѣлать двадцати шаговъ, какъ снова увидѣли тѣ же два домино, шедшія навстрѣчу имъ подъ руки съ очень молодымъ конногвардейцемъ.

— Пойдемте отъ нихъ, сказала оробѣвшая Анна Михайловна и, дернувъ Долинскаго за руку, повернула назадъ.

— Чего она насъ такъ боится? — спрашивало, нагоняя ихъ сзади, черное домино у звѣзднаго покрывала.

— Она не сшила мнѣ къ сроку панталонъ, издѣвалось звѣздное покрывало, и обѣ маски вмѣстѣ съ конногвардейцемъ залились.

— Возьмемъ его приступомъ! — продолжало шутить за спиною у Анны Михайловны и Долинскаго звѣздное покрывало.

— Возьмемъ, соглашалось домино.

Долинскій терялся, не зная, что̀ ему дѣлать, и тревожно

искалъ глазами голубого домино Доры. — Вотъ... Чортъ знаетъ, что̀ я могу, что̀ я долженъ сдѣлать? Еслибъ Дора! ахъ, еслибъ она! Онъ посмотрѣлъ въ глаза Аннѣ Михайловнѣ—глаза эти были полны слезъ.

— Ну, бери—произнесло сквозь смѣхъ заднее домино и схватило Долинскаго за локоть свободной руки.

Въ то же время звѣздное покрывало ловко отодвинуло Анну Михайловну и взялось за другую руку Долинскаго.

Несторъ Игнатьевичъ слегка рванулся: маски висѣли крѣпко, какъ хорошо принявшіяся піявки, и только захохотали.

— Ты не думаешь ли драться?—спросило его покрывало.

Долинскій, ничего не отвѣчая, только оглянулся; конногвардеецъ, сопровождавшій полонившихъ Долинскаго масокъ, разсказывалъ что-то лейбъ-казачьему офицеру и старичку самой благонамѣренной наружности. Всѣ они трое помирали со смѣха и смотрѣли въ ту сторону, куда маски увлекали Нестора Игнатьевича. Пунсовый бантъ на капюшонѣ Анны Михайловны робко жался къ стѣнѣ за колоннадою.

— Пустите меня Бога-ради!—просилъ Долинскій и ворохнулъ руками тихо, но гораздо посерьезнѣе.

— Послушай, Долинскій, будь паинька, не дурачься, а не то, mon cher, самъ пожалѣешь.

— Дѣлайте, что хотите, только отстаньте отъ меня теперь.

— Ну, хорошо, иди, а мы сдѣлаемъ скандалъ твоей маскѣ. Долинскій опять оглянулся. Одинокая Анна Михайловна попрежнему жалась у стѣны, но изъ ближайшихъ дверей показался голубой капюшонъ Доры. Конногвардеецъ съ лейбъ-казакомъ и благонамѣреннымъ старичкомъ попрежнему веселились. Лицо благонамѣреннаго старичка показалось что-то знакомымъ Долинскому.

— Боже мой!—вспомнилъ онъ:—да это, кажется, благодѣтель Азовцовыхъ—откупщикъ, и, оглянувшись на висѣвшее у него на правомъ локтѣ черное домино, Долинскій проговорилъ строго:

— Юлія Петровна, это вы мнѣ дѣлаете такіе сюрпризы? Онъ узналъ свою жену.

— Ну, пойдемте же, куда вамъ угодно и, пожалуйста, говорите скорѣе, чего хотите вы отъ меня — безсовѣстная вы, ненавистная женщина!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Звѣздочка счастья.

Анна Михайловна, встрѣтивъ Дору, упросила ее тотчасъ же уѣхать съ маскарада.

— Я совсѣмъ нездорова — голова страшно разболѣлась, говорила она сестрѣ, скрывая отъ нея причину своего настоящаго разстройства.

— Позовемъ же Долинскаго, отвѣчала Дора.

— Нѣтъ, Богъ съ нимъ—пусть себѣ повеселится.

Сестры пріѣхали домой, слегка закусили и разошлись по своимъ комнатамъ.

Долинскій позвонилъ съ чернаго входа часа черезъ два или даже нѣсколько болѣе. Кухарка отперла ему дверь, подала спички и опять повалилась на кровать.

Спички оказались вовсе ненужными. На столѣ въ столовой горѣла свѣча и стояла тарелка, покрытая чистою салфеткою, подъ которой лежалъ ломоть хлѣба и кусокъ жареной индѣйки.

Несторъ Игнатьевичъ взглянулъ на этотъ ужинъ и, дунувъ на свѣчку, тихонько прошелъ въ свою комнату.

Минутъ черезъ пять кто-то очень тихо постучался въ его двери.

Долинскій, азартно шагавшій взадъ и впередъ, остановился.

— Можно войти, тихо произнесъ за дверью голосъ Анны Михайловны.

— Сдѣлайте милость, отвѣчалъ Долинскій, смущаясь и оглянувъ порядокъ своей комнаты.

— Отчего вы не закусили? — спросила, входя тоже нѣсколько смущенная, Анна Михайловна.

— Сытъ—благодарю васъ за вниманіе.

Анна Михайловна, очевидно, пришла говорить не о закускѣ, но не знала съ чего начать.

— Садитесь, пожалуйста — вы устали, отнесся къ ней Долинскій, подвигая кресло.

— Что̀ это было за явленіе такое? — спросила она, опускаясь въ кресло и стараясь спокойно улыбнуться.

— Боже мой!—я просто теряю голову, отвѣчалъ Долинскій.—Я былъ причиною, что васъ такъ тяжело оскорбила эта дрянная женщина.

— Нѣтъ... что до меня касается, то... вы, пожалуйста, не думайте объ этомъ, Несторъ Игнатьичъ. Это — совершенный вздоръ.

— Я далъ бы дорого—о, я дорого бы далъ, чтобы этого вздора не случилось.

— Эта маска была ваша жена?

— Почему вы это подумали?

— Такъ какъ-то, сама не знаю. У меня было нехорошее предчувствіе, и я не хотѣла ни за что ѣхать—это все Даша упрямая виновата.

— Пожалуйста, забудьте этотъ возмутительный случай, упрашивалъ Долинскій, протягивая Аннѣ Михайловнѣ свою руку. — Иначе это убьетъ меня; я... не знаю, право... я уйду Богъ-знаетъ куда: я просто хотѣлъ уѣхать, хоть въ Москву, что ли.

— Очень мило, прошептала, качая съ упрекомъ головою, Анна Михайловна.—Вы лучше скажите мнѣ, не было ли *съ вами* чего дурного?

— Ничего. Она хочетъ съ меня денегъ, и я ей обѣщалъ.

— Какая странная женщина!

— Богъ съ ней, Анна Михайловна. Мнѣ только стыдно... больно... кажется, сквозь землю бы пошелъ за то, что̀ вынесли вы сегодня. Вы не повѣрите, какъ мнѣ это больно...

— Вѣрю, вѣрю, только успокойтесь и забудьте этотъ нехорошій вечеръ, отвѣчала Анна Михайловна, подавая Долинскому свои обѣ руки. — Вѣрьте и вы, что изъ всего, что̀ сегодня случилось, я хочу помнить одно: вашу боязнь за мое спокойствіе.

— Боже мой! да что̀ же у меня остается въ жизни, кромѣ вашего спокойствія.

Анна Михайловна взглянула на Долинскаго и молча встала.

— Позвольте на одно слово, попросилъ ее Долинскій.

Анна Михайловна остановилась.

— Вы не сердитесь?—спросилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Я увѣрена, что вы не можете сказать ничего такого, что бы меня разсердило, отвѣчала Анна Михайловна.

— Я васъ всегда очень уважалъ, Анна Михайловна, а сегодня, когда мнѣ показалось, что я болѣе не буду васъ видѣть, не буду слышать вашего голоса, я убѣдился, я понялъ, что я страстно, глубоко васъ люблю, и я рѣшился... уѣхать.

— Зачѣмъ?—краснѣя и взглянувъ на дверь, отвѣчала Анна Михайловна.

Долинскій молчалъ.

— Вамъ никто не мѣшаетъ... и...

— И что̀?

— Вы никогда не будете имѣть права подумать, что васъ любятъ меньше, чуть слышно уронила Анна Михайловна.

Долинскій сжалъ въ своихъ рукахъ ея руку. Анна Михайловна ничего не говорила и, опустивъ глаза, смотрѣла въ землю.

Въ домѣ было до жуткости тихо и сердце билось, точно подъ самымъ ухомъ. И онъ, и она были въ крайнемъ замѣшательствѣ, изъ котораго Анна Михайловна вышла, впрочемъ, первая

— Пустите, прошептала она, легонько высвобождая свою руку изъ рукъ Долинскаго.

Тотъ было тихо приподнялъ ея руку къ своимъ устамъ, но взглянулъ въ лицо Аннѣ Михайловнѣ и робко остановился.

Анна Михайловна сама взяла его за голову, тихо, беззвучно его поцѣловала и быстро отодвинулась назадъ. Приложивъ палецъ къ губамъ, она стояла въ волненіи у притолка.

— Ахъ! не надо, не надо, Бога-ради не надо! — заговорила она, торопясь и задыхаясь, когда Долинскій сдѣлалъ къ ней одинъ шагъ, и, переведя духъ, какъ тѣнь, неслышно скользнула за его двери.

Прошелъ круглый годъ; Долинскій продолжалъ любить Анну Михайловну такъ точно, какъ любилъ ее до маскараднаго случая, и никогда не сомнѣвался, что Анна Михайловна любитъ его не меньше. Ни о чемъ происшедшемъ не было и помину.

Единственною разницею въ ихъ теперешнихъ отношеніяхъ отъ прежняго было то, что они знали изъ устъ другъ друга о взаимной любви, нѣжно лелѣяли свое чувство, «блѣднѣли и гасли», ставя въ этомъ свое блаженство.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Симпатическіе попугаи.

Въ теченіе цѣлаго этого года не произошло почти ничего особенно замѣчательнаго, только дорушкины симпатическіе попугаи, Оля и Маша, къ концу мясоѣда выкинули преуморительную штуку, еще болѣе упрочившую за ними названіе *симпатическихъ попугаевъ*. Въ одинъ прекрасный день онѣ сообщили Дорѣ, что онѣ выходятъ замужъ.

— *Обѣ вмѣстѣ*?—спросила, удивясь, Дора.

— Да; такъ вышло, Дарья Михайловна, отвѣчали дѣвушки.

— По крайней мѣрѣ, не за одного хоть?

— Нѣтъ-съ, какъ можно?

— То-то.

Онѣ выходили за двухъ родныхъ братьевъ, наборщиковъ изъ бывшей по сосѣдству типографіи.

Затѣялась свадьба, въ устройствѣ которой Даша принимала самое жаркое участіе, и, наконецъ, въ одинъ вечеръ передъ масляницей, симпатическихъ попугаевъ обвѣнчали. Свадьба справлялась въ двухъ комнатахъ, нанятыхъ въ томъ же домѣ, гдѣ помѣщался магазинъ Анны Михайловны. Анна Михайловна была посаженною матерью дѣвушекъ; Несторъ Игнатьевичъ посаженнымъ отцомъ, Дорушка и Анна Анисимовна—дружками у Оли и Маши. Илья Макаровичъ былъ на эту пору боленъ и не могъ принять въ торжествѣ никакого личнаго участія, но прислалъ дѣвушкамъ по парѣ необыкновенно изящно-разрисованныхъ вѣнчальныхъ свѣчъ, бѣлаго пѣтуха съ краснымъ гребнемъ и бѣлую курочку.

Магазинъ въ этотъ день закрыли ранѣе обыкновеннаго, и всѣ столпились въ немъ около Даши, подъ надзоромъ которой передъ большими трюмо происходило одѣванье невѣстъ.

Даша была необыкновенно занята и оживлена; она хлопотала обо всемъ, начиная съ башмака невѣстъ и до каждаго бантика въ ихъ головныхъ уборахъ. Наряды были подарены невѣстамъ Анной Михайловной и частію Дорой, изъ ея собственнаго заработка. Она также сдѣлала на свой счетъ два самыя скромныя, совершенно одинаковыя бѣлыя платья для себя, и для своего друга—Анны Анисимовны. Дорушка и Анна Анисимовна, обѣ были одѣты одинаково, какъ двѣ родныя сестры.

— Что̀ это за прелестное созданіе наша Дора! — заговорила Анна Михайловна, взойдя въ комнату Долинскаго, когда былъ оконченъ уборъ.

— Да, что ужъ о ней, Анна Михайловна, и говорить!— отвѣчалъ Долинскій.—Счастливый будетъ человѣкъ, кого она полюбитъ.

Анна Михайловна случайно чихнула и сказала:

— Вотъ и правда.

— Господа! Симпатическіе попуган! позвала, спѣшно

пріотворивъ дверь и выставивъ свою головку, Дора.— Чего-жъ вы сюда забились?—пожалуйте благословлять моихъ попугаевъ.

Кончилось благословеніе и вѣнчаніе, и начался пиръ. Анна Михайловна пробыла съ часъ и стала прощаться;—Долинскій послѣдовалъ ея примѣру. Ихъ удерживали, но они не остались, боясь стѣснять своимъ присутствіемъ гостей жениховыхъ, и поступили очень основательно. Все-таки Анна Михайловна была *хозяйка*, все-таки Долинскій — *баринъ*.

Дорушка была совсѣмъ иное дѣло. Она умѣла всегда держать себя со всѣми какъ-то особенно просто, и невѣсты были бы очень огорчены, если бы она оставила ихъ торжественный пиръ, ранѣе чѣмъ ему положено было окончиться по порядку.

Въ комнатахъ была изрядная давка и духота, но Дора не тяготилась этимъ, и подъ звуки плохенькаго квартета танцовала съ наборщиками двѣ кадрили.

Въ квартирѣ Анны Михайловны не оставалось ни души; даже дѣвочки были отпущены веселиться на свадьбѣ. Двери съ обоихъ подъѣздовъ были заперты и Анна Михайловна, съ работою въ рукахъ, сидѣла на мягкомъ диванѣ въ комнатѣ Долинскаго.

Вездѣ было такъ тихо, что черезъ три комнаты было слышно, какъ кто нибудь шмыгалъ резиновыми калошами по парадной лѣстницѣ. Красивый и очень сторожкій кингчарльзъ Анны Михайловны, «Риголетка», непривыкшая къ такой ранней тишинѣ, безпрестанно поднимала головку, взмахивая волнистыми ушами, и сердито рычала.

— Успокойся, успокойся, Риголеточка, уговаривала ее Анна Михайловна, но собачка все тревожилась и насилу заснула.

— Что это за жизнь безъ Доры-то была бы какая скучная, сказала послѣ долгой паузы Анна Михайловна, относясь къ настоящему положенію.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, какъ безъ нея тихо.

— Я тамъ было сѣла у себя, такъ даже какъ будто

страшно, молвила Анна Михайловна, и послѣ непродолжительнаго молчанія добавила: — ужасно дурная вещь одиночество!

— И не говорите. Я такъ отъ него настрадался, что до сихъ поръ, кажется, еще никакъ не отдышусь.

Анна Михайловна снова помолчала, и съ едва замѣтной улыбкой сказала:

— А ужъ, кажется, пора бы.

— Впрочемъ, человѣкъ никогда не бываетъ совершенно счастливъ, проговорила она, вздохнувъ черезъ нѣсколько времени.

— Сердце будущимъ живетъ.

— А вотъ это-то и нехорошо. Вѣдь вотъ я же счастлива.

Долинскій промолчалъ. Онъ стоялъ у печки и грѣлся.

— А вы, Несторъ Игнатьичъ?—спросила она, улыбнувшись и положила на колѣна свою работу.

— Я очень счастливъ и доволенъ.

— Чѣмъ?

— Судьбой, и чѣмъ хотите, отвѣчалъ весело Долинскій.

— А я, знаете, чѣмъ и кѣмъ болѣе всего довольна?— Анна Михайловна нѣсколько лукаво посмотрѣла искоса на молчавшаго Долинскаго и договорила:—вами.

Долинскій шутливо поклонился.

— Въ самомъ дѣлѣ, Несторъ Игнатьичъ, продолжала, краснѣя и волнуясь, Анна Михайловна:—вы мнѣ доказали истинно и не словами, что вы меня, дѣйствительно, любите.

Долинскій также шутливо поклонился еще ниже.

— Я думала, что такъ въ наше время ужъ никто не умѣетъ любить, произнесла она, мѣшаясь, какъ перекон-фуженный ребенокъ.

Долинскій подошелъ къ Аннѣ Михайловнѣ, взялъ и поцѣловалъ ея руку.

Анна Михайловна безотчетно задержала его руку въ своей.

— Вы—хорошій человѣкъ, прошептала она и подняла къ его плечу свою свободную руку.

Въ это же мгновеніе Риголетка насторожила уши и съ звонкимъ лаемъ кинулась къ черному входу. Послышался сильный и нетерпѣливый стукъ.

— Посмотрите, пожалуйста, кто это?—произнесла Анна Михайловна, вздрогнувъ и скоро выбрасывая изъ своей руки руку Долинскаго.

Долинскій пошелъ въ кухню и тамъ тотчасъ же послышался голосъ Даши:

— Чего это вы до сихъ поръ не отпираете! Десять часовъ стучусь и никакъ не могу достучаться, взыскивала она съ Долинскаго.

— Не слышно было.

— Помилуйте, мертвые-бы, я думаю, услыхали, отвѣчала она, пробѣгая.

— Сестра!—позвала она.

— Ну, откликнулась Анна Михайловна изъ комнаты Долинскаго.

Дорушка вбѣжала на этотъ голосъ и, остановясь, спросила:

— Что̀ это ты такая?

— Какая? мѣшаясь и еще болѣе краснѣя, проговорила Анна Михайловна.

— Странная какая-то, проронила скороговоркой Дора и сейчасъ же добавила:—дай мнѣ десять рублей, у нихъ недостаетъ чего-то.

Анна Михайловна пошла въ свою комнату и достала Дашѣ десять рублей.

— Не бѣгай ты такъ, Дора, Бога ради, въ одномъ платьѣ по лѣстницамъ, попросила она Дорушку, но та ей не отвѣтила ни слова.

Анна Михайловна, проводивъ сестру до самаго порога, торопливо прошла прямо въ свою комнату и заперла за собою дверь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Маленькія непріятности начинаютъ нѣсколько мѣшать большому удовольствію.

Послѣ сочетанія симпатическихъ попугаевъ, почти цѣлый домъ у Анны Михайловны переболѣлъ. Первая начала хворать Дорушка. Она простудилась и на другой же день послѣ этой свадьбы закашляла и захрипѣла, а на третій слегла. Стали Дорушку лѣчить, а она стала разнемогаться и, наконецъ, заболѣла самымъ серьезнымъ образомъ. Долинскій и Анна Михайловна не отходили отъ ея постели. Болѣзнь Доры была не острая, но угрожала весьма нехорошимъ. Въ домѣ это всѣ чувствовали и, кажется, только боялись произнесть слово *чахотка*; но когда кто нибудь произносилъ это слово случайно, всѣ оглядывались на комнату Даши и умолкали. Такъ прошло около мѣсяца. Наконецъ, стало Дашѣ чуть чуть будто полегче—Анна Михайловна простудилась и захворала. Болѣзнь Анны Михайловны была непродолжительная и неопасная. Дора во время этой болѣзни чувствовала себя настолько сильною, что даже могла ухаживать за сестрою, но тотчасъ же, какъ Анна Михайловна начала обмогаться, Дора опять сошла въ постель и еще посерьезнѣе прежняго.

— Ну, ужъ теперь, кажется, будетъ кранкенъ, сказала она сама.

Характеръ Доры мало измѣнялся и въ болѣзни, но все-таки она жаловалась, говоря:

— Не знаете вы, господа, сколько нужно силы надъ собой имѣть, чтобы никому не надоѣдать и не злиться.

Иногда, впрочемъ, и Дорушка не совсѣмъ владѣла собою и у нея можно было замѣчать движенія безпокойныя, которыхъ бы она, вѣроятно, не допустила въ здоровомъ состояніи. Это не были ни дерзости, ни придирки, а такъ... больная фантазія. Во время болѣзни Анны Михайловны, когда еще Дора бродила на ногахъ, она, напримѣръ, одинъ

разъ ужасно разсердилась на Риголетку за то, что чуткая собачка залаяла, когда она входила въ слабо-освѣщенную комнату сестры. Даша вспыхнула, схватила лежавшій на комодѣ зонтикъ и кинулась за собачкой. Риголетка изъ комнаты Анны Михайловны бросилась въ столовую, гдѣ Долинскій пилъ чай, и спряталась у него подъ стуломъ. Даша въ азартѣ достала ее изъ подъ стула и нѣсколько разъ больно ударила ее зонтикомъ.

— Дорушка! Дарья Михайловна!—останавливалъ ее Долинскій.

— Даша! что̀ это съ тобой?—послышался изъ спальни голосъ Анны Михайловны.

Даша все-таки хорошенько прибила Риголетку, и когда наказанная собачка жалобно визжала, спрятавшись въ спальнѣ Анны Михайловны, сама спокойно сѣла къ самовару.

— Ну, за что вы били бѣдную собачку?—обрезонивалъ ее тихо и кротко Долинскій.

— Такъ, для собственнаго удовольствія... За то, что она любитъ меня меньше, чѣмъ васъ, отвѣчала запальчиво Дора.

— Достойная причина!

— Пусть не лаетъ на меня, когда я вхожу въ сестрину комнату.

— Темно было, она васъ не узнала.

— А зачѣмъ она васъ узнаетъ и не лаетъ?—возразила Даша, съ раздувающимися ноздерками.

— О, ну, Богъ съ вами! что вамъ ни скажешь, все невпопадъ, за все вы готовы сердиться, отвѣчалъ, покраснѣвъ, Долинскій.

— Потому что вы вздоръ все говорите.

— Ну, я замолчу.

— И гораздо умнѣе сдѣлаете.

— Даже и уйду, если хотите, добавилъ, беззвучно смѣясь, Долинскій.

— Отправляйтесь, серьезно проговорила Даша.—Отправляйтесь, отправляйтесь, добавила она, сводя его за руку со стула.

Несторъ Игнатьевичъ всталъ и тихонько пошелъ въ комнату Анны Михайловны. Чуть только онъ переступилъ порогъ этой комнаты, изъ-подъ кровати раздалось сердитое рычаніе напуганной Риголетки.

— Ага! исправилась? — отнесся Долинскій къ собачкѣ. — Ну, Риголеточка, утѣшь, утѣшь Дарью Михайловну еще!

Риголетка снова сердито залаяла.

— Мммъ!—дуракъ, настоящій дуракъ, произнесла, смотря на Долинскаго, Дора и, соблазненная его искреннимъ смѣхомъ, сама тихонько надъ собой разсмѣялась.

Такъ время подходило къ веснѣ; Дорушка все—то вставала, то опять ложилась и все хворала и хворала; Долинскій и Анна Михайловна попрежнему тщательно скрывали свою великопостную любовь отъ всякаго чужого глаза, но, однако, тѣмъ не менѣе никто не вѣрилъ этому пуризму, и въ мастерской, при разговорахъ объ Аннѣ Михайловнѣ и Долинскомъ, собственныя имена ихъ не употреблялись, а говорилось просто: *сама и ейный.*

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Капризы.

Наконецъ на дворѣ запахло гнилою гадостью; гнилая петербургская весна приближалась. Здоровье Даши со всякимъ днемъ становилось хуже. Она, видимо, таяла. Она давно уже, что говорится, дышала на ладанъ. Докторъ, который ее пользовалъ, отказался брать деньги за визиты.

— Вы мнѣ лучше платите въ мѣсяцъ, сказалъ онъ: — я буду заѣзжать къ больной, и буду стараться ее поддерживать. Больше я ничего сдѣлать не могу.

— У нея чахотка?—спросилъ Долинскій.

— Несомнѣнная.

— Долго она можетъ жить?

Докторъ пожалъ плечами и отвѣчалъ:

— Болѣзнь въ сильномъ развитіи.

Съ четвертой недѣли поста Даша вовсе не вставала съ постели. Въ домѣ все приняло еще болѣе грустный характеръ. Ходили на цыпочкахъ, говорили шопотомъ.

— Господи! вы меня уморите прежде, чѣмъ смерть придетъ за мною, говорила больная. — Все шушукаютъ, да скользятъ безъ слѣда, точно тѣни могильныя. Да поживите вы еще со мною! дайте мнѣ послушать человѣческаго голоса! дайте хоть поглядѣть на живыхъ людей!

Ухода и заботливости о дорушкиномъ спокойствіи было столько, что они ей даже надоѣдали. Проснувшись какъ-то разъ ночью, еще сначала болѣзни, она обвела глазами комнату и, къ удивленію своему, замѣтила при лампадѣ, кромѣ дремлющей на диванѣ сестры, крѣпко спящаго на плетеномъ стулѣ Долинскаго.

— Кто это, Аня?—спросила шопотомъ Дорушка, указывая на Долинскаго.

— Это Несторъ Игнатьичъ, отвѣчала Анна Михайловна, оправляясь и подавая Дорѣ ложку лѣкарства.

Дорушка выпила микстуру и, сдѣлавъ гримаску, спросила, глядя на Долинскаго:

— Зачѣмъ эта мумія тутъ торчитъ?

— Онъ все сидѣлъ... и какъ удивительно онъ спитъ!

— Еще упадетъ и перепугаетъ.

— Бѣдняжка!—три ночи онъ совсѣмъ не ложился.

— Спасибо ему, отвѣчала тихо Дора.

— Да, преуморительный; сегодня всталъ, чтобы дать тебѣ лѣкарства, налилъ и самъ всю цѣлую ложку со сна и выпилъ.

Анна Михайловна беззвучно разсмѣялась.

— Мірское челобитье въ лубочкѣ связанное, проговорила, глядя на Долинскаго, Дора.

— Голубиное сердце, добавила Анна Михайловна.

Въ другой разъ Дашѣ все казалось, что о ней никто не хочетъ позаботиться, что ее всѣ бросили.

Анна Михайловна не отходила отъ сестры ни на минуту. Въ магазинѣ всѣмъ распоряжалась m-lle Alexandrine,

и тамъ все шло капромъ да въ кучу, но Анна Михайловна не обращала на это никакого вниманія. Она выходила изъ комнаты сестры только въ сумерки, когда мастерицы кончали работу, оставляя на это время у больной Нестора Игнатьевича. Впрочемъ, они всегда сидѣли вмѣстѣ. Анна Михайловна работала въ ногахъ у сестры, а Несторъ Игнатьевичъ читалъ вслухъ какую нибудь книгу. Больная лежала и смотрѣла на нихъ, иногда слушая, иногда далеко летая отъ того, о чемъ разсказывалъ авторъ.

Насталъ канунъ Вербнаго воскресенья. Въ этотъ вечеръ въ магазинѣ никого не было. Мастерицы разошлись, дѣвочки спали на своихъ постелькахъ. Все было тихо. Анна Михайловна, по обыкновенію, заготовляла на живую нитку разныя работы. Она очень спѣшила, потому что заказовъ къ празднику было множество. Несторъ Игнатьевичъ сидѣлъ за тѣмъ же столикомъ возлѣ Анны Михайловны и правилъ какія-то корректуры. Даша, казалось, спала очень покойно. За пологомъ не было слышно даже ея тихаго дыханія. Но среди всеобщей тишины, нарушаемой только черканьемъ стального пера, да щелканьемъ иглы, прокалывавшей крѣпкую шелковую матерію, больная начала что-то нашептывать. Несторъ Игнатьевичъ и Анна Михайловна перестали работать и подняли головы. Больная все шептала внятнѣе и внятнѣе. Наконецъ, она произнесла совершенно внятно:

«И схоронятъ въ сырую могилу,
Какъ пройдешь ты тяжелый свой путь,
Безполезно угасшую силу
И ничѣмъ несогрѣтую грудь».

Дорушка тяжело вздохнула и сказала:

— Господи! какъ глупо такъ умереть.

— Она бредитъ?—спросилъ шопотомъ Долинскій.

— Должно быть, шопотомъ же отвѣчала ему Анна Михайловна.

— Что вы тамъ все шепчетесь? — тихо проговорила больная.

— Что ты, Даша?—спросила ее Анна Михайловна, какъ будто не разслышавъ ея вопроса.

— Я говорю, что вы все шепчетесь, точно влюбленные, или какъ надъ покойникомъ.

— Богъ-знаетъ-что тебѣ все приходитъ въ голову! Намъ просто показалось, что ты бредишь; мы не хотѣли тебя разбудить.

— Нѣтъ, я не брежу; я не спала. Откройте мнѣ занавѣсъ, сказала Даша, ударивъ рукою по пологу.

Долинскій всталъ и откинулъ половину полога.

— Все, все отбросьте, вотъ такъ! — сказала больная. — Ну, говорите теперь, добавила она, оправивъ на себѣ кофту.

— О чемъ прикажете говорить, Дарья Михаловна? — спросилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Не умѣете говорить! Ну, прочитайте мнѣ что нибудь Некрасова, я бы послушала, хоть: «гробикъ ребенку, ужинъ отцу» прочтите.

Долинскій зналъ, что Даша любила въ Некрасовѣ, и зналъ, что чтеніе этихъ любимыхъ вещей очень сильно ее волновало и вредило ея здоровью.

— Некрасова-то нѣтъ дома, отвѣчалъ онъ.

— Куда же это онъ уѣхалъ?

— Я его далъ одному знакомому.

— Все вретъ! Какъ вы всѣ безъ меня изоврались!— говорила Даша, улыбаясь черезъ силу: — а особенно вы и Анна. Что ни ступите, то солжете. Ну, вотъ читайте мнѣ Лермонтова — я его никому не отдала, и Даша, доставъ изъ-подъ подушки роскошно переплетенное изданіе стихотвореній Лермонтова, подала его Долинскому.

— «Мцыри», сказала Даша.

Несторъ Игнатьевичъ прочелъ «Мцыри».

— «Бояринъ Орша», сказала больная снова, когда Долинскій дочиталъ «Мцыри».

Онъ прочелъ «Боярина Оршу», а она ему заказывала новое чтеніе. Такъ прочли «Хаджи Абрека», «Молитву»,

«Сказку для дѣтей» и, наконецъ, нѣсколько главъ изъ «Демона».

— Ну, довольно, сказала Даша. — Хорошенькаго понемножку. Дайте-ка мнѣ мою книгу.

Долинскій подалъ ей книжку; она вложила ее въ футляръ и сунула подъ подушку. Долго-долго смотрѣла она облокотясь своей исхудалой ручкой о подушку, то на сестру, то на Нестора Игнатьевича; кусала свои пересмяглыя губки и вдругъ совершенно спокойнымъ голосомъ сказала:

— Поцѣлуйтесь, пожалуйста.

Анна Михайловна вспыхнула и съ упрекомъ сказала:

— Что ты это говоришь, Даша?

— Что-жъ я сказала? Я сказала: поцѣлуйтесь, пожалуйста.

Долинскому и Аннѣ Михайловнѣ было до крайности неловко, и они оба не находили словъ.

— Что ты, съ ума сошла, Дора!—могла только проронить Анна Михайловна.

— Какіе вы смѣшные! — проговорила, улыбаясь, больная!—Вѣдь вы же любите другъ друга.

— Что вы это говорите? что вы говорите! — повторялъ съ упрекомъ переконфуженный Долинскій, глядя на еще болѣе сконфуженную Анну Михайловну.

Больная отвернулась къ стѣнѣ, не удостоивъ этихъ упрековъ ни малѣйшаго вниманія и, помолчавъ съ минуту, опять сказала:

— Да поцѣлуйтесь, что ли! Мнѣ такъ хочется видѣть, какъ вы любите другъ друга.

— Даша! тебѣ вѣрно хотѣлось видѣть, какъ я плачу, такъ ты какъ нельзя лучше этого достигла, сказала полголосомъ Анна Михайловна — и, сбросивъ съ колѣнъ работу, быстро вышла изъ комнаты. Слезы текли у нея по обѣимъ щекамъ.

Долинскій посмотрѣлъ ей вслѣдъ и остался молча на своемъ мѣстѣ.

— Вотъ чудаки! — тихо заговорила Дора и начала до-

садливо кусать губки. Это означало, что Даша одинаково недовольна и другими, и сама собою.

— Смѣшно!—воскликнула она черезъ минуту съ тою же досадой и съ явнымъ желаніемъ вызвать на разговоръ Долинскаго.

— Да, кошкѣ игрушки, а мышкѣ слезки, отвѣтилъ, не поднимая глазъ отъ бумаги, Долинскій.

Даша вспыхнула.

— Э! ужъ хоть вы, по крайней мѣрѣ, перестаньте, пожалуйста, комонничать!—крикнула она запальчиво на Долинскаго.

— Что̀ такое значитъ *комонничать*? Извините, пожалуйста, я даже слова такого не знаю, отвѣчалъ сухо Долинскій.

— Русское слово.

— Никогда не слыхалъ въ моей жизни.

— Мало ли чего вы еще не слыхали въ вашей жизни!

Въ это время въ комнату снова вошла Анна Михайловна и опять спокойно сѣла за свою работу. Глаза у нея были заплаканы.

Дора посмотрѣла на сестру, слегка поморщила свой лобъ и попросила ее переложить себѣ подушки.

— Ну, а теперь уйдите отъ меня, сказала она неоправившимся отъ смущенія голосомъ сестрѣ и Долинскому.

— Я останусь съ тобою, отвѣчала ей Анна Михайловна.

— Нѣтъ, нѣтъ! Идите оба: «мнѣ видъ вашъ ненавистенъ», тихо улыбаясь, шутила Дора.—Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, мнѣ хочется быть одной... спать хочется. Идите себѣ съ Богомъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Присказка кончается и начинается сказка.

На третій день праздника пріѣхалъ докторъ, поговорилъ съ больною и, прописавъ ей малиновый сиропъ съ какою-то невинною примѣсью, сказалъ Аннѣ Михайловнѣ,

что въ этомъ климатѣ Дашѣ остается жить очень недолго и что какъ послѣднее средство продлить ея дни, онъ совѣтуетъ немедленно повезти ее на югъ, въ Италію, въ Ниццу.

— Природа нерѣдко дѣлаетъ чудеса, — утѣшалъ онъ Анну Михайловну.

— А для нея, докторъ, возможно еще такое чудо?

— Отчего нѣтъ? Природа чародѣйка, ея аптека всѣмъ богата.

— Какъ же это сдѣлать?—спрашивала Анна Михайловна Долинскаго.

— Надо ѣхать въ Ниццу.

— Да не то, что надо. Объ этомъ ужъ и говорить нечего, что надо; а какъ ее везть? Какъ ее уговорить ѣхать?

— Въ самомъ дѣлѣ: кто же ее повезетъ? Кому съ нею ѣхать?

— Или мнѣ, или вамъ. Объ этомъ послѣ подумаемъ. Безъ меня тутъ все стало — да это Богъ съ ними, пусть все пропадетъ; а какъ ее приготовить?

— Хотите, я попробую?—вызвался Долинскій.

— Да. Очень хочу, но только надо осторожно, ловко, чтобъ не перепугать ее. Она все-таки еще, можетъ быть, не знаетъ, что ей такъ худо.

— Лучше вмѣстѣ, заведемъ разговоръ сегодня вечеромъ.

— И прекрасно.

Но вечеромъ они разговора не завели; не завели они этого разговора и на другой, и на третій, и на десятый вечеръ. Все смѣлости у нихъ недоставало. Дашѣ, между тѣмъ, стало какъ будто полегче. Она вставала съ постели и ходила по комнатѣ. Докторъ былъ еще два раза, торопилъ отправленіемъ больной въ Италію и подтрунивалъ надъ нерѣшимостью Анны Михайловны. Пріѣхавъ въ третій разъ, онъ сказалъ, что рѣшительно весны упускать нельзя и, поговоривъ съ больной въ очень удобную минуту, сказалъ ей:

— Вы теперь, слава-Богу, ужъ гораздо крѣпче, m-lle Do-

rothée; вамъ бы очень хорошо было теперь проѣхаться на югъ. Это бы васъ совсѣмъ оживило и разсѣяло.

Больная посмотрѣла на него долгимъ, пристальнымъ взглядомъ и сказала:

— Что-жъ, я не противъ этого.

— Такъ и поѣзжайте.

— Это не отъ меня зависитъ, докторъ. Надо знать, какъ сестра, или, лучше, какъ ея средства.

— Сестра ваша совершенно согласна на эту поѣздку.

— Вы съ ней развѣ говорили?

— О! да. Давно, нѣсколько дней назадъ говорилъ.

— Что-жъ это они мнѣ ни слова не сказали! Все боятся, что умру,—добавила она съ грустной улыбкой.

— Они васъ очень любятъ.

— Очень любятъ, подтвердила задумчиво больная.

— Такъ вы поѣдете?—спросилъ ее снова докторъ.

— Пусть везутъ, пусть везутъ. Пусть, что хотятъ со мной дѣлаютъ: только пожить бы немножко.

— Поживете! — отвѣчалъ докторъ спокойно, берясь за шляпу.

— Немножко?

Докторъ протянулъ ей руку и, не отвѣчая на вопросъ, сказалъ:

— Такъ до свиданія, m-lle Dorothée!

Даша удержала его руку и опять спросила его:

— Такъ немножко?

— Что немножко?

— Поживу-то?

— Поживете, поживете, отвѣчалъ докторъ, чтобы что нибудь отвѣчать.

— Ну, а не хотите сказать правды, такъ и Богъ съ вами, сказала Даша.—Заѣзжайте-жъ хоть проститься.

— Непремѣнно.

— То-то; а то вѣдь, пожалуй, ужъ не увидимся до радостнаго утра.

Докторъ ушелъ, а Даша позвала сестру, попеняла ей за

нерѣшительность и объявила, что она съ большимъ удовольствіемъ готова ѣхать въ Италію.

Поѣздка была отложена до перваго дня, когда докторъ найдетъ Дашу способною выдержать дорогу. Изъ аптеки ей приносили всякій день укрѣпляющія лѣкарства, а Анна Михайловна, собирая ея бѣлье, платье, все осматривала, поправляла и укладывала въ особый ящикъ.

— Золотая ты моя! Точно она меня замужъ снаряжаетъ, говорила, глядя на сестру, Даша.

Дарья Михайловна обмогалась. Хотя она еще не выходила изъ своей комнаты, но докторъ надѣялся, что она на-дняхъ же будетъ въ состояніи выѣхать заграницу. Вечеромъ въ тотъ день, когда докторъ высказалъ свое мнѣніе, Анна Михайловна сидѣла у конца письменнаго стола въ комнатѣ Нестора Игнатьевича. Она сводила счеты и безпрестанно надъ ними задумывалась. Денегъ было мало. Дашина болѣзнь и зашедшіе во время этой болѣзни безпорядки серьезно разстроили дѣла Анны Михайловны, державшіяся только ея неусыпными заботами и бережливостью.

— Ну, что?—спросилъ Долинскій, видя, что рука Анны Михайловны провела черту и подписала итогъ.

— Плохо, улыбаясь, отвѣтила Анна Михайловна.

— Сколько же?

— Всего въ сборѣ около тысячи рублей, около двухъ тысячъ въ долгахъ; тѣхъ теперь и думать нечего собрать. Изъ тысячи, четыреста сейчасъ надо отдать, рублей триста надо здѣсь на мѣсяцъ...

— Въ это время за дверью кто-то запѣлъ медвѣдя, какъ поютъ его маленькія дѣти, когда они думаютъ кого нибудь испугать:

«Я скрипу-скрипу медвѣдь,
Я на липовой ногѣ,
Въ сафьяномъ сапогѣ».

— Кто бы это? сказали въ одинъ голосъ оба, и Долинскій пошелъ къ двери.

Не успѣлъ онъ взяться за ручку, какъ дверь сама отво-

рилась и ему предстала Дорушка, въ бѣломъ пеньюарѣ и въ большихъ теплыхъ вязаныхъ сапогахъ. Въ одной рукѣ она держала свѣчку, а другою опиралась на палочку.

— Дарья Михайловна, что̀ вы это дѣлаете?—вскрикнулъ Несторъ Игнатьевичъ: — вѣдь вамъ еще не позволено выходить.

— Молчите, молчите, запыхавшись и грозя пальчикомъ, отвѣчала Даша.—Послѣ будете разсуждать, а теперь давайте-ка мнѣ поскорѣй кресло. Да не туда, а вонъ къ камину. Ну, вотъ такъ. Теперь подбросьте побольше угля и одѣньте меня чѣмъ нибудь теплымъ—я все зябну.

Несторъ Игнатьевичъ поставилъ Дашѣ подъ ноги скамейку, набросалъ въ каминъ изъ корзины новаго кокса, а Анна Михайловна взяла съ дивана бѣличій халатъ Долинскаго и одѣла имъ больную.

— Ишь, какой онъ нѣжоха! Какой у него халатикъ мягенькій, говорила Даша, проводя ручкой по нѣжному бѣличьему мѣху.—И какъ тутъ все хорошо! И въ мастерской такъ хорошо, и вездѣ... вездѣ будто какъ все новое стало. Какъ я вылежалась-то, Боже мой, руки-то, руки-то, посмотрите, Несторъ Игнатьичъ? Видите?—спросила она, поставивъ свои ладони противъ камина:—насквозь свѣтятся.

— Поправитесь, Дорушка, сказалъ Долинскій.

— А?

— Поправитесь, я говорю.

Даша глубоко вздохнула и проговорила:

— Да, поправлюсь.

— Чего ты на меня такъ смотришь?—спросила она сестру, которая забылась и не умѣла скрыть всего страданія отразившагося въ ея глазахъ, устремленныхъ на угасающую Дашу. — Не смотри такъ, пожалуйста, Аня, это мнѣ непріятно.

— Я такъ, Даша, задумалась.

— О чемъ тебѣ думать?

— Такъ, о дѣлахъ.

Вышла маленькая пауза.

— Сколько я въ нынѣшнемъ году заработала?—проговорила Даша, глядя на огонь.—Рублей двадцать?

— Что это тебѣ вздумалось, Даша?

— А на лѣченье мое, я думаю, Богъ знаетъ сколько вышло?

— Да я не считала, Даша, и что̀ это тебѣ приходитъ въ голову.

— Нѣтъ, ничего, я такъ это.

— Даша, Даша, какъ тебѣ не грѣшно, за что̀ ты меня обижаешь? Неужто ты думаешь, что мнѣ жаль для тебя денегъ?

— Кто-жъ думаетъ, что тебѣ жаль? я только думаю, есть ли у тебя чего жалѣть, покажите-ка мнѣ, что̀ вы считали?

Анна Михайловна подала Дашѣ исписанную карандашомъ бумажку.

— Что̀-жъ это значитъ, денегъ почти что нѣтъ!—сказала Даша, положивъ счетъ на колѣни.

— Есть около четырехсотъ на поѣздку, отвѣчала Анна Михайловна.

— Около семисотъ, потому что у меня есть триста.

— Вамъ же надо высылать ихъ?

Долинскій поморщился и отвѣчалъ:

— Нѣтъ, не надо.

— Какъ же не надо, когда надо?

— Надо высылать еще черезъ пять мѣсяцевъ.

— Куда ему высылать нужно?—спросила Даша, смотря въ каминъ прищуренными глазками.

Ей никто не отвѣчалъ. Несторъ Игнатьевичъ стоялъ у печи, заложивъ назадъ руки, а сестра разглаживала ногтемъ какую-то ни къ чему негодную бумажку.

— А, это пенсіонъ за безпорочную службу той барынѣ, которая все любитъ *очень*, а деньги больше всего, сказала, подумавъ, Дора:—хоть бы передъ смертью посмотрѣть на эту особу; полтинникъ бы, кажется, при всей нынѣшней бѣдности заплатила.

— Дорушка, вполголоса проговорила Анна Михайловна.

— Что ты?

Анна Михайловна качнула головой, показала глазами на Долинскаго. Долинскій слышалъ слово отъ слова все, что̀ сказала Даша насчетъ его жены, и сердце его не сжалось тою мучительною болью, которою оно сжималось прежде, при каждомъ касающемся ея словѣ. Теперь при этомъ разговорѣ онъ оставался совершенно покойнымъ.

— А вы вотъ о чемъ, Дорушка, поговорите лучше, сказалъ онъ:—кому съ вами ѣхать?

— Въ самомъ дѣлѣ, мы все толкуемъ обо всемъ, а не рѣшимъ, кому съ тобой ѣхать, Даша.

— Вѣдь паспорты нужно взять, замѣтилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Киньте жребій, кому выпадетъ это счастье, шутила Дора.—Тебѣ, сестра, будетъ очень трудно уѣхать. Alexandrine твоя, что называется, пустельга чистая. Тебѣ положиться не на кого. Все тутъ безъ тебя въ разоръ пойдетъ. Помнишь, какъ тогда, когда мы были въ Парижѣ. Такъ тогда всего на какихъ-нибудь три мѣсяца уѣзжали и въ глухую пору, а теперь... Нѣтъ, тебѣ никакъ нельзя ѣхать со мной.

— Да это что! Пусть идетъ какъ пойдетъ.

— За эту готовность цѣлую твою ручку, только вѣдь и тамъ безъ денегъ макаронъ не дадутъ, а денегъ безъ тебя брать не откуда.

Всѣ задумались.

— Вѣрно ужъ съѣздите вы съ нею, сказала Анна Михайловна, обращаясь къ Долинскому.

— Вы знаете, что я никогда не думалъ отказываться отъ услугъ Дорушкѣ.

— Поѣдемте, мой милый! — сказала Даша, обернувъ къ нему свое милое личико и протянувъ руку.

Долинскій скоро подошелъ къ креслу больной, поцѣловалъ ея руку и отвѣчалъ:

— Поѣдемте, поѣдемте, Дорушка. Я только боюсь, сумѣю ли я васъ успокоить!

— Вы не боитесь чахотки?—спросила Даша, едва удерживая своими длинными рѣсницами слезы, наполнившія ея глаза.

— Нѣтъ, не боюсь, отвѣчалъ Долинскій.

— Ну, такъ дайте, я васъ поцѣлую. Она взяла руками его голову и крѣпко поцѣловала его въ губы.

— Женщины отсюда брать не надо. Мы вездѣ найдемъ женскую прислугу, соображалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Не надо, не надо, говорила Даша, махая рукой: — ничего не надо. Мы будемъ жить экономно въ двухъ комнаткахъ. Можно тамъ найти квартиру въ двѣ комнаты и невысоко?

— Можно.

— Ну, вы будете работать, пишите корреспонденціи, начинайте другую повѣсть. Говорятъ, заграницей хорошо писать о родинѣ. Мнѣ кажется, что это правда. Никогда родина такъ не мила, какъ тогда, когда ее не видишь. Все маленькое, все скверненькое останется, а хорошее встаетъ и рисуется въ памяти. Будете мнѣ читать, что̀ напишете; будемъ марать, поправлять. А я буду лѣчиться, гулять, дышать теплымъ воздухомъ, смотрѣть на голубое небо, спать подъ горячимъ солнцемъ. Ахъ, вотъ я ужъ, право, какъ будто чувствую, кажется, какъ я тамъ согрѣюсь, какъ прилетитъ въ мою грудь струя новаго, ласковаго воздуха. Да скорѣй, скорѣй ужъ, что ли, везите меня съ этого «милаго сѣвера въ сторону южную».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Дѣло темной ночи.

Черезъ три дня все было готово и на завтра назначенъ выѣздъ. Вечеромъ пили чай въ комнатѣ Даши. О чтеніи никто не думалъ, но всѣ молчали, какъ это часто бываетъ передъ разлукою у людей, которые на прощанье

много-много чего-то хотѣли бы сказать другъ другу и не могутъ; мысли разсыпаются, разговоръ не вяжется. Они или не говорятъ вовсе, стараясь *насмотрѣться* другъ на друга, или говорятъ о пустякахъ, о вздорахъ, объ изломанной ножкѣ у кресла, словомъ обо всемъ, кромѣ того, о чемъ бы имъ хотѣлось и слѣдовало говорить. Только опытное, искушенное жизнью ухо сумѣетъ иногда подслушать въ небрежно оброненномъ словѣ такихъ разговоровъ цѣлую идею, цѣлую цѣпь идей, толпящихся въ головѣ человѣка, обронившаго это слово. Въ комнатѣ у Даши пробовали-было шутить, пробовали говорить серьезно, но все это не удавалось.

— Пишите чаще, говорила Анна Михайловна, положивъ свою хорошенькую голову на одну руку, а другой мѣшая давно остывшій стаканъ чаю.

— Будемъ писать, отвѣчалъ Долинскій.

— Не лѣнитесь, пожалуйста.

— Я буду писать аккуратно всякую недѣлю.

— Ты наблюдай за нимъ, Даша.

— За Дорушкой за самой нужно наблюдать, отвѣчалъ, смѣясь, Долинскій.

— Ну, и наблюдайте другъ за другомъ, а главное дѣло, Несторъ Игнатьичъ... то, что̀ это я хотѣла сказать?... Да, берегите, Бога-ради, Дору. Старайтесь, чтобъ она не скучала, развлекайте ее...

Разговоръ опять прервался. Рано разошлись по своимъ комнатамъ. Завтра, въ восемь часовъ, нужно было ѣхать, и Дашу раньше уложили въ постель, чтобъ она выспалась хорошенько, чтобъ въ силахъ была провести цѣлый день въ дорогѣ.

Долинскій тоже легъ въ постель, но какъ было еще довольно рано, то онъ не спалъ и просматривалъ новую книжку. Прошелъ часъ или два. Вдругъ дверь изъ корридора очень тихо скрипнула и отворилась. Долинскій опустилъ книгу на одѣяло и внимательно посмотрѣлъ изъ-подъ ладони.

Въ его первой комнатѣ быстро мелькнула бѣлая фигура. Долинскій приподнялся на локоть. Что̀ это такое? спрашивалъ онъ себя, не зная, что̀ подумать. На порогѣ его спальни показалась Анна Михайловна. Она была въ бѣломъ ночномъ пеньюарѣ, но голова ея еще не была убрана по ночному. При первомъ взглядѣ на ея лицо, видно было, что она находится въ сильнѣйшемъ волненіи, съ которымъ никакъ не можетъ справиться.

— Что̀ вы? что̀ съ вами?—спрашивалъ, пораженный ея посѣщеніемъ и ея разстроеннымъ видомъ Долинскій.

— Ахъ, Боже мой!—отвѣтила Анна Михайловна, отчаянно заломивъ руки.

— Да что же такое? что̀—допрашивался Долинскій.

— Ахъ, не знаю, не знаю... я сама не знаю, проговорила со слезами на глазахъ Анна Михайловна. — Я... ничего... не знаю, зачѣмъ это я хожу... Зачѣмъ я сюда пришла? — добавила она съ страданіемъ на лицѣ и въ голосѣ, и, опустившись, сѣла въ ногахъ Долинскаго и заплакала.

— О чемъ? О чемъ вы плачете?—упрашивалъ ее Долинскій, дрожа самъ и цѣлуя съ участіемъ ея руки.

— Не знаю сама; я сама не знаю, о чемъ я плачу, тихо отвѣчала Анна Михайловна и, спустя одну короткую секунду, вдругъ вздрогнула—страстно его обняла, и Долинскій почувствовалъ на своихъ устахъ и влажное, и горячее прикосновеніе какого-то жгучаго яда.

— Слушай! — заговорила страстнымъ шопотомъ Анна Михайловна. — Я не могу... Ты никого не люби, кромѣ меня... потому что я очень... я ужасно люблю тебя.

Долинскій дрожащею рукою обнялъ ее за талію.

— Тебя одну, всегда, весь вѣкъ, прошепталъ онъ сохнущимъ языкомъ.

— Мой милый! Я буду ждать тебя... ждать буду, лепетала Анна Михайловна, страстно цѣлуя его въ глаза, щеки и губы.—Я буду еще больше любить тебя!—добавила она съ истерическою дрожью въ голосѣ и, какъ мокрый вьюнъ,

выскользнула изъ рукъ Долинскаго и пропала въ черной темнотѣ ночи.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Опять ничего не видно.

Извозчичья карета, нанятая съ вечера, пріѣхала въ семь часовъ утромъ. Дашу разбудили. Анна Михайловна то бросалась къ самовару, то бралась помогать дѣвушкѣ одѣвать сестру, то входила въ комнату Долинскаго. Взойдетъ, посмотритъ по сторонамъ, какъ будто она что-то забыла, и опять выйдетъ.

— Какъ тебѣ не стыдно такъ тревожиться! — говорилъ Долинскій, взглянувъ на нее, и показалъ головой.

— Ахъ! не говори ничего, Бога-ради — отвѣчала Анна Михайловна и, махнувъ рукой, опять вышла изъ его комнаты.

Чаю напились молча и стали прощаться. Дѣвушки вынесли извозчику два чемодана и картонку. Даша цѣловала дѣвушекъ и особенно свою «маленькую команду». Всѣ плакали. Анна Михайловна стояла молча, блѣдная, какъ мраморная статуя.

— Прощай, сестра! — сказала, наконецъ, подойдя къ ней, Даша.

— Прощай, тихо проговорила Анна Михайловна и начала крестить Дашу. — Лѣчись, выздоравливай, возвращайся скорѣй, говорила она, цѣлуя сестру за каждымъ словомъ.

Сестры долго цѣловались, плакали и, наконецъ, поцѣловали другъ у друга руки.

Несторъ Игнатьевичъ подошелъ и тоже поцѣловалъ ея руку. Онъ не зналъ, какъ ему проститься съ нею при окружавшихъ ихъ дѣвушкахъ.

— Дайте, я васъ перекрещу, сказала Анна Михайловна, улыбнувшись сквозь слезы и, положивъ рукою символическое знаменье на его лицѣ, спокойно взяла его руками за

голову и поцѣловала. Губы ея были холодны, на рѣсницахъ блестѣли слезы.

Даша вошла первая въ карету, за ней сѣла Анна Михайловна, а потомъ Долинскій съ дорожною сумкою черезъ плечо.

Дѣвушки стояли у дверецъ съ заплаканными глазами и говорили:

— Прощайте, Дарья Михайловна! Прощайте, Несторъ Игнатьичъ. Ворочайтесь скорѣе.

Дѣвочки плакали, заложа рученки подъ бумажные шейные платочки, и, отирая по временамъ слезы уголками этихъ же платочковъ, ничего не говорили.

Извозчику велѣли ѣхать тихо, чтобы не трясло больную. Карета тронулась, дѣвушки еще разъ крикнули: «Прощайте!»—а Даша, высунувшись изъ окна, еще разъ перекрестила въ воздухѣ дѣвочекъ и экипажъ завернулъ за уголъ.

На станцію пріѣхали во-время. Долинскій отправился къ кассѣ купить билеты и сдать въ багажъ, а Анна Михайловна съ Дашею усѣлись въ уголкѣ на диванъ въ пассажирской комнатѣ. Онѣ обѣ молчали и обѣ страдали. На прекрасномъ лицѣ Анны Михайловны это страданіе отражалось спокойно; хорошенькое личико Даши болѣзненно подергивалось и она кусала до крови свои губки.

Подошелъ Долинскій и, укладывая въ сумку билеты, сказалъ:

— Все готово. Остается всего пять минутъ, добавилъ онъ послѣ коротенькой паузы, взглянувъ на свои часы.

— Дайте мнѣ свои руки, тихо сказала Анна Михайловна сестрѣ и Долинскому.

Анна Михайловна пристально посмотрѣла на путешественниковъ и сказала:

— Будьте, пожалуйста, благоразумны; не обманывайте меня, если случится что̀ дурное: что бы ни случилось — все пишите мнѣ.

— Пожалуйте садиться!—крикнулъ кондукторъ, отворяя двери на платформу.

Долинскій взялъ сакъ-вояжъ въ одну руку и подалъ Дашѣ другую. Они вышли вмѣстѣ, а Анна Михайловна пошла за ними. У барьера ее не пустили и она остановилась противъ вагона, въ который вошли Долинскій съ Дорой. Усѣвшись, они выглянули въ окно. Анна Михайловна стояла прямо передъ окномъ въ двухъ шагахъ. Ихъ раздѣлялъ барьеръ и узенькій проходъ. Въ глазахъ Анны Михайловны еще дрожали слезы, но она была покойнѣе, какъ часто успокаиваются люди въ самую послѣднюю минуту разлуки.

— Смотри же, Даша, выздоравливай, говорила она громко сестрѣ.

— А ты не грусти, отвѣчала ей Даша.

— Ворочайтесь оба скорѣе! Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! я забыла спросить! что̀ дѣлать съ письмами, которыя будутъ приходить на ваше имя?

— Отвѣчай на нихъ сама, сказала Даша.

Анна Михайловна засмѣялась.

— Да, право! что тамъ этакими пустяками нарушать наше спокойствіе.

Раздался третій свистокъ, вагоны дернулись, покатились и исчезли въ густомъ облакѣ сѣраго пара.

Анна Михайловна вернулась домой довольно спокойною — даже она сама не могла надивиться своему спокойствію. Она хлопотала въ магазинѣ, распоряжалась работами, обѣдала вмѣстѣ съ m-lle Alexandrine, и только къ вечеру, когда начало темнѣть, ей стало скучнѣе. Она вошла въ комнату Даши—пусто, вошла къ Долинскому—тоже пусто. Присѣла на его креслѣ и невыносимая тоска, словно какъ нѣжнѣйшій другъ, такъ и обняла ее изъ-за мягкой спинки. Въ глазахъ у Анны Михайловны затуманилось и зарябило.

«Какое дѣтство»! — подумала она и поспѣшно отерла слезы.

Такъ просидѣла она здѣсь больше двухъ часовъ, молча, спокойно, не сводя глазъ съ окна, и ей все становилось скучнѣе и скучнѣе. Одиночество сухимъ чучеломъ выро-

стало въ холодномъ полумракѣ бѣлесоватой полярной ночи, въ которую смотришь не то какъ въ день, не то какъ въ ночь, а будто вотъ глядишь по какой-то обязанности въ сѣдую грудь сонной совы. Анна Михайловна пошла въ кухню, позвала кухарку и дѣвочекъ. Съ ними она отставила шкафъ отъ дверей, соединявшихъ ея комнату съ комнатой Долинскаго, отставила комодъ отъ дверей, соединявшихъ ея спальню съ спальнею Даши, отворила всѣ эти двери и долго-долго ходила вдоль открывшейся анфилады.

Была уже совсѣмъ поздняя ночь. Луна свѣтила во всѣ окна и Аннѣ Михайловнѣ не хотѣлось остаться ни въ одной изъ трехъ комнатъ. Тутъ она лелѣяла красавицу Дору и завивала ея локоны; тутъ онъ, со слезами въ голосѣ, разсказывалъ ей о своей тоскѣ, о сухомъ одиночествѣ; а тутъ... Сколько надъ собою выказано силы, сколько уваженія къ ней? Сколько времени чистый потокъ этой любви не мутился страстью, и... и зачѣмъ это онъ не мутился? *Зачѣмъ* онъ не замутился... И какой онъ... странный человѣкъ, право!..

Наконецъ, далеко за полночь Анна Михайловна устала; ноги болѣли и голова тоже. Она поправила лампаду передъ образомъ въ комнатѣ Даши и посмотрѣла на ея постельку, задернутую чистымъ, бѣлымъ пологомъ, потомъ вошла къ себѣ, бросила блузу, подобрала въ ночной чепецъ свою черную косу и остановилась у своей постели. Очень скучно ей здѣсь показалось.

— Тоска! — произнесла про себя Анна Михайловна и прошла въ комнату Долинскаго.

Здѣсь было также пусто и невесело. Анна Михайловна взяла подушку, бросила ее на диванъ и на свѣту тревожно заснула.

Много грезилось ей чего-то страшнаго, безпокойнаго, и въ восемь часовъ утра она проснулась, держа у груди обнятую во снѣ подушку.

Вставши, Анна Михайловна принялась за дѣло. Въ комнатѣ Нестора Игнатьевича и Даши все убрала, но все

оставила въ старомъ порядкѣ. Казалось, что жильцы этихъ комнатъ только что вышли пройтись по Невскому проспекту.

Время Анны Михайловны шло скоро. За безпрестанной работой она не замѣчала, какъ дни бѣжали за днями. Письма отъ Даши и Долинскаго начали приходить аккуратно и Анна Михайловна была спокойна насчетъ путешественниковъ.

Сама она никуда почти не выходила и у нея никто почти не бывалъ иначе, какъ по дѣлу. Только не забывалъ Анну Михайловну одинъ Илья Макаровичъ Журавка, котораго, впрочемъ, въ этомъ домѣ никто и не считалъ гостемъ.

Часть вторая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Маленькій человѣкъ съ просторнымъ сердцемъ.

Въ этомъ романѣ, какъ читатель могъ легко видѣть, судя по первой части, все будутъ люди очень маленькіе— до такой степени маленькіе, что авторъ считаетъ своею обязанностью еще разъ предупредить объ этомъ читателя загодя. Пусть читатель не ожидаетъ встрѣтиться здѣсь ни съ героями русскаго прогресса, ни съ свирѣпыми ретроградами. Въ романѣ этомъ не будетъ ни уѣздныхъ учителей, открывающихъ дешевыя библіотеки для безграмотнаго народа, ни мужей, выдающихъ субсидіи любовникамъ своихъ сбѣжавшихъ женъ, ни гвоздевыхъ постелей, на которыхъ какъ-то умѣютъ спать образцовые люди, ни самодуровъ-отцовъ, спеціально занимающихся угнетеніемъ геніальныхъ дѣтей. Все это уже описано, описывается и, вѣроятно, еще всему этому пока не конецъ. Еще надняхъ новая книжка одного періодическаго журнала вынесла на свѣтъ повѣсть, гдѣ снова дѣйствуетъ такой *организмъ*, который материнское молоко чуть не отравило, который чуть не запороли въ училищѣ, но который все-таки выкарабкался, открылъ библіотеку, и сейчасъ поскорѣе посѣдѣлъ, сталъ топить горе въ водкѣ и далъ себѣ зарокъ не носить новыхъ сапогъ, а всегда съ заплатками. Благородный *организмъ* этотъ развиваетъ женщинъ, говоритъ самыя ехидныя

рѣчи и все-таки сознаетъ, что онъ пришелъ въ свѣтъ не во́-время, что даже и при немъ у знакомаго этому *организму* лакея *насѣкомыя* все-таки *могутъ отъѣсть голову*. Таковы были его рѣчи.

Ни уѣзднаго учителя съ библіотекою для безграмотнаго народа, ни сѣдого въ тридцать лѣтъ женскаго развивателя, ни образцоваго безсребренника, словомъ — ни одного гражданскаго героя здѣсь не будетъ; а будутъ люди съ слабостями, *люди дурного воспитанія*. И потому кто хочетъ слушать что нибудь про тирановъ, или про героевъ, тому лучше далѣе не читать этого романа; а кто и за симъ не утратитъ желанія продолжать чтеніе, такого читателя я долженъ просить о небольшомъ вниманіи къ маленькому человѣчку, о которомъ я непремѣнно долженъ здѣсь кое-что поразсказать.

Самый проницательный изъ моихъ читателей будетъ тотъ, который отгадаетъ, что выступающій маленькій человѣчекъ есть никто иной, какъ старый нашъ знакомый Илья Макаровичъ Журавка.

Несмотря на то, что мы давно знакомы съ художникомъ по нашему разсказу, здѣсь будетъ нелишнимъ сказать еще пару словъ о его теплой личности. Ильѣ Макаровичу Журавкѣ было лѣтъ около тридцати-пяти; онъ былъ бѣлокуръ, съ горбатымъ тонкимъ носомъ, очень выпуклыми близорукими глазами, довольно окладистой бородкой и такимъ курьезнымъ ротикомъ, что мало привычный къ нему человѣкъ, глядя на собранныя губки Ильи Макаровича, все ожидалъ, что онъ вотъ-вотъ сейчасъ свиснетъ.

Илья Макаровичъ былъ чистый хохолъ до самой невозможной невозможности. Онъ не только не хотѣлъ зарабатывать новаго карбованца, пока у него въ карманѣ былъ еще хоть одинъ старый, но даже при видѣ сала или колбасы способенъ былъ забывать о цѣломъ мірѣ, и, чувствуя свою несостоятельность оторваться отъ съѣдомаго, говаривалъ: «а возьмить, будьтэ, ласковы, або ковбасу отъ менэ, або менэ отъ ковбасы, а то або я зъимъ, або вонà менэ

зъистъ». Но несмотря на все чистокровное хохлачество Ильи Макаровича, судьба выпустила его на свѣтъ съ самой бѣлокурѣйшей нѣмецкой физіономіей. Физіономія эта была для Журавки самой несносной обидой, ибо по ней его безпрестанно принимали за нѣмца и начинали говорить съ нимъ по-нѣмецки, тогда какъ онъ относился къ доброй нѣмецкой расѣ съ самымъ глубочайшимъ презрѣніемъ и объяснялся по-нѣмецки непозволительно гадко. Ходилъ по острову такой анекдотъ, что будто, работая что-то такое въ дрезденской галлереѣ, Журавка хотѣлъ объяснить своему профессору несовершенства нарисованной гдѣ-то собаки и заговорилъ:

— Herr Professor... Hund...

— Bitte sehr halten Sie mich nicht für einen Hund, отвѣчалъ профессоръ.

— Aber ist sehr schlechter Hund... Professor, поправлялся и выяснялъ Илья Макаровичъ.

Снисходительное великодушіе нѣмецкаго профессора изсякло; онъ поднялъ свой тевтонскій клювъ и произнесъ съ важностью:

— Ich höre Sie mich zum zehnten mal Hund nennen; erlauben Sie endlich, dass ich kein Hund bin!

Илья Макаровичъ покраснѣлъ, задвигалъ на носу свои очки и задумалъ-было въ тотъ же день уѣхать отъ нѣмцевъ.

Но, на несчастье свое, этотъ маленькій человѣкъ имѣлъ слабость, свойственную многимъ даже и очень великимъ людямъ: это—слабость подвергать свои рѣшенія, составленныя въ пылу негодованія, долгому позднѣйшему раздумыванію и передумыванію. Очень многихъ людей это вредное обыкновеніе отъ одного тяжелаго горя вело къ другому, гораздо большему и оно же сыграло презлую шутку съ Ильей Макаровичемъ.

Журавка, огорченный своимъ пассажемъ съ нѣмецкимъ языкомъ у профессора, прогулялся за городъ, напился гдѣ-то въ форштадтѣ пива и, успокоясь, возвращался домой съ новою рѣшимостью уже не ѣхать отъ нѣмцевъ завтра же,

а прежде еще докончить свою копію, и тогда тотчасъ же уѣхать съ готовой работой. Идетъ этакъ Илья Макаровичъ по улицѣ, такъ сказать, нѣсколько примиренный съ нѣмцами и успокоенный—а ужъ огни вездѣ были зажжены, и видитъ—маленькая парикмахерская и сидитъ въ этой парикмахерской прехорошенькая нѣмочка. А Илья Макаровичъ, хоть и не любилъ нѣмцевъ, но бѣлокуренькія нѣмочки, съ личиками Гретхенъ и съ руками колбасницъ нашей Гороховой улицы, все-таки дощупывались до его художественнаго сердца.

Журавка остановился подъ окномъ и смотритъ, а Гретхенъ все сидитъ и дѣлаетъ частые штычки своей иголочкой, да нѣтъ-нѣтъ и подниметъ свою головку съ русыми кудерками и голубыми глазками.

— Ахъ, ты шельменокъ ты этакой; какіе у нея глазенки, думаетъ художникъ.—Отлично бы было посмотрѣть на нее ближе. А какъ на тотъ грѣхъ, дверь изъ парикмахерской вдругъ отворилась у Ильи Макаровича подъ самымъ носомъ и высокій сѣдой нѣмецъ съ физіономіей королевско-прусскаго вахмистра высунулся и сердито спрашиваетъ: Was wollen Sie hier, mein Herr?

«Чортъ бы тебя побралъ!» подумалъ Журавка и вмѣсто того, чтобы удирать, остановился съ вопросомъ:

— Я полагаю, что здѣсь можно остричься?

Ильѣ Макаровичу вовсе не было никакой необходимости стричься, потому что онъ, какъ художникъ, носилъ длинную гривку, составлявшую, до введенія въ Россійской Имперіи нигилистической ереси, исключительную привилегію василеостровскихъ художниковъ. И нужно вамъ знать, что Илья Макаровичъ такъ дорожилъ своими лохмами, что не разстался бы ни съ однимъ вершкомъ ихъ ни за какіе крендели; берегъ ихъ какъ невѣста свою дѣвичью честь.

Но не бѣжать же было въ самомъ дѣлѣ Ильѣ Макаровичу отъ нѣмца! Во-первыхъ, это ему показалось нечестнымъ (проклятая щепетильность); во-вторыхъ, вѣдь и

чортъ его знаетъ, чѣмъ такой вахмистръ можетъ швырнуть въ догонку.

— Чортъ его возми совсѣмъ! — подстригусь немножко. Немножко только — совсѣмъ немножко, этвасъ... бисхенъ, лепеталъ онъ заискивающимъ снисхожденія голосомъ, идучи вслѣдъ за нѣмцемъ и уставляясь глазами на Гретхенъ.

Нѣмецъ посадилъ Илью Макаровича такъ, что онъ не могъ вполнѣ наслаждаться созерцаніемъ своей красавицы, и вооружился гребенкой и ножницами.

— Wie befehlen Sie Ihnen die Haare zu schneiden, mein Herr?—спросилъ пунктуальный нѣмецъ.

— Ja, bitte, твердо отвѣтилъ Илья Макаровичъ, не сводя глазъ съ шьющей Гретхенъ.

— Nichts über den Kamm soll bleiben?—спросилъ нѣмецъ снова.

Илья Макаровичъ не понялъ и сильно сконфузился: не хотѣлось ему сознаться въ этомъ при Гретхенъ.

— Ja, отвѣчалъ онъ наугадъ, чтобъ отвязаться.

— Oder nichts für den Kamm? — пристаетъ опять вахмистръ, не приступая къ своей работѣ.

«Чортъ его знаетъ, что это такое значитъ», подумалъ Журавка, чувствуя, что его всего бросило въ краску и на лбу выступаетъ потъ.

— Ja, махнулъ онъ на смѣлость.

— Nichts über den Kamm, oder nichts für den Kamm?

— «Oder» и «oder» показали Ильѣ Макаровичу, что тутъ однимъ ja не отдѣлаешься.

— «Была, не была», подумалъ онъ и смѣло повторилъ послѣднюю часть нѣмецкой фразы: «Nichts für den Kamm!»

Нѣмецъ откашлянулся и съ особеннымъ чувствомъ, съ трескомъ высморкался въ синій бумажный платокъ гамбургскаго изготовленія и пріятельскимъ тономъ дорф-барбира произнесъ:

— Ich werde sie Ihnen ganz akkurat schneiden.

По успокоительному тону, которымъ были произнесены эти слова, Илья Макаровичъ сообразилъ, что лингвистиче-

ская пытка его кончается. Онъ съ одобряющей миной отвѣчалъ твердо:

— «Recht wohl!» и ничѣмъ не смущаемый, началъ опять любоваться своей Далилой.

Да, это была новая Далила, глядя на которую нашъ Самсонъ не замѣчалъ, какъ жрически священнодѣйствовавшій нѣмецъ прибралъ его ganz akkurat до самаго черепа. Илья Макаровичъ все смотрѣлъ на свою Гретхенъ и не замѣчалъ, что ножницы ея отца снесли съ его головы всю его художественную красу. Когда Журавка взглянулъ въ стоявшее передъ нимъ зеркало, онъ даже не ахнулъ, но только присѣлъ книзу. Онъ былъ остриженъ подъ щетку, такъ что если бы плюнуть на ладонь и хлопнуть Илью Макаровича по маковкѣ, то за стѣною можно бы подумать, что нѣмецъ поцѣловалъ его въ темя.

— Sehr hübsch! Sehr akkurat! произнесъ нѣмецъ окончивъ свое жреческое священнодѣйствіе и отходя полюбоваться издали своей работой.

Илья Макаровичъ всталъ, заплатилъ бѣлокурой Далилѣ пять зильбергрошей и бросился домой опрометью. Шляпа вертѣлась на его оголенной головѣ и безпрестанно напоминала ей о ея неслыханномъ въ василеостровской академіи позорѣ.

— Нѣтъ, я вижу, нечего тутъ съ этими чертями дѣлать!—рѣшилъ Илья Макаровичъ, и на другой же день бросилъ свою копію и уѣхалъ отъ нѣмцевъ въ Италію, но уѣхалъ, увы! не съ художественной гривкой, а съ форменной стрижкой прусскаго рекрута.

Бѣдный Илья Макаровичъ стыдился убѣжать отъ нѣмца, а долженъ былъ болѣе полугода безстыдно лгать, что у него было воспаленіе мозга.

Характеръ у Ильи Макаровича былъ необыкновенно живой и непостоянный; легкость въ мысляхъ, какъ говорилъ Хлестаковъ, необыкновенная; ко всему этому скорость, сердечность и доброта безграничная. Илья Макаровичъ выше всего на свѣтѣ ставилъ дружбу и товарищество. Для друга

и товарища онъ былъ готовъ идти въ огонь и въ воду. Однако, Илья Макаровичъ былъ очень обидчивъ и только одна Дора владѣла секретомъ раструнивать его, соблюдая мѣру, чтобы не переходить его терпѣнія. Отъ другихъ же Илья Макаровичъ всѣмъ очень скоро и очень легко обижался, но сердился рѣдко и обыкновенно довольно жалостнымъ тономъ говорилъ только:

— Ну, да, да, я знаю, что я смѣшонъ: но есть люди и смѣшнѣй меня, да надъ ними не смѣются.

Въ жизни онъ былъ довольно смѣшной человѣкъ. По суетливости и легкости въ мысляхъ, онъ, напримѣръ, вдругъ воображалъ себя механикомъ и тутъ въ его квартирѣ сейчасъ же появлялся верстакъ, чертежи, циркуля; потомъ, словно по какому-то волшебному мановенію, все это вдругъ исчезало, и у Ильи Макаровича являлось ружье за ружьемъ, англійскій штуцеръ за штуцеромъ, старинный самопалъ и, наконецъ, барочная, мѣдная пушка. Обзаводясь этимъ арсеналомъ, Илья Макаровичъ воображалъ себя Дирслейеромъ или Ласкаро. Какъ зачарованный швабскій поэтъ, сидѣлъ онъ скорчась мопсомъ, чистилъ и смазывалъ свои смертоносныя оружія, лилъ изъ свинца разнокалиберныя пули и все собирался на какую-то необыкновенную охоту. Охоты эти, впрочемъ, оканчивались всегда пальбою въ цѣль на Смоленскомъ полѣ или подстрѣливаніемъ воронъ, печально скитающихся по заживо умершимъ деревьямъ, которыя торчатъ за смоленскимъ кладбищемъ. Ружья и самопалы у Ильи Макаровича разновременно получали, одно передъ другимъ, то повышеніе въ чинахъ, то пониженіе.

— Это подлое ружьенко, говорилъ онъ насчетъ какого-нибудь ружья, къ которому началъ имѣть личность за то, что не умѣлъ пригнать пуль къ его калибру — и опальное ружье тотчасъ теряло тесменный погонъ и презрительно ставилось въ уголъ.

Илья Макаровичъ кипятился непомѣрно и ругался съ ружьенкомъ на чемъ свѣтъ стоитъ.

— А этотъ штуцерншко бардзо добрый!—весь сіяя от-

зывался онъ въ другой разъ о штуцерѣ, механизмъ котораго дался ему разгадать себя съ перваго раза.

И добрый штуцеришко внезапно же получалъ красивую полосу экипажнаго басона и вѣшался на стѣнѣ надъ кроватью Ильи Макаровича.

Разъ Илья Макаровичъ купилъ случайно пару орловъ и одного коршуна и рѣшился заняться прирученіемъ хищныхъ птицъ. Птицы были посажены въ желѣзную клѣтку и прирученіе ихъ началось съ того, что коршунъ разодралъ Ильѣ Макаровичу руку. Вслѣдствіе этого несчастнаго обстоятельства, Илья Макаровичъ возымѣлъ къ коршуну такую же личность, какую онъ имѣлъ къ своему ружью, и все прирученіе ограничивалось тѣмъ, что онъ не оказывалъ никакого вниманія своимъ орламъ, но за то коршуна раза три въ день принимался толкать линейкой.

— Нѣтъ, она понимаетъ, подлая птица, говорилъ онъ людямъ, увѣщевавшимъ его прекратить безполезную личность къ коршуну.—О! о! видите, якъ туляется, подлецъ, по клѣткѣ! — указывалъ онъ на бѣдную птицу, которая искала какого нибудь убѣжища отъ преслѣдующей ее линейки.

Въ Италіи Илья Макаровичъ обзавелся итальянкой, m-lle Луизой, тоже по скорости и по легкости мыслей, представлявшихъ ему въ итальянкахъ какихъ-то особенныхъ, художественныхъ существъ. Не прошло года, какъ Илья Макаровичъ возымѣлъ нѣкоторую личность и противъ своей Луизы; но съ Луизой было не такъ легко справиться, какъ съ ружьемъ или съ коршуномъ. Илья Макаровичъ было заегозился, только вскорѣ осѣлъ и замолкъ. Синьора Луиза была высока, изжелта смугла, съ очень хорошими черными глазами и весьма непзящными длинными зубами. Характеръ у нея былъ смѣлый, язвительный и сварливый. Большинство людей, знавшихъ семейный бытъ Журавки, во всѣхъ домашнихъ непріятностяхъ болѣе обвиняли синьору Луизу, но въ существѣ и синьора Луиза никакъ не могла ужиться въ ладу съ Ильею Макаровичемъ. Въ ладу съ нимъ могла

бы жить женщина добрая, умная и снисходительная, которая умѣла бы не плесть всякое лыко въ строку и проходить мимо его смѣшныхъ сторонъ съ веселой шуткой, а не съ высокомѣрной доктриной и не ядовитымъ шипѣніемъ. Конечно, синьорѣ Луизѣ бывало не очень весело, когда Илья Макаровичъ послѣдній рубль, нужный завтра на базаръ, употреблялъ на покупку орловъ да коршуновъ, или вдругъ, ни уха ни рыла не смысля въ музыкѣ, обзаводился скрипкой и начиналъ нарѣзывать на ней лазаревскіе концерты; но все же она слишкомъ обижала художника и неделикатно стѣсняла его свободу. По крайней мѣрѣ, она дѣлала это такъ, какъ нравственно развитая и умная женщина ни за что бы не сдѣлала.

— Надъ Ильею Макаровичемъ нельзя иногда не смѣяться, но огорчать его за его наивность очень неблагородно, говорила Дора, когда заходила рѣчь о художникѣ.

Синьора Луиза не долюбливала ни Анну Михайловну, къ которой она ревновала своего сожителя, ни Дору, которая обыкновенно не могла удерживаться отъ самаго веселаго смѣха, когда итальянка съ отчаяніемъ разсказывала о какомъ нибудь новомъ сумасбродствѣ Ильи Макаровича. Не смѣяться надъ этими разсказами, точно, было невозможно, и Дора не находила ничего ужаснаго въ томъ, что Илья Макаровичъ, напримѣръ, являлся домой съ какимъ нибудь трехрублевымъ полированнымъ столикомъ; два или три дня онъ обдувалъ, обтиралъ этотъ столикъ, не позволялъ къ нему ни притрогиваться, ни положить на него что нибудь— и вдругъ этотъ же самый столикъ попадалъ въ немилость: Илья Макаровичъ вытаскивалъ его въ переднюю, ставилъ на немъ сушить свои калоши или начиналъ стругать на немъ разныя палки и палочки. Дора сама была разъ свидѣтельницею, какъ Илья Макаровичъ оштрафовалъ своего грудного ребенка. Ребенокъ захотѣлъ груди и въ отсутствіи синьоры Луизы раскричался, что называется, благимъ матомъ. Илья Макаровичъ урезонивалъ его тихо, потомъ сталъ кипятиться, началъ угрожать ему розгами и вдругъ,

вынувъ его изъ колыбели, положилъ на подушкѣ въ уголъ.

Даша расхохоталась.

— Нѣтъ, его надо проучить, оправдывался художникъ.— О! о! о! вотъ-вотъ видите! Нѣтъ, не бойтесь, оно, шельмовское дитя, все понимаетъ, — говорилъ онъ Дорѣ, когда ребенокъ замолчалъ, уставя удивленные глазки въ пестрый карнизъ комнаты.

Дора взяла наказаннаго ребенка и положила обратно въ колыбель, и никогда не переставала преслѣдовать Илью Макаровича этимъ его обдуманнымъ поступкомъ.

Болѣе всего у Ильи Макаровича стычки происходили за дѣтей. На Илью Макаровича иногда находило неотразимое стремленіе заниматься воспитаніемъ своего потомства, и тотчасъ двухлѣтняя дѣвочка опредѣлялась къ растиранію красокъ, трехлѣтній сынъ плавилъ свинецъ и долженъ былъ отливать пули или изучать механизмъ добраго штуцера; но синьора Луиза поднимала бунтъ и воспитаніе дѣтей немедленно же прекращалось.

Илья Макаровичъ въ качествѣ василеостровскаго художника также не прочь былъ выпить въ пріятельской бесѣдѣ и не прочь попотчивать пріятелей чѣмъ Богъ послалъ, дома. но синьора Луиза смотрѣла на все это искоса и дѣлала Ильѣ Макаровичу сцены немилосердныя. Такою рѣшительною политикою синьора Луиза, однако, вполнѣ достигла только одного, чего обыкновенно легко достигаютъ сварливыя и ревнивыя женщины. Илья Макаровичъ совсѣмъ пересталъ ее любить, сталъ искусно скрывать отъ нея свои маленькія шалости, чаще началъ бѣгать изъ дома и пересталъ хвалить итальянокъ. Дѣтей своихъ онъ любилъ до сумашествія и каждый годъ хоть по сту рублей клалъ для нихъ въ сохранную казну. Кромѣ того, онъ давно застраховалъ въ трехъ тысячахъ рублей свою жизнь и тщательно вносилъ ежегодную премію.

На сердце и нравъ Ильи Макаровича синьора Луиза не имѣла желаемаго вліянія. Онъ оставался попрежнему безпардонно добрымъ «товарищескимъ» человѣкомъ и всѣ его

знакомые очень любили его попрежнему. Анну Михайловну и Дорушку онъ тоже попрежнему считалъ своими первыми друзьями и готовъ былъ для нихъ хоть лечь въ могилу. Илья Макаровичъ всегда рвался услужить имъ, и не было такой услуги, на которую бы онъ не былъ готовъ, хотя бы эта услуга и далеко превосходила всѣ его силы и возможность.

Этотъ-то Илья Макаровичъ въ цѣломъ многолюдномъ Петербургѣ оставался единственнымъ человѣкомъ, который зналъ Анну Михайловну болѣе, чѣмъ всѣ другіе и имѣлъ право называться ея другомъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Темныя предчувствія.

Былъ пыльный и душный вечеръ. Илья Макаровичъ зашелъ къ Аннѣ Михайловнѣ съ синьорой Луизой и засидѣлись.

— Что это вы, Анна Михайловна, такія скупыя стали?— спросилъ, поглядѣвъ на часы художникъ.

— Чѣмъ, Илья Макаровичъ, я стала скупа? — спросила Анна Михайловна.

— Да вотъ десять часовъ, а вы и водченки не дадите.

—Que diu?—спросила итальянка, строго взглянувъ глазами на своего сожителя.

Илья Макаровичъ дмухнулъ два раза носомъ и пробурчалъ что-то съ весьма рѣшительнымъ выраженіемъ.

— Вотъ срамъ! Какая я въ самомъ дѣлѣ невнимательная! — сказала Анна Михайловна, поднявшись и идя къ двери.

— Постойте! постойте!—крикнулъ Илья Макаровичъ: — я вѣдь это такъ спросилъ. Если есть, такъ хорошо, а нѣтъ—и не нужно.

— Постойте, я посмотрю въ шкафѣ.

— Пойдемте вмѣстѣ! — крикнулъ Илья Макаровичъ, и засеменилъ за Анной Михайловной.

Въ шкафѣ нашлось немного водки, въ графинчикѣ, который ставили за столъ при Долинскомъ.

— Вотъ и отлично, сказалъ художникъ. — Теперь бы кусочекъ чего нибудь.

— Да вы идите въ мою комнату — я велю туда подать, что́ найдутъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ хлопотать! не надо! не надо! Вотъ это что̀ у васъ въ банкѣ?

— Грибы.

— Маринованные! Отлично. Я вотъ грибченковъ закушу.

Илья Макаровичъ тутъ же, стоя у шкафа, выпилъ водченки и закусилъ грибченкомъ.

— Хотите еще рюмчонку? — сказала Анна Михайловна, держа въ рукахъ графинъ съ остаткомъ водки. — Пейте, чтобъ ужъ зла не оставалось въ домѣ.

Илья Макаровичъ мыкнулъ въ знакъ согласія и, показавъ черезъ плечо рукою на дверь, за которою осталась его сожительница, покачалъ головою и помоталъ въ воздухѣ пальцами.

Анна Михайловна разсмѣлась, какъ умѣютъ смѣяться однѣ женщины, когда хотятъ, чтобы не слыхали ихъ смѣха, и вылила въ рюмку остатокъ водки.

— За здоровье отсутствующихъ!—возгласилъ Илья Макаровичъ.

— Да пейте, безтолковый, скорѣй!—отвѣчала шопотомъ Анна Михайловна, тихонько толкнувъ художника подъ руку.

Журавка какъ будто спохватился и, разомъ выливъ въ ротъ рюмку, чуть было не поперхнулся.

— А грибченки бардзо добрые, заговорилъ онъ, громко откашливаясь за каждымъ слогомъ.

Анна Михайловна, закрывъ ротъ батистовымъ платкомъ, смѣялась отъ всей души, глядя на «свободнаго художника, потерявшаго свободу».

— Ахтительные грибченки, — говорилъ Илья Макаровичъ, входя въ комнату, гдѣ оставалась его итальянка.

Синьора Луиза стояла у окна и смотрѣла на стѣну сосѣдняго дома.

— Пора домой, сказала она, не оборачиваясь.

— Ту минуту, ту минуту. Вотъ только сверну сигареточку, отвѣчалъ художникъ, доставая изъ кармана табакъ и папиросную бумажку.

Анна Михайловна вошла и положила ключи въ карманъ своего платья и сѣла.

— Чего вы торопитесь?—спросила она по-французски.

— Да вонъ, синьора приказываетъ, отвѣчалъ по-русски и пожимая плечами Илья Макаровичъ.

— Пора, дѣти скучать будутъ. Не улягутся безъ меня, отвѣчала синьора Луиза.

— А что-то нашъ Несторушка теперь подѣлываетъ?— спросилъ Илья Макаровичъ, котораго двѣ рюмченки, видимо, развеселили.

— А Богъ его знаетъ, вздохнувъ отвѣчала Анна Михайловна.

— Теперь хорошо въ Италіи!

— Да, я думаю.

— А у насъ-то какая дрянь! бррр! Колоритъ-то! колоритъ-то! Экая гадость. А пишутъ они вамъ?

— Вотъ только десятый день что-то нѣтъ писемъ и это меня очень тревожитъ.

— Не случилось ли чего съ Дарьей Михайловной?

— Богъ знаетъ. Писали, что ей лучше, что она почти совсѣмъ здорова и ни на что не жалуется, а, впрочемъ, всего надумаешься.

— Не влюбился ли Несторушка въ итальяночку какую?—посмѣиваясь и потирая руки, сказалъ художникъ.

Анна Михайловна слегка смѣшалась, какъ человѣкъ, котораго поймали на самой сокровенной мысли.

— Что-жъ, очень умно сдѣлаетъ. Пусть себѣ влюбляется хоть и не въ итальянку, лишь бы былъ счастливъ, проговорила она съ самымъ спокойнымъ видомъ.

— Нѣтъ, Анна Михайловна! на свѣтѣ нѣтъ лучше женщинъ, какъ наши русскія, сказалъ, вздохнувъ, Журавка.

— Въ самомъ дѣлѣ?—спрашивала его, улыбаясь, Анна Михайловна.

— Да, право! Гдѣ всѣмъ этимъ *тальянкамъ* до нашей, до русской! Наша русская какъ полюбитъ, такъ и пригрѣетъ, и приголубитъ, и пожалѣетъ, а это все...

— Qua?—спросила синьора Луиза, услыхавъ нѣсколько разъ повторенное слово «итальянка».

— Квакай, матушка, отвѣчалъ Илья Макаровичъ, и безъ того недовольный тѣмъ, что его почти насильно уводятъ домой. — Научись говорить по-русски, да тогда и квакай; а то капусту выучилась ѣсть, вмѣсто апельсинъ, а говорить въ пять лѣтъ не выучилась. Ну, прощайте, Анна Михайловна!—добавилъ онъ, взявъ шляпу и подавъ свернутую кренделемъ руку подругѣ своей жизни.

Анна Михайловна подала руку Ильѣ Макаровичу и поцѣловала синьору Луизу, оскалившую при семъ случаѣ свои длинные зубы, закусившіе русскаго маэстро.

— Колоритъ-то, колоритъ-то какой! — говорилъ Журавка, вертясь передъ окномъ передней.—Буря, кажется, будетъ.

Ему смерть не хотѣлось идти домой.

Анна Михайловна улыбнулась и сказала:

— Да, въ одиннадцатой линіи, какъ говаривалъ Несторъ Игнатьичъ, того и гляди, что къ ночи соберется буря.

— Да, сострилъ шельмецъ, чтобъ ему самому вымокнуть.

— Будетъ съ него, батюшка мой, и того, что̀ было.

Итальянкѣ наскучилъ этотъ разговоръ и она незамѣтно толкнула Журавку локтемъ.

— Сейчасъ, матушка! — отвѣчалъ онъ и, обратясь къ Аннѣ Михайловнѣ, спросилъ:—а что, барыня-то его бомбардируетъ?

— Нѣтъ, теперь, слава Богу, не пишетъ — успокоилась.

Анна Михайловна лгала.

— Экая егарма!—сказалъ Журавка, дмухнувъ носомъ.

— Вотъ вамъ и русская.

— Кой-чортъ это русская! Вы вотъ русская, а это чортъ, а не русская.

— Идите ужъ, полно толковать, сказала Анна Михайловна, видя, что итальянка сердится и нѣсколько разъ еще толкнула локтемъ Журавку, который не замѣчалъ этого, слагая свой панегирикъ нѣкогда сильно захаянной имъ русской женщинѣ. — Идите, а то того и гляди, что громъ грянетъ и перекреститься не успѣете.

Журавка махнулъ рукой и потащилъ за двери свою синьору; а Анна Михайловна, проводивъ гостей, вошла въ комнату Долинскаго, сѣла у его стола, придвинула къ себѣ его большую фотографію и сидѣла какъ окаменѣлая, не замѣчая, какъ бѣлобрюхой, холодной жабой проползла надъ угрюмыми, каменными массами столицы безстыдно-наглая, петербургская лѣтняя ночь.

Часто Аннѣ Михайловнѣ выпадали такія ночи, и такъ тянулось до осени. Письма изъ-за границы начали приходить все какъ-то рѣже. Сначала, вмѣсто двухъ писемъ въ недѣлю, Анна Михайловна стала получать по одному, а тамъ письмо являлось только разъ въ двѣ недѣли и даже еще рѣже. И всѣ письма эти стали казаться Аннѣ Михайловнѣ какъ-то странными. Долинскій извѣщалъ въ нихъ, что Дорушкѣ лучше, что Дорушка совсѣмъ почти выздоровѣла, а тамъ говорилъ что-то о хорошей итальянской природѣ, о русскихъ заграницей, а о себѣ никогда ни слова. Дорушка же только дѣлала приписки подъ его письмами и то не всегда.

— Что это значитъ? — думала Анна Михайловна: — Дорушкѣ лучше, Дорушка почти здорова и отъ Дорушки не добьешься слова. Неужто же она меня разлюбила? Неужто Долинскій забылъ меня? Неужто они оба...

Анна Михайловна блѣднѣла отъ своихъ догадокъ и ужасно страдала, но письма въ Италію писала ровныя, теплыя,

безъ горечи и упрека. Она не писала имъ ни чаще, ни рѣже, но всякое воскресенье своими руками аккуратно бросала одно письмо въ заграничный ящикъ. Иногда вся сила ея надъ собою истощалась; горячая натура брала верхъ надъ разумомъ, и Анна Михайловна хотѣла завтра же взять паспортъ и летѣть въ Ниццу, но безсонная ночь проходила въ размышленіяхъ и утромъ Анна Михайловна говорила себѣ:—Зачѣмъ? къ чему?—Чему быть, тому ужъ не миновать, прибавляла она въ раздумьѣ.

Такъ все и ползло и лѣзло скучное время.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Шпилька.

Передъ новымъ годомъ у Анны Михайловны была куча хлопотъ. Отъ заказовъ некуда было дѣваться; мастерицы работали рукъ не покладывая; а Анна Михайловна немножко поблѣднѣла и сдѣлалась еще интереснѣе. Въ темно-коричневомъ шерстяномъ платьѣ, подъ самую шею, перетянутая по таліи чернымъ шелковымъ поясомъ, Анна Михайловна стояла въ своемъ магазинѣ съ утра до ночи, и съ утра до ночи можно было видѣть на противоположномъ тротуарѣ не одного, такъ двухъ, или трехъ зѣвакъ, любовавшихся ея фигурою.

— Еслибъ я была хоть въ половину такъ хороша, какъ эта дура,—разсуждала съ собою m-lle Alexandrine, глядя презрительно на Анну Михайловну: — что бы я только устроила... Tiens, Oui! oui... une petite maisonette et tout ça.

Анна же Михайловна, разумѣется, ко всѣмъ поклоненіямъ своей красотѣ оставалась совершенно равнодушною.

Она держала себя съ большимъ достоинствомъ. Съ такимъ тактомъ встрѣчала она своихъ то надменныхъ, то суетливыхъ заказчицъ, такъ ловко и такими парижскими оборотами отпарировала всякое покушеніе бомонда потретировать

модистку съ высоты своего величія, что засмотрѣться на нее было можно.

Въ одинъ изъ такихъ дней магазинъ Анны Михайловны былъ полонъ существами, обсуждавшими достоинство той и другой шляпки, той и другой мантильи. Анна Михайловна терпѣливо слушала пустые вопросы и отвѣчала на нихъ со вниманіемъ, щадя пустое самолюбіе и смѣшныя претензіи. Въ часъ въ дверь вошелъ почтальонъ. Письмо было изъ-за границы; адресъ надписанъ Дашею.

— Je vous demande bien pardon, je dois lire cette lettre immédiatement,—сказала Анна Михайловна.

— Oh! je vous en prie, lisez! Faites moi la grâce de lire!— отвѣчала ей гостья.

Анна Михайловна отошла къ окну и поспѣшно разорвала конвертъ. Письмо все состояло изъ десяти строкъ, написанныхъ Дашиной рукою: Дорушка поздравляла сестру съ новымъ годомъ, благодарила ее за деньги и, по русскому обычаю, желала ей съ новымъ годомъ новаго счастья. На сдѣланный когда-то Анной Михайловной вопросъ: когда они думаютъ возвратиться, Даша теперь коротко отвѣчала въ post scriptum:

«Возвращаться мы еще не думаемъ. Я хочу еще пожить тутъ. Не хлопочи о деньгахъ. Долинскій получилъ за повѣсть, намъ есть чѣмъ жить. Въ этомъ долгѣ я надѣюсь съ нимъ счесться».

Долинскій только приписывалъ, что онъ здоровъ и что надняхъ будетъ писать больше. Этимъ давно уже онъ обыкновенно оканчивалъ свои коротенькія письма, но обѣщанныхъ большихъ писемъ Анна Михайловна никогда «надняхъ» не получала. Послѣднее письмо такъ поразило Анну Михайловну своею оригинальною краткостью, что, положивъ его въ карманъ, она подошла къ оставленнымъ ею покупательницамъ совершенно растерянная.

— Не отъ mademoiselle Доры ли?—спросила ее давняя заказчица.

— Да, отъ нея, отвѣчала какъ могла спокойнѣе Анна Михайловна.

— Здорова она?

— Да, ей лучше.

— Скоро возвратится?

— Еще не собирается. Пусть живетъ тамъ; тамъ ей здоровѣе.

— О, да, это конечно. Россія и Италія—какое же сравненіе?—Но вамъ безъ нея большая потеря. Ты не можешь вообразить, chère Vera, отнеслась дама къ своей очень молоденькой спутницѣ:—какая это геніальная дѣвушка, эта mademoiselle Дора! Какой вкусъ, какая простота и отчетливость во всемъ, что̀ бы она ни сдѣлала, а вѣдь русская! Удивительныя руки! Все въ нихъ какъ будто оживаетъ, все измѣняется. Вообще артистка.

— Гдѣ же она теперь?—спросила m-lle Vera.

— Въ Ниццѣ, отвѣчала Анна Михайловна.

— Въ Ниццѣ?!

— Да, въ Ниццѣ.

— Я тоже провела это лѣто съ матерью въ Ниццѣ.

— Это m-lle Vera Онучина, назвала дама дѣвушку.

Анна Михайловна поклонилась.

— Очень можетъ быть, что я гдѣ нибудь встрѣчала тамъ вашу сестру.

— Очень немудрено.

— Съ кѣмъ она тамъ?

— Съ однимъ... нашимъ родственникомъ.

— Если это не секретъ, кто это такой?

— Долинскій.

— Долинскій, его зовутъ Несторъ Игнатьичъ?

— Да, его такъ зовутъ.

— Такъ онъ ей не мужъ?

— Нѣтъ. Съ какой стати?

— Онъ вамъ родственникъ?

— Да, отвѣчала Анна Михайловна, проклиная эту пытливую особу, и чтобы отклонить ее отъ допроса, сама спро-

сила:—такъ вы знали... видѣли мою сестру въ Ниццѣ, вы ее знали тамъ?

— Une tête d'or! Кто же ее не знаетъ? Вся Ницца знаетъ une tête d'or.

— Это, вѣрно, ее тамъ такъ прозвали?

— Да, ее всѣ такъ зовутъ. Необыкновенно интересное лицо; она ни съ кѣмъ не знакома, но ее всѣ русскіе знаютъ и никто ее иначе не называетъ, какъ une tête d'or. Мой братъ познакомился гдѣ-то съ Долинскимъ и онъ бывалъ у насъ, а сестра ваша, кажется, совсѣмъ дикарка.

— Нну... это не совсѣмъ такъ, произнесла Анна Михайловна и спросила:

— Здорова она на видъ?

— Кажется; но что она прекрасна, это я могу вамъ сказать навѣрно, отвѣчала, смѣясь, незнакомая дѣвица.

— Да, она хороша, сказала Анна Михайловна и разсѣянно спросила: — а господинъ Долинскій часто бывалъ у васъ?

— О, нѣтъ! Три или четыре раза за все лѣто, и то братъ его затаскивалъ. У насъ случилось много русскихъ и Долинскій былъ такъ любезенъ, прочелъ у насъ свою новую повѣсть. А то, впрочемъ, и онъ тоже нигдѣ не бываетъ. Они всегда вдвоемъ съ вашей сестрой. Вмѣстѣ бродятъ по окрестностямъ, вмѣстѣ читаютъ, вмѣстѣ живутъ, вмѣстѣ скрываются отъ всѣхъ глазъ!.. кажется, вмѣстѣ дышатъ одной грудью.

— Какъ я вамъ благодарна за этотъ разсказъ! — проговорила Анна Михайловна, держась рукой за столъ, за которымъ стояла.

— Мнѣ самой очень пріятно вспомнить обворожительную tête d'or. А знаете, я черезъ мѣсяцъ опять ѣду въ Ниццу съ моей maman. Можетъ быть, хотите что нибудь передать имъ?

— Mercі bien. Я имъ пишу часто.

— Свѣтская дама съ свѣтской дѣвицей вышли.

— Какъ она забавно мѣнялась въ лицѣ, замѣтила дѣвица.

— Ну, да еще бы! Это ея amant.

— Я такъ и подумала. Какой оригинальный случай.

Дамы засмѣялись.

— И въ какомъ, однако, странномъ кружкѣ вращаются эти господа!—пройдя нѣсколько шаговъ сказала m-lle Vera.

— И, ma chère! въ какомъ же по-твоему кружкѣ имъ должно вращаться?

— А онъ уменъ, въ раздумьѣ продолжала дѣвица.

— Мало ли, мой другъ, умныхъ людей на свѣтѣ?

— И довольно интересенъ, то-есть я хотѣла сказать, довольно оригиналенъ.

Дама взглянула на дѣвицу и саркастически улыбнулась.

— Не настолько, однако, надѣюсь, интересенъ, пошутила она,—чтобъ приснился во снѣ mademoiselle Вѣрѣ.

— М-м-м-ъ... за сны свои, ma chère Barbe, никто не отвѣчаетъ, отшутилась m-lle Вѣра, и онѣ обѣ весело разсмѣялись, встрѣтились съ знакомымъ гусаромъ и заговорили ни о чемъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Туманная даль близится и яснѣетъ.

Какъ только дамы вышли изъ магазина, Анна Михайловна написала къ Ильѣ Макаровичу, прося его сегодня же принести ей книжку журнала, въ которомъ напечатана послѣдняя повѣсть Долинскаго, и ждала его съ нетерпѣніемъ. Илья Макаровичъ черезъ два часа прибѣжалъ изъ своей одиннадцатой линіи, немножко разстроенный и надутый, и принесъ съ собою книжку.

— Что-жъ это Несторка-то!—началъ онъ, только входя въ комнату.

— А что?—спросила Анна Михайловна, перелистывая съ нетерпѣніемъ повѣсть.

— И повѣсти вамъ не прислалъ?

— Вѣрно, у него у самого ея нѣтъ. Не скоро доходитъ заграницу.

Илья Макаровичъ заходилъ по комнатѣ и все дмухалъ сердито носомъ.

— Читали вы повѣсть?—спросила Анна Михайловна.

— Читалъ, какъ же не прочесть?—читалъ.

— Хороша?

— Хорошую написалъ повѣсть.

— Ну, и слава Богу.

— Денегъ онъ пропасть зарабатываетъ какую!

— Еще разъ слава Богу.

— А что̀, онъ вамъ пишетъ.

— Пишетъ, медленно проговорила Анна Михайловна.

Илья Макаровичъ опять задмухалъ.

— Водченки пропустить хотите?—спросила Анна Михайловна, не подымая глазъ отъ книги.

— Нѣтъ, чортъ съ ней! Чаишки развѣ; такъ отъ скуки—могу.

Анна Михайловна позвонила.

Подали самоваръ.

— Вы на меня не въ претензіи?—спросила она Илью Макаровича.

— За что̀?

— Что я при васъ читаю.

— Сдѣлайте милость!

— Скучно безъ нихъ ужасно, сказала Анна Михайловна, обваривая чай.

— И чего они тамъ сидятъ?

— Для Даши.

Илья Макаровичъ опятъ задмухалъ.

— Знаете, что̀ я подозрѣваю? — сказалъ онъ. — Это у него все теперь эти *идеи* въ головѣ бродятъ.

— Попали пальцемъ въ небо.

Илья Макаровичъ хотѣлъ употребить дипломатическую, успокоительную хитрость и очень сконфузился, что она не удалась.

— А вотъ что, Анна Михайловна!—сказалъ онъ, пройдясь нѣсколько разъ по комнатѣ и снова остановясь пе-

редъ хозяйкой, сидѣвшей за чайнымъ столомъ, надъ раскрытою книгою журнала.

— Что, Илья Макаровичъ?

Художникъ долго смотрѣлъ ей въ глаза и, наконецъ, съ добродушнѣйшей улыбкой произнесъ:

— Махну-ка я, Анна Михайловна, въ Италію.

— Это же ради какихъ благъ?

— Еще разъ передъ старостью, небо теплое увидѣть. Душу свою обогрѣю.

— Э, не сочиняйте-ка вздоровъ! У кого душа тепла, такъ вездѣ она будетъ тепла, и подъ этимъ небомъ.

Илья Макаровичъ не умѣлъ сказать обинякомъ то, что онъ думалъ.

— Ихъ посмотрю, сказалъ онъ прямо.

— Ну, и что-жъ будетъ?

Илья Макаровичъ долго молчалъ, мѣнялся въ лицѣ и моргалъ глазами.

— Обрезонить надо человѣка; вотъ что будетъ! — наконецъ, вымолвилъ онъ съ таинственнымъ придыханіемъ.

— Это вы Долинскаго хотите обрезонивать! Онъ не мальчикъ, Илья Макаровичъ. Ему уже не двадцать лѣтъ самъ понимаетъ, что дѣлаетъ.

— И ее, еще тише продолжалъ художникъ.

— Ее?

Илья Макаровичъ сдѣлалъ самую строгую мину и качнулъ въ знакъ согласія головою.

— Дашу?—переспросила его Анна Михайловна.

— Ну, да.

— Не знаете вы, за что беретесь, мой милый! — отвѣчала, улыбнувшись, Анна Михайловна.

— Слово надо сказать; одно слово иногда заставляетъ человѣка опомниться, таинственно произнесъ художникъ.

— Кому же это вы будете говорить, что вы будете говорить, и по какому праву, наконецъ, Илья Макарычъ?

— Право! Съ подлецомъ нечего разбирать правъ!

— Пожалуйста, только не горячитесь.

— Нѣтъ-съ, я не горячусь и не буду горячиться, а я только хочу ему высказать все, что̀ у меня накипѣло на сердцѣ, только и всего; и чортъ съ нимъ послѣ.

Анна Михайловна махнула рукой.

— Да и ей тоже-съ. Воля милости ея, а пусть слушаетъ. А ужъ я наговорю!

— Дашѣ?

— Да-съ.

— О, Аркадія священная! Дашѣ не слова человѣческія, а если бы громъ небесный упалъ передъ нею, такъ она... и на этотъ громъ, я думаю, не обратила бы вниманія. Что тутъ слова, когда, видите, ей меня не жаль; а вѣдь она меня любитъ! Нѣтъ, Илья Макарычъ, когда сердце занялось пламенемъ, тутъ ужъ ничей разумъ и никакія слова не помогутъ!

— Такъ, что-жъ они о себѣ теперь думаютъ! — грозно крикнулъ и привскочилъ съ мѣста Журавка.

— А ничего не думаютъ?

— Какъ же ничего не думаютъ?

— А такъ—зачѣмъ думать!

— Какъ зачѣмъ думать? Помилуйте, Анна Михайловна, да это... что̀ же это такое вы сами-то, наконецъ, говорите?

— Я вамъ говорю, что они ничего не думаютъ.

— Да что̀ же онъ-то такое? Послѣ этого вѣдь онъ же выходитъ подлецъ! Илья Макаровичъ въ азартѣ стукнулъ кулакомъ по столу и опять закричалъ:—подлецъ!

— За что вы его такъ браните? Ну, что отъ этого поправится, или получшѣетъ?

— Зачѣмъ же онъ сбилъ дѣвушку?

Анна Михайловна улыбнулась.

— Чего вы смѣетесь?

— Надъ вами, Илья Макарычъ! Ничего-то вы не разумѣете, хоть и въ Италіи были.

— Чего-съ я не разумѣю?

Анна Михайловна промолчала.

— Нѣтъ-съ, позвольте же, Анна Михайловна, если ужъ

начали говорить, такъ вы извольте же договаривать: чего это-съ я не разумѣю?

— Да какъ вы можете утверждать, что онъ ее съ чего нибудь сбивалъ?—сказала Анна Михайловна.

Илья Макаровичъ дмухнулъ носомъ и, помолчавъ, спросилъ:

— Такъ какъ же это по-вашему было?

— Дору никто не собьетъ и... никто Илью Макаровича ни отъ чего не удержитъ.

Журавка опять забѣгалъ.

— Да... однакожъ... позвольте: на что же это она бьетъ, въ чью же-съ голову она бьетъ?!—спросилъ онъ, остановившись.

— Любитъ.

— Да ну-те-жъ бо, Богъ съ вами, Анна Михайловна, что-жъ будетъ изъ такой любви?

— Что изъ любви бываетъ—радость, счастье и жизнь.

— Да вѣдь позвольте... мы вѣдь съ вами старые друзья. Вѣдь... *вы* его, наконецъ, любите?

— Ну-съ; такъ что же далѣе? — произнесла, немного конфузясь, Анна Михайловна.

— И онъ васъ любилъ?

— Положимъ.

— Ничего не понимаю! — крикнулъ, пожавъ плечами, Илья Макаровичъ и опять ожесточенно забѣгалъ, мотая по-временамъ головою и повторяя съ ажитаціей: — ничего... ровно ничего не понимаю! Хоть голову мою срубайте, ничего не понимаю!

— А какъ же это вы, однако, поняли, что тамъ что-то есть?—спросила послѣ паузы Анна Михайловна съ цѣлью повѣрить свои соображенія чужими.

— Да такъ, просто. Думаю себѣ иной разъ, сидя за мольбертомъ: что онъ тамъ, наконецъ, собака, дѣлаетъ? Знаю, вѣдь онъ такой олухъ царя небеснаго; даже прекраснаго, шельма, не понимаетъ; идетъ все понурый, на женщину никогда не взглянетъ, а женщины на него какъ муха на медъ. Душа у него такая кроткая, чистая и вся на лицѣ.

— Да, уронила Анна Михайловна, вспоминая лицо Долинскаго и опять невинно смущаясь.

— Не полюбить-то его почти нельзя!

— Нельзя, сказала, улыбнувшись, Анна Михайловна.

— То есть именно, я говорю, чортъ его знаетъ, каналью, ну, нельзя, нельзя.

— Нельзя, подтвердила Анна Михайловна нѣсколько серьезнѣе.

— Ну, вотъ и думаю: чего до грѣха, свихнетъ онъ Дорушку!

— Ничего я не вижу отсюда, а совершенно увѣрена... Да, Илья Макарычъ, о чемъ это мы съ вами толкуемъ, а?.. развѣ они не свободные люди?

Художникъ вскочилъ и неистово крикнулъ:

— А ужъ это нѣтъ-съ! Это извините-съ, бо онъ, низкій онъ человѣкъ, долженъ былъ помнить, что̀ онъ оставилъ!

— Эхъ, Илья Макарычъ! А еще вы художникъ и «свободный художникъ!» А молодость, а красота, а коса золотая, сердце горячее, душа смѣлая! Мало вамъ адвокатовъ?

— То есть чортъ его знаетъ, Анна Михайловна, вѣдь въ самомъ дѣлѣ можно съ ума сойти! — отвѣчалъ художникъ, заламывая на брюшкѣ свои ручки.

— То-то и есть. Вспомните-ка ея пѣсенку:

То горделива, какъ свобода,
То вдругъ покорна, какъ раба.

— Да, да, да... то-есть именно, я вамъ, Анна Михайловна, скажу, это чортъ знаетъ что̀ такое!

Долго Анна Михайловна и художникъ молчали. Одна тихо и неподвижно сидѣла, а другой все бѣгалъ, а то дмухалъ носомъ, то что-то вывертывалъ въ воздухѣ рукою, но, наконецъ, это его утомило. Илья Макаровичъ остановился передъ хозяйкой и тихо спросилъ:

— Ну, и что-жъ дѣлать однако?

— Ничего, также тихо отвѣтила ему Анна Михайловна.

Художникъ походилъ еще немножко, сдѣлалъ на одномъ поворотѣ руками жестъ недоумѣнія и произнесъ:

— Прощайте, Анна Михайловна.

— Прощайте. Вы домой прямо?

— Нѣтъ, забѣгу въ Палкинъ, водчонки хвачу.

— Что-жъ вы не сказали, здѣсь бы была водчонка, спокойно говорила Анна Михайловна, хотя лицо ея то-и-дѣло покрывалось пятнами.

— Нѣтъ, ужъ тамъ выпью, разсуждалъ Журавка.

— Ну, прощайте.

— А написать ему можно?—шопотомъ спросилъ художникъ, снова возвращаясь въ комнату въ шинели и калошахъ.

— Ни, ни, ни! Чужая собака подъ столъ, знаете пословицу?—отвѣчала Анна Михайловна, стараясь держаться шутливаго тона.

— Господи Боже мой! Какая вы дивная женщина!—воскликнулъ восторженно Журавка.

— Такая, которую всегда очень легко забыть, отшутилась Анна Михайловна.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Немножко назадъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Долинскій съ Дарьей Михайловной отъѣхали отъ петербургскаго амбаркадера варшавской желѣзной дороги, они проводили свое время въ слѣдующихъ занятіяхъ: Дорушка утерла набѣжавшія слезы и упорно смотрѣла въ окошко вагона. Природа ее занимала, или просто молчать ей хотѣлось, — глядя на нее рѣшить было трудно. Долинскій тоже молчалъ. Онъ попробовалъ-было заговорить съ Дашей, но та кинула на него бѣглый взглядъ и ничего ему не отвѣтила. Подъѣзжая къ Острову, Даша сказала, что она устала и дальше ѣхать не можетъ. Отыскали въ гостинницѣ нумеръ съ передней. Долинскій приготовилъ чай и спросилъ ужинъ.

Даша ни къ чему не притронулась.

— Ну, такъ ложитесь спать, сказалъ ей Долинскій.

— Да, я спать хочу, отвѣчала Даша.

Она легла на кровати въ комнатѣ, а Долинскій завернулся въ шинель и легъ на диванчикѣ въ передней.

Они оба молчали. Даша была не то печальна, не то угрюма; Долинскій приписывалъ это слабости и болѣзненной раздраженности. Онъ не безпокоилъ ее никакими вопросами.

— Прощайте, моя милая нянюшка!—слабо проговорила черезъ перегородку Даша, полежавъ минутъ пять въ постели.

— Прощайте, Дорушка. Спите спокойно.

— Вамъ тамъ скверно, Несторъ Игнатьичъ?

— Нѣтъ, Дорушка—хорошо.

— Потерпите, мой милый, ради меня, чтобы было по чемъ вспомнить.

— Спите, Дорушка.

Больная провела ночь очень покойно и проснулась утромъ довольно поздно. Долинскій нашелъ женщину, которая помогла Дашѣ одѣться, и велѣлъ подать завтракъ. Даша кушала съ аппетитомъ.

— Несторъ Игнатьичъ! — сказала она, оканчивая завтракъ:—вотъ сейчасъ вамъ будетъ испытаніе, какъ вы понимаете наставленія моей сестры. Что она приказала вамъ на мой счетъ?

— Беречь васъ.

— А еще?

— Служить вамъ.

— А еще?

— Ну, что-жъ еще?

— Право, не знаю, Дарья Михайловна.

— Вотъ память-то!

— Да что же? — она просила исполнять ваши желанія и только.

— Ну, наконецъ-то! *Исполнять мои желанія*, а у меня теперь есть желаніе, которое не входило въ наши планы: исполните ли вы его?

— Что же это такое, Дорушка?

— Свезите меня въ Варшаву. Смерть мнѣ хочется по-

смотрѣть поляковъ въ ихъ городѣ. У васъ тамъ есть знакомые?

— Должны быть; но какъ же это сдѣлать? Вѣдь это намъ составитъ большой разсчетъ, Дорушка, да и экипажа нѣтъ.

— Какъ нибудь. Вы не повѣрите, какъ мнѣ этого хочется.

Факторъ въ Вильно нашелъ старую, очень покойную коляску, оставленную кѣмъ-то изъ варшавянъ, и устроилъ Долинскому все очень удобно. Желѣзная дорога тогда еще была неокончена. Погода стояла прекрасная, путешественники ѣхали безъ непріятностей и Даша была очень счастлива.

— Люблю я, говорила она:—ѣхать на лошадяхъ. Отсталая женщина—терпѣть не могу желѣзныхъ дорогъ и этихъ глупыхъ вагоновъ.

Долинскій смѣялся и разсказывалъ ей разныя непріятности путешествія на лошадяхъ въ Россіи.

— Все это можетъ быть такъ; я только одинъ разъ всего ѣхала далеко на лошадяхъ, когда Аня взяла меня изъ деревни, но терпѣть не могу, какъ въ вагонахъ запираютъ, прихлопнутъ, да еще съ наслажденіемъ ручкой повертятъ: дескать, не смѣешь вылѣзть.

Дорога шла очень пріятно. Даша много спала въ покойномъ экипажѣ и говорила, что она оживаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, не смотря на дорожную усталость, она чувствовала себя крѣпче и дышала свободнѣе.

Въ Варшавѣ они размѣстились очень удобно въ большомъ нумерѣ, состоявшемъ изъ трехъ комнатъ. Долинскій отыскалъ много знакомыхъ поляковъ съ Волыни и Подоліи и представилъ ихъ Дашѣ. Даша много съ ними говорила и осталась очень довольна новыми знакомствами.

Долинскій нашелъ тоже пани Свѣнтоховскую, извѣстную варшавскую модистку, съ которою Анна Михайловна и Даша познакомились въ Парижѣ и которую принимали у себя въ Петербургѣ. Пани Свѣнтоховская, женщина строгая и ультракатоличка, пріѣхала къ Дашѣ, когда Долинскаго не

было дома, и разсыпалась передъ Дорою въ поздравленіяхъ и благожеланіяхъ.

— Да съ чѣмъ вы меня поздравляете?—спросила Даша.

— Какъ съ чѣмъ?—Съ мужемъ?.

— Съ какимъ мужемъ,—разсмѣявшись спросила ее Даша.

— А панъ Долинскій!

Даша еще громче разсмѣялась.

— Да какъ же вы ѣдете?—спросила нѣсколько обиженная ея смѣхомъ полька.

— Простите мнѣ, мой ангелъ, этотъ глупый смѣхъ, отвѣчала Даша, обтирая выступившія у нея отъ хохота слезы, и разсказала пани Свѣнтоховской какъ устроилась ея поѣздка. Солидная пани Свѣнтоховская покачала головой.

— Что-жъ, вы развѣ находите это очень ужъ неприличнымъ? А будто приличнѣе было бы оставить меня умирать для приличія?

— Не то, что очень неприлично, а...

— А что?

— Оно... небезпечно.

Даша опять захохотала и, немного покраснѣвъ, сказала:

— Какіе пустяки!

Когда пришелъ Долинскій, не заставъ уже пани Свѣнтоховской, Даша встрѣтила его веселымъ смѣхомъ.

— Чего вы такъ смѣетесь, Дора?—освѣдомился Долинскій.

— Знаете, Несторъ Игнатьичъ, что вы въ опасности.

— Въ какой опасности?

— Въ опасности.

— Полноте шалить, Дора! скажите толкомъ,—отвѣчалъ нѣсколько встревоженный Долинскій.

— Не пугайтесь, милая няня! Опасностью вамъ угрожаю я. Я, *своей собственной персоной!*

Даша разсказала опасенія madame Свѣнтоховской.

И онъ, и она усердно смѣялись.

Вечеромъ Даша и Долинскій долго просидѣли у пани Свѣнтоховской, которая собрала нѣсколько ихъ своихъ знакомыхъ дамъ, съ ихъ мужьями, и ни за что не хотѣла отпу-

стить петербургскихъ гостей безъ ужина. Долинскій ужасно безпокоился за Дашу. Онъ не сводилъ съ нея глазъ, а она превесело щебетала съ польками, и на ея миломъ личикѣ не было замѣтно ни малѣйшаго признака усталости, хотя часъ былъ уже поздній.

— Домой пора, Дора, не разъ шепталъ ей Долинскій.

— Погодите—невѣжливо же уѣхать?

— Заболѣете.

— Ахъ! Какъ вы мнѣ надоѣли съ вашимъ менторствомъ.

Долинскій отходилъ прочь.

Вернулись домой только во второмъ часу. Войдя въ нумеръ, Долинскій взялъ Дашу за обѣ руки и сказалъ:

— Смерть я боюсь за васъ, Дорушка! Того и гляжу, что вы сляжете.

— Не бойтесь, не бойтесь, мой милый, отвѣчала она, пожимая его руки.

— А вы слышали, что̀ о васъ говорили паны?—спросилъ Долинскій, усадивъ Дору въ кресло.

— Нѣтъ. Что они говорили?

— Говорили: какая хорошенькая московка?

Даша сдѣлала гримасу и сказала:

— Это мы и безъ нихъ знали; а потомъ спросила:

— А вы слышали, что о васъ говорили пани?

— Нѣтъ.

Даша разсмѣялась.

— Говорили, что вы анинъ «коханокъ».

— Кому это они говорили?

— Сами съ собой говорили.

— Ворона вѣсть принесла.

— Ворона, именуемая панею Свѣнтоховскою.

— А ей кто доложилъ?

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! слухомъ, сударь, земля полнится.

Долинскій ничего не отвѣчалъ.

— А странный вы господинъ!—начала, подумавъ, Даша.—Громами гремите противъ предразсудковъ, а самимъ ухъ

какъ жутко становится, если дѣло на чистоту выходитъ! Что же вамъ! Развѣ вы не любите сестры или стыдитесь быть ея, какъ онѣ говорятъ «коханкомъ».

— Да мнѣ все равно, только... зачѣмъ? Я вѣдь знаю, что у этихъ господъ значитъ *коханекъ*.—Мнѣ, это, конечно, все равно, а...

— А кому-жъ неравно? Ужъ не за сестру ли вы печалитесь?—Мы съ ней люди простые, въ пансіонахъ не воспитывались: ѣдимъ пряники неписанные.

— Да я-жъ вѣдь ничего и не сказалъ, кажется.

— А только подумалъ!—отвѣчала съ ироніей Даша.— Нѣтъ, Несторъ Игнатьичъ, крѣпко, еще, вѣрно, сидятъ въ насъ бабушкины-то присказки!

Даша тоже задумалась и стала смотрѣть на свѣчу, а Долинскій молча прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ и сказалъ:

— Ложитесь спать, Даша.

Даша не отвѣчала.

— Идите въ постель, Дора, повторилъ черезъ минуту Долинскій.

Даша молча встала, пожала Долинскому руку и, выходя изъ комнаты, громко продекламировала:

О, жалкій, слабый родъ! О, время
Полупорывовъ долгихъ думъ
И робкихъ дѣлъ! О, вѣкъ! О, племя!
Безъ вѣры въ собственный свой умъ!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Все обстоитъ благополучно.

Путешественники наши пробыли въ Варшавѣ пять дней и написали Аннѣ Михайловнѣ два длинныхъ письма. На шестой день панна Свѣнтоховская проводила ихъ на желѣзную дорогу. Усаживая Дашу въ вагонъ, она шепнула ей нѣсколько словъ, на которыя та отвѣчала гримаскою. Дорогою Даша первый день чувствовала себя нѣсколько сла-

бою. Закачало ее, и потому Долинскій рѣшился вовсе не везти ее ночами. Но на другой день Дашѣ было гораздо лучше и она хохотала надъ Долинскимъ, представляя, какое у него длинное лицо бываетъ, когда она охнетъ.

— Смотрите, Несторъ Игнатьичъ, говорила она:—чтобъ, въ самомъ дѣлѣ, не вышло на слова пани Свѣнтоховской. Въ самомъ дѣлѣ, какъ она говоритъ, «небезпечно» вамъ, кажется, разгулпваться со мной по бѣлу-свѣту. Чего добраго, влюбитесь вы въ меня. Въ два-то года, живя вмѣстѣ, вы меня не разсмотрѣли хорошенько, а теперь вотъ дѣлать вамъ нечего, со скуки какъ-разъ злой недугъ приключится. Вотъ анекдотъ-то выйдетъ! Хоть со свѣта бѣжи тогда.

— Что̀ вы выдумываете, Дорушка!

— А что̀-жъ! Всѣ подъ Богомъ ходимъ. Развѣ ужъ въ меня и влюбиться нельзя?

— Какая вы хорошенькая! — смѣясь, воскликнулъ Долинскій.

— Вотъ то-то и оно! Въ Варшавѣ, въ царствѣ женской красоты, таковою признана.

— А кстати, Дора, я и забылъ васъ спросить: какъ вамъ понравилась Варшава?

— Очень хорошій, типическій городъ.

— А варшавяне?

— Мужчины или женщины?

— Тѣ и другія?

— Однимъ словомъ на это отвѣчать нельзя.

— Ну, можете двумя словами.

— Въ полякахъ мнѣ одно только нравится, а въ полькахъ одно только не нравится.

— Значитъ, въ мужчинахъ вы замѣтили только одну добродѣтель, а въ женщинахъ только одинъ порокъ?

— Не то совсѣмъ. Мужчины почти точно такіе же, какъ и наши; даже у этихъ легкости этой ненавистной, пожалуй, какъ будто, еще и больше — это мнѣ противно; но они вотъ чѣмъ умнѣе: они за однимъ другого не забываютъ.

— Какъ это, Дорушка?

— А такъ! У нихъ пѣнію время, а молитвѣ часъ. Они не требуютъ, чтобъ люди уродами подѣлались за то, что ихъ матери не въ тотъ, а въ другой годъ родили. У нихъ Божіе идетъ Богови, а кесарево Кесареви. Они и живутъ, и думаютъ, и любятъ, и не надоѣдаютъ своимъ женщинамъ одною докучною фразою. Мнѣ, вы знаете, смерть надоѣли эти наши ораторы! Все чувства боятся! Сердчишекъ не далъ Богъ, а они еще мечами картонными отмахиваются. Любовь и привязанность будто чему-нибудь хорошему могутъ мѣшать? Будто любовь чему-нибудь мѣшаетъ?

Даша разгорячилась.

— Шуты святочные! — сказала она съ презрѣніемъ, и стала смотрѣть въ окошко вагона.

— Ну, а о женщинахъ-то польскихъ что же вы, Даша, разскажете?

Даша обернулась съ веселой улыбкой.

— Прелесть! Я не знаю, гдѣ у васъ царь въ головѣ былъ, Долинскій?

— Когда?

— Когда вы чортъ-знаетъ какъ обрѣшетились.

Долинскій ничего не отвѣчалъ и по лицу его пробѣжала тучка. Даша поняла, что она тронула больную рану Долинскаго. Она тронула его пальчикомъ по губамъ и сказала:

— У-у. Бука! стыдно дуться! Городничій поѣдетъ и губы отдавитъ.

Долинскій вздохнулъ.

— А знаете же, что я одно только не взлюбила въ полькахъ?—заговаривала Дора.

— Что?—спросилъ въ свою очередь Долинскій, проведя рукою по лбу.

— Отгадайте?

— Богъ васъ знаетъ, Дорушка! — отвѣчалъ Долинскій, все еще не вошедшій въ свою тарелку.

— Ну, отгадайте?

— Да, право, не знаю

Даша нагнулась и, пристально посмотрѣвъ въ глаза Долинскаго, спросила:

— Вы, кажется, все еще дуетесь?

— Нѣтъ, за что̀ же?

— То-то. Видѣли вы, какъ поляки лошадей запрягаютъ?

— Видѣлъ.

— Ну, какъ?

— Въ шоры.

— Нѣтъ, вотъ тутъ на голову—какъ это называется?

Даша приложила ладони къ своимъ вискамъ.

— Наглазники.

— Ну, да, наглазники. Вотъ эти самые наглазники есть у польскихъ женщинъ. По дорогѣ онѣ идутъ хорошо, а въ сторону ничего не видятъ. Или одна крайность, или другая чрезвычайность.

— Какъ это, Дорушка?

— А такъ: или строгость, или ужъ распущенность, есть своеволіе, а между тѣмъ свободы честной нѣтъ.

— А у нашихъ есть?

— Ну, какъ же ровнять! — отвѣчала, качая головкой, Дора.

— Способнѣе, полагаете, наши къ честной свободѣ-то?

— Еще бы! какъ ихъ можно и сравнивать въ этомъ отношеніи! У нашихъ, дѣйствительно, смѣлость; наши женщины—хорошія женщины; онѣ, дѣйствительно, хотятъ быть честно свободными.

— Да много ли ихъ?

— Разумѣется, немного пока; а погодите, я увѣрена, что съ нашими женщинами будетъ жить легче, чѣмъ со всякими другими. Вѣдь неплохо и теперь живется съ ними?— добавила она, улыбаясь.

— Хорошо, Дорушка, отвѣчалъ спокойно Долинскій.

— А что́, кого вспомнили?

Долинскій улыбнулся и отвѣчалъ:

— Какая вы наблюдательная, Дора!

— А вы это только теперь замѣтили?

— Только теперь.

— Ну, да! вѣдь я недаромъ говорила, что въ два года вы меня хорошенько не разсмотрѣли!

Даша помолчала, вздохнула и проговорила:

— Что-то она теперь подѣлываетъ?

На другой день, по пріѣздѣ въ Ниццу, Долинскій оставилъ Дашу въ гостинницѣ, а самъ до изнеможенія бѣгалъ, отыскивая квартиру. Задача была немалая. Даша хотѣла жить какъ можно дальше отъ людныхъ улицъ и какъ можно ближе къ морю. Она хотѣла имѣть комнату въ нижнемъ этажѣ, съ окнами въ садъ, невысоко и недорого.

Послѣ долгихъ поисковъ, наконецъ, нашлась такая квартира у старой француженки, m-me Бюжаръ. Это были три комнатки въ маленькомъ флигелькѣ, съ окнами, выходящими въ уединенный садикъ. M-me Бюжаръ, старушка съ очень добродушнымъ лицомъ, взялась приносить постояльцамъ обѣдъ и два раза въ день навѣщать ихъ и исполнять все, что будетъ нужно для больной русской синьоры. Сама старушка, вмѣстѣ съ двумя желтенькими курочками и чернымъ голландскимъ пѣтухомъ, жила въ крошечной комнаткѣ въ другомъ флигелькѣ, выходившемъ въ тотъ же садикъ. Квартира очень понравилась Дашѣ, и вечеромъ того же дня они въ нее переѣхали. Даша заняла большую комнату съ двумя большими окнами, а Долинскій помѣстился въ маленькомъ кабинетикѣ. Кромѣ того, у нихъ было нѣчто въ родѣ зальца, раздѣлявшаго собою ихъ комнаты. На другой день Долинскій пригласилъ лучшаго доктора, который осмотрѣлъ больную и съ покойнымъ видомъ объявилъ, что она вовсе не въ такомъ положеніи, какъ имъ кажется. Сдѣлавъ необходимыя гигіеническія наставленія Дорѣ, докторъ уѣхалъ, обѣщавъ навѣщать ее черезъ два дня въ третій. M-me Бюжаръ оказалась драгоцѣннымъ существомъ. Она услуживала синьорѣ Дорѣ съ искреннимъ радушіемъ и со всегдашней французской веселостью. Впрочемъ, Даша и мало требовала услугъ. Утромъ она открывала окошечко и кричала: — m-me Бюжаръ! Изъ другого

окна ей весело откликались словомъ:—Signora Dorra! и старуха, переваливаясь, бѣжала и помогала ей сдѣлать что̀ нужно. Утромъ старуха убирала ихъ комнаты да приносила обѣдъ. Больше Долинскій и Даша ничего не требовали, и старуха очень полюбила своихъ тихихъ и непривередливыхъ жильцовъ. Жизнь началась очень пріятная. Долинскій отдыхалъ послѣ срочной работы и трудился только тогда, когда ему хотѣлось, а Даша поправлялась не по днямъ, а по часамъ, и опять стала дѣлаться тою же обворожительной, розовой ундиной, какою она была до своей несчастной болѣзни. Только алыя пятна все еще не сходили съ ея нѣжныхъ щочекъ. Днемъ Долинскій читалъ Дашѣ вслухъ или работалъ. Онъ написалъ другую повѣсть и совсѣмъ приготовлялъ ее къ отсылкѣ въ Россію. Писанная на свободѣ повѣсть была очень удачна. Даша хорошо знала эту повѣсть. Она знала, что авторъ часто говоритъ въ ней о самомъ себѣ и о людяхъ, помявшихъ его въ своихъ перчаткахъ. Она заставляла Долинскаго по нѣсколько разъ повторять ей нѣкоторыя мѣста и часто надъ многими крѣпко и долго задумывалась.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

На устахъ и въ сердцѣ.

Въ десятый разъ они перечитывали знакомую рукопись и въ десятый разъ Даша заставляла его повторять знакомыя мѣста. Наступалъ вечеръ. Дорушка взяла изъ рукъ Долинскаго тетрадь, долго читала сама глазами и, задумчиво глядя на бумагу, начала что-то чертить перомъ на маржѣ.

— Однако, позвольте, Дарья Михайловна, что же это вы... Вамъ тутъ рисовать вовсе не полагается.

Даша, молча, замарала все начерченное ея перомъ, отбросила съ недовольной гримаской рукопись, встала, надѣла на себя широкополую соломенную шляпу и, подавая руку Долинскому, нѣсколько сурово сказала:

— Пойдемте гулять.

Долинскій взялъ фуражку и они отправились къ обыкновенному пункту своихъ вечернихъ прогулокъ. Во все время дороги они оба молчали и, дойдя до холмика, съ котораго всегда любовались моремъ, оба, молча, присѣли на зеленую травку. Видъ отсюда былъ самый очаровательный и спокойный. Далеко-далеко открывалась предъ ними безбрежная водная равнина и вечернее солнце тонуло въ краснѣющей ряби тихаго моря. Необыкновенно сладко дразнить здѣсь свою душу мечтами и сердцу давать живые вопросы. Даша устала. Долинскій сбросилъ верхнее пальто и кинулъ его на траву. Даша на немъ прилегла и какъ бы уснула. Молчанью и думамъ ничто не мѣшало.

— Странно какъ это! — сказала Даша, не открывая глазъ.

— Что́ такое?—какъ бы оторвавшись отъ другой думы, спросилъ Долинскій.

— Такъ, Богъ знаетъ, что̀ приходитъ въ голову. Вотъ, напримѣръ... сколько чепухи на свѣтѣ?

— Не мало, Дарья Михайловна; даже очень довольно.

— Я это и безъ васъ знаю,—отвѣчала Дора и опять замолчала.

— Не понимаю я, — начала она черезъ нѣсколько минутъ:—какъ это дѣлается все у людей.... все какъ-то шиворотъ-на-выворотъ и таранты-на-вонъ. Клянутъ и презираютъ за то, что̀ только уважать можно, а уважаютъ за то, за что̀ отвернуться хочется отъ человѣка. Трусы!

— Отчего же не что-нибудь другое, а трусы?

— Такъ, потому что это все отъ трусости. En gros все ихъ пугаетъ, а en détail—все ничего. Дастъ человѣкъ золотую монету за удовольствіе, котораго ему хочется — его назовутъ мотомъ; а размѣняетъ ее на пятіалтынные и пятіалтынниками разбросаетъ — только погаже какъ-нибудь—ничего. Какъ это у нихъ тамъ все въ головахъ? Все кверху ногами.

— Подите же съ ними!—тихо отвѣчалъ Долинскій.

— Вѣдь это ужасное несчастіе.

— Да, это *не счастіе*!

— Но какъ же это дѣлается? Я, напримѣръ, совсѣмъ не понимаю, какъ это размѣняться, стать мелче, чѣмъ я есть?

— Очень просто, Дорушка. Употребляя вашу метафору, одинъ человѣкъ самъ боится раскутиться на весь капиталъ, а другой и предлагалъ свою цѣлую золотую монету да взамѣнъ ея получилъ кое-что изъ мелочи, вотъ и пошла въ обоихъ случаяхъ въ оборотѣ одна мелочь, на которую ужъ нельзя вымѣнять снова цѣлой монеты; недостаетъ ужъ нѣсколькихъ пятіалтынныхъ.

— Какія у людей маленькія душонки! — сказала Даша съ презрительной гримаской.

— У кого же онѣ больше?

— Да *у никого*. Это-то и скверно, что ни у кого.

Даша задумалась и, помолчавъ, спросила:

— А вы, Несторъ Игнатьичъ, много набрали мелочишки въ сдачу?

— Есть бездѣлица.

— А зачѣмъ?

— Богъ его знаетъ, зачѣмъ? Да и тутъ ваша милая метафора не годится. Не руками берутъ эту, какъ мы сказали, сдачу; а сама она какъ-то послѣ оказывается. Есть поговорка, что всего сердца сразу не излюбишь.

— Ну, да.

Даша подумала и тихо проговорила:

— Я это понимаю. Мнѣ вотъ только непонятны эти люди маленькіе съ своими програмками. Счастья они не даютъ никому, а со всѣхъ все взыскиваютъ.

— Кому-жъ они понятны?

— Какъ вы думаете: вѣдь я увѣрена, что это болѣе все глупая сентиментальность дѣлаетъ?

— И сентиментальность, пожалуй, а больше всего предразсудки, разумъ съ дѣтства изуродованный, страхи пу-

стые, безволье, привычка цѣнить пустыя удобства, да и многое, многое другое.

— Да, разумъ съ дѣтства изуродованный—это особенное несчастіе.

— Огромное и почти всегда вѣчное.

— Вы какъ же думаете... Я знаю, что вы поступать не мастеръ, но я хочу знать, какъ вы думаете: нужно идти противъ *всѣхъ* предразсудовъ, противъ *всего*, что̀ несогласно съ моимъ разумомъ и съ моими понятіями о жизни?

— На это, Дорушка, я полагаю, силъ человѣческихъ не достанетъ.

— Но какъ же быть?

— Самому только не подчиняться предразсудкамъ, не обращать вниманія на людей и ихъ узкую мораль, стоять смѣло за свою свободу, потому что внѣ свободы нѣтъ счастья.

— А вамъ скажутъ, что жизнь дана не для счастья, а для чего-то другого, для чего-то далекаго, неосязаемаго.

— Что-жъ вамъ до этого? Пусть говорятъ. На погостѣ живучи, всѣхъ не переплачешь, на свѣтѣ маясь, всѣхъ не переслушаешь. Въ томъ и вся штука, чтобы не спутаться; чтобы, какъ говорятъ, съ петлей не соскочить, не потерять своей свободы, не просмотрѣть счастья, гдѣ оно есть, и не искать его тамъ, гдѣ оно кому-то представляется.

— Да-съ, да: въ этомъ штука, въ э̀томъ штука!

— Мнѣ такъ кажется, а впрочемъ, можетъ-быть, я и неправъ.

— Нѣтъ, я чувствую, что это правда. Скажите, пожалуйста, вамъ все это не мѣшаетъ жить на свѣтѣ?

— Что̀ такое?.. Путаница то эта?

— Путаница-то.

— Ну, какъ вамъ сказать?

— Да такъ: чувствуете вы, напримѣръ, себя свободнымъ отъ всѣхъ предразсудковъ?

— Теперь я чувствую себя очень свободнымъ.

— А прежде?

— Да и прежде. Впрочемъ, я, по какимъ-то счастливымъ случайностямъ, давно пріучилъ себя смотрѣть на многое по-своему; но только именно все мнѣ какъ-то очень неспокойно было, жилось очень дурно.

— Вы очень много любили людей?

— Да, меня учили любить людей, и я, точно, очень любилъ ихъ.

— А теперь?

— Вы знаете, что я зла никому не дѣлаю или, по крайней мѣрѣ, стараюсь его не дѣлать.

— Только ужъ не привязываетесь къ людямъ?

— Я люблю человѣчество.

— Какъ мнѣ надоѣла эта петербургская фраза! Такъ говорятъ тѣ, которые ровно никого и ничего не любятъ; а вы не такой человѣкъ. Вы мнѣ скажите, какая разница въ вашихъ теперешнихъ чувствахъ къ людямъ съ тѣми чувствами, которыя жили въ васъ прежде?

— Близкихъ людей у меня нѣтъ.

— Совсѣмъ?

— Кромѣ Анны и васъ.

— А прежнія привязанности?

— Растоптали ихъ, теперь онѣ засыпались.

— А мать?

— Я ее очень люблю, но вѣдь ея нѣтъ на свѣтѣ.

— Но вы ее все-таки любите?

— Очень. Моя мать была женщина святая. Такихъ женщинъ мало на свѣтѣ.

— Разскажите мнѣ, голубчикъ Несторъ Игнатьичъ, что нибудь про вашу матушку, попросила Дора, быстро приподнявшись на локоть и ласково смотря въ глаза Долинскому.

— Долго вамъ разсказывать, Дорушка.

— Нѣтъ, разскажите.

Долинскій хотѣлъ очертить свою мать и свое дѣтское житье въ Кіевскомъ Печерскѣ въ двухъ словахъ, но увле-

каясь, началъ описывать самыя мелочныя подробности этого житья съ такою полнотою и ясностью, что передъ Дорою проходила вся его жизнь; ей казалось, что, лежа здѣсь, въ Ниццѣ, на берегу моря, она слышитъ изъ-за синихъ ниццскихъ скалъ мелодическій гулъ колоколовъ Печерской лавры и видитъ живую Ульяну Петровну, у которой никто не можетъ ничего украсть, потому что всякій, не крадучи, можетъ взять у нея все, что̀ ему нужно.

— Какой вы художникъ! Какъ хорошо вы все это разсказываете!—перебивала она не разъ Долинскаго.

И выслушавъ, какъ Долинскій, вдохновившійся воспоминаніемъ о своей матери, говорилъ въ заключеніе:

— У насъ въ домѣ не знали что̀ такое попрёкъ, или ссора; намъ не твердили, что отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ, а учили, что всякое неправое стяжаніе — прахъ; намъ никогда не говорили: «наживай да сберегай», а говорили: «отдавай, помогай, не ропщи и вѣруй, что сколько тебѣ чего нужно, столько для тебя есть на свѣтѣ».

Дорушка воскликнула:

— Какое прелестное, какое завидное дѣтство! Вы не будете ревновать меня, если я стану любить вашу мать такъ же, какъ вы?

Долинскій, молча, пожалъ руку Доры.

— Вы знаете, продолжалъ онъ, увлекаясь: — люди восторгаются «Галубомъ»; въ немъ видѣли идеалъ; по поводу его написаны лучшія статьи о нравственно-развитомъ человѣкѣ, а Тазитъ только не столкнулъ врага, убійцу брата! Сердце не позволило. А моя мать? Эта святая душа, которая не только не могла столкнуть врага, но у которой *не могло быть врага*, потому что она впередъ своей христіанской индульгенціей простила все людямъ, она не вдохновитъ никого, и могила ея, я думаю, до сихъ поръ разрыта и сравнена, и сынъ ея вспоминаетъ о ней разъ въ цѣлые годы; даже черненькое поминанье, въ которое она записывала всѣхъ и въ которое я когда-то записывалъ

моею дѣтскою рукою ея имя—и оно гдѣ-то пропало тамъ, въ Москвѣ, и еще, можетъ-быть, не разъ служило предметомъ шутокъ и насмѣшекъ... Господи, какія у насъ бываютъ женщины! Сколько добра и правды! Какое высокое пониманіе истины сердцемъ! Моя мать, напримѣръ, едва умѣвшая писать имена въ своемъ поминаньѣ, и этотъ Шпандорчукъ или Вырвичъ...

— Зачѣмъ вы ихъ троихъ вспоминаете вмѣстѣ? — произнесла чуть слышно, отворачиваясь въ сторону, Дора. Слезы обильнымъ ручьемъ текли у нея по обѣимъ щекамъ.

— А я, ея дитя, вскормленное ея грудью, выученное ею чтить добро, любить, молиться за враговъ — что я такое?.. Поэзію, искусства, жизнь какъ будто понимаю, а понимаю ли себя? Зачѣмъ нѣтъ мира въ костяхъ моихъ? Что я, наконецъ, такое? Вырвичъ и Шпандорчукъ по всему лучше меня.

— Вы лучше ихъ, произнесла скороговоркою, не оборачиваясь, Дора.

— Они могутъ быть полезнѣе меня.

— Вы всегда будете полезнѣе ихъ, опять такъ же спѣшно оторвала Дора.

— Вы знаете... вотъ мы вѣдь друзья, а я, впрочемъ, никогда и вамъ не открывалъ такъ мою душу. Вы думаете, что я только слабъ волею... нѣтъ! Во мнѣ еще сидитъ какой-то червякъ! Мнѣ все скучно; я все какъ будто не на своемъ мѣстѣ; все мнѣ кажется... что я сдѣлаю что-то дурное, преступное, чего никогда-никогда нельзя будетъ поправить.

— Что-жъ это такое?—спросила, медленно поворачиваясь къ нему лицомъ, Дора.

— Не знаю. Я все боюсь чего-то. Я просто чувствую, что у меня впереди есть какое-то ужасное несчастіе. Ахъ, мнѣ не надо жить съ людьми! Мнѣ не надо встрѣчаться съ ними! Это все, что какъ-нибудь улыбается мнѣ, этого всего не будетъ. Я не умѣю жить. Все это, что есть въ мірѣ хорошаго, это все не для меня.

— Васъ любятъ.

— И изъ этого ничего не будетъ, отвѣчалъ, покачавъ головою, Долинскій.—Я вѣрю въ мои предчувствія.

— А они говорятъ?

— Что что-то близится страшное; что что-то такое мое до меня близится; что этотъ врагъ мой...

— Близокъ?

— Да. Мать моя предчувствовала свою смерть, я предчувствую свою погибель.

— Не говорите этого!—сказала строго Дора.

— Пусть только бы скорѣе, истома хуже смерти.

— Не говорите этого! Слышите! Не говорите этого при мнѣ!—сердито крикнула, вся измѣнившись въ лицѣ, Дора, и, окинувъ Долинскаго грознымъ, величественнымъ взглядомъ, прошептала: *пророкъ!*

Ни одинъ трагикъ въ мірѣ не могъ бы передать этого страшнаго, разлетѣвшагося надъ моремъ шопота Доры. Она истинно была и грозна, и величественна въ эту минуту.

— За то, началъ Долинскій, когда Дора, пройдясь нѣсколько разъ взадъ и впередъ по берегу, снова сѣла на свое мѣсто: — кончается мое незабвенное дѣтство и съ нимъ кончается все хорошее.

— Да... ну, продолжайте: какова была, напримѣръ, любовь вашей жены вначалѣ хотя? — разспрашивала, силясь успокоиться, Дора.

— А кто ее знаетъ, что это была за любовь? Я только одно знаю, что это было что-то небезкорыстное.

— Не понимаю.

— Ну, и слава Богу.

— Нѣтъ, вы разскажите это.

— Говорю вамъ, что безкорыстья не было въ этой любви. Не знаете, какъ любятъ какъ арендную статью?

— Все *по праву* требуютъ, а не по сердцу.

— Ну, вотъ вы и понимаете!

— А братъ вашъ?

— Я его очень любилъ, но мы какъ-то отвыкли другъ отъ друга.

— Зачѣмъ же? зачѣмъ же отвыкать?

— Разъѣхались, разбросало насъ по разнымъ мѣстамъ.

— Какъ будто мѣста могутъ разорвать любовь?

— Поддержать ее не умѣли.

— Это дурно.

— Да, хорошаго ничего нѣтъ

— Кто же это: вы ему перестали писать, или онъ вамъ?

— Нѣтъ, онъ.

— А вы ему писали?

— Писалъ долго, а потомъ и я пересталъ.

Дорушка задумалась.

— Ну, а сестра?—спросила она послѣ короткой паузы.

— Сестра моя?.. Богъ ее знаетъ! говорятъ, такъ себѣ... *барыня*...

— По «правиламъ» живетъ, смѣясь сказала Даша.

— По «правиламъ», смѣясь же отвѣчалъ Долинскій.

— Эгоистка она?

— Нѣтъ.

— А что же?

— Я вамъ сказалъ: барыня.

— Добрая?

— Такъ... не злая.

— Не злая и не добрая?

— Не злая и не добрая.

— Господи! въ самомъ дѣлѣ, съ какою вы обстановкой жили послѣ матери! Страшно просто.

— Теперь все это прошло, Дорушка. Теперь я живу съ хорошими людьми. Вотъ, Анна Михайловна — хорошій человѣкъ; вы—золотой человѣкъ.

— Анна—хорошій, а я—золотой! что же лучше: золотой, или хорошій?

— Обѣ вы хорошіе человѣки.

— Значитъ, «обѣ лучше». А которую вы больше любите?

— Васъ, конечно.

— Ну—то-то.

Они разсмѣялись и, наговорившись до-сыта, пошли домой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Любовь до слезъ горючихъ.

Тихое однообразіе ниццской жизни Доры и ея спутника продолжалось ненарушаемое ничѣмъ ни съ одной стороны, но при всемъ этомъ оно не было тѣмъ утомительнымъ semper idem, при которомъ всякое чувство и всякое душевное настроеніе способно переходить въ скуку. Одинъ недавно умершій русскій писатель, владѣвшій умомъ обаятельной глубины и свѣтлости, человѣкъ, увлекавшійся безмѣрно и соединявшій въ себѣ крайнюю необузданность страстей съ голубиною кротостью духа, восторженно утверждалъ, что для людей живыхъ, для людей *съ искрой Божіей* нѣтъ semper idem, и что такіе, живые люди, оставленные самимъ себѣ, никогда другъ для друга не исчерпываются и не теряютъ великаго жизненнаго интереса; остаются другъ для друга вѣчно, такъ сказать, недочитанною любопытною книгою. Отъ слова до слова я помнилъ всегда оригинальныя, полныя самаго горячаго поэтическаго вдохновенія рѣчи этого человѣка, хлеставшія бурными потоками въ спорѣ о всѣмъ извѣстной старенькой книжкѣ Saint Pierre «Paul et Virginie», и теперь, когда исторія событій доводитъ меня до этой главы романа, въ ушахъ моихъ снова звучатъ эти пылкія рѣчи смѣлаго адвоката за право духа и человѣкъ снова начинаетъ мнѣ представляться недочитанною книгою.

Дорушка и слышать не хотѣла ни о какихъ знакомствахъ и ни о какихъ разнообразіяхъ. Когда Долинскій случайно познакомился гдѣ-то въ café съ братомъ Вѣры Александровны Онучиной, Кирилломъ, и когда Кириллъ Александровичъ сдѣлалъ Долинскому визитъ и потомъ еще навѣстилъ его два или три раза, Дорушка не то что дулась, не то чтобы тяготилась этимъ знакомствомъ, но точно какъ

будто боялась его, тревожилась, находила себя въ какомъ-то неловкомъ, непрямомъ положеніи. А Кириллъ Онучинъ не былъ совсѣмъ же непріятный аристократъ, ни демократическій фатъ, ни левъ, ни франтъ дурного тона. Это былъ человѣкъ самый скромный и вообще типъ у насъ довольно рѣдкій. По происхожденію, состоянію, а равно по тонкости и бѣлизнѣ кожи, сквозь которую видно было, какъ благородная кровь переливается въ тоненькихъ, голубыхъ жилкахъ его висковъ, Кириллъ Онучинъ былъ аристократъ, но ни одного аристократическаго стремленія, ни одного исключительнаго порока и недостатка, свойственнаго большинству нашихъ русскихъ патриціевъ, въ Кириллѣ Онучинѣ не было и запаха, и тѣни. Въ собственной семьѣ онъ былъ очень милымъ и любимымъ лицомъ, но лицомъ-таки ровно ничего незначущимъ; въ обществѣ, съ которымъ водилась его мать и сестра, онъ значилъ еще менѣе.

— Кириллъ Онучинъ?.. Да какъ бы это вамъ сказать, что такое Кириллъ Онучинъ?—отвѣчалъ вамъ, разводя врозь руками всякій, у кого бы вы ни вздумали освѣдомиться объ этомъ экземплярѣ.

Въ существѣ же длинный и кротчайшій Кириллъ Александровичъ былъ страстный ученый, любившій науку для науки, а жизнь свою какъ средство знать и учиться. Онъ почти всегда или читалъ, или писалъ, или что-нибудь препарировалъ. Въ жизни онъ былъ самый милый невѣжда, но въ ботаникѣ, химіи и сравнительной анатоміи—знатокъ великій. Скромнѣйшимъ образомъ возился онъ съ листочками да корешочками, и никому рѣшительно не была извѣстна мѣра его обширныхъ знаній естественныхъ наукъ; но когда Орсини бросилъ свои бомбы подъ карету Наполеона III, а во всѣхъ кружкахъ затолковали объ этихъ ужасныхъ бомбахъ и недоумѣвали, что это за составъ былъ въ этихъ бомбахъ, Кириллъ Александровичъ одинъ разъ вызвалъ потихоньку въ садъ свою сестру, сталъ съ ней подъ окномъ каменнаго грота, показалъ крошечную, черненькую грушку, величиною въ маленькій женскій напер-

стокъ и, загнувъ руку, бросилъ этотъ шарикъ на полъ грота. Страшный взрывъ потрясъ не только всѣ стѣны грота, но и земляную, заросшую дерномъ насыпь, которая покрывала его старинные своды.

— Вотъ видишь, только это въ крошечномъ размѣрѣ, а то, вѣрно, въ большомъ,—разсказывалъ Кириллъ Александровичъ перепуганной его опытомъ сестрѣ, и никому болѣе не говорилъ объ этомъ ни одного слова.

Этотъ смирный человѣкъ рѣшительно не могъ ничѣмъ произвесть въ Дорѣ дурное впечатлѣніе, но она, очевидно, просто-на-просто не хотѣла никакихъ знакомствъ. Ей просто не хотѣлось имѣть передъ глазами и на слуху ничего способнаго каждую минуту напомнить о Россіи, съ воспоминаніемъ о которой связывалось кое-что другое, смутное, но тяжелое, о которомъ лучше всего не хотѣлось думать.

Не давая ярко проявляться своему неудовольствію за это новое знакомство съ Онучиными, Дора выбила этотъ клинъ другимъ клиномъ: замѣнила знакомство Онучиныхъ знакомствомъ съ дочерью молочной сестры madame Бюжаръ, прехорошенькою Жервезой. Эта Жервеза была очень милая женщина съ добрымъ, живымъ французскимъ лицомъ, покрытымъ постоянно сильнымъ загаромъ, придававшимъ живымъ и тонкимъ чертамъ еще бо̀льшую свѣжесть. Ей было около двадцати-двухъ лѣтъ, но она уже имѣла пятилѣтняго сына, котораго звали Пьеро, и второго, грудного, Жона. Мужъ Жервезы, прехорошенькій парискъ, щеголявшій всегда чистенькою рубашкой, яркимъ галстухомъ и кокетливой курткой, былъ огородникъ. У нихъ былъ свой очень маленькій крестьянскій домикъ, въ трехъ или четырехъ верстахъ отъ города. Домикъ этотъ стоялъ на краю одной узенькой деревенской дорожки при зеленой долинѣ, съ которой несло вѣчной свѣжестью. Жервеза и Генрихъ (ея мужъ) были собственники. Собственность ихъ состояла изъ этого домика, съ крошечнымъ дворикомъ, крошечнымъ огородцемъ грядъ въ десять или пятнадцать и огороженнымъ лужкомъ съ русскую тридцат-

ную десятину. Это было наслѣдственное богатство сиротки Жервезы, которое она принесла съ собою своему молоденькому мужу. Потомъ у нихъ на этомъ лужкѣ гуляли четыре очень хорошія коровы, на дворѣ стояла маленькая желтенькая телѣжка съ красными колесами и небольшая, лапоухая мышастая лошадка, болѣе похожая на осла, чѣмъ на лошадь. Если прибавимъ къ этому еще десятка полтора куръ, то получимъ совершенно полное и обстоятельное понятіе о богатствѣ *молочной красавицы*, какъ называли Жервезу горожане, которымъ она аккуратно каждое утро привозила на своей мышастой лошаденкѣ молоко отъ своихъ коровъ и яйцы отъ своихъ куръ. Мужъ Жервезы бывалъ цѣлый день дома только въ воскресенье. Въ простые дни онъ обыкновенно вставалъ съ зарею, запрягалъ женѣ лошадь и съ зеленою шерстяною сумою за плечами уходилъ до вечера работать на чужихъ, большихъ огородахъ. Жервеза въ эту же пору усаживалась между кувшинами и корзинами въ свою крошечную телѣжку и катила на своей лапоушкѣ въ нѣжащійся еще во снѣ городъ. Старшій сынъ ея обыкновенно оставался дома съ мужниной сестрою, десятилѣтнею дѣвочкой Аделиной, а младшаго она всегда брала съ собою, и ребенокъ или сладко спалъ, убаюкиваемый тихою тряскою телѣжки, или при всей красотѣ природы съ аппетитомъ сосалъ материно молоко, хлопалъ ее полненькой рученкой по смуглой груди и улыбался, зазирая изъ-подъ косынки на черные глаза своей кормилицы.

Эта Жервеза каждый день являлась къ madame Бюжаръ, и, оставивъ у нея ребенка, отправлялась развозить свои продукты, а потомъ заѣзжала къ ней снова, выпивала стаканъ кофе, брала ребенка и съ купленнымъ для супу кускомъ мяса спѣшила домой. Дорушка нѣсколько разъ видѣла у madame Бюжаръ Жервезу, и *молочная красавица* ей небыкновенно нравилась.

— Это Маріи, говорила она Долинскому: — а не мы, Марѳы, кажется, только и стоющія одного упрека... Можетъ быть, только мы и выслужимъ за свое марѳунство.

— Опять новое слово, замѣтилъ весело Долинскій: — то разъ было *комонничать*, а теперь *марѳунствовать*.

— Всякое слово хорошо, голубчикъ мой, Несторъ Игнатьичъ, если оно выражаетъ то, что̀ хочется имъ выразить. Академія наукъ не знаетъ всѣхъ словъ, которыя нужны, отвѣчала ласково Дора.

Быстро и сильно увлекаясь своими симпатіями, Дора совсѣмъ полюбила Жервезу, вспоминала о ней очень часто и говорила, что она отдыхаетъ съ нею духомъ и не можетъ на нее налюбоваться.

Въ то время, когда съ Долинскимъ познакомился Кириллъ Онучинъ, у Жервезы случилось горе: мужъ ея, впервые послѣ шести лѣтъ, уѣхалъ на какую-то очень выгодную работу на два, или на три мѣсяца, и Жервеза очень плакала и грустила.

— Онъ у меня такой недурненькій, такой ласковый, а я одна остаюсь, наивно жаловалась она теткѣ Бюжаръ и Дорушкѣ.

— Ай, ай, ай, ай!—говорила ей, качая сѣдою головою, старушка Бюжаръ.

— Ну, да! хорошо вамъ разсуждать-то, отвѣчала печально, обтирая слезы, Жервеза.

Горе этой женщины было, въ самомъ дѣлѣ, такое граціозное, поэтическое и милое, что и жаль ее было, и все-таки нельзя было не любоваться самымъ этимъ горемъ. Дорушка перемѣнила мѣсто прогулокъ и стала навѣщать Жервезу. Когда они пришли къ «молочной красавицѣ» въ первый разъ, Жервеза ужинала съ сыномъ и мужниной сестренкой. Она очень обрадовалась Долинскому и Дорѣ; краснѣла, не знала какъ ихъ посадить и чѣмъ угостить.

— Милочка, душечка Жервеза, и ничего больше, успокоивала ее Дора.—Совершенно французская идилія изъ повѣсти или романа,—говорила она, выходя съ Долинскимъ за калитку дворика: — благородная крестьянка, коровки, дѣти, куры, молоко и лужайка. Какъ странно! Какъ глупо и пошло мнѣ это представлялось въ описаніяхъ, и какъ это

хорошо, какъ спокойно ото всего этого на самомъ дѣлѣ. Жервеза, возьмите, милая, меня жить къ себѣ.

— Oh, mademoiselle какъ это можно! Мы не умѣемъ служить вамъ; у насъ... тѣсно, безпокойно, увѣряла «молочная красавица».

— А вотъ, mademoiselle Дора думаетъ, что у васъ-то именно очень спокойно.

— Oh, non, monsieur! Коровы, куры утромъ кричатъ, дѣти плачутъ; мой Генрихъ тоже встаетъ такъ рано и начинаетъ рубить дрова, да нарочно будитъ меня своими пѣснями.

— Но теперь вашъ Генрихъ не рубитъ вамъ дровъ и не поетъ своихъ пѣсенъ?

— Да, теперь онъ, бѣдный, не поетъ тамъ своихъ пѣсенокъ.

— А, можетъ быть, и поетъ, пошутила Дора.

— Поетъ! Ахъ, нѣтъ, не поетъ онъ. Вы вѣдь не знаете, mademoiselle, какъ онъ меня любитъ: онъ такой недурненькій и всегда хочетъ цѣловать меня... Я просто, когда только вздумаю, кто ему тамъ чиститъ его бѣлье, кто ему починитъ, если разорвется его платье, и мнѣ такъ хочется плакать, мнѣ дѣлается такъ грустно... когда я только подумаю, что...

— Кто нибудь другой тамъ вычиститъ его бѣлье и его поцѣлуетъ?

— Mademoiselle! зачѣмъ вы мнѣ это говорите?—произнесла, блѣднѣя, «молочная красавица», и кружка заходила въ ея дрожащей рукѣ.—Вы знаете что нибудь, mademoiselle?—спросила она, дѣлая шагъ къ Дорѣ и быстро вперяя въ нее полные слезъ и страха глаза.

— Что вы! что вы, бѣдная Жервеза! Успокойтесь, другъ мой, я пошутила, говорила встревоженная Дора, вставая и цѣлуя крестьянку.

— Честное слово, что вы пошутили?

— Даю вамъ честное слово, что я пошутила и что я,

напротивъ, увѣрена, что Генрихъ любитъ васъ и ни за что вамъ не измѣнитъ.

— Увѣренъ въ этомъ, mademoiselle, никто не можетъ быть, но я лучше хочу сомнѣваться, но... вы никогда, mademoiselle, такъ не шутите. Вы знаете, я завтра оставлю дѣтей и хозяйство, и пойду сейчасъ, возьму его назадъ оттуда, если я что нибудь узнаю.

— Однако, какъ плохо шутить-то!—проговорила по-русски Дора, когда Жервеза успокоилась и начала высказывать свои взгляды.

— Вѣдь я ему вѣрна, mademoiselle Дора, я ему совсѣмъ вѣрна; я противъ него даже помысломъ невиновата, и я люблю его, потому что онъ у меня такой недурненькій и ласковый, и потомъ вѣдь мы же съ нимъ, mademoiselle, вѣнчались; онъ не долженъ сдѣлать противъ меня ничего дурного. Прекрасно еще было бы! Нѣтъ, если я тебя люблю, такъ ты это знай и помни, и помни, и помни, — говорила она, развеселясь и цѣлуя за каждымъ словомъ своего ребенка. Вы вѣдь знаете, мы шесть лѣтъ женаты, и мы никогда, рѣшительно никогда не ссорились съ моимъ Генрихомъ.

— Это рѣдкое счастье, Жервеза.

— Ахъ правда, mademoiselle, что рѣдкое! Мы оба съ Генрихомъ такіе... какъ бы вамъ сказать? Мы оба всегда умно ведемъ себя: мы цѣлый день работаемъ, а ужъ за то, когда онъ приходитъ домой, mademoiselle, мы совсѣмъ съумасшедшіе; мы все цѣлуемся, все цѣлуемся.

Дора и Долинскій оба весело разсмѣялись.

— Ахъ, pardon, monsieur, что я это при васъ разсказываю!

— Пожалуйста, говорите, Жервеза; это такъ рѣдко удается слышать про счастье.

— Да, это правда, а мы съ Генрихомъ совсѣмъ съумасшедшіе: какъ я ему только отворяю вечеромъ дверь, я схожу съ ума и онъ тоже.

— А что вы думаете, Жервеза, объ этомъ господинѣ?

Недурненькій онъ или нѣтъ?—говорила Дора, прощаясь и указывая Жервезѣ на Долинскаго.

«Молочная красавица» посмотрѣла на Нестора Игнатьича, который былъ безъ сравненія лучше ея Генриха, и улыбнулась.

— Что же?—переспросила ее Дора.

— Генрихъ лучше всего міра! — отвѣчала ей на ухо Жервеза.—Онъ такъ меня цѣлуетъ, — шептала она скороговоркой: — что у меня голова такъ кружится, кружится-кружится, и я ничего не помню послѣ.

На первой полуверстѣ отъ дома молочной красавицы, Дорушка остановилась разъ шесть и принималась весело хохотать, вспоминая наивную откровенность своей Маріи.

— Да-съ, однако, шутить-то съ вашей Маріей не очень легко: за ухо приведетъ и скажетъ: нѣтъ, *ты мой мужъ;* помни это, голубчикъ!—говорилъ Долинскій.

— Ну, да, да, это очень наивно; но вѣдь она на это право имѣетъ: видите, она за то вся живетъ для мужа и въ мужѣ.

— Вы это оправдываете?

— Извиняю. Еслибы Жервеза была не такая женщина, какая она есть; еслибы она любила въ мужѣ самое себя, а не его, тогда это, разумѣется, было бы неизвинительно; но когда женщина любитъ истинно, тогда ей должно прощать, что она смотритъ на любимаго человѣка какъ на свою собственность, и не хочетъ потерять его.

— А если она ревнуетъ, лежа какъ собака на сѣнѣ?

— Тогда она собака на сѣнѣ.

— Видите, начала, подходя къ городу, Дора:—почему я вотъ и назвала такихъ женщинъ Маріями, а насъ—многорѣчивыми Марѳами. Какъ это все у нея просто и все выходитъ изъ одного *люблю.*—Почему *люблю?*—Потому, что онъ такой недурненькій и ласковый. А совсѣмъ нѣтъ! Она любитъ потому, что *любитъ его*, а не себя, и потомъ все ужъ это у нея такъ прямо идетъ — и преданность ему, и забота о немъ, и боязнь за него, а у насъ пойдетъ мар-

ѳунство: какъ? да что? да, можетъ быть, иначе нужно? И пойдутъ эти надутыя лица, супленье, скитанье по угламъ, доказыванье характера, и прощай счастье. Люби просто, такъ все и пойдетъ просто изъ любви, а начнутъ вотъ этакъ пещися и молвить о многомъ — и все пойдетъ какъ ключъ ко дну.

— Правда въ вашихъ словахъ чувствуется великая и, конечно, *внутренняя* правда, а не логическая и, стало быть, самая вѣрная; но вѣдь вотъ какая тутъ исторія: думаешь о любви какъ-то такъ хорошо, что какъ ни повстрѣчаешься съ нею, все обыкновенно не узнаешь ее!.. все она бѣднѣе чѣмъ-то. И опять хочется *настоящей любви*, такой, какая мечтается, а настоящая любовь...

— Есть любовь Жервезъ,—подсказала Дора.

— Любовь Жервезъ? Я не корю ее, но почемъ вы знаете, чего здѣсь болѣе — любви, или привязанности и страсти, или убѣжденія, что все это такъ быть должно. Охъ, настоящая любовь—большое дѣло! Она скромна, она молчитъ... Нѣтъ, настоящая любовь... нѣтъ ея, кажется, нигдѣ даже.

Дорушка тихо повернулась лицомъ къ Долинскому.

— Настоящая любовь, сказала она:—вѣрно тамъ, гдѣ нѣтъ насъ?

— Можетъ быть.

— И гдѣ мы не были, пожалуй?

— Да это будетъ одно и то же.

— Ай, ай, ай, на какихъ вещахъ вы даете ловить себя, Долинскій! — протянула Дора и дернула за звонокъ у воротъ своего дома.

— Вы, кажется, вчера вывели изъ нашего разговора какое-то новое заключеніе? — спрашивалъ ее на другой день Несторъ Игнатьичъ.

— Новое!.. никакого, отвѣчала, улыбнувшись, Дора.

Дней черезъ пять Дора снова вздумала идти къ Жервезѣ. Проходя мимо одной лавки, они накупили для дѣтей фруктовъ, конфектъ, лентъ для старшей дѣвочки, кушакъ

для самой молочной красавицы и вышли съ большимъ бумажнымъ конвертомъ за городъ.

Не нужно много трудиться надъ описаніемъ этихъ синерозовыхъ вечеровъ береговыхъ мѣстъ Средиземнаго моря: ни Айвазовскаго кисть, ни самое художественное перо все-таки не передаютъ ихъ вѣрно. Вечеръ былъ божественный, и Дора съ Долинскимъ не замѣтили, какъ дошли до домика молочной красавицы.

Когда Долинскій нагнулся, чтобы сбить угломъ платка пыль, насѣвшую на его лакированный ботинокъ, изъ раствореннаго низенькаго и очень широкаго окна послышалось какое-то очень стройное пѣніе: женскій, довольно слабый контральтъ и дѣтскіе, неровные дисканты.

Дорушка приподняла платье, тихонечко подошла къ окну и остановилась за густымъ кустомъ, по которому сплошною сѣтью ползли синіе усы винограда: Долинскій такъ же тихо послѣдовалъ за Дорою и остановился у ея плеча.

— Тсс! произнесла чуть слышно Дора и, не оборачиваясь къ Долинскому, погрозила ему пальцемъ.

Чистенькая бѣлая комната молочной красавицы была облита нѣжнымъ краснымъ свѣтомъ только что окунувшагося въ море горячаго солнца; старый орѣховый комодъ, закрытый бѣлой салфеткой; молящійся бронзовый купидонъ и грустный ликъ Мадонны, съ сердцемъ, пронженнымъ семью мечами—все смотрѣло необыкновенно тихо, нѣжно и серьезно. Изъ комнаты не слышно было ни звука. Черезъ верхнія вѣтки куста Долинскій увидалъ Жервезу. Молочная красавица въ яркомъ спензерѣ и высокомъ бѣломъ чепцѣ стояла на колѣняхъ. На локтѣ лѣваго рукава ея бѣлой рубашки лежалъ небольшой черненькій шарикъ. Это была головка ея младшаго сына, который тихо сосалъ грудь и на котораго она смотрѣла въ какой-то забывчивости. Рядомъ съ Жервезою, также на колѣняхъ, съ сложенными на груди ручонками, стояла десятилѣтняя сестра жервезинаго мужа, а слѣва опять на колѣняхъ же помѣщался ея старшій

сынъ. Пятилѣтній Пьеро былъ босикомъ, въ синихъ нанковыхъ штанишкахъ и желтоватой нанковой же курточкѣ. Мальчикъ тоже держалъ руки сжавши на груди, но смотрѣлъ въ бокъ на окно, на которомъ сидѣлъ бѣлый котенокъ, прегранiозно раскачивающій лапкою привѣшенное на ниткѣ красное райское яблочко.

Жервеза взяла мальчика за плечо и тихо повернула его лицо къ Мадоннѣ и тотчасъ же запѣла: «Ты, который все видишь, всѣхъ любишь и со всѣми живешь, приди и живи въ нашемъ сердцѣ».

Дѣти пѣли за Жервезой не совсѣмъ согласно. отставали отъ нея и повторяли слова нѣсколько позже, но тѣмъ не менѣе, въ этомъ несмѣломъ трiо была гармонiя удивительная.

«И тѣхъ, которыхъ нѣтъ съ нами, ты также помилуй, и съ ними живи», пѣла Жервеза послѣ первой молитвы.— «Злыхъ и недобрыхъ прости, и всѣхъ научи насъ другъ друга любить, какъ правду любилъ Ты, за насъ на крестѣ умирая».

При концѣ этой молитвы двое старшихъ дѣтей начинали немного тревожиться. Они розняли свои рученки, робко дотрогивались до бѣлыхъ рукавовъ Жервезы и загляды-вали въ ея глаза. Видно было, что они ожидали чего-то, и знали чего ожидаютъ.

«А тѣхъ, которые любятъ другъ друга», запѣла молочная красавица голосомъ, въ которомъ съ перваго звука зазвенѣли слезы: — «тѣхъ Ты соедини и не разлучай никогда въ жизни. Избави ихъ отъ несносной тоски другъ о другѣ; верни ихъ другъ къ другу все съ той же любовью. О, пошли имъ, пошли имъ любовь Ты до вѣка! О, сохрани ихъ отъ страстей и соблазновъ, и не попусти одному сердцу разбить навѣки другое!»

Слезы, плывшія въ голосѣ Жервезы и затруднявшія ея пѣніе, разомъ хлынули цѣлымъ потокомъ, съ стонами и рыданiями тоски и боязни за свою любовь и счастье. И чего только, какихъ только словъ могучихъ, какихъ ду-

шевныхъ движеній не было въ этихъ разрывающихъ грудь звукахъ!

— Молись, молись, Пьеро, за своего отца! Молись за мать твою! Молись за насъ, Алиночка!—говорила Жервеза, плача и прижимая къ себѣ обхватившихъ ее дѣтей.

Минуты три въ комнатѣ были слышны только вздохи и тихій, неровный шопотъ; даже бѣлый котенокъ пересталъ колыхать лапкой свое яблочко.

Долинскій оглянулся на Дашу: она стояла на колѣняхъ и смотрѣла въ окно на блѣдное лицо Мадонны; въ длинныхъ, темныхъ рѣсницахъ Доры дрожали слезы.

Долинскій снялъ шляпу и смотрѣлъ на золотую голову Доры.

— Полно намъ плакать, произнесла въ это время успокоиваясь, Жервеза:—будемъ молиться за бѣдныхъ дѣтей.

«Бѣднымъ дѣтямъ, — запѣла она спокойнѣе: — дѣтямъ-сироткамъ будь Ты отцомъ и обрадуй ихъ лаской Твоею, и добрыхъ людей имъ пошли Ты навстрѣчу, и доброй рукою подай имъ и хлѣба, и платья, и дай имъ веселое дѣтство...»

Дѣти начали кланяться въ землю, и молитва, повидимому, приходила къ концу. Дорушка замѣтила это; она тихо встала съ колѣнъ, подняла съ травы лежавшій возлѣ нея бумажный мѣшокъ съ плодами, подошла къ окну, положила его на подоконникѣ и, незамѣченная никѣмъ изъ семьи молочной красавицы, скоро пошла изъ садика.

— Что̀ молится такъ, Долинскій? — спросила она, остановившись за угломъ, и прежде чѣмъ Долинскій успѣлъ ей что-нибудь отвѣтить, она сильно взяла его за руку и съ особымъ удареніемъ сказала: — такъ молится *любовь*! Любовь такъ молится, а не страсть и не привязанность.

— Да, это молилась любовь.

— Это сама любовь молилась, Несторъ Игнатьичъ, истинная любовь, простая, чистая любовь до слезъ и до молитвы къ Богу.

Дорушка тронулась впередъ по сѣрой, пыльной дорожкѣ.

— Что-жъ, вы не зайдете, развѣ?—спросилъ ее Долинскій.

— Куда?

— Да къ нимъ?

— Къ нимъ?., Знаете, Несторъ Игнатьичъ, чѣмъ представляется мнѣ теперь этотъ домъ?—проговорила она, оборачиваясь и протягивая въ воздухѣ руку къ домику Жервезы.—Это горящая купина, къ которой не должны подходить наши хитрыя ноги.

— Стопы лукавыхъ.

— Да, стопы лукавыхъ. Сдѣлайте милость, не пробуйте опять нигилистничать: совсѣмъ вѣдь не къ лицу вамъ эти лица.

— Они только будутъ удивляться, откуда взялся мѣшокъ, который вы имъ положили.

— Не будутъ удивляться: это Богъ прислалъ дѣтямъ за ихъ хорошія молитвы.

— И прислалъ черезъ лучшаго изъ своихъ земныхъ ангеловъ.

— Вы такъ думаете?

— Удивительная вы дѣвушка, Дора! Кажется, нѣжнѣе и лучше васъ, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ женскаго существа на свѣтѣ.

— Тутъ одна, сказала Дора, снова остановясь и указывая на исчезающій за холмомъ домикъ Жервезы:—а вонъ тамъ другая, добавила она, бросивъ рукою по направленію на сѣверъ.—Вы, пожалуйста, никогда не называйте меня доброю. Это значитъ, что вы меня совсѣмъ не знаете. Какая у меня доброта?—ну, какая? Что меня любятъ, а я не кусаюсь, такъ въ этомъ доброты нѣтъ; послѣ этого вы, пожалуй, и о себѣ способны возмечтать, что и вы даже добрый человѣкъ.

— А развѣ же я, Дарья Михайловна, въ самомъ дѣлѣ, по-вашему, злой человѣкъ?

— Эхъ, да что, Несторъ Игнатьичъ, въ такой нашей добротѣ проку-то! Вонъ анина, или жервезина доброта—

такъ это доброта: всѣмъ около нихъ хорошо, а наша съ вами доброта, это... вотъ именно художественная-то доброта: впечатлительность, порывы. Вы вѣдь не знаете, какое у меня порочное сердце и до чего я бываю иногда зла въ душѣ. Вотъ не далѣе, какъ... когда это мы были первый разъ у Жервезы?.. ухъ, какъ я тогда была зла на васъ! И что это, въ самомъ дѣлѣ, вамъ тогда пришло въ голову увѣрять меня, что это не любовь, а привязанность одна и какія-то тамъ глупыя страсти.

— Мнѣ такъ показалось.

— Врете! все врете, и опять начинаете сердить меня. Охъ, да какъ я васъ знаю, Несторъ Игнатьичъ! Еслибы я замѣтила, что меня кто-нибудь такъ знаетъ и насквозь видитъ, какъ я васъ, я бы... просто ушла отъ такого человѣка на край свѣта. Вы мнѣ это тогда говорили вотъ почему: потому что безхарактерность у васъ, должно-быть, простирается иногда такъ далеко, что даже, будучи хорошимъ человѣкомъ, вы вдругъ надумаете: а ну-ка, я понигилистничаю! — можетъ быть, это правильнѣй? И я только не хотѣла вамъ говорить этого, а ужасно вы мнѣ были противны въ тотъ вечеръ.

— Даже противенъ?

— Даже гадки, если хотите. Что это такое? первое дѣло—оскорблять ни за что, ни про что любовь женщины, а потомъ чѣмъ же вы сами-то были?—Шпандорчукъ какой-то, не то Вырвичъ—обезьянка петербургская.

— Вотъ то-то оно и есть, Дарья Михайловна, что судъ-то людской—не Божій: всегда въ немъ много ошибокъ, отвѣчалъ спокойно Долинскій.—Совсѣмъ я не обезьянка петербургская, а худъ ли, хорошъ ли, да ужъ такой, какимъ меня Богъ зародилъ. Вамъ угодно, чтобы я оправдывался—извольте! Знаете ли вы, Дарья Михайловна, все, о чемъ я думаю?

— Конечно, не знаю.

— Совершенная правда, и потому, стало быть, не знаете, до чего и какъ я иногда додумываюсь. Я не нигилистни-

чалъ, Дарья Михайловна, когда выразилъ ошибочное мнѣніе о любви Жервезы, а вотъ какъ это было: очень давно мнѣ начинаетъ казаться, что все, что я считалъ когда-нибудь любовью, есть совсѣмъ не любовь; что любовь... это совсѣмъ не то будетъ, и я на этомъ пунктѣ, если вамъ угодно, сбился съ толку. Я все припоминаю, какъ это случалось, хоть и со мною даже... идетъ, идетъ будто вотъ совсѣмъ и любовь, а потомъ вдругъ—кракъ, смотришь—все какое-то такое вялое, сухое, и чувствуешь, что нѣтъ, что это совсѣмъ не любовь, и я думаю, что нѣтъ, ну, вотъ нѣтъ любви. Тутъ совсѣмъ не за что на меня сердиться. Развѣ въ томъ только моя вина, что не отучусь именно изъ себя-то сто разъ все мотать, да перематывать, а ужъ въ обезьянничествѣ я не виноватъ. Помилуйте, мнѣ вотъ очень даже часто приходитъ въ голову, какъ люди умираютъ? Какъ это послѣдняя минута?.. вотъ вдругъ есть, и нѣту... Бываютъ минуты, когда я никакъ этого вообразить себѣ не могу, и отчего, откуда приходятъ эти страшныя минуты? — этого никакъ не подстережешь. Вы помните, какъ я одинъ разъ въ Петербургѣ уронилъ стѣнные часы въ мастерской и поймалъ ихъ за два какихъ-нибудь вершка отъ полу?

Дорушка кивнула утвердительно головою.

— Ловокъ!—подумалъ я себѣ тогда, а вотъ какъ-то ты увернешься отъ смерти? пошло ходить у меня въ головѣ; вотъ-вотъ-вотъ схватиться бы за что-нибудь, и не схватишься. И что-жъ вы скажете? — я до такой степени все это выматывалъ, что серьезно, ясно и сознательно сталъ ощущать, что я ужъ когда-то что-то такое ловилъ и не поймалъ, и умеръ, и опять живу. Умретъ кто-нибудь—мнѣ сейчасъ опять какой-то этакій блѣдный шаръ представляется; ловишь его, и вдругъ—бацъ! не поймалъ, умеръ и сейчасъ что-то мнѣ въ этомъ знакомое есть, что я ужъ это пережилъ... Я *увѣренъ* въ этомъ, наконецъ, бываю! Такъ не осуждайте же меня, пожалуйста, за Жервезу; я, право, больной человѣкъ; мнѣ въ тотъ день такъ казалось, что

нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ никакой любви, а, право, это не обезьянничество.

— Ну, хорошо, ну, пусть вамъ эта вина прощается за ваши недуги; но нынче-съ!., позвольте васъ искренно, по душѣ, по совѣсти просить отвѣтить: чего вы стояли этакимъ рыцаремъ и таращили на меня глаза, когда мнѣ захотѣлось помолиться съ Жервезой?

— Я таращился! — нисколько. Я просто смотрѣлъ на васъ, потому что мнѣ пріятно было смотрѣть на васъ, потому что вы необыкновенно какъ хороши были у этого куста на колѣняхъ.

— Пожалуйста, пожалуйста, Несторъ Игнатьичъ! Знаю я васъ. Я знаю, что я хороша, и вы мнѣ этимъ не польстите. И вы тоже вѣдь очень... этакій интересный Наль, тоскующій о Дамаянти, а, однако, я чувствовала, что тамъ было нужно молиться, и я молилась, а вы... Снялъ шляпу и сейчасъ же сконфузился и сталъ соглядатаемъ, ммм! ненавистный, нерѣшительный человѣкъ! Отчего вы не молились?

— Ахъ, Дарья Михайловна, какой вы ребенокъ! Ну, развѣ можно задавать такіе вопросы? Вѣдь на это вамъ только Шпандорчукъ съ Вырвичемъ и отвѣтили бы, потому что у тѣхъ ужъ все это впередъ рѣшено.

— А у васъ, мой милый, ничего не рѣшено?

— По крайней мѣрѣ, очень многое.—Да вы, пожалуйста, не думайте, что рѣшимость это ужъ такая высокая добродѣтель, что все остальное передъ нею прахъ и суета. Рѣшимостью самою твердою часто обладаютъ и злодѣи, и глупцы, и всякіе, весьма непостоянные, люди.

— И герои.

— Да, и герои, но героевъ вѣдь немного на свѣтѣ, а односторонніхъ людей, способныхъ рѣшать себѣ все наоболмашь, гораздо больше. Вы вотъ теперь даете мнѣ вопросъ, касающійся такого предмета, котораго обнять-то, уразумѣть-то нѣтъ силы, и хотите, чтобы я такъ вотъ все и рѣшилъ въ немъ. Вы знаете моего дядю? Его не одна

Москва, а вся Русь знаетъ. Это не былъ профессоръ-хлыщъ, профессоръ-чиновникъ, или профессоръ-фанфаронъ, а это былъ настоящій, комплектный ученый и человѣкъ, а я вамъ о немъ разскажу вотъ какой анекдотъ: былъ у него въ Москвѣ при домѣ садъ—старый, густой, прекрасный садъ. Дядя работалъ тамъ лѣтомъ почти по цѣлымъ днямъ: подсаживалъ тамъ деревца, колеровалъ, и разныя, знаете, такія штуки дѣлалъ. Я спалъ въ этомъ саду въ бесѣдкѣ. Только одинъ разъ какъ-то очень рано я проснулся. Дѣло было передъ послѣднимъ моимъ экзаменомъ. Я сѣлъ на порожкѣ и читаю; вдругъ, вижу я за куртиной, дядя стоитъ въ своемъ бѣломъ парусинномъ халатѣ на колѣняхъ и жарко молится: подниметъ къ небу руки, плачетъ, упадетъ въ траву лицомъ, и опять молится, молится безъ конца. Я очень любилъ дядю и очень ему вѣрилъ и вѣрю. Когда онъ пересталъ молиться и началъ что-то вертѣть около какого-то прививка, я всталъ съ порожка и подошелъ къ нему. На дворѣ было самое раннее утро и, кромѣ насъ да птицъ, въ саду никого не было. Не помню, какъ мы тамъ съ нимъ о чемъ начали разговаривать, только знаю, что я тогда и спросилъ его, что какъ онъ, занимаясь до старости науками историческими, естественными и богословскими, до чего дошелъ, до какой степени уяснилъ себѣ изъ этихъ наукъ вопросъ о божествѣ, о душѣ, о твореніи? Напоминаю вамъ, что утро было самое раннее, изъ-за каменныхъ стѣнъ въ большомъ саду насъ никто не могъ ни видѣть, ни слышать, развѣ кромѣ птичекъ, которыя порхали по деревьямъ. Такъ старикъ-то мой-съ нѣсколько разъ оглянулся во всѣ стороны, сложилъ вотъ такъ трубочкою свои руки, да вотъ такъ поднесъ ихъ къ моему уху и чуть слышно шепнулъ мнѣ:

«— Ни до чего не дошелъ.

Говорю ему:

«— А какъ же вы относитесь... называю, знаете, ему двѣ крайнія-то партіи.

«— Какъ отношусь?— говоритъ.

И опять нагнулся къ моему уху и шепнулъ:

«— Не вѣрю ни тѣмъ, ни другимъ.

— Такъ вотъ вамъ, Дарья Михайловна, какія высокія и честныя-то души относятся къ подобнымъ вопросамъ: боятся, чтобы птицу небесную не ввести въ напрасное сомнѣніе, а вы меня спрашиваете о такихъ вещахъ, да еще самаго рѣшительнаго отвѣта у меня о нихъ требуете. Можно сомнѣваться, можно надѣяться, но *утверждать*... О, Боже мой, сколько у людей бываетъ странной смѣлости! Я, дѣйствительно, человѣкъ очень нерѣшительный, но не думайте, что это у меня отъ трусости. Чего же мнѣ бояться? У меня только всегда какъ-то вдругъ всѣ стороны вопроса становятся передъ глазами и я въ нихъ путаюсь, сбиваюсь и дѣлаю Богъ-знаетъ что, Богъ-знаетъ что! Ахъ, это самое худшее состояніе, которое я знаю; это хуже дня передъ казнью, потому что все *дни передъ казнью*. Перестанемте объ этомъ говорить, Дарья Михайловна, а то вонъ опять насъ птица слушаетъ.

Долинскій сдѣлалъ шагъ впередъ и поднялъ съ пыльной дороги небольшую сѣрую птичку, за ножку которой волокся пукъ завялой полевой травы и не давалъ ей ни хода, ни полета. Дорушка взяла изъ рукъ Долинскаго птичку, сѣла на дернистый край дорожки и стала распутывать сбившуюся траву. Птичка съ сомлѣвшей ножкой тихо лежала на бѣлой рукѣ Доры и смотрѣла на нее своими круглыми, черными глазками.

— Какъ бьется ея бѣдное сердечко!—проговорила Дора, шевеля мелкія перышки пташки и глядя въ розовый пушокъ подъ ея крылышками.

— Милая! — сказала она, поцѣловавъ птичку въ головку, приложила ее къ своей шейкѣ и пошла къ городу. Минутъ десять они шли въ совершенномъ молчаніи; на дворѣ совсѣмъ сырѣло; Дорушка принималась нѣсколько разъ все страстнѣе и страстнѣе цѣловать свою птичку. Дойдя до стараго, большого каштана, она поцѣловала ее

еще разъ, бережно посадила на вѣтку и подала руку Долинскому.

— Несторъ Игнатьичъ, сказала она ему, идучи по пустой улицѣ: — знаете, чтобъ вамъ разстаться съ вашими *днями передъ казнью*, вамъ остается одно — найти себѣ *любовь до слезъ*.

— Полноте шутить, Дарья Михайловна, я ничего не желаю находить и не умѣю находить.

— А вотъ птицъ же на дорогахъ находите. Это тоже вѣдь не всякому случается.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Повтореніе задовъ.

У Жервезы Дора и Долинскій болѣе не были, прогулки ихъ снова ограничивались холмомъ надъ заливомъ.

Всякій вечеръ они сидѣли на этомъ холмикѣ и всякій вечеръ имъ было такъ хорошо и пріятно.

Какъ ни коротки были между собой Дора и Долинскій, но эти вызываемые Дорою разсказы о прошломъ, раскрывая передъ нею еще подробнѣе внутренній міръ разсказчика, давали ея отношеніямъ къ нему новый, нѣсколько еще болѣе интимный характеръ.

— Послушайте, Несторъ Игнатьичъ!—сказала разъ Даша, положивъ ему на плечо свою руку, разскажите мнѣ, мой милый, какъ вы любили и какъ васъ любили?

— Богъ знаетъ что̀ это вы выдумываете, Дора?

— Такъ разскажите. Мнѣ очень хочется найти ключъ къ вашей душевной болѣзни.

— Забылъ ужъ я, какъ я любилъ.

— Э! врете!

— Право, забылъ.

— Забвенья нѣтъ.

— Кто-жъ это вамъ сказалъ, что забвенья нѣтъ?

— Я вамъ это говорю.

Несторъ Игнатьичъ молчалъ и Даша молчала, и дулась.

— Ну, перестаньте дуть свои губки, Дора! Что̀ вамъ разсказать?

— Какъ вы любили первый разъ въ жизни.

Долинскій разсказалъ свою почти дѣтскую любовь къ какой-то кіевской кузинѣ. Дора слушала его, не сводя глазъ, и когда онъ окончилъ, вздохнула и спросила:

— Ну, а какъ вы любили на законномъ основаніи?

Долинскій разсказалъ ей въ главныхъ чертахъ и всю свою женатую жизнь.

— Какая гадость!—прошептала Даша и, вздохнувъ еще разъ, спросила:

— Ну, а дальше что было?

— А дальше вы все знаете.

— Вы грустили?

— Да.

— Встрѣтились съ нами?

— Да.

— И счастливы?

— И счастливъ.

Даша задумчиво покачала головкой.

— Что̀?—спросилъ ее Долинскій.

— Такъ, ключъ найденъ! — чуть слышно уронила Дора.—А какъ вы думаете, начала она, помолчавши съ минуту: — вѣрно это такъ вообще, что хорошаго нельзя не полюбить?

— Что̀ хорошее? Есть польская пословица, что но то хорошо, что̀—хорошо, а то хорошо, что кому нравится.

— Я вамъ говорю, что *хорошаго* нельзя не любить; ну, пожалуй, того, что̀ нравится.

— Къ чему же вы это говорите?

— Ни къ чему! къ тому, что если встрѣчается что нибудь очень хорошее, такъ его возьмешь да и полюбишь, ну, понимаете, что ли?

— Да...

— Да, я думаю, что *да*.

Произошла пауза, въ теченіе которой Даша все думала, глядя въ небо и потомъ сказала:

— Знаете что, Несторъ Игнатьичъ? Мнѣ кажется, что наши сравненія сердца съ монетой—никуда не годятся.

— Я это ужъ вамъ говорилъ.

— Съ чѣмъ же его сравнить?

— Много есть этихъ сравненій, и всѣ они никуда не годятся.

— Ну, а, напримѣръ, съ чѣмъ можно еще сравнить сердце?

— Съ постоялымъ дворомъ, смѣясь, отвѣчалъ Долинскій.

— Гадко, а похоже, пожалуй.

— А, пожалуй, и непохоже, отвѣчалъ Долинскій.

— Одинъ постоялецъ выѣдетъ, другому есть мѣсто.

— А другой разъ и пустой дворъ простоитъ.

— Нѣтъ, и это не годится. Не вѣрю я, не вѣрю, чтобы можно было жить безъ привязанности.

— Бываетъ, однако.

— Вы помните эти нѣмецкіе, кажется, стихи...

— Какіе?

— Ну, знаете, какъ это тамъ: Юпитеръ посылалъ Меркурія отыскать никогда нелюбившихъ женщинъ?

— Я даже этого никогда не читалъ.

— Что-жъ, Меркурій отыскалъ?

— То-то вотъ и есть; а я это читала.

— *Трехъ!*

— Только-то?

— Да-съ, и эти три, знаете, кто были? *Три фуріи!*— протяжно произнесла Даша, поднявъ вверхъ пальчикъ.

— Вѣдь это только написано.

— Да, но я этому вѣрю, и очень боюсь этакого фуріознаго сообщества.

— Вы съ какой же это стати?

— А если Юпитеру послѣ моей смерти вздумается еще разъ послать Меркурія и онъ найдетъ ужъ четырехъ.

— Еще полюбите и какъ полюбите.

— Нѣтъ ужъ, кажется, поздно.

— Любить никогда не поздно.

— Вотъ за это вы умникъ! Люди жадны ужъ очень. Счастье не во времени. Можно быть немножко счастливымъ, и на всю жизнь довольно. Правда моя?

— Конечно, правда.

— Какое у насъ образцовое согласіе!

— Не о чемъ спорить, когда говорятъ правду.

— А вѣдь я бы могла очень сильно любить.

— Кто-жъ вамъ мѣшаетъ? Разборчивы очень.

— Нѣтъ, совсѣмъ не то. По моему любить, значитъ... *любить*, однимъ словомъ. Не героя, не рыцаря, а просто любить, кто по душѣ, кто по сердцу — кто не по хорошу милъ, а по милу хорошъ.

— Ну-съ, я опять спрошу: за чѣмъ же дѣло стало?

— А если «законы осуждаютъ предметъ моей любви»?— улыбаясь, продекламировала Даша.

— Но, кто — о, сердце! можетъ противиться тебѣ?— отвѣчалъ Несторъ Игматьичъ, продолжая речитативомъ начатую Дашею пѣсню.

— Помните, какъ это сказано у Лермонтова:

По сердцу какъ ума не соблазнить?
И какъ любви стыда не побѣдить?
Любовь, для неба и земли—святыня
И только для людей порокъ она!

То скотство, то трусость... бѣдное ты человѣчество! Бѣдный ты царь земли въ своихъ вѣчныхъ оковахъ!

— Вы сегодня, Дорушка, все возвышаетесь до паѳоса, до поэзіи.

— Несторъ Игнатьичъ! прошу не забываться! Я никогда не унижалась до прозы.

— Виноватъ.

— То-то.

— Даша замолчала и, немного подождавши, сказала:

— Ну, смотрите, какія штучки наплетены на бѣломъ свѣтѣ! Вотъ я сейчасъ бранила людей за трусость, кото-

рая имъ мѣшаетъ взять свою, такъ сказать, долю радостей и счастья, а теперь сама вижу, что и я совсѣмъ неправа. Есть вѣдь такія положенія, Несторъ Игнатьичъ, передъ которыми и храбрецъ струситъ.

— Напримѣръ, что-жъ это такое?

— А вотъ, напримѣръ, состраданіе, укоръ совѣсти за чужое несчастье, за чужія слезы.

— Скажите-ка немножко поясньѣе.

— Да что-жъ тутъ яснѣе? Мало ли что случается! Ну, вдругъ, положимъ, полюбишь человѣка, котораго любитъ другая женщина, для которой потерять этого человѣка будетъ смерть... да что смерть! Не смерть, а мука, понимаете—мука съ платкомъ во рту. Что тогда дѣлать?

— На это мудрено отвѣчать.

— Я думаю, одинъ отвѣтъ: страдать.

— Да, если тотъ, кого вы полюбите, въ свою очередь, не любитъ васъ больше той женщины, которую онъ любилъ прежде.

— А если онъ меня любитъ больше?

— Такъ тогда какой-же резонъ дѣлать общее несчастье! Вѣдь если, положимъ, вы любите какое нибудь А и это А взаимно любитъ васъ, хотя оно тамъ прежде любило какое-то Б. Ну-съ, теперь, если вы знаете, что это А своего Б больше не любитъ, то зачѣмъ же вамъ отказываться отъ его любви и не любить его самой. Ужъ вѣдь все равно, не отошлете его обратно, куда его не тянетъ. Простой разсчетъ: пусть лучше двое любятъ другъ друга, чѣмъ трое разойдутся.

Даша долго думала.

— Въ самомъ дѣлѣ, отвѣчала она: — въ самомъ дѣлѣ, это такъ. Какъ это странно! Люди называютъ безумствомъ то, что̀ даже можно по пальцамъ высчитать и доказать что это разумно.

— Люди умныхъ людей въ съумасшедшіе дома сажали и на кострахъ жгли, а послѣ черезъ сто лѣтъ памятники

имъ ставили. У людей, что̀ сегодня ложь, то завтра можетъ быть истиной.

— Какой вы у меня бываете умникъ, Несторъ Игнатьичъ! Какъ я люблю вашу способность просто разъяснять вещи! Еслибъ вы давно были со мной, какъ бы много я знала!

— Я, Дарья Михайловна, не принимаю это на свой счетъ. Я знаю одно то, что я ничего не знаю, а суда людского такъ просто-таки терпѣть не могу. Не вѣрю ему.

— Да, говорите-ка: не знаете! Нѣтъ, большое спасибо вамъ, что вы со мной поѣхали. Здѣсь васъ у меня никто не отнимаетъ: ни Анна, ни газета, ни Илья Макарычъ. Тутъ вы мой крѣпостной. Правда?

— Да, ужъ если вы сказали такъ, то, разумѣется — правда. Иначе-жъ вѣдь быть не можетъ!—отвѣчалъ, шутя, Долинскій.

— Ну, да, еще бы! Конечно, такъ, отвѣчала живо и торопясь Дора и сейчасъ же добавила: — а вотъ, хотите, я вамъ задамъ одинъ такой вопросъ, на которой вы мнѣ, пожалуй, и не отвѣтите?

— Это еще, Дарья Михайловна, будетъ видно.

— Только смотрите мнѣ прямо въ глаза. Я хочу видѣть, что вы подумаете, прежде чѣмъ скажете.

— Извольте.

— А что...

— Что?

— Эхъ, нетерпѣніе! Ну, отгадывайте, что̀?

— Не магъ и не волшебникъ.

— Что, еслибъ я сказала вамъ вдругъ самую ужасную вещь?

— Не удивился бы ни крошки.

Даша серьезно сдвинула брови и тихо проговорила:

— Нѣтъ, я прошу васъ не шутить, а говорить со мною серьезно. Смотрите на меня прямо!

Она пронзительно уставила свои глаза въ глаза Долинскаго и медленно съ разстановками произнесла:

— Ч-т-о, е-с-л-и-б-ы я в-а-с-ъ п-о-л-ю-б-и-л-а?

Долинскій вздрогнулъ и, быстро выпустивъ изъ своей руки ручку Даши, отвѣтилъ смущеннымъ голосомъ:

— Виноватъ, проспорилъ. Можно, дѣйствительно, поручиться, что такого вздора ни за что не выдумаешь, какой вы иногда скажете.

Даша тоже смутилась. Она просто испугалась движенія, сдѣланнаго Долинскимъ, и, принявъ свою руку, сказала:

— Чего вы! Я вѣдь такъ говорю, что вздумается.

Она была очень встревожена и проговорила эти слова, какъ обыкновенно говорятъ люди, вдругъ спохватясь, что они сдѣлали самый опрометчивый вопросъ.

— Пойдемте домой. Мы сегодня засидѣлись; сыро теперь, сказалъ нѣсколько сухимъ гувернерскимъ тономъ, вмѣсто отвѣта, Долинскій.

Даша встала и пошла молча. Дорогою они не сказали другъ другу ни слова.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Съ другой стороны.

— Покажите мнѣ ваши башмаки, началъ Несторъ Игнатьичъ, когда, возвратясь, они присѣли на минутку въ своемъ залцѣ.

— Этъ зачѣмъ? спросила серьезно Даша.

— Покажите.

Даша нетерпѣливо сняла ногою башмакъ съ другой ноги и, не сказавъ ни слова, выбросила его изъ-подъ платья. Тонкій лѣтній башмакъ былъ сырехонекъ. Долинскій взглянулъ на подошву, взялъ шляпу и вышелъ прежде, чѣмъ Дора успѣла его о чемъ нибудь спросить.

Съ выходомъ Долинскаго она не перемѣнила ни мѣста, ни положенія и, опустивъ глаза, тихо посмотрѣла на свои покоившіяся на колѣняхъ ручки.

Прошло около четверти часа, прежде чѣмъ Долинскій вернулся съ склянкой спирта и ласково сказалъ:

— Ложитесь спать, Даша.

— Что̀ это вы принесли?

— Спиртъ. Я его сейчасъ согрѣю, а вы имъ вытрите себѣ ноги.

— Для чего это?

— Такъ. Потому вытрите, что это такъ нужно.

— Да чего вы боитесь?

— Самой простой штуки, вашего милаго здоровья.

— Господи! Въ какомъ все строгомъ чинѣ! — сказала, презрительно подернувъ плечами, Дора, слегка вспыхнула и, сдѣлавъ недовольную гримаску, пошла въ свою комнату.

Долинскій присѣлъ къ столику съ какимъ-то особеннымъ тщаніемъ и серьезностью, согрѣлъ на кофейной конфоркѣ спиртъ, смѣшалъ его съ уксусомъ, попробовалъ эту смѣсь на языкъ и постучался въ Дашины двери. Отвѣта на было. Онъ постучался въ другой разъ—отвѣта тоже нѣтъ.

— Даша?—кликнулъ онъ:—Дора! Дорушка!

За дверями послышался звонкій хохотъ. Долинскій подумалъ, что съ Дашей истерика, и отворилъ ея двери. Дорушка была въ постели. Укутавшись по самую шею одѣяломъ, она весело смѣялась надъ тревогою Долинскаго.

Долинскій надулся.

— Разотрите себѣ ноги, сказалъ онъ, подавая ей согрѣтый имъ спиртъ.

— Не стану.

— Дорушка!

— Не стану, не стану и не стану! Не хочу! ну, вотъ не хочу!

И она опять разсмѣлась.

Долинскій поставилъ чашку со спиртомъ на столикъ у кровати и пошелъ къ двери; но тотчасъ же вернулся снова.

— Дорушка! ну, прошу васъ ради-Бога, ради вашей сестры, не дурачьтесь!

— А вы не смѣйте дуться.

— Да я вовсе не дулся.

— Дулись.

— Ну, простите, Дора, только растирайте скорѣе свои ноги—не остылъ бы спиртъ.

— Попросите хорошенько.

— Я васъ прошу.

— На колѣни станьте.

— Дорушка, не мучьте меня.

— А-га! «не мучьте меня», произнесла Даша, передразнивая Нестора Игнатьича, и протянула къ нему сложенную горстью руку.

Долинскій наливалъ Дашѣ на руку спиртъ, а она растирала себѣ подъ одѣяломъ ноги и морщилась, говоря:

— Какую вы это скверность купили.

— Гдѣ у васъ шерстяные чулки?—спросилъ Долинскій.

— Нѣтъ у меня шерстяныхъ чулокъ.

— Господи! да что вы, въ самомъ дѣлѣ, дитя пятилѣтнее, что ли?—воскликнулъ съ досадою Долинскій.

— Въ комодѣ вонъ тамъ, сухо отвѣчала на прежній вопросъ Дора.

Долинскій взялъ ключи и рылся, отыскивая чулки.

— Точно нянька! и то самая гадкая, надоѣдливая,—говорила, смѣясь и глядя на него, Даша.

Долинскій досталъ также изъ комода пушистый плэдъ и одѣлъ имъ ноги Доры.

— Еще чего не найдете ли!—спросила она, продолжая надъ нимъ подтрунивать.

— Вы не храбритесь, отвѣчалъ Долинскій: — а лучше спите хорошенько, и пошелъ къ двери.

— Несторъ Игнатьичъ!—крикнула Даша.

— Что̀ вамъ угодно?

— Что-жъ это за невѣжество?

— Что̀ такое?

— Ужъ вы нынче не прощаетесь со мной?

— Виноватъ. Вы, право, такъ безпощадно тревожите меня вашими сумасбродствами, Дора.

— А вы все это ото всѣхъ пощады вымаливаете?

— Ну, пожалуйте же вашу ручку.

— Не надо, отвѣчала Даша и обернулась къ стѣнѣ.

— Тутъ капризъ.

— Вездѣ, да вездѣ капризъ! на каждомъ шагу будетъ капризъ—потому, что вы мнѣ совсѣмъ надоѣли съ своимъ гувернерствомъ.

Ночь Даша провела очень спокойно, сны только ей странные все снились; а Долинскій не ложился вовсе. Онъ нѣсколько разъ подходилъ ночью къ Дашиной комнатѣ и все-слушалъ, какъ она дышетъ. Утромъ Даша чувствовала себя хорошо; написала сестрѣ письмо, въ которомъ подтрунивала она надъ безпокойствомъ Долинскаго и нарисовала съ краю письма каррикатурку, изображающую его въ повязкѣ, какія носятъ русскія няньки. Но къ вечеру она почувствовала необыкновенную усталость и легла въ постель ранѣе обыкновеннаго. Ночью спала не спокойно, а къ утру начала покашливать. Долинскій страшно перепугался этого кашля и побѣжалъ за докторомъ. Докторъ нашелъ вообще, что у Даши очень незначительная простуда, но что кашель очень неблагопріятная вещь при ея здоровьѣ; прописалъ ей лѣкарство и уѣхалъ. Днемъ Даша была покойна, но все супилась и упорно молчала, а къ вечеру у нея появился жаръ. Даша сдѣлалась говорлива и тревожна. То она, какъ любознательный ребенокъ, приставала къ Долинскому съ самыми обыкновенными и незначущими вопросами; требовала у него разъясненія самыхъ простыхъ, конечно ей самой хорошо извѣстныхъ вещей; то вдругъ рѣзко перемѣняла тонъ и начинала придираться и говорить съ нимъ свысока.

— Вы на меня не сердитесь, голубчикъ, Несторъ Игнатьичъ, что я капризничаю? — спрашивала она Долинскаго.

— Нисколько.

— Отчего-жъ вы нисколько на меня не сердитесь?

— Да такъ, не сержусь.

— Да вѣдь я несносно, должно быть, капризничаю?

— Ну, что-жъ дѣлать?

— Я бы не вытерпѣла, еслибы кто такъ со мною капризничалъ.

— На то вы женщина.

Дорушка помолчала съ минуту и, кусая губки, проговорила глухимъ голосомъ:

— Очень вы всѣ много знаете о женщинахъ!

— Нѣкоторые знаютъ довольно.

— Никто ничего не знаетъ, отвѣчала Дора, рѣзко и съ сердцемъ.

— Ну, прекрасно, ну, никто ничего не знаетъ, только не сердитесь, пожалуйста.

— Вотъ! Стану я еще сердиться!—продолжала вспыльчиво Дора.—Мнѣ нечего сердиться. Я знаю, что всѣ врутъ, и только. Тотъ такъ, тотъ этакъ, а умнаго слова ни одинъ не скажетъ.

— Это правда, отвѣчалъ примирительно Долинскій.

— Правда! А если я скажу, что я сестра луны и дочь солнца. Это тоже будетъ правда?

Даша повернулась къ стѣнѣ и замолчала.

Долинскій пригласилъ было ночевать къ ней m-me Бюжаръ, но Даша въ десять часовъ отпустила старуху, сказавъ, что ей надоѣла французская пустая болтовня. Долинскій не противорѣчилъ. Онъ сѣлъ въ кресло у двери Дашиной комнаты и читалъ, безпрестанно поднимая голову отъ книги и прислушиваясь къ каждому движенію больной.

— Несторъ Игнатычъ!—тихо покликала его Даша, часу во второмъ ночи.

Онъ всталъ и подошелъ къ ней.

— Вы еще не спали?—спросила она.

— Нѣтъ, я еще читалъ.

— Который часъ?

— Около двухъ часовъ, кажется.

Даша покачала головой и съ ласковымъ упрекомъ сказала:

— Зачѣмъ вы себя попусту морите?

— Я зачитался немножко.

— Что же вы читали?

— Такъ, пустяки.

— Охота-жъ читать пустяки! Садитесь лучше здѣсь на кресло возлѣ меня; по крайней мѣрѣ будемъ скучать вмѣстѣ.

Долинскій молча сѣлъ на кресло.

— Я все сны какіе-то видѣла, начала, зѣвнувъ, Даша.— Петербургъ, Анну, васъ, и вдругъ скучно что-то сдѣлалось.

— Скоро вернемся, Дорушка; не скучайте.

Даша промолчала.

— Дайте мнѣ вашу руку, сказала она, когда Долинскій сѣлъ на кресло у ея изголовья. — Вотъ такъ веселѣе все-таки; а то страшно какъ-то, какъ будто въ могилѣ я, никого близкаго нѣтъ со мной.

— Вы хандрите, Дорушка.

— А хандра развѣ не страданье?

— Ну, разумѣется, страданье.

— То-то. Это вѣдь люди все повыдумывали: вымышленное горе, ложный страхъ, ложный стыдъ; а кому горько, или кому стыдно, такъ все равно, что отъ ложнаго, что отъ настоящаго горя—все равно. Кто знаетъ, что у кого ложное? философствовала Даша и уснула, держа Долинскаго за руку. Такъ она проспала до утра, а онъ не спалъ опять и много передумалъ. Передъ нимъ прошла снова вся его разбитая жизнь, предъ нимъ стояла тихая, кроткая Анна, передъ которою онъ благоговѣлъ, возлѣ которой онъ успокоился, ожилъ, какъ бы вновь на свѣтъ народился. А теперь Даша. Ея странные намеки, ея порывы, которыхъ она не можетъ сдержать, или... не хочетъ даже сдерживать! Потомъ ему казалось, что Даша всегда была такая, что она просто, по обыкновенію своему, шалитъ, играетъ своими странными вопросами, и ничего болѣе. Думалъ онъ уѣхать и нашелъ, что это было бы очень странно и даже просто невозможно, пока Даша еще не совсѣмъ укрѣпилась.

Утромъ у Даши былъ легонькій кашель. День цѣлый она провела прекрасно и докторъ нашелъ, что здоровье ея

пришло опять въ состояніе самое удовлетворительное. Съ вечера ей не спалось.

— Безсонница меня мучаетъ, говорила она, метаясь по подушкѣ.

— Какая безсонница! Вы просто выспались днемъ, отвѣчалъ Долинскій.—Хотите, я вамъ почитаю такую книгу, что сейчасъ уснете?

— Хочу, отвѣчала Даша.

Долинскій принесъ утомительно скучный французскій формулярный списокъ Жюля Жерара.

— Покажите, сказала Даша. Она взглянула на заглавіе и, улыбнувшись, проговорила:—львы—хорошія животныя—читайте.

Книга сдѣлала свое дѣло. Даша заснула. Долинскій положилъ книгу. Свѣча горѣла подъ зеленымъ абажуромъ и слабо освѣщала оригинальную головку Доры... «Боже! какъ она хороша», подумалъ Долинскій, а что-то подсказывало ему: «а какъ умна, какъ добра! Какъ честна и тебя любитъ!»

Сонъ одолѣвалъ Нестора Игнатьича. Три ночи, проведенныя имъ въ тревогѣ, утомили его. Долинскій не пошелъ въ свою комнату, боясь, что Дашѣ что-нибудь понадобится и она его не докличется. Онъ сѣлъ на коврикъ въ ногахъ ея кровати и, прислонясь головою къ матрацу, заснулъ въ такомъ положеніи какъ убитый.

Къ утру Долинскаго начали тревожить странныя сновидѣнія: степь Сахàра жгучая, верблюды съ своими овечьими мордочками на журавлиныхъ шеяхъ, звѣриное рычаніе и щупленькій Жюль Жераръ съ сержантдевильской бородкой. Все это какъ-то такъ переставлялось, перетасовывалось, что ничего не выходитъ яснаго и опредѣленнаго. Вдругъ рѣка бѣжитъ, широкая, сердитая, на ея берегахъ лежатъ огромные крокодилы: «это, должно быть, Нилъ», думаетъ Долинскій. Издали показалась крошечная лодочка и кто-то поетъ:

Охъ, ты Днѣпръ ли мой широкій!
Ты кормилецъ нашъ родной!

На лодочкѣ двѣ человѣческія фигуры, покрытыя длинными бѣлыми вуалями.

— Плыветъ лодка, а въ ней два пассажира: котораго спасти, котораго утопить?—спрашиваетъ Долинскаго самый большой крокодилъ.

— Какая чепуха!—думаетъ Долинскій.

— Нѣтъ, любезный, это не чепуха, говоритъ крокодилъ,—а ты выбирай, потому что мы съ тобой въ фанты играемъ.

— Ну, смотри же, продолжаетъ крокодилъ,—разъ, два!

Онъ взмахнулъ хвостомъ, лодочка исчезла въ бѣлыхъ брызгахъ и на волнахъ показалась тонущая Анна Михайловна.

— Это мой фантъ, твой въ лодкѣ, говоритъ чудовище.

Разсѣялись брызги, лодочка снова чуть качается на одномъ мѣстѣ и въ ней сидитъ Дора. Покрывало спало съ ея золотистой головки, лицо ея блѣдно, очи замкнуты: она мертвая.

— Это твой фантъ, внятно говоритъ изъ берегового тростника крокодилъ, и всѣ крокодилы стонутъ, такъ жалобно стонутъ.

Долинскій проснулся. Было уже восемь часовъ. Прежде чѣмъ успѣлъ онъ поднять голову, онъ увидѣлъ предъ своимъ лицомъ лежавшую ручку Даши. «Непріятный сонъ», подумалъ Долинскій, и съ особымъ удовольствіемъ посмотрѣлъ на ручку Доры, облитую слабымъ свѣтомъ, проходившимъ сквозь шелковую зеленую занавѣску окна. Привставъ, онъ тихонько наклонился и поцѣловалъ эту руку, какъ цѣловалъ ее часто по праву дружбы, и вдругъ ему показалось, что этотъ поцѣлуй былъ чѣмъ-то совсѣмъ инымъ. Нестору Игнатьевичу почудилось, что Дашина рука, привыкшая къ его поцѣлуямъ, на этотъ разъ какъ будто вздрогнула и отдернулась отъ его устъ. Онъ посмотрѣлъ на Дашу; она лежала съ закрытыми глазами, и роскошные волосы, выбившись изъ-подъ упавшаго на подушку чепца, красною сѣтью раскинулись по бѣлой наволочкѣ. Долинскій тихонько

приложилъ руку ко лбу Доры. Въ головѣ не было жара. Потомъ онъ хотѣлъ послушать, какъ она дышитъ, нагнулся къ ея лицу и почувствовалъ, что у него кружится голова и уста предательски клонятся къ устамъ.

Долинскій быстро отбросилъ свою голову отъ изголовья Доры и поспѣшно вышелъ за двери.

Если бъ оконная занавѣска не была опущена, то Долинскому не трудно было бы замѣтить, что Даша покраснѣла до ушей и на лицѣ ея мелькнула счастливая улыбка. Чуть только онъ вышелъ за двери, Дора быстро поднялась съ изголовья, взглянула на дверь и, еще разъ улыбнувшись, опять положила голову на подушку... Вмѣсто выступившаго на минуту по всему ея лицу яркаго румянца, оно вдругъ покрылось мертвою блѣдностью.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Умъ свое, а чортъ свое.

Даша къ обѣду встала. Она была смущена и избѣгала взглядовъ Долинскаго, онъ тоже мало глядѣлъ на нее и говорилъ немного.

— Мнѣ теперь совсѣмъ хорошо. Не ѣхать ли намъ въ Россію?—сказала она послѣ обѣда.

— Какъ хотите. Спросимте доктора.

Даша рѣшила въ своей головѣ ѣхать, каковъ бы ни былъ докторскій отвѣтъ, и чтобъ приготовить сестру къ своему скорому возвращенію, написала ей въ тотъ же день, что она совсѣмъ здорова. Гулять они вовсе эти дни не ходили и объявили m-me Бюжаръ, что черезъ недѣлю уѣзжаютъ изъ Ниццы. Даша то суетливо укладывалась, то вдругъ садилась надъ чемоданомъ и, положивъ одну вещь, смотрѣла на нее безмолвно по цѣлымъ часамъ. Долинскій былъ гораздо покойнѣе и видно было, что онъ искренно радовался отъѣзду въ Петербургъ. Онъ страдалъ за себя, за Дашу и за Анну Михайловну.

«Тихо, спокойно все это надо выдержать, и все это

пройдетъ, разсуждалъ онъ, медленно расхаживая по своей комнаткѣ, въ ожиданіи Дашинаго вставанья.—А когда пройдетъ, то... Боже, гдѣ же это спокойное, хорошее чувство? Теперь спи, моя душа, снова, ничего теперь у тебя нѣтъ опять; а лгать я... не могу; не стану.

— Два дня всего намъ остается быть въ Ниццѣ, сказала одинъ разъ Даша,—пойдемте сегодня, простимся съ нашимъ холмомъ и съ моремъ.

Долинскій согласился.

— Только надо раньше идти, чтобъ опять сырость не захватила, сказалъ онъ.

— Пойдемте сейчасъ.

Былъ восьмой часъ вечера. Угасалъ день очень жаркій. Дорушка не надѣла шляпы, а только взяла зонтикъ, покрылась вуалью, и они пошли.

— Ну-съ, сядемте здѣсь,—сказала она, когда они пришли на мѣсто своихъ обыкновенныхъ надбережныхъ бесѣдъ.

Сѣли. Даша молчала и Долинскій тоже. Въ послѣдніе дни они какъ будто разучились говорить другъ съ другомъ.

— Жарко,—сказала Даша.—Солнце садится, а все жарко.

— Да, жарко.

И опять замолчали.

— Неба этого не забудешь.

— Хорошее небо.

— Положите мнѣ, пожалуйста, ваше пальто, я на немъ прилягу.

Долинскій бросилъ на траву свое пальто, Даша легла на немъ и стала глядѣть въ сапфирное небо.

Опять началось молчаніе. Даша, кажется, устала глядѣть вверхъ и небрежно играла своими волосами, съ которыхъ сняла сѣтку вмѣстѣ съ вуалью. Перекинувъ густую прядь волосъ черезъ свою ладонь, она смотрѣла сквозь нихъ на опускавшееся солнце. Красные лучи, пронизывая золотистые волосы Доры, дѣлали ихъ еще краснѣе.

— Смотрите,—сказала она, заслонивъ волосами лицо До-

линскаго,—я, точно, какъ говорятъ наши дѣвушки: «халдей опаляющій.» Надо жъ, чтобы у меня были такіе волосы, какихъ нѣтъ у добрыхъ людей. Вотъ если бы у васъ были такіе волосы, — прибавила она, приложивъ къ его виску прядь своихъ волосъ,—преуморительный былъ бы.

— Рыжій чортъ,—сказалъ, смѣясь, Долинскій.

Даша отбросила свои волосы отъ его лица и проговорила:

— Да вы-таки и чортъ какой-то.

Долинскій сидѣлъ смирнехонько и ничего не отвѣтилъ; Дора, молча, смотрѣла въ сторону и, рѣзко повернувшись лицомъ къ Долинскому, спросила:

— Несторъ Игнатьичъ! а что̀ вамъ говорятъ теперь ваши предчувствія? успокоились они, или нѣтъ?

— Это всегда остается однимъ и тѣмъ же

— Ай, какъ это дурно!

— Что̀ это васъ такъ обходитъ?

— Да такъ, я тоже начинаю вѣрить въ предчувствія; боюсь за васъ, что вы, пожалуй, чего добраго, не доѣдете до Петербурга.

— Ну, этого-то, полагаю, не случится.

— Почемъ знать! Олегова змѣя дождалась его въ лошадиномъ черепѣ: такъ, можетъ быть, и ваша откуда-нибудь вдругъ выползетъ.

— Буду уходить.

— Хорошо какъ успѣете! Вы помните, какъ змѣи смотрятъ на зайцевъ? Тѣ, можетъ быть, и хотѣли бы уйти, да не могутъ.—А скажите, пожалуйста, кстати: правда это, что зайца можно выучить барабанить?

— Правда; я самъ видѣлъ, какъ заяцъ барабанилъ.

— Будто! будто вы это сами видѣли!—спросила Дорушка съ явной насмѣшкой.

— Да, самъ видѣлъ, и это гораздо менѣе удивительно, чѣмъ то, что вы теперь безъ всякой причины злитесь и придираетесь.

— Нѣтъ, мнѣ только смѣшно, что вы меня такъ серьезно

увѣряете, что зайцы могутъ бить на барабанѣ, тогда какъ я знаю зайца, который умѣлъ алгебру дѣлать. Ну-съ, чей же замѣчательнѣе?—окончила она, пристально взглянувъ на Долинскаго.

— Вашъ, безъ всякаго сомнѣнія, отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Вы такъ думаете, или вы это навѣрно знаете?

— Дарья Михайловна, ну что за смѣшной разговоръ такой между нами!

Даша страшно поблѣднѣла: глаза ея загорѣлись своимъ грознымъ блескомъ; она еще пристальнѣе вперила свой взглядъ въ глаза Долинскаго, и медленно, съ разстановкою за каждымъ словомъ, проговорила:

— Когда А любитъ Б, а Б любитъ С, и С любитъ Б, что этому С дѣлать?

У Долинскаго вдругъ похолонуло въ сердцѣ.

— Отвѣчайте же! Вѣдь, это вы мнѣ эту алгебру-то натолковали, сказала еще болѣе сердито Дора.

Несторъ Игнатьевичъ совсѣмъ не зналъ, что сказать.

«Вотъ оно! вотъ оно мое воспитаніе-то! Вотъ онъ мой характеръ-то!—Ничего не умѣю сдѣлать во-время; ни въ чемъ не могу найтись!» размышлялъ онъ, ломая пальцы, но на выручку его не являлось никакой случайности, никакой счастливой мысли.

— А любитъ Д, и Д любитъ А! Б любитъ А, но А уже не любитъ этого Б, потому что онъ любитъ Д. Что же теперь дѣлать? Что теперь дѣлать?

Дора нервно дернулась и еще раздражительнѣе крикнула:

— Что, вы глухи, или глупы стали?

— Глупъ, вѣрно, уронилъ Долинскій.

— Ну, такъ поймите же безъ обиняковъ: *я васъ люблю.*

— Дора!—вскрикнулъ Долинскій и закрылъ лицо руками.

— Слушай же далѣе, продолжала серьезно Дора,—ты самъ меня любишь, и ее ты не будешь любить, ты не мо-

жешь ее любить, пока я живу на свѣтѣ!.. Чего-жъ ты молчишь? Развѣ это сегодня только сдѣлалось! Мы страдаемъ всѣ трое—хочешь, будемъ счастливы двое? Ну...

Долинскій, не отрывая рукъ отъ глазъ, уныло качалъ головою.

— Я, вѣдь, видѣла, какъ ты хотѣлъ цѣловать мое лицо, проговорила Дора, поворачивая къ себѣ за плечо Долинскаго,—ну, вотъ оно—цѣлуй его: *я люблю тебя.*

— Дора, Дора, что̀ вы со мной дѣлаете?—шепталъ Долинскій, еще крѣпче прижимая къ лицу свои ладони.

Дорушка не проронила ни слова, но Долинскій почувствовалъ на своихъ плечахъ обѣ ея руки и ея теплое дыханіе у своего лба.

— Дора, пощадите меня, пощадите! это выше силъ человѣческихъ, выговорилъ, задыхаясь, Долинскій.

— Не зачѣмъ! — страстно произнесла Дора, и сильно оторвавъ руки Долинскаго, жарко поцѣловала его въ губы.

— Любишь? — спросила она, откинувъ немножко свою голову.

— Ну, будто вы не видите! — робко отвѣчалъ Долинскій, трепетно наклоняя свое лицо къ рукѣ Доры.

Даша тихонько отодвинула его отъ себя и, глядя ему прямо въ глаза, проговорила:

— А Аня?

Долинскій молчалъ.

— Долинскій, а что же Аня?

— Вы надо мной издѣваетесь, проронилъ, блѣднѣя, Долинскій.

— *Она тебя такъ любитъ...*

— О, Боже мой, какія злыя шутки!

— *А я люблю тебя еще больше*, досказала Дора.— Я люблю тебя, какъ никто не любитъ на свѣтѣ; я люблю тебя, какъ сумасшедшая, какъ бѣшеная!

Дора неистово обхватила его голову и впилась въ него безконечнымъ поцѣлуемъ.

— Небо... небеса спускаются на землю!—шептала она, сгорая подъ поцѣлуями.

Лепетъ прерывалъ поцѣлуи, поцѣлуи прерывали лепетъ. Головы горѣли и туманились; сердца замирали въ сладкомъ томленьи, а песочные часы Сатурна пересыпались обыкновеннымъ порядкомъ и ночь раскинула надъ усталой землей свое прохладное одѣяло. Давно пора идти было домой.

— Боже, какъ уже поздно!—сказалъ Долинскій.

— Пойдемъ, тихо отвѣчала Даша.

Они встали и пошли: Даша шла, облокачиваясь на руку Долинскаго; онъ шагалъ уныло и нерѣшительно.

— Постой!—сказала Даша.

— Что вы хотите?

— Устала я. Ноги у меня гнутся.

Они постояли молча и еще тише пошли далѣе.

На землѣ была тихая ночь; въ бальзамическомъ воздухѣ носилось какое-то животворное вѣяніе и круглыя звѣзды міріадами смотрѣли съ темно-синяго неба. Съ надбережнаго дерева неслышно снялись двѣ какія-то большія птицы, исчезли на мгновеніе въ черной тѣни скалы и рядомъ потянули надъ тихо колеблющимся заливцемъ, а въ открытое окно изъ ярко освѣщенной виллы бояръ Онучиныхъ неслись стройные звуки согласнаго дуэта.

М-me Бюжаръ на другой день долго ожидала, пока ее позовутъ постояльцы. Она нѣсколько разъ выглядывала изъ своего окна на окно Доры, но окно это, попрежнему, все оставалось задернутымъ густою зеленою занавѣскою.

Даша встала въ одиннадцать часовъ и одѣлась сама, не покликавъ m-me Бюжаръ вовсе. На Дорѣ было вчерашнее ея бѣлое кисейное платье, подпоясанное широкою коричневою лентою. Къ ней очень шелъ этотъ простой и легкій нарядъ.

Долинскій проснулся очень давно и упорно держался своей комнаты. Въ то время, когда Даша, одѣвшись, вышла въ зальце, онъ неподвижно сидѣлъ за столомъ, тяжело опу-

стивъ голову на сложенныя руки. Красивое и блѣдное лицо его выражало совершенную душевную немощь и страшную тревогу.

— Гнусный я, гнусный и ничтожный человѣкъ!—повторилъ себѣ Долинскій, тоскливо и робко оглядываясь по комнатѣ.

— Боже! Кажется, я заболѣю, подумалъ онъ нѣсколько радостнѣе, взглянувъ на свои трясущіяся отъ внутренней дрожи руки.—Боже! если бъ смерть! Если бъ не видѣть и не понимать ничего, что̀ такое дѣлается.

Въ залѣ послышались легкіе шаги и тихій шорохъ Дашинаго платья.

Долинскій вздрогнулъ, какъ вздрагиваетъ человѣкъ, получающій въ грудь острый уколъ тонкой шпаги, поблѣднѣлъ какъ полотно и быстро вскочилъ на ноги. Глаза его остановились на двери съ выраженіемъ неописуемой му̀ки, ужаса и мольбы.

Въ дверяхъ, тихо, какъ появляются фигуры въ зеркалѣ, появилась воздушная фигура Доры.

Даша спокойно остановилась на порогѣ и пристально посмотрѣла на Долинскаго. Лицо Доры было еще живѣе и прекраснѣе, чѣмъ обыкновенно.

Прошло нѣсколько секундъ молчанія.

— Поди же ко мнѣ! — позвала съ покойной улыбкой Дора.

— Я сейчасъ, отвѣчалъ Долинскій, оправляясь и отодвигая ногою свое кресло.

. . . . . .

. . . . . .

Вечеромъ въ этотъ день Даша въ первый разъ была одна. Въ первый разъ за все время Долинскій оставилъ ее одну надолго. Онъ куда-то совершенно незамѣтно вышелъ изъ дома тотчасъ послѣ обѣда и запропастился. Спустился вечеръ и угасъ вечеръ, и темная, теплая и благоуханная ночь настала, и въ воздухѣ запахло спящими розами, а Долинскій все не возвращался. Дору это, впрочемъ, повидимому,

совсѣмъ не безпокоило, она проходила часовъ до двѣнадцати по цвѣтнику, въ которомъ стоялъ домикъ, и потомъ пришла къ себѣ и легла въ постель.

Темная ночь эта застала Долинскаго далеко отъ дома, но въ совершенной физической безопасности. Онъ очень далеко забрелъ скалистымъ берегомъ моря и, стоя надъ обрывомъ, какъ береговой воронъ, остро смотрѣлъ въ черную даль и добивался у рокочущаго моря отвѣта: неужто же я самъ хотѣлъ этого? неужто ужъ ни клятвъ, ни обѣщаній ненарушимыхъ больше нѣтъ?

Часть третья.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Живая душа выгораетъ и куется.

Ничего не было ни хорошаго, ни радостнаго, ни утѣшительнаго въ одинокой жизни Анны Михайловны. Срублена она была теперь подъ самый корень и въ утѣшеніе ей не оставалось даже того гадкаго утѣшенія, которое люди умѣютъ находить въ ненависти и злости. Анна Михайловна была не такой человѣкъ, и Дора не безъ основанія часто называла ее «невозможною».

Въ тотъ самый день, ницскими событіями котораго заключена вторая часть нашего романа, именно наканунѣ св. Сусанны, что̀ въ Петербургѣ приходилось, если не ошибаюсь, около конца пыльнаго и непріятнаго мѣсяца іюля, Аннѣ Михайловнѣ было ужъ какъ-то особенно, какъ передъ пропастью, тяжело и скучно. Цѣлый день у нея валилась изъ рукъ работа и едва-едва она дождалась вечера и ушла посидѣть въ свою полутемную комнату. На дворѣ было около десяти часовъ.

Въ это время къ квартирѣ Анны Михайловны шибко подкатилъ на лихачѣ молодой бѣлокурый баринъ, съ туго завитыми кудрями и самой испитой, ничего не выражающей физіономіей. Онъ быстро снялся съ линейки, велѣлъ извозчику ждать себя, обдернулъ полы шикарнаго пальто-

пальмерстона и, вставивъ въ правый глазъ стеклышко, скрылся за рѣзными дверями параднаго подъѣзда.

Черезъ минуту этотъ господинъ позвонилъ у магазина и спросилъ Долинскаго. Дѣвушка отвѣчала, что Долинскаго нѣтъ ни дома, ни въ Петербургѣ. Гость сталъ добиваться его адреса.

— А лучше всего, просилъ онъ,—попросите мнѣ повидаться съ хозяйкой.

«Что̀ ему нужно такое?» раздумывала Анна Михайловна, вставая и оправляясь.

Гость между тѣмъ топоталъ по магазину, въ которомъ отъ него разносился запахъ гостинодворскаго эс-букета.

— Мое почтеніе!—развязно хватилъ онъ при появленіи въ дверяхъ хозяйки и тряхнулъ себя циммермановской шляпой по ляжкѣ.

Анна Михайловна не просила его садиться и сама не сѣла, а остановилась у шкафа.

Анна Михайловна знала почти всѣхъ знакомыхъ Долинскаго, а этого господина припомнить никакъ не могла.

— Вамъ угодно адресъ Нестора Игнатьича?—спросила она незнакомаго гостя.

— Да-съ, мнѣ нужно ему бы отослать письмецо.

— Адресъ его просто въ Ниццу, poste restante.

— Позвольте просить васъ записать.

— Да, я говорю, просто: Nicce, poste restante.

— Вы къ нему пишете?

Анна Михайловна взглянула на безцеремоннаго гостя и спокойно отвѣчала:

— Да, пишу.

— Нельзя ли вамъ переслать ему письмецо?

— Да вы отошлите просто въ Ниццу.

— Нѣтъ, что жъ тамъ еще разсылаться! Сдѣлайте ужъ милость, передайте.

— Извольте.

— А то мнѣ некогда возжаться.—Гость подалъ конвертъ,

написанный на имя Долинскаго очень дурнымъ женскимъ почеркомъ и сказалъ:—это отъ сестры моей.

— Позвольте же узнать, кого я имѣю честь у себя видѣть?

— Митрофанъ Азовцевъ, отвѣчалъ гость.

— Азовцевъ, Азовцевъ, повторяла въ раздумьѣ Анна Михайловна,—я какъ будто слыхала вашу фамилію.

— Несторъ Игнатьичъ женатъ на моей сестрѣ, отвѣчалъ гость! радостно осклабляясь и показывая рядъ нестерпимо глупыхъ бѣлыхъ зубовъ.

Теперь и почеркъ, которымъ былъ надписанъ конвертъ, показался знакомымъ Аннѣ Михайловнѣ, и что-то кольнуло ее въ сердце. А гость продолжалъ ухмыляться и съ радостью разсказывалъ, что онъ давно живетъ здѣсь въ Петербургѣ, служитъ на *конторѣ*, и очень давно слыхалъ про Анну Михайловну очень много хорошаго.

— Моя сестра, разумѣется, какъ баба, сама виновата,— произнесъ онъ, зареготавъ жеребчикомъ,—ядовита она у насъ очень. Но я Нестора Игнатьича всегда уважалъ и буду уважать, потому что онъ добрый, очень добрый былъ для всѣхъ насъ. Маменька съ сестрою тамъ какъ имъ угодно: это ихъ дѣло. Онѣ у насъ два башмака—пара. На обухѣ рожь молотятъ и зерна не уронятъ.—Азовцевъ зареготалъ снова.

Анна Михайловна созерцала этотъ экземпляръ молча, какъ воды въ ротъ набравши.

Экземпляръ поговорилъ-поговорилъ и почувствовалъ, что пора и честь знать.

— До свиданья-съ, сказалъ онъ, наконецъ, видя, что ему ничего не отвѣчаютъ.

— Прощайте, отвѣчала Анна Михайловна и позвонила дѣвушкѣ.

— Очень радъ, что съ вами познакомился.

Анна Михайловна поклонилась молча.

— Къ намъ на контору, когда мимо случится, милости просимъ.

Хозяйка еще разъ поклонилась.

— Нѣтъ, что жъ такое! — разговаривалъ гость, поправляя палецъ перчатки.—Къ намъ часто даже довольно дамы заходятъ, чаю выкушать или такъ отдохнуть.—Пожалуйста, будьте столько добры!

— Хорошо-съ, отвѣчала Анна Михайловна. — Когда нибудь.

— Сдѣлайте ваше такое одолженіе!

— Зайду-съ, зайду, отвѣчала, чтобъ отвязаться, Анна Михайловна.

Проводя гостя, она нѣсколько разъ прошлась по комнатѣ, взяла письмо, еще прочла его адресъ и опять положила конвертъ на столъ. «Письмо отъ его жены!» думала Анна Михайловна.—«Распечатать его, или нѣтъ?—Лучше отослать ему. А если тутъ что-нибудь непріятное? Если опять какой-нибудь глупый фарсъ? Зачѣмъ же его огорчать? зачѣмъ попусту тревожить?»—Анна Михайловна взялась за конвертъ и положила палецъ на сургучъ, но опять задумалась. «Становиться между мужемъ и женой!—Нѣтъ, не годится», сказала она себѣ и положила письмо опять на столъ. Вечеръ прошелъ, подали закуску. Анна Михайловна ѣла очень мало и въ раздумьѣ глядѣла на m-lle Alexandrine, глотавшую все съ аппетитомъ, въ которомъ голодный волкъ, хотя немножко, но все-таки, однако, уступаетъ французской двадцатипятилѣтней гризеткѣ. Послѣ ужина опять письмо завертѣлось въ рукахъ Анны Михайловны. Ей, какъ Шпекину, въ одно ухо что-то шептало: «не распечатывай», а въ другое—«распечатай, распечатай!» Она вспомнила, какъ Даша говорила: «нѣтъ, мои ангельчики! Если бъ я когда полюбила женатаго человѣка, такъ ужъ—слуга покорная—чьи бы то ни были, хоть бы самыя законныя старыя права на него, все бы у меня покончилось».—«Въ самомъ дѣлѣ!» подумала Анна Михайловна,—«что жъ такое; если въ письмѣ нѣтъ для него ничего непріятнаго, я его отошлю ему; а если тамъ однѣ мерзости, то... подумаю, какъ ихъ сгладить, и тоже отошлю». Она зажгла свѣчу въ комнатѣ Долинскаго и распечатала конвертъ.

На скверной, измятой почтовой бумажкѣ, рыжими чернилами было написано слѣдующее:

«Вы честнымъ словомъ обязались высылать мнѣ ежегодно пятьсотъ рублей и пожертвовали мнѣ какой-то глупый вексель на вашу сестру, которой уступили свою часть вашего кіевскаго дворца. Я, по неопытности, приняла этотъ вексель, а теперь, когда мнѣ понадобились деньги, я вмѣсто денегъ имѣю только одни хлопоты. Вы, конечно, очень хорошо знали, что это такъ будетъ, вы знали, что мнѣ придется выдирать каждый грошъ, когда уступили мнѣ право на вашу часть. Я понимаю всѣ ваши подлости».

Анна Михайловна пожала плечами и продолжала читать далѣе:

«Возьмите себѣ назадъ эту уступку, а я хочу имѣть чистыя деньги. Потрудитесь мнѣ тотчасъ ихъ выслать по почтѣ. Вы зарабатываете болѣе двухсотъ рублей въ мѣсяцъ и половину можете отдать женѣ, которая всегда могла бы быть счастлива съ лучшимъ человѣкомъ, который бы цѣнилъ ее, ежели бы вы не завязали ея вѣкъ. Если вы не захотите этого сдѣлать—я вамъ покажу, что васъ заставятъ сдѣлать. Вы можете тамъ жить хоть не съ одною модисткой, а съ двадцатью разомъ—вы развратникъ были всегда и мнѣ до васъ дѣла нѣтъ. Но вы должны помнить, что вы воспользовались моею неопытностью и довели меня до гибельнаго шага, что вы теперь обязаны меня обезпечить и что я имѣю право этого требовать. У меня есть люди, которые за меня заступятся, и если вы не хотите поступать честно, такъ васъ хорошенько проучатъ, какъ негодяя. Я не прежняя беззащитная дѣвочка, которою вы могли вертѣть, какъ хотѣли».

Анна Михайловна разсмѣялась.

«Я выведу на чистую воду, — продолжала въ своемъ письмѣ m-me Долинская,—и покажу вамъ, какая разница между мною и обирающей васъ метреской».

На щекахъ у Анны Михайловны выступили пятна негодованія. Она вздохнула и продолжала читать далѣе:

«Я осрамлю и васъ, и ее на цѣлый свѣтъ. Вы жалуетесь, что я васъ выгнала изъ дома, такъ ужъ все равно— жалуйтесь, а я васъ выгоню еще и изъ Петербурга вмѣстѣ съ вашей шлюхой».

Письмо этимъ оканчивалось. Анна Михайловна сложила его и внутренно радовалась, что она его прочитала.

— Какая гадкая женщина!—сказала она сама съ собою, кладя письмо въ столикъ и доставая оттуда почтовую бумагу. Лицо Анны Михайловны приняло свое спокойное выраженіе и она, выбравъ себѣ перо по рукѣ, писала слѣдующее:

«Милостивая государыня!

«Прилагаемые при этомъ письмѣ триста рублей прошу васъ получить въ число пятисотъ, требуемыхъ вами отъ вашего мужа. Остальные двѣсти вы аккуратно получите ровно черезъ мѣсяцъ. Бумагу, открывающую вамъ счетъ съ сестрою господина Долинскаго, потрудитесь удержать у себя. Неполученіе вашихъ денегъ отъ его сестры, вѣроятно, не выражаетъ ничего, кромѣ временнаго разстройства ея дѣлъ, которое, конечно, минется, и вы снова будете получать, что̀ вамъ слѣдуетъ. Мужа вашего здѣсь нѣтъ и его совсѣмъ нѣтъ въ Россіи. Письма вашего онъ не получитъ. Вамъ отвѣчаетъ, вмѣсто вашего мужа, женщина, которую вы называете его метреской. Она считаетъ себя въ правѣ и въ средствахъ успокоить васъ насчетъ денегъ, о которыхъ вы заботитесь, и позволяетъ себѣ просить васъ не прибѣгать ни къ какимъ угрожающимъ мѣрамъ, потому что онѣ вовсе ненужны и совершенно безполезны».

Написавши это письмо, Анна Михайловна вложила его въ конвертъ вмѣстѣ съ тремя радужными бумажками и спокойно легла въ постель, сказавъ себѣ:

— Слава Богу, что только всего горя.

Черезъ день у ней былъ Журавка съ своей итальянкой, и если читатель помнитъ ихъ разговоръ у шкафика, гдѣ художникъ пилъ водчонку, то онъ припомнитъ себѣ также

и то, что Анна Михайловна была тогда довольно спокойна и даже шутила, а потомъ только плакала; но не это письмо было причиной ея горя.

Послѣ Новаго года, предъ наступленіемъ котораго Анна Михайловна уже нимало не сомнѣвалась, что въ Ниццѣ дѣло пошло анекдотомъ, до чего даже домыслился и Илья Макаровичъ, сидя за своимъ мольбертомъ въ своей одиннадцатой линіи, пришло опять письмо изъ губерніи. На этотъ разъ письмо было адресовано прямо на имя Анны Михайловны.

Юлочка настрочила въ этомъ письмѣ Аннѣ Михайловнѣ кучу дерзкихъ намековъ и въ заключеніе сказала, что теперь ей извѣстно, какъ люди могутъ быть безстыдно наглы и мерзки, но что она никогда не позволитъ человѣку, загубившему всю ея жизнь, ставить ее на одну доску со всякой встрѣчной; сама пріѣдетъ въ Петербургъ, сама пойдетъ всюду безъ всякихъ протекцій и докажетъ всѣмъ милымъ друзьямъ, что̀ она можетъ сдѣлать.

Анна Михайловна, прочитавъ письмо, произнесла про себя: «дура»! потомъ положила его въ корзинку и ничего на него не отвѣчала. Ей очень жаль было Долинскаго, но она знала, что здѣсь нечего дѣлать и давно рѣшила, что въ этомъ случаѣ всего нужно выжидать отъ времени. Анна Михайловна хорошо знала жизнь и не кидалась ни на какія безполезныя схватки съ нею. Она ей не уступала безъ боя того, что̀ считала своимъ достояніемъ по человѣческому праву, и не боялась боевыхъ мукъ и страданій; но, дорожа своими силами, разумно терпѣла тамъ, гдѣ оставалось одно изъ двухъ—терпѣть и надѣяться, или быть отброшенной и злобствовать, или жить только по великодушной милости побѣдителей.

Она не видѣла ничего опаснаго въ своей системѣ и была увѣрена, что она ничего не потеряла изъ всего того, что̀ могла взять, а что̀ ужъ потеряно, того, значитъ, взять было невозможно по самымъ естественнымъ и, слѣдовательно, самымъ сильнымъ причинамъ. Она сама ничего легкомы-

сленно не бросала, но и ничего не вырывала насильно; жила по душѣ и всѣмъ предоставляла жить по совѣсти. Этой простой логики она держалась во всѣхъ болѣе или менѣе важныхъ обстоятельствахъ своей жизни и не измѣнила ей въ отношеніи къ Долинскому и Дорушкѣ, разорвавшимъ ея скромное счастье.

— Пусть будетъ, что̀ будетъ, говорила сама себѣ Анна Михайловна,—тутъ ужъ ничего не сдѣлаешь, и продолжала писать имъ письма, полныя участья, но свободныя отъ всякихъ нѣжностей, которыя могли бы ихъ безпокоить, шевеля въ ихъ памяти прошедшее, готовое всегда встать тяжелымъ укоромъ настоящему.

А что̀ дѣлали, между тѣмъ, въ Ниццѣ?

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Ницца.

Крылатый божокъ, кажется, совсѣмъ поселился въ трехъ комнаткахъ m-me Бюжаръ, и другимъ темнымъ и свѣтлымъ божествамъ не было входа къ обитателямъ скромной квартирки съ итальянскимъ окномъ и густыми зелеными занавѣсками. О поѣздкѣ въ Россію, разумѣется, здѣсь ужъ и рѣчи не было, да и о многомъ, о чемъ слѣдовало бы вспомнить, здѣсь не вспоминали и рѣчей не заводили. Страстная любовь Доры совершенно овладѣла Долинскимъ и не давала ему еще пока ни призадуматься, ни посмотрѣть въ будущее.

— Боже мой, какъ мы любимъ другъ друга!—восхищалась Даша, сжимая голову Долинскаго въ своихъ розовыхъ, свѣженькихъ ручкахъ.

Несторъ Игнатьичъ обыкновенно застѣнчиво молчалъ при этихъ страстныхъ порывахъ Доры, но она и въ этомъ молчаніи ясно читала всю необъятность чувства, зажженнаго ею въ душѣ своего любовника.

— Ты меня ужасно любишь? Ты никого такъ не любилъ,

какъ меня?—спрашивала она снова, стараясь добиться отъ него желаемаго слова.

— Я всею душою люблю тебя, Дора.

Даша весело вскрикивала и еще безумнѣе, еще жарче ласкала Долинскаго.

Разговоры ихъ никто бы не записалъ, да они всѣмъ бы и наскучили. Всѣ ихъ разговоры были въ этомъ родѣ, а разговоры въ этомъ родѣ могутъ быть вполнѣ понятны только для того существа, которое, прочитавъ эти строчки, можетъ наклонить къ себѣ любимую головку и почувствовать то, что́ чувствовали Даша и Долинскій. Анна Михайловна говорила правду, что они ни о чемъ не думали и только «любились». А время шло. Со дня святой Сусанны минуло болѣе пяти мѣсяцевъ. Въ Ниццу опять пріѣхало изъ Россіи давно жившее тамъ семейство Онучиныхъ. Семейство это состояло изъ матери, происходящей отъ древняго русскаго княжескаго рода, сына—молодого человѣка, очень умнаго и непомѣрно строгаго, да дочери, которая подъ Новый годъ была въ магазинѣ «M-me Annette» и вызвалась передать ея поклонъ Дашѣ и Долинскому. Мать звали Серафимой Григорьевной, сына — Кирилломъ Сергѣевичемъ, а дочь—Вѣрой Сергѣевной. Семейство это было немного знакомо съ Долинскимъ.

Возвратясь въ Ниццу, Вѣра Сергѣевна со скуки вспомнила объ этомъ знакомствѣ и какъ-то послала просить Долинскаго побывать у нихъ когда-нибудь за́-просто. Несторъ Игнатьевичъ на другой же день пошелъ къ Онучинымъ. Въ пять мѣсяцевъ это былъ его первый выходъ въ чужой домъ. Въ эти пять мѣсяцевъ онъ одинъ никуда не выходилъ, кромѣ кофейни, въ которой онъ изрѣдка читалъ газеты, и то Дорушка обыкновенно ждала его гдѣ-нибудь или на бульварѣ, или тутъ же въ кафе.

Вѣра Сергѣевна встрѣтила Долинскаго на террасѣ, окружавшей домикъ, въ которомъ они жили. Она сидѣла и разрѣзывала только что полученную французскую иллюстрированную книжку.

— Здравствуйте, m-r Долинскій!—сказала она, радушно протягивая ему свою длинную бѣлую руку.—Берите стулъ и садитесь. Maman еще не вышла, а брата нѣтъ дома — поскучайте со мною.

Долинскій принесъ стулъ къ столу и сѣлъ.

— Какъ поживаете?—спросила его Вѣра Сергѣевна.

— Благодарю васъ: день за день, все по-старому.

— Рвешься изъ Россіи въ эти чужіе края, резонировала дѣвушка,—а пріѣдешь сюда—и здѣсь опять такая же скука.

— Да, тутъ въ Ниццѣ, кажется, не очень веселятся.

— А вы никуда не выѣзжали?

— Нѣтъ, я не выѣзжалъ.

— Что жъ, вы... много работаете?

— Такъ... какъ нѣмцы говорятъ: «etwas».

— Sehr wenig, значитъ.

— Очень мало.

— Но, конечно, будете такъ любезны, что прочтете намъ то, что̀ написали.

— Полноте, Вѣра Сергѣевна! Что вамъ за охота слушать мое кропанье, когда есть столько хорошихъ вещей, которыя вы можете прочесть и съ удовольствіемъ, и съ пользою.

— Униженіе паче гордости, шутливо замѣтила Вѣра Сергѣевна и, оставивъ этотъ разговоръ, тотчасъ же спросила:—а что дѣлается съ вашей очаровательной больной?

— Ей лучше, отвѣчалъ Долинскій.

— Я видѣла ея сестру.

— А-а! гдѣ же это?

Вѣра Сергѣевна разсказала свое свиданіе съ Анной Михайловной, какъ будто совсѣмъ не смотря на Долинскаго, но, впрочемъ, на лицѣ его и не видно было никакой особенно замѣчательной перемѣны.

— И больше ничего она не говорила?

— Нѣтъ. Она сказала, что вы часто переписываетесь.

Тутъ Несторъ Игнатьевичъ слегка покраснѣлъ и отвѣчалъ:

— Да, это правда.

— Что вы не курите, monsieur Долинскій, хотите папироску?

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не курю.

— Вы, кажется, курили.

— Да, курилъ, но теперь не курю.

— Что же это за воздержаніе?

— Такъ, что-то надоѣло. Хочу воспитывать въ себѣ волю, Вѣра Сергѣевна, шутилъ Долинскій.

— А, это очень полезно.

— Только боюсь, не поздненько ли это нѣсколько?

— Ну, mieux tard...

— Que jamais—замѣчаніе во всѣхъ другихъ случаяхъ совершенно справедливое, подсказалъ Долинскій.

— Не собираетесь въ Россію?—спросила Вѣра Сергѣевна послѣ короткой паузы.

— Нѣтъ еще.

— А тамъ новостей, новостей!

— Будьте милостивы, разскажите.

M-lle Онучина разсказала нѣсколько русскихъ новостей, которыя только для нея и были новостями и которыя Долинскій давно зналъ изъ иностранныхъ газетъ. Старая Онучина все не выходила. Долинскій посидѣлъ около часу, простился, обѣщалъ заходить и ушелъ съ полной рѣшимостью не исполнять своего обѣщанія.

— Что ты тамъ сидѣлъ такъ долго?—спросила его Даша, встрѣчая на крыльцѣ, съ лицомъ въ одно и то же время и веселымъ, и нѣсколько тревожнымъ.

— Всего часъ одинъ только, Дора, отвѣчалъ покорно Долинскій.

— Часъ! какъ это странно... нетерпѣливо сорвала Дора и остановилась, чувствуя, что говоритъ не дѣло.

— Нельзя же было, Дора.

— Ну, да... очень можетъ быть. Ну, что жъ тебѣ разсказали?

— Ничего. Просто поклонъ привезли.

— Отъ Анны?

— Да.

Оба долго молчали. Даша сидѣла, сложа руки, Долинскій съ особеннымъ тщаніемъ выбивалъ щелчками пыль, насѣвшую на его бѣлой фуражкѣ.

— Что жъ еще разсказывали тебѣ?—спросила, поправляясь на диванѣ, Даша.

— Ничего, Дора.

— Какъ это глупо!

— Что не разсказывали-то?

— Нѣтъ, что ты скрытничаешь.

— О новостяхъ говорила m-lle Vèra.

— О какихъ?

— Ну, все старое. Я тебѣ все давно говорилъ.

— Чего жъ ты такимъ сентябремъ смотришь?

— Что тебѣ кажется! Тебѣ просто посердиться хочется.

— Первый туманъ, сказала Даша, спокойно давая ему свою руку.

— Какой туманъ?

— На лбу у тебя.

— Ну, что ты сочиняешь вздоры, Даша!

— Не будь, сдѣлай милость, ничтожнымъ человѣкомъ. Нашъ мостъ разоренъ! Наши корабли сожжены! Назадъ идти нельзя. Будь же человѣкомъ, ужъ если не съ волею, такъ хоть съ разумомъ.

— Да чего ты хочешь, Даша?

Даша вмѣсто отвѣта посмотрѣла на него искоса очень пристально и съ легкой презрительной гримаской.

— Я жъ люблю тебя!—успокоивалъ ее Долинскій.

— И боишься?

— Чего?

— Прошлаго.

— Богъ знаетъ, что тебѣ сегодня кажется.

— То, что есть на самомъ дѣлѣ, мой милый.

— Напрасно; я только думаю, что честнѣе было бы съ нашей стороны обо всемъ написать...

Даша задумалась и потомъ, вздохнувъ, сказала:

— Я сама знаю, что̀ нужно дѣлать.

Вечеромъ, по обыкновенію, они сидѣли на холмикѣ и въ первый разъ порознь думали.

— Ты ничего не работаешь?—спросила Даша.

— Ничего, Дора.

— Я тоже ничего.

— Что жъ тебѣ работать!

— А деньги у насъ есть еще?

— Не безпокойся, есть.

— Работай что-нибудь, а то мнѣ стыдно, что я мѣшаю тебѣ работать.

— Чѣмъ же ты-то мѣшаешь?

— Да вотъ тѣмъ, что все ты возлѣ меня вертишься.

— Гдѣ же мнѣ еще быть, Дора?

— И это, конечно, правда,—сказала съ задумчивой улыбкой Даша и, не спѣша пригнувъ къ себѣ голову Долинскаго, поцѣловала его и вздохнула.

Тихо они встали и пошли домой.

— Какой ты покорный!—говорила Даша, усѣвшись отдохнуть на диванѣ и пристально глядя на Долинскаго. — Смѣшно даже смотрѣть на тебя.

— Даже и смѣшно?

— Да какъ же!—Не куритъ, не ходитъ никуда, въ глаза мнѣ смотритъ, какъ падишаху какому-нибудь.

— Это все тебѣ такъ кажется.

— Зачѣмъ ты пересталъ курить?

— Наскучило.

— Врешь!

— Право, наскучило.

— Право, врешь.—Ну, говори правду. Чтобы дыму не было—да?

Долинскій улыбнулся и качнулъ въ знакъ согласія головой.

— Чѣмъ ты меня любишь?

— Какъ чѣмъ?

— Вѣдь, у тебя сердце все размѣненное, а любить можно разъ въ жизни, сказала, смѣясь, Даша.

— Ну, почему жъ я это знаю.

— А что, если бъ я умерла?

Долинскій даже поблѣднѣлъ.

— Полно, полно, не пугайся, отвѣчала Даша, протягивая ему свою ручку.—Не сердись—я, вѣдь, пошутила.

— Какія же шутки у тебя!

— Вотъ странный человѣкъ! Я думаю, я и сама не имѣю особеннаго влеченія умирать. Я боюсь тебя оставить. Ты съ ума сойдешь, если бъ я умерла?

— Боже спаси.

— Буду жить, буду жить, не бойся.

Утромъ Несторъ Игнатьевичъ покойно спалъ въ ногахъ на Дорушкиной постели, а она рано проснулась, сѣла, долго внимательно смотрѣла на него, потомъ подняла волосы съ его лица, тихо поцѣловала его въ лобъ и, снова опустившись на подушки, проговорила:

— Боже мой! Боже мой! что̀ съ нимъ будетъ? Что мнѣ съ нимъ сдѣлать?

Опять все за грудь стала Даша частенько потрогиваться, какъ только оставалась одна. Но при Долинскомъ она, попрежнему, была веселою и покойною, только, кажется, становилась еще нѣжнѣе и добрѣе.

— Напишу я, Даша, Аннѣ, говорилъ ей Долинскій.

— Что жъ ты ей напишешь?

— Что я тебя больше всего на свѣтѣ люблю.

— Она это и такъ знаетъ!—улыбаясь, отвѣтила Даша.

— Почему ты думаешь?

— Я это знаю.

— Все же надо написать что-нибудь.

— Нечего писать что-нибудь.

— Нѣтъ, по-моему, все-таки лучше писать *ничего*, чѣмъ ничего не писать.

— Подожди. Я напишу сама, отвѣчала послѣ минутной паузы Дора.

А все не писала.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Цвѣтутъ въ полѣ цвѣтики да померкнутъ.

Мартъ прошелъ. Дашѣ ужъ не въ моготу стало скрывать своего нездоровья и съ лица она стала измѣняться.

— Весна, вѣрно, у насъ начинается, сказала она одинъ разъ Долинскому.

Долинскій понялъ Дашино вступленіе и мгновенно поблѣднѣлъ.

— Слабость у меня какая-то во всемъ тѣлѣ, пояснила Дора.

— Что̀ съ тобою?

— Ничего, а такъ—слабость.

— Господи! Дорушка! счастье мое, да что̀ жъ это съ тобой?

— Ничего, ничего. Слабость маленькую все чувствую, и больше ничего.

А доктора звать ни за что не хотѣла.

Кашель сталъ появляться и жаръ по ночамъ обнаруживался.

— Какой ты забавный!—говорила Даша, откашливаясь, смотря на Долинскаго.—Я кашляю, а его точно давитъ что-нибудь!—откашливается по обязанности. Ну, чего ты морщишься?—весело спросила она и засмѣялась.

— Не смѣйся такъ, Дора.

— Чего жъ плакать, мой другъ?

— Боюсь я за тебя.

— Чего?—Что я умру?

Долинскій смотрѣлъ на нее молча и мѣнялся въ лицѣ.

— Ты умри со мной.

— Полно шутить.

— Ага! любишь, любишь, а умирать вмѣстѣ не хочешь, говорила Дора, играя его волосами.

У Долинскаго навернулись слезы и онъ отвѣчалъ:

— Нѣтъ, хо̀чу.

— А лжешь!

— Да полно жъ тебѣ меня мучить, Дора.

— Не мучить! Ну, хорошо, ну, слушай.

Дорушка повернулась къ нему лицомъ и сказала:

— Вотъ, мой другъ, что̀ сей сонъ обозначаетъ...

Дорушка снова остановилась.

— Да что̀ же ты хочешь сказать? — нетерпѣливо спросилъ Долинскій, отирая выступавшій у него на лбу холодный потъ.

— А то, мой милый, что... не обращай ты вниманія, если тебѣ когда-нибудь кажется, что я будто стала холодна, что я скучаю... Мнѣ все стало очень тяжело; не могу я быть и для тебя всегда такою, какою была. И для любви тоже силы нужны.

— Да что̀ же съ тобой такое?

— Дурно.

— Господи! что̀ же такое? что̀?

— Давно дурно.

— Чего жъ ты молчала?

— Это все равно.

— Какъ, все равно?

— Ничто мнѣ не поможетъ.

— Ты себѣ сочиняешь, сказалъ, вскочивъ, Долинскій.

Даша молчала.

— Иди, ложись спать и дай мнѣ уснуть, сказала она черезъ минуту.

Долинскій въ раздумьѣ сѣлъ у ея ногъ.

— Ложись тутъ и спи, сказала опять Даша, указывая на мѣсто у своихъ ногъ.

По дрожащимъ и жаркимъ губамъ Долинскаго, которыми онъ прикоснулся къ рукѣ Даши, она догадалась, что онъ разстроенъ до слезъ и сказала:

— Пожалуйста, пусть будетъ очень тихо, мнѣ хочется крѣпко уснуть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Приговоръ.

Утромъ Долинскій осторожно вышелъ изъ комнаты и отправился къ доктору.

Въ двѣнадцать часовъ явился докторъ и, долгонько посидѣвъ у Даши, вошелъ въ комнату Нестора Игнатьевича, написалъ рецептъ и уѣхалъ, а Даша повеселѣла какъ будто.

— Ну, чего ты такъ раскисъ! — говорила она Долинскому.—Все хорошо, я сама напрасно перепугалась. Поживемъ еще, поцарствуемъ.

Долинскій только руки ея цѣловалъ. Онъ хотѣлъ надѣяться и не смѣлъ вѣрить.

— Ну, ну, полно же.—А ты вотъ что́ сдѣлай для меня. Принеси мнѣ нашу казну.

— Денегъ еще много.

— Посмотримъ.

Денегъ, точно, было около двухъ тысячъ франковъ.

— Мало. Ты долженъ для меня заработать много. У меня есть къ тебѣ просьба.

— Приказывай, Даша.

— Заработай мнѣ денегъ. Мнѣ деньги нужны.

— Выдумываешь что-нибудь.

— Право, нужны; наряжаться хочу.

— Ну, хорошо, я буду работать, а ты скажи, на что́ тебѣ деньги нужны?

— Видишь, пора намъ и за дѣло браться. Ты работай свою работу, а я на первыя же деньги открываю русскій, этакой, знаешь, пока маленькій ресторанчикъ.

Долинскій разсмѣялся.

— Ничего нѣтъ смѣшного! Я не меньше тебя заработаю. Англичане же всѣ ходятъ ѣсть ростбифъ въ своемъ трактирѣ.

— Ну?

— А у меня будетъ солонина, окрошка, пироги, квасъ,

палотки; не бойся, пожалуйста, я вѣрно разсчитала. Ты не бойся, я на твоей шеѣ жить не стану. — Я бы очень хотѣла... дѣтей учить, дѣвочекъ; да, вѣдь, не дадутъ. Скажутъ, сама безнравственная. А трактирщицей, ничего себѣ, могу быть—даже прилично.

Долинскій еще искреннѣе разсмѣялся.

— Ничего, ничего, говорила съ гримаской Дора.—Вѣдь, я всегда трудилась и, разумѣется, опять буду трудиться.— Ничего новаго! Это вы только разсуждаете, какъ бы женщинѣ потрудиться, а когда же наша простая женщина не трудилась? Я же, вѣдь, не барышня; неужто же ты думаешь, что я шла ко всему, не думая, какъ жить, или думая, по-барски, сѣсть на твою шею?

— Да я ничего.

— Ну, такъ нечего, значитъ, и смѣяться. Работай же. Помни, что вотъ я выздоровѣю, фондъ нуженъ, напоминала она, вскорѣ послѣ этого разговора Долинскому.

— Что̀ же работать?

— Господи! Вотъ Фигаро нетлѣнный: все ткни его носомъ да покажи. Ну, разумѣется, пиши повѣсть.

— Дорушка! Вы же понимаете, что повѣсти по заказу не пишутся. У меня въ головѣ нѣтъ никакой повѣсти.

— Ну, я тебѣ задамъ.

— Задай, задай, весело отвѣчалъ Долинскій.

— Ну, вотъ ты да я—вотъ тебѣ и повѣсть.

— Нѣтъ, это ужъ пусть другіе пишутъ.

— Отчего жъ?

— Къ сердцу очень близко.

— Напрасная сантиментальность. — Ну, Онучина, которой любить хочется, да маменька не велитъ.

— Я ее совсѣмъ не знаю, Дора.

— Побесѣдуй.

— Да откуда ты-то знаешь, что ей любить хочется?

— Такъ; приснилось мнѣ, что ли—не помню.

— Да ты жъ съ ней не говорила.

— Тутъ нечего и говорить. А, впрочемъ, нѣтъ... постой,

постой! — вскрикнула, подумавъ, Даша. — Вотъ что̀ бери: бери этакую, знаешь, барыню, которая все испытываетъ: любятъ ли ее вѣрно, да на цѣлый ли вѣкъ? Ну, и тутъ словъ! словъ! словъ! — Съ словами цѣлая свора разныхъ, разныхъ прихвостней. Все она собирается любить «жарче дня и огня», а годы все идутъ, и сберется она полюбить, когда ее любить никто не станетъ, или полюбитъ того, кто менѣе всего сто̀итъ любви. Выйдетъ ничего-себѣ повѣсть, если хорошенько разыграть.

— Начнемъ-ка, подбавила Дора, — я буду вязать себѣ платокъ, а ты пиши.

Шутя началась работа. Повѣсть писалась и платокъ вязался.

— Что̀, ваша кузина... не замужемъ? — спросилъ одинъ разъ докторъ, садясь за столикъ въ комнатѣ Долинскаго, чтобы записать рецептъ Дашѣ.

— Нѣтъ, не замужемъ, нѣсколько смутясь, отвѣчалъ Долинскій.

Докторъ нагнулся къ столу и, написавъ, не спѣша, двѣ строчки, снова сказалъ:

— Я хотѣлъ васъ спросить: дѣвушка она, или нѣтъ? — очень странные симптомы!

Онъ быстро поднялъ глаза отъ бумаги на лицо Долинскаго. Тотъ былъ красенъ до ушей. Докторъ снова нагнулся, отбросилъ начатый рецептъ въ сторону и, написавъ новый, уѣхалъ.

— Что же, развѣ ей очень дурно?—спросилъ Долинскій, провожая доктора за дверь.

— Теперь ничего особеннаго, хотя и хорошаго нѣтъ, но послѣ болѣзнь можетъ идти crescendo, отвѣчалъ врачъ сухо и даже нѣсколько строго.

— Что̀ тебѣ говорилъ докторъ?

— Ничего особеннаго, отвѣчалъ, смущаясь, Долинскій.

— Онъ все съ намеками какими-то?

— Да.

— И все вретъ.

— А если правда?

— Лжетъ, лжетъ, я знаю. Я просто простудилась. Послушай-ка меня! Устрой-ка ты мнѣ на ночь ножную ванну— это мнѣ всегда помогало.

— Это прежде было, Дора.

— Ахъ, не спорь о томъ, чего не понимаешь!

— А если хуже будетъ?

— Ахъ, Боже мой, что̀ же это за наказаніе съ этими безтолковыми людьми! Ну, не будетъ хуже, русскимъ вамъ языкомъ говорю, не будетъ, не будетъ, настаивала Дора.

Вечеромъ Даша, при содѣйствіи m-me Бюжаръ, брала ножную ванну и встала на другое утро довольно бодрою, но къ полудню у ней все кружилась голова, а передъ обѣдомъ она легла въ постель.

Пять дней она уже лежала и все ей худо было. Докторъ началъ покачивать головой и разъ сказалъ Долинскому:

— Просто не пойму, что̀ это такое?

— Ванну она брала.

— Зачѣмъ?

— Хотѣла.

Докторъ пожалъ плечами и уѣхалъ.

Больная все разнемогалась. Кашель сильный начался, а по ночамъ изнурительный потъ.

— Что̀ съ нею, докторъ? — спрашивалъ встревоженный Долинскій.

— Ничего не могу вамъ сказать хорошаго.

— Неужто это все ванна надѣлала?

— Не думаю, но болѣзнь идетъ ужасно быстро.

— Боже мой! что̀ жъ дѣлать?

— Будемъ дѣлать, что̀ можно.

— Собрать консиліумъ?

— Соберите.

Пять докторовъ были и деньги взяли, а Дашѣ день-ото-дня становилось хуже. Не мучилась она, а все слабѣла

и тяжело дышать стала. Долинскій не отходилъ отъ нея ни на шагъ и самъ разнемогся.

— Сходи къ Онучинымъ, говорила Долинскому Даша, стараясь услать его утромъ изъ дома.

— Зачѣмъ?

— Принеси мнѣ русскую иллюстрацію.

Несторъ Игнатьевичъ взялъ фуражку.

— А ко мнѣ пошли m-me Бюжаръ, сказала ему вслѣдъ Даша.

Онъ мимоходомъ позвалъ къ ней старуху.

Когда онъ возвратился, въ комнатѣ Даши стоялъ диванъ, перенесенный изъ его кабинетика.

— Зачѣмъ ты это велѣла перенести, Даша?

— Такъ; ты прилечь здѣсь можешь, когда устанешь.

Часто и все чаще и чаще она стала посылать его къ Онучинымъ, то за газетами, которыя потомъ заставляла себѣ читать и слушала, какъ будто со вниманіемъ, то за узоромъ, то за русскимъ чаемъ, котораго у нихъ не хватило. А между тѣмъ въ его отсутствіе она вынимала изъ-подъ подушки бумагу и скоро, и очень скоро что-то писала. Схватится за грудь руками, подержитъ себя сколько можетъ крѣпче, вздохнетъ болѣзненно и опять пишетъ, пока на дворѣ подъ окнами раздадутся знакомые шаги.

— Прибѣжалъ, не вытерпѣлъ, скажетъ, улыбаясь, Дора.— Бѣдный ты мой! Зачѣмъ ты меня такъ любишь?

У Долинскаго стало все замѣтнѣе и замѣтнѣе недоставать словъ. Въ такія особенно минуты онъ обыкновенно или потерянно молчалъ, или столь же потерянно бралъ больную за руку и не сводилъ съ нея глазъ. Очень тяжело, невыносимо тяжело видѣть, какъ близкое и дорогое намъ существо таетъ, какъ тонкая восковая свѣчка, и спокойно переступаетъ послѣднія ступени къ могилѣ.

Даша проболѣла мѣсяцъ и извелась совсѣмъ; сдѣлалась сухая, какъ перезимовавшая въ полѣ былинка, и прозрачная, какъ вытаявшая восковая фигура, освѣщенная сбоку.

Въ послѣднее время она почти ничего не кушала и перестала посылать изъ дома Долинскаго.

— Будь теперь возлѣ меня, говорила она ему.—Теперь ужъ недолго.

— Да что ты, Дора, въ самомъ дѣлѣ, умирать, что ли, собираешься?

— А ты какъ думаешь?—тихо спросила Дора.

Долинскій стоялъ передъ нею сущимъ истуканомъ.

— Охъ, какой ты смѣшной! — говорила, черезъ силу улыбаясь, Дорушка. — Ну, чего ты моргаешь? Чего тебѣ жаль? Жаль меня? Ну, люби меня послѣ смерти!.. да что объ этомъ. Плачь, если плачется, а я счастлива.

Дорушка кашлянула, задумалась и произнесла еще спокойнѣе:

— Смерть! Что жъ такое смерть? Неизбѣжное!.. Ну, и пусть жизнь оборвется на живомъ звукѣ, сразу, безъ стоновъ, безъ жалобъ нищенскихъ.

Дорушка опять кашлянула и. показавъ Долинскому бѣлый платокъ съ свѣжимъ алымъ пятнышкомъ, улыбнулась.

Больной становилось все хуже. Докторъ сказалъ, что ужъ нѣтъ никакой надежды.

Даша допыталась сама о состояніи своего здоровья и сказала:

— Теперь напиши Аннѣ, что я безнадежна.

Долинскій написалъ письмо; Даша прочла его, написала внизу: «прощай, сестра», и отдала m-me Бюжаръ, чтобы отправить на почту. На другой день, когда старуха перемѣняла на ней бѣлье, она отдала ей другой толстый пакетъ и велѣла его бросить завтра въ ящикъ. Два дня потомъ она была совсѣмъ едва жива, а на третій ей вдругъ полегчало. Цѣлый день Долинскій никакъ не могъ ее упросить, чтобы она молчала. Все, какъ птичка, она щебетала и все возлѣ себя держала его. Ночью спала она очень покойно и слѣдующій день начала хорошо, но раза три все порывалась вскрикнуть, какъ будто разрывалось что-то у

нея въ груди. Слѣдующая ночь ей была гораздо труднѣе: она бредила, вскрикивала и безпрестанно звала Долинскаго.

— Я здѣсь, Дора, отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Гдѣ? Гдѣ ты?

Плачетъ и сама руками ищетъ въ воздухѣ.

— Да, вотъ я, вотъ, возлѣ тебя, отвѣчалъ Долинскій, сжимая ея руку.

— Господи! а я ужъ думала, мнѣ показалось, что я... что тебя ужъ нѣтъ со мною.

— Полно, успокойся, Дора.

— Да гдѣ же ты опять?

— Да я же вотъ держу тебя за руки.

— То-то... Голосъ твой вдругъ какъ-то странно... далеко мнѣ послышался. Ты не отходилъ отъ меня?—спрашиваетъ она въ жару, тревожно водя блуждающими глазами.

— Нѣтъ, Дора.

— То-то, ты не отходи.

— Куда же я пойду?

— Ну, Богъ тебя знаетъ.

Даша на минутку забывалась и опять вскорѣ звала.

— Что̀ же? что̀, моя Дора? — перепуганнымъ голосомъ спрашивалъ забывавшійся минутнымъ сномъ Долинскій.

— Все мнѣ кажется, какъ будто мы другъ отъ друга уходимъ.

— Ты бредишь, Даша.

— Да, вѣрно, брежу.—Ты меня держишь за руку?

— Ну, да, Дора. Богъ съ тобой, развѣ ты не видишь?

— Нѣтъ, вижу. Только ты все далеко какъ-то. Ты лучше обними меня. Сядь такъ, ближе, возьми меня къ себѣ.

И она уснула почти на рукахъ Долинскаго. Когда солнышко взглянуло сквозь занавѣску, Даша спала, спокойна и прекрасна, и предательскія алыя пятна весело играли на ея нѣжныхъ щечкахъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Finita la comedia.

Съ утра Дашѣ было и такъ и сякъ, только землистый цвѣтъ, проступавшій по тонкой кожѣ около устъ и носа, придавалъ лицу Даши какое-то особенное непріятное и даже страшное выраженіе. Это была та непостижимая печать, которою смерть заживо отмѣчаетъ обреченныя ей жертвы. Даша была очень серьезна, смотрѣла въ одну точку, и блѣдными пальцами все обирала что-то съ своего, перстью земною покрывавшагося лица. Къ ночи ей стало хуже, только она, однако, уснула.

Долинскій приподнялся, дошелъ на цыпочкахъ до дивана и прилегъ. Онъ былъ очень изнуренъ многими безсонными ночами и уснулъ какъ умеръ. Однако, не смотря на крѣпкій сонъ, часу во второмъ ночи, его какъ будто кто-то самымъ безцеремоннымъ образомъ толкнулъ подъ бокъ. Онъ вскочилъ, оглянулся и вздрогнулъ. Даша, опершись на свою подушку локоткомъ, манила Долинскаго къ себѣ пальчикомъ, и тихонько, шопотомъ называла его имя.

— Что ты?—спросилъ онъ, подойдя къ ея постели.

— Тссс! — произнесла Даша и сердито погрозила пальцемъ.

Долинскій остановился и оглянулся.

— Тссс!—повторила Даша и спросила шопотомъ:—когда она пріѣхала?

— Кто пріѣхала!

— Анна.

— Какая Анна?

— Ну, Анна, Анна, сестра.

— Богъ съ тобой, это тебѣ приснилось.

Даша разсердилась.

— Не приснилось, а она приходила сюда, вотъ тутъ, вотъ возлѣ меня стояла въ бѣломъ капотѣ.

— Что̀ ты говоришь, Дора, вздоръ какой! Зачѣмъ здѣсь будетъ Анна?

— Я тебѣ говорю, она сейчасъ была тутъ, вотъ тутъ. Она смотрѣла на меня и на тебя. Вотъ въ лобъ меня поцѣловала, я еще и теперь чувствую, и сама слышала, какъ дверь за ней скрипнула. Ну, выйди, посмотри лучше, чѣмъ спорить.

Долинскій зажегъ у ночной лампочки свѣчу и вышелъ въ другую комнату. Никого не было; все оставалось такъ, какъ было. Проходя мимо зеркала, онъ только испугался своего собственнаго лица.

— Ничего нѣтъ, сказалъ онъ, входя къ Дашѣ, возможно спокойнымъ и твердымъ голосомъ.

— Чего жъ ты такъ обрадовался? чего ты кричишь-то! Ну, нѣтъ и нѣтъ.

— Я обыкновеннымъ голосомъ говорю.

— Не надо обыкновеннымъ голосомъ говорить—говори другимъ.

Лицо Доры было необыкновенно сурово, даже страшно своею грозною серьезностью.

При свѣтѣ, на немъ теперь очень ясно обозначились серьезныя черты Иппократа.

— Зачѣмъ же это другимъ голосомъ? Что̀ ты все пугаешь меня, Даша?—сказалъ ей, дѣйствительно дрожа отъ непонятнаго страха, Долинскій.

— Это смерть моя приходила, отвѣчала съ досадой больная.

Долинскій понималъ, что больная бредитъ наяву, а мурашки все-таки по немъ пробѣжали.

— Какой вздоръ, Даша!

— Нѣтъ, не вздоръ, нѣтъ, не вздоръ, — и Даша заплакала.

— Чего жъ ты плачешь?

— Того, что ты со мной споришь. Я больна, а онъ споритъ.

— Ну, успокойся же, я, точно, виноватъ.

— Виноватъ!

Даша отерла платкомъ слезы и сказала:

— И опять глупо: совсѣмъ не виноватъ. Сядь возлѣ меня; я все пугалась чего-то.

Долинскій сѣлъ у изголовья.

— Капризная я стала?—спросила едва слышно больная.

— Нѣтъ, Дора, какіе жъ у тебя капризы?

— Ну, я тебѣ скажу какіе, только, пожалуйста, со мной не спорь и не возражай.

— Хорошо, Дора.

— Я хочу, чтобы ты меня на свои трудовыя деньги мертвую привезъ въ Россію. Хорошо?

Долинскій молчалъ.

— Исполнишь? — спрашивала ласково Дора.

— Исполню.

— До тѣхъ поръ не выѣзжай отсюда. Сдѣлаешь?

— Сдѣлаю.

Она приложила къ его губамъ свою ручку, а онъ поцѣловалъ ее, и больная уснула.

Черезъ два дня послѣ этого, съ самаго утра, ей стало очень худо. День она провела безъ памяти и, глядя во всѣ глаза на Долинскаго, все спрашивала: «Гдѣ ты? Не отходи же ты отъ меня!» Передъ вечеромъ зашелъ докторъ и, выходя, только губами подернулъ, да махнулъ около носа пальцемъ. Дѣло шло къ развязкѣ. Долинскій совсѣмъ растерялся. Онъ стоялъ надъ постелью безъ словъ, безъ чувствъ, безъ движенія и не слыхалъ, что возлѣ него дѣлала старуха Бюжаръ. Только милый голосъ, звавшій его время отъ времени, выводилъ его на мгновеніе изъ страшнаго оцѣпененія. Но и этотъ низко-упавшій голосъ очень мало напоминалъ прежній звонкій голосъ Доры. Въ комнатѣ была мертвая тишина. М-me Бюжаръ начинала позѣвывать и кланяться сѣдою головою. Пришла полночь, стало еще тише. Вдругъ, среди этой тишины, Даша стала тихо приподниматься на постели и протянула руки. Долинскій поддержалъ ее.

— Пусти, пусти, прошептала она, отводя его руки.

Онъ уложилъ ее опять на подушки и она легла безпре кословно.

Зорька стала заниматься и въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ сегодня не были опущены занавѣски, начало сѣрѣть. Даша вдругъ опять начала тихо и медленно приподниматься, воззрилась въ одну точку въ ногахъ постели и прошептала:

— Звонятъ! Гдѣ это звонятъ? и съ этими словами внезапно вздрогнула, схватилась за грудь, упала навзничь и закричала:—ой, что̀ жъ это! больно мнѣ! больно! — Охъ, какъ больно! Помогите хоть чѣмъ-нибудь. А-а! В-о-т-ъ о-н-а смерть! — Жить!.. Ахъ!.. ахъ! жить, еще, жить хочу! крикнула громкимъ, рѣзкимъ голосомъ Дора и какъ-то неестественно закинула назадъ голову.

Долинскій нагнулся и взялъ ее подъ плечи; Дора вздрогнула, тихо потянулась, и ея не стало.

У изголовья кровати стояла m-me Бюжаръ и плакала въ платокъ, а Долинскій такъ и остался, какъ его покинула отлетѣвшая жизнь Доры.

Прошло десять или пятнадцать минутъ, m-me Бюжаръ рѣшилась позвать Долинскаго, но онъ не откликнулся

Онъ ничего не слыхалъ.

М-me Бюжаръ пошла домой, плакала, пила со сливками свой кофе, опять просто плакала и опять пришла — все оставалось попрежнему. Только свѣтло совсѣмъ въ комнатѣ стало.

Француженка еще разъ покликала Долинскаго, онъ тупо взглянулъ на нее и его лѣвая щека скривилась въ какую-то особенную кислую улыбку. Старуха испугалась и выбѣжала.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Сирота.

Madame Бюжаръ побѣжала къ Онучинымъ. Она знала, что, кромѣ этого дома, у ея жильцовъ не было никого зна-

комаго. Благородное семейство еще почивало. Француженка усѣлась на террасѣ и терпѣливо ожидала. Здѣсь ее засталъ Кириллъ Сергѣевичъ и обѣщался тотчасъ идти къ Долинскому. Черезъ часъ онъ пришелъ въ квартиру покойницы вмѣстѣ съ своею сестрою. Долинскій попрежнему сидѣлъ надъ постелью и неподвижно смотрѣлъ на мертвую голову Доры. Глаза ей никто не завелъ, и

Съ побѣлѣвшими глазами,
Ликъ, прежде нѣжный, былъ страшнѣй
Всего, что̀ страшно для людей.

Мухи ползали по глазамъ Дорушки.

Кириллъ Сергѣевичъ съ сестрою вошли тихо. М-me Бюжаръ встрѣтила ихъ въ залѣ и показала въ отворенную дверь на сидѣвшаго попрежнему Долинскаго. Братъ съ сестрой вошли въ комнату умершей. Долинскій не трогался.

— Несторъ Игнатьичъ!—позвалъ его Онучинъ.

Отвѣта не было. Онучинъ повторилъ свой окликъ—то же самое, Долинскій не трогался.

Вѣра Сергѣевна постояла нѣсколько минутъ и, не снимая своей правой руки съ локтя брата, лѣвую сильно положила на плечо Долинскаго, и, нагнувшись къ его головѣ, сказала ласково:

— Несторъ Игнатьичъ!

Долинскій какъ будто проснулся, провелъ рукою по лбу и взглянулъ на гостей.

— Здравствуйте!—сказала ему опять m-lle Онучина.

— Здравствуйте!—отвѣчалъ онъ, и его лѣвая щека опять скривилась въ ту же странную улыбку.

Вѣра Сергѣевна взяла его за руку и опять съ усиліемъ крѣпко ее пожала. Долинскій всталъ и его опять подернуло улыбнуться очень недоброй улыбкой. М-me Бюжаръ пугливо жалась въ углу, а ботаникъ видимо растерялся.

Вѣра Сергѣевна положила обѣ свои руки на плечи Долинскаго и сказала:

— Одни вы теперь остались!

— Одинъ, чуть слышно отвѣтилъ Долинскій и, оглянувшись на мертвую Дору, снова улыбнулся.

— Ваша потеря ужасна, продолжала, не сводя съ него своихъ глазъ, Вѣра Сергѣевна.

— Ужасна, равнодушно отвѣчалъ Долинскій.

Онучинъ дернулъ сестру за рукавъ и сдѣлалъ строгую гримасу. Вѣра Сергѣевна оглянулась на брата и, отвѣтивъ ему нетерпѣливымъ движеніемъ бровей, опять обратилась къ Долинскому, стоявшему передъ ней въ окаменѣломъ спокойствіи.

— Она очень мучилась?

— Да, очень.

— И такъ еще молода!

Долинскій молчалъ и тщательно обтиралъ правою рукою кисть своей лѣвой руки.

— Такъ прекрасна!

Долинскій оглянулся на Дору и уронилъ шопотомъ:

— Да, прекрасна.

— Какъ она васъ любила!.. Боже, какая это потеря!

Долинскій какъ будто пошатнулся на ногахъ.

— И за что̀ такое несчастье!

— За что̀! за... за что̀!—простоналъ Долинскій и, упавъ въ колѣна Вѣры Сергѣевны, зарыдалъ какъ ребенокъ, котораго безъ вины наказали въ примѣръ прочимъ.

— Полноте, Несторъ Игнатьичъ, началъ было Кириллъ Сергѣевичъ, но сестра снова остановила его сердобольный порывъ и дала волю плакать Долинскому, обхватившему въ отчаяніи ея колѣни.

Мало-по-малу онъ выплакался и, облокотясь на стулъ, взглянулъ еще разъ на покойницу и грустно сказалъ:

— Все кончено.

— Вы мнѣ позволите, m-r Долинскій, заняться ею?

— Занимайтесь. Что̀ жъ, теперь все равно.

— А вы съ братомъ подите отправьте депешу въ Петербургъ сестрѣ.

— Хорошо, покорно отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

Онучинъ увелъ Долинскаго, а Вѣра Сергѣевна послала m-me Бюжаръ за своей горничной и въ ожиданіи ихъ сѣла передъ постелью, на которой лежала мертвая Дора.

Дѣтскій страхъ смерти при бѣломъ днѣ овладѣлъ Вѣрою Сергѣевной: все ей казалось, что мертвая Дора супится и слегка шевелитъ насильно закрытыми вѣками.

Одѣли покойницу въ бѣлое платье и голубою лентой подпоясали ее по стройной таліи, а пышную красную косу расчесали по плечамъ и такъ положили на столъ.

Комнату Дашину вычистили, но ничего въ ней не трогали; все осталось въ томъ же порядкѣ. Долинскій вернулся домой тихій, грустный, но спокойный. Онъ подошелъ къ Дашѣ, поднялъ кисею, закрывавшую ей голову, поцѣловалъ ее въ лобъ, потомъ поцѣловалъ руку и закрылъ опять.

— Пойдемте же къ намъ, Несторъ Игнатьичъ!—говорилъ Онучинъ.

— Нѣтъ, право, не могу. Я не пойду; мнѣ здѣсь хорошо.

— Въ самомъ дѣлѣ, ваше мѣсто здѣсь, подтвердила Вѣра Сергѣевна.

Онъ съ благодарностью пожалъ ей руку.

— Знаете, что я забыла спросить васъ, m-r Долинскій!— сказала Вѣра Сергѣевна, зайдя къ нему послѣ обѣда.—Вы Дору здѣсь оставите?

— Какъ здѣсь?

— То-есть въ Италіи?

— Ахъ, Боже мой! я и забылъ. Нѣтъ, ее перевезутъ домой, въ Россію. Нужно металлическій гробъ. Вы, вѣдь, это хотѣли сказать?

— Да.

— Да, металлическій.

— Вы не хлопочите, maman все это уладитъ: она знаетъ, что нужно дѣлать. Она извиняется, что не можетъ къ вамъ придти, она нездорова.

Старуха Онучина боялась мертвыхъ.

— Позвольте же, деньги нужно дать, безпокоился Долинскій.

— Послѣ, послѣ отдадите, сколько издержатъ.

— Благодарю васъ, Вѣра Сергѣевна. Я бы самъ ничего не дѣлалъ.

М-lle Онучина промолчала.

— Какъ вы хорошо одѣли ее!—заговорилъ Долинскій.

— Вамъ нравится?

— Да. Это всего лучше шло къ ней всегда.

— Очень рада. Я хочу посидѣть у васъ, пока братъ за мною придетъ.

— Что жъ! Это большое одолженіе, Вѣра Сергѣевна.

— У васъ есть чай?

— Чай? Вѣрно есть.

— Дайте, если есть.

Долинскій нашелъ чай и позвалъ старуху. Принесли горячей воды и Вѣра Сергѣевна сѣла дѣлать чай. Пришла и горничная съ большимъ узломъ въ салфеткѣ. Вѣра Сергѣевна стала разбирать узелъ: тамъ была розовая подушечка въ ажурномъ чехлѣ, кисея, собранная буфами, для того, чтобы ею обтянуть столъ; множество гирляндъ, великолѣпный букетъ и вѣнокъ изъ живыхъ розъ на голову.

Разложивъ все это въ порядкѣ, Вѣра Сергѣевна съ своею горничной начала убирать покойницу. Долинскій тихо и спокойно помогалъ имъ. Онъ вынулъ изъ своей дорожной шкатулки кіевскій перламутровый крестъ своей матери и, по украинскому обычаю, вложилъ его въ исхудалыя ручки Доры.

Передъ тѣмъ, когда хотѣли закрывать гробъ покойницы, Вѣра Сергѣевна вынула изъ кармана ножницы, отрѣзала у Дорушки цѣлую горсть волосъ, потомъ отрѣзала длинный конецъ отъ ея голубого пояса, перевязала эти волоса обрѣзкомъ ленты и подала ихъ Долинскому. Онъ взялъ молча этотъ послѣдній остатокъ земной Доры и даже не поблагодарилъ за него m-lle Онучину.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Письмо изъ-за могилы.

Анна Михайловна получила письмо объ отчаянной болѣзни Доры за два часа до полученія телеграммы о ея смерти.

Анна Михайловна плакала и тосковала въ Петербургѣ, и ее никто не заботился утѣшать. Одинъ Илья Макаровичъ чаще забѣгалъ подъ различными предлогами, но мало отъ него было ей утѣшенія: художникъ самъ не могъ опомниться отъ печальной вѣсти и все сводилъ разговоръ на то, что «сгорѣло созданьице милое! подсѣкла его судьбенка». Анна Михайловна, впрочемъ, и не искала стороннихъ утѣшеній.

— Не безпокойтесь обо мнѣ, Илья Макарычъ, ничего со мною не сдѣлается, отвѣчала она волновавшемуся художнику.—Отъ горя люди, къ несчастію, не умираютъ.

Только Аннѣ Анисимовнѣ она часто съ тревогою сообщала свои сновидѣнія, въ которыхъ являлась Дора.

— Видѣла ее, мою крошку, будто она одна, босая, моя голубочка, сидитъ на полу въ пустой церкви... разсказывала, тоскуя, Анна Михайловна.

— Душенька ея... сочувственно начинала бѣдная дѣвушка.

— И эти ручки, эти свои маленькія ручонки ко мнѣ протягиваетъ... Ахъ ты, Боже мой! Боже мой!—перебивала въ отчаяніи Анна Михайловна, и обѣ начинали плакать вмѣстѣ.

Черезъ три дня послѣ полученія печальныхъ извѣстій изъ Ниццы, Аннѣ Михайловнѣ подали большое письмо Даши, отданное покойницей m-me Бюжаръ за два дня до своей смерти. Анну Михайловну нѣсколько изумило это письмо умершаго автора; она поспѣшно разорвала конвертъ и вынула изъ него пять мелко исписанныхъ листовъ почтовой бумаги.

«Сестра! Пишу къ тебѣ съ того свѣта, начинала Даша. Живя на землѣ, я давно не въ силахъ была говорить съ тобою попрежнему, то-есть я не могла говорить съ тобой откровенно. Въ первый разъ въ жизни я измѣнила себѣ, отмалчивалась, робѣла. Теперь исповѣдуюсь тебѣ, моя душка, во всемъ. Пусть будетъ надо мной твоя воля и твой судъ милосердый. Мой міръ прошелъ предо мною полнымъ и я схожу въ готовую могилу безъ всякаго ропота. Совѣсть я уношу чистую. По моимъ нравственнымъ понятіямъ, то-есть понятіямъ, которыя у меня были, я ничѣмъ не оскорбила ни людей, ни человѣчество, и ни въ чемъ не прошу у нихъ прощенія. Но есть, голубчикъ-сестра, условія, которыя плохо повинуются разсудку и заставляютъ насъ страдать крѣпко, долго страдать, наперекоръ своей увѣренности въ собственной правотѣ. Одно такое условіе давно стало между мною и тобою; оно поднималось, падало, опять поднималось, росло, росло, наконецъ, выросло во всю свою естественную или, если хочешь, во всю свою уродливую величину, и теперь, съ моею смертью оно, слава Богу, исчезаетъ. Я говорю, Аня, о нашей любви къ Долинскому... Пора это выговорить... Зачѣмъ мы его полюбили обѣ—я не разрѣшу себѣ точно такъ же, какъ не могла себѣ разрѣшить никогда, что̀ такое мы въ немъ полюбили? что̀ такое въ немъ было?.. Увлеклись своими опекунскими ролями, или это—сила добра и честности?

«Да Богъ съ ними, съ этими вопросами! поздно ужъ рѣшать ихъ.

«Я себѣ свою начальную любовь къ этому Долинскому, къ этой живой слабости, объясняю, во-первыхъ, моей мизерикордіей, а, во-вторыхъ... тѣмъ что ли ужъ, что нынѣшніе *сильные* люди не вызываютъ любви, не могутъ ее вызвать. Я не знаю, что̀ бы со мной было, если бы я рядомъ съ Долинскимъ встрѣтила человѣка сильнаго какъ-то иначе. сильнаго *любовью*, но люди, сильные одною ненавистью. однимъ самолюбіемъ, сильные умѣньемъ не любить никого. кромѣ себя и своихъ фразъ, мнѣ были ненавистны; другихъ

людей не было, и Долинскій, со всѣми его слабостями, сталъ мнѣ милъ, какъ говорятъ, понравился.

«Ты знаешь, что я его люблю едва ли не раньше тебя, едва ли не съ первой встрѣчи въ Луврѣ передъ моей любимой картиной. Но онъ тебя, а не меня полюбилъ. Вы это искусно скрывали, но недолго. Сердце сказало мнѣ все; я все понимала, и понимала, что онъ считаетъ меня ребенкомъ. Это меня злило... Да, не будь этого, можетъ-быть, и ничего бы не было остального. Сначала я заставляла молчать мое странное, какъ будто съ зависти разгоравшееся чувство; я сама увѣряла себя, что я не могла бы успокоить упадшій духъ этого человѣка, что ты вѣрнѣе достигнешь этого, и таки-наконецъ одолѣла себя, отошла отъ васъ въ сторону. Вы не видали меня за своею любовью и я вамъ не мѣшала, но я наблюдала васъ, и тутъ-то мнѣ показалось, что я поняла Долинскаго гораздо вѣрнѣе, чѣмъ понимала его ты. Тебѣ было жаль его, тебѣ хотѣлось его успокоить, дать ему вздохнуть, оправиться, а потомъ... жить тихо и скромно. Такъ я это понимала.

«Я была очень молода, совсѣмъ неопытна, совсѣмъ дѣвочка, но я чувствовала, что въ немъ еще много жизни, много силы, много охоты жить смѣлѣе, тверже. Я видѣла, что силѣ этой такъ не должно замереть, но что у него воля давно пришибена, а ты только о его покоѣ думаешь. Я почувствовала, что если бъ онъ любилъ меня, то я бы могла дать ему то, чего у него не было, или что́ онъ утратилъ: волю и смѣлость. Это льстило моей дѣтской гордости, этимъ я хотѣла *отмѣтить мою жизнь на свѣтѣ*. Но вы любили другъ друга, и я опять отошла въ сторону и опять наблюдала васъ, любя васъ обоихъ. А тутъ я заболѣла, собиралась умирать. Занося ногу въ могилу, я еще сильнѣе почувствовала мою любовь—въ страсть она переходила во мнѣ. Это было для меня чувство совершенно новое и я, право, въ немъ не виновата. Это какъ-то сдѣлалось совсѣмъ мимо меня! Мнѣ не хотѣлось умирать не любя: мнѣ хотѣлось любить крѣпко, сильно. Это было ужасное

чувство, мучительное, страшно мучительное! Тутъ поѣхали мы въ Италію; все вдвоемъ да вдвоемъ. Силъ моихъ не было съ собою бороться — хоть день, хоть часъ одинъ я хотѣла быть любимою во что бы то ни стало. Ахъ, сестра, ты простила бы мнѣ все, если бы знала, какое это было мучительное желаніе любви... обожанія, чьего-то рабства передъ собою! Это что-то дьявольское!.. Это гадко, но это было *непреодолимо*.

«Я хотѣла уѣхать, и не могла. Сатана, духъ нечистый одинъ знаетъ, что̀ это было за ненавистное состояніе! Порочная душа моя въ немъ сказалась что-ли, или это было роковое наказаніе за мою самонадѣянность! Мало того, что я хотѣла быть любимой, я хотѣла, чтобы меня любилъ, боготворилъ, уничтожался передо мною человѣкъ, который не долженъ меня любить, который долженъ любить другую, а не меня... И чтобъ онъ ее бросилъ; и чтобъ онъ ее разлюбилъ; чтобъ онъ совсѣмъ забылъ ее для меня—вотъ чего мнѣ хотѣлось! Дико!.. Гнусно!.. Твоя кроткая душа не можетъ понять этого злого желанія. Правда, я давно любила Долинскаго, я любила въ немъ мягкаго и честнаго человѣка, ну, пожалуй, даже любила его такъ-таки, по всѣмъ правиламъ, со всѣми онерами, но... все-таки изъ этого, можетъ-быть, ничего бы не было; все-таки жаль мнѣ было тебя! Любила же я тебя, Аничка! знала же я, сколько тебѣ обязана! Все противъ меня было! Но какая-то лукавая сила все шептала: «передъ тобой и это все загремитъ и разсыпится прахомъ». Ты знаешь, Аня, что я никогда не была кокеткой; это совершенная правда, я не кокетка; но я, однако, кокетничала съ Долинскимъ, и безсовѣстно, зло кокетничала съ нимъ. Не совсѣмъ это безсовѣстно было только потому, что я не хотѣла его влюбить въ себя и бросить, заставить мучиться, я хотѣла... или, лучше сказать тебѣ, въ то время, при самомъ началѣ этой исторіи, я ничего не объясняла себѣ, зачѣмъ я все это дѣлаю. Но все-таки я знала, я чувствовала, что это... нехорошо. Иногда я останавливалась, вела себя ровно, но это было на минуту, да,

все это бывало на одну минуту... Я опять начинала вертѣть его, сбивать, влюблять въ себя до безумія, и, разумѣется, влюбила. Клянусь тебѣ всѣмъ, что это открытіе не обрадовало меня; оно меня испугало! Я въ ту минуту не хотѣла, чтобы онъ разлюбилъ тебя. Голубчикъ мой! повѣрь мнѣ, что этого я не хотѣла... но... потомъ вдругъ я совсѣмъ обо всемъ этомъ забыла, совсѣмъ о тебѣ забыла, и моя злоба взяла верхъ надъ твоею кроткою, незлобивою любовью, моя дорогая Аня: человѣкъ, котораго ты любила, уже не любилъ тебя. Онъ не смѣлъ сказать мнѣ, что онъ любитъ меня; не смѣлъ даже самъ себѣ сознаться въ этомъ, но онъ былъ *мой рабъ*, а я хотѣла любить, и онъ мнѣ нравился. Тутъ ужъ не было мѣста прежней мизерикордіи, я только *любила*. Ахъ, Аня! не обвиняй его хоть ты ни въ чемъ: все это я одна, я все это надѣлала! Я ужъ не думала ни о комъ, ни о тебѣ, ни о немъ, ни о себѣ: быть любимой, *быть любимой* — вотъ все, о чемъ я думала. Я знаю, что если бъ я жила, онъ бы со мною не погибъ; но я знала, что я недолго буду жить и что это его можетъ совсѣмъ сбить съ толку и мнѣ его не было даже жалко. Пусть полюбитъ меня, а потомъ пусть гибнетъ. Развѣ я этого не стоила? Губятъ же люди себя опіумомъ, гашишемъ, неужто же любовь женщины хуже какого-нибудь глупаго опьяненія? Ужасайся, Аня, до чего доходила твоя Дора!

«Я непремѣнно хочу разсказать тебѣ все, что должно служить къ его оправданію въ этой каторжной исторіи».

Тутъ Даша довольно подробно изложила все, что было со дня ихъ пріѣзда въ Ниццу до послѣднихъ дней своей жизни и, заканчивая свое длинное письмо, писала:

«Теперь я умираю, ничего собственно не сдѣлавъ для него хорошаго. Но я, сестра, въ могилу все-таки уношу убѣжденіе, что этотъ человѣкъ еще многое можетъ сдѣлать, если благородно пользоваться его преданною, привязчивою натурою; иначе кто-нибудь станетъ ею пользоваться неблагородно. Онъ одинъ жить не можетъ. Это ужъ такой чело-

вѣкъ. Встрѣтитесь вы, что ли... но я тутъ ровно ничего не понимаю. Я и хочу, и не хочу этого. Все это, понимаешь, такъ странно и такъ неловко, что... Господи, что̀ это я только напутала!» (Тутъ въ письмѣ было нѣсколько тщательно зачеркнутыхъ строчекъ и потомъ снова начиналось):

«Я бы доказала, что я могу сдѣлать этого человѣка счастливымъ и могу заставить его отряхнуться. Да, это дѣло возможное; повѣрь, возможное. Отъ того, что я умираю, оно не дѣлается невозможнымъ. Вдумайся хорошенько, и ты увидишь, что я не говорю ничего несообразнаго.

«Не зови его изъ Италіи. Пусть поскучаетъ обо мнѣ вволю. Это для него необходимо. Я вижу, что я для него буду очень серьезною потерею, и надо, чтобы онъ сумѣлъ съ собою справиться, а не растерялся, не бросился Богъ вѣсть куда. Я велѣла ему перевезти мое тѣло въ Россію. Для насъ, небогатыхъ людей,—это, разумѣется, затѣя совершенно лишняя и непростительная (хотя, каюсь тебѣ, и мнѣ какъ-то пріятнѣе лежать въ родной землѣ, ближе къ людямъ, которыхъ я любила). Я сдѣлала это, однако, не для себя. Онъ будетъ очень тосковать обо мнѣ, а все-таки лучше ему оставаться здѣсь. Куда ему ѣхать въ Россію?.. Все такъ свѣжо будетъ... такъ больно... Зачѣмъ встрѣча безъ радости? Я ему сказала, чтобы онъ перевезъ меня на трудовыя деньги. Это его заставитъ работать и будетъ очень хорошо, если никто не станетъ въ него вступаться, звать его. Все должно быть оставлено времени и моей памати. Я еще изъ-за гроба что̀-нибудь сдѣлаю... А ты, Аня, не увлекайся своими фонтазіями и поступай такъ, какъ тебѣ укажутъ твое чувство и благоразуміе. Что̀, мой другъ, дѣлать, бываетъ всякое на свѣтѣ!»

Тутъ опять было нѣсколько тщательно зачеркнутыхъ строчекъ и потомъ стояло:

«Только опять нѣтъ! Все мнѣ что-то кажется, я какъ-то предчувствую, что все это будетъ какъ-то не такъ, что будетъ какая-то иная развязка и вообрази... *я буду рада, если она будетъ иная*... Кажется, любила и сгубила... Что̀ жъ

дѣлать? дамъ отвѣтъ, если спросится... А, впрочемъ, не слушай лучше ты, Аня, меня—я, должно-быть, совсѣмъ сошла съ ума передъ смертью. Старайся, чтобъ было такъ, *какъ мнѣ не хочется*. Лучшаго я ничего не придумаю. Все это мнѣ представляется теперь, какъ объявляютъ на афишахъ, какимъ-то великолѣпнымъ, брильянтовымъ фейерверкомъ, и вотъ этотъ фейерверкъ весь сгорѣлъ до тла и около меня сгущается мракъ, сѣрый, непроглядный мракъ, могила... А нельзя было не сжечь его! Онъ такъ хорошо, такъ дивно хорошо горѣлъ!.. Говорю тебѣ одно, что если бы ты умерла прежде меня, я бы... нѣтъ, я ничего не знаю.

«*Я ничего не знаю*, и это выходитъ *все*, что̀ я сумѣла сказать тебѣ въ этой послѣдней попыткѣ, моя мать, сестра и лучшій земной другъ мой! Я умираю, однако, въ полномъ убѣжденіи, что ты поняла мою исповѣдь и простила меня. Прощай, мой добрый ангелъ! Прощай издалека. Какъ бы я хотѣла тебя видѣть въ мои послѣднія минуты!.. Какъ я хочу вѣрить, что я увижу тебя! Да, я тебя увижу: я вызову тебя. Я вѣрю въ души, въ силу душъ, и я тебя вызову! Разстояній нѣтъ. Ихъ нѣтъ, потому что ты теперь со мною! Я вижу, какъ ты меня прощаешь. Ты благословляешь твою безнравственную сестру... спасибо. Совсѣмъ мнѣ плохо; едва дописываю эти строки. Пора въ походъ безвѣстный... Вотъ она когда близится роковая загадка-то! Иду смѣло, смѣло иду! Интересно знать, что̀ тамъ такое? Можетъ-быть, въ самомъ дѣлѣ, буду ждать васъ? но хочу, чтобы ждала какъ можно дольше, и боюсь только, что «въ мірѣ иномъ другъ друга ужъ мы не узнаемъ».

«Любите же и помните вашу мертвую Дору.

«Ницца».

«PS. Если бы слѣпою волею рока это письмо мое когда-нибудь стало извѣстно высоконравственному міру, Боже, какъ бы перевернули высоконравственные люди въ могилѣ мои бѣдныя кости! Съ какими бы процентами заплатили мнѣ всѣ опять-таки высоконравственныя дамы за все презрѣніе, которое я всегда чувствовала къ ихъ фарисейской

нравственности. Развѣ одна ты, милосердная, вдохновительная, всесильная любовь, вложишь въ чьи-нибудь грѣшныя и многолюбящія или многолюбившія уста слово въ мое оправданіе! Сорвалось съ петлей! Не умѣла любить вполовину сердца, а всѣмъ полюбишь—на полдорогѣ не остановишься. Прощай, и еще разъ прости меня, мертвеца, бѣднаго и болѣе никому уже не вредящаго.

«Совсѣмъ забыла про Журавку—онъ обидится. Поцѣлуй его за меня: онъ любилъ меня, нашъ добрый, маленькій человѣчекъ съ большимъ сердцемъ. Аннѣ Анисимовнѣ, всему нашему маленькому, тихому мірку, всѣмъ дѣвушкамъ, всѣмъ кланяюсь и у всѣхъ прошу себѣ всякаго прощенья».

Анна Михайловна поплакала, еще разъ перечитала письмо и легла въ постель. Много горячихъ и добрыхъ слезъ ея упало этою безконечною для нея ночью.

— Что теперь впереди? Кому, на что нужна моя жизнь и зачѣмъ она самой мнѣ, эта жизнь, въ которой все милое пропало, все вымерло?—спрашивала себя она, обтирая заплаканное лицо.

Совершенно разбитая, Анна Михайловна рано утромъ встала и написала Долинскому:

«Печальное извѣстіе о смерти Дорушки меня поразило, потому что ни одинъ изъ васъ даже не извѣщалъ меня, что ей сдѣлалось хуже. Однако, я давно была къ этому готова и желаю, чтобы ты какъ можешь спокойнѣе перенесъ нашу потерю. Я прошу тебя остаться въ Ниццѣ, пока я выхлопочу позволеніе перевезти въ Петербургъ тѣло Доры. Это не будетъ очень долго и ты вѣрно не откажешь въ новомъ одолженіи мнѣ и покойницѣ. Я очень скучаю теперь и вдвое буду рада каждой твоей строчкѣ. Извини, что я пишу такъ мало: самъ, вѣрно, понимаешь, что мнѣ не до словъ»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Сладкія начала злого недуга.

Долинскій все грустилъ о Дорѣ и никуда не выходилъ. Аристократъ-ботаникъ два раза заходилъ къ нему, но, замѣтивъ, что его посѣщенія въ тягость одичавшему хозяину, пересталъ его навѣщать. Старуха нѣсколько разъ посылала приглашать Долинскаго къ себѣ обѣдать—онъ всякій разъ упорно отказывался и даже сердился, что его трогаютъ. Дома онъ все ходилъ въ раздумьѣ по Дашиной комнатѣ и ровно ничѣмъ не занимался. Ночами спалъ мало и то все Дору безпрерывно видѣлъ во снѣ. Это его радовало. Онъ очень полюбилъ свои сновидѣнія, онъ жилъ въ нихъ и незамѣтно сталъ отыскивать въ нихъ какой-то таинственный смыслъ и значеніе. Долинскій незамѣтно началъ строить такія положенія, что Даша не вся умерла для него; что она живетъ гдѣ-то и вовсе не потеряла возможности съ нимъ видѣться. Ему начало сниться, что она откуда-то приходитъ ночами, сидитъ у его изголовья и говоритъ ему живыя ласковыя рѣчи, и онъ сердился, когда разумъ говорилъ ему, что это только сонъ, только такъ кажется. Онъ всегда слово отъ слова помнилъ все, что ему говорила ночью Дора, и всегда находилъ въ ея рѣчахъ тотъ же умъ и тотъ же характеръ, которыми дышали ея прежніе разговоры. Странно и неестественно было теперешнее состояніе Долинскаго, и въ такомъ состояніи онъ получилъ знакомое намъ письмо Анны Михайловны, а ночью ему опять снилась Дора. Она вошла въ комнату, тихо сѣла возлѣ Долинскаго на краю кровати и положила ему на лобъ свою исхудалую ручку. Лицо Доры было такъ же прекрасно, но сдѣлалось совсѣмъ прозрачнымъ. Она была въ томъ же бѣломъ платьицѣ, въ которомъ ее схоронили; у ея голубого кушака былъ высоко отрѣзанъ одинъ конецъ, а съ лѣвой стороны надъ вискомъ выбивались изъ-подъ бѣлыхъ розъ неровно остриженные рукою Вѣры Сергѣевны волосы.

Долинскому казалось, что все существо Доры блеститъ какимъ-то фосфоричнымъ свѣтомъ, и онъ закрытыми глазами видѣлъ, какъ она ему улыбнулась, слышалъ, какъ она сказала:—здравствуй, мой милый!—и чувствовалъ, что она положила ему на голову свою ручку.—Я на тебя сердита теперь!—говорила Дора.—Я тебя просила работать для меня, а ты все скучаешь, все ничего не дѣлаешь. Нехорошо! Скучать нечего, я всегда съ тобой. Мнѣ хорошо, я васъ вижу всѣхъ теперь. Встань, мой другъ, пиши, я хочу, чтобъ ты писалъ, чтобъ ты отвезъ меня въ Россію. Здѣсь у насъ все чужіе въ могилахъ. Встань же! встань! работай, звала она, потряхивая его за плечо. Долинскій вскакивалъ, открывалъ глаза—въ комнатѣ ничего не было. Онъ вздыхалъ и засыпалъ снова, и Даша немедленно слетала къ нему снова и успокоивала его, говорила, что ей хорошо, что она всѣхъ любитъ.—А глазами, говорила она, на меня смотрѣть нельзя; никогда не смотри на меня глазами!—Возьми же возьми меня съ собой!—вскрикивалъ во снѣ Долинскій.—Нельзя, мой другъ, нельзя, тихо отвѣчала Даша.—Я не пущу тебя! опять вскрикивалъ Долинскій въ своемъ тревожно-сладкомъ снѣ, протягивалъ руки къ своему видѣнію и обнималъ воздухъ, а разгоряченному его воображенію представлялась уносившаяся вдалекѣ по синему ночному небу Дора. Сновидѣнія эти не прекращались. Наконецъ, разъ какъ-то Даша явилась Долинскому съ сморщеннымъ лбомъ, сказала:—работай, или я въ наказаніе тебѣ не буду навѣщать тебя и мнѣ будетъ скучно.

Прошло три ночи и Даша сдержала свое слово: ни на одно мгновеніе не привидѣлась она Долинскому.

Несторъ Игнатьичъ очень серьезно встревожился. Онъ на четвертый день вскочилъ съ разсвѣтомъ и сѣлъ за работу. Повѣсть сначала не вязалась, но онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе и работа пошла удачно. Онъ писалъ, не вставая, весь день и далеко за полночь, а передъ утромъ заснулъ въ креслѣ, и Дора тотчасъ же выдѣлилась изъ сѣраго предразсвѣтнаго полумрака, прошла своей неслышной

поступью, и поцѣловавъ Долинскаго въ лобъ, сказала:—умникъ, умникъ—работай.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Птицы пѣвчія.

Дней десять кряду Долинскій работалъ. Повѣсть подвигалась впередъ и, по мѣрѣ того какъ онъ втягивался въ работу, мысли его приходили въ порядокъ и къ нему возвращалось не спокойствіе, а тихая грусть, которая ничему не мѣшаетъ и въ которой душа только становится выше, чище, снисходительнѣе. Проработавъ одну такую ночь до самаго разсвѣта, совершенно усталый, онъ взглянулъ въ открытое окно Дашиной спальни. Занавѣска не была опущена и робкій свѣтъ вмѣстѣ съ утренней прохладой свободно проникалъ въ комнату. Несторъ Игнатьевичъ задулъ свѣчу и, прислонясь къ креслу, сталъ смотрѣть въ окно. Свѣжій вѣтерокъ тихо скользилъ несмѣлыми порывами, слегка шевелилъ волосами Долинскаго и скоро усыпилъ его. Въ окнѣ, по обычаю, тотчасъ же показалась Дора. Она нынче была какъ-то смѣлѣе обыкновеннаго; смотрѣла на него въ окно, улыбалась и, шутя, говорила:—Неудобь, Бука!—Долинскій разсмѣялся.

Во время этого сна, по стекламъ что-то слегка стукнуло разъ-другой, еще и еще. Долинскій проснулся, отвелъ рукою разметавшіеся волосы и взглянулъ въ окно. Высокая женщина, въ легкомъ бѣломъ платьѣ и коричневой соломенной шляпѣ, стояла передъ окномъ, поднявъ кверху руку съ зонтикомъ, ручкой котораго она только стучала въ верхнее стекло окна. Это не была золотистая головка Доры—это было хорошенькое, оживленное личико съ черными, умными глазками и французскимъ носикомъ. Однимъ словомъ, это была Вѣра Сергѣевна.

— Какъ вамъ не стыдно, Долинскій! Пропадаете, бѣгаете отъ людей и спите въ такое прекрасное утро.

— Ахъ, простите, Вѣра Сергѣевна! — отвѣчалъ, скоро

поднимаясь, Долинскій. — Я знаю, что я невѣжа и много виноватъ передъ вашимъ семействомъ и особенно передъ вами, за все...

— Да все хандрите?

— Да, все хандрю, Вѣра Сергѣевна.

— Чего же вы прячетесь-то?

— Нѣтъ, я, кажется, не прячусь.

— Помилуйте! Посылала за вами и брата, и людей — какъ кладъ зачарованный не даетесь. Чего вы спите въ такое время, въ такое прелестное утро? Вы посмотрите, что̀ за рай на дворѣ:

Я пришла сюда съ привѣтомъ
Разсказать, что солнце встало,
Что оно горячимъ свѣтомъ
По листамъ затрепетало.

проговорила весело Вѣра Сергѣевна.

— Да, очень хорошо, отвѣчалъ Долинскій, застѣнчиво улыбаясь.

— Но вы все-таки не подумайте, что я пришла къ вамъ собственно съ докладомъ о солнцѣ! я — эгоистка и пришла наложить на васъ обязательство.

— Приказывайте, Вѣра Сергѣевна.

— Вы непремѣнно должны сейчасъ проводить меня. Мнѣ хочется далеко пройтись берегомъ, а брата нѣтъ: онъ въ Виши уѣхалъ.

— Вѣра Сергѣевна! я вѣдь никуда не хожу.

— Ну, такъ пойдемте.

— Право...

— Право, невѣжливо держать у окна даму и торговаться съ нею. Vous comprenez, c'est impoli! Un homme comme il faut ne fait pas cela.

— Да что̀ же дѣлать, если ужъ я не un homme comme il faut.

— Ну, однако, я буду ждать васъ на бульварѣ, сказала Вѣра Сергѣевна и, поклонясь слегка Долинскому, отошла отъ его окна.

Несторъ Игнатьевичъ освѣжилъ лицо, взялъ шляпу и вышелъ изъ дома въ первый разъ послѣ похоронъ Даши. На бульварѣ онъ встрѣтилъ m-lle Онучину, поклонился ей, подалъ руку, и они пошли за городъ. День былъ восхитительный. Горячее итальянское солнце золотыми лучами освѣщало землю и на землѣ все казалось счастливымъ и прекраснымъ подъ этимъ солнцемъ.

— Поблагодарите меня, что я васъ вывела на свѣтъ Божій, говорила Вѣра Сергѣевна.

— Покорно васъ благодарю, улыбаясь, отвѣтилъ Долинскій.

— Скажите, пожалуйста, что̀ это вы спите въ эту пору?

— Я работалъ ночью и только утромъ вздремнулъ.

— А! это другое дѣло. Выходитъ, я дурно сдѣлала, что васъ разбудила.

— Нѣтъ, я вамъ благодаренъ!

Долинскій проходилъ съ Вѣрой Сергѣевной часа три, очень усталъ и разсѣялся. Онъ зашелъ къ Онучинымъ обѣдать и ѣлъ съ большимъ аппетитомъ.

— Вы простите меня, Бога-ради, Серафима Григорьевна, началъ онъ, подойдя послѣ обѣда къ старухѣ Онучиной.— Я вамъ такъ много обязанъ и до сихъ поръ не собрался даже поблагодарить васъ.

— Полноте-ка, Несторъ Игнатьевичъ! Это все дѣти хлопотали, а я ровно ничего не дѣлала, отвѣчала старая аристократка.

Долинскій хотѣлъ узнать, сколько онъ остался должнымъ, но старуха уклонилась и отъ этого разговора.

— Кириллъ, говорила она,—пріѣдетъ, тогда съ нимъ поговорите, Несторъ Игнатьевичъ; я, право, ничего не знаю.

Вѣра Сергѣевна послѣ обѣда открыла рояль, сыграла нѣсколько мѣстъ изъ Нормы и прекрасно спѣла: *Ты для меня душа и сила.*

Долинскому припомнился канунъ св. Сусанны, когда онъ почти несъ на своихъ рукахъ ослабѣвшую, стройную Дору,

и изъ этого самаго дома слышались эти же самые звуки, далеко разносившіеся въ тихомъ воздухѣ теплой ночи.

«Все живо, только ея нѣтъ,» подумалъ онъ.

Вѣра Сергѣевна словно подслушала думы Долинскаго и съ необыкновеннымъ чувствомъ и задушевностью запѣла:

Ахъ, покиньте меня,
Разлюбите меня
Вы, надежды, мечты золотыя!
Мнѣ ужъ съ вами не жить,
Мнѣ васъ не съ кѣмъ дѣлить,—
Я одинъ, а кругомъ все чужіе.
Много мукъ вызналъ я,
Былъ и другъ у меня,
Но надолго насъ съ нимъ разлучили.
Тамъ подъ черной сосной,
Надъ шумящей волной
Друга спать навсегда положили.

— Нравится это вамъ?—спросила, быстро повернувшись лицомъ къ Долинскому, Вѣра Сергѣевна.

— Вы очень хорошо поете.

— Да, говорятъ. Хотите еще что-нибудь въ этомъ родѣ?

— Я радъ васъ слушать.

— Такъ въ этомъ родѣ, или въ другомъ?

— Что вы хотите, Вѣра Сергѣевна. — Въ этомъ, если вамъ угодно, добавилъ онъ черезъ секунду.

Вьется ласточка сизокрылая
Подъ моимъ окномъ, одинешенька;
Подъ моимъ окномъ, подъ косящатымъ,
Есть у ласточки тепло гнѣздышко.

Вѣра Сергѣевна остановилась и спросила:

— Нравится?

— Хорошо, отвѣчалъ чуть слышно Долинскій.

Вѣра Сергѣевна продолжала:

Слезы горькія утираючи,
Я гляжу ей вслѣдъ вспоминаючи...
У меня была тоже ласточка,
Сизокрылая душа-пташечка,
Да свила ужъ ей судьба гнѣздышко,
Во сырой землѣ вѣковѣчное.

— Вѣра! крикнула изъ гостиной Серафима Григорьевна.

— Что прикажете, maman?

— Терпѣть я не могу этихъ твоихъ панихидъ.

— Это я для m-r Долинскаго, maman, пѣла, отвѣчала Вѣра Сергѣевна, и искоса взглянула на своего вдругъ омрачившагося гостя.

— Другого голоса недостаетъ, я привыкла пѣть это дуэтомъ, произнесла она, какъ бы ничего не замѣчая, взяла новый аккордъ и запѣла: *По небу полуночи.*

— Вторите мнѣ, Долинскій, сказала Вѣра Сергѣевна, окончивъ первыя четыре строфы.

— Не умѣю, Вѣра Сергѣевна.

— Все равно, какъ-нибудь.

— Да я дурно пою.

— Ну, и пойте дурно.

Онучина взяла аккордъ и остановилась.

— Тихонько будемъ пѣть, сказала она, обратясь къ Долинскому. — Я очень люблю это пѣть тихо, и это у меня очень хорошо идетъ съ мужскимъ голосомъ.

Вѣра Сергѣевна опять взяла аккордъ и снова запѣла; Долинскій удачно вторилъ ей довольно пріятнымъ баритономъ.

— Отлично!—одобрила Вѣра Сергѣевна.

Она артистично выполнила какую-то трудную итальянскую арію и, взявъ непосредственно затѣмъ новый, сразу щиплющій за сердце аккордъ, запѣла:

Ты не пой, душа дѣвица,
Пѣснь Италіи златой,
Очаруй меня, пѣвица,
Пѣснью родины святой.
Все родное сердцу ближе,
Сердце чувствуетъ сильнѣй.
Ну, запой же! Ну, начни же!
«Соловей, мой соловей».

Долинскій не выдержалъ и самъ безъ зова присталъ къ голосу пѣвицы, тронувшей его за ретивое.

— Charmant! Charmant!—произнесъ чей-то незнакомый

голосъ, и съ террасы въ залу вступила высокая старушка, съ строгимъ, немножко желчнымъ лицомъ, въ очкахъ и съ сѣдыми буклями. За нею шелъ молодой господинъ, совершеннѣйшій петербургскій comme il faut настоящаго времени.

Это была княгиня Стугина, бывшая помѣщица, вдова, нѣкогда звѣзда восточная, нынѣ Богъ знаетъ что такое— особа, всѣмъ недовольная и все осуждающая. Обиженная недостаткомъ вниманія отъ молодой петербургской знати, княгиня уѣхала въ Ниццу и живетъ здѣсь четвертый годъ, браня заурядъ все русское и все заграничное. Молодой человѣкъ, сопровождающій эту особу, былъ единственный сынъ ея, молодой князь Сергѣй Стугинъ, получившій мѣсто при одномъ изъ русскихъ посольствъ въ западныхъ государствахъ Европы. Онъ ѣхалъ къ своему мѣсту и завернулъ на нѣсколько дней повидаться съ матерью.

Онучины очень обрадовались молодому князю: онъ былъ свѣжій гость изъ Россіи и, слѣдовательно, могъ сообщить самыя свѣжія новости, что и какъ тамъ дома. Сергѣй Стугинъ былъ человѣкъ весьма умный и, очевидно, не кисъ среди мелкихъ и однообразныхъ интересовъ своей узкой среды бомонда, а стоялъ au courant съ самыми разнообразными вопросами отечества.

— Крестьяне даже мои, напримѣръ, крестьяне не хотятъ платить мнѣ оброка, жаловалась Серафима Григорьевна.—Скажите, пожалуйста, отчего это, князь?

— Вѣроятно, въ томъ выгодъ не находятъ, отвѣчала вмѣсто сына старуха Стугина.

— Bon, но что же дѣлать, однако, должны мы, помѣщики? Вѣдь намъ же нужно жить?

— А они, я слышала, совсѣмъ не находятъ и въ этомъ никакой надобности, опять спокойно отвѣчала княгиня.

Молодой Стугинъ, Вѣра Сергѣевна и Долинскій разсмѣялись.

Серафима Григорьевна посмотрѣла на Стугина и понюхала табаку изъ своей золотой табакерки.

— Ваша maman иногда говоритъ ужасныя вещи, отнеслась она шутливо къ князю.—Просто, самой яростной демократкой является.

— Это неудивительно, Серафима Григорьевна. Во-первыхъ, maman, такимъ образомъ, не отстаетъ отъ отечественной моды, а, во-вторыхъ, и, въ самомъ дѣлѣ, какой же ужъ теперь аристократизмъ? Все смѣшалось, всѣ ровны становимся.

— Кнутьями болѣе никого, слава Богу, не порютъ, подсказала старая княгиня.

— Мужики и купцы покупаютъ земли и становятся такими же помѣщиками, какъ и вы, и мы, и Рюриковичи, и Гедиминовичи, досказалъ Стугинъ.

— Ну... вѣдь въ васъ, князь, въ самомъ есть частица рюриковской крови, добродушно замѣтила Онучина.

— У него она, кажется, въ дѣтствѣ вся носомъ вытекла, сказала княгиня, не то съ неуваженіемъ къ рюриковской крови, не то съ легкой ироніей надъ сыномъ.

Старая Онучина опять понюхала табаку и тихо молвила:

— Говорятъ... не помню, отъ кого-то я слышала: разводы ужъ у насъ скоро будутъ?

— Едва ли скоро. По крайней мѣрѣ, я ничего не слыхалъ о разводахъ, отвѣчалъ князь.

— Это удивительно! Твой дядюшка только о нихъ и умѣетъ говорить, опять вставила Стугина.

Князь улыбнулся и отвѣтилъ, что Онучина говоритъ совсѣмъ не о полковыхъ разводахъ.

— Ахъ, простите, пожалуйста! — серьезно извинялась княгиня.—Мнѣ, когда говорятъ о Россіи и тутъ же о разводахъ — всегда представляется плацпарадъ, трубы и мой братъ, Кесарь Степанычъ, съ крашеными усами. Да и на что намъ другіе разводы?—Совсѣмъ не нужно.

— Совершенно лишнее, поддерживалъ князь. — У насъ есть новые люди, которые будутъ безъ всего обходиться.

— Это *нигилисты?* — воскликнула m-lle Вѣра. — Ахъ,

разскажите, князь, пожалуйста, что вы знаете объ этихъ забавныхъ людяхъ?

Князь не имѣлъ о нигилистахъ чудовищныхъ понятій, ходившихъ насчетъ этого страннаго народа въ нѣкоторыхъ общественныхъ кружкахъ Петербурга. Онъ разсказывалъ очень много курьезнаго о ихъ нравахъ, обычаяхъ, стремленіяхъ и образѣ жизни. Всѣ слушали этотъ разсказъ съ большимъ вниманіемъ; особенно слѣдилъ за нимъ Долинскій, который узнавалъ въ разсказѣ развитіе идей, оставленныхъ имъ въ Россіи еще въ зародышѣ, и старая княгиня Стугина, Серафима Григорьевна, тоже слушала, даже и очень неравнодушно. Она не одинъ разъ перебивала Стугина вопросомъ:

— Ну, а позвольте, князь... Какъ же они того, что, бишь, я хотѣла это спросить?..

Стугинъ останавливался.

— Да, вспомнила.—Какъ они этакъ...

— Живутъ?

— Нѣтъ, не живутъ, а, напримѣръ, если съ ними встрѣтишься, какъ они... въ какомъ родѣ?

Князь не совсѣмъ понялъ вопросъ; но его мать спокойно посмотрѣла черезъ свои очки и подсказала:

— Я думаю, должно-быть что-нибудь въ родѣ Ягу, которые у Свифта.

— Что̀ это за Ягу, княгиня?

— Ну, будто не помните, что̀ Гуливеръ видѣлъ? На которыхъ лошади-то ѣздили? Ну, люди такіе, или нелюди такіе: лохматые, грязные?

— Ну, что̀ это?—воскликнула Серафима Григорьевна.— Неужто, князь, они, въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ родѣ?

— Немножко, отвѣчалъ, смѣясь, Стугинъ.

— Полагаю, трудно довольно отличить коня отъ всадника, поддержала сына княгиня.

— Ну, что̀ это! Это ужъ даже непріятно! — опять воскликала Онучина, воображая, вѣроятно, какъ косматые петербургскіе Ягу лазятъ по деревьямъ въ Лѣтнемъ саду,

или на елагинскомъ пуантѣ и швыряютъ сверху всякими нечистотами.—И женщины такія-жъ бываютъ? — спросила она черезъ секунду.

— Два по́ла въ каждомъ родѣ должны быть необходимо— иначе родъ погибнетъ.

— Это ужасно! А, впрочемъ, вѣдь я какъ-то читала, что гориллы въ Африкѣ, или шампаньэ, тоже будто уносятъ къ себѣ женщинъ?

Серафима Григорьевна вся содрогнулась.

Князь Сергій очень распространился насчетъ отношеній нигилистокъ къ нигилистамъ и, владѣя хорошо языкомъ, разсказалъ нѣсколько очень забавныхъ анекдотовъ.

— Дуры!—произнесла, по окончаніи разсказа, Серафима Григорьевна.

— И пожить-то какъ слѣдуетъ не умѣютъ!—смотря черезъ очки, добавила княгиня.

— Но это все презабавно, замѣтила Вѣра Сергѣевна и вышла съ молодымъ княземъ на террасу.

— Довоспиталась сторонушка! дозрѣла! Скотный дворъ настоящій дѣлается!—презрительно уронила Стугина.

Серафима Григорьевна понюхала съ особеннымъ удовольствіемъ табачку и, улыбнувшись, спросила:

— Вы, Елена Степановна, помните Вастилу?

— Княжну Палагею Никитишну?—спросила, немножко надвинувъ брови, Стугина.

— Да.

— Ну, кто-жъ ея не помнитъ.

— Но, впрочемъ, та вѣдь... то все-таки совсѣмъ въ другомъ родѣ?

— Ну, еще бы!

Старушки обѣ задумались.

— Или княгиню Марѳу Викторовну въ ту пору, какъ она съ своимъ мужемъ разсталась? — спросила Серафима Григорьевна опять черезъ минуту.

— Ужъ именно!—отвѣчала, покачавъ головой, Стугина.

— Бѣсъ въ нее вселился. Очень ужъ проказила!

— Проказила, княгиня; но какъ хороша-то была!

Серафима Григорьевна съ умиленіемъ смотрѣла на стѣну, вообразивъ передъ собою воспоминаемую княгиню Марѳу Викторовну.

Теперь, въ свою очередь, Стугина понюхала табачку и, какъ бы нехотя, спросила:

— Да, была хороша, точно... да съ кѣмъ, бишь, она изъ Россіи-то пропала?

— Изъ Россіи? — Изъ Россіи она уѣхала съ этимъ... какъ его?.. ну, да все равно—съ французскимъ актеромъ, а потомъ была наѣздницей въ циркѣ, въ Лондонѣ; а послѣ князя Петра, ужъ за границей, ужъ самой сорокъ лѣтъ было, съ молоденькой и съ прехорошенькой женой развела... Такая грѣховодница!

— А потомъ-то! потомъ-то! — опять воскликнула, оживляясь, Серафима Григорьевна.

— Да, съ галерникомъ, я слышала, въ Алжиръ бѣжала.

— Страшный былъ такой!

— Помню я его—арабъ, весь оливковой, носъ, глаза... весь страсть неистовая! Точно, что чудо какъ былъ интересенъ. Она и съ арабами, вѣдь, кажется, кочевала. Кажется, такъ? Ее тамъ встрѣтилъ одинъ мой знакомый путешественникъ—давно это, ужъ лѣтъ двадцать. У какого-то шейха, говорятъ, была любовницею, что ли.

— Да, да, да: и имъ-то, и этимъ шейхомъ-то даже какъ ребенкомъ управляла!—подсказывала, все болѣе оживляясь и двигаясь на креслѣ, Серафима Григорьевна.

— Или княжна Агриппина Лукинишна!—произнесла она черезъ минуту, смотря пристально въ глаза Стугиной.

— Княжна Содомская, какъ называлъ ее дядя Леонъ, проронила въ видахъ поясненія Стугина.—Не люблю ея.

— За что, княгиня?

— Такъ. ужъ черезчуръ какъ-то она... спеціалистка была великая.

— Ну, не говорите этого, душечка княгиня; въ Сибири она себя вела, можетъ быть, какъ никто.

— Что же это именно? что за мужемъ въ ссылку-то пошла? Очень великое дѣло.

— Нѣтъ-съ, мало что пошла, а какъ жила? что вынесла?

— Я думаю, ничуть не больше другихъ.

— Сама бѣлье ему стирала, сама щи варила, въ юртѣ какой-то жила...

— Ну, и что-жъ тутъ такого? что-жъ тутъ такого удивительнаго?

— Да вонъ кузенъ Grégoire—вы знаете, вѣдь его послѣ амнистіи тоже возвратили.

— Слышала.

— Говоритъ, что всѣ они—эти несчастные декабристы. которые были вмѣстѣ, иначе ее и не звали, какъ матерью: идемъ, говоритъ, бывало, на работу изъ казармы—зимою, въ полѣ темно еще, а она сидитъ на снѣжку съ корзиной и лепешки намъ раздаетъ—всякому по лепешкѣ. А мы, бывало: мама, мама, мама, наша родная, кричимъ и лѣземъ хоть на лету ручку ея поцѣловать.

Серафима Григорьевна сморгнула слезу и кашлянула.

— Какъ, бывало, увидимъ ее, продолжала Серафима Григорьевна:—какъ только еще издали завидимъ ее, всѣ бѣжимъ и кричимъ: «мама наша идетъ! родная идетъ!»—совсѣмъ какъ галченята.

Серафима Григорьевна не совладѣла съ слезой и должна была отвернуться.

— Это прекрасно все, начала тихо Стугина:—только героизма-то все-таки тутъ никакого нѣтъ. Бабки наши умѣли терпѣть, какъ имъ ноздри рвали и руки вывертывали, а тутъ—что-жъ тутъ такого, скажите на милость?.. Еще бы въ несчастіи бросить!

— А вѣдь бросаютъ же, княгиня, возразила, поворачиваясь, Серафима Григорьевна.

— Приказничихи или поповны, очень можетъ быть—не стану спорить.

— Ну, нѣтъ, княгиня, я знаю... я вотъ теперь слышала про одну, совсѣмъ не приказничиху, а...

— Ахъ, помилуйте, ma chère Серафима Григорьевна! не знаю, кого вы такую знаете, или про кого слышали; но во всякомъ случаѣ, если это не приказничиха, такъ какая-нибудь другая personne méprisable, о которой все-таки говорить не сто́итъ.

Серафима Григорьевна помолчала и потомъ, смакуя каждое свое слово, произнесла:

— А я, какъ вы хотите, все опять къ княжнѣ Агриппинѣ. Какъ тамъ хотите говорите, ну, а все... изъ этакой роскоши... изъ свѣта... и въ какую-то дымную юрту... Ужасно!

— Вы это такъ говорите, какъ будто бы вы сами не пошли бы ни за что?

— Ахъ, нѣтъ; Боже меня сохрани? Не дай Богъ такого несчастья: но, разумѣется, пошла бы.

— Ну, такъ что же вы такъ восхваляете княжну Агриппину Лукинишну! Конечно, все-таки и она была не бишка какая-нибудь, а все-таки женщина; но вѣдь, повторяю, если такія ничтожныя вещи ставить женщинѣ въ особую заслугу, такъ, я думаю, очень много найдется имѣющихъ совершенно такія же права на дань точно такого же изумленія.

— Ахъ, Боже мой! представьте. я вѣдь совершенно забыла, что вѣдь и вы тоже...

— Да я что тамъ была—безъ году недѣлю... а, впрочемъ, да: бѣлье мужу тоже стирала и даже послѣ мужниной смерти пироги нашимъ арестантамъ верстъ за семь въ лоткѣ носила.

— По снѣгу!

— Какой наивный вопросъ, ma chère Серафима Григорьевна!—Княгиня весело засмѣялась.—Вы, пожалуйста, не сердитесь, что я смѣюсь: я вспомнила, какъ вы боитесь снѣгу.

— Ахъ, ужасъ! Зима это... это... оцѣпенѣніе; это... я просто не знаю, что это такое.

Стугина смотрѣла въ открытую дверь и вспомнила что-то особенно для нея милое и почтенное.

— Нѣтъ, вотъ, сказала она вздохнувъ:—вотъ графиню Нину, да ея гувернантку... Какъ она называлась: Eugenie или Eudoxie, этихъ женщинъ стоитъ вспомнить и передъ именами ихъ поклониться.

Въ комнатѣ наступила минута безмолвной тишины, какъ бы въ память этихъ двухъ женщинъ, передъ одними именами которыхъ хотѣла поклониться непреклонная, сѣдая голова Стугиной.

— Въ этотъ разъ, когда вы были въ Россіи, вы не видали графини Нины?—спросила она послѣ паузы Онучину.

— Нѣтъ, не удалось мнѣ побывать за Москвою.

— Сестра моя, Анна, была у нея въ монастырѣ. Пишетъ, что это живой мертвецъ, совершенная, говоритъ, адамова голова, обтянутая желтой кожей.

Серафима Григорьевна опять повернулась на креслѣ и, глядя въ растворенное окно, нервно обрывала на колѣнѣ зелено-сѣрый, бархатный листочекъ «Люби-да-помни».

— Да, произнесла она черезъ минуту:—да, умѣли кутить, но и любить умѣли.

— Люди были; «былъ вѣкъ богатырей», какъ написалъ Давыдовъ.

— А нынче все это... какая-то...

— Дребедень, рѣшила княгиня.

— Все это какъ-то... что-то такое хотятъ дѣлать, и все...

— Наши старыя платья наизнанку, по бѣдности своей, донашиваютъ, закончила княгиня, поправляя на вискахъ свои сѣдыя букли.

— И этотъ царь!—проговорила она, складывая съ умиленіемъ свои аристократическія руки и снова улетая въ свое прошедшее. Этотъ божественный, прекрасный Александръ Павловичъ! этотъ благороднѣйшій рыцарь! этотъ джентльменъ съ головы до ногъ!

— Какіе люди и какое время было!

— То-то, добавляйте, пожалуйста, всегда: *было,* заключила Стугина.

Старушки помолчали, поносились въ сферѣ давно минувшаго; потихоньку вздохнули и опять взошли въ свое сѣдое настоящее. Самъ Ларошфуко, такъ хорошо знавшій о чемъ сожалѣютъ подъ старость женщины, не совсѣмъ бы вѣрно разгадалъ эти два тихіе, сдержанные вздоха, со всею бѣшеною силою молодости вырвавшіеся изъ родившей ихъ отцвѣтшей, старушечьей груди.

Во время этой бесѣды, безмолвнымъ слушателемъ которой оставался одинъ Долинскій, на тепло прогрѣтую землю спустился сине-розовый итальянскій вечеръ; Вѣра Сергѣевна съ молодымъ Стугинымъ вернулись съ террасы и всѣмъ вздумалось пройтись къ морю. Дорогой княгиня совсѣмъ потеряла свой желчный тонъ и даже очень оживилась; она разсказала нѣсколько скабрезныхъ исторіекъ изъ маловѣдомаго намъ міра и вѣка, и каждая изъ этихъ исторіекъ была гораздо интереснѣе свѣтскихъ романовъ одной русской писательницы, по мнѣнію которой влюбленный человѣкъ «хорошаго тона» въ самую горячечную минуту страсти ничего не можетъ сдѣлать умнѣе, какъ съ большимъ жаромъ поцѣловать ея руку и *прочесть ей слѣдующее стихотвореніе Альфреда Мюссе.* Стихотвореніе это я не выписываю, опасаясь, чтобы оно не ко времени не припомнилось кому-нибудь изъ моихъ читателей, которому еще суждено въ жизни увидѣть

Рядъ волшебныхъ измѣненій
Милаго лица.

Я не хочу, чтобъ эти прекрасные стихи заставили впечатлительнаго несчастливца возненавидѣть очень хорошаго поэта Альфреда Мюссе.

Долинскій слушалъ разсказы княгини, порою смѣялся и вообще былъ занятъ, былъ заинтересованъ ими не меньше всѣхъ прочихъ слушателей. Онъ возвратился домой въ такомъ веселомъ расположеніи духа, въ какомъ не чувствовалъ себя еще ни разу съ самой смерти Доры.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Не куется, а плющится.

Долинскій зажегъ у себя огонь и прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ, потомъ раздѣлся и легъ въ постель, размышляя о добромъ старомъ времени. Онъ уснулъ подъ впечатлѣніями, навѣянными на него разсказомъ строгихъ старушекъ.

— «Вотъ взойдетъ въ свою пору Вѣра Сергѣевна», думалъ онъ, засыпая: «и она, пожалуй, будетъ дѣлать такія же чудеса. Отчего же ей ихъ и не дѣлать?.. А теперь она еще, кажется, дѣвушка хорошая. Любить ей очень хочется, говорила Даша, да почему Даша это могла знать?.. Вздоръ это!.. А какая у нея, однако, фигура! Рука какая... У Доры была крошечная лапка, но не такая. И какая грація во всемъ! Раса, значитъ.—Конечно, онѣ не рождены для вдохновеній и молитвъ; но бедуинкой—на арабскомъ конѣ разъѣзжать съ оливковымъ шейхомъ...» И вотъ видится Долинскому Вѣра Сергѣевна на огневомъ арабскомъ конѣ, а возлѣ нея статный шейхъ въ бѣломъ плащѣ, и этотъ шейхъ самъ онъ Долинскій. «Поскачемъ», говоритъ ему Вѣра Сергѣевна, и они несутся, несутся; кругомъ палящій зной, въ сонномъ воздухѣ тихо дремлютъ одинокія пальмы; изъ мелкаго кустарника выскочилъ желтый левъ, прыгнулъ и, притаясь, легъ вровень съ травою.—«Не отставай!» говоритъ ему Вѣра Сергѣевна, оскорбляя своего скакуна ударомъ. «Не отставай!» повторяетъ она, уносясь отъ него далѣе. «Не отставай же, не отставай!» кричитъ она чуть слышно, вовсе исчезая изъ его глазъ за красною чертою огненнаго горизонта. Конь Долинскаго ни съ мѣста, онъ храпитъ и пятится. На небѣ темнѣетъ, надвигаетъ ночь, лошадь Долинскаго все дрожитъ, все мнется и на немъ самомъ не плащъ, а бѣлый холщевый саванъ, и лошадь его ужъ совсѣмъ не лошадь, а сѣрый волкъ. «Утки крякнули, берега звякнули, море взболталось, тростники всколыхались, про-

сыпается гамаюнъ-птица, шевелится зеленый боръ», заляскалъ, стукая челюстями, сѣрый волкъ. «Хочешь, я спою тебѣ веселую пѣсенку?» спрашиваетъ сѣрый волкъ и, не дожидаясь отвѣта, затягиваетъ: «Вѣчная память, вѣчная память». «Ничто, мой другъ, не вѣчно подъ луною!» съ веселымъ хохотомъ прокричала бѣшено пронесшаяся мимо его на своемъ скакунѣ Вѣра Сергѣевна. «Ничто, мой другъ, не вѣчно подъ луною», внушительно разсказываетъ Долинскому долговязый шейхъ, раскачиваясь на высокомъ сѣдлѣ. Долинскій только хотѣлъ вглядѣться въ этого шейха, но того уже не было, и его бѣлый бурнусъ развѣвается въ темнотѣ возлѣ стройной фигуры Вѣры Сергѣевны.

Долинскій хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ около него зашевелилась трава, вдругъ она начала расти и расти, такъ что слышно было, какъ она растетъ. Росла она шибко и высоко—выше роста человѣческаго; изъ нея отовсюду безпрестанно вылетали огненные свѣтляки и во всѣхъ направленіяхъ описывали правильныя, блестящія параболы; въ неподвижномъ воздухѣ спирался невыносимый зной и удушающій запахъ зеленыхъ майскихъ мушекъ.

Долинскій задыхался, а свѣтляки передъ нимъ все мелькали, и зеленыя майки качались на гнуткихъ стебляхъ травы и наполняли своимъ удушливымъ запахомъ неподвижный воздухъ, а трава все растетъ, растетъ и ужъ Долинскому и нечѣмъ дышать, и негдѣ повернуться. Отъ страшной, жгучей боли въ груди онъ болѣзненно вскрикнулъ, но голосъ его беззвучно замеръ въ сонномъ воздухѣ пустыни, и только переросшая траву задумчивая пальма тихо покачала ему своей печальной головкой.

Долинскій проснулся, тяжело вздохнулъ и оглянулъ комнату. Стѣны чуть сѣрѣли слабымъ превосходнымъ мерцаніемъ и прямо передъ лицомъ Долинскаго едва обрисовывалась на гвоздѣ соломенная шляпа Доры. «Дайте мнѣ пожалуйста эту шляпу», попросила его Вѣра Сергѣевна, чуть только онъ заснулъ снова. «Я скакала, ахъ, какъ я скакала цѣлую ночь!» весело говорила она ему, вся пылая свѣжимъ

румянцемъ: «и вообразите, я потеряла мою шляпу въ Африкѣ. — Тамъ теперь растетъ ужасная трава, въ которой ничего нельзя найти. Вы знаете эту траву?»

— О, я ее очень хорошо знаю, подумалъ Долинскій.

— А если знаешь, заговорила Вѣра Сергѣевна, — такъ подавай же мнѣ скорѣй, скорѣе подавай мнѣ эту шляпу своей мертвой Доры. Голосъ у Вѣры Сергѣевны былъ рѣзкій, какъ трескъ дѣтскаго барабана, но такой голосъ, что нервы его трепетали и мышцы сами спѣшили исполнять ея капризы.—Тише, тише! закричала ему Вѣра Сергѣевна, когда Долинскій коснулся руками полей дорушкиной шляпы. Долинскій оглянулся.—Развѣ не видишь, что тамъ паутина? Тамъ пауки сидятъ, мерзкіе, скверные пауки живутъ въ этой гадкой шляпѣ! И ты думалъ, что я ее надѣну! И ты это думалъ!.. Ха, ха, ха! — Вѣра Сергѣевна захохотала.— Пауки? Зачѣмъ же пауки? подумалъ обиженный Долинскій и пристально взглянулъ на шляпу. Съ полей ея почти до земли падалъ длинный газовый вуаль, и подъ дымкой этого вуаля что-то бѣлѣлось. Еще секунда, и тихо, какъ легкая туманная картина, подъ нимъ обрисовывается мертвая головка Доры. Глаза ея закрыты, на лицѣ могильная сѣрая пыль и подъ ней суровая печать смерти, синія уста шевелятся безъ звука. Откуда-то взялся сѣрый большой паукъ, торопливо закосилъ всѣми своими длинными ногами, проворно пробѣжалъ по мертвому лицу и скрылся на плечѣ въ золотыхъ кудряхъ. На лбу ворочала скользкими усиками сѣрая стѣнная мокрица. Вездѣ была сѣро-зеленоватая плѣсень, отовсюду несло холодомъ и могилой.

— «Мѣсяцъ свѣтитъ, мертвецъ ѣдетъ, не боишься ли ты меня, добрый молодецъ?»—спрашиваетъ Дора.

Голосъ у нея не рѣзкій, какъ у Вѣры Сергѣевны, а какой-то гулкій, круглозвучный, словно запоздалая цапля тяжело машетъ крыльями, пролетая темной ночью надъ соннымъ болотомъ. И въ самомъ дѣлѣ, это совсѣмъ даже не голосъ. Уста мертвой не движутся, а могильная пыль не шевелится ни на одномъ мускулѣ ея лица, и только тяже-

лыя вѣки медленно распахиваются, открываютъ на мгновеніе злые, зеленые, лишенные всякаго блеска глаза, и опять такъ же медленно захлопываются, но зеленые зрачки все съ тою же злостью смотрятъ изъ-подъ верхняго вѣка.

— Чѣмъ же ты обижена? Скажи, чѣмъ оскорбилъ я тебя?—протягивая руки, спрашивалъ Долинскій, но вмѣсто отвѣта у него надъ самымъ ухомъ прогорланилъ пѣтухъ, и вдругъ все сникло. Долинскій проснулся.

На дворѣ было утро, подъ окномъ расхаживалъ голосистый красный пѣтухъ, а изъ маленькаго чулана за палисадникомъ раздавалось веселое кудахтанье двухъ фаворитныхъ куръ домовитой француженки.

Свѣжее утро не произвело на Долинскаго хорошаго вліянія; онъ всталъ сумрачный и разстроенный: долго ходилъ въ большомъ безпокойствѣ изъ угла въ уголъ и, наконецъ, сѣлъ за работу.

— Madame Бюжаръ!—сказалъ онъ, когда француженка подала ему кофе:—я впередъ не буду поднимать шторы.

— Bon, отвѣчала хозяйка.

— А вы, madame Бюжаръ, если кто меня будетъ спрашивать, говорите всѣмъ, что я боленъ.

— C'est bien, monsieur.

— Что я ушелъ куда-нибудь или уѣхалъ,— ну, какъ тамъ хотите.

— C'est ça, monsieur.

— Hélas! pauvre diable, comme il est triste!—говорила француженка, выходя отъ постояльца и съ состраданіемъ качая своей сѣдой головою.

Долинскій въ этотъ день работалъ по обыкновенію, до самыхъ сумерекъ. Никто его не отвлекалъ и не безпокоилъ. Передъ вечеромъ m-me Бюжаръ принесла ему обѣдъ.

— Madame, сказалъ онъ ей:—не носите мнѣ болѣе обѣда.

— Mon Dieu! не хотите ли вы уморить себя голодомъ.

— Нѣтъ, я боленъ. Вы мнѣ покупайте немножко зелени и хлѣба. Я болѣе ничего не могу ѣсть.

Француженка молча смотрѣла на него во всѣ глаза.

— Adieu, madame Бюжаръ, сказалъ онъ, взявъ и пожавъ ея руку.

Старуха только изумлялась.

— Это чортъ знаетъ что такое, говорилъ порывисто, вскочивъ и торопливо запирая на ключъ свою дверь Долинскій.—Какое мнѣ дѣло до этихъ барынь и до ихъ тамъ какихъ-то подвиговъ? что мнѣ тамъ такое!—повторялъ онъ кипятясь и съ негодованіемъ бѣгая изъ угла въ уголъ.— Что мнѣ за дѣло до ихъ какихъ-то свѣтскихъ скандаловъ, или до какихъ-то Ягу! У меня пропало, *пропало* съ земли все, чѣмъ мнѣ милъ былъ свѣтъ бѣлый, а я буду утѣшаться! Буду смѣяться! слушать! разговаривать! О чемъ мнѣ разговаривать, когда *все умерло*, сгинуло, пропало, *сгнило*...

Онъ сердито повернулъ въ сторону, сѣлъ къ столу и упорно, не разгибаясь, работалъ до вечера. Къ сумеркамъ Долинскій, значительно успокоенный, снова долго ходилъ изъ угла въ уголъ по залѣ. Машинально онъ иногда останавливался передъ какою-нибудь одною вещью, осматривалъ ее, трогалъ рукою и опять шелъ далѣе, до новаго желанія тронуться до чего-нибудь другого. Остановясь у столика, на которомъ стояла лампа, онъ вытащилъ изъ-подъ нея небольшую книжечку избранныхъ мыслей изъ ученія Спинозы, перелистовалъ небрежно страницы и вдругъ остановился. Между двумя печатными листками, спокойно и молчаливо притаясь, лежалъ листокъ почтовой бумаги, на которомъ было сдѣлано нѣсколько короткихъ замѣтокъ рукою Доры, и въ концѣ послѣдней замѣтки прибавлено: «сегодня до 87-й стр.». Стояло число, шедшее за три дня до ея смерти.

Долинскій просмотрѣлъ замѣтки и, подойдя къ окну, пробѣжалъ три страницы далѣе дорушкиной закладки, отнесъ книгу на столъ въ комнату Доры и самъ снова вышелъ въ залу. Въ его маленькой, одинокой квартирѣ было совершенно тихо. Городской шумъ только изрѣдка доно-

сился сюда съ легкимъ вѣтеркомъ черезъ открытую форточку и въ ту же минуту замиралъ.

Настала ночь. Взошедшая луна, ударяя въ стекла окна, кидала на полъ три полосы блѣднаго свѣта. Въ воздухѣ было свѣжо; съ надворья пахло померанцами и розой. Въ форточку, весело гудя, влетѣлъ ночной жукъ, шибко треснулся съ разлета о стѣну, зажужжалъ и отчаянно завертѣлся на своихъ роговыхъ надкрыльяхъ.

Долинскій остановился, бережно взялъ со стола барахтавшагося на спинкѣ жука и поднесъ его на ладони къ открытой форточкѣ. Жукъ дрыгнулъ своими пружинистыми ножками, широко разставилъ въ стороны крылья, загудѣлъ и понесся. Съ надворья въ лицо Долинскому пахнула ароматная струя чрезмѣрно теплаго воздуха; ласково шевельнула она его сухими волосами, какъ будто что-то шепнула на ухо и безслѣдно разлилась по комнатѣ.

— Собака... кошка... мышь — жива, а нѣтъ Корделіи! Вотъ этотъ жукъ летаетъ лунной ночью, а Дора мертвая лежитъ въ сырой могилѣ!—мелькнуло въ головѣ Долинскаго.

Онъ продолжалъ стоять у окна и глядѣлъ въ открытую форточку на дремлющіе въ тѣни кусты и цвѣточныя клумбы. Луна била ему прямо въ лицо и ярко обливала своимъ желтымъ свѣтомъ всю верхнюю часть его тѣла.

Если бы въ это время кто-нибудь увидѣлъ въ форточкѣ его красивое до мертвенности блѣдное лицо, эффектно освѣщенное луною, тотъ непремѣнно отскочилъ бы отъ него въ сторону, и поневолѣ вспомнилъ бы одну изъ очаровательныхъ легендъ о душахъ, бродящихъ на землѣ въ ожиданіи прощенія своихъ земныхъ согрѣшеній. Уставшіе глаза Долинскаго смотрѣли съ тихою грустью и безпредѣльною добротою, и какъ-то совсѣмъ ничего земного не было въ этомъ взглядѣ; въ лицѣ его тоже ни одинъ мускулъ не двигался, и даже, кажется, самое сердце не билось. Это былъ Наль, разлученный съ своей Дамаянти; это было воплощеніе идеи духа, для котораго нѣмы всѣ пѣсни земли, который знаетъ

другія пѣсни и полонъ томительнаго желанія снова услышать ихъ памятные звуки.

Долинскій, въ самомъ дѣлѣ, не былъ съ самимъ собою. Словно на волшебныхъ крыльяхъ воспоминаніе его облетало все ему нѣкогда милое, все живущее далеко и спящее въ своихъ тихихъ гробахъ. Дѣтство, сердитый старикъ Днѣпръ, раздольная заднѣпровская пойма, облитая такимъ же серебристымъ свѣтомъ; сестра съ курчавой головкой, братъ, отецъ въ синихъ очкахъ съ огромной четьи-минеей, мать, Анна Михайловна, Дора—все ему было гораздо ближе, чѣмъ онъ самъ себѣ и оконная рама, о которую онъ опирался головою. Онъ совсѣмъ видѣлъ эту широкую пойму, эти песчаные острова, заросшіе густой лозою, которой вольнолюбивый черторей каждую полночь начинаетъ разсказывать про ту чудную долю—минувшую, когда пойма цѣлымъ Днѣпромъ умывалась, а въ головы горы клала и степью укрывалась; видѣлъ онъ и темный, черный боръ, заканчивающій картину; онъ совсѣмъ видѣлъ Анну Михайловну, слышалъ, что̀ она говоритъ, зналъ, что̀ она думаетъ; онъ видѣлъ мать и чувствовалъ ея присутствіе; съ нимъ неразлучна была Дора. Они были гдѣ-то. *Гдѣ-жс?* Гдѣ-то, гдѣ и онъ; да и что за дѣло, гдѣ?.. Но она есть; она существуетъ...—*Умерла!* говоритъ себѣ Долинскій, стоя въ своемъ прежнемъ положеніи.—И что-жъ такое, что умерла?—Нѣтъ ея; *совсѣмъ нѣтъ* — сгнила... Эта воля, эта душа, этотъ умъ — все, все это *сгнило*... Столько жизни пропало безъ слѣда... что-жъ я люблю теперь... въ чемъ тѣла нѣтъ, нѣтъ жизни; ни тѣни нѣтъ, ни звука слабаго...

Среди жуткаго ночного безмолвія, за спиною Долинскаго что-то тихо треснуло и зазвучало, какъ лопнувшая гитарная квинта. Долинскій вздрогнулъ и прижался къ оконницѣ. Безпокойно и съ неувѣренностью оглянулся онъ назадъ: все было тихо; мѣсяцъ прихотливо ложился широкими свѣтлыми полосами на блестящій полъ, и на одной половинѣ едва означалась новая, тоненькая трещина, которой, однако, нельзя было замѣтить при лунномъ полусвѣтѣ.

Долинскій вздохнулъ, обернулся и снова спокойно сталъ къ окошку.

— Легко какъ поддаваться суевѣрному страху!—разсуждалъ онъ, стоя попрежнему у открытой форточки.—Треснетъ что-нибудь въ пустой комнатѣ—и вздрогнешь, и готовъ пугаться, а воображеніе, по дѣтской привычкѣ, сейчасъ подрисовываетъ, въ головѣ вдругъ пролетитъ то одно, то другое, и готовъ вѣрить, что все, что́ кажется, то будто непремѣнно и есть... Милые, чистые, теплые всякою вѣрою дѣтскіе годы! Куда вы минули. Куда унеслись безвозвратно?.. Все бозвозвратно... Ушло и нѣтъ его, а между тѣмъ, оно живетъ въ душѣ—былое... *Въ душѣ!..* Ну, въ *чемъ-то*, вѣдь вотъ живетъ же Дора во мнѣ самомъ, въ моей любви и мукахъ... Странная мысль! Луна одна все та же, вѣчно, а мнѣ сдается даже, что я ее видалъ совсѣмъ когда-то не такою... Вонъ этотъ бѣлый мотылёкъ, что́ съ сумерекъ уснулъ на розовомъ листочкѣ, и дремлетъ, облитый дрожащимъ, луннымъ свѣтомъ, неужто чувствуетъ его точь-въ-точь, какъ и я?.. А можетъ-быть, что та же самая луна ему совсѣмъ иной казалась, когда, дней пять назадъ, подъ листочкомъ онъ спалъ безкрылою козявкой?.. Навѣрно такъ; его глаза теперь, конечно, видятъ все иначе и все теперь въ его сознаніи стоитъ совсѣмъ иначе... Два шага человѣческихъ съ трудомъ переползалъ онъ въ сутки и немощный выматывалъ себѣ тяжелый саванъ, и вотъ теперь—какая прелесть! два крылышка, на-выкать глазки, жизнь въ свѣтломъ воздухѣ; воздушная любовь и сладкій сонъ на розовой постели... А онъ вѣдь, въ сущности, все тотъ же... Онъ измѣнился, да, но къ лучшему, конечно. А жукъ, который прилетѣлъ съ надворья, а я, а всѣ мы? Мы сгнить должны. Законъ природы... странно! Природа дышитъ и обновляется въ своемъ торжественномъ безсмертьи; луна ея сегодня свѣтитъ, какъ свѣтила въ ту ночь, которою въ ея глазахъ убитъ былъ братомъ Авель; и червячки съ козявками по смерти также оживаютъ, а Авель, а человѣкъ—вѣнецъ земной природы, гніетъ безслѣдно... Гдѣ Соломонъ,

гдѣ эта савская царица, которая такъ рабски шла, чтобъ положить свою дань благоговѣнія къ ногамъ царя и исполина мысли?.. Неужто исчезли оба — и этотъ царь, и эта савская царица исчезли!.. Точно такъ исчезли, какъ дуралей какой-нибудь, который разгрызалъ лѣсной орѣхъ съ гораздо большимъ размышленіемъ, чѣмъ повторялъ по наслыху, что «ничто не ново подъ луною»? Не можетъ быть. Приходило ли этому дураку въ голову, какой страшный смыслъ, какая ужасная загадка положена въ этихъ пяти словахъ, которыя болталъ его языкъ? А такъ сказать, сболтнуть «ничто не ново подъ луной»—вѣдь, кажется, и очень будто просто! И всего *только пять* словъ... и мозгъ вертится, изнемогаетъ мозгъ передъ ними и... нѣтъ яснаго отвѣта... Противорѣчій нить все путается больше, и вѣрить на слово приходится, что все живущее не ново...

Не ново!.. Нѣтъ новаго, такъ старое-жъ пропасть не можетъ... Все въ экономіи природы должно существовать и самое гніеніе... одинъ пріемъ... одинъ процессъ и снова жизнь... Козявки нѣтъ — летаетъ мотылекъ; умершій Соломонъ не новъ былъ подъ луною и каждый такъ... Быть-можетъ, я ужъ жилъ когда-то? Порой вѣдь что-то помнится-жъ такое, чего никакъ себѣ растолковать не можешь, какой-то свѣтъ, такой совсѣмъ не солнечный, не огненный, не лунный; слова беззвучныя и звуки страннаго значенія... Быть-можетъ, что Картушъ шнырялъ когда-нибудь лисицей прежде, иль волкомъ рыщетъ нынче Пугачевъ; Іуда въ кардинальской шапкѣ, а Каинъ въ обществѣ моравскихъ братій, и на одной ногѣ въ лѣсу стоитъ Ньютонъ дервишемъ. Самъ я, я думаю, что я, лѣтъ тридцать какъ всего возникшее творенье, а можетъ-быть... я жилъ еще въ Картушѣ, въ Магометѣ, или въ томъ трусѣ, который прибѣжалъ одинъ изъ термопильскаго ущелья!.. Да, наконецъ, въ моемъ отцѣ иль матери... Прямая вещь! Быть-можетъ, Соломона мысль меня смущаетъ и волнуетъ совсѣмъ не случаемъ, не спроста! Вѣдь Соломонъ живетъ? Живетъ, конечно! Не ново здѣсь ничто, такъ старому нельзя по-

гибнуть, ибо иначе, какъ ничто не ново? Матерія! матерія и сила!.. Да вѣдь поэзія, лиризмъ — вѣдь тоже силы... А пѣсня! Неужели-жъ не сила? А музыка, которая вліяетъ на животныхъ, которую приходятъ слушать рыбы!.. А эта странная гармонія рѣчей, которыхъ «значеніе пусто и ничтожно, а имъ безъ волненья внимать невозможно»? Да мало ли чего еще!.. Не всѣ-жъ матеріи такъ тонки, что ихъ нашъ глазъ способенъ видѣть и отличать... Исторія видѣній, сновъ, предчувствій ясна совсѣмъ не столько, чтобы рѣшить, одно ли то живетъ, что̀ мѣста требуетъ въ пространствѣ. А если Соломонъ теперь такъ тонокъ, такъ прозраченъ, что можетъ стать передъ моимъ окномъ и не заслонить отъ глазъ моихъ листка, гдѣ дремлетъ этотъ мотылекъ? Не новъ онъ будетъ, но иной. Кто докажетъ мнѣ, что его нѣтъ?... Вѣдь что-жъ такое скептицизмъ? Ну, фараонова тощайшая корова, которая, сожравъ свою тучнѣйшую сестру, все такъ тоща, что сердце у нея стучитъ по голымъ ребрамъ?.. Вѣдь позволительно же вѣрить въ то, по крайней мѣрѣ, что по землѣ ходили лица, устъ своихъ не осквернявшія ни лестью и ни ложью... Неужто я живу только пока я ѣмъ, ношу сюртукъ и сплю? Жизнь вѣчная вѣчна, какъ эта вся природа, какъ мысль, живущая въ смѣняющихъ другъ друга поколѣніяхъ. Читала Дора Спинозу и умерла, не дочитавъ половины. Шутила, говорила, что выучится думать хорошенько, вотъ и выучилась. Вотъ печатный Спиноза цѣлъ и на столѣ развернутый лежалъ все время съ ея смерти, а ея нѣтъ... Я вотъ теперь три листка просмотрѣлъ подалѣе, подалѣе того, гдѣ остановилась Дора, и что-жъ она теперь: на три страницы далѣе или ближе отъ Спинозы? Иль, можетъ-быть, она оттуда видитъ и читаетъ? Иль, можетъ-быть, не сны одни мнѣ снятся, а въ самомъ дѣлѣ, для нея не нужны двери и, измѣненная, она владѣетъ средствомъ съ струею воздуха влетать сюда, здѣсь быть со мной и снова носиться и даже черныя фигурки буквъ способна различать... Нелѣпый бредъ! Луна меня тревожитъ: лучи ея какъ будто падаютъ мнѣ

прямо въ мозгъ и въ сердце. Что умерло, то спитъ и не придетъ повернуть рукой забытую страницу.

Долинскій хотѣлъ отойти отъ окна и вдругъ страшно вздрогнулъ и по тѣлу его побѣжали мурашки. Въ комнатѣ покойной Доры тихо и отчетливо перевернулась страница.

— Дѣтскій страхъ!.. мечта, послышалось мнѣ, иль просто вѣтеръ дунулъ, говорилъ себѣ Долинскій, стараясь взять надъ собою силу, а паническій, суевѣрный страхъ самъ предупреждалъ его, а онъ бралъ его за плечи, двигалъ на головѣ его волосы и чрезъ мгновеніе донесъ до его слуха столь же спокойный и столь же отчетливый звукъ отъ оборота второй страницы.

— Вторая,—шепнулъ дрожащими отъ ужаса губами Долинскій:—ихъ три: такъ третья, что ли, будетъ тоже?

Третья страница зашелестила, не спѣша перевалилась и, шурша, легла на открытую половину.

— А тридцать-первый реформатскій полкъ правильно ретировался и отступалъ къ образцовой фермѣ, прошло вдругъ въ головѣ Долинскаго.

— Что за нелѣпость, что за вздоръ такой, какой полкъ маршировалъ?—шепталъ онъ, стараясь удерживать себя и поворачивая свое лицо отъ окна въ комнату.

— Тамъ нѣтъ никого, сказалъ онъ, и только что хотѣлъ сдѣлать одинъ рѣшительный шагъ, какъ скрѣпчавшій передъ зарею вѣтерокъ разомъ надулъ тяжелыя дверныя занавѣси изъ Дашиной комнаты, полы драпировки далеко выдвинулись и запарусили.

— Кто тамъ, кто ходитъ здѣсь? — отчаянно крикнулъ нервнымъ, испуганнымъ голосомъ Долинскій.

— Уйдите отъ меня!—добавилъ онъ черезъ секунду, не сводя остраго, встревоженнаго взгляда съ длинныхъ полъ, которыя все колыхались, таинственно двигались, какъ будто кто-то въ нихъ путался и, разомъ распахнувшись, защелкали своими взвившимися углами, какъ щелкаютъ дѣтскія, бумажныя хлопушки, а по стекламъ противоположнаго окна мелькнуло нѣсколько блѣдныхъ, тонкихъ линій, брошен-

ныхъ заходящей луною, и вдругъ все стемнѣло; передъ Долинскимъ выросла огромная мрачная стѣна, подъ стѣной могильные кресты, заросшіе глухой крапивой, по стѣнѣ медленно идетъ въ бѣломъ саванѣ Дора.

— Ахъ, уйди ты! уйди!—подумалъ больной, и стѣна, и Дора тотчасъ же исчезли отъ его думы, но зато въ темной аркѣ бѣлаго камина загорѣлся пріятный голубоватый огонь и передъ этимъ огнемъ на полу, граціозно закинувъ подъ голову руки, лежала какая-то совершенно незнакомая красивая женщина.

— Этого ничего нѣтъ,—понималъ Долинскій. Онъ отвернулся къ окну и оторопѣлъ еще болѣе: тамъ, высоко-высоко на небѣ, стояла его собственная темная тѣнь колоссальнѣйшихъ размѣровъ, а тутъ сбоку, возлѣ самой его щеки, смотрѣло на него чье-то блѣдное, смѣющееся лицо.

Разстроенное воображеніе Долинскаго долѣе не выдержало. Ему представились какія-то блѣдныя, прозрачныя тѣни—тѣни, толпящіяся въ движущихся занавѣсахъ, тѣни подъ шторою окна; вся комната полна тѣнями: тѣни у него на плечахъ и въ немъ самомъ: все тѣни, тѣни... Онъ отчаянно пожался къ окну и сильно подавленное стекло разлетѣлось вдребезги.

— А тридцать-первый реформатскій полкъ правильно ретировался и отступалъ къ образцовой фермѣ, стояло у него въ головѣ и затѣмъ онъ ничего не помнилъ.

Прохладный, утренній воздухъ, врываясь въ разбитое окно и форточку, мало-по-малу освѣжилъ больную голову Долинскаго. Онъ приподнялъ лицо и медленно оглянулся. На дворѣ свѣтло, между крышъ на востокѣ неба прорѣзалась блѣдно-розовая полоска и на узенькой дощечкѣ, подъ низенькимъ фронтономъ плоской крыши, гулко ворковалъ проснувшійся голубь. Сильная нервная возбужденность Долинскаго смѣнилась необычайной слабостью, выражавшеюся во всей его распускавшейся фигурѣ и совершенно угасающемъ взорѣ.

— Жизнь!... иная жизнь! жизнь вѣчная!—шепталъ онъ,

какъ бы что-то ловя и преслѣдуя глазами, какъ бы стараясь что-то прозрѣть въ тонкомъ сѣро-розовомъ свѣтѣ подъ бѣлымъ потолкомъ пустой комнаты.

Только протяжно и съ безконечнымъ покоемъ пронесся по свѣтлому, утреннему небу одинъ тихій звонъ маленькаго колокола съ круглой башни ближайшей церкви. Долинскій вздрогнулъ.

— Зоветъ!—прошепталъ онъ, складывая на груди своей руки.

Колоколъ черезъ минуту опять прозвучалъ еще тише и еще призывнѣй.

— Зоветъ! зоветъ!—повторилъ больной, и блѣдное лицо его сразу приняло строгое, серьезное выраженіе, какое бываетъ у нѣкоторыхъ мертвецовъ.

— Создатель! пощади мой разумъ! — произнесъ онъ тверже черезъ минуту и, какъ немощный больной, держась стѣны, побрелъ къ своей постели.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Иной путь.

Бѣжали дни за днями. Изъ нихъ составлялись недѣли и мѣсяцы—Долинскій никуда не показывался. Къ нему нѣсколько разъ заходилъ Кириллъ Онучинъ; раза три заходила даже Вѣра Сергѣевна, но madame Бюжаръ, тщательно оберегая своего страннаго постояльца, никого къ нему не допускала. Вѣра Сергѣевна въ первый мѣсяцъ исчезновенія Долинскаго послала ему нѣсколько записокъ, которыми приглашала его придти, потому что ей «скучно»; въ другой она даже говорила ему, что «хочетъ его видѣть» и, наконецъ, она писала: «Я очень разстроена. У меня горе, въ которомъ мнѣ не къ кому прибѣгнуть, не съ кѣмъ посовѣтоваться, кромѣ васъ! Васъ это можетъ удивить, если вы думаете, что я только свѣтская кукла и ничего болѣе. Если вы такъ думаете, то вы очень ошибаетесь. Но во всякомъ случаѣ, что бы вы ни думали обо мнѣ, я вамъ говорю, что

у меня горе, большое горе. Чѣмъ я ничтожнѣе, тѣмъ оно для меня тяжелѣе. Мнѣ приходится бороться съ тяжелыми для меня требованіями и мнѣ не съ кѣмъ обдумать моего положенія, не съ кѣмъ сказать слова. Вы — человѣкъ съ сердцемъ и человѣкъ любившій; умоляю васъ, помогите мнѣ хоть однимъ теплымъ словомъ! Если вы не хотите быть у насъ, если не хотите у насъ съ кѣмъ-нибудь встрѣтиться, то завтра попозже въ сумерки, какъ стемнѣетъ, будьте на томъ мѣстѣ, гдѣ мы съ вами гуляли вдвоемъ утромъ, и ждите меня—я найду случай уйти изъ дома.

«Надѣюсь, что у васъ недостанетъ холодности отказать мнѣ въ такой небольшой, но важной для меня услугѣ, хоть, наконецъ, изъ снисхожденія къ моему полу. Помните, что я буду ждать васъ и что мнѣ страшно будетъ возвращаться одной ночью. Письмо сожгите».

Трудно поручиться, достало ли бы у Долинскаго холодности не исполнить просьбу Вѣры Сергѣевны, если бы онъ прочелъ это посланіе; но онъ не читалъ ни одного изъ ея писемъ. Какъ только m-me Бюжаръ подавала ему конвертъ, надписанный рукою Вѣры Сергѣевны, онъ судорожно сминалъ его въ своей рукѣ, уходилъ въ уголъ, тщательно сжигалъ нераспечатанный конвертъ, растиралъ испепелившуюся бумагу и пускалъ пыль за свою оконную форточку. Онъ боялся всего, что̀ можетъ хоть на одно мгновеніе отрывать его отъ думъ, сѣтованій и таинственнаго міра, создаваемаго его мистической фантазіей. Наконецъ, всѣ его оставили. Онъ былъ очень этому радъ. Окончивъ работу, онъ съ восторженностью началъ изучать пророковъ и жилъ совершеннымъ затворникомъ. А тѣмъ временемъ настала осень, получилось разрѣшеніе перевезти гробъ Даши въ Россію и пришли деньги за напечатанную повѣсть Долинскаго, которая въ свое время многихъ поражала своею оригинальностью и носила сильный отпечатокъ душевнаго настроенія автора.

Долинскому приходилось выйти изъ своего заточенія и дѣйствовать.

На другой же день, по полученіи послѣдней возможности отправить тѣло Даши, онъ впервые вышелъ очень рано изъ дома. Выхлопотавъ позволеніе вынуть гробъ и перевезя его на желѣзную дорогу, Долинскій просидѣлъ самъ цѣлую ночь на пустомъ, отдаленномъ концѣ длинной платформы, гдѣ поставили черный сундукъ, зловѣщая фигура котораго будила въ проходившихъ тяжелое чувство смерти и заставляла ихъ бѣжать отъ этого страннаго багажа.

Долинскій не замѣчалъ ничего этого. Онъ сидѣлъ у сундука, облокотясь на него рукою, и, казалось, очень спокойно отдыхалъ отъ дневныхъ хлопотъ и бѣготни по поводу перевозки. На дворѣ совсѣмъ меркло; мимо платформы торопливо проходили къ домамъ разные рабочіе люди; прошло нѣсколько дѣвушекъ, которыя съ ужасомъ и съ любопытствомъ взглядывали на мрачный сундукъ и на одинокую фигуру Долинскаго, и вдругъ сначала шли удвоеннымъ шагомъ, а потомъ бѣжали, кутая свои головы широкими коричневыми платками и путаясь въ длинныхъ юбкахъ платьевъ. Еще позже забѣжало нѣсколько рѣзвившихся послѣ ужина мальчиковъ, и эти глянули и, забывъ свои крики, какъ бы по сигналу, молча ударились во всю мочь въ сторону. Ночь спустилась; заря совсѣмъ погасла и кругомъ все окутала темная мгла; на темно-синемъ небѣ не было ни звѣздочки, въ тихомъ воздухѣ ни звука.

Откуда-то прошла большая лохматая собака съ недоглоданною костью и, улегшись, взяла ее между передними лапами. Слышно было, какъ зубы стукнули о кость и какъ треснулъ оторванный лоскутъ мяса, но вдругъ собака потянула чутьемъ, глянула на черный сундукъ, быстро вскочила, взвизгнула, зарычала тихонько и со всѣхъ ногъ бросилась въ темное поле, оставивъ свою недоглоданную кость на платформѣ.

Когда рано утромъ тронулся поѣздъ, взявшій съ собою тѣло Доры, Долинскій спокойно поклонился ему вслѣдъ до самой до земли и еще спокойнѣе побрелъ домой.

Распорядясь такимъ образомъ, Долинскій часу въ один-

надцатомъ отправился къ Онучинымъ. Неожиданное появленіе его всѣхъ очень удивило, Долинскій также могъ бы здѣсь кое-чему удивиться.

Кирилла Сергѣевича онъ засталъ за газетами на террасѣ.

— Батюшки мои! Вы ли это, Несторъ Игнатьичъ? — вскричалъ добродушный ботаникъ, подавая ему обѣ свои руки.—Вѣра!

— Ну, послышалось лѣниво изъ залы.

— Несторъ Игнатьичъ воскресъ и является.

Изъ залы не было никакого отвѣта и никто не показывался.

— Я принесъ вамъ мой долгъ, Кириллъ Сергѣичъ. Сколько я вамъ долженъ?—началъ Долинскій.

— Позвольте, пожалуйста! Что это въ самомъ дѣлѣ такое? годъ пропадаетъ и чуть перенесъ ногу, сейчасъ ужъ о долгѣ.

— Тороплюсь, Кириллъ Сергѣичъ.

— Куда это?

— Я сегодня ѣду.

— Какъ ѣдете!

— То-есть уѣзжаю. Совсѣмъ уѣзжаю, Кириллъ Сергѣичъ.

— Батюшки свѣты! Да надѣюсь, хоть пообѣдаете же вѣдь вы съ нами?

— Нѣтъ, не могу... у меня еще дѣла.

Ботаникъ посмотрѣлъ на него удивленными глазами, дескать: «а должно-быть ты, братъ, скверно кончишь», и вынулъ изъ кармана своего пиджака записную книжечку.

— За вами всего тысяча франковъ, сказалъ онъ, перечеркивая карандашомъ страницу.

Долинскій досталъ изъ бумажника вексель на банкирскій домъ и нѣсколько наполеондоровъ и подалъ ихъ Онучину.

— Большое спасибо вамъ, сказалъ онъ, сжавъ при этомъ его руку.

— Постойте же; вѣдь все же, думаю, захотите, по крайней мѣрѣ, проститься съ сестрою и съ матушкой?

— Да, какъ же, какъ же, непремѣнно, — отвѣчалъ Долинскій.

Онучинъ пошелъ съ террасы въ залу, Долинскій за нимъ.

Въ залѣ, въ которую они вошли, стоялъ у окна какой-то пожилой господинъ съ волосами, крашенными въ свѣтло-русую краску, и нѣмецкимъ лицомъ, и съ нимъ Вѣра Сергѣевна. Пожилой господинъ сіялъ самою благопріятною улыбкою и, стоя передъ m-lle Онучиной лицомъ къ окну, разсказывалъ ей что-то такое, что̀, судя по утомленному лицу и разсѣянному взгляду Вѣры Сергѣевны, не только нимало ее не интересовало, но, напротивъ, нудило ее и раздражало. Она стояла прислонясь къ косяку окна и, сложивъ руки на груди, безучастно смотрѣла по комнатѣ. Подъ глазами Вѣры Сергѣевны были два большія синеватыя пятна, и ея живое, задорное личико нѣсколько затуманилось и поблѣднѣло.

Она взглянула на Долинскаго весьма холодно и едва кивнула ему головою въ отвѣтъ на его привѣтствіе.

— Баронъ фонъ-Якобовскій и г. Долинскій, отрекомендовалъ Кириллъ Сергѣевичъ другъ другу пожилого господина и Долинскаго.

Баронъ фонъ-Якобовскій раскланялся очень въ мѣру и очень въ мѣру улыбнулся.

— Членъ русскаго посольства въ N., произнесъ вполголоса Онучинъ, проходя съ Долинскимъ черезъ гостиную въ кабинетъ матери.

Серафима Григорьевна сидѣла въ большомъ мягкомъ креслѣ, съ лорнетомъ въ рукѣ читала новый нумеръ парижскаго L'Union Chrétienne.

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! — воскликнула она очень радушно.—Мы васъ совсѣмъ было ужъ и изъ живыхъ выключили. Садитесь поближе; ну что? Ну, какъ вы нынче въ своемъ здоровьѣ?

Долинскій поблагодарилъ за вниманіе, присѣлъ около хозяйкинаго кресла и у нихъ пошелъ обыкновенный полуформенный разговоръ.

— А у насъ есть маленькая новость, сказала, наконецъ, тихонько улыбаясь, Серафима Григорьевна.—Съ вами, какъ

съ нашимъ добрымъ другомъ, мы можемъ и подѣлиться, потому что вы ужъ вѣрно порадуетесь съ нами.

Долинскій никакъ не могъ понять, какимъ случаемъ онъ попалъ въ добрые друзья къ Онучинымъ; но, глядя на счастливое лицо старухи, предлагающей открыть ему радостную семейную вѣсть, довольно низко поклонился и сказалъ какое-то приличное обстоятельствамъ слово.

— Да, вотъ, нашъ добрый Несторъ Игнатьичъ, наша Вѣрушка дѣлаетъ очень хорошую партію,—произнесла Серафима Григорьевна.

— Выходитъ замужъ Вѣра Сергѣевна?

— Да, выходитъ. Это еще наша семейная тайна, но ужъ мы дали слово. Вы видѣли барона фонъ-Якобовскаго?

— Да, насъ сейчасъ познакомилъ Кириллъ Сергѣичъ.

— Вотъ это ея женихъ! Какъ видите, онъ еще très galant, et tout ça... уменъ, принадлежитъ къ обществу и членъ посольства. Вѣра будетъ имѣть въ свѣтѣ очень хорошее положеніе.

— Да, конечно,—отвѣчалъ Долинскій.

— Вы знаете, онъ лифляндскій баронъ.

— Гм!

— Да, у него тамъ имѣніе около Риги. Они вѣдь, эти лифляндцы, знаете, не такъ, какъ мы русскіе; мы все ѣдимъ другъ-друга да мараемъ, а они лѣсенкой.

— Да, это такъ.

— Лѣсенкой, лѣсенкой, знаете. Одинъ за другимъ цапъ-царапъ, цапъ-царапъ—и всѣ наверху.

Долинскій, въ качествѣ добраго друга, сколько умѣлъ, порадовался семейному счастью Онучиныхъ и сталъ прощаться со старушкой. Несмотря на всѣ просьбы Серафимы Григорьевны, онъ отказался отъ обѣда.

— Ну, Богъ съ вами, если не хотите съ нами проститься какъ слѣдуетъ.

— Ей Богу, не могу, тороплюсь, извинялся Долинскій.

Старушка положила на столъ нумеръ L'Union Chrétienne и пошла проводить Долинскаго.

— Вы къ намъ зимою въ Петербургѣ заходите, говорила необыкновенно счастливая и веселая старуха, когда Долинскій пожалъ въ залѣ руку Вѣры Сергѣевны и пробурчалъ ей какое-то поздравленіе.—Мы вамъ всегда будемъ рады.

— Мы принимаемъ всѣхъ по четвергамъ, сухо проговорила Вѣра Сергѣевна.

— Да и такъ запросто когда-нибудь, звала Серафима Григорьевна.

Долинскій раскланялся, скользнулъ за двери и на улицѣ вздохнулъ свободно.

— Очень жалкій человѣкъ, говорила барону фонъ-Якобовскому умиленная ниспосланной ей благодатью Серафима Григорьевна вслѣдъ за ушедшимъ Долинскимъ. — Былъ у него какой-то романъ съ довольно простой дѣвушкой, онъ схоронилъ ее и вотъ никакъ не утѣшится.

— Онъ такъ и смотритъ влюбленнымъ въ луну, отвѣчалъ, въ мѣру улыбаясь, баронъ фонъ-Якобовскій.

Вѣра Сергѣевна не принимала въ этомъ разговорѣ никакого участія, лицо ея попрежнему оставалось холодно и гордо, и только въ глазахъ можно было подмѣтить слабый свѣтъ горечи и досады на все ее окружающее.

Вѣра Сергѣевна выходила замужъ не то, чтобы насильно, но и не своей охотой.

Долинскій, возвратясь домой, засталъ свои чемоданы совершенно уложенными и готовыми. Не снимая шляпы и пальто, онъ дружески расцѣловалъ m-me Бюжаръ и уѣхалъ на желѣзную дорогу за два часа до отправленія поѣзда.

— Вы въ Петербургъ?—спрашивала его, совсѣмъ прощаясь, madame Бюжаръ.

Долинскій какъ будто не разслышалъ и вмѣсто отвѣта крикнулъ:

— Adieu, madame.

Въ ожиданіи поѣзда, онъ, въ тревожномъ раздумьѣ, бѣгалъ по пустой платформѣ амбаркадера, останавливался, бралъ за лобъ, и какъ только открылась касса для перваго очередного поѣзда, взялъ мѣсто въ Парижъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Батиньельскія голубятни.

Несторъ Игнатьевичъ въ Парижѣ поселился въ крошечной комнаткѣ пятаго этажа одного большого дома въ Батиньелѣ. Занятое имъ помѣщеніе было далеко не изъ роскошныхъ и не изъ комфортабельныхъ. Вся комнатка Долинскаго имѣла около четырехъ аршинъ въ квадратѣ, съ однимъ небольшимъ, высокопродѣланнымъ окномъ и неуклюжимъ дымящимъ камнемъ, на которомъ, вмѣсто неизбѣжныхъ часовъ съ бронзовымъ пастушкомъ, пренеловко разстегивающимъ корсетъ своей бронзовой пастушки, одиноко торчалъ молящійся гипсовый амуръ, весь немилосердно засиженный мухами. Меблировка этой комнаты состояла изъ небольшого круглаго столика, кровати съ дешевыми ситцевыми занавѣсами, какого-то историческаго комода, на которомъ было выцарапано: Beuharnais, Oginsky, Podwysocky, Ian, nalit wody w zban, и многое множество другихъ историческихъ и неисторическихъ именъ, болѣе или менѣе удачно и тщательно произведенныхъ гвоздемъ и рукою скучавшаго и, вѣроятно, нищенствовавшаго жильца. Кромѣ этихъ вещей, въ комнатѣ находилось три кресла: одно—временъ Лудовика XIV (это было самое удобное), одно — временъ первой республики и третье — временъ нынѣшней имперіи. Послѣднее было кресло дешевое, простой базарной работы и могло стоять только будучи приставленнымъ въ уголъ, ибо всѣ его ножки давнымъ-давно шатались и расползались въ разныя стороны. Зато все это обходилось неимовѣрно дешево. Цѣлая такая комната, съ креслами трехъ замѣчательнѣйшихъ эпохъ французской государственной жизни, съ водой и прислугой (которой, впрочемъ, de facto не существовало), отдавалась за пятнадцать франковъ въ мѣсяцъ. Такихъ каморокъ, по сторонамъ довольно широкаго и довольно длиннаго коридора, едва освѣщавшагося по концамъ двумя полукруглыми

окнами, было около тридцати. Каждая изъ нихъ была отдѣлена одна отъ другой дощатою, или пластинною, толсто оштукатуренными перегородками, черезъ которую, однако, можно было свободно постучать и даже покричать своему сосѣду. Обитателями этихъ покоевъ были люди самые разнокалиберные; но все-таки можно сказать, что преимущественно здѣсь обитали швеи, цвѣточницы, вообще молодыя, легко смотрящія на тяжелую жизнь, дѣвушки и молодые, а иногда и не совсѣмъ молодые, даже иногда и совсѣмъ старые люди, самыхъ разнообразныхъ профессій. На каждой изъ сѣрыхъ дверей этихъ маленькихъ конурокъ грязноватою желтою краскою написаны подъ-рядъ свои нумера, а на нѣкоторыхъ есть и другія надписи, сдѣланныя просто кускомъ мѣла. Послѣднія надписи бываютъ *постоянныя*, красующіяся иногда цѣлые мѣсяцы, и *временныя*, появляющіяся и исчезающія въ одинъ и тотъ же день, въ который появляются. Очень рѣдко случается, что подобная надпись переживаетъ сутки и никогда двухъ. Къ числу первыхъ принадлежатъ мѣловыя начертанія, гласящія: «Cécile», «Pélagie», «Mathilde», la couturière, «Psyché», «Nymphe des bois», «Pol et Pepol», «Anaxagou— étudiant», «Le pètit Mathusalem» или: «Frappez fort s'il vous plait!» и т. п.

Временныя же, преимущественно однодневныя надписи, болѣе все въ слѣдующемъ родѣ: «Je n'ai point d'habit», «Cela est probable», «J'en suis furieux!!!» (внизу неимовѣрный вензель), «Pouvez-vous me dire, où il demeure?» (опять вензель, или четная буква), «Je crains, que la machine ne sorte des rails», «Nous serons revenus de bonne heure», и т. п. Иногда на дверяхъ отсутствующей хозяйки являются надписи и болѣе прямого значенія, напримѣръ, подъ именемъ какой-нибудь швеи Клемансъ и цвѣточницы Арно, вдругъ въ одинъ прекрасный день является вопросъ: «Pouvez-vous nous loger pour cette nuit?» подписано «F. et R.» или: «Je n'ai presque rien mangé depuis deux jours.— Que faire?»

На дверяхъ комнаты, занятой Долинскимъ, стояло просто «№ 11», и ничего болѣе. Съ правой стороны на дверяхъ подъ № 12 было написано еще «Marie et Augustine—gantières», а съ лѣвой подъ № 10—«Népomucène Zaionczek—le prêtre».

Въ жилищахъ этого рода, сосѣди по комнатѣ имѣютъ для каждаго жильца свое и даже весьма немаловажное значеніе. Вообще веселый, непретендательный, ссудливый сосѣдъ, не успѣетъ водвориться, какъ снискиваетъ себѣ доброе расположеніе своихъ ближайшихъ сосѣдей и особенно сосѣдокъ, изъ которыхъ одна, а иногда и двѣ непремѣнно разсчитываютъ въ самомъ непродолжительномъ времени (иногда даже съ перваго же дня) сдѣлаться его любовницей. Зато плохой, вздорливый и придирчивый сосѣдъ—чистое несчастье. Сами гризеты чаще всего начинаютъ бояться такихъ господъ, избѣгаютъ съ ними встрѣчи и даютъ имъ разныя ядовитыя клички; но выжить строптиваго жильца «изъ коридора» гризеты никакъ не сумѣютъ. Это удается только тогда, если «весь коридоръ» обозлится (что бываетъ довольно рѣдко), или если строптивый человѣкъ надоѣстъ ближайшимъ своимъ сосѣдямъ изъ студентовъ.

Перчаточницы Augustine и Marie были молодыя, веселыя, безпечныя дѣвочки, бѣгавшія за работой въ улицу Loret и распѣвавшія дома съ утра до ночи скабрезныя пѣсенки непризнанныхъ поэтовъ Латинскаго квартала. Обѣ эти дѣвочки были очень хорошенькія и очень хорошія особы, съ которыми можно было прожить цѣлую жизнь въ отношеніяхъ самыхъ пріятельскихъ, если бы не было очевидной опасности, что пріязнь скоро перейдетъ въ чувство болѣе теплое и грѣшное. Marie и Augustine были тоже очень довольны своимъ «одиннадцатымъ нумеромъ», но только съ одной стороны. Имъ очень нравилась его скромность, услужливость, готовность подѣлиться кофе, сыромъ, хлѣбомъ и т. п. Но что̀ это былъ за сосѣдъ, съ которымъ ни пойти, ни поѣхать, ни посидѣть вмѣстѣ, который не позоветъ ни къ себѣ, ни самъ не придетъ поболтать? «Un ours», про-

звали его гризеты, и очень часто на него дулись. Но, несмотря на нелюдимость Долинскаго, и Augustine, и Marie, и даже всѣ другія жилицы коридора со второго же дня появленія его здѣсь положили, что онъ bon homme и что его надо приласкать—даже непремѣнно надо.

Зато № 10, m-r le prêtre Nèpomucène Zaionczek, давно стоялъ поперекъ горла рѣшительно всѣмъ своимъ ближайшимъ сосѣдямъ. Это былъ несносный, желчный старикъ съ сѣрыми, сухими глазами, острымъ, выдающимся впередъ подбородкомъ и загнутыми внизъ углами губъ. Гризеты называли его «полиціймейстеромъ» и отворачивались отъ него какъ только онъ показывался въ коридорѣ. M-r le prêtre Zaionczek обыкновенно сидѣлъ дома. Онъ выходилъ только два, много три раза въ недѣлю въ существующую на Батиньелѣ польскую школу и разъ вечеромъ въ воскресенье ѣздилъ на омнибусѣ куда-то къ St.-Sulpice. Все остальное время онъ проводилъ въ своей комнаткѣ и постоянно или читалъ, или дѣлалъ какія-то выписки. Его посѣщали здѣсь довольно странные люди и нѣсколько пышныхъ грандіозныхъ дамъ, которыхъ онъ провожалъ, называя графинями и княгинями. Сосѣдями Zaionczeka было замѣчено, что всѣ его гости были исключительно поляки и польки. Личность и положеніе Заіончека возбуждали вниманіе и любопытство всѣхъ голубей и голубокъ этой парижской голубятни, но никто не имѣлъ этого любопытства настолько, чтобы упорно стремиться къ уясненію, что́ въ самомъ дѣлѣ за птица этотъ m-r le prêtre Zaionczek и что такое онъ дѣлаетъ, зачѣмъ сидитъ на этомъ батиньельскомъ чердакѣ? Давно, еще вскорѣ за тѣмъ, какъ Заіончекъ здѣсь поселился, кто-то болтнулъ вдругъ, что m-r le prêtre Zaionczek гадатель, что онъ отлично гадаетъ на картахъ и можетъ предсказать все, за сколько вамъ угодно лѣтъ впередъ. Нѣсколько человѣкъ повторили эту тонкую догадку и къ вечеру того же дня, двѣ или три гризеты, трясясь и замирая, собирались идти и попросить суроваго Заіончека погадать имъ о запропавшихъ любовникахъ. Но вдругъ разнеслась вѣсть,

что Monsieur le professeur Grèlot, который живетъ здѣсь на голубятнѣ уже болѣе трехъ лѣтъ и котораго всѣ гризеты называютъ grand papa и считаютъ своимъ оракуломъ, выслушавъ явившееся на счетъ Заіончека соображеніе, сомнительно покачалъ головою. Всѣ тотчасъ тоже сами покачали головами и съ тѣхъ поръ вовсе оставили добиваться, что̀ такое этотъ загадочный m-r le prêtre, а продолжали называть его попрежнему «полиціймейстеромъ». Это названіе желчный старикъ получилъ потому, что его сварливый характеръ и привычка повелѣвать не давали ему покоя и на батиньельскомъ чердакѣ. Чуть только гдѣ-нибудь по сосѣдству къ его нумеру, послѣ десяти часовъ вечера слышался откуда-нибудь веселый говоръ, смѣхъ, или хотя самый ничтожный шумъ, m-r le prêtre выходилъ въ коридоръ со свѣчою въ рукѣ, неуклонно текъ къ двери, изъ-за которой раздавались голоса, и, постучавъ своими костлявыми пальцами, грозно возглашалъ: «Ne faites point tant de bruit!» и затѣмъ державъ столь же мѣрное теченіе къ своему нумеру, съ полною увѣренностью, что обезпокоившій его шумъ непремѣнно прекратится. И шумъ, точно, прекращался. Съ жильцами этой батиньельской вершины, m-r le prêtre не имѣлъ никакого сообщества, и съ тѣхъ поръ, какъ онъ тутъ поселился, отъ него никто не слыхалъ болѣе, кромѣ: «Ne faites point de bruit». Въ комнатѣ Заіончека тоже никто изъ здѣшнихъ жильцовъ никогда не былъ и комната эта была предметомъ постояннаго любопытства, потому что madame Vache, единственная слуга и надзирательница этой вышки, разсказывала объ этой комнатѣ что-то столь заманчивое, что у всѣхъ почти одновременно родилось непобѣдимое желаніе взглянуть на чудеса этого неприступнаго покоя. Нѣкоторыми отчаянными смѣльчаками обоего пола (по преимуществу прекраснаго) съ тѣхъ поръ было предпринято нѣсколько очень обдуманныхъ экспедицій съ спеціальною цѣлію осмотрѣть полиціймейстерскую берлогу, но всѣ эти попытки обыкновенно оставались совершенно безуспѣшными. Въ присутствіи Заіончека объ

этомъ невозможно было и думать, потому что нѣсколькихъ дерзкихъ, являвшихся къ нему попросить взаймы свѣчи или спичекъ, онъ, не открывая двери, безъ всякой церемоніи посылалъ прямо къ какому-нибудь крупному чорту, или разомъ ко сто тысячамъ рядовыхъ дьяволовъ. А уходя изъ дому, Заіончекъ постоянно уносилъ ключъ съ собою. Любопытные видали въ замочную скважину: дорогой варшавскій коверъ на полу этой комнаты; окно, задернутое зеленою тафтяною занавѣскою, большой черный крестъ съ бѣлымъ изображеніемъ распятаго Спасителя и низенькій налой краснаго дерева, съ зеленою бархатною подушкой внизу и большою развернутою книгою на верхней наклонной доскѣ.

Въ существѣ комната Заіончека и не имѣла ничего необыкновеннаго. Конечно, сравнительно она была очень недурно меблирована, застлана мягкимъ ковромъ, увѣшана картинами, всегда чисто убрана и далеко превосходила прохладныя и пустоватыя каморки другихъ бѣдныхъ жильцовъ голубятни, но все-таки она далеко не могла оправдать восторженныхъ описаній madame Vachе.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Батиньельскіе отшельники.

Долинскій, поселившись на Батиньелѣ, разсчитывалъ здѣсь найти болѣе покоя, чѣмъ въ Латинскомъ кварталѣ, гдѣ онъ могъ бы жить при своихъ скудныхъ средствахъ, о восполненіи которыхъ нимало не намѣренъ былъ много заботиться.

Съ самаго пріѣзда въ Парижъ онъ не повидался ни съ однимъ изъ своихъ прежнихъ знакомыхъ, а прямо занялъ одиннадцатый нумеръ между Заіончекомъ и двумя хорошенькими перчаточницами, и засѣлъ въ этой комнатѣ почти безвыходно. Несторъ Игнатьевичъ не писалъ изъ своего убѣжища никакихъ писемъ никому и самъ ни отъ кого не получалъ ни строчки. Выходилъ онъ иногда въ недѣлю разъ,

иногда разъ въ мѣсяцъ и всегда возвращался съ какою-нибудь новою книгою. Каждый его выходъ всегда значилъ ни болѣе, ни менѣе, что новая книга прочитана и потребовалась другая. M-r le prêtre Zaionczek, встрѣтясь два или три раза съ своимъ новымъ сосѣдомъ, посмотрѣлъ на него самымъ недружелюбнымъ образомъ. Казалось, Заіончекъ досадовалъ, что Долинскій такъ долго лишаетъ его удовольствія хоть разъ закричать у его дверей:

— Ne faites pas de bruit.

Изъ ближайшихъ сосѣдей Нестора Игнатьевича короче другихъ его знали m-lle Augustine и Marie, но и m-lle Augustine скоро перестала обращать на него всякое вниманіе и занялась другимъ сосѣдомъ-студентомъ, помѣстившимся въ № 13, и только одинокая Marie никакъ не могла простить Долинскому его невниманія. Она часто стучалась къ нему вечерами, находя что-нибудь попросить или возвратить. Всегда она находила ласковый отвѣтъ, услужливость и болѣе ничего. Marie выходила нѣсколько разъ, оглядываясь и поводя своими говорящими плечиками; Долинскій оставался спокойнымъ и протягивалъ руку къ оставленной книгѣ.

— Что это вы читаете, добрый сосѣдъ?—спрашивала иногда Marie и, любопытствуя, смотрѣла на корешокъ книги. Тамъ всегда стояло что-нибудь въ такомъ родѣ: «La religion primitive des Indo-Europeens par m-r Flotard», или «Bible populaire», или что-нибудь такое же.

M-lle Marie терялась, что это за удивительный экземпляръ, этотъ ея смирный сосѣдъ.

— Ну, что твой баккалавръ?—освѣдомлялась иногда у нея, возвращаясь изъ тринадцатаго нумера, m-lle Augustine.

— Rien, отвѣчала, кусая губки, Marie.

— Tiens! — презрительно восклицала недоумѣвающая m-lle Augustine.

— Ничего онъ не стоитъ, порѣшила, наконецъ, m-lle Marie и дала себѣ слово перестать думать о сосѣдѣ и найти кого-нибудь другого.

— Онъ вѣрно совсѣмъ глупъ, говорила она, жалуясь подругѣ.

— C'est vrai, небрежно отвѣчала Augustine, занятая своею новою любовью въ тринадцатомъ нумерѣ.

Въ одну темную осеннюю ночь, когда въ коридорѣ была совершенная тишина, въ дверь у перчаточницъ кто-то тихонько постучался. Marie, ночевавшая одна на двуспальной постели, которою онѣ владѣли изъ-полу съ своей подругой, приподнялась на локотокъ и тихонько спросила:

— Qui va là?

— C'est moi, отвѣчалъ такъ же тихо голосъ изъ-за дверей.

— Mais quel moi donc?

— Mais puisque je vous repête que c'est moi, votre voisin du numéro onze.

— Tiens!—прошептала про себя Marie и, лукаво разсмѣявшись съ соблюденіемъ всякой тишины, отвѣчала:

— Mais je suis au lit, monsieur!.. Que désirez-vous?... Qu'y a-t-il à votre service?

— Que allumette, mademoiselle, тихо отвѣчалъ Долинскій.—Уронилъ мой ключъ и не могу его отыскать безъ огня.

— Un brin de feu?

— Oui, une allumette, s'il vous plait.

Marie еще сердечнѣе разсмѣялась, откинула крючокъ и, впустивъ сосѣда, снова кувыркнулась въ свою постельку.

— Спички тамъ на комодѣ, произнесла она, лукаво выглядывая однимъ смѣющимся глазкомъ изъ-подъ одѣяла.

Долинскій поискалъ на каминѣ спичекъ, взялъ коробочекъ, поблагодарилъ сосѣдку и, не смотря на нее, пошелъ къ двери.

M-lle Marie быстро вскочила.

— Это чортъ знаетъ что такое!—крикнула она вспыльчиво вслѣдъ Долинскому.

— Что?—спросилъ онъ, остановясь.

— Нужно быть глупѣе доски, чтобы входить ночью въ

комнату женщины съ желаніемъ получить одну зажигательную спичку.

Долинскій, ни слова не отвѣчая, тихо притворилъ двери.

M-lle Marie сердито щелкнула крючкомъ, а Долинскій, несмотря на поздній часъ ночи, усѣлся у себя за столикомъ со вновь принесенною книгою. Это была одна изъ брошюръ о Юмѣ.

Прошло мѣсяца три; на батиньельскихъ вершинахъ все шло попрежнему. Единственная перемѣна заключалась въ томъ, что pigeon изъ тринадцатаго нумера прискучилъ любовью бѣдной Augustine и оставленная colombine, написавъ на дверяхъ измѣнника, что онъ «свинья, уродъ и мерзавецъ», стала спокойно встрѣчаться съ замѣнившею ее новою подругою тринадцатаго нумера и спала у себя съ m-lle Marie.

Одинъ разъ Долинскій возвращался домой часу въ пятомъ самаго ненастнаго зимняго дня. Холодный мелкій дождикъ, вперемежку съ ледянистой мглою и маленькими хлопочками мокраго снѣга, пробили его насквозь, пока онъ добрался на имперіалъ омнибуса отъ rue de Saine, изъ Латинскаго квартала до своихъ батиньельскихъ вершинъ

Спустясь по осклизшимъ трехпогибельнымъ ступенямъ съ имперіала, Долинскій торопливо пробѣжалъ двѣ улицы и сталъ подниматься на свою лѣстницу. Онъ очень озябъ въ своемъ сильно поношенномъ пальтишкѣ и дрожалъ; подъ мышкой у него было нѣсколько книгъ и брошюръ, плохо увернутыхъ въ газетную бумагу.

На лѣстницѣ Долинскій обогналъ Заіончека и, не обращая на него вниманія, бѣжалъ далѣе, чтобы скорѣе развести у себя огонь и согрѣться у камина. Второпяхъ онъ не замѣтилъ, какъ у него изъ-подъ руки выскользнули и упали двѣ книжки. M-r le prêtre Zaionczek не спѣша поднялъ эти книги и не спѣша развернулъ ихъ. Обѣ книги были польскія: одна «Historija Kosciola Russkiego, Ksiedza Fr. Gusty» (исторія русской церкви, сочиненная католиче-

скимъ священникомъ Густою), а другая—мистическія бредни Тавянскаго, извѣстнѣйшаго мистика, имѣвшаго столь печальное вліяніе на прекраснѣйшій умъ Мицкевича и давшаго совершенно иное направленіе послѣдней дѣятельности поэта.

M r le prêtre Zaionczek взялъ объ эти книги и, держа ихъ въ рукѣ, постучалъ въ двери Долинскаго.

— Entrez, отозвался Несторъ Игнатьевичъ.

Вошелъ m-r le prêtre Zaionczek.

— To ksiegi pana dobrodzieja?—спросилъ онъ Долинскаго по-польски.

— Мои; очень вамъ благодаренъ, отвѣчалъ кое-какъ на томъ же языкѣ давно отвыкшій отъ него Долинскій.

— Вы занимаетесь религіозною литературой?

— Да... такъ... немного, отвѣчалъ нѣсколько конфузясь Долинскій.

— Пусть вамъ поможетъ Богъ, говорилъ, сжимая его руку Зіончекъ, и добавилъ: — жатвы много, а дѣтей мало есть.

Съ этихъ поръ началось знакомство Долинскаго съ Заіончекомъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Новое масло въ плошку.

M-r le prêtre, по отношенію къ своему новому знакомству, явился совсѣмъ не такимъ, какимъ онъ былъ ко всѣмъ прочимъ жильцамъ вышки. Онъ самъ предложилъ Долинскому нѣсколько рѣдкихъ книгъ, и, столкнувшись съ нимъ однажды вечеромъ у своей двери, попросилъ его зайти къ себѣ. Долинскій не отказался, и только что они вошли въ комнату Заіончека, дававшую всѣмъ чувствовать, что здѣсь живетъ католическая духовная особа, какъ въ двери постучался новый гость. Это была съ головы до ногъ закутанная въ бархатъ и кружева молодая, высокая дама съ очень красивымъ лицомъ, несомнѣнно польскаго происхожденія. Она только что переступила порогъ, какъ сложила на груди свои античныя руки, преклонила колѣна и произнесла:

— Niech bedzie pochwlony Iezus Christus.

— Na wieki wiekow, Amen, отвѣтилъ Заіончекъ и подалъ дамѣ руку.

Та встала, поцѣловала руку Заіончека, подняла къ небу свои большіе голубые глаза, полные благоговѣйнаго страха и сказала:

— Я на минуту къ вамъ, мой отецъ.

Долинскій хотѣлъ выйти. M-r le prêtre ласково его удержалъ за руку и еще ласковѣе сказалъ:

— Мои добрыя дѣти никогда не мѣшаютъ другъ другу.

Попавшій въ число добрыхъ дѣтей Заіончека Долинскій остался.

Пышная дама заговорила по-итальянски о какомъ-то семейномъ горѣ.

Долинскій старался не слушать этого разговора.

Онъ подошелъ къ этажеркѣ и разсматривалъ книги Заіончека. Прежде всего ему попалась въ руки «Dictionnaire des missions catholiques, Lacroix et Dzunkowskoy»; Долинскій взялъ другую книгу. Это была: «Histoire diplomatique des conclaves depuis Martin V jucqu'à Pie IX, Petrugelli de la Gatina». Далѣе онъ развернулъ большое in-folio «Acta Sanctorum». На столѣ лежалъ развернутый IV томъ этой книги: Ioannes Rollandus, Godefridus Stenschenius, Societatis Iesu theologi.

Пока Долинскій перелистывалъ эту книгу, приводя себѣ на память давно забытое значеніе многихъ латинскихъ словъ, дама стала прощаться съ Заіончекомъ.

— Тотъ, кто доводитъ тебя до этого, бо̀льшее наказаніе пріймetъ и рука Провидѣнія давно тебя благословила, говорилъ, напутствуя ее, m-r le prêtre, держащійся, какъ видно, съ Провидѣніемъ совсѣмъ za panibrata.

Дама опять поцѣловала руку Заіончека.

— Прощайте, дочь моя, отвѣчалъ ласково суровый m-r le prêtre и пошелъ провожать свою восхитительно-прекрасную дочь.

Долинскій попалъ въ самый центръ польскихъ мистиковъ.

Это общество жило въ Парижѣ очень разсѣянно, всѣ члены его въ насмѣшку назывались «Tawianczykami» отъ имени того же извѣстнаго мистика Тавянскаго, котораго они считались послѣдователями. *Тавянчиковъ* считалось довольно много въ Парижѣ; они имѣли здѣсь свои собранія и своихъ представителей, въ числѣ которыхъ одно изъ первыхъ мѣстъ занималъ m-r le prêtre Zaionczek. Іезуиты смотрѣли на этихъ «тавянчиковъ» довольно снисходительно, и даже, кажется, дружелюбно. Нѣкоторые полагали, что парижскіе іезуиты одно время даже надѣялись найти въ Tawianczykach нѣкоторое противодѣйствіе противъ пугающаго святыхъ отцовъ матеріализма. Но Tawianczyki вообще не оправдали этихъ надеждъ «общества Іисусова», или, по крайней мѣрѣ, оправдали его въ самой незначительной мѣрѣ. «Tawianczyki» не распустили сильныхъ вѣтвей никуда далѣе Парижа, и даже не нашли сочувствія въ самой Польшѣ. Среди парижскихъ тавянчиковъ встрѣчались бо̀льшею частію старички и женщины (молодыя и старыя), нерѣдко принадлежащія къ самымъ лучшимъ польскимъ фамиліямъ. Между передовыми послѣдователями Тавянскаго встрѣчались люди довольно странные, въ мистическомъ тавянизмѣ которыхъ нерѣдко сквозило что-то іезуитское. Таковъ, между многими подобными, былъ извѣстный намъ m-r le prêtre Zaionczek, эмигрантъ, появившійся между парижскими тавянчиками откуда-то съ Волыни и въ самое короткое время получившій у нихъ весьма большое значеніе. Былъ ли m-r le prêtre Zaionczek дѣйствительно такимъ мистикомъ, какимъ онъ представлялся, или это съ его стороны было одно притворство, рѣшить было невозможно. Онъ съ глубокою задушевностью говорилъ о своихъ мистическихъ вѣрованіяхъ, состоялъ въ непосредственныхъ отношеніяхъ съ замогильнымъ міромъ, и въ то же время негласно основалъ въ Парижѣ «Союзъ христіанскаго братства». Члены этого союза едва ли понимали что-нибудь о цѣли своего соединенія. Союзъ этотъ состоялъ изъ избранныхъ Заіончекомъ представителей всѣхъ христіанскихъ исповѣданій. Тутъ были:

французы, англичане, испанцы, поляки, чехи (въ качествѣ представителей непризнаннаго гуссизма), итальянцы и даже руссины-уніаты. Собранія союза обыкновенно происходили по вечерамъ въ воскресенье, близъ St.-Sulpice, въ домѣ самой рьяной тавянистки, княгини Голензовской, той самой дамы, которую мы видѣли у Заіончека. Члены союза собирались въ особой комнатѣ, обитой съ потолка до низу тонкимъ чернымъ сукномъ съ бѣлыми атласными карнизами по панелямъ. На стѣнѣ вверху, прямо противъ входа, была вышита гладью бѣлымъ шелкомъ большая мертвая голова съ крупною латинскою надписью: «Memento mori!» Посреди комнаты стоялъ длинный столъ, покрытый чернымъ сукномъ съ бѣлыми каймами и бѣлою же бахромою. По угламъ этой траурной скатерти опять были вышиты бѣлымъ мертвыя головы и вокругъ надъ всею каймою какія-то латинскія изреченія. Около этого стола стояли тяжелыя дубовыя скамейки и въ одномъ концѣ высокое рѣзное кресло съ твердымъ, ничѣмъ не покрытымъ сидѣньемъ, а возлѣ него въ ногахъ маленькая деревянная скамеечка. На рѣзномъ креслѣ было мѣсто Заіончека, въ ногахъ у него на низенькой деревянной скамейкѣ садилась прекрасная хозяйка дома, а на скамьяхъ размѣщались члены.

Познакомясь съ Долинскимъ и открывъ въ немъ сильное мистическое настроеніе, m-r le prêtre Zaionczek умѣлъ очень искусно расшевелить его больныя раны и овладѣть его слабымъ духомъ.

— Не желалъ бы я врагу человѣчества такого внутренняго состоянія, каково должно быть твое, сказалъ ему Заіончекъ, незамѣтно выпытавъ у него грызущую его тайну.

— Молись, молись; будемъ вмѣстѣ молиться за тебя, говорилъ онъ Долинскому.

— Ты крѣпко вѣришь въ загробную жизнь? — спрашивалъ онъ сотый разъ Долинскаго и, получая въ сотый разъ утвердительный отвѣтъ, говорилъ: — вѣрь, сынъ мой, и вѣрь, что между нами и тѣми, которые отошли отъ насъ, не порваны связи самаго тѣснаго общенія.

По цѣлымъ вечерамъ Заіончекъ разсказывалъ разстроенному Долинскому самые картинные образцы таинственнаго общенія замогильнаго міра съ міромъ живущимъ и довелъ его больную душу до самаго высокаго мистическаго настроенія. Долинскій считалъ себя первымъ грѣшникомъ въ мірѣ и незамѣтно начиналъ ощущать себя въ такомъ близкомъ общеніи съ таинственными существами иного міра, въ какомъ высказывалъ себя самъ Заіончекъ.

Достигнувъ такого вліянія на Долинскаго, Заіончекъ сообщилъ ему о существованіи въ Парижѣ «Союза христіанскаго братства», и *велѣлъ* ему быть готовымъ вступить въ братство въ качествѣ грѣшнаго члена Wschodniego Kosciola (восточной церкви). Долинскій былъ введенъ въ таинственную комнату засѣданій и представленъ оригинальному собранію, въ которомъ никто не называлъ другъ друга по фамиліи, а произносилъ только «братъ Яковъ», или «братъ Северинъ», или «сестра Урсула» и т. д.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Русскій Tawianczyk.

Долинскій, живучи въ сторонѣ отъ людей, съ одними терзаніями своей несговорчивой совѣсти, мистическими книгами, да еще болѣе мистическими Тавянчиками, дошелъ самъ до непостижимаго мистицизма. Онъ уже не видалъ Доры и даже рѣдко вспоминалъ о ней, но зато совершенно привыкъ спокойно и съ вѣрою слушать, когда Заіончекъ говорилъ дома и у графини Голензовской отъ лица святыхъ и вообще людей давно отшедшихъ отъ міра. Въ засѣданіяхъ «христіанскаго союза», Заіончекъ говорилъ нѣсколько менѣе о своихъ общеніяхъ со святыми и съ мертвыми грѣшниками, но все-таки держался, по обыкновенію, таинственно.

Въ обществѣ, главнымъ образомъ, положено было избѣгать всякаго слова о превосходствѣ того или другого христіанскаго исповѣданія надъ прочими. «Всѣ дѣти одного

отца, нашего Бога, и овцы одного великаго пастыря, положившаго животъ свой за люди», было начертано огненными буквами на бѣлыхъ матовыхъ абажурахъ подсвѣчниковъ съ тремя свѣчами, какіе становились передъ каждымъ членомъ. Всѣ должны были помнить этотъ принципъ терпимости и никогда не касаться вопроса о догматическомъ разногласіи христіанскихъ исповѣданій.

По словамъ Заіончека, цѣлью общества было: *изысканіе средствъ къ освобожденію и соединенію христіанскихъ народовъ путемъ вѣры.* Задача эта многимъ представлялась весьма темною и даже вовсе непонятною, но тѣмъ не менѣе члены терпѣливо выслушивали, какъ Заіончекъ, стоя въ концѣ стола передъ составленною имъ картою «христіанскаго міра», излагалъ мистическія соображенія насчетъ «рокового развѣтвленія христіанства по свѣту, съ таинственными божескими цѣлями, для осуществленія которыхъ Господь сзываетъ своихъ избранныхъ». Женщины, слушая Заіончека, поднимали очи къ небу и шептали молитвы, а мужчины, одни — набожно задумывались, другіе — внимательно слѣдили за ораторомъ и, очевидно, старались прозрѣть, что́ за смыслъ долженъ скрываться за этими хитросплетеніями. Пораженный тяжестью своей утраты, изнывая передъ неизслѣдимою пучиною своего нравственнаго грѣха, Долинскій былъ въ этомъ собраніи самымъ молчаливымъ членомъ Wshodniego Kosciola.

Онъ только самъ все наэлектризировывался мистицизмомъ и во всякомъ самомъ ничтожномъ событіи склоненъ былъ видѣть или особые пути Божіи, или нарочитые происки дьявольскіе.

Жилъ Долинскій до крайности умѣренно, получая не болѣе семидесяти-пяти франковъ въ мѣсяцъ, съ двухъ ничтожныхъ уроковъ, доставленныхъ ему Заіончекомъ. И за это занятіе Долинскій принялся только тогда, когда въ его карманѣ уже не было ни одного су изъ денегъ, съ которыми онъ пріѣхалъ въ Парижъ. Онъ жадно берегъ свое время и все его цѣликомъ отдалъ чтенію и своимъ мисти-

ческимъ размышленіямъ. Деньги и всякія другія блага міра сего не имѣли въ его глазахъ ровно никакой цѣны. Со всѣмъ живущимъ у него тоже не было ничего общаго. Міръ человѣческій для него былъ только міръ грѣха и преступленія, и собственное прошедшее представлялось ему однимъ сплошнымъ, безконечнымъ грѣхомъ. Долинскій утратилъ всякую способность къ какому бы то ни было анализу и бралъ все на вѣру, во всемъ видѣлъ законъ неотразимой таинственной необходимости и не взывалъ болѣе ни къ своему разуму, ни къ волѣ. Онъ даже не замѣчалъ противорѣчій, весьма ярко высказывавшихся въ поступкахъ Заіончека. Онъ ни разу не задумался надъ тѣмъ, что въ христіанскомъ обществѣ, основанномъ вѣротерпимѣйшимъ патеромъ, не было ни одного лютеранина. Онъ даже не придалъ никакого значенія тому, что m-r le prêtre, сидя разъ передъ каминомъ въ комнатѣ Долинскаго, случайно взялъ иллюстрированную книжку Puaux: «Vie de Calvin», развернулъ ее, пересмотрѣлъ портреты и съ омерзѣніемъ бросилъ безцеремонно въ огонь.

Обстоятельствамъ угодно было, чтобы, задавленный своимъ и наноснымъ мистицизомъ, Долинскій сравнялся съ княгинею Голензовскою и прочими мистическими фанатичками, вѣровавшими во всевѣдѣніе и сверхъестественное могущество Заіончека.

Прошла половина поста. Бѣшеный день французскаго demi-carême угасалъ среди пьяныхъ пѣсенъ; по улицамъ сновали пьяные студенты, пьяные блузники, пьяныя дѣвочки. Въ погребахъ, ресторанахъ и во всякихъ такихъ мѣстахъ были балы, на которыхъ гризеты вознаграждали себя за трехнедѣльное demi-смиреніе. Парижъ бѣсился и пьяный вспоминалъ свою утраченную свободу.

Зато на извѣстной намъ голубятнѣ, въ Батиньелѣ, было необыкновенно тихо, всѣ пижоны и коломбины разлетѣлись. Кромѣ Заіончека и Долинскаго не было дома ни одного жильца: все пило, бродило и бѣсновалось. Вдругъ патеръ Заіончекъ вошелъ въ комнату Долинскаго.

По торжественной походкѣ и особенной праздничной солидности, лежавшей на каждомъ движеніи Заіончека, можно было легко замѣтить, что monsieur le prêtre находится въ нѣкоторомъ духовномъ восхищеніи. Это восторженное состояніе овладѣвало патеромъ довольно рѣдко, и то единственно лишь въ такихъ случаяхъ, когда ему удавалось приплетать какую-нибудь необыкновенно ловкую, по его мнѣнію, петельку къ раскинутымъ имъ силкамъ и тенетамъ. Въ такія минуты, Заіончекъ, несмотря на всю свою желчность и сухость, одушевлялся, заносился какъ поэтъ, какъ пламенный импровизаторъ, безпрестанно впадалъ въ открытый разладъ съ логикой, и, какъ какой-нибудь дикій вождь полчищъ несмѣтныхъ, пускалъ безъ всякаго такта въ борьбу множество нужныхъ и ненужныхъ силъ.

Впадая въ подобное расположеніе, патеръ всегда ощущалъ неотразимую потребность дать передъ кѣмъ-нибудь изъ вѣрующихъ генеральное сраженіе своимъ врагамъ, причемъ враги его — *раціоналисты*, допускались къ этимъ сраженіямъ только заочно и, разумѣется, всегда были немилосердно побиваемы на-голову.

Неистовая ночь demi-carême не давала покоя патеру, хотя онъ и очень крѣпко, и очень рано заперся на своей вышкѣ. Кричащій, поющій, пляшущій и бѣснующійся Парижъ давалъ о себѣ знать и сюда. Парижъ не лакомился, а обжирался наслажденіями, какъ морская губка, онъ каждою своею точкою всасывалъ изъ опустившейся тьмы всю темную сладость грѣха и удовольствій. Заіончекъ чувствовалъ это и не могъ себѣ представить переплета, въ который можно-бъ всунуть всѣ листы, съ записанными грѣхами этой ночи. Книга эта должна быть велика, какъ Парижъ, какъ міръ!.. Нѣтъ, больше міра, потому что міръ обновляется, а она должна быть вѣчна; ея гигантскія застежки не должны закрываться ни на одну короткую секунду, потому что и одной короткой секунды не прожить безъ грѣха тлѣнному міру.

— Какъ это такъ?.. Какъ это тамъ все? — задумалъ и, вставши, заходилъ по комнатѣ Заіончекъ.

Сердитый, онъ нѣсколько разъ вскидывалъ своими сухими глазами на темныя стекла длиннаго окна, въ пазы и щели котораго долетали съ улицъ раздражавшіе его звуки, и каждый разъ, въ каждомъ квадратѣ оконнаго переплета, ему мерещились цѣлыя группы рожъ: намалеванныхъ, накрашенныхъ, богопротивнѣйшихъ, веселыхъ рожъ въ дурацкихъ колпакахъ, зеленыхъ парикахъ и самыхъ прихотливыхъ мушкахъ.

— Да-съ, ну, такъ какъ же это тамъ все? — говорили онѣ Заіончеку, кривя губы, дергая носами и посылая ему вызывающія улыбки.

M-r le prêtre послалъ за это самъ милліонъ дьяволовъ во всемъ виноватымъ *раціоналистамъ*, задернулъ ридо и заходилъ по комнатѣ еще скорѣе и еще сердитѣе.

Прошло полчаса и Заіончекъ вдругъ выпрямился, остановился и медленно вынулъ изъ кармана фуляровый платокъ, съ выбитымъ на немъ планомъ всѣхъ желѣзныхъ дорогъ въ Европѣ. Прошла еще минута, и Заіончекъ просіялъ вовсе; онъ тихо высморкался (что у него въ извѣстныхъ случаяхъ замѣняло улыбку), повернулся на одной ногѣ и, съ солиднѣйшимъ выраженіемъ лица, отправился къ Долинскому.

— Мнѣ очень, однакоже, нравятся вотъ эти господа, началъ онъ, усаживаясь передъ каминомъ.

Долинскій посмотрѣлъ на него съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

— Я говорю объ этихъ бѣльмистыхъ сычахъ, продолжалъ Заіончекъ, подкинувъ въ каминъ лопатку глянцовитаго угля.—Мнѣ, я говорю, очень они нравятся съ своими *знаніями*. Вотъ именно, вотъ эти самые господа, которые про все-то знаютъ, которымъ законы природы очень извѣстны.

Заіончекъ пару секундъ помолчалъ и, приподнимаясь съ значительной миною съ кресла, воскликнулъ:

— А я имъ говорю, что *они* сычи ночные, что они лу-

поглазые, бѣльмистые сычи, которымъ ихъ бѣльма ничего не даютъ видѣть при Божьемъ свѣтѣ! Ночь! ночь имъ нужна! Вотъ тогда, когда изъ темныхъ норъ на землю выползаютъ колючіе ежи, кроты слѣпые, землеройки, а въ сонномъ воздухѣ нетопыри шмыгаютъ—тогда имъ жизнь, тогда имъ жизнь, канальямъ!.. И вотъ же чортъ ихъ не возьметъ и не поѣстъ вмѣсто сардинокъ!

Заіончекъ остановился въ ужасѣ надъ этимъ непростительнымъ упущеніемъ чорта.

— Прекрасная, весьма прекрасная будетъ эта минута, когда... фффуу—одно дуновенье, и передъ каждымъ вся эта картина его мерзости напишется и напишется ярко, отчетливо, безъ чернилъ, безъ красокъ и безъ всякихъ фотографій.

Долинскій молчалъ.

— Что такое *одъ*?—произнесъ протяжно съ приставленнымъ ко лбу пальцемъ Заіончекъ.—Одъ: ну, *одъ*! *одъ*! ну прекрасно-съ; ну да что же такое, наконецъ, этотъ *одъ*? Вѣдь нужно же, наконецъ, знать, *что* онъ? *откуда* онъ? *зачѣмъ* онъ? Вѣдь нельзя же такъ сказать: «*одъ* есть невѣсомое тѣло», да и ничего больше. Съ нихъ, съ сычей, этихъ ночныхъ, пускай и будетъ этого довольно, но отчего же это такъ и для другихъ-то должно оставаться, я васъ спрашиваю?

Заіончекъ остановился съ высоко поднятыми плечами передъ Долинскимъ. Черезъ минуту онъ сталъ медленно опускать плечи, вытянувъ впередъ руки, полузакрывъ вѣками свои сухіе глаза и, потянувшись грудью на руки, произнесъ: *вотъ онъ!*

Долинскій попрежнему смотрѣлъ на патера, совершенно спокойно.

— Въ какомъ я положеніи есть, въ такомъ онъ тончайшимъ, невѣсомымъ тѣломъ отъ меня и отдѣляется,—продолжалъ Заіончекъ. (Сказавъ это, патеръ сдѣлалъ въ молчаніи два различныя движенія руками, какъ бы отражая отъ себя куда-то два различныя изображенія; потомъ ду-

нулъ, напряженно посмотрѣлъ вслѣдъ за своимъ дуновеніемъ и заговорилъ двумя нотами ниже). Одъ отдѣлился и летитъ; онъ—я, но тонкос... невѣсомое. Теперь воздухъ передаетъ это эфиру; эфиръ—далѣе. Все это летитъ, летитъ вѣка. тысячелѣтія летитъ, и по извѣстнымъ тамъ законамъ отпечатывается, наконецъ, на какой-нибудь огромной, самой далекой планетѣ. Міръ рушится; земля распадается золою; наши плотскіе глаза выгорѣли, мы видимъ далеко, и вотъ тебѣ передъ тобой *твоя картина*. Ты весь въ ней, съ тѣхъ поръ, какъ бабка перерѣзала тебѣ пуповину, до моего послѣдняго «аминь» надъ двоей могилой. Ты это?.. Нѣтъ, не отречешься; весь ты тамъ со своей исторіей. И эта ночь, и эта ночь сугубаго разврата, кровосмѣшенья и всякаго содомскаго грѣха!—вскрикнулъ громко патеръ.—Она вся тамъ печатается, нынче, докончилъ онъ однимъ шипящимъ придыханіемъ и, швырнувъ Долинскаго за рукавъ къ окну, грозно указалъ ему на темное небо, слегка подкрашенное міріадами рожковъ горящаго въ городѣ газа.

— Вотъ какъ пишется книга! Вотъ какъ отмѣчаются слѣды всѣхъ этихъ летучихъ мышей ночныхъ, всѣхъ этихъ кротиковъ, всѣхъ этихъ землероекъ!

Сказавши это съ особымъ эффектомъ, Заіончекъ такъ же порывисто выбросилъ руку Долинскаго, какъ взялъ ее, и заходилъ по комнатѣ. Освобожденный Долинскій тотчасъ же сѣлъ верхомъ на свой стулъ и, положивъ подбородокъ на спинку, молча смотрѣлъ на патера, безъ любопытства, безъ вниманія и безъ участія.

— Да, это такъ; это несомнѣнно такъ! — утверждалъ себя въ это время вслухъ патеръ.—Да, солнце и солнца. Пространства очень много... Душамъ роскошно плавать. Онѣ всѣ смотрятъ внизъ: лица всегда спокойныя; имъ все равно... Что здѣсь дѣлается, это имъ все равно: это ихъ не тревожитъ... имъ это мерзость, гниль. Я вижу... видны мнѣ оттуда всѣ эти умники, всѣ эти конкубины, всѣ эти черви. въ гною зеленомъ, въ смрадѣ, поднимающемъ рвоту!—Мерзко!

«Да, тому, кто въ годы постоянные вошелъ, тому женская прелесть даже и скверна», мелькнуло въ головѣ Долинскаго, и вдругъ причудилась ему Москва, ея Малый театръ, купецъ Толстогораздовъ, живая жизнь съ людьми живыми, и всѣ вы, всепрощающіе, всезабывающіе, незлобивые люди русскіе, и сама ты, наша плакучая береза, наша ѳраная Русь-просторная. Всѣ вы, странныя, жгучія воспоминанія, все это разомъ толкнулось въ его сердце, и что-то новое, или, лучше сказать, что-то давно забытое, гдѣ-то тихо зазвенѣло ему манящими, путеводными колокольчиками.

Долинскій на мгновеніе смутился и черезъ другое такое же летучее мгновеніе невыразимо обрадовался, ощутивъ, что память его падаетъ, какъ надтреснувшая пружина, и спокойная тупость ложится по всѣмъ краямъ воображенія.

«Но, впрочемъ, это все... непонятно», подумалъ онъ сквозь сонъ, и съ наслажденіемъ почувствовалъ, что мозгъ его все крѣпче и крѣпче усваиваетъ себѣ самыя спокойныя привычки.

Долго еще патеръ сидѣлъ у Долинскаго и грѣлъ передъ его каминомъ свои толстыя, упругія ляжки; много еще разсказывалъ онъ объ одѣ, о плавающихъ душахъ, о сверхъестественныхъ явленіяхъ, и о томъ, что сверхъестественное не есть противоестественное, а есть только непонятное, и что пониманіе свое можно расширить и уяснить до безконечности, что душу и думы человѣка можно видѣть такъ же, какъ его носъ и подбородокъ. Долинскій слабо вслушивался въ весь этотъ сумбуръ, и чувствовалъ, что онъ самъ уже давно не отъ міра сего, что онъ давно плыветъ въ пространствѣ, и съ краями срѣзъ полонъ всяческаго равнодушія ко всему, что̀ видитъ и слышитъ.

Но, наконецъ, усталъ и патеръ; онъ взглянулъ на свой толстый хронометръ, зѣвнулъ и, потянувшись передъ огнемъ, отправился къ своему ложу.

Какъ только Заіончекъ вышелъ за двери, Долинскій спокойно подвинулъ къ себѣ оставленную при входѣ патера

книгу и началъ ее читать съ невозмутимымъ, холоднымъ вниманіемъ.

Часы въ коридорѣ пробили два.

Долинскій уже хотѣлъ ложиться въ постель, какъ въ его дверь кто-то слегка стукнулъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Искушенія.

— Кто тамъ?—тихо спросилъ Долинскій, удивленный такимъ позднимъ посѣщеніемъ.

— Мы, ваши сосѣдки, отвѣчалъ ему такъ же тихо молодой женскій голосъ.

— Что вамъ угодно, mesdames?

— Спичку, спичку; мы возвратились съ бала и у насъ огня нѣтъ.

Долинскій отворилъ дверь.

Передъ нимъ стояли обѣ его сосѣдки, въ широкихъ панталончикахъ изъ ярко-цвѣтной тафты, обшитыхъ съ боковъ дешевенькими кружевами; въ прозрачныхъ рубашечкахъ, съ непозволительно-спущенными воротниками, и въ цвѣтныхъ шелковыхъ колпачкахъ, ухарски-заломленныхъ на туго-завитыхъ и напудренныхъ головкахъ. Въ рукахъ у одной была зажженная стеариновая свѣчка, а у другой—литръ краснаго вина и тонкая, въ аршинъ длинная, итальянская колбаса.

Не успѣлъ Долинскій выговорить ни одного слова, обѣ дѣвушки вскочили въ его комнату и весело захохотали.

— Мы пришли къ вамъ, любезный сосѣдъ, сломать съ вами постъ.—Рады вы намъ?—прощебетала m-lle Augustine.

Она поставила на столъ высокую бутылку, сѣла верхомъ на стулъ республики и, положивъ локти на его спинку, откусила большой кусокъ колбасы, выплюнула кожицу и начала усердно жевать мясо.

— Цѣломудренный Іосифъ!—воскликнула Marie, пова-

лившись на постель Долинскаго и выкинувъ ногами неимовѣрный крендель:—хотите я вамъ представлю Жоко или бразильскую обезьяну?

Долинскій стоялъ неподвижно посреди своей комнаты. Онъ замѣтилъ, что обѣ дѣвушки пьяны, и не зналъ, что̀ ему съ ними дѣлать.

Гризеты, смотря на него, помирали со смѣху.

— Tiens!—вы, кажется, собираетесь насъ выбросить?—спрашивала одна.

— Нѣтъ, мой другъ, онъ читаетъ молитву отъ злого духа, утверждала другая.

— Нѣтъ... Я ничего, отвѣчалъ растерянный Долинскій, который, дѣйствительно, думалъ о проискахъ злого духа.

— Ну, такъ садитесь. Мы веселились, плясали, ѣздили, но все-таки вспомнили: что-то дѣлаетъ нашъ бѣдный сосѣдъ?

Marie вскочила съ постели, взяла Долинскаго однимъ пальчикомъ подъ бороду, посмотрѣла ему въ глаза и сказала:

— Онъ, право, еще очень и очень годится.

— Любезенъ, какъ бѣлый медвѣдь, отвѣчала Augustine, глотая новый кусокъ колбасы.

— Мы принесли съ собой вина и ужинъ, однѣмъ очень скучно, мы пришли къ вамъ. Садитесь, командовала Marie и, толкнувъ Долинскаго въ кресло королевства, сама вспрыгнула на его колѣни и обняла его за шею.

— Позвольте, просилъ ее Долинскій, стараясь снять ея руку.

— Та-та-та, совсѣмъ ненужно, отвѣчала дѣвушка, отпихивая локтемъ его руку, а другою рукою наливая стаканъ вина и поднося его къ губамъ Долинскаго.

— Я не пью.

— Не пьешь! Cochon! не пьетъ въ demi-carème. Я на голову вылью.

Дѣвушка подняла стаканъ и слегка наклонила его на бокъ.

Долинскій выхватилъ его у нея изъ рукъ и выпилъ половину. Гризета проглотила остальное и, быстро повернувшись на колѣняхъ Долинскаго, сдѣлала сладострастное движеніе головой и бровью.

— Посмотрите, какое у нея плечико, произнесла Augustine, толкнувъ сзади голое плечо Marie къ губамъ Долинскаго.

— Tiens! я думаю, это не такъ худо въ demi-carême!— говорила она, смѣясь и глядя, какъ Marie, весело закусивъ губки, держитъ у себя подъ плечикомъ голову растерявшагося мистика.

— Пусть будетъ тьма и любовь!—воскликнула Augustine, дунувъ на свѣчу и оставляя комнату при слабѣйшемъ освѣщеніи дотлѣвшаго камина.

— Пусть будетъ свѣтъ и разумъ! — произнесъ другой голосъ, и на порогѣ показалась суровая фигура Заіончека.

Онъ былъ въ бѣлыхъ ночныхъ панталонахъ, красной вязаной фуфайкѣ и синемъ спальномъ колпакѣ. Въ одной его рукѣ была зажженая свѣча, въ другой—толстый красный шнуръ, которымъ m-r le prêtre обыкновенно подпоясывался по халату.

— Вонъ, къ ста-тысячамъ чертей отсюда, гнилыя дочери грѣха!—крикнулъ онъ на дѣвушекъ, для которыхъ всегда было страшно и ненавистно его появленіе.

Marie испугалась. Она соскользнула съ колѣнъ неподвижно сидѣвшаго Долинскаго, пируэтомъ перелетѣла его комнату и исчезла за дверью. Augustine направилась за нею. Пропуская мимо себя послѣднюю, m-r le prêtre съ злостью очень сильно ударилъ ее шнуркомъ по тоненькимъ тафтянымъ панталончикамъ.

— Vous m'etourdissez! — подпрыгнувъ отъ боли, крикнула гризета и скрылась за подругою въ дверь своей комнаты.

— Ne faites plus de bruit! — проговорилъ у ихъ запертой двери черезъ минуту Заіончекъ.

— Pas beaucoup, pas beaucoup!—отвѣчали гризеты.

Заіончекъ зашелъ въ комнату одинокаго Долинскаго, стоявшаго надъ оставленными гризетами виномъ и колбасою.

— Я неспокоенъ былъ съ тѣхъ поръ, какъ легъ въ постель и мой тревожный духъ во-время послалъ меня туда, гдѣ я былъ нуженъ, проговорилъ онъ.

— Благодарю васъ, отвѣчалъ Долинскій:—я совсѣмъ не зналъ, что мнѣ съ ними дѣлать.

Богъ знаетъ, чѣмъ бы окончилъ здѣсь совершенно поглощенный мистицизмомъ Долинскій, если бы судьбѣ не угодно было подставить Долинскому новую штуку.

Одинъ разъ, возвратясь съ урока, онъ засталъ у себя на столѣ письмо, доставленное ему по городской почтѣ.

Долинскій наморщилъ лобъ. Рука, которою былъ надписанъ конвертъ, на первый взглядъ показалась ему незнакомою и онъ долго не хотѣлъ читать этого письма. Но, наконецъ, сломалъ печать, досталъ листокъ и остолбенѣлъ. Записка была писана несомнѣнно Анною Михайловною:

«Я вчера вечеромъ пріѣхала въ Парижъ и пробуду здѣсь всего около недѣли, писала Долинскому Анна Михайловна. — Поэтому, если вы хотите со мною видѣться, приходите въ Hôtel Corneille, противъ Одеона, № 16. Я дома до одиннадцати часовъ утра и съ семи часовъ вечера. Во все это время я очень рада буду васъ видѣть».

Долинскій отбросилъ отъ себя эту записку, потомъ схватилъ ее и перечиталъ снова. На дворѣ былъ седьмой часъ въ исходѣ. Долинскій хотѣлъ пойти къ Заіончеку, но вмѣсто того только побѣгалъ по комнатѣ, схватилъ свою шляпу и опрометью бросился къ мѣсту, гдѣ останавливается омнибусъ, проходящій по Латинскому кварталу.

Долинскій бѣжалъ по улицѣ съ сильно бьющимся сердцемъ и спирающимся дыханіемъ.

— Жизнь! жизнь! говорилъ онъ себѣ. — Какъ давно я не чувствовалъ тебя такъ сильно и такъ близко!

Какъ только омнибусъ тронулся съ мѣста, Долинскій

вдругъ посмотрѣлъ на Парижъ, какъ мы смотримъ на мѣста, которыя должны скоро покинуть; почувствовалъ себя вдругъ отрѣзаннымъ отъ Заіончека, отъ перечитанныхъ мистическихъ бредней и блѣдныхъ созданій своего больного духа. Жизнь, жизнь, ея обаятельное очарованіе снова поманила изстрадавшагося, разбитаго мистика, и, завидѣвъ на темнѣющемъ вечернемъ небѣ сѣрый силуэтъ Одеона, Долинскій вздрогнулъ и схватился за сердце.

Черезъ двѣ минуты онъ стоялъ на лѣстницѣ отеля Корнеля и чувствовалъ, что у него гнутся и дрожатъ колѣни.

«Что я скажу ей? Какъ я взгляну на нее?—думалъ Долинскій, взявшись рукою за ручку звонка у 16 №. — Можетъ-быть, лучше, если бы теперь ея не было еще дома?» разсуждалъ онъ, чувствуя, что всѣ силы его оставляютъ, и робко потянулъ колокольчикъ.

— Entrez!—произнесъ изъ нумера знакомый голосъ.

Несторъ Игнатьевичъ пріотворилъ дверь и спотыкнулся.

— Не будетъ добра, сказалъ онъ себѣ съ досадою, тревожась незабытою съ дѣтства примѣтой.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Заблудшая овца и ея пастушка.

Отворивъ дверь изъ коридора, Долинскій очутился въ крошечной, чистенькой передней, отдѣленной тяжелою драпировкою отъ довольно большой, хорошо меблированной и ярко освѣщенной комнаты. Прямо противъ приподнятыхъ полосъ матеріи, раздѣлявшей нумеръ, стоялъ ломберный столъ, покрытый чистою, бѣлою салфеткой; на немъ весело кипящій самоваръ и по бокамъ его двѣ стеариновыя свѣчи въ высокихъ блестящихъ шандалахъ, а за столомъ, въ глубинѣ дивана, сидѣла сама Анна Михайловна. При входѣ Долинскаго, который очень долго копался, снимая свои калоши, она выдвинула изъ-за самовара свою голову и, заслонивъ ладонью глаза, внимательно смотрѣла въ переднюю.

На Аннѣ Михайловнѣ было черное шелковое платье, съ

высокимъ лифомъ и безъ всякой отдѣлки, да бѣлый воротничокъ около шеи.

Долинскій, наконецъ, показался между полами драпировки, закрылъ рукою свои глаза и остановился, какъ вкопанный.

Анна Михайловна теперь его узнала; она покраснѣла и смотрѣла на него молча.

— Я не смѣю глядѣть на тебя, — тихо произнесъ, не отнимая отъ глазъ руки, Долинскій.

Анна Михайловна не отвѣчала ни слова и продолжала съ любопытствомъ смотрѣть на его исхудавшую фигуру и ветхое коричневое пальто, на которомъ вытертые швы обозначались желто-бѣлыми полосами.

— Прости!—еще тише произнесъ Долинскій.

Съ этимъ словомъ онъ опустился на колѣни, поставилъ передъ собою свою шляпу, досталъ изъ кармана довольно грязноватый платокъ и обтеръ имъ выступившій на лбу потъ.

Анна Михайловна неспокойно поднялась съ своего мѣста и, молча, прошлась два или три раза по комнатѣ.

— Встаньте, пожалуйста, проговорила она Долинскому.

— Прости, проговорилъ онъ еще тише и не трогаясь съ мѣста.

— Встаньте, сказала опять Анна Михайловна.

Долинскій медленно приподнялся и взялъ въ руки свою шляпу, снова сталъ, опустя голову, на томъ же самомъ мѣстѣ.

Анна Михайловна во все это время не могла оправиться отъ перваго волненія. Пройдясь еще раза два по комнатѣ, она повернула къ окну и старалась незамѣтно утереть слезы.

— Не извиненія, а христіанской милости, прощенія... началъ было снова Долинскій.

— Не надо! не надо! Пожалуйста, ни о чемъ этомъ говорить не надо!—нервно перебила его Анна Михайловна и, вынувъ изъ кармана платокъ, вытерла глаза и спокойно сѣла къ самовару.

— Что-жъ вы стоите у двери?—спросила она, не смотря на Долинскаго.

Тотъ сдѣлалъ шагъ впередъ, поставилъ себѣ стулъ и сѣлъ молча.

— Какъ вы здѣсь живете? — спросила его черезъ минуту Анна Михайловна, стараясь говорить какъ можно спокойнѣе.

— Худо, отвѣчалъ Долинскій.

— Анна Михайловна молча подала ему чашку чаю.

— И давно вы здѣсь?—спросила она послѣ новой паузы.

— Скоро полтора года.

— Чѣмъ же вы занимаетесь?

Долинскій подумалъ, чѣмъ онъ занимается, и отвѣчалъ:

— Даю уроки.

— Мы съ Ильей Макарычемъ о васъ долго справлялись; нѣсколько разъ писали вамъ въ Ниццу, письма приходили назадъ.

— Да меня тамъ, вѣрно, ужъ не было.

— Илья Макарычъ кланяется вамъ,—сказала Анна Михайловна послѣ паузы.

— Спасибо ему,—отвѣчалъ Долинскій.

— Вашъ редакторъ нѣсколько разъ о васъ спрашивалъ Илью Макарыча.

— Богъ съ ними со всѣми.

Анна Михайловна посмотрѣла на испитое лицо Долинскаго и, остановивъ глаза на бѣломъ швѣ его рукава, сказала:

— Какъ вы бережливы! Это у васъ еще петербургское пальто?

— Да, очень прочная матерія,—отвѣчалъ Долинскій.

Анна Михайловна посмотрѣла на него еще пристальнѣе и спросила:

— Не хотите ли вы стаканъ вина?

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не пью вина.

— Можетъ-быть, рому къ чаю?

Долинскій взглянулъ на нее и отвѣтилъ:

— Вы, можетъ-быть, подозрѣваете, что я началъ пить?

— Нѣтъ, я такъ просто спросила, — сказала Анна Михайловна и покраснѣла.

Долинскій видѣлъ, что онъ отгадалъ ея мысль, и спокойно добавилъ:

— Я ничего не пью.

— Скажи же, пожалуйста, отчего ты такъ... похудѣлъ, постарѣлъ... опустился?

— Горе, тоска меня съѣли.

Анна Михайловна покатала въ пальцахъ хлѣбный шарикъ и, повертывая его въ двухъ пальцахъ передъ свѣчкою, сказала:

— Невозвратимаго ни воротить, ни поправить невозможно.

— Я не знаю, что̀ съ собой дѣлать? Что мнѣ дѣлать, чтобы примирить себя съ собою?

Анна Михайловна пожала плечами и опять продолжала катать шарикъ.

— Я бѣгу отъ людей, бѣгу отъ мѣстъ, которыя напоминаютъ мнѣ мое прошлое; я самъ чувствую, что я не человѣкъ, а такъ, какая-то могила... трупъ. Во мнѣ уснула жизнь, я ничего не желаю, но мои несносныя му̀ки, мои терзанія!..

— Что же васъ особенно мучитъ?—спросила, не сводя съ него глазъ, Анна Михайловна.

— Все... вы, она... мое собственное ничтожество, и...

— И что?

— И всего мнѣ жаль порой, всего жаль: скучно, холодно одному на свѣтѣ... — проговорилъ Долинскій съ болѣзненной гримасой въ лицѣ и досадой въ голосѣ.

— Не будемъ говорить объ этомъ. Прошлаго ужъ не воротишь. Разсказывайте лучше, какъ вы живете?

Долинскій коротко разсказалъ про свое однообразное житье, умолчалъ однако о Заіончекѣ и обществѣ соединенныхъ христіанъ

— Ну, а впередъ?

— Впередъ?

Долинскій развелъ руками и проговорилъ:

— Можетъ-быть, то же самое.

— Утѣшительно!

— Это все равно: хорошаго гдѣ взять?

Анна Михайловна промолчала.

— Чего-жъ вы не возвращаетесь въ Россію?—спросила она его черезъ нѣсколько минутъ.

— Зачѣмъ?

— Какъ, зачѣмъ? Вѣдь вы, я думаю, русскій.

— Да, можетъ-быть, я и возвращусь... когда-нибудь.

— Зачѣмъ же когда-нибудь! Поѣдемте вмѣстѣ.

— Съ вами? А вы скоро ѣдете?

— Черезъ нѣсколько дней.

— Вы пріѣхали за покупками?

— Да, и за вами, — улыбнувшись, отвѣчала Анна Михайловна.

Долинскій, потупясь, смотрѣлъ себѣ на ногти.

— Пора, пора вамъ вернуться.

— Дайте подумать,—отвѣчалъ онъ, чувствуя, что сердце его забилось не совсѣмъ обыкновеннымъ боемъ.

— Нечего и думать. Никакое прошлое не поправляется хандрою, да чудачествомъ. Отряхнитесь, оправьтесь, станьте на ноги: вѣдь на васъ жаль смотрѣть.

Долинскій вздохнулъ и сказалъ:

— Спасибо вамъ.

— Я завтра, можетъ-быть, пришелъ бы къ вамъ утромъ,— говорилъ онъ, прощаясь.

— Разумѣется, приходите.

— Часовъ въ восемь... можно?

— Да, конечно, можно,—отвѣчала Анна Михайловна.

Проводивъ Долинскаго до дверей, она вернулась и стала у окна. Черезъ минуту на улицѣ показался Долинскій. Онъ вышелъ на середину мостовой, сдѣлалъ шагъ и остановился въ раздумьѣ; потомъ перешагнулъ еще разъ и опять остановился и вынулъ изъ кармана платокъ. Вѣтеръ рванулъ

у него изъ рукъ этотъ платокъ и покатилъ его по улицѣ. Долинскій какъ бы не замѣтилъ этого и тихо побрелъ далѣе. Анна Михайловна еще часа два ходила по своей комнатѣ и говорила себѣ:

— Бѣдный! бѣдный, какъ онъ страдаетъ!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Рѣшительный шагъ.

Долинскій провелъ у Анны Михайловны два дня. Аккуратно онъ являлся съ первымъ омнибусомъ въ восемь часовъ утра и уѣзжалъ домой съ послѣднимъ въ половинѣ двѣнадцатаго. Долинскаго не оставляла его давнишняя задумчивость, но онъ сталъ замѣтно спокойнѣе и даже минутами оживлялся. Однако, оживленность эта была непродолжительною: она появлялась неожиданно, какъ бы въ минуты забвенія, и исчезала такъ же быстро, какъ будто по мановенію какого-то призрака, проносившагося передъ тревожными глазами Долинскаго.

— Когда мы ѣдемъ? — спрашивалъ онъ въ волненіи на третій день пребыванія Анны Михайловны въ Парижѣ.

— Дня черезъ два,—отвѣчала ему спокойно Анна Михайловна.

— Скорѣй бы!

— Это не далеко, кажется?

Долинскій хрустнулъ пальцами.

— Вы не боитесь ли раздумать? — спросила его Анна Михайловна.

— Я!.. Нѣтъ, съ какой же стати раздумать?

— То-то.

— Мнѣ здѣсь нечего дѣлать.

«А что я буду дѣлать тамъ? Какое мое положеніе? Послѣ всего того, что было, чѣмъ должна быть для меня эта женщина!» размышлялъ онъ, глядя на ходящую по комнатѣ Анну Михайловну. «Чѣмъ она для меня можетъ быть?.. Нѣтъ, не чѣмъ *можетъ*, а чѣмъ она должна быть? А по-

чему же именно должна?.. Опять все какая-то путаница!»

Долинскій тревожно всталъ и простился съ Анной Михайловной.

— До утра, сказала она ему.

— До утра, отвѣчалъ онъ холодно, и почтительно цѣлуя ея руку.

Войдя въ свою комнату, Долинскій, не зажигая огня, бросилъ шляпу и повалился впотьмахъ совсѣмъ одѣтый въ постель.

— Нѣтъ! — воскликнулъ онъ часа черезъ два, быстро вскочивъ съ постели.—Нѣтъ! нѣтъ! Я знаю тебя; я знаю, я знаю тебя, змѣиная мысль!—повторялъ онъ въ ужасѣ и, выскочивъ изъ своей комнаты, постучался въ двери Заіончека.

— Помогите мнѣ, спасите меня!—сказалъ онъ, бросаясь къ патеру.

— Чтобы лѣчить язвы, прежде надо ихъ видѣть, проговорилъ Заіончекъ, торопливо вставая съ постели.—Открой мнѣ свою душу.

Долинскій разсказалъ о всемъ случившемся съ нимъ въ эти дни.

— Отецъ мой! Отецъ мой! — повторилъ онъ, заплакавъ и ломая руки:—я не хочу льгать... въ моей груди... теперь, когда лежалъ я одинъ на постели, когда я молился, когда я звалъ къ себѣ на помощь Бога... Ужасно!.. Мнѣ показалось... я почувствовалъ, что *жить хочу*, что мертвое все умерло совсѣмъ; что нѣтъ его нигдѣ, и эта женщина живая... для меня дороже неба; что я люблю ее гораздо больше, чѣмъ мою душу, чѣмъ даже...

— Глупецъ! — рѣзкимъ, змѣинымъ придыханіемъ шепнулъ Заіончекъ, зажимая ротъ Долинскому своей рукою.

— Нѣтъ силъ... страдать... терпѣть и ждать... чего? чего, скажите? Мой умъ погибъ, и самъ я гибну... Неужто-жъ это жизнь? Вѣдь дьяволъ такъ не мучится, какъ измучилъ себя я въ этомъ тѣлѣ!

— Дрянная персть земная непокорна.

— Нѣтъ, я покоренъ.

— А путь готовъ давно.

— И гдѣ же онъ?

— Онъ?... Пойдемъ, я покажу его: путь вѣрный примириться съ жизнью.

— Нѣтъ, убѣжать отъ ней...

— И убѣжать ея.

Долинскій только опустилъ голову.

Черезъ полчаса меркнущіе фонари Батиньеля короткими мгновеніями освѣщали двѣ торопливо шедшія фигуры: одна изъ нихъ, сильная и тяжелая, принадлежала Заіончеку; другая, слабая и колеблющаяся—Долинскому.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Кто въ чемъ остался.

Анна Михайловна напрасно ждала Долинскаго и утромъ, и къ обѣду, и къ вечеру. Его не было цѣлый день. На другое утро она написала ему записку и ждала къ вечеру отвѣта или, лучше сказать, она ждала самого Долинскаго. Ожиданія были напрасны. Прошелъ еще цѣлый день—не приходило ни отвѣта, не бывалъ и самъ Долинскій, а по условію, вечеромъ слѣдующаго дня, нужно было выѣзжать въ Россію.

Анна Михайловна находилась въ большомъ затрудненіи. Часу въ восьмомъ вечера она надѣла бурнусъ и шляпу, взяла фіакръ и велѣла ѣхать на Батиньель.

Съ большимъ трудомъ она отыскала квартиру Долинскаго и постучалась у его двери. Отвѣта не было. Анна Михайловна постучала второй разъ. Въ темный коридоръ отворилась дверь изъ № 10-го и на порогѣ показался во всю свою нелѣпую вышину m-r le prêtre Zaionczek.

— Что вамъ здѣсь нужно?—сердито спросилъ онъ Анну Михайловну по-русски, произнося каждое слово съ особеннымъ твердымъ удареніемъ.

— Мнѣ нужно господина Долинскаго.

— Его нѣтъ здѣсь: онъ здѣсь не живетъ, отвѣчалъ патеръ.

— Гдѣ же онъ живетъ?

Патеръ сдѣлалъ шагъ назадъ въ свою комнату и, ткнувъ въ руки Аннѣ Михайловнѣ какую-то бумажку, сказалъ:

— Отправляйтесь-ка домой.

Дверь нумера захлопнулась и Анна Михайловна осталась одна въ грязномъ коридорѣ, слабо освѣщенномъ подслѣповатою плошкою. Она разорвала конвертъ и подошла къ огню. При трепетномъ мерцаніи плошки нельзя было прочесть ничего, что написано блѣдными чернилами.

Анна Михайловна нетерпѣливо сунула въ карманъ бумажку, сѣла въ фіакръ и велѣла ѣхать домой.

Въ своемъ нумерѣ она зажгла свѣчу и, держа въ дрожащихъ рукахъ бумажку, прочла: «Я не могу ѣхать съ вами. Не ожидайте меня и не ищите. Я сегодня же оставляю Францію и буду далеко молиться о васъ и о мірѣ».

Анна Михайловна осталась на одномъ мѣстѣ, какъ остолбенѣлая. На другой день ея уже не было въ Парижѣ.

Прошло болѣе двухъ лѣтъ. Анна Михайловна попрежнему жила и хозяйничала въ Петербургѣ. О Долинскомъ не было ни слуха, ни духа.

За Анной Михайловной многіе пріударяли самымъ серьезнымъ образомъ и, наконецъ, одинъ статскій совѣтникъ предлагалъ ей свою руку и сердце. Анна Михайловна ко всѣмъ этимъ исканіямъ оставалась совершенно равнодушною. Она до сихъ поръ очень хороша и ведетъ жизнь совершенно уединенную. Ее можно видѣть только въ магазинѣ или во Владимірской церкви за раннею обѣднею.

Анна Анисимовна съ своими дѣтьми живетъ у Анны Михайловны въ бывшихъ комнатахъ Долинскаго. Отношенія ихъ съ Анной Михайловной самыя дружескія. Анна Анисимовна никогда ничего не говоритъ хозяйкѣ ни о Дорушкѣ, ни о Долинскомъ, но каждое воскресенье приноситъ съ собою отъ ранней обѣдни вынутую заупокойную

просфору. Долинскаго она терпѣть не можетъ, и при каждомъ случайномъ воспоминаніи о немъ, лицо ея судорожно передвигается и принимаетъ выраженіе суровое, даже мстительное.

M-lle Alexandrine тоже попрежнему живетъ у Анны Михайловны, и нынче больше, чѣмъ когда-нибудь, считаетъ свою хозяйку совершенною дурою.

Илья Макаровичъ нимало не измѣнился. Онъ по-старому льетъ пули и суетится. Глядя на Анну Михайловну, какъ она, при всемъ желаніи казаться счастливою и спокойною, часто живетъ ничего не видя и не слыша и по цѣлымъ часамъ сидитъ задумчиво, склонивъ голову на руку, онъ часто повторяетъ себѣ:

— За что, про что только все это развѣялось и пропало?

— Да полюбите вы кого-нибудь!—говоритъ онъ иногда, подмѣчая несносную тоску въ глазахъ Анны Михайловны.

— Погодите еще, сѣдого волоса жду, отвѣчаетъ она, стараясь улыбаться.

Жена Долинскаго живетъ на Арбатѣ въ собственномъ двухъэтажномъ домѣ и держитъ въ рукахъ своего сѣдого благодѣтеля. Викторинушку выдали замужъ за вдоваго квартальнаго. Она пожила годъ съ мужемъ, овдовѣла и снова вышла за молодого врача больницы, учрежденной какимъ-то «человѣколюбивымъ обществомъ», которое Матроска безъ всякой задней мысли называетъ обыкновенно «самолюбивымъ обществомъ». Сама же Матроска состоитъ у старшей дочери въ ключницахъ; зять-лѣкарь не пускаетъ ее къ себѣ на порогъ.

Вырвичъ и Шпандорчукъ, благодаря Бога, живы и здоровы. Они теперь служатъ гайдуками, или держимордами при какомъ-то приставѣ исполнительныхъ дѣлъ по вѣдомству нигилистической полиціи, и уже были два раза въ дѣлѣ, а за третьимъ, слышно, будутъ отправлены въ смирительный домъ. Имена ихъ, вѣроятно, передадутся исторіи, такъ какъ они впервые запротестовали противъ уни-

чтоженія въ Россіи тѣлеснаго наказанія и считаютъ его одною изъ необходимыхъ мѣръ нравственнаго исправленія. Положеніе этихъ людей вообще самое нерадостное; Дорушкино предсказаніе надъ ними сбывается: они рѣшительно не знаютъ, за что имъ зацѣпиться и на какой колоколъ себя повѣсить. Взять тягло въ толокѣ житейской — руки ихъ лѣнивы и слабы; міряне ихъ не замѣчаютъ; «мыслящіе реалисты», къ которымъ они жмутся и которыхъ увѣряютъ въ своей съ ними солидарности, тоже сторонятся отъ нихъ и чураются. Стоятъ эти бѣдные, «заплаканные» люди въ сторонѣ ото всего живого, стоятъ потерянно, какъ тѣ іудейскіе воины, которыхъ вождь покинулъ у потока и повелъ впередъ только однихъ локавшихъ по-песьи. Стоятъ они даже не ожидая, что къ нимъ придетъ новый Гедеонъ, который выжметъ передъ ними руно и разобьетъ водоносъ свой, а растерявшись измышляютъ только, какъ бы еще что-нибудь почуднѣе выкинуть въ своей старой, нигилистической куртклѣ.

Вѣра Сергѣевна Онучина возбуждаетъ всеобщую зависть и удивленіе. Она нынче одна изъ блистательнѣйшихъ дамъ самаго представительнаго русскаго посольства. Мужа своего она терпѣть не можетъ, но и весьма равнодушно относится ко всѣмъ искательствамъ свѣтскихъ львовъ и онагровъ. По столичной хроникѣ, ея теплымъ вниманіемъ до сихъ поръ пользуется только одинъ primo tenore итальянской оперы. Что̀ будетъ далѣе—пока неизвѣстно. Серафима Григорьевна читаетъ сочиненія аббата Гёте и проклинаетъ Ренана. Кириллъ Сергѣевичъ сдѣлался туристомъ. Онъ объѣхалъ западный берегъ Африки и путешествовалъ по всей Америкѣ. Недавно онъ возвратился въ Петербургъ и привезъ первое и послѣднее извѣстіе о Долинскомъ. Онучинъ видѣлъ Нестора Игнатьича съ іезуитскими миссіонерами въ Парагваѣ. По словамъ Кирилла Сергѣевича, на всѣ вопросы, которые онъ дѣлалъ Долинскому, тотъ съ ненарушимымъ спокойствіемъ отвѣчалъ только: «memento mori!»

Пара строкъ вмѣсто эпилога.

Хищная возвратная горячка, вычеркнувшая прошедшею зимою такъ много человѣческихъ именъ изъ списка живыхъ питерщиковъ, отвела сажень приневской тундры для синьоры Луизы. Безпокойная подруга Ильи Макаровича улеглась на вѣчный покой въ холодной могилѣ на Смоленскомъ кладбищѣ, оставивъ художнику пятилѣтняго сына, восьмилѣтнюю дочь и вексель, взятый ею когда-то въ обезпеченіе себѣ вѣрной любви до гроба. Илья Макаровичъ совсѣмъ засуетился съ сиротами и надѣлалъ бы Богъ-вѣсть какой чепухи, если бы въ спасеніе дѣтей не вступилась Анна Михайловна. Она взяла ихъ къ себѣ и возится съ ними какъ лучшая мать. Илья Макаровичъ прибѣгаетъ теперь сюда каждый день взглянуть на своихъ ребятокъ, восторгается ими, поучаетъ ихъ любви и почтенію къ Аннѣ Михайловнѣ; цѣлуетъ ихъ черненькія головенки и нерѣдко плачетъ надъ ними. Онъ совсѣмъ не можетъ сладить съ теперешнимъ своимъ одиночествомъ и, по собственному его выраженію, «нудится жизнью», скучаетъ ею. Недавно (читатель совершенно удобно можетъ вообразить, что это было вчера вечеромъ), Илья Макаровичъ явился къ Аннѣ Михайловнѣ съ лицомъ блѣднымъ, озабоченнымъ и серьезнымъ.

— Что съ вами, милый Илья Макаровичъ? — спросила его съ своимъ всегдашнимъ теплымъ участіемъ Анна Михайловна, трогаясь рукою за плечо художника.

Илья Макаровичъ быстро поцѣловалъ ея руку, отбѣжалъ въ сторону и заморгалъ.

— Что съ вами такое сегодня? — переспросила, снова подходя къ нему и кладя ему на плечи свои ласковыя руки, Анна Михайловна.

— Со мной-съ?.. Со мной, Анна Михайловна, ничего. Со мной то же, что со всѣми: скучно очень.

Анна Михайловна тихо покачала головою и тихо сказала:

— Не весело; это правда.

— Анна Михайловна!—началъ, быстро оправляясь, художникъ: — у насъ ужъ такіе годы, что...

— Изъ ума выживать пора?

— Ахъ, нѣтъ-съ! то-то именно нѣтъ-съ. Въ наши годы можно о себѣ серьезнѣй думать. Просто разбитые мы всѣ люди: ни счастья у насъ, ни радостей у насъ, утромъ ждешь вечера, съ вечера ночь къ утру торопишь, жить не при чемъ, а руки на себя наложить подло. Это что же это такое? Это просто терзанье, а не жизнь.

Тихая улыбка улетѣла съ лица Анны Михайловны, и она смотрѣла въ глаза художнику очень серьезно.

— А между тѣмъ... знаете что, Анна Михайловна... Не разсердитесь только вы Христа-ради?

— Я никогда не сержусь.

— Будьте матерью моимъ дѣтямъ: выйдите за меня замужъ, ей-Богу, ей-Богу я буду... хорошимъ человѣкомъ, проговорилъ со страхомъ и надеждою Журавка и сильно прижалъ къ дрожащимъ и теплымъ губамъ Анны Михайловнину руку.

Анна Михайловна смотрѣла на художника попрежнему тихо и серьезно.

— Илья Макарычъ! — начала она ему послѣ минутной паузы.—Во-первыхъ, вы ободритесь и не конфузьтесь. Не жалѣйте, пожалуйста, что вы мнѣ это сказали (она взяла его ладонью подъ подбородокъ и приподняла его опущенную голову). Вы ничѣмъ меня не обрадовали, но и ничѣмъ не обидѣли: сердиться на васъ мнѣ не за что; но только оставьте вы это, мой милый; оставьте объ этомъ думать.

— Да вѣдь я-жъ бы любилъ васъ! — произнесъ совсѣмъ сквозь слезы Журавка, сжимая между своими руками руку Анны Михайловны и цѣлуя концы ея пальцевъ.

— Знаю, знаю, Илья Макарычъ, и вѣрю вамъ, отвѣчала Анна Михайловна, материнскі лаская его голову.

— Вѣдь выходятъ же замужъ и... художникъ остановился.

— *Не любя*, досказала Анна Михайловна. — Да, милый Илья Макарычъ, выходятъ, и очень-очень дурно дѣлаютъ. Неужто вы хвалите тѣхъ, которыя такъ выходятъ?

— Нѣтъ... это я... такъ сказалъ, отвѣчалъ, глотая слезы, Журавка.

— Такъ сказали? Да, я увѣрена, что вы въ эту минуту обо мнѣ не подумали. Но скажите же теперь, мой другъ, если вы нехорошаго мнѣнія о женщинахъ, которыя выходятъ замужъ *не любя* своего будущаго мужа, — то какого же вы были бы мнѣнія о женщинѣ, которая выйдетъ замужъ любя не того, кого она будетъ называть мужемъ?

— Но вѣдь *его* нѣту; *онъ пропалъ*... погибъ.

— Погибшіе еще болѣе жалки.

— Да нѣтъ же, поймите вы, что вѣдь нѣтъ его совсѣмъ на свѣтѣ, говорилъ, плача какъ ребенокъ, Журавка.

Анна Михайловна слегка наморщила брови и впервые въ жизни едва не разсердилась. Она положила свою руку на темя Ильи Макаровича, порывисто придвинула его ухо къ своему сердцу и сказала:

— Слышите? Это *онъ* стучитъ тамъ своимъ дорожнымъ посохомъ.

ОСТРОВИТЯНЕ.

ПОВѢСТЬ.

Овцы царя Авгіаса не вмѣстѣ, въ стадахъ раздѣленныхъ,
Въ кругахъ разныхъ пасутся; однѣ по долинамъ—
Вдоль береговъ Элизента, другія у водъ освященныхъ
Старца-Алфея, иныя по злачнымъ Бупроза вершинамъ,
Прочія въ здѣшнихъ окрестностяхъ. Каждое стадо
Вечеромъ съ пастбищъ собрать намъ въ овчарни отдѣльныя надо.

Идиллія Θеокрита.

---

*
* *

Очень давно когда-то всего на нѣсколько минутъ я встрѣтилъ одно весьма жалкое существо, которое потомъ безпрестанно мнѣ припоминалось въ теченіе всей моей жизни, и теперь, какъ живое, стоитъ передъ моими глазами: это была слабая, изнеможенная и посинѣвшая отъ мокроты и стужи дѣвочка на высокихъ ходуляхъ. Въ тотъ день, когда я увидѣлъ этого ребенка, въ Петербургѣ ждали наводненія; съ моря сердито свисталъ порывистый вѣтеръ и носилъ по улицамъ цѣлыя облака холодныхъ брызгъ, которыми раздобывался онъ гдѣ-то за угломъ каждаго дома, но гдѣ именно онъ собиралъ ихъ — надъ крышей, или за цоколемъ — это оставалось его секретомъ, потому что съ чернаго неба не падало ни одной капли дождя. Въ этотъ ненастный, холодный день она вошла на грязный, мощеный дворъ изъ-подъ черной арки воротъ въ сопровожденіи еще болѣе ея изнеможеннаго итальянскаго жида, который находился съ нею въ товариществѣ по добыванію хлѣба, и въ сопровожденіи цѣлой толпы зѣвакъ, съ утра бродившихъ для наблюденія,

какъ выступаютъ изъ береговъ Лиговка, Мойка и Фонтанка. Блѣдный, чахоточный жидъ, сгибаясь въ три погибели, несъ покрытую клеенчатымъ чехломъ шарманку; праздные люди гордо несли на своихъ лицахъ спокойную тупость безсмыслія. Дѣвочка на ходуляхъ была самымъ замѣчательнымъ лицомъ во всей этой компаніи и съ помощью своихъ ходуль возвышалась наглядымъ образомъ надо всѣми. По силѣ производимаго ею впечатлѣнія, съ нею не могъ соперничать даже ея товарищъ, хотя это былъ экземпляръ, носившій, кромѣ шарманки, чахотку въ груди и слѣды всѣхъ страданій, которыми несчастнѣйшій изъ жидовъ участвуетъ съ банкиромъ Ротшильдомъ въ искупленіи грѣховъ падшаго племени Израиля. Во-первыхъ, дѣвочка была богиней: на ней былъ фантастическій нарядъ изъ перемятой кисеи и рыжаго плиса; все это было украшено гирляндами каленкоровыхъ цвѣтовъ, позументомъ и блестками; а на ея высокомъ, бѣломъ лбу лежала блестящая мѣдная діадема, придававшая что-то трагическое этому блѣдному профилю, напоминавшему длинный профиль Рашели, когда эта пламенная еврейка одѣвалась въ костюмъ Федры. Нѣтъ сомнѣнія, что вошедшая на ходуляхъ дѣвочка тоже должна была воплощать въ себѣ понятіе о какомъ-то трагическомъ величіи. Она вошла твердою и спокойною поступью, и когда сопровождавшій ее жидъ завертѣлъ свою шарманку, она запѣла:

Въ Нормандіи баронъ,
Большой любитель псовъ,
Жилъ съ деревенской простотою.

Въ ея голосѣ, которымъ она пропѣла эту рыцарскую пѣсню, было столько же скромной твердости, сколько въ ея тихомъ шествіи на ходуляхъ; но эта рыцарская пѣсня не нашла сочувствія ни въ комъ, кромѣ одной слабонервной дворняшки, начавшей подвывать пѣвицѣ самымъ раздирающимъ голосомъ и успокоившейся только послѣ пинка, отпущеннаго ей сострадательнымъ прохожимъ.

Несравненно болѣе общаго вниманія у зрителей дѣвочка

встрѣтила тогда, когда она проплясала передъ ними на ходуляхъ какой-то импровизированный matelot. Я видѣлъ, какъ при самомъ началѣ этого танца всѣ самыя тупыя лица осклабились и праздныя руки безсмысленно зашевелились, а когда дѣвочка разошлась и запрыгала, каждую секунду рискуя поскользнуться и, въ самомъ счастливомъ случаѣ, только переломить себѣ ногу, публика даже начинала приходить въ восторгъ. Изъ всѣхъ людей, стоявшихъ на дворѣ, и изъ всѣхъ, глазѣвшихъ на эту пляску въ окна, лишь одно мрачное лицо еврея упорно хранило свое угрюмое выраженіе, да еще было спокойно лицо самой танцорки. Черные глаза жида то обходили дозоромъ окна всѣхъ окружающихъ дворъ пяти этажей, то съ ненавистью и презрѣніемъ устремлялись на публику партера, вовсе и непомышлявшую достать изъ кармана мѣдный грошъ на хлѣбъ голодному искусству.

— Если бы она плясала въ длинномъ платьи, она бы, по крайней мѣрѣ, вымела бы мнѣ дворъ, проговорилъ присутствовавшій въ партерѣ дворникъ.

Дворникъ сдѣлалъ именно такое заключеніе, какое онъ долженъ сдѣлать: «собакѣ снится хлѣбъ, а рыба—рыбаку». Естественнѣй этого ничего быть не можетъ.

По мановенію дворника, прежде всѣхъ и проворнѣе всѣхъ поспѣшила исчезнуть подъ аркою воротъ захожая публика, наслаждавшаяся par grace всѣми вокальными и хореграфическими талантами дѣвочки на ходуляхъ; за публикой, сердито ворочая большими черными глазами въ просторныхъ орбитахъ, потянулъ, изнемогая подъ своей шарманкой, чахоточный жидъ, которому дѣвочка только что успѣла передать выкинутый ей за окно пятакъ, и затѣмъ уже сзади всѣхъ и спокойнѣе всѣхъ пошла сама дѣвочка на ходуляхъ. Она удалялась въ томъ же спокойномъ и гордомъ молчаніи, съ которымъ входила назадъ тому нѣсколько минутъ на этотъ дворъ, но изъ глазъ моихъ до сихъ поръ не скрывается ея блѣдный, спокойный лобъ, ея взоръ гордый и профиль Рашели, этой царственной жидовки, знавшей съ

нею умершій секретъ трогать до глубины онѣмѣвшія для высокаго чувства сердца буржуазной Европы. Память моя въ своихъ глубочайшихъ нѣдрахъ сохранила дѣтскій обликъ ходульной плясуньи и сердце мое и нынче рукоплещетъ ей, какъ рукоплескало въ тотъ ненастный день, когда она, серьезная и спокойная, не даря ни малѣйшаго вниманія ни глупымъ восторгамъ, ни дерзкимъ насмѣшкамъ, плясала на своихъ высокихъ ходуляхъ и ушла на нихъ съ гордымъ сознаніемъ, что не даровано помазанья свыше тѣмъ, кто не почувствовалъ драмы въ ея даровомъ представленіи.

Я никогда ни одного слова не разсказывалъ о томъ, ка́къ приходила эта дѣвочка и ка́къ она плясала на своихъ высокихъ ходуляхъ, ибо во мнѣ всегда было столько такта, чтобы понимать, что во всей этой исторіи ровно нѣтъ никакой исторіи. Но у меня есть другая исторія, которую я вознамѣрился разсказать вамъ, и эта-то исторія такова, что когда я о ней думаю, или, лучше сказать, когда я начиналъ думать объ одномъ лицѣ, замѣшанномъ въ эту исторію и играющемъ въ ней столь важную роль, что безъ него не было бы и самой исторіи, я каждый разъ совершенно невольно вспоминаю мою дѣвочку на ходуляхъ. И такъ какъ онѣ не разлучались въ головѣ моей и глядѣли на меня обѣ, когда я думалъ только объ одной изъ нихъ, то я не хочу разлучать ихъ передъ твоими глазами, читатель. Тебѣ было-бъ жалко, какъ онѣ заплакали бы, заплакали бы, разлучаясь, эти милыя дѣти.

Я лучше желаю, чтобы въ твоемъ воображеніи въ эту минуту пронеслось блѣдное, спокойное личико-полуребенка въ парчевыхъ лохмотьяхъ и приготовило тебя къ встрѣчѣ съ другимъ существомъ, которое въ нашъ вѣкъ, шагающій такой практической походкой, вошло въ жизнь, не трубя передъ собою, но на очень странныхъ ходуляхъ, и на нихъ же и ушло съ гордымъ спокойствіемъ въ темную, неизвѣстную даль.

Маничка Норкъ! гдѣ бы ни была ты теперь, восхитительное дитя Васильевскаго острова, по какой бы далекой

землѣ ни ступали нынче твои маленькія, слабыя ножки; какое бы солнце ни грѣло твое хрустальное тѣло — всюду я шлю тебѣ мой душевный привѣтъ и мой поклонъ до земли. Всюду я шлю тебѣ, незлобный земной ангелъ, мою просьбу покорную, да простишь ты мнѣ, что я рѣшаюсь разсказать людямъ твою сердечную повѣсть. Протяни мнѣ твои маленькія, прозрачныя ручки; дохни на эти строки твоимъ чистымъ дыханіемъ и поклонись изъ нихъ своей граціозной головкой всему широкому міру Божьему, куда случай занесетъ неискусный разсказъ мой про твою заснувшую весну, про твою любовь до слезъ, про твои горячіе, пламенные восторги! И чувствуетъ сердце мое, что дошла до тебя моя просьба; я слышу откуда-то, изъ какого-то суроваго далека твой благословляющій голосъ, вижу твою милую головку, поэтическую головку Титаніи, мелькающую въ тѣни темныхъ деревьевъ стараго, сказочнаго лѣса Оберона, и начинаю свой разсказъ о тебѣ, приснопамятный другъ мой.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Я обязанъ представить вамъ героиню моей повѣсти и нѣкоторыхъ лицъ ея семейства. Маничка Норкъ была петербургская, василеостровская нѣмка. Ея мать, Софья Карловна Норкъ, тоже была нѣмка русская, а не привозная; да и не только Софья Карловна, а даже и ея-то матушка, Мальвина Ѳедоровна, которую лѣтъ пятнадцать уже перекатываютъ по комнатамъ на особо устроенномъ креслѣ на высокихъ колесцахъ, такъ и она и родилась, и прожила весь свой вѣкъ на островѣ. Отца своего Маничка Норкъ не помнила, потому что осталась послѣ него груднымъ ребенкомъ: онъ умеръ, когда еще старшей маниной сестрѣ, Бертѣ Ивановнѣ, шелъ всего только шестой годъ отъ роду. Софья Карловна Норкъ овдовѣла въ самыхъ молодыхъ годахъ и осталась послѣ мужа съ тремя дочерьми: Бертой, Идой и Марьей или Маней, о которой будетъ идти начинающійся

разсказъ. Мужъ Софьи Карловны, Іоганъ-Христіанъ Норкъ былъ по ремеслу токарь, а по происхожденію петербургскій нѣмецъ. Онъ былъ человѣкъ пунктуально вѣрный, неутомимо трудолюбивый и безукоризненно честный. Работая всѣми этими качествами, Іоганъ-Христіанъ Норкъ за сорокъ лѣтъ неусыпнаго труда успѣлъ сгоношить себѣ кое-какую копѣйку и, отходя къ предкамъ, оставилъ своей вѣрной подругѣ, Софіи Норкъ, кромѣ трехъ дочерей и старой бабушки, еще три тысячи рублей серебромъ государственными кредитными билетами и новенькое токарное заведеніе. Софія Норкъ, схоронивъ мужа, не опустила ни головы, ни рукъ. Оплакавъ свою потерю, она стала думать, какъ ей прожить съ дѣтьми своей головою. Софья Карловна была въ состояніи это обдумать, потому что у нея отъ природы былъ ясный практическій смыслъ, и она знала свое маленькое дѣло еще при мужѣ. Еще и ему она была серьезною помощницею. Не говоря о томъ, что она была хорошей женою, хозяйкою и матерью, она умѣла и продавать въ магазинѣ разныя издѣлія токарнаго производства; понимала толкъ въ работѣ настолько, что могла принимать всякіе, относящіеся до токарнаго дѣла заказы, и, мало этого, на окнѣ ихъ магазина на большомъ, бѣломъ листѣ шляпнаго картона было крупными, четкими буквами написано, на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ: *здѣсь починяютъ, чистятъ, а также и вновь обтягиваютъ матеріей всякіе, дождевые и лѣтніе зонтики.* Это было уже собственное производство Софьи Карловны, которымъ она занималась не по нуждѣ какой крайней, а единственно по страстной любви своей къ труду и изъ желанія собственноручно положить хоть какую нибудь, хоть маленькую, хоть крохотную лепту въ свою семейную корвану. Результаты, однако, скоро показали, что лепта, добываемая Софьею Карловною черезъ обтягиваніе матеріей всякихъ дождевыхъ и лѣтнихъ зонтиковъ, совсѣмъ и не была даже такою ничтожною лептою, чтобы ея не было замѣтно въ домашней корванѣ; а главное-то дѣло, что лепта эта, какъ грошъ евангельской вдо-

вицы, клалась весело и усердно, и не только радовала Іогана-Христіана Норка при его счастливой жизни, но даже помогла ему и умереть спокойно, съ упованьемъ на Бога и съ надеждой на Софью Карловну.

— Софья!—говорилъ онъ, мучительно борясь со смертью:— дѣти... я на тебя... на тебя надѣюсь...

— О, мой Іоганусъ!—отвѣчала рыдая, Софья Карловна.

— Маньхенъ, продолжалъ хрипя умирающій: — береги ее... мою горсточку... мою маленькую...

— О, всѣхъ! всѣхъ, мой Іоганусъ!—отвѣчала опять Софья Карловна, и василеостровскій нѣмецъ Іоганъ - Христіанъ Норкъ такъ спокойно глядѣлъ въ раскрывавшіяся передъ нимъ темныя врата сѣни смертной, что если бы вы видѣли его тихо меркнувшія очи и его посинѣвшую руку, крѣпко сжимавшую руку Софьи Карловны, то очень можетъ быть, что вы и сами пожелали бы предъ вашимъ походомъ въ вѣчность услыхать не вопль, не вой, не стоны, не многословныя увѣренія за тѣхъ, кого вы любили, а только одно это слово; одно ваше имя, произнесенное такъ, какъ произнесла имя своего мужа Софья Карловна Норкъ въ отвѣтъ на его просьбу о дѣтяхъ.

Но дороже всего не то, что Софья Карловна умѣла хорошо сказать это слово; это, конечно, важно было только для умиравшаго, а для оставшихся жить всего важнѣе было, что всю музыку этого слова она выдержала.

Токарное производство мужа послѣ его смерти у Софьи Карловны не прекратилось и шло точно такъ же, какъ и при покойникѣ, а на другомъ окнѣ магазина, въ pendant къ вывѣскѣ о зонтикахъ, выступила другая, объявлявшая, что *здѣсь чистятъ и передѣлываютъ соломенныя шляпы, а также берутъ въ починку резиновыя калоши и клеятъ разбитое стекло.* Прошелъ годъ, два, пять лѣтъ, вывѣски эти неизмѣнно оставались на своихъ мѣстахъ; Софья Карловна неизмѣнно содержала то же самое заведеніе и исправно платила деньги за ту же самую квартиру на Большомъ проспектѣ. Въ это время дѣти подросли, бабуш-

ка совсѣмъ выжила изъ вѣка, хотя, впрочемъ, все-таки попрежнему ѣздила на своемъ колесномъ креслѣ, а Софья Карловна все трудилась, трудилась безъ отдыха, безъ сторонней помощи и вся жила въ своихъ дѣтяхъ. Берта и Ида ходили въ нѣмецкую школу и утѣшали мать прекрасными успѣхами; любимица покойника, Маньхенъ, его крохотная «горсточка», какъ называлъ онъ этого ребенка, бѣгала и шумѣла, то съ сафьяннымъ мячикомъ, то съ деревяннымъ обручемъ, который гоняла по всѣмъ комнатамъ и магазину.

— О, мой Іоганусъ!—думала Софья Карловна, вздыхая и уныло глядя на рѣзвившагося ребенка.

— О, мой милый Іоганусъ!—говорила она вслухъ, ловя убѣгавшую Маньхенъ и прижимая дѣвочку къ своему увядшему плечу, откуда трудовой потъ давно вытравилъ поцѣлуи истлѣвшаго Іогануса, но съ которыми, можетъ быть не хотѣла разставаться упрямая память.

Такъ опять шли годы. Состояніе Норкъ, благодаря неусыпнымъ трудамъ матери, не разстраивалось; фрейлейнъ Берта «отучилась» въ школѣ и прямо съ скамьи сдѣлалась невѣстой нѣкоего Фридриха Шульца, очень хорошаго молодаго человѣка, служившаго въ одной коммерческой конторѣ и получавшаго большое содержаніе. Приданымъ за Бертой Ивановной пошли: во-первыхъ, ея писаная красота и молодость, а во-вторыхъ, доброе имя ея матери, судя по которой практичный Фридрихъ Шульцъ ждалъ найти доброе яблочко съ добраго дерева. Берта его не обманула. Вторая дѣвица Норкъ, Ида Ивановна, только что доучилась; а одиннадцатилѣтнюю Маничку только отвели въ школу.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Въ народныхъ сказкахъ нашихъ часто сказывается, что изъ трехъ дѣтей, рожденныхъ отъ однихъ и тѣхъ же родителей, третій, самый младшій, задается либо всѣхъ умнѣе,

либо всѣхъ сильнѣе, либо всѣхъ счастливѣе и удачливѣй. Ходя по русской землѣ, зашла эта сказка и въ семью покойнаго русскаго нѣмца Іогана Норка. Маня была дитя совершенно, что говорятъ, «особенное», какое-то совсѣмъ необыкновенное. Умна и пытлива она была необычайно; добротѣ и чистосердію ея не было мѣры и предѣловъ: никто въ цѣломъ домѣ не могъ припомнить ни одного случая, чтобы Маничка когда-нибудь на кого-нибудь разсердилась, или кого-нибудь чѣмъ-нибудь обидѣла. Всѣ, знавшіе этого ребенка, удивлялись на него и со страхомъ говорили: охъ, она не будетъ жить на свѣтѣ!

— Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ, настаивала старая русская кухарка Норковъ:—что наша барышня, Марья Ивановна, не жилецъ на этомъ свѣтѣ, такъ я за это голову свою дамъ на отсѣченье, что она не жилецъ.

Кухаркѣ головы не отрубили, и Маша росла на общую семейную радость и утѣшеніе.

Для матери и разсыпавшейся пепломъ бабушки этотъ ребенокъ былъ идоломъ; сестры въ ней не слыхали души; слуги любили ее до безумія; а старый подмастерье Норка. суровый Германъ Верманъ, даже часто отказывалъ себѣ въ пятой гальбѣ пива единственно для того только, чтобы принести завтра фрейлейнъ Марьѣ хоть апельсинъ, хоть два пирожныхъ, хоть, наконецъ, пару яблокъ. Однимъ словомъ. Маня была домашній идолъ въ полномъ значеніи этого слова. Одно только въ ней сызрана начало тревожить ея мать и бабушку — это какой-то странный, необъяснимый для нихъ переломъ въ ея характерѣ, подготовленный, конечно, ея слишкомъ раннимъ развитіемъ и совершившійся на девятомъ году ея дѣтской жизни. Переломъ этотъ выразился тѣмъ, что неудержимая рѣзвость и безпечная веселость Мани вдругъ оставили ее, словно отлетѣли: легла спать вечеромъ одна дѣвушка, встала другая. Думали, что она больна, попробовали полѣчить—ничто не помогло, добивались у нея, не видала ли она чего-нибудь необыкновеннаго во снѣ—это стало сильно досаждать дѣвочкѣ, она

разстроилась и заплакала. Ее оставили въ покоѣ, думая, что это она такъ загрустила и что это непремѣнно пройдетъ. Опять ошиблись: ни игры, ни шалости больше не манили къ себѣ Маню — возвратить ее къ нимъ не было никакой возможности. Маня, которую, щадя ея слабое здоровье, долго не сажали за книжку, вдругъ выучилась читать по-нѣмецки необыкновенно быстро; по-русски она стала читать самоучкой безъ всякаго указанія. Съ этихъ поръ ее нельзя было разлучить съ книгою. Ручнымъ работамъ она училась усердно и понятливо, но обыкновенно спѣшно, торопливо кончала свой урокъ у старой бабушки, или у старшей сестры и сейчасъ же бѣжала къ книгѣ, забивалась съ нею въ уголъ и зачитывалась до того, что не могла давать никакого отвѣта на самые простые, обыденные вопросы домашнихъ. Ни веселаго хохота, ни дѣтскихъ игръ не знала съ этихъ поръ Маня; всѣ тѣ, небольшія конечно, удовольствія, которыя доставляла ей мать, она принимала съ благодарностію, но онѣ ее вовсе не занимали. Чтеніе развивало въ ней страшную впечатлительность, которая обратила на себя серьезное вниманіе родныхъ только послѣ слѣдующаго случая. Взяла ее замужняя сестра одинъ разъ въ театръ на *Уголино,* и сама была не рада съ нею, ни спектаклю, ни жизни. Маня разрыдалась въ ложѣ и послѣ того шесть недѣль вылежала въ нервной лихорадкѣ. Каждую почти ночь во время болѣзни она срывалась съ кроватки, плакала и кричала:

— Съѣшьте меня! Меня, меня съѣшьте скорѣй!

Впечатлительности дѣвочки стали бояться серьезно. Ее старались удалять отъ всего, что могло, по соображенію родныхъ, сильно вліять на ея душу: отнимали у нея книги, она безропотно отдавала ихъ и, садясь, молчала по цѣлымъ днямъ, лишь машинально исполняя что ей скажутъ, но попрежнему часто невпопадъ отвѣчая на то, о чемъ ее спросятъ. Родные теряли голову съ этой воспріимчивостью Маши. Какъ тщательно они ни берегли ее, но невозможно же все-таки было удалить ее отъ всего, что различными

путями добивалось въ ея душу, съ чѣмъ говорило ея чуткое сердечко. Оно говорило съ визгливою пѣснью русской кухарки; съ косящимся на солнце ощипаннымъ орломъ, котораго напоказъ зѣвакамъ таскалъ лѣтомъ по острову ощипанный и полуголодный мальчикъ; говорило оно и съ умными глазами остриженнаго пуделя, танцующаго въ красномъ фракѣ, подъ звуки разбитой шарманки—со всѣми и со всѣмъ умѣло говорить это маленькое, чуткое сердечко, и унять его говорливость, научить его молчанію не смогъ даже самъ пасторъ Абель, который, по просьбѣ Софьи Карловны Норкъ, со всѣхъ рѣшительно сторонъ, глубокомысленно обсудилъ душевную болѣзнь Мани и снабдилъ ее книгами особеннаго выбора.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мое знакомство съ семействомъ Норкъ началось въ гораздо позднѣйшую эпоху, чѣмъ Манино дѣтство, и началось это знакомство довольно оригинальнымъ образомъ, и притомъ непосредственно черезъ Маню.

Дѣло это-таки, впрочемъ, ужъ было давненько. Жилъ я тогда на Васильевскомъ Островѣ, неподалеку отъ извѣстной нѣмецкой школы. Одинъ разъ лѣтомъ возвращался я откуда-то изъ-за Невы; погода была ясная и жаркая; но вдругъ съ Ладоги дохнулъ вѣтеръ; въ воздухѣ затряслось, зашумѣло; небо нахмурилось, волны на Невѣ сразу метнулись, какъ бѣшенныя; набѣжалъ настоящій шквалъ, и яликъ, на которомъ я переправлялся къ Румянцевской площади, зашвыряло такъ, что я едва держался, а у гребца то одно, то другое весло, не попадая въ воду и сухо вертясь въ уключинахъ, звонко ударялось по бортамъ. Кое-какъ я перебрался на свой Островъ, и чуть только ступилъ на берегъ какъ хлынулъ азартнѣйшій холодный ливень; вѣтеръ неистово засвисталъ и понесся вдоль линій; крупныя капли били какъ градины: душъ былъ необыкновенный. Я бросился бѣжать, какъ поспѣвали ноги, словно ребенокъ, пре-

слѣдуемый страшными привидѣніями и, влетѣвъ на свой подъѣздъ, совсѣмъ было-сбилъ съ ногъ спрятавшихся здѣсь отъ дождя двухъ молоденькихъ дѣвочекъ. Обѣ онѣ были мокрехоньки и робко жались у стѣнки. На обѣихъ на нихъ были коричневыя, люстриновыя платьица и черные переднички съ лифами и гофрированными черными же обшивками. Поверхъ платьица на одной изъ дѣвочекъ, черномазенькой и востролиценькой брюнеточкѣ, была надѣта пестрая шерстяная тальмочка, а на другой, которую я не успѣлъ разглядѣть сначала, длинная черная тальма изъ легкаго дамскаго полусукна. На головѣ первой дѣвочки была швейцарская соломенная шляпа съ хорошенькими цвѣтами и широкой коричневой лентой, а на второй почти такая же шляпа изъ сѣраго кастора, съ одною черною бархаткой по тульѣ и безъ всякой другой отдѣлки. У обѣихъ на рукахъ висѣли зеленые шерстяные мѣшечки, въ которыхъ, сквозь взмокшую матерію, ясно обрисовывались корешки книгъ и пеналы.

— Бѣдныя двѣ дѣвочки, какъ тутъ пріютились у насъ на подъѣздѣ! — сказалъ я, представляясь въ видѣ Язона мутнымъ очамъ добродѣтельнѣйшей въ мірѣ чухонки Эрнестины Крестьяновны, исправлявшей въ моей одинокой квартирѣ должность кухарки и камердинера и называвшей, въ силу многосложности лежавшихъ на ней обязанностей, свое единственное лицо собирательнымъ именемъ: *прислуги*.

— О, мейнъ Готъ! дасъ истъ шреклихъ!—заговорила моя «прислуга».

— Да, говорю, позвать бы ихъ къ намъ, Эрнестина Крестьяновна, чтобъ не простудились онѣ тамъ стоючи мокрыя на сквозномъ вѣтру.

— O ja, ja! Gott bewahr,—залепетала «прислуга» и побѣжала на лѣстницу.

— Ну, сто?—начала она, появляясь черезъ минуту назадъ съ растопыренными руками и съ неописаннымъ смущеніемъ на лицѣ:—одинъ какъ совсѣмъ коцитъ, а другой совсѣмъ не коцитъ; ну, и сто я здѣляйть?

Я вышелъ на подъѣздъ самъ. Дѣвочки по-прежнему жались у стѣнки; черненькая нѣсколько выдавалась впередъ, а другая совсѣмъ западала за ея плечико.

— Войдите, сдѣлайте милость, къ намъ, пока перейдетъ дождикъ,—сказалъ я, обращаясь къ обѣимъ дѣтямъ безразлично.

Черненькая взглянула на меня быстро, но ничего не отвѣтила, а по глазамъ ея видно было, что ей тутъ очень неловко и что она рѣшительно не прочь бы зайти и пообогрѣться въ комнатѣ.

— Пожалуйста, зайдите!—повторилъ я, и въ эту минуту замѣтилъ изъ-подъ локтя передней дѣвочки крошечную ручонку, которая безпрестанно теребила и трясла этотъ локотокъ сосѣдки изо всей своей силы.

— Мы вамъ ничего худого не сдѣлаемъ; намъ только жаль, что вы здѣсь стоите,—обратился я къ черненькой и снова замѣтилъ, что ручонка ея сосѣдки подъ ея локоткомъ задергала съ удвоеннымъ усердіемъ.

— Она не хочетъ, а я безъ нея не могу, — отвѣчала краснѣя и застѣнчиво улыбаясь черненькая дѣвочка, и чуть только она произнесла эти слова, какъ безпокойная ручка, назойливо теребившая ея локотокъ, отпала и юркнула подъ мокрую черную тальму.

— Какъ вамъ не стыдно бояться!

— Я ничего не боюсь,—чуть слышно прошептала задняя дѣвочка и въ ту же секунду тронулась съ мѣста; черненькая тоже пошла съ нею и обѣ рядышкомъ онѣ вступили въ мои аппартаменты, которые, впрочемъ, выглядывали очень уютно и даже комфортно, особенно со входа съ непогожаго надворья. Впрочемъ, теперешній видъ моего жилья очень много выигрывалъ оттого, что предупредительная Эрнестина Крестьяновна въ одну минуту развела въ каминѣ самый яркій, трескучій огонекъ.

Завидя въ передней гостей, «прислуга» моя выбѣжала уточкой и начала около нихъ кататься, стаскивая съ нихъ мокрыя тальмы и шляпы, встряхивая ихъ юбочки и обтирая ихъ козловые сапожки.

Черезъ минуту гостьи, держась рука за руку, робко вступили въ мою зальцу и, пройдя три шага отъ двери, тотчасъ сдѣлали мнѣ самый милый книксенъ.

— Пожалуйте сюда къ камину, — попросилъ я ихъ въ кабинетъ.

Дѣвочки двинулись впередъ, снова держась рука за руку, и, оглянувшись по новой комнатѣ, обѣ стали у огня.

— Садитесь, — попросилъ я ихъ, пододвигая имъ два кресла.

Дѣвочки вмѣстѣ поклонились, очень оригинально усѣлись вдвоемъ на одномъ креслѣ, расправили юбочки и сушили ножки.

— А я сицасъ будить горяцій кофе давай, радостно объявила Эрнестина Крестьяновна и уплыла въ кухню.

Я сталъ себѣ свертывать папироску и молча разсматривалъ моихъ гостей. Обѣ онѣ были не дѣвочки и не дѣвушки, а среднее между тѣмъ и другимъ, какъ говорятъ— *подросточки*. Черненькой, на видъ, было лѣтъ пятнадцать и правильныя, тонкія черты ея лица обѣщали изъ нея современемъ что-то очень красивое; но это должно было случиться, когда линіи лица протянутся до назначенныхъ имъ точекъ и живыя краски юности расцвѣтятъ дѣтскую смуглость нѣжной, тонкой кожи. Другая, которая, стоя въ корридорѣ, все западала за свою подругу, была совсѣмъ въ иномъ родѣ: по-росту и сложенію ей можно было дать лѣтъ тринадцать, а по лбу и бровямъ гораздо болѣе, чѣмъ ея подругѣ. Эта дѣвочка была некрасивая и никогда необѣщавшая быть красавицей, но вся она была какое-то счастливѣйшее сочетаніе ума, граціи и прелести. Фигурка ея была необыкновенно стройная, такая «миньонная», волосы тонкіе, легкіе, свѣтло-пепельнаго цвѣта; носикъ строгій, губки довольно полныя; правильно оканчивающійся подбородокъ и удивительной тонкости и бѣлизны шейка, напоминающая красивую и гибкую шейку цецарки. Но всего замѣчательнѣй въ этомъ лицѣ были глаза, эти окна души, какъ ихъ называли поэты — окна, въ которыя

внутренній человѣкъ смотритъ на свѣтъ изъ своего футляра. Большіе бирюзовые глаза эти были непремѣнно очень близоруки. Это заключеніе возникало у меня вслѣдствіе того, что дѣвочка при каждомъ, относящемся къ ней вопросѣ, поворачивалась къ говорящему всѣмъ тѣломъ, выдвигала нѣсколько впередъ головку и мило щурила свои глазки, чтобы лучше разглядѣть того, кто говорилъ съ нею. Ничего въ мірѣ нѣтъ мудренѣе и неразгаданнѣе такихъ близорукихъ глазъ. Можно подумать, что они долго глядятъ не видя ничего, кромѣ свѣта, и вдругъ сосредоточатся на чемъ-нибудь одномъ, взглянутъ глубоко, и тотчасъ же спрячутся за свои таинственныя рѣсницы, точно робкія серны, убѣгающія за нагорныя сосны.

Замѣчаютъ, что большинство близорукихъ людей бываютъ очень мечтательны и что у нихъ весьма часто бываетъ сильно развита фантазія. Можетъ быть, въ этомъ замѣчаніи есть своя доля правды.

Въ то время, когда я, разсматривая моихъ гостей, предавался всѣмъ этимъ соображеніямъ, «прислуга» вошла и поставила на столъ подносъ съ тремя чашками горячаго кофе.

— Фрейлейнъ, битте зеръ тринкенъ зи шнеллеръ кафе,— пригласила Эрнестина Крестьяновна.

Черненькая дѣвочка толкнула слегка локоткомъ пепельную блондинку и обѣ ни съ мѣста.

Я всталъ и подалъ имъ кофе.

— Ахъ, поставьте, мы возьмемъ сами, — отвѣчала, конфузясь, брюнетка.

Она встала, отряхнула начинавшія высыхать юбочки и подойдя къ столу, кликнула:

— Маньхенъ!

— Мм!—отозвалась Маньхенъ и, полуоборотясь, прищурила глазки.

— Бери же!—произнесла, продолжая безпрестанно мѣняться въ лицѣ, чернушка.

Маня еще прищурилась, пока разсмотрѣла стоящій на столѣ кофе и торопливо отвѣчала по-нѣмецки:

— Ich danke sehr, Klara; ich will nicht.

— Отчего же вы не хотите согрѣться?—спросилъ я какъ сумѣлъ ласковѣе.

— Благодарю васъ, — отвѣчала чистымъ русскимъ языкомъ Маня.

— Вы церемонитесь?

— Нѣтъ... я... не озябла.

— Чашка кофе все-таки вамъ не повредитъ

Маня опять прищурила глазки, встала, и, слегка покачиваясь на своихъ ножкахъ, подошла къ столику.

Теперь я разсмотрѣлъ, что платья обѣихъ дѣвушекъ были не совсѣмъ коротенькія, но на подъемѣ такъ, что всѣ ихъ полусапожки и даже съ полвершка бѣленькихъ чулочекъ были открыты. Дождь на дворѣ не прекращался; вѣтеръ сердито рвалъ въ каминной трубѣ и ударялъ въ окна цѣлыми потоками крупнаго ливня; а вдалекѣ гдѣ-то грянулъ громъ и раскатился по небу.

— Громъ!—проговорила Маня.

— Да, а вы боитесь грома?

— Я? — да, я боюсь грома; а моя мама.. Ида... Онѣ знаютъ, что я боюсь.

— Хотите, мы пошлемъ сказать, чтобы о васъ не безпокоились? Далеко вы живете?

— Вотъ тутъ, всего черезъ двѣ линіи; тутъ магазинъ нашъ, магазинъ Норкъ.

Я отвѣчалъ, что знаю, гдѣ ихъ магазинъ.

— Но посылать, пожалуйста, не надо.

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо, какъ можно!—заговорила она, увидя, что я хотѣлъ повернуться къ кухнѣ.

— Нѣтъ, прошу васъ, пожалуйста, не посылайте бѣдную старушку.

Я вызвался сходить самъ.

— Ахъ, нѣтъ, пожалуйста, не надо!

— Но ваши будутъ безпокоиться.

— Нѣтъ, пожалуйста... Они догадаются, что мы съ Кла-

ринькой куда-нибудь зашли. Теперь я вспомнила, что они подумаютъ, что мы ждемъ въ школѣ.

Сколько я ни старался уговаривать Маньхенъ, она ни за что не соглашалась ни пустить меня по дождю, ни послать «бѣдную старушку».

А погода, дѣйствительно, разыгралась во всю свою финскую мочь; все небо заволокло черною, свинцовою тучею; удары грома катились быстрѣе и непосредственнѣе вслѣдъ за скользившими зигзагами молніи.

— Маня, сколько здѣсь книгъ!—сказала изъ угла, стоя у моего книжнаго шкафа, Кларинька.

Маня сощурила глазки и, держа въ зубкахъ отломленный кусочекъ сухарика, наклонила головку впередъ по голосу Клары.

— Гдѣ?—спросила она, очень внимательно и необыкновенно тихо.

— Вотъ цѣлый шкафъ.

Маня такъ и пошла къ шкафу съ чашкою въ рукахъ и кусочкомъ сахарика между зубками.

— Вы любите книги? — спросилъ я, подходя вслѣдъ за нею къ шкафу.

— Да, я люблю, уронила она едва слышно.

— Сколько ихъ тутъ!—удивлялась Клара.

Маня воззрилась въ корешки книгъ, какъ газель въ лѣсную чащу; сухарикъ такъ попрежнему оставался неразгрызенный въ ея губкахъ.

— Вы много читаете?—спросилъ я Клару.

— Я? Нѣтъ; я такъ читаю.., когда захочется; а она всегда читаетъ.

— Маньхенъ! — добавила она:—посмотри, цѣлый Пушкинъ.

Маня передвинулась молча и опять стала глядѣть въ переплеты; я не сводилъ глазъ съ ея живыхъ, то щурившихся, то широко раскрывавшихся глазъ и блѣднаго, прозрачнаго личика.

Она читала названья книгъ съ такою жадностію, какъ

будто кушала какой-нибудь сладкій запрещенный плодъ, и читала не одними глазами, а всѣмъ своимъ существомъ. Это видно было по ея окаменѣвшимъ ручкамъ, по ея вытянутой шейкѣ, по ея губкамъ, которыя хотя не двигались сами, но около которыхъ, подъ тонкой кожицей, что-то шевелилось какъ гусеница.

Такъ прошло семь или восемь минутъ. Маня все стояла у шкафа, и червячокъ все ворочался около ея губокъ, какъ вдругъ раздался страшный ударъ грома и съ трескомъ раскатился по небу. Маня слабо вскрикнула, быстро бросила на полъ чашку и, забывъ всякую застѣнчивость, сильно схватилась за мою руку.

Разлетѣвшаяся вдребезги чашка и зазвенѣвшая по полу ложечка испугали ее еще болѣе.

— Идти! идти! — прошептала она, схватившись въ испугѣ за мою руку и совсѣмъ подбиваясь подъ мой локоть.

Я не могъ понять, что̀ значитъ ея *идти*, и старался какъ умѣлъ и какъ могъ ее успокоить, но она все тревожилась, вздрагивала зорко, смотрѣла впередъ, и каждый разъ крѣпче жалась ко мнѣ при всякомъ новомъ ударѣ.

— Какъ жаль, что вы такъ боитесь грома!—началъ я, когда гроза утихла и небо стало понемножку свѣтлѣть и разъясниваться.

Маня, молча, взглянула на меня, потомъ на разбитую чашку и пролитый кофе, и опять прошептала:

— *Идти.*

— Теперь невозможно идти.

Дѣвушка задумалась.

— Васъ вѣрно напугалъ кто-нибудь?

— Н-нѣтъ... это такъ... вліяніе...

Все существо Мани опять разомъ выразило, что ей очень тяжело отъ этого *вліянія*, и тоненькій червячокъ снова забѣгалъ подъ кожей около ея губокъ.

— Идти, заговорила она, крѣпко сжимая мою руку: — нужно скорѣе идти... идти...

Она задрожала и жалась ко мнѣ съ выраженіемъ ужаса

и какъ будто съ мольбой, чтобъ я удерживалъ ее, чтобъ не пускалъ ее куда-то *идти*.

Гроза стихла.

Я ничего не сталъ разспрашивать Маню объ этомъ, какъ она называла, «вліяніи», и какъ только немножко распогодилось, одѣлся и пошелъ проводить ихъ. Магазинъ Норкъ былъ отъ моей квартиры въ нѣсколькихъ минутахъ ходьбы. Мы всѣ втроемъ перешли это разстояніе очень скоро и, едва успѣли взяться за дверную ручку, какъ въ магазинѣ раздался сумасшедшій крикъ, и въ одно мгновеніе Маня совсѣмъ исчезла въ какой-то необъятной кучѣ свѣтлаго ситца. Ситецъ этотъ закутывалъ Маню, шевелился около нея, пожиралъ ее и издавалъ слабое, почти мышиное пищаніе, а вдалекѣ, гдѣ-то комнаты за двѣ, послышалось порывистое дерганье, какъ будто кто-то тянулъ слабою рукою колодезный цеборъ. Звуки эти все слышались ближе и ближе и, наконецъ, въ противоположной двери показалось высокое желѣзное кресло съ большими колесами, круглые ободы которыхъ были тщательно обмотаны зеленой суконной покромкой. На этомъ креслѣ, положа руки на ободья колесъ, сидѣла сама старость съ младенчески шаткой головой и ушедшими въ затылокъ глазами. Темный полосатенькій капотъ и бѣлый чепецъ, которымъ была покрыта подъѣхавшая фигура, слегка тряслись и дрожали. Даже пестрый шотландскій плэдъ, закрывавшій недвижимыя ноги старушки, слегка шевелился.

При появленіи этого кресла, ситецъ, поглотившій Маню, заворошился еще сильнѣе; изъ него поднялись двѣ красноватыя руки, взмахнули на воздухѣ и опять утонули въ складкахъ, а насупротивъ ихъ показалась пара другихъ, болѣе свѣжихъ рукъ, и эти тоже взмахнули и также исчезли въ ситцевой пѣнѣ. Затѣмъ показалась головка Мани, а возлѣ нея, у самыхъ щекъ, отцвѣтшая женская голова съ полусѣдыми локонами и гладко причесанная бѣлокурая головка дѣвушки, волоса которой громко объявляли о своемъ ближайшемъ родствѣ съ волосами Мани. Это были ея мать

и сестра Ида, а въ дверяхъ на креслѣ—Манина бабушка.

Мы съ дѣвочкой Кларой двое оставались сторонними зрителями этой сцены и на насъ никто не обращалъ ровно никакого вниманія. Маню обнимали, цѣловали, ощупывали ея платьице, волосы, трогали ее за ручки, за шейку, ласково трепали по щечкамъ и вообще какъ бы старались удостовѣриться, не сонъ ли все это? не привидѣніе ли? дѣйствительно ли это она, живая Маня съ своей маленькой и слабою плотью?

Мнѣ очень хотѣлось уйти и не мѣшать этой семейной сценѣ, но въ то же время я чувствовалъ необходимость разсказать въ оправданіе дѣвушекъ, гдѣ онѣ были и по какому случаю попали ко мнѣ.

— Ахъ, какъ мы васъ можемъ благодарить! Я не умѣю сказать вамъ, какъ я вамъ благодарна, отвѣчала мнѣ восторженно Софья Карловна, когда Маня перешла въ объятія бабушки, а я на-скоро разсказалъ кое-какъ всю эту исторію.

Софья Карловна непремѣнно просила меня остаться пить чай; она говорила, что сейчасъ будетъ ея зять, который уже цѣлый часъ рыщетъ съ своимъ знакомымъ художникомъ Истоминымъ по всему острову, отыскивая вездѣ бѣдную Маню. Я отказался отъ чаю и вышелъ.

Софья Карловна, прощаясь, взяла съ меня слово, чтобы я непремѣнно зашелъ къ нимъ и былъ бы ихъ хорошимъ знакомымъ. Я далъ такое слово и сдержалъ его, даже и во второмъ отношеніи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

На другое утро ко мнѣ зашелъ незнакомый, очень щеголевато и въ то же время очень солидно одѣтый, плотный, коротко остриженный господинъ съ здоровымъ смуглымъ лицомъ, бархатными бакенбардами и очень хорошими черными глазами. Онъ назвалъ себя Фридрихомъ Шульцемъ; сказалъ, что онъ зять мадамъ Норкъ и что пришелъ по-

благодарить меня отъ тещи и отъ себя за вниманіе, оказанное вчера дѣтямъ. Фридрихъ Шульцъ говорилъ немного, держался съ тактомъ и вообще велъ себя человѣкомъ выдержаннымъ. Въ заключеніе своего короткаго визита онъ выразилъ надежду, что мы будемъ знакомы, и мы съ нимъ простились.

Черезъ день послѣ визита, сдѣланнаго мнѣ Шульцемъ, я отправился къ Норкамъ узнать о здоровьѣ Мани. Это было передъ вечеромъ. Маня сама отперла мнѣ двери и этимъ сдѣлала вопросъ о ея здоровьѣ почти неумѣстнымъ, но тѣмъ не менѣе меня всѣ встрѣтили здѣсь очень радушно, и я очень скоро не только познакомился съ семействомъ Норковъ, но даже сталъ въ немъ почти своимъ, или, по крайней мѣрѣ, очень близкимъ человѣкомъ.

Здѣсь я долженъ сдѣлать нѣкоторое, весьма короткое, впрочемъ, отступленіе для того, чтобы познакомить читателя со всѣми лицами семейства Норковъ въ ту именно пору, къ которой относится этотъ разсказъ, и при этомъ показать ихъ чистенькое жилище.

Самымъ старымъ лицомъ здѣсь была утлая бабушка Норкъ. Ей было уже восемьдесятъ-три года; она была нѣкогда и умна, и красива, и добродѣтельная; нынче она была просто развалина, но развалина весьма опрятная, необдававшая ни пылью, ни плѣсенью и нераздражавшая ничьего уха скрипомъ желѣзныхъ ставень, которыя во всѣхъ развалинахъ такъ безтолково двигаются изъ стороны въ стороны и несносно скрипятъ на заржавѣвшихъ крючьяхъ. У старушки Норкъ оставалось довольно ума и очень много сердца, для того, чтобы любить каждый листочекъ дерева, выросшаго изъ ея праматеринскаго лона, и между всѣми этими вѣточками и листочками, самымъ любимымъ лоскомъ старушки была опять-таки та же младшая внучка, Маничка Норкъ. О Софьѣ Карловнѣ мы знаемъ достаточно, чтобы не говорить о ней въ особенности. Она осталась навсегда доброю матерью и хорошею хозяйкою, но съ лѣтами послѣ мужа значительно располнѣла; горе и заботы провели у

нея по лбу двѣ глубокія морщины; а торговыя столкновенія и разсчеты пріучили ея лицо къ нѣсколько суровому, такъ сказать, суходѣльному выраженію, которое замѣчается почти у всѣхъ женщинъ, поставленныхъ въ необходимость лично вести дѣла не женскаго хозяйства. Берта Ивановна Шульцъ была прежде всего и больше всего красавица, здоровая, свѣжая, бѣлая, роскошная, очень добрая, угодливая, вѣрная жена, страстно нѣжная мать и безцѣнная хозяйка. Лучшимъ аттестатомъ семейнымъ добродѣтелямъ Берты Ивановны былъ мужъ ея, Фридрихъ Фридриховичъ Шульцъ. Всегда практически умный, здоровый и веселый Фридрихъ Шульцъ въ качествѣ мужа Берты Ивановны, раздобрѣлъ еще болѣе; его веселый смѣхъ со времени женитьбы сталъ слышаться еще чаще и громче, а на лицѣ его явилось еще болѣе самоувѣренности. Въ этой самоувѣренности, которая лежала на лицѣ Шульца, не было, впрочемъ, ничего заносчиваго и обиднаго. Только при взглядѣ на свою жену, или при разговорѣ о ней, Фридрихъ Шульцъ примѣшивалъ къ своей безобидной самоувѣренности нѣкоторую надменность.

— Ну-ка, говорило тогда его лицо гостямъ, угощавшимся у его хлѣбосольной трапезы: — ну-ка, скажите-ка, мои голубчики, у кого изъ васъ есть такая жена?

— А ни у кого у васъ нѣтъ такой жены, да и ни у кого не можетъ быть такой жены, добавляло оно, слѣдя за плававшей лебедью Бертой Ивановной. — А вотъ посмотрите, какой еще я куплю моей Бертинькѣ домъ — такъ тоже у васъ ни у кого и дома такого никогда не будетъ.

Ссоръ и неладовъ у этого супружества никогда не бывало. Ибо если иногда Берта Ивановна, отягощаясь далеко за полночь заходившими у мужа пирушками, и говорила ему по-нѣмецки: «лучше бы они, Фрицъ, пораньше къ тебѣ собирались», то Фридрихъ Фридриховичъ обыкновенно отвѣчалъ на это своей женѣ по-русски: «Эй, Берта Ивановна, смотрите, чтобъ мы съ вами, мой другъ, какъ-нибудь не поссорились!» и тѣмъ все дѣло и кончалось.

Ида Ивановна, остававшаяся до сихъ поръ дѣвушкою, была иной человѣкъ, чѣмъ ея сестра, Берта Шульцъ, и совсѣмъ иной, чѣмъ сестра ея Маня. Ида была очень недурна собой. Ростъ у нея былъ прекрасный и фигура очень стройная, такъ что, глядя сзади на ея роскошныя плечи, гибкую талію и граціозную шейку, на которой была граціозно поставлена пропорціональная головка, обремененная густѣйшими русыми волосами, можно было держать пари, что передъ вами женщина, не разъ заставлявшая усиленно биться не одно мужское сердце; но стоило Идѣ Ивановнѣ повернуться къ вамъ своимъ милымъ и даже, пожалуй, красивымъ лицомъ, и вы сейчасъ спѣшили взять назадъ составившееся у васъ на этотъ счетъ предположеніе. У Иды Ивановны былъ высокій, строгій профиль, почти безъ кровинки во всемъ лицѣ; открытый, благородный лобъ ея былъ просто прекрасенъ, но его ледяное спокойствіе дѣйствовало какъ-то очень странно; оно не говорило: «оставь надежду навсегда», но говорило: «прошу на благородную дистанцію!» Небольшой, тонкій носъ Иды Ивановны шелъ какъ нельзя болѣе подъ-стать ея холодному лбу; широко разставленные, глубокіе сѣрые глаза смотрѣли умно и добро, но немножко иронически; а въ блѣдныхъ щекахъ и нѣсколько узенькомъ подбородкѣ было много какой-то пассивной силы, силы терпѣнія. Въ губахъ у старшей дѣвицы Норкъ было нѣчто общее съ Манею, но это *нѣчто* и здѣсь было совершенно неуловимо. Оно и здѣсь тоже совсѣмъ не принадлежало самимъ устамъ Иды Ивановны, а это именно былъ опять такой же червячокъ, который шевелился, пробѣгалъ по ея верхней губѣ и снова скрывался гдѣ-то, не то въ крови, не то въ воздухѣ.

Самыя уста Иды Ивановны были необыкновенно странны: это не были тонкія, блѣдныя губы, постоянно ропщущія на свое малокровіе: это не былъ пунсовый ротикъ, протестующій противъ спокойнаго величія стального лица живыхъ особъ, напрасно носящихъ холодную маску Діаны. Уста Иды были въ мѣру живы и въ мѣру красны; но и

опять вы почему-то понимали, что онѣ никогда никого не поцѣлуютъ инымъ поцѣлуемъ, какъ поцѣлуемъ родственной любви и дружбы. Оставивъ пансіонъ, Ида Ивановна на другой же день поставила себѣ стулъ за прилавокъ магазина и сдѣлалась самой усердной и самой полезной помощницей своей матери. Софья Карловна не ставила Иду Ивановну никому въ примѣръ, и даже не такъ, можетъ быть, нѣжно любила ее, какъ Маню, но зато высоко ее уважала и скоро привыкла ничего не предпринимать и ни на что не рѣшаться безъ совѣта Иды. О томъ, что Ида Ивановна тоже дѣвушка, что она тоже можетъ кого-нибудь полюбить и выйти замужъ, въ семействѣ Норкъ, кажется, никто не подумалъ ни одного раза. Даже практическому Шульцу, относившемуся къ свояченицамъ и къ тещѣ съ самымъ горячимъ участіемъ, и ему сдавалось, что Ида совсѣмъ что-то такое, такъ собственно и рожденное исключительно для семьи Норковъ и имѣющее здѣсь, въ этой семьѣ, свое вѣковѣчное мѣсто. Есть такія странныя дѣвушки, такъ уже вотъ и прикрѣпленныя на всю жизнь свою къ родимой семьѣ. Такъ это на нихъ и знаменуется: взглянешь и сейчасъ это видишь. Такихъ дѣвушекъ очень часто приходится встрѣчать въ нашемъ сельскомъ духовенствѣ, и особенно много ихъ въ благовоспитанныхъ семьяхъ небогатыхъ петербургскихъ нѣмцевъ. Чуть не съ колыбели какая-то роковая судьба обрекаетъ ихъ въ хранительницъ родительской старости, да въ няньки сестриныхъ дѣтей, и этотъ оброкъ такъ вѣрно исполняется ими до гроба. Онѣ дѣлаются *крѣпкими* своему положенію до того, что упасть, или немножко пошатнуться, или скользнуть, хотя немножечко одной ногою, для нихъ ужъ невозможно. Не знаю, надобно ли къ этому ужъ прямо родиться или можно себя пріучить жить для такихъ цѣлей, но знаю, что такова именно была Ида хотя на прекрасномъ лицѣ ея и не было написано: «навѣкъ оставь надежду». Печать иная почивала на этомъ обликѣ: вамъ ввѣрить ей хотѣлось все, что вамъ мило и дорого на свѣтѣ, и ваше внутреннее чув-

ство вамъ за нее клялось, что ни соблазнъ любовныхъ словъ, ни золото, ни почести, ни діадема королевы врасплохъ ее застать не могутъ и не возьмутъ ее въ осаду. Око ея было свѣтло, и сердце чисто.

Въ заключеніе упомяну еще о подмастерьѣ Германѣ Верманѣ, который самъ себя не отдѣлялъ отъ семейства Норковъ и котораго грѣхъ было бы отдѣлить отъ него въ этомъ разсказѣ.

Германъ Верманъ былъ небольшой, очень коренастый старикъ, съ угловатою головою и густыми черными, съ просѣдью волосами, которые всѣ называли, *дикими* и по которымъ Ида Ивановна самого Вермана прозвала «Соважемъ». Соважъ былъ старикъ честнѣйшій и добрѣйшій, хорошій мастеръ и хорошій пьяница. По наружности онъ болѣе былъ похожъ на француза, чѣмъ на нѣмца, а по нраву на англичанина; но въ существѣ онъ былъ все-таки нѣмецъ, и самый строгій нѣмецъ.

Жили Норки въ небольшомъ деревянномъ домѣ на углу одной изъ ближайшихъ линій и Большого проспекта, дома котораго, какъ извѣстно, имѣютъ вдоль фасадовъ довольно густые и тѣнистые садики, дѣлающіе проспектъ едва ли не самою пріятною улицей не только острова, но и всего Петербурга. Въ пяти окнахъ, выходившихъ на линію, у Норковъ помѣщался магазинъ и мастерская, въ которой жилъ и работалъ съ учениками Германъ Верманъ. Жилыя комнаты (которыхъ счетомъ было четыре) всѣ выходили окнами въ густой садикъ по Большому проспекту. Здѣсь, тотчасъ влѣво отъ магазина, была большая, очень хорошо меблированная зала, съ занавѣсками, вязанными руками Иды Ивановны, съ мебелью, покрытою бѣлыми чехлами, и съ хорошимъ фортепьяно. Далѣе шла маленькая гостиная для короткихъ друзей. Это просто былъ кусокъ спальни Софьи Карловны, отдѣленный красивыми ширмами краснаго дерева и установленный мягкою голубою мебелью. За ширмами была самая спальня. Другія двѣ комнаты, выходившія окнами на дворъ, отдѣлялись отъ двухъ первыхъ широкимъ

свѣтлымъ корридоромъ. Въ углѣ корридора, совершенно въ сторонкѣ, была комната бабушки, а прямо противъ импровизированной гостиной—большая и очень хорошая комната Иды и Мани. Комната эта была ихъ спальнею и тутъ же стояли два маленькіе письменные столика. Далѣе, въ концѣ корридора, сейчасъ за комнатою дѣвицъ, была кухня, имѣвшая, посредствомъ особаго корридорчика, сообщеніе съ мастерскою, гдѣ жилъ Германъ Верманъ; а изъ кухни на дворъ шелъ особый, черный ходъ съ деревяннымъ крылечкомъ.

Квартира эта по улицѣ была въ первомъ этажѣ, но со двора подъ нею былъ еще устроенъ невысокій полуэтажъ, и какъ разъ подъ однимъ изъ оконъ дѣвицъ выходило крыльцо этого полуэтажа, покрытое широкимъ навѣсомъ изъ кровельнаго желѣза.

Жило семейство Норковъ какъ нельзя тише и скромнѣе. Кромѣ какихъ-то двухъ старушекъ и пастора Абеля, у нихъ запросто не бывалъ никто. Съ выходомъ замужъ Берты Ивановны, которая поселилась съ своимъ мужемъ черезъ два дома отъ матери, ежедневнымъ ихъ посѣтителемъ сдѣлался зять. Шульцъ вмѣстѣ съ женою навѣщалъ тещину семью аккуратно каждый вечеръ и былъ настоящимъ ихъ семьяниномъ и сыномъ Софьи Карловны. Потомъ въ домѣ ихъ, по извѣстному читателямъ случаю, появился я, и въ тотъ же день, вслѣдъ за моимъ выходомъ, Шульцъ привезъ художника Истомина.

Художникъ Романъ Прокофьевичъ Истоминъ, еще очень незадолго передъ этимъ событіемъ, выдѣлился изъ ряда своихъ товарищей одною весьма талантливою работою, давшею ему сразу имя, деньги, знакомства многихъ великихъ міра сего и расположеніе множества женщинъ. Все это, вмѣстѣ взятое, съ одной стороны дѣлало Истомина уже въ то время лицомъ довольно интереснымъ, а съ другой—снабжало его кучею враговъ и завистниковъ, которыхъ всегда такъ легко пріобрѣтаетъ себѣ всякое дарованіе, не только въ средѣ собратій по профессіи, но и вообще у всего мѣщанствующаго разума, живо чувствующаго безсиліе своей

практической лошади передъ огневымъ конемъ таланта. Талантливости Истомина не отвергалъ никто, но одни находили, что талантливость эта все-таки не имѣетъ того значенія, которое придаютъ ей: другіе утверждали, что талантъ Истомина самъ по себѣ великъ, но что онъ принимаетъ ложное направленіе; что деньги и покровительства губятъ его, а въ это время Истоминъ вышелъ въ свѣтъ съ другою работою, показавшею, что талантъ его не губится ни знакомствами, ни деньгами, и его завистники обратились въ злѣйшихъ его враговъ. Истомину шла удача за удачею въ жизни и необыкновенное счастье въ любви. У него бывали любовницы во всѣхъ общественныхъ слояхъ, начиная съ академическихъ натурщицъ до... ну, да до самыхъ неприступныхъ Діанъ и грандесъ, покровительствующихъ искусствамъ. Послѣднее обстоятельство имѣло на художественную натуру Истомина свое неотразимое вліяніе. Красивое, часто дышавшее истиннымъ вдохновеніемъ и страстью лицо Истомина, стало дерзкимъ, вызывающимъ и надменнымъ; на зло своимъ врагамъ и завистникамъ, онъ началъ выставлять на видъ и на показъ всѣ выгоды своего положенія—квартиру свою онъ обратилъ въ самую роскошную студію, одѣвался богато, жилъ весело, о женщинахъ говорилъ нехотя, съ гримасами, пренебрежительно и всегда цинически.

Я слышалъ объ Истоминѣ много хорошаго и еще больше худого, но самъ никогда не видалъ его. Извѣстно мнѣ было что онъ существуетъ, что онъ едва ли не одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ молодыхъ талантовъ въ академіи, что онъ идетъ въ гору—и только. Зналъ я также, что Истоминъ состоитъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ Фридрихомъ Шульцемъ, а отъ Иды Ивановны слыхалъ, что Шульцъ вообще страстный охотникъ водить знакомство съ знаменитостями и потому ухаживаетъ и за Истоминымъ.

— Это ахиллесова пята нашего Фрица, шутила Ида.

Только я и зналъ объ Истоминѣ. Въ домѣ Норковъ со дня своего перваго посѣщенія онъ не былъ ни разу, да и

нечего было ему здѣсь и дѣлать въ этой тихой, скромнѣйшей семьѣ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Сблизясь съ семействомъ Норковъ, я, разумѣется, познакомился ближе и съ Фридрихомъ Шульцемъ. Человѣкъ этотъ, какъ я уже сказалъ выше, съ первой же встрѣчи показался мнѣ образцомъ самой хорошей порядочности, но... Богъ его знаетъ, что въ немъ было такое, что какъ-то не располагало къ нему и не влекло. Фридрихъ Фридриховичъ былъ и хлѣбосолъ, и человѣкъ не только готовый на всякую послугу, но даже напрашивавшійся на нее; онъ и патріотизму русскому льстилъ, стараясь какъ нельзя болѣе во всемъ русить; и за дѣла его можно было только уважать его, а все-таки онъ какъ-то не располагалъ человѣка искренно въ свою пользу. Опредѣлительно въ немъ чувствовался недостатокъ простоты, благоуханно почившей въ воздухѣ, которымъ дышало семейство Норковъ. Зайдешь, бывало, къ Фридриху Фридриховичу—онъ встрѣчаетъ радушно: «добро пожаловать!» кричитъ, бывало, еще чуть ногу за порогъ переставишь: — «Проходите, батюшка, къ моей бабѣ, а я тутъ съ людишками поразверстаюсь», докончитъ онъ, указывая на стоящихъ артельщиковъ. Кажется, будто и чистосердечно, и привѣтливо, и просто, а чувствуешь, что нѣтъ во всемъ этомъ ни чистосердечія, ни простоты, ни привѣта. Пойдешь къ Бертѣ Ивановнѣ—та тоже встрѣтитъ съ улыбкой, съ вѣчно одинаковой, доброй улыбкой; разскажетъ, что ея Фрицъ совсѣмъ измучился; что они ѣздили вчера смотрѣть Газе, и что Газе въ Людовикѣ, по ея мнѣнію, гораздо лучше, чѣмъ въ Кромвелѣ, а что о Раабе и о Гювартъ, право, гораздо больше говорятъ, чѣмъ они заслуживаютъ. Но и отъ этой доброй улыбки Берты Ивановны, и отъ этихъ ея разсказовъ не согрѣвается душа и не теплѣетъ на сердцѣ. Проболтаешь съ полчаса, входитъ Фридрихъ Фридриховичъ, отдуется, упадетъ съ видомъ

утомленія на диванъ и, разгладивъ бархатные бакенбарды, начинаетъ:

— А у меня, милостивецъ мой, опять какой мудреный крендель нынче завернулся. Тутъ, прости меня Господи, съ этой ерундой съ своей не можешь никакъ себя хорошенько сообразить, а вчера только пріѣзжаю, застаю повѣстку, что молодые Коровниковы выпросили меня себѣ попечителемъ. Ну, помилуйте, скажите, что̀ это такое?! Вѣдь это же, наконецъ, наказаніе! Развѣ мало, говорю, у васъ, господа, своихъ русскихъ?—Найдется, чай, довольно охотниковъ, мильоннымъ состояніемъ опекать.—Нѣтъ, свое твердятъ:—«Мы васъ, Фридрихъ Фридриховичъ!» «Да, что̀, говорю, васъ! кислый квасъ! Что̀ такое неправда за *меня*? что̀ я, въ самомъ дѣлѣ, за такое особенное? вѣдь я, говорю, господа, нѣмецъ, шпрехензидеичъ, Иванъ Андреичъ колбасникъ!—Нѣтъ, опять свое: *вы да мы, мы да вы*, да и давай цѣловаться. Ну, что̀ вы тутъ съ такимъ народомъ прикажете разговаривать?

Поставитъ, бывало, Фридрихъ Фридриховичъ въ самое непріятное положеніе, такимъ совершенно, впрочемъ, правдивѣйшимъ разсказомъ, и смотритъ въ глаза, пока ему сочинишь какую-нибудь любезность. Впрочемъ, если онъ замѣтитъ, что ужъ вы очень затрудняетесь, то, не дожидаясь отвѣта, крикнетъ:

— Бертинька! а ну, дай намъ, матушка, что нибудь такое позабавиться.

И изъ комнаты Бэрты Ивановны тотчасъ же появляется подносъ съ холодною закускою, графинчикомъ Doppel-corn, бутылкой хересу и бутылкой портеру.

— Безъ соли, безъ хлѣба—худая бесѣда. Нашъ братъ, русскій человѣкъ, любитъ почавкать, начинаетъ Фридрихъ Фридриховичъ, давая вамъ чувствовать, что когда онъ, десять минутъ назадъ, называлъ себя нѣмецкимъ человѣкомъ, то это онъ шутилъ, а что, въ самомъ-то дѣлѣ, онъ-то и есть настоящій русскій человѣкъ, и вслѣдъ за этой оговоркой, Шульцъ заводитъ за хлѣбомъ-солью бесѣду, въ

которой ужъ гостю приходится только молчать и слушать Фридриха Фридриховича со всяческимъ, впрочемъ, правомъ хвалить его умъ, его добродѣтель, его честность, его жену, его лошадь, его мебель, его хлѣбъ-соль и его сигары.

У Норковъ же было совершенно иное. Проходишь, бывало, черезъ магазинъ—Ида Ивановна чаще всего стоитъ съ какимъ-нибудь покупателемъ и продаетъ ему папиросную машинку, или салатную ложку; поклонишься, проходя, какъ попало, Идѣ, она кивнетъ головою, тоже чуть замѣтно, и попрежнему ведетъ свое дѣло съ покупателемъ. Придешь въ залу — никого нѣтъ, но все смотритъ такъ привѣтно: и фортепьяно, и закрытая чехлами мебель, какъ будто говорятъ вамъ: «Здравствуйте-съ! просимъ покорно садиться». Вы и садитесь. Такъ именно было со мною въ третье посѣщеніе Норковъ. Я прошелъ мимо Иды Ивановны, стоявшей въ магазинѣ, и сѣлъ, не зная, что мнѣ дѣлать, но чувствуя, что мнѣ совсѣмъ здѣсь хорошо и ловко.

Черезъ двѣ или три минуты Ида Ивановна сбыла съ рукъ покупателя и показалась въ залѣ. Выйдя изъ магазина, она въ обѣихъ рукахъ держала по ломтю спѣлой дыни, посыпанной сахаромъ.

— Нехорошая дыня, сказала она, протягивая мнѣ ломтикъ въ своей тонкой, бѣлой рукѣ, и въ то же время сама начала другой.

— Нѣтъ, ничего, отвѣчалъ я, отвѣдавъ дыни.

— Водянистая; нынче лѣто такое гадкое, всѣ фрукты какіе-то водянистые.

— А что ваша сестра?

— Маня? Она все возится съ вашими книгами.

— А я ей еще принесъ.

Ида Ивановна покачала головой и выговорила:

— Вы намъ ее совсѣмъ испортите. Подите къ ней, если хотите, въ ея комнату.

— Можно?

— Отчего же? Тамъ убрано. Я одна тутъ; мнѣ нельзя

отойти отъ магазина; мамы нѣтъ дома, а бабушка ужъ закатилась и спитъ.

Я поблагодарилъ и коридорчикомъ прошелъ къ комнатѣ Иды и Мани.

— Войдите, сказала Маня, когда я второй разъ постучался у ея двери.

Я засталъ Маню сидѣвшею на окнѣ, съ котораго до половины была сдвинута синяя, тафтяная занавѣска. На колѣняхъ у Мани лежала моя книга.

— Здравствуйте! — сказала она, щурясь и осторожно спуская на полъ свои крошечныя ножки. — А я такъ и думала, что это вы.

— Отчего же это вы такъ думали?

— Такъ... читала и какъ-то про васъ вспомнила, а вы и пришли.—Садитесь.

Я сѣлъ. Маня выбѣжала на минуту и вернулась съ пепельницею, сигарою и спичками.

— Курите, сказала она, ставя передо мною спички и подавая мнѣ сигару.

Я поблагодарилъ.

— Это Фрицева сигара: онъ всегда хорошія сигары куритъ; вы попробуйте.

Я взялъ сигару и закурилъ: сигара, точно, оказалась очень хорошею.

— Довольны вы книгою?—началъ я, чтобы съ чего нибудь начать.

— Да, отвѣчала торопливо Маня.—Это такъ по-русски; такое... дѣйствительное.

— Вы любите болѣе дѣйствительное?

Дѣвушка задумалась.

— Я много читала, начала она тихо: — но вы меня не разспрашивайте. Я все читаю. Это вотъ хорошая книга, продолжала она, указывая на мой томикъ «Записокъ охотника»: — нравится мнѣ, а я не могу разсказать, почему... Такъ какое-то вліяніе такое... Жаль прочесть скоро. А

другія книги читаешь... даже спѣшишь. Такъ читаешь... Маня махнула ручкой.

— Безъ вліянія?

Дѣвушка смотрѣла на меня долго и, пожавъ плечиками, сказала:

— Я не знаю, право, какое-жъ другое слово?

Мнѣ стало стыдно своей попытки слегка подтрунить надъ Маней.

— Видите, говорила она, робѣя и потупляя глазки:— Шиллера, Гёте, Ауэрбаха — все это я брала у Фрица; все кое-какъ знаю; и еще разныя тамъ книги у него брала... а это новое совсѣмъ, и такое понятное... какъ самой будто все это хочется почувствовать: вѣдь это-жъ вліяніе значитъ?

— Вы знаете, говорила она мнѣ, прощаясь:—вы не думайте, что мои родные, въ самомъ дѣлѣ, сердятся, что я читаю книги. Фрицъ сказалъ, что ваши книги мнѣ всегда можно читать, и мама мнѣ тоже позволила.

— Очень радъ, отвѣчалъ я и ушелъ, пожавъ ея ручку.

Фридрихъ Фридриховичъ, значитъ, ко мнѣ благоволилъ, и я далъ себѣ слово дорожить этимъ благоволеніемъ для Мани.

Такъ прошло нашему знакомству, надо полагать, мѣсяца три или четыре. Въ это время я познакомился у Шульца съ нѣсколькими знаменитостями, впрочемъ не первой руки— и, между прочимъ, съ Романомъ Прокофьевичемъ Истоминымъ. При всѣхъ предубѣжденіяхъ противъ этого человѣка, онъ мнѣ очень понравился. Кромѣ таланта, выразительной наружности и довольно рѣдкой въ русскомъ художническомъ кружкѣ образованности, къ нему влекла его хорошая, страстная рѣчь, гордое пренебреженіе къ врагамъ и завистникамъ, и смѣлая, твердая рѣшимость, соединенная (когда онъ хотѣлъ этого) съ утонченнѣйшею мягкостью и теплотою обращенія. Я на Романа Прокофьича тоже, кажется, произвелъ впечатлѣніе довольно выгодное, и со вто-

рого или съ третьяго свиданія, мы стали держать себя по отношенію другъ къ другу добрыми пріятелями. Это еще не рѣшено, да и врядъ-ли это когда нибудь будетъ рѣшено, почему съ однимъ человѣкомъ почти ни съ того, ни съ сего, легко сходишься, самъ того не замѣчая, а съ другимъ ни отъ того, ни отъ сего, при всѣхъ усиліяхъ сойтись, никакъ не сойдешься. Почти совершенно другъ друга путемъ не зная и не вѣдая, сошлись мы съ Романомъ Прокофьичемъ такъ, что вдругъ очутились на одной квартирѣ. Онъ напалъ случайно на очень хорошій бель-этажъ небольшого домика; въ этомъ бель-этажѣ приходилось по три одинокихъ комнаты: со сторонъ и посерединѣ необыкновенно изящный круглый залъ, оклеенный темносиними парижскими обоями съ широкимъ золотымъ карнизомъ. Я взялъ себѣ три комнатки налѣво, а Романъ Прокофьичъ три комнаты направо, да этотъ очаровательный залъ подъ мастерскую. Дверь изъ залы на мою половину заперли, завѣсили синимъ сукномъ и зажили мы съ Истоминымъ, сходясь часто, но никогда не мѣшая другъ другу не во-время. Ко всему этому для меня было большою находкой, что Истоминъ часто и, не заходя ко мнѣ изъ-за своей стѣны, разсѣевалъ налегавшую на меня тоску одиночества музыкою, которую онъ очень любилъ и въ которой зналъ толкъ, хотя никогда ею не занимался путемъ, а игралъ на своемъ маленькомъ, звучномъ піанино такъ, самъ для себя, и самъ для себя пѣлъ очень недурно, даже довольно трудныя вещи.

Живя въ такомъ близкомъ сосѣдствѣ, я, противъ всякаго желанія, убѣдился, что Истоминъ, дѣйствительно, былъ женскимъ кумиромъ. Минуту, кажется, трудно было улучить такую, когда-бъ у него не была въ гостяхъ какая-нибудь женщина, и все это были женщины комильфотныя—«дамы сильныхъ страстей и густыхъ вуалей». Невольно слыхалъ я изъ-за моихъ дверей и нѣжныя ласки, и страстные, кровь кипятящіе вздохи, и бѣшеные взрывы ревности, и опасенія, и страхи, и тѣ ехидныя слова, которыми страсть оправдываетъ себя передъ разсудкомъ, и привыкъ я ко

всему этому очень скоро и на все это не обращалъ давно никакого вниманія.

— Я очень часто слышу, любезный Истоминъ, что говорятъ ваши дамы, разъ или два намекалъ я моему сосѣду.

— Нельзя же, голубчикъ, безъ этого—надо же имъ гдѣ нибудь и поговорить, отвѣчалъ онъ мнѣ, словно не понимая моего намека.

Такъ мы и жили. Къ намъ обоимъ заходилъ иногда Фрицъ Фрицовичъ (такъ звалъ Шульца Истоминъ), и мы частенько навѣщали Фрица Фрицовича. Навѣщая насъ, бездомовниковъ, Фридрихъ Фридриховичъ являлся человѣкомъ самымъ простодушнымъ и безпретендательнымъ: все ему бывало, хорошо, что ни подашь; все ловко, гдѣ его ни посадишь. Зайдя же ко мнѣ второй разъ, онъ прямо спросилъ:

— А не пьютъ ли у васъ въ деревнѣ въ это время водки?

— Извините, говорю, Фридрихъ Фридриховичъ, водка есть, но закусить, кажется, нечѣмъ.

— Ну, что тамъ, отвѣчаетъ, за закуска еще; истинные таланты не закусываютъ. А вы вотъ, говоритъ, поаккомпанируйте-ка!

Я опять извиняюсь; говорю:

— Рано, не могу утромъ пить.

— Ну, да я, впрочемъ, солистъ, отвѣчалъ Шульцъ и спокойно выпилъ вторую рюмку.

Таковъ онъ былъ и всегда, и во всемъ, и я, и Истоминъ держались съ нимъ безъ всякой церемоніи. Къ Норкамъ Истоминъ не ходилъ и не тянуло его туда. Только нужно же было случиться такому грѣху, что попалъ онъ, наконецъ, въ эту семью и что на общее горе-злосчастіе его туда потянуло.

Объ этомъ теперь и наступаетъ повѣствованіе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Разъ, вскорѣ какъ стала зима, сижу я у себя и работаю. Вдругъ, этакъ часу въ первомъ, слышу звонокъ. Является моя «прислуга» и шепчетъ:

— Тамъ одинъ какой-то дама васъ спрасивать.

Выхожу я—смотрю, Ида Ивановна сидитъ на диванѣ и улыбается, а возлѣ нея картонный ящикъ и большущій свертокъ въ толстой синей бумагѣ.

— Здравствуйте!—говоритъ Ида Ивановна:—устала я до смерти.

— Кофе, говорю, чашечку, хотите?

— А крѣпкій, спрашиваетъ,—у васъ кофе варятъ?

— Какой хотите сварятъ.

— Ну, такъ дайте; только самаго крѣпкаго.

«Прислуга» моя захлопотала.

— А вѣдь я къ вамъ это какъ попала?—начала съ своимъ обыкновеннымъ спокойствіемъ Ида Ивановна.— Я вотъ контрабанды накупила и боюсь нести домой, чтобъ не попасться съ нею кому не слѣдуетъ. Къ Бертѣ зайти еще пуще боюсь, чтобы не встрѣтиться.—Пусть это все у васъ полежитъ.

— Извольте, говорю,—съ радостью.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, это не то, что контрабанда, а разныя, знаете, такія финти-фанты, которыя надо сберечь, чтобъ ихъ пока не увидали дома. Дайте-ка мнѣ какой нибудь ящикъ въ вашемъ комодѣ; я сама все это хорошенько уложу своими руками, а то вы все перемнете.

Я очистилъ ящикъ; Ида Ивановна все въ него бережненько посложила.

— Вы знаете, что это такое? — начала она, садясь за кофе.—Это здѣсь платьице, мантилька и разныя такія вещицы для Мани. Вѣдь черезъ четыре дня ея рожденіе; ей шестнадцать лѣтъ будетъ—первое совершеннолѣтіе; ну, такъ мы всѣ готовимъ ей сюрпризы и я не хочу, чтобы кто ни-

будь зналъ о моемъ подаркѣ. Я нарочно даже чужой модисткѣ заказывала. Вы тоже, смотрите, пожалуйста, не проговоритесь.

— Нѣтъ, зачѣмъ же!

— То-то: зачѣмъ! Это всегда такъ ни зачѣмъ дѣлается.— Я тогда утромъ пришлю дѣвушку, вы ей все это и отдайте.

— Хорошо-съ, говорю, Ида Ивановна,—и тотчасъ, какъ проводилъ ее за двери, отправился на Невскій, взялъ новое изданіе Пушкина и отдалъ его Миллеру переплесть въ голубой атласъ со всякими приличными украшеніями и съ вытѣсненнымъ именемъ Маріи Норкъ.

Вечеромъ въ тотъ же день я зашелъ къ Норкамъ и засталъ въ магазинѣ одну Иду Ивановну.

— Послушайте-ка! — позвала она меня къ себѣ: — вотъ умора-то! Бабушка посылала Вермана купить канарейку съ клѣткой и этотъ Соважъ таки-протащилъ ей эту клѣтку такъ, что никто ея не видалъ: бабушка теперь ни одной души не пускаетъ къ себѣ въ комнату, а канарейка трещитъ на весь домъ и Манька-плутовка догадывается, на что эта канарейка.—Преуморительно.

— Да чего это, говорю, вы, Ида Ивановна, такъ ужъ очень со всѣмъ этимъ секретничаете?

— Ахъ, какъ же! Вѣдь ужъ если все это дѣлать, то надо сюрпризомъ! Неужто-жъ вы не понимаете, что это сюрпризомъ надо?

При всемъ желаніи Иды Ивановны ничѣмъ не нарушать обыденный порядокъ, весь домъ Норковъ точно приготовлялся къ какому-то торжественному священнодѣйствію. Маня замѣчала это, но дѣлала видъ, что ничего не понимаетъ, краснѣла, тупила въ землю глаза и безвыходно сидѣла въ своей комнатѣ.

Наступилъ, наконецъ, и долгожданный день совершенполѣтія. Дѣвушка Иды Ивановны ранехонько явилась ко мнѣ за оставленными вещами, я отдалъ ихъ и побѣжалъ за своимъ Пушкинымъ. Книги были сдѣланы. Часовъ въ десять я вернулся домой, чтобы переодѣться и идти къ

Норкамъ. Когда я былъ уже почти совсѣмъ готовъ, ко мнѣ зашелъ Шульцъ. Въ рукахъ у него была длинная цилиндрическая картонка и небольшой свертокъ.

— Посмотрите-ка, отецъ родной! — сказалъ онъ, вытаскивая изъ картонки огромную соболью муфту съ бѣлымъ атласнымъ подбоемъ и большими шолковыми кистями.

— Прелесть, произнесъ я,—погладивъ рукою муфту.

Фридрихъ Фридриховичъ подулъ противъ шерсти на то мѣсто, гдѣ прошла моя рука, и, встряхнувъ муфту, опустилъ ее снова въ картонку.

— А эта-съ штукенція?—запыталъ онъ, раскатавъ дорогой соболій же воротникъ, совсѣмъ ужъ готовый и настеганный на шолковую подкладку.

— Хорошо.

— Оцѣните?

— Рублей триста.

— Пятьсотъ!

— Очень хорошо.

— А Бертинька повезла этакую бархатную, нынѣшнюю шубку на гагачьемъ пуху; знаете, какія нынче дѣлаютъ, съ этакой кружевной пелериной. Понимаете, ее и осенью можно носить съ кружевомъ, и зимой: пристегнула вотъ этотъ воротничишко—вотъ и зимняя вещь. Хитра голь на выдумки: правда?—воскликнулъ онъ, самодовольно улыбнувшись и ударивъ меня фамильярно по плечу.

— Да это все кому же?

— Да Манькѣ же, Манькѣ! — Шульцъ перемѣнилъ голосъ и вдругъ заговорилъ тономъ особенно мягкимъ и серьезнымъ: — вѣдь, что-жъ, правду сказать, нужно, въ самомъ дѣлѣ, какъ говорится, соблюдать не одну же форменность.

Гдѣ это и при какихъ это случаяхъ *говорится*, что «нужно соблюдать не одну форменность» — это осталось секретомъ Фридриха Фридриховича. Онъ, очевидно, цацкался передо мною съ своими дорогими подарками и, по-

просивъ меня одѣваться поскорѣе, понесъ свои коробки къ Истомину.

Черезъ пять или десять минутъ я засталъ ихъ съ Истоминымъ, разсуждавшихъ о чемъ-то необыкновенно весело. Рядомъ съ муфтою Мани на диванѣ лежала другая муфта, нѣсколько поношенная, но несравненно болѣе дорогая и роскошная.

— Эта, ваше степенство, не по нашимъ капиталамъ, говорилъ Фридрихъ Фридриховичъ, выводя пальцемъ эсы по чужой муфтѣ, которая видимо сбила съ него изрядную долю самообожанія.—Какія ручки, однако, должны носить эту муфту?

— Ручки весьма изрядныя, отвѣчалъ, тщательно повязывая передъ зеркаломъ галстухъ, Истоминъ.—Насчетъ этихъ ручекъ есть даже нѣкоторый анекдотъ, добавилъ онъ, повернувшись къ Шульцу.— У этой барыни мужъ дорогого стоитъ. У него руки совсѣмъ мацерированныя: по двадцати разъ въ день ихъ моетъ; самъ ни за что почти не берется, руки никому не подаетъ безъ перчатки и увѣряетъ всѣхъ, что и жена его не можетъ дотронуться ни до чьей руки.

Фридрихъ Фридриховичъ вдругъ такъ и залился счастливѣйшимъ смѣхомъ.

— Ну, что-жъ, онъ вѣдь и правъ! Мужъ-то, я говорю, онъ вѣдь и правъ! —взвизгивалъ Фридрихъ Фридриховичъ.— Она вѣдь *за руки* только не можетъ трогаться.

Я видѣлъ въ зеркало какъ Истоминъ, снова взявшійся за свой галстухъ, тоже самодовольно улыбнулся.

— Понюхайте-ка, сказалъ, завидя меня и поднимая муфту, Фридрихъ Фридриховичъ:—чѣмъ, сударь, это пахнетъ?

Не понимая, въ чемъ дѣло, я поднесъ муфту къ лицу. Она пахла тѣми тонкими англійскими духами, которые, по словамъ одной моей знакомой дамы, сообщаютъ всему *запахъ счастья.*

— Счастьемъ пахнетъ, отвѣчалъ я, кладя на столъ муфту.

— Да-съ, вотъ какія у Романа Прокофьича бываютъ гостьи, что все отъ нихъ счастьемъ пахнетъ.

Шульцъ опять расхохотался.

— А позвольте-ка, господа, лучше прибрать это счастье къ мѣсту, проговорилъ Истоминъ:—сравнили, и будетъ ею любоваться, а то чего добраго... ее тоже, пожалуй, кое-кто знаетъ.

— Ну-съ! такъ во походъ пошли гусары?—спросилъ Шульцъ, видя, что Истоминъ совсѣмъ готовъ.

Я взялъ мою шляпу и мои книги, обернутыя яркою цвѣтною бумагою.

— Тоже подарокъ?—спросилъ Шульцъ.

Я отвѣчалъ утвердительно.

Истоминъ остановился посреди комнаты.

— Что-жъ это, господа? — заговорилъ онъ. — Вѣдь это ужъ нехорошо: всѣ вы съ подарками, а я съ пустыми руками.

— Ну, ничего! что̀ тамъ еще за подарки!—Вы нечаянный гость: я скажу, что утащилъ васъ насильно, убѣждалъ его Фридрихъ Фридриховичъ.

— Да! да позвольте-ка-съ еще! У меня и у самого сейчасъ найдется для нея подарокъ, воскликнулъ Романъ Прокофьичъ и, торопливо вытащивъ изъ-за мольберта одинъ изъ стоявшихъ тамъ запыленныхъ картоновъ, вырѣзалъ изъ него прихотливый, неправильный овалъ, обернулъ этотъ кусокъ бумагою, и мы вышли. Не знаю почему, но мнѣ было ужасно непріятно, что Истоминъ, послѣ этого циническаго разговора о дамской муфтѣ, идетъ въ домъ Норковъ, да еще вмѣстѣ съ нами, и въ этотъ святой для цѣлаго семейства день совершеннолѣтія Мани. Тѣмъ, кто знакомъ съ предчувствіями, я могу сказать, что у меня были самыя гадкія предчувствія и они усилились еще болѣе, когда передъ нами отворилась дверь въ залу и отъ стѣны, у которой стояло бабушкино кресло и сидѣло нѣсколько родныхъ и сторонніхъ особъ, отдѣлилась на встрѣчу намъ фигура Мани, бѣленькая и легонькая, какъ морская пѣна.

Я никогда не забуду всѣхъ мельчайшихъ подробностей

здѣшней картины, навсегда запечатлѣвшейся въ моей памяти.

Вся зала была обновлена въ это самое утро. Обновленіе ся состояло въ томъ, что на окнахъ были повѣшены новыя занавѣсы; съ фортепьяно была снята клеенка, бронзовые канделябры были освобождены изъ окутывавшей ихъ цѣлый годъ кисеи и обитые голубымъ рипсомъ стулья и кресла нескромно сбросили съ себя свои коленкоровыя сорочки. Кромѣ того, почти во всю залу (она же и гостиная) былъ разостланъ огромный англійскій коверъ, принесенный съ собою въ приданое еще бабушкой. Вдоль одной стѣны, прямо противъ двери, на своемъ подвижномъ креслѣ сидѣла сама бабушка. Старушка была одѣта въ бѣломъ пикейномъ капотѣ, съ множествомъ кружевныхъ обшивокъ и кругленькими, похожими на горошенки, бѣленькими же пуговками. На старческой головѣ бабушки былъ высокій полуфламандскій чепчикъ съ туго накрахмаленными оборками и полосатыми лентами, желтой и оранжевой. Рядомъ съ кресломъ старушки, въ другомъ креслѣ, помѣщался пасторъ Абель въ длинномъ черномъ сюртукѣ и бѣломъ галстухѣ. Возлѣ пастора сидѣла мадамъ Норкъ, тоже въ бѣломъ платьѣ и съ натуральными сѣдыми буклями; у плеча мадамъ Норкъ стоялъ Германъ Верманъ, умытый, вычищенный и долго чесавшійся, но непричесанный, потому что его «дикіе» волосы низачто не хотѣли ложиться и топорщились, по обыкновенію, во всѣ стороны. На Германѣ Верманѣ былъ свѣтло-коричневый фракъ, бѣлый жилетъ, очень кургузыя синія панталоны и красный галстухъ, едва схватывавшій огромнѣйшіе тугіе полисоны немилосердно накрахмаленной манишки. Далѣе сидѣла Ида Ивановна, Берта Шульцъ, булочница Шперлингъ и ея дочь, наша старая знакомая, подруга Мани, Клара Шперлингъ. Кромѣ пастора и Вермана, всѣ рѣшительно были одѣты во все бѣлое, а черненькая Клара Шперлингъ смотрѣла настоящей мухой въ сметанѣ.

Маня стояла между бабушкой и пасторомъ, который говорилъ ей что-то такое, что̀ дѣвушку видимо приводило въ

состояніе нѣкоторой ажитаціи, а у ея старой бабушки выдавливало слезы.

При нашемъ появленіи въ дверяхъ, пасторъ и бабушка разомъ освободили ручки Мани, и дѣвушка, заколыхавшись какъ кусокъ бѣлой пѣны, вышла навстрѣчу намъ на середину комнаты.

Далѣе Шульцъ не пустилъ ее. Онъ поднялъ торжественно передъ собою ладонь и далъ почувствовать, что сейчасъ начнется что-то такое, требующее благоговѣйнѣйшей тишины и вниманія.

Съ этимъ онъ кашлянулъ, поднялъ на Маню самый оффиціальный взглядъ и произнесъ:

— Сестра!

— Тсс!—пронеслось по залѣ, хотя, впрочемъ, и безъ того никто не нарушалъ ни малѣйшей тишины.

— Привѣтствую тебя въ этотъ торжественный день твоей жизни!—началъ Шульцъ тономъ и дикціею проповѣдника.— Привѣтствую тебя не какъ ребенка, а какъ женщину — какъ человѣка, который отнынѣ получаетъ въ обществѣ свои права и принимаетъ свои обязанности передъ семьей и передъ обществомъ. Дай Богъ .. (пасторъ, а за нимъ и всѣ присутствующіе при словѣ «Богъ» поднялись съ мѣстъ и стали. Шульцъ продолжалъ еще торжественнѣй...) Дай Богъ, повторяю я, преданнѣйшій слуга и братъ твой, усердно моля за тебя умершаго на крестѣ Спасителя, чтобы всѣ великія и святыя обязанности женщины стали для тебя ясны, какъ ясно это солнце, освѣщающее дорогой для всѣхъ насъ день твоего совершеннолѣтія (солнце ярко и весело смотрѣло въ окна черезъ невысокія деревья палисадника). Дай Богъ, чтобы зло и неправда человѣческая бѣжали отъ тебя, какъ тьма бѣжитъ отъ лучей этого солнца! Honestus rumor, alterum patrimonium est, говоритъ мудрая латинская пословица, то есть: хорошая репутація замѣняетъ наслѣдство; а потому болѣе всего желаю тебѣ, чтобы въ твоемъ лицѣ и мы, и всѣ, кто тебя встрѣтитъ въ жизни, видѣли повтореніе добродѣтелей твоей высопочтенной бабушки, твоего

честнаго отца, душа котораго теперь присутствуетъ здѣсь съ нами (Софья Карловна заморгала глазами и заплакала), твоей матери, взлелѣявшей и воспитавшей своими неусыпными трудами и тебя, и сестеръ твоихъ, изъ которыхъ одной я обязанъ всѣмъ моимъ счастьемъ! (Берта Ивановна заплакала; Шульцъ подошелъ, поцѣловалъ руку жены, тоже отеръ слезу и закончилъ). Дѣвица Марія Норкъ! дорогая, новорожденная сестра наша, прими наше братское привѣтствіе и осчастливь себя и насъ воспитаніемъ въ себѣ тѣхъ высокихъ качествъ, которыхъ мы въ правѣ ждать отъ твоего прекраснаго сердца.

Произнеся эту, всеконечно заранѣе обдуманную рѣчь, Фридрихъ Шульцъ вдругъ всталъ на колѣни, взялъ Маню за обѣ руки, и сильно растроганнымъ голосомъ, въ которомъ въ самомъ дѣлѣ дрожали искреннія слезы, проговорилъ:

— Матушка! Машуточка! утѣшь-оправдай на себѣ нашу родную, русскую пословицу, что «отъ яблонки яблочко недалеко катится!»

Шульцъ взялъ и поклонился Манѣ въ ноги, вѣско ударивъ лбомъ о полъ.

Маня быстро опустилась, схватила зятя за плечи и оба вмѣстѣ поднялись на ноги.

Фридрихъ Фридриховичъ поцѣловалъ ее въ губы и потомъ еще разъ поцѣловалъ одну за другою обѣ ея руки.

Я подошелъ и въ замѣшательствѣ тоже поцѣловалъ Манину руку. Маня, у которой глаза давно были полны слезъ, смѣшалась еще болѣе, и рука ея дрогнула. За мною въ ту же минуту подошелъ къ ней Истоминъ, сказалъ что-то весьма почтительное, и смѣло взялъ и также поцѣловалъ руку Мани. Дѣвушка совсѣмъ переконфузилась и пошатнулась на мѣстѣ.

На ея счастье, Шульцъ, который въ это время успѣлъ уже обмахнуть голубымъ фуляромъ свои панталоны и лацканы фрака, сказалъ:

— Позволь, матушка, отдать тебѣ на память объ этомъ днѣ вотъ эти бездѣлушки.

Онъ вынулъ муфту и воротникъ и, подавая ихъ Манѣ, добавилъ:

— Пусть это будетъ дополненіемъ къ подарку сестры твоей Берты.

— На что такъ много? — заговорила Маня, потерянно глядя во всѣ стороны и прикладывая къ пылающимъ щекамъ свои ручки.

— Марья Ивановна!—позвольте мнѣ просить васъ принять и отъ меня на память вотъ это,—сказалъ я, подавая ей пять томовъ Пушкина.

Маня прищурила глазки, взглянула на переплетъ, протянула мнѣ обѣ ручки и отвѣчала:

— Благодарю васъ: я возьму.

— А я, Марья Ивановна, не зналъ, что сегодня день вашего рожденія и что я васъ увижу нынче, началъ Истоминъ.—Я принесъ вамъ то, что̀ у меня было дома, и вы тоже будете такъ снисходительны—возьмете это отъ меня на память о моемъ знакомствѣ съ вами и о вашемъ совершеннолѣтіи.

Истоминъ сбросилъ къ картона бумагу и подалъ его Мани; та взглянула и зардѣлась.

Всѣ мы подошли къ картону и всѣ остановились въ изумленіи и восторгѣ. Это былъ кусокъ прелестнѣйшаго этюда, приготовленнаго Истоминымъ для своей новой картины, о которой уже многіе знали и говорили, но которой до сихъ поръ никто не видалъ, потому что при каждомъ появленіи посѣтителей, допускавшихся въ мастерскую художника, его мольбертъ съ подмалеваннымъ холстомъ упорно поворачивался къ стѣнѣ.

На поднесенномъ Манѣ кускѣ картона, величиною болѣе полуаршина, была молодая русалка, въ первый разъ всплывшая надъ водою. Этюдъ былъ писанъ въ три тона. Русалка, впервые вынырнувшая со дна рѣчки, прыгнула на сонный берегъ, гдѣ дикій тминъ ростетъ и гдѣ цвѣтутъ, качаясь, фіалки возлѣ буквицъ. Вся она была цѣломудренно закрыта тминомъ, сквозь стебли котораго только кое-гдѣ чуть-чуть

очерчивались свѣжіе контуры ея тѣла. Одна голова съ плечами любопытно выставлялась впередъ и внимательно смотрѣла удивленными очами на невѣдомый для нея надводный міръ. Никакое другое искусство, кромѣ живописи, не могло такъ выразить всего, что́ выражала эта восхитительная головка. Любопытство, ужасъ, восторгъ и болѣзненная тревога—все это разомъ выступало на этихъ сломаныхъ бровкахъ, полуоткрытомъ ротикѣ, прищуренныхъ глазкахъ и поблѣднѣвшихъ щекахъ. Но всего болѣе поразило всѣхъ въ этой головкѣ какое-то странное, наводящее ужасъ сходство русалки съ Манею. Это не былъ вѣрный голбейновскій портретъ и не эфектная головка Греза: это было что-то такое... какъ бы случайное сходство, накъ бы портретъ съ двойника, или какъ будто это она, Маня, но въ лунатизмѣ, что-ли, или въ какомъ-то непонятномъ для насъ восторженномъ состояніи.

— Она впервые видитъ свѣтъ. По миѳологіи, у нихъ тоже есть совершеннолѣтіе, до котораго молодая русалка не можетъ всплыть надъ водою, началъ мягко и пріятно разсказывать Истоминъ.—Это очень поэтическій, славянскій миѳъ. Вообразите себѣ, что она до извѣстныхъ тамъ лѣтъ своей жизни, жила въ кристальныхъ палатахъ на днѣ рѣки; слыхала тамъ о корабляхъ, о буряхъ, о людяхъ, о ихъ любви, ненависти, о горѣ. Она плавала въ глубинѣ, видала, какъ въ воду опускается столбъ луннаго свѣта, слышала на берегахъ шумъ другой жизни; надъ головою ея пробѣгали корабли, отрѣзавшіе лунный свѣтъ отъ дна рѣчнаго; но она ничего, рѣшительно ничего не видала, кромѣ того, что́ тамъ есть у нихъ подъ водою. Она знаетъ, что ея мать когда-то утонула оттого, что былъ когда-то человѣкъ, который любилъ ее, потомъ разлюбилъ, «покинулъ и на женщинѣ женился»; но ка́къ все это тамъ? что́ тамъ такое? какіе это живые люди? какъ тамъ надъ водою дышутъ? какъ любятъ и покидаютъ?—все это ей совершенно непонятно. И вотъ ея совершеннолѣтіе исполнилось; здѣсь вы видите, какъ она только-что всплыла; надводный воздухъ

остро рѣжетъ ея непривычное тѣло и въ груди ей больно отъ этого воздуха, а между тѣмъ все, что̀ передъ нею открылось, поражаетъ ее; вдругъ все это, что̀ понималось смутно, уясняется; все начинаетъ ей говорить своимъ языкомъ, и она... Видите... Здѣсь на этомъ кускѣ, впрочемъ, нѣтъ этого, а тамъ — на цѣлой картинѣ, тутъ влѣво рѣзвятся другія русалки хохотуши, щекотуши — всѣ молодыя, красивыя... Одна изъ нихъ слышитъ, что

Птичка подъ кустами,
Встрепенулася во мглѣ;

Другая шепчетъ:

Между мѣсяцемъ и нами,
Кто-то ходитъ по землѣ.

А эта вся... одна, закрывшись дикимъ тминомъ, въ сто глазъ и столько же ушей все слушаетъ, все видитъ; и не птичка, не тотъ, кто ходитъ гдѣ-то по землѣ, а *все, все разомъ* оковало ее, и вотъ она, вы видите, какая! Не знаю, впрочемъ, съумѣлъ ли я хоть плохо передать холсту, что̀ думалъ и что̀ хотѣлось бы сказать этой картиной чувству, докончилъ тихо Истоминъ, осторожно поставивъ картонъ на свободное кресло.

Истоминъ былъ очень хорошъ въ эту минуту. Еслибы здѣсь было нѣсколько женщинъ, впечатлительныхъ и способныхъ увлекаться, мнѣ кажется, онѣ всѣ вдругъ полюбили бы его. Это былъ художникъ-творецъ, въ самомъ обаятельномъ значеніи этого слова. Фридрихъ Фридриховичъ, глядя на него, пришелъ въ неподдѣльный, художественный восторгъ. Онъ схватилъ обѣ руки Истомина, сжалъ ихъ и, глядя ему въ глаза, проговорилъ съ жаромъ:

— Вы будете велики! Вы будете нашею гордостью; вы будете славою русскаго искусства!

Истоминъ покраснѣлъ, обнялъ Шульца и торопливо отошелъ къ окошку, и—чудо чудное! на глазахъ его вдругъ мелкнули нервныя слезы:

Чортъ его знаетъ, до чего онъ становился прекрасенъ въ этомъ разстройствѣ!

Я подошелъ къ окну и сталъ рядомъ съ Истоминымъ.

— Дьяволъ бы совсѣмъ взялъ эту глупость!—началъ онъ мнѣ на ухо, стараясь въ то же время сморгнуть и утереть свою слезу.—Выдумать еще надо что-нибудь глупѣе, какъ придти на семейный праздникъ для того, чтобы поздравить дѣвушку и вдругъ самому напроситься на общее вниманіе!

Истоминъ нетерпѣливо дернулъ зубами уголокъ своего платка и сунулъ его сердито въ карманъ фрака.

Онъ былъ совершенно правъ. О Манѣ и ея празднествѣ совершенно забыли. Всѣ столпились около этюда, который теперь держалъ въ рукахъ пасторъ Абель. Даже старушка-бабушка взялась руками за колеса своего кресла и поѣхала, чтобы соединиться съ прочими у картины. Пасторъ Абель держалъ картину въ одной лѣвой рукѣ и сильно откинувшись головою назадъ, разсматривалъ ее съ чинной улыбкой аугсбургскаго исповѣданія; всѣ другіе жались около пасторовыхъ плечъ, а выѣхавшая бабушка зазирала сбоку. Однако, старушкѣ было очень хорошо видно картину, потому что она первая заговорила:

— Aber warum?.. какъ она совсѣмъ выглядитъ похожа на Маньхенъ!

Всѣ въ одну минуту оглянулись на Маню, которая стояла на своемъ прежнемъ мѣстѣ и смотрѣла на Истомина, вытягивая впередъ голову, точно хотѣла сейчасъ тронуться и подбѣжать къ нему.

— Есть сходство, произнесъ съ достоинствомъ пасторъ.

— Совсѣмъ Маня! — подтвердила съ восклицаніемъ Ида Ивановна.

— Романъ Прокофьичъ! Зачѣмъ это такое сходство? Вѣдь это не нарочно писано; я самъ видѣлъ, какъ вы вырѣзали этотъ кусокъ изъ цѣлаго картона, заговорилъ Фридрихъ Фридриховичъ.

Истоминъ обернулся, закинувъ назадъ разсыпавшіеся черные кудри и, дѣлая шагъ къ сгруппировавшейся семьѣ, сказалъ:

— Это?.. это художественная вольность, которую вы должны простить мнѣ и которую никто не въ правѣ поставить намъ ни въ судъ, ни въ осужденіе. Фантазія сама по себѣ все-таки фантазія человѣческая; она слаба и ничтожна передъ осуществленною фантазіею природы, передъ натурою. Я очень долго бился съ этой головкой и она мнѣ все не удавалась. Для такихъ лицъ нѣтъ много натурщицъ. Наши натурщицы все слишкомъ обыкновенныя лица, а остановить первую встрѣчную женщину, которая подходитъ подъ вашъ образъ, слишкомъ романтично и ни одна не пойдетъ. Настолько нѣтъ ни въ комъ сочувствія къ искусству. Въ тотъ именно день, когда, помните, Марья Ивановна въ бурю долго не приходила домой, и когда мы ее искали, я въ первый разъ увидѣлъ ея головку и... это была именно та головка, которой мнѣ недоставало для картины.

— Зачѣмъ же вы ее, мой голубчикъ, вырѣзали-то? — говорилъ съ добродушнымъ упрекомъ Фридрихъ Фридриховичъ.

— А что-съ?

— Да вѣдь она-жъ нужна вамъ.

— Я теперь сто разъ кряду нарисую вамъ ее на память,—отвѣчалъ небрежно Истоминъ.

— Только она, что-то, знаете какъ будто... измѣнена въ чемъ-то.

— Да, выраженіе, конечно... Это дѣлаетъ масса новыхъ впечатлѣній, которыя охватываютъ ее... Это такъ и нужно.

— И есть что-то страшное,—замѣтила бабушка.

— Да-да, именно страшное есть,—утверждалъ пасторъ, вертя мизинцемъ свободной руки надъ бликами, падавшими на носъ и освѣщенную луною щеку русалки.

— Гм! наша Маньхенъ попадаетъ на историческую картину, которою будутъ восхищаться десятки тысячъ людей... Богъ знаетъ, можетъ-быть, даже и цѣлыя поколѣнія!—воскликнулъ весело Фридрихъ Фридриховичъ, оглядываясь на

Маню, которая только повернулась на ногахъ и опять стояла на томъ мѣстѣ, не сводя глазъ съ Истомина.

— Извольте, фрейлейнъ Марія, вашу картину, — произнесъ пасторъ, подваая ей картину.

Маня взяла этюдъ и, зардѣвшись, сдѣлала Истомину полудѣтскій книксенъ.

— Нѣтъ, господа, ужъ потрудитесь ваши подарки сами положить на ея совершеннолѣтній столикъ,—попросила насъ Софья Карловна.

— Пожалуйте! — позвала она, подходя къ двери своей крошечной гостиной.

Мы всѣ довольно торжественно прошли съ своими приношеніями черезъ маленькую гостиную и корридорчикъ и вступили въ комнату новорожденной. Комната эта была вся освѣжена и глядѣла олицетвореніемъ дѣвственнаго праздника Мани. На окнахъ были новыя бѣлыя кисейныя занавѣски съ пышными оборками наверху и съ такими же буфами у подвязей; посрединѣ окна, подходившаго ближе къ ясеневой кроваткѣ Мани, на длинной мѣдной проволокѣ висѣла круглая металлическая клѣтка, въ которой порхала подаренная бабушкой желтенькая канарейка; весь уголъ комнаты, въ которомъ стояла кровать, былъ драпированъ новымъ голубымъ французскимъ ситцемъ и надъ этою драпировкою, въ самомъ углѣ, склоняясь на манино изголовье, висѣло большое черное распятіе съ вырѣзанною изъ слоновой кости бѣлою фигурою Христа. Вся дѣвственная постелька Мани, ничѣмъ, впрочемъ, неотличавшаяся отъ постели Иды Ивановны, была бѣла какъ кипѣнь и въ головахъ ея стоялъ небольшой столъ, весь сверху до низу обдѣланный бѣлою кисеею съ буфами, оборками и широкими розовыми лентами по угламъ. На этомъ столѣ, посрединѣ помѣщался на большомъ подносѣ очень хорошій тортъ съ латинскими буквами « M и N». Около торта размѣщались принесенныя сегодня пасторомъ: нѣмецкая библія въ зеленомъ переплетѣ съ золотымъ обрѣзомъ; большой красный дорогой стаканъ съ гравированнымъ видомъ Мюнхена, и на

немъ, на бѣлой ниточкѣ, чья-то карточка; рабочая корзиночка, съ бумажкою, на которой было написано: «Клара Шперлингъ», и, наконецъ, необыкновенно искусно сдѣланный швейцарскій домикъ, съ слюдовыми окнами, балкончиками, дверьми, загородями и камнями на крышѣ. На чистомъ липовомъ ящикѣ, изъ котораго домикъ этотъ былъ вынутъ и въ который онъ снова могъ вдвигаться, на дощечкѣ было тщательно выписано имя Германа Вермана, и ниже годъ, мѣсяцъ и число настоящаго празднества. Рядомъ съ этимъ бѣлымъ столомъ стоялъ роскошный, ажурный рабочій столикъ, отдѣланный внутри зеленою тафтою. Это былъ подарокъ матери. На этомъ столикѣ лежало бархатное пальто, принесенное Бертой Ивановной, и сюда же Шульцъ положилъ соболевый воротникъ и муфту. Я положилъ сочиненія Пушкина къ стѣнѣ на бѣломъ столикѣ, а Истоминъ поставилъ на эти книги свою картину.

— Какая прекрасная работа!—сказалъ онъ, разсматривая деревянный швейцарскій домикъ.

— Это нашъ добрый Германъ сдѣлалъ, отвѣчала ему Софья Карловна.

— Прелестная, замѣчательная работа! — продолжалъ Истоминъ, обращаясь къ Герману.

Тотъ заложилъ большой палецъ правой руки въ петлю своего коричневаго фрака и поклонился Истомину съ достоинствомъ.

Пасторъ, Ида и всѣ, кромѣ бабушки, были въ этой комнатѣ и цѣлой компаніей всѣ, снова возвратились въ залу, гдѣ насъ ждалъ кофе, русскій пирогъ съ дичиннымъ фаршемъ и полный завтракъ со множествомъ всякаго вина. Софья Карловна безпрестанно выбѣгала и суетилась, Маня сидѣла возлѣ бабушки; Берта Ивановна усердно кушала, держа какъ-то на отлетѣ оба тоненькіе мизинца своихъ маленькихъ бѣлыхъ ручекъ. Мужчины всѣ ѣли очень прилежно, но Ида Ивановна все-таки наблюдала за ними и, стоя у стола, безпрестанно подкладывала то тому, то другому новыя порціи.

— Ѣшьте, говорила она мнѣ, кладя второй кусокъ очень вкусной рыбы.

— Полноте, Ида Ивановна! не могу никакъ, отпрашивался у нея я.

— Ѣшьте-ка, ѣшьте, отвѣчала она съ вѣчнымъ своимъ спокойствіемъ, не принимая отъ меня никакихъ оправданій. Съ другими она поступала совершенно такъ же, только вмѣсто фамильярнаго *пшьте*, на всѣ ихъ отговорки, тихо отвѣчала имъ *кушайте*.

— Не выбрасывать же стать, шепнулъ я ей, возлѣ ея локтя.

Ида Ивановна съ едва замѣтной улыбкой толкнула меня въ плечо и опять потащила кому-то новый кусокъ жаркого.

Фридрихъ Фридриховичъ не уступалъ своячениць: какъ она угощала всѣхъ явствами, такъ онъ еще усерднѣе наливалъ гостей то тѣмъ, то другимъ виномъ. Даже когда пустыя блюда совсѣмъ сошли со стола и половина манчкинаго торта была проглочена съ шампанскимъ, Фридрихъ Фридриховичъ и тогда все-таки не давалъ намъ отдыха.

— Позвольте, господа, говорилъ онъ, не выпуская никого изъ-за стола.—Это все требуется непремѣнно допить.

— Помилуйте, Фридрихъ Фридриховичъ, куда же намъ еще пить!—отмаливались гости въ виду цѣлыхъ трехъ бутылокъ шампанскаго съ подрѣзанными проволоками у пробокъ.

— Нѣтъ, позвольте! Это совсѣмъ невозможно такъ оставлять, убѣждалъ Фридрихъ Фридриховичъ. — Открытую бутылку нельзя оставлять въ хозяйствѣ. Это, во-первыхъ, значитъ зло оставлять, а потомъ отъ этого, наконецъ, прислуга балуется.

— Пожалуйте-ка, относился онъ, приближая горлышко бутылки къ стакану пастора.

— О, ихъ канъ нихтъ, либеръ геръ Шульцъ!—отмаливался пасторъ.

— Ничего, господинъ пасторъ, ничего; это васъ подкрѣпитъ, убѣждалъ Шульцъ и, дополнивъ стаканъ его

аугсбургскаго преподобія, относился съ тѣми же доводами къ другимъ.

— Это васъ подкрѣпитъ, говорилъ онъ, упрямо заставляя насъ непремѣнно допить все, и прибавлялъ:—пожалуйста, господа! пожалуйста, потрудитесь! пожалуйста, прошу васъ, чтобъ послѣ насъ люди не баловались.

Пасторъ, отстрадавъ, стукнулъ пустымъ стаканомъ и отдулся, а Шульцъ наступалъ на него снова, приглашая выпить «въ пользу дѣтскихъ пріютовъ».

— Капли не выпью больше, господинъ Шульцъ, отказывался пасторъ.

— Въ пользу дѣтскихъ пріютовъ-то, господинъ пасторъ?

— Ни за что, господинъ Шульцъ.

— Въ пользу дѣтскихъ пріютовъ ни за что?

— О, mein Gott!—вздыхалъ сдававшійся на сильные доводы пасторъ.

Шульцъ налилъ ему стаканъ и внушительно замѣтилъ, что въ пользу дѣтскихъ пріютовъ и думать нельзя отказываться.

И въ пользу дѣтскихъ пріютовъ было, дѣйствительно, допито все такъ, что людямъ послѣ насъ ужъ не надъ чѣмъ было баловаться.

Вино рѣшительно оказало на всѣхъ свое, пока, впрочемъ, только хорошее вліяніе. Всѣ сдѣлались сердечнѣе и веселѣе.

Истоминъ, вставши изъ-за стола, отнесся съ большими комплиментами къ Верману.

— О, помилуйте!—сконфузился старый токарь, попрежнему стараясь усмирять свои торчащіе волосы.

— Я вамъ говорю не любезность, а я вамъ говорю просто, что я не видалъ такой легкой и отчетливой работы; это просто художественная... прекрасная вещь, настаивалъ Истоминъ.

— Ню что это? Это, такъ будемъ мы смотрѣть совсѣмъ какъ настоящая бездѣлица. Что говорить о мнѣ? Вотъ вы! вы артистъ, вы художникъ! вы можете — ви загтъ манъ

дизэ?., *творить*! А мы, мы люди... мы простой *ремесленникъ*. Мы совсѣмъ не одно... Я чувствую какъ это, что есть очень, что очень прекрасно; я все это могу очень прекрасно понимать... но я шары на бильярды дѣлать умѣю! Вотъ мое художество!

Истоминъ съ неподдѣльнымъ жаромъ взялъ Вермана за обѣ руки и, привлекая его къ себѣ, сказалъ:

— Всякій, кто чувствуетъ прекрасное, тотъ, либеръ геръ Верманъ, художникъ и истинный художникъ.

Истоминъ поцѣловалъ старика, и такъ крѣпко поцѣловалъ его и обнялъ, что обѣ крюковатыя ножки Соважа приподнялись отъ пола, дрыгнули на воздухѣ и показали свои подошвы.

Маничка смотрѣла на все это и (можетъ быть, мнѣ это показалось) смотрѣла теперь именно тѣмъ самымъ взглядомъ, какимъ глядѣла изъ-за тмина и буквицъ истоминская русалка.

Сильно подгулявшіе разошлись по домамъ гости Норковъ и разошлись съ тѣмъ, чтобы вечеромъ непремѣнно сойтись здѣсь снова. Шульцъ хотѣлъ, чтобы мы всѣ провели вечеръ у него.

— У меня свободнѣй, очень дольше побаловать будетъ можно, убѣждалъ онъ тещу, говоря, что здѣсь у нея неловко безпокоить бабушку; но сама бабушка, которой ближе всѣхъ касалась эта отговорка, рѣшительно возстала противъ перенесенія манинаго праздника изъ материнскаго дома къ зятю.

— Ну, такъ ко мнѣ, господа, завтра зубы полоскать?— приглашалъ неотступный Шульцъ.

— Это можете, сказала ему съ тихой улыбкою близко стоявшая Ида.

— Могу-съ?

— Можете, а сегодня это очень странно, что́ вамъ за фантазія пришла уводить къ себѣ нашихъ гостей!

— Ну, да, да; у васъ, Ида Ивановна, всегда все странно. У васъ, продолжалъ, выходя, Шульцъ, — все это... цир-

лихъ—манирлихъ... все это на тонкой деликатности; а у насъ, знаете, все по-просту, по-мужицки. Такъ?—спросилъ онъ, ударивъ по плечу довольно крѣпко Истомина. Тотъ сильно вздрогнулъ и разсердился, не знаю, за то ли, что Шульцъ такъ пошутилъ съ нимъ, или за то, что онъ самъ вздрогнулъ.

Такъ окончился нашъ сытный завтракъ, а въ восемь часовъ вечера мы снова были у Норковъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Не смотря на то, что семейство Норкъ, какъ я уже одинъ разъ сказалъ, жило очень скромно и мнѣ никогда не доводилось видѣть у нихъ почти никого стороннихъ, но въ этотъ вечеръ оказалось, что знакомство у нихъ все-таки гораздо обширнѣе, чѣмъ я предполагалъ. Кромѣ семейства пастора, который явился съ женою и двумя взрослыми дочерьми, набралось еще штукъ до восьми молодыхъ нѣмецкихъ дамъ и дѣвицъ. Мужчинъ, правда было немного: всего три какіе-то неизвѣстные мнѣ солидные господина, молодой помощникъ пастора, учитель изъ Аннен-шуле, неизбѣжный на всякомъ земномъ пространствѣ полякъ, съ черными висячими усами, котораго Шульцъ весьма фамильярно называлъ почему-то «паномъ Кошутомъ», и сынъ булочника Шперлинга, свѣжій, веселый, бѣлокурый нѣмецъ, точно испеченный въ собственной булочной на домашнихъ душистыхъ сливкахъ и розовомъ маслѣ. Вечеръ шелъ по-нѣмецки. Солидные господа и пасторъ сѣли за карты, курили гамбургскія сигары и потягивали некрѣпкіе пунши, а остальное все немилосердо плясало. Плясалъ Шульцъ, плясала Ида Ивановна, плясала Софья Карловна, хотя и отказывавшаяся, но весьма слабо отказывавшаяся и, наконецъ, даже вовсе неотказавшаяся отъ гросфатера, который, при общихъ аплодисментахъ, протанцовала съ зятемъ. Не танцовала рѣшительно только одна бабушка, которая не могла оставить своего кресла, но и она сидѣла

весь вечеръ и любовалась молодыми. На счастье ея, дѣйствительно, было чѣмъ любоваться. Извѣстное дѣло, что если не гнаться за легкостью построенія рукъ и ногъ, да не требовать отъ каждаго лица особаго выраженія, то едва ли гдѣ-нибудь въ Петербургѣ можно набрать столько свѣженькихъ лицъ, бѣлыхъ плечъ и хорошихъ бюстовъ, сколько увидишь ихъ, находясь между добродѣтельнѣйшими васильевскими островитянками нѣмецкаго происхожденія. Разгорѣвшись отъ кадрилей и вальсовъ, пышныя гостьи Норковъ были точно розы: одна другой краше, одна другой свѣжѣе, и всѣ ихъ сочные бюсты, и всѣ ихъ добродѣтельныя уста говорили въ одно слово:

— Oh! Wir möchten *noch* ein bischen tanzen! (О, мы хотимъ еще танцовать).

Но лучше всѣхъ, эффектнѣй всѣхъ и всѣхъ соблазнительнѣй на этомъ праздникѣ все-таки была дочь хозяйки, Берта Ивановна Шульцъ, и за то ей чаще всѣхъ доставался и самый лучшій кавалеръ Романъ Прокофьичъ Истоминъ. Какъ только Романъ Прокофьичъ первый разъ ангажировалъ Берту Ивановну на туръ вальса и роскошная нѣмка встала и положила свою бѣлую, далеко открытую матовую руку на плечо славянскаго богатырь-молодца, въ комнатѣ даже все тихо ахнуло и зашептало:

— Ein hübsches Pärchen! (Красивая пара!) Nu, das ist Mal ein Pärchen! Ein bessers Paar kann's nicht. (Вотъ такъ пара! Лучше этой пары ужъ быть не можетъ!)

Одинъ изъ солидныхъ гостей, стоя на этотъ случай у дверей залы, забылъ гдѣ онъ и съ кѣмъ онъ говоритъ и, изогнувшись сладострастнымъ сатиромъ, таинственно шепталъ на ухо Шульцу:

— Вотъ бы, я говорю, этой дамѣ какого мужа-то надо.

— И я то же самое думаю, отвѣчалъ спокойно Фридрихъ Фридриховичъ, и съ невозмутимой увѣренностью въ своемъ превосходствѣ продолжалъ любоваться могучимъ Истоминымъ, поворачивающимъ на своей рукѣ вальяжную и, какъ лебедь, красивую Берту Ивановну.

Чуть только эта пара окончила второй кругъ и Истоминъ, остановившись у кресла Берты Ивановны, низко ей поклонился, всѣ словно по сигналу захлопали имъ въ ладоши и усерднѣе всѣхъ другихъ хлопалъ самъ, пробиравшійся къ женѣ, Фридрихъ Фридриховичъ.

— О, вы! — говорилъ онъ, улыбаясь и грозя пальцемъ стоявшему возлѣ Берты Ивановны Истомину.—Нѣтъ, ужъ вы меня извините, я съ вами мою жену на необитаемый островъ ни за что не отпущу.

Берта Ивановна вспыхнула. Истомину тоже эта выходка не понравилась.

— Отчего же это? — отвѣчалъ онъ съ недовольной гримасой Шульцу.

— Отчего? Ну, батюшка, не хитрите, мы васъ на сегодня знаемъ! Нѣтъ, Бертинька, нѣтъ, мой другъ, какъ ты хочешь, а я тебя съ нимъ на необитаемый островъ не отпущу.

— Фридрихъ, произнесла, краснѣя и качая съ упрекомъ головкой, Берта Ивановна, которую все это конфузило, но въ то же время, однако, было въ свою очередь и довольно пріятно.

— Ну, ну, ну, мамушка, пущу ужъ, пущу, отвѣчалъ Фридрихъ Фридриховичъ, цѣлуя женину руку и отходя затѣмъ подъ руку съ тещей въ сторону для какихъ-то хозяйственныхъ совѣщаній.

Всѣхъ незамѣтнѣе на этомъ танцовальномъ вечерѣ были Ида Ивановна и Маня. Ида Ивановна танцовала много и съ чисто-нѣмецкимъ упоеніемъ, но все-таки она была совершенно незамѣтна, а Мани совсѣмъ даже было и не видно. Истоминъ, какъ вѣжливый кавалеръ, пригласилъ на одну кадриль и одинъ вальсъ Иду Ивановну и потомъ ангажировалъ на слѣдующій вальсъ Маню. Миніатюрная Маня, рядомъ съ Истоминымъ, смотрѣла совсѣмъ ребенкомъ. Крошечной, граціозной пташечкой она носилась возлѣ сильной фигуры Истомина, совсѣмъ лежа на его рукѣ и едва касаясь пола своими крохотными, вовсе не нѣмецкими ножк-

ками. Балъ Норковъ заходилъ уже за полночь; гдѣ-то за стѣною началъ раздаваться стукъ посуды и ложекъ, и солидные господа уже не разъ посматривали на свои брегеты. Танцамъ приходилъ конецъ; нужно было ужинать и послѣ ужина расходиться, а сочныя плечи и добродѣтельно-пряныя уста еще просились потанцовать.

— Oh! nur *noch* ein Mal! Nur noch einziges, kleines Mal! (О! еще одинъ разочекъ! Одинъ маленькій, крошечный разочекъ)!—говорили, складываясь сердечкомъ, пряныя губки.

Фридрихъ Фридриховичъ вступился въ ихъ спасенье; онъ далъ солиднымъ господамъ по настоящей гаванской сигарѣ, попросилъ тещу повременить съ ужиномъ; усадилъ Иду Ивановну за рояль и далъ черноусому поляку порученіе устроить какую-нибудь мазурку похитрѣе.

— Панъ Кошутъ! бондзь-ну, панъ ласковъ, зробь намъ мазуречку... этакую. Шульцъ закусилъ губу и проговорилъ:—этакую, чтобъ кровь старая заговорила.

— Moge, moj pane, moge, отвѣчалъ, расшаркиваясь, панъ Кошутъ и вдругъ вошелъ въ свою сферу.

Онъ попросилъ немножко въ сторону одну изъ дочерей пастора и, переговоривъ съ нею, объявилъ оригинальную мазурку *par confidence*. Условіями этой мазурки требовалось, чтобы дамы сѣли по одной стѣнѣ, а мужчины стали по другой, напротивъ дамъ, и чтобы дамы выбирали себѣ кавалеровъ довѣряя имя своего избраннаго одной общей довѣренной, которою и взялась быть младшая дочь пастора. Каждый мужчина долженъ былъ угадать, какая дама его выбрала, выйти и передъ тою остановиться. Если же мужчина ошибался—причемъ обыкновенно начинался веселый хохотъ—то плохой отгадчикъ, при общемъ смѣхѣ, возвращался съ носомъ на свое мѣсто и выходилъ слѣдующій и затѣмъ, когда эта пара кончала, дама, избравшая прежняго кавалера, отосланнаго за недогадливость за фронтъ, должна была сама встать, подать руку недогадливому избраннику и танцовать съ нимъ. Разумѣется, при такихъ условіяхъ, особенно съ незнакомыми почти дамами, мужчины безпре-

станно ошибались и при смѣнѣ каждой пары въ залѣ Норковъ начинался самый веселый хохотъ. Наконецъ, дошла очередь и до Истомина. Онъ стоялъ предпослѣднимъ, послѣ него оставался только одинъ дирижеръ мазурки, самъ черноусый Кошутъ. Истоминъ замѣтилъ давно, что всѣ подходившіе къ Манѣ отходили отъ нея ни съ чѣмъ и что она сама никого не выбирала, и потому, какъ только до него дошла его очередь, онъ прямо разошелся къ Манѣ, остановился передъ нею и поклонился.

Маня слегка покраснѣла и тихо сказала:

— Я васъ не выбирала.

Всѣ дружно засмѣялись.

Истоминъ засмѣялся такъ же искренно, какъ всѣ тѣ, кому онъ доставилъ это удовольствіе и, махнувъ рукою, спѣшнымъ шагомъ удалился къ мужской стѣнѣ.

На его мѣсто, разглаживая усы, выступалъ полякъ.

— На ура иду!— сказалъ онъ, сталкиваясь съ Истоминымъ и, остановясь передъ Манею, щелкнулъ каблуками и поклонился á la Кшесиньскій.

Ко всеобщему удивленію, Маня встала и подала ему свою рученку.

Ида Ивановна заиграла. Полякъ вѣжливо остановилъ ее и вкрадчивымъ голосомъ сказалъ:

— Нельзя ли старую мазурку Хлопицкаго?

Ида Ивановна покопалась въ кучѣ лежавшихъ на фортепьяно нотъ, достала оттуда одну тетрадь, положила ее на пюпитръ и раздался Хлопицкій.

Полякъ сжалъ ручку Мани, выпалъ лѣвой ногою, топнулъ и пошелъ, и пошелъ. Какъ перышко, привязанное къ легкой воланной пробкѣ, мелькала возлѣ него Маня. Отчаяннымъ мазуромъ леталъ онъ, тормоша и подбрасывая за руку свою легкую даму; становился передъ ней, не теряя такта, на колѣни, вскакивалъ, снова несся, глядѣлъ ей съ удалью въ ея голубиные глазки, отрывался и, ловя налету ея руки, увлекалъ ее снова и, наконецъ, опустившись на колѣно, перенесъ черезъ свою голову ея руку, раболѣпно поцѣло-

валъ концы ея пальцевъ и, не поворачиваясь къ дамамъ спиною, задомъ отошелъ на свое мѣсто.

Зальца трещала отъ рукоплесканій и переконфуженная Маня не знала, куда ей смотрѣть и куда дѣваться.

Послѣ такого танцора не легко было пуститься въ мазурку, даже и въ этомъ пріятельскомъ, фамильномъ кружкѣ, и Истоминъ началъ надѣяться, что авось-либо его никто не выберетъ.

Но... въ ряду дамъ шелъ тихій смѣхъ, шопотъ и подергиванье.

— Aber das muss; nichts zu machen, das muss, das muss, повторяла стоявшая у женскаго фланга дочь пастора, и вотъ величественная Берта Ивановна, расправляя нарочно долго юбку своего платья, медленно отдѣлилась отъ стула и стала застѣнчиво, но съ королевской осанкой.

— Das muss! das muss!—настойчиво кричали ей сквозь веселый смѣхъ со всѣхъ сторонъ женщины.

Берта Ивановна засмѣялась и, закусивъ нижнюю губку, тронулась королевскою поступью къ Истомину. Они подали другъ другу руки и стали на мѣсто.

Ида Ивановна смотрѣла на нихъ молча и серьезно: въ это время Ида Ивановна смѣялась. Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, удивительная дѣвушка была эта Ида Ивановна! При своей великой внѣшней скромности, она страсть какъ любила пошалить, слегка подтрунить надъ кѣмъ нибудь, на чей нибудь счетъ незлобиво позабавиться; и умѣла она сшалить такъ, что это почти было незамѣтно; и умѣла она досыта насмѣяться такъ, что не только мускулы ея лица, а даже самые глаза оставались совершенно спокойными. Надо было очень хорошо знать эти глаза, чтобы по легкому, едва замѣтному измѣненію ихъ блеска, догадаться, что Ида Ивановна хохочетъ во всю свою глубоко спрятанную душу.

Въ эту минуту ей хотѣлось посмѣяться разомъ надъ madame Шульцъ и надъ Истоминымъ, и она оставила ихъ постоять на виду до тѣхъ поръ, пока мѣшавшаяся Берта

Ивановна раскраснѣлась до non plus ultra и, наконецъ, крикнула:

— Да ты, по крайней мѣрѣ, играй же, Ида!

— Играйте, Идинька! — проговорили на женской сторонѣ.

— Spielen-Sie dosh, Ida!— одновременно крикнули ей съ съ нѣкоторой строгостію зять и Софья Карловна.

— Я не знаю, какую они хотятъ мазурку?

Берта Ивановна назвала очень лянгзамную мазурку; Ида заиграла ее ужъ совсѣмъ *langsam*.

Это собственно и было, впрочемъ, нужно. Держась рѣдкаго, медленнаго тэмпа музыки, Истоминъ, безъ всякаго мазурнаго ухарства, началъ словно репрезентовать подъ музыку свою прекрасную королеву, словно говорилъ: а ну-те-ка—каковы мы вотъ такъ? а ну-те-ка посмотрите насъ еще вотъ этакъ? да еще вотъ этакъ?

Никто имъ, этимъ красавцамъ, не хлопалъ; но всѣ на нихъ смотрѣли съ удовольствіемъ.

— Красивая пара! прелесть какая красивая! — опять шептали о нихъ потихоньку.

Берта Ивановна съ Истоминымъ, должно быть, это слышали, а если не слышали, такъ чувствовали. Берта Ивановна не гнула головы на бокъ, какъ француженка, и не подлетала бокомъ, какъ полька, а плыла себѣ хорошей лебедью и давала самый красивый изгибъ своей лебяжьей шеѣ. Ида тоже любовалась сестрою, и ей вздумалось еще подшутить надъ нею. Она быстро перемѣнила аккордъ и заиграла вальсъ. Истоминъ улыбнулся Идѣ Ивановнѣ, проворно обнялъ талію madame Шульцъ и началъ попрежнему вальсировать граціозно, поворачивая свою роскошную даму. Идѣ Ивановнѣ было и этого мало: давъ парѣ сдѣлать два круга по залѣ, она неожиданно заиграла самую старинную польку. Художникъ и сама madame Шульцъ засмѣялись.

— Хорошо же!—сказалъ Истоминъ и, сложивъ свои руки на груди, сталъ полькировать съ Бертой Ивановной по самой старинной модѣ. Развеселившаяся Берта не дала скон-

фузить своего кавалера: шаля, закинула она назадъ свои бѣлыя руки и пошла въ тактъ отступать. Гости опять начали имъ апплодировать и смѣяться.

— Ахъ вы, ненавистные красавцы! никакъ не собьешь ихъ! — спокойно шепнула Манѣ Ида Ивановна и вдругъ громкими аккордами взяла:

Ужъ какъ по мосту-мосту,
По калиновому.

— Вотъ что!.. Ну, такъ выручайте же, Берта Ивановна! крикнулъ Истоминъ и пошелъ русскую, какъ и самъ извѣстный цыганъ Илья ее не хаживалъ.

Не посрамила и Берта Ивановна земли русской, на которой родилась и выросла — вынула изъ кармана бѣлый платокъ, взяла его въ руку, повела плечомъ, грудью тронула, соболиной бровью мигнула и втупикъ поставила всю публику своей разудалою пляскою. Полякъ съ своей залихватской мазуркой и его миньонная дамочка были въ карманъ спрятаны этой парой.

Полы машутся, раздуваются

пѣлъ, хлопая ладошами, Фридрихъ Фридриховичъ, не зная, что̀ бы ему еще можно сдѣлать отъ радости. На выручку ему Истоминъ подхватилъ:

То-то лента, то-то лента,
То-то алая моя!
Ала, ала, ала—ла̀
Мнѣ сударушка дала.

Съ этимъ Истоминъ повернулъ Берту Ивановну за одну ручку около себя, низко ей поклонился, по русски, и посадилъ ее на мѣсто.

— Сто-то-то-й! стойте! стойте! стойте!—кричалъ сквозь апплодисменты и крики *bravo* Фридрихъ Фридриховичъ.— Нѣтъ! по нашему по русски, такъ не расходятся!

Истоминъ нагнулся и поцѣловалъ у Берты Ивановны руку.

— Н-нѣтъ-съ! Нѣтъ-съ! и это все не то, не то! Это опять по заморски, а у насъ, *кто съ кѣмъ танцуетъ, тотъ того*

и цѣлуетъ, говорилъ Шульцъ, сводя за руки Истомина съ своею женою.

— Фридрихъ! Фридрихъ, ты съ ума сошелъ!—шептала, красная, какъ вишня, Берта Ивановна.

— *Кто съ кѣмъ танцуетъ, тотъ того и цѣлуетъ*, это разъ сказано и навсегда крѣпко,—настаивалъ, ничему не внимая, неумолимый Шульцъ.

— Съ моей стороны препятствій нѣтъ, отвѣчалъ Истоминъ.

— А жена, какъ дьяконъ читаетъ, должна во всемъ повиноваться своему мужу, зарѣшилъ Шульцъ.

— Ну, Фридрихъ!—сказала улыбнувшись Берта Ивановна и подвинула свою голову къ художнику весьма спокойно, но тотчасъ же оторвала свои влажныя уста отъ сухихъ, пунсовыхъ губъ Истомина.

— О, мой Фридрихъ, какъ я устала!—произнесла она торопливо, кидая на плечи мужа обѣ свои руки и поспѣшно цѣлуя его въ обѣ щеки, какъ бы желая этими законными поцѣлуями стереть съ своихъ губъ поцѣлуй Истомина.

— Это поцѣлуй позволительный, говорилъ Шульцъ, объясняя свою оригинальную выходку нѣсколько изумленнымъ нѣмцамъ.

— Позволительный, или позволенный, вы хотите сказать?—спросилъ Истоминъ.

— И позволительный, и позволенный, отвѣчалъ Фридрихъ Фридриховичъ.

Художникъ молча отошелъ къ окошку и надулся.

Въ залѣ стали накрывать на столъ; дамы вышли поотдохнуть въ спальню Софьи Карловны, а мужчины жались по угламъ.

Что̀ съ вами такое вдругъ сдѣлалось? Какая муха васъ укусила?—спросилъ я, взявъ за руку Истомина, на лицѣ котораго я ужъ давно привыкъ читать всѣ его душевныя движенія.

— Такъ... не по себѣ, отвѣчалъ онъ нехотя.

— Пульсъ неровный и частный, пошутилъ я, держа его за руку.

— Какой ужъ, однако, въ самомъ дѣлѣ, колбасникъ этотъ Шульцъ; терпѣть я его не могу въ нѣкоторыя минуты!— проговорилъ, нервно кусая ногти, Истоминъ.

Пунсовыя губы его тихо вздрагивали подъ черными усами и говорили мнѣ, что въ безпокойной крови его еще горитъ влажный поцѣлуй Берты Ивановны. Еслибы пасторъ Абель вздумалъ въ это время что нибудь заговорить на тему: «не пожелай жены искренняго твоего», то Романъ Прокофьичъ, я думаю, едва ли былъ бы въ состояніи увлечься этой проповѣдью.

У маленькаго столика, передъ соленой закуской, поданной къ водкѣ за минуту до ужина, Шульцъ опять было началъ шутить съ Истоминымъ.

— Нѣтъ, батюшка мой, на дуэль! и слушать ничего не хочу; на дуэль! Помилуйте, совсѣмъ сбилъ бабу съ толку: и по-русски плясать пошла, и сама его выбираетъ себѣ. Нѣтъ-съ, мы съ тобой, родной мой, безъ дуэли не кончимъ!

— Кончите, сухо отвѣтилъ Истоминъ и отошелъ къ большому столу.

Онъ упорно промолчалъ все время за ужиномъ, ѣлъ очень мало и почти ничего не пилъ. Отъ угощеній Шульца онъ отдѣлывался нетерпѣливо и рѣшительно.

— Не хочу и не буду пить.

— Въ пользу дѣтскихъ пріютовъ!—упрашивалъ Шульцъ.

— Довольно повторяться; все это совершенно напрасно будете говорить, отвѣчалъ онъ хлѣбосольному Шульцу.

Какъ всѣ женскіе любимцы, Истоминъ былъ очень капризенъ, и чѣмъ болѣе за нимъ ухаживали, чѣмъ болѣе его умасливали, тѣмъ онъ обыкновенно становился хуже. Его нужно было не раздражать и не гладить по головкѣ, а оставлять самому себѣ, пока онъ уходится въ совершенномъ покоѣ.

Практическій Шульцъ, или не зналъ этой струнки въ Истоминѣ, или поддерживавшееся понемножку цѣлый день слегка праздничное состояніе головы Фридриха Фридриховича дѣлало его нѣсколько безтактнымъ. Чѣмъ Истоминъ

болѣе ершился, тѣмъ внимательнѣе и любезнѣе становился къ нему Фридрихъ Фридриховичъ. Знакомство съ знаменитостями было у Фридриха Фридриховича, дѣйствительно, его ахиллесовою пятою. Эта слабость заставляла его дѣлать изъ Истомина извѣстность столь крупную, какою онъ въ самомъ дѣлѣ не былъ—льстить ему и поблажать его разнузданности, которую художникъ считалъ въ себѣ страстностью. Теперь эта слабость Шульца разжигала въ немъ желаніе во что бы то ни стало показать своимъ, что этотъ замѣчательный художникъ Истоминъ, ему, Фридриху Шульцу, приходится самый близкій другъ и пріятель. Если брать мѣриломъ дружбы деньги, что̀, можетъ статься, будетъ и не совсѣмъ неосновательно, то еслибы Истоминъ попросилъ у Шульца взаймы на слово десять тысячъ рублей, Шульцъ бы только обрадовался возможности услужить ими своему другу; еслибы у него на этотъ случай не было въ рукахъ такихъ денегъ, то онъ досталъ бы ихъ для друга со дна моря. А какой ему Романъ Прокофьичъ былъ другъ?—Да никакой!

О, Господи, Господи, сколько удивительныхъ коньковъ есть у странствующаго по лицу земли человѣчества! И чего ради все это бываетъ?! Чего ради вся эта суета, давка и напраснѣйшая трата добрыхъ и хорошихъ силъ на вѣтеръ, на призракъ, на мечтаніе! Сколько въ самомъ дѣлѣ есть разныхъ этихъ генераловъ Джаксоновъ, и на сколько ладовъ каждый человѣкъ умудряется умереть за своего Джаксона!

Романъ Прокофьичъ былъ не худой человѣкъ въ иныхъ случаяхъ, даже добрый человѣкъ, способный иногда растрогаться чужимъ горемъ до слезъ, увлечься до нѣкотораго самоотверженія, но *любить* онъ никого не могъ, потому что *нечѣмъ* ему было любить. У него съ рода-родясь не было никакихъ друзей, а были у него только кое-какіе невзыскательные пріятели, съ которыми онъ, какъ напримѣръ со мною, не былъ ничѣмъ особенно связанъ, такъ что могли мы съ нимъ, я думаю, цѣлый свой вѣкъ прожить въ ладу и въ согласіи вмѣстѣ, а могли и завтра, безъ особаго другъ

о другѣ сожалѣнія, разстаться хотя и на вѣчныя времена. Женщинъ же, которыя его любили и которыхъ онъ и самъ въ природѣ сердца называлъ своими «любовницами», онъ обыкновенно ставилъ въ положенія тайныхъ наложницъ— положенія, исключающія изъ себя все, что̀ вноситъ въ жизнь истинную поэзію и облагораживаетъ ближайшія отношенія женщины къ человѣку, передъ которымъ онъ увольняетъ сдерживающую ее скромность.

Романъ Прокофьичъ, впрочемъ, былъ человѣкъ необезличѣвшій, и женщины любили его не за одну его наружность. Въ немъ еще цѣла была своя *натура*—натура, можетъ быть, весьма неодобрительная; но все-таки это была *натура* изъ числа тѣхъ, которыя при стереотипности всего окружающаго могутъ производить впечатлѣніе, и обыкновенно производятъ его на женщинъ пылкихъ и всѣмъ сердцемъ ищущихъ *человѣка*, въ которомъ мерцаетъ хотя какая нибудь малѣйшая Божія искра, хотя бы и заваленная цѣлою бездною всякаго грѣховнаго мусора.

Вы можете считать его даже уродомъ, даже уродомъ пожалуй въ нашъ вѣкъ и невозможнымъ, но тѣмъ не менѣе онъ живой человѣкъ и на Васильевскомъ Островѣ еще непремѣнно есть зеркала, въ которыя онъ и до днешняго дни смотрится.

На Васильевскомъ Островѣ есть свои особенные, островскіе, доживающіе типы; это, такъ сказать, *василеостровскіе могикане*. Въ ряду этихъ могиканъ самые оригинальные и близкіе къ уничтоженію — прихотники, люди, кажется, нигдѣ, кромѣ Острова, невозможные; люди, усвоившіе себѣ свои, весьма исключительныя, прихоти и возводящіе эти прихоти во что-то законное и неотразимое. Здѣсь еще, да здѣсь, не въ далекомъ провинціальномъ захолустьи, а въ Петербургѣ, въ двухъ шагахъ отъ университета и академій сидятъ, напримѣръ, какъ улитки, уткнувшись въ самый узкій конецъ своей раковины, нѣкоторые оригинальные ученые, когда-то что-то претерпѣвшіе и съ тѣхъ поръ упорно дѣлающіе, въ теченіе многихъ лѣтъ, всему обще-

ству самую непростительную гримасу. Они употребляютъ всѣ зависящія отъ нихъ средства быть не тѣмъ, чѣмъ они созданы, изолироваться и становиться «не отъ міра сего». Должно признаться, что нѣкоторые изъ нихъ достигаютъ въ этомъ искусствѣ до такого совершенства, что, дѣйствительно, утрачиваютъ, наконецъ, всякую способность понимать свое время: одинъ такой оригиналъ, выползая на минуту изъ своей раковины, положимъ, не находитъ для себя безопаснымъ ни одного кресла въ театрѣ; другой стремглавъ бѣжитъ отъ извозчика, который по ошибкѣ завернетъ съ нимъ не въ тотъ переулокъ, куда ему сказано; третій огуломъ смущается отъ взгляда каждаго человѣка, и всѣ они вмѣстѣ готовы сжечь цѣлый историческій трудъ свой, если на нихъ искоса посмотритъ кухарка, подавшая приготовленное для нихъ жаркое. Ни прежняя жизненная дѣятельность, ни новые труды не даютъ основанія сомнѣваться, что у этихъ людей головы способны работать здраво, когда захотятъ, чтобы они работали. Выпяливать глаза и забиваться въ уголъ, для этихъ людей, очевидно, ихъ прихоть: имъ, вѣроятно, и самимъ нелегко служить этой прихоти, но они непреклонны; девизъ ихъ—русская пословица: «тѣшь мой обычай, пляши въ головахъ». Отстать отъ этой прихоти для нихъ значитъ перестать быть самимъ собою: въ ней крѣпость ихъ слабости.

Еще болѣе страннымъ и еще менѣе достойнымъ извиненія прихотниковъ встрѣчается здѣсь среди людей, надышавшихся въ юности воздухомъ василеостровской академіи художествъ и воспріявшихъ на себя ея преданія. Вѣчное дѣтство и, къ несчастію, весьма нехорошее, испорченное дѣтство этихъ людей по истинѣ изумительно. Германскій студентъ, оканчивая курсъ въ своемъ университетѣ и отпировавъ съ товарищами послѣднюю пирушку, перестаетъ быть безпокойнымъ буршемъ и входитъ въ общество людей съ уваженіемъ къ ихъ спокойствію, къ ихъ общественнымъ законамъ и къ ихъ морали; онъ снимаетъ свою корпоративную кокарду и съ нею снимаетъ съ себя обязатель-

ство содержать и вносить въ жизнь свою буршескую, корпоративную нравственность. Буршъ спѣшитъ сдѣлаться гражданиномъ страны своей и человѣкомъ *своего времени*, принося внутреннюю присягу совѣсти передъ кодексомъ нравственности болѣе широкимъ, чѣмъ кодексъ, регламентирующій несложныя отношенія одинокаго бурша. Такимъ образомъ буйный буршъ, какъ бы онъ ни провелъ время своего студенчества, не вноситъ изъ своей корпораціи въ общество никакихъ преданій, обязывающихъ его враждебно идти въ разрѣзъ со всѣми людьми земли своей. Не то представляетъ нашъ художникъ и именно въ это время, уже рѣшительно только одинъ нашъ, русскій художникъ, человѣкъ по преимуществу еще очень мало развитый, или, чаще всего, вовсе неразвитый и кругомъ невѣжественный. Съ тѣхъ поръ, какъ Екатерина Вторая построила на островской набережной Большой Невы храмъ *свободнымъ художествамъ*, заведеніе это выпустило самое ограниченное число замѣчательныхъ талантовъ и довольно значительное число посредственности, дававшей нѣкогда какіе-то задатки, а потомъ безслѣдно заглохшей. Всѣ эти таланты и посредственность, а вкупѣ съ нею и вся художественная бездарность, вынесли изъ воспитательной среды этого заведенія художественныя прихоти великихъ дарованій: они любятъ поощрять въ себѣ разнузданность страстей и страстишекъ; воспитываютъ въ себѣ характеры примитивные и бредятъ любовью къ женщинамъ и любовью къ природѣ, не понимая самыхъ простыхъ обязательствъ, вытекающихъ изъ любви къ женщинѣ, и не щадя природы человѣка въ самыхъ глубочайшихъ нѣдрахъ человѣческаго духа. Всѣ поколѣнія русской художественной семьи, начиная съ тѣхъ, которыя видѣли на президентскомъ креслѣ своихъ совѣтовъ императрицу Екатерину, до тѣхъ, при которыхъ нынче обновляется неотвѣчающее современнымъ условіямъ екатерининское зданіе — всѣ они отличались прихотничествомъ, всѣ требовали отъ жизни чего-то такого, чего она не можетъ давать въ это время, и того, что имъ самимъ вовсе

ненужно, что разбило бы и разрушило ихъ мѣщанскіе организмы, неспособные снести осуществленія единственно лишь изъ одной прихоти заявляемыхъ художественныхъ запросовъ. Кромѣ извѣстнаго числа ловкихъ людей, которые къ извѣстной порѣ своего возраста являютъ одинаковую степень сообразительности, не стѣсняясь тѣмъ, прошла ли ихъ юность подъ отеческимъ кровомъ, въ стѣнахъ пажескаго корпуса, въ залахъ училища правовѣдѣнія, или въ натурныхъ классахъ академіи, кромѣ этихъ *художниковъ-практиковъ*, о которыхъ говорить нечего, остальное все очень трудно разстается съ отживающими традиціями. На нашей уже памяти доживало поколѣніе художниковъ, проводившихъ бо̀льшую половину своей жизни въ пьяномъ видѣ. Академическое преданіе убѣждало этихъ людей, что трезвый, воздержный и самообладающій художникъ вовсе не художникъ; оно оправдывало эту порочную слабость, дѣлало ее принадлежностью художника и насаждало около стѣнъ василеостровской академіи цѣлый классъ людей, утверждавшихъ за собою право не владѣть собою, ибо страсти ихъ велики безъ мѣры и головою выше всякихъ законовъ. Сила преданія тиранствовала надъ эти нравами до тѣхъ поръ, пока общественное чуждательство отъ сближенія съ людьми, пьянствующими ex professo, вдругъ показало тогдашнимъ художникамъ, что они могутъ остаться за флагомъ, ибо на смѣну ихъ является новое поколѣніе, не манкирующее явно благопристойностью. Освободивъ себя отъ тиранiи этого преданія, нынѣшній художникъ уже не пренебрегаетъ многимъ, что можетъ-быть пришлифовано къ нему, не нарушая его художественнаго настроенія: онъ отдалъ публичнымъ канканерамъ свои небрежно повязанные галстуки, уступилъ «болванамъ петербургскаго нигилизма» длинную гривку и ходитъ нынче совсѣмъ человѣкомъ: даже немножко читаетъ. Оцивилизовавшись внѣшнимъ образомъ, василеостровскій художникъ, однако, упорнѣйшимъ образомъ хранитъ въ себѣ еще послѣднее завѣщаніе старыхъ преданій: онъ боится давать

взрасти внутри себя человѣку самообладающему. Онъ и до нынѣшняго дня вѣритъ, что это самообладаніе можетъ уничтожить въ немъ художника и считаетъ своею обязанностью приносить все въ жертву прихотей по преданію отличавшихъ прежнихъ людей его среды. Выражается это очень странно, въ видѣ *страстности*; но это не страстность, заставляющая современнаго человѣка хоть на минуту перенестись въ эпоху нибелунговъ, олимпійскихъ боговъ и вообще въ эпохи великихъ образовъ и грандіознаго проявленія гигантскихъ страстей: это въ жизни прихоть, оправдываемая преданіями; въ творчествѣ — служеніе чувственности и неумѣнье понять круглымъ счетомъ ровно никакихъ задачъ искусства, кромѣ задачъ сухо политическихъ, мелкихъ, или конфортативныхъ, разрѣшаемыхъ въ угоду своей субъективности. Это просто неотразимое вліяніе кружка и особенностей воспитанія, исключающихъ у насъ возможность появленія Рубенса, Тинторето, Тиціана и Веласкеца, но за то производящихъ бездарнѣйшихъ людей да учителей рисованія, или чиновниковъ академіи, да художниковъ Истоминыхъ. Зданіе академіи художествъ начинаютъ исправлять и передѣлывать въ годъ открытія другого зданія, въ которомъ общество русское, недавно судимое при закрытыхъ дверяхъ, само въ лицѣ избранныхъ людей своихъ станетъ судьею *факта* по совѣсти и по убѣжденію внутреннему. Вровень съ карнизами этого зданія приподнимется и станетъ во главѣ угла камень, который долго отвергали зиждущіе: встанетъ *общественное мнѣніе*, встанетъ *правда народа*. Опера-фарсъ «Орфей въ аду», поставленная на русской петербургской сценѣ зимою предшествовавшею открытію въ столицѣ зданія суда, представляла *общественное мнѣніе* одѣтымъ въ ливрею, дающую ему видъ часовой будки у генеральскаго подъѣзда; но близокъ часъ, когда дирекція театровъ должна будетъ сшить для актрисы Стрѣльской, изображающей «*общественное мнѣніе*», новую одежду. Рисунокъ этой одежды пускай внимательно обсудятъ послѣдніе могикане екатерининскаго

храма «свободнымъ художествамъ», ибо въ этой одеждѣ общественное мнѣніе выйдетъ изъ будки, наложитъ свою правдивую десницу на всѣ дѣла, нынѣ снисходительно оправдываемыя заблужденіями, и нелицепріятно скажетъ свое безапелляціонное *виновенъ*.

Каковы бы ни были свойства тѣхъ печальныхъ случайностей, которыя дали строителю академіи Кокоринову мысль, совершивъ свою работу, удавиться въ построенныхъ имъ стѣнахъ, а великому въ исторіи русскаго искусства Карлу Брюллову другую, нѣсколько банальную мысль снять на границѣ Россіи бѣлье, платье и обувь и нагишемъ перейти въ Европу, гдѣ его иностранные друзья приготовили ему новое, небывавшее въ Россіи платье, ученики Брюллова—тутъ, въ обѣихъ этихъ выходкахъ—строители академіи и знаменитѣйшаго изъ ея профессоровъ, есть что-то отчего можно задуматься. Ученики Брюллова должны бы, кажется, припомнить этотъ аллегорическій призывъ къ обновленію и сбросить свои демоническіе плащи, время которыхъ, увы, невозвратно минуло. Въ наше время неудобно забывать, что какъ выпяленные изъ орбитъ глаза нѣкоторыхъ ученыхъ, смущающихся взглядами подающей имъ жаркое кухарки, обусловливаютъ успѣхъ людей менѣе честныхъ и менѣе ученыхъ, но болѣе живыхъ и чуткихъ къ общественному пульсу, такъ и не въ мѣру выпяливаемыя художественныя прихоти и страсти художниковъ обусловливаютъ успѣхъ непримиримыхъ враговъ искусства: людей, неуважающихъ ничего, кромѣ положенія и прибытка, и теоретиковъ, поставившихъ себѣ миссіею игнорированье произведеній искусства, и опошленіе самихъ натуръ, чувствующихъ неотразимость художественнаго призванія.

Время громко говоритъ художникамъ: берите изъ своихъ преданій все, что̀ не мѣшаетъ вамъ быть гражданами, полными чувствъ гражданской доблести, но сожгите все остальное вмѣстѣ съ старыми манкенами, дѣланными въ дни младенчества анатоміи и механики, и искреннѣе подайте руку современной жизни.

Какъ ни старо алегорическое сравненіе жизни съ моремъ, но не мѣшаетъ иногда вспомнить и старое. Море выбрасываетъ все, что̀ не умѣетъ держаться на его волнахъ, борясь съ дыханіемъ бурь и съ грозой непогоды, но оно выбрасываетъ и то, что̀ падаетъ на дно его безднъ, будучи чуждо этимъ глубокимъ безднамъ.

Возвращаемся, впрочемъ, къ нашимъ пирующимъ нѣмцамъ и къ ихъ своенравному гостю.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Чѣмъ упрямѣе дулся Романъ Прокофьичъ, тѣмъ усерднѣй волочился за нимъ Фридрихъ Фридриховичъ. Не находя мѣста прямому ухаживанью, онъ начиналъ это издали, самыми окольными путями. Маневры Шульца въ этомъ случаѣ были презанимательны, и хотя это довольно часто напоминало «намеки тонкіе на то, чего не вѣдаетъ никто», но Истоминъ понималъ ихъ и все это, что называется, его все болѣе накручивало и заводило. А Фридрихъ Фридриховичъ все-таки продолжалъ усердствовать. Онъ даже до того увлекся своей внимательностью, что въ присутствіи всѣхъ солидныхъ нѣмцевъ и самого пастора Абеля началъ окончательно объявлять себя человѣкомъ русскимъ и отдавать тонкое предпочтеніе всему русскому. Никогда не изобличая особеннаго знакомства съ русской исторіей и геральдикой, Шульцъ вдругъ заговорилъ о Строгановыхъ, о гостѣ Петрѣ Строгановѣ и нѣмцѣ Данилѣ Эйлофѣ, возставшихъ за Шуйскаго, противъ царика Тушинскаго. Тутъ въ этихъ рѣчахъ было все: и желаніе бортоваться бортъ о бортъ съ фамиліей Строгановыхъ, и похвала Эйлофу, «нѣмцу греческой вѣры», и похвала самой вѣры греческой, и готовность Шульца во всемъ сдѣлаться вторымъ Эйлофомъ.

Отъ старыхъ дней Шульцъ перешелъ и къ настоящему времени.

— Что-жъ, говорилъ онъ съ мягчайшею скромностью:— у насъ въ Россіи теперь, особенно при нынѣшнемъ государѣ, житье людямъ самое лучшее, какъ въ чужихъ краяхъ.

Отъ вопросовъ столь крупной, такъ сказать, государственной важности, дѣло точно въ томъ же направленіи доходило и до частностей: Шульцъ началъ хвалить нашу общественную жизнь, нашъ Петербургъ, съ его каналами, мостами и дворцами.

Кто-то было похвалилъ Берлинъ.

— Помилуйте!—вступился Шульцъ: — ну, что тамъ за Берлинъ! воробью лѣтомъ напиться негдѣ; а вѣдь у насъ, вѣдь это я, ей-Богу, не знаю—вѣдь это Венеція!

— Да и ледъ въ маѣ плаваетъ, подсказалъ Истоминъ.

Шульцъ разсмѣялся и ударилъ Истомина товарищески по плечу.

Въ это время кто-то заговорилъ о театрахъ; какіе театры въ Берлинѣ и въ Вѣнѣ; вспомнили о Янаушекъ и о Газе.

— Что же Газе! Ну, что-жъ такое Газе! — восклицалъ съ кислою миною Фридрихъ Фридриховичъ поклонникамъ нѣмецкаго Гаррика.—Видѣлъ-съ я и Газе, и Дависона, а ужъ я не говорю объ этомъ чортѣ, объ Ольриджѣ... но... но, я спрашиваю васъ... ну, что̀ же это такое? Конечно, тамъ въ Отелло онъ хорошъ, ну ни слова—хорошъ; но вѣдь это... вѣдь это все-таки не то же, напримѣръ, что нашъ Василій Васильевичъ, который вездѣ и во всемъ артистъ.

На лицахъ нѣмцевъ выразилось общее недоумѣніе и даже перепугъ.

Одинъ недоумѣвающій нѣмецъ, остолбенѣвшій съ кускомъ говядины во рту, торопливо пропустилъ глотокъ вина и спросилъ.

— Это какой Василь Васичь?

— Да Самойловъ-съ.

— А-га, Самойловъ! — произносилъ недоумѣвающій нѣмецъ, точно проглатывалъ въ нѣсколько пріемовъ большую маринованную устрицу.

— Да-съ, да, Самойловъ! Что̀ можетъ сравниться, я говорю, когда онъ произнесетъ это, знаете: «О, защитите насъ, святыя силы неба!» О, я вамъ скажу, это не шутка-съ!

— Очень хорошо, соглашался недоумѣвающій нѣмецъ, проглатывая вторую устрицу.

— Ну, за то ужъ опера русская!—заводила, покачивая головою, булочница Шперлингъ.

— Да, опера того... нехороша была, не теперь-съ, а *была!*—отвѣчалъ съ соболѣзнованіемъ Фридрихъ Фридриховичъ;—но пѣвцы хорошіе все-таки всегда были. Итальянцы, тамъ, конечно, итальянцами; но да-съ, а я вѣдь за всѣхъ этихъ итальянцевъ не отдамъ вамъ нашего русскаго Осипа Аѳанасьевича. Да-асъ! не отдамъ! Осипа Аѳанасьевича не отдамъ!

— Кто это Осипъ Аѳанасьевичъ? — освѣдомлялся опять недоумѣвающій нѣмецъ.

— Осипъ Аѳанасьевичъ! А вы такой башибузукъ, что не знаете, кто такой Осипъ Аѳанасьевичъ! Откуда вы пріѣхали?

— Что-жъ такое... я вѣдь, кажется... ничего... бормоталъ, испугавшись, нѣмецъ.

— Ничего! Нѣтъ, я васъ спрашиваю: откуда вы къ намъ въ Петербургъ пріѣхали?

Нѣмецъ встревожился и даже пересталъ жевать. Мѣняясь въ лицѣ, онъ произнесъ:

— Да, да, да; конешно, конешно... ich weiss schon... это высочайше...

— Перестаньте, пожалуйста, Богъ знаетъ что̀ говоритъ, это высочайшій басъ! понимаете вы: это, Петровъ, басъ: Осипъ Аѳанасьевичъ—нашъ Петровъ!—разъяснилъ ему болѣе снисходительно Фридрихъ Фридриховичъ.—Пѣвецъ Петровъ, понимаете: пѣвецъ, *пѣвецъ!*

— Петтрофъ пѣвецъ, улыбался, блаженно успокоиваясь, нѣмецъ.

— Да-съ; это бархатъ, это бархатъ! Знаете, какъ у него это!

Друзья! тамъ-тамъ-тамъ-тамъ-та-ра-ри
Друзья! томъ-томъ-та-ра-ра-ра,
Тримъ-тамъ-тамъ-тамъ-тамъ-та-ра-ри,
Тромъ-томъ-томъ та-ра-ра-ра!

Фридрихъ Фридриховичъ напѣлъ кусочекъ изъ извѣстной въ репертуарѣ Петрова партіи Бертрама—и взглянулъ исподлобья на Истомина: тотъ все супился и молчалъ. Съ каждымъ лестнымъ отзывомъ Фридриха Фридриховича, съ каждой его похвалой русской талантливости лицо художника подергивалось и становилось нетерпѣливѣе. Но этой войны Истомина съ Шульцемъ не замѣчалъ никто, кромѣ Мани, все лицо которой выражало тихую досаду.

Гости поотошли въ сторону отъ своихъ обыкновенныхъ темъ и говорили о музыкѣ, или собственно Богъ знаетъ о чемъ говорили.

Собственная особа Фридриха Фридриховича все больше увлекалась артистическимъ патріотизмомъ: онъ сорвался съ петель и ужъ немножко хлестаковствовалъ:

— Самойловъ... говорилъ онъ:—я съ нимъ тоже знакомъ, но это... такъ вамъ сказать, онъ не простецъ: онъ этакій волкъ съ клычкомъ; Ришелье этакой; ну, а Петровъ, продолжалъ Шульцъ, придавая особенную теплоту и мягкость своему голосу:—это нашъ братъ простопоръ; это *душа!* Я, бывало, говорю ему въ Коломягахъ лѣтомъ: ну, что, братъ, Осипъ Аѳанасьичъ?

— Такъ, говоритъ, все, братъ Шульцъ, помаленьку. Спой прошу, ну, другой разъ споетъ, а другой разъ говоритъ: «самъ себѣ спой».—Простопоръ!

Слушая Фридриха Фридриховича, гости, ожидавшіе ужина, такъ и рѣшились держаться артистическихъ вопросовъ.

Кто-то началъ разсказывать, что Леонова «тоже воспѣваетъ»; а кто-то другой замѣтилъ, что надо говорить не «воспѣваетъ», а «поетъ»; еще кто-то вмѣшался, что даже не «поетъ», а «спаиваютъ», и, наконецъ, ужъ вышло, что никто ничего не могъ разобрать. Опять потребовалось посредство Фридриха Фридриховича, который долго разъяснялъ разницу понятій, выражаемыхъ словами: «пить, «пѣть» «паять», «воспѣвать» и «спаивать». Выходило чортъ знаетъ что такое несуразное, что Леонова то поетъ, то паяетъ, то воспѣваетъ, то спаиваетъ. Ухищряясь выговаривать искомое слово какъ

можно правильнѣе, кто-то одинъ разъ сказалъ даже: «потѣетъ»; но Фридрихъ Фридриховичъ тотчасъ же остановилъ этого филолога, замѣтя ему:

— Ну, ужъ сдѣлайте вашу милость—все что̀ вамъ угодно, только не потѣетъ.—Этого даже, пожалуйста, и не говорите никогда; никогда этого нигдѣ не говорите, потому что это не говорится-съ, да, не говорится-съ.

Послѣ ужина гости скоро стали прощаться. Семейство пастора и всѣ солидные господа и ихъ дамы разошлись первые. Фридрихъ Фридриховичъ удержалъ въ залѣ только меня, Истомина, поляка, испеченнаго въ собственной булочной розоваго Шперлинга, и одного солиднаго господина.

— Вѣдь это напрасно, говорилъ ему Истоминъ:—я ничего не стану пить.

— Ну-съ, это мы будемъ видѣть, какъ вы не выпьете! отвѣчалъ Шульцъ.

Истоминъ поставилъ на столъ свою шляпу, взялъ съ окна принесенный Манею томъ Пушкина, придвинулся къ столу и началъ смотрѣть въ книгу.

Черезъ залу прошла въ магазинъ (изъ котораго былъ прямой выходъ на улицу) Берта Ивановна. Она не хотѣла ни торопить мужа домой, ни дожидать его и уходила, со всѣми раскланиваясь и всѣмъ подавая руки. Ее провожали до дверей Ида Ивановна и Маня. Я всталъ и тоже вышелъ за ними.

— Устала ужасно я, жаловалась Берта Ивановна, когда я застегивалъ на ней шубу.

— Очень ужъ вы, говорю ей, расплясались.

— Ахъ, я вѣдь люблю поплясать!

— И вашъ Истоминъ-то... Ну, я не думала что онъ такой кузнечикъ, проговорила Ида Ивановна.

— Совсѣмъ странно, тихо сказала Маня.

— Онъ совсѣмъ испугалъ меня... Ну, Фридрихъ! ну, погоди, я тебѣ это припомню!—закончила Берта Ивановна, относясь къ залѣ, изъ которой слышался голосъ мужа.

Я проводилъ Берту Ивановну до дома и тѣмъ же пу-

темъ возвратился. Когда я пришелъ назадъ, въ магазинѣ была совершенная темнота, а въ залѣ компанія допивала вино, и Фридрихъ Фридриховичъ велъ съ солиднымъ господиномъ бесѣду о національныхъ добродѣтеляхъ.

— О, не думайте!—говорилъ онъ солидному господину:—нашъ нѣмецкій народъ—это правда. есть очень высокообразованный народъ; но нашъ русскій народъ—тоже очень умный народъ. Шульцъ поднялъ кулакъ и произнесъ:—шустрый народъ, понимаете, что называется, шустрый? Здравый смыслъ, здравый смыслъ, вотъ чѣмъ мы богаты!

— Ну, да; ну, позвольте: теперь будемъ говорить Петербургъ. (Нѣмецъ оглянулся по сторонамъ и, видя, что послѣдняя изъ дамъ, Ида Ивановна, ушла во внутренніе аппартаменты, добавилъ):—женитьбомъ пренебрегаютъ, а каждый, какъ это говорится, имѣетъ своя сбока прибѣка. Чѣмъ это кончится? Это какъ совсѣмъ Парижъ.

— Сбоку припека говорится, поправилъ Фридрихъ Фридриховичъ и продолжалъ въ другомъ тонѣ:—ну, только тутъ надо соображать, какія тутъ есть обстоятельства. Это нельзя не соображать.

— Это совсѣмъ не отвиситъ отъ обстоятельствовъ, отвѣчалъ махнулъ рукою, нѣмецъ.

— То есть, положимъ, по-русски говорится *не зависитъ*, а не «не отвиситъ», ну, ужъ пусть будетъ по вашему: отчего-же это по-вашему отвиситъ?

— Отъ свой карахтеръ.

— Гм!... Нѣтъ-съ, этакъ разсуждать нельзя.

— Это, вѣрно, такъ, что отъ карахтеръ. Вотъ будемъ говорить чиновникъ—у него маленькія обстоятельства, а онъ женится; нѣмецкій всякій женится; полковой офицеръ женится; а прочій такой и съ хорошій обстоятельство, а не женится. Нашъ нѣмецкій художникъ женится, а русскій художникъ не женится.

— Это камушекъ въ вашъ огородъ, сказалъ Шульцъ, трогая Истомина за руку.

Истоминъ молча приподнялъ голову, спросилъ: что? и хлебнулъ изъ непочатаго стакана.

— Художникъ-съ, началъ Фридрихъ Фридриховичъ, не отвѣчая Истомину и касаясь теперь руки солиднаго гостя:— совсѣмъ особое дѣло. Художникъ, поэтъ, литераторъ, музыкантъ—это совсѣмъ не фамилійные люди. Это совсѣмъ, совсѣмъ не фамилійные люди! Имъ нужно... это... впечатлѣніе, а не то, что намъ съ вами. У насъ съ вами, батюшка мой, что жена-то? копилка, копилка. Ну, а ихъ одна вдохновляетъ такъ, другая—иначе, ихъ дѣло такое, а не то, что по нашему: сидѣть, да женины ноги грѣть. Это совсѣмъ, не то, что мы съ вами: имъ женъ не нужно.

— То есть намъ женъ нѣтъ, можетъ быть, вы хотите сказать, вмѣшался тихо Истоминъ.—Намъ нѣту женъ; еще не выросли онѣ на нашу долю, любезный Фридрихъ Фридриховичъ.

— Чужія на вашу долю, выросли, ха-ха-ха! Шульцъ такъ и раскатился.

— Чужія! то-то вотъ вы заливаетесь, а вмѣсто того, лучше путемъ-то скажите-ка, гдѣ эти женщины для насъ, пролетаріевъ? Не вы ли вашу Кларочку такъ воспитываете?

— И очень, батюшка, Романъ Прокофьичъ, и очень, государь мой, и очень.

— Ну, какъ же!

— Да-съ, да: а вы вотъ скажите, бывали ли... есть ли, наконецъ, у художниковъ идеалы-то простые? Можете ли вы себѣ представить, какую бы вы себѣ хотѣли жену?

— Могу-съ и представлю.

— Кто это, напримѣръ?

— Анна Денманъ.

— Что сіе такое за Денманъ?

— Денманъ?.. Денманъ... это *сіе*, которое ни за какія коврижки не покупается, Фридрихъ Фридриховичъ. Денманъ—это англичанка, жена скульптора, Джона Флаксмана. А хотите знать, что она сдѣлала?—и это разскажу вамъ.— Когда Флаксманъ женился на ней, ему сказалъ пріятель:

«Вы, Флаксманъ, теперь погибли для искусства».—«Анна, я теперь погибъ для искусства?» говорилъ, придя домой, Флаксманъ.—«Что случилось съ тобою? Кто это сдѣлалъ?» встревожилась Денманъ.—«Это случилось въ церкви, отвѣчалъ Флаксманъ, и сдѣлала это Анна Денманъ», и все ей разсказалъ.—«Анна Денманъ не погубитъ таланта», отвѣчала жена и повела Флаксмана въ Римъ, во Флоренцію; она одушевляла его; терпѣла съ нимъ всякую нужду; она сама сдѣлалась художникомъ и вдохновила мужа создать великую статую великаго Данте—Данте, котораго тоже вела женщина, его безсмертная Беатриче. Понимаете, благодѣтель мой, Фридрихъ Фридриховичъ! что для художника возможна подруга, очень возможна; да понимаете ли, какая подруга для него возможна?.. Пусть ваша Клара будетъ Анною Денманъ.

— О! очень пусть; очень.

— Ну, вотъ тогда и еще кто нибудь, кромѣ Флаксмана, скажетъ во всеуслышаніе, что «жена не помѣха искусству». Только вѣдь, батюшка, Фридрихъ Фридриховичъ, кто хочетъ взростить такое чистое дитя, тотъ не спрашиваетъ дочку: «Кларинька, какой тебѣ, душечка, домъ купить?» а учитъ ее щенка слѣпого жалѣть, мышку, цыпленка; любить не палаты каменныя, а лужицу, что послѣ дождя становится.

— А что-жъ, я былъ бы очень радъ.

— Э, полноте-ка, пожалуйста! Ну, на что вамъ все это въ вашей дочери? Что мы, въ самомъ дѣлѣ, такое всѣ-то какіе есть искусники? Вѣдь ужъ какъ вы тамъ хотите, а ваша лисья шуба вамъ милѣй Шекспира?.. что? Ей-Богу правда! Не думаете ли вы, взаправду, что мы какая-то соль земли? напротивъ, вы и сами того убѣжденія, что мы такъ что-то этакое, назначенное для вашего развлеченія, какіе-то этакіе брелоки что ли къ вашей цѣпочкѣ. Вѣдь такъ? Вотъ этакой мѣховщикъ Кунъ, что-ли, который вамъ шубы шьетъ, какой нибудь Никита Селивановичъ, который своимъ братомъ-скотомъ торгуетъ; банкиры, спекулянты пеньковаго буяна, да что-нибудь еще въ этомъ родѣ—вотъ

это люди! Они, дѣйствительно, дѣла дѣлаютъ, которыя всѣ сейчасъ можно привесть въ копѣйки — они, значитъ, и нужны, а мы... да въ самомъ дѣлѣ, пусть чортъ самъ разберетъ, на что̀ мы?—Ни Богу свѣчка, ни чорту ожегъ.

— Чорта не поминай! чорта, братецъ, не поминай! отъ этого, мужикъ говорилъ, худо бываетъ. Лучше Богу помолись, такъ онъ тебѣ и жену дастъ, умилительно фамильярничалъ Фридрихъ Фридриховичъ.

— Да; вы, небось, молитесь!

— А то какъ бы вы думали?

— Ну, вамъ и книги въ руки.—За это же Богъ и далъ вамъ Берту Ивановну.

— Копилку свою.

— Да, копилку, и очень красивая копилка; и у васъ всегда всѣ пуговицы къ рубашкамъ пришиты, и вы можете спать всегда у бѣлаго плечика.—Чудесно!! И всему этому такъ и быть слѣдуетъ, голубчикъ. У Берты Ивановны Шульцъ есть домъ — полная чаша, у Берты Ивановны Шульцъ—сундуки и комоды ломятся отъ уборовъ и нарядовъ; у Берты Ивановны Шульцъ—мужъ, нѣжнѣйшій Фридрихъ, который много что скажетъ: «Эй, Берта Ивановна, смотрите, какъ бы мы съ вами не поссорились!» — Берта Ивановна вся куплена.

Шульцъ самодовольно улыбнулся.

— Что̀, угадалъ вѣдь я?—продолжалъ Истоминъ:—а въ будущемъ, у нея и состояніе, и почетъ, и дѣтская любовь, и общее уваженіе — такъ чего же ей бояться или печалиться, и какъ ей не цѣловать васъ сладко! Не такъ ли-съ?

Шульцъ съ улыбкой качнулъ головою и проговорилъ:

— Ну, разсуждайте, разсуждайте!

— Да-съ, такъ-съ это, именно такъ-съ, — продолжалъ Истоминъ: — и все это такъ именно потому, что сынове міра сего мудрѣйши сыновъ свѣта суть, *въ своемъ родѣ*. Праздникъ на вашей улицѣ. Женщины, не наши однѣ русскія женщины, а всѣ почти женщины, въ цѣломъ мірѣ, вездѣ онѣ одной съ вами религіи — одному съ вами золо-

тому богу кланяются. Всегда онѣ насъ продадутъ за васъ, будьте въ этомъ благонадежны.

— А съ вами насъ обманутъ?

— Ну, вѣдь, сердце, батюшка Фридрихъ Фридриховичъ, не щепка, а праздность, какъ вамъ, должно-быть, изъ прописи извѣстно, есть мать всѣхъ заблужденій и пороковъ. Да и то, вѣдь, что̀ жъ *обманетъ*... какой тамъ обманъ?.. пошалитъ, то-есть бездѣлицу—только и всего. Не убудетъ же ея оттого, что кто-нибудь ее отмѣтитъ своимъ минутнымъ вниманіемъ.

— Ха-ха-ха—отмѣтитъ! это пустяки называется!

— Да, пожалуй, что и въ самомъ дѣлѣ, пустяки.

— Ну, покорно васъ благодарю.

— Не за что еще пока, отвѣчалъ небрежно Истоминъ и непосредственно началъ: — знаете, Фридрихъ Фридриховичъ, въ человѣческой породѣ бабы-то, воля ваша, должно-быть, смысленнѣе самцовъ.

— Право?

— Право-съ. Вы, вонъ-съ, изволите говорить: «что намъ все нужно *разнообразіе*». Правда? Вѣдь, вы именно это думали: *разнообразіе*, и даже разнообразіе именно въ самомъ узкомъ значеніи?

— Н-ну... началъ было Шульцъ.

— Нѣтъ, позвольте!—перебилъ его Истоминъ.—Я очень усталъ, и мнѣ говорить не хочется; но, ужъ не знаю, зачѣмъ-то однако, я нахожу нужнымъ заплатить вамъ за откровенность откровенностью. Вы и вотъ всѣ такіе хорошіе люди, какъ вы (само собою, въ искренность этихъ словъ вы вѣрите)—такъ всѣ такіе-то вотъ люди—наши злѣйшіе враги и предатели. Да-съ, предатели. Привѣчая и лаская насъ, первые вы стараетесь гадить намъ всѣми возможными средствами и преимущественно гадить у женщинъ Вы имъ представляете насъ чудаками, химеристами, потому только, что мы на васъ не похожи, и потому, что вамъ выгодно дѣлать насъ шутами. «Точно, молъ, душечка, онъ интересенъ—пріятно быть съ нимъ вмѣстѣ; но, а представь-ка ты,

что бы съ тобой было, если ты была его, а не моя?» Это все очень умно съ вашей стороны, только очень толсто, нехитро. Женщины вообще, вѣдь, по натурѣ и не очень довѣрчивы, и не очень робки, и совсѣмъ не такъ цѣломудренны, какъ практичны. Запугать вы ихъ нами не запугаете, а любопытство ихъ раздразнитъ—раздразните,—вотъ вамъ и рога за ваши старанія.

— Чужеядны вы, господа.

— Да, птицы небесныя!—ни жнемъ, не сѣемъ, а живы; но дѣло-то все не въ томъ! А зачѣмъ вы, подъ видомъ дружбы и доброжелательства, мараете нашу репутацію? зачѣмъ вы насъ унижаете, возвышая какъ будто насъ надъ цѣлою толпою? Почемъ вы знаете, что мы не любимъ, да и любить не можемъ? А можетъ-быть намъ *некого* скорѣй любить! Натурщицъ полногрудыхъ, что ли? или купчихъ шестипудовыхъ? или кисейныхъ барышень? чиновницъ, и день и ночь мечтающихъ о шляпкахъ? иль этихъ Мессалинъ сластолюбивыхъ? Кого жъ? кого, по-вашему, я долженъ полюбить? Молчите? Слава Богу! А вы теперь скажите, или намекните, или такъ хоть въ эту сторону кивните пальцемъ, гдѣ, по вашимъ соображеніямъ, находится *женщина*, не ваша женщина, а *наша*, которой мила наша, а не ваша: женщина, которая мнѣ обѣщала бы поддержку на борьбу со всякою бѣдою, которая бы принесла хоть каплю масла для той искры, которая меня одушевляетъ! Ваши женщины! Богъ съ ними совсѣмъ! Придти тайкомъ, соорудить рога оленьи мужу—онѣ готовы; но чтобы съ нами горе наше черпать, нуждѣ въ глаза смѣяться, любить мой трудъ, мою работу... Нѣтъ! Она скорѣй убьетъ всѣ искорки таланта, а не раздуетъ, не освѣжитъ его и не согрѣетъ. «Вотъ, скажетъ, Фридрихъ Фридриховичъ — вотъ мужъ примѣрный! Жена его спитъ на лебяжьемъ пуху, купается въ розовомъ маслѣ, а ты...», да и пойдетъ меня... мою свободу, мою свободу; будетъ мнѣ въ моихъ глазахъ же гадить! Станетъ упрекать меня за то, что я пренебрегаю тамъ какой-то вовсе мнѣ ненужной чепухою; станетъ

ровнять меня съ купцомъ, или съ казнокрадами!.. Да, нѣтъ, оставьте, господа, вы говорить о насъ, попорченныхъ и сумасбродныхъ людяхъ! Кого вы называете любовницами нашими? Да развѣ, въ самомъ дѣлѣ, есть, что ли, женщины, способныя любить? Не вѣрьте, не вѣрьте, батюшка Фридрихъ Фридриховичъ! Никто насъ не любитъ. Просто, соскучатся съ благоразумными мужьями, да пошалятъ; а гдѣ тамъ имъ, грѣшнымъ, любить!

Истоминъ нетерпѣливо качнулъ головою и произнесъ:

— Баловницы онѣ, а не любовницы,—и опять раскрылъ томъ Пушкина.

— Ну, да, заговорилъ Фридрихъ Фридриховичъ,—женщины... того... Онѣ, конечно... мало еще всему этому сочувствуютъ; но, вѣдь, если всѣ станутъ сочувствовать, то...

— Что такое *всѣ?* что *всѣ?*—нервно перебилъ его Истоминъ.

Шульцъ снова просыпалъ кое-какъ свою фразу.

— Всѣ! всѣ! тихо и снисходительно повторилъ художникъ.—Да вы хоть вотъ это бъ прочитали, продолжалъ онъ, глядя въ раскрытую страницу на Моцартѣ и Сальери,—что если бъ всѣ такъ чувствовали, тогда бъ не могъ

И міръ существовать; никто бъ не сталъ
Заботиться о нуждахъ низкой жизни,
Всѣ бъ предались свободному искусству!
Насъ мало, избранныхъ счастливцевъ праздныхъ,
Пренебрегающихъ презрѣнной пользой,
Единаго прекраснаго жрецовъ.
Не правда ль? Но я нынче нездоровъ:
Мнѣ что-то тяжело; пойду засну.
Прощайте.

— И *прощайте*, и это тутъ написано? — спросилъ Шульцъ.

— Вотъ, представьте себѣ, и это здѣсь написано, отвѣчалъ Истоминъ, пожимая всѣмъ руки и торопливо выходя изъ залы.

Только что мы съ нимъ переступили въ темный магазинъ, какъ Истоминъ нервно вздрогнулъ, схвативъ меня за

плечо и, тихо вскрикнувъ: кто это? — вдругъ остановился. Отъ сѣраго пятна, которымъ обозначалось окно, медленно отдѣлилась и, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, стала миніатюрная фигура.

— Марья Ивановна! это вы?—спросилъ Истоминъ.

Фигура ничего не отвѣтила, но тронулась тихо вдоль стѣны къ двери, какъ китайская тѣнь. Это была Маша. Истоминъ взялъ ее за руку и крѣпко поцѣловалъ въ ладонь.

Когда я пожалъ руку Мани, рука эта была холодна какъ ледъ, и въ тихомъ «прощайте», которое выронила мнѣ Маня, было что-то болѣзненное, какъ далекій крикъ подстрѣленной птицы.

Долго я проворочался, придя домой, на моей постели и не могъ уснуть до свѣта. Все смущалъ меня этотъ холодъ и трепетъ, этотъ слабый звукъ этого слабаго *прощайте*, и тысячу разъ хотѣлось мнѣ встать и спросить Истомина, зачѣмъ онъ, прощаясь, поцѣловалъ Манину руку, и поцѣловалъ ее какъ-то странно—въ ладонь. Утромъ я опять думалъ объ этомъ и все мнѣ было что-то такое очень невесело.

Часу въ двѣнадцатомъ на другой день зашелъ ко мнѣ Фридрихъ Фридриховичъ.

— Долго, спрашиваю, вы еще посидѣли послѣ насъ?

— А, нѣтъ, говоритъ.—Вдругъ, какъ этотъ нашъ раздраженный маэстро ушелъ, мы всѣ раззѣвались и пошли.

Опять мнѣ это не понравилось. Значитъ, съ выходомъ Истомина, на его словахъ оборвалась и рѣчь человѣческая. Хорошо, говорятъ, тому, за кѣмъ остается послѣднее слово въ бесѣдѣ!

А Фридрихъ Фридриховичъ, чортъ его знаетъ, со вчерашняго похмѣлья, что ли, вдругъ начинаетъ мнѣ, шутя, сообщать, что Берта Ивановна дома его порядочно выпудрила за то, что онъ заставлялъ ее цѣловаться съ Истоминымъ. «Говоритъ, просто, говоритъ, какъ удавъ, такъ и впивается. Если бъ, говоритъ, ты не стоялъ возлѣ меня, такъ я бы, кажется, не знала, что̀ съ собой дѣлать?»

— А вечеромъ же, глядите, не забудьте, приходите на полосканіе зубъ.

Что-то ужасно мнѣ не хотѣлось, но, однако, обѣщалъ, что приду.

— И удава тащите.

Я обѣщалъ и это; но удавъ не пошелъ

— Чортъ съ нимъ совсѣмъ, сказалъ онъ, когда я передалъ ему Шульцево приглашеніе и разсказывалъ, какъ тотъ усердно его проситъ.

Истоминъ наотрѣзъ отказался и, усѣвшись за піанино, началъ что-то безъ толку напѣвать и наигрывать.

Я ушелъ одинъ.

Полосканіе зубъ совсѣмъ не задалось: самъ Шульцъ всталъ послѣ сна невеселый, мнѣ тоже не хотѣлось ни пить, ни говорить; Бертѣ Ивановнѣ, очевидно, хотѣлось спать, а Ида съ Маней пришли на минутку и скоро стали снова прощаться. Я всталъ и пошелъ вслѣдъ за ними. Шульцъ и не удерживалъ; онъ самъ свѣтилъ намъ, пока мы надѣвали свои шубы, зѣвалъ и, закрывая рукою ротъ, говорилъ:

— А тому удаву скажите, что это не по-пріятельски. Я ему за это, какъ придетъ, стаканъ рейнвейну за шиворотъ вылью.

— Кто это «удавъ?»—спросила, идучи дорогою, тихо Ида.

Я говорю:

— Истоминъ.

— Ужъ и правда.

— Что это?

— Удавъ.

— Онъ вамъ не нравится?

— Не нравится.

Ида сдѣлала гримасу.

— А за что, смѣю спросить?

— Онъ духовъ вызываетъ.

— Какъ это, говорю, духовъ?

— А такъ... привидѣній. Тѣ лучше, которые вокругъ себя живыхъ людей терпятъ.

Ну, думаю себѣ, удавъ, удавъ! И сѣлъ этотъ удавъ въ моемъ воображеніи около Мани, и пошелъ онъ обвиваться около нея крѣпкими кольцами; пошелъ смотрѣть ей въ очи и сосать ея бѣленькую ладонь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Пробѣжалъ еще мѣсяцъ. Живемъ мы опять спокойно, зима идетъ своимъ порядкомъ, по сѣрому небу летаютъ бѣлыя, снѣговыя мухи; по вонючей и холодной петербургской грязи ползаютъ извозчичьи клячи, однимъ словомъ—все течетъ, какъ ему Господь повелѣлъ. Въ Романѣ Прокофьичѣ я не замѣчаю никакой перемѣны; а между тѣмъ въ немъ была нѣкоторая перемѣна, только не очень явно давала она себя почувствовать. Художественно лѣнивый и нервный, Истоминъ сталъ еще нервнѣе, безпечнѣй и лѣнивѣй. Мѣсяца три спустя послѣ манинаго праздника, я какъ-то вдругъ замѣтилъ, что Истоминъ ужъ совсѣмъ ничего не работаетъ и за кисть даже не берется. Картина стояла обороченная къ стѣнѣ и на подрамкѣ ея лежалъ густой слой сѣрой пыли. Увеличилась нѣсколько обычная лѣнь и ничего болѣе, думалъ я, и опять совсѣмъ забывалъ даже, что Истоминъ ничего не работаетъ и валяется. Но мало-по-малу, наконецъ, вниманіе мое стало останавливаться на другихъ, болѣе странныхъ явленіяхъ въ характерѣ и привычкахъ Истомина. Романъ Прокофьичъ прежде всего сталъ иначе относиться къ неоставлявшимъ его дамамъ сильныхъ страстей и густыхъ вуалей. Перешвыривая ими съ необыкновенною легкостью и равнодушіемъ, онъ прежде всегда дѣлалъ это очень спокойно, безъ всякихъ тревогъ и раздраженій, а съ нѣкотораго времени сталъ вдругъ жаловаться, что онѣ ему надоѣдаютъ, что ему нѣтъ покоя и даже нѣсколько разъ выражалъ намѣреніе просто-за-просто повышвыривать ихъ всѣхъ на улицу. Наконецъ, въ одно сѣрое утро, валяясь въ своемъ черномъ бархатномъ пиджакѣ по богатому персидскому ковру, которымъ у него была по-

крыта низенькая турецкая оттоманка, онъ позвалъ при мнѣ своего человѣка и сказалъ ему:

— Янко! Сдѣлай ты милость, вступись въ мое спасенье.

Янко остановился и глядѣлъ на него въ недоумѣніи.

— Будь благодѣтель, освободи ты меня отъ всякихъ барынь.

— Слушаю-съ, Романъ Прокофьичъ, отвѣчалъ Янко.

— Какія жъ ты для этого полагаешь предпринять мѣры?

— А пущать ихъ къ вамъ, Романъ Прокофьичъ, не буду.

— Это — довольно тонко и находчиво; я это одобряю, Янко, отвѣчалъ спокойно Истоминъ, и заговорилъ со мною о скукѣ, о тоскѣ, о томъ, что ему, главнымъ образомъ, Петербургъ опостылѣлъ и что съ весною непремѣнно надо уѣхать куда-нибудь подальше.

Въ это время Истоминъ очень много читалъ и даже собирался что-то писать противъ гоголевскихъ мнѣній объ искусствѣ; но писанія этого, впрочемъ, никогда не происходило. Онъ очень много читалъ этой порою, но и читалъ необыкновенно странно. Иногда онъ въ эту полосу своего упорнаго домосѣдства, молча, входилъ ко мнѣ въ своемъ бархатномъ пиджакѣ и яркихъ канаусовыхъ шароварахъ, молча бралъ съ полки какую-нибудь книгу и молча же уходилъ съ нею къ себѣ.

Я заставалъ его часто, что онъ крѣпко спалъ на своей оттоманкѣ, а книга валялась около него на полу, и потомъ онъ вскорѣ приносилъ ее и ставилъ на мѣсто. Въ другой разъ онъ нападалъ на какую-нибудь небольшую книжонку и читалъ ее удивительно долго и внимательно, точно какъ будто или не понималъ ее, или старался выучить наизусть. Долѣе всего онъ возился надъ Гейне, часто по цѣлымъ часамъ останавливаясь надъ какою-нибудь одной пѣсенкой этого поэта.

— «Трубятъ голубые гусары», сказалъ я однажды, заходя къ нему и заставая его лежащимъ съ маленькимъ томикомъ Гейне.

— Что?—спросилъ онъ, наморща брови.

Я опять повторилъ строфу легкаго стихотворенія, которое нѣкогда очень любилъ и очень хвалилъ Истоминъ.

— Кой чортъ *гусары*! — отвѣчалъ Романъ Прокофьевичъ.—Я все читаю объ этой «невыплаканной слезинкѣ». Эхъ, Господи, какъ люди писать-то умѣютъ! что̀ это за прелесть, эта крошка Вероника!—ея и нѣтъ, а между тѣмъ ее чувствуешь, проговорилъ онъ лѣниво, приподнимаясь съ оттоманки и закуривая сигару.

— «Она была достойна любви, и онъ любилъ ее; но онъ не былъ достоинъ любви, и она его не любила»—это старая исторія, которая будетъ всегда нова, произнесъ онъ серьезно, и съ закуренной сигарой снова повалился на коверъ, закрылъ ноги клѣтчатымъ пушистымъ плэдомъ и сталъ читать далѣе.

Черезъ заклеенную дверь я слышалъ разъ, какъ онъ громко декламировалъ вслухъ:

Съ толпой безумною не стану
Я пляску дикую плясать,
И золоченому болвану,
Поддавшись гнусному обману,
Не стану ладанъ воскурять.
Я не повѣрю рукожатьямъ
Мнѣ яму роющихъ друзей;
Я не отдамъ себя объятьямъ
Надменныхъ наглостью своей
Прелестницъ...
Нѣтъ, лучше пасть, какъ дубъ въ ненастье,
Чѣмъ камышомъ остаться жить,
Чтобы потомъ считать за счастье—
Для франта тросточкой служить.

Я слышалъ также, какъ послѣ этой послѣдней строфы книга ударилась объ стѣну и полетѣла на полъ.

Черезъ минуту Истоминъ вошелъ ко мнѣ.

— А что̀ вы думаете, спросилъ онъ меня снова, — что̀ вы думаете объ этой «невыплаканной слезинкѣ?»

— А вѣдь вы больны, Романъ Прокофьичъ, сказалъ я ему вмѣсто отвѣта.

— Должно-быть, въ самомъ дѣлѣ, боленъ, произнесъ Истоминъ.

Онъ приподнялся, посмотрѣлъ на себя въ зеркало и, не говоря ни слова, вышелъ.

Ладить съ Романомъ Прокофьевичемъ не было никакого средства. Его избалованная натура кипѣла и волновалась безпрестанно. Онъ рѣшительно не принималъ никого и высказывался только самыми странными выходками.

— Знаете, говорилъ онъ мнѣ однажды, — какъ бы это было хорошо пристрѣлить какую-нибудь каналью?

— Чѣмъ же это, спрашиваю, такъ очень хорошо бы было?

— Воздухъ бы немножко расчистился, а то сперлось ужъ очень.

Романъ Прокофьевичъ поставилъ на край этажерки карту, выстрѣлилъ въ нее изъ револьвера и попалъ.

— Хорошо?—спросилъ онъ, показывая мнѣ туза, пробитаго въ самое очко, и вслѣдъ за этимъ кликнулъ Янка.

— Милый Яни! Подержи-ка, сказалъ онъ, подавая слугѣ карту.

Янко спокойно поставилъ на своей стриженой головѣ карту и деликатно придерживалъ ее за нижніе углышки обѣими руками.

Истоминъ отошелъ, приподнялъ пистолетъ и выстрѣлилъ: новая карта опять была пробита въ самой серединѣ.

Я зналъ, что такія забавы у нихъ были дѣломъ весьма обыкновеннымъ, но все-таки эта сцена встревожила меня и при томъ въ комнатѣ становилось тяжело дышать отъ порохового дыма.

— Пойдемте лучше ко мнѣ!—позвалъ я Истомина.

— А здѣсь развѣ не все равно?

— Теперь здѣсь, дѣйствительно, воздухъ очень спертъ.

— Да, здѣсь воздухъ спирается, спирается, заговорилъ Истоминъ, двигая своими черными бровями.—Здѣсь воздухъ ужасно спирается, закончилъ онъ, желая придать

своему лицу какъ можно больше страданія и вообще скорчивъ грустную рожу.

Это было невыносимо противно. Передъ кѣмъ это, для кого и для чего онъ ломался?

И нѣсколько дней все онъ ходилъ смирнёхонекъ и все напѣвалъ:

Любить мечты не преступленье,
И я люблю мою мечту.

Надоѣла ужъ даже мнѣ эта пѣсня.

Шульцъ, встрѣчаясь со мною у Норковъ, очень часто освѣдомлялся у меня объ Истоминѣ.

— Что̀ нашъ жукъ-отшельникъ дѣлаетъ?—спрашивалъ онъ.

Я отвѣчалъ, что хандритъ.

— Заряжается вѣрно чѣмъ-нибудь! — восклицалъ Шульцъ, — я знаю эти капризныя натуры: вдохновенія нѣтъ, сейчасъ и бѣситься, самодовольно разъяснилъ онъ, обращаясь къ Идѣ Ивановнѣ и Манѣ.

Ни та, ни другая не отвѣчали ему ни слова.

У этихъ обѣихъ дѣвушекъ Фридрихъ Шульцъ большимъ расположеніемъ похвалиться не могъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Чудачества Истомина продолжались. Онъ, какъ говорилъ о немъ Шульцъ, все не переставалъ *капризничать* и не возвращался къ порядку. Видно было, что ему, дѣйствительно, приходилось тяжело; становилось, что называется, не въ мочь; онъ искалъ исхода и не находилъ его; онъ нуждался въ какомъ-нибудь толчкѣ, который бы встряхнулъ его и повернулъ лицомъ къ жизни. Но этого толчка не случалось и придумать его было невозможно, а, наконецъ, Истоминъ сочинилъ его себѣ самъ.

Въ одинъ изъ тѣхъ короткихъ промежутковъ этой безпокойной полосы, когда Истоминъ переставалъ читать запоемъ, страстно увлекаясь и бѣснуясь, и, наоборотъ, стано-

вился неестественно смиренъ, и грустный бродилъ тише воды, ниже травы, я зашелъ къ нему прямо съ улицы и сказалъ, что на-дняхъ даютъ обѣдъ для одного почтеннѣйшаго человѣка, котораго очень уважалъ и почиталъ Истоминъ.

— Я, говорю, записалъ на обѣдъ и себя, и васъ, Романъ Прокофьичъ!

— Очень, отвѣчаетъ,—мило сдѣлали. А сколько денегъ?

Я сказалъ.

Истоминъ взялъ свое портмонэ и, подавая мнѣ ассигнацію, тепло пожалъ мою руку.

— Пойдете?—спросилъ я.

— Какъ же, непремѣнно пойду.

Въ день этого обѣда Истоминъ съ самаго утра не надѣвалъ своего пиджака и былъ очень спокоенъ, но молчаливъ. За юбилейнымъ обѣдомъ онъ равнодушно слушалъ разныя пышныя и сухія рѣчи; ѣлъ мало и выпилъ только два бокала шампанскаго.

Все время обѣда мы сидѣли съ нимъ рядомъ и послѣ стола вмѣстѣ вышли въ небольшую комнату, гдѣ собралась цѣлая толпа курящаго народа. Истоминъ сѣлъ у окна, вынулъ дорогую баядеру, закурилъ ее и равнодушно сталъ смотрѣть на плетущихся по взмѣшанному, грязному снѣгу ванекъ и на перебѣгавшихъ въ суетѣ пѣшеходовъ. Противъ Истомина, въ амбразурѣ того же окна, сидѣла не молодая и не старая дама, которая еще не прочь была нравиться и очень могла еще нравиться, а между ними, на лабрадоровомъ подоконникѣ этого же самаго окна, помѣщался небольшой бѣлокуренькій господинчикъ съ жиденькими войлоковатыми волосами и съ физіономіей кладбищенскаго, тенористаго дьякона. Дама не безъ эффекта курила очень крѣпкую сигару, а бѣлокурый господинъ тянулъ тоненькую мариландскую папироску. Обѣ эти особы вели оживленный разговоръ объ искусствѣ вообще и въ различныхъ его примѣненіяхъ въ жизни. Дама была изъ тѣхъ новыхъ,

даже самоновѣйшихъ женщинъ, которыя мудренѣе нигилистовъ и всего доселѣ появлявшагося въ женскомъ родѣ: это демократки съ желаніемъ барствовать; реалистки съ стремленіемъ опереться на всякій предразсудокъ, если онъ представляетъ имъ хотя самую фиктивную опору; проповѣдницы, что «не о хлѣбѣ единомъ человѣкъ живъ будетъ», а сами за хлѣбъ продающіе и тѣло, и честную кровь свою. Безтолковѣе и гаже этого ассортимента фразъ, ходячихъ въ юбкахъ, кажется, еще ничего никогда не было. Передъ мало-мальски умнымъ и логическимъ человѣкомъ онѣ бываютъ жалки до самой послѣдней степени: масса противорѣчій сбиваетъ ихъ. Дама, о которой идетъ рѣчь, безпрестанно путалась во всѣхъ своихъ положеніяхъ и кидалась изъ одной стороны въ другую, какъ нарочно открывая кладбищенскому дьякону полнѣйшую возможность побивать ее на всѣхъ пунктахъ. Около этой пары, къ которой случайно помѣщался ближе всѣхъ Истоминъ, сгруппировалась очень густая толпа, внимательно слѣдившая за ихъ рѣчами. Дама, при всей своей внѣшней храбрости, очевидно мѣшалась и, какъ я сказалъ, безпрестанно впадала въ противорѣчія. Всѣ свои усилія она устремляла только на то, чтобы не соглашаться, частила, перебивала и городила вздоръ. Тенористый вахлачокъ, напротивъ, говорилъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ и такимъ тономъ, какимъ, вѣроятно, Пилатъ произнесъ свое *еже писахъ—писахъ.*

Онъ рѣшительно утверждалъ, что художество отжило свой вѣкъ и что искусство только до тѣхъ поръ и терпимо, пока человѣчество еще глупо; да и то терпимо въ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ помогать разуму проводить нужныя гражданскія идеи, а не рисовать нимфъ, да яблочки.

— Но вы забываете, что у всякаго свой талантъ...—перебивала дама.

— А что̀ такое талантъ?—спокойно вопрошалъ тенористый дьяконъ, и опять ядовито захихикалъ.

— Да вы знаете ли искусство-то? понимаете вы что-нибудь въ искусствѣ?—частила дама, Богъ знаетъ какъ пере-

давшаяся вдругъ совсѣмъ на сторону чистаго искусства для искусства.

— Знаю-съ, знаю,—отвѣчалъ, звонко прихихикивая, тенористый дьяконъ. — Если толстая, голая женщина нарисована, такъ это значитъ Рубенсъ упражнялся. Большой бездельникъ!

Тенористъ опять захихикалъ, кашлянулъ и отмахнулся рукою отъ налетѣшей на него струи сигарнаго дыма. Изъ толпы высунулись впередъ двѣ шершавенькія мордочки, оскалили зеленые зубы и также захохотали.

Я случайно взглянулъ на Истомина: онъ сидѣлъ, вытянувъ ноги и сложивъ ихъ одну на другую; сигару свою онъ держалъ между двумя пальцами правой руки и медленно пускалъ тоненькую струйку синяго табачнаго дыма прямо въ носъ тенористому дьякону.

— Такъ, по-вашему, что жъ, художниковъ надо выгнать, что ли?—приставала дама.

— Выгнать-съ? — Нѣтъ, это Платонъ предлагалъ увѣнчать всѣхъ этихъ безстыдниковъ лаврами, и потомъ выгнать, а по-моему, на что на нихъ лавры истреблять?

— Платонъ это говорилъ о поэтахъ.

— Это все равно-съ; жрецы свободнаго искусства!

Тенористъ снова захихикалъ и снова закашлялся еще сильнѣе. Въ носъ ему такъ и била тоненькая дымовая струйка, вылетавшая крутымъ шнурочкомъ изъ-подъ усовъ Истомина и бившая оратора прямо въ носъ.

— Ихъ къ дѣлу надо обратить,—продолжалъ онъ, отмахнувшись отъ дыма.

— Да-съ, землю пахать, что ли?—допрашивала съ азартомъ дама.

— Кто къ чему годенъ окажется: кто камни тесать, кто мосты красить.

— Прекрасно-съ, прекрасно! Только какъ вы этого достигнете?

— Чего-съ это?

— Того, чтобъ художники обратились въ ремесленниковъ.

— Исправительными мѣрами-съ.

— Га! то-есть сѣчь ихъ будете?

— Это по усмотрѣнію-съ, по усмотрѣнію,—отвѣчалъ бѣленькій теноръ, глядя въ толпу и попрежнему стуча по стѣнѣ задниками своихъ сапожекъ.

— Это прелесть! это чудо что такое!.. Это совершенство!—восхищалась дама, покрывая все довольно громкимъ смѣхомъ.—Представьте себѣ, господа, бѣднаго Рафаэля, который мазилкой мостъ краситъ на большой дорогѣ! или Канову, который тумбы обтесываетъ!.. Это чудо! Это совершенство! прелесть! Ну, а пѣвцовъ, скульпторовъ, музыкантовъ, актеровъ—ихъ всѣхъ куда дѣвать?

— Зачѣмъ же ихъ дѣвать куда-нибудь? — Перестанутъ имъ деньги давать, такъ они сами и пѣть, и плясать перестанутъ.

— То-то! а вѣдь ихъ много; пожалуй, еще отпоръ дадутъ, частила, вовсе ужъ не вслушиваясь, дама.

— Ну, не дадутъ-съ... при этомъ словѣ тенористый дьяконъ вздрогнулъ и быстро отодвинулся отъ подлѣзшей къ его лицу новой струи дыма.

— Почему?—спросилъ его рѣзко Истоминъ.

— Что это? отпоръ-то? Да какой же отпоръ? Картинки какъ-то на Дрезденскій мостъ потребовались, такъ и тѣхъ пожалѣли.

— Это совсѣмъ не идетъ къ дѣлу.

— А мы развѣ съ вами о дѣлахъ говоримъ?

Теноръ захихикалъ и добавилъ:

— Смѣшно!

— А вы не смѣйтесь, остановилъ его, блѣднѣя, Истоминъ.

— Отчего же-съ?—Это правительствомъ не запрещено.

— Оттого, что мнѣ это не нравится.

— Напрасно-съ.

— Напрасно! Вы говорите — *напрасно*! А что ежели я, *безстыдникъ*, художникъ Истоминъ, сейчасъ послѣ этого «напрасно» объявлю, что всякому, кто посмѣетъ при мнѣ

сказать еще хотя одно такое гнусное слово объ искусствѣ, котораго онъ не понимаетъ, то я ему сейчасъ вотъ этими самыми руками до ушей ротъ разорву?

Истоминъ всталъ, прижалъ ногою колѣна тенора къ подоконнику и, взявъ сигару въ зубы, показалъ ему два большіе пальца своихъ рукъ.

— Я тогда ничего-съ болѣе не скажу, отвѣчалъ, нимало не теряясь и попрежнему хихикая, тенористый дьяконъ.

— То-то, надѣюсь, что не скажете! — отвѣчалъ, доканчивая свою нелѣпую выходку, Истоминъ и смѣшался съ толпою.

— Доказалъ, однако!—иронически проговорила, высовываясь изъ толпы, прежняя шершавенькая мордочка.

— Да-съ; я полагаю, что у этого человѣка очень развито правое плечевое сочлененіе, а это очень важно при спорахъ въ Россіи, отвѣчалъ мордочкѣ теноръ и легко снялся съ подоконника.

Черезъ полчаса я видѣлъ, какъ Истоминъ, будто ни въ чемъ не бывало, живо и весело ходилъ по залѣ. Съ обѣихъ сторонъ у его локтей бѣгали за нимъ двѣ дамы: одна была та самая, что курила крѣпкую сигару и спорила, другая — мнѣ вовсе незнакомая. Обѣ онѣ залѣзали Истомину въ глаза и просили у него позволенія посѣтить его мастерскую, отъ чего онъ упорно отказывался и, надо полагать, очень смѣшилъ ихъ, потому что обѣ онѣ безпрестанно хохотали.

Бѣловойлочный противникъ Истомина тоже сидѣлъ здѣсь на одномъ изъ диванов этой же залы и около него помѣщались два молодые господина, смотрѣвшіе не то обиженными ставленниками, не то недовольными регистраторами духовной консисторіи.

Ставленники бросали на художника самые суровые взгляды, но, однако, никакого новаго столкновенія здѣсь не произошло. Но угодно же было судьбѣ, чтобы Истоминъ, совершивъ одно безобразіе, докончилъ свой день другимъ, заключилъ его еще болѣе странной и неоправдываемой вы-

ходкой. Совсѣмъ въ шубахъ и шапкахъ мы натолкнулись на эту тройку между двойными дверями подъѣзда.

— Не могу-съ, не могу, говорилъ, пробираясь впереди насъ и хихикая, теноръ. — Ничего-съ здѣсь не могу говоритъ, ротъ разорвутъ.

— Полно острить-то! — произнесъ сзади его Истоминъ, и, взявшись за края его мѣховой шапки, натянулъ ему ее по самую бороду. Теноръ издалъ изъ-подъ шапки какой-то глухой звукъ и, какъ страусъ, замоталъ головою во всѣ стороны. Оба ставленника разомъ принялись сдергивать съ учительской головы ни за что не хотѣвшую слѣзать шапку.

Истоминъ былъ очень веселъ, смѣялся и, придя домой, началъ переставлять и перетирать въ своей мастерской давно забытые подмалевки и этюды.

На другой день, часу въ десятомъ утра, только что я отворилъ дверь въ залу Истомина, меня обдалъ его громкій, веселый хохотъ, такъ и разносившійся во всей квартирѣ. Истоминъ уже былъ одѣтъ въ канаусовыхъ шароварахъ и бархатномъ пиджакѣ и катался со смѣху по ковру своей оттоманки.

— Здравствуйте!—весело произнесъ онъ, протягивая мнѣ руку и обтирая платкомъ выступившія отъ хохота слезы.— Садитесь скорѣй, или лучше прямо ложитесь загодя, а то Меркулъ Ивановъ васъ сейчасъ уложитъ.

Меркулъ Ивановъ былъ огромный, трехъэтажный натурщикъ, прозывавшійся въ академіи Голіаѳомъ. Онъ былъ необыкновенно хорошо сложенъ, слылъ за добродушнѣйшаго человѣка и пьянствовалъ какъ настоящій академическій натурщикъ. Теперь онъ былъ, очевидно, послѣ каторжнаго похмѣлья и, стоя у притолки Истомина, жался, вздрагивалъ и водилъ по комнатѣ помутившимися глазами.

— Вотъ послушайте, началъ Истоминъ,—я говорю Меркулу Иванову, чтобъ онъ болѣе не пилъ; что иначе онъ до чортиковъ допьется, а онъ, вотъ послушайте, что отвѣчаетъ.

— Это, помилуй Богъ, Романъ Прокофьичъ, зацѣдилъ сквозь зубы, вздрагивая, натурщикъ.

— Да... а онъ говоритъ... да ну, разсказывай, Меркулъ Иванычъ, что̀ ты говорилъ?

— Я-то, Романъ Прокофьичъ... что это... помилуй Богъ совсѣмъ; я крещеный человѣкъ... какъ онъ можетъ ко мнѣ подходить, дьяволъ?

— А что ты видаешь-то?

— Хххаррри этакія... маски... Романъ Прокофьичъ... это золото... уголь сыпется... разсказывалъ, отпихиваясь отъ чего-то ладонью, натурщикъ.—Ну, что только чччоорта, Романъ Прокофьичъ... Этого никакъ онъ, Романъ Прокофьичъ, не можетъ. Онъ теперь если когда и стоитъ... то онъ издалли стоитъ... онъ золлото это, уголь, все это собираетъ... а ко мнѣ, Романъ Прокофьичъ, не можетъ.

Смѣшно это, точно, разсказывалъ несчастный Голіаѳъ, но ужъ Истоминъ смѣялся надъ этимъ разсказомъ совсѣмъ паче естества, точно вознаграждалъ себя за долговременную тоску и скуку. Онъ катался по ковру, щипалъ меня, трясъ за руку и визжалъ какъ ребенокъ, которому брюшко щекочутъ.

— Ну, а клотовскій форматоръ же что?—заводилъ опять натурщика Истоминъ.

— Т-тотъ... тотъ, Романъ Прокофьичъ, дѣйствительно, что допился, отвѣчалъ, вздыхая, Меркулъ Ивановъ.

— То-то, разскажи имъ, разскажи, какъ онъ допился?

Меркулъ Ивановъ повернулъ голову исключительно ко мнѣ и заговорилъ.

— Уговорились мы, Романъ Прокофьичъ, идти...

— Ты имъ разсказывай, перебилъ его Истоминъ, показывая на меня.

— Я и то, Романъ Прокофьичъ, имъ это, отвѣчалъ натурщикъ.—Уговорились мы, Романъ Прокофьичъ, продолжалъ онъ, глядя на меня,—идти съ нимъ, съ этимъ Арешкой въ трактиръ... Чай, Романъ Прокофьичъ, пить хотѣли. Въ третьей линіи тутъ, изволите знать?

— Ну, знаю!—крикнулъ Истоминъ.

— Я и говорю ему: не пей, говорю, ты, Арешка, водки, потому видишь, говорю, какъ отъ нея послѣ того тягостно. Приходи, зову его, лучше въ шестомъ часу ко мнѣ и пойдемъ въ Третьей линіи чай пить. Только онъ что же, Романъ Прокофьичъ! Я его жду теперь до седьмого часу, а е-его пиподлеца—вотъ нѣту. Я теперь, разумѣется, пошелъ ззза нимъ. Прриххжажу, а онъ, мерзавецъ, лежитъ въ мастерской теперь подъ самыми подъ этими подъ канатами, что, изволите знать, во второй этажъ формы подымаютъ. Голова его теперь пьяная подъ самыми подъ этими канатами и то-то-исть по этимъ, Романъ Прокофьичъ, по канатамъ... чертей! То-есть столько, Романъ Прокофьичъ, чертей вездѣ! И вотъ этакіе, и вотъ этакіе, и вотъ этакіе... какъ блохи, такъ и сидятъ.

Меркулъ Ивановъ плюнулъ и перекрестился.

— Гибель!—продолжалъ онъ.—Я тутъ же, Романъ Прокофьичъ, и сказалъ: пропади ты, говорю, совсѣмъ и съ чаемъ; плюнулъ на него, а съ этихъ поръ, Романъ Прокофьичь, я его, этого подлаго Арешку, и видѣть я не хочу. А на натурѣ мнѣ эту недѣлю, Романъ Прокофьичъ, стоять не позвольте, потому, сй-Богу, весь я, Романъ Прокофьичъ, изслабѣлъ.

Тѣшилъ этотъ наивный разсказъ Истомина безъ мѣры и развеселилъ его до того, что онъ вскочилъ и сказалъ мнѣ:

— Не пройдемся ли провѣтриться? погода ужъ очень, кажется, хороша.

Я былъ согласенъ идти; погода, дѣйствительно, стояла веселая и ясная. Мы одѣлись и вышли.

Не успѣли мы сдѣлать нѣсколько шаговъ къ мосту, какъ нагнали Иду Ивановну и Маню: онѣ шли за какими-то покупками на Невскій.

— Мы пойдемъ провожать васъ, напрашивался я къ Идѣ Ивановнѣ.

— Если вамъ нечего больше дѣлать, такъ провожайте,

отвѣчала она съ своимъ всегдашнимъ спокойно-насмѣшливымъ выраженіемъ въ глазахъ.

Я пошелъ около Иды Ивановны, а Истоминъ какъ-то случайно выдвинулся впередъ съ Манею, и такъ шли мы до Невскаго; заходили тамъ въ два или три магазина и опять шли назадъ тѣмъ же порядкомъ: я съ Идой Ивановной, а Маня съ Истоминымъ. На одномъ какомъ-то поворотѣ мнѣ послышалось, будто Истоминъ говорилъ Манѣ, что онъ никакъ не можетъ забыть ея лица; потомъ еще разъ послышалось мнѣ, что онъ нервнымъ и настойчивымъ тономъ добивался у нея «да или нѣтъ?» и потомъ я ясно слышалъ, какъ, прощаясь съ нимъ у дверей своего дома, Маня робко уронила ему тихое «да».

Вечеромъ въ этотъ день мнѣ случилось проходить мимо домика Норковъ. Пробираясь черезъ проспектъ, я вдругъ замѣтилъ, что въ ихъ темномъ палисадникѣ какъ будто мигнулъ огонекъ отъ сигары.

— Кто бы это тутъ прогуливался зимою?—подумалъ я и рѣшилъ, что это вѣрно Верманъ затворяетъ ставни.

— Herr Werman! — позвалъ я сквозь рѣшотку палисадника.

Сигара спряталась и что-то тихо зашумѣло мерзлымъ кустомъ акаціи.

«Неужто воръ! — но гдѣ же воры ходятъ съ сигарой? Однако, кто же это?»

Я перешелъ на другую сторону и тихо завернулъ за уголъ.

Не успѣлъ я взяться за звонокъ своей двери, какъ на лѣстницѣ послышались шаги, и въ темнотѣ опять замигала знакомая сигара: это былъ Истоминъ.

«И такъ, это онъ былъ тамъ», сказала мнѣ какая-то твердая догадка.

«И что ему нужно? что онъ тамъ дѣлалъ? чего задумалъ добиваться?..»

Это обозлило меня на Истомина и я не старался скрывать отъ него, что мнѣ стало тяжело и непріятно въ его

присутствіи. Онъ на это не обращалъ, кажется, никакого вниманія, но сталъ заходить ко мнѣ рѣже, а я не сталъ ходить вовсе, и такъ мы, ни съ того, ни съ сего, раздвинулись.

Я имѣлъ полное основаніе бояться за Маню: я зналъ Истомина и видѣлъ, что онъ пріударилъ за нею не шутя, а изъ этого для Мани не могло выйти ровно ничего хорошаго.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Опасенія мои начали возрастать очень быстро. Зайдя какъ-то къ Норкамъ, я узналъ, что Истоминъ предложилъ Манѣ уроки живописи. Это *да*, которое я слышалъ при концѣ нашей прогулки, и было то самое «да», которое упрочивало Истомину спокойное мѣсто въ теченіе цѣлаго часа въ день возлѣ Мани. Но что̀ онъ дѣлалъ въ садикѣ? Неужто къ нему выходила Маня? Не можетъ быть. Это просто онъ былъ *влюбленъ*, то-есть сказалъ себѣ: «Камилла быть должна моей, не можетъ быть иначе», и безумствовалъ свирѣпѣя, что она не *его* сейчасъ, сію минуту. Онъ даже могъ вѣрить, что есть какая-то сила, которая заставитъ ее выйти къ нему сейчасъ. Наконецъ, онъ просто хотѣлъ быть ближе къ ней—къ стѣнамъ, въ которыхъ она сидѣла за семейною лампою.

Уроки начались; Шульцъ былъ необыкновенно доволенъ такимъ вниманіемъ Истомина; мать ухаживала за нимъ и поила его кофе, и только одна Ида Ивановна молчала. Я ходилъ рѣдко, и то въ тѣ часы, когда не ожидалъ тамъ встрѣтить Истомина.

Разъ одинъ, въ самомъ началѣ марта, въ сумерки, вдругъ сдѣлалось мнѣ какъ-то нестерпимо скучно: просто вотъ бѣжалъ бы куда-нибудь изъ дому. Я взялъ шапку и ушелъ со двора. Думалъ даже самъ зайти къ Истомину, но у него не дозвонился: оно и лучше, потому что въ такія минуты не утерпишь и, пожалуй, скажешь *грустно*, а мы съ Романомъ Прокофьевичемъ въ эту пору другъ съ другомъ не откровенничали.

Пойду, думаю, къ Норкамъ, и пошелъ.

Прохожу по проспекту и вижу, что подъ окномъ въ магазинѣ сидитъ Ида Ивановна: поклонился ей, она погрозилась и сдѣлала гримаску.

— Что это вы, Ида Ивановна, передразнили меня, кажется?—говорю, входя и протягивая ей черезъ прилавокъ руку.

— А развѣ, спрашиваетъ, видно?

— Еще бы, говорю, не видѣть!

— Вотъ завидные глаза! А я о васъ только сейчасъ думала: что это, въ самомъ дѣлѣ, какая нынче молодежь стала? Помните, какъ мы съ вами хорошо познакомились—такъ просто, славно, и вотъ, ни съ того, ни съ сего, ужъ и раззнакомливаемся: зачѣмъ это?

Я началъ оправдываться, что я и не думалъ раззнакомливаться.

— Эхъ, вы, господа, господа! Вѣтеръ у васъ еще все въ головѣ-то ходитъ, проговорила въ отвѣтъ мнѣ Ида Ивановна.—Нѣтъ; въ наше время молодые люди совсѣмъ не такіе были.

— Какіе жъ, спрашиваю, тогда были молодые люди?

— А такіе были молодые люди — хорошіе, дружные; придутъ, бывало, вечеромъ къ молодой дѣвушкѣ, да сядутъ съ ней у окошечка, начнутъ вотъ вдвоемъ по-просту орѣшки грызть, да разсказывать, что̀ они днемъ видѣли, что̀ слышали—вотъ такъ это молодые люди были; а теперь я ужъ не знаю, съ кого дѣтямъ и примѣръ брать.

— Это, говорю, кажется, ваша правда.

— Да, кажется, что правда; сами въ примѣрахъ нуждаетесь—садитесь-ка вотъ, давайте съ горя орѣхи ѣсть.

Ида Ивановна двинула по подоконнику глубокую тарелку каленыхъ орѣховъ и, показавъ на цѣлую кучу скорлупы, добавила:

— Видите, сколько я одна отстрадала.

— Ну-съ, разсказывайте, что̀ вы подѣлывали? начала она, когда я помѣстился на другомъ стулѣ и вооружился поданной мнѣ вѣсовой гирькой.

— Скучалъ, говорю, больше всего, Ида Ивановна.

— Это мы и сами умѣемъ.

— А я думалъ, что вы этого-то и не умѣете.

— Нѣтъ, умѣемъ; мы только не разсказываемъ этого всѣмъ и каждому.

— А вы развѣ все равно, что всѣ и каждый?

— Да-съ, положимъ, что и все равно. А вы скажите, нѣтъ ли войны хорошей?

— Есть, говорю: китайцы дерутся.

— Это все опять въ пользу дѣтскихъ пріютовъ—умные люди.

— Папа, говорю, боленъ.

— Папа умеръ.

— Нѣтъ, еще не умеръ.

Ида разсмѣялась.

— Вы, должно-быть, говоритъ, совсѣмъ никакихъ игръ не знаете?

— Нѣтъ, говорю, знаю.

— Ну, какъ же вы не знаете, что есть такая игра, что выходятъ другъ къ другу два человѣка съ свѣчами и одинъ говоритъ: «Папа боленъ», а другой отвѣчаетъ: «Папа умеръ», и оба должны не разсмѣяться, а кто разсмѣется, тотъ папа, и даетъ фантъ. А дальше?

— Дальше?—дальше Андерсена сказки по-русски переводятся.

— Ага! то-то, господа, видно, безъ нѣмцевъ не обойдетесь.

— Онъ, спасибо, Ида Ивановна, не нѣмецъ, а датчанинъ.

— Это все равно-съ; ну, а еще что?

— Выставка художественная будетъ скоро.

— Не интересно.

— Нефъ, говорятъ, новую дѣвочку нарисуетъ.

— Пора бы на старости лѣтъ постыдиться.

— Красота!

— Ужасно какъ красиво! Разбейте-ка мнѣ вотъ этотъ орѣхъ.

— Истоминъ нашъ что-то готовитъ, тоже, кажется, изъ міра ваннъ и купаленъ.

Ида улыбнулась, тронула меня за плечо и показала рукою на дверь въ залу. Я прислушался—оттуда былъ слышенъ тихій говоръ.

— Онъ у васъ?—спросилъ я полушопотомъ.

Ида молча качнула головою.

Слышно стало, что говорившіе въ залѣ, замѣтя наше молчаніе, тоже вдругъ значительно понижали голосъ и не знали, на какой имъ остановиться нотѣ. Впрочемъ, я не слыхалъ никакого другого голоса, кромѣ голоса Истомина, и потому спросилъ тихонько:

— Съ кѣмъ онъ тамъ?

— Чего вы шепчете?—проговорила, улыбаясь, Ида.

— Я не шепчу, а такъ...

— Я такъ... Что̀ такъ? Какъ это всегда смѣшно выходитъ!

Ида беззвучно разсмѣялась.

Это и дѣйствительно выходитъ смѣшно, но только смѣшно послѣ, а въ тѣ именно минуты, когда никакъ не заговоришь такимъ тономъ, который бы отвѣчалъ обстановкѣ, это бываетъ не смѣшно, а предосадно.

Если вамъ, читатель, случалось разговаривать рядомъ съ комнатой, въ которой сидятъ двое влюбленныхъ, или если вамъ случалось бесѣдовать съ женщиной, съ которой говорить хочется и нужно, чтобы другіе слышали, что вы не молчите, а въ то же время не слыхали, о чемъ вы говорите съ нею, такъ вамъ объ этомъ нечего разсказывать. Тутъ вы боитесь всего: движенія вашего стула, шелеста платья вашей собесѣдницы, собственнаго кашля,—все васъ, кажется, выдаетъ въ чемъ-то, ото всего вамъ неловко. Для нѣкоторыхъ людей нѣтъ ничего затруднительнѣе, какъ выборъ камертона для своего голоса въ подобномъ положеніи.

— Мутерхенъ моей нѣтъ дома,—проговорила, тщательно разбивая на окнѣ новый крѣпкій орѣхъ, Ида.

— Гдѣ же это она?

— У Шперлинговъ; тамъ, кажется, Кларенькуу замужъ выдаютъ.

Разговоръ опять прервался, и опять Ида, слегка покраснѣвъ и закусивъ нижнюю губку, долго стучала по орѣху; но, наконецъ, это кончилось: орѣхъ разбился. Стала тишь совершенная.

— Вонъ Соважъ пошелъ домой, — проронила, глядя въ окно, дѣвушка.

Я хотѣлъ отвѣтить ей «да», но и этого не успѣлъ, и не успѣлъ по самой пустой причинѣ,—не успѣлъ потому, что въ это мгновенье въ залѣ передвинулся по полу стулъ. Онъ, конечно, передвинулся такъ себѣ, самымъ обыкновеннымъ и естественнымъ образомъ, какъ будто кто пересѣлъ съ мѣста на мѣсто, и ничего болѣе; но и мнѣ, и Идѣ Ивановнѣ вдругъ стало удивительно неловко. Сидѣвшимъ въ залѣ тоже было не ловче, чѣмъ и намъ. Ясно, что они чувствовали эту неловкость, ибо Истоминъ тотчасъ забубнилъ что-то самымъ ненатуральнымъ, сдавленнымъ голосомъ, и въ то же время начало слышаться отчетливое переворачиваніе большихъ листовъ бумаги. Истоминъ произносилъ имена Ніобеи, Эвридики, Психеи, Омфалы, Медеи, Елены.

Маня только пискнула одинъ разъ что-то въ родѣ «да», или «дальше»—даже и разобрать было невозможно.

— Что это, они гравюры разсматриваютъ?

Ида кивнула утвердительно головою и опять съ двойнымъ усиліемъ ударила по орѣху.

Мы больше не могли говорить другъ съ другомъ.

Истоминъ повыровнялъ голосъ и разсказывалъ въ залѣ что-то о Кипридѣ. Все слышались мнѣ имена Гнатэны-Праксителя, Фрины Мегарянки.

Дѣло шло здѣсь о томъ, какъ она, эта Фрина

«не внимая
Шопоту ближней толпы, развязала ремни у сандалій,
Пышныхъ волосъ золотое руно до земли распустила;
Перевязь персей и поясъ лилейной рукой разрѣшила;
Сбросила ризы съ себя и, лицомъ повернувшись къ народу,
Медленно, словно заря, погрузилась въ лазурную воду.

Ахнули тысячи зрителей, смолкли свирѣль и пектида;
Въ страхѣ упавъ на колѣни, всѣ жрицы воскликнули громко:
«Чудо свершается, граждане! Вотъ она, матерь-Киприда».

— Ну-съ, и съ тѣхъ поръ ею плѣненный Праксите. ъ навѣки оставилъ Гнатэну и ушелъ съ Мегарянкою Фрине и навѣки ее сохранилъ въ своихъ работахъ. А когда онъ вдохнулъ ее въ мраморъ, то мраморъ холодный сталъ огненной Фриной,—разсказывалъ Манѣ Истоминъ,—вотъ это и было то чудо.

— А бабушка давно закатилась? — спросилъ я, наконецъ, Иду.

Дѣвушка хотѣла мнѣ кивнуть головою, но на половинѣ склона вздрогнула, быстро вскочила со стула и громко проговорила.

— Вотъ, слава Богу, и мамаша!

Съ этими словами она собрала горстью набросанную на окнѣ скорлупу, ссыпала ее проворно въ тарелку и быстро пошла навстрѣчу матери. Софья Карловна, дѣйствительно, въ это время входила въ дверь магазина.

Въ эти же самыя минуты, когда Ида Ивановна встрѣчала входящую мать, я ясно и отчетливо услыхалъ въ залѣ два, три, четыре раза повторенный поцѣлуй,—поцѣлуй несомнѣнно насильственный, потому что онъ прерывался робкимъ отодвиганіемъ стула и слабымъ, но отчаяннымъ «Бога ради, пустите!»

Теперь мнѣ стали понятны и испугъ Иды, и ея радостный восклицъ:—«Вотъ и мамаша!»

Это все было совершенно по-истоминскн и похоже, какъ двѣ капли воды, на его всегдашнія отношенія къ женщинамъ. Его правило—онъ говорилъ—всегда такое: безъ мѣры смѣлости, изрядно наглости; поднесите все это женщинѣ на чувствительной подкладкѣ, да не давайте ей опомниваться, и я поздравляю васъ съ всегдашнимъ успѣхомъ.

Здѣсь были и смѣлость, и наглость, и чувствительная подкладка, и недосугъ опомниться; неразрѣшеннымъ оставалось: быть ли успѣху?.. А отчего и нѣтъ? Отчего и не

быть? Правда, Маня прекрасное, чистое дитя—все это такъ; но это дитя позволило насильно поцѣловать себя и *прошептало*, а не *прокричало* «пустите!»—Для опытнаго человѣка это обстоятельство очень важно,—обстоятельство, въ девяносто девяти случаяхъ изо ста ручающееся нахалу за непремѣнный успѣхъ.

Такъ точно думалъ и Истоминъ. Самодовольный, какъ дьяволъ, только что заманившій странника съ торной дороги въ пучину, подъ мельничныя колеса, художникъ стоялъ, небрежно опершись руками о притолки въ дверяхъ, которыя вели въ магазинъ изъ залы, и съ фамильярностью самаго близкаго, семейнаго человѣка проговорилъ вошедшей Софьѣ Карловнѣ:

— Тебя, о матерь, срѣтаемъ собрашеся вкупѣ! Приди и открой намъ объятія отчи!

— Ахъ, Романъ Прокофьичъ!—отвѣчала старуха, снимая съ себя и складывая на руки Иды свой шарфъ, капоръ и черный суконный бурнусъ.

— И вы тоже!—обратилась она, протянувъ другую руку мнѣ.—Вотъ и прекрасно; у каждой дочери по кавалеру. Ну, будемъ, что ли, чай пить? Идинька, вели, дружочекъ, Авдотьѣ поскорѣе намъ подать самоварчикъ. А сами туда, въ мой уголокъ, пойдемте, позвала она насъ за собою и пошла въ залу.

Въ залѣ, у небольшого кругленькаго столика, между двумя тѣсно сдвинутыми стульями, стояла Маня. Она была въ замѣшательствѣ и потерянно перебирала кипу желтоватыхъ старыхъ гравюръ, принесенныхъ ей Истоминымъ.

— Рыбка моя тихая, что жъ это ты здѣсь одна?—отнеслась къ ней Софья Карловна.

Маня посмотрѣла съ удивленіемъ на мать, положила гравюру, отодвинула рукою столикъ и тихо поправила волосы.

— Тебя, мою немушу, всегда забываютъ. Молчальница ты моя милая! все-то она у насъ молчитъ, все молчитъ. Идка скверная, всѣхъ къ себѣ позабираетъ, а она, моя горсточка, и сидитъ одна въ уголочкѣ.

— Нѣтъ, мама, со мною здѣсь Романъ Прокофьичъ сидѣлъ, тихо отвѣтила Маня и нѣжно поцѣловала обѣ материны руки.

На лѣвой щечкѣ у Мани пылало яркое пунцовое пятно: это здѣсь къ ея лицу прикасались жадныя уста удава.

— Романъ Прокофьичъ съ тобой сидѣлъ?—ну, и спасибо ему за это, что онъ сидѣлъ. Господи, Боже мой, какія мы, Романъ Прокофьичъ, всѣ счастливыя, начала, усаживаясь въ своемъ уголкѣ за покрытый скатертью столъ, Софья Карловна.—Всѣ насъ любятъ, всѣ съ нами такіе добрые.

— Это вы-то такіе добрые.

— Нѣтъ, право. Ахъ, да! что со мной сейчасъ было...

Софья Карловна весело разсмѣялась.

— Здѣсь, возлѣ моихъ дочерей, возлѣ каждой по кавалеру, а тамъ какой-то господинъ за мною вздумалъ ухаживать.

— Какъ это, мамаша, за вами? — спросилъ Истоминъ, держась совсѣмъ членомъ семейства Норковъ, и даже называя m-me Норкъ «мамашей».

— Да такъ, вотъ, присталъ ко мнѣ дорогой въ провожатые, да и только.

Мы всѣ разсмѣялись.

— Ну, я и говорю у бертинькинаго подъѣзда: «очень, говорю, батюшка, вамъ благодарна, только постойте здѣсь минуточку, я сейчасъ зайду внучковъ перекрещу, тогда и проводите, пожалуйста»,—онъ и драла: стыдно стало, что за старухой увязался.

— Молодецъ, моя мама! — похвалила уставлявшая на столъ чайный приборъ Ида.

— Да, вотъ подите, право, какіе нахалы! Старухамъ, намъ, ужъ и тѣмъ прохода нѣтъ, какъ вечеръ. Вы знаете, вѣдь, что съ Идинькой въ прошломъ году случилось?

— Нѣтъ, мы не знаемъ.

— Какъ же! поцѣловалъ ее какой-то негодяй у самаго нашего дома.

— Вотъ какъ, Ида Ивановна! — отозвался, закручивая усъ, Истоминъ.

— Да-съ, это такъ, довольно небрежно отвѣтила ему, обваривая чай, Ида.

— Ты разскажи, Идоша, какъ это было-то.

— Ну, что, мама, имъ-то разсказывать; это еще и ихъ, пожалуй, выучишь этому секрету.

— Ну, полно-ка тебѣ врать, Ида.

— Мнѣ даже кажется, что Романъ Прокофьичъ въ этомъ чуть ли не участвовалъ.

— Въ чемъ это? Богъ съ вами, Ида Ивановна, что́ это вы говорите?

— А что̀ жъ, вѣдь вы тогда не были съ нами еще знакомы?

— Ну, да, какъ же! станетъ Романъ Прокофьичъ... Перестань, пожалуйста.

— Перестану, мама, извольте, отвѣчала Ида съ нѣсколько комической покорностью, и стала наливать намъ стаканы.

Во все это время она не садилась и стояла передъ самоваромъ на ногахъ.

— Видите, начала Софья Карловна,—вотъ такъ-то часто говорятъ *ничего*, *ничего*; можно, говорятъ, и одной женщинѣ идти; если, дескать, сама не подастъ повода, такъ никто ее и не тронетъ, а выходитъ, что совсѣмъ не ничего. Идетъ, представьте себѣ, Иденька отъ сестры, и еще сумерками только, а за нею вдругъ два господина; одинъ говоритъ: «я ее поцѣлую», а другой говоритъ: «не поцѣлуешь»; Идочка бѣжать, а они за нею; догнали у самаго крыльца и поцѣловали.

— Такъ и поцѣловали?

— Такъ и поцѣловали.

— Ида Ивановна! да какъ же вы это оплошали? Какъ же васъ поцѣловали, а? — разспрашивалъ съ удивленіемъ Истоминъ.

— Очень просто, отвѣчала Ида, — взяли за плечи, да и поцѣловали.

— И вы ему не плюнули въ лицо?

— Ну, такъ! чтобъ онъ еще меня приколотилъ?

— Экъ, куда хватили—такъ ужъ и приколотитъ?

— А что жъ, отъ васъ всего дождешься, добавила, улыбаясь, Ида.

— Мнѣнія, стало-быть, вы о мужчинахъ невысокаго, Ида Ивановна?—пошутилъ художникъ.

— Извольте, мама, вамъ чаю, проговорила Ида матери, а Истомину не отвѣтила ни слова, будто и не разслышала его вопроса.

— Благодарю, Идочка.

Софья Карловна хлебнула чаю и вдругъ затуманилась.

— Ужасно, ей-Богу, — начала она, мѣшая ложкой, — береги, корми, лелѣй дитя, вѣтра къ нему не допускай, а первый негодяй хвать ее и обидитъ. Шперлинги говорятъ: устроимъ уроки, чтобъ музыкѣ дѣтей учить. Конечно, оно очень дешево, но, вѣдь, вотъ какъ подумаешь, что надо вечеромъ съ одной дѣвкой посылать, такъ и Богъ съ ними, кажется, и уроки.

— Ничего, сказала, подумавъ, Ида.

— Какъ, мой дружокъ, ничего-то? Ты дѣвушка взрослая, а она дитя.

— Это еще, вѣдь, нескоро, мама; тогда успѣемъ еще подумать.

— Успѣть-то, конечно... А я это... Да, ну, видѣла я, Идочка, жениха. Не нравится онъ мнѣ, мой дружочекъ: во-первыхъ, старъ онъ для нея, а во-вторыхъ, такъ что-то... не нравится, а она, говорятъ, будто его любитъ, да я этому не вѣрю.

— Не знаю, мамочка.

— Говорятъ, что любитъ; да только вздоръ это, я думаю. Ужъ кто кого любитъ, такъ это видно.

Ида промолчала и, взявъ въ руки одну изъ принесенныхъ сюда сестрою гравюръ, посмотрѣла ее и тотчасъ же равнодушно положила снова на мѣсто.

— У васъ, Ида Ивановна, есть идеалъ женщины? — спросилъ Истоминъ.

— Есть-съ, отвѣчала, улыбнувшись, Ида.

— Покажите намъ ее здѣсь.

— Здѣсь нѣтъ ея.

— Кто же это такая?—Антигона вѣрно?

— Нѣтъ, не Антигона.

— Нѣтъ, безъ шутокъ, скажите, пожалуйста, какой изъ всѣхъ извѣстныхъ вамъ женщинъ вы больше всѣхъ сочувствуете?

— Моей мамѣ, отвѣтила спокойно Ида и отправилась къ бабушкѣ съ кружкою шалфейнаго питья, приготовленнаго на ночь старушкѣ.

— Романъ Прокофьичъ!—тихо позвала Софья Карловна художника.

Истоминъ нагнулся.

— Какая, я говорю, у меня дочь-то!

— Это вы объ Идѣ Ивановнѣ?

— Да, Идочка-то; я о ней вамъ говорю. Вѣдь это, истинно надо сказать правду, счастливая и пресчастливая я мать. Вы знаете, какъ это странно, вотъ я нынче часто слышу, многіе говорятъ, и Фрицъ тоже любитъ спорить, что снамъ не должно вѣрить, что будто сны ничего не значатъ; а я, какъ хотите, ни за что съ этимъ не могу согласиться. Мы все съ Авдотьюшкой другъ другу сны разсказываемъ.—Старуха подвинулась къ Истомину и заговорила:—Представьте вы себѣ, Романъ Прокофьичъ, что когда я была Идинькой беременна... Маничка, выйди, моя крошечка; поди тамъ себѣ пелериночку поправь.

Маня, слегка покраснѣвъ, встала и вышла за сестрою.

— Да; такъ вы представьте себѣ, Романъ Прокофьичъ, девять мѣсяцевъ кряду, каждую ночь, каждую ночь мнѣ все снилось, что меня какой-то маленькій ребенокъ грудью кормитъ. И что жъ бы вы думали? Родила я Идочку, какъ разъ вотъ, рѣшительно, какъ двѣ капли воды, то самое дитя, что̀ меня кормило... Боже мой! Боже мой! вы не

знаете, какъ я сокрушаюсь о моемъ счастьѣ! Я такая счастливая мать, такая счастливая мать, такія у меня добрыя дѣти, что я боюсь, боюсь... не могу я быть спокойна. Ахъ, не могу быть спокойна!

Истоминъ, мнѣ показалось, смутился при выраженіи этой внезапной и неудержимой грусти Софьи Карловны. Онъ хотѣлъ ее уговаривать, но это ему не удавалось.

— Представьте себѣ, если посудить здраво, продолжала старуха,—вѣдь сколько есть на свѣтѣ несчастныхъ родителей—вѣдь это ужасъ! Вѣдь это, Романъ Прокофьичъ, самое большое несчастіе. У кого нѣтъ дѣтей, говорятъ, горе, а у кого дурныя дѣти—вдвое. Ну, а я—чѣмъ я этого достойна... старуха пригнулась къ полу и, какъ будто поднимая что-то, со страхомъ и благоговѣніемъ шептала:—чѣмъ я достойна, что у меня дѣти... ангелы?.. Мои ангелы! мои ангелы!—заговорила она громко при появленіи въ эту минуту въ дверяхъ обѣихъ дочерей своихъ.

— Идинька! Идинька! дитя мое! другъ мой!—звала она и, раскрывъ дрожащія руки, безъ всякой причины истерически заплакала.—Идочка! ангелъ, министръ мой, что мнѣ все что-то кажется страшное; что̀ мнѣ все кажется, что у меня берутъ васъ, что мы разстаемся!

Она обхватила руками шею дочери и, не переставая дрожать и плакать, жарко цѣловала ее въ глаза, въ лобъ и въ голову.

— Успокойтесь, мама, я всегда буду съ вами.

— Со мною, да, со мною!—лепетала Софья Карловна,—да, да, ты со мною. А гдѣ же это моя нѣмушка, искала она глазами по комнатѣ и, отпустивъ Иду, взяла младшую дочь къ себѣ на колѣни.—Нѣмуша моя! рыбка нѣмая! что ты все молчишь, а? Когда жъ ты у насъ заговоришь-то? Романъ Прокофьичъ! когда она у насъ заговоритъ? обратилась опять старуха къ Истомину, заправляя за уши выбѣжавшую косичку волосъ Мани.—Идинька, вели, мой другъ, убирать чай.

Ида кликнула кухарку и стала сама помогать ей, а

Софья Карловна еще разъ поцѣловала Маню и, сказавъ ей:—Поди, гуляй, моя крошка, сама поплелась за свои ширмы.

— Идочка, бабушка давно легла? — спрашивала она оттуда.

— Давно, маманя, отвѣтила Ида, уставляя въ шкафы перемытую посуду и, положивъ на карнизъ шкафа ключъ, сказала мнѣ:

— Пойдемте, пожалуйста, немножко пройдемтесь, голова страшно болитъ.

Когда мы проходили залу, Истоминъ стоялъ попрежнему съ Маней у гравюръ.

— Куда ты?—спросила Маня сестру.

— Хочу пройтись немножко; у меня страшно голова болитъ.

— Это вамъ честь дѣлаетъ, вмѣшался Истоминъ.

— Да, значитъ, голова есть; я это знаю, отвѣчала Ида, и стала завязывать передъ зеркаломъ ленты своей шляпы. Ей, кажется, хотѣлось, чтобы и Маня пошла съ нею, но Маня не трогалась. Истоминъ вертѣлся: ему не хотѣлось уходить и неловко было оставаться.

— Ида Ивановна,—спросилъ онъ, переворачивая свои гравюры,—да покажите же, пожалуйста, какая изъ этихъ женщинъ вамъ больше всѣхъ нравится! Которая ближе къ вашему идеалу?

— Ни одна, довольна сухо на этотъ разъ отвѣтила Ида.

— Безъ шутокъ? У васъ нѣтъ и идеала?

— Я вамъ этого не сказала, а я сказала только, что здѣсь нѣтъ ея, произнесла дѣвушка, спокойно вздергивая на пажи свою верхнюю юбку.

— А кто же, однако, такая, вашъ идеалъ?

— Мать Самуила.

— Вонъ кто!.. Родители мои, что за елейность! за что бы это она въ такой фаворъ попала?

— За то, что она воспитала такого сына, который былъ и людямъ милъ, и Богу любезенъ.

Истоминъ промолчалъ.

— А вашъ идеалъ, сколько я помню, Анна Денманъ?

— Анна Денманъ, отвѣчалъ съ поклономъ художникъ.

— То-то, я это помню.

— И должны сознаться, что мой идеалъ гораздо лучше вашего.

— Всякому свое хорошо.

— Нѣтъ-съ, не все хорошо! Если бы вы, положимъ, встрѣтили свой идеалъ, что жъ бы, какія бы онъ вамъ принесъ радости? Вы могли бы ему поклониться до земли?

— Да.

— А я свой могъ бы цѣловать.

— Вотъ это, въ самомъ дѣлѣ, не входило въ мои соображенія, отшутилась Ида.

— Да какъ же! Это, вѣдь, тоже — «всякому свое». Въ пѣснѣ поется:

Сѣй мати мучицу,
Пеки пироги;
Къ тебѣ будутъ гости,
Ко мнѣ женихи;
Тебѣ будутъ кланяться,
Меня цѣловать.

Романъ Прокофьичъ, видно, вдругъ совсѣмъ позабылъ даже, гдѣ онъ и съ кѣмъ онъ. Цѣли, ближайшія цѣли его занимали такъ, что онъ даже склоненъ былъ не скрывать ихъ и поднести почтенному семейству даръ свой, не завертывая его ни въ какія бумажки.

Ида не отвѣтила ему ни слова.

— Мама!—крикнула она, идучи къ двери, — посидите, дружокъ мой, въ магазинѣ. Запирать еще рано—я сейчасъ вернусь.

Мы обошли три линіи, не сказавъ другъ другу ни слова; дорогой я два или три раза начиналъ пристально смотрѣть на Иду, но она не замѣчала этого и твердой походкой шла, устремивъ неподвижно свои глаза впередъ. При блѣдномъ

лунномъ свѣтѣ она была обворожительно хороша и характерна.

Когда мы повернули къ ихъ дому, я рѣшился сказать ей, что она, кажется, чѣмъ-то очень разстроена.

— Нѣтъ, чѣмъ же разстроена? У меня просто голова болитъ невыносимо, отвѣтила она, и съ тѣмъ мы съ нею и простились у ихъ подъѣзда.

«А что это Софья Карловна все такъ совѣщательно обращается къ почтенному Роману Прокофьичу?—раздумывалъ я, оставшись самъ съ собою.—Плѣнилъ онъ ее просто своей милой короткостью, или она задумала женихомъ его считать для Мани?»

«Не быть этому и не бывать, моя Божья старушка. Не нужна ему Анна Денманъ, съ руки ему больше Фрина-Мегерянка», рѣшилъ я себѣ, и не одинъ я такъ рѣшалъ себѣ это.

Вскорѣ послѣ того, такъ во второй половинѣ марта, Ида Ивановна зашла ко мнѣ, посидѣла, повертѣлась на какомъ-то общемъ разговорѣ и вдругъ спросила:

— Вы, кажется, немножко разладили съ Истоминымъ?

— Не разладилъ, отвѣчалъ я, — а такъ что-то въ родѣ черной кошки между нами пробѣжало.

— Я это замѣтила, отвѣчала Ида, и черезъ минуту добавила:—если вы насъ любите, поговорите-ка вы съ нимъ хорошенько...

Удивительные глаза Иды Ивановны диктовали, о чемъ я долженъ поговорить.

— Хорошо, Ида Ивановна, я поговорю.

— Вы помните, какъ мы съ вами ѣли недавно орѣхи?

— Помню-съ?

— Я думаю, ни одинъ человѣкъ въ своей жизни не съѣлъ за одинъ разъ столько этой гадости, сколько я ихъ тогда перегрызла. Это, понимаете, отчего такъ ѣлось?.. Это я себя кусала, потому что во мнѣ вотъ что происходило.

Ида, наморщивъ лобъ, повернула рукою возлѣ своего сердца.

— У меня ужасный слухъ, особенно когда я слышу то, чего не хотѣла бы слышать.

Ова вздохнула.

— Я обо всемъ поговорю, сказалъ я.

Дѣвушка пожала мнѣ руку, сказала:

— Пожалуйста, поговорите, и ушла.

На другой день я зашелъ утромъ къ Истомину. Онъ былъ очень привѣтливъ и держалъ себя такъ, какъ будто между нами передъ этимъ не было никакого дутья другъ на друга.

— Вы не знаете, началъ онъ весело, — какія на меня нынче посыпались напасти? Я, вѣдь, вчера совсѣмъ чуть не разссорился съ Шульцемъ.

— За что это?

— А вотъ подите! Берта Ивановна разсуждала обо мнѣ, какой я негодный для жизни человѣкъ, и сказала, что если бы она была моею женой, такъ она бы меня кусала; а я отвѣчалъ, что я могу доставить ей это удовольствіе и въ качествѣ чужой жены. Я, молъ, очень люблю, когда хорошенькія женщины приходятъ въ такое состояніе, что желаютъ кусаться. А она, дура, сейчасъ расплакалась. Да, впрочемъ, чортъ съ ними! Я былъ и радъ; очень ужъ надоѣло это столь постоянное знакомство.

— А у Норковъ какъ?

— Тамъ... мы занимаемся, сказалъ, принимая серьезное выраженіе, Истоминъ.

— И успѣваете?

Художникъ взглянулъ на меня, улыбнулся и, расправляя усъ, отвѣчалъ:

— И успѣваемъ

— А далѣе что̀ будетъ, Романъ Прокофьичъ?

— А-а! Вы вѣрно ко мнѣ и волей и неволей, и своей охотой. Почтенное семейство, вѣрно, ужъ не радо и дешевизнѣ? Успокойте ихъ, пожалуйста: это, вѣдь, полезно дѣвочкамъ—это ихъ развиваетъ.

— А если этого развитія, Романъ Прокофьичъ, не желаютъ совсѣмъ? Если его боятся?

— Да вздоръ все это! совсѣмъ никто ничего и не боится, а это все Идиша эта сочиняетъ. Этакой, чортъ ее возьми, крендель выборгскій, проговорилъ онъ съ раздраженіемъ садясь къ столу, и тутъ же написалъ m-me Норкъ записку, что онъ искренно сожалѣетъ, что, по совершенному недосугу, долженъ отказаться отъ уроковъ ея дочери. Написавъ это, онъ позвалъ своего человѣка и велѣлъ ему отнести записку тотчасъ же къ Норкамъ.

Послѣ этого мы опять встрѣчались съ Истоминымъ изрѣдка и только на минуты, а къ тому же настала весна— оба мы спѣшили разстаться съ пыльнымъ Петербургомъ и оба въ половинѣ апрѣля уѣхали: я на Днѣпръ, а Истоминъ въ Ялту.

Въ послѣднее время моего пребыванія въ Петербургѣ мы съ Идой Ивановной ничего не говорили о Манѣ, и я, признаюсь, не замѣчалъ въ Манѣ никакой перемѣны; я и самъ склоненъ былъ думать, что Ида Ивановна все преувеличиваетъ и что опасенія ея совершенно напрасны; но когда я пришелъ къ нимъ, чтобы проститься передъ отъѣздомъ, Ида Ивановна сама ввела меня во всѣ свои опасенія.

Это было вечеромъ, въ довольно поздніе весенніе сумерки. Мани и m-me Норкъ не было дома. Я только простился со старушкой-бабушкой и вышелъ снова въ магазинъ къ Идѣ Ивановнѣ. Дѣвушка сидѣла и вязала какую-то косынку.

— Присядьте, сказала она, — посидимте вдвоемъ напослѣдяхъ.

Я сѣлъ.

— Истоминъ тоже ѣдетъ?—спросила Ида.

— Да, онъ ѣдетъ.

— Зачѣмъ онъ пересталъ совсѣмъ бывать у насъ? Какъ это нехорошо съ его стороны!

— Вѣдь вы же сами, Ида Ивановна, говорю, этого желали.

— Нѣтъ, я этого никогда не желала, отвѣчала она тихо, покачавъ головою. — Я желала, чтобы не было болѣе уроковъ—это правда, я этого желала; но чтобы онъ совсѣмъ пересталъ къ намъ ходить, чтобы показалъ этимъ пренебреженіе къ нашему семейству... я этого даже не могла пожелать.

— Да что̀ жъ вамъ до этого пренебреженія?

— Да я совсѣмъ не о пренебреженіи говорю.

— А для всего другого это еще лучше.

— Нннѣтъ! Из-звините! не лучше, а это очень нехорошо; «для всего остального» это ужасно нехорошо! Я понимаю эту скверную, злую тактику и вы ее тоже сейчасъ поймете, сказала она, вставая, и чрезъ минуту возвратилась съ знакомымъ мнѣ томомъ Пушкина.

— Это что̀ такое? — спросила она, поднося къ моимъ глазамъ развернутую книгу и указывая пальцемъ на кланцифру.

— «Моцартъ и Сальери», прочиталъ я.

— А это?—спросила Ида тѣмъ же тономъ и водя пальцемъ по чуть замѣтнымъ желтоватымъ пятнамъ на бумагѣ.

— Слезы, что-ль?—отвѣчалъ я, недоумѣвая.

— А это слезы!—произнесла, возвысивъ голосъ, Ида и съ холоднымъ презрѣніемъ далеко отшвырнула отъ себя книгу.

Такъ я оставилъ семейство Норковъ на цѣлое лѣто.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Украинская осень удержала меня до тѣхъ поръ, пока бѣлые днѣпровскіе туманы совсѣмъ перестали о полуночи спускаться облачною завѣсою и зарею взмывать волнами къ голубому небу. Я переѣхалъ днѣпровскій мостъ въ послѣднихъ числахъ ноября мѣсяца; пострадалъ дней десять въ дорогѣ и, наконецъ, измученный явился въ Петербургъ.

Здѣсь ужъ было очень холодно и, по обыкновенію, сыро, что̀, впрочемъ, все-таки идетъ Петербургу гораздо болѣе, нежели его демисезонное лѣто, которое ему совсѣмъ не къ лицу, не къ чину и не къ характеру, которое ему никогда не удается, да и вовсе ему ненужно: зима съ окаменѣвшею Невою, съ катками, оперой и съ газомъ въ фонаряхъ ему гораздо больше кстати.

А лѣтомъ скученъ этотъ городъ
Съ его туманомъ и водой!

Не дай вамъ Богъ, свѣжій человѣкъ, пріѣхать сюда впервые лѣтомъ: здѣсь нѣтъ ничего, чѣмъ тепло и мило лѣто въ нашихъ пыльныхъ Кромахъ и въ Пирятинѣ:

Нѣтъ милыхъ сплетень—все сурово;
Законъ сидитъ на лбу людей,
Все удивительно и ново,
А нѣту теплыхъ новостей.

Своей волею я никогда не поѣду въ Петербургъ лѣтомъ и никому этого не посовѣтую. Въ тотъ годъ, къ которому относится мой разсказъ, я пріѣхалъ сюда осенью. Запасшись той благодатной силой, которую льетъ въ изнемогшій составъ человѣка украинское свѣтлое небо—это чудное, всеобновляющее небо, подъ которое знакомая съ нимъ душа такъ назойливо просится, подъ которое вѣчно что-то манитъ неизбалованнаго природой русскаго художника и откуда—увы!—также вѣчно гонятъ его на сѣверъ ханжи, мораль и добродѣтель. Истомина я уже засталъ въ Петербургѣ; онъ вернулся сюда назадъ тому мѣсяца два, успѣлъ осмотрѣться и работалъ; даже, по собственнымъ его словамъ, очень усердно и учень успѣшно работалъ. Встрѣтились мы съ нимъ пріятелями; разсказали другъ другу, какъ кто провелъ лѣто; а о Норкахъ ни я его ничего не спросилъ, ни онъ мнѣ не сказалъ ни слова.

Мнѣ, какъ обыкновенно бываетъ послѣ долгой отлучки, предстояло много непріятныхъ хлопотъ; прозябшая квартира отогрѣвалась плохо; вездѣ, кромѣ одной комнаты, примыкавшей къ мастерской Истомина, подъ потолками дер-

жалась зелеными облаками вредная сырость; окна холодно плакали и мерзли; все было не на своемъ мѣстѣ и ни къ чему не хотѣлось притронуться. «Прислуга» моя, соблюдавшая до сихъ поръ непростительную экономію на топливѣ, теперь, въ моихъ же интересахъ, непремѣнно хотѣла привести все въ должный порядокъ двумя своими старческими руками, и оттого все у насъ съ нею шло ужасно медленно. Прошла недѣля со дня моего возвращенія въ Петербургъ, а я все еще ютился въ одной комнатѣ: ни къ кому изъ знакомыхъ не показывалъ глазъ и только сумерками выходилъ пройтись по набережной и тѣмъ же слѣдомъ назадъ домой.

Два или три раза, когда я возвращался съ этихъ прогулокъ, навстрѣчу мнѣ на нашей лѣстницѣ попадалась какая-то востроглазая, черненькая дѣвочка, лѣтъ восемнадцати, одѣтая въ темное шерстяное платье, фланелевый клѣтчатый салопъ и красный терновый капоръ. Такъ какъ по этой лѣстницѣ въ цѣломъ этажѣ не жило никого, кромѣ меня и Истомина, то мнѣ нѣсколько разъ приходило въ голову, что̀ это за дѣвушка и куда она ходитъ? Я даже освѣдомился объ этомъ у своей Эрнестины Крестьяновны, но моя «прислуга» не могла дать мнѣ на этотъ счетъ никакого опредѣленнаго отвѣта. Потомъ, случилось мнѣ какъ-то дня черезъ два выйти изъ дому часу въ девятомъ вечера, и только что я переступилъ порогъ своей двери, какъ у дверей Истомина предсталъ мнѣ знакомый красный капоръ. При моемъ появленіи, капоръ быстро повернулся ко мнѣ спиною и сильно дернулъ два раза мѣдную шишку звонка.

Дверь Истомина отворилась, и голосъ Янка сказалъ гостьѣ:

— Оборвешь такъ, востроглазая!

Что̀ же еще было добиваться, что̀ это за дѣвица? Человѣкъ же былъ и Янко; нуженъ же былъ, разумѣется, и ему свой романъ въ жизни.

Позднѣйшія обстоятельства показали, что правильное появленіе вечерами на нашей лѣстницѣ этой востроглазой

дѣвушки, въ самомъ дѣлѣ, было достойно особеннаго вниманія, но что хотя Янко, въ качествѣ живого человѣка, имѣлъ полнѣйшее право на свой собственный романъ въ Петербургѣ, однакоже, тѣмъ не менѣе, эта востроглазая особа совсѣмъ не была героинею его романа.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Есть на свѣтѣ такіе люди (и ихъ очень не мало), которые необыкновенно легко привязываются ко всему: къ мѣстамъ, къ людямъ, къ собакамъ, къ изношеннымъ туфлямъ, къ дерзкой прислугѣ и къ старому халату. Такіе люди разлучаются съ предметами своей привязанности только въ случаѣ самой крайней необходимости, или по причинамъ отъ нихъ независящимъ; да и то для нѣкоторыхъ изъ такихъ людей всякая подобная разлука необыкновенно тяжела и долгое время совершенно невознаградима, а иногда и совсѣмъ непереносна. Я зналъ одного человѣка, очень умнаго, образованнаго и въ своемъ родѣ стоика, который съ геройскимъ мужествомъ переносилъ отъ своей жены самыя страшныя семейныя сцены за привязанность къ старому ватному халату; и у этого халата ниже поясницы давно была огромная дыра, обшлага мотались бахрамою, углы полъ представляли рядъ сметанныхъ на живую нитку лентъ или покромокъ. Этотъ привязчивый человѣкъ, опасаясь за судьбу своего износившагося друга, самъ тщательно запиралъ его въ гардеробный шкафъ и всячески охранялъ его отъ рукъ давно покушавшейся на него супруги. Но, не смотря на все это, драгоцѣнный халатъ все-таки въ одинъ прекрасный день исчезъ изъ гардероба и на мѣстѣ его висѣлъ новый. Такимъ это было горемъ для моего знакомаго, что у него чуть не развилась настоящая nastalgia со всѣми явленіями рекрутской тоски по родинѣ. Прошли съ тѣхъ поръ цѣлые годы, а онъ все, глядишь, при какомъ-нибудь разговорѣ о хорошихъ вещахъ и заговоритъ: «нѣтъ, вотъ, господа, былъ у меня одинъ разъ халатъ, такъ ужъ никогда у меня такого халата не будетъ—мяконькій, пріятный!»

— Да помилуйте, утѣшали его, у васъ и этотъ халатъ прекрасный.

— Ну, ужъ какой же это прекрасный халатъ! Какъ его можно назвать прекраснымъ!—возражалъ мой знакомый.— Тотъ халатъ, я вамъ говорю, былъ такой, что сидишь въ немъ, бывало, точно въ литерной ложѣ въ Большомъ театрѣ.

Я тоже имѣю несчастіе принадлежать къ несчастному разряду людей, одаренныхъ непрактичною способностью привыкать и привязываться къ вещамъ, къ мѣстамъ и— что̀ всего опаснѣе—къ людямъ.

Пока моя запущенная квартира устраивалась и приводилась въ порядокъ, я по необходимости держался одного моего кабинетца, или даже, лучше сказать, одного дивана, который стоялъ у завѣшанной сукномъ двери на половину Истомина; и такъ я за это время пріучился къ этому уголку, что когда въ жилищѣ моемъ все пришло въ надлежащій порядокъ, я и тогда все-таки держался одного этого угла.

Одинъ разъ, въ самыя сумерки, усталый болѣе чѣмъ когда-либо, я почувствовалъ легкую нервную дрожь, завернулся въ теплый мерлушичій тулупчикъ, прилегъ въ уголокъ дивана и забылся очень крѣпкимъ и сладкимъ сномъ. Снилась мнѣ золотая Украйна, ея рѣки глубокія и чистыя, сѣдые глинистые берега, покрытые блѣдно-голубою каймою цвѣтущаго льна; лица, лица, ненавистно-милыя лица, сто̀ившія столькихъ слезъ, столькихъ терзающихъ скорбей и гнетущаго горя, и вдругъ все это тряслось, рѣдѣло, замѣнялось темнымъ боромъ, въ которомъ лохматою вѣдьмою носилась метель и съ дикимъ визгомъ обсыпала тонкими, иглистыми снѣжинками лукавую фигуру лѣшаго, а самъ лѣшій сидѣлъ гдѣ-то подъ сосною и, не обращая ни на что вниманія, подковыривалъ пенькою старый лыковый лапоть. Смѣнялась и эта картина, и шевелилось передо мною какое-то огромное, ослизшее, холодное чудовище, съ миріадами газовыхъ глазъ на черномъ, шевелящемся тѣлѣ, по которому ползли, скакали, прыгали и спотыкались куда-то вѣчно спѣшащіе люди; слышались сиплыя рѣчи, дѣтскіе

голоса, распѣвающіе подъ звуки разбитыхъ шарманокъ, и темный уголъ моей комнаты, въ окнѣ которой слабо мерцалъ, едва достигавшій до него свѣтъ уличнаго фонаря. Мнѣ все спалось; спалось нѣсколько слабѣе, но еще слаще и, ютясь все крѣпче въ уголокъ моего дивана, я вдругъ услыхалъ, какъ чей-то маленькій голосъ откуда-то изъ-подъ шерстяной обивки говорилъ кому-то такія ласковыя рѣчи, что именно, кажется, такія рѣчи только и могутъ прислышаться во снѣ. Никакъ я не могъ запомнить этихъ хорошихъ словъ и сталъ просыпаться.

— Мой идолъ... идолъ... и-д-о-л-ъ!—съ страстнымъ увлеченіемъ говорилъ маленькій голосъ въ минуту моего пробужденія.—Какой ты пріятный, когда ты стоишь на колѣняхъ!.. Какъ я люблю тебя, какъ много я тебѣ желаю счастья! Я вѣрю, я просто чувствую, я знаю, что тебя ждетъ слава; я знаю, что вся эта мелкая зависть передъ тобою преклонится и женщины толпами цѣлыми будутъ любить тебя, боготворить, съ ума сходить. Моя любовь читаетъ все впередъ, что̀ будетъ; она чутка, мой другъ! мой превосходный, мой божественный художникъ!

Романъ Прокофьевичъ сдѣлалъ слабое, чуть слышное движеніе.

— Постой, постой!—остановилъ его маленькій голосъ.—Останься такъ; постой передо мной на колѣняхъ. Я такъ люблю ласкать тебя, мой славный. Ты такъ *высокъ*, что я не достаю твоихъ кудрей, когда ты встанешь. А я люблю, какъ я люблю вотъ эти черныя, вотъ эти демонскія кудри!.. Охъ, когда бъ ты зналъ, какъ я люблю тебя, мой Ромцю! Какъ много я тебѣ желаю счастья, славы и... любви... Постой, постой!.. дай мнѣ сказать тебѣ про все. Ты знаешь.. я дышать не могу, когда вдвоемъ съ тобою. Въ груди тутъ у меня, нѣтъ... это... нѣтъ ничего того, что тамъ у всѣхъ бываетъ, а только—сердце. Огромное, во всей груди все сердце... и въ этомъ сердцѣ все огонь; огонь и рана, Ромцю... И мнѣ такъ хочется тогда... вотъ и теперь... такое что-то сдѣлать для тебя... что̀ было бъ выше силъ мо-

ихъ... Когда бы зналъ, какъ хочется мнѣ быть для тебя несчастной... такой несчастной, чтобы мое несчастье испугало бы всѣхъ... а чтобы ты... О, чтобы ты былъ счастливъ! счастливъ!.. и чтобы это счастье я тебѣ купила! Но... я не знаю... а ты не говоришь, что̀ сдѣлать для тебя. Какъ мнѣ погибнуть? какъ? Учи меня, учи, учи скорѣе, Ромцю...

Маленькій голосъ задрожалъ и продолжалъ, трясясь и млѣя:

— Мнѣ снилось разъ, какое счастье... Не помню, я чего-то начиталась, усталая уснула, и вижу, что на тебѣ вѣнокъ, и что тебя везутъ въ какой-то колесницѣ; что женщины всѣ на колѣняхъ стоятъ передъ тобою и говорятъ про что-то, про славу, про любовь или еще про что-то... а я ничего не умѣю сказать тебѣ. Не умѣю даже сказать, что я люблю тебя и... Постой, Ромцю! Постой, не уходи... Я бросилась подъ лошадей твоихъ и ихъ копыта, и эти острыя колеса впились мнѣ въ грудь... и такъ легко мнѣ было, Ромцю. Ахъ, какъ легко! ахъ, какъ легко!—какое было счастье! О, гдѣ тотъ Римъ, въ который я могу нести вслѣдъ за тобой твой мольбертъ, холстъ, твою палитру, краски... Боже! Боже! какія горести, какое зло Ты можешь мнѣ послать, чтобъ я забыла за ними благословлять Тебя, если только одинъ лучъ его славы упадетъ на мою голову? Оставь, брось этотъ страшный городъ! Брось деньги, брось, возненавидь ихъ... Пойдемъ! Пойдемъ отсюда, мой Ромцю! Мы станемъ жить одни, тихонько; къ намъ не заглянетъ скука—не бойся. И когда ты будешь счастливъ, славенъ... и тогда... О, что̀ жъ тогда?.. О, говори мнѣ, что̀ жъ тогда, когда всѣ будутъ знать, что я тебя лелѣяла, что я тебѣ служила... что я твой другъ!..

— Что ты моя любовь.

— Что я твоя любовь!.. О, нѣтъ, не нужно, чтобы это знали, пока я буду жить... Нѣтъ... тогда... я поскорѣй умру, и на моей могилѣ пускай напишутъ, что ты любилъ меня! Живой ты мнѣ одной, наединѣ... скажи одно *спасибо*.

— А ты мнѣ чѣмъ отвѣтишь?

Вышла коротенькая паузка, послѣ которой слабый голосокъ стыдливо и восторженно сказалъ:

— Я чѣмъ отвѣчу?

— Поцѣлуемъ?

— Да.

— Однимъ?

— Ахъ, полно говорить объ этомъ!

— Милліономъ, если хочешь.

— Милліонъ, милліонъ! охъ, какъ далеко тотъ милліонъ!

Истоминъ смолчалъ секунду и прошепталъ:

— Сейчасъ... теперь... сію минуту...

— Руки! руки больно! руки!

— Одинъ, сейчасъ въ задатокъ! Сейчасъ, сейчасъ—онъ все равно одинъ изъ моего милліона.

— Одинъ... ты лжешь; ты страшенъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего, не бойся. Я вѣдь одинъ.

Она была въ смущеніи и молчала.

— Отказъ?

— Нѣтъ; на́, цѣлуй.

— Да; разъ... одинъ, но безконечный!—и онъ смялъ и задушилъ ее въ своихъ объятіяхъ.

Позднѣе опять слышался разговоръ, но такой частый, что его понять было невозможно; слова неслись какъ мелкій песокъ, сгоняемый вѣтромъ съ пригорка въ долину. Мнѣ опять стало спаться и стала сниться эта долина, сухая, сѣрая, пыльная, безъ зелени, совсѣмъ безъ признака жизни; вѣтеръ гналъ въ нее тучи песчаной пыли, свивалъ ихъ столбомъ облачнымъ и шибко поднималъ вихремъ къ небу. Въ самой серединѣ этого крутящагося сѣраго столба мелькала тоже совершенно сѣрая, изъ пыли скатанная человѣческая фигура; она долго вертѣлась валуномъ и, наконецъ, разсыпалась, и когда она разсыпалась, я увидалъ, что это была бабушка Норкъ.

Я проснулся совсѣмъ; за стѣной у меня было все тихо; на улицѣ мерцали фонари; гдѣ-то ныла разбитая шарманка и подъ ея унылые звуки разбитый голосъ пѣлъ:

Танценъ дами, стидъ откиновъ,
Кавалеренъ безъ затѣй,

Схватитъ дѣвишка, обниметъ,
И давай вертѣться съ ней.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Былъ вскорѣ за этимъ новый человѣконенавистный петербургскій день съ семью различными погодами, изъ которыхъ самая лучшая въ одно и то же время мочила и промораживала. Пробитый насквозь чичеромъ, чередовавшимся съ гнилою мокрядью и морозомъ, я возвратился домой съ насморкомъ и лихорадочнымъ ознобомъ, и совсѣмъ больной, укутавшись потеплѣе, повалился на свой уютный диванъ. Дышалось мнѣ тяжело и во всемъ тѣлѣ безпрестанно ощущалась непріятная наклонность вздрагивать; но, тѣмъ не менѣе, я, должно-быть, заснулъ очень скоро, потому что скоро же очень изъ моей пустой и темной залы стали доноситься до меня мягкіе, но тяжелые медвѣжьи шаги, сапъ, глубокіе вздохи и какое-то мягкое кувырканье. Прошла еще пара минутъ и въ дверяхъ, прямо противъ моего лица, показался на заднихъ лапахъ огромный бурый съ просѣдью медвѣдь. Онъ держался одною переднею лапою за притолку, медленно покачивался и, далеко высунувъ свой пурпурно-красный языкъ, тяжело дышалъ и щурился. Отъ него, какъ отъ раскаленной чугунной печки, било въ меня несноснымъ, сухимъ жаромъ; лишенный всякаго эпителія, тифозный языкъ моего гостя мотался и вздрагивалъ; его липнущіе маленькіе глаза наводили дрему непробудную. Медвѣдь подошелъ къ моему дивану, закрылъ мое лицо своей пушистой грудью и началъ лизать мою голову своимъ острымъ языкомъ. Не могъ я опредѣлить себѣ—хорошо мнѣ отъ этого, или худо; не могъ я крикнуть, не въ силахъ былъ повернуться. Сгорая сухимъ жаромъ горячки, я безпрестанно путался въ какихъ-то нелѣпыхъ представленіяхъ, слышалъ то дѣтскій шопотъ, то медвѣжьи вздохи, то звонъ и заунывную пѣсню «про солому». Это становилось несносно; хотѣлось во что-нибудь вслуши-

ваться, что-нибудь понять и проснуться, но развинченное тѣло лежало пластомъ и всякія трезвыя впечатлѣнія были чужды больной головѣ моей. Въ такомъ состояніи прошло, должно-быть, очень много времени, прежде чѣмъ окружающій меня горячій воздухъ сталъ какъ будто немного тонѣть, разрѣжаться и съ тѣмъ вмѣстѣ заворочался и началъ спускаться къ ногамъ давившій меня медвѣдь.

Едва онъ чуть поосвободилъ мою голову, до моего слуха сейчасъ же, съ первою струйкою свѣжаго воздуха, донеслось какое-то знакомое, необыкновенно ласковое слово.

Я ту же секунду по этому голосу узналъ знакомый маленькій голосъ, но мозгъ мой все-таки безпрестанно сбивался съ пути, усыпалъ и путался. Ласковыя слова долетали до меня съ различными перерывами, и по временамъ совсѣмъ какъ-то доходили звуками безъ значенія.

— Я не могу, говорилъ мужской голосъ,—я люблю тебя, тебя одну и тебя первую люблю я. Я чувствую, что при тебѣ только я становлюсь хоть на минуту человѣкомъ.

— Не говори этого, Ромцю; ты самъ не знаешь, чего ты хочешь, отвѣчалъ маленькій голосъ.

— Я рѣшилъ это, говорилъ Романъ Прокофьичъ,—слышишь, я рѣшилъ. Я готовъ сдѣлать это противъ твоей воли.

— Поди, поди лучше сюда и сядь!.. Сиди и слушай, начиналъ голосъ,—я не пойду за тебя замужъ ни за что; понимаешь: *ни за что на свѣтѣ*! Пусть мать, пусть сестры, пусть бабушка, пусть всѣ просятъ, пусть онѣ стоятъ передо мною на колѣняхъ, пускай умрутъ отъ горя—я не буду твоей женой... Я сдѣлаю все, все, но твоего несчастья... нѣтъ... ни за что! нѣтъ, ни за что на свѣтѣ!

— О чемъ же ты плачешь?

— О томъ, что ты меня не понимаешь. Ты говоришь, что я ребенокъ... Да развѣ бъ я не хотѣла быть твоею Анной Денманъ... Но, Боже мой! когда я знаю, что я когда-нибудь переживу твою любовь, и чтобъ тогда, когда ты перестанешь любить меня, чтобъ я связала тебя долгомъ? чтобъ ты, противъ желанія всякаго, обязанъ былъ работать

мнѣ на хлѣбъ, на башмаки, дѣтямъ на одѣяла? Чтобъ ты меня возненавидѣлъ послѣ? Нѣтъ, Романъ! Нѣтъ! я не такъ тебя люблю: я *за тебя* хочу страдать, но не хочу твоихъ страданій.

— О, Боже мой, о, Боже мой! какъ хороша, какъ дивно хороша ты, Маня!—прошепталъ Истоминъ.

— Опять все красота!

— Всегда о красотѣ. Она моя! моя! Скажи скорѣй: моя она?

— Твоя.

— Уйди жъ теперь.

— Зачѣмъ?.. Куда идти?

— Бѣги, спасайся... Ты думаешь—я человѣкъ? Нѣтъ, я не человѣкъ: въ меня съ твоимъ вчерашнимъ поцѣлуемъ вошелъ нечистый духъ, глухой ко всѣмъ страданіямъ и слезамъ... бѣги. Онъ жертвы, жертвы проситъ!

— Жертвы?

— Да! тебя, тебя онъ требуетъ на жертву.

— На жертву?.. Я готова.

— Ребенокъ! понимаешь ли, что ты сказала? Понятно ли тебѣ, какой я жертвы требую?

— Нѣтъ, рѣшительно отвѣтила Маня.

— О, дьяволъ! тебѣ такого чистаго ягненка еще никто не приносилъ на жертву!

— Я ничего не понимаю. Мнѣ жаль тебя, мой Ромцю; жаль, тебя мнѣ жаль!

— Такъ поцѣлуй меня скорѣе.

— Цѣлую; на́, цѣлую!

— Цѣлуй... такъ, какъ ты меня цѣлуешь... да, какъ ты сестеръ цѣлуешь... иначе, ждетъ бѣда!.. Нѣтъ; я не поцѣлую тебя!

И долго-долго было и тихо, и жутко; и вдругъ среди этой мертвой тишины сильный голосъ нервно вскрикнулъ:

— Я погублю тебя!

И въ то же мгновеніе прозвучало тихое, но смѣлое:

— Губи!

— Маня! Маня!—усиливался я закричать сколько было

мочи, но чувствовалъ сквозь сонъ, что изъ устъ моихъ выходили какіе-то нѣмые, неслышные звуки. Маня! попробовалъ я вскрикнуть въ совершенномъ отчаяніи и, сдѣлавъ надъ собой послѣднее усиліе, спрыгнулъ въ полуснѣ съ дивана такъ, что старыя пружины брязнули и загудѣли.

На этотъ шумъ изъ-за истоминскихъ дверей отвѣтилъ слабый, перекушенный стонъ.

Какъ ошеломленный ударомъ въ голову, выскочилъ я въ другую комнату и прислонился лбомъ къ темному, запотѣвшему стеклу. Въ глазахъ у меня вертѣлись тонкія огненныя кольца, мелькалъ бѣлый лобикъ Мани и ея маленькая, закушенная губка.

Я перебѣжалъ впопыхахъ свою залу, схватилъ въ передней съ вѣшалки пальто, взялъ шляпу и выскочилъ за дверп. Спускаясь по лѣсницѣ, слабо освѣщенной крошечною каминною лампою, я на одномъ поворотѣ, носъ къ носу, столкнулся съ какою-то маленькой фигурой, которая быстро посторонилась и, какъ летучая мышь, безъ всякаго шума шмыгнула по ступенямъ выше. Когда эта фигурка пробѣгала подъ лампою, я узналъ ее по темному шерстяному платью, клѣтчатому фланелевому салопу и красному капору.

Спѣшными и неровными шагами обогнулъ я торопливо линію, перебѣжалъ проспектъ и позвонилъ у домика Норковъ.

Мнѣ отперла дверь Ида Ивановна. Держа въ одной рукѣ свѣчу, она посмотрѣла на меня безъ всякаго удивленія, отодвинулась къ стѣнкѣ и съ своей обыкновенной улыбкой нѣсколько комически произнесла:

— Честь и мѣсто.

— Здравствуйте, Ида Ивановна! началъ я, протягивая ей руку.

— Проходите, проходите, тамъ успѣемъ поздороваться,— отвѣчала дѣвушка, поворачивая въ двери довольно тугой ключъ.

Въ маленькой гостиной сидѣли за чаемъ бабушка и madame Норкъ.

— О, хорошо жъ вы насъ любите!—первая заговорила навстрѣчу мнѣ старушка.

— Да, хорошо вы съ нами сдѣлали!—поддерживала ее, съ относящимся ко мнѣ упрекомъ, madame Норкъ.—Мѣсяцъ, слышимъ, въ Петербургѣ, и навѣстить не придете. Я Иринькѣ ужъ нѣсколько разъ говорила, что̀ бы это, говорю, Иринька, могло такое значить?

— А Ида Ивановна, спрашиваю, что же вамъ отвѣчала?

— Не помню я что-то, что она мнѣ такое отвѣчала.

— Кажется, ничего, мама, не отвѣчала, откликнулась Ида и поставила передо мною стаканъ чаю.

Я освѣдомился о Бертѣ Ивановнѣ, о ея мужѣ и даже о Германѣ Верманѣ спросилъ, и обо всѣхъ объ нихъ получилъ самыя спокойныя извѣстія; но спросить о Манѣ никакъ не рѣшался. Я все ждалъ, что Маня дома, что вотъ-вотъ она сама вдругъ покажется въ какой-нибудь двери и разомъ сдунетъ всѣ мои подозрѣнія.

— А слыхали вы, у насъ въ анненской школѣ недавно какое ужасное несчастіе-то было?—начала послѣ первыхъ привѣтствій Софья Карловна.

— Нѣтъ, говорю, не слыхалъ.—Что такое?

— Ахъ, ужасно! Представьте себѣ, одна маленькая дѣвочка стальное перо проглотила.

— Это бываетъ въ школахъ, — подсказала вздохнувши бабушка.

— Да, это бываетъ по тремъ причинамъ,—проговорила Ида Ивановна.

— Что такое, другъ мой, по тремъ причинамъ? — прошептала старушка.

— Это, бабушка, такъ говорится.

— Какъ говорится?

— Ахъ, Боже мой, бабушка! Ну, просто такъ говорятъ, что все, что бываетъ, бываетъ по тремъ причинамъ.

— Все-то ты, Иринька, врунья; всегда ты все что-ни-

будь врешь, произнесла серьезно Софья Карловна и тихонько добавила:—Охъ, эти дѣти, дѣти! Сколько за ними, право, смотрѣть надо! Вы вотъ не повѣрите, кажется, ужъ Маня и не маленькая, а каждый разъ, пока ее не дождешься, Богъ знаетъ чего не надумаешься.

— А гдѣ же, говорю,—Марья Ивановна?

— А на урокѣ. Уроки пѣнія тутъ эти Шперлинги затѣяли; оно, конечно, уроки обходятся недорого, потому что много ихъ тамъ—дѣвицъ двадцать, или еще и больше разомъ собирается, только все это по вечерамъ... такъ, право, непріятно, что мочи нѣтъ. Идетъ ребенокъ съ одной дѣвчонкой... на улицѣ можно ждать непріятностей.

— Kleine непріятность не мѣшаетъ grosse удовольствію, Mütterchen!—пошутила Ида Ивановна.

— Охъ, да полно тебѣ, право, остроумничать, Ида! отвѣчала съ неудовольствіемъ m-me Норкъ.—Совсѣмъ не умно это твое остроуміе. А мы нынче тоже какъ-то прескучно провели время, продолжала она, обратившись ко мнѣ.—Ѣздили раза два въ Павловскъ, да все не съ кѣмъ, все и тамъ было скучно.

— Съ кукушкой говорили, сказала Ида.

— Да; сядемъ да спрашиваемъ, сколько кому лѣтъ жить? Мнѣ все семь, или восемь, а Маня спроситъ, она сразу и замолчитъ.

— А вамъ, Ида Ивановна?

— О, ей, кажется, сто лѣтъ куковала. Ужъ она, бывало, кричитъ ей: «будетъ, будетъ! довольно!» а та все кукуетъ.

— Я безсмертная, проговорила Ида.

— Ну да, какъ же, безсмертная!

— Увидите.

— Ну да, разсказывай, разсказывай! Глупая ты, право, Ида!—пошутила, развеселившись, старушка.

Ида, кажется, этого только и добивалась: она сейчасъ же обняла мать и, держа ее за плечи руками, говорила весело:

— Всѣ умрутъ, мамочка, на островѣ, всѣ, всѣ, всѣ; а я все буду жить здѣсь.

— Почему-жъ это такъ?—смѣялась, глядя въ глаза дочери, старушка.

— А потому, что безъ меня, мама, здѣсь ничему быть нельзя.

— О, шутиха, шутиха!

Мать съ дочерью снова весело обнялись и поцѣловались.

Въ это же время у парадной двери рѣзко брякнулъ и жалобно закачался звонокъ.

Софья Карловна вздрогнула, вскочила со стула и даже вскрикнула.

— Ну, да что же это такое со мной въ самомъ дѣлѣ?—произнесла она, жалуясь и держась за сердце.—Ида! чего же ты стоишь?

Ида Ивановна пошла отпереть дверь и мимоходомъ толкнула меня за ширму, чтобы показать Манѣ сюрпризомъ.

Черезъ секунду въ магазинѣ послышалось разомъ нѣсколько легкихъ шаговъ и Ида Ивановна сказала, что у нихъ былъ я, и только будто бы ушелъ сію минуту.

Маня ничего не отвѣтила.

— Вы его не встрѣтили?—продолжала Ида Ивановна.

— Нѣтъ, не встрѣтили, уронила чуть слышно Маня. Она сняла съ головы капоръ, подошла прежде къ матери-ной, а потомъ къ бабушкиной рукѣ и молча сѣла къ налитой для нея чашкѣ.

Я глядѣлъ на Маню сквозь широкій створъ ширменныхъ полъ: она немножко подвыросла, но перемѣнилась очень мало; лицо ея было, по обыкновенію, блѣдно и хранило нѣсколько неестественное спокойствіе, которому рѣзко противорѣчила блудящая острота взгляда.

Я вышелъ изъ-за ширмы и подошелъ къ столу. Маня прищурила свои глаза, всмотрѣлась въ меня и сказала:

— Такъ вотъ это въ чемъ дѣло!

Съ этими словами она протянула мнѣ свою ручку, спро-

сила, какъ я здоровъ, давно ли пріѣхалъ, и опять спокойно занялась чаемъ, а въ комнату вошла горничная дѣвушка съ трубкою перевязанныхъ лентою нотъ и положила ихъ на столъ возлѣ Мани. Хотя на этой дѣвушкѣ не было теперь клѣтчатаго салопа, но на ней еще оставался ея красный капоръ, и я узналъ ее по этому капору съ перваго взгляда.

«Кончено!» подумалъ я себѣ, глядя на Маню. А она сидитъ такая смирненькая, такая тихонькая, что именно какъ рыбка, и словечка не уронитъ. Даже зло какое-то беретъ, и не знаешь, на что злиться.

«А впрочемъ, и что же мнѣ такое въ самомъ дѣлѣ Маничка Норкъ? На погостѣ жить—всѣхъ не оплачешь,» разсуждалъ я снова, насилу добравшись до своей постели.

На другое утро я ужъ совсѣмъ никакъ не могъ подняться; прокинешься на минуточку и опять сейчасъ одолѣваетъ тяжелая спячка. Я послалъ за докторомъ и старался крѣпиться. Часу во второмъ ко мнѣ вошелъ Истоминъ; онъ былъ необыкновенно счастливъ и гадокъ; здоровое лицо его потеряло всю свою мягкость и сіяло отвратительнѣйшимъ самодовольствомъ.

— Нездоровы?—спросилъ онъ меня отрывисто.

Я отвѣчалъ, что боленъ, и не сказалъ ему болѣе ни слова. Истоминъ отошелъ къ окну, постоялъ, побарабанилъ пальцами по стекламъ, и затѣмъ, замѣтивъ мнѣ наставительно, что «надо беречься», вышелъ.

Съ этой минуты я не видалъ ни Истомина, ни Мани въ теченіе очень долгаго времени, потому что у меня начался тифъ, послѣ котораго я оправлялся очень медленно.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Подходило дѣло къ веснѣ. Въ Петербургѣ хотя еще и не ощущалось ея приближенія, но люди, чуткіе къ жизни природы, начинали уже порываться вдаль, кто подъ родныя, сельскія липы, кто къ чужимъ краямъ. «Прислуга»

моя донесла мнѣ, что Романъ Прокофьичъ тоже собирается за границу, а потомъ вскорѣ онъ и самъ какъ-то удостоилъ меня своимъ посѣщеніемъ.

— Думаю проѣхать въ Италію, объявилъ онъ мнѣ.

Я принялъ это извѣстіе очень спокойно и даже не вспомнилъ, кажется, въ эту минуту о Манѣ, а только спросилъ Истомина, какъ же быть съ квартирой?

— А пусть все такъ и остается, какъ было, я къ осени ворочусь.

— Ну, говорю, и прекрасно.

Недѣли черезъ полторы или черезъ двѣ онъ уѣхалъ и не подавалъ ни мнѣ, ни слугѣ своему никакой вѣсточки. На первыхъ порахъ послѣ его отъѣзда, онъ прислалъ нѣсколько писемъ Манѣ, которыя были адресованы въ его пустую квартиру. За этими письмами прибѣгала та же черномазенькая дѣвочка, и черезъ нее они, вѣроятно, исправно попадали въ руки Мани. Я не учащалъ къ Норкамъ и, когда ужъ необходимо было завернуть къ нимъ, заходилъ на самое короткое время. Ужасно тяжело было мнѣ всѣхъ ихъ видѣть и думать: «ахъ, друзья мои, не знаете вы, какая надъ вами бѣда рухнула!» Что же касается до самой Мани, то кроткая, всегда мало говорившая, всегда молчаливая дѣвушка, ничѣмъ не выдавала своего душевнаго состоянія: она только прозрачнѣла, слегка желтѣла, какъ топазъ, и Софья Карловна не разъ при мнѣ печалилась, что у Мани волосы начали ужасно сѣчься и падать.

Старушки дѣлали мнѣ часто выговоры и замѣчанія, что я ихъ разлюбилъ и забываю; и Маня тоже нѣсколько разъ спрашивала меня, чѣмъ онѣ мнѣ надоѣли? Только одна Ида никогда не заводила объ этомъ никакой рѣчи ни въ серьезъ, ни въ шутку. Я очень хорошо чувствовалъ, что это не было со стороны Иды холоднымъ равнодушіемъ къ характеру нашихъ отношеній, а сдавалось мнѣ, что она какъ будто видѣла меня насквозь и понимала, что я не пересталъ любить ихъ добрую семью, а только неловко мнѣ бывать у нихъ чаще. Не знаю я, чѣмъ Ида объясняла себѣ

эту мою неловкость, но только она всегда деликатно освобождала меня отъ всякихъ вопросовъ, и послѣ какого бы промежутка времени мы съ нею ни встрѣтились, она всегда заговаривала со мною одинаково: коротко, ровно и тепло, точно только мы вчера разстались и завтра свидимся снова.

Разъ какъ-то, посреди лѣта, я не былъ у Норковъ кряду съ мѣсяцъ, и думалъ, что какъ бы мы ужъ и въ самомъ дѣлѣ не разошлись вовсе. Въ тотъ же самый день, какъ мнѣ пришла въ голову эта мысль, только что я усѣлся было позднимъ вечеромъ поработать, слышу, снизу, съ тротуара какой-то женскій голосъ позвалъ меня по имени. Взглянулъ я внизъ—смотрю—Ида Ивановна и съ нею подъ руку Маня. Обѣ онѣ въ одинакихъ черныхъ шелковыхъ казакинахъ, и коймы по подоламъ барежевыхъ платьевъ однѣ и тѣ же, и въ рукахъ совершенно одинаковые темные антука. На длинныхъ тротуарахъ линіи, освѣщенной бѣлымъ свѣтомъ лѣтней ночи, кромѣ двухъ сестеръ Норкъ, не было видно ни души.

— Что это вы дѣлаете дома?—спросила меня, спокойно глядя вверхъ, Ида.

Маня только кивнула мнѣ головкой.

При блѣдномъ свѣтѣ бѣлой ночи я видѣлъ, какъ личико Мани хотѣло сложиться въ самую веселую улыбку, но это не удалось ей.

— Что я дѣлаю?—Хочу поработать немножко, Ида Ивановна.

— Охота!

— Das muss, Ида Ивановна, а не охота.

— Sie müssen—отлично; но что это вы, въ самомъ дѣлѣ, совсѣмъ глазъ не показываете? Не думаете ли вы, чего добраго, что за вами ухаживать станутъ? Дескать: «куманечикъ, побывай, душа-радость, побывай!».

Глаза Иды Ивановны потихоньку улыбались и лицо ея, по обыкновенію, было совершенно спокойно. Маня опять хотѣла улыбнуться, но тотчасъ потупилась и стало тихо черкать концомъ зонтика по тротуарной плитѣ.

— А, кстати о выстрѣлѣ, что̀ вашъ сосѣдъ дѣлаетъ?— спросила Ида Ивановна.

— Это, въ самомъ дѣлѣ, думаю, кстати о выстрѣлѣ, и отвѣчаю, что Истоминъ за границею.

— Я это знаю; я хотѣла спросить, что̀ онъ тамъ дѣлаетъ?

— Не знаю, право, Ида Ивановна; вѣрно хандритъ или работаетъ.

— А вы развѣ не переписываетесь?

Маня прилегла къ сестриному плечу.

— Нѣтъ, говорю,— переписывались, да вотъ мѣсяца съ полтора какъ-то нѣтъ отъ него ни слова.

— Таки совсѣмъ ни слова?

— Совсѣмъ ни слова.

— Вотъ постоянство здѣшнихъ мѣстъ!

— Мѣста, Ида Ивановна, непостоянныя.

— Вѣрно такъ вамъ и слѣдуетъ, отвѣчала Ида и, кивнувъ головкой, пошла, крикнувъ мнѣ:—пусть вамъ ангелы святые снятся.

Маня, трогаясь съ мѣста, еще разъ хотѣла мнѣ улыбнуться какъ можно ласковѣй, но и на этотъ разъ улыбка не удалась ей и свернулась во что-то суровое и тревожное.

«Однако, что̀-жъ бы это такое могло значить?» думалъ я, когда дѣвушки скорыми шагами скрылись за угломъ проспекта. «Неужто Маня *все* разсказала сестрѣ? неужто у Иды Ивановны до того богатырскія силы, что, узнавъ отъ Мани все, что̀ та могла разсказать ей, она все-таки еще можетъ сохранять спокойствіе и шутить? Это ужъ даже и непріятно такое самообладаніе!» И мнѣ на минуту показалось, что Ида Ивановна совсѣмъ не то, чѣмъ я ее представлялъ себѣ; что она ни больше, ни меньше какъ весьма практическая нѣмка; имѣетъ въ виду поправить неловкій шагъ сестры бракомъ, и наконецъ просто-напросто *ищетъ зятя своей матери*... Похвальная родственная заботливость, и только. Пришло мнѣ въ голову также, что, можетъ быть, и сама Маня надумалась, нашла свои странныя эк-

зальтаціи смѣшными и сама пожелала сдѣлать Истомина своимъ мужемъ... А можетъ быть даже, что и все это была одна собачья комедія, въ которой и Маня тоже искала *зятя своей матери.*

Даже скверно становилось отъ этихъ предположеній.

— Не можетъ ничего этого быть!—уговаривалъ я себя на другой день. — Вѣрно Ида Ивановна знаетъ очень немногое; вѣрно она безъ всякихъ словъ Мани знаетъ только одно, что сестра ея любитъ Истомина, и замѣчаетъ, что неизвѣстность о немъ ее мучитъ.

Дней черезъ пять, или черезъ шесть, въ теченіе которыхъ я попрежнему ни разу не собирался къ Норкамъ и оставался насчетъ всѣхъ ихъ при своемъ послѣднемъ предположеніи, въ одно прекрасное утро ко мнѣ является Шульцъ.

— Вотъ, батюшка мой, исторія-то!—началъ онъ, не вынимая изо рта сигары и вытаскивая изъ кармана какое-то измятое письмо.

— Что̀, спрашиваю, за исторія?

— Да такая, говоритъ, исторія, что хуже иной географіи:—Истоминъ дрался на дуэли и очень дурно раненъ.

Фридрихъ Фридриховичъ далъ мнѣ нѣмецкое письмо, въ которомъ было написано: «Шесть дней тому назадъ, вашъ компатріотъ господинъ фон-Истоминъ имѣлъ непріятную исторію съ русскимъ княземъ N, съ женою котораго онъ три недѣли тому назадъ пріѣхалъ изъ Штутгарта и остановился въ моей гостиницѣ. Послѣдствіемъ этой Geschichte у г. фон-Истомина съ мужемъ его дамы была дуэль, на которой г. фон-Истоминъ раненъ въ лѣвый бокъ пулею, и положеніе его признается врачами небезопаснымъ, а между тѣмъ г. фон-Истоминъ, проживая у меня съ дамою, изъ-за которой воспослѣдовала эта непріятность, состоитъ мнѣ должнымъ столько-то за квартиру, столько-то за столъ, столько-то за прислугу и экипажи, а всего до сихъ поръ столько-то (стояла весьма почтенная цифра). Да сверхъ того (продолжало письмо) теперь я несу для г. фон-Истомина

всѣ издержки по лѣченію и различнымъ хлопотамъ, возникшимъ изъ этого дѣла, и наличныхъ денегъ у г. фон-Истомина нѣтъ. Вслѣдствіе всего этого, г. фон-Истоминъ поручилъ мнѣ написать вамъ о его положеніи и просить васъ выслать мнѣ мой долгъ и г. фон-Истомину тысячу русскихъ рублей, съ переводомъ на мое имя. Парма, годъ, мѣсяцъ и число. Адресъ: такому-то, хозяину «Hôtel de Venize».

— Посылать, или не посылать? — спросилъ Шульцъ, видя, что я дочиталъ письмо до конца.

Я былъ въ большомъ затрудненіи, что̀ отвѣтить.

— Ну, а если это подлогъ?—допрашивалъ меня Шульцъ.

— Какъ это узнать, Фридрихъ Фридриховичъ?

— То-то, я вѣдь говорю, что все это, какъ говорится, оселокъ:—тутъ самъ чортъ семь разъ ногу сломаетъ и ни разу ничего не разберетъ.

— Рискъ, отвѣчаю,—конечно, есть.

— Ну, только ужъ воля ваша, а мой згадъ всегда такой, что лучше рисковать деньгами, чѣмъ человѣкомъ. Деньги, конечно, вещь нужная, но все-таки, словомъ сказать, это дѣло нажитое.

Я съ особеннымъ удовольствіемъ согласился съ Шульцемъ и, провожая его къ двери, съ особеннымъ удовольствіемъ пожалъ его руку. Фридрихъ Фридриховичъ уѣхалъ отъ меня съ самымъ дѣловымъ выраженіемъ на лицѣ, и часа черезъ два заѣхалъ съ банкирскимъ векселемъ на торговый домъ въ Пармѣ.

Деньги, нужныя на выручку Истомина, были отосланы; но что̀ это была за дуэль и вообще что̀ это за исторія—разгадывать было весьма мудрено и трудно.

«Одно только очень желательно», думалъ я въ этотъ день по уходѣ Шульца: «желательно, чтобы Фридрихъ Фридриховичъ сохранилъ втайнѣ это свое хорошее великодушіе и не распространился объ этой исторіи у Норковъ. Только нѣтъ—гдѣ ужъ Фридриху Фридриховичу отказать себѣ въ такомъ удовольствіи».

Такъ-таки все это на мое и вышло, и вотъ какъ я это узналъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Густыми сумерками на другой день слышу у себя звонокъ, этакій довольно нерѣшительный и довольно слабый звонокъ, а вслѣдъ затѣмъ легкіе, торопливые шаги, и въ мою комнату не вошла, а вбѣжала Маничка Норкъ.

— Убитъ?—прошептала она, подскочивъ ко мнѣ и быстро дернувъ меня за руку.

Такъ варомъ меня и обварило.

— Только раненъ, отвѣчалъ я какъ можно спокойнѣе.

Маня выпустила мою руку и сѣла на кресло.

Я опустилъ у оконъ шторы, зажегъ свѣчи и взглянулъ на Маню: лицо у нея было не блѣдно, а бѣло, какъ у человѣка зарѣзаннаго, и зрачки глазъ сильно расширены.

Я пробовалъ два или три раза говорить съ нею, но она не отвѣчала ни слова и, наконецъ, сама спросила:

— Это, что такое «кстати о выстрѣлѣ»?

Я не понялъ.

— Сестра третьяго-дня сказала вамъ: «кстати о выстрѣлѣ»—что̀ это такое значило?—повторила Маня.

— Такъ, говорю, есть какой-то анекдотъ о хвастунѣ, который сдѣлалъ одинъ разъ удачный выстрѣлъ и потомъ цѣлую жизнь все разсказывалъ «кстати о выстрѣлѣ».

— Это неправда, отвѣчала Маня, покачавъ головой.

— Увѣряю васъ, что это не имѣло никакого другого значенія.

— Вы знали, и Ида знала объ этомъ несчастіи — объ этомъ ужасномъ несчастіи!..

Маня закрыла свое личико бѣлымъ платкомъ; она не плакала, но ея тоненькія плечики и вся ея хрустальная фигурка дрожала и билась о спинку кресла.

Я принесъ стаканъ воды и нѣсколько разъ просилъ Маню выпить. Она отняла отъ сухихъ глазъ платокъ и, не трогая стакана, быстро спросила меня:

— Кто это, который убилъ его?

— Вовсе онъ не убитъ, отвѣчалъ я тихо и подвинулъ ей стаканъ съ водою.

Маня нетерпѣливо толкнула отъ себя стаканъ, такъ что вода далеко плеснулась черезъ края по столу, и сама встала съ кресла.

— Марья Ивановна!—сказалъ я, какъ умѣлъ мягче.

— Что?

— Послушайтесь меня, Марья Ивановна. Не идите сейчасъ домой; успокойтесь прежде хоть немножко.

Маня постояла еще съ минуту и опять спросила:

— Что такое? я не поняла.

— Хоть воды глотокъ выпейте.

— Оставьте, отвѣчала она шопотомъ и нагнулась въ одну сторону, взявшись рукою за кресло.

Черезъ минуту она распрямилась, сама выпила весь стаканъ воды, простилась со мной и сказала, что идетъ домой.

Со страхомъ и трепетомъ ждалъ я большой исторіи у Норковъ, но во всякомъ случаѣ не такой, какая совершилась.

Часу въ третьемъ ночи, только что я успѣлъ заснуть самымъ крѣпкимъ сномъ, вдругъ слышу кто-то сильно толкаетъ меня и зоветъ по имени. Открываю глаза и вижу, что передо мною стоитъ, со свѣчою въ рукахъ, моя старуха.

— Сейчасъ надо, проговорила она, суя мнѣ подъ носъ маленькую записочку.

«Придите къ намъ сію минуту».

«Ида».

Это все, что было написано на поданномъ мнѣ крошечномъ клочкѣ бумажки.

Спрашиваю старуху:

— Кто принесъ эту записку?

Говоритъ, что:

— Принесла дѣвочка, сунула въ дверь и ушла, сказавъ, что ей некогда ждать отвѣта.

Я одѣлся въ одну минуту и побѣжалъ къ Норкамъ. Ночь стояла темная и бурная; хлесталъ мелкій дождь, перемѣшанный съ снѣгомъ, и со стороны гавани, черезъ Смоленское поле, доносились частые выстрѣлы сигнальной пушки. Несмотря на то, что разстояніе, которое я долженъ былъ перебѣжать, было очень не велико, я началъ сильно дрожать отъ нестерпимой сиверки и чичера. Подъѣздъ Норковъ, противъ обыкновенія, былъ отпертъ и въ магазинѣ на прилавкѣ горѣла свѣча въ большомъ мѣдномъ подсвѣчникѣ. Съ перваго шага за порогъ чувствовалось, что сюда пришло въ гости ужасное несчастіе. Что-то феральное и неотразимое чудилось во всемъ: въ зажженныхъ и безъ всякаго смысла разставленныхъ свѣчахъ, въ сбитыхъ мебельныхъ чехлахъ, въ сухомъ и безтолковомъ хлопаньи дверей. Тревога такой обстановки сообщается ужасно быстро, и я почувствовалъ ее, какъ только вошелъ въ залу. Здѣсь на фортепьяно горѣла безъ всякой нужды другая свѣча и рядомъ съ нею ночная лампочка, а на диванѣ лежало что-то большое, престранное-странное, какъ будто мертвецъ, закрытый бѣлою простынею. Я подумалъ, что это оставлены на ночь шубы; но изъ-подъ одного края простыни выставлялись наружу двѣ ноги, обутыя въ бѣлые чулки и голубыя суконныя туфли. Простыня не шевелилась и не двигалась. Господи, что̀ бы это такое значило? Дверь изъ залы въ комнату Софьи Карловны была открыта и она сидѣла прямо противъ двери на большомъ голубомъ креслѣ, а сзади ея стоялъ Германъ Верманъ и держалъ хозяйку за голову, какъ будто ей приготовлялись дергать зубы. Въ ногахъ Софьи Карловны стояла на колѣняхъ кухарка и выжимала въ рукахъ мокрое полотенце. Увидѣвъ меня, madame Норкъ горько-прегорько заплакала и задергала головою въ крѣпкихъ ладоняхъ Германа.

— Что это у васъ такое?—спросилъ я, чуть слышно нагинаясь къ уху кухарки.

Софья Карловна еще отчаяннѣе воззрилась въ меня необыкновенно жалобнымъ взоромъ и часто залепетала:

— Циги-циги-циги.

Я взялъ ее за руку и пригнулся ухомъ къ ея лицу.

— Циги-циги-циги, лепетала старуха, качая головою и заливаясь слезами. Языкъ ни за что ей не повиновался; она это чувствовала и жаловалась однѣми слезами.

Въ коридорчикѣ, отдѣлявшемъ комнату Софьи Карловны отъ комнаты дѣвицъ, послышался легкій скрипъ двери и тихій, болѣзненный стонъ, въ которомъ я узналъ голосъ Мани, а вслѣдъ затѣмъ на порогѣ торопливо появилась Ида Ивановна: она схватила меня мимоходомъ за руку и выдернула въ залу.

— Доктора?—спросилъ я, глядя ей въ лицо.

— Акушера, прошептала она, крѣпко сдавивъ мою руку.

Софья Карловна во всѣ глаза глядѣла то на меня, то на Иду Ивановну и плакала; Верманъ попрежнему держалъ ее за голову, а кухарка обкладывала лобъ мокрымъ полотенцемъ.

— А бабушка?—шепнулъ я Идѣ, надѣвая брошенное на фортепьяно пальто.

Ида погрозила мнѣ пальцемъ и, приложивъ его къ своимъ губамъ, приподняла уголъ простыни съ лежавшей на диванѣ кучи. Изъ-подъ этого угла выставилось блѣдно-синее лицо старухи.

— Умерла!

— И въ Маниной комнатѣ, отвѣчала Ида. — И не забудьте, продолжала дѣвушка: — что она *встала* съ своего кресла, что она, безногая, *пошла*, *прокляла* ее и умерла. Ахъ, что здѣсь дѣлается! что здѣсь дѣлается! Я не знаю, какъ я въ эту ночь не сошла съ ума.

Я не утерпѣлъ и сказалъ:

— Да вы, Ида Ивановна, крѣпитесь.

— Я крѣпка, отвѣчала, вздрогнувъ, Ида:—о-о! не бойтесь, въ несчастіи всякій крѣпокъ.

Въ эту секунду изъ дальнихъ комнатъ опять донесся слабый стонъ и Софья Карловна залепетала:

— Циги-циги-циги.

— Бѣгите! — крикнула Ида и сама бросилась изъ магазина.

Сбѣгая съ подъѣзда, я столкнулся съ Шульцемъ и его женою, но впопыхахъ мы даже не поклонились другъ другу. Я видѣлъ, что Шульцъ дрожалъ.

Одна Ида Ивановна сохранила при этихъ ужасныхъ обстоятельствахъ все присутствіе духа. Она распорядилась вытребовать меня прежде Шульца нарочно, чтобы меня, а не его и не кого-нибудь изъ прислуги послать за акушеромъ.

При всѣхъ стараніяхъ я едва только къ шести часамъ утра могъ привезть къ Норкамъ акушера, какого-то развинченнаго, сѣраго господина, который спросонья цѣлый часъ сморкался и укладывалъ свои варварскіе инструменты въ такой длинный замшевый мѣшокъ, что всѣ его руки входили туда по самыя плечи, какъ будто и ихъ тоже слѣдовало завязать тамъ вмѣстѣ съ инструментами.

— Вы, пожалуйста, по возможности старайтесь, чтобы семейство не замѣтило вашей спеціальности, просилъ я этого барина, подвозя его къ дому Норковъ.

— Акушеръ посмотрѣлъ на меня, высморкался и свернулъ свой мѣшокъ нѣсколько поаккуратнѣе.

Ида Ивановна встрѣтила насъ въ магазинѣ, пригласила врача-спеціалиста за собою, а мнѣ сказала:

— Идите пока домой.—Здѣсь никого не надо.

Въ отворенныя двери магазина, я видѣлъ, что бабушка уже лежала на столѣ.

Тяжелая полоса потянулась надъ бѣднымъ семействомъ Норковъ. Похороны бабушки отбывались, какъ бы потаймя, безъ всякаго шума и наскоро. Столбняковое состояніе Софьи Карловны окончилось въ минуту ея прощанія съ гробомъ матери: она разрыдалась и заговорила. Виновница всѣхъ этихъ бѣдъ, слабая Маня, хотя и разрѣшилась въ страшныхъ мукахъ мертвымъ, еще несформировавшимся ребенкомъ, но оставалась въ положеніи самомъ неутѣшительномъ. Много дней кряду она провела въ постоянномъ забытьѣ и и безъ сознанія; къ этому присоединились другія явленія,

заставлявшія всѣхъ безпрестанно ждать еще худшаго и опасаться то за Манину жизнь, то за ея разсудокъ.

Въ домѣ Норковъ все шло тихо и уныло. Ни Софья Карловна, ни Ида Ивановна, ни madame Шульцъ хотя и не надѣли по бабушкѣ плерезовъ, чтобы не пугать ими Мани, но ходили въ черныхъ платьяхъ, значеніе которыхъ Манѣ не трудно было разгадать, если только эти платья когда-нибудь останавливали на себѣ ея вниманіе. Обо всемъ, что̀ произошло, что̀, какъ нежданная туча, разразилось надъ этимъ семействомъ, никто никогда не заводилъ ни слова. Всѣ избѣгали самомалѣйшаго намека на то, что̀ случилось, и жили по англійской пословицѣ, запрещающей въ домѣ повѣшеннаго говорить о веревкѣ.

Но тяжелая полоса, я говорю, еще тянулась. Находясь по своимъ дѣламъ въ Москвѣ, этакъ черезъ мѣсяцъ, что ли, послѣ описанной исторіи, я получилъ отъ Иды Ивановны письмо, въ которомъ она дѣлала мнѣ нѣкоторыя порученія и, между прочимъ, писала: «Семейныя несчастія наши не прекращаются; Маня въ самомъ печальномъ положеніи: у нея развивается меланхолія съ самыми странными припадками. Какъ мы ни золотимъ себѣ эту новую пилюлю, которую судьба заставляетъ насъ проглотить, но вся ея горечь все-таки наружи. Ясно, что это просто тихое сумасшествіе. Я хотѣла въ этомъ удостовѣриться и пригласила доктора N; онъ сказалъ, что я права. Онъ сказалъ, впрочемъ, что положеніе сестры небезнадежно, но что больную слѣдуетъ лѣчить скоро и внимательно, удаливъ ее прежде всего отъ всѣхъ лицъ и предметовъ, которые напоминаютъ ей прошлое. Нечего дѣлать, надо велѣть молчать сердцу и брать въ руки голову: я приготовляю мать къ тому, чтобы она, для Маниной же пользы, согласилась позволить мнѣ помѣстить сестру въ частную лѣчебницу доктора для больныхъ душевными болѣзнями».

Еще позже, недѣли черезъ двѣ, Ида писала мнѣ: «Мы пятый день отвезли Маню къ N. Ей тамъ прекрасно: помѣщеніе у нея удобное, уходъ хорошій и содержаніе благо-

разумное и отвѣчающее ея состоянію. Докторъ N надѣется, что она выздоровѣетъ очень скоро, и я тоже на это надѣюсь. Я видѣла ее вчера; она меня узнала; долго на меня смотрѣла, заплакала и спросила о маменькѣ, а потомъ сказала, что ей здѣсь хорошо и что ей хочется быть тутъ одной, пока она совсѣмъ выздоровѣетъ».

Маня долго, однако, проболѣла. Зима проходила, а она все еще оставалась въ лѣчебницѣ. Ида Ивановна одна навѣщала сестру два раза каждую недѣлю и привозила о ней домой самыя радостныя вѣсти. Мѣсяца за полтора до выхода Мани изъ заведенія, я одинъ разъ провожалъ Иду Ивановну и видѣлъ Маню. Она была очень блѣдна, и эта блѣдность еще болѣе увеличивалась отъ черной шелковой шапочки, которая была на ея обритой головкѣ; но въ общемъ Маня мнѣ показалась совершенно здоровою. Ея болѣзненная впечатлительность, дѣйствительно, замѣтно уменьшалась. Никогда я не видалъ ее болѣе спокойною, хотя Ида Ивановна разсказывала и самъ я замѣтилъ, что у нея зато явился свой новый пунктикъ, новое *вліяніе*. Маня всею душою привязалась къ доктору N. Насколько это чувство можно было анализировать въ Манѣ, оно имѣло что-то очень много общаго съ отношеніями нѣкоторыхъ молодыхъ религіозныхъ и несчастныхъ въ семьѣ русскихъ женщинъ къ ихъ духовнымъ отцамъ; но съ другой стороны это было что-то и не то. Что-то строгое и равноправное заявлялось въ каждомъ обращеніи Мани къ N, но въ то же время все это выражалось съ безграничнѣйшимъ довѣріемъ и теплѣйшей дружбой. Когда докторъ N позволялъ себѣ заговорить съ Манею о чемъ-нибудь въ нѣсколько наставительномъ тонѣ, Маня выслушивала его съ глубокимъ вниманіемъ и спокойствіемъ; но тотчасъ же, какъ только онъ произносилъ послѣднее слово, Маня откашливалась и начинала возражать ему, сохраняя свое всегдашнее граціозное спокойствіе и тихую самостоятельность. Она писала дневникъ и всякій день давала его просматривать доктору. Этотъ дневникъ и служилъ у нихъ предметомъ разговоровъ, изъ ко-

торыхъ выходили ихъ временныя несогласія, но которыхъ, кромѣ ихъ двухъ, никто никогда не слышалъ.

Проходило лѣто; докторъ N давно говорилъ Манѣ, что она совершенно здорова и безъ всякой для себя опасности можетъ уѣхать домой. Маня не торопилась. Она отмалчивалась и все чего-то боялась, но, наконецъ, въ половинѣ сентября, вдругъ сама сказала сестрѣ, что она хочетъ оставить больницу.

Пятнадцатаго числа Ида Ивановна взяла карету и поѣхала за Маней. Въ домѣ давно все было приготовлено къ ея пріему. Ида Ивановна перешла въ комнату покойной бабушки, а ихъ бывшая комната была отдана одной Манѣ, чтобы ее ужъ ровно никто и ничѣмъ не обезпокоилъ. Положено было не надоѣдать Манѣ никакимъ особеннымъ вниманіемъ и не стѣснять ее ничьимъ сообществомъ, кромѣ общества тѣхъ, которыхъ она сама пожелаетъ видѣть.

Возвратясь домой, Маня немножко сплакнула, поблагодарила мать за ея любовь и вниманіе и тихо заключилась въ свою комнатку. Съ тѣхъ поръ сюда не входилъ никто, кромѣ Иды, которая сообщала мнѣ иногда по секрету, что Маня до жалости грустна и все-таки по временамъ тяжело задумывается.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Въ эту самую пору, съ птичьимъ отлетомъ въ теплыя страны, изъ теплыхъ странъ совершенно неожиданно возвратился Романъ Прокофьичъ Истоминъ. Онъ явился свѣтлымъ, веселымъ, сіяющимъ и невозмутимо-спокойнымъ. Было около девяти часовъ утра, когда онъ вошелъ ко мнѣ въ какомъ-то щегольскомъ пиджакѣ и съ легкимъ саквояжемъ изъ лакированной кожи. Онъ обнялъ меня, расцѣловалъ и попросилъ чаю. За чаемъ мы говорили обо всемъ, кромѣ Норковъ и загадочной дуэли. Истоминъ ни о тѣхъ, ни о другой не заговаривалъ, а я не находилъ удобнымъ наводить его теперь на этотъ разговоръ. Такъ, мы отпили

чай, и Истоминъ, переодѣвшись, отправился куда-то изъ дома.

Послѣ обѣда мы опять начали кое-о-чемъ перетолковывать.

— А что это вы ничего не разскажете о вашей дуэли?— спросилъ я Романа Прокофьича.

— Есть про что говорить!—отвѣчалъ онъ, разматывая передъ зеркаломъ свой галстукъ.

— А мы тутъ совсѣмъ было васъ похоронили, особенно Фридрихъ Фридриховичъ.

— Ему о всемъ забота!

— А вы у Норковъ не были?

— Нѣтъ, не былъ.

— Вы знаете, что Маня-то выздоровѣла?

— Выздоровѣла!—скажите, пожалуйста! Вотъ слава Богу. Очень радъ, очень радъ, что она выздоровѣла.—Я часто о ней вспоминалъ. Прелестная дѣвочка!

— Еще бы!—смѣло можетъ сказать, что «я вся огонь и воздухъ, и предоставляю остальныя стихіи низшей жизни»!

— Да, да; все остальное низшей жизни! чудное, чудное дитя! Я бы очень желалъ на нее взглянуть. Перемѣнилась она?

— Очень.

— Отцвѣла?

— Да, поотцвѣла.

— Странный народъ эти женщины!—какъ у нихъ это скоро. Я говорю, какъ онѣ скоро отцвѣтаютъ-то!

Истоминъ прошелся раза два по комнатѣ и продекламировалъ: «да, какъ фарфоръ бренны женскія особы».

— А что, какъ она?.. спокойна она?—спросилъ онъ, остановясь передо мною.

— Кажется, спокойна.

— Неужто-таки совсѣмъ спокойна?

— Говорятъ, и мнѣ тоже такъ кажется.

— Таки-вотъ совсѣмъ, *совсѣмъ спокойна?*

Я посмотрѣлъ на Истомина съ недоумѣніемъ и отвѣчалъ:

— Да, совсѣмъ спокойна.

Истоминъ заходилъ по комнатѣ еще скорѣе и потомъ сталъ тщательно надѣвать перчатки, напѣвая: «Гопъ, мои гречаники! гопъ, мои бѣлы!»

— Ну, а чортова Идища?

— Что̀ такое?

— Не больна, не уязвлена страстью?

— Это, говорю, забавный и странный вопросъ, Романъ Прокофьичъ.

—Забавно, быть-можетъ, а чтобы странно, то нѣтъ, процѣдилъ онъ сквозь зубы и, уходя, снова запѣлъ: «святой Ѳома, не вѣрю я...»

Опять Истоминъ показался мнѣ такимъ же художественнымъ шалопаемъ, какъ въ то время, когда пѣлъ, что «любить мечту не преступленье» и стрѣлялъ въ карту, поставленную на головѣ Яна.

Онъ возвратился ночью часу во второмъ необыкновенно веселый и легъ у меня на диванѣ, потому что его квартира еще не была приведена въ порядокъ.

— Ѣли вы что-нибудь?—освѣдомился я, глядя какъ онъ укладывается.

— Ѣлъ, пилъ, гулялъ и жизнью наслаждался, и на сей разъ ничего отъ нея болѣе не требую, кромѣ вашего гостепріимнаго крова и дивана, отвѣчалъ не въ мѣру развязно Романъ Прокофьичъ.

«Шалопай ты былъ, шалопай и есть», подумалъ я, засыпая.

— Сдѣлайте милость, перемѣните вы эту ненавистную квартиру, произнесъ за моимъ стуломъ голосъ Иды Ивановны, когда на другой день я сидѣлъ одинъ-одинешенекъ въ своей комнатѣ.

— Я ужъ забыла счетъ, продолжала дѣвушка:—сколько разъ являюсь я сюда къ вамъ, и всегда по милости какого-нибудь самаго сквернаго обстоятельства, и всегда съ растрепанными чувствами.

— Что̀ опять такое сдѣлалось?

— Истоминъ пріѣхалъ?

— Пріѣхалъ.

Ида Ивановна громко ударила ладонью по столу и проговорила:

— Я отгадала.

— Что̀ же, спрашиваю,—далѣе?

— Маня не въ себѣ.

— Худо ей?

— Да я не знаю, худо это, или хорошо, только они видѣлись.

— Развѣ былъ у васъ Истоминъ?

— Тогда бы онъ былъ не Истоминъ. Онъ не былъ у насъ, но Манѣ, должно быть, было что-нибудь передано, сказано, или ужъ я не знаю, что̀ такое, но только она вчера первый разъ спросила про ту картину, которую онъ подарилъ ей; вытирала ее, переставляла съ мѣста на мѣсто и потомъ цѣлый послѣ-обѣдъ ходила по залѣ, а ночь не спала и теперь вотъ что: подайте ей Истомина! Сегодня встала, плачетъ, дрожитъ, становится на колѣни, говоритъ: «я не вытерплю, я опять съ ума сойду».—Скажите, Бога-ради, что̀ мнѣ съ нею дѣлать? Ввести его къ намъ... при матери и при Фрицѣ... вѣдь это — невозможно, невозможно.

Рѣшили на томъ, что я переговорю съ Истоминымъ и постараюсь узнать, каковы будутъ на этотъ счетъ его намѣренія.

— Знаете что,—говорила мнѣ, прощаясь у двери, Ида:— первый разъ въ жизни, я начинаю человѣка ненавидѣть! Я бы очень, очень хотѣла сказать этому генію, что онъ... самый вредный человѣкъ, какого я знаю.

— И будетъ случай, что я ему это скажу, — добавила она, откинувъ собственною рукою дверную задвижку.

— Маня Норкъ очень хочетъ повидаться съ вами,—передалъ я безъ обиняковъ за обѣдомъ Истомину.

— А! — это съ ея стороны очень мило, только къ несчастію неудобно; а то бы я и самъ радъ ее видѣть.

— Отчего же, говорю,—неудобно? — Пойдемте къ нимъ вечеромъ.

Истоминъ ѣлъ и ничего не отвѣтилъ.

— Вы не пойдете? — спросилъ я его, собираясь сумерками къ Норкамъ.

— Нѣтъ, не пойду, не пойду,—отвѣчалъ онъ торопливо и сухо.

— Напрасно,—говорю.

— Мой милый другъ! не тратьте лучше словъ *напрасно*.

— Надо васъ послушаться,—отвѣтилъ ему я и пошелъ къ Норкамъ, размышляя, что̀ за чушь такую я дѣлалъ, приглашая съ собою Истомина сегодня же.

Ида Ивановна выслушала мой рапортъ и пошла къ Манѣ, а, прощаясь, сунула мнѣ записочку для передачи Роману Прокофьичу, и сказала:

— Если онъ этого не сдѣлаетъ, это ужъ будетъ просто безчеловѣчно! Маня проситъ его униженно, и если онъ не пойдетъ, — я не знаю, что̀ онъ тогда такое. Приходите завтра вмѣстѣ въ пять часовъ—нашихъ никого не будетъ дома, потому что maman поѣдетъ съ Шульцами въ Коломну.

Я вручилъ Истомину Манину записку. Онъ прочелъ ее и подалъ мнѣ.

«Милый! писала Маня,—я не огорчу тебя никакимъ словомъ, приди только ко мнѣ на одну минутку».

— Да; она очень хочетъ васъ видѣть и завтра вечеромъ у нихъ, кромѣ Иды Ивановны, никого не будетъ дома,— сказалъ я, возвращая Истомину Манину записку.

Онъ взялъ у меня клочокъ, мелко изорвалъ его и ничего не отвѣтилъ.

На другой день, ровно въ пять часовъ вечера, Истоминъ вошелъ ко мнѣ въ пальто и шляпѣ.

— Пойдемте! — сказалъ онъ съ скернымъ выраженіемъ

въ голосѣ, и лицо у него было злое, надменное, рѣшительное и тревожное.

Я всталъ, одѣлся, и мы вышли.

— Вы увѣрены, что, кромѣ дѣвушекъ, у нихъ никого нѣтъ дома?—спросилъ онъ меня, лѣниво сходя за мною съ лѣстницы.

— Я въ этомъ увѣренъ, отвѣчалъ я и снова повторилъ ему слова Иды Ивановны.

Истоминъ позеленѣлъ и спряталъ руку за бортъ своего пальто. Мнѣ казалось, что, несмотря на теплый вечеръ, ему холодно и онъ дрожитъ.

Молча, не сказавъ другъ другу ни слова, дошли мы до квартиры Норковъ и позвонили.

— Глядите, можетъ-быть, старуха дома? — проговорилъ за моимъ плечомъ какимъ-то упавшимъ голосомъ Истоминъ.

Я ничего не успѣлъ ему отвѣтить, потому что насъ встрѣтила Ида Ивановна.

Истоминъ поклонился ей молча, она тоже отвѣчала ему однимъ поклономъ.

— Подождите,—сказала она, введя насъ въ залу, и сама вышла.

Истоминъ подошелъ-было къ окну, но тотчасъ же снова отошелъ вглубь комнаты и сѣлъ, облокотясь на фортепьяно.

Тревожно и съ замираніемъ сердца я ждалъ момента этого страннаго свиданія.

Минуты черезъ двѣ въ залу возвратилась Ида Ивановна.

— Потрудитесь идти за мною,—сказала она Истомину.

Онъ всталъ и смѣло пошелъ черезъ спальню Софьи Карловны въ комнату Мани.

Ида Ивановна пропустила его впередъ и, взявъ меня за руку, пошла слѣдомъ за Романомъ Прокофьичемъ.

Идучи за Идой Ивановной, я чувствовалъ, что ея рука, которою она держала мою руку, была совершенно холодна. Я посмотрѣлъ ей въ глаза—они были спокойны, но какъ бы ждали откуда-то неминуемой бѣды и были на-стражѣ.

Истоминъ подошелъ къ двери Маниной комнаты и остановился. Дверь была отворена и позволяла видѣть всю внутренность покоя. Комната была въ своемъ обыкновенномъ порядкѣ: все въ ней было безукоризненно чисто, и заходившее солнце тепло освѣщало ее сквозь опущенныя бѣлыя шторы. Маня, въ бѣломъ пеньюарѣ, съ очень коротко остриженными волосами на головѣ, сидѣла на своей постели и смотрѣла себѣ на руки.

— Сестра!—тихо позвала Ида Ивановна.

Маня тихо подняла голову, прищурила свои глазки, взвизгнула и, не касаясь ногами пола, перелетѣла съ кровати на грудь Истомина.

Въ это же мгновеніе, Истоминъ рѣзко оттолкнулъ ее и, прыгнувъ на средину комнаты, тревожно оглянулся на дверь.

Отброшенная Маня держалась за голову и съ каждымъ дыханіемъ порывалась съ мѣста къ Истомину.

— Не отгоняй меня! не отгоняй!—вскрикнула она голосомъ, который обрывался на каждомъ словѣ, и съ протянутыми впередъ руками снова бросилась къ художнику.

Истоминъ однимъ прыжкомъ очутился на окошкѣ, открылъ раму и выскочилъ на желѣзную крышу кухоннаго крыльца.

Въ рукѣ его я замѣтилъ щегольскую оленью ручку дорогого охотничьяго ножа, который обыкновенно висѣлъ у него на коврѣ надъ постелью. Чуть только кровельные листы загремѣли подъ ногами художника, мимо оконъ пролетѣло большое полѣно и, ударившись о стѣну, завертѣлось на камняхъ.

Я взглянулъ въ окно и увидалъ на кухонномъ крыльцѣ Вермана. Истомина ужъ не было и помину. Соважъ стоялъ съ взъерошенными волосами и въ лѣвой рукѣ у него было другое полѣно.

— Я, это я,—говорилъ Соважъ, потрясая полѣномъ.

Маня тихо и молча перебирала ручками свои короткіе волосы.

Я рѣшительно не помню, что послѣ было и какъ я вышелъ. Я опомнился за воротами, столкнувшись лицомъ къ лицу съ Верманомъ. Соважъ стоялъ на улицѣ въ однихъ панталонахъ и толстой серпинковой рубашкѣ и страшно дымилъ гадчайшею сигарой.

— Германъ! зачѣмъ вы это сдѣлали? — спросилъ я его въ сильномъ волненіи.

— Да!—отвѣчалъ Соважъ:—да!.. бревномъ сакрамента... мерзавца... О, я его здѣсь подожду! я долго подожду, съ этой самой орудія!

Германъ кивнулъ головою назадъ и позволилъ мнѣ разглядѣть лежавшее у него за пятками полѣно.

— Другъ мой, это безполезно.

— Я не другъ вашъ!—отвѣчалъ сердито Верманъ,—понимайте! Я не другъ того, у кого другъ такой портной.

— Какой портной, Верманъ?

— Какой? какой портной? — Какой безъ узла шьетъ — вотъ какой. Нѣтъ; ти каналья съ узломъ нитка шей! да съ узломъ, съ узломъ, чортъ тебя съѣшь съ твоей шляпой и съ палкой!

Соважъ вдругъ поднялъ надъ головою лежавшее у него за каблуками полѣно и, заскрипѣвъ зубами, какъ-то не проговорилъ, а *прогавкалъ*:

— Портной безъ узла! я тебя... въ столбъ вобью!

Полѣно треснулось съ этимъ словомъ о тумбу, и одно и другая одновременно раскололись.

Соважъ стоялъ и ерошилъ свои волосы надъ разбитою тумбою. На улицѣ не было ни души.

Я долго смотрѣлъ на безмолвнаго Германа — и представьте себѣ, о чемъ размышлялъ я? — Маня, вся только что разыгравшаяся сцена, ксе это улетѣло изъ моей головы, а я съ непостижимѣйшимъ спокойствіемъ вспомнилъ о томъ коренастомъ, малорослomъ германскомъ дикарѣ, который въ вѣнскомъ музеѣ стоитъ передъ долговязымъ римляниномъ, и мнѣ становилось понятно, какъ этотъ коре-

настый дикарь могъ побить и выгнать рослаго, въ шлемъ и латы закованнаго потомка Германика и Агриппины.

Это непостижимо, какимъ это образомъ въ такія страшныя, критическія минуты вдругъ иной разъ вздумается о томъ, о чемъ бы, кажется, нѣтъ никакой стати и думать въ подобныя минуты.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Возвратясь домой, я не пошелъ къ Истомину. Было ясно, изъ-за чего онъ разыгралъ всю эту гадкую исторію: ему вообразилось, что его женятъ на Манѣ, и все это свиданіе онъ счелъ за подготовленную сцену—за засаду. Досадно было, зачѣмъ же онъ шелъ на это свиданіе? чего же онъ хотѣлъ, чего еще добивался отъ Мани?

Въ одиннадцатомъ часу утра на другой день ко мнѣ является Шульцъ—блѣдный и оскорбленный.

— Здравствуйте, говоритъ, и одѣвайтесь — пойдемте къ Истомину.

— И что, спрашиваю,—будетъ?

— Будетъ?—дуэль будетъ. Я убью его.

— Или онъ васъ.

— Или онъ меня.

— Зачѣмъ же вамъ я-то?

— А я хочу имѣть свидѣтеля при этомъ разговорѣ.

Мы вошли къ Истомину; онъ лежалъ на диванѣ, закинувъ руки за затылокъ и уложивъ ногу на ногу. При нашемъ приходѣ онъ прищурилъ глаза, но не приподнялся и не сказалъ ни слова.

— Господинъ Истоминъ! — началъ сухо Шульцъ: — я много ошибся въ васъ...

— Сдѣлайте милость со всѣмъ этимъ къ чорту!—вскрикнулъ, порвавшись съ дивана, Истоминъ. — Я терпѣть не могу присутствовать при составленіи обо мнѣ критическихъ приговоровъ. Мнѣ все равно, что обо мнѣ думаютъ.

— Да; это очень можетъ быть; говорятъ, что въ Россіи

есть такіе люди, которымъ все равно, что̀ о нихъ думаютъ; но я во всякомъ случаѣ увѣренъ, что вы честный человѣкъ, господинъ Истоминъ.

— А мнѣ доставляетъ большое удовольствіе замѣтить вамъ, что вы еще разъ ошибаетесь: я нечестный человѣкъ, господинъ Шульцъ.

Шульцъ немного сконфузился и спросилъ:

— Отчего?

Истоминъ разсмѣялся; онъ всталъ на ноги и, заложивъ руки въ карманы, отвѣчалъ:

— Оттого, господинъ Шульцъ, что я нѣсколько разъ хотѣлъ быть какъ слѣдуетъ честнымъ человѣкомъ, и мнѣ это никогда не удавалось — теперь охоты болѣе къ этому не имѣю. Еще оттого, господинъ Шульцъ, что не сто̀итъ быть честнымъ человѣкомъ, и, наконецъ, оттого, г. Шульцъ, что быть честнымъ человѣкомъ, значитъ или быть дуракомъ, или походить на васъ, а я не хочу ни того, ни другого.

— Я, господинъ Истоминъ, хочу не замѣчать вашихъ невѣжливостей... Шульцъ поперхнулся, сдавилъ рукою горло и добавилъ: — Я удивляюсь только, господинъ Истоминъ, какъ вы можете быть такъ покойны.

— Значитъ, вы не большой мудрецъ, г. Шульцъ; большіе мудрецы ничему не удивлялись.

— Можетъ быть... Простите, пожалуйста; я не для разговоровъ къ вамъ пришелъ... у меня горло сдавливаетъ, г. Истоминъ.

— Ага! сдавливаетъ — это хорошо, что сдавливаетъ; я слыхалъ, что съ приближеніемъ къ полюсамъ, всѣ собаки всегда перестаютъ лаять!

Шульцъ такъ и подпрыгнулъ.

— Лаять!—вскрикнулъ онъ:—лаять! Я лаю, господинъ Истоминъ; я лаю, да я молчкомъ не кусаюсь, да-съ; я вѣрная собака, господинъ Истоминъ; я не кусаюсь. Одинъ человѣкъ на свѣтѣ, котораго я захотѣлъ загрызть — это *вы*. Я вызываю васъ на дуэль, г. Истоминъ.

— Сдѣлайте милость! мнѣ давно хочется убить кого-

нибудь, и я очень радъ, что это будетъ такой почтенный человѣкъ, какъ вы. Позвольте, вотъ одно короткое распоряженіе только сдѣлаю.

Истоминъ подошелъ къ столу и написалъ:

«Я застрѣлился оттого, что мнѣ надоѣло жить».

Онъ подалъ эту записку мнѣ и сказалъ, не глядя мнѣ въ глаза:

— Это про всякій случай, если я подвернусь подъ негоціантскую пулю.

Съ этимъ вмѣстѣ Истоминъ досталъ изъ стола пару пистолетовъ и подалъ ихъ оба на выборъ Шульцу.

— Извольте; я могу стрѣляться безъ секунданта, а моя квартира, надѣюсь, гораздо безопаснѣе парголовскаго лѣса.

Лицо у Истомина было злое и кровожадное.

— Я такъ не могу,—отвѣчалъ Шульцъ:—у меня жена, дѣти и состояніе: мои распоряженія нельзя сдѣлать въ одну минуту. Будемте стрѣляться послѣ-завтра за Коломягами.

— Извольте, я могу подождать. — Янъ! подай пальто господину Шульцу,—крикнулъ громко Истоминъ, и снова повалился на диванъ и уткнулся лицомъ въ подушку.

Дуэли, однако, не было — ее не допустила Ида Ивановна.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

— Господинъ Истоминъ! — сказала Ида, входя къ нему вечеромъ въ тотъ же день, когда произошло это объясненіе. — Я увѣрена, что вы меня не выгоните и не оскорбите.

Истоминъ вскочилъ съ дивана, вѣжливо поклонился ей и подалъ стулъ.

— Вы, взамѣнъ того, можете быть спокойны, что я пришла къ вамъ не съ объясненіями. Никакія объясненія не нужны.

— Благодарю васъ,—отвѣчалъ Истоминъ.

— Прошедшему нѣтъ ни суда, ни порицанія. Если это была любовь — она не нуждается въ прощеніи; если это

было увлеченіе—то... пусть и этому простить Богъ, давшій вамъ такую натуру. Вотъ вамъ моя рука, Истоминъ, въ знакъ полнаго прощенія вамъ всего отъ всей нашей семьи и... *отъ нея самой.*

Истоминъ взялъ и съ жаромъ поцѣловалъ протянутую ему руку Иды.

Дѣвушка тихо высвободила свою руку и отошла къ окну.

— Ида Ивановна! — сказалъ, подходя ближе къ ней, Истоминъ. — Столько презрѣнія къ себѣ, сколько чувствую я, повѣрьте, не испытывалъ ни одинъ человѣкъ.

— Радуюсь, узнавая, что вы способны осуждать себя.

Истоминъ остановился.

— Ида Ивановна, неужто вы въ самомъ дѣлѣ меня простили!

— Monsieur Истоминъ, если я сказала, что я пришла къ вамъ не за тѣмъ, чтобы вызывать васъ на объясненія, то я и не за тѣмъ пришла, чтобы шутить съ вами для своего удовольствія, отвѣчала спокойно Ида.— Если вы въ этомъ сомнѣваетесь, то я бы желала знать, что̀ такое именно вы считаете непростительнымъ изъ вашихъ поступковъ?

— Мое гадкое охлажденіе къ вашей сестрѣ, которая меня любила!

Ида пожала плечами и сказала:

— Ну, къ несчастію, не всякій человѣкъ умѣетъ не охлаждаться.—Вы виноваты въ другомъ: въ вашемъ недостойномъ вчерашнемъ подозрѣніи; но не будемъ лучше говорить объ этомъ. Я пришла не за тѣмъ, чтобы вынесть отъ васъ въ моемъ сердцѣ вражду, а я тоже человѣкъ и... не трогайте этого лучше.

— Я все готовъ сдѣлать, чтобъ заслужить ваше прощеніе.

— Все?.. а что̀ это такое, напримѣръ, вы можете сдѣлать *все*, чтобы *заслужить* прощеніе въ такомъ поступкѣ? спросила она, слегка покраснѣвъ, Истомина.

— Я знаю, что мой поступокъ заслуживаетъ презрѣнія.

— Да! вѣчнаго презрѣнія!

— Да; презрѣнія, презрѣнія; но... я могу имѣть, наконецъ, добрыя намѣренія...

— Добрыя намѣренія! Можетъ быть. Добрыми намѣреніями, говорятъ, весь адъ вымощенъ.

Истоминъ промолчалъ.

— Вы можете получить прощеніе, какъ милостыню, а не заслужить его!.. Видите, я говорила вамъ, чтобъ вы меня не трогали.

— Говорите все; казните, какъ хотите.

— Это все равно, продолжала, сдвигая строго брови, Ида: — мы васъ простили; а ваша казнь?.. она придетъ сама, когда вы вспомните вчерашнюю свою продѣлку. — Мой Боже! такъ оскорбить женщину, которая васъ такъ любила, и послѣ жить!.. Нѣтъ; сдѣлавши такое дѣло, я, женщина, я-бъ не жила пяти минутъ на свѣтѣ.

Истоминъ сильно терзался.

— Простите, не упрекайте вы меня: я хоть сейчасъ готовъ на ней жениться, говорилъ онъ, ломая руки.

— Какая честь высокая! — сказала, презрительно кусая губы, Ида: — да вы спросите лучше: какая женщина за васъ пошла бы? Конечно, дуръ и всякихъ низкихъ женщинъ много есть на свѣтѣ; но какъ же Маню-то вы смѣете равнять со всякой дрянью?.. Вы слушайте, Истоминъ! вы знайте, что я теперь бѣшусь, и я вамъ, можетъ быть, скажу такое, что я вовсе не хотѣла вамъ сказать и чего вы, вѣрно, давно не слыхивали... Вы должны были сберечь мою сестру отъ увлеченій; да, сберечь, сестра *любила* васъ; она за васъ не собиралась *замужъ*, а такъ *любила*, сама не зная почему; вы увлекли ее... Богъ знаетъ для чего, на что? и теперь...

— И теперь она меня не любитъ больше? — произнесъ съ оскорбленіемъ и испугомъ Истоминъ.

— Гм! часъ отъ часа не легче... Какой вы жалкій человѣкъ, m-r Истоминъ! Утѣшу васъ: нѣтъ, *любитъ*. Радуй-

тесь и торжествуйте—*любить*. Но вы... Вотъ отгадайте-ка, что я хочу вамъ досказать?

— Что я любви не стою? это вѣрно?

— Совсѣмъ не то; къ несчастію, женщинамъ перебирать-то много некѣмъ, m-r Истоминъ! Нѣтъ, вѣрно, стоите, пожалуй. Когда бы не было въ васъ ничего, что, на несчастье женщины, ей можетъ нравиться при нынѣшнемъ безлюдьи, такъ васъ бы этакъ не любили! но вы... да вы сами, подумайте, развѣ вы можете кого-нибудь любить? У васъ была худая мать, Истоминъ, худая мать; она дурно васъ воспитывала, дурно, дурно воспитывала! — докончила Ида и, чего бы кажется никакъ нельзя было отъ нея ожидать, она съ этимъ словомъ вдругъ сердито стукнула концомъ своего бѣлаго пальца въ красивый лобъ Романа Прокофьича.

Художникъ не пошевелился.

— Вы правы; вы безконечно правы, шепталъ онъ потерянно: — Но вы повѣрьте... это все не такъ... вы судите по жалобамъ однимъ...

— Оставьте! перестаньте, monsieur Истоминъ, говорить такіе вздоры! Какія жалобы? Кто слышалъ эти жалобы отъ порядочной женщины? Куда? кому можетъ честная женщина жаловаться за оскорбленіе ея чувства?.. Для этихъ жалобъ земля еще слишкомъ тверда, а небо слишкомъ высоко.

Вышла минутная пауза. Ида покачала головою и, какъ будто что-то вспомнивъ, заговорила:

— А васъ любили въ самомъ дѣлѣ, и еще какъ преданно, какъ жарко васъ любили! Не Маня, можетъ быть, одна, а и другія, серьезнѣе и опытнѣе Мани женщины въ своемъ пріятномъ заблужденіи васъ принимали за человѣка, съ которымъ женщинѣ пріятно было бы идти объ руку...

Ида Ивановна на минуту остановилась; Истоминъ смотрѣлъ на нее, весь дрожа, млѣя и волнуясь.

— Но этого не можетъ быть! — прошепталъ онъ послѣ новой паузы, отодвигаясь со страхомъ на шагъ далѣе отъ Иды.

— Чего?

— Того, что вы сказали.

— Отчего?—продолжала, спокойно глядя, дѣвушка.

— Нѣтъ; этого не можетъ быть!

Дѣвушка опять долго, безъ устали смотрѣла въ лицо художнику и, наконецъ, она его поняла и поблѣднѣла. Въ эту же терцію бѣлый червячокъ шевельнулся у нея надъ верхней губою.

— Что дѣлаютъ изъ человѣка его дурныя страсти! — начала она, покачавъ головою. — И это вамъ не стыдно подумать то, что вы подумали! О, Боже мой! простая дѣвушка, которая ни разу никому не объяснялась въ чувствахъ, которая и говорить-то объ нихъ не умѣетъ, и безъ всякаго труда, безъ всякаго особаго старанія, въ какое она васъ ставитъ теперь положеніе? Что вы даете мнѣ читать по вашему лицу? Я такой страшной надписи никогда не читывала. Неужто вы подумали, что женщина, которая любила васъ окромя Мани, — я?.. И вы бы, Истоминъ, хотѣли этого? Возвысьтеся хоть разъ до правды передъ женщиной: вѣдь это правда?.. такъ?.. вы-бъ этого хотѣли?

Истоминъ не зналъ, что̀ говорить и думать.

— Боже! Боже!.. ну, такъ ужъ далеко моя фантазія не уходила! — продолжала, не выдержавъ, Ида. — Польщу вамъ лишнею побѣдой, и вы со всею вашей силой, со всѣмъ своимъ талантомъ громкимъ, какъ пудель, ляжете вотъ здѣсь къ моимъ ногамъ и поползете куда вамъ прикажу!.. И все изъ-за чего? изъ-за того, чтобы взойти въ паѳосъ, потоки громкихъ фразъ пустить на сцену и обмануть еще одну своимъ минутнымъ увлеченіемъ... да?

— Не понимаю, зачѣмъ намъ говорить о томъ, чего не будетъ?

— О, да! о, да! мнѣ кажется, что этого не будетъ; вы это вѣрно угадали, подхватила съ полной достоинства улыбкой Ида. — А вѣдь смотрите: я даже не красавица, Истоминъ, и что изъ васъ я сдѣлала?.. Смѣшно подумать,

право, что я, я, Ида Норкъ, теперь для васъ, должно быть, первая красавица на свѣтѣ? что я сильнѣй всѣхъ этихъ умницъ и красавицъ, которыя сдѣлали васъ такимъ, какъ вы теперь... обезоруженнымъ, несчастнымъ человѣкомъ, рабомъ своихъ страстей.

— Спасибо вамъ за эти горькія слова! Я не забуду ихъ, покорно отвѣчалъ художникъ, протягивая дѣвушкѣ съ благодарностью обѣ руки.

Ида ему не подала ни одной свой руки и проговорила:

— Я не хотѣла васъ учить: вы сами напросились на урокъ. Запомните его; Богъ знаетъ, можетъ-быть еще и пригодится.

— Ида Ивановна! честью клянусь вамъ, меня первый разъ въ жизни такъ унижаетъ женщина, и если бы эта женщина не была вы, я бы не снесъ этихъ оскорбленій.

— Гм!.. Что же такое, однако, я для васъ въ самомъ дѣлѣ?—проговорила она, сдвигая брови и поднимая голову.

Ида измѣнила позу и сказала вздохнувъ:

— Ну, однако, довольно, monsieur Истоминъ, этой комедіи. Униженій передъ собою я не желаю видѣть ничьихъ, а вашихъ всѣхъ менѣе; взволнована же я, вѣроятно, не менѣе васъ. Въ двадцать четыре года выслушать, что я отъ васъ выслушала, да еще такъ внезапно, и потомъ въ ту пору, когда семейная рана пахнетъ горячей кровью, согласитесь, этого нельзя перенесть безъ волненія. Я запишу этотъ день въ моей библіи; замѣтьте и вы его на томъ, что у васъ есть завѣтнаго

Лицо Иды вдругъ выразило глубокое негодованіе; она сдѣлала одинъ шагъ ближе къ Истомину и, глядя ему прямо въ лицо, заговорила:

— Забыто все! и мать моя, и бабушка, и Маня, и нашъ позоръ семейный—все позабыто! Все *молодость*, передразнила она его съ презрѣніемъ. — По-вашему, на всѣ гадости молодость право имѣетъ. Ахъ, вы этакой молодой палачъ! Что̀ мать моя?... что́ ея за жизнь теперь?.. Вѣдь вы въ нашъ тихій домъ взошли, какъ волкъ въ овчарню, вы

нашъ палачъ?—Вы молоды, здоровы и думаете, что старость—это ужъ... дрова гнилыя, соръ, такая дрянь, которая и сожалѣнія даже ужъ не стоитъ?.. Какая почтенная у васъ натура?—Скажите мнѣ... Вамъ никогда не говорила ваша мать, что тотъ проклятъ, чья молодость положитъ лишнюю морщину на лбу у старости?—Нѣтъ—не сказала?.. Говорите же, вѣдь не сказала?—О, да! пускай ее за это Господь проститъ, но я... я, женщина, и я скорѣе васъ прощу, а ей... хотѣла бы простить, да не могу: столько доброты нѣтъ въ моемъ сердцѣ.

Ида сложила на груди руки, быстро сѣла въ стоявшее возлѣ нея кресло, посмотрѣла минуту въ окно и, снова взглянувъ въ лицо Истомину, продолжала:

— Не знаю, да, клянусь вамъ, истинно не знаю, кого могли вы увлекать когда-нибудь?—Дѣтей, подобныхъ Манѣ, или такихъ, которыхъ нечего и увлекать... а я!.. Да, впрочемъ, вѣдь за что-жъ бы для меня вамъ сдѣлать исключенье?—Ну, да! скорѣй, скорѣй теперь Истининъ на колѣни! Вы будете прекрасны, я не устою передъ этимъ, и мы двойнымъ, нигдѣ, мнѣ кажется, еще неслыханнымъ стыдомъ, покроемъ нашу семью. Старуха выдержитъ: она молиться будетъ и снесетъ; не то, не выдержитъ—стара, туда ей и дорога... Ну, что-жъ вы стали? — руку! давайте руку на позоръ!

Истининъ молча пряталъ глаза въ темный уголъ; на лбу его были крупныя капли пота и волосы вспутались, точно его кто растрепалъ.

— Вамъ поздно думать о любви, начала, медленно приподнимаясь съ кресла, Ида... Мы васъ простили, но за вами, какъ Авелева тѣнь за Каиномъ, пойдетъ повсюду тѣнь моей сестры. Каждый цвѣтокъ, которымъ она невинно радовалась; птичка, за которой она при васъ слѣдила по небу глазами, само небо, подъ которымъ мы ее лелѣяли для того, чтобы вы отняли ее у насъ—все это за нее заступится.

Истининъ все слушалъ, все не двигался и не издавалъ ни звука.

— Я вамъ сказала минуту назадъ, что женщинамъ, къ несчастію, перебирать-то много некѣмъ, а вѣдь любить... кому же съ живою душою не хотѣлось любить. Но, m-r Истоминъ, есть женщины, для которыхъ лучше отказаться отъ малѣйшей крупицы счастія, чѣмъ связать себя съ нулемъ, да еще... съ нулемъ, нарисованнымъ въ квадратѣ. Я одна изъ такихъ женщинъ.

Истоминъ сверкнулъ глазами и тотчасъ же усмирѣлъ снова. Но Ида тѣмъ же самымъ тономъ продолжала:

— Молитесь лучше, чтобы вашей матери прощенъ былъ тяжкій грѣхъ, что вамъ она не вбила вонъ туда въ тотъ лобъ и въ сердце хоть пару добрыхъ правилъ, что не внушила вамъ, что женщина вамъ не игрушка; и вотъ за то теперь, когда вамъ тридцать лѣтъ—вамъ дѣвушка читаетъ наставленія! А вы еще ее благодарите, что васъ она, какъ мальчика, бранитъ и учитъ! и вы не смѣете въ лицо глядѣть ей, и самому себѣ теперь вы гадки и противны.

— Больнѣй, больнѣй меня казните, Бога-ради!

— Ахъ, какъ это противно, если бы вы знали! Вы, Бога-ради, бросьте всѣ эти фразы и эту, вовсе мнѣ не нужную покорность, отозвалась нетерпѣливо Ида.—Какая казнь! На что она кому-нибудь?.. Я къ вамъ пришла совсѣмъ за другимъ дѣломъ, а не казнить васъ: отвѣтьте мнѣ, если можете, искренно: жаль вамъ мою сестру или нѣтъ?

— Вы знаете впередъ, что́ я вамъ отвѣчу.

— Нѣтъ, не знаю. Я васъ спрашиваю по-истинѣ, искренно... Я еще такихъ словъ отъ васъ не слыхала.

— Жаль.

— И способны вы хоть что-нибудь принесть ей въ жертву?

— Все! мой Боже! все, что́ вы прикажете!

— Ни жизни и ни чести я у васъ не попрошу. Садитесь и пишите, что я вамъ буду говорить.

Это было сказано тихо, но съ такою неотразимой внушительностью, съ какою развѣ могло соперничать только одно приказаніе королевы Маргариты, когда она велѣла

встрѣченному лѣсному бродягѣ беречь своего королевскаго сына.

Такихъ приказаній нельзя не слушаться безъ разбора, даетъ ли ихъ мѣщанка, или королева и, дабы властительная способность отдавать такія приказанія не сдѣлалась банальной, природа отмѣчаетъ ею мѣщанокъ съ немѣньшею строгостію, чѣмъ королевъ.

Истоминъ подошелъ къ столу и взялъ перо.

Ида стала у него за стуломъ и глядѣла черезъ плечо въ бумагу.

— Пишите, начала она твердо.—«Милостивый государь, Фридрихъ Фридриховичъ!»

— Это къ Шульцу? — спросилъ Истоминъ, какъ смирный ребенокъ, пораженный величиною урока, спрашиваетъ: «это всю страницу выучить?»

— «Милостивый государь, Фридрихъ Фридриховичъ!» продолжала Ида.

Художникъ написалъ.

Дѣвушка продолжала далѣе:

— «Я искренно раскаиваюсь во всемъ, что́ дало вамъ поводъ вызвать меня на дуэль. Я считаю себя передъ вами виноватымъ и прошу у васъ прощенія»...

Истоминъ остановился и, не поднимая головы, закусилъ зубами перо.

— «И прошу у васъ прощенія», повторила, постоявъ съ секунду, Ида.

— *И прошу у васъ прощенія!* — выговорила она, еще настойчивѣе и слегка толкнувъ Истомина концами пальцевъ въ плечо.

Художникъ вздохнулъ и четко написалъ: «прошу у васъ прощенія».

— «И даю мое честное слово, — продолжала, стоя въ томъ же положеніи дѣвушка: — что мое присутствіе болѣе не нарушитъ спокойствія того лица, за которое вы благородно потребовали меня къ отвѣту: я завтра же уѣзжаю изъ Петербурга и надолго».

— Позвольте мнѣ послѣднее слово замѣнить другимъ?

— Какимъ?

— Я желаю написать: «навсегда».

— Напишите, сказала, подумавъ, Ида, и когда Истоминъ подписалъ, какъ принято, свое письмо, она тихо засыпала золотистымъ пескомъ исписанный листокъ, тщательно согнула его ногтемъ и положила подъ корсажъ своего строгаго платья.

— Проводите меня до двери—я боюсь вашей собаки.

Истоминъ ударилъ ногою своего водолаза и пошелъ немного сзади Иды.

— Прощайте, сказала она ему у двери.

Онъ ей молча поклонился.

— Послушайте! — позвала Ида снова, когда Истоминъ только что повернулъ за нею ключъ и еще не успѣлъ отойти отъ двери.

Художникъ отперъ.

— Въ несчастіи трудно владѣть собою и быть справедливымъ:—я много сегодня сказала вамъ, начала, сдвинувъ брови, Ида. — Я недовольна этимъ; я васъ обидѣла болѣе, чѣмъ имѣла права.

Истоминъ опять отвѣчалъ молчаливымъ поклономъ.

— Да, заключила дѣвушка. — Я это чувствую и я вернулась сказать вамъ, что и васъ мнѣ тоже жаль искренно.

Ида протянула Истомину руку.

— Прощайте, добавила она тихо, отвѣтивъ на его пожатіе, и снова вышла за двери.

Романъ Прокофьичъ сдержалъ обѣщаніе, данное Идѣ: онъ уѣхалъ на другой же день, оставивъ всѣ свои дѣла въ совершенномъ безпорядкѣ. Недѣли черезъ три я получилъ отъ него вѣжливое письмо съ просьбою выслать ему нѣкоторыя его вещи въ Тифлисъ, а остальныя продать и съ квартирою распорядиться по моему усмотрѣнію.

Въ своемъ письмѣ Истоминъ, между прочими строками дѣлового характера, лаконически извѣщалъ, что намѣренъ

изучать природу Кавказа, а тамъ, можетъ-быть, проѣдетъ посмотрѣть на берега Сыръ-Дарьи.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Прошелъ годъ, другой — о Романѣ Прокофьичѣ не было ни слуха, ни духа. Ни о самомъ о немъ не приходило никакихъ извѣстій, ни работъ его не показывалось въ свѣтѣ, и великія ожиданія, которыя онъ когда-то посѣялъ, рухнули и забылись, какъ забылись многія большія ожиданія, рано возбужденныя и рано убитыя многими подобными ему людьми. Норки жили попрежнему; Шульцъ тоже. Онъ очень долго носился съ извинительной запиской Истомина и даже держался слегка дуэлистомъ, но, наконецъ, и это надоѣло, и это забылось.

Маня Норкъ жила совсѣмъ невидная и неслышная; но черная тоска не переставала грызть ее. Мѣста, стѣны, люди—все видимо тяготило ее. Пользуясь своей безграничной свободой въ домѣ, она часто уходила ко мнѣ и просиживала у меня цѣлые дни, часто не сказавъ мнѣ ни одного слова. Иногда, впрочемъ, мы бесѣдовали, даже варили себѣ шоколадъ и даже смѣивались, но никогда не говорили о прошломъ. Чего ждала она и чего ей сколько-нибудь хотѣлось отъ жизни—она никогда не высказывала. Разъ только помню, когда, въ какомъ-то разговорѣ, я спросилъ ее, какая доля, по ея мнѣнію, самая лучшая? она отвѣчала, что доля пушкинской Татьяны.

— А почему?—спросилъ я.

— Да потому, что для бѣдной Тани всѣ были жребіи равны, отвѣчала Маничка.

Такъ это все и жилось тихо. Во все это время насъ потревожило немножко только одно газетное извѣстіе о какой-то битвѣ русскихъ съ черкесами въ ущельяхъ Дарьяла. Романическая была исторія! Писали, какая была ночь, какъ вечеръ быстро смѣнялся тьмою, какъ осторожно наши шли обрывомъ взорванной скалы, какъ сшиблись въ свалкѣ и

крикнулъ женскій голосъ въ толпѣ чеченцевъ; что на этотъ голосъ изъ-за нашихъ рядовъ вынесся находившійся въ экспедиціи художникъ И., что онъ рубилъ своихъ за басурманку, съ которой былъ знакомъ и считался кунакомъ ея брату, и что храбрѣйшій офицеръ, какой-то N или Z ему въ лицо стрѣлялъ въ упоръ, и если не убилъ его, такъ какъ пистолетъ случайно былъ лишь съ холостымъ зарядомъ, то вѣрно ослѣпилъ. «Измѣнникъ обнялъ дѣвушку и вмѣстѣ съ ней скатился въ бездну», было написано въ газетѣ.

Всѣ мы были увѣрены, что это дѣянія Истомина, и тщательно скрывали это отъ Мани. Такъ это, наконецъ, и прошло. Маня попрежнему жила очень тихо и словно ни о чемъ не заботилась; словно она все свое совершила и теперь ей все равно; и вдругъ, такъ мѣсяца за полтора передъ лондонской всемірной выставкой, она совершенно неожиданно говоритъ мнѣ:

— А знаете, я съ Фридрихомъ Фридриховичемъ поѣду за границу.

Смотрю, и въ самомъ дѣлѣ у Норковъ идутъ сборы—снаряжаютъ Маню за границу.

— Чего это ѣдетъ Маня?—спросилъ я разъ Иду.

— А отчего-жъ, отвѣчаетъ,—ей и не ѣхать?

Старуха-мать ходитъ съ наплаканными глазами, но тоже собираетъ Маню бодро.

— А вы, спрашиваю Маню,—какъ ѣдете:—радуетесь или нѣтъ?

— Мнѣ все равно, отвѣтила Маня спокойно и равнодушно.

Ида знала пружины, выдвигавшія Маню изъ Россіи за границу, но молчала какъ рыба, и только когда Маня сѣла въ вагонъ, а Фридрихъ Фридриховичъ съ дорожною сумкою черезъ плечо цѣловалъ руку плачущей старухи Норкъ, Ида Ивановна посмотрѣла на него долгимъ, внимательнымъ взглядомъ и, закусивъ губы, съ злостью постучала кулакомъ по своей ладони.

Черезъ три мѣсяца Шульцъ писалъ изъ одного маленькаго шверинскаго городка, что Маня выходитъ замужъ за одного машиннаго фабриканта родомъ изъ Сарепты, но имѣющаго въ мѣстечкѣ Плау свою наслѣдственную фабрику. Маня тоже писала объ этомъ матери и сестрѣ и просила у старухи благословенія.

— Вотъ нашъ милый Фрицынька какія штучки устраиваетъ!—сказала съ ироніей Ида, сообщивъ мнѣ извѣстіе о Маниномъ замужествѣ.—Смылъ семейное пятно съ громкаго имени Норковъ.

— Вы, Ида Ивановна, противъ этого замужества?

— Я ни противъ чего; но, помилуйте, что-жъ это можетъ быть за замужество, да еще для такой восторженной и чуткой женщины, какъ Маня? И представьте себѣ, что еще когда онъ только заговаривалъ, чтобы повезть ее *поразвлечься*, я тогда очень хорошо предвидѣла и знала все, чѣмъ это окончится.

— Чего-жъ вы ей объ этомъ не сказали?

— Я говорила ей—она отвѣтила: «мнѣ все равно» — и только.

— Дай Богъ одно теперь, сказалъ я: — чтобъ это, по крайней мѣрѣ, было что-нибудь похожее на человѣка.

— На ангела, на ангела, а не на человѣка!—перебила Ида. — Человѣка мало, чтобы спасти ее. Ангелъ! Ангелъ! продолжала она, качая головою:—слети же, въ самомъ дѣлѣ, разъ еще на землю; вселися въ душу мужа, съ которымъ связана жена, достойная любви, безъ силъ любить его любовью, и покажи, что̀ можетъ сдѣлать этотъ бѣдный человѣкъ, когда въ его душѣ живутъ не демоны страстей, а ты, святой посланникъ неба?

Фридрихъ Шульцъ возвратился совсѣмъ отцомъ и покровителемъ. Маня, по его мнѣнію, была пристроена прекрасно и сама она два или три раза писала мнѣ и Идѣ Ивановнѣ, что ей хорошо. «Одно только,—добавляла она въ послѣднемъ письмѣ: — тяжкія бываютъ минуты тоски, хочется куда-то

бѣжать, куда-то броситься, и все представляется, будто я еще сдѣлаю что-то ужасное».

Въ семьѣ Норковъ такъ всѣ чего-то и ожидали: ни Ида матери, ни мать Идѣ не говорили другъ другу ни про какія опасенія; но стоило только кому-нибудь при нихъ невзначай произнесть слово: *новость*, какъ обѣ эти женщины блѣднѣли и окаменѣвали.

Софья Карловна старѣлась не по днямъ, а по часамъ и даже часто совсѣмъ теряла память.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Переносимся на короткое время далеко въ Германію, въ Сѣверный Шверинъ.

Маленькое мѣстечко Плау, расположенное при небольшомъ Плаускомъ озерцѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Доберана, все на праздничной ногѣ. Изъ высокой дымовой трубы на фабрикѣ изобрѣтателя качающихся паровыхъ цилиндровъ, доктора Альбана, уже третій день не вылетаетъ ни одной струи дыма; пронзительный фабричный свистокъ не раздается въ покрытыхъ снѣгомъ поляхъ; на дворѣ сумерки; густая, сѣрая луна изъ-за горы поднимается тускло; деревья индевѣютъ. Вездѣ тихо-тихохонько: только въ полумракѣ на синемъ льду озера катается на конькахъ нѣсколько прозябшихъ мальчиковъ; на улицѣ играютъ и вертятся на спинахъ двѣ собаки; но Плау не спитъ и не скучаетъ; въ окошкахъ его чистенькихъ красныхъ домиковъ вездѣ горятъ веселые огоньки и суетливо бѣгаютъ мелкія тѣни; нѣсколько тѣней чешутся передъ маленькими гамбургскими зеркальцами; двѣ тѣни шнуруютъ на себѣ корсеты, одна даже пудритъ себѣ шею. Все это прекрасно видно съ улицы, на которой играютъ двѣ собаки, но собаки не обращаютъ на это никакого вниманія и продолжаютъ вертѣться въ мягкомъ снѣжку. Сегодня вечеромъ все Плау намѣрено танцовать у преемника Альбана, доктора Риперта. Каждый годъ докторъ Ripертъ даетъ своимъ сосѣдямъ очень веселый вечеръ на третій день Рождества Христова,

и у него въ этотъ день обыкновенно бываетъ все Плау; но нынче дѣло не ограничится одними плаузцами. Нынче у Риперта будетъ на вечерѣ Беръ—человѣкъ, который цѣлый вѣкъ сидитъ дома, самъ дѣлаетъ сбрую на своихъ лошадей; ложится спать въ девять часовъ непремѣнно и, къ довершенію всѣхъ своихъ чудачествъ, женился на русской, которая, однако, заболѣла, захирѣла и, говорятъ, непремѣнно скоро умретъ съ тоски. Это очень романическая пара: одни говорятъ, что Беръ увезъ свою жену; другіе разсказываютъ, что онъ купилъ ее. «Гдѣ же купить? — Помилуйте, гдѣ же въ нашъ вѣкъ въ Европѣ продаются на рынкахъ женщины?» Этакъ говорили скептики, но какъ скептиковъ даже и въ Германіи меньше, чѣмъ легковѣрныхъ, то легковѣрные ихъ перекричали и рѣшили на томъ, что «а вотъ же купилъ!» Но это ужъ были старые споры; теперь говорилось только о томъ, что эта жена умираетъ у Бера, въ его волчьей норѣ, и что онъ, наконецъ, рѣшился вывезти ее, дать ей вздохнуть другимъ воздухомъ, показать ее людямъ. По правдѣ сказать, все Плау-таки ужъ давно скандализировано тѣмъ, что Беръ никому не покажетъ своей жены. Многіе считали это сначала просто пренебреженіемъ, и успокоились только, когда распространился слухъ, что Беръ сектантъ, гернгутеръ, пуританинъ и даже ханжа, но тѣмъ интереснѣе, что этотъ пуританинъ сегодня явится въ обществѣ, да еще вдобавокъ съ своей русской женою. А что они сегодня явятся, въ этомъ не было никакого сомнѣнія, потому что madame Рипертъ сама объявила объ этомъ дочерямъ кузнеца Шмидта и столяра Тишлера, и совѣтовала имъ пріодѣться. Весь вопросъ теперь могъ заключаться только въ томъ, будетъ ли сектантъ Беръ играть въ карты, и позволитъ ли онъ танцовать своей женѣ. Всѣ, впрочемъ, довольно единогласно рѣшали, что играть въ карты онъ, можетъ быть, и станетъ, но танцовать своей женѣ ужъ навѣрно не позволитъ.

— Я, мама, ни за что не пошла бы замужъ за гернгутера, говорила матери одна изъ дочерей Тишлера.

— И я тоже, подкрѣпила другая.

Съ этими словами онѣ вошли на высокое каменное крыльцо фабриканта.

То же самое говорили черезъ нѣсколько минутъ, всходя на это крыльцо, дочери Шмидта.

Самъ Риперть, встрѣчая гостей въ углу своей залы и подавая имъ толстую руку съ огромнымъ перстнемъ на большомъ пальцѣ, тоже выразился кому-то о гернгутерѣ очень неблагопріятно.

Тѣмъ не менѣе, конечно, при каждомъ шумѣ въ сѣняхъ, всѣ съ любопытствомъ взглядывали на двери.

Изчужа можно было предполагать, что сюда на этотъ вечеръ ожидаютъ прибытія Кармакдойля, или Рауля Синей-Бороды.

Наконецъ они пріѣхали. Это была поистинѣ очень торжественная минута. Они пріѣхали на какихъ-то оригинальныхъ саняхъ, запряженныхъ парою очень хорошихъ лошадей, но безъ кучера. За ними прибѣжала огромная лохматая собака, которую Беръ назвалъ Рапò, и велѣлъ ей лечь въ сани. Собака въ ту же секунду вспрыгнула въ сани, свернулась кольцомъ и легла на указанное ей мѣсто. Беръ вынулъ изъ кармана шубы тонкій ременный чембуръ и собственноручно привязалъ своихъ лошадей къ столбу. Конюхъ Риперта предложилъ было Беру свои услуги поберечь его лошадей, но тотъ коротко отвѣчалъ: «не надо». Всѣ, которымъ послѣ захотѣлось поближе полюбоваться заиндевѣвшей парой прекрасныхъ коней Бера, согласились, что беречь ихъ, дѣйствительно, было *не надо*. Каждому человѣку, подходившему къ лошадямъ ближе пяти шаговъ, Рапó давалъ самый энергическій знакъ удалиться. Покрытый морозною пылью, лохматый песъ былъ такъ же немногорѣчивъ, какъ его хозяинъ; онъ не рычалъ при приближеніи человѣка, а молча вскакивалъ во весь свой ростъ въ саняхъ, становился передними лапами на край и выжидалъ перваго движенія подходившаго, чтобы броситься ему на грудь и перекусить горло.

Слесарный подмастерье, который, бывши одинъ разъ въ Лейпцигѣ, купилъ себѣ тамъ на ярмаркѣ иллюстрированный экземпляръ «Парижскихъ тайнъ» и зналъ эту книгу какъ свои пять пальцевъ, увѣрялъ, что точно такая собака была у Дагобера.

— Можетъ-быть, это она и есть? — заподозрилъ Рипертовъ конюхъ.

— Я много не прозакладую, что это не она, отвѣчалъ слесарный ученикъ.

Все дышало какою-то таинственностью около саней страннаго гостя: словно все это прилетѣло изъ какого-то другого міра. Лошади сильныя, крѣпкія какъ львы, вороныя и всѣ покрытыя серебряною пылью инея, насѣвшаго на ихъ потную шерсть, стоятъ тихо какъ вкопанныя; только сѣдыя, заиндевѣвшія гривы ихъ топорщатся на морозѣ и изъ ноздрей у нихъ вылетаютъ четыре дымныя трубы, широко расходящіяся и исчезающія высоко въ тихомъ, морозномъ воздухѣ; сани съ непомѣрно высокимъ переднимъ щиткомъ похожи на адскую колесницу; страшный песъ напоминаетъ Цербера: когда онъ встаетъ, луна бросаетъ на него тѣнь такъ странно, что у него вдругъ являются три головы: одна смотритъ на поле, съ котораго пріѣхали всѣ эти странныя существа, другая—на лошадей, а третья—на тѣхъ, кто на нее смотритъ.

— Я бы, однако, далъ довольно дорого, чтобы посмотрѣть на самого этого гостя, проговорилъ слесарный ученикъ, который, впрочемъ, потому и былъ такъ щедръ, что никому не могъ ничего дать.

— Это можно сдѣлать очень просто, отвѣчалъ безкорыстный конюхъ:—ты становись мнѣ на плеча, смотри въ окно и хорошенько мнѣ все разсказывай.

Они такъ и сдѣлали: конюхъ сталъ опершись руками въ стѣну, а слесарный ученикъ взмостился ему на плечи, но морозъ очень густо разрисовалъ окна своими узорами, и слесарный ученикъ увидѣлъ на стеклахъ только однѣ сѣдыя полосы, расходящіяся рогами.

— Я тебѣ скажу, говорилъ съ конюховыхъ плечъ слесарный ученикъ:—что я вижу что-то странное: я вижу какъ будто огонь и какіе-то ледяные рога...

И онъ не договорилъ, что̀ онъ видѣлъ, еще болѣе потому, что въ это время стоявшаго противъ дверей конюха кто-то ужасно сильно толкнулъ кулакомъ въ брюхо и откинулъ его отъ стѣны на цѣлую сажень. Слесарный ученикъ отлетѣлъ еще далѣе и вдобавокъ чрезвычайно несчастливо воткнулся головою въ кучу снѣга, которую онъ самъ же и собралъ, чтобы слѣпить здѣсь бѣлаго великана, у котораго въ пустой головѣ будетъ горѣть фонарь, когда станутъ расходиться по домамъ гости.

Всѣ эти обстоятельства чрезвычайно странно вязались съ какою-то святочной чертовщиной, потому что когда слесарный ученикъ и конюхъ встали, у нихъ у обоихъ звенѣло въ ушахъ, и они оба были поражены самымъ неожиданнымъ зрѣлищемъ: по бѣлому, ярко освѣщенному луною полю дѣйствительно несся чортъ. Онъ скакалъ на той самой парѣ серебряныхъ лошадей, извергавшихъ изъ ноздрей цѣлые клубы дыма; у самого чорта лежало что-то бѣлое на колѣняхъ, а сзади его, трепля во всю мочь лохматыми ушами, неслась Дагоберова собака. И когда этотъ адскій поѣздъ быстро выѣхалъ въ мелкій перелѣсокъ, что̀ начинался тотчасъ за полемъ, то и чортъ, и собака разомъ закричали что-то неимовѣрно страшное. На этомъ разстояніи и слесарному ученику, и конюху стало видно, что паръ, которымъ дышали лошади, болѣе не поднимался вверхъ расходящимися трубами, а ложился конямъ на спины, и у нихъ на спинахъ выросли громадныя крылья, на которыхъ они, чортъ ихъ знаетъ куда и дѣлись, вмѣстѣ съ санями, собакой и хозяиномъ.

— Я никогда въ жизнь мою не ожидала такого скандала, говорила, возвращаясь домой, кузнечиха Шмидтъ столярихѣ Тишлеръ.

— И я тоже, отвѣчала Тишлеръ.

Старшая дѣвица Шмидтъ хотѣла было блеснуть образо-

ванностью и выговорила «et moi aussi», но мать ее тотчасъ остановила и сказала:

— Я полагаю, что ты еще слава-Богу не русская барышня, чтобы не умѣть говорить на своемъ языкѣ.

Мѣстечко было до того взволновано этимъ событіемъ, что нѣсколько человѣкъ тотчасъ же отправились къ старому кузнецу Шмидту, разбудили его и заставили ударить три раза молотомъ по пустой наковальнѣ, и только тогда успокоились, когда онъ это исполнилъ, такъ какъ извѣстно, что эти три удара совершенно прочно заклепываютъ цѣпь сорвавшагося чорта сѣверо-германскихъ прибрежій.

А вотъ въ чемъ въ самомъ дѣлѣ состояло происшествіе: все это надѣлала русская барышня.

Madame Шмидтъ такъ разсказывала дома эту исторію мужниному молотобойцу, которому она имѣла привычку приносить ужинъ въ особую каморку, когда уже все ея честное семейство засыпало, или мнилось заснувшимъ.

— Они вошли, говорила madame Шмидтъ.—Онъ такой, какъ этотъ чортъ, который нарисованъ въ Кёльнѣ. Ты, можетъ быть, не видалъ его, но это все равно: онъ маленькій, голова огромная, но волосы всѣ вверхъ. Я полагаю, что онъ непремѣнно долженъ ѣсть сырое мясо, потому что у него глаза совершенно красные, какъ у пьянаго француза. Фи, я терпѣть не могу французовъ.

Молотобоецъ сдѣлалъ «гм!» такъ, какъ будто онъ въ этомъ сомнѣвался, и залилъ свое сомнѣніе новою кружкой пива.

— А Робертъ Вейсъ, который долженъ былъ играть на фортепьяно, ушелъ къ совѣтнику... и онъ былъ пьянъ къ тому же! Да! я и забыла тебѣ сказать, что съ нимъ пріѣхала его жена. Она изъ Россіи. Она очень недурна, но я думаю, что она глупа, и послѣ я въ этомъ еще больше убѣдилась. У нея, во-первыхъ, нѣтъ роста: она совершенно карманная женщина. Я думаю, это вовсе не должно нравиться мужчинамъ. Хотя у мужчинъ бываютъ и очень дикіе вкусы, но большой ростъ все-таки очень важное дѣло.

Madame Шмидтъ была очень большого роста.

Молотобоецъ опять только промычалъ: «гм!»

— Да; я увѣрена, что это не можетъ нравиться, продолжна madame Шмидтъ.—Это, конечно, строго соображая, не ея вина, и я ее за это строго не осуждаю, но все-таки такая женщина не можетъ дѣйствовать на человѣка.

Молотобоецъ опять промычалъ: «гм!»

— Да все это еще простительно, если смотрѣть на вещи снисходительнымъ глазомъ: она вѣдь могла быть богата, а Беръ, говорятъ, слишкомъ жаденъ и самъ своихъ лошадей кормитъ. Я этому вѣрю, потому что на свѣтѣ есть всякіе скареды. Но Вейса не было, а онъ долженъ былъ играть на фортепьяно. Позвали этого русскаго Ивана, что́ лѣпитъ формы, и тутъ-то началась потѣха. Ты знаешь, какъ онъ страшенъ? Онъ вѣдь очень страшенъ, ну, и потому ему надѣли на глаза зеленый зонтикъ. Все равно, онъ такъ распорядился, что ему глаза теперь почти ненужны.

— Ненужны, произнесъ молотобоецъ.

— Онъ сѣлъ за фортепьяно съ зонтикомъ. Но онъ ужасно сбивалъ всѣхъ съ такта. Я никогда не слыхала, чтобы хотя одинъ музыкантъ игралъ такъ дурно. Это, конечно, очень понятно, потому что у него почти все равно, что нѣтъ глазъ, но дѣвицы были этимъ очень недовольны, всѣ молодые люди хотѣли его выслать... Штромъ сказалъ: я дамъ одинъ пять талеровъ тому, кто намъ сыграетъ хорошо хоть два вальса. А она... нужно тебѣ сказать, что она не танцовала, она сѣла за фортепьяно и сыграла пять вальсовъ. Я не могу сказать, чтобы она играла хуже madame Риппертъ. Но ты себѣ представь, что́ она зато сдѣлала! Ей, конечно, никто не смѣлъ заплатить пять талеровъ; но она сама взяла его шляпу и пошла у всѣхъ собирать для него деньги! Со мною, разумѣется, не было ничего, ни одного зильбергроша, потому что я шла вѣдь, надѣюсь, въ семейный домъ, а не на складчину. Но мужчины наклали ей очень много денегъ. Ея мужъ положилъ десять талеровъ, а

Рипертъ, ты знаешь, какой онъ пустой человѣкъ: онъ изъ тщеславія положилъ двѣнадцать. Это, я говорю, не правда ли, такъ очень бы хорошо играть, за такую цѣну?—Это и ты бы, я думаю, радъ былъ играть, если бы умѣлъ.

— Да, еслибъ умѣлъ, отвѣчалъ молотобоецъ.

— Вотъ тутъ зато и вышла цѣлая исторія. Да; я ужасно жалѣла, что я взяла туда съ собою моихъ дочерей. Тутъ онъ снялъ свой зонтикъ; она закричала: «ахъ!» онъ закричалъ: «ахъ!» онъ затрясся и задрожалъ: она упала, а этотъ ея звѣрь, этотъ проклятый гернгутеръ-то, взялъ ее въ охапку, выбѣжалъ съ нею на дворъ и уѣхалъ. Каково, я тебя спрашиваю, это перенесть madame Рипертъ? — Согласенъ ли ты, что вѣдь это можно назвать происшествіемъ?

Молотобоецъ отвѣчалъ, что онъ съ этимъ согласенъ.

Madame Рипертъ это, дѣйствительно, не могло понравиться, тѣмъ болѣе, что черезъ три дня послѣ этого она имѣла удовольствіе прочитать всю эту исторію въ игривомъ фельетонѣ трехгрошовой доберанской газеты. Да и скажите, пожалуйста, что̀ здѣсь такого, что̀ могло бы понравиться-то уважающей себя женщинѣ?

Вотъ другое бы дѣло, если бы въ доберанской газетѣ напечатали другую исторію, которая случилась гораздо послѣ; но про эту исторію доберанская газета рѣшительно не могла узнать ничего, потому что исторія эта разыгралась въ очень темномъ яру и съ такою скромностью, съ которою обыкновенно совершаются, дѣйствительно, любопытныя исторіи. Въ этомъ узкомъ темномъ яру, заваленномъ тучами бѣлаго снѣга, стояло странное красное зданіе: это были двѣ круглыя, красныя башни, соединенныя узкимъ корпусомъ, внизу котораго помѣщались кузня и точильня, а вверху жилье въ пять высокихъ готическихъ оконъ. Зданіе это въ Плау называли «норою Бера».

У этого страннаго зданія, въ темномъ яру, куда никогда не западалъ блѣдный лучъ мѣсяца, остановилась пара по-

сребренныхъ лошадей, ускакавшихъ на третій день Рождества изъ Плау.

Изъ саней тогда вышелъ тотъ же приземистый Кармакдойль и вынесъ на рукахъ молодую женщину, которую онъ всю дорогу согрѣвалъ въ своей шубѣ. Онъ внесъ ее въ длинную комнату, занимавшую половину коридора, который соединялъ двѣ башни; свистнулъ своей собакѣ, повернулъ въ дверяхъ ключъ и вышелъ.

Въ этомъ, конечно, нѣтъ еще никакой исторіи. Исторія началась собственно на другой день, или на другую ночь, а разыгралась еще гораздо позже.

На слѣдующую ночь, въ лѣвой башнѣ, подъ которой приходилась конюшня, гдѣ стояла пара лошадей, изумлявшихъ своею силой и крѣпостью плаузскаго Рипертова конюшаго, въ круглой, красной комнатѣ горѣлъ яркій-преяркій огонь. Этотъ огонь пылалъ въ простомъ кирпичномъ камнѣ, куда сразу была завалена цѣлая куча колючаго, сухого вереска.

Передъ камнемъ, въ углу, на старомъ креслѣ, обитомъ зеленымъ сафьяномъ, помѣщался Беръ, одѣтый въ толстыя лосинныя штаны и желтую, стеганую нанковую куртку. У ногъ его, на шкурѣ дикой козы, лежалъ, протянувъ морду къ камину, Рапо́.

Если бы я искалъ случая *подражать*, въ чемъ меня такъ любезно упрекаютъ добрые друзья мои, то я могъ бы списать здѣсь цѣлую картину у Вальтеръ-Скотта, и она пришлась бы сюда какъ нельзя болѣе кстати. На дворѣ была морозная ночь; полная луна ярко свѣтила на полѣ и серебрила окраины яра, но не заходила въ ущелье, гдѣ было бы темно совсѣмъ, какъ въ преисподней, если бы изъ кузнечнаго горна, передъ которымъ правили насѣки, не сыпались красныя искры, да не падалъ красный пукъ свѣта изъ окна хозяйской круглой комнаты. Въ дальнемъ углу оврага выли въ перекличку два волка, вторя другъ другу раздирающимъ унисономъ.

Беръ сидѣлъ въ своей комнатѣ одинъ, съ своей лохматой

собакой. Каминный огонь прихотливо озарялъ его круглую нору. Это была комната въ башнѣ, увѣшанная кругомъ машинными ремнями, конскими хомутами, тяжелыми насѣками, буравами и винтовыми досками. Въ одномъ заворотѣ у камина стоялъ тяжелый токарный станокъ съ подвижнымъ патрономъ, въ другомъ—желѣзная кровать хозяина, покрытая верблюжьимъ войлокомъ. Противъ нея помѣщался старинный комодъ съ львиными лапами вмѣсто ручекъ. На стѣнѣ висѣли два двуствольныя ружья, а между ними огромное черное распятіе. Болѣе здѣсь не было никакой мебели и никакихъ украшеній.

Робертъ Беръ сидѣлъ здѣсь, не выходя никуда съ самаго утра. Правда, онъ вышелъ на минуту передъ вечеромъ, но только для того, чтобы велѣть принесть себѣ новую кучу вереска, но тотчасъ же возвратился сюда снова, сѣлъ противъ камина, и съ тѣхъ поръ уже не вставалъ съ этого мѣста. Онъ даже не зашелъ сегодня къ своимъ лошадямъ, чѣмъ онъ не манкировалъ ни одинъ день въ жизни.

Теперь онъ сидѣлъ тихо, какъ человѣкъ, одержавшій побѣду надъ внутреннимъ врагомъ своимъ и довольный своею силою. Передъ нимъ лежала большая книга, развернутая на страницѣ, на которой широкою красною чертою была подчеркнута строка: «*И не восхотѣ обличити ю, но восхотѣ тай пустити ю*».

Робертъ Беръ былъ очень разстроенъ: окружающіе его замѣтили это потому, что онъ былъ необыкновенно тихъ и бездѣйствовалъ, тогда какъ обыкновенно у него въ крови всегда бѣгала ртуть и руки его постоянно искали работы.

Ровно въ одиннадцать часовъ въ толстую дубовую дверь круглой комнаты раздались три легкіе удара. Услыхавъ этотъ стукъ, Беръ вскочилъ съ своего кресла, сжалъ руки у сердца и, пошевеливъ беззвучно устами передъ распятіемъ, произнесъ: «войдите», и снова опустился на прежнее мѣсто.

Изъ темнаго пространства, открытаго повернувшеюся на

широкихъ петляхъ дубовою дверью, тихо вступила бѣлая, женская фигура.

Беръ не шевелился и не поднималъ кверху опущенной головы; уста его продолжали тихо двигаться, а глаза смотрѣли на сложенныя на колѣняхъ руки.

Женщина подошла къ самому креслу Бера, сбросила съ головы бѣлую шерстяную косынку, которою была покрыта, и, опершись локтемъ на карнизъ камина, проговорила:

— Я пришла въ тотъ часъ, когда вы хотѣли.

Эта женщина была Марія Норкъ.

— Да, отвѣчалъ Беръ:—да, я хотѣлъ этого, Марія: намъ надо поговорить съ тобой.

— Я васъ слушаю.

— Ты сядь, разговоръ можетъ выйти немного продолжителенъ.

Онъ подвинулъ ей ногою простой деревянный табуретъ, и опять сказалъ:

— Сядь! сядь!

Она сѣла. Вышла очень продолжительная пауза. Положеніе молодой женщины становилось невыносимымъ: она была слаба, волновалась ожиданіями предстоящаго тяжелаго объясненія, и ее томилъ неосвобождающій ее ни на минуту проницательный взглядъ мужа.

Наконецъ, Беръ положилъ конецъ этой сценѣ. Онъ переложилъ лѣвую ногу на правую и проговорилъ:

— И такъ, Марія!..

Женщина вскинула голову и, замѣтя новую склонность Бера къ паузамъ, спокойно сказала:

— Я васъ слушаю.

— Вы... его любите?

— Нѣтъ.

Беръ подумалъ и произнесъ тихо:

— Будемъ откровенны.

— Я вамъ отвѣчала откровенно, подтвердила Маня.

Беръ остановился и стоялъ, то широко раскрывая вѣки

то быстро захлопывая ихъ и затѣмъ опять снова раскрывая.

Маня молчала, собирая рукою подъ подбородкомъ свои разбѣжавшіеся пепельные волосы.

— Вы, однако, любили его? пробурчалъ Беръ.

— Онъ сдѣлалъ все, чтобы убить мою любовь къ себѣ.

— Какъ?

Маня задумалась, покраснѣла и, глядя въ огонь, добавила:

— Если ему удалось унизить меня одинъ разъ — я не хочу увеличивать мое униженіе разсказомъ, какъ я его понимаю. Вамъ не нужно это. Я не знаю, чего вы отъ меня хотите? Теперь глухая ночь; здѣсь всѣ вамъ преданы, начиная отъ этой собаки, которая готова загрызть меня, если вы ей это прикажете; отойдя кругомъ на пять миль, нѣтъ человѣческаго жилья; зима, морозъ, въ оврагѣ волки воютъ; вы — всѣ говорятъ, вы страшный человѣкъ; никто еще ни жалости и ни улыбки не видывалъ на вашемъ лицѣ ужасномъ; и вы меня силою позвали на допросъ!.. Вы здѣсь меня хотите пытать? Пытать меня будете? — Пытайте.

Маня сдѣлала два шага къ мужу и прошептала:

— Я не боюсь васъ!

— Вы слышали? — повторила она громко: — *я не боюсь васъ*. Поймите вы, что тѣмъ, кому, какъ мнѣ, жизнь—бремя, тѣмъ смерть есть высшее блаженство.

— Вамъ въ тягость жизнь?

— Да; она давно, давно мнѣ въ тягость.

— Вамъ скучно здѣсь?

— Вездѣ равно мнѣ скучно.

— Вы ненавидите меня?

— Я не люблю васъ.

— Не ненавидите, однако?

— Не ненавижу, потому что я не умѣю ненавидѣть. Я не люблю васъ; мнѣ съ вами тяжело. Я думаю и этого довольно, чтобъ для меня всю цѣну потеряла жизнь.

— А еслибъ Богъ вамъ далъ теперь другую жизнь?

— Я-бъ не взяла ея.

— Зачѣмъ?

— Затѣмъ, что для меня жить снова невозможно.

— Я вѣрю вамъ, Марія: и я бы тоже не взялъ.

Беръ снова опустилъ голову и снова задумался.

— Прощайте, проговорила тихо, вставая, Маня.

— Нѣтъ, пару словъ еще.

Маня снова безропотно сѣла.

— Такъ жить нельзя, произнесъ Беръ.

— Живу, какъ Богъ судилъ мнѣ, отвѣчала, нервно подергиваясь, Маня.

— Да, какъ Богъ судилъ... Нѣтъ, Богъ такъ не судилъ, Марія. Богъ не судилъ намъ жить съ тобой.

Беръ взялъ жену сильно за руку и еще разъ добавилъ:

— Богъ не судилъ.

Маня спокойно смотрѣла на мужа.

— Но Богомъ суждена для всѣхъ одна дорога: то путь къ добру, Марія. Нѣтъ положенія, въ которомъ человѣкъ не нашелъ бы средства быть полезнымъ людямъ и помириться съ собою.

Беръ приподнялся и сказалъ:

— Марія!—жить одному, это... несносно тяжело!

— Да, это тяжело.

— А жить вдвоемъ и врознь желать и порознь думать, и вѣчно тяготить другъ друга, и понимать все это—еще тяжелѣе.

— Еще тяжеле.

— Да, еще тяжеле. Одинъ въ постелю ляжетъ, поплачетъ въ изголовье, въ своемъ углѣ онъ перемучитъ горе свое, помолится, когда душа молитвы хочетъ, и станетъ выше, чище—приблизится страданьемъ къ Богу.

— Да.

— Союзъ хорошъ, когда одна душа святитъ собой другую.

— Что-жъ вы хотите?

— Ты не раба моя. Я далъ обѣтъ тебя сберечь и я хочу его исполнить.—Разстанемся.

Маня, молча, изумленными глазами смотрѣла на мужа.

— Съ тобою въ провожатые я не пошлю своихъ упрековъ. Я виноватъ во всемъ. Я думалъ, если я соединю въ одномъ гнѣздѣ два горя, два духа, у которыхъ общаго такъ мало съ міромъ, какъ у меня и у тебя, то, наконецъ, они поймутъ другъ друга. Я, сирота сѣдой, хотѣлъ ожить, глядясь въ твои глаза, Марія, и какъ уродъ обезобразилъ зеркало своимъ лицомъ. Не ожилъ я, и ты завяла. Ты хочешь умереть, а я хочу тебѣ дать жизнь. Хотѣла бы ты жить съ нимъ? съ тѣмъ... кого любила?

— Нѣтъ, спокойно отвѣчала Маня.

— Скажи еще! скажи еще мнѣ это слово!

— Я не хочу съ нимъ жить, твердо повторила Маня.

— О, не ходи! о, не ходи къ нему!

Беръ тихо взялъ ее за руку и, показывая другою черезъ окно вдаль, заговорилъ:

— Тамъ, за этою норой, Марія, цѣлый міръ, прекрасный, вѣчно юный; тамъ—поля, лѣса, тамъ рѣки свѣжія, моря и люди, тамъ Божій міръ: я весь его тебѣ открою. Кто ошибается любя, тотъ всѣхъ способнѣй съ любовью-жъ поправлять самъ ошибки. Пусть мертвые хоронятъ своихъ мертвецовъ, но ты жива и жива душа моя, чтобы оставить тебя. Тебѣ не за что умереть. Великая тоска въ душѣ живой должна создать великія рѣшенья. Марія! посмотри, одна ли ты несчастлива! Есть много женщинъ, которымъ, какъ тебѣ, не посчастливилось у очага, и онѣ не изнывали духомъ, онѣ себѣ у Бога не просили смерти, и не пошли путемъ лукавымъ. Онѣ создали себѣ мѣсто въ жизни; создали его себѣ у каждаго очага, гдѣ вечеромъ тихо горитъ обрубокъ дерева, передъ которымъ садится мать съ дѣтьми. Да, Марія, когда семейство садится у этого камина и мать, читая добрую книгу дѣтямъ, ведетъ ихъ дѣтскую фантазію по дѣвственнымъ лѣсамъ, черезъ моря, черезъ горы, къ тѣмъ жалкимъ дикарямъ, которые не знаютъ ни милосер-

дія, ни правды, тогда надъ яркимъ огонькомъ вверху — я это самъ видалъ въ былые годы — тогда является дѣтямъ старушка, въ фланелевомъ капотѣ, съ портфеликомъ у пояса и съ суковатой палочкой въ рукѣ. Она киваетъ бѣленькимъ чепцомъ оттудова ребенку; онъ улыбается, глядитъ ей въ добрые глаза и засыпаетъ, слушая ея разсказы. И въ этотъ часъ, когда такое множество людей найти не могутъ во снѣ покоя, невинное дитя спитъ сладкимъ сномъ и въ этомъ снѣ еще все улыбается ей, доброй бабушкѣ, старушкѣ Идѣ Пфейферъ. Иди за ней, иди, моя Марія! Тебѣ со мной тоска. Изломанную жизнь клеить напрасно. Тоска, какъ цѣпкая трава, перерастаетъ дерево, вокругъ котораго она завьется. Иди, у ногъ твоихъ прошу тебя, иди!—Беръ сталъ передъ женою на колѣни и добавилъ: — Она, старушка Пфейферъ, зоветъ тебя себѣ на смѣну; она тебѣ примѣръ и подкрѣпленье. Не отдавай напрасно жизнь тоскѣ и возврати талантъ сребра, который далъ тебѣ Создатель.

— А ты?—спросила тихо Маня.

— Ты говоришь мнѣ *ты*. Благодарю тебя.

Беръ поднялся съ колѣнъ и продолжалъ:

— Я... я, какъ жилъ встарь, опять попрежнему я буду жить въ моей норѣ и буду счастливъ.

Онъ сморгнулъ слезу и добавилъ:

— Повѣрь, мнѣ будетъ хорошо; да, хорошо. Блаженнѣйшимъ покоемъ полна будетъ моя душа, когда я вспомню о тебѣ. Тогда я стану здѣсь, вотъ здѣсь, передъ крестомъ, вздохну... быть-можетъ, и заплачу, но тогда я буду *мужъ*, Марія. Я буду гордый мужъ, мужъ силы, мужъ, который не сгубилъ, а спасъ тебя и поднялъ. Марія! — продолжалъ Беръ, складывая у подбородка кисти своихъ рукъ: — чтобы соблюсти душу твою, я долженъ потерять ее для себя: иначе нѣтъ спасенія. Впередъ, мой другъ! Впередъ, моя Марія! Тоска... мечтанія безплодныя... конецъ, конецъ всему! На бой, на жизнь! Иди, иди, молю тебя, моя Марія!

Маня тихо подала обѣ свои прозрачныя ручки мужу, положила ему на грудь свою голову и прошептала:

— Иду! Благослови меня, мой Робертъ.

Беръ взялъ ея руки и молча подвелъ ее къ окну: луна совсѣмъ садилась; синее небо подергивалось легкою предразсвѣтною пеленою и на горизонтѣ одиноко мерцала одна утренняя звѣзда.

— Она одна, произнесъ съ чувствомъ Беръ: — и мы съ тобою будемъ одиноки. Всегда вотъ въ этотъ часъ, когда она одна становится на небѣ, я стану на нее смотрѣть и думать о тебѣ; проснись и ты тогда и тоже погляди, и трое одинокихъ будемъ вмѣстѣ.

— Мы будемъ вмѣстѣ, прошептала Маня.

— И будемъ чисты, какъ она.

— Да, да, мы будемъ чисты.

— О, да, мы будемъ чисты; мы счастливы, и всегда, вспоминая другъ друга, будемъ смотрѣть вверхъ. Душа! несись, лети отсюда туда и встрѣться тамъ съ сіяющей душой моей Маріи!—проговорилъ онъ въ молитвенномъ созерцаніи и тотчасъ же добавилъ:—теперь иди, засни, Господь съ тобой, моя малютка!

Онъ проводилъ жену съ свѣчою до дверп, потомъ вернулся и простоялъ у окна, пока утренняя звѣзда совершенно исчезла въ заревѣ разсвѣта.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Весной распускались сирени, въ поляхъ пробивалася травка; очистилось море отъ льда и тихо у пристани колыхался большой пароходъ, готовый на завтра отчалить далеко.

Въ нижнемъ этажѣ Беровой башни, какъ разъ подъ той комнатой, гдѣ происходила послѣдняя сцена, въ такой же точно по размѣрамъ, но въ совершенно иной по убранству комнатѣ, густыя сумерки застаютъ двухъ человѣкъ. Молодая женщина, одѣтая въ сѣрой фланелевой блузѣ, сидитъ въ старинномъ креслѣ спиной къ открытому окну, въ которое лѣзутъ густыя вѣтки сирени. Голова этой женщины покоится на слабой бѣленькой ручкѣ, опирающейся локтемъ о столъ и поддерживающей ладонью подбородокъ;

большіе голубые глаза ея устремлены въ уголъ, гдѣ въ густой темнотѣ помѣщается мужская фигура, нѣсколько согбенная и опустившаяся. Мужчина сидитъ на креслѣ съ опущенной головой и руками, схваченными у себя на колѣняхъ.

Это Маня и Истоминъ, котораго Беръ привезъ сегодня, чтобы онъ могъ проститься завтра съ Маней.

Самого хозяина здѣсь не было: онъ съ кривымъ ножомъ въ рукахъ стоялъ надъ грушевымъ прививкомъ, въ углу своего сада, и съ такою пристальностью смотрѣлъ на солнце, что у него безпрестанно моргали его красные глаза и безпрестанно на нихъ набѣгали слезы. Губы его шептали молитву, читанную тоже въ саду. «Отче!—шепталъ онъ:—не о всемъ мірѣ молю, но о ней, которую ты далъ мнѣ, молю тебя: спаси ее во имя Твое!»

Въ комнатѣ была тишина невозмутимая.

«И это онъ!» думала Маня, глядя на человѣка, котораго она нѣкогда такъ страстно любила. Онъ самъ, тотъ чудный человѣкъ, который блисталъ такою гордой смѣлостью и вызывалъ ея младенческую душу на подвигъ Анны Денманъ. Какъ это было?—И передъ нею Петербургъ, ея совершеннолѣтіе, и бабушка съ своею канарейкой, и Верманъ съ домикомъ, и Ида... Воспоминанія обрываются при этомъ дорогомъ имени, и вдругъ выступаетъ какая-то дѣйствительность, но такая смутная, точно ѣдешь въ крытомъ возкѣ по скрипучему первозимку—и кажется, что ѣдешь, и кажется, что и не ѣдешь, а будто какъ живешь какой-то сладкою забытой жизнью; и все жужжитъ, жужжитъ по снѣгу гладкій полозъ подъ ушами и все, взадъ, и впередъ дергается разомъ—и память, и дорога.

Имя Иды, какъ толчокъ, какъ пень заѣзженный, какъ придорожная могила толкнула на минуту Маню, и снова поползли предъ ней воспоминанья. Ей вспомнилось, какъ снилась ей тогда всю ночь до утра Анна Денманъ, и эта Анна Денманъ была сама она; а онъ былъ Джономъ Флаксманомъ. Иль просто онъ былъ — онъ, а она — она, и они

шли вмѣстѣ. *Она* была *нужна* ему. О, сколько было въ этомъ счастья! О, какъ ей хотѣлось жить, какъ все свѣтло ей свѣтилось въ будущемъ. Они пришли въ деревню; былъ вечеръ тихій; собака лаяла; имъ дали уголъ на сѣновалѣ: онъ спитъ, она его лелѣетъ... Потомъ ей видится Италія, Неаполь, Римъ и Палестина — она вездѣ ему нужна, она ему подруга; у ней нѣтъ для себя желаній, она вся жертва, и это жизнь ея—та жизнь, какой она хотѣла. И наконецъ, ужъ онъ великъ и говоритъ ей: «Ты, Анна Денманъ, ты была нужна мнѣ; ты была моею силой; у насъ теперь есть домъ, и въ палисадникъ окна, и съ нами будетъ мать твоя и бабушка, и Ида...» И вновь толчокъ: проснулась бабушка и встала съ кресла, и пошла, и прокляла ее... Все это ничего: проклятьямъ Богъ не внемлетъ. Тяжелый сонъ опять: садъ въ домѣ сумасшедшихъ; душа больна, и надъ всѣмъ преобладаетъ одно желанье—спрятаться, бѣжать куда-то, а изъ кустовъ ей все киваетъ кто-то и говоритъ ей: «Здравствуй! здравствуй!» Опять жужжатъ полозья: и вдругъ дребезжитъ разбитое окно; стукъ, трескъ, хаосъ кругомъ, и снова Ида. И все идетъ, какое-то все ближе уясненіе, и, наконецъ, разражается огненной молоньею и гремитъ небесной грозою. Все стало ясно... Такъ вотъ на что! *Такъ вотъ на что была нужна я!* восклицаетъ Маня, и передъ нею прямо *онъ* и *завтра*. *Завтра* — это день, которому довлѣетъ его міръ и его злоба. *Онъ* — это кумиръ поверженный и втоптанный судьбой въ болото. Но съ восходомъ на востокъ этого *завтра*, *ему* никто ужъ не подастъ руки и не поможетъ. Маня задумалась и заплакала, и сквозь застилавшія взглядъ ея слезы увидала, что среди комнаты, на сѣромъ фонѣ сумеречнаго свѣта, какъ братья обнялись и какъ враги боролись два ангела: одинъ съ кудрями свѣтлыми и легкими, какъ горный ленъ, другой— съ лицомъ, напоминающимъ египетскихъ красавицъ. Они боролись долго, и свѣтлый ангелъ одолѣлъ.

Маня встала и подошла къ Истомину.

— Не думайте, что вы виновны такъ, какъ вамъ ска-

зала Ида, и это я прошу васъ сдѣлать въ память обо мнѣ. Да, я прошу васъ: въ память обо мнѣ.

Проговоривъ эти слова, Маня подала руку художнику; онъ сжалъ ее.

— Мы поднимались на ходули; мы въ самомъ дѣлѣ ниже, чѣмъ мы думали.

Истоминъ выронилъ молча ея руку.

«О, думалъ онъ: — какъ ты растешь! какъ ты растешь, моя одинокая Денманъ!»

Маня продолжала:

— Мы упали. Не будемъ плакать и простимъ другъ другу все прошлое передъ разлукой.

Истоминъ не удержался и зарыдалъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Не надо слезъ — не надо ихъ, не надо. Миръ прошлому.—Я ѣду съ миромъ въ сердцѣ, не возмущайте тишины, которая теперь въ душѣ моей. Не думайте, что вы несчастливѣй другихъ: здѣсь всѣ несчастны, и вы, и я, и *онъ*... Онъ, можетъ-быть, несчастнѣй всѣхъ, и онъ всѣхъ меньше насъ достоинъ своего несчастія.

Маня нѣжно положила ручку на плечо Истомина и сказала съ болью:

— Онъ все свое горе отъ меня спряталъ; не дайте-жъ никому превзойти васъ въ послѣднемъ великодушіи ко мнѣ!

Слѣпой художникъ утихъ.

— Я хотѣла вамъ сказать слово «миръ» — это все, что я могу сдѣлать. Онъ разгадалъ это, и привезъ васъ. Благодарю, что вы пріѣхали.—Теперь все кончено.

Маня коснулась своей рукою головы Истомина и проговорила:

— Забвенье прошлому; моей душѣ покой... а вамъ... моя слеза и вѣчное благословеніе.

Маня сама тихо заплакала, прислонясь къ стѣнѣ своею головкой.

— Аминь, произнесъ стоя въ саду и глядя внутрь комнаты въ окно гернгутеръ.

— Аминь, аминь, повторили въ одно и то же время Маня и художникъ.

Сѣрое утро, взошедшее за этой ночью, освѣтило несшуюся по дорогѣ отъ норы Бера рессорную таратайку, запряженную парою знакомыхъ намъ вороныхъ коней. Лошадьми, по обыкновенію, правилъ Беръ; рядомъ съ нимъ сидѣла его жена; сзади ихъ, на особомъ сидѣньи, помѣщался художникъ.

Они ѣхали шибко и въ седьмомъ часу утра остановились у пристани, гдѣ величаво качался собравшійся въ далекую экспедицію паровой корабль.

— Накрапываетъ дождь—путь добрый будетъ, проговорилъ, высаживая жену, молчавшій во всю дорогу Беръ.

— О чемъ же мы съ тобой попросимъ одинъ другого передъ разлукой?—спросилъ Беръ, держа въ своихъ рукахъ женины руки.

Маня молча взглянула на Истомина. Беръ отвѣтилъ ей крѣпкимъ пожатіемъ.

— А когда пройдутъ... многіе, многіе годы... заговорилъ онъ и остановился.

— Тогда я возвращусь къ тебѣ, договорила Маня.

— Чтобы мой старый слухъ могъ упиваться гармоніей твоихъ бесѣдъ про безпредѣльный міръ, который ты увидишь.

— Про миръ души моей, который ты создалъ, закончила, становясь ногою на трапъ, Маня.

Черезъ полчаса, дымящійся пароходъ, качаясь, отчаливалъ отъ берега и на его палубѣ стояла Маня. Она была во вчерашнемъ сѣромъ платьѣ, въ широкой шляпѣ и съ лакированной сумкой на груди.

На берегу стояли Беръ и рядомъ съ нимъ Истоминъ.

— Завидую и въ первый разъ завидую въ жизни, Марія, заговорилъ, глядя на жену, Беръ.—Передъ тобою раскроется широкій океанъ чудесъ и, какъ ласточка глотаетъ на лету муху, проглотитъ онъ твою кручину.

Маня въ отвѣтъ молча перекрестила мужа.

Тяжелыя колеса парохода заколотили, вода запѣнилась, задрожали трубы, и пароходъ пошелъ скорымъ ходомъ въ море.

Не сводя глазъ съ жены, Беръ показалъ ей рукою по направленію, гдѣ предъ зарей стоитъ утренняя звѣзда; туда же поднялась и снова опустилась окутанная тяжелымъ, сѣрымъ рукавомъ слабая ручка Мани.

Пароходъ скрылся на горизонтѣ.

— Садитесь, пригласилъ Истомина Беръ, подбирая свои вожжи.

Художникъ махнулъ рукой.

— На васъ лежитъ ея благословенье, и я хочу, чтобы оно принесло покой вамъ.

Истоминъ сѣлъ молча, какъ автоматъ, и они поѣхали, не говоря во всю дорогу другъ другу ни слова.

Они уже долго ѣхали. Утро оставалось такое же сырое и тихое; воздухъ не согрѣвался; по сѣрому небу не ползло ни облачка: все сѣрѣло какъ опрокинутая миска, и только съ сѣвера на югъ какъ будто тянулся какой-то крошечный обрывокъ мокрой бичевки; не было это облако, не была это и бичевка.

Истоминъ сидѣлъ, закрывши глаза и сложивъ на груди руки; Беръ молча правилъ лошадьми и заставлялъ себя спокойно слѣдить за тѣмъ, что̀ тамъ ползло по небу шнурочкомъ.

Истоминъ былъ въ тупомъ состояніи деревяннаго покоя. У несчастья есть свое милосердіе; какъ кредиторъ, чтобы вѣрнѣй получить по документу долгъ, оно даетъ душѣ передышку. Человѣкъ самъ этой передышки себѣ ни за что не сумѣлъ бы устроить. И такая льгота дается намъ только при большомъ горѣ, при несчастіи, такъ сказать, вдосталь дошибающемъ человѣка. Извѣстно, что многіе изъ людей, приговоренныхъ къ смерти, въ послѣднюю ночь передъ казнью останавливались воспоминаніемъ на какомъ-нибудь мелкомъ, самомъ незначительномъ случаѣ своей юности; забывали за этимъ воспоминаньемъ ожидавшую ихъ плаху

и какъ бы усыпали, не закрывая глазъ. Нѣкоторые изъ нихъ сами разсказывали, что они въ это время видѣли лучшіе сны. Умный и весьма наблюдательный священникъ, которому печальная обязанность поручаетъ послѣдніе дни осужденныхъ на-смерть, говорилъ пишущему эти строки, что ему никогда не случалось видѣть осужденнаго въ такомъ настроеніи, о какомъ Викторъ Гюго такъ неловко разсказываетъ въ своемъ «Dernier jour d'un condamné». Бываетъ въ большинствѣ случаевъ гораздо проще. Въ большинствѣ случаевъ, если несчастный не находится подъ вліяніемъ горячаго раскаянія, возвышающаго человѣка до игнорированія ожидающей его завтра смерти, и если онъ въ такомъ настроеніи не молится и не плачетъ, то чаще всего онъ впадаетъ въ какое-то мечтательное забытье. Онъ забудется и мечтаетъ: мечтаетъ совершенно нехотя, непроизвольно. Въ этомъ забытьѣ вдругъ, совершенно внезапно врывается въ мозгъ искра сознанія дѣйствительности, и человѣкъ вскакиваетъ, трепеща, какъ осиновый листъ. Въ эту минуту, онъ, вѣроятно, всадилъ бы себѣ въ бокъ ножъ съ стоическимъ спокойствіемъ Катона, или разбилъ бы себѣ голову объ уголъ мрачной амбразуры входа; но громъ цѣпей, ночная лампа и неподвижный часовой довершаютъ пробужденіе, и завтрашній мертвецъ тяжело опускается, иногда стонетъ и снова забывается. Одному изъ такихъ несчастныхъ постоянно грезилась мать: она подходила къ нему, развязывала воротъ у его рубашки и, крестя его лицо, шептала: «Христосъ съ тобой, усни спокойно; а завтра...» Осужденный ни одного раза не могъ дослушать, что̀ обѣщала ему его мать «завтра». Это роковое слово будило его, и онъ, стоная, повторялъ: «Охъ, куда дѣться?.. куда дѣваться?»—и забывался снова и снова мать выходила къ нему изъ черной стѣны каземата.

Есть что-то непостижимое въ этой, такъ сказать, физіологіи безвозвратнаго отчаянья.

Въ интересной, но надоѣдающей книжкѣ «Послѣдніе дни

самоубійцъ», есть разсказъ про одну дѣвушку, которая, рѣшившись отравиться съ отчаянія отъ измѣны покинувшаго ее любовника, поднесла уже къ губамъ чашку съ ядомъ, какъ вдругъ вспомнила, что, грустя и тоскуя, она уже болѣе десяти ночей не ложилась въ постель. Въ это мгновеніе она почувствовала, что ей страшно хочется спать. Она тщательно спрятала чашку съ ядомъ, легла, выспалась и, вставъ на утро, съ свѣжею головою записала все это въ свой дневникъ и затѣмъ отравилась.

Трудно было предсказать, что̀ разбудитъ теперь Истомина изъ того забытья, въ которое впалъ онъ. Изъ всей окружающей его дѣйствительности онъ только сознаетъ одно, что онъ ѣдетъ; но кто онъ такой и куда, и зачѣмъ онъ ѣдетъ—это ему совершенно непонятно. Что̀ это за мѣстность, какой это день и какая пора дня?—тоже не уясняется. Но вотъ наконецъ-то... теперь все это ясно: это лѣтнія сумерки на степяхъ за Окою. Двѣ косматыя лошадки, меньше похожія на лошадей, чѣмъ на вылинявшихъ медвѣжатокъ, частятъ некованными ногами по мягкой грунтовой дорожкѣ. Мужичокъ, съ желтой мычкой на подбородкѣ и въ разноцвѣтномъ зипунишкѣ, сидитъ и трясется на грядкѣ, на которой бы воробью сидѣть впору. Ему скучно. И вотъ онъ мѣтится, мѣтится во что-то волжанковымъ кнутовищемъ. Увидѣвъ такіе прицѣлы изъ-подъ рогожной кибитки, покрытой сѣдою дорожною пылью, на четверенькахъ выползаетъ черненькій мальчикъ: онъ тихо, затаивъ дыханіе, подвигается къ переднему вязку телѣги. Волжанковая палочка все надходитъ надъ свою цѣль: эта цѣль — зеленоголовый слѣпень — онъ блаженствуетъ, сидя у перекрестныхъ ремней шлеи и внизъ отъ этого мѣста по шерсти лохматой лошадки сочатся кровавыя капли. Но щелкнула волжанка, слѣпень кувырнулся, и въ то же мгновенье упалъ покатясь подъ телѣгу. Ребенокъ выкрикнулъ отъ радости, обнялъ ручонкой загорѣлую шею сосѣда-охотника и поцѣловалъ его въ его желтую мычку.

Засмѣялся мужикъ и еще кто-то назади засмѣялся, въ

кибиткѣ. Смѣхъ это, или не смѣхъ? Что-то какъ будто не смѣхъ, или смѣхъ вмѣстѣ съ кашлемъ.

— У, да какъ же хорошо-то кругомъ, то есть что-жъ тутъ, по правдѣ говоря, и хорошаго-то? Ничего очень хорошаго, да такъ легко, и ото всего, отъ чего вы хотите, вѣетъ этой тихою радостью русской картины. Вонъ на пыльной дорогѣ ряды перекрестныхъ колей отъ телѣжныхъ колесъ; по высокому рубежу куда-то спѣшитъ голубокъ, и безпрестанно путаясь ножками въ травкѣ, идетъ поневолѣ развалистымъ шагомъ: онъ тащитъ въ клювѣ вѣтку и высоко закидываетъ головку, чтобъ перекинуть свою ношу черезъ высокіе стебли; на вспаханномъ полѣ свищетъ овражекъ и, свистнувъ, тотчасъ же нырнетъ, а потомъ опять выскочитъ, сядетъ и утирается бархатной лапкой. Солнце садится за лѣсомъ, луга зарываются на ночь фатой изъ тумана; зеленыя сосны чернѣютъ, а тамъ гдѣ-нибудь замелькаютъ кресты и встаетъ за горой городочекъ, покрытый соломой — вотъ ты и вся здѣсь, родная картинка, а тепло на душѣ каждый разъ, когда про тебя вспомянется.

Полно и крѣпко забилось въ мятежной груди Истомина его русское сердце. Еще чутче становится онъ къ давно минувшему. Не только мысленное око его не знаетъ преградъ, его ухо тоже слышитъ Богъ-вѣсть когда и гдѣ раздавшіеся звуки.

— А вотъ это видишь, говоритъ ему изъ-подъ пыльной кибитки слабый женскій голосъ, перебиваемый удушливымъ кашлемъ.—Гляди вонъ туда, вонъ высоко, высоко подъ небомъ—это летятъ журавли.

— На ночлегъ поспѣшаютъ, досказываетъ мужичокъ съ желтой мычкой.

Сколько разсказовъ начинается объ этихъ журавляхъ! И какіе все хорошіе разсказы!—вѣкъ бы ихъ слушалъ, если бы только опять ихъ точно такъ же разсказывали. Рѣчь идетъ про порядки, какіе ведутъ эти птицы, про путину, которую каждый годъ они держатъ, про судъ, которымъ судятъ преступившихъ законы журавлинаго стада. Все это такъ живо,

веселѣй чѣмъ у Брема. Какъ памятны всѣ впечатлѣнія первой попытки вздохнуть однимъ дыханьемъ съ природой.

Впечатлѣніе это вспоминается необыкновенно рѣдко, случайно, безъ всякой стати, какъ вспоминается иногда вещь давно-давно забытая когда-то на грязномъ столѣ почтовой станціи глухого, пустыннаго тракта.

Стрѣлою, пущенною съ тугой тетивы, несется въ памяти въ погоню за этой порою другая пора: пора сладкой юности, годы тревогъ и страстей. И недвижно стоитъ только одинъ какой-то день; одинъ изъ множества дней, стоитъ онъ какъ звѣзда, уснувшая на зенитѣ. Стоитъ онъ долго — ничто его не сдвигаетъ, ничто не трогаетъ съ мѣста. Это и есть тотъ день, отъ котораго въ виду смерти станешь спрашивать: «куда дѣться? — куда дѣваться?» Этотъ день бѣлъ, какъ освѣщенное солнцемъ сжатое поле, на которомъ нѣтъ ни жнецовъ, ни птицъ, уносящихъ колосья; на которомъ не слышно ни дѣтскаго плача, ни жалобъ клянущей жизнь плоти, ни шелеста травы, ни стрекота букашекъ — все мертво и тихо, какъ въ опаленной долинѣ Іерихона, и надо всѣмъ этимъ безмолвіемъ шагаетъ, не касаясь ногами земли, одинъ ужасный призракъ. Этотъ призракъ измѣнчивъ, какъ хамелеонъ—это женщина, появляющаяся то съ головой, остриженной какъ у цезарскаго рекрута, то съ лакированной сумочкой на груди. Но и она исчезаетъ, и въ ту минуту, когда она уже исчезла, когда не стало ея, художникъ вернулся къ дѣйствительности. Онъ сдѣлалъ этотъ переходъ съ такою быстротою, что его трудно опредѣлить словомъ. Какъ быстро упалъ съ поднебесья внезапный крикъ пролетавшей журавлиной стаи, такъ быстро, услыхавъ этотъ крикъ, Истоминъ выпрыгнулъ изъ тарантайки, сталъ на ноги и, прижавъ къ груди руки, затрясся отъ внутренняго зноба.

Онъ не видалъ этихъ птицъ, когда онѣ подлетали, тянувшись по небу шнурочкомъ: одинъ Беръ видѣлъ, какъ этотъ шнурокъ все подвигался въ треугольникъ, состоящій изъ отдѣльныхъ точекъ, расположенныхъ какъ камни, обо-

значающіе могилу араба, похороненнаго среди песчаной Сахары, и когда съ неба неожиданно упало это рѣзкое, заунывное турчанье, оно для Истомина было безъ сравненія страшнѣе слова матери, которое нарушало покой ночи осужденнаго на смерть.

«Ага! летятъ ужъ Ивиковы журавли... да, да, пора конецъ положить», подумалъ Истоминъ, стоя съ открытой головою внизу пролетающей стаи. А стая все летитъ и летитъ, и все сильнѣе и чаще падаютъ отъ нея къ низу гортанные звуки.

Этотъ крикъ имѣетъ въ себѣ что-то божественное и угнетающее. У кого есть сердечная рана, тотъ не выноситъ этого крика, онъ ее разбередитъ. Убійцы Ивика, закопаннаго въ лѣсу, вздрогнули при этихъ звукахъ и сами назвали дѣла свои.

— Простимтесь же лучше здѣсь, чѣмъ подъ вашей кровлей, заговорилъ, проводя глазами журавлей, Истоминъ.—Не думайте, что я неблагодаренъ. Въ благодарность вамъ я буду отъ васъ очень далеко.

— А мой уголъ, хлѣбъ и мой привѣтъ...

— Да, да, пусть они подождутъ меня...

Истоминъ почесалъ себя ногтями по голой груди и добавилъ:

— Кончаю тѣмъ, что и за это не въ правѣ обижаться, но только вотъ что: Каину угла-то ничьего не нужно... Прощайте, Беръ — вамъ здѣсь направо, а я пойду налѣво — такимъ манеромъ, дастъ Господь, мы другъ другу на дорогѣ не встрѣтимся. Я, должно быть, ужъ не обойду вокругъ свѣта.

— Иди, сказалъ ему спокойно Беръ.

— Аминь — иди, пока споткнешься на свою могилу,— отвѣтилъ ему Истоминъ и пошелъ влѣво.

Такъ они и разстались на этой дорогѣ.

Въ домѣ Норкъ обо всемъ этомъ не знали ничего, но попрежнему страшно боялись слова *новость*.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Наконецъ, чего долго ждешь, того иногда и дождешься: въ домъ Норковъ, какъ съ неба упала новость. Религіозное настроеніе Софьи Карловны такъ и приняло ее, какъ посланницу неба, несмотря на то, что новость эту принесъ имъ полицейскій городовой Васильевскаго острова.

Городовой явился въ магазинъ Норковъ передъ вечеромъ пятаго мая и, заставъ здѣсь одну Иду, просилъ ее немедленно послать кого-нибудь въ мертвецкій покой, чтобы «обознать» принадлежащее имъ *тѣло*, найденное у берега въ Чекушахъ.

Ида поблѣднѣла. Вермана четвертый день не было дома, и новость эта могла касаться его непосредственно. Соважъ перваго мая отправился на екатерингофское гулянье и не могъ встрѣтить серьезныхъ препятствій отыскаться на пятый день въ видѣ тѣла, принадлежащаго Норкамъ.

Въ это время Ида также припомнила странную исторію, которую на другой день екатерингофскаго гулянья принесла домой Авдотья, ходившая навѣстить свою сестру въ Чекуши.

Въ исторіи этой тоже былъ замѣшанъ чортъ, и притомъ замѣшанъ и скомпрометированъ гораздо сильнѣе, чѣмъ въ святочной исторіи въ Плау, потому что здѣсь онъ напалъ на людей не легковѣрныхъ и остался въ дуракахъ.

Дѣло было вотъ въ чемъ: ночью съ перваго на второе мая очередные рыбаки на тоняхъ, при свѣтѣ бѣлой ночи, видѣли, какъ кто-то страшный и издали немножко схожій съ виду съ человѣкомъ, бросился съ екатерингофскаго берега въ Неву. Рыбаки, имѣющіе безпрестанныя столкновенія съ водяными чертями, служащими по ихъ департаменту, тотчасъ сообразили, что это ни болѣе, ни менѣе, какъ одна изъ тысячи продѣлокъ потѣшающагося надъ ними дьявола, ибо человѣку не могло придти въ голову попробовать переплыть Неву въ этомъ мѣстѣ. Пока рыбаки разсуждали,

для какой бы цѣли было дьяволу морочить ихъ такимъ образомъ, дьяволъ началъ кряхтѣть. По водѣ далеко было слышно, какъ онъ тяжело отдувался. Рыбаки отвернулись къ гаваньской церкви и стали молиться. Огорченный обращеніемъ ихъ къ храму, дьяволъ, чтобъ увеличить соблазнъ, началъ кричать человѣческимъ голосомъ и звать себѣ на помощь. Рыбаки опустились въ лодкахъ на колѣни и стали молиться еще жарче. Какъ ни выбивался злой духъ изъ послѣднихъ силъ своихъ, чтобы подмануть христіанскую душу, это не удалось ему, потому что, хотя онъ и очень вѣрно подражалъ человѣческому голосу, но прежде чѣмъ рыбаки, глядя на гаваньскую церковь, окончили ограждающую ихъ молитву, на правомъ берегу въ Чекушахъ пропѣлъ полночный пѣтухъ, и съ его третьимъ крикомъ и видѣнье, и крики о помощи смолкли.

Третьяго дня чортъ этотъ благополучнѣйшимъ образомъ былъ выкинутъ волненьемъ на берегъ въ тѣхъ же Чекушахъ, и былъ отправленъ въ мертвецкій покой.

Быстро сочетавъ всѣ эти обстоятельства въ своемъ соображеніи, Ида, не говоря ни слова матери, бросилась къ зятю. Шульцъ тотчасъ поѣхалъ и, возвратясь черезъ полчаса, объявилъ, что утопленникъ, дѣйствительно, есть токарный подмастерье Германъ Верманъ, которому на гробъ и погребенье, онъ, Шульцъ, оставилъ двадцать пять рублей, прося знакомаго квартальнаго доставить ихъ пастору.

— А все-таки это страшная мерзопакость, порѣшилъ Шульцъ.—На меня это такъ дурно подѣйствовало, что я просто самъ не своей теперь.

Шульцъ не любилъ первой бѣды, хотя она его обходила и издалека. Изъ наблюденій собственныхъ, изъ старческихъ повѣрій, какъ и изъ словъ великаго Шекспира, Шульцъ состроилъ убѣжденіе, что радости рѣзвятся и порхаютъ въ одиночку, а «бѣды ходятъ толпами» и старушка горе неспѣшлива.

Торопиться ей не нужно:
Посидѣть съ работой любитъ.

Тому, что «бѣды ходятъ толпами», вѣрили, впрочемъ, всѣ въ семействѣ Норковъ, и потому, когда Шульцъ объявилъ, что, по случаю этого несчастья, онъ откладываетъ на недѣлю переходъ въ свой новый домъ, отстроенный на Среднемъ проспектѣ, то и Берта Ивановна, и Софья Карловна это совершенно одобрили.

— Непріятно, чтобъ это осталось воспоминаніемъ въ одинъ и тотъ же день, объявилъ Фридрихъ Фридриховичъ.

Берта Ивановна и m-me Норкъ обѣ сказали то же самое.

Ида, правда, ничего не сказала, но это, вѣроятно, потому, что ее вообще очень мало занималъ вопросъ о новомъ домѣ зятя. Она стояла возлѣ кресла матери, которая, разстроившись смертью Вермана, совсѣмъ распадалась, сидѣла опустя руки и квахтала, какъ изслабѣвшая на гнѣздѣ куриная насѣдка. Ида, молча, соединяла въ небольшомъ стеклянномъ пузыречкѣ немного выдохшуюся нашатырную соль съ какимъ-то безцвѣтнымъ спиртомъ. Она нюхала эту смѣсь, встряхивала ее, держа пузырекъ между большимъ и указательнымъ пальцемъ правой руки, смотрѣла на нее, прищуря одинъ глазъ на свѣтъ, и, снова понюхавъ, опять принималась трясти снова.

— Стоитъ ли, сестра, возиться съ этой дрянью?—проговорилъ ей Шульцъ.

Ида, не отвѣчая зятю, молча дала понюхать матери спирту и, опустивъ склянку въ карманъ, молча облокотилась на материно кресло.

— Сядь, Ида,—не люблю, когда ты стоишь надо мною, произнесла старуха.

Ида сѣла на первый ближайшій стулъ. Старуха опять начала квахтать и водить по угламъ своими старческими глазами.

— Бѣдняжка, заговорила она:—какая смерть-то страшная; теперь вода еще холодная... Мученье, бѣдненькій, какое перенесъ... а?—Идочка!—я говорю, мученье-то какое—правда?

— Это, мама, одна минута.

— Ну, какъ одна минута! Какъ, право, ты все, Идинька, какъ-то такъ легкомысленно все любишь говорить!—Кричалъ, вѣдь, онъ, говорятъ тебѣ, такъ это не минута.

Старуха опять заквахтала и, закашлявшись отъ поднесеннаго ей снова Идой спирта, слегка толкнула ее по рукѣ и досадливо проговорила:

— Поди на мѣсто.

Старушка, съ самаго отъѣзда Мани, во всѣ тяжелыя минуты своей жизни, позволяла себѣ капризничать съ Идою, какъ иногда больной ребенокъ капризничаетъ съ нѣжнолюбимой матерью, отталкивая ея руку, и потомъ молча притягивая ее къ себѣ снова поближе.

— Не старъ еще вѣдь былъ?—заговорила черезъ минуту Софья Карловна. — А, впрочемъ... пятьдесятъ четвертый годъ...

— Что вы говорить изволите, маменька? — отозвался Шульцъ, быстро подходя къ тещѣ отъ окна, у котораго стоялъ во время ея послѣднихъ словъ.

— Я говорю, что покойникъ-то... Онъ и въ тотъ годъ, когда Іоганусъ умеръ, онъ также закутился и переплылъ сюда съ гулянья... А нынче, вѣрно, старъ... Ужъ какъ хотите, а пятьдесятъ четвертый годъ... не молодость.

— Лѣта хорошія.

— Да; пожилъ.

— Другіе не живутъ и этого.

Старуха засмутилась и тихо сказала:

— Ну, да; кутятъ все.

Ида опустила глаза и пристально посмотрѣла на Шульца.

— Да, все кутилъ, кутилъ покойникъ. Я тридцать лѣтъ его ужъ знаю—все кутилъ.

— Неужто тридцать лѣтъ?

Ида опять пристальнѣе и еще съ бо̀льшимъ удивленіемъ поглядѣла черезъ плечо на зятя и обернулась къ матери. Старушка провела рукою по рукѣ, какъ будто она зябла, и опять тихимъ голосомъ отвѣчала:

— Что-жъ, тридцать лѣтъ! Да, вонъ, твоей женѣ теперь

ужъ двадцать девять. Года мои считать немудрено: я въ двадцать замужъ шла, а къ году родилася Бертинька, вотъ вамъ и всѣ пятьдесятъ... А умирать еще не хочется... пока не съѣзжу къ Манькѣ. Теперь я ужъ къ ней непремѣнно поѣду.

Шульцы ушли къ себѣ довольно поздно; старуха оставила Иду спать на диванѣ въ своей комнатѣ и нѣсколько разъ начинала безпокойно увѣрять ее, что кто-то стучится. Ида разъ пять вставала и ходила удостовѣряться.

— Намъ велика, Идинька, двоимъ эта квартира, старалась старушка заговаривать съ дочерью, когда та возвращалась.

— Подумаемъ, мама, что̀ сдѣлать, отвѣчала, укладываясь, Ида.

— Непремѣнно надо подумать.

— Подумаемъ.

— И то... я, знаешь, Идочка, безъ шутокъ, право, въ нынѣшнемъ году поѣду къ Манѣ.

— Что-жъ, мама, и прекрасно; поѣзжайте съ Богомъ.

— А то тоска мнѣ.

— Да; поѣзжайте, душка, поѣзжайте.

Старуха заснула.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Прошла недѣля, Вермана схоронили; Шульцъ перебрался въ свой домъ, надъ воротами котораго, на мраморной бѣлой доскѣ, было изсѣчено имя владѣльца и сочиненный имъ для себя гербъ. Шульцъ нигдѣ не хлопоталъ объ утвержденіи ему герба и не затруднялся особенно его избраніемъ; онъ, какъ чисто русскій человѣкъ, зналъ, что «у насъ въ Разсеи изъ эстого просто» и изобразилъ себѣ муравейникъ съ извѣстной надписью голландскаго червонца: «Concordia res parvae crescunt».

У Фридриха Фридриховича переходъ въ свой домъ совершился со всякой торжественностью: утромъ у него былъ

приходскій православный священникъ, пѣлъ въ залѣ молебенъ и служилъ водосвятіе; потомъ священникъ взялъ въ одну руку крестъ, а въ другую кропило, а Фридрихъ Фридриховичъ поднялъ новую суповую чашу съ освященною водою и они вмѣстѣ обошли весь домъ, утверждая зданіе во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Въ залѣ, когда священникъ разоблачился и сталъ благословлять подходящую прислугу, Шульцъ тоже испросилъ и себѣ его благословенія и поцѣловалъ его руку. Священникъ сконфузился.

— Батюшка!—проговорилъ Шульцъ:—этого нашъ долгъ требуетъ.

Священникъ хотѣлъ что-то отвѣчать, но Шульцъ предупредилъ его.

— Оно, конечно, это ни для меня и ни для васъ не нужно; но это такъ долгъ повелѣваетъ.

Шульцъ пригнулся къ уху священника и, слегка кося глазами на суетившуюся прислугу, добавилъ:

— Для нихъ этотъ примѣръ совсѣмъ необходимый.

Священникъ согласился.

— Основательно, весьма основательно, Фридрихъ Фридриховичъ, отвѣтилъ онъ Шульцу.

— Эхъ, батюшка, да зовите меня просто Ѳедоръ Ѳедорычемъ. Вѣдь это вшистко едно, цо конь, цо лошадь.

— Такъ-съ, Ѳедоръ Ѳедорычъ; такъ-съ.

— Ну, такъ этому и оставаться.

Два дня происходила переноска мебели и установка хозяйской квартиры, на третій день вечеромъ былъ назначенъ банкетъ. Берта Ивановна говорила, что банкетъ слѣдуетъ отложить, что она рѣшительно не можетъ такъ скоро устроиться, но Шульцъ пригналъ цѣлую роту мебельщиковъ, драпировщиковъ и офиціантовъ, и объявилъ, чтобъ завтра все непремѣнно было готово.

— Ужасно это, ей-Богу, у тебя все какъ вдругъ, Фрицъ, говорила, слегка морщась, Берта Ивановна.

— А вы вотъ лучше смотрите-ка, Берта Ивановна, какъ

бы мы съ вами въ новомъ домѣ не поссорились, отвѣчалъ ей супругъ, собственноручно приколачивая съ обойщикомъ карнизы драпировокъ.

Берта Ивановна съ этихъ поръ не возражала уже мужу ни слова.

Банкетъ былъ громкій: были здѣсь всѣ, кого зналъ Шульцъ и кто зналъ Шульца: старый хозяинъ, новые жильцы собственнаго дома, пасторъ, русскій священникъ и три конторщика.

— У насъ, батюшка, по-христіански — съ чадами и домочадцы, говорилъ Шульцъ, указывая священнику на жавшихся въ уголкѣ трехъ младшихъ конторщиковъ, вступающихъ завтра въ должность по новооткрываемой конторѣ.

Выпито было столько, что самъ Шульцъ, поправляя потный хохолъ, шепталъ:

— Однако, чортъ возьми, мы, что называется, кажется, засвѣтили!

Но тѣмъ не менѣе онъ, однако, опять насѣдалъ на гостей съ новой бутылкой и самыми убѣдительными доводами. Наливая стаканъ своему домовому доктору, который выразилъ опасеніе, не будетъ ли въ новомъ домѣ сыро?—Шульцъ говорилъ:

— Это, Альбертъ Вилибальдовичъ, сырость вытягиваетъ.

Докторъ отвѣчалъ:

— Но для здоровья—особенно у кого короткая шея... это...

Докторъ лукаво погрозилъ Шульцу съ улыбкою пальцемъ.

— Да; но иногда-то?—иногда?

— Ну, иногда... да, это конечно!—заканчивалъ докторъ.

Шульцъ напалъ на священника.

— Вино, батюшка, веселитъ сердце человѣка.

— До извѣстной мѣры-съ, Ѳедоръ Ѳедорычъ, до извѣстной мѣры, отвѣчалъ священникъ.

— Ну, этого въ Писаніи не сказано.

— А, не сказано-съ, но тамъ зато сказано: «не упи-

вайтесь, въ немъ-бо»... Священникъ кашлянулъ и договорилъ: «въ немъ-бо есть грѣхъ».

Шульцъ разрѣшалъ и это затрудненіе. Ударяя рукою по столу, онъ проговорилъ:

— Грѣхъ, батя, это пусть будетъ самъ собою, а вы вотъ это выкушайте.

Священникъ отвѣчалъ: «оно конечно», и хлебнувъ вина, досказалъ: «не всегда все въ своей совокупности».

На другой день послѣ этого пира, Шульцъ сидѣлъ вечеромъ у тещи, вдвоемъ съ старушкой въ ея комнатѣ, а Берта Ивановна съ сестрою въ магазинѣ. Авдотья стояла пригорюнясь и подпершись рукой въ коридорѣ: все было пасмурно и грустно.

— Я не знаю, право, Ида, что̀ тебѣ такое; изъ-за чего ты споришь?—говорила, глядя на сестру, Берта Ивановна.

— Я и не спорю, отвѣчала Ида.

— Мама этого хочетъ.

— А, мама хочетъ, такъ та́къ и будетъ, какъ она хочетъ.

— Но непріятно, что ты дѣлаешь это съ неудовольствіемъ.

— Это все равно, Берта.

— Ты, Ида, дѣлаешься какая-то холодная.

Ида промолчала.

— Я знаю, что Фридрихъ добрый родной и онъ васъ любитъ, и я люблю... не знаю, что̀ тебѣ такое?

— Я вѣрю этому, отвѣчала Ида.

— Но что-жъ тебѣ такое?— что̀ тебѣ этого не хочется?

— Не хочется?—проговорила, вздохнувши, Ида.—Не хочется мнѣ, Берта, потому, что просторнѣй жить—тѣснѣе дружба.

— Мы не поссоримся.

— И не поссорившись не всегда хорошо бываетъ.

— Да отчего же, Ида?—отчего?—ты разскажи.

— Неровныя отношенія.

— Мой Господи, какъ будто мы чужіе! Вѣкъ цѣлый прожили, всякій день видались: вѣдь все равно и такъ ка́къ

вмѣстѣ жили. Ты посуди, въ самомъ дѣлѣ, какая-жъ разница?

— Большая, Берта, разница. Жить порознь, хоть и всякій день видѣться, не то, что вмѣстѣ жить. Надо очень много деликатности, Берта, чтобы жить вмѣстѣ.

— Все у тебя, Ида, деликатность и деликатность; неужто ужъ и между родными все деликатность?

— Съ родными больше, чѣмъ съ чужими.

— Не понимаю; Фрицъ, кажется, очень деликатный человѣкъ. Развѣ я чѣмъ-нибудь — такъ ты вѣдь мнѣ прямо все говоришь.

— Вмѣстѣ живя, Берта, нужна постоянная деликатность; пойми ты—*постоянная:* кто не привыкъ къ этому—это очень нелегко, Берта. Твой мужъ — онъ, говоришь ты, добрый родной—я противъ этого не скажу ни слова; но онъ, напримѣръ, недавно говорилъ же при матери такъ, что она какъ будто стара ужъ.

— Господи, какія мелочи! Я Богъ знаетъ какъ увѣрена, что онъ и не замѣтилъ этого.

— Мелочи! Я знаю, что это мелочи, и что онъ даже не замѣтилъ, какъ это дѣйствуетъ на маму, и я на него за это ни крошечки не сержусь. Понимаешь, это *теперь* ровно ничего не значило, кромѣ неловкости.

— А если бы вы жили у насъ?

— А если бы мы жили у васъ и онъ бы сказалъ это, это была бы ужасная неделикатность. Ты не сердись—я не хочу непріятностей — я говорю тебѣ, что онъ сказалъ это безъ умысла, но мнѣ бы это показалось... могло бы показаться... что мать моя въ тягость, что онъ рѣшилъ себѣ, что ей довольно жить; а это-бъ было для меня ужасно.

— Я скажу это Фридриху.

— Сдѣлай милость, скажи, отвѣчала спокойно Ида.

Черезъ минуту m-me Норкъ позвала ее къ себѣ. Дѣвушка взошла и молча стала передъ матерью. Софья Карловна взяла ея руки и сказала:

— Ну, какъ же, Ида?

— Какъ вамъ угодно, мама.

— Ты согласись.

— Мама, я съ вами всегда согласна.

— Да, согласись. Гдѣ намъ теперь искать другого подмастерья? Я старая, ты дѣвушка... похлопотали... У насъ свое есть—мы въ тягость имъ не будемъ. — Дай ручку—согласись?

Ида подала матери руку.

— Ну, Берточка!—позвала старушка: — согласна—пусть будетъ такъ, какъ вы хотите съ мужемъ.

Берта Ивановна опустилась у материнскаго кресла на колѣни и, поцѣловавъ ея руку, осталась въ этомъ положеніи.

М-me Норкъ долго ласкала обѣихъ дочерей и проговорила сквозь слезы:

— Вотъ и Манька моя будетъ рада, дурка, какъ узнаетъ!—Ида! я говорю, Манька-то наша: она какъ узнаетъ, что мы вмѣстѣ живемъ—она обрадуется.

— Обрадуется, мама, отвѣтила Ида, проводивъ Шульцевъ, уложила старушку въ постелю, а сама до самаго свѣта просидѣла у ея изголовья.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Фридрихъ Шульцъ самъ взялся разверстать и покончить всѣ дѣла тещи. На другой же день онъ явился къ тещѣ съ двумя старшими дѣтьми и съ большимъ листомъ картона, на которомъ въ собственной торговой конторѣ Фридриха Фридриховича было мастерски награвировано на русскомъ и на нѣмецкомъ языкѣ:

«*Токарное заведеніе, магазинъ и квартира передаются. Объ условіяхъ отнестись въ контору негоціанта Шульцъ et C-nie, В. О. собственный домъ на Среднемъ проспектѣ*».

Шульцъ собственноручно поставилъ этотъ картонъ на окно, у котораго обыкновенно помѣщалась за прилавкомъ Ида. Далеко можно было читать эту вывѣску и имя него-

ціанта Шульца. Впрочемъ, вывѣска эта не принесла никакой пользы. Преемниковъ госпожѣ Норкъ Шульцъ отыскалъ безъ помощи вывѣски и самъ привелъ ихъ тещѣ. Заведеніе, квартира, готовый товаръ и мебель—все было продано разомъ. Старушка удержала за собою только одну голубую мебель, къ которой она привыкла.

— А вы, сестра, не оставите ли себѣ чего? — отозвался Шульцъ, надѣвая въ магазинѣ свою высокую негоціантскую шляпу.

— Нѣтъ, ничего, отвѣчала Ида.

— Любимое что-нибудь?

— У меня вещей любимыхъ нѣтъ.

— Фортепьянъ, Идочка, фортепьянъ-то себѣ оставь, послышался изъ залы голосъ Софьи Карловны.

— Нѣтъ, мамочка, не надо, — отвѣчала, встрепенувшись, Ида.

— Оставь, дружокъ, убѣждала, выползая старушка.

— Мама, да какая я музыкантша?

— Мнѣ когда-нибудь вечеркомъ поиграешь; я люблю, когда ты играешь.

— Я вамъ на сестриномъ поиграю, когда прикажете, отвѣчала, разсмѣявшись, Ида.

— И то дѣло; есть у насъ и своя этакая балалайка, зарѣшилъ Шульцъ, и отправился домой писать съ преемникомъ условіе.

Въ этотъ же день Шульцъ, обогнавъ меня на своемъ гнѣдомъ рысакѣ, остановился и разсказалъ, что онъ перевозитъ свояченицу и тещу «въ свою хату».

— Что-жъ имъ тормошиться-то больше? — разсуждалъ онъ.—Слава Богу, есть своя изба, хоть плохенькая, да собственная, авось размѣстимся. Онъ понизилъ голосъ до тона глубокой убѣдительности и заговорилъ: — я вѣдь еще какъ строилъ, такъ это предвидѣлъ, и тамъ. помилуйте, вы посмотрите вѣдь, какъ я для нихъ устроилъ. Вѣдь не чужія жъ въ самомъ дѣлѣ, да, наконецъ, у нихъ вѣдь и свое есть.

— Есть развѣ?

— Ну да, еще бы! Тысячъ восемь теперь всего-то наберется. Случись вѣдь что̀ съ старушкой, такъ вѣдь сестрѣ на всемъ готовомъ и процентовъ истратить некуда. Да, что: я вамъ скажу, еще дай Богъ всякому такъ кончить, какъ они. Шульцъ крикнулъ кучеру: пошелъ!

Вотъ ужъ и слово *кончить* примѣнилось къ тебѣ, дорогая Ида Ивановна! Вотъ и масштабъ для тебя составленъ и дорога твоя предусмотрѣна: непочатыми будутъ твои капиталы и процентовъ тебѣ не прожить.

«Еще и всякому такъ дай Богъ кончить!...»

О, Боже! Боже! какъ страшно и какъ холодно становится на свѣтѣ живому человѣку, когда сведешь его на этотъ узкій, узкій путь, размѣренный масштабомъ теплаго угла, кормленья и процентовъ! А еще и тебѣ скажутъ ближніе твои: благо тебѣ, искренній, зане многимъ на землѣ и еще того хуже; зане у многихъ на землѣ нѣтъ ни угла, ни крова, ни капитала въ карманѣ, ни капитала въ головѣ, ни капитала въ характерѣ и въ нравѣ. Но и чрезъ золото такъ точно льются слезы, какъ льются онѣ и черезъ лохмотья нищеты, и если поражаетъ насъ желтолицый голодъ и слеза униженія, текущая изъ глазъ людей нищихъ духомъ, то, можетъ быть, мы нашли бы еще болѣе поражающаго, опустясь въ глубину могучихъ душъ, молчащихъ вѣчно, душъ, замкнутыхъ въ средѣ, гдѣ одинаковы почти на видъ и сила, и безсилье. Мы ужаснулись бы, глядя, какъ ихъ гнететъ и давитъ спящая ихъ собственная сила; какъ ихъ духъ, вѣдунъ нѣмой, томится и цѣлый вѣкъ все душитъ человѣка. Такъ Святогоръ, народный богатырь нашего эпоса, спитъ въ желѣзномъ гробѣ; накипаютъ на его гробѣ закрытомъ все новые обручи; душитъ-бьетъ Святогора его богатырскій духъ; хочетъ витязь кому-бъ силу сдать, и не беретъ никто; и все крѣпче спирается могучій духъ, и все тяжче онъ томитъ витязя, а желѣзный гробъ все качается.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Я вечеромъ пошелъ къ Норкамъ. Ида Ивановна сидѣла одна въ магазинѣ, закрытая отъ окна неснятою еще вывѣскою о передачѣ магазина.

Подавая мнѣ руку, она только молча кивнула головою.

Я сѣлъ въ простѣнкѣ, такъ что если бы кто подошелъ съ улицы даже къ самому окну, то меня ему все-таки не было бы видно.

Ида сама разсказала мнѣ, что они прекращаютъ торговлю и переселяются къ Шульцу.

— Вы вѣдь, спросилъ я,—нехотя это дѣлаете, Ида Ивановна?

Дѣвушка помолчала, сдвинула слегка брови и отвѣчала:

— Нѣтъ... все равно ужъ! Пусть будетъ, какъ мамѣ угодно.

— Вашъ вѣкъ, можно думать, длиннѣе Софьи Карловнинаго.

— Если мама умретъ, я тогда пойду къ Манѣ, произнесла Ида скороговоркой и, быстро распахнувъ окно, добавила:—фу, Господи, какъ жарко!

Она высунула головку за окно, и мнѣ кажется, она плакала, потому что когда она черезъ минуту откинулась и снова сѣла на стулъ, у нея на лбу были розовыя пятна.

— Фрицъ идетъ, проговорила она, принимаясь за оставленную работу.

Я посмотрѣлъ въ окно, никого не было видно.

— Онъ далеко еще, не увидите.

— А какъ же вы-то его увидали?

— Я не вижу его. Ида улыбнулась и добавила: — мой носъ полиціймейстеръ, я его сигару слышу.

Въ эту минуту щелкнула калитка палисадника и подъ окномъ, дѣйствительно, явился Шульцъ.

Не знаю почему, я не поднялся, не заявилъ ему о сво-

емъ присутствіи, а остался вовсе незамѣчаемый имъ попрежнему за простѣнкомъ.

— Ну, да, началъ Шульцъ, — я всегда говорилъ, что бѣды ходятъ толпами.

— Тише, проговорила Ида.

Она встала, затворила дверь изъ магазина въ комнаты и снова сѣла на свое мѣсто.

— Что́ такое?

— Вотъ что, началъ Шульцъ:—Маня оставила мужа.

Ида вскочила и стала у шкафа. Шульцъ говорилъ голосомъ нервнымъ и дрожащимъ.

— Мнѣ вотъ что́ пишетъ мужъ ея. Не безпокойтеся давать мнѣ свѣчки, я вамъ прочту и такъ, и Шульцъ прочелъ холодное, строгое и сухое письмо Бера, начинавшееся словами: «На девятое письмо ваше имѣю честь отвѣчать вамъ, что переписка между нами дѣло совершенно излишнее». Далѣе въ письмѣ было сказано, что «мы съ Маріей разстались, потому что я не хотѣлъ видѣть ее ни въ саванѣ, ни въ сумасшедшемъ домѣ». Извѣстное намъ дѣло было изложено самымъ короткимъ образомъ и затѣмъ письмо непосредственно оканчивалось казенною фразой и крючковатой подписью Бера.

— Какъ вамъ это нравится?—спросилъ Шульцъ, дочитавъ письмо.

Ида молчала.

— Вѣдь этого не можетъ быть! Вѣдь это вздоръ! все это выдумка!

— Не говорите только, пожалуйста, объ этомъ матери.

— Да нечего и говоритъ... это невозможно!.. das ist nicht möglich!

— Конечно, уронила Ида.

Шульцъ посмотрѣлъ въ глаза свояченицѣ и, черкнувъ по зажигательницѣ спичкой, сказалъ:

— Я думаю, однако, пѣнію время, а молитвѣ часъ. Вы еще молоды, чтобы надо мною смѣяться.

— А!.. Вотъ то-то-бъ вамъ поменьше хлопотать! Да! да

не das ist nicht möglich, а это gewiss, Herr Schulz, gewiss... *вы* погубили нашу Маню.

— Покорно васъ благодарю, произнесъ съ шипѣніемъ Шульцъ.

— Вы! вы! и вы! послала ему въ напутствіе Ида, и съ этими словами, съ этимъ взрывомъ гнѣва она уронила на грудь голову, за нею уронила руки, вся пошатнулась на бокъ всей своей стройной фигурой и заплакала цѣлыми рѣками слезъ, ничего не видя, ничего не слыша и не сводя глазъ съ одной точки посереднѣ пола.

Она плакала какими-то мертвыми, ледяными слезами. О такихъ слезахъ никто не разсказывалъ ни въ одной исторіи, ни въ одной сказкѣ. Обыкновенно думаютъ, что самая больная слеза есть слеза самая теплая, «горючая», какъ называютъ ее сказки и былины нашего эпоса. Усталый витязь, уснувшій непробуднымъ сномъ на колѣняхъ красавицы, которую онъ долженъ былъ защитить отъ выходившаго изъ моря чудовища, пробудился отъ одной слезы, павшей на его лицо изъ глазъ дѣвушки при видѣ вышедшаго змѣя. Такъ горяча слеза молодой жизни, просящей защиты. Но есть еще другія, болѣе страшныя слезы; и хотя ихъ нельзя назвать горючими, но онѣ заставляютъ васъ трепетать, когда текутъ по женскимъ щекамъ.

Есть много извѣстныхъ женскихъ лицъ, трудясь надъ изображеніями которыхъ, даровитые художники представили этихъ женщинъ плачущими. Таковы извѣстныя изображенія: нѣжной дочери короля Лира, *Корделіи*; цѣломудренной римлянки *Лавиніи*, дочери Тита Андроника; развѣнчанной *Маріи Антуанеты* въ минуту ея прощанія съ дѣтьми; *Алиціи Паули Монти*; *Орлеанской Дѣвы;* св. *Маріи Магдалины*, изъ русскихъ—*Ксеніи Годуновой* и, наконецъ, еще такъ изображена *Констанція*, вдова, устами которой Шекспиръ сказалъ краснорѣчивѣйшее опредѣленіе скорби. Изучая эти плачущія лица, вы чувствуете, что каждое изъ нихъ плачетъ *своими слезами*, и даже какъ будто чувствуете температуру этихъ слезъ. *Корде-*

лія, молящаяся за сумасшедшаго отца; *Лавинія*, обезчещенная, съ обрубленными руками; *Марія Антуанета*, утопшая въ крови и бѣдахъ; царевна *Ксенія Годунова*, эта благоуханная, чистая роза, кинутая въ развратную постель самозванца, и *Констанція*, научающая скорбь свою быть столь гордой, чтобы пришли къ ней короли

«Склоняться предъ величьемъ тяжкой скорби»,

все это женщины съ различными скорбями. Пересчитавъ столько женскихъ обликовъ, я, кажется, имѣю довольно большой выборъ для сравненія; но какъ ни многорѣчивы эти прекрасныя, высоко-художественныя изображенія, я ни передъ однимъ не смѣлъ бы вамъ сказать: мнѣ кажется, что Ида плакала вотъ этакъ!—Она плакала совсѣмъ иначе.

Еще одно женское лицо, также плачущее, останавливаетъ на себѣ наше вниманіе въ роскошномъ изданіи L'Abbé и G. Darboy: «Les femmes de la Bible». Это высокая и стройная библейская красавица, которая стоитъ передъ вами полуобнаженная: она плачетъ только ступивши ногою съ постели, ея станъ едва лишь покрытъ ветхозавѣтною восточною рубашкой, то есть кускомъ холста, завязаннымъ надъ лѣвою ключицей. Другое плечо, грудь, шея и правая рука обнажены. Рука въ запястьяхъ, которыя не были сняты ночью—виситъ, какъ стебель, лѣвая, также нагая отъ самаго локтя, держитъ упавшую голову. Изъ глазъ тихо катятся холодныя, крупныя слезы, и катятся какъ градины на раскаленную ниву. За этою фигурой вы видите двухспальную постель, часть смятаго изголовья и больше ничего: все остальное закрываетъ пестрое восточное одѣяло, которое женщина потянула, проснувшись, и, судорожно сжавъ его край, плачетъ ледяною слезою.

Я не знаю, беретесь ли вы отгадать, кто эта библейская женщина?.. Это дочь Рагуила, та несчастная красавица Сара, которая семь разъ всходила на брачное ложе и видѣла всѣхъ семерыхъ мужей своихъ умершими и оставившими ее дѣвой. Художникъ изобразилъ моментъ пробужденія ея въ первую ночь седьмого брака: она ужъ не

въ испугѣ, не въ ужасѣ и не въ отчаяньи. Ей не идетъ *горючая* слеза скорбей, живыхъ еще хотя-бъ *надеждою*, хотя-бъ однимъ *желаньемъ*, переживающимъ надежду: у ней даже желаній нѣтъ. Она не ждетъ еще пришествія Товіи, который долженъ сжечь въ ея опочивальнѣ рыбье сердце: она одна теперь съ умершею надеждой жить и съ улетѣвшими желаньями; она застыла и ея слезы падаютъ оледенѣлыми.

Такова была, плачучи, Ида.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Глава вмѣсто эпилога.

Съ тѣхъ поръ, какъ передъ нами плакала Ида, до дня, въ который вы прочтете эту повѣсть, минули не одна весна и не одно лѣто. Въ это время въ трехъ прекрасныхъ комнатахъ на антресоляхъ въ домѣ богатаго негоціанта Шульца умерла Софья Карловна Норкъ. Въ теченіе пяти лѣтъ, которыя старушка провела у дочери и у зятя, ни она, ни Ида не имѣли ни малѣйшаго основанія пожалѣть о томъ, что онѣ оставили свое хозяйство. Шульцъ угождалъ матери и благоговѣлъ передъ Идой. Старушка умерла отъ рака въ желудкѣ. Цѣлый годъ ее томили голодомъ, чтобы удерживать развитіе болѣзни и облегчить ей послѣдній шагъ въ вѣчность. Софья Карловна сдѣлалась младенцемъ.

— Идочка!—часто шептала она потихоньку, вскакивая на своей кроваткѣ:—дай ты мнѣ, мой другъ, немножко булочки.

— Мамочка, невозможно вамъ, голубчикъ, булочки! — отвѣчала Ида.

— Ну, съ булавочную головку дай.

— Ну, стоитъ ли, мама, съ булавочную головку?

— Стòитъ, мама моя, стòитъ, отвѣчала старушка, называя дочь своей матерью.

Ида будто не слыхала и начинала про себя читать, или работать.

— Ну, что-жъ, и Богъ съ тобой, говорила старушка.— Я все, бывало, видѣла во снѣ, какъ тебя носила, что ты меня кормишь — а ты не хочешь, ну и Богъ съ тобой: стало-быть, это неправда.

Ида не выдерживала и давала матери кусочекъ съ гороховину.

— Да я не хочу изъ твоихъ рукъ, хитрила старушка.— Что ты мнѣ не вѣришь! Я не дитя. Ты дай мнѣ, я и сама отломлю.

Ида знала, чѣмъ это кончится, но подавала матери ломтикъ, и Софья Карловна скоро, скоро выколупывала дрожащими пальцами мякишъ, совала его себѣ въ ротъ и, махая руками, шептала: «убери! убери поскорѣй, убери, а то сестра придетъ!»

День-ото-дня старушка все болѣе и болѣе уподоблялась младенцу невинному и попрежнему все хитрила съ Идой, подговариваясь то подъ кофе, то подъ бисквиты, которые она будто видѣла во снѣ.

— Мама, вамъ этого не снилось, отвѣчала Ида.

— Какъ не снилось! Вотъ новости! Какъ это не снилось?

— Не снилось, мама, не снилось, потому что вамъ этого невозможно.

— Да! невозможно, а все-таки снится, отвѣчала обижаясь и отстаивая свою хитрость Софья Карловна.

Наконецъ дни Софьи Карловны были сочтены и загорѣлася ея послѣдняя заря. Дѣти знали это отъ доктора, но старушка не знала своего положенія.

— Мнѣ, Идочка, сегодня снилось, говорила она:—будто мнѣ можно полчашки кофею.

— Можно, мама, отвѣчала Ида.

— Можно!—переспросила изумленная старушка и, посмотрѣвши съ упрекомъ на дочь, вдругъ горько заплакала.

— Подать вамъ, мама?

— Нѣтъ, нѣтъ, не надобно, не надобно... Мнѣ это вредно, отвѣчала Софья Карловна и закрыла свои прозрачныя

вѣки, тонкія какъ перепонки крыла летучей мыши. Изъ-подъ этихъ вѣкъ выдавались и остановились въ углахъ глазъ двѣ тощія слезинки.

— Почитай, попросила она дочь.

На небѣ садился ранній зимній вечеръ, съ однимъ изъ тѣхъ странныхъ закатовъ, которые можно видѣть въ сѣверныхъ широтахъ зимою—закатъ желтый, какъ отблескъ янтаря, и сухой. По этому янтарному фону, снизу отъ краевъ горизонта клубится словно дымъ куреній, возносящійся къ таинственному престолу, сокрытому этимъ удивительнымъ свѣтомъ.

Съ антресолей Шульца, если сидѣть въ глубинѣ комнатъ, не видно было черты горизонта, и потомъ, когда загорается зимою надъ Петербургомъ такая янтарно-огненная заря, отсюда не видать тѣней, которыя туманными рубцами начинаютъ врѣзываться снизу вперекъ янтарной зари, и задвигаютъ, словно гигантскими заставками, эту гигантскую дверь на усыпающее небо.

Такая заря горѣла, когда Ида взяла съ этажерки свою библію. Одна самая нижняя полоса уже вдвигалась въ янтарный фонъ по красной чертѣ горизонта. Эта полоса была похожа цвѣтомъ на полосу до-красна накаленнаго чугуна. Черезъ нѣсколько минутъ она должна была остывать, синѣть и, наконецъ, сравняться съ темнымъ фономъ самаго неба.

Ида знала эту доску, знала, что за нею нѣсколько выше скоро выдвинется другая, потомъ третья, и каждая будетъ выдвигаться одна послѣ другой, и каждая будетъ, то цѣлыми тонами, то полутонами свѣтлѣй нижней, и, наконецъ, на самомъ верху, вслѣдъ за полосами, подобными прозрачнѣйшему розовому крепу, на мгновеніе сверкнетъ самая странная—бѣлая, словно стальная пружина, только что нагрѣтая въ бѣлокалильномъ пламени, и когда она явится, то всѣ эти доски вдругъ сдвинутся, какъ легкія дощечки зеленыхъ жалюзи въ окнѣ опочивальнаго покоя, и плотно закроютъ двери на небо.

Евреи вѣрятъ, что небо запирается каждый вечеръ, и если вы хотите, то вы можете видѣть, какъ это производится невидимыми руками, задвигающими зорю и повертывающими послѣднюю пружину этихъ задвижекъ.

При такой зарѣ, покуда не забрана половина облитаго янтаремъ неба, въ комнатахъ Иды и ея матери держится очень странное освѣщеніе — оно не угнетаетъ какъ бѣлая ночь, и не радуетъ, какъ свѣтъ, падающій лучомъ изъ-за тучи, а оно приноситъ съ собою что-то фантасмагорическое: при этомъ освѣщеніи измѣняются цвѣта и положенія всѣхъ окружающихъ васъ предметовъ: лежащая на столѣ головная щетка оживаетъ, скидывается черепахой, и шевелитъ своею головкой; у стараго жасмина вырастаютъ вмѣсто листьевъ голубиныя перья; по лицу сидящаго противъ васъ человѣка протягиваются длинные, тонкіе, фосфористые блики и хорошо знакомые вамъ глаза свѣтятъ совсѣмъ не тѣмъ блескомъ, который всегда вы въ нихъ видѣли.

То же самое происходитъ въ это время съ вашимъ лицомъ и со всѣми лицами, которыя будутъ освѣщены этимъ свѣтомъ.

Ида знала всю прихотливость этого освѣщенія; любуясь его причудами, она посмотрѣла вокругъ себя на стѣны, на цвѣты, на картины, на Манинъ портретъ, на усаживающуюся на жердочкѣ канарейку: все было странно—все преображалось. Ида оглянулась на мать: лицо Софьи Карловны, лежавшей съ закрытыми вѣками, было словно освѣщенный трафаретъ, на которомъ прорѣзаны линіи лба, носа, губъ, а остальное все темно.

Дѣвушка открыла вѣчную книгу на томъ мѣстѣ, гдѣ въ ней лежала широкая, матовая, голубая лента, и вѣчная книга приготовилась разсказывать своимъ торжественно простымъ языкомъ свои удивительныя повѣсти.

«Упалъ погрязая во злѣ народъ Израилевъ до того, что не было мужа способнаго спасти его, и возопили сыны Израилевы ко Господу», начала читать Ида.

«И была въ то время судьею Израиля Девора пророчица жена Лапидофова.

«Она жила подъ пальмою Девориною, между Раммою и Вефилемъ на горѣ Ефремовой, и приходили къ ней туда сыновья Израилевы на судъ.

«И призвала Девора Варака и сказала ему: повелѣваетъ тебѣ Іегова: возьми десять тысячъ мужей, а я приведу къ тебѣ, къ потоку Киссону, Сисару, врага народа моего, и колесницы его, и многолюдное войско его и предамъ ихъ въ руки твои.

«Варакъ же сказалъ ей: если ты пойдешь со мною, я пойду; а если не пойдешь со мною, я не пойду.

«И сказала Девора: хорошо, пойду съ тобой, но не тебѣ будетъ слава на семъ пути, а въ руки женщины предастъ Господь врага народа своего.

«И встала Девора и пошла съ Варакомъ въ Кедошъ.»

Проходитъ шумъ битвы; убитый Сисара лежитъ, лежитъ съ нимъ и все его войско, а Девора опять стоитъ подъ своею пальмою и Варакъ у ногъ ея и поетъ Девора:

«Слышите, цари, внемлите, вельможи: я пою, я бряцаю Іеговѣ-Богу, передъ которымъ, когда шелъ онъ, земля тряслась, небо капало, горы растаявали и обл ака проливали воду.

«Ѣздящіе на ослицахъ бѣлыхъ, сидящіе на коврахъ, пойте пѣснь.

«Не было вождей у Израиля, ни одного не было, пока не возстала я, Девора, пока не возстала я, мать народа моего».

Бряцаетъ Девора, стоя подъ пальмою Девориною между Раммою и Вефилемъ, и поетъ долгую пѣснь Іеговѣ сердце и умъ пророчицы, видя возставшую доблесть народа своего. И на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ списана пѣсня Деворы, вѣчная книга уже начинаетъ новую повѣсть: тутъ не десять тысячъ мужей боятся идти и зовутъ съ собою женщину, а горсть въ три сотни человѣкъ идетъ и гонитъ несмѣтный станъ враговъ своихъ. И какъ это сдѣлано! и

какъ это разсказано въ вѣчной книгѣ! Оживляется Ида, читая объ этомъ страшномъ подходѣ героевъ съ свѣтильниками, опущенными въ глиняные кувшины; тише дышитъ больная старушка, въ сотый разъ слушающая эту исторію, и поворачиваетъ къ свѣту свое лицо; и нынѣ, какъ въ дѣтствѣ, она ждетъ, когда разлетится въ черепья кувшинъ Гедеоновъ и за нимъ треснутъ другіе кувшины и разольется во тьмѣ полуночи свѣтъ, въ нихъ скрытый... И вотъ это свершилось... звеня разлетѣлись кувшины и идетъ облако свѣта во тьмѣ. О, какъ чуденъ сегодня этотъ свѣтъ свѣтильника, долго бывшаго заключеннымъ въ глиняномъ сосудѣ; какимъ блистаньемъ покоя осѣнилъ онъ мать сестеръ Норковъ. Да; это самъ, «одѣянный свѣтомъ, какъ ризою», сталъ у ея изголовья и назвалъ ея душу, и душа вопросила его: «Какъ имя твое?» но онъ отвѣтилъ ей, что̀ отвѣтилъ видѣвшему его лицомъ къ лицу Іакову — онъ сказалъ ей: «что тебѣ въ имени моемъ? —*оно чудно*».

Въ комнатѣ вовсе стемнѣло; Ида свернула книгу, положила ее на прежнее мѣсто и, опершись локтемъ о подоконникъ, отдыхала глазами на густѣвшемъ закатѣ.

Уже почти всѣ звенья янтарныхъ дверей были забраны, и въ яркихъ просвѣтахъ между темныхъ полосъ клубились легкія струйки тумана. Густой массой сначала мятутся онѣ внизу, потомъ быстро несутся кверху, какъ легкія тѣни въ длинныхъ одеждахъ, и исчезаютъ вверху, гдѣ смыкается небо.

«Да, закрывается небо и отошедшія души спѣшатъ, чтобъ не скитаться до утра у запертой двери,» подумала Ида, и съ этою мыслью невольно вздрогнула: ей показалось, что въ это мгновеніе ея тихая мать тоже стоитъ у порога той двери, откуда блистаетъ фантастическій свѣтъ янтаря, догорѣвъ надъ полуночнымъ краемъ.

Это такъ и было: Софья Карловна умерла во время Идинаго чтенія—умерла счастливо, покушавъ долго снившейся ей булочки, слушая чудную повѣсть, которую читалъ для

нея милый голосъ, и сохраняя во всей свѣжести вчера принесенную Шульцемъ новость о Манѣ.

Вчера Фридрихъ Фридриховичъ прочелъ въ «Allgemeine Zeitung» статью, посвященную разбору дѣтской книжки путешествій, написанной путешественницей Маріей Норкъ. О самой путешественницѣ и до сихъ поръ нѣтъ очень подробныхъ извѣстій, но книга говоритъ за нее, гдѣ она была и какими очами на все смотрѣла. Это было событіе, давшее много чистыхъ и теплыхъ минутъ семейству Шульца, и особенно Идѣ и ея матери. Вѣроятно, не менѣе радостей принесла эта книжка одинокому Беру, такъ горячо хлопотавшему «поднять душу живую».

Однако Истомина она могла бы потревожить. Эта радостная новость, можетъ быть, опять взлетѣла бы надъ нимъ Ивиковыми журавлями и, напомнивъ ему отрпнутое счастье, заставила бы задрожать за неузнатую Денманъ. Но Истоминъ давно куда-то безслѣдно исчезъ и, навѣрное, никогда объ этомъ не узнаетъ.

Фридрихъ Фридриховичъ и сегодня такой же русскій человѣкъ, какимъ почиталъ себя цѣлую жизнь. Даже сегодня, можетъ быть, больше, чѣмъ прежде: онъ выписываетъ «Московскія Вѣдомости», очень сердитъ на поляковъ, сочувствуетъ русскимъ въ Галиціи, трунитъ надъ гельсингфорскими шведами, участвовалъ въ подаркѣ Комиссарову и говорилъ двѣ рѣчи американцамъ. Въ театры онъ ѣздитъ только, когда даютъ Островскаго.

— Ужасно люблю этихъ канальевъ - самодуровъ, говоритъ онъ женѣ.—Какъ ты думаешь, Берта Ивановна, отчего бы это у меня вкусъ такой?

Берта Ивановна на это ему ничего не отвѣчаетъ.

— Оттого, можетъ быть, Фрицъ, что вы сами... шутя говоритъ за сестру Ида.

— Что - съ? — оттого, что я самъ самодуръ, вы это хотите сказать, Ида?

— Да.

— Въ самой вещи!

— Такъ—немножечко.

Фридрихъ Фридриховичъ задумывается и, нимало не обижаясь, отвѣчаетъ:

— Что-жъ, очень можетъ быть, что вы и правы, потому, матушка-сестрица, что я отъ міра не прочь и на міръ не челобитчикъ.

Берта Ивановна вся въ мужѣ, въ вязаньѣ и въ хозяйствѣ.

Иду Норкъ вы, если хотите, можете видѣть, даже не будучи знакомы съ Фридрихомъ Шульцемъ. Домъ Шульца отыскать нетрудно, а необыкновенно чистыя, большія окна одной половины перваго этажа, завѣшенныя дорогими гардинами, укажутъ вамъ собственное помѣщеніе хозяйскаго семейства. Въ эти свѣтлыя окна видна вся внутренность просторныхъ покоевъ негоціанта и особенно видна огромная свѣтлая зала, въ углахъ которой красуются двѣ довольно дорогія гипсовыя статуи новогородскаго мужика и бабы, которыхъ со дня перенесенія ихъ сюда съ художественной выставки Фридрихъ Фридриховичъ назвалъ Иваномъ Коломенскимъ и Марьей Коломенской. Лѣтомъ у средняго окна залы, на спокойномъ креслѣ, передъ опрятнымъ рабочимъ столикомъ, почти всегда сидитъ молодая женщина, которой нынче уже лѣтъ за тридцать. На бѣлой шеѣ, плечахъ и груди у нея уже слегка образуется полнота; но она еще очень граціозна и необыкновенно мила: строгое платье ея сдѣлано прекрасно, фигура стройна, пепельные волосы ложатся по плечамъ длинными локонами. Это Ида Норкъ. Наружно она только пополнѣла, сильный подбородокъ ея немножко еще приподнялся, да она перемѣнила прежнюю простую прическу на болѣе сложную. Въ тотъ день, когда она шутя завила себѣ въ первый разъ локоны и вышла такъ къ чаю, сестра ея и Фридрихъ Фридриховичъ невольно вскрикнули, а дѣти бросились за кресло Берты Ивановны и шептали:

— Бабушка! бабушка!

— Я такъ теперь и останусь бабушкой, отвѣчала весело Ида: — и она такъ и осталась съ прекрасными локонами,

которые еще не скоро посѣдѣютъ, чтобы довести сходство Иды съ матерью до нераздѣлимаго подобія.

Около Иды всегда кругомъ дѣти, и они ей не мѣшаютъ, потому что въ нихъ-то и ожили снова ея глубокія симпатіи.

Зимою, когда дни коротки и сумрачны, вамъ удобнѣе разсмотрѣть Иду Ивановну вечеромъ. Фридрихъ Фридриховичъ, возвратясь въ эту пору съ биржи домой и плотно пообѣдавъ, а потомъ поцѣловавъ руки жены и свояченицы, обыкновенно отправляется всхрапнуть на мягкомъ диванѣ въ жениной спальнѣ. Въ это время, попрежнему красивая, хотя сильно располнѣвшая Берта Ивановна расхаживаетъ на цыпочкахъ по столовой и охраняетъ мужнино спокойствіе, а въ залѣ, въ огромномъ изящномъ каминѣ, работы Санъ-Галли, стараніями дѣтей, разводится яркое пламя. Къ этому огню прикатывается большое, стальное, качающееся кресло: на немъ садится Ида. Около нея цѣлая дѣтская группа: одинъ у нея лежитъ на колѣнахъ и весело грѣется; старшіе трое тѣснятся у теткиныхъ плечъ и съ жадностью ловятъ ея каждое слово, а пятый, кудрявый мальчишка, по пятому году, постоянно любитъ дремать, какъ котенокъ, у нея за спиною.

Долго пылаетъ этотъ привѣтный огонь, и долго, и плавно текутъ передъ нимъ живыя бесѣды. Картина бываетъ такая прекрасная и внушающая, что на нее поневолѣ засматривается и дѣловой человѣкъ съ наморщеннымъ лбомъ, поспѣшающій къ дѣлу на истерзанной клячѣ петербургскаго ваньки, и веселая компанія, отправляющаяся на нанятой вскладчину тройкѣ, чтобы убить гдѣ-то и время, и деньги—и пѣшеходъ, тихо плетущійся къ своей одинокой каморкѣ. Пѣшеходъ даже часто останавливается здѣсь передъ окнами Шульцевой залы, и иногда въ темный вечеръ ихъ столкнется здѣсь и двое, и трое: тотъ изъ Уфы, другой—изъ Кіева, а третій изъ дальней Тюмени, и каждый, стоя здѣсь на этомъ тротуарѣ, переживаетъ хотя одну изъ тѣхъ минутъ, когда собственная душа его была младенчески

чиста, и раскрывалась для воспріятія благого слова, какъ чашечка ландыша раскрывается зарею, для принятія капли питающей росы.

И долго, долго иной разъ застоится здѣсь забывшись мой прохожій, и потомъ, закрывшись воротникомъ, зашагаетъ, выглядывая однимъ глазомъ, какъ Оденъ сѣверной саги, потерявшій свой другой глазъ при покушеніи украсть меду поэзіи у Гунледа.

Не нянькины сказки, а полныя смысла прямого ведутся у Иды бесѣды. Читаетъ она здѣсь изъ Плутарха про великихъ людей; говоритъ она дѣтямъ о матери Вольфганга Гете; читаетъ имъ Смайльса Zelf-Help—книгу, убѣждающую человѣка «самому себѣ помогать»; читаетъ и про тебя, кроткая Руѳь, обрѣтшая себѣ, ради достоинствъ души своей, отчизну въ землѣ чуждой.

И крѣпнетъ дѣтскій духъ въ этихъ бесѣдахъ, и какъ шептунъ-трава, тихо растутъ и вырастаютъ въ нихъ и рѣшимость, и воля, и воспитывается то, что̀ далекій потомокъ, можетъ быть, условится называть въ человѣкѣ прямою добродѣтелью гражданина.

Но не слыхать этихъ бесѣдъ Иды за окнами Шульцева дома, и проносящіеся мимо этихъ оконъ сами себѣ надоѣвшіе праздные, скучные люди, и молчаливо бредущій прохожій, слышатъ и понимаютъ изъ нихъ не болѣе, чѣмъ каменный коломенскій Иванъ и его расплывшаяся Марья, истуканами стоящіе въ залѣ, гдѣ василеостровская Ида, своимъ незримымъ рукоположеніемъ, низводитъ наслѣдственную благодать духа на дѣтей василеостровскаго Шульца.

Оглавленіе III тома.

стр.

Обойденные. Романъ въ 3 частяхъ 1

Островитяне. Повѣсть 347

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго, съ приложеніемъ пяти портретовъ Лѣскова и снимка съ его рабочаго кабинета, гравированныхъ на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

„НЕКУДА“

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1897.

Типографія А. Ф. МАРКСА, Средняя Подъяческая, д. № 1.

НЕКУДА.

РОМАНЪ ВЪ ТРЕХЪ КНИЖКАХЪ

КНИГА ПЕРВАЯ.

ВЪ ПРОВИНЦІИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Тополь да березка.

Въ трактовомъ селѣ Отрадѣ, на постояломъ дворѣ, осло-ненномъ со всѣхъ сторонъ покрытыми соломою сараями, было еще совсѣмъ темно.

Въ этой темнотѣ никакъ нельзя было отличить стоящаго здѣсь господскаго тарантаса отъ окружающихъ его телѣгъ тяжелаго троечнаго обоза. А около тарантаса ужъ ворочается какое-то существо, при этомъ что-то бурчитъ себѣ подъ носъ и о чемъ-то вздыхаетъ. Существо это кряхтитъ потому, что оно уже старо и что оно не въ силахъ нынче приподнять на дугу укладистый казанскій тарантасъ съ тою же молодецкою удалью, съ которою оно поднимало его двадцать лѣтъ назадъ, увозя съ своимъ бариномъ сосѣднюю барышню. Повертѣвшись у тарантаса, существо подошло къ окошечку постоялой горницы и слегка постучалось въ раму. На стукъ едва слышно отозвался старческій голосъ, а вслѣдъ за тѣмъ нижняя половина маленькаго окошечка приподнялась и въ ней показалась маленькая, сѣдая голова съ сбившеюся на сторону повязкой.

— Что, Никитушка?—спросила старушка.

— Пора, Марина Абрамовна.

— Пора?

— Да холодкомъ-то по-легче отъѣдемъ.

— Ну, пора такъ пора.

— Буди барышень-то. Я ужъ подмазалъ, закладать стану.

Никитушка опять пошелъ къ тарантасу, разобралъ лежавшій на козлахъ пукъ возжей и исчезъ подъ темнымъ сараемъ, гдѣ пофыркивали отдохнувшія лошади.

Черезъ полчаса тарантасъ, запряженный тройкою рослыхъ барскихъ лошадей, стоялъ у утлаго крылечка. Въ горницѣ было попрежнему темно и на крыльцѣ никто не показывался. Никитушка нерѣдко позѣвывалъ, покрещивалъ ротъ и съ привычною кучерскою терпѣливостью смотрѣлъ на троечниковъ, засуетившихся около своихъ возовъ. Наконецъ, на высокомъ порогѣ двери показалась стройная дѣвушка, покрытая большимъ шейнымъ платкомъ, который плотно охватывалъ ея молодую головку, перекрещивался на свѣжей груди и крѣпкимъ узломъ былъ завязанъ сзади. Въ рукахъ у дѣвушки былъ дорожный мѣшокъ и двѣ подушки въ ситцевыхъ наволочкахъ.

— Здравствуй, Никита,— привѣтливо сказала дѣвушка, пронося въ дверь свою ношу.

— Здравствуйте, барышня, — отвѣчалъ сѣдой Никитушка.—Что это вы сами-то таскаете?

— Да такъ, это вѣдь легкое.

— Дайте, матушка, я уложу.

И Никитушка, соскочивъ съ козелъ, принялъ изъ рукъ барышни дорожный мѣшокъ и подушки.

— Какое утро хорошее! — проговорила дѣвушка, глядя на покрывшееся блѣднымъ утреннимъ свѣтомъ небо и загораживая ручкою зѣвающій ротикъ.

— День, матушка Евгенія Петровна, жаркій будетъ! Оводье проклятое дойметъ совсѣмъ.

— То-то ты насъ и поднялъ такъ рано.

— Да какъ же, матушка! Разъ, что жаръ, а другое дѣло

послѣдняя станція до губерни-то. Близко, близко, а вѣдь сорокъ верстъ еще. Спознишься выѣхать, будетъ ни два, ни полтора. Завтра, вонъ, люди говорятъ, Петровъ день; добрые люди къ вечернямъ пойдутъ; Аѳіи Николаевнѣ и сустрѣть васъ некогда будетъ.

А пока у Никитушки шелъ этотъ разговоръ съ Евгеніей Петровной, старуха Абрамовна разсчитавшись съ заспаннымъ дворникомъ за самоваръ, горницу, овесъ, да сѣно и, заткнувъ за пазуху своего капота замшевый мѣшечекъ съ деньгами, будила другую дѣвушку, которая не оказывала никакого вниманія къ словамъ старухи и продолжала спать сладкимъ сномъ молодости. Управившись съ собою, Марина Абрамовна завязала узелки и корзиночки, а потомъ одну за другою вытащила изъ-подъ головы спящей обѣ подушки и понесла ихъ къ тарантасу.

— Гдѣ-жъ Лиза, няня?—спросила ее Евгенія Петровна, остававшаяся все это время на крылечкѣ.

— Гдѣ-жъ, милая? Спитъ на голой лавкѣ.

— Не встала еще?—спросила съ удивленіемъ дѣвушка.

— Да вѣдь какъ всегда: не разбудишь ее.—Побуди поди, красавица моя,—добавила старуха, размѣщая по тарантасу подушки и узелки съ узелочками.

Красавица ушла съ крылечка въ горницу, а вслѣдъ за нею черезъ нѣсколько минутъ туда же ушла и Марина Абрамовна. Тарантасъ былъ совсѣмъ готовъ: только сѣсть да ѣхать. Солнышко выглянуло своимъ краснымъ глазомъ; извозчики длинною вереницею потянулись со двора. Никитушка зѣвнулъ и какъ-то невольно крякнулъ.

— Ну, что это, сударыня, глупить-то! Падаетъ какъ пьяная, говорила старуха, поддерживая обворожительно хорошенькое семнадцатилѣтнее дитя, которое никакъ не могло разнять слипающихся глазокъ и шло, опираясь на старуху и на подругу.

— Носи ее, какъ ребеночка малаго,—говорила старуха, закрывая упавшую въ тарантасъ дѣвушку, сѣла сама впе-

реди противъ барышень подъ фордекомъ и крикнула:—съ Богомъ, Никитушка».

Тарантасъ, выѣхавъ со двора, покатился по ровной дорогѣ, обросшей старыми высокими ракитами.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Кто ѣдетъ въ тарантасѣ.

Мелодическое погромыхиванье въ тонъ подобранныхъ бубенчиковъ и тихая качка тарантаса, потряхивающагося на гибкихъ, пружинистыхъ дрогахъ, въ союзѣ съ ласкающимъ вѣтеркомъ ранняго утра, навели сонъ и дрему на всѣхъ ѣдущихъ въ тарантасѣ. То густыя потемки, то сѣрый полумракъ ранняго утра не позволяли намъ разсмотрѣть этого общества, и мы сдѣлаемъ это теперь, когда единственный неспящій членъ его, кучеръ Никитушка, глядя на лошадей, не можетъ замѣтить нашего присутствія въ тарантасѣ.

Направо, уткнувшись растрепанною, курчавою головкою въ мягкую пуховую подушку, спитъ Елизавета Егоровна Бахарева. Ей семнадцать лѣтъ, она очень стройна, но не высока ростомъ. У ней прелестные, густые каштановые волосы, вьющіеся у лба, какъ часто бываетъ у молодыхъ француженокъ. Овалъ ея лица нѣсколько круглъ, щечки дышатъ здоровымъ румянцемъ, сильно пробивающимся сквозь нѣсколько смуглый цвѣтъ ея кожи. На вискахъ видны тоненькія голубыя жилки, бьющіяся молодою кровью. Глазъ ея теперь нельзя видѣть, потому что они закрыты длинными рѣсницами, но въ институтѣ, изъ котораго она возвращается къ домашнимъ ларамъ, всегда говорили, что ни у кого нѣтъ такихъ прелестныхъ глазъ, какъ у Лизы Бахаревой. Все ея личико, съ нѣсколько вздернутымъ, такъ сказать, курносымъ, задорнымъ носикомъ, дышетъ умомъ, подвижностью и энергіей, которой читатель могъ не заподозрить въ ней, глядя, какъ она поднималась съ лавки постоялаго двора.

Другую нашу героиню мы уже видѣли на крылечкѣ. Чи-

татель, конечно, догадался, что эти двѣ дѣвушки—героини моего романа. Глядя на сладко спящую подругу и раскачивающуюся въ старческой дремѣ Абрамовну, Евгенія Петровна тоже завела глазки и тихо уснула подъ усыпляющіе звуки бубенцовъ. Онѣ ровесницы съ Лизой Бахаревой, вмѣстѣ онѣ поступили въ одинъ институтъ, вмѣстѣ окончили курсъ и вмѣстѣ спѣшатъ на безсмѣнныхъ лошадяхъ, каждая подъ свои родныя липы. На взглядъ Евгенія Петровна кажется нѣсколько постарше Бахаревой, но это только такъ кажется. На самомъ дѣлѣ ей тоже восемнадцатый годъ, что и Лизѣ. Марина Абрамовна недаромъ назвала Евгенію Петровну красавицей. Она, дѣйствительно, хороша и еслибы художнику нужно было изобразить на полотнѣ извѣстную дочь, кормящую грудью осужденнаго на смерть отца, то онъ не нашелъ бы лучшей натурщицы, какъ Евгенія Петровна Гловацкая. Станъ высокій, стройный и роскошный, античная грудь, античныя плечи, прелестная ручка, волосы черные, черные какъ вороново крыло, и кроткіе, умные, голубые глаза, которые такъ и смотрѣли въ душу, такъ и западали въ сердце, говоря, что мы на все смотримъ и все видимъ, мы не боимся страстей, но отъ дерзкаго взора они въ насъ не вспыхнутъ пожаромъ. Вообще въ ея лицѣ много спокойной рѣшимости и силы, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ ней много и той женственности, которая прежде всего ищетъ раздѣла, ласки и сочувствія. Теперь она спитъ, обнявъ Лизу, и голова ея, скатившись съ подушки, лежитъ на плечикѣ подруги, которая и передъ нею кажется сущимъ ребенкомъ.

Нянѣ, Маринѣ Абрамовнѣ, пятьдесятъ лѣтъ. Она московская солдатка, давно близкая слуга семьи Бахаревыхъ, съ которою не разлучается уже болѣе двадцати лѣтъ. О ней говорятъ, что она съ душкомъ, но женщина умная и честная.

Кучеръ Никитушка лѣтъ пять тому назадъ прожилъ полстолѣтія. Когда ему было тридцать лѣтъ, онъ участвовалъ съ Егоромъ Бахаревымъ въ похищеніи у одного сосѣд-

няго помѣщика дочери Ольги Сергѣевны, съ которою потомъ его баринъ сочетался бракомъ въ своей полковой церкви, и навсегда забылъ услугу, оказанную ему при этомъ случаѣ Никитушкою. Никитушка ходилъ съ барином и барынею по походамъ, выучился готовить гусарское печенье, чистить сапоги и нянчить барышню Лизавету Егоровну, которую онъ теперь везетъ домой послѣ долголѣтняго отсутствія. Своего у Никитушки ничего не было: ни жены, ни дѣтей, ни кола, ни двора, и онъ самъ о себѣ говорилъ, что онъ человѣкъ походный. Цѣлый вѣкъ онъ изжилъ таскаючись и только лѣтъ съ восемь пріютился осѣдло, примостивъ себѣ кроватку въ одномъ порожнемъ стойлѣ господской конюшни. Тутъ онъ спалъ лѣто и зиму съ старой собакой, Розкой, которую щенкомъ укралъ шутки ради у одного венгерскаго пана въ 1849 году. На барина своего, отставного полковника Егора Николаевича Бахарева, онъ смотрѣлъ глазами солдатъ прошлаго времени, неизвѣстно за что считалъ его своимъ благодѣтелемъ и отцомъ-командиромъ, разумѣя, что повиноваться ему не только за страхъ, но и за совѣсть самъ Богъ повелѣваетъ.

Кругло говоря, и Никитушка и Марина Абрамовна были отживающіе типы той старой русской прислуги, которая рабски-снисходительно относилась къ своимъ господамъ и гордилась своею имъ преданностью. И тотъ и другая сочли бы высочайшимъ преступленіемъ, достойнымъ, если не смертной казни, то, по крайней мѣрѣ, церковной анаѳемы, если бы они упустили какой-нибудь интересъ дома Бахаревыхъ, или дома смотрителя уѣзднаго училища, Гловацкаго. Дружба старика Бахарева со старикомъ Гловацкимъ, у котораго Бахаревъ нанималъ постоянную квартиру, необходимую ему по званію безсмѣннаго уѣзднаго предводителя дворянства, внушала имъ священное почтеніе и къ старику Гловацкому, и къ его Женичкѣ, подругѣ и пріятельницѣ Лизы.

Теперь тарантасъ нашъ путешествуетъ отъ Москвы уже шестой день и ему остается проѣхать еще верстъ около

ста до уѣзднаго города, въ которомъ растутъ родныя липы нашихъ барышень. Но на дорогѣ у нихъ уже близехонько есть перепутье.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Пріютъ безмятежный.

Спокойное движеніе тарантаса по мягкой грунтовой дорогѣ, со въѣзда въ московскія ворота губернскаго города, вдругъ замѣнилось несноснымъ подкидываніемъ экипажа по широко разошедшимся, неровнымъ плитамъ безобразнѣйшей мостовой и разбудило разомъ всѣхъ трехъ женщинъ. На дворѣ былъ одиннадцатый часъ утра.

— Городъ? — спросила, проворно вскочивъ, Лиза Бахарева.

— Городъ, матушка, городъ, отвѣчала старуха.

— Городъ! Женни, городъ, пріѣхали, щебетала Лизавета Егоровна, толкая уже проснувшуюся Гловацкую.

— Тоже мостовою зовется, замѣтила Лиза.

— И, матушка, все лучше болота, что у насъ-то въ городѣ, проговорила няня.

— Да у насъ, няня, развѣ городъ?

— А что-жъ у насъ такое, красавица?

— Чортъ знаетъ что!

— Ну, ты ужъ хоть у тетеньки-то этого своего чернаго-то не поминай! Пріучили тебя экую гадость вспоминать!

Дѣвушки засмѣялись, и Гловацкая, вставши, стала приводить себя въ порядокъ.

Между тѣмъ тарантасъ, прыгая по каменнымъ волнамъ губернской мостовой, проѣхалъ московскую улицу, курскую, кромскую площадь, затѣмъ стрѣлецкую слободу, снова покатился по мягкому выгону и черезъ полверсты отъ курской заставы остановился у стѣнъ дѣвичьяго монастыря.

Монастырь стоялъ за городомъ на совершенно ровномъ, какъ скатерть, зеленомъ выгонѣ. Онъ былъ обнесенъ со

всѣхъ сторонъ красною кирпичною стѣною, на которой по угламъ были выстроены четыре такія же красныя кирпичныя башенки. Кругомъ никакого жилища. Только въ одной сторонѣ двѣ вѣтряныя мельницы лѣниво махали своими безобразными крыльями. Ничего живописнаго не было въ положеніи этого подгороднаго монастыря: какъ-то потерянно смотрѣлъ онъ своими красными башенками, на которыя не было сдѣлано даже и всходовъ. Ничего-таки, ровно ничего тамъ не было располагающаго ни къ мечтѣ, ни къ самоуглубленію. Это не то, что пустынная обитель, гдѣ есть рядъ келій, темный проходъ, часовня у святыхъ воротъ, съ чудотворною иконою, и возлѣ ключъ воды студеной,—это было скучное, сухое мѣсто.

Въ двухъ стѣнахъ монастыря были сдѣланы ворота, изъ которыхъ одни были постоянно заперты, а у другихъ стояла часовенка. Въ этой часовенкѣ всегда сидѣла монашка, вязавшая чулокъ и звонившая колокольчикомъ, придѣланнымъ къ кошельку на длинной ручкѣ, когда мимо часовенки брелъ какой-нибудь прохожій. Возлѣ часовни, въ самыхъ темныхъ воротахъ постоянно сидѣлъ на скамеечкѣ семидесятилѣтній солдатъ, у котораго еще, впрочемъ, осталось во рту три зуба. Онъ тоже обыкновенно вязалъ шерстяной чулокъ, взапуски съ монашкой, сидѣвшей въ часовнѣ. Каждый вечеръ они мѣрялись, кто больше навязалъ, и монашка говорила: «я, Арефьичъ, сегодня больше твоего свезла», или Арефьичъ объявлялъ: «сегодня я, мать, больше тебя свезъ».

Завидя подъѣзжавшій тарантасъ, Арефьичъ вскинулъ своими старческими глазами и опять въ его рукахъ запрыгали чулочные прутья; но когда лошадиныя головы дерзостно просунулись въ самыя ворота, старикъ громко спросилъ:

— Кого надо?

— Своихъ, своихъ, — отвѣчалъ, не обращая большого вниманія на этотъ окликъ, Никитушка.

— Кого своихъ?—переспросилъ Арефьичъ и, отбросивъ

на скамейку чулокъ, схватилъ за поводъ лѣвую пристяжную.

Монашка изъ часовни выскочила и, позванивая колокольчикомъ, съ недоумѣніемъ смотрѣла на происходившую сцену. Изъ экипажа послышался веселый хохотъ.

— Что ты! лѣшій! аль тебѣ высадило?—кричалъ съ козелъ Никитушка на остановившагося въ рѣшительной позѣ привратника.

— Да, такъ, на то я сторожъ... на то здѣсь поставленъ... шамшилъ беззубый Арефьичъ, и глаза его разгорались тѣмъ особеннымъ огнемъ, который замѣчается у солдатъ, входящихъ въ дикое озлобленіе при видѣ гордаго, но безсильнаго врага.

— Чего, чортъ слѣпой, не пустишь-то?

— Не пущу, —задыхаясь, но рѣшительно отвѣтилъ опять Арефьичъ. — Позови кого тебѣ надо къ воротамъ, а не ѣзди.

— А, крупа поганая, что ты, не видишь?..

— Да чьи такія вы будете? Изъ какихъ мѣстовъ-то? — пропищала часовенная монашка, просовывая въ тарантасъ кошелекъ съ звонкомъ и свою голову.

— Да Бахаревскія, Бахаревскія, чтой-то вы словно не видите, я барышень къ тётенькѣ изъ Москвы везу, а вы не пускаете.—Стой, Никитушка, тутъ, я сейчасъ сама къ Агніи Николаевнѣ доступлю.—Старуха стала спускать ноги изъ тарантаса и, почуявъ землю, заколтыхала къ кельямъ. Никитушка остановился, монастырскій сторожъ не выпускалъ изъ руки поводьевъ пристяжного коня, а монашка опять всунулась въ тарантасъ.

— Изъ Москвы ѣдете-то?—спросила она барышень.

— Женни, тебя спрашиваютъ,—сказала Лиза и, продолжая лѣниться, смотрѣла на тиковый потолокъ фордека.

Гловацкая посмотрѣла на Лизу и вѣжливо отвѣтила монахинѣ:

— Изъ Москвы.

— Въ ученьѣ были?

— Да, въ институтѣ.

Монахиня помолчала, а черезъ нѣсколько минутъ опять спросила:

— А теперь къ кому же ѣдете?

— Домой, къ родителямъ,—отвѣчала Женни.

— Сродственниковъ имѣете?

— Да.

— Зачѣмъ это у васъ въ ворота не пускаютъ?—повернувшись къ говорившимъ, спросила Лиза.

— Какъ, матушка?

— Не пускаютъ зачѣмъ? кого боятся? кого караулятъ?

— Н... ну, такое распоряженіе отъ мать-игуменьи.

По монастырскому двору рысью бѣжала высокая, весноватая дѣвушка, въ черномъ коленкоровомъ платьѣ, съ сбившимся съ головы чернымъ шерстянымъ платкомъ.

— Пусти! пусти! Что еще за глупости такія, выдумалъ не пущать!—кричала она Арефьичу.

— Я на то здѣсь поставленъ... а велятъ, я и пущу,— отвѣтилъ солдатъ и отошелъ въ сторону.

Рыжая, весноватая дѣвушка мигомъ вспрыгнула въ тарантасъ и быстро поцѣловала руки обѣихъ барышень, прежде чѣмъ тѣ успѣли ихъ спрятать. Тарантасъ поѣхалъ.

— А тётенька-то какъ обрадовались: на крыльцо ужъ вышли встрѣчать, ожидаютъ васъ. — У насъ завтра престолъ, владыко будутъ сами служить; закуска будетъ и мірскіе изъ города будутъ, — трещала дѣвушка скороговоркою.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Мать Агнія.

На высокомъ, чистенькомъ крыльцѣ небольшого, но очень чистаго деревяннаго домика, окруженнаго со всѣхъ сторонъ акаціею, сиренью, пестрыми клумбами однолѣтнихъ цвѣтовъ и не менѣе пестрою деревянною рѣшеткою, стояли четыре женщины и двѣ молоденькія дѣвочки. Три изъ этихъ женщинъ были монахини, а четвертая наша знакомая, Ма-

рина Абрамовна. Впереди, на самой нижней ступенькѣ чистенькаго крылечка рисовалась высокая строгая фигура въ черной шелковой рясѣ и бархатной шапочкѣ съ креповыми оборками и длинным креповымъ вуалемъ. Это была игуменья и настоятельница монастыря, Агнія Николаевна, родная сестра Егора Николаевича Бахарева и, слѣдовательно, по немъ родная тетка Лизы. Ей было лѣтъ сорокъ пять, но на видъ казалось не болѣе сорока. Въ ея большихъ черныхъ глазахъ виднѣлась смѣлая душа, гордая своею силою и своимъ прошлымъ страданіемъ, оттиснутымъ стальнымъ штемпелемъ времени на пергаментномъ лбу игуменьи. Когда матери Агніи было восемнадцать лѣтъ, она яркою звѣздою взошла на аристократическій небосклонъ такъ называемаго свѣта. Первый ея выѣздъ въ качествѣ взрослой дѣвицы былъ на великолѣпный балъ, данный дворянствомъ покойному императору Александру Первому, за полгода до его кончины. Всѣ глаза на этомъ балѣ были устремлены на ослѣпительную красавицу Бахареву; императоръ прошелъ съ нею полонезъ, наговорилъ любезностей ея старушкѣ-матери, неумѣвшей ничего отвѣтить государю отъ робости, и на другой день прислалъ молодой красавицѣ великолѣпный букетъ въ еще болѣе великолѣпномъ портъ-букетѣ. Съ тѣхъ поръ нынѣшняя мать Агнія заняла первое мѣсто въ своемъ свѣтѣ. Три года продолжалось ея свѣтское теченіе, два года за нею ухаживали, искали ея вниманія и ея руки, а на третій она, черезъ пятыя руки, получила изъ Петербурга маленькую записочку отъ стройнаго гвардейскаго офицера, привозившаго ей два года назадъ букетъ отъ покойнаго императора. Въ этой записочкѣ было написано только слѣдующее: «Судьба моя рѣшена самымъ печальнымъ образомъ. Не жди меня и обо мнѣ не справляйся: это только можетъ навлечь на тебя большія непріятности. Слѣдовать за мной ты не можешь, да и это только увеличило бы мои страданія. Возвращаю тебѣ твои клятвы, прошу тебя забыть меня и быть счастливою сколько можешь и какъ можешь. Блаженство, которое я ощущалъ

два года, зная, что ты любишь меня болѣе всѣхъ людей на свѣтѣ, достанетъ мнѣ на весь остатокъ моей жизни, и въ холодныхъ норахъ ужасной страны моего изгнанія я не забуду ни твоего чистаго взора, ни твоего прощальнаго поцѣлуя.

Твой до гроба
Князь А. Т.»

Анна Николаевна Бахарева въ этомъ случаѣ поступила такъ, какъ поступали многія героини писанныхъ и неписанныхъ романовъ ея вѣка. Она томилась, рвалась, выплакала всѣ глаза, отстояла колѣни, молясь теплой Заступницѣ міра холоднаго, просила ее спасти его и дать ей силы совладать съ страданіемъ вѣчной разлуки, и черезъ два мѣсяца стала навѣщать старую знакомую своей матери, инокиню Серафиму, черезъ полгода совсѣмъ переселилась къ ней, а еще черезъ полгода, несмотря ни на просьбы и заклинанія семейства, ни на угрозы брата похитить ее изъ монастыря силою, сдѣлалась сестрою Агніею. Съ лѣтами все это обошлось; старики, примирившись съ молодой монахиней, примерли; братъ, надъ которымъ она имѣла сильный умственный перевѣсъ, возвратясь изъ своихъ походовъ, очень подружился съ нею; и вотъ сестра Агнія уже восьмой годъ смѣнила умершую игуменью Серафиму и блюдетъ суровый уставъ пріюта неумѣвшихъ найти въ жизни ничего, кромѣ горя и страданія. Мать Агнію всѣ уважаютъ за ея умъ и за ея безупречное поведеніе по монастырской программѣ. У нея бываетъ почти весь городъ, и она каждаго встрѣчаетъ безъ всякаго лицезрѣнія, съ тѣмъ же спокойнымъ достоинствомъ, съ тою же сдержанностью, съ которою она теперь смотритъ на медленно подъѣзжающій къ ней экипажъ съ двумя милыми ей дѣвушками.

Съ боку матери Агніи стоитъ въ почтительной позѣ Марина Абрамовна; сзади ихъ, одною ступенькою выше, безотвѣтное существо, мать Манеѳа, другъ и сожительница игуменьи, и мать казначея, обѣ ужъ пожилыя женщины. Наверху же крыльца, прислонясь къ лавочкѣ, стояли двѣ

десятилѣтнія дѣвочки въ черныхъ шерстяныхъ рясахъ и въ остроконечныхъ бархатныхъ шапочкахъ. Обѣ дѣвочки держали въ рукахъ чулки съ вязальными спицами.

— Какой глупый человѣкъ! — проговорила разбитымъ голосомъ мать Манеѳа, глядя на приближающійся тарантасъ.

— Кто это у тебя глупый человѣкъ?—спросила, не оборачиваясь, игуменья.

— Да Арефьичъ.

— Чѣмъ онъ такъ глупъ сталъ?

— Да какъ же не пускать.

— Ничуть это не выражаетъ его глупости. Старикъ свое дѣло дѣлаетъ. Ему такъ приказано, онъ такъ и поступаетъ. Исправный слуга, и только.

Старухи замолчали, няня вздохнула, тарантасъ остановился у крыльца передъ кельею матери Агніи.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Старое съ новымъ.

— Тетя! это вы, моя милая? — крикнула, выпрыгивая изъ тарантаса, Лиза Бахарева.

— Я, мой дружочекъ, я, — отвѣчала игуменья, протянувъ къ племянницѣ руки.

Обѣ обнялись и заплакали.

— Ну, полно, полно плакать, говорила мать Агнія.— Хоть это и хорошія слезы, радостныя, а все же полно. Дай мнѣ обнять Гешу. Поди ко мнѣ, дитя мое милое!—отнеслась она къ Гловацкой.

Съ этими словами старуха обняла Женни, стоявшую возлѣ Лизы, нѣсколько разъ поцѣловала ее и у нея опять набѣжали слезы.

— Славная какая! — произнесла она, отодвинувъ отъ себя Гловацкую, и, держа ее за плечи, любовалась дѣвушкою съ упоеніемъ артиста. Точно мать покойница: хороша; когда-бъ и сердце тебѣ Богъ далъ материно, доба-

вила она, насмотрѣвшись на Женни, и протянула руку стоявшему передъ ней безъ шапки Никитушкѣ.

— Довезъ, старина, благополучно?

— Благополучно доставилъ, матушка Агнія Николаевна, — отвѣчалъ старикъ, почтительно цѣлуя игуменьину руку.

— Ну и молодецъ.

Игуменья погладила Никитушку по его сѣдой головѣ и, обратясь къ рыжей дѣвушкѣ, таскавшей изъ тарантаса вещи, скомандовала:

— Экипажъ на житный дворъ, а лошадей въ конюшню. Тройку рабочихъ пусть выведутъ пока изъ стойлъ и поставятъ подъ сараемъ, къ рѣшеткѣ. Онѣ смирны, имъ ничего не сдѣлается. А мы пойдемте въ комнаты, — обратилась она къ ожидавшимъ ее дѣвушкамъ и, взявъ за руки Лизу и Женни, повела ихъ на крыльцо.—Ахъ, и забыла совсѣмъ! — сказала игуменья, остановясь на верхней ступенькѣ.—Никитушка! винца вѣдь не пьешь, кажется?

— Не пью, матушка Агнія Николаевна.

— Ну, отпрягши-то приходи ко мнѣ на кухню; я тебя велю чайкомъ попоить; вечеромъ сходи въ городъ въ баню съ дорожки; а завтра пироги будутъ. Прощай пока, управляйся, а потомъ придешь разсказать, какъ ѣхалось. Татьяну видѣлъ въ Москвѣ?

— Видѣлъ, матушка.

— Ну, что?

— Ничего, матушка, живетъ.

— Ну, съ Богомъ управляйся, да приходи чай пить. Пойдемте, дѣтки.

Съ чистенькаго крылечка игуменьиной кельи была дверь въ такія же чистенькія, но довольно тѣсныя сѣни, съ двумя окнами по сторонамъ входной двери. Въ этихъ сѣняхъ, кромѣ двери, выходящей на крыльцо, было еще трое дверей. Однѣ, направо, вели въ жилыя комнаты матери Агніи. Тутъ была маленькая проходная комната въ родѣ передней, гдѣ стоялъ большой платяной шкафъ, умывальный

столикъ съ большимъ мѣднымъ тазомъ и мѣднымъ же рукомойникомъ съ подъемнымъ стержнемъ; небольшой столикъ съ привинченной къ нему швейной подушечкой и кровать рыжей келейницы, закрытая ватнымъ кашемировымъ одѣяломъ. Далѣе шла довольно большая и очень свѣтлая угловая комната въ четыре окна, по два въ каждую сторону. Здѣсь стояла длинная отоманка, обитая зеленой шерстяной матеріей, образникъ, трое тщательно закрытыхъ и заколотыхъ пялецъ, рядъ простыхъ плетеныхъ стульевъ и большіе стѣнные часы въ старинномъ футлярѣ. Въ этой комнатѣ жили и учились двѣ сиротки, которыхъ мать Агнія взяла изъ холодной избы голодныхъ родителей и которыхъ мы видѣли въ группѣ, ожидавшей на крыльцѣ нашихъ героинь. Дѣвочки здѣсь учились и здѣсь же спали ноги къ ногамъ на зеленой шерстяной отоманкѣ. Рядомъ была комната самой Агніи. Это была очень просторная горница, раздѣленная пополамъ ширмами краснаго дерева, обитыми сверху до половины зеленою тафтою. За ширмами стояла полуторная кровать игуменьи съ прекраснымъ замшевымъ матрацомъ, ночной столикъ, небольшой шкафъ съ книгами и два мягкія кресла; а по другую сторону ширмъ помѣщался богатый образникъ съ нѣсколькими лампадами, горѣвшими передъ фамильными образами въ дорогихъ ризахъ; письменный столъ, обитый зеленымъ сафьяномъ съ вытисненными по угламъ золотыми арфами, кушетка, двѣ горки съ хрусталемъ и нѣсколько креселъ! Полъ этой комнаты былъ весь обитъ войлокомъ, а сверху зеленымъ сукномъ.

Затѣмъ шелъ большой залъ, занимавшій средину домика, а потомъ комната матери Манеѳы и столовая, изъ которой шла узенькая лѣстница внизъ въ кухню.

Мать Агнія ввела своихъ дорогихъ гостей прямо въ спальню и усадила ихъ на кушетку. Это было постоянное и любимое мѣсто хозяйки.

— Чай, — сказала она матери Манеѳѣ и сѣла сама между дѣвушками.

— Давно мы не видались, дѣтки,—нѣсколько нараспѣвъ произнесла игуменья, положивъ на колѣни каждой дѣвушкѣ одну изъ своихъ бѣлыхъ. аристократическихъ рукъ.

— Давно, тетя! шесть лѣтъ,—отвѣчала Лиза.

— Да, шесть лѣтъ, друзья мои. Много воды утекло въ это время. Твоя прелестная мать умерла, Геша; Зина замужъ вышла; всѣ постарѣли и не поумнѣли.

— Зина счастлива, тетя?

— Какъ тебѣ сказать, мой другъ? Ни да, ни нѣтъ тебѣ не отвѣчу. То слышу—бранятся, жалуются другъ на друга, то мирятся. Ничего не разберу. Второй годъ замужемъ, а комедій настропла столько, что другая въ двадцать лѣтъ не успѣетъ.

— Сестра вспыльчива.

— Взбалмошна, мой другъ, а не вспыльчива. Вспыльчивость въ доброй, мягкой женщинѣ еще небольшое зло, а въ ней блажь какая-то сидитъ.

— А онъ хорошій человѣкъ?

— Такъ себѣ.

— Умный?

— Не вижу я въ немъ ума. Что за человѣкъ, когда бабы въ рукахъ удержать не умѣетъ.

— Такъ они несчастливы?

— Такимъ людямъ нечего больше дѣлать какъ ссориться да мириться. Ничего, такъ и проживутъ, то ругаясь, то цѣлуясь, да добрыхъ людей потѣшая.

— А мама? папаша?

— Братъ очень состарѣлся, а мать все котятъ чешетъ, какъ и встарину бывало.

— А сестра Соня?

— Съ годъ ужъ ее не видала. Не любитъ ко мнѣ, старухѣ, учащать, скучаетъ. Впрочемъ, должно быть, все съ гусарами въ амазонкѣ ѣздитъ. Болтается дѣвочка, не читаетъ ничего, ничего не любитъ.

— Вы, тетя, все такія же рѣзкія.

— Въ мои годы, другъ мой, люди не мѣняются, а если мѣняются, такъ очень дурно дѣлаютъ.

— Отчего же дурно, тетя? Никогда не поздно исправиться.

— Исправиться?—переспросила игуменья и, взглянувъ на Лизу, добавила:—ну, исправляются-то или мѣняются къ лучшему только богатыя, прямыя искреннія натуры, а кто весь вѣкъ лгалъ и себѣ, и людямъ и не исправлялся въ молодости, тому ужъ на старости лѣтъ не исправиться.

— Будто ужъ всѣ такіе лживые, тетя,—смѣясь проговорила Лиза.

— Не всѣ, а очень многіе. Лжецовъ больше, чѣмъ всѣхъ дурныхъ людей съ иными пороками. Какъ ты думаешь, Геша?—спросила игуменья, хлопнувъ дружески по рукѣ Гловацкую.

— Не знаю, Агнія Николаевна,—отвѣчала дѣвушка.

— Гдѣ тебѣ знать, мой другъ, васъ вѣдь въ институтѣ-то какъ въ парникѣ держатъ.

— Да, это наше институтское воспитаніе ужасно, тетя, вмѣшалась Лиза.—Теперь на него очень много нападаютъ.

— И очень дурно дѣлаютъ, что нападаютъ,—отвѣтила игуменья.

Дѣвушки взглянули на нее изумленными глазами.

— Вы же сами, тетечка, только-что сказали, что институтъ не знакомитъ съ жизнью.

— Да, я это сказала.

— Значитъ, вы не одобряете институтскаго воспитанія?

— Не одобряю.

— А находите, что нападать на институты не должно?

— Да, нахожу. Нахожу, что всѣ эти нападки неумѣстны, непрактичны, просто сказать, глупы. Семью нужно передѣлать, такъ и училища передѣлаются. А то, что институты! У насъ что ни семья, то адъ, дрянь, болото. Въ институтахъ воспитываютъ плохо, а въ семьяхъ еще несравненно хуже. Такъ что-жъ тутъ институты? Институты не-

обходимое зло пошлаго вѣка и больше ничего. Иди-ка, дружочекъ, умойся: самоваръ несутъ.

Лиза встала и пошла къ рукомойнику.

— Возьми тамъ губку, охвати шею-то, пыль на васъ насѣла, хоть рѣпу сѣй,—добавила она, глядя на античную шейку Гловацкой.

Пока дѣвушки умылись и поправили волосы, игуменья сдѣлала чай и ожидала ихъ за весело шипѣвшимъ самоваромъ и безукоризненно чистенькимъ чайнымъ приборомъ.

Дѣвушки, войдя, поцѣловали руки у Агніи Николаевны и усѣлись по обѣимъ сторонамъ ея кресла.

— Пойди-ка въ залу, Геша, посмотри, не увидишь ли чего нибудь знакомаго, сказала игуменья.

Гловацкая подошла къ дверямъ, а за нею порхнула и Лиза.

— Картина маминаго шитья!—крикнула изъ залы Гловацкая.

— Да. Это я тебѣ все берегла: возьми ее теперь. Ну идите чай пить.

Дѣвушки опять усѣлись за столъ.

— Экая женщина-то была!—какъ бы размышляла вслухъ игуменья.

— Кто это, тетя?

— Да ея покойница мать. Что это за ангелъ во плоти былъ! Вотъ ужъ именно хорошее-то и Богу нужно.

— Мать была очень добра.

— Да это истинно святая. Такихъ женщинъ немного родится на свѣтѣ.

— И папа же мой вѣдь добрякъ. Прелестный мой папа.

— Да, мы съ нимъ большіе друзья; ну, все же онъ не то. Мать твоя была великая женщина, богатырь, героиня. Доброта-то въ ней была прямая, высокая, честная, ни этихъ сентиментальностей глупыхъ, ни нервъ, ничего этого дурацкаго, чѣмъ хвалятся наши слабонервные кучера въ юбкахъ. Это была сила, способная на всякое самоотверженіе; это было существо, никогда не жившее для себя и серьезно

преданное своему долгу. Да, мой другъ Геша, добавила игуменья со вздохомъ и значительно приподнявъ свои прямыя брови:--тебѣ не нужно далеко искать образцовъ!

— Вы такъ отзываетесь о мамѣ, что я не знаю...

— Чего не знаешь?

— Я очень рада, что о моей мамѣ осталась такая добрая память.

— Да, истинно добрая.

— Но сама я...

— Что ты сама?

Дѣвушка закраснѣлась и застѣнчиво проговорила:

— Я не знаю, какъ надо жить.

— Этой науки, кажется, не ты одна не знаешь. По-моему жить надо какъ живется; меньше говорить, да больше дѣлать, и еще больше думать; не быть эгоисткой, не выкраивать изъ всего только одно свое положеніе, не обращая вниманія на обрѣзки, да главное дѣло не лгать ни себѣ, ни людямъ. Первое дѣло не лгать. Людямъ ложь вредна, а себѣ еще вреднѣе. Станешь лгать себѣ, такъ всѣхъ обманешь и сама обманешься.

— Да какъ же лгать *себѣ*, тетя?

— Ахъ, мать моя? Какъ? Ну, вотъ одна выдумаетъ, что она страдалица, другая, что она героиня, третья еще что нибудь такое, чего вовсе нѣтъ. Увѣрятъ себя въ существованіи несуществующаго, да и пойдутъ чудеса творить, отъ которыхъ Богъ знаетъ сколько людей станутъ въ несчастныя положенія. Вотъ какъ твоя сестрица Зиночка.

— Вы, тетя, на нее нападаете, право.

— Что мнѣ, мой другъ, нападать-то! Она мнѣ не врагъ, а своя, родная. Мнѣ вовсе непріятно, какъ о ней пустые-то языки благовѣстятъ.

— Вы же сами не хвалите ея мужа.

— Такъ что-жъ! не хвалю, точно не хвалю. Ну, такъ и резонъ молодой бабочкѣ сдѣлаться городскою притчею?

— Да если онъ дурной человѣкъ тетя?

— Ну, какой есть,—сама выбрала.

— Можно ошибиться.

— Очень можно. Но изъ одной-то ошибки въ другую лѣзть не слѣдуетъ; а у насъ-то это, къ несчастію, всегда такъ и бываетъ. Сдѣлаемъ худо, а поправимъ еще хуже.

— Да въ чемъ же ея ошибки, за которыя всѣ такъ строго ее осуждаютъ?

— Въ чемъ? А вотъ въ слабоязычіи, въ болтовнѣ, въ неумѣньи скрыть отъ свѣта своего горя и во всякомъ отсутствіи желанія помочь ему, исправить свою жизнь, сдѣлать ее сносною и себѣ, и мужу.

— Это не такъ легко, я думаю.

— И не такъ ужъ очень трудно. Брыкаться не надо. Брыканьемъ ничему не поможешь, только ноги себѣ же отобьешь.

— Извините, тетя; вы, мнѣ кажется, оправдываете семейный деспотизмъ.

— Въ иныхъ случаяхъ, да, оправдываю.

— Въ какихъ же это, тетя, случаяхъ?

— Напримѣръ, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ хранитъ слабыхъ и неопытныхъ членовъ семьи отъ заблужденій и ошибокъ.

Дѣвушка немного покраснѣла и сказала:

— Значитъ, вы оправдываете рабство женщины?

— Изъ чего же это значитъ?

— Да какъ же! Вы оправдываете, какъ сейчасъ сказали, *въ иныхъ случаяхъ* деспотизмъ; а четверть часа тому назадъ замѣтили, что мужъ моей сестры не умѣетъ держать ее въ рукахъ.

— Ну такъ что-жъ такое?

— Это значитъ оправдывать рабство женщины въ семьѣ?

У Лизы раздувались ноздри и она безпрерывно откидывала за уши постоянно разбѣгавшіяся кудри.

— Нѣтъ, милая, это значитъ ни болѣе, ни менѣе, какъ признавать необходимость въ семьѣ одного авторитета.

— Ну, да. Признавать законность воли одного надъ стремленіями другихъ! Что-жъ это, не деспотизмъ развѣ?

— Ничуть не деспотизмъ.

— А что же? Что же это такое? Я должна жить какъ мнѣ прикажутъ?

— Отчего же не такъ, какъ тебѣ посовѣтуютъ?

— Да, если это дружескій совѣтъ равнаго лица, а не приказаніе, какъ вы называете, авторитета.

— Слушайся совѣта, такъ онъ не перейдетъ въ приказаніе.

— А если перейдетъ?

— Ну, ты же будешь виновата. Значитъ, не умѣла держать себя.

— Этакъ у васъ всегда сильный правъ: равенства, значитъ, нѣтъ.

— Равенства нѣтъ.

— И это вамъ нравится?

— Это нравится вѣрно природѣ. Спроси ее, зачѣмъ одинъ умнѣе другого, зачѣмъ одинъ полезнѣе другого обществу.

— Природа глупа.

— Ну, какая есть.

— Гм! Это ужасно.

— Что это ужасно?

— Повиноваться, и только повиноваться!

— Нѣтъ, не только: можно и жить, и любить, и дѣлать другихъ счастливыми.

— Все повинуясь?

— Повинуясь,—повинуясь разуму.

— Своему,—да; я это понимаю.

— Или другому, если этотъ разумъ яснѣе твоего, опытнѣе твоего и имѣетъ всѣ основанія желать твоего блага.

— А если нѣтъ?

— Тогда повелѣвай имъ сама.

— Господи! Какъ странно вы смотрите, тетя, на жизнь. Или будь деспотомъ, или рабомъ. Приказывай, или повинуйся. Мужъ глава, значитъ, какъ это читается.

— Въ большинствѣ случаевъ.

— И не выходи изъ его воли?

— Да. Если эта воля разумна, не выходи изъ нея. Иначе: не станешь признавать надъ собой одной воли, одного голоса, придется узнать ихъ надъ собою нѣсколько, и далеко не столь искреннихъ и честныхъ.

— Извините, тетя, что я скажу вамъ?

— Пожалуйста.

Лиза немного задумалась и, закраснѣвшись, сказала:

— Вы отстали отъ современнаго образа мыслей.

Выслушавъ это замѣчаніе, игуменья спокойно собрала со стола нѣсколько крошечекъ бѣлаго хлѣба и, ссыпавъ ихъ въ полоскательную чашку, спросила:

— А ты къ чему пристала, глядя на свѣтъ сквозь закрашенныя стекла института?

— Мы читали, мы говорили тоже, не безпокойтесь.

— Нѣтъ: не могу не безпокоиться, потому что вижу въ твоей головкѣ всѣ эти бредни-то новыя. Я тоже вѣдь говорю съ людьми-то, и врядъ ли такъ ужъ очень отстала, что и судить не имѣю права. Я только не пристала къ вралямъ и не разсталась со смысломъ. Я знаю эти, какъ ты называешь, взгляды-то. Двухъ лѣтъ еще нѣтъ, какъ ея братецъ вотъ тутъ же, на этомъ самомъ мѣстѣ, все развивалъ мнѣ ваши идеи новыя. Все вздоръ какой-то! Не поймешь ничего. — Пріѣхалъ Ипполитъ изъ университета,— обратилась она къ Гловацкой,—ну и зашелъ ко мнѣ. Вижу мальчикъ, совсѣмъ еще мальчикъ—восемнадцать лѣтъ вѣдь всего. А ломается, кривляется. Пушкина на первыхъ же шагахъ обругалъ, отца раскритиковалъ: зачѣмъ, зачѣмъ, говоритъ, анахоретомъ живетъ? — Для тебя же съ сестрой, говорю, батюшка такъ живетъ. — Отъ науки отсталъ, говоритъ. Ну, глупъ отецъ, однимъ словомъ, а онъ уменъ; тутъ же при мнѣ и при двухъ сестрахъ, очень почтенныхъ женщинахъ, монастыри обругалъ, назвалъ насъ устрицами, приросшими къ своимъ раковинамъ. Богъ знаетъ, что такое? Школы хорошей нѣтъ этому мальчику.

— Что-жъ, онъ вѣдь, можетъ быть, говорилъ правду?— замѣтила Лиза.

— Правду, говоришь, говорилъ?

— Да.

Тетка немножко насупилась.

— И правду надо знать какъ говорить.

— Вы же сами говорите всѣмъ правду.

— Да, то-то, я говорю, надо знать какъ говорить правду-то, а не осуждать за глаза отца родного, при чужихъ людяхъ.

— Онъ, вѣрно, и не осуждалъ, а разбиралъ, анализировалъ.

— Насъ, старухъ, изругалъ ни къ стру, ни къ смотру. Вреднѣйшіе мы люди, тунеядицы.

— Монастыри, тетя,—отжившія учрежденія. Это всѣ говорятъ.

— А почему это они отжившія учрежденія, смѣю спросить?

— Потому, что люди должны трудиться, а не сидѣть запершись, ничего не дѣлая.

— Кто-жъ это вамъ сказалъ, что здѣсь ничего не дѣлаютъ? Не угодно ли присмотрѣться самой-то тебѣ поближе. Можетъ быть здѣсь еще болѣе работаютъ, чѣмъ гдѣ нибудь. У насъ каждая почти однимъ своимъ трудомъ живетъ.

— А въ мірѣ она бы втрое болѣе могла трудиться.

— Или совсѣмъ бы не могла.

— Это отчего?

— Отъ многаго. Отъ неспособности сжиться съ этимъ міромъ-то; отъ неумѣнья отстоять себя; отъ недостатка силъ бороться съ тѣмъ, что не всякій поборетъ. Есть люди, которымъ нужно, просто необходимо такое безмятежное пристанище, и пристанище это существуетъ, а если не отжила еще потребность въ этихъ учрежденіяхъ, то, значитъ, всякій молокососъ не имѣетъ и права называть ихъ отжившими и поносить въ глаза людямъ, дорожащимъ своимъ тихимъ пріютомъ.

— Вы сейчасъ обвиняли ея брата въ томъ, что онъ осуждаетъ людей въ глаза, а теперь обвиняете его въ томъ,

что онъ говоритъ правду въ глаза. Какъ же говорить ее нужно?

Мать Агніи совсѣмъ вспыхнула.

— Говорить надо съ умомъ,—замѣтила она рѣзко.

— Да я тутъ, собственно, не вижу глупости.

— Очень жаль, что ты не видишь неблаговоспитанности и мѣщанства.

— Что-жъ и мѣщане люди, тетя?

— Да, люди, люди неблаговоспитанные, несносные, люди, вносящіе въ жизнь гадкую мѣщанскую дрязгу.

— Стало быть, они совсѣмъ ужъ не того стоятъ, чего мы?

— Совсѣмъ не того, чего стоятъ всѣ люди благовоспитанные, щадящіе человѣка въ человѣкѣ. То люди, а то *мѣщане.*

Лиза встала со стула, сдѣлала ироническую гримасу и, пожавъ плечами, проговорила:

— Не понимаю, какъ такой взглядъ согласовать съ идеею христіанскаго равенства.

— Не понимаешь?

— Не понимаю:

— Очень просто. Всѣ мы равны передъ Богомъ.

— Только-то?

— И только. Мѣщанство всегда останется мѣщанствомъ.

— Какъ ты думаешь объ этомъ, Женни?—спросила Лиза, стоя лицомъ къ открытому окну.

Но прежде чѣмъ Женни успѣла что нибудь отвѣтить, мать Агнія отвѣтила за нее:

— Геша не будетъ такъ дерзка, чтобы произносить приговоръ о томъ, чего она сама еще хорошо не знаетъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Молодой пересадокъ.

Большой монастырскій колоколъ гудѣлъ и заливался, призывая сестеръ безмятежнаго пристанища къ вечерней молитвѣ и долгому, праздничному всенощному бдѣнію. По

длиннымъ досчатымъ мосткамъ, перекрещивавшимъ во всѣхъ направленіяхъ монастырскій дворъ и такимъ образомъ поддерживавшимъ при всякой погодѣ удобное сообщеніе между кельями и церковью, потянулись сестры. Много ихъ было подъ началомъ матери Агніи. Лиза сѣла у окна въ теткиной спальнѣ и глядѣла на проходившія мимо ея черныя фигуры. Шли тихимъ, солиднымъ шагомъ пожилыя монахини въ такихъ шапкахъ и такихъ же вуаляхъ, какъ носила мать Агнія и мать Манеѳа; прошли три еще болѣе суровыя фигуры въ длинныхъ мантіяхъ, далеко волокшихся сзади длинными шлейфами; шли такъ же чинно и потупивъ глаза въ землю молодыя послушницы въ черныхъ, остроконечныхъ шапочкахъ. Между послѣдними было много очень, очень молодыхъ существъ, въ которыхъ молодая жизнь жадно глядѣла сквозь опущенные глазки. Новы были впечатлѣнія, толпившіяся въ головкахъ Лизы и Женни, стоявшей тутъ же за кресломъ подруги и вмѣстѣ съ нею находившейся подъ страннымъ вліяніемъ монастырской суеты. Веселый звонъ колоколовъ, розовое вечернее небо, свѣжій воздухъ, пропитанный ароматомъ цвѣтовъ, окружающихъ каждую келью, и эти черныя фигуры, то согбенныя и закутанныя въ черныя покрывала, то молодыя и стройныя, съ миловидными личиками и потупленными глазами: все это было ново для нашихъ героинь и все это располагало ихъ къ задумчивости и молчанію. Наконецъ, кончился третій трезвонъ; двѣ молоденькія послушницы, съ большими книгами подъ руками, шибко пробѣжали къ церкви, а за дверью матери Агніи чистый, молодой контральтъ произнесъ нараспѣвъ: «Господи, Іисусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ».

— Аминь,—отвѣчала мать Агнія, оканчивавшая прикалываніе своего вуаля.

Въ дверь вошла молодая, очаровательно милая монахиня и, быстро подойдя къ игуменьѣ, поцѣловала ея руку.

— Здравствуй, Ѳеоктиста! Посмотри-ка, аккуратно ли я закололась сзади.

— Хорошо вездѣ, матушка,— отвѣчала миловидная черница, внимательно осматривая игуменью.

— Все готово?

— Уже началъ положили.

— Ну, пойдемъ,—давай мантію.

Сестра Ѳеоктиста сняла со стѣны мантію и накинула ее на плечи игумены. Мать Агнія была сурово-величественна въ этой длинной мантіи. Даже самое лицо ея какъ-то преобразилось: ничего на немъ не было теперь, кромѣ сухости и равнодушія ко всему окружающему міру.

— Ну, до свиданія, дѣти, — сказала она, подавая руки оставшимся у окна дѣвушкамъ.

— А мы развѣ не пойдемъ въ церковь?—спросила Лиза.

— Какъ хотите. Вы устали, служба сегодня долгая будетъ, оставайтесь дома.

— Лучше пойдемъ и мы, постоимъ сколько намъ захочется.

— Ну, хорошо. Позовите Марину и поправьтесь тутъ, а я сейчасъ пришлю за вами сестру Ѳеоктисту, она васъ проводитъ въ церковь.

По мосткамъ опустѣлаго двора шла строгою поступью мать Агнія, а за нею, держась нѣсколько сзади ея лѣваго плеча и потупивъ въ землю прелестные голубые глазки, брела сестра Ѳеоктиста.

— Ахъ, какая хорошенькая!—сказала Лиза вслѣдъ прошедшимъ монахинямъ.

— Чудо, что такое,—подтвердила Гловацкая.

— Это вы про сестру Ѳеоктисту извольте говорить, барышня? — вмѣшалась весноватая бѣлица, камеръ-юнгфера матери Агніи.

— Вотъ про эту монахиню,—отвѣтила Гловацкая.

— Это она и есть сестра Ѳеоктиста-съ.

— Прехорошенькая.

— Это, барышня, въ міру красоту-то наблюдаютъ; а здѣсь всѣ равны, что Ѳеоктиста, что другая какая.

— Давно она въ монастырѣ?

— Третій годъ, матушка; третій годъ, овдовѣмши, какъ въ монастырь пошла. Она вѣдь еще въ маломъ постригѣ.

— Что же она тутъ при тетушкѣ?—спросила Лиза.

— Такъ, тетинька любятъ, чтобы она при нихъ находилась.—Адъютантомъ своимъ называютъ ее.

— Развѣ она съ тетушкой живетъ?

— Нѣтъ, у нея есть своя полкелья, а только, когда въ церковь; или когда у тетиньки гости бываютъ, такъ ужъ сестра Ѳеоктиста при нихъ.

— Зачѣмъ же это?

— Такъ... Тетенькѣ такъ угодно.

— Она знакома была тетушкѣ прежде, что-ль?

— Не могу вамъ про это доложить, — да нѣтъ, врядъ, чтобы была знакома. Она вѣдь изъ простыхъ, изъ города Брянскова, изъ купецкой семьи. Да простые такіе купцы-то, не то, чтобы какъ вонъ наши губернскіе или московскіе. Совсѣмъ изъ простого званія.

— Господи Іисусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ! раздалось опять за дверью. Весноватая бѣлица твердо возгласила: «Аминь», и на порогѣ показалась сестра Ѳеоктиста.

— Спаси васъ Господи и помилуй, — проговорила она, подходя къ дѣвушкамъ и смиренно придерживая одною рукою полуряски, а другою собирая длинныя шелковыя четки съ крестомъ и изящными волокнистыми кистями.

— Здравствуйте, здравствуйте, — привѣтливо отвѣчали въ одинъ голосъ обѣ дѣвушки.

Ѳеоктиста добродушно поцѣловала обѣихъ и опять поклонилась.

— Вотъ вы уже пришли; а мы еще не готовы совсѣмъ,— извините насъ, пожалуйста.

Сестра Ѳеоктиста ласково улыбнулась и сказала:

— Ничего-съ: я посижу, подожду,—и она сѣла на кончикѣ дивана.

— Много мірскихъ въ церкви? — спросила сестру Ѳеоктисту продолжавшая торчать здѣсь бѣлица.

— Много. Яблоку упасть негдѣ. Очень тѣсно въ храмѣ.

— Пошлите, пожалуйста, нашу няню, попросила Лиза бѣлицу, послѣ чего та тотчасъ же вышла, а вслѣдъ затѣмъ появилась Марина Абрамовна.

Старуха, растопыривъ руки, несла въ нихъ только что выправленныя утюгомъ бѣлыя платьица барышень и другія принадлежности ихъ туалета.

— Одѣвайтесь, матушки, а то къ шапочному разбору придете, — говорила Марина Абрамовна, кладя на столъ принесенныя вещи.

Дѣвушки стали одѣваться, няня помогала то тѣй, то другой.

— Дайте я вамъ помогу, — сказала сестра Ѳеоктиста, положивъ въ уголъ дивана свои четки.

Дѣвушки вѣжливо отклоняли ея услужливость.

— Нѣтъ, что-жъ такое, я помогу. Развѣ это трудно?

И сестра Ѳеоктиста, встряхнувъ бѣлую, крахмальную юбку, набросила ее на Гловацкую.

— Благодарю васъ, душка моя,—отвѣчала закраснѣвшись дѣвушка и, обернувшись, поцѣловала два раза молодую монахиню.

А монахиня опять заворочалась въ накрахмаленныхъ вещахъ и одѣвала Женни въ то же самое время, какъ Абрамовна снаряжала Лизу.

— Какъ нынче манишки-то стали шить! Совсѣмъ какъ мужчинская рубашка,—говорила сестра Ѳеоктиста, оправляя надѣтую на Женни манишку.

— Вамъ нравится этотъ фасонъ?

— Нѣтъ, я такъ говорю; легче какъ будто, а то бывало у насъ все шнурки, да шнурочки.

— Вы давно въ монастырѣ?

— Давно. Ужъ и не помню когда,—отвѣчала смѣясь Ѳеоктиста.—Три года ужъ.

— И нескучно вамъ?

— О чемъ скучать-то? Спаси Господи и помилуй!

Сестра Ѳеоктиста глубоко вздохнула и въ серединѣ двухъ юницъ отправилась въ церковь. Въ церкви была страшная давка и духота. Сестра Ѳеоктиста насилу провела Лизу съ

Женей впередъ къ рѣшеткѣ, окружающей амвонъ, и отошла къ особенному возвышенію, на которомъ неподвижно стояла строгая игуменья. Воздухъ въ церкви все болѣе и болѣе сгущался отъ запаха жарко горящихъ въ огромномъ количествѣ восковыхъ свѣчъ, ладана и дыханія плотной толпы молящагося народа. Передъ началомъ стихиръ мать Агнія незамѣтно кивнула пальцемъ сестрѣ Ѳеоктистѣ. Та подошла къ ней, сдѣлала поясной поклонъ и подставила ухо, а потомъ опять поклонилась тѣмъ же пояснымъ поклономъ и стала тихонько пробираться къ нашимъ героинямъ.

— Мать игуменья безпокоятся за васъ, шепнула она дѣвушкамъ.—Онѣ велѣли мнѣ проводить васъ домой; вы устали, васъ Богъ проститъ; вамъ отдохнуть нужно.

— Пойдемте,—такъ же шопотомъ отвѣчали обѣ дѣвушки и стали пробираться вслѣдъ за Ѳеоктистою къ выходу.

На дворѣ стояли густыя сумерки.

— Чаю напьетесь?—спросила сестра Ѳеоктиста, входя на крыльцо кельи.

— По правдѣ сказать, такъ всего болѣе спать хочется,— отвѣчала Лиза.

— Ну, такъ Христосъ съ вами, спите. Прощайте, Господь съ вами.

— А нѣтъ, зайдите, зайдите,—заговорили дѣвушки.

— Раздуйте самоварчикъ,—сказала входя сестра Ѳеоктиста. Ну, такъ спать?—добавила она, обратясь къ дѣвицамъ.

— Лежать, сестра Ѳеоктиста,—отвѣчала Лиза.

— Ну, ложитесь, покатайтесь, поваляйтесь, расправьте косточки, а я вамъ душепарочки волью.

— Милая! какая вы милая!—сказала Лиза и крѣпко, взасосъ, по-институтски, поцѣловала монахиню.

— Чѣмъ такъ вамъ мила стала? Голуби вы мои! Раздѣвайтесь-ка, да на постельку.

Истомленныя дорогою дѣвушки начали спѣшно разоблачаться.

— Гдѣ же лечь?—спросила Лиза.

— На постель, на постель, мой ангелъ. Тетушка такъ сказала,—отвѣчала сестра Ѳеоктиста.

— Валимся!—проговорила Лиза и, забросивъ за уши свои кудри, упала на мягкую теткину постель. За нею съ краю легла тихо Гловацкая.

— Ну и отлично. Теперь я подамъ чайку.

— Зачѣмъ же вы сами, сестра Ѳеоктиста?

— Да что-жъ за бѣда. Я и сама напьюсь съ вами.

Чаекъ подали, и дѣвушки, облокотясь на подушечки, стали пить. Сестра Ѳеоктиста усѣлась въ ногахъ, на кровати.

Дѣвушки, утомленныя шестидневной дорогой, очень рады были мягкой постелькѣ и не хотѣли чаю. Сестра Ѳеоктиста налила имъ по второй чашкѣ, но эти чашки стояли нетронутыя и стыли на столикѣ.

— Кушайте!

— Не хочется,—отвѣчали обѣ дѣвушки.

— Ну, почивайте. Всеночная еще не скоро кончится. Часа полтора еще пройдетъ, почивайте, а я пойду.

— Нѣтъ, посидите съ нами, вы вѣдь тоже устали, тамъ духота такая въ церкви.

— Сестра Ѳеоктиста! Какъ вы думаете, можно покурить потихоньку?

— Охъ, не знаю, право.

— Вѣдь никто не взойдетъ?

— Не знаю.

Лиза спрыгнула съ кровати, зажгла папироску и сѣла у печки.

— Не тянетъ что-то.

— Труба вѣрно закрыта отъ грома. Я открою сейчасъ,— и Ѳеоктиста открыла трубу.

Женни тоже покурила и обѣ дѣвушки снова улеглись.

— Душно точно, голова такъ и кружится, да это ничего, Господь подкрѣпляетъ, я привыкла ужъ, говорила Ѳеоктиста, продолжая прерванный разговоръ о церковной духотѣ.

— Какъ вы успѣли привыкнуть такъ скоро?— спросила, внимательно глядя на сестру Ѳеоктисту, Лиза.

— М-мъ! Такъ привыкла, потому что здѣсь вѣдь хорошо.

— Чѣмъ же хорошо?

— Тихо такъ, хорошо.

Вышла пауза.

— И вы никогда не скучаете?—спросила Женни.

— Чего скучать, надо Богу молиться, а не скучать.

— Иногда пртоивъ воли скучается.

Сестра Ѳеоктиста вздохнула.

— Молитвой надо ограждать себя, — проговорила она тихо.

— А если нельзя молиться?—спросила быстро Лиза.

— Отчего нельзя?

— Если не спокоенъ, разстроенъ, взволнованъ.

— Тутъ-то и молиться.

— Вы это на себѣ испытали когда-нибудь?

— Какъ же. Искушенія тоже бываютъ большія и въ монастырѣ.

— Интриги?

— Какъ изволите?

— Интриги, говорю, есть?—Сплетни, ссоры, клеветы,— пояснила Лиза.

— А! Ну все надо перенесть! на то покаяніе, на то монастырь.

— А есть это все?

— Какъ вамъ сказать?—отвѣчала Ѳеоктиста съ самымъ простодушнымъ выраженіемъ на своемъ добромъ, хорошенькомъ личикѣ.—Бываетъ, врагъ смущаетъ человѣка, все по слабости по нашей. Тутъ вѣдь не то, чтобъ какъ со злости говорится что, или дѣлается.

— А все врагъ смущаетъ?

— Все по слабости нашей.

— Вы зачѣмъ пошли въ монастырь-то?

— Какъ изволите?—переспросила сестра Ѳеоктиста.

Лиза повторила свой вопросъ.

— Такъ, пошла да и только.

— Дурно вамъ было дома, что-ль?

— М-мъ... такъ. Мужъ померъ, дитя померло, тятенька померъ, я и пошла.

— Развѣ никого больше не оставалось у васъ, и состоянія никакого не было?

— Нѣтъ, видите, повернувшись лицомъ къ Лизѣ и взявъ ее за колѣно, начала сестра Ѳеоктиста,—я вѣдь вотъ церковная, ну, понимаете православная, т. е. по-нашему, по русскому закону крещена, ну только тятенька мой жили мы въ нуждѣ большой. Городокъ нашъ маленькій, а тятенька, на волю откупившись, тутъ домикъ въ долгъ тоже купили, хотѣли трактирчикъ открыть, такъ какъ они были поваромъ, ну не пошло. Только приказные судейскіе когда придутъ, да и то все въ долгъ больше, а помѣщики все на почтовую станцію заѣзжали. Такъ, бывало, и плиты по недѣлѣ цѣлой не разводимъ. Ну я ужъ была на возрастѣ, шестнадцатый годокъ мнѣ шелъ; матери не было, братецъ въ лакейской должности гдѣ-то въ Петербургѣ, у важнаго лица, говорятъ, служитъ, только отцу они не помогали. Извѣстно въ этакой столицѣ самимъ имъ что, я думаю, нужно, въ большомъ-то домѣ!

Ѳеоктиста вздохнула и, помолчавъ, продолжала:

— Жениховъ у насъ мало, да и то всѣ глядятъ на богатенькихъ, а мы же опять и въ мѣщанство-то только приписались, да и бѣдность. Очень тятенька покойникъ обо мнѣ печалился. Ну, а тутъ, такъ черезъ улицу отъ насъ купцы жили,—тоже недавно они въ силу пошли, изъ мѣщанъ, а только ужъ богатые были; всѣмъ торговали: солью, хлѣбомъ, желѣзомъ, всякимъ, всякимъ товаромъ. У насъ вѣдь, по нашему маленькому мѣсту, нѣтъ этихъ магазиновъ, а все вмѣстѣ всѣмъ торгуютъ. Только были эти купцы старовѣры... не нашего, значитъ, закона, поповъ къ себѣ не принимаютъ, а все безъ поповъ. Ну, какъ тамъ, Богъ самъ знаетъ, какъ это сдѣлалось, только этотъ купеческій сынъ Естифей Ефимычъ вздумалъ ко мнѣ присвататься. Изъ себя былъ

какой, вѣдь, молодецъ; всякая бы, то-есть всякая, всякая у насъ, въ городѣ-то, за него пошла; ну, а онъ ко мнѣ сватался. Въ домѣ-то что у нихъ изъ-за этого было, страсти Божьи, какъ, бывало, разскажутъ. Мать у него была почтенная старуха, древняя такая и строгая. Я-то тогда дѣвчонка была, ничего этого не понимала. Ужъ не знаю, какъ тамъ покойничекъ Естифей-то Ефимычъ все это съ маменькой своей уладилъ, только такъ о спажинкахъ прислали къ тятенькѣ сватовъ.

— Ну?

— Ну и выдали меня замужъ, въ церкви такъ въ нашей вѣнчали, по-нашему. А тутъ я годочекъ всего одинъ съ мужемъ-то пожила, да и овдовѣла, дитя родилось, да умерло, все, какъ говорила вамъ,—тятенька тоже померли еще прежде.

— А вы въ монастырь и пошли?

— Да и пошла вотъ.

— А съ мужемъ вы счастливы были?

— Извѣстно какъ замужемъ. Сама хорошо себя ведешь, такъ и тебѣ хорошо. Я жъ мужа почитала и онъ меня жалѣлъ. Только свекровь очень ужъ строгая была. Страсть какія они были суровыя.

— Обижала она васъ?

— Нѣтъ, обиды чтобъ такъ не было, а все, разумѣется, за вѣру мою, да за бѣдность сердились, все мужа, бывало, урекаютъ, что взялъ неровню; ну, а мнѣ мужа жаль, я, бывало, и заплачу. Вотъ изъ чего было, все изъ моей дурости.—Жарко каково!—проговорила Ѳеоктиста, откинувъ съ плеча креповое покрывало.

— Снимите шапку.

— И то.

Ѳеоктиста сняла бархатную шапку, и золотисто-русая коса, вырвавшись изъ-подъ сдерживавшей ее шапки, разсыпалась по черной рясѣ.

— Господи, какое великолѣпіе!—вскрикнула Лиза.

— Что это вы?

— Смотри, смотри, Женни, какіе волосы!

— Что вы, что вы это,—закраснѣвшись лепетала сестра Ѳеоктиста и протянула руку къ только-что снятой шапкѣ; но Лиза схватила ее за руки и, любуясь монахиней, нѣсколько разъ крѣпко ее поцѣловала. Женни тоже не отказалась отъ этого удовольствія и, перегнувъ къ себѣ стройный станъ Ѳеоктисты, обѣ дѣвушки съ восторгомъ цѣловали ее своими свѣжими устами.

— Что это вы?—опять пролепетала монахиня.

— Какая вы красавица, сестра Ѳеоктиста.

— Спаси Господи и помилуй; что это вамъ вздумалось! Искушеніе съ вами, съ мірскими, право.

Сестра Ѳеоктиста набожно перекрестилась и добавила:

— Ну, такъ вотъ я вамъ ужъ доскажу. Вышедши замужъ-то, я затяжелѣла; ну, брюхомъ-то мнѣ то того, то другого смерть вотъ какъ хочется. А Великій постъ былъ: у насъ въ домѣ, какъ вотъ словно въ монастырѣ, опричь грибовъ ничего не варили, да и то по середамъ и по пятницамъ безъ масла. Маменька строго это соблюдала. А мнѣ то это икры захочется, то рыбы соленой, да такъ захочется, что вотъ просто душенька моя выходитъ. Я, бывало, это Естифею Ефимовичу ночью скажу, а онъ днемъ припасетъ, пронесетъ мнѣ въ карманѣ, а какъ спать ляжемъ съ нимъ, я пологомъ задернусь на кровати, да и ѣмъ. Грѣхъ это такъ ѣсть-то, Богу помолимшись, ну, а я ужъ никакъ стерпѣть не могла. Брюхомъ это часто у женщинъ бываетъ. Ну, и наказалъ же меня Господь за мои за эти за глупости! Охъ-хо-хо!

Ѳеоктиста утерла слезы, наполнившія длинныя рѣсницы ея большихъ голубыхъ глазъ, и продолжала:

— Въ самый въ страстной вторникъ задумалось мнѣ про селянку съ рыбой. Вотъ умираю, хочу селянку съ севрюжинкой, да и только. Пришелъ мужъ изъ лавки, легли спать, я ему это и сказываю про свое про хотѣнье-то. Что ты, говоритъ, дура, какіе дни! Люди теперь хлѣба мало вкушаютъ, а ты что задумала? Молись, говоритъ, больше,

все пройдетъ. А я вмѣсто молитвы-то цѣловать его да упрашивать: голубчикъ, говорю, соколъ мой ясный, Естифей Ефимычъ! уважь ты меня разъ, я тебя сто разъ уважу. Пристаю къ нему: ручки, ножки, говорю, тебѣ перецѣлую, только уважь, покорми ты меня селяночкой. Знала я, что какъ пристанешь къ нему лаской, безпремѣнно онъ тебѣ сдѣлаетъ. Смотрю, точно ужъ, говоритъ, только какъ, говоритъ, пронести? Пронести никакъ нельзя. Это и правда. Рыбу тамъ или икру можно какъ въ карманѣ пронесть, а селянку жидкую никакъ нельзя. Такъ я это въ горѣ и заснула. Утромъ, гляжу, мужъ толкъ меня подъ бокъ: прибѣжи, говоритъ, часовъ въ двѣнадцать въ лавку. Я догадалась, опять-таки его расцѣловала. Охъ, Боже, Боже мой, Боже мой! великая я грѣшница передъ Тобою!.. Жду не дождусь. Только пробило одиннадцать часовъ, я и стала надѣвать шубейку, чтобъ къ мужу-то идти, да только-что хотѣла поставить ногу на порогъ, а въ дверп нашъ молодецъ изъ лавки, какъ есть полотно блѣдный. Что ты, что ты, Герасимъ? спрашиваемъ его съ маменькой, а онъ и слова не выговоритъ.—Что, молъ, пожаръ, что ли? Въ окно такъ-то смотримъ, а онъ глядѣлъ-глядѣлъ на насъ, да разомъ какъ крикнетъ: хозяинъ, говоритъ, Естифей Ефимычъ потонули.—Какъ потонулъ? гдѣ?—Къ городничему, говоритъ, за рѣку чего-то пошли, сказали, что коли Ѳедосья Ивановна, — это я-то, — придетъ, чтобъ его въ чуланчикѣ подождали, а тутъ, слышимъ, кричатъ на берегу: обломился, обломился, потонулъ. Побѣгли, — ничего ужъ не видно, только дыра во льду и водой сравнялась, а приступить нельзя, весь ледъ иструхъ. Ничего тутъ ужъ я и не помню. Побѣгли къ городничему, и городничій самъ пришелъ. Онъ, говоритъ, у меня не былъ, а былъ у повара, севрюги кусокъ принесъ, просилъ селянку сварить. Это въ трактиръ-то на станцію ему нельзя было идти, далеко, да и боязно, встрѣтишь кого изъ своихъ, онъ, мой голубчикъ, и пошелъ мнѣ селяночку-то эту, проклятую, готовить къ городническому повару, да торопился, на мостъ-то далеко,

онъ льдомъ хотѣлъ, грѣхъ и случился. Во всемъ я передо всѣми повинилась. Что̀ тутъ только мнѣ было! Боже мой, Господи! Хуже меня по цѣлому городу человѣка не ставили. И точно, что стоило. А ужъ свекровь, бывало, какъ начнетъ: силы небесныя, что только она говорила! И змѣя-то я, и блудница вавилонская, сѣдящая при водахъ на звѣрѣ червленнѣ, — чего только не говорила она съ горя. Разумѣется, мать, больно ей было, одинъ сынъ только, и того лишилась. И не знаю я, какъ ужъ это все я только пережила! А только мнѣ даже лучше было, что меня ругала маменька. А тутъ ужъ безъ покойника я родила дѣвочку,—хорошенькая такая была, да черезъ двѣ недѣли померла. Какъ я ни старалась маменькѣ угождать, все ужъ не могла ей угодить: противна я ей ужъ очень стала. Какъ я ей въ глаза, она сейчасъ: иди, иди, еретица проклятая! Гонитъ меня. Думала въ тятинькинъ домикъ перейти, что онъ мнѣ оставилъ—маменька еще пуще осерчала: развратничать, говоритъ, захотѣла, полюбовниковъ на свободѣ собирать хочется. Я и стала проситься въ монастырь, да вотъ и живу.

— А домикъ вашъ?

— Такъ свекровь его взяла, а мнѣ тутъ полкельи поставила.

— И ничего вамъ не даютъ?

— Нѣтъ, на что же мнѣ, я работаю. Мнѣ развѣ много нужно?

— Зачѣмъ же вы ей отдали?

— Да пусть. На что мнѣ. Такъ оставила ей.

— И тутъ вамъ, говорите, хорошо?

— Хорошо, молюсь да работаю, что̀ жъ мнѣ. Конечно, иной разъ...

— Что, скучно?

— Нѣтъ, спаси Господи и помилуй! А все вотъ за эту... за красоту-то, что вы говорите. Не то, такъ-то выдумаютъ.

— Что̀ жъ, кому мѣшаетъ ваша красота?

— Да такъ, нѣтъ это по злобѣ! Такъ врагъ-то сму-

щаетъ. Онъ вѣдь въ мірѣ такъ не смущаетъ, а здѣсь, гдѣ блюдутся, онъ тутъ и вередуетъ.

— Вамъ жаль вашего мужа?

— Очень жаль! Ахъ, какъ жаль. И гдѣ онъ, гдѣ его тѣло-то понесли быстрыя воды весеннія. Молюсь я, молюсь за него, а все не смолить мнѣ моего грѣха.

— Вы его любили?

— Какъ же не любить мужа!

— А дитя тоже жаль?

— Не знаю ужъ какъ и сказать, кого больше жаль! Дитя жаль, да все не такъ, все усну, такъ забуду, а мужа и во снѣ-то не забуду. И во снѣ онъ меня мучитъ. Молюсь, молюсь Создателю: Господи, упокой Ты его, отжени отъ меня грѣхъ мой. А только усну, только заведу глаза, а онъ надо мною стоитъ. Вотъ совсѣмъ стоитъ. Чувствую, холодный такой, мокрый весь, синій, какъ извѣстно, утопленникъ, а потомъ будто бѣлѣетъ; лицо опять человѣческое становится, глазами смотритъ все на меня и совсѣмъ какъ живой, совсѣмъ живой. Просто вотъ беретъ меня за плечи, цѣлуетъ, Ѳеня, говоритъ, моя, другъ мой!

Сестра Ѳеоктиста остановилась, долго смотрѣла молча въ одну точку темной стѣны и потомъ неожиданно, дернувъ на себѣ ряску, тревожно проговорила:

— Кудри его черныя вотъ такъ по лицу по моему... Ахъ ты, Господи! Боже мой! Когда жъ эти сны кончатся? Когда Ты успокоишь и его душеньку, и меня, грѣшницу нераскаянную.

Тихо, безъ всякаго движенія сидѣла на постели монахиня, устремивъ полные благоговѣйныхъ слезъ глаза на озаренное лампадой распятіе, молча смотрѣли на нее дѣвушки. Всенощная кончилась, подъ окномъ послышались шаги и голосъ игуменьи, возвращавшейся съ матерью Маннѳой. Сестра Ѳеоктиста быстро встала, надѣла свою шапку съ покрываломъ и, поцѣловавъ обѣихъ дѣвицъ, быстро скользнула за двери игуменьиной кельи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Въ ночной тишинѣ.

Глубоко запалъ въ молодыя сердца нашихъ героинь простодушный разсказъ сестры Ѳеоктисты. Ни слова имъ не хотѣлось говорить, и ни слова онѣ не сказали по ея уходѣ.

Мать Агнія тихо вошла въ комнату, гдѣ спали маленькія дѣвочки, тихонько пріотворила дверь въ свою спальню, и видя, что тамъ только горятъ лампады и ничего не слышно, заключила, что гости ея уснули, и, затворивъ опять дверь, позвала бѣлицу.

— Умыться и раздѣться, — сказала она вошедшей дѣвушкѣ.

— Тамъ приготовлено-съ.

— Перенести сюда, да тише, не разбуди дѣтей.

Въ спальню вошла бѣлица и тихонько понесла оттуда умывальный приборъ.

— Пили чай?—спросила игуменья вполголоса.

— Кушали, матушка.

— Давно легли?

— Давно-съ, только они не спали должно-быть.

— Отчего?

— Сестра Ѳеоктиста все у нихъ тамъ сидѣла на кровати, только вотъ сейчасъ выскочила.

— Спасибо ей.

— Все разговаривали съ нею.

— Молодые люди, поговорить хотятъ.

— Да-съ, все про мужа говорили.

— Про какого мужа?

— Про Ѳеоктистинова.

— Что жъ они говорили?

— Все Ѳеоктиста разсказывала, какъ жила у своихъ въ міру.

— Ну?

— А онѣ, барышни, все слушали. Все про сны какіе-то сказывала имъ, что мужа видитъ.

— Это ты слышала?

— Какъ же-съ!

— Сходи-ко къ ней, чтобъ завтра, какъ встанетъ... пораньше бъ встала и пришла ко мнѣ.

— Слушаю-съ!

— Давай умываться!

Послышались плески воды.

— Лихаревская Аннушка заходила отдохнуть,—говорила, подавая умываться, бѣлица.

— Ну и что̀ жъ?

— Барыня-то ихняя вернулась.

— Вернулась?

— Вернулась, говоритъ, и прямо мужу въ ноги.

— Ну?

— Простилъ-съ, говоритъ, во всемъ.

— Дуракъ!—какъ бы про себя замѣтила мать Агнія и, сѣвъ на стулъ, начала тщательно вытираться полотенцемъ.

— А у матери Варсонофьи опять баталія была съ этой съ новой бѣлицей, что изъ дворянокъ, вотъ что мать-то отдала.

— За что это?

— Все дворянствомъ своимъ кичится, стало-быть. У васъ, говоритъ, все необразованіе, кляузы, говоритъ, наушничество. Такая ядовитая дѣвушка, Богъ съ ней совсѣмъ.

— Вѣрно, досадили ей.

— Не знаю-съ.

— Варсонофія-то сама хороша. Вели-ка завтра этой бѣлицѣ за часами у ранней на поклоны стать. Скажи, что я приказала безъ разсужденій.

— Слушаю-съ.

— Давай чистить зубы.

Бѣлица опять взошла на цыпочкахъ въ спальню и опять вышла.

— Что это у тебя въ той рукѣ?—спросила игуменья.

— Соръ какой-то... бумажку у печки какую-то подняла.

— Покажи.

Бѣлица подала окурочекъ тоненькой папироски, засунутый дѣвушками въ печку.

— Откуда это?

— Барышни, вѣрно, курили.

— Не забудь, чтобъ рано была у меня Ѳеоктиста.

— Слушаю-съ.

Игуменья положила окурочекъ папиросы въ карманъ своей ряски.

— А Никита былъ здѣсь?

— Какъ же-съ.

— Я его и видѣть не успѣла. А ты сказала казначеѣ, чтобъ отправила Татьянѣ на почту что я приказала?

— Виновата, запомнила-съ, завтра скажу. Плохо ей. Татьянѣ-то бѣдной. Мужа-то ея теперь въ пожарную команду перевели; все одна, недостатки, говоритъ, страшные терпитъ.

— Бѣдная женщина.

— Да-съ. На васъ, говоритъ, только и надѣется. Грѣхъ, говоритъ, будетъ барышнѣ: я имъ всей душой служила, а онѣ и забыли. Таково-то, говоритъ, господское сердце.

— Врешь.

— Право. Никитушка сказывалъ, что очень обижается.

— Врешь, говорю тебѣ.—Къ брату давно поѣхали дать знать, что барышни прибыли?

— Передъ вторымъ звономъ Борисъ поѣхалъ.

— Отчего такъ долго собирался?

— Сѣдло, говоритъ, никуда не годится, никакой, говоритъ, сбруи нѣтъ. Подъ бабьимъ начальствомъ жить—лучше, говоритъ, камни ворочать. На весь житный дворъ зѣвалъ.

— Его ужъ давно пора со двора долой. А гусаръ не былъ?—совсѣмъ понизивъ голосъ, спросила игуменья.

— Нѣтъ-съ, нынче не было его. Я все смотрѣла, какъ

народъ проходилъ и выходилъ, а только его не было: врать не хочу.

— То-то. Если ты только врешь на нее...

— Вотъ убей меня Богъ на семъ мѣстѣ!

— Ну, ужъ половину соврала. Я съ ней говорила и изъ глазъ ея вижу, что она ничего не знаетъ и въ помышленіи не имѣетъ.

— Да вѣдь я и не докладала, что она чѣмъ-нибудь тутъ причина, а я только...

— Врешь, докладывала.

— Нѣтъ, матушка, вѣрно говорю: не докладывала я ничего о ней, а только докладала точно, что онъ это, какъ взойдетъ въ храмъ Божій, такъ уставитъ въ нее свои бѣльмы поганыя и такъ и не сводитъ.

— Глядѣть никому нельзя запретить, а если другое что...

— Нѣтъ, другаго прочаго до сихъ поръ точно что ужъ не замѣчала, такъ не замѣчала, и грѣха брать на себя не хочу.

— А что Дороѳея!

— Трезвонитъ-съ.

— Г-мъ! усмирилась?

— Нѣтъ-съ. И ни вотъ капельной капельки.

— Все свое.

— Умру, говоритъ, а правду буду говорить. Мнѣ, говоритъ, сработать на себя ничего некогда, пусть казначею за покупками посылаютъ. На то она, говоритъ, казначея, на то есть лошади, а я не кульеръ какой-нибудь, чтобъ летать. Нравная женщина!

— Я ее успокою.

— Владыкѣ, говоритъ, буду жаловаться. Хочетъ въ другой монастырь проситься.

— Что-о! въ другой монастырь?

— Да-съ. Такъ разсуждала.

— Въ другой монастырь! А! ну, посмотримъ, какъ ее переведутъ въ другой монастырь. Разуй меня и иди спать,— добавила игуменья.

Лиза повернулась на кровати и шепнула:

— Вонъ оно, мѣщанство-то!

— Да,—также шопотомъ отвѣчала Женни, и дѣвушки, завернувшись въ одѣяло, обнялись другъ съ другомъ.

А мать Агнія тихо вошла, перекрестила ихъ, поцѣловала въ головы, потомъ тихо перешла за перегородку, упала на колѣни и начала читать положенную монастырскимъ уставомъ полунощницу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Родныя липы.

Село Мерево отстоитъ сорокъ верстъ отъ губернскаго города и семь отъ уѣзднаго, въ которомъ отецъ Гловацкій служитъ смотрителемъ уѣзднаго училища. Село Мерево стоитъ на самой почтовой дорогѣ. Въ немъ около двухсотъ крестьянскихъ дворовъ, каменная церковь и два помѣщичьи дома. Одинъ изъ господскихъ домовъ, построенный на крутомъ, обрывистомъ берегу рѣки, принадлежитъ вдовѣ камергера Мерева, а другой, утопающій въ зелени сада, разросшагося на роскошной почвѣ лугового берега рѣки Рыбницы, кавалерійскому полковнику и мѣстному уѣздному предводителю дворянства Егору Николаевичу Бахареву. Деревня вытянута по обѣ стороны рѣки, и какъ разъ противъ сада Бахаревыхъ, доходящаго до самаго берега, черезъ рѣку есть мостъ.

Былъ девятый часъ вечера. Если бъ я былъ поэтъ, да еще хорошій поэтъ, я бы непремѣнно описалъ вамъ, каковъ былъ въ этотъ вечеръ воздухъ и какъ хорошо было въ такое время сидѣть на лавочкѣ подъ высокимъ частоколомъ бахаревскаго сада, глядя на зеркальную поверхность тихой рѣки и запоздалыхъ овецъ, съ блеяніемъ перебѣгавшихъ по опустѣвшему мосту. Кругомъ тихо, тихо, и все надвигается сгущающійся сумракъ, а между тѣмъ какъ-то все видишь: только всѣ предметы принимаютъ какіе-то гигантскіе размѣры, какіе-то фантастическіе образы. Верстовой

столбъ представляется великаномъ и совсѣмъ какъ будто идетъ, какъ будто вотъ-вотъ нагонитъ; надбрежная ракита смотритъ горою, и запоздалая овца, торопливо перебѣгающая по разошедшимся половицамъ моста, такъ хорошо и такъ звучно стучитъ своими копытками, что никакъ не хочется вѣрить, будто есть люди, равнодушные къ красотамъ природы, люди, способные то же самое чувствовать, сидя вечеромъ на каменномъ порожкѣ инвалиднаго дома, что̀ чувствуешь только припоминая эти милыя, теплыя ночи, когда и сонная рѣка, покрывающаяся туманной дымкой, колеблющаяся возлѣ вашихъ ногъ луговая травка и коростель, дерущій свое горло на противоположномъ косогорѣ говорятъ вамъ: мы всѣ одно, мы всѣ природа, будемъ тихи теперь, теперь такая пора тихая. Въ деревняхъ мало такихъ индифферентныхъ людей и то, всего чаще, это бываютъ или барышни, или барыни. Деревенскій человѣкъ, какъ бы ни мала была степень его созерцательности, какъ бы ни велики были гнетущія его нужды и заботы, всегда чутокъ къ тому, что̀ происходитъ въ природѣ. Никогда онъ утромъ не приметъ къ сердцу извѣстнаго вопроса такъ, какъ приметъ его въ густыя сумерки или въ палящій полдень.

И такъ, подъ высокимъ частоколомъ бахаревскаго сада, надъ самою рѣкою, была прилажена длинная досчатая скамейка, на которой теперь сидитъ цѣлое общество. Егоръ Николаевичъ Бахаревъ, высокій, плотный мужчина, съ огромнѣйшими сѣдыми усищами, толстымъ славянскимъ носомъ, дѣтски веселыми и дѣтски простодушными голубыми глазами. На лѣвой щекѣ у него широкій бѣлый шрамъ отъ сабельнаго удара. Одѣтъ онъ въ голубую гусарскую венгерку съ довольно полинялыми шнурами и въ форменной военной фуражкѣ. Онъ куритъ огромную нѣмецкую трубку, выпуская изъ-подъ своихъ сѣдыхъ, прокопченыхъ усищъ цѣлыя облака дыма, который по тихому вѣтерку прямо ползетъ на лицо сидящихъ возлѣ Бахарева дамъ и отъ котораго дамы, ничего не говоря, безцеремонно отмахива-

ются платками. Въ колѣняхъ у него сидитъ старая лягавая сука, Сумбека, стоившая будто бы когда-то тысячу рублей, которую Егору Николаевичу нѣсколько разъ за нее даже и давали, но ни разу не дали. Бахаревъ сидитъ вторымъ отъ края; справа отъ него помѣщаются четыре женщины и въ концѣ ихъ одна стоящая фигура мужескаго рода, а слѣва сидитъ очень высокій и очень тонкій человѣкъ, одѣтый совершенно такъ, какъ одѣваются польскіе ксендзы: длинный черный сюртукъ до пятъ, черный двубортный жилетъ и черныя панталоны, заправленныя въ голенища козловыхъ сапожекъ, а по жилету часовой шнурокъ, сплетенный изъ русыхъ женскихъ волосъ. Онъ уже совсѣмъ сѣдъ, гладко выбритъ и коротко стрижется. Въ живыхъ черныхъ глазахъ этого лица видно много уцѣлѣвшаго огня и нѣжности, а характерные заломы въ углахъ тонкихъ губъ говорятъ о силѣ воли и сдержанности. Это смотритель уѣзднаго училища, Петръ Лукичъ Гловацкій. Возлѣ Гловацкаго, заложивъ за спину руки, стоитъ вольнонаемный конторщикъ, мѣщанинъ Наркизъ Ѳеодоровъ Перепелицынъ. Ему лѣтъ подъ пятьдесятъ, онъ полонъ, приземистъ, съ совершенно краснымъ лицомъ и синебагровымъ носомъ, вводящимъ всѣхъ въ заблужденіе на счетъ его склонности къ спиртнымъ напиткамъ, которыхъ Перепелицынъ не пилъ отъ роду. Онъ въ синемъ сюртукѣ, бѣломъ жилетѣ и штанахъ бланжеваго трико. Слѣва стоитъ законная супруга предводителя, пріобрѣтенная посредствомъ ночного похищенія, Ольга Сергѣевна, въ бѣломъ чепцѣ очень стараго и очень своеобычнаго фасона, въ марселиновомъ темненькомъ платьѣ безъ кринолина и въ большомъ красномъ французскомъ платкѣ, въ который она безпрестанно самымъ тщательнымъ образомъ закутывала съ головы до ногъ свою сухощавую фигурку. Рядомъ съ матерью сидитъ старшая дочь хозяевъ, Зинаида Егоровна, второй годъ вышедшая замужъ за помѣщика Шатохина, очень недурная собою особа съ блѣдно-сахарнымъ лицомъ и капризною верхнею губкою; потомъ матушка попадья, — очень полная

женщина въ очень узкомъ темненькомъ платьѣ, и ея дочь, очень тоненькая, миловидная дѣвушка въ очень широкомъ платьѣ, а, наконецъ, Соня Бахарева. Она нѣсколько похожа на сестру Зину и нѣсколько напоминаетъ Лизу, но все-таки она болѣе сестра Зины, чѣмъ Лизы. У нея очень хорошіе каштановые волосы и очаровательный свѣженькій ротикъ. Вообще, это барышня, какихъ много: существо мелочно-самолюбивое, тирански-жестокое и сантиментально-мечтательное. Такое существо, которое, пока ростетъ, такъ ничего въ немъ нѣтъ, а выростетъ—станетъ ни швецъ, ни жнецъ, ни въ дуду игрецъ. Противъ Сони и дочери священника сидитъ на зеленой муравкѣ человѣкъ лѣтъ двадцати восьми или тридцати; на немъ парусинное пальто, такія же панталоны и пикейный жилетъ съ турецкими букетами, а на головѣ ветхая студенческая фуражка съ голубымъ околышемъ и просаленнымъ дномъ. Это кандидатъ юридическихъ наукъ Юстинъ Феликсовичъ Помада. Наружность кандидата весьма симпатична, но очень непрезентабельна: онъ невысокъ ростомъ, сутулъ, съ широкою, впалой грудью, огромными руками и большою головою съ волосами самаго неопредѣленнаго цвѣта. Эта голова составляетъ самую рѣзкую особенность всей фигуры Юстина Помады: она у него постоянно какъ будто падаетъ и въ этомъ паденіи тянетъ его то въ ту, то въ другую сторону, безъ всякаго на то соизволенія ея владѣльца.

Все это общество, сидя противъ меревскаго моста, ожидало нашихъ героинь, и нѣкоторые изъ его членовъ уже начинали терять терпѣніе.

— Вѣрно, не пріѣдутъ сегодня,—замѣтила матушка попадья, опасаясь, чтобы батрачка безъ нея не поставила квасить неочередный кубанъ.

— Очень можетъ быть,—поддержала ее Ольга Сергѣевна, по мнѣнію которой ни одинъ разумный человѣкъ вечеромъ не долженъ былъ оставаться надъ водою

— Вовсе этого не можетъ быть, возразилъ Бахаревъ,—

сестра пишетъ, что онѣ выѣдутъ тотчасъ послѣ обѣда;— значитъ, ужъ если считать самое позднее, такъ это будетъ часа въ четыре, въ пять. Тутъ около пятидесяти верстъ; ну, пять часовъ проѣдутъ и будутъ.

— А можетъ-быть раздумали, — слабо возразила Ольга Сергѣевна.

— Не можетъ этого быть, потому что это было бы глупо, а Агнія дурить не охотница.

— Въ дорогѣ что-нибудь могло случиться скорѣе,—проговорилъ сквозь зубы Гловацкій.

— Это такъ; это могло случиться: лошади и экипажъ сдѣлали большую дорогу, а у Никиты пустосвята вѣтеръ въ башкѣ ходитъ,—не осмотрѣлъ навѣрное.

— Верхового не послать ли-съ навстрѣчу?—предложилъ Перепелицынъ.

— Ну... подождемъ часочекъ еще: если не будетъ ихъ, тогда нужно будетъ послать.

— Чѣмъ посылать, такъ лучше жъ самимъ ѣхать,—опять процѣдилъ Гловацкій.

— И то правда. Только если мы съ Петромъ Лукичемъ уѣдемъ, такъ ты, Нарцизъ, смотри! Не моргай тутъ... дѣйствуй. Чтобъ все какъ говорилъ... понимаешь: хлопсъ-хлопсъ, и готово.

— Понимаю-съ.

— То-то, а то вѣдь тамъ, небось, въ носки жарятъ.

— Какъ можно-съ?

— Ну, да, толкуй: можно-съ... Эхъ, Зина, Алексѣя-то твоего нѣтъ!

— Да, нѣтъ,—простонала Зина.

— Чудакъ, право, какой! Семейная, можно сказать, радость, а онъ запропастился.

Зина глубоко вздохнула, склонила на бокъ головку и, скручивая пальчиками кисточку своей мантильи, печально обиженнымъ тономъ снова простонала:

— Я ужъ къ этому давно привыкла.

— Давно-о?—спросилъ старикъ.

— Да. Это всегда такъ. Стоитъ мнѣ пожелать чего-нибудь отъ мужа, и этого ни за что не будетъ.

— Что ты вздоръ-то говоришь, матушка! Алексѣй мужикъ добрый, честный, а ты ему жена, а не метресса какая-нибудь, что онъ тебѣ на зло все будетъ дѣлать.

— Какой ты странный, Егоръ Николаевичъ, томно вмѣшалась Ольга Сергѣевна, — ужъ вѣрно женщина имѣетъ причины такъ говорить, когда говоритъ.

— Нѣтъ, это еще не вѣрно.

— Неужто же женщина, любящее, преданное, самоотверженное существо, станетъ лгать, выдумывать, клеветать на человѣка, съ которымъ она соединена неразрывными узами! Странны ваши сужденія о дочери, Егоръ Николаевичъ.

— А ваши еще страннѣе и еще вреднѣе. Дуйте, дуйте ей, сударыня, въ уши-то, что она несчастная, ну и въ самомъ дѣлѣ увидите несчастную. Москва вѣдь отъ грошовой свѣчи сгорѣла. Вы вотъ сегодня все выболтали ужъ, такъ и беретесь снова за старую пѣсню.

— Я не болтаю, какъ вы выражаетесь, и не дую никому въ уши, а я...

Но въ это время за горою послышались ритмическіе удары копытъ скачущей лошади и вслѣдъ затѣмъ показался знакомый всадникъ, несшійся во весь опоръ къ спуску.

— Костикъ!—вскрикнулъ Бахаревъ, быстро поднимаясь въ тревогѣ со скамейки.

— Онъ-съ, — такъ же тревожно отвѣчалъ конторщикъ.

Всѣ встали съ своихъ мѣстъ и торопливо пошли къ мосту.

Между тѣмъ форейторъ Костикъ, проскакавъ половину моста, замѣтилъ господъ и, поднявъ фуражку, кричалъ:

— Ѣдутъ! ѣдутъ!

— Ѣдутъ? Гдѣ ѣдутъ? спрашивалъ Бахаревъ, теряясь отъ волненія.

— Сейчасъ ѣдутъ, за меревскими овинами ужъ.

— А! за овинами... Боже мой!.. Смотри, Нарцизъ... ахъ, Боже... и старикъ побѣжалъ рысью по мосту, въ догонку за Гловацкимъ, который уже шагалъ на той сторонѣ рѣки, наискось по направленію къ довольно крутому спиралеобразному спуску.

Дамы шли тоже такъ торопливо, что Ольга Сергѣевна, нѣсколько разъ споткнувшись на подолъ своего длиннаго платья, наконецъ пріостановилась и, обратясь къ младшей дочери, сказала:

— Мнѣ неловко совсѣмъ идти съ Матузалевной, понеси ее, пожалуйста, Сонечка. Да нѣтъ, ты ее задушишь; ты все это какъ-то такъ дѣлаешь, Богъ тебя знаетъ! Саша, дружочекъ, понесите, пожалуйста, вы мою Матузалевну.

Священническая дочь приняла изъ-подъ шали Ольги Сергѣевны бѣлую кошку и положила ее на свои руки.

— Осторожнѣй, дружочекъ, она не такъ здорова, — скороговоркою добавила Ольга Сергѣевна и, приподнявъ передъ своего платья, засѣменила въ догонку за опередившими ее дочерьми и попадьею.

Кандидата уже не было съ ними. Увидѣвъ бѣгущихъ стариковъ, онъ самъ не выдержалъ и, не размышляя долго, во всѣ лопатки ударился навстрѣчу ѣдущимъ.

Три лица, бросившіяся на гору, всѣ разбились другъ съ другомъ. На половинѣ спуска, отдуваясь и качаясь отъ одышки, стоялъ Бахаревъ, стараясь разстегнуть скорѣе шнуры своей венгерки, чтобы вдохнуть болѣе воздуха; немного впереди его торопливо шелъ Гловацкій, но тоже безпрестанно спотыкался и задыхался. Немощная плоть стариковъ плохо повиновалась бодрости духа. Зато Помада, уже преодолѣвъ самую большую крутизну горы, настоящимъ орловскимъ рысакомъ несся по болѣе отлогой косинѣ верхней части спуска. Онъ ни на одно мгновенье не призадумался, что̀ онъ скажетъ дѣвушкамъ, которыя его никогда не видали въ глаза и которыхъ онъ вовсе не знаетъ. Завидя впереди на дорогѣ двѣ бѣлѣвшіяся фигуры, онъ удвоилъ рысь и въ одно мгновеніе сталъ противъ дѣвушекъ,

нѣсколько испуганныхъ и еще болѣе удивленныхъ его появленіемъ.

— Здравствуйте!—сказалъ онъ, задыхаясь, и затѣмъ не могъ вспомнить ни одного слова.

— Здравствуйте, растерянно отвѣчали дѣвицы.

Помада снялъ фуражку, обтеръ ея дномъ раскраснѣвшееся лицо и совсѣмъ растерялся.

— Кто вы? спросила Лиза.

— Я?.. Тутъ ждутъ... идутъ вотъ сейчасъ... идите...

— Кто? гдѣ ждетъ?

— Ваши.

Дѣвушки пошли, за ними пошелъ молча Помада, а сзади ихъ, изъ-за перваго поворота спуска, заскрипѣлъ заторможеннымъ колесомъ тарантасъ.

— Евгенія! дочь! Женичка! — раздалось впереди, и изъ окружающей ночной темноты выдѣлилась длинная фигура.

Гловацкая отгадала отцовскій голосъ, вскрикнула, бросилась къ этой фигурѣ и, охвативъ своими античными руками худую шею отца, плакала на его груди тѣми слезами, которымъ, по сказанію нашего народа, ангелы Божіи радуются на небесахъ. И ни Помада, ни Лиза, безотчетно остановившіеся въ молчаніи при этой сценѣ, не замѣтили, какъ къ нимъ колтыхалъ ускореннымъ, но не скорымъ шагомъ, Бахаревъ. Онъ не могъ ни слова произнесть отъ удушья и, не добѣжавъ пяти шаговъ до дочери, сдѣлалъ надъ собой отчаянное усиліе. Онъ какъ-то прохрипѣлъ: — «Лизокъ мой!» — и прежде чѣмъ дѣвушка успѣла сдѣлать къ нему шагъ, споткнулся и упалъ прямо къ ея ногамъ.

— Папа, милый мой, вы зашиблись?—спрашивала Лиза, наклонясь къ отцу и обнимая его.

— Нѣтъ... ничего... споткнулся... старъ становлюсь, лепеталъ эксъ-гусаръ голосомъ, прерывающимся отъ радостныхъ слезъ и удушья.

— Вставайте же, милый вы мой.

— Постой... это ничего... дай мнѣ еще поцѣловать твои ручки, Лизокъ... Это... ничего... охъ!

Бахаревъ стоялъ на колѣняхъ на пыльной дорогѣ и цѣловалъ дочернины руки, а Лиза, опустившись къ нему, цѣловала его сѣдую голову. Обѣ пары давно-давно не были такъ счастливы и обѣ плакали. Между тѣмъ подошли дамы и пріѣзжія дѣвушки стали переходить изъ объятій въ объятія. Старики, прійдя въ себя послѣ перваго волненія, обняли другъ друга, поцѣловались, опять заплакали, и все общество, осыпая другъ друга разспросами, шумно отправилось подъ гору. Внѣ всякой радости и внѣ всякаго вниманія оставался одинъ Юстинъ Помада, шедшій нѣсколько въ сторонѣ, пошевеливая по временамъ свою пропотѣвшую подъ мясляной фуражкой куафюру.

У самаго моста, гдѣ кончался спускъ, общество нагнало тарантасъ, возлѣ котораго стояла Марина Абрамовна, глядя, какъ Никитушка отцѣплялъ отъ колеса тормазъ, прилаженный еще по допотопному манеру.

— Здорово, ребятки!—крикнулъ Егоръ Николаевичъ, — поровнявшись съ тарантасомъ.

— Здравствуйте, батюшка Егоръ Николаевичъ, — отозвались Никитушка и Марина Абрамовна, устремляясь поцѣловать барскую руку.

— Здравствуй, Марина Мнишекъ, здравствуй, Никита Пустосвятъ, говорилъ Бахаревъ, цѣлуясь съ слугами. — Какъ ѣхали?

— Ничего, батюшка, ѣхали слава Богу.

— Ну, ѣхали, такъ и поѣзжайте. Маршъ! — скомандовалъ онъ.

Тарантасъ поѣхалъ, стуча по мостовинамъ; господа пошли сбоку его по лѣвую сторону, а Юстинъ Помада съ неопредѣленнымъ чувствомъ одиночества, неумолчно вопіющимъ въ человѣкѣ при видѣ людского счастія, безотчетно перешелъ на другую сторону моста и, крутя у себя передъ носомъ сорванный стебелекъ подорожника,

брелъ одиноко, смотря на мѣрную выстуику усталой пристяжной.

«Что жъ, размышлялъ самъ съ собою Помада.—Стоитъ вѣдь вытерпѣть только. Вѣдь не можетъ же быть, чтобъ на мою долю таки-такъ ужъ никакой радости, никакого счастья. Отчего?.. Жизнь, люди, встрѣчи, вѣдь разныя встрѣчи бываютъ!.. Случай какой-нибудь неожиданный... вѣдь бываютъ же всякіе случаи...»

Эти размышленія Помады были неожиданно прерваны молніей, блеснувшей справа изъ-за частокола бахаревскаго сада и раздавшимся тотчасъ же залпомъ изъ пяти ружей. Лошади храпнули, метнулись въ сторону и прежде чѣмъ Помада могъ что-нибудь сообразить, взвившаяся на дыбы пристяжная подобрала его подъ себя и, обломивъ утлыя перила, вмѣстѣ съ нимъ свалилась съ моста въ рѣку.

— Что такое? что такое? Рѣжьте скорѣй постромки! крикнулъ Бахаревъ, подскочивъ къ испуганнымъ лошадямъ и держа за поводъ дрожащую коренную, между тѣмъ какъ упавшая пристяжная барахталась, стоя по брюхо въ водѣ, съ оторваннымъ поводомъ и одною только постромкою. Набѣжали люди, благополучно свели съ моста тарантасъ и вывели, не входя вовсе въ воду, упавшую пристяжную.

— Водить ее, водить теперь, гонять; она напилась воды горячая!—кричалъ старый кавалеристъ.

— Слушаемъ, батюшка, погоняемъ.

— Слушаемъ! что надѣлали? Черти?

— Мы, Егоръ Николаевичъ, выслушамши ваше приказаніе...

— Что приказаніе?—кричалъ разсерженный и сконфуженный старикъ.

— Такъ какъ было ваше на то приказаніе.

— Какое мое приказаніе? Такого приказанія не было.

— Выпалить приказывали-съ.

— Выпалить,—ну, что же! Гдѣ я приказывалъ выпа-

лить? Я приказалъ салютъ сдѣлать, какъ съ моста съѣдутъ, а вы...

— Не спопашились, Егоръ Николаевичъ.

Тѣмъ и кончилось дѣло на чистомъ воздухѣ. Въ большой свѣтлой залѣ сконфуженнаго Егора Николаевича встрѣтилъ улыбающійся Гловацкій.

— Ну, что, обморокъ небось? спросилъ его вполголоса Бахаревъ.

— Ничего, ничего, отвѣчалъ Гловацкій,—все ужъ прошло; дѣти умываться пошли. Все прошло.

— Ну-у, Бахаревъ перекрестился и проговоривъ: — слава въ вышнихъ Богу, что на землѣ миръ, — бросилъ на столъ свою фуражку.

— Угораздило же тебя выдумать такую штуку; хорошо, что тѣмъ все и кончилось, смѣясь замѣтилъ Гловацкій.

— И не говори лучше! Чортъ ихъ зналъ, что они и этого не сумѣютъ.

— Да, этого нужно было ожидать.

— Ну, полно,—знаешь: и на Машку бываетъ промашка. Пойдемъ-ка къ дѣтямъ. А дѣти-то!

— Что дѣти?

— Большія совсѣмъ.

— Дождались, Петръ Пустынникъ.

— Дождались, драбантъ, дождался.

Старики пошли коридоромъ на женскую половину и просидѣли тамъ до полночи. Въ двѣнадцать часовъ поужинали, повторивъ полный обѣдъ, и разошлись спать по своимъ комнатамъ. Во всемъ домѣ разомъ погасли всѣ огни и всѣ заснули мертвымъ сномъ, кромѣ одной Ольги Сергѣевны, которая долго молилась въ своей спальнѣ, потомъ внимательно осмотрѣла въ ней всѣ закоулочки и, отзыбнувъ дверь въ комнату пріѣхавшихъ дѣвицъ, тихонько проговорила:

— Лизочка, нѣтъ ли у тебя моей Матузалевны?

Но Лизочка уже спала, какъ убитая и, къ крайнему затрудненію матери, ничего ей не отвѣтила.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Университетскій антикъ прошлаго десятилѣтія.

Какъ только кандидатъ Юстинъ Помада пришелъ въ состояніе, въ которомъ былъ способенъ сознать, что въ самомъ дѣлѣ въ жизни бываютъ неожиданные и довольно странные случаи, онъ отодвинулся отъ мокрой сваи и хотѣлъ идти къ берегу, но жестокая боль въ плечѣ и въ боку тотчасъ же остановила его. Онъ снова охватилъ ослизшую, мокрую сваю и, прислонясь къ ней лбомъ, остановился въ почти безчувственномъ состояніи. Платье его было все мокро; онъ стоялъ въ холодной водѣ по самый животъ, и ноги его крѣпко увязли въ плистой грязи, покрывающей дно Рыбницы. На небѣ начинало сѣрѣть и по водѣ заклубился легонькій парокъ. Помада дрожалъ всѣмъ тѣломъ и не могъ удержать прыгающихъ челюстей; а въ головѣ у него и стучало и звенѣло, и все сознавалось какъ-то смутно и неясно. Бѣднякъ то забывался, то снова вспоминалъ, что онъ въ рѣкѣ, изъ которой ему надо выйти и идти домой. Но тутъ, при первой же попыткѣ вывязить затянутыя иломъ ноги, несносная боль снова останавливала его и онъ снова забывался. Наконецъ, кандидатъ собралъ свои послѣднія силы и, не покидая сваи, началъ потихоньку высвобождать свои ноги. Мало-по-малу онъ вытянулъ изъ ила одну ногу, потомъ другую, и наконецъ, стиснувъ отъ боли зубы, сдѣлалъ одинъ шагъ, потомъ ступилъ еще десять шаговъ и выбрелъ на берегъ. Ступивъ на землю, Помада остановился, потрогалъ себя за лѣвое плечо, за ребра и опять двинулся; но, дойдя до моста, снова остановился. Оглянувъ свой костюмъ и улыбнувшись, Помада проговорилъ:

— Какъ есть чортъ изъ болота, и, вздохнувъ, поплелся по направленію къ дому камергерши Меревой.

На господскомъ дворѣ еще все спало. Только старая лягавая собака, стоявшая у коновязи, передъ которою чистили лошадей, увидя входящаго кандидата, зѣвнула, сгорбилась,

потомъ вытянулась и опять стала укладываться, выбирая посуше мѣстечко на росной травѣ. Дворъ, принадлежащій къ дому камергерши, былъ не изъ модныхъ, не изъ новыхъ помѣщичьихъ дворовъ. Онъ былъ очень великъ, но со всѣхъ сторонъ обнесенъ различными хозяйственными строеніями. Большой одноэтажный домъ, немножко похожій снаружи на уѣздную городскую больницу, занималъ почти цѣлую сторону этого двора. Окна парадныхъ комнатъ дома выходили на гору, на которой былъ разбитъ новый англійскій садъ, и подъ ней катилась свѣтлая Рыбница, а всѣ жилыя и вообще непарадныя комнаты смотрѣли на дворъ. Тутъ же со двора были построены въ рядъ четыре подъѣзда: парадный, съ котораго былъ ходъ на мужскую половину, женскій чистый, женскій черный и, наконецъ, такъ-называемый ковровый подъѣздъ, которымъ ходили въ комнаты, занимаемыя постоянно швеями, кружевницами и коверщицами, экстренно — гостями женскаго пола и приживалками. По лѣвой сторонѣ двора, прямо противъ воротъ, тянулся рядъ службъ; тутъ были конюшни, денники, сараи, ледникъ, погребъ и нѣсколько амбаровъ. Какъ разъ противъ дома, по ту сторону двора, тянулась длинная рѣшетка, отгораживавшая дворъ отъ стараго сада, а съ четвертой стороны двора стояла кухня, прачешная, людская, контора, ткацкая и столярная. Всѣ эти заведенія помѣщались въ трехъ флигеляхъ, по два въ каждомъ. Всѣ три флигеля были, что называется, ростъ въ ростъ, колосъ въ колосъ и голосъ въ голосъ. Фундаменты сѣрые, стѣны желтыя, оконницы бѣлыя, крыши красныя. Три окна въ рядъ, посрединѣ крыльцо, и опять три окна.

Въ одномъ изъ этихъ флигелей обиталъ Юстинъ Помада. Онъ занималъ два досчатые чуланчика въ флигелѣ, вмѣщавшемъ контору и столярную.

Стоитъ разсказать, какъ Юстинъ Помада попалъ въ эти чуланчики, а при этомъ разсказать кое-что и о прошедшемъ кандидата, съ которымъ мы еще не разъ встрѣтимся въ нашемъ романѣ.

Юстинъ Помада происходилъ отъ польскаго шляхтича Феликса Антонова Помады и его законной жены Констанціи Августовны Помады. Отецъ кандидата, прикосновенный какимъ-то бокомъ къ польскому возстанію 1831 года, былъ сосланъ съ женою и малолѣтнимъ Юстиномъ въ одинъ изъ великороссійскихъ губернскихъ городовъ. Феликсъ Помада былъ человѣкъ очень добрый, но довольно пустой. Долго онъ не находилъ себѣ въ ссылкѣ никакого занятія. Наконецъ-то, наконецъ онъ какъ-то опредѣлился писаремъ въ магистратъ и побиралъ тамъ маленькія, невинныя взяточки, которыя, не столько по любви къ пьянству, сколько по слабости характера, тотчасъ же послѣ присутствія пропивалъ съ своими магистратскими товарищами въ трактирѣ «Адріанополь» купца Лямина. Всю семью содержала мать Юстина. Молодая, еще очень хорошенькая женщина и очень нѣжная мать, Констанція Помада съ горемъ видѣла, что на мужа ни ей, ни сыну надѣяться нечего, сообразила, что слезами здѣсь ничему не поможешь, а жалобами еще того менѣе и стала изобрѣтать себѣ профессію. Она умѣла довольно скоро и бойко играть на фортепіано легкія вещицы, и особенно знала танцовальную музыку: это она и сдѣлала своимъ ремесломъ. Днями она бѣгала по купеческимъ домамъ, давая полтинные уроки толстоногимъ дщерямъ русскаго купечества, а по вечерамъ часто играла за два цѣлковыхъ на балахъ и танцовальныхъ вечеринкахъ у того же купечества и вообще у губернскаго demi-mond'a. Въ городѣ даже славились ея мазурки и у нея постоянно было столько работы, что она однѣми своими руками могла пропитать пьянаго мужа и маленькаго Юстина. По одиннадцатому году, она записала сына въ гимназію и содержала его всѣ семь лѣтъ до окончанія курса, освобождаясь по протекціи предводителя только отъ вноса пяти рублей въ годъ за сынино ученіе. Феликсъ Помада умеръ отъ перепоя, когда сынъ его былъ еще въ третьемъ классѣ; но его смерть не произвела никакого ущерба въ труженическомъ бюджетѣ вдовы, и она, собирая зернышко къ зернышку, успѣла накопить

около ста рублей, назначавшихся на отправку Юстина въ харьковскій университетъ. Въ Харьковѣ у вдовы былъ братъ, служившій чѣмъ-то по винному откупу. Къ нему и былъ отправленъ восемнадцатилѣтній Юстинъ съ гимназическимъ аттестатомъ, письмомъ, облитымъ материнскими слезами, ста рублями и тысячью благословеній. Проводивъ сына, мать Помады взяла квартирку еще потѣснѣе и еще болѣе обрѣзала свои расходы. Все она гоношила, чтобы хоть время отъ времени послать что-нибудь своему милому Юськѣ. Но не велики были и вообще-то ея достатки, а съ отъѣздомъ Юстина они и еще стали убавляться. Молодое купечество и юный demi-monde стали замѣчать, что «портится Помада; выдохлась», что нѣтъ въ ея игрѣ прежней удали, прежняго огня. И точно, словно какіе-то болѣзненные стоны прорывались у нея иной разъ въ самыхъ отчаянныхъ и самыхъ залихватскихъ любовныхъ мазуркахъ танцоровъ, а къ тому же еще въ городъ пріѣхалъ молодой таперъ нѣмецъ; началась конкурренція, отодвинувшая вдову далеко на задній планъ, и она черезъ два года послѣ отъѣзда Юстина тихо скончалась, шепча горячую молитву за сына. Юстину въ Харьковѣ жилось трудно, но занимался онъ съ страшнымъ усердіемъ. Юридическій факультетъ, по которому онъ подвизался, въ то время въ Харьковѣ былъ изъ рукъ вонъ плохъ и Юстинъ Помада долженъ былъ многое брать самъ, копаясь въ источникахъ. Жилъ онъ у дяди въ коморкѣ, иногда обѣдалъ, а иногда нѣтъ, участія не видалъ ни отъ кого и былъ постояннымъ предметомъ насмѣшекъ за свою неуклюжесть и необычайную влюбчивость, обыкновенно весьма неудачную. Уроковъ Помада никакъ не могъ набрать и имѣлъ только два урока въ домѣ богатаго купца Конопатина, который платилъ ему восемь рублей въ мѣсяцъ за работу съ восемью безтолковыми ослятами.

Это составляло всѣ доходы Помады, и онъ былъ весьма этимъ доволенъ. Онъ былъ, впрочемъ, вѣчно всѣмъ доволенъ, и это составляло, въ одно и то же время, и отличи-

тельную черту его характера, и залогъ его счастья въ несчастіи.

Юстинъ Помада только одинъ разъ горевалъ во все время университетскаго курса. Это было, когда онъ получилъ отъ стараго друга своей матери письмо за черной печатью, а тяжелой посылкой образокъ Остробрамской Божіей Матери, Которой его поручала, умирая, покойная страдалица. Но потомъ опять все пошло своимъ порядкомъ по-старому. Юстинъ Помада ходилъ на лекціи, давалъ уроки и былъ снова тѣмъ же дѣтски-наивнымъ и безпечнымъ «Корнишономъ», какимъ его всегда знали товарищи, давшіе ему эту кличку. Въ основѣ его безпечности лежала непоколебимая вѣра въ судьбу, поддерживавшая въ немъ самыя неясныя и самыя смѣлыя надежды.

— Все это вздоръ передъ вѣчностью, — говорилъ онъ товарищамъ, указывавшимъ ему на худой сапогъ или лопнувшій подъ мышкою сюртукъ.

Помада оставался спокойнымъ даже тогда, когда инспекторъ, завидѣвъ его лопнувшій сюртукъ, командовалъ ему:

— Извольте отправиться на двое сутокъ въ карцеръ за этотъ безпорядокъ.

Такъ Юстинъ Помада окончилъ курсъ и получилъ кандидатскій дипломъ.

Надо было куда-нибудь пристраиваться. На первый разъ это очень поразило Помаду. Потомъ онъ и здѣсь успокоился, рѣшилъ, что пока онъ еще поживетъ уроками, «а тѣмъ временемъ что-нибудь да подвернется».

И точно, «тѣмъ временемъ» подвернулась вотъ какая оказія. Встрѣтилъ Помаду на улицѣ тотъ самый инспекторъ, который такъ часто сажалъ его въ карцеръ за прорванный подъ мышками сюртукъ, да и говоритъ:

— Не хотите ли вы мѣста брать? Очень, очень хорошее мѣсто: у очень богатой дамы одного мальчика приготовить въ пажескій корпусъ.

Юстинъ Помада такъ и подпрыгнулъ. Не столько его

обрадовало мѣсто, сколько нечаянность этого предложенія, въ которой онъ видѣлъ давно ожидаемую имъ заботливость судьбы. Мѣсто было точно хорошее: Помадѣ давали триста рублей, помѣщеніе, прислугу и все содержаніе у помѣщицы, вдовы камергера, Меревой. Онъ мигомъ собрался и «пошилъ» себѣ «цивильный» сюртукъ, «брюндели», пальто и отправился, какъ говорятъ въ Харьковѣ, «въ Россію», въ извѣстное намъ село Мерево.

Это было за семь лѣтъ передъ тѣмъ, какъ мы встрѣтились съ Юстиномъ Помадою подъ частоколомъ бахаревскаго сада.

Два года промелькнули для Помады какъ одинъ день счастливый. Другой, въ его положеніи, можетъ-быть, нашелъ бы много непріятнаго, другого задѣвали бы и высокомѣрное, нѣсколько презрительное третированіе камергерши, и совершенное игнорированіе его личности жирнымъ управителемъ изъ дворовыхъ, и холопское нахальство камергерской прислуги, и неумѣстныя шутки барченка, но Помада ничего этого не замѣчалъ. Его плѣняли поля, то цвѣтущія и колеблющіяся переливами зрѣющихъ хлѣбовъ, то блестящія дѣвственною чистотою бѣлаго снѣга, и онъ жилъ да поживалъ, любя эти поля и читая получавшіеся въ камергерскомъ домѣ, по заведенному изстари порядку, журналы, которыхъ, тоже по изстари заведенному порядку, никто въ цѣломъ домѣ никогда не читалъ. А «тѣмъ временемъ» ученикъ Помады пришелъ въ подобающій возрастъ, и толстый управитель сталъ собираться въ Петербургъ для представленія его въ пажескій корпусъ. Старуха камергерша давно никуда не выѣзжала и почти никого не принимала къ себѣ, находя всѣхъ сосѣдей людьми, недостойными ея знакомства. Съ нею жили три компаньонки, внучекъ, котораго приготовлялъ къ корпусу Помада, и внучка, дѣвочка лѣтъ семи. Мать этихъ дѣтей, разставшись съ мужемъ, вѣтрилась гдѣ-то заграницей и о ней здѣсь никто не думалъ.

Съ отъѣздомъ ученика въ Питеръ, Помада было опять

призадумался, что̀ съ собой дѣлать, но добрая камергерша позвала его какъ-то къ себѣ и сказала:

— Monsieur Pomada! Если вы не имѣете никакихъ опредѣленныхъ плановъ насчетъ себя, то не хотите ли вы пока заняться съ Леночкой? Она еще мала, серьезно учить ее рано еще, но вы можете ее такъ, шутя... ну, понимаете... поучивать, читать ей чистописаніе... Я, право, дурно говорю по-русски, но вы меня понимаете?

Помада отозвался, что совершенно понимаетъ, и остался читать дѣвочкѣ чистописаніе.

«А тѣмъ временемъ, думалъ онъ, что-нибудь и опять трафится».

Такъ опять уплылъ годъ и другой, и Юстинъ Помада все читалъ чистописаніе. Въ это время камергерша только два раза имѣла съ нимъ разговоръ, касавшійся его личности. Въ первый разъ, черезъ годъ послѣ отправленія внучка, она объявила Помадѣ, что она приказала управителю расчесть его за прошлый годъ по сту пятидесяти рублей, прибавивъ при этомъ:

— Вы сами, monsieur Помада, знаете, что за Леночку нельзя платить столько, сколько я платила за Теодора.

А во второй разъ, опять черезъ годъ, она сказала ему, что намѣрена освѣжить стѣны въ домѣ новыми бумажками и потому проситъ его перейти на нѣкоторое время въ конторскій флигель. Юстина Помаду перевели въ два досчатые чулана, устроенные при столярной въ конторскомъ флигелѣ, и такъ онъ тутъ и остался на застольной, не смотря на то, что стѣны его бывшихъ комнатъ въ домѣ уже второй разъ подговаривались, чтобы ихъ послѣ трехъ лѣтъ снова освѣжили бумажками. А «тѣмъ временемъ» въ село перевели новаго священника съ молодой дочкой. Бахаревъ лѣтомъ сталъ жить въ деревнѣ, Помада познакомился съ нимъ на охотѣ и сдѣлался ежедневнымъ посѣтителемъ бахаревскаго дома. И семья священника, и семья Бахарева не питали къ Помадѣ особеннаго расположенія, но привыкли

къ нему какъ-то и считали его своимъ человѣкомъ. Помада былъ этимъ очень доволенъ и, по нѣжности своей натуры, на́-смерть привязался ко всѣмъ членамъ этихъ семействъ совершенно безразличною привязанностью. Онъ любилъ и самого прямодушнаго Бахарева, и его пискливую половину, и слабонервную Зину, и пустую Софи, и матушку попадью, и веселаго отца Александра, посвящавшаго все свое свободное время изобрѣтенію perpetuum mobile. Особымъ расположеніемъ Помады пользовался только одинъ уѣздный врачъ, Дмитрій Петровичъ Розановъ, лекарь cum euximia laude. Онъ былъ лѣтъ на пять старѣе кандидата, составилъ себѣ въ уѣздѣ весьма мудреную репутацію и имѣлъ неотразимый авторитетъ надъ Юстиномъ Помадой. Помада часто съ нимъ споривалъ и возмущался противъ его «грубыхъ положеній», но очень хорошо зналъ, что послѣ его матери Розановъ единственное лицо въ мірѣ, которое его любитъ, и самъ любилъ его безъ мѣры. Управитель ненавидѣлъ Помаду Богъ вѣсть за что, и дворня его тоже не любила. Даже столярный ученикъ, пятнадцатилѣтній мальчикъ Епифанька, отряженный для услугъ Помадѣ, ненавидѣлъ его отъ всего сердца и повиновался только изъ страха, что неравно наѣдетъ лѣкарь и оттаскаетъ его, Епифаньку, за виски. Кого бы вы не спросили о Помадѣ, какой онъ человѣкъ,—старъ и малъ отвѣтитъ только: «такъ, изъ поляковъ», и словно въ этомъ «изъ поляковъ» высказывалось категорическое обвиненіе Помады въ такомъ проступкѣ, послѣ котораго о немъ ужъ и говорить не стоило. А въ существѣ-то Помаду никакъ нельзя было и назвать полякомъ. Выросши въ Россіи и воспитавшись въ русскихъ училищахъ, онъ былъ совершенно русскій и даже самъ не считалъ себя полякомъ. Отецъ на него не имѣлъ никакого вліянія, и если что въ немъ отражалось отъ его дѣтской семейной жизни, то это развѣ вліяніе матери, которая жила вѣчными упованіями на справедливость рока.

И, слѣдуя строго
Печальной отчизны примѣру,

Въ надежду на Бога
Хранила все дѣтскую вѣру.

Но какъ бы тамъ ни было, а только Помаду въ меревскомъ дворѣ такъ ни за что, ни про что, а никто не любилъ. До такой степени не любили его, что когда онъ, протащившись мокрый по двору, простоналъ у двери: «отворите, Бога ради, скорѣе», столяръ Алексѣй, слышавшій этотъ стонъ съ перваго раза, заставилъ его простонать еще десять разъ, прежде чѣмъ протянулъ съ примостка руку и отсунулъ клямку.

— Епифаньку, сдѣлай милость, пошли, Алексѣй, — простоналъ снова Помада, перенося за порогъ ногу.

— Спитъ Епифанька. Гдѣ теперь вставать ребенку,— отвѣчалъ столяръ, посылающій этого же Епифаньку ночью за шесть верстъ къ своей разлапушкѣ.

— Побуди, Бога ради,—я расшибся на-смерть.

— Гдѣ такъ?

— О, Господи! Да полно тебѣ разспрашивать,—побуди, говорю.

Столяръ сталъ чесаться, а Помада вошелъ въ свои аппартаменты.

Въ первой комнатѣ, имѣвшей три шага въ квадратѣ, у него стоялъ ушатъ съ водой, плетеный стулъ съ продавленной плетенкой и мочальная швабра. Тутъ же выходило устье варистой печи, задернутое полоской диконькаго, пестраго ситца, навѣшаннаго на шнурочкѣ. Во второй комнатѣ стояла желтая, деревянная кроватка покрытая кашемировымъ одѣяломъ, съ одною подушкою въ довольно грязной наволочкѣ, черный столикъ съ большою круглою чернильницею синяго стекла, полки съ книгами, три стула и старая, довольно хорошая оттоманка, на которой обыкновенно, заѣзжая къ Помадѣ, спалъ лѣкарь Розановъ.

Кандидатъ, какъ вошелъ, такъ и упалъ на кровать и громко вскрикнулъ отъ ужасной боли въ плечѣ и колѣнѣ.

Долго лежалъ онъ, весь мокрый, охая и стоная, прежде

чѣмъ на порогѣ показался Епифанька и недовольнымъ тономъ пробурчалъ:

— Что̀ вамъ нужно?

— Гдѣ ты бываешь, паршивый? — сквозь зубы проговорилъ Помада.

— Гдѣ? Напрасно не сидѣлъ для васъ всю ночь.

— Стащи съ меня сапоги.

Мальчикъ глянулъ на сапоги и сказалъ:

— Гдѣ это такъ вобрались?

— Я расшибся; потише, Бога ради.

Вволю накричался Помада, пока его раздѣлъ Епифанька, и упалъ безъ памяти на жесткій тюфякъ.

Въ обѣдъ пришла костоправка, старушка-однодворка. Стали будить Помаду, но онъ ничего не слыхалъ. У него былъ глубокій обморокъ, вслѣдъ за которымъ почти непосредственно начался жестокій бредъ и страшный пароксизмъ лихорадки.

Такое состояніе у больного не прекращалось цѣлыя сутки; костоправка растерялась и не знала, что̀ дѣлать. На другое утро доложили камергершѣ, что учитель ночью гдѣ-то расшибся и лежитъ теперь безъ ума, безъ разума. Та испугалась и послала въ городъ за Розановымъ, а между тѣмъ старуха, не предвидя никакой возможности разобрать, что̀ дѣлается въ плечевомъ сочлененіи подъ высоко-поднявшеюся опухолью, все «вспаривала» больному плечо разными травками да муравками. Не нашли Розанова въ городѣ, — былъ гдѣ-то на слѣдствіи, а Помада все оставался въ прежнемъ состояніи, переходя изъ лихорадки въ обморокъ, а изъ обморока въ лихорадку. И страшно стоналъ онъ, и хотѣлось ему метаться, но при первомъ движеніи нестерпимая боль останавливала его, и онъ снова впадалъ въ безпамятство.

На третьи сутки, въ то самое время, какъ Егоръ Николаевичъ Бахаревъ, возсѣдая за прощальнымъ завтракомъ, по случаю отъѣзда Женни Гловацкой и ея отца въ уѣздный городокъ, вспомнилъ о Помадѣ, Помада въ первый разъ

пришелъ въ себя, открылъ глаза, повелъ ими по комнатѣ и, посмотрѣвъ на костоправку, заснулъ снова. До вечера онъ спалъ спокойно, и вечеромъ, снова проснувшись, попросилъ чаю.

Ему подали чай, но онъ не могъ поднять руки и старуха поила его съ блюдца.

— Что, Николавна? — проговорилъ онъ, обращаясь къ давно ему знакомой костоправкѣ.

— Что, батюшка?

— Худо мнѣ, Николавна.

— Ничего, батюшка, пройдетъ,—и не то, да проходитъ.

— А что у меня такое?

— Ничего, родной.

— Сломано что, или свихнуто?

— Опухъ очень большой, кормилецъ, ничего знать подъ нимъ, подъ опухомъ-то, нельзя.

— Гдѣ опухоль?—тихо спросилъ Помада.

— Да вотъ плечико-то, видишь, какъ разнесло.

— А!

— Да, вздумшись все.

Больной снова завелъ глаза, но ему ужъ не спалось.

— Николавна! — позвалъ онъ.

— Что, батюшка?

— Ты за мной хорошо глядѣла?

— Какъ же не глядѣть!

— То-то. Я тебя за это награждать желаю.

— Спасибо, кормилецъ. Я здли всякаго, здли всякаго завсегда готова, что только могу...

— Я тебѣ штаны подарю,—тихо перебилъ ее съ легкой улыбкой Помада.

— Штаны-ы?—спросила старуха.

— Да. Суконныя,—важныя штаны, со штрипками.

— На что мнѣ твои штаны.

— Зимой будешь ходить. Я тебя научу, что тамъ передѣлать придется. Теплынь будетъ!

— Охъ ты!

— Чего?

— Полно. Нѣшъ я изъ корысти какой! А то взаправду хоть и подари: я себѣ безрукавочку такую, курточку сошью; подари. Только я, вѣдь, не изъ за этого. Я что умѣю, тѣмъ завсегда готова.

— Да жаль, что ничего не умѣешь-то.

— Ну,—что умѣю, родной.

— Да что-жъ умѣешь? Вонъ видишь, говоришь: «опухъ великъ», ничего не разберешь, значитъ.

— Точно, опухъ ужъ очень вздулся, великъ.

— Ахъ!

Помада вздохнулъ и хотѣлъ повернуться лицомъ къ стѣнѣ, но боль его удержала и онъ снова остался въ прежнемъ положеніи.

Наступила и ночь темная. Старуха зажгла свѣчечку и усѣлась у столика. Помада вспомнилъ мать, ея ласки теплыя, веселую жизнь университетскую, и скучно, скучно ему становилось.

— Что же это, однако, будетъ со мной?—думалъ онъ и спросилъ:

— А что со мною будетъ, Николавна?

— Ничего, милый, — дохтарь завтра, баютъ, пріѣдетъ. Онъ сичасъ узнаетъ.

— Онъ, значитъ больше твоего знаетъ?

— Ну,—ученые люди, или мы?

А ты-то что со мной дѣлала?

— Вспаривала,—что-жъ еще дѣлать? Опухъ великъ, ничего нельзя дѣлать.

— Сѣномъ парила?

— Нѣтъ, травками.

— То-то, изъ сѣна?

— Все-то ты пересмѣшничаешь надо мной.

— Да развѣ не все равно травы, что у тебя, что на сѣнникѣ?

Старуха сощипнула со свѣчи, потомъ потянула губы, потомъ вздохнула и проговорила:

— Нѣтъ, милый, есть травы тоже рѣдкія.

— Да ты-то ихъ, Николавна, не знаешь?

— Ну какъ не знать!

— Ну разскажи, какія ты знаешь травы рѣдкія-то, что въ сѣнѣ ихъ нѣтъ?

— Что въ сѣнѣ-то нѣтъ! Мало ли ихъ!

— Ну!

— Да мало ли ихъ!

— Да ну же, разскажи, Николавна,—спать не хочется.

— Ну вотъ тебѣ хошь-бы первая теперь трава есть, называется коптырь-трава, ростетъ она корешкомъ вверхъ.

Помада засмѣялся и охнулъ.

— Чего ты?

— Ну, какая трава корешкомъ вверхъ можетъ расти?

— А вотъ же растетъ и твѣты у нея подъ землей твѣтутъ.

Помада опять охнулъ и махнулъ рукой, удерживая смѣхъ, причинявшій ему боль.

— Что? не вѣришь? А полисада-трава вонъ и совсѣмъ безъ корня.

— Полно, Николавна,—не смѣши.

— Я и не на смѣхъ это говорю. Есть всякія травы. Напримѣръ, теперь, кто хорошо знается, опять находятъ лепестанъ-траву. Такая мокрая трава называется. Что ты ее больше сушишь, то она больше мокнетъ.

— Охъ, будетъ, Николавна,—вздоръ какой ты разсказываешь.

— Нѣтъ, другъ ты мой, не вздоръ это, не вздоръ. Есть всякія травы на свѣтѣ. Есть и въ травахъ-то своя разница. Иная трава больше стоитъ у Господа, а другая—меньше. Иная одно опредѣленіе отъ Бога имѣетъ, а иная и два, и три, и нѣсколько. Есть вотъ трава, такъ называется Адамова голова. Растетъ она возлѣ сильныхъ, рамедныхъ болотъ кустиками, по пяти и по девяти листовъ. Растетъ она въ четыре вершка, вотъ эстакенькая вотъ будетъ. — Старуха показала вершка четыре отъ столика.—

Твѣтъ у этой у травы алый, алый, въ родѣ даже какъ синій. И когда она расцвѣтетъ, страсть тутъ какъ хороша бываетъ. И этую траву рвутъ со крестомъ, говоря Отчу и помилуй мя, Боже,—или же какихъ другихъ тридцать молитвъ святыхъ. Этой-то вотъ травой что можно сдѣлать на свѣтѣ! Все ею можно сдѣлать. Этой травой пользуютъ испорченнаго человѣка, или у кого нѣтъ плоду дѣтямъ, то дать той женщинѣ пить,—сейчасъ отъ этого будетъ плодъ. Если-жъ опять кто хочетъ видѣть дьявола, то пусть возьметъ онъ корень этой травы и положитъ его на сорокъ дней за престолъ, а потомъ возьметъ, ушьетъ въ ладанку, да при себѣ и носитъ,—только чтобъ во всякой чистотѣ,—то и увидитъ онъ дьяволовъ воздушныхъ и водяныхъ... Или опять на случай пріостановленія мельницы, то вода остановится, гдѣ только пожелаешь. Это трава богатая, любимая у Бога травка, и называется эта травка во всѣхъ травахъ царь... Спишь, родной?

Старуха нагнулась къ больному, который сладко уснулъ подъ ея говоръ, перекрестила его три раза древнимъ большимъ крестомъ и, свернувшись ежичкомъ на отоманкѣ, уснула тѣмъ спокойнымъ сномъ, какимъ врядъ ли намъ съ вами, читатель, придется засыпать въ ея лѣта.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Лѣтнее утро.

Стояло сѣрое лѣтнее утро. Тучъ на небѣ не было, но и солнце не выглядывало, воздухъ едва колебался тихими, несмѣлыми порывами чрезмѣрно теплаго вѣтерка. Такія лѣтнія утра въ серединной Россіи необыкновенно благопріятно дѣйствуютъ на всякое живое существо, до изнеможенія согрѣтое знойными днями. Такимъ утрамъ обыкновенно предшествуютъ теплыя, безлунныя ночи, хорошо знакомыя охотникамъ на перепеловъ. Чудныя дѣла дѣлаются съ этой птицей въ такія чудныя ночи! Всегда падкій на сладострастную приманку, перепелъ тутъ какъ будто совсѣмъ одурѣ-

ваетъ отъ неукротимыхъ влеченій своего крошечнаго организма. Заслышавъ манящій кликъ залегшаго въ хлѣбахъ вабильщика, онъ мигомъ срывается съ мѣста и мчится на роковое свиданіе, толкаясь сѣрою головкою о розовые корешки растущихъ хлѣбовъ. Только разставишь сѣтку, только уляжешься и начнешь вабить, подражая голосу перепелки, а ужъ гдѣ-то, загончика за два, за три откликается пернатый Донъ-Жуанъ. Въ другое время, въ свѣтлую лунную ночь его все-таки нужно поманывать умненечко, осторожно, соображая предательскій звукъ съ разстояніемъ жертвы; а въ теплыя безлунныя ночи, предшествующія сѣрымъ днямъ, птица совершенно ошалѣетъ отъ сладострастья. Тутъ ненужно съ нею никакой осторожности. Не успѣешь сообразить, какъ далеко находится птица, отозвавшаяся на первую поманку, и поманишь ее потише, думая, что она все-таки еще далеко, а она уже отзывается близехонько. Кликнешь потихоньку въ другой разъ—больше уже и вабить не надо. Сладострастно-нетерпѣливое оханье слышится въ двухъ шагахъ и между розовыхъ корней хлѣба лѣзетъ перепелъ. Тутъ онъ уже не мчится сумасшедшимъ бедуиномъ, а какъ-то плетется, тяжело дыша и безпрестанно оглядываясь во всѣ стороны. Еще разъ поманутъ его уже никакъ невозможно, потому что самый тихій звукъ вабилки заведетъ птицу дальше чѣмъ нужно. Тутъ только лежишь и, удерживая смѣхъ, смотришь подъ сѣтку, а перепелъ все лѣзетъ, лѣзетъ, шумя стебельками хлѣба и вдругъ предстаетъ глазамъ охотника въ самомъ смѣшномъ видѣ. Кто имѣлъ счастье живать лѣтомъ на Крестовскомъ или преимущественно въ деревнѣ Коломягѣ и кто бродилъ раннимъ утромъ по тощимъ полямъ, начинающимся за этою деревнею, тотъ легко можетъ представить себѣ нашихъ перепеловъ. Для этого стоитъ припомнить чиннаго петербургскаго нѣмца, преслѣдующаго рано, на зорькѣ, крестьянскихъ дѣвушекъ. Нѣмецъ то бѣжитъ полемъ, то присядетъ въ рожь, такъ, что его совсѣмъ тамъ не видно, то надъ колосьями снова мелькнетъ его черная шляпа; и вдругъ, заслышавъ веселый

хохотъ совсѣмъ въ другой сторонѣ, онъ встанетъ, вздохнетъ и, никого не видя глазами, водитъ во всѣ стороны своимъ тевтонскимъ клювомъ. Панталонишки у него всѣ подтрепаны отъ утренней росы, оживившей тощія, холодныя поля; фалды сюртучка тоже мокры, руки красны, колѣна трясутся отъ безпрестанныхъ пригинаній и прискакиваній, а свернутый трубкой ротъ совершенно сухъ отъ тревогъ и томленья. Таковъ бываетъ и перепелъ, когда, прекращая стремительный бедуинскій бѣгъ между розовыми корешками высокихъ тоненькихъ стеблей, онъ таетъ отъ нетерпѣливаго желанія угасить пламень пожирающей его страсти. Толчется пернатый сластолюбецъ во всѣ стороны и глаза его не докладываютъ ему ни о какой опасности. Онъ весь мокръ, сѣренькія перышки на его маленькихъ голеняхъ слиплись и свернулись; мокрый хвостикъ вытянулся въ двѣ фрачныя фалдочки; крылышки то трепещутся, оживляясь страстью, то отпадаютъ и тащатся окончательно затрепиваясь мокрою полевою пылью; головенка вся взъерошена, а крошечное сердчишко тревожно бьется, и сильно спирается въ маленькомъ зобикѣ скорое дыханіе. Метнется отуманенная страстью пташка туда, метнется сюда и вдругъ на вашей щекѣ чувствуется прикосновеніе ея холодныхъ лапокъ и мокраго, затрепаннаго фрачка, а надъ ухомъ раздается сладострастный вздохъ. Надо имѣть много равнодушія, чтобы не разсмѣяться въ такую минуту. Самый серьезный русскій мужичекъ, вабящій перепеловъ въ то время, когда ему нужно бы дать покой своимъ усталымъ членамъ, всегда добродушно относится къ обтрепанному франту. «Ахъ ты, поганецъ, этакой!» скажетъ онъ съ ласковой улыбкой и тихонько опуститъ пернатаго фертика въ рѣшето, надшитое холщевымъ мѣшечкомъ.

Такая чудотворящая ночь предшествовала тому покойному утру, въ которое Петръ Лукичъ Гловацкій выѣхалъ съ дочерью изъ Мерева въ свой уѣздный городъ. Отъ всякой другой поры подобныя утра отличаются, между прочимъ, совершенно особеннымъ вліяніемъ на человѣческую

натуру. Человѣкъ въ такую пору бываетъ какъ-то спокоенъ, тихъ и безкорыстенъ. Даже ярмарочные купцы, проѣзжая на возахъ своего гнилого товара, не складаютъ тогда въ головахъ барышей и прибытковъ и не клюютъ носомъ, предаваясь соблазнительнымъ мечтамъ о ловкомъ банкротствѣ, а ѣдутъ молча, смотря то на поле, волнующееся подъ легкимъ набѣгомъ теплаго вѣтерка, то на задумчиво стоящія деревья, то на тонкій парокъ, поднимающійся съ соннаго озерца или рѣчки.

Рѣдко самая заскорузлая торговая душа захочетъ нарушить этотъ покой отдыхающей природы и перемолвиться словомъ съ товарищемъ или приказчикомъ. Да и то заговоритъ эта душа не о себѣ, не о своихъ хлопотахъ, а о той же спокойной природѣ.

— Ишь птица-то полетѣла, скажетъ ярмарочникъ, слѣдя за поднявшейся изъ хлѣбовъ птахою.

— Да, отвѣтитъ товарищъ или приказчикъ.

И опять ѣдутъ тихо.

— Должно у нея тутъ гдѣ-нибудь дѣти есть,—опять замѣтилъ приказчикъ.

— А можетъ и перелетная.

— Да, можетъ что и перелетная, — предположитъ приказчикъ.

И опять разговоръ оборвется и опять ѣдутъ тихо.

Женни съ отцомъ ѣхала совсѣмъ молча. Старикъ только иногда взглядывалъ на дочь, улыбался совершенно счастливой улыбкой и снова впадалъ въ чисто созерцательное настроеніе. Женни была очень серьезна, и спокойная задумчивость придавала новую прелесть ея свѣжему личику.

На половинѣ короткой дороги отъ Мерева къ городу ихъ встрѣтилъ меревскій Нарцисъ.

Конторщикъ скоро шелъ по опушкѣ мелкаго кустарника и завидѣвъ Петра Лукича, быстро направился къ дорогѣ.

— Здравствуйте, батюшка Петръ Лукичъ!—кричалъ онъ, снимая широкодонный картузъ съ четыреугольнымъ козырькомъ.

— Здравствуйте, Наркисъ Григорьевичъ,—отвѣчалъ Гловацкій.

Лошадь остановилась.

— Охотился?

— Да, половилъ перепелочковъ немножко, Петръ Лукичъ.

— Ты самъ-то, братъ, точно перепелъ,—улыбаясь замѣтилъ смотритель.

— Да вѣдь, батюшка, отрепишься съ ними, съ безпутниками. Это ужъ такая дичь низкая.

Нарцисъ, точно, былъ похожъ на перепела. Пыль и полевой соръ насѣли на его росные сапоги и заправленныя въ голенищи панталоны; синій сюртучекъ его тоже былъ мокръ и мѣстами сильно запачканъ.

За плечами у конторщика моталась перепелиная сѣтка и рѣшето съ перепелами.

— Что-жъ, какъ полевалъ?

— Много-таки, батюшка, наловилъ. Нынче они глупы въ такую-то ночь бываютъ,—сами лѣзутъ.

— На что ихъ ловятъ?—спросила Женни.

— А вотъ, матушка, на жаркое, пашкеты тоже готовятъ и въ торговлю идутъ они.

— Вы ими торгуете?

— Я?—Нѣтъ, я такъ только, для охоты ловлю ихъ. Иной съ пѣвомъ удается, ну того содержу, а то такъ.

— Выпускаете?

— Нѣтъ, на что выпускать? — Да вотъ позвольте вамъ, сударыня, презентовать на новоселье.

— На что же они мнѣ?

— На что угодно, матушка.

— Ну, бери, Женни, на новоселье.

Нарцисъ поставилъ на колѣни дѣвушки рѣшето съ перепелами и, простившись, пошелъ своей дорогой, а дрожки покатились къ городу, который точно выросъ передъ Гловацкими, какъ только они обогнули маленькій лѣсной островочекъ.

— Узнаешь, Женичка? Вонъ соборная глава, а это Иванъ Крестителя куполъ: узнаешь?

— Какое все маленькое это стало,—задумчиво проговорила Женни.

— Маленькое! Это тебѣ такъ кажется послѣ Москвы. Все такое же, какъ и было. Ты смотри, смотри, вонъ судьи домъ, вонъ бойницы за городомъ, гдѣ скотъ бьютъ, вонъ каланча. Каланча-то, видишь желтую каланчу? Это надъ городническимъ домомъ.

Женни все смотрѣла впередъ и ручкою безотчетно выпускала одного перепела за другимъ.

— Э, да ты ихъ почти всѣхъ повыпустила,—замѣтилъ Гловацкій.

— Да. Смотрите-ка, смотрите.

Женни вынула еще одну птичку, и еще одну, и еще одну. На лицѣ ея выражалось совершенное, дѣтское счастье, когда она слѣдила за отлетавшими съ ея руки перепелами.

— Ты ихъ всѣхъ выпустишь?

— Всѣхъ выпущу,—весело отвѣтила она, раскрывая разомъ пришитый къ рѣшету бездонный мѣшокъ.

Перепела засуетились, увидя надъ собою вольное небо, вмѣсто грязной холщевой покрышки, жались другъ къ другу, присѣдали на ножкахъ, и одинъ за другимъ быстро поднимались на воздухъ.

— Вотъ теперь славно,—проговорила она, ставя въ ноги пустое рѣшето.—Хорошо, что я взяла ихъ.

— Дитя ты, Женичка.

— Отчего же, папа, дитя; пусть ихъ летаютъ на волѣ.

— Ихъ завтра опять поймаютъ.

— Нѣтъ, ужъ они теперь не попадутся.

Гловацкій засмѣялся. Въ его сѣдой головѣ мелькнула мысль о страстяхъ, о ловушкахъ, и веселая улыбка замѣнилась выраженіемъ трепетной отцовской заботы.

— Боже, Господи милосердый, спаси и сохрани ее!—прошепталъ онъ, когда дрожки остановились у воротъ уѣзднаго училища.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Колыбельный уголокъ.

Петръ Лукичъ Гловацкій съ самаго дня своей женитьбы отдавалъ Женинъ приданый домъ внаймы, а самъ постоянно обиталъ въ небольшомъ каменномъ флигелькѣ подвѣдомственнаго ему уѣзднаго училища. Въ этотъ самый каменный флигель, двадцать три года тому назадъ, онъ привезъ изъ церкви молодую жену, здѣсь родилась Женни, отсюда же Женни увезли въ институтъ и отсюда же унесли на кладбище ея мать, о которой такъ тепло вспоминала игуменья. Училищный флигель состоялъ всего изъ пяти очень хорошихъ комнатъ, выходившихъ частью на чистенькій, всегда усыпанный желтымъ пескомъ дворъ уѣзднаго училища, а частью въ старый густой садъ, тоже принадлежащій училищу, и наконецъ, изъ трехъ оконъ залы была видна огибавшая городъ рѣчка Саванка. На дворѣ училища было постоянно очень тихо, но все-таки дворъ два раза въ день оглашался веселыми, рѣзкими голосами школьниковъ, а ужъ за то въ саду, начинавшемся за смотрительскимъ флигелемъ, постоянно царила ненарушимая, глубокая тишина. Въ этотъ садъ выходили два окна залы (два другія окна этой комнаты выходили на берегъ рѣчки, за которою кончался городъ и начинался безконечный заливной лугъ), да въ этотъ же садъ смотрѣли окна маленькой гостиной съ стеклянною дверью и угловой комнаты, бывшей нѣкогда спальнею смотрительши, а нынче будуаромъ, кабинетомъ и спальнею ея дочери. Рядомъ съ этой комнатой былъ кабинетъ смотрителя, изъ котораго можно было обозрѣвать весь дворъ и окна классныхъ комнатъ, а далѣе, между кабинетомъ и передней, находился очень просторный покой со множествомъ книгъ, уставленныхъ въ высокихъ шкафахъ, четыреугольнымъ столомъ, застланнымъ зеленымъ сукномъ и двумя сафьянными отоманками. Только и всего помѣщенія было въ смотрительской квартирѣ! Но

за то все въ ней было такъ чисто, такъ уютно, что никому даже въ голову не пришло бы желать себѣ лучшаго жилища. А ужъ о комнатѣ Женни и говорить нечего. Такая была хорошенькая, такая дѣвственная комнатка, что стоило въ ней побыть десять минутъ, чтобы начать чувствовать себя какъ-то и спокойнѣе, и выше, и чище, и нравственнѣе. Старинныя кресла и диванъ свѣтлаго березоваго выплавка, съ подушками изъ шерстяной матеріи бирюзоваго цвѣта, такого же цвѣта занавѣси на окнахъ и дверяхъ; той же березы письменный столикъ съ туалетомъ и кроватка, закрытая бѣлымъ покрываломъ, да нѣсколько растеній на окнахъ и больше ровно ничего не было въ этой комнаткѣ, а между тѣмъ всѣмъ она казалась необыкновенно полнымъ и комфортабельнымъ покоемъ.

— Вотъ твой колыбельный уголочекъ, Женичка, сказалъ Гловацкій, введя дочь въ эту комнату.—Здѣсь стояла твоя колыбелька, а материна кровать вотъ тутъ, гдѣ и теперь стоитъ. Я ничего не трогалъ послѣ покойницы, все думалъ: пріѣдетъ Женя, тогда какъ сама хочетъ,—захочетъ, пусть измѣняетъ по своему вкусу, а не захочетъ, пусть оставитъ все по-материному.

И Евгенія Петровна зажила въ своемъ колыбельномъ уголкѣ, оставивъ здѣсь все по старому. Только надъ березовымъ комодомъ повѣсили шитую картину, подаренную матерью Агніею, и на комодѣ появилось нѣсколько книгъ.

— Возьмешься, Женни, хозяйничать? — спросилъ Петръ Лукичъ дочь на другой день пріѣзда въ городъ.

— Какъ же, папа, непремѣнно.

— То-то, какъ хочешь. У меня хозяйство маленькое и люди честные, но, по-моему, дѣвушкѣ хорошо заняться этимъ дѣломъ.

— Разумѣется, папа, разумѣется.

— Нынче этимъ пренебрегаютъ, а напрасно, право напрасно.

— И нынче, папа, я думаю, не всѣ пренебрегаютъ: это не одинаково.

— Конечно, конечно, не всѣ, только я такъ говорю... Знаешь,—старческая слабость: все какъ ты ни гонись, а все старыя-то симпатіи, какъ старыя ноги, сзади волокутся. Впрочемъ, я не спорщикъ. Вотъ моя молодая команда, такъ тѣ горячо заварены, а, впрочемъ, ладимъ и отлично ладимъ.

— Агнія Николаевна очень строго судитъ молодыхъ.

— Она и старымъ, другъ мой, не даетъ спуску: брюзжитъ немножко, а женщина весьма добрая, весьма добрая.

— На брата жаловалась.

Старикъ добродушно улыбнулся.

—Да, вотъ чудакъ-то! Нашелъ, гдѣ свой обличительный методъ прикладывать.

— И вы, папа, молодыхъ людей тоже, кажется, не долюбливаете?

— Отчего же, мой другъ! Только вотъ они нынче рѣзковаты становятся, точно ужъ рѣзковаты. Можетъ быть, это намъ такъ кажется. Да вѣдь, право, нельзя все такъ круто. Старики неправы, что не умѣютъ стерпѣть, да и молодежь неправа. У старости тоже есть свои права и свои привычки.—Снисходить бы не грѣшно было немножко. Я естественныхъ наукъ не знаю вовсе, а все мнѣ думается, что мозгъ, привыкшій понимать что-нибудь такъ, не можетъ скоро понимать что-нибудь иначе. Такъ что-жъ и сердиться. Надо снисходить. Народъ говоритъ, что и у воробья, и у того есть амбиція, а человѣкъ, какой бы онъ ни былъ, если только мало-мальски самостоятеленъ, все-таки не хочетъ быть поставленъ ниже всѣхъ. Вотъ хоть бы у насъ,—городокъ, вѣдь, небольшой, а таки-торговый, есть люди зажиточные, и газеты, и журналы кое-кто почитываютъ изъ купечества, и умныхъ людей не обѣгаютъ.— Старикъ улыбнулся и сквозь смѣхъ проговорилъ: — А ты знаешь, кто здѣсь зенитъ-то просвѣщенія? Это мы, я, да учители... Ну, вѣдь, и у насъ есть учители очень молодые, вотъ, напримѣръ, Зарницынъ Алексѣй Павловичъ, всего пятый годъ курсъ кончилъ, Вязмитиновъ, тоже пять лѣтъ

какъ изъ университета; люди свѣжіе и неустанно слѣдящіе и за наукой, и за литературой, и притомъ люди добросовѣстно преданные своему дѣлу, а посмотри-ка на нихъ! Ты вотъ ихъ увидишь. Вотъ какъ мало-мальски оправишься, позовемъ ихъ вечеркомъ на чаекъ. Все, вѣдь, говорю, люди, которые смотрятъ на жизнь совсѣмъ не такъ, какъ наше купечество, да даже и дворянство, а посмотри, какого о нихъ мнѣнія всѣ?—Кого ни спроси, въ одно слово скажутъ: «прекрасные люди». Какъ-то у нихъ отношенія-то къ людямъ все человѣческія. Вотъ тоже докторъ у насъ есть, Розановъ, человѣкъ со странностями и даже не безъ рѣзкостей, но и у этого самыя рѣзкости-то какъ-то, затрудняюсь, право, какъ бы тебѣ выразить это... ну, только именно рѣзки, только выказываютъ прямоту и горячность его натуры, а вовсе не стремятся смять, уничтожить, стереть человѣка. Къ его рѣзкости здѣсь всѣ привыкли и нимало ею не тяготятся, даже очень его любятъ. А тѣ, вѣдь, всѣ какъ-то... право ужъ и совсѣмъ не умѣю назвать. Вотъ и Ипполитъ нашъ, и Звягина сынъ, и Ступинъ молодой — второй годъ пріѣзжаютъ такіе мудреные, что гляжу, гляжу на нихъ, да и руки врозь. Какъ-то будто и дико съ ними. Право, я вотъ теперь смотритель, и, слава Богу, двадцать пятый годъ, и пенсійка ужъ недалеко: всякихъ людей видалъ, и всякихъ терпѣлъ, и со всѣми сживался, ни одного учителя во всю службу не представилъ ни къ перемѣщенію, ни къ отставкѣ, а воображаю себѣ, будь у меня въ числѣ наставниковъ твой братъ, непремѣнно долженъ бы искать случая отъ него освободиться. Нельзя иначе. Дѣтей всѣхъ разберутъ, что-жъ изъ этого толку будетъ. Ты вотъ познакомишься съ ними, сама ихъ разберешь. Особенно рекомендую тебѣ Николая Степановича Вязмитинова. Дивный человѣкъ! Честный, серьезный и умница. Принимай хозяйство, а я ихъ и зазову.

Не велико было хозяйство смотрителя, а весь придворный штатъ его состоялъ изъ кухарки Пелагеи, да училищнаго сторожа, отставного унтера Яковлева, исправлявшаго

должность лакея и ходившаго за толстою, обезножившею отъ настоя, смотрительскою лошадью. Женни въ два дня вошла во всю домашнюю администрацію и на ея поясѣ появился крючокъ съ ключами.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Прогрессивные люди уѣзднаго города.

— Господа! вотъ моя дочь, Женичка! рекомендую тебѣ моихъ сотоварищей: Николай Степановичъ Вязмитиновъ и Алексѣй Павловичъ Зарницынъ, проговорилъ смотритель, представляя, разъ вечеромъ, своей дочери двухъ очень благопристойныхъ молодыхъ людей.

Оба они на видъ имѣли не болѣе какъ лѣтъ по тридцати, оба были одѣты просто. Зарницынъ былъ невысокъ ростомъ, съ розовыми щеками и живыми черными глазами. Онъ смотрѣлъ немножко денди. Вязмитиновъ, напротивъ, былъ очень стройный молодой человѣкъ, съ блѣднымъ, нѣсколько задумчивымъ лицомъ и очень скромнымъ симпатичнымъ взглядомъ. Въ немъ не было ни тѣни дендизма. Вся его особа дышала простотой, натуральностью и сдержанностью.

Женни, сидѣвшая за столомъ, на которомъ весело шумѣлъ и посвистывалъ блестящій тульскій самоваръ, встала, привѣтливо поклонилась и покраснѣла. Ее видимо конфузила непривычная роль хозяйки.

— Безъ церемоніи, господа, — прошу васъ поближе къ самовару и къ хозяйкѣ, а то я боюсь, что она со мною, старикомъ, заскучаетъ.

— Какъ вамъ не грѣхъ, папа, такъ говорить, — тихо промолвила Женни и совсѣмъ зардѣлась какъ маковый цвѣточекъ.

— Петръ Лукичъ подговаривается, чтобы ему любезность сказали, что съ нимъ до сихъ поръ люди не скучали, — проговорилъ, любезно улыбаясь, Зарницынъ.

— Да, смѣйтесь, смѣйтесь! Нѣтъ, господа, ужъ какъ

тамъ ни храбрись, а пора сознаваться, что отстаю, отстаю отъ вашихъ-то понятій. Бывало, что ни читаешь, все это находишь такъ въ порядкѣ вещей и самъ понимаешь, и съ другимъ станешь говорить, и другой одинаково понимаетъ, а теперь иной разъ читаешь этакую тамъ статейку, или практическую замѣтку какую и чувствуешь, и сознаешь, что давно бы должна быть такая замѣтка, а какъ-то, Богъ его знаетъ... Просто, иной разъ глазамъ не вѣришь. Чувствуешь, что правда это все, а рука-то своя ни за что бы не написала этого. Даже на подпись-то цензурную не разъ глянешь, думаешь: Господи! ужъ не такъ ли махнули, чего добраго? — А вамъ это все ничего, даже мало кажется. Я вонъ прочелъ въ приказахъ, что Павелъ Ивановичъ Чичиковъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года произведенъ изъ надворныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе совѣтники. Дѣло самое пустое: есть такой Чичиковъ, служитъ, его за выслугу лѣтъ и повышаютъ чиномъ, а мнѣ ужъ чортъ знаетъ что показалось. Подсунули, думаю, такую исторію въ насмѣшку, а за эту насмѣшку и покатятъ на тройкахъ. Послѣ-то раздумалъ, а сначала... Нѣтъ, мы вѣдь другой школы, намъ теперь ужъ на васъ смотрѣть только, да внучатъ качать.

— А знаете, Евгенія Петровна, когда именно и по какому случаю послѣдовало отреченіе Петра Лукича отъ единомыслія съ людьми нашихъ лѣтъ¿ — опять, любезно оскабляясь, спросилъ Зарницынъ.

— Нѣтъ, не знаю. Папа мнѣ ничего не говорилъ объ этомъ.

— Во-первыхъ, не отъ единомыслія, а такъ сказать отъ единоспособности съ вами,—замѣтилъ смотритель.

— Ну, это все равно,—перебилъ Зарницынъ.

— Нѣтъ, батюшка Алексѣй Петровичъ, это не все равно.

— Ну, положимъ, что такъ, только произошло это въ Петрѣ Лукичѣ разомъ, въ одинъ пріемъ.

— Да, разомъ,—потому что разомъ я понялъ, что я человѣкъ неспособный дѣлать то, что самымъ спокойнымъ

образомъ дѣлаютъ другіе. Представь себѣ, Женя: встаю утромъ, беру принесенныя съ почты газеты, и читаю, что какой-то господинъ Якушкинъ имѣлъ въ Псковѣ исторію съ полицейскими, — тамъ заподозрили его, посадили за клинъ, ну, и потомъ выпустили, — ну, велика важность! — Конечно, оно непріятно, да мало ли чиновниковъ за клинъ сажали. Ну, выпустятъ и уходи скорѣй, благо отвязались; а онъ, какъ вырвался, и ну все это выписывать. Валяетъ и полиціймейстера, и вице - губернатора, да вѣдь какъ! Точно,—я самъ знаю, что въ Европѣ существуетъ гласность, и понимаю, что она должна существовать, даже... между нами говоря... (смотритель оглянулся на обѣ стороны и добавилъ, понизивъ голосъ), я самъ нѣсколько разъ «*Колоколъ*» читалъ и не безъ удовольствія, скажу вамъ, читалъ; но у насъ-то, на родной-то землѣ, какъ же это, думаю?— Что-жъ это обо всемъ стало быть люди смѣютъ говорить?— А мы смѣли объ этомъ *подумать?* — Подумать, а не то, что говорить?—Не смѣли, да и что толковать о насъ! А вотъ эти господа хохочутъ, а докторъ Розановъ говоритъ: я, говоритъ, сейчасъ самого себя обличу, что, получая сто сорокъ девять рублей годоваго жалованья, изъ коихъ половину удерживаетъ инспекторъ управы, восполняю свой домашній бюджетъ четырьмя стами шестьюдесятью рублями взяткообразно. Ну, а я, говорю, не обличу себя, что, по недостатку средствъ, употребляю училищнаго сторожа, Яковлевича, для собственныхъ услугъ. Не могу, говорю, смѣлости нѣтъ, цѣли не вижу, да и вообще, просто, не могу. Я другой школы человѣкъ. Я могу переводить Ювенала, да, быть можетъ, вонъ соберу систематически матеріалы для исторіи Абассидовъ, но этого не могу; я другой школы, насъ учили классически; мы литературу не принимали гражданскимъ орудіемъ; мы не пріучены дѣйствовать, и не по силамъ намъ дѣйствовать.

— Ну, однако, изъ вашей-то школы, выходили и иные люди, не все о маврскихъ династіяхъ размышляли, а тоже и дѣйствовали,—замѣтилъ Зарницынъ.

— А, а! Нѣтъ, батюшка, — извините. То совсѣмъ была не наша школа,—извините.

— Конечно,—въ первый разъ проронилъ слово Вязмитиновъ.

— Точно, виноватъ, я ошибся,—оговорился Зарницынъ.

— А теперь вонъ еще новая школа заходитъ, и попомните мое слово, что скоро она скажетъ и вамъ, Алексѣй Павловичъ, и вамъ, Николай Степановичъ, да даже, чего добраго, и доктору, что всѣ вы люди отсталые, для дѣла не годитесь.

— Это несомнѣнно,—замѣтилъ опять Вязмитиновъ.

— Да вотъ вамъ что значитъ школа-то, и не годитесь, и пронесутъ имя ваше яко зло, не смотря не то, что директоръ нынче все настаиваетъ, чтобъ я почаще навертывался на ваши уроки. И будетъ это скоро, гораздо прежде, чѣмъ вы до моихъ лѣтъ доживете. Въ наше-то время отца моего учили, что отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ, и мнѣ тоже твердили, да и мой сынъ видѣлъ, какъ я не могъ отказываться отъ головки купеческаго сахарцу; а нынче все это двинулось, пошло, и школа будетъ смѣнять школу. Такъ, Николай Степановичъ?

— По-моему такъ.

— А такъ, такъ наливай, Женни, по другому стаканчику. Тебѣ, я думаю, мой дружочекъ, наскучилъ нашъ разговоръ. Плохо мы тебя занимаемъ. У насъ все такъ, что поспоримъ, то будто какъ и дѣло сдѣлаемъ.

— Напротивъ, папа, зачѣмъ вы такъ думаете? Меня это очень занимаетъ.

— Да! Вонъ видите, школа-то: мѣсяца нѣтъ какъ съ институтской скамьи, а ее занимаетъ. Попробуйте-ка Оленьку Розанову такимъ разговоромъ занять.

— Ну еще кого вспомнили!

— Чего, батюшка мой? Она, вѣдь, вонъ о самостоятельности тоже изволитъ разсуждать, а мужъ-то? Съ такимъ мужемъ, какъ ея, можно до многаго додуматься.

— Да что-жъ это онъ хотѣлъ быть, а не идетъ?—замѣтилъ Зарницынъ.

— Идетъ, идетъ,—отвѣчалъ изъ передней довольно симпатичный мужской голосъ, и на порогѣ залы показался человѣкъ лѣтъ тридцати двухъ, невысокаго роста, немного сутуловатый, но весьма пропорціонально сложенный, съ очень хорошимъ лицомъ, въ которомъ крупность чертъ выгодно выкупалась силою выраженія. Въ этомъ лицѣ выражалась какая-то весьма пріятная смѣсь энергіи, ума, прямоты, силы и русскаго безволья и распущенности. Докторъ былъ одѣтъ очень небрежно. Платье его было все пропылено, такъ что пыль въѣлась въ него и не отчищалась, рубашка измятая, шея повязана чернымъ платкомъ, концы котораго висѣли до половины груди.

— А мы здѣсь толеко-что злословили васъ, докторъ, — проговорилъ Зарницынъ, протягивая врачу свою руку.

— Да чѣмъ же вамъ болѣе заниматься на гулянкахъ, какъ не злословіемъ, отвѣчалъ докторъ, пожимая мимоходомъ поданныя ему руки. — Прошу васъ, Петръ Лукичъ, представить меня вашей дочери.

— Женичка! — нашъ докторъ. Совѣтую тебѣ заискать его расположеніе, человѣкъ весьма нужный, случайный.

— Преимущественно для мертвыхъ, съ которыми имѣю постоянныя дѣла въ теченіе пяти лѣтъ сряду, — проговорилъ докторъ, развязно кланяясь дѣвушкѣ, отвѣтившей ему ласковымъ поклономъ.

— А мы ужъ думали, что вы, по обыкновенію, не сдержите слова,—замѣтилъ Гловацкій.

— Ужъ и *по обыкновенію*! Эхъ, Петръ Лукичъ! Ужъ вотъ на кого Богъ-то, на того и добрые люди. Я, Евгенія Петровна, позвольте, ужъ буду искать сегодня исключительно вашего вниманія, уповая, что свойственная человѣчеству злоба еще не успѣла достичь вашего сердца, и вы, конечно, не найдете самоуслажденія допливать меня, чѣмъ занимается весь этотъ прекрасный городъ съ своимъ уѣздомъ и даже съ своимъ уѣзднымъ смотрителемъ, сосредо-

точивающимъ въ своемъ лицѣ половину всѣхъ добрыхъ свойствъ, отпущенныхъ намъ на всю нашу мѣстность.

Женни покраснѣла, слегка поклонилась и тихо проговорила:—Прикажете вамъ чаю?

— Гдѣ это васъ сегодня разобидѣли?—спросилъ смотритель.

— Вездѣ, Петръ Лукичъ, вездѣ, батюшка.

— А напримѣръ?

— А напримѣръ, исправникъ двѣсти раковъ съѣлъ и говоритъ: не могу завтра на вскрытіе ѣхать; фельдшеръ въ больницѣ бабу уморилъ ни за што, ни про што; двухъ рекрутъ на нашъ счетъ вернули; съ эскадроннымъ командиромъ разбранился; въ Хилковѣ бѣшеный волкъ человѣкъ пятнадцать на лугу искусалъ, а тутъ нѣмецъ Абрамзонъ съ женою мимо моихъ оконъ проѣхалъ,—бѣда да и только.

Всѣ кромѣ Женни, разсмѣялись.

— Да, вамъ смѣхъ, а мнѣ хоть въ воду, такъ въ пору.

— Что-жъ вы сдѣлали?

— Что? Исправнику лошадиную кладь закатилъ и сказалъ, что если онъ завтра не поѣдетъ, то я ѣду къ другому тѣлу; бабу записалъ умершею отъ апоплексическаго удара, а фельдшеру далъ записочку къ городничему, чтобы тотъ съ нимъ позанялся; эскадронному командиру сказалъ: убирайтесь, ваше благородіе, къ чорту, я вашихъ мошенничествъ прикрывать не намѣренъ и написалъ, что слѣдовало; волка посовѣтовалъ исправнику казнить по полевому военному положенію, а отъ Ольги Александровны, взволнованной каретою нѣмца Ицки Готлибовича Абрамзона, ушелъ къ вамъ чай пить. Вотъ вамъ и все!

— Распоряженія все резонныя,—замѣтилъ Зарницынъ.

— Ну, какія есть: не хороши, другія присовѣтуйте.

— Фельдшера поучатъ, а онъ черезъ полгода другую бабу отравитъ.

— Черезъ полгода! Экую штуку сказалъ! Двѣ бабы въ годъ,—велика важность. А по-вашему не новаго ли было бы требовать?

— Конечно.

— Ну, нѣтъ, слуга покорный. Этотъ пару въ годъ отравитъ, а новый съ непривычки по парѣ въ мѣсяцъ спуститъ.—Что, батюшка, тутъ радикальничать-то? Лѣчить нечѣмъ, содержать не на что, да что и говорить! Радикальничать, такъ по-моему надо изъ земли Илью Муромца вызвать, чтобы сѣлъ онъ на коня ратнаго, взялъ въ могучія руки булаву сто-пудовую, да и пошелъ бы насъ, православныхъ, крестить по маковкамъ, не разбирая ни роду, ни сану, ни племени.—А то, что тамъ копаться! Idem per idem все будемъ Кузьма съ Демидомъ. — Нечего и людей смѣшить. Эхъ, не слушайте нашихъ мерзостей, Евгенія Петровна. Поберегите свое вниманіе для чего-нибудь лучшаго. Вы, пожалуйста, никогда не сидите съ нами. Не сидите съ моимъ другомъ, Зарницынымъ, онъ затмитъ вашъ дѣвственный умъ своей туманной экономіей счастья; не слушайте моего друга Вязмитинова, который погубитъ ваше свѣтлое мышленіе гегеліанскою ересью; не слушайте меня, преподлѣйшаго въ сношеніяхъ съ звѣрями, которые станутъ называть себя передъ вами разными кличками греко-россійскаго календаря; даже отца вашего, которому отпущена половина всѣхъ добрыхъ качествъ нашей проклятой Гоморы, и его не слушайте. Все васъ это спутаетъ, потому что все, что ни выйдетъ изъ нашихъ устъ—или злосмрадное дыханіе антихристово, или же хитросплетенныя лукавства, уловляющія свободный разумъ. Уйдите отъ насъ, гадкихъ и вредныхъ людей, и пожалѣйте, что мы еще, къ несчастію, не самые гадкіе люди своего просвѣщеннаго времени.

— Уйди, уйди, Женичка, смѣясь проговорилъ Гловацкій,—и вели давать, что ты тамъ намъ поѣсть приготовила. Нашъ медицинскій Гамлетъ всегда мраченъ...

— Безъ водки,—чего-же было не договаривать! Я точно, Евгенія Петровна, люблю закусывать и счелъ бы позоромъ скрыть отъ васъ этотъ маленькій порокъ изъ обширной коллекціи моихъ пороковъ.

Женни встала и вышла въ кухню, а Яковлевичъ сталъ

собирать со стола чай, за которымъ, по мѣстному обычаю, всегда почти непосредственно слѣдовала закуска.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Нежданный гость.

Въ то же время, какъ Яковлевичъ, вывернувъ кренделемъ локти, несъ подносъ, уставленный различными солеными явствами, а Пелагея, склонивъ на бокъ голову и закусивъ, въ знакъ осторожности, верхнюю губу, тащила другой подносъ съ двумя графинами разной водки, бутылкою хереса и двумя бутылками столоваго вина, по усыпанному пескомъ двору уѣзднаго училища простучалъ легкій экипажецъ. Вслѣдъ затѣмъ въ двери кухни, гдѣ Женни, засучивъ рукава, разбирала жареную индѣйку, вошелъ маленькій казачекъ и спросилъ: дома ли Евгенія Петровна?

— Дома,—отвѣтила Женни, удивленная, кто бы могъ о ней освѣдомляться въ городѣ, въ которомъ она никого не знаетъ.

— Это вы-съ?—спросилъ, осклабившись, казачекъ.

— Я, я,—кто тебя прислалъ?

— Барышня-съ къ вамъ пріѣхали.

— Какая барышня?

— Барышня, Елизавета Егоровна-съ.

— Лиза Бахарева! — въ восторгѣ воскликнула Женни, бросивъ кухонный ножъ и спѣша обтирать руки.

— Точно такъ-съ, онѣ пріѣхали,—отвѣчалъ казачекъ.

— Боже мой! гдѣ же она?

— На кабріолеткѣ-съ сидятъ.

Женни отодвинула отъ дверей казачка, выбѣжала изъ кухни и вспорхнула въ кабріолетъ, на которомъ сидѣла Лиза.

— Лиза! голубчикъ! дуся! ты ли это?

— А! видишь, я тебѣ, гадкая Женька, дѣлаю визитъ первая. Не говори, что я аристократка,—ну, поцѣлуй меня еще, еще. Ангелъ ты мой! Какъ я о тебѣ соскучилась —

силъ моихъ не было ждать, пока ты пріѣдешь. У насъ гостей полонъ домъ, скука смертельная, просилась, просилась къ тебѣ, — не пускаютъ. Папа пріѣхалъ съ поля, я сѣла въ его кабріолетъ покататься, да вотъ и прикатила къ тебѣ.

— Будто такъ?

— Право.

Дѣвушки разсмѣялись, еще разъ поцѣловались и обѣ соскочили съ кабріолета.

— Я, вѣдь, только на минуточку, Женни.

— Боже мой!

— Ну да. Какая ты чудиха! Тамъ, вѣдь, съ ума посходятъ.

— Ну пойдемъ, пойдемъ.

— А вы еще не спите?

— Нѣтъ, гдѣ же спать. Всего девять часовъ и у насъ гости.

— Кто?

— Учителя и докторъ.

— Какой?

— Розановъ, кажется, его фамилія.

— Говорятъ, очень странный.

— Кажется. А ты отъ кого слышала?

— Мы съ папой ходили навѣщать этого меревскаго учителя больного,—онъ очень любитъ этого доктора и много о немъ разсказывалъ.

— А что этотъ учитель, лучше ему?

— Да лучше, но онъ все ждетъ доктора. Впрочемъ, папа говорилъ, что у него сильный ушибъ и простуда, а больше ничего.

Дѣвушки перешли черезъ кухню въ Женнину комнату.

— Ахъ, какъ у тебя здѣсь хорошо, Женни!—воскликнула, осматриваясь по сторонамъ, Лиза.

— Да,—я очень довольна.

— А я пока очень недовольна.

— У тебя хорошая комната?

— Да, хорошая, но неудобная, проходная.

— Папа! у насъ новый гость, — крикнула неожиданно Гловацкая.

— Кто, мой другъ?

— Отгадайте!

— Ну, какъ отгадаешь.

— Мой гость, собственно ко мнѣ, а не къ вамъ.

— Ну, теперь и поготово не отгадаю.

Женни открыла двери и изумленнымъ глазамъ старика предстала Лиза Бахарева.

— Лизанька! съ кѣмъ вы, дитя мое?

— Одна.

— Нѣтъ, безъ шутокъ. Гдѣ Егоръ Николаевичъ?

— Дома съ гостями,—отвѣчала, смѣясь, Лиза.

— Въ самомъ дѣлѣ вы однѣ?

— Ахъ, какой вы странный, Петръ Лукичъ! Разумѣется, одна, съ казачкомъ Гришей.

Лиза разсказала, какъ она пріѣхала въ городъ, и добавила, что она на минуточку, что ей нужно торопиться домой.

Смотритель взялъ Лизу за руки, ввелъ ее въ залу и познакомилъ съ своими гостями, причемъ гости ограничивались однимъ молчаливымъ, вѣжливымъ поклономъ.

— Не хочешь ли чаю покушать, Лиза? Съѣшь что-нибудь; вѣдь, это я хозяйничаю.

— Ты! Ну, для тебя давай, буду ѣсть.

Дѣвушки взяли стулья и сѣли къ столу.

— Какъ у васъ весело, Петръ Лукичъ!—замѣтила Лиза.

— Какое-жъ веселье, Лизанька? такъ себѣ сошлись,—не утерпѣлъ на старости лѣтъ похвастаться товарищамъ дочкою. У васъ въ Меревѣ, я думаю, гораздо веселѣе; своя семья большая, всегда есть гости.

— Да, это правда, а все у васъ какъ-то, кажется, веселѣе выглядитъ.

— Это сегодня, а то мы все вдвоемъ съ Женней сидѣли, и еще чаще она одна. Я, напротивъ, боюсь, что она

у меня заскучаетъ, журналъ для нея выписалъ. Мои-то книги, думаю, ей не по вкусу прійдутся.

— У васъ какія больше книги?

— Разный спеціальный хламъ, а изъ русскихъ только историческія.

— А у насъ цѣлый шкафъ все какой-то допотопной французской беллетристики, читать невозможно.

— А я часто видалъ, что ваши сестрицы читаютъ.

— Да, онѣ читаютъ, а мнѣ это не нравится. Мы въ институтѣ доставали разные русскіе журналы и все читали, а здѣсь ничего нѣтъ. Вы какой журналъ выписали для Женни?

— «Отечественныя Записки», — старый журналъ и все одинъ и тотъ же редакторъ, при которомъ покойникъ Бѣлинскій писалъ.

— Да, знаю. Мы все доставали въ институтѣ и «Отечественныя Записки», и «Современникъ», и «Русскій Вѣстникъ», и «Библіотеку», всѣ, всѣ журналы. Я просила папу выписать мнѣ хоть одинъ теперь,—мамаша не хочетъ.

— Отчего?

— Богъ ее знаетъ! говоритъ, читай то, что читаютъ сестры, а я этого читать не могу, не нравится мнѣ.

— Женни будетъ съ вами дѣлиться своимъ журналомъ. А я вотъ буду просить Николая Степановича еще снабжать Женничку книгами изъ его библіотеки. У него много книгъ и онъ можетъ руководить Женничку, если она захочетъ заняться однимъ предметомъ. Самъ я устарѣлъ ужъ, за хлопотами да дрязгами поотсталъ отъ современной науки, а Николаю Степановичу за дочку покланяюсь.

— Если только Евгенія Петровна пожелаетъ и позволитъ, я буду очень радъ служить ей, чѣмъ могу,—вѣжливо отвѣтилъ Вязмитиновъ.

Женни поблагодарила.

— Какъ жаль, что и я не могу пользоваться вашими совѣтами!—живо замѣтила Лиза.

— Отчего же?

— Я живу въ деревнѣ, а зимой, вѣроятно, уѣдемъ въ губернскій городъ.

— Пріѣзжайте къ намъ почаще лѣтомъ, Лизанька. Тутъ вѣдь рукой подать, и будете читать съ Николаемъ Степановичемъ,—сказалъ Гловацкій.

— Въ самомъ дѣлѣ, Лиза, пріѣзжай почаще.

— Да,—хорошо, какъ можно будетъ, а не пустятъ, такъ буду сидѣть.—Ахъ, Боже мой!—сказала она, быстро вставая со стула; я и забыла, что мнѣ пора ѣхать.

— Побудь еще, Лиза,—просила Женни.

— Нѣтъ, милая, не могу, и не говори лучше.—А вы что читаете въ училищѣ?—спросила она Вязмитинова.

— Я преподаю исторію и географію.

— Оба интересные предметы, а вы?—обратилась Лиза къ Зарницыну.

— Я учитель математики,

— Фуй, какая ужасная наука. Я выше двойки никогда не получала.

— У васъ вѣрно былъ дурной учитель,—немножко рисуясь сказалъ Зарницынъ.

— Нѣтъ, а впрочемъ, не знаю. Онъ кандидатъ, молодой и нѣкоторыя у него хорошо учились. Вотъ Женни, напримѣръ, она всегда высшій баллъ брала. Она по всѣмъ предметамъ высшіе баллы брала. Вы знаете,—она, вѣдь, у насъ первая изъ цѣлаго выпуска,—а я первая съ другого конца. Я терпѣть не могу нѣкоторыхъ наукъ и особенно вашей математики. А вы естественныхъ наукъ не знаете? Это, говорятъ, очень интересно.

— Да, но занятіе естественными науками тоже требуетъ знанія математики.

— Будто! Вѣдь это для химиковъ или для другихъ, а такъ для любителей, я думаю, можно и безъ этой скучной математики.

— Право, я не умѣю вамъ отвѣчать на это, но думаю, что въ извѣстной мѣрѣ возможно. Впрочемъ, вотъ у насъ докторъ знатокъ естественныхъ наукъ.

— Ну, какъ не знатокъ,—проговорилъ докторъ.

— Мнѣ то же самое говорилъ о васъ меревскій учитель,—отнеслась къ нему Лиза.

— Помада! Онъ того мнѣнія, что я все на свѣтѣ знаю и все могу сдѣлать. Вы ему не вѣрьте, когда дѣло касается меня, — я его сердечная слабость. Позвольте мнѣ лучше освѣдомиться, въ какомъ онъ положеніи?

— Ему лучше, и онъ, кажется, ждетъ васъ съ нетерпѣніемъ.

— Что-жъ дѣлать. Я только узналъ о его несчастьѣ и не могу тронуться къ нему, ожидая съ минуты на минуту непремѣннаго засѣдателя, съ которымъ тотчасъ долженъ выѣхать.

— Будто вы сегодня ѣдете?—спросилъ Гловацкій.

— А какъ же! Онъ сюда за мною долженъ заѣхать: вѣдь искусанные волкомъ не ждутъ, а завтра къ обѣду назадъ и сейчасъ ѣхать съ исправникомъ. Вотъ вамъ и жизнь, и естественныя, и всякія другія науки, добавилъ онъ, глядя на Лизу. — Что и зналъ-то когда нибудь, и то все успѣлъ семь разъ позабыть.

— Какая странная должность!

— У насъ всѣ должности удивятъ васъ, если найдете интересъ въ нихъ всмотрѣться. Это еще не самая странная, самую странную занимаетъ Юстинъ Помада. Онъ *читаетъ чистописаніе.*

Всѣ засмѣялись.

— Право! Вы его самого разспросите о его обязанностяхъ: онъ и самъ то же самое вамъ скажетъ.

— Вотъ, Женни, фатальный нашъ пріѣздъ! Не успѣли показаться и чуть-чуть не стоили человѣку жизни,—замѣтила Лиза.

— И еще какому человѣку-то! Единственному, можетъ быть, цѣлому человѣку на пять тысячъ верстъ кругомъ.

— А вы, докторъ, говорили, что лучшій человѣкъ здѣсь мой папа,—проговорила, немножко краснѣя, Женни.

— Это между нами: я говорилъ, Петръ Лукичъ солнце,

а Помада вездѣ Антикъ. Петръ Лукичъ все-таки чего нибудь для себя желаетъ, а тотъ, не сводя глазъ, взираетъ на птицы небесныя, какъ не жнутъ, не сѣютъ, не собираютъ въ житницы, а и сыты и одѣты. Я ужъ его пять лѣтъ сряду стараюсь испортить, да ни на одинъ шагъ въ этомъ не подвинулся. Вы обратите на него вниманіе, Лизавета Егоровна, — это дорогой экземпляръ, скоро такихъ ужъ ни за какія деньги нельзя будетъ видѣть. Онъ стоитъ вниманія и изученія не менѣе самаго допотопнаго монстра. Право. Если любите натуру, въ изученіи которой не можемъ вамъ ничѣмъ помочь ни я, ни мои просвѣщенные друзья, сообществомъ которыхъ мы здѣсь имѣемъ удовольствіе наслаждаться, то вотъ разсмотрите-ка, что такое подъ черепомъ у Юстина Помады. Говорю вамъ, это будетъ преинтересное занятіе для вашей любознательности, далеко интереснѣйшее, чѣмъ то, о которомъ возвѣщаетъ мнѣ приближеніе вотъ этого проклятаго колокольчика, котораго, кажется, никто даже, кромѣ меня, и не слышитъ.

Изъ-за угла улицы, дѣйствительно, послышался колокольчикъ, и прежде чѣмъ онъ замолкъ у воротъ училища, докторъ всталъ, пожалъ всѣмъ руки и, взявъ фуражку, молча вышелъ за двери. Зарницынъ и Вязмитиновъ тоже стали прощаться.

— Боже, а я-то! Что-жъ это я надѣлала, засидѣвшись до сихъ поръ? — тревожно проговорила Лиза, хватаясь за свою шляпку.

— Вы! Нѣтъ, ужъ вы не безпокойтесь: я вашу лошадь давно отослалъ домой и написалъ, что вы у насъ, — сказалъ, останавливая Лизу, Гловацкій.

— Что вы надѣлали, Петръ Лукичъ! Теперь забранятъ меня.

— Не бойтесь. Нынче больше бы забранили, а завтра поѣдете на моей лошади съ Женичкой, и все благополучно обойдется.

Прощаясь съ Женни, Вязмитиновъ спросилъ ее:

— Вы знакомы, Евгенія Петровна, съ сочиненіями Гизо.

— Нѣтъ, вовсе ничего не знаю.

— Хотите читать этого писателя?

— Пожалуйста. Да вы ужъ не спрашивайте. Я все прочитаю и постараюсь понять. Это вѣдь историческій писатель?

— Да.

— Пожалуйста,—я съ удовольствіемъ прочту.

Гости ушли, хозяева тоже стали прощаться.

— Ну, что, Женни, какъ тебѣ новые знакомые показались?—спросилъ Гловацкій, цѣлуя дочернину руку.

— Право, еще не думала объ этомъ, папа. Кажется, хорошіе люди.

— Она вѣдь пять лѣтъ думать будетъ, прежде чѣмъ скажетъ, шутливо перебила Лиза,—а я вотъ вамъ сразу отвѣчу, что каждый изъ нихъ лучше, чѣмъ всѣ тѣ, которые въ эти дни пріѣзжали къ намъ и съ которыми меня знакомили.

Смотритель добродушно улыбнулся и пошелъ въ свою комнату, а дѣвушки стали раздѣваться въ комнатѣ Женни.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Семейная картина въ Меревѣ.

— Однако, что-то плохо мнѣ, Женька, — сказала Лиза, улегшись въ постель съ хозяйкою. Ждала я этого дома, какъ Богъ знаетъ какой радости, а...

— Что-жъ тамъ у васъ? — съ безпокойнымъ участіемъ спросила Женни.

— Такъ,—и разсказать тебѣ не умѣю, а какъ-то сразу тяжело мнѣ стало. Мѣсяцъ всего дома живу, а все, какъ няня говоритъ, никакъ въ стихъ не войду.

— Ты еще не осмотрѣлась.

— Боюсь, чтобъ еще хуже не было. Вотъ у тебя я съ первой минуты осмотрѣлась. У васъ хорошо, легко; а тамъ, у насъ, Богъ знаетъ... мудрено все... очень тяжело какъ-то, скучно,—невыносимо скучно.

— Что, Петръ Лукичъ?—спросила Лиза, помѣщаясь на другое утро за чайнымъ столикомъ противъ смотрителя.

— Что, Лизанька?

— Боюсь домой ѣхать.

Смотритель улыбнулся.

— Право!—продолжала Лиза.—Вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ становится чего-то страшно и неловко.

— Полноте, Лизочка,—я отпущу съ вами Женни, и ничего не будетъ, ни слова никто не скажетъ.

— Да я не этого и боюсь, Петръ Лукичъ, а какъ-то это все не то, что я себѣ воображала, что я думала встрѣтить дома.

— Это вы, дитя мое, не осмотрѣлись съ нами и больше ничего.

— Нѣтъ, въ томъ-то и дѣло, что я съ вами-то совсѣмъ осмотрѣлась, у васъ мнѣ такъ нравится, а дома все какъ-то такъ странно—и суетливо будто, и мертво. Вообще странно.

— Потому и странно, что не привыкли.

— А какъ совсѣмъ не привыкну, Петръ Лукичъ?

Смотритель опять улыбнулся и, махнувъ рукою, проговорилъ:

— Полноте сочинять, другъ мой!—Какъ къ родной семьѣ не привыкнуть.

— Тотчасъ послѣ чаю Женни и Лиза въ легкихъ соломенныхъ шляпкахъ впорхнули въ комнату Гловацкаго, расцѣловали старика и поѣхали въ Мерево, на смотрительскихъ дрожкахъ.

Былъ десятый часъ утра, день стоялъ прекрасный, теплый и безоблачный; дорога до Мерева шла почти сплошнымъ дубнячкомъ.

Дѣвушки встали съ дрожекъ и безъ малаго почти всѣ семь верстъ прошли пѣшкомъ. Свѣжее, теплое утро и ходьба прекрасно отразились на расположеніи ихъ духа и на ихъ молодыхъ, свѣжихъ лицахъ, горѣвшихъ румянцемъ усталости.

Передъ околицей Мерева онѣ оправили другъ на другѣ

платья, сѣли опять на дрожки и въ самомъ веселомъ настроеніи подъѣхали къ высокому крыльцу Бахаревскаго дома.

— Встали наши?—торопливо спросила, вбѣгая на крыльцо, Лиза у встрѣтившаго ее лакея.

— Баринъ вставши давно-съ, чай въ залѣ кушаетъ, а барышни еще не выходили,—отвѣчалъ лакей.

Егоръ Николаевичъ одинъ сидѣлъ въ залѣ за самоваромъ и пилъ чай изъ большого краснаго стакана, надъ которымъ носились густые клубы табачнаго дыма.

Заслышавъ по залѣ легкій шорохъ женскаго платья, Бахаревъ быстро повернулся на стулѣ и, не выпуская изъ рукъ стакана, другою рукою погрозилъ подходившей къ нему Лизѣ.

— Шалуха, шалуха, что ты надѣлала! — говорилъ онъ съ добродушнымъ упрекомъ.

— Что, папочка?

— Я хотѣлъ было за тобою ночью посылать, да такъ ужъ... Какъ таки можно?

— Что-жъ такое папа! Было такъ хорошо, мнѣ хотѣлось повидаться съ Женею, я и поѣхала. Я думала, что успѣю скоро возвратиться, такъ что никто и не замѣтитъ. Ну виновата, ну простите, что-жъ теперь дѣлать?

— То-то, что дѣлать?—Шалунья! Я на тебя и не сержусь, а вонъ смотри-ка что̀ съ матерью.

— Что̀ съ мамашей?—тревожно спросила дѣвушка.

— Она совсѣмъ въ постель слегла.

— Боже мой! я побѣгу къ ней. Побудь здѣсь пока, Женни, съ папой.

— Ни, ни, ни!—остановилъ ее Бахаревъ.—У нея цѣлую ночь были истерики и она только передъ утромъ глаза сомкнула, не ходи къ ней, не буди ее, пусть успокоится.

— Ну, я пройду къ сестрамъ.

— Онѣ тоже обѣ не спали. Садитесь-ка, вотъ пейте пока чай, Богъ дастъ все обойдется. Только другой разъ не пугай такъ мать.

За дверями гостиной послышались легкіе шаги и въ залу вошла Зинаида Егоровна. Она была въ бѣломъ утреннемъ пеньюарѣ и ея роскошная, густая коса красиво покоилась въ синелевой сѣткѣ, а всегда блѣдное, болѣзненно прозрачное лицо казалось еще блѣднѣе и прозрачнѣе отъ лежавшаго на немъ слѣда безсонной ночи. Зинаида Егоровна была очень эффектна: точно средневѣковая, рыцарственная дама, мечтающая о своемъ далекомъ рыцарѣ.

Тихой, ровной поступью подошла она къ отцу, спокойно поцѣловала его руку и спокойно подставила ему для поцѣлуя свой мраморный лобъ.

— Что, Зинушка, съ матерью?—спросилъ старикъ.

— Мамѣ лучше, она успокоилась и съ семи часовъ заснула. Здравствуйте, Женни! добавила Зина, обращаясь къ Гловацкой и протягивая ей руку. Здравствуй, Лиза.

— Здравствуй, Зина.

— Позвольте, папа, — проговорила Зинаида Егоровна, взявшись за спинку отцовскаго стула, и сѣла за самоваръ.

— Чего ты такая блѣдная сегодня, Зиночка, — съ участіемъ освѣдомилась Лиза.

— Не спала ночь,—мнѣ это всегда очень вредно.

— Отчего ты не спала?

— Нельзя же всѣмъ оставить мать.

Лиза покраснѣла и закусила губку. Всѣ замолчали.

Женни чувствовала, что здѣсь въ самомъ дѣлѣ какъ-то тяжело дышится.

Корридоромъ вошла въ залу Софи. Она не была блѣдна, какъ Зина, но тоже казалась нѣсколько утомленною.

Лиза замѣтила это, но уже ни о чемъ не спросила сестру.

Софи поцѣловала отца, потомъ сестеръ, потомъ съ нѣкоторымъ видомъ старшинства поцѣловала въ лобъ Женни и попросила себѣ чаю.

— Весело тебѣ было вчера? — спросила она Лизу, выпивъ первую чашку.

— Да, очень весело,—нѣсколько нерѣшительно отвѣчала Лиза.

И опять всѣ замолчали.

— Что вашъ папа дѣлаетъ, Женни?—протянула Зинаида Егоровна.

— Онъ все въ своемъ кабинетѣ: вѣдомости какія-то составляетъ въ дирекцію.

— А вы же чѣмъ занимались все это время?

— Я? Пока еще ничѣмъ.

— Она хозяйничаетъ; у нея все такъ хорошо, такъ тихо, что не вышелъ бы изъ дома, — сочла нужнымъ сказать Лиза.

— А! это прекрасно, — опять протянула Зинаида Егоровна, и опять всѣ замолчали.

«Въ самомъ дѣлѣ, какъ здѣсь скучно!» подумала Женни, поправивъ бретели своего платья, и стала смотрѣть въ открытое окно, изъ котораго было видно колосистое поле бурѣвшей ржи.

— Здравствуй, красавица! — проговорила за плечами у Женни старуха Абрамовна, вошедшая съ подносомъ, на которомъ стояла высокая чайная чашка, раскрашенная синимъ съ золотомъ.

— Здравствуй, няничка! — воскликнула съ восторгомъ Женни и, обнявъ старуху, нѣсколько разъ ее поцѣловала.

— А ты, проказница, заѣхала, да и горя тебѣ мало, — съ ласковымъ упрекомъ замѣтила Лизѣ Абрамовна, пока Зина наливала чай въ матушкину чашку.

— Ахъ, полно, няня!

— Что полно? не нравится? Вотъ пожалуй-ка къ маменькѣ. Она какъ проснулась, такъ сейчасъ о тебѣ спросить изволила: видѣть тебя желаетъ.

Лиза встала и пошла къ корридору.

— Ты послушай-ка! Постой, молъ, подожди, не скачи стрекозою-то,—проговорила Абрамовна, идя вслѣдъ за Лизой по длинному и довольно темному корридору.

Лиза остановилась.

— Ишь у тебя волосы-то какъ разбрылялись, — бормотала старуха, поправляя пальцемъ свободной руки набѣ-

жавшіе у Лизы на лобъ волосы. — Ты поди въ свою комнату, да поправься прежде, причешись, а потомъ и приходи къ родильницѣ, да не фонъ-барономъ, а покорно приди, чувствуя, что ты мать обидѣла.

— Что вы въ самомъ дѣлѣ всѣ на меня? — вспыльчиво сказала долго сдерживавшаяся Лиза.

— Ахъ, мать моя! не хвалить ли прикажешь?

— Ничего я дурного не сдѣлала.

— Гостей полонъ домъ, а она, фить! улетѣла.

— Ну и улетѣла.

— Какъ это грустно, — говорила Женни, обращаясь къ Бахареву,—что мы съ папой удержали Лизу и надѣлали вамъ столько хлопотъ и непріятностей.

Бахаревъ выпустилъ изъ-подъ усовъ облако дыма и ничего не отвѣтилъ. Вмѣсто его, на этотъ вызовъ отвѣчала Зина.

— Вы здѣсь ничѣмъ не виноваты, Женичка, и вашъ папа тоже. Лиза сама должна была знать, что она дѣлаетъ. Она еще ребенокъ, прямо съ институтской скамьи и позволяетъ себѣ такія странныя выходки.

— Она хотѣла тотчасъ же ѣхать назадъ, — это мы ее удержали ночевать. Папа безъ ея вѣдома отослалъ лошадь. Мы думали, что у васъ никто не будетъ безпокоиться, зная, что Лиза съ нами.

— Да это вовсе не въ томъ дѣло. Здѣсь никто не сердился и не сердится, но скажите, пожалуйста, развѣ вы, Женни, оправдываете то, что сдѣлала сестра Лиза по своему легкомыслію?

Для Женни былъ очень непріятенъ такой оборотъ разговора.

— Я право не знаю,—отвѣчала она,—кто какое значеніе придаетъ тому, что Лиза проѣхалась ко мнѣ.

— Нѣтъ вы, Женичка, будьте прямодушнѣе, отвѣчайте прямо: сдѣлали бы вы такой поступокъ?

— Я не знаю, вздумалось ли бы мнѣ пошалить такимъ образомъ, а еслибы вздумалось, то я поѣхала бы. Мнѣ, ка-

жется,—добавила Женни, — что мой отецъ не придалъ бы этому никакого серьезнаго значенія, и поэтому я ни мало не охуждала бы себя за шалость, которую позволила себѣ Лиза.

— Правда, правда, — подхватилъ Бахаревъ. — Пойдутъ дуть, да раздувать и надуютъ и себѣ всякія лихія болѣсти, и другимъ безпокойство. Охъ ты, Господи! Господи!— произнесъ онъ, вставая и направляясь къ дверямъ своего кабинета,—ты ищешь только покоя, а онѣ знай исторіи разводятъ. И изъ-за чего, за что дѣвочку разогорчили!—добавилъ онъ, входя въ кабинетъ, и такъ хлопнулъ дверью, что въ залѣ задрожали стѣны.

Осторожно, на цыпочкахъ входили въ комнату Ольги Сергѣевны Зина, Софи и Женни. Женни шла сзади всѣхъ.

Оба окна въ комнатѣ у Ольги Сергѣевны были занавѣшены зелеными шерстяными занавѣсками, и только въ одномъ уголокъ занавѣски былъ приподнятъ и приколотъ булавкой. Въ комнатѣ былъ полусвѣтъ. Ольга Сергѣевна съ нѣсколько разстроеннымъ лицомъ лежала въ кроватн. Возлѣ ея подушекъ стоялъ кругленькій столикъ съ баночками, пузыречками и чашкою недопитаго чаю. Въ ногахъ, держась обѣими руками за кровать, стояла Лиза. Глаза у нея были заплаканы и ноздерки раздувались.

— Здравствуй, Женичка!—безучастно произнесла Ольга Сергѣевна, поставляя щеку наклонившейся къ ней дѣвушкѣ, и сейчасъ же непосредственно продолжала:—Положимъ, что ты еще ребенокъ, многаго не понимаешь, и потому тебѣ, разумѣется, во многомъ снисходятъ; но, помилуй скажи, что же ты за репутацію себѣ составишь? Да и не себѣ одной: у тебя еще есть сестра дѣвушка. Положимъ опять и то, что Соничку давно знаютъ здѣсь всѣ, но все-таки ты ея сестра.

— Господи, maman! ужъ и сестрѣ я даже могу вредить, ну что же это? Будьте же, maman, хоть каплю справедливы,—не вытерпѣла Лиза.

— Ну да, я такъ и ожидала. Это цвѣточки, а будутъ еще ягодки.

— Да Боже мой, что же я такое дѣлаю? За какія вины мною всѣ недовольны? Все это за то, что къ Женни на часокъ проѣхала безъ спроса?—произнесла она сквозь душившія ее слезы.

— Лиза! Лиза!—произнесла вполголоса и качая головою Софи.

— Что?

— Оставьте ее, она не понимаетъ,—съ многозначительной гримасой простонала Ольга Сергѣевна:—она не понимаетъ, что убиваетъ родителей. Штуку отлила: исчезла ночью при сторонних людяхъ. Это все ничего для нея не значитъ,—оставьте ее.

Всѣ замолчали. Лиза откинула набѣжавшіе на лобъ волосы и продолжала спокойно стоять въ прежнемъ положеніи.

— Пусть свѣтъ, люди, тяжелыми уроками научатъ тому, чего она не хочетъ понимать, — продолжала чрезъ нѣкоторое время Ольга Сергѣевна.

— Да что же понимать, maman? — совсѣмъ нетерпѣливо спросила послѣ короткой паузы Лиза. — У тети Агніи я сказала свое мнѣніе, можетъ быть, очень невѣрное, и можетъ быть, очень некстати, но неужто это ужъ такой проступокъ, которымъ нужно постоянно пилить меня?

— Да, вздохнувъ, застонала Ольга Сергѣевна. — Одну глупость сдѣлаемъ, за другую возьмемся, а тамъ за третью, за четвертую и такъ далѣе.

— Если ужъ я такъ глупа, maman, то что-жъ со мной дѣлать? Буду дѣлать глупости, мнѣ же и будетъ хуже.

— Ахъ, уйди, матушки, уйди Бога ради! — нервно вскрикнула Ольга Сергѣевна. — Не распускай при мнѣ этой своей философіи. Ты очень умна, просвѣщена, образована, и я не могу съ тобой говорить. Я глупа, а не ты, но у меня есть еще другія дѣти, для которыхъ нужна моя жизнь. Уйди, прошу тебя.

Лиза тихо повернулась, и твердою, спокойною поступью вышла за двери.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Перепилили.

Гловацкой очень хотѣлось выйти вслѣдъ за Лизой, но она осталась.

Ольга Сергѣевна вздохнула, сдѣлала гримасу и, обратясь къ Зинѣ, сказала:

— Накапь мнѣ на сахаръ гофманскихъ капель, да пошлите ко мнѣ Абрамовну.

Женни воспользовалась этимъ случаемъ и пошла позвать няню.

Лиза сидѣла на балконѣ, положивъ свою головку на руку. Глаза ея были полны слезъ, но она безпрестанно смаргивала эти слезы и глядѣла на разстилавшееся за рѣкою колосистое поле.

Женни подошла, поцѣловала ее въ лобъ и сѣла съ ней рядомъ на плетеный диванчикъ.

— Что тамъ теперь?—спросила Лиза.

— Ничего; Ольга Сергѣевна, кажется, хочетъ уснуть.

— Что если это такъ будетъ всегда, цѣлую жизнь?

— Ну, Богъ знаетъ что, Лиза! Ты не выдумывай себѣ, пожалуйста, горя больше, чѣмъ оно есть.

— Что-жъ это по-твоему — ничего? Можно, по-твоему, жить при такихъ сценахъ? А это первое время; первый мѣсяцъ, первый мѣсяцъ дома послѣ шестилѣтней разлуки! Боже мой! Боже мой! — воскликнула Лиза и, не удержавъ слезъ, горько заплакала.

— Полно плакать, Лиза, уговаривала ее Гловацкая.

Лиза не могла удержаться и, зажавъ платкомъ ротъ, вся дергалась отъ сдерживаемыхъ рыданій.

— Перестань, что это! Застанутъ въ слезахъ, и еще хуже будетъ. Пойдемъ, пройдемся.

Лиза молча встала, отерла слезы и подала Женни свою руку.

Дѣвушки прошли молча длинную тополевую аллею сада и вышли черезъ калитку на берегъ, съ котораго открывался домъ и англійскій садъ камергерши Меревой.

— Какой красивый видъ отсюда!—сказала Гловацкая.

— Да, красивый, — равнодушно отвѣчала Лиза, снова обтирая платкомъ слезы, наполнившія ея глаза.

— А оттуда, изъ ея оконъ, я думаю, еще лучше.

— Богъ знаетъ, — поле и нашъ домъ, должно быть, видны. Впрочемъ я, право, не знаю, и меня теперь это вовсе не занимаетъ.

Дѣвушки продолжали идти молча по берегу.

— Ваши съ нею знакомы?—спросила Женни, чтобы не давать задумываться Лизѣ, у которой безпрестанно навертывались слезы.

— Съ кѣмъ?—нетерпѣливо спросила Лиза.

— Съ Меревой.

— Знакомы.

Лиза опять обтерла слезы.

— А ты познакомилась?

— Съ Моревой?

— Да.

— Нѣтъ; мы ходили къ ней съ папой, да она нездорова что-ль-то была: не приняла. Мы только были у Помады, навѣщали его. Хочешь, зайдемъ къ Помадѣ?

— Я очень рада была бы, Лиза, но какъ же это? Идти однимъ, къ чужому мужчинѣ, на чужой дворъ.

— Да что-жъ такое? Ну что-жъ съ нами сдѣлается?

— Ничего не сдѣлается, а пойдутъ толковать.

— Что-жъ толковать? Больного развѣ нельзя навѣстить? Больныхъ всѣ навѣщаютъ. Я же была у него съ папой, отчего же мнѣ теперь не пойти съ тобою?

— Нѣтъ, я не пойду, Лиза, именно съ тобою и не пойду, потому что здоровья мы ему съ собою не принесемъ, а тебѣ ужъ такъ достанется, что и мѣста не найдешь.

— Да, вотъ это-то!—протянула, насупивъ бровки, Лиза, и опять задумалась.

— О чемъ ты все задумываешься? Брось это все,—говорила Женни.

— Да, брось! Хорошо тебѣ говорить: «брось», а сама бы попробовала слушать эти вѣчные реприманды. И отъ всѣхъ, отъ всѣхъ, рѣшительно отъ всѣхъ. Ахъ, ты, Боже мой! да что-жъ это такое! И мать, и Зина, и Соничка, и даже няня. Только одинъ отецъ не брюзжитъ, а то всѣ, таки рѣшительно всѣ. Шагъ ступлю — не такъ ступила; слово скажу — не такъ сказала; все не такъ, все имъ не нравится, и пойдетъ на цѣлый день разговоръ. Я хотѣла бы посмотрѣть на тебя на моемъ мѣстѣ; хотѣла бы видѣть, отскакивало ли бы отъ тебя это обращеніе, какъ отъ тебя все отскакиваетъ.

— Чего-жъ ты сердишься, Лиза? Я вѣдь не виновата, что у меня такая натура. Я ледышка, какъ вы называли меня въ институтѣ, ну и что-жъ мнѣ дѣлать, что я такая ледышка. Можетъ быть, это и лучше.

— Я буду очень рада, если тебя мужъ будетъ бить, — совершенно забывшись, проговорила Лиза.

Женни поблѣднѣла, какъ бѣлый воротничекъ ея манишки, и дернула свою руку съ локтя Лизы, но тотчасъ же остановилась и съ легкимъ дрожаніемъ въ голосѣ сказала:

— Даже будешь рада!

— Да, буду рада, очень буду рада.

Женни опять подернуло, и ея блѣдное лицо вдругъ покрылось яркимъ румянцемъ.

— Ты взволнована и сама не знаешь, что говоришь, на тебя нельзя даже теперь сердиться.

— Конечно, я глупа; чего-жъ на мои слова обращать вниманіе, — отвѣчала ей съ ѣдкой гримаской Лиза.

— Не придирайся, пожалуйста. Недостаетъ еще, чтобы мы вернулись надувшись другъ на друга: славная будетъ картина и тоже кстати.

— Нѣтъ, ты меня бѣсишь.

— Чѣмъ это?

Твоимъ напускнымъ равнодушіемъ, этой спокойностью какою-то. Тебѣ вѣдь отлично жить, и ты отлично живешь: у тебя все ладится и всегда все будетъ ладиться.

— Ну, такъ ты и желаешь, чтобы, для разнообразія въ моей жизни, меня билъ мой мужъ?

— Не билъ, а такъ вотъ пилилъ бы. Да вѣдь тебѣ что-жъ это. Тебѣ это ничего. Ты будешь пѣшкою у мужа, и тебѣ это все равно будетъ, — будешь очень счастлива.

Женни спокойно молчала. Лиза вся дрожала отъ негодованія и, насупивъ брови, добавила:

— Да, это такъ и будетъ.

— Что это такое?

— Что будешь тряпкой, которой мужъ будетъ пыль стирать.

Женни опять немножко поблѣднѣла и произнесла:

— Ну, это мы посмотримъ.

— Нечего и смотрѣть: все такъ видно.

— Не станемъ больше спорить объ этомъ. Ты оскорблена и срываешь на мнѣ свое сердце. Мнѣ тебя такъ жаль, что я и сказать не умѣю, но все-таки я съ тобой, для твоего удовольствія, не поссорюсь. Тебѣ нынче не удастся вытянуть у меня дерзость; но вспомни Лиза нянину пословицу, что вѣдь «и сырыя дрова загораются».

— И пусть—еще болѣе насупясь, отвѣчала Лиза.

Гловацкая не отвѣтила ни слова и, дойдя до перекрестной дорожки, тихо повернула къ дому.

Лиза шла рядомъ съ подругою, все сильнѣе и сильнѣе опираясь на ея руку.

Такъ онѣ дошли молча до самаго сада. Пройдя также молча нѣсколько шаговъ по саду, у поворота къ тополевой аллеѣ Лиза остановилась, высвободила свою руку изъ руки Гловацкой и, кусая ноготокъ, съ тѣми же, однако, насупленными бровками, сказала:

— Ты на меня сердишься, Женни? Я передъ тобою очень виновата; я тебя обидѣла, прости меня.

Большіе глаза Гловацкой и ея доброе лицо приняли выраженіе какого-то неописаннаго счастья.

— Боже мой!—воскликнула она:—какое чудо! Лиза Бахарева первая попросила прощенья.

— Да, прости меня, я тебя очень обидѣла, повторила Лиза и, бросаясь на грудь Гловацкой, зарыдала, какъ маленькій ребенокъ:—я скверная, злая и не стою твоей любви,—лепетала она, прижимаясь къ плечу подруги.

У Гловацкой тоже набѣжали слезы.

— Полно лгать, говорила она:—ты добрая, хорошая дѣвушка; я теперь еще больше люблю.

Лиза мало-по-малу стихала и, наконецъ, поднявъ голову, совсѣмъ весело взглянула въ глаза Гловацкой, отерла слезы и нѣсколько разъ ее поцѣловала.

— Пойдемъ, умоемся,—сказала Женни.

Дѣвушки снова вышли изъ сада и, взойдя на плотикъ, умылись и утерлись носовыми платками.

— Вотъ если бы насъ видѣли!—сказала Лиза съ улыбкой, которая плохо шла къ ея заплаканнымъ глазамъ.

— Ну и что-жъ, ничего бы не было, если бы и видѣли.

— Какъ же! Ахъ, Женька, возьми меня, душка, съ собою. Возьми меня, возьми отсюда. Какъ мнѣ хорошо было бы съ вами. Какъ я счастлива была бы съ тобою и съ твоимъ отцомъ. Вѣдь это онъ научилъ тебя быть такой доброю.

— Нѣтъ, я вѣдь такъ родилась, такая ледышка,—смѣясь, отвѣчала Женни.

— Да, какъ же! Нѣтъ, это тебя выучили быть такой хорошей. Люди не родятся такими, какими они послѣ выходятъ. Развѣ я была когда нибудь такая злая, гадкая, какъ сегодня?.. У Лизы опять навернулись слезы. Она была ужъ очень разстроена: кажется, всѣ нервы ея дрожали, и она ежеминутно снова готова была расплакаться.

Женни замѣтила это и сказала:

— Ну, перестанемъ толковать, а то опять придется умываться.

— Что-жъ, я говорю правду, мнѣ это больно; я никогда

не забуду, что сказала тебѣ. Я вѣдь и въ ту минуту этого не чувствовала, а такъ сказала.

— Ну, развѣ я этого не знаю.

— То-то, ты не подумай, что я хоть на минуту тебя не любила.

Лиза опять расплакалась.

— Ты забудь, забудь, говорила она сквозь слезы, — потому что я... сама ничего не помню, что я дѣлаю. Меня... такъ сильно... такъ сильно... такъ сильно... оби... обидѣли. Возьми... возьми къ себѣ, другъ мой! ангелъ мой хранитель... сох... сохрани меня.

— Что ты болтаешь, смѣшная! Какъ я тебя возьму? Здѣсь у тебя семья: отецъ, мать, сестры.

— Я ихъ буду любить, я ихъ еще... больше буду лю... бить. Тутъ я ихъ скорѣе перестану любить. Они, можетъ быть, и доб...рые всѣ, но они такъ странно со мною об... обра...щаются. Они не хотятъ понять, что мнѣ такъ нельзя жить. Они ничего не хотятъ понимать.

— Ты только успокойся, перестань плакать-то. Они узнаютъ, какая ты добрая, и поймутъ, какъ съ тобою нужно обращаться.

— Н...нѣтъ, они не поймутъ; они никог...да, ни...ког...да не поймутъ. Тетка Агнія правду говорила. Есть вѣрно въ самомъ дѣлѣ семьи, гдѣ еще меньше понимаютъ, чѣмъ въ институтѣ.

Лиза, разстроенная до послѣдней степени, неожиданно бросилась на колѣни предъ Гловацкою и въ какомъ-то изступленіи проговорила:

— Ангелъ мой, возьми! Я здѣсь ихъ возненавижу, я стану злая, стану демономъ, чудовищемъ, звѣремъ... или я... чортъ знаетъ чего надѣлаю.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Перчатка поднята.

Узнавъ, что мужъ очень сердится и начинаетъ похлопывать дверями, Ольга Сергѣевна рѣшилась выздоровѣть и

выйти къ столу. Она умѣла доѣзжать Егора Николаевича истерическими фокусами, но все-таки сильно побаивалась заходить далеко. Храбрый эксъ-гусаръ, опутанный слезливыми бабами, обыкновенно терпѣливо сносилъ подобныя сцены, и по безпредѣльной своей добротѣ, никогда не умѣлъ остановить ихъ прежде, чѣмъ эти сцены совершенно выводили его изъ терпѣнія. Но за то, когда визгъ, стоны, суетливая бѣготня прислуги выводили его изъ терпѣнія, онъ, громко хлопнувъ дверью, уходилъ въ свою комнату и порывисто бѣгалъ по ней изъ угла въ уголъ. Если же еще съ полчаса исторія въ домѣ не прекращалась, то двери кабинета обыкновенно съ шумомъ распахивались, Егоръ Николаевичъ выбѣгалъ оттуда дрожащій и съ растрепанными волосами. Онъ стремительно достигалъ комнаты, гдѣ истеричничала Ольга Сергѣевна, громовымъ словомъ и многознаменательнымъ движеніемъ чубука выгонялъ вонъ изъ этой комнаты всякую живую душу и затѣмъ держалъ къ корчившей ноги больной такую рѣчь:

— Вамъ мѣшаютъ успокоиться, и я васъ запру на ключъ, пока вы не перестанете.

Затѣмъ эксъ-гусаръ выходилъ за дверь, оставляя больную на постели одну-одинешеньку. Manu intrepida поворачивалъ онъ ключъ въ дверномъ замкѣ и, усѣвшись на первое ближайшее кресло, дымилъ какъ паровозъ, выкуривая трубку за трубкой, до тѣхъ поръ, пока за дверью не начинали стихать истерическіе стоны. Сначала, когда Ольга Сергѣевна была гораздо моложе и еще питала нѣкоторыя надежды хоть разъ выйти съ достоинствомъ изъ своего замкнутаго положенія, Бахареву иногда приходилось долгонько ожидать конца жениныхъ припадковъ; но разъ отъ раза, по мѣрѣ того, какъ взбѣшенный гусаръ прибѣгалъ къ своему оригинальному лѣченію, оно у него все шло удачнѣе. Не успѣетъ бывало Бахаревъ, усѣвшись у двери, докурить первой трубки, какъ уже вмѣсто безпорядочныхъ облаковъ дыма выпуститъ изо рта стройное, правильное колечко, что обыкновенно служило несомнѣннымъ признакомъ, что Егоръ Николаевичъ ровно

черезъ двѣ минуты встанетъ, повернетъ обратно ключъ въ двери, а потомъ уйдетъ въ свою комнату, велитъ запрягать себѣ лошадей и уѣдетъ дня на два, на три въ городъ заниматься дѣлами по предводительской канцеляріи и дворянской опекѣ. У Егора Николаевича никакъ нельзя было добиться: подозрѣваетъ ли онъ свою жену въ истерическомъ притворствѣ, или считаетъ свой способъ лѣченія надежнымъ средствомъ противъ дѣйствительной истерики, но онъ неуклонно слѣдовалъ своему правилу до счастливаго дня своей серебряной свадьбы. А теперь, когда Абрамовна доложила Ольгѣ Сергѣевнѣ, что «баринъ хлопнули дверью и ушли къ себѣ», Ольга Сергѣевна опасалась, что Егоръ Николаевичъ не измѣнитъ себѣ и до золотой свадьбы. Хорошо зная, что должно наступить послѣ маневра, о которомъ ей доложила Абрамовна, Ольга Сергѣевна простонала:

— Только не бѣгайте Бога ради, не суетитесь; голову всю мнѣ разломали своимъ безтолковымъ снованьемъ. Мечутся безъ толку изъ угла въ уголъ, словно угорѣлыя кошки, право.

Произнеся такую рѣчь, Ольга Сергѣевна будто успокоилась, полежала и потомъ спросила:

— А кормили ли сегодня кошечекъ-то?

— Какъ же, maman, кормили,—отвѣчала Софи.

— То-то. Матузалевнѣ надо было сырого мясца дать: она все еще нездорова; ее не надо кормить варенымъ. Дайтека мнѣ туфли и шлафоръ, я попробую встать. Бока отлежала.

Проба оказалась удачной. Ольга Сергѣевна встала, перешла съ постели на кресло и не надѣла бѣлаго шлафора, а потребовала темненькій капотикъ.

— Скучно здѣсь, говорила она, посматривая на дверь,— дайте я попробую выйти къ столу.

Вторая проба была опять удачна не менѣе первой. Ольга Сергѣевна безопасно достигла столовой, поклонилась мужу, потомъ помолилась передъ образомъ и сѣла за столъ на свое обыкновенное мѣсто.

Взглянувъ на заплаканные глаза Лизы, она сдѣлала страдальческую мину матери, оскорбленной непочтительною дочерью, и стала разливать супъ съ кнелью.

Егоръ Николаевичъ былъ мраченъ и хранилъ гробовое молчаніе. Глядя на него, всѣ тоже молчали.

— Что вы такъ мало кушаете, Женичка?—обратился, наконецъ, въ срединѣ обѣда Бахаревъ къ Гловацкой.

— Благодарю васъ, я сыта.

— То-то, вы кушайте по-нашему, по-русски, вплотную. У насъ, вѣдь, не то, что въ институтѣ: «дѣти! дѣти! чего вамъ? Картоофеллю, картоофффеллю!» пропищалъ, какъ-то весь сократившись, Бахаревъ, какъ-бы подражая въ этомъ разсказѣ какой-то директриссѣ, которая каждое утро спрашивала своихъ воспитанницъ: «дѣти, чего вамъ?» А дѣти ей всякое утро отвѣчали хоромъ «картофелю».

Всѣ были очень рады, что буря проходитъ, и всѣ разсмѣялись. И заплаканная Лиза, и солидная Женни, и рыцарственная Зина, безцвѣтная Софи, и даже сама Ольга Сергѣевна не могла равнодушно смотрѣть на Егора Николаевича, который, продекламировавъ послѣдній разъ «картоофеллю», остался въ принятомъ имъ на себя сокращенномъ видѣ и смотрѣлъ робкими институтскими глазами въ глаза Женни.

— Это вовсе не похоже: никогда этого у насъ не было,— смѣясь, отвѣчала Бахареву Женни.

— Какъ? какъ не было? Не было этого у васъ, Лизокъ? Не просили вы себѣ всякій день кааартоофеллю!

— Нѣтъ, папа: насъ хорошо кормили. Теперь въ институтахъ хорошо кормятъ.

— Ну, разсказывайте, *хорошо*. Знаемъ мы это хорошо! На десять штукъ фунтъ мяса сварятъ, а то все кааартоофеллю.

— Да нѣтъ же, папа, не знаете вы, — шутливо возразила Лиза.

— Реформы, значитъ, реформы, и до васъ дошли благодѣтельныя реформы?

— Да теперь по всему замѣтно, что въ институтахъ иные порядки настали. Прежнихъ порядковъ ужъ нѣтъ,— какъ-то двусмысленно замѣтила Ольга Сергѣевна.

— Да вотъ я смотрю на Евгенію Петровну! кровь съ молокомъ. Еслибы старые годы—съ сердечкомъ распростись.

— Стыдно подсмѣиваться, Егоръ Николаевичъ, — замѣтила Женни и покраснѣла.

— А краснѣютъ-то нынѣшнія институтки еще такъ же точно, какъ и прежнія,—продолжалъ шутить старикъ.

— Не всѣ, папа,—весело замѣтила Лиза.

— Да не всѣ, вздохнувъ и принявъ угнетенный видъ, подхватила Ольга Сергѣевна.—Изъ нынѣшнихъ институтокъ есть такія, что, кажется, ни передъ чѣмъ и не передъ кѣмъ не покраснѣютъ. О чемъ прежнія и думать-то, и разсуждать не умѣли, да и не смѣли, въ томъ нѣкоторыя изъ нынѣшнихъ съ старшими зубъ за зубъ. Ни совѣты имъ, ни наставленія, ничто не нужно. Сами все больше другихъ знаютъ и никѣмъ, и ничѣмъ не дорожатъ.

Лиза взглянула на Гловацкую и сохранила совершенное спокойствіе во все время, пока мать загинала ей эту шпильку.

За чаемъ шпигованье повторилось снова.

— Поѣдемте на озеро, Женичка. Вы вѣдь еще не были на нашемъ озерѣ. Будемъ тамъ ловить рыбу, сваримъ уху и пріѣдемъ,—предложилъ Бахаревъ.

— Нѣтъ, благодарю васъ, Егоръ Николаевичъ, я не могу, я сегодня должна быть дома.

— Полноте, что вамъ тамъ дома, съ своимъ старикомъ дѣлать? У насъ вотъ будетъ какой гусарчикъ Канивцовъ— чудо!

— Богъ съ нимъ!

— Сонька его совсѣмъ заполонила, разбойница, но вы... одно слово: veni, vidi, vici.

— Что это значитъ?

— Пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ.

— Оооо! Мнѣ этого пока вовсе ненужно.

— Те, те, те, ненужно! Всѣ такъ говорятъ — ненужно, а женишка́ порядочнаго сейчасъ и заплетутъ въ свои розовыя сѣти.

— Я вамъ не сказала, что мнѣ вовсе ненужно, а я говорю, мнѣ это *пока* ненужно.

— А,—разсмотрѣть хотите, это другое дѣло. Ну, а съ нами-то нынче оставайтесь.

— Не могу, Егоръ Николаевичъ.

— Лиза, что-жъ ты не просишь?

Лиза очень боялась этого разговора и чуть внятно проговорила:

— Оставайся, Женни.

— Не могу. Лиза, не проси. Ты знаешь, ужъ если-бы было можно, я не отказала бы себѣ въ удовольствіи и осталась бы съ вами.

— Вы не по-дружески ведете себя съ Лизой, Женичка, начала Ольга Сергѣевна. Прежнія институтки тоже такъ не поступали. Прежнія всегда старались превосходить одна другую въ великодушіи.

— Если одна пила рюмку уксуса, то другая двѣ за нее,—подхватилъ развеселившійся Бахаревъ и захохоталъ.

— Да, продолжала Ольга Сергѣевна, — а вы вотъ не такъ. Лиза у васъ ночевала, по вашему приглашенію, а вы не удовлетворяете ея просьбы.

Лиза во время этого разговора старалась смотрѣть какъ можно спокойнѣе.

— Лизанька, вѣроятно, и совсѣмъ готова была бы у васъ остаться, а вы не хотите подарить ей одну ночку.

— Я не могу, Ольга Сергѣевна.

— Отчего же она могла?

— У меня хозяйство, я ничѣмъ не распорядилась.

— А, вы хозяйничаете!

— Не могу выдерживать. Я и за обѣдомъ едва могла промолчать на всѣ эти задиранья. Господи! укроти ты мое сердце!—сказала Лиза, выйдя изъ-за чая.

Ольга Сергѣевна прямо изъ-за самовара ушла къ себѣ;

для Гловацкой велѣли запрягать ея лошадь, а на балконъ подали душистый, розовый варенецъ.

Вся семья, кромѣ старухи, сидѣла на балконѣ. На дворѣ были густыя лѣтнія сумерки и изъ-за меревскаго сада выплывала красная луна.

— Ахъ, луна!—воскликнула Лиза.

— Что это, Лиза! точно вы не видали луны,—замѣтила Зинаида Егоровна.

— И этого нельзя?—сухо спросила Лиза.

— Не нельзя, а смѣшно. Тебя прозовутъ мечтательницею. Зачѣмъ же быть смѣшною?

Къ крыльцу подали дрожки Гловацкаго, и Женни стала надѣвать шляпку.

— Надолго теперь, Женни?

— Не знаю, Лизочка. Я постараюсь увидѣть тебя поскорѣе.

— Вы ужъ и замужъ безъ Лизы не выходите,—смѣясь проговорилъ Бахаревъ.

— Я ужъ вамъ сказала, Егоръ Николаевичъ, что мы съ Лизой еще и не собираемся замужъ.

Бахаревъ продекламировалъ:

«Золотая волюшка
Мнѣ милѣй всего,
Не надо мнѣ съ волею
Въ свѣтѣ ничего».

— Такъ ли?

— Именно такъ, Егоръ Николаевичъ?

— И ты тоже, Лизокъ?

— О, да, тысячу разъ да, папа.

— Ну вотъ, говорятъ, институтки перемѣнились! Все тѣ же, и все тѣ же у нихъ пѣсенки.

Егоръ Николаевичъ снова расхохотался. Женни простилась и вышла. Зина, Софи и Лиза проводили ее до самыхъ дрожекъ.

— Какая ты счастливица, Женни: ѣхать ночью одной по лѣсу. Ахъ, какъ хорошо!

— Боже мой! что это, въ самомъ дѣлѣ, у тебя, Лиза, то ночь, то луна, дружба... тебя, просто, никуда взять нельзя, съ тобою засмѣютъ, — произнесла по-французски Зинаида Егоровна.

Женни замѣтила при свѣтѣ луны, какъ на глазахъ Лизы блеснули слезы, но не слезы горя и отчаянія, а сердитыя, непокорныя слезы, и прежде чѣмъ она успѣла что-нибудь сообразить, та откинула волосы и рѣзко сказала:

— Ну, однако, это ужъ надоѣло. Знайте же, что мнѣ все равно не только то, что скажутъ обо мнѣ ваши знакомые, но даже и все то, что съ этой минуты станете обо мнѣ думать сами вы, и моя мать, и мой отецъ. Прощай, Женни, добавила она и шибко взбѣжала по ступенямъ крыльца.

— Однако, какія тамъ странныя вещи, въ самомъ дѣлѣ, творятся, папа,—говорила Женни, снимая у себя въ комнатѣ шляпку.

— Что такое, Женюша?

Гловацкая разсказала отцу все происходящее на ея глазахъ въ Меревѣ.

— Это скверно, замѣтилъ старикъ .— Чудаки, право, люди не злые, особенно Егоръ Николаевичъ, а живутъ Богъ знаетъ какъ. Надо бы Агнесѣ Николаевнѣ это умненечко шепнуть: она направитъ все иначе,—а пока Христосъ съ тобой,—иди съ Богомъ спать, Женюшка.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Слово съ вѣсомъ.

Мать Агнія у окна своей спальни вязала нитяный чулокъ. Передъ нею на стулѣ сидѣла сестра Ѳеоктиста и разматывала съ моталки бумагу. Былъ двѣнадцатый часъ дня.

— Это, конечно, дѣлаетъ тебѣ честь, говорила игуменья, обращаясь къ сестрѣ Ѳеоктистѣ: — а все же такъ

нельзя. Я просила губернатора, чтобы тебѣ твое, что слѣдуетъ, отъ свекрови истребовали и отдали.

Ѳеоктиста не отрывала глазъ отъ работы и молчала.

Голосъ игуменьи на этотъ разъ былъ какъ-то слабѣе обыкновеннаго: ей сильно нездоровилось.

— Пока ты здорова, конечно можешь и безъ поддержки прожить, — продолжала мать Агнія: — а помилуй Богъ, болѣзни,—тогда что?

— Я, матушка, здорова,—тихо отвѣчала Ѳеоктиста.

— Ну, да. Я объ этомъ не говорю теперь, а вѣдь живъ человѣкъ живое и думаетъ. Мало ли чѣмъ Господь можетъ посѣтить: тогда копѣечка-то и понадобится.

Ѳеоктиста вздохнула.

— И опять, что не въ коня кормъ-то класть, — разсуждала мать Агнія.—Другое дѣло, если бы оставила ты свое доброе роднымъ, или нероднымъ, да людямъ, которые понимали бы, что ты это дѣлаешь отъ благородства, и сами бы поучались быть поближе къ добру-то и къ Богу. Тутъ бы и говорить нечего: дѣло хорошее. А то, что изъ всего этого выходитъ? Свекровь твоя ужъ навѣрное тебя же дурой считаетъ, да и весь городъ-то, мужланы-то ваши, о тебѣ того же мнѣнія. «Вонъ, молъ, дуру-то какъ обдѣлали», да и сами того же на другихъ, тебѣ подобныхъ, овцахъ искать станутъ. Подумай сама, не правду ли я говорю?

— Не знаю, матушка,—краснѣя проронила Ѳеоктиста.

Въ кельѣ наступило молчаніе.

Игуменья быстро шевелила чулочными прутками и смотрѣла на свою работу, нѣсколько надвинувъ брови и о чемъ-то напряженно размышляя. Ѳеоктиста также усердно работала и съ полчаса въ кельѣ только и было слышно что щелканье чулочныхъ спицъ, да ровный, усыпляющій шумъ деревянной моталки.

— Дома мать игуменья?—произнесъ среди этой тишины мужской голосъ въ передней.

Игуменья подняла на лобъ очки и, относясь къ Ѳеоктистѣ проговорила:

— Кто бы это такой?

Ѳеоктиста немедленно встала и въ комнатѣ дѣвочекъ встрѣтилась съ Бахаревымъ, который шутливо погрозилъ ей пальцемъ и вошелъ къ игуменьѣ.

— Здравствуй, сестра!—произнесъ онъ, цѣлуя руки матери Агніи.

— Здравствуй, Егоръ! отвѣчала игуменья, снова надѣвъ очки и снова зашевеливъ стальными спицами.

— Какъ живешь-можешь?

— Что мнѣ дѣлается? Живу, Богу молюсь, да хлѣбъ жую. Какъ вы тамъ живете.

— И мы живемъ.

— Ну и хорошо. Къ губернатору, что ли, пріѣхалъ?

— Да, и дѣлишки кое-какія собрались, и съ тобой захотѣлось повидаться.

— Спасибо. — Чаю хочешь?

— Пожалуй.

— Ѳеоктиста! скажи тамъ,—распорядилась игуменья.

Ѳеоктиста вышла и черезъ минуту вошла снова.

— Эхъ, сестра Ѳеоктиста, шутилъ Бахаревъ,—какъ на васъ и смотрѣть ужъ не знаю!

— Какъ изволите? — спросила спокойно ничего неразслышавшая Ѳеоктиста, но покраснѣла, зная, что Бахаревъ любитъ пройтись на счетъ ея земной красоты.

— Полно врать-то! Тоже любезничать: сѣдина въ голову, а бѣсъ въ ребро,—съ поддѣльнымъ неудовольствіемъ остановила его игуменья и, посмотрѣвъ съ артистическимъ наслажденіемъ на Ѳеоктисту, сказала: — Иди пока домой. Я тебя позову, когда будетъ нужно.

Монахиня поставила въ уголокъ моталку, положила на нее клубокъ, низко поклонилась, проговорила: «спаси васъ, Господи!» и вышла.

Братъ съ сестрою остались вдвоемъ. Весноватая келейница подала самоваръ.

— Ну, что-жъ твои тамъ дѣлаютъ?—спросила игуменья, заваривъ чай и снова взявшись за чулочныя спицы.

— Да что? Не знаю, какъ тебѣ разсказать.

— Что-жъ это за мудрость такая!

— Съ котораго конца начать-то, говорю, не знаю.

Игуменья подняла голову и, не переставая стучать спицами, пристально посмотрѣла черезъ свои очки на брата.

— Жена ничего, — хворала немножко, проговорилъ Бахаревъ,—а теперь лучше; дѣти здоровы, слава Богу.

— А Зининъ мужъ?—спросила мать Агнія, смотря на брата тѣмъ же проницательнымъ взглядомъ и попрежнему стуча спицами.

— Да вотъ думалъ, не встрѣчу ли его здѣсь.

— А она у васъ все?

— У насъ пока.

Игуменья покачала неодобрительно головой и стала поднимать спущенную петлю.

— Странная ты, сестра! Гдѣ же ей въ самомъ дѣлѣ быть?

— Гдѣ? У мужа, я думаю.

— Да вѣдь вотъ поди же.

Бахаревъ въ недоумѣніи развелъ руками.

— Что-жъ такое?

— Не ладятъ все, Богъ ихъ знаетъ.

— А вы приголубливайте дочку-то. Поди, молъ, сюда: ты у насъ паинька,—кошка дура.

— Да вѣдь что-жъ дѣлать?

— Къ мужу отправить. Отрѣзанный ломоть къ хлѣбу не пристаетъ. Разъ бы, да другой увидала, что нельзя глупить, такъ и обдумалась бы; она вѣдь не дура. А то маменька съ папенькой сами потворствуютъ, бабенка и дуритъ, а потомъ и въ привычку войдетъ.

— Да я, сестра, ничего, я даже...

— Ты даже,—хорошо. Постой-ка, батюшка! Ты, вонъ тебѣ шестой десятокъ, да на хорошенькихъ-то зѣваешь, а ея мужу тридцать лѣтъ! тутъ безъ грѣха грѣхъ.—Да грѣхъ-то еще грѣхомъ, а то и сердечишко заговоритъ. Отъ капризныхъ-то женъ мужей вѣдь умѣютъ подбирать: тебѣ, молъ, милая, онъ не годится, ну, дескать, мнѣ подай. Вы объ

этомъ подумали съ нѣжной маменькой-то или нѣтъ, — а?

— Да я, сестра...

— Что, братецъ?

— Я съ тобой совершенно согласенъ, даже хотѣлъ...

— Да вѣрно хотѣй не велѣлъ, — ѣдко подсказала игуменья.

— Да полно тебѣ, сестра! Я говорилъ, что это нехорошо.

— Это гадко, а не просто нехорошо. Парень слоняется изъ дома въ домъ по барынькамъ, да сударынькамъ, вездѣ ему рады. Да и отчего-жъ нѣтъ? Человѣкъ молодой, не дуренъ, говорить не дуракъ, — а дома пустыя комнаты, да женины капризы помнятся: эй, глядите, друзья, попомните мое слово: будетъ у васъ эта милая Зиночка ни дѣвушка, ни вдова, ни замужняя жена.

— Да она возвратится, возвратится.

— Когда-жъ это она возвратится?

— Да вотъ...

— Когда мужъ пріѣдетъ, да станетъ ублажать, ручки лизать, да упрашивать? А какъ, наконецъ, и не станетъ? — значительно моргнувъ однимъ глазомъ, закончила мать Агнія.

Бахаревъ молчалъ.

— Переломить надо эту фанаберію-то. Пусть разъ спѣсьто свою спрячетъ, да вернется къ мужу съ покорной головой. А то,—эй, смотри, Егоръ! — на цѣлый вѣкъ вы бабенку сгубите. И что ты-то въ самомъ дѣлѣ, за колпакъ такой.

— Я право, сестра, самъ бы давно ее спровадилъ, да вѣдь знаешь мой характеръ дурацкій: сценъ этихъ смерть боюсь. Вѣдь изъ себя выйду, чортъ знаетъ что надѣлаю.

— Да что тутъ за сцены! Велѣлъ тихо-спокойно запречь карету, объявилъ рабѣ Божіей: «поѣзжай, молъ, матушка, честью, а не поѣдешь, повезутъ поневолѣ», — вотъ и вся недолга. И поѣдетъ, какъ увидитъ, что съ ней не шутки шутятъ, и съ мужемъ изъ-за вздоровъ разъѣзжаться по пяти разъ на годъ не станетъ. Тебя же еще будетъ

благодарить и носа съ прежними штуками въ отцовскій домъ, срамница этакая, не покажетъ.—А Лиза какъ?

Бахаревъ опять развелъ руками и, вытянувъ впередъ губы, отвѣчалъ:

— Да, тоже какъ-то все...

— А-а, ужъ началось! Я такъ скоро не ожидала.—Ну, что же такое?

— Съ матерью, съ сестрами все какъ-то не поладитъ. Она на нихъ, онѣ на нее... ничего не разберу. Поступки такіе какіе-то странные...

— Напримѣръ?

— Да вотъ, напримѣръ, недѣли три тому назадъ, ночью улетѣла.

— Куда это она могла улетѣть? Разскажи, батюшка мой, толкомъ.

Игуменья положила на колѣни работу и приготовилась слушать.

Бахаревъ разсказалъ извѣстную намъ исторію Лизиной поѣздки къ Гловацкимъ и остановился на отъѣздѣ Женни.

— Ну, а послѣ жъ что было?—спокойно спросила игуменья.

— За сущіе пустяки, за луну тамъ, что ли, избранила Соню и Зину, ушла, не прощаясь, наверхъ, двое сутокъ высидѣла въ своей комнатѣ; ни съ кѣмъ ни одного слова не сказала.

Игуменья улыбнулась и опять сказала:

— Ну.

— Ну, и такъ до сихъ поръ: кромѣ «да» да «нѣтъ» никто отъ нея ни одного слова не слышалъ. Я ужъ было и покричалъ намедни,—ничего, и глазомъ не моргнула. Ну, а потомъ мнѣ жалко ее стало, приласкалъ, и она ласково меня поцѣловала. — Теперь вотъ передъ отъѣздомъ моимъ пришла въ кабинетъ сама (чтобы не забыть еще, право), просила ей хоть какой-нибудь журналъ выписать.

— Какой же?

— Журналъ для дѣвицъ, что-ль то: тамъ у меня записано. Жена ей выбрала.

— А, Ольга Сергѣевна! Ну, она во всемъ знатокъ!

— Что-жъ, все-таки мать.

— Да кто жъ говоритъ!

Игуменья медленно приподнялась, отворила старинную шифоньерку и, доставъ оттуда тридцать рублей, положила ихъ передъ братомъ, говоря:

— Вотъ сдѣлай-ка мнѣ одолженіе, потрудись выписать Лизѣ два хорошіе журнала. Она не дитя, чтобы ей побасенки читать.

— Да зачѣмъ же это, сестра? На что жъ твои деньги? Развѣ я самъ не могу выписать для дочери?

— Ну ты самъ можешь дѣлать что тебѣ угодно, а это прошу сдѣлать отъ меня. А не хочешь, я и сама пошлю на почту, — добавила она, протягивая руку къ лежащимъ деньгамъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ же ты сердишься? Я пошлю завтра же.

— Да, пожалуйста, и Лизѣ скажи, что это я ей посылаю. Пусть на здоровье читаетъ. Лучше чѣмъ стонать-то, да съ гусарами брындахлыстничать.

— Ну, ужъ ты пошла!

— Да поѣхала.

— Какая ты право, Агнеса! Къ тебѣ ѣдешь за совѣтомъ, за добрымъ словомъ, а ты все ищешь, какъ бы уколоть, уязвить да обидѣть.

Игуменья только перемѣнила спицу и начала новый рядъ.

— Мнѣ самому кажется, что съ Лизой нужно какъ-то не такъ.

Игуменья спокойно вязала.

— Какъ она тебѣ, сестра, показалась?

— Да что жъ — какъ мнѣ? Надо знать, какъ она вамъ показалась? Вы для нея больше, чѣмъ я.

— Да мнѣ кажется, она добрая дѣвочка, только съ душкомъ.

— То-есть, съ характеромъ, скажи.

— Тебѣ она, видно, понравилась?

— Хорошая дѣвушка: прямая и смѣлая.

— Это еще институтское.

— Нѣтъ, это кровное, — съ нѣкоторою, едва, впрочемъ, замѣтною гордостью возразила игуменья.

— Вотъ ты все толкуешь, сестра, о справедливости, а и сама тоже несправедлива. Соничкѣ тамъ, или Зиночкѣ всё въ строку, даже гусаровъ. Вѣдь не выгонять же молодыхъ людей.

— Молодыхъ повѣсъ, скажи,—перебила игуменья.

— Ну, будь по твоему, ну, повѣсъ; а все же не выгонятъ ихъ изъ дому, когда дѣвушки въ домѣ.

Игуменья промолчала.

— И опять; отчего же такъ они всѣ повѣсы? Есть и очень солидные молодые люди.

— Солидные молодые люди дѣло дѣлаютъ: прежде хорошенько учатся, а потомъ хорошенько служатъ; а эти-то кое-какъ учились и кое-какъ служить норовятъ, лишь бы выслужиться. Повѣсы да и только.

— Однако же и Гловацкій молодой тебѣ не понравился, а вѣдь онъ по ученой части идетъ.

— И по ученой части дураковъ развѣ мало? Я думаю, пожалуй, не меньше чѣмъ гдѣ-нибудь.

— Ну, о немъ, я думаю, этого нельзя сказать,—критиканъ большой, это точно.

— Дуракъ онъ большой, надѣлъ на себя какую-то либеральную хламиду и несетъ вздоръ, благо попалъ въ болото, гдѣ и трясогузъ птица. Какъ это ты, въ самомъ дѣлѣ, опустился, Егоръ, что не умѣешь ты различить паву по перьямъ. Этотъ балбеска Ипполитъ, Зина съ Соней, или Лиза, это у тебя все на одномъ кругу вертится. Ну, ты только подумай! То вральманъ, которому покажи пукъ розогъ, такъ онъ и отъ всего отречется; Зина съ Соней какія-то нылы-ноющія,—кто ужъ ихъ тамъ опредѣлитъ: и въ коробъ не лѣзутъ, и изъ короба не идутъ. На этотъ фруктъ

нонче у насъ пора урожайная: прудъ пруди людямъ насмѣхъ, еще ихъ вволю останется. А Лизанька — кровь! Пойми ты: *бахаревская* кровь, а не Ольги Сергѣевнина. Ты долженъ стать за Лизу. Лиза женщина, я въ ней вижу нашу гордость. Мало ли, что имъ въ ней примерещится. Ты долженъ ее защитить отъ этого пиленья-то. Вѣдь самъ знаешь, что противъ жару и камень треснетъ, а въ ней— опять тебѣ повторяю—наша кровь, бахаревская.

— Да, я это чувствую, пріосаниваясь говорилъ Егоръ Николаевичъ,—я чувствую и понимаю.

— А понимаешь, такъ и разумѣй, какъ долженъ поступать. Горяча она очень, откровенна, пряма до смѣшного— это пройдетъ. Съ Женней пусть почаще вмѣстѣ бываютъ: дѣвушка предостойная, хотя и совсѣмъ въ другомъ родѣ. А умничать надъ нею много не позволяй. Школить-то ее нечего, какъ собаченку. Свѣтской пустотѣ сама еще подчинится, придетъ время. За женихами падать очень ужъ такъ нечего. Такія дѣвушки, какъ Лиза, на каждомъ шагу не встрѣчаются. Была бы охота, найдетъ доброхота. Придетъ пора, передѣлается, насколько сама сочтетъ нужнымъ. Изъ ничего ничего не сдѣлаешь, а она матерьялъ. Я вонъ вѣкъ свой до самаго монастыря француженкой росла, а нынче, батюшка мой, съ мужикомъ мужичка, съ купцомъ купчиха, а съ бариномъ и барыней еще быть не разучилась. Это все пустяки, а ты смотри, чтобы ее не грызли, чтобъ она не металась, бѣдняжка, нигдѣ не находя сочувствія: вотъ это твое дѣло.

— Это правда, я непремѣнно, непремѣнно.

Бахаревъ сталъ прощаться.

— Ты сегодня развѣ ѣдешь?

— Сейчасъ даже; человѣка оставлю забрать покупки да вотъ твои деньги на почту отправить, а самъ сейчасъ домой. Ну, прощай, сестра, будь здорова.

— Прощай, да смотри помни о Лизѣ-то.

— Хорошо, хорошо.

— То-то хорошо. Скажи на ушко Ольгѣ Сергѣевнѣ, при-

бавила смѣясь игуменья, — что если Лизу будутъ обижать дома, то я ее къ себѣ въ монастырь возьму. Не смѣйся, не смѣйся, а скажи. А безъ шутокъ говорю: если увижу, что вы не хотите дать ей жить сообразно ея натурѣ, честное слово даю, что къ себѣ увезу.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Слово воплощается.

Черезъ день послѣ описаннаго разговора Бахарева съ сестрою въ Меревѣ обѣдали ранѣе обыкновеннаго, и въ то время, какъ господамъ подавали кушанье, у подъѣзда стояла легонькая бахаревская каретка, запряженная четверней небольшихъ саврасыхъ вятокъ.

За столомъ сидѣла вся семья и Юстинъ Помада, нѣсколько блѣдный и нѣсколько растерянный.

У Ольги Сергѣевны и Зины глаза были наплаканы до опухоли вѣкъ; Софи тоже была не въ своей тарелкѣ.

Одна Лиза сидѣла ровно и спокойно, какъ будто чужое лицо, до котораго прямымъ образомъ нимало не касаются никакія домашнія дрязги.

Егоръ Николаевичъ былъ твердъ тою своеобычною рѣшимостью, до которой онъ доходилъ послѣ долгихъ уклоненій, и съ которой ужъ за то его свернуть было невозможно, если его разъ перепилили. Теперь онъ ѣлъ за четверыхъ и не обращалъ ни на кого ни малѣйшаго вниманія.

Зина была одѣта въ очень кокетливо сшитое дорожное холстинковое платье; всѣ прочія были въ своихъ обыкновенныхъ нарядахъ.

Пружина безмятежнаго пріюта дѣйствовала: Зина уѣзжала къ мужу. Она энергически протестовала противъ своей высылки, еще энергичнѣе протестовала противъ этого мать ся, но всѣхъ энергичнѣе былъ Егоръ Николаевичъ. Объявивъ свою непреклонную волю, онъ ушелъ въ кабинетъ, многозначительно хлопнулъ дверью, велѣлъ кучерамъ запрягать карету, а горничной дѣвушкѣ Зины укладывать ея

вещи. Бахаревъ отдалъ эти распоряженія такимъ тономъ, что Ольга Сергѣевна только проговорила:

— Собирайся, Зиночка.

А люди стали перешептываться:

— Т-съ! баринъ гнѣвенъ!

Правду говоря, однако, всѣхъ тяжеле въ этотъ день была роль самого добросердаго барина и всѣхъ пріятнѣе роль Зины. Ей давно смерть хотѣлось возвратиться къ мужу, и теперь она получила разомъ два удовольствія: надѣвала на себя вѣнокъ страдалицы и возвращалась къ мужу, яко бы не по собственной волѣ, имѣя, однако, въ виду всѣ пріятныя стороны совмѣстнаго житья съ мужемъ, которыми весьма дорожила ея натура, неуважавшая капризовъ распущеннаго разума.

Рада была Зина, когда лошади тронули ее отъ отцовскаго крыльца, радъ былъ и Егоръ Николаевичъ, что онъ выдержалъ и поставилъ на своемъ.

— Бахаревская кровь, думалъ онъ,—бахаревская кровь, сила, терпѣніе, настойчивость: я Бахаревъ, я настоящій Бахаревъ.

— Мнишекъ!—крикнулъ онъ, подумавши это:—позвать мнѣ Марину.

Явилась Абрамовна.

— Лизочкины вещи перенесть въ Зинину комнату и устроить ей тамъ все, какъ слѣдуетъ,—скомандовалъ Бахаревъ.

Марина Абрамовна молча поглядывала то на Егора Николаевича, то на его жену.

— Слышишь?—спросилъ Егоръ Николаевичъ.

— Слушаю-съ—отвѣчала старуха.

— Ну, и дѣлай.

— Егоръ!—простонала Ольга Сергѣевна.

— Что-съ?—отрывисто спросилъ Бахаревъ.

— Это можно послѣ.

— Это можно и сейчасъ.

— Гдѣ же будетъ помѣщаться Зина?

— У мужа.

— Но у нея не будетъ комнаты.

— Мужнинъ домъ великъ. Пока ребятъ не нарожала еще, двѣ семьи размѣстить можно.

— Но для пріѣзда.

— А! ну да. Мнишекъ, устрой такъ, чтобы Зиночкѣ было хорошо въ пріѣздъ остановиться въ теперешней Лизиной комнаткѣ.

— Слушаю-съ,—снова, посматривая на всѣхъ, проговорила Абрамовна.

— Ну, иди.

Абрамовна вышла.

— Какъ же это можно, Егоръ Николаевичъ, помѣстить Зину въ проходной комнатѣ?—запротестовала Ольга Сергѣевна.

— Га! А Лизу можно тамъ помѣстить?

— Лиза ребенокъ.

— Ну, такъ что-жъ?

— Она еще недавно въ общихъ дортуарахъ спала.

— А Зина?

— Что-жъ, Зинѣ, по вашему распоряженію теперь негдѣ и спать будетъ.

— Негдѣ? негдѣ?—съ азартомъ спросилъ Бахаревъ.

— Конечно, негдѣ?—простонала Ольга Сергѣевна.

— У мужа въ спальнѣ, полушопотомъ и съ грознымъ придыханіемъ произнесъ Егоръ Николаевичъ.

— Ахъ, Боже мой!..

— Что-съ?

— Ну, а на случай пріѣзда?

— О! на случай пріѣзда довольно и Лизиной комнаты. Если Лизѣ для постояннаго житья ея довольно, то ужъ для пріѣзда-то довольно ея и черезчуръ.

— Что-жъ, устроено все? — спросилъ Бахаревъ Абрамовну, сидя за вечернимъ чаемъ.

Абрамовна молчала.

— Не устроено еще?—переспросилъ Бахаревъ.

— Завтра можно, Егоръ Николаевичъ, — отвѣтила за Абрамовну Ольга Сергѣевна.

Бахаревъ допилъ стаканъ, всталъ и спокойно сказалъ:

— Лиза! иди-ка къ себѣ. Мы перенесемъ тебя съ Юстиномъ Феликсовичемъ.

И пошли, и перенесли все Лизино въ спокойную, удаленную отъ всякаго шума комнату Зины, а Зинины вещи довольно уютно уставили въ бывшей комнатѣ Лизы.

И все это своими руками.

— Вотъ живи, Лизочекъ,—возгласилъ Егоръ Николаевичъ, усѣвшись отдохнуть на табуретѣ въ новомъ помѣщеніи Лизы, когда тутъ все уже было уставлено и приведено въ порядокъ.

Лиза, хранившая мертвое молчаніе во время всѣхъ сегодняшнихъ распоряженій, при этихъ словахъ встала и поцѣловала отцовскую руку.

— Живи, голубка. Книги будутъ и покой тебѣ будетъ.

— Я завтра полочки тутъ для книгъ привѣшу, проговорилъ Помада, сидѣвшій тутъ же на ящикѣ въ углу, и на слѣдующее утро онъ явился съ тремя книжными полочками на ремнѣ и большою, закрытою зеленою бумагою, клѣткою, въ которой сидѣлъ курскій соловей.

Полки Помада повѣсилъ по стѣнкѣ, а клѣтку съ курскимъ соловьемъ подъ окномъ.

— Отлично теперь, Лизавета Егоровна!—произнесъ онъ, забивъ послѣдній гвоздь и отойдя къ двери.

— Отлично, Юстинъ Феликсовичъ, — отвѣчала Лиза и стала уставлять на полки свои книжечки.

Такъ и зажила Лиза Бахарева.

Ставъ одинъ разъ въ разрѣзъ съ матерью и сестрами, она не умѣла съ ними сойтись снова, а онѣ этого не искали. Отецъ стоялъ за нее, но не умѣлъ найти ея прямой симпатіи. Съ Женей она видалась не часто и то на самое короткое время. Она видѣла, что у матери и сестеръ есть предубѣжденіе противъ всѣхъ ея прежнихъ привязанностей и писала Гловацкой: «Ты, Женька, не подумай, что я тебя

разлюбила! Я тебя всегда буду любить. Но ты знаешь, какъ мнѣ скверно, и я не хочу, чтобы это скверное стало еще сквернѣе. А я тебя крѣпко люблю. Ты не сердись, что я къ тебѣ не ѣзжу! Меня теперь и пустили бы, да я теперь не хочу этой милости. Ты пріѣзжай ко мнѣ. У меня теперь хорошо, а пока пришли мнѣ книгъ. У меня есть три журнала, да что-жъ это!»

Женни брала у Вязмитинова для Лизы—Гизо, Маколея, Милля, Шлоссера. Все это она посылала къ Лизѣ и только дивилась, какъ такъ скоро все это возвращалось съ лаконическою надписью карандашемъ: «читала», «читала» и «читала».

— Давайте еще,—просила Женни Вязмитинова.

— Право ужъ ничего болѣе нѣтъ,—отвѣчалъ учитель.

— Хотите политическую экономію послать?—спрашивалъ Зарницынъ.

— Или логику Гегеля,—шутя добавлялъ Вязмитиновъ.

— Давайте, давайте,—отвѣчала Женни.

И ѣхали эти книжки, шутки ради, въ Мерево, а оттуда возвращались съ лаконическими надписями: «читала», «читала».

— Лиза, что это ты дѣлаешь! — спрашивала Гловацкая.

— Что, дружокъ мой?

— Ты будешь синимъ чулкомъ.

— Отчего?

— Что ты все глотаешь?

— А! ты это о книгахъ?

— Да, о книгахъ.

— Я люблю читать.

— Но нужно читать что-нибудь одно. Вязмитиновъ говоритъ, что непремѣнно нужно читать съ системой, и я это чувствую.

— Ты что же читаешь?

— Я читаю одни историческія сочиненія.

— Это хорошо.

— А ты?

— Я читаю все. Я терпѣть не могу системъ. Я очень люблю заниматься такъ, какъ занимаюсь. Я хочу жить безъ указки всегда и во всемъ.

И такъ жила Лиза до осени, до Покрова, а на Покровъ у нихъ былъ прощальный деревенскій вечеръ, за которымъ слѣдовалъ отъѣздъ въ губернскій городъ на цѣлую зиму.

На этомъ прощальномъ вечерѣ гостей было со всѣхъ волостей. Были и гусары, и помѣщики либеральные, и помѣщики изъ непосредственныхъ натуръ, и дамы уродливыя, и дамы хорошенькія, сочныя, аппетитныя и довольно рѣшительныя. Егоръ Николаевичъ ходилъ лично приглашать къ себѣ камергершу Мереву, но она, вмѣсто отвѣта на его приглашеніе, спросила:

— А Кожухова у тебя будетъ?

— Будетъ,—отвѣчалъ Бахаревъ.

— И князь будетъ?

— Какъ же, будетъ.

— Ну, батюшка, такъ что-жъ ты хочешь развѣ чтобъ на твоемъ вечерѣ скандалъ былъ?

— Боже спаси!

— То-то, я вѣдь не утерплю, спрошу эту мадамъ, гдѣ она своего мужа дѣла? Я его мальчикомъ знала и любила. Я не могу, видя ее, лишить себя случая дать ей давно слѣдующую пощечину. Такъ лучше, батюшка, и не зови меня.

Смотритель и Вязмитиновъ съ Зарницынымъ были на вечерѣ, но держались какъ-то въ сторонкѣ, а докторъ обѣщалъ быть, но не пріѣхалъ. Лиза и здѣсь, по обыкновенію, избѣгала всякихъ разговоровъ и, нехотя протанцовавъ двѣ кадрили, ушла въ свою комнату съ Женей.

— Кто этотъ молоденькій господинъ пріѣзжій?—спросила она Женни объ одномъ изъ гостей.

— Который?

— Черный, молоденькій.

— Какой-то Пархоменко.

— Нѣтъ, о Пархоменкѣ я слышала, а этотъ иностранецъ?

— Какой-то Райнеръ.

— Что онъ такое?

— Богъ его знаетъ.

— Откуда они? Изъ Петербурга?

— Да.

— У кого они гостятъ?

— Богъ ихъ знаетъ.

— Этотъ Пархоменко дурачекъ.

— Кажется.

— А Райнеръ?

— Не знаю.

— Чего бы ему сюда съ дураками?—убирая косу, проговорила Лиза и легла съ Женею спать подъ звуки безпощадно разбиваемаго внизу фортепіано.

Лиза ужъ совсѣмъ эмансипировалась изъ-подъ домашняго вліянія, и на такихъ положеніяхъ уѣхала, на третій день послѣ прощальнаго вечера, со всею своею семьею въ губернскій городъ.

— А хорошо, папа, устроилась теперь Лиза,—говорила отцу Женни, ѣдучи съ нимъ на другой день домой.

— Ну... промычалъ Гловацкій и ничего не высказалъ.

Вечеромъ въ этотъ же день у нихъ былъ Пархоменко и Райнеръ.

Пархоменко все дергалъ носомъ, колупалъ пальцемъ глазъ и говорилъ о необходимости совершенно иныхъ во всемъ порядковъ и разныхъ противодѣйствій консерваторамъ. Райнеръ много разсказывалъ Женни о чужихъ краяхъ, а въ особенности объ Англіи, въ которой онъ долго жилъ и которую очень хорошо зналъ.

— Боже! я тамъ всегда видѣла верхъ благоустройства,— говорила ему Женни.

— И неправомѣрности,—отвѣчалъ Райнеръ.

— Тамъ свобода.

— Номинальная. Свобода протестовать противъ голода и умирать безъ хлѣба,—спокойно отвѣчалъ Райнеръ.

— А все же свобода.

— Да. Свобода голоднаго рабства.

— А у насъ?

— У васъ есть будущее: у васъ меньше вредныхъ преданій.

— У насъ невѣжество.

— На дѣло скорѣе готовы люди односторонніе, чѣмъ переворачивающіе все на всѣ стороны.

— Гдѣ вы учились по-русски?

— Я давно знаю. Мнѣ нравился вашъ народъ и вашъ языкъ.

— Вы поговорите съ Вязмитиновымъ. Онъ здѣсь, кажется, больше всѣхъ знаетъ.

«Какой странный этотъ Райнеръ!» думала Женни, засыпая въ своей постелькѣ послѣ этого разговора.

На другой день она кормила на дворѣ куръ и слышала, какъ Вязмитиновъ, взявшись съ уличной стороны за кольцо ихъ калитки, сказалъ:

— Ну, прощайте,—добрый вамъ путь.

— Прощайте, — отвѣчалъ другой голосъ, который на первый разъ показался Женѣ незнакомымъ.

— Разсчитывайте на меня смѣло, говорилъ Вязмитиновъ:—я готовъ на все за движеніе, конечно, за такое, добавилъ онъ, которое шло бы легальнымъ путемъ.

— Я увѣренъ,—отвѣчалъ голосъ.

— Только *легальнымъ* путемъ. Я не вѣрю въ успѣхъ иного движенія.

— Конечно, конечно,—отвѣчалъ снова голосъ.

— Кто съ вами былъ здѣсь за воротами? — спросила Вязмитинова Женни, не выпуская изъ рукъ чашки съ моченымъ горохомъ.

— Райнеръ, — мы съ нимъ прощались, — отвѣчалъ Вязмитиновъ.—Очень хорошій человѣкъ.

— Кто? Райнеръ?

— Да.

— Кажется. Что ему здѣсь нужно? Какія у него занятія?

— Онъ путешествуетъ.

— А! Это у насъ новость? Куда-жъ онъ ѣдетъ?

— Такъ ѣдетъ, съ своимъ пріятелемъ и съ Помадой. А что?

— Ничего. Онъ, въ самомъ дѣлѣ, очень образованный и очень милый человѣкъ.

— И милый? — съ полушутливой, полуѣдкой улыбкой переспросилъ Вязмитиновъ.

— И милый,—еще разъ подтвердила Женни, закраснѣвшись и нѣсколько поспѣшливо сложивъ свои губки.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Крещенскій вечеръ.

На дворѣ рано осмеркъ самый сердитый зимній день и немилосердно била сухая пурга. Въ двухъ шагахъ человѣка уже не было видно. Даже красный свѣтъ лучинъ, запылавшихъ въ крестьянскихъ хатахъ, можно было замѣтить, когда совсѣмъ ужъ ткнешься носомъ въ занесенную снѣгомъ суволоку, изъ которой бѣльмисто смотритъ обледенѣлое оконце. На господскомъ дворѣ камергерши Меревой, съ самаго начала сумерекъ, люди сбивались съ дороги: вмѣсто параднаго крыльца дома, попадали въ садовую калитку; идучи въ мастерскую, заходили въ конюшню; отправляясь къ управительницѣ, попадали въ избу скотницы. Такая пурга была, что свѣту Божьяго не видно. А между тѣмъ не держала эта пурга по своимъ угламъ меревскую дворню. Люди, вырядившись шутами, ходили толпою изъ флигеля во флигель, пили водочку, гдѣ таковая обрѣталась, плясали, шумѣли, веселились. Особенно потѣшалъ всѣхъ поваренокъ Ефимка, привязавшій себѣ льняную бороду и устроившій изъ подушекъ аршинный горбъ, по которому его во всю ночь принимались колотить горнич-

ныя дѣвушки, какъ только онъ, по праву святочныхъ обычаевъ, запускалъ свои руки за пазаху то турчанкѣ, то цыганкѣ, то богинѣ въ вѣнцѣ, вырѣзанномъ изъ стараго штофнаго кокошника барышниной кормилицы. Словомъ, на меревскомъ дворѣ были настоящія святки. Даже бахаревскій садовникъ и птичница пришли сюда, несмотря на пургу, и тоже переходили за ряжеными изъ кухни въ людскую, изъ людской въ контору и такъ далѣе.

— А у насъ-то теперь, говорила бахаревская птичница,—у насъ скука пристрашенная... Прямо сказать, настоящая Сибирь, какъ есть Сибирь. Мы словно какъ въ гробу живемъ. Окна въ домѣ заперты, сугробовъ нанесло, что и не вылѣзешь: живемъ старые, да кволые. Всѣ-то наши въ городѣ, и таково-то намъ часомъ бываетъ скучно, скучно, а тутъ какъ еще псы-то ночью завоютъ, такъ инда даже будто какъ и жутко станетъ.

Между тѣмъ, какъ переряженные дворовые слонялись по меревскому двору, а сѣрые облачные столбы сухого снѣга, вздымаясь, гуляли по полямъ и дорогамъ, сквозь померзлое окно въ комнатѣ Юстина Помады постоянно мелькала взадъ и впередъ одна и та же темная фигура. Эта фигура былъ самъ Помада. Онъ ходилъ изъ угла въ уголъ по своему чулану и то ворошилъ свою шевелюру, то нюхалъ зеленую вѣточку ели, или моталъ ею у себя подъ носомъ. На столѣ у него горѣла сальная свѣчка, распространяя вокругъ себя не столько свѣта, сколько зловонія; на лежанкѣ чуть-чуть пищалъ угасавшій самоваръ, и тутъ же стоялъ графинъ съ водкой и большая деревянная чашка соленыхъ и нѣсколько промерзлыхъ огурцовъ.

— Во-первыхъ, истинная любовь скромна и стыдлива, а во-вторыхъ, любовь не можетъ быть безъ уваженія, произнесъ Помада, не прекращая своей прогулки.

— Разсказывай,—возразилъ голосъ съ кровати.

Теперь только, когда этотъ голосъ изобличалъ присутствіе въ комнатѣ Помады еще одного живого существа, можно было разсмотрѣть, что на постелѣ Помады, преспо-

койно растянувшись, лежалъ человѣкъ въ дубленомъ короткомъ полушубкѣ и, закинувъ ногу на ногу, преспокойно курилъ довольно гадкую сигару.

Всматриваясь въ эту фигуру, вы узнавали въ немъ доктора Розанова. Онъ сегодня ѣхалъ со слѣдствія, завернулъ къ Помадѣ, а тутъ поднялась кура, онъ и остался у него до утра.

— Это вѣрно,—говорилъ Помада, какъ бы еще разъ обдумавъ высказанное положеніе и убѣдившись въ его совершенной непогрѣшимости.

— Какъ не вѣрно!—иронически замѣтилъ докторъ.

— Бѣлинскій пишетъ, что любовь тогда чувство почтенное, когда предметъ любви достоинъ уваженія.

— Изъ чего и слѣдуетъ, что и Бѣлинскій могъ провираться.

— Ну, у тебя всѣ провираются.

— А всѣ!

— Ну, можно ли любить женщину, которую ты не уважаешь, которой не вѣришь?

— Не о чемъ и спрашивать. Стало быть можно, когда люди любятъ.

— Люди черти, люди и водку любятъ.

— Дура ты, Помада, право дура, и дуракомъ-то тебя назвать грѣхъ.

Докторъ замолкъ.

— Терпѣть я тебя не могу за эту дрянную манеру. Какого ты чорта все идеальничаешь?

— Оставь ужъ лучше, чѣмъ ругаться, — замѣтилъ, обидясь, Помада.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ?

— А въ самомъ дѣлѣ, оставимъ этотъ разговоръ, да и только.

— И это можно, но ты мнѣ только скажи вотъ: ты съ уваженіемъ любишь или нѣтъ?

— Я никого не люблю исключительной любовью.

— Что врать! Самъ сто разъ сознался, то въ Катеньку,

то въ Машеньку, то въ Сашеньку, а ужъ вѣчно врѣзавшись... То есть, вѣдь такой козелъ сладострастный, что и вообразить невозможно. Вспыхнетъ, какъ порохъ, отъ каждаго женскаго платья и пошелъ идеализировать. А корень всѣхъ этихъ привязанностей совсѣмъ сидитъ не въ уваженіи.

— А въ чемъ же по-твоему?

— Ну ужъ, братъ, не въ уваженіи.

— По-твоему, небось чортъ знаетъ въ чемъ... въ твоихъ грязныхъ наклонностяхъ.

— Те, те, те! ты, братъ, о грязныхъ-то наклонностяхъ не фордыбачь. Противъ природы не пойдешь, а пойдешь, такъ дуракомъ и выйдешь. Да твое-то дѣло для меня объясняется вовсе не одними этими, какъ ты говоришь, грязными побужденіями. Я даже думаю, что ты, пожалуй,— чортъ тебя знаетъ, — ты, можетъ быть, и, дѣйствительно, способенъ любить такъ, что уважаешь. Ты прежде вотъ, я говорю, врѣжешься, а потомъ и пошелъ додумывать своей богинѣ всякія неземныя и земныя добродѣтели. Ну, не такъ что ли?

— Конечно, не такъ.

— Какъ же это ты и Зину Бахареву уважаешь, и Сеньку, и Лизу, и поповну молодую, и Гловацкую?

— Эко напуталъ!

— Чего? да развѣ ты не во всѣхъ въ нихъ влюбленъ? Какъ есть во всѣхъ. Такой ужъ, ты, братъ, сердечкинъ, и я тебя не осуждаю. Тебѣ хочется любить, ты вотъ распяться бы хотѣлъ за женщину, а никакъ это у тебя не выходитъ. Никто ни твоей любви, ни твоихъ жертвъ не принимаетъ, вотъ ты и ищешь все своихъ идеаловъ. Какое тутъ чортъ уваженіе. Развѣ, уважая Лизу Бахареву, можно уважать Зинку, или, уважая поповну, рядомъ съ ней можно уважать Гловацкую?

— Да къ чему-жъ ты ихъ всѣхъ путаешь.

— Власть, братецъ мой, такую имѣю и ничѣмъ ты мнѣ этого возбранить не можешь, потому что рыльце у тебя въ пуху.

Докторъ всталъ съ постели, набилъ себѣ дорожную трубку, потомъ выпилъ рюмку водки и, перекусивъ огурецъ, снова повалился на постель.

— Все это, братецъ мой, Юстинъ Феликсовичъ, я предпринимаю въ видахъ ближайшаго достиженія твоего благополучія,—произнесъ онъ, раскуривая трубку.

— Благодарю покорно, процѣдилъ сквозь зубы Помада, не прекращая своей безконечной прогулки.

— И долженъ благодарить, потому что эта идеальность тебя до добра не доведетъ. Такъ вотъ и просидишь всю жизнь на меревскомъ дворѣ, мечтая о любви и самоотверженіи, которыхъ на твое горе здѣсь принять-то некому.

— Ну, и просижу,—спокойно отвѣчалъ Помада.

— Просидишь?—Ну и сиди, прѣй.

Помада молчалъ.

— Отличная жизнь,—продолжалъ иронически докторъ,—и преполезная тоже! Лѣтомъ около барышень цвѣточки нюхаютъ, а зиму, въ ожиданіи этого лѣтняго блаженства, бѣгаетъ по своему чулану, какъ полевой волкъ въ клѣткѣ звѣринца. Ты мнѣ вѣрь; я тебѣ вѣдь безъ всякихъ шутокъ говорю, что ты дурѣть сталъ: ты-таки и одурѣешь.

— Какой былъ, таковъ и есть, — опять процѣдилъ Помада, видимо тяготясь этимъ разговоромъ и всячески желая его окончить.

— Нѣтъ, не таковъ. Ты еще осенью былъ человѣкомъ, подававшимъ надежды проснуться, а теперь, какъ Бахаревы уѣхали, ты совсѣмъ—шутъ тебя знаетъ, на что ты похожъ,—безтолковъ совсѣмъ, милый мой, становишься. Я думалъ, что Лизавета Егоровна тебя повернетъ своей живостью, а ты вѣрно только и способенъ миндальничать.

Помада продолжалъ помахивать у своего носа еловою вѣточкой и молчалъ, выдерживая свое достоинство.

Докторъ всталъ, выпилъ еще рюмку водки и сталъ раздѣваться.

— У человѣка факты живые передъ глазами, а онъ ужъ и ихъ не видитъ,—говорилъ Розановъ, снимая съ себя са-

поги. — Стану я факты отрицать, не выживши изъ ума! Просто одурѣваешь ты, Помада, просто одурѣваешь.

— Это ты отрицатель-то, а не я. Я все признаю, я многое признаю, чего ты не хочешь допустить.

— Напримѣръ, любовь, происходящую изъ уваженія?— смѣясь спросилъ докторъ.

— Да, что тебѣ далось нынче это уваженіе! — воскликнулъ Помада нѣсколько горячѣе обыкновеннаго.

— Сердишься! ну, значитъ, ты неправъ. А ты не сердись-ка, ты дай вотъ я съ тебя показаніе сниму и сейчасъ докажу тебѣ, что ты неправъ. Хочешь ли и можешь ли отвѣчать?

— Да я не знаю, о чемъ ты хочешь спрашивать.

— Поваръ Павелъ любитъ свою жену или нѣтъ?

— Кто жъ его знаетъ.

— Ну, а я тебѣ скажу, что и онъ ее любитъ и она его любитъ. А теперь ты мнѣ скажи, дерутся они или нѣтъ?

— Ну, дерутся.

— Такъ и запишемъ.—Теперь Васенка любитъ мельника Родіона или не любитъ?

— Да чортъ знаетъ, о чемъ ты спрашиваешь! Почемъ я знаю, любитъ Васенка или не любитъ?

— Почемъ! А вотъ почемъ, другъ любезный, потомъ, что она при тебѣ сапоги мои цѣловала, чтобы я забраковалъ этого Родіонова въ рекрутскомъ присутствіи, когда его привезли сдавать именно за то, что онъ ей совкомъ голову проломилъ. И не только тутъ я видѣлъ, какъ она любитъ этого разбойника, а даже видѣлъ я это и въ тѣ минуты, когда она попрекала его, кляла всѣми клятвами за то, что онъ ее сокрушилъ и состарилъ безъ поры, безъ времени, а тутъ же сейчасъ послѣдній платокъ цирюльнику съ шеи сбросила, чтобы тотъ не шельмовалъ ея соколу затылокъ. Кажется, вѣдь любитъ? А только тотъ всталъ съ подстриженнымъ затылкомъ, она ему въ лицо харкнула. «Звѣрь, говоритъ, ты, лиходѣй мой проклятый». Гдѣ жъ здѣсь твое уваженіе-то?

— Что жъ, тутъ вовсе не любовь, а сожалѣніе.

— Сожалѣніе! А зачѣмъ же она сбѣжала-то съ нимъ вмѣстѣ?

— Воли захотѣлось.

— Подъ его кулачьями-то! Ну, нѣтъ, братъ, — не воли ей захотѣлось, а любва, любва эти штуки-то отливаетъ. Воли бы ей хотѣлось, давно бы ее эскадронный пять разъ откупилъ. Это ты вѣдь тоже, чай, знаешь не меньше моего. Васенка-то, братъ... знаешь, чего стоитъ! Глазомъ поведетъ — рублемъ одаритъ. Это, вѣдь, хрящекъ бѣлый, а не косточка. А я тебѣ повторяю, что все это орудуетъ любовь, да не та любовь, что вы тамъ сочиняете, да основываете на высокихъ-то нравственныхъ качествахъ любимаго предмета, а это наша, русская, каторжная, зазнобистая любва, та любва, про которую эти адски-мучительныя пѣсни поются, за которую и душатся и рѣжутся, и не разсуждаютъ по-вашему. Бѣлинскій-то — хоть я и позабывалъ у него многое — разсуждаетъ, вѣдь, тутъ о человѣкѣ *нравственно развитомъ*, а вы, шуты, сейчасъ при своемъ развитіи на человѣчество тотъ мундиръ и хотите напялить, въ которомъ оно ходить не умѣетъ. Я тебѣ не два, а двѣсти два примѣра покажу, гдѣ нѣтъ никакого уваженія, а любовь-то живетъ, да любовь не вашинская, не мозглявая.

— Да ты все изъ какого класса примѣры-то берешь?

— А тебѣ изъ какого? Изъ самаго высокаго?

— Что высокій! Объ немъ никто не говоритъ, о высокомъ-то. А ты мнѣ покажи такой примѣръ на человѣкѣ развитомъ, изъ средняго класса, изъ того, что вотъ считаютъ бьющеюся, живою-то жилою русскаго общества. Покажи человѣка размышляющаго. Одного человѣка такого покажи мнѣ въ такомъ положеніи.

— Ну, братъ, если одного только требуешь, такъ ужъ по этому холоду далеко не пойду отыскивать.

Докторъ снова всталъ въ одномъ бѣльѣ съ постели, остановилъ Помаду въ его стремительномъ бѣгствѣ по чулану и спросилъ:

— Ты Ольгу Александровну знаешь?
— Твою жену?
— Да, мою жену.
— Знаю.
— И хорошо знаешь?
— Да какъ же не знать!
— Уважаешь ты ее?
— Н... ну...
— Нѣтъ,—хорошо. За что ты ее не уважаешь?
— Да какъ это сказать,..
— Говори!
— Да за все.
— Она разбила во мнѣ все, все.
— Вѣрю, вѣрю, братъ, — отвѣчалъ разстроенный этимъ разсказомъ Помада.
— А я ее люблю,—пожавъ плечами, произнесъ докторъ и проглотилъ еще рюмку водки.

И съ этимъ легъ въ постель, укрылся своимъ дубленымъ тулупомъ и молча повернулся къ стѣнѣ, а Юстинъ Помада, постоявъ молча надъ его кроватью, снова зашагалъ взадъ и впередъ.

За стѣною въ столярной давно прекратились звуки гармоніи и топотъ пляшущихъ святочниковъ, и на меревскомъ дворѣ все уснуло. Даже уснула носившаяся сѣрыми облачными столбами воющая русская кура, даже уснулъ и погасъ огонекъ, доѣвъ сальный огарокъ, въ комнатѣ Помады. Не спала только холодная луна. Выйдя на расчистившееся небо, она смотрѣла оттуда, хорошо ли похоронила кура тѣхъ, кто съ нею встрѣтился, идучи своимъ путемъ-дорогою. Да не спалъ еще Юстинъ Помада, который не замѣтилъ, какъ догорѣла и загасла свѣчка, и какъ причудливо разрисованное морозомъ окно озарилось блѣднымъ луннымъ свѣтомъ. Онъ все бѣгалъ и бѣгалъ по своей комнатѣ, оправдывая сдѣланное на его счетъ сравненіе съ полевымъ волкомъ, содержащимся въ тѣсной клѣткѣ.

— Дичь какая! — думалъ между прочимъ, бѣгая, По-

мада:—Всѣ идеалы мои онъ какъ-то разбиваетъ. Матеріалистъ онъ... а я? Я...

Безъ отвѣта остался этотъ вопросъ у Помады.

— Я вотъ что, я покажу... что-жъ я покажу? что̀ это въ самой вещи? Ни одной привязанности устоявшейся, серьезной: все какъ-то, въ самомъ дѣлѣ, легко... воздушно... такъ сказать... расплывчиво. Эка натура проклятая!

— А впрочемъ, опять размышлялъ Помада, — чего-жъ у меня нѣтъ? Силы? Есть. Пойду на смерть... Эка штука! Только за кого? За что?

— Не за кого, не за кого,—рѣшилъ онъ.

— А любовь-то, въ самомъ дѣлѣ, не на уваженіи держится... Такъ на чемъ же? Онъ свою жену любитъ. Вздоръ! Онъ ее... жалѣетъ. Гдѣ любить такую эгоистичную, безсердечную женщину. Онъ матеріалистъ, даже... чортъ его знаетъ, слова не придумаешь, что̀ онъ такое... все отрицаетъ... Впрочемъ, чортъ бы меня взялъ совсѣмъ, если я что-нибудь понимаю... А скука-то, скука-то! Хоть бы и удавиться такъ въ ту же пору.

И съ этимъ словомъ Юстинъ Помада остановился, свернулъ комкомъ свой полушубочекъ, положилъ его на лежанку и, посмотрѣвъ искоса на луну, которая смотрѣла уже какимъ-то синимъ, подбитымъ глазомъ, свернулся калачикомъ и спать задумалъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

За полночь.

За полночь послышалось Помадѣ, будто кто-то стучитъ въ сѣнничную дверь.

— Сонъ, это я во снѣ вижу,—подумалъ дремлющій Помада.

Стучали послѣ долго еще въ дверь, да никто не всталъ отворить ее.

— Сонъ,—думалъ Помада.

Въ мерзлое стекло кто-то ударилъ пальцемъ.

Еще и еще.

— Ну пусть же еще ударитъ, если это не сонъ,— думалъ Помада, пригрѣвая бокъ на теплой лежанкѣ.

И еще ударили.

— Кто тамъ?—вскинувъ голову, спросилъ Помада.

Гулъ какой-то послышался изъ-за окна, а разобрать ничего невозможно.

— Чего?—спросилъ Помада, приложивъ теплое лицо къ намерзлому стеклу.

Опять гулъ. Человѣческій голосъ, а ничего не разберешь.

— Перепились свиньи,—подумалъ Помада; надѣвъ докторовы медвѣжьи сапоги, вздѣлъ на рукава полушубокъ и пошелъ отпирать двери холодныхъ сѣней.

— Кто?

— Свои, батюшка.

— Кто?—снова спросилъ Помада, держась за задвижку.

— Герасимъ.

— Чего ты, Герасимъ?

— Бахаревскій Герасимъ.

— Да чего?

— Къ вамъ, Юстинъ Феликсовичъ.

Помада отодвинулъ задвижку и, дрожа отъ охватившаго его холода, побѣжалъ въ свою комнату.

Не успѣлъ онъ переступить порогъ и вспрыгнуть на печку, а за нимъ Гараська бахаревскій.

— Что? Чего тебѣ ночью?—спросилъ Помада.

— Къ вашей милости, баринъ.

— Ну?

— Къ намъ пожалуйте.

— Къ кому къ вамъ?

— На барскій дворъ.

— Что тамъ такое у васъ на барскомъ дворѣ?

— Ничего, все благополучно. Барышни васъ требуютъ.

— Какая барышня?

— Лизавета Егоровна пріѣхала.

— Лизавета Егоровна?

— Точно такъ-съ.

— Лизавета Егоровна?—переспросилъ Помада.

— Точно такъ-съ, сами Лизавета Егоровна.

— Съ кѣмъ?

— Однѣ-съ.

— Одна?

— Однѣ-съ, съ покочаловскимъ-съ мужикомъ.

— Съ кѣмъ?

— Съ покочаловскимъ-съ мужикомъ-съ,—наняли, да обмерзли-съ, нездоровы совсѣмъ.

— Одна?

— Съ покочаловскимъ-съ мужикомъ.

— Ну?

— Пожалуйте. Сейчасъ васъ просятъ.

— Пошелъ, пошелъ домой. Я сейчасъ... Розановъ! Розановъ! Дмитрій Петровичъ!

— Н-мъ!—протянулъ докторъ, не подавая никакой надежды на скорое пробужденіе.

— О, чортъ!—пробурчалъ Помада, надѣвая на себя попадавшуюся подъ руки сбрую, и побѣжалъ.

Бѣжитъ Помада подъ гору, по тому самому спуску, на который онъ когда-то несся орловскимъ рысакомъ навстрѣчу Женни и Лизѣ. Бѣжитъ онъ сколько есть силы, и то попадетъ въ снѣжистый перебой, что пурга здѣсь позабыла, то раскатится по наглаженному полозному слѣду, на которомъ не удержались пушистыя снѣжинки. Духъ занимается у Помады. Злобствуетъ онъ, и увязая въ переносахъ, и падая на голыхъ раскатахъ, а впереди, за Рыбницей, въ ряду давно темныхъ оконъ, два окна смотрятъ словно волчьи глаза въ оврагѣ..

— Это у Егора Николаевича въ комнатѣ свѣтъ,—подумалъ Помада, увидя неподвижные волчьи глаза.

— И чудно, какъ смотрятъ эти окна, думаетъ онъ, продолжая свою дорогу:—точно съѣсть хотятъ.

— И зачѣмъ бы это она?.. И на наемныхъ... Должно-

быть... у—ахъ!—Эко чортъ! Тогда свалился, теперь завязъ, тьфу!..

И поперъ Помада прямо на волчьи очи, которые все расходились, расходились, и наконецъ, выровнялись въ форму двухъ восьми-стекольныхъ оконъ.

— Однако, ходьба нынче! подумалъ Юстинъ Помада и дернулъ за клямну.

Двери заперты.

— Кто?—спрашиваетъ изъ-за двери голосъ.

— Я.

— А! Барчукъ меревскій. Пустить?

Отвѣта Помада не слыхалъ, а дверь отворилась.

Кандидатъ бросилъ на оконокъ передней тулупъ и вошелъ въ залу.

— Подождите, батюшка, здѣсь немножечко,—попросила встрѣтившая его птичница и, оставивъ ему свѣчку, юркнула къ Лизѣ въ бахаревскій кабинетъ.

Слабо освѣщала большую залу одна сальная свѣчка. Хорошо виденъ былъ только большой обѣденный столъ и два нижніе ряда нагроможденныхъ на немъ подъ самый потолокъ стульевъ, которые самымъ причудливымъ образомъ выставляли во всѣ стороны свои тоненькія, загнутыя ножки. А далѣе былъ мракъ, съ которымъ не хотѣлъ и бороться щедушный огонекъ свѣчечки. Только взглянувши въ отворенную дверь гостиной, можно было почувствовать, что это не настоящій мракъ, и что есть мѣсто, гдѣ еще темнѣе. Какъ ни слаба была полоска свѣта, падавшая на полъ залы сквозь рядъ высунутыхъ стульями ножекъ, но все-таки по этому полу, прямо къ гостиной двери, ползла громадная, фантастическая тѣнь, напоминавшая какое-то многорукое чудовище изъ волшебнаго міра. Тонкія, кривыя ножки вырастали на тѣни, по мѣрѣ удаленія отъ свѣчки причудливо растягивались и не обрѣзывались, а какъ-то смѣшивались съ темнотою, словно пощупывая тамъ что-то, или кого-то подкарауливая.

Несмотря на тревожное состояніе Помады, таинственно-

мрачный видъ темнаго, холоднаго покоя странно подѣйствовалъ на впечатлительную душу кандидата и даже заставилъ его на нѣкоторое время забыть о Лизѣ.

— Фу, какъ тутъ скверно! — подумалъ Помада, пожимаясь отъ холода: — ни слѣда жизни нѣтъ. Это хуже могилы.

Въ головѣ у Помады почему-то вдругъ пробѣжали дѣтскія сказки о заколдованныхъ замкахъ, о Громвалѣ, о Кикиморѣ.

— Тамъ-то, тамъ-то тьма такая!—подумалъ Помада, направляясь со свѣчею къ гостиной двери.

Здѣсь свѣчечка оказывалась еще безсильнѣе при темныхъ обояхъ комнаты. Только одинъ неуклюжій, запыленный чехолъ, окутывавшій огромную люстру съ хрустальными подвѣсками, невозможно выдѣлялся изъ густого мрака и изъ одной щелки этого чехла на Помаду смотрѣлъ крошечный огненный глазокъ. Точно Кикимора подслушала Помадины думы и затѣяла пошутить съ нимъ. «Вотъ, молъ, гдѣ я сижу-то: у меня здѣсь отлично, въ этомъ пыльномъ шалашикѣ».

Помада посмотрѣлъ на блестѣвшую хрусталинку люстры и, возвращаясь въ залу, встрѣтился съ птичницей, которая звала его къ Лизаветѣ Егоровнѣ.

Лиза была въ отцовскомъ кабинетѣ. Она сидѣла передъ печкою, въ которой ярко пылала ржаная солома. Въ этой комнатѣ было такъ же холодно, какъ и въ гостиной, и въ залѣ, но все-таки здѣсь было много уютнѣе и на видъ даже какъ-то теплѣе. Здѣсь менѣе былъ нарушенъ живой видъ покоя: по стѣнамъ со всѣхъ сторонъ стояли довольно старые, но весьма мягкіе турецкіе диваны, обтянутые шерстяной, полосатой матеріей; старинный рѣзной шкафъ съ большою гипсовою лошадью на верху и массивный письменный столъ съ рѣзными башенками. Кромѣ того, здѣсь было нѣсколько мягкихъ табуретовъ, изъ которыхъ на одномъ теперь сидѣла и грѣлась Лиза.

Въ комнатѣ не было ни чемодана, ни дорожнаго сака и

вообще ничего такого, что свидѣтельствовало бы о прибытіи человѣка за сорокъ верстъ по русскимъ дорогамъ. Въ одномъ углу на отоманкѣ валялась городская лисья шуба, крытая чернымъ атласомъ, ватный капоръ и большой ковровый платокъ; да тутъ же на полу стояли черные бархатные сапожки, а больше ничего.

— Здравствуйте!—весело, но сильно взволнованнымъ и дрожащимъ голосомъ сказала Лиза, протягивая Помадѣ свою ручку.

Помада торопливо схватилъ эту ручку, пожалъ ее и взглянулъ на Лизу сіяющимъ взоромъ, но не сказалъ ни одного слова въ отвѣтъ на ея привѣтствіе.

— Что вы удивлены, поражены, напуганы? — тѣмъ же взволнованнымъ голосомъ и съ тою же напряженно-веселою улыбкою спросила Лиза.

Помада кашлянулъ, пожался и отвѣчалъ:

— Точно, удивленъ, Лизавета Егоровна. Какъ это вы?

— Какъ пріѣхала? А вотъ сѣла, да и пріѣхала.

Помада взялъ табуретъ, сѣлъ къ печи и, закрывъ ладонью ротъ, опять кашлянулъ.

— Здѣсь совсѣмъ холодно,—замѣтилъ онъ.

— Да, холодно, домъ настылъ, не топленъ съ осени.

— Вамъ здѣсь нельзя оставаться.

— Ну, объ этомъ будемъ разсуждать послѣ, а теперь я за вами послала, чтобы вы какъ-нибудь достали мнѣ хоть рюмку теплаго вина, горячаго чаю, хоть чего-нибудь, чего-нибудь. Я иззябла, совсѣмъ иззябла, я больна, я замерзала въ полѣ... и даже обморозилась... Я вамъ хотѣла написать объ этомъ, да... да не могла... руки вотъ насилу оттерли снѣгомъ... да и ни бумаги, ничего нѣтъ... а люди все переврутъ...

По мѣрѣ того, какъ Лиза высказывала свое положеніе, искусственная веселость все исчезала съ ея лица, голосъ ея становился все прерывистѣе, щеки подергивало и видно было, что она насилу удерживаетъ слезы, выжимаемыя у нея болѣзнью и крайнимъ раздраженіемъ.

Къ концу этой короткой рѣчи все лицо Лизы выражало одно живое страданіе, и, взглянувъ въ глаза этому страданію, Помада, не говоря ни слова, выскочилъ и побѣжалъ въ свою конуру, едва ли не такъ шибко, какъ онъ бѣжалъ навстрѣчу институткамъ.

Черезъ полчаса въ комнату Лизы вошли докторъ и Помада, обремененный бутылками съ уксусомъ, спиртомъ, краснымъ виномъ и нѣсколькими сверточками въ бумагѣ.

Лиза смотрѣла въ огонь и ничего не слыхала. Она была очень слаба и разстроена.

— Лизавета Егоровна! — весело воскликнулъ докторъ, протягивая ей свою руку.

— А, докторъ! Вотъ встрѣча-то?—проговорила нѣсколько удивленная его появленіемъ Лиза. И какъ кстати! Я совсѣмъ разнемогалась.

— Прозябли, я думаю, просто.

— Какое тамъ прозябла? Я замерзала, совсѣмъ замерзала. Мнѣ оттирали руки и ноги. На меня ужъ даже спячка находила.

— Гдѣ-жъ это вы?

— Дорогой,—сбился мужикъ.

Докторъ посмотрѣлъ ей пристально въ глаза и сказалъ:

— Дайте-ка руку. А что это у васъ съ глазами? — болятъ они у васъ?

— Да, это ужъ давно.

— Или вы плакали?

— И это немножко было, — отвѣтила, слегка улыбнувшись, Лиза.

— Ну, ты, Помада, грѣй вино, да хлопочи о помѣщеніи для Лизаветы Егоровны. Вамъ теперь прежде всего нужно тепло да покой, а тамъ увидимъ, что будетъ. Только здѣсь, въ нетопленномъ домѣ, вамъ ночевать нельзя.

— Нѣтъ, я здѣсь останусь. Я напьюсь чаю, вина выпью, одѣнусь шубой и велю всю ночь топить — ничего и здѣсь. Эта комната скоро согрѣется.

— Ну, нѣтъ, Лизавета Егоровна, это, ужъ, извините

меня, причуды. Комната станетъ отходить, сдѣлается такой угаръ, что и головы не вынесете.

Лиза вздохнула и сказала:

— Что-жъ! можетъ быть и лучше будетъ.

— Что это, головы-то не вынесть? Ну, объ этомъ еще подумаемъ завтра. Зачѣмъ головѣ даромъ пропадать? А теперь... куда бы это помѣстить Лизавету Егоровну! Помада! ты здѣсь весь дворъ знаешь?

— Къ конторщику, у него двѣ комнаты.

— Не хочу, не хочу!—замахавъ ручкою, возразила на это предположеніе Лизавета Егоровна.

— Отчего же?

— Не хочу.

— Да отчего?—резонировалъ докторъ.

— Я не могу никого видѣть сегодня.

— А другія помѣщенія, кромѣ птичной избы, всѣ пустыя и холодныя,—замѣтилъ Помада.

— А птичная-то изба теплая, хорошая?

— Грязная, загаженная и никуда не годится.

— Пойдемъ-ка, осмотримъ.

Докторъ и Помада вышли, а Лиза, оставшись одна въ пустомъ домѣ, снова утупила въ огонь глаза и погрузилась въ странное, столбняковое состояніе.

— Батюшка мой!—говорилъ докторъ, взойдя въ жилище конторщика, который уже возсталъ отъ сна и ожидалъ разгадки страннаго появленія барышни:—сдѣлайте-ка вы милость, заложите поскорѣе лошадку, да слетайте въ городъ за дочкою Петра Лукича. Я вотъ ей пару строчекъ у васъ черкну. Да выходите-то, батюшка, сейчасъ: намъ нужно у васъ барышню помѣстить. Вы, вѣдь, не осердитесь?

— Помилуйте, я съ моимъ удовольствіемъ. Я даже самъ разсуждалъ это предложеніе сдѣлать Лизаветѣ Егоровнѣ. Я хоть гдѣ-нибудь могу, а ихъ дѣло нѣжное.

— То-то, тамъ никакъ нельзя.

— Какъ возможно? Тамъ одно слово—стыдь.

— Да. Ну-съ шубку-то, шубку-то, да и выйдите, по

будьте гдѣ-нибудь, пока лошадь заложатъ. А лампадочку-то передъ иконами поправьте: это очень хорошо.

— Все сею минутою-съ.

— Ну, и прекрасно, и птичницу сюда на минутку пошлите, а мы сейчасъ переведемъ Лизавету Егоровну. Только чтобъ она васъ здѣсь не застала: она вѣдь, знаете, такая... деликатная,—разсказывалъ докторъ, уже сходя съ конторскаго крылечка.

Докторъ урезонилъ Лизавету Егоровну: ее привели въ теплую комнатку конторщика, напоили горячимъ чаемъ съ виномъ, птичница вытерла ее спиртомъ и уложила на конторщикову постель, покрытую чистою простынею.

Докторъ не позволялъ Лизѣ ни о чемъ разговаривать, да она и сама не расположена была бесѣдовать. Въ комнатѣ поправили лампаду и оставили Лизу одну съ своими думами и усталостью.

Докторъ съ Помадой остались въ конторѣ, служившей преддверіемъ къ конторщикову аппартаменту.

Они посидѣли съ полчаса въ совершенномъ молчаніи, перелистывая отъ скуки книги «О приходѣ и расходѣ разнаго хлѣба снопами и зерномъ». Потомъ докторъ снялъ ногою сапоги, подошелъ къ Лизиной двери и послушавъ, какъ спитъ больная, возвратился къ столу.

— Что?—прошепталъ Помада.

— Ничего, дышитъ спокойно и спитъ. Авось, ничего не будетъ худого. Давай ложиться спать, Помада. Ложись ты на лавкѣ, а я здѣсь на столѣ прилягу, — также шопотомъ проговорилъ докторъ.

— Нѣтъ, я не лягу.

— Отчего?

— Мнѣ не хочется спать.

— Ну, какъ знаешь, а я лягу.

И докторъ, положивъ подъ голову нѣсколько книгъ «О приходѣ и расходѣ хлѣба снопами и зерномъ», легъ на столъ и закрылся своимъ полушубкомъ.

— Что бы это такое значило?—прошепталъ, наклоняясь

къ самому уху доктора, Помада, тоже снявшій свои сапоги и подкравшійся къ Розанову совершенно неслышными шагами, какъ котъ изъ хрустальной лавки.

— Что такое? — спросилъ шепотомъ докторъ, быстро откинувъ съ себя полушубокъ.

Помада повторилъ свой вопросъ.

— А, шутъ этакой! Испугалъ совсѣмъ. Я думалъ ужъ не вѣсть что дѣлается.

— Ну, да, я виноватъ. Я это такъ шелъ, чтобъ не слышно. Ну, а какъ ты думаешь, что бы это такое значило?

— Я думаю, что ступай ты спать: успѣемъ еще узнать. Что тутъ отгадывать да путаться. Спи. Утро вечера мудренѣе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Глава, нѣкоторымъ образомъ топографически-историческая.

Говорятъ, что человѣческое жилище всегда болѣе или менѣе точно выражаетъ собою характеръ людей, которые въ немъ обитаютъ. Едва ли нужно доказывать, что до извѣстной степени можно допустить справедливость этого замѣчанія. Наблюдательный и чуткій человѣкъ, осмотрѣвшись въ жильѣ людей, мало ему знакомыхъ, или даже совсѣмъ незнакомыхъ, по самымъ неуловимымъ мелочамъ въ обстановкѣ, размѣщеніи и содержаніи этого жилья, чувствуетъ, что здѣсь преобладаетъ любовь или вражда, согласіе или свара, радушіе или скупость, домовитость или расточительность.

Когда люди входили въ домъ Петра Лукича Гловацкаго, они чувствовали, что здѣсь живетъ совѣтъ и любовь, а когда эти люди знакомились съ самими хозяевами, то уже они не только чувствовали витающее здѣсь согласіе, но какъ бы созерцали олицетвореніе этого совѣта и любви въ старикѣ и его женѣ. Теперь люди чувствовали то же самое, видя Петра Лукича съ его дочерью. Женни, украшая собою тихую, предзакатную вечерю старика, умѣла всѣхъ пріоб-

щить къ своему чистому празднеству, ввести въ свою безмятежную сферу.

До пріѣзда Женни старикъ жилъ, по собственному его выраженію, отбившимся отъ стада зубромъ: у него было чисто, тепло и пріютно, но только, со смерти жены, у него было вездѣ тихо и пусто. Тишина этого домика не зналась со скукою, но и не знала оживленія, которое снова внесла въ него съ собою Женни.

Съ пріѣздомъ Женни здѣсь все пошло жить. Ожилъ и помолодѣлъ самъ старикъ, сильнѣе зацвѣлъ старый жасминъ, обрѣзанный и подвязанный молодыми ручками; повеселѣла кухарка Пелагея, имѣвшая теперь возможность совѣщаться о соленьяхъ и вареньяхъ, и повеселѣли самыя стѣны комнаты, заслышавъ легкіе шаги граціозной Женни и ея тихій, симпатичный голосокъ, которымъ она, оставаясь одна, иногда безотчетно пѣла для себя:

— «Когда-бъ онъ зналъ, какъ пламенной душою», или «Ты скоро меня позабудешь, а я не забуду тебя».

Въ восемь часовъ утра начинался день въ этомъ домѣ; лѣтомъ онъ начинался часомъ ранѣе. Въ восемь часовъ Женни сходилась съ отцомъ у утренняго чая, послѣ котораго старикъ тотчасъ уходилъ въ училище, а Женни заходила на кухню и черезъ полчаса являлась снова въ залѣ. Здѣсь, подъ однимъ изъ двухъ оконъ, выходившихъ на берегъ рѣчки, стоялъ ея рабочій столикъ, краснаго дерева, съ зеленымъ тафтянымъ мѣшкомъ для обрѣзковъ. За этимъ столикомъ проходили почти цѣлые дни Женни.

— Рукодѣльница наша барышня: все сидитъ, все шьетъ, все шьетъ, — приданое себѣ готовитъ, разсказывала сосѣдямъ Пелагея.

Женни, точно, была рукодѣльница и штопала отцовскіе носки съ бо̀льшимъ удовольствіемъ, чѣмъ исправникова дочь вязала бисерные кошельки и подставки къ лампамъ и подсвѣчникамъ. Вообще она стала хозяйкой не для блезиру, а взялась за дѣло плотно, безъ шума, безъ треска, тихо, но такъ солидно, что и люди, и старикъ-отецъ тотчасъ по-

чувствовали, что въ домѣ есть настоящая хозяйка, которая все видитъ и обо всѣхъ помнитъ.

И стало всѣмъ очень хорошо въ этомъ домѣ.

Изъ окна, у котораго Женни пріютилась съ своимъ рабочимъ столикомъ, былъ если не очень хорошій, то очень просторный русскій видъ. Городокъ былъ раскинутъ по правому, высокому берегу довольно большой, но вовсе не судоходной рѣки Саванки, значащейся подъ другимъ названіемъ въ числѣ замѣчательнѣйшихъ притоковъ Оки. Лучшая улица въ городѣ была Московская, по которой проходило курское шоссе, а потомъ Рядская, на которой были десятка два лавокъ, два трактирныхъ заведенія и цирюльня съ надписью, буквально гласившею:

«Сдѣся кровъ пускаютъ и стригутъ и бреютъ Козловъ».

Знаковъ препинанія на этой вывѣскѣ не было, и мѣстные зоилы находили, что такъ оно выходитъ гораздо лучше.

Потомъ въ городѣ была еще замѣчательна улица Крупчатная, на которой приказчики и носильщики, таская кули, сбивали прохожихъ съ ногъ, или, шутки ради, *подбивали* ихъ мучкой самой первой руки; да была еще улица Главная. Богъ ужъ знаетъ почему она такъ называлась. Разсказывали въ городѣ, что на ней когда-то стоялъ домъ самого батюшки Степана Тимоѳеевича Разина, который крѣпко засѣлъ здѣсь и зимовалъ со своими рыцарями почти цѣлую зиму. Теперь Главная улица была знаменита только тѣмъ, что по ней при малѣйшемъ дождѣ становилось море и послѣ цѣлый мѣсяцъ не было ни прохода, ни проѣзда. Затѣмъ шли закоулочки, да переулочки, пересѣкавшіе другъ друга въ самыхъ прихотливыхъ направленіяхъ. Тутъ жили прядильщики, крупчатники, мѣщане, занимавшіеся поденной работой и мѣщане, ничѣмъ незанимавшіеся, а вѣчно полупьяные или больные съ похмѣлья. Съ небольшой высоты надъ этою мѣстностью царилъ высокій, каменный острогъ, наблюдая своими стеклянными глазами какъ пьетъ и сварится голодная нищета и какъ щиплетъ свою жидкую, бѣленькую бородку купецъ Никонъ Родіоновичъ Масленни-

ковъ, попугивая то того, то другого каменнымъ мѣшечкомъ.

— Сейчасъ упеку, говоритъ Никонъ Родіоновичъ: — чувствуй, съ кѣмъ имѣешь обращеніе!

И покажетъ рукою на острогъ.

Народъ это очень чувствовалъ и не только ходилъ безъ шапокъ передъ Масленниковыми хоромами, но и гордился имъ.

— У насъ теперь, хвастался мѣщанинъ заѣзжему человѣку,—есть купецъ Никонъ Родіоновичъ, Масленниковъ прозывается, вотъ такъ человѣкъ! Что ты хочешь, сейчасъ онъ съ тобою можетъ сдѣлать; хочешь въ острогъ тебя посадить—посадитъ; хочешь плетюганами отшлепать, или такъ въ полицы розгамъ отодрать,—тоже сичасъ онъ тебя отдеретъ. Два слова городничему повелитъ, или записочку напишетъ, а ты ее, эту записочку, только представишь,—сичасъ тебя въ самомъ лучшемъ видѣ отдѣлаютъ. Вотъ какого себѣ человѣка имѣемъ!

— Вотъ песъ-то! — щуря глаза замѣчалъ проѣзжій мужикъ.

— Да, братъ, повадки у него никому: первое дѣло капиталъ, а второе—рука у него.

— Н-да,—вытягивалъ проѣзжій.

— Н-да!—произносилъ въ другой тонъ мѣщанинъ.

— Ишь хоромы своротилъ какія! — кричалъ мужикъ, ѣдучи на саняхъ, другому мужику, стоявшему на колѣняхъ въ другихъ саняхъ.

— Страсть, братецъ ты мой!

— А вить что?—нашъ братъ мужикъ.

— Дыть Господь одарилъ, — вздыхая отвѣчалъ задній мужикъ.

— Извѣстно: очень ужъ, говорятъ, онъ много на церквы жертвуетъ.

— Только ужъ обмѣру у него на сеыпки очень тоже много,—замѣчалъ задній мужикъ.

— Обмѣру точно много,—задумчиво отвѣчалъ передній.

У часовенки, на площади мужики крестились, развязы-

вали мошенки, опускали по грошу въ кружку и выѣзжали за острогъ, либо размышляя о Никонѣ Родіоновичѣ, либо распѣвая съ кокоревской водки:

— Ты заной, эхъ, ты заной, мое сердечушко, заной ретивое.

Затѣмъ, развѣ для полноты описанія, слѣдуетъ упомянуть о томъ, что городъ имѣетъ пять каменныхъ приходскихъ церквей и соборъ. Соборъ славился хоромъ пѣвчихъ, содержимыхъ отъ щедротъ Никона Родіоновича, да пятисотпудовымъ колоколомъ, каждый праздникъ громко, верстъ на десять кругомъ, кричавшимъ своимъ желѣзнымъ языкомъ о рачительствѣ того же Никона Родіоновича къ благолѣпію дома Божія.

Всѣ уѣздные любители церковнаго пѣнія обыкновенно сходились въ соборъ къ ранней обѣднѣ, ибо Никонъ Родіоновичъ всегда приходили помолиться за ранней, и тутъ пѣли пѣвчіе. Поздней обѣдни Никонъ Родіоновичъ не любили и ядовито замѣчали, что къ поздней обѣднѣ только ходятъ приказничихи хвастаться, у кого новые башмаки есть.

Да еще была въ городѣ больница, въ которой несчастный Розановъ бился съ непреодолимыми препятствіями создать изъ нея что-нибудь похожее на лѣчебное заведеніе. Сначала онъ, по неопытности, все лѣзъ съ представленіями къ начальству, потомъ взывалъ къ просвѣщенному вниманію благороднаго дворянства, а, наконецъ, скрѣпя сердце и смиривъ духъ гордыни, отнесся къ толстому карману Никона Родіоновича. Никонъ Родіоновичъ пожертвовали два десятка верблюжьихъ халатовъ и фонарь къ подъѣзду, да на томъ и стали. Потребляемыхъ вещей Масленниковъ жертвовать не любилъ: у него было сильно развито стремленіе къ монументальности, онъ стремился къ нѣкоторому, такъ сказать, даже безсмертію: хотѣлъ жить въ будущемъ. Хоть не въ далекомъ, да въ будущемъ, хоть пока халаты износятся и сопрѣетъ стѣна, къ которой привинтили безобразный фонарь съ скрипучимъ флюгеромъ, увеличивавшимъ

своимъ скрипомъ предсмертную тоску замариваемыхъ, въ докторово отсутствіе, больныхъ.

Былъ еще за городомъ гусарскій выѣздной манежъ, состроенный изъ осиновыхъ вершинокъ и оплетенный соломенными притугами, но это было временное зданіе. Хотя губернскій архитекторъ, случайно видѣвшій счеты, во что обошелся этотъ манежъ правительству, и утверждалъ, что зданіе это весьма замѣчательно въ исторіи военныхъ построекъ, но это нимало не касается нашего романа и притомъ съ подробностью обработано уѣзднымъ учителемъ Зарницынымъ въ одной изъ его обличительныхъ замѣтокъ, напечатанныхъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*

Болѣе въ цѣломъ городѣ не было ничего достопримѣчательнаго въ топографическомъ отношеніи, а его этнографическою стороною намъ нѣтъ нужды обременять вниманіе нашихъ читателей, поелику эта сторона не представляетъ собою никакихъ замѣчательныхъ особенностей и не выясняетъ положенія дѣйствующихъ лицъ въ романѣ.

Гловацкій, Вязмитиновъ, Зарницынъ, докторъ и даже Бахаревъ были, конечно, знакомы и съ Никономъ Родіоновичемъ, и съ властями, и съ духовенствомъ, и съ купечествомъ, но знакомство это не оказывало прямого вліянія ни на ихъ главные интересы, ни на ихъ внутреннюю жизнь. А слѣдить за косвеннымъ вліяніемъ среды на выработку нравовъ и характеровъ, значило бы заходить нѣсколько далѣе, чѣмъ требуетъ нашъ планъ и положеніе нашихъ героевъ и героинь, не стремившихся спѣться съ окружающею ихъ средою, а сосредоточивавшихъ свою жизнь въ томъ ограниченномъ кружечкѣ, которымъ мы занимались до сихъ поръ, не удаляясь надолго отъ домовъ Бахарева и Гловацкаго. Кто жилъ въ уѣздныхъ городахъ въ послѣднее время, въ послѣ-якушкинскую эпоху, когда разнеслись слухи о благодѣтельной гласности, о новосильцевскомъ обществѣ пароходства и побѣдахъ Гарибальди въ Италіи, тотъ не станетъ отвергать, что около этого знаменательнаго времени и въ уѣздныхъ городахъ, особенно въ великороссій-

скихъ уѣздныхъ городахъ, имѣющихъ не менѣе одного острога и пяти церквей, произошелъ весьма замѣчательный и притомъ совершенно новый общественный сепаратизмъ. Общество распадалось не только прежнимъ дѣленіемъ на аристократію чина, аристократію капитала и плебейство, но изъ него произошло еще небывалое дотолѣ выдѣленіе такъ называемыхъ въ то время *новыхъ людей*. Выдѣленіе этого асортимента почти одновременно происходило изъ весьма различныхъ слоевъ провинціальнаго общества. Сюда попадали нѣкоторые молодые дворяне, семинаристы, учители уѣздные, учители домашніе, чиновники самыхъ различныхъ вѣдомствъ и даже духовенство. Справедливость заставляетъ сказать, что едва ли не ранѣе прочихъ и не сильнѣе прочихъ въ это новое выдѣленіе вошли молодые учители, уѣздные и домашіе; за ними нѣсколько позже и нѣсколько слабѣе — чиновники, затѣмъ, еще моментомъ позже, зато съ неудержимымъ стремленіемъ сюда ринулись семинаристы. Молодое дворянство шло еще позже и нерѣшительнѣе; духовенство сепарировалось только въ очень небольшомъ числѣ своихъ представителей.

Все это не были рыцари безъ пятна и упрека. Прошлое ихъ бо̀льшею частію отвѣчало стремленіямъ среды, отъ которой они отдѣлялись. Молодые чиновники уже имѣли руки, запачканныя взятками, учители клянчили за мѣста и нѣкоторые писали оды мерзавнѣйшимъ изъ мерзавнѣйшихъ личностей; молодое дворянство сѣкало людей и проматывало потовые гроши народа; остальные вели себя не лучше. Все это были люди, слыхавшіе изъ устъ отцовъ и матерей, что «отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ». Всѣ эти люди вынесли изъ родительскаго дома одно благословеніе: «будь богатъ и знатенъ», одну заповѣдь: «дѣлай себѣ карьеру». Правда, иные слыхали при этомъ и «старайся быть честнымъ человѣкомъ», но что была эта честность и какъ было о ней стараться? Случались, конечно, и исключенія, но не ими вода освящалась въ великомъ морѣ русской жизни. Лѣзли въ купѣль люди

прокаженные. Все, что вдругъ пошло массою, было деморализовано отъ раннихъ дней, все слышало ложь и лукавство; все было обучено искать милости, помня, что «ласковое телятко *двухъ матокъ* сосетъ». Все это сбиралось сосать двухъ матокъ и вдругъ бросило обѣихъ и побѣжало къ той, у которой вымя было сухо отъ долголѣтняго голода.

Эта эпоха возрожденія съ людьми, не получившими въ наслѣдіе ни одного гроша, не взявшими въ напутствіе ни одного добраго завѣта, по-истинѣ должна считаться одною изъ великихъ, поэтическихъ эпохъ нашей исторіи. Что влекло этихъ сепаратистовъ, какъ не чувство добра и справедливости? Кто велъ ихъ? Кто хоть на время подавилъ въ нихъ духъ обуявшаго націю себялюбія, двоедушія и продажности?

Предоставляя рѣшеніе настоящаго вопроса исторіи, съ благоговѣніемъ преклоняемся передъ рокомъ, судившимъ намъ зрѣть святую минуту пробужденія, видѣть лучшихъ людей эпохи, оплаканной въ незабвенныхъ стихахъ Хомякова, и можемъ только воскликнуть со многими: по-истинѣ великъ твой Богъ, земля русская!

Перенеситесь мысленно, читатель, къ улетѣвшимъ днямъ этой поэтической эпохи. Вспомните это недавно прошедшее время, когда небольшая горсть «людей, довременно растлѣнныхъ», проснулась, задумалась и зашаталась въ своемъ гражданскомъ малолѣтствѣ. Эта горсть русскихъ людей, о которой вспоминаетъ авторъ, пишущій настоящія строки, быстро росла и хотѣла расти еще быстрѣе. Въ этомъ естественномъ желаніи роста она дорожила своею численностью и, къ сожалѣнію, была слишкомъ неразборчива. Она не принимала въ разсчетъ рутинной силы среды и не опасалась страшнаго вреда отъ шутовъ и дураковъ, приставшихъ къ ней по страсти къ модѣ. Зная всю тлѣнь и грязь прошлаго, она вѣрила, что проклятіе лежитъ надъ всякой неподвижностью, и собирала подъ свое знамя всѣхъ, говорившихъ о необходимости очиститься, омыться и двигаться впередъ. Она знала, что въ прошломъ ей завѣщано мало достойнаго

сохраненія и не ожидала, что почти одной ей поставятъ въ вину всю тщательно собранную ложь нашего времени.

По словамъ Хомякова, страна была

«Въ судахъ черна, неправдой черной,
И игомъ рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лѣни мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.»

Когда распочалась эта пора пробужденія, ясное дѣло, что новые люди этой эпохи во всемъ рвались къ новому режиму, ибо не видали возможности идти къ добру съ лестью, ложью, лѣнью и всякою мерзостью. На великое несчастіе этихъ людей, у нихъ не было во-время силы отречься отъ пристававшихъ къ нимъ шутовъ. Они были болѣе честны, чѣмъ политически опытны, и забывали, что одинъ Донъ-Кихотъ можетъ убить цѣлую идею рыцарства. Такъ и случилось. Шуты насмѣшили людей, дураки ихъ разсердили. Началось ренегатство и во время стремительнаго бѣга назадъ люди забыли, что гонитъ ихъ не пошлость дураковъ и шутовъ, а тупость общества, да собственная трусость. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что сдѣлаться смѣшнымъ значитъ потерять многое; но развѣ менѣе смѣшны другіе? Развѣ передъ ними нельзя поставить Сквозника-Дмухановскаго и заставить его спросить ихъ: «чего смѣетесь? Надъ собой смѣетесь?».

Честная горсть людей, не приготовленныхъ къ честному общественному служенію, но полюбившихъ добро и возненавидѣвшихъ ложь и всѣ лживыя положенія, виновата своею нерѣшительностью отречься отъ приставшихъ къ ней дурачковъ; она виновата недостаткомъ *самообличенія*. За пренебреженіе этой силой она горько наказана, вѣроятно, къ истинному сожалѣнію всѣхъ умныхъ и въ то же время добрыхъ сыновъ Россіи. Но все-таки нѣтъ никакого основанія видѣть въ этихъ людяхъ виновниковъ всей современной лжи, такъ же какъ нѣтъ основанія винить ихъ и въ заводѣ шутовъ и дураковъ, ибо шуты и дураки подъ

различными знаменами фигурировали всегда и будутъ фигурировать до вѣка.

Въ описываемую нами эпоху, когда ни одно изъ смѣшныхъ и, конечно, скоропреходящихъ стремленій людей, лишенныхъ серьезнаго смысла, не проявлялось съ нынѣшнею рѣзкостью, когда общество слѣпо вѣрило Бѣлинскому, даже въ томъ, напримѣръ, что «самый почтенный мундиръ есть черный фракъ русскаго литератора», добрые люди изъ дедеморализованныхъ сыновъ нашей страны стремились просто къ добру. Они не стремились окреститься во имя какой бы то ни было теоріи, а просто, наивно и честно желали добра, и горѣли нетерпѣніемъ всячески ему содѣйствовать. Плана у нихъ никакого не было, о крутыхъ, костоломныхъ поворотахъ во имя теорій имъ вовсе не думалось. Шло только дѣло о правдѣ въ жизни.

Первымъ шагомъ въ этомъ періодѣ былъ сепаратизмъ со всѣмъ симпатизировавшимъ завѣтамъ прошедшаго. Къ этому сепаратизму принадлежали почти всѣ знакомыя намъ до сихъ поръ лица нашего романа. Ему по-своему сочувствовалъ Егоръ Николаевичъ Бахаревъ и Петръ Лукичъ, пугавшійся всякой обличительной замѣтки; Вязмитиновъ, сидѣвшій надъ исторіей, и Зарницынъ, продергивавшій уѣздныя величины; докторъ, обличающій свое безсиліе выбиться изъ сферы взяточничества, и мать Агнія, вѣрная традиціямъ лѣтъ своей юности. На сторонѣ старыхъ интересовъ оставалась масса людей, которыхъ, по ихъ способностямъ, Эдуардъ Уитти справедливо называетъ разрядомъ плутовъ или дураковъ. Это было большинство. Ольга Сергѣевна, Зина, Софи оставались съ большинствомъ и жили его жизнью.

Женни и Лиза вовсе не принадлежали къ прошлому и не имѣли съ нимъ никакой связи.

По обстоятельствамъ, Женни должна была познакомиться съ нѣкоторыми мѣстными дамами и дѣвицами, но изъ этого знакомства ничего не вышло. Однѣ рѣшили, что она много о себѣ думаетъ; другія, что она ехидная-преехидная: все

молчитъ да выслушиваетъ; третьи даже считали ее на этомъ же основаніи интриганкой, а четвертыя, наконецъ, не соглашаясь ни съ однимъ изъ трехъ вышеприведенныхъ мнѣній, утверждали, что она просто дура и кокетка. Около нея, говорили послѣднія, лебезятъ два молодыхъ учителя, стараясь поддѣлаться къ отцу, а она думаетъ, что это за ней увиваются, и дуетъ губы.

Но тѣмъ не менѣе Женни, однако, сильно интересовала собою бѣдныя живыми интересами головы уѣздныхъ барынь и барышень. Одни ея платья и шляпы доставляли слишкомъ тощую пищу для алчущей сплетни, и потому за ея особою былъ приставленъ особый шпіонъ. Въ этой должности состояла дочь почтеннаго сослуживца Гловацкаго, восемнадцатилѣтняя полногрудая Лурлея, Ольга Григорьевна Саренко. Григорій Ильичъ Саренко, родомъ изъ борисполь-скихъ дворянъ, дослуживалъ двадцать пятый годъ учителемъ уѣзднаго училища. Онъ былъ старъ, глупъ, довольно подловатъ и считалъ себя столпомъ училища. Онъ добивался себѣ какого-то особаго уваженія отъ Вязмитинова и Зарницына и, не получая онаго, повременамъ строчилъ на нихъ секретныя ябеды въ дирекцію училищъ. Дочь свою онъ познакомилъ съ Женею, не ожидая на то никакого желанія со стороны пріѣзжей гостьи или ея отца. На другой же день по пріѣздѣ Женни, онъ явился подъ руку съ своей Лурлеей и отрекомендовалъ ее какъ дѣвицу, съ которой можно говорить и разсуждать обо всемъ самой просвѣщенной дѣвицѣ.

Съ тѣхъ поръ Лурлея начала часто навѣщать Женни и разносить о ней по городу всякія дрязги. Женни знала это: ее и предупреждали насчетъ дѣвицы Саренко и даже, для вящшаго убѣжденія, сообщали, что̀ именно ею сочинено и разсказано, но Женни не обращала на все это никакого вниманія.

— Умные и честные люди, отвѣчала она,—такимъ вздорамъ не повѣрятъ и поймутъ, что это сплетни, а о мнѣніи глупыхъ и дурныхъ людей я никогда не намѣрена заботиться.

Еще въ домъ Гловацкихъ ходила соборная дьяконица, Елена Семеновна, очень молоденькая, довольно хорошенькая и превеселая бабочка, безпрестанно цѣловавшая своего мужа и аккомпанировавшая ему на фортепіано разные, всѣми давно забытые романсы. И дьяконица, и ея мужъ, Василій Ивановичъ Александровскій, были очень добрые и простодушные люди, которые очень любили Гловацкихъ и всю ихъ компанію. Сепаратисты тоже любили молодую духовную чету за ея веселый, добрый нравъ, искренность и безобидчивость, составляющую большую рѣдкость въ уѣздныхъ обществахъ.

Такимъ образомъ къ концу перваго года, проведеннаго Женею въ отцовскомъ домѣ, ближайшій кругъ ея знакомства составляли: Вязмитиновъ, Зарницынъ, дьяконъ Александровскій съ женою, Ольга Саренко, состоявшая въ должности наблюдателя, отряженнаго дамскимъ обществомъ, и докторъ. Съ женою своею докторъ не знакомилъ Женни и вообще постоянно избѣгалъ даже всякихъ о ней разговоровъ.

Изъ этихъ лицъ чаще всѣхъ бывали у Гловацкихъ Вязмитиновъ и Зарницынъ. Рѣдкій вечеръ Женни проводила одна. Всегда къ вечернему чаю являлся тотъ или другой, а иногда и оба вмѣстѣ. Усаживались за столъ, и кто нибудь изъ молодыхъ людей читалъ, а остальные слушали. Женни при этомъ обыкновенно работала, а Петръ Лукичъ или растиралъ въ блюдцѣ грушевою ложечкою нюхательный табакъ, или, подперши ладонями голову, молча глядѣлъ на Женни, замѣнившую ему всѣ радости въ жизни. Женни очень любила слушать, особенно когда читалъ Зарницынъ. Онъ, дѣйствительно, очень хорошо читалъ, хотя и вдавался въ нѣкоторую не совсѣмъ нужную декламацію. Не смотря на то, что Женни обѣщала читать все, что ей дастъ Вязмитиновъ, ея литературный вкусъ скоро сказался. Она очень тяготилась серьезнымъ чтеніемъ и вообще не долюбливала статей. Вязмитиновъ скоро это замѣтилъ и сталъ снабжать ее лучшими беллетристическими

произведеніями старой и новой литературы. Выборъ всегда былъ очень разумный, изобличавшій въ Вязмитиновѣ основательное знаніе литературы и серьезное пониманіе вліянія извѣстныхъ произведеній на умъ и сердце читательницы.

Легкій родъ литературы Женѣ очень нравился, но и въ немъ она искала отдыха и удовольствія, а не зачитывалась до страсти.

Вообще она была читательница такъ себѣ, весьма не рьяная, хотя и не была равнодушна къ драматической литературѣ и поэзіи. Она даже знала наизусть цѣлыя страницы Шиллера, Гёте, Пушкина, Лермонтова и Шекспира, но все это ей нужно было для отдыха, для удовольствія; а главное у нея было—дѣло дѣлать. Это *дѣло дѣлать* у нея сводилось къ исполненію женскихъ обязанностей дома для того, чтобы всѣмъ въ домѣ было какъ можно легче, отраднѣе и лучше. И она считала эти обязанности своимъ преимущественнымъ назначеніемъ вовсе не вслѣдствіе какой-нибудь узкой теоріи, а такъ это у нея просто такъ выходило, и она такъ жила.

Зарницынъ за это упрекалъ Евгенію Петровну, указывая ей на высокое призваніе гражданки; Вязмитиновъ объ этомъ никогда не разговаривалъ, а докторъ, сдѣлавшійся жаркимъ поклонникомъ скромныхъ достоинствъ Женни, обыкновенно не давалъ сказать противъ нея ни одного слова.

— Рудинъ! Рудинъ!—кричалъ онъ на Зарницына:—все съ проповѣдями ходишь, на великое служеніе всѣхъ подбиваешь: мать Гракховъ сыновей кормила, а ты, смотри, бабки слѣпой не умори голодомъ съ проповѣдями-то.

Докторъ, впрочемъ, бывалъ у Гловацкихъ гораздо рѣже, чѣмъ Зарницынъ и Вязмитиновъ: служба не давала ему покоя и не позволяла засиживаться въ городѣ; къ тому же, онъ часто бывалъ въ такомъ мрачномъ расположеніи духа, что бѣгалъ отъ всякаго сообщества. Недобрые люди разсказывали, что онъ въ такія полосы пилъ мертвую и лежалъ ницъ на продавленномъ диванѣ въ своемъ кабинетѣ.

Когда докторъ заходилъ посидѣть вечерокъ у Гловацкихъ, тогда ужъ обыкновенно не читали, потому что у доктора всегда было что вытащить на свѣтъ изъ грязной, но не безъинтересной ямы, именуемой провинціальною жизнью.

Если же къ этому собранію еще присоединялся дьяконъ и его жена, то тогда и пѣли, и спорили, и немножко безобразничали.

Кромѣ того, иногда самымъ неожиданнымъ образомъ заходили такіе жаркіе и такіе безконечные споры, что Петръ Лукичъ прекращалъ ихъ, поднимаясь со свѣчею въ рукѣ и провозглашая: «любезные мои гости! жалѣя ваше безцѣнное для васъ здоровье, никакъ не смѣю васъ болѣе удерживать»,—и всѣ расходились.

Вообще это былъ кружокъ очень короткихъ и очень другъ къ другу не взыскательныхъ людей.

Подобные кружки сепаратистовъ въ описываемую нами эпоху встрѣчались довольно нерѣдко и составляли совершенно новое явленіе въ уѣздной жизни.

Людей, входившихъ въ составъ этихъ кружковъ, связывала не солидарность матеріальныхъ интересовъ, а единственно сочувствіе совершающемуся пробужденію, общая радость каждому шагу общественнаго преуспѣянія и искреннее желаніе всѣхъ золъ прошедшему.

Поэтому короткость тогдашнихъ сепаратистовъ не парализировалась наступательными и оборонительными диверсіями, разъединившими *новыхъ людей* впослѣдствіи, и была совершенно свободна отъ нравственной нечисти и растлѣнія, вносимыхъ съ короткостью людей отходившей эпохи.

Тутъ все имѣло только свое значеніе. Было много вѣры другъ въ друга, много простоты и снисходительности, которыхъ не было у отцовъ, занимавшихъ соотвѣтственныя соціальныя амплуа, и нѣтъ у дѣтей, занимающихъ амплуа даже гораздо выгоднѣйшія для водворенія простоты и правды житейскихъ отношеній.

Уѣздный l'ancienne régime не могъ понять настоящихъ

причинъ дружелюбія и короткости кружка нашихъ знакомыхъ.

Дождется, бывало, Вязмитиновъ смѣны уроковъ, идетъ къ Евгеніи Петровнѣ и молча садится противъ нея по другую сторону рабочаго столика.

Женни тоже молча взглянетъ на него своимъ ласковымъ взглядомъ и спроситъ:—Устали?

— Усталъ,—отвѣтитъ Вязмитиновъ.

— Не хотите ли чашку кофе, или водочки? — спроситъ Женни, попрежнему не отрывая глазъ отъ работы.

— Нѣтъ, не хочу; я такъ пришелъ отдохнуть и посмотрѣть на васъ.

Перекинутся еще десяткомъ простыхъ, малозначащихъ словъ и разойдутся до вечера.

— Евгенія Петровна! — восклицаетъ влетая спѣшнымъ шагомъ красивый Зарницынъ.

— Ахъ! что такое сотворилось! — улыбаясь и поднимая тѣ же ласковые глаза, спрашиваетъ Женни всегда немножко рисующагося и увлекающагося учителя.

— Умираю, Евгенія Петровна.

— Какая жалость!

— Вамъ жаль меня?

— Да какъ же?

— Читать некому будетъ?

— Да, и суетиться некому станетъ.

— Ахъ, Евгенія Петровна!—дѣлая жалкую рожицу, восклицаетъ учитель.

— Вѣрно, водочки дать?

— Съ грибочкомъ, Евгенія Петровна.

Женни засмѣется, положитъ работу и идетъ съ ключами къ завѣтному шкафику, а за ней въ самой почтительной позѣ идетъ Зарницынъ за полученіемъ изъ собственныхъ рукъ Женни рюмки травничку и маринованныхъ грибковъ на чайномъ блюдцѣ.

— Пошелъ, пошелъ, баловникъ, на свое мѣсто, съ шутливою строгостью ворчитъ, входя, Петръ Лукичъ относясь

къ Зарницыну.—Звонокъ прозвонилъ, а онъ тутъ угощается. Что ты его Женни, не гоняешь въ классы?

Возьметъ Гловацкій педагога тихонько за руку и ведетъ къ двери, у которой тотъ проглатываетъ послѣдніе грибки и бѣжитъ внушать уравненія съ двумя неизвѣстными, а Женни подаетъ закуску отцу и снова садится подъ окно къ своему столику.

Докторъ пойдетъ въ городъ, и куда бы онъ ни шелъ, все ему смотрительскій домъ на дорогѣ выйдетъ. Забѣжитъ на минутку, все, говоритъ, некогда, все торопится, да и просидитъ битый часъ противъ работающей Женни, разсказывая ей, какъ многимъ худо живется на бѣломъ свѣтѣ и какъ имъ могло бы житься совсѣмъ иначе, гораздо лучше, гораздо свободнѣе.

И ни разу онъ не вскипятится, разсуждая съ Женей, ни разу не впадаетъ въ свой обыкновенно рѣзкій, раздражительный тонъ, а уходя, скажетъ:

— Дайте, Евгенія Петровна, поцѣловать вашу ручку.

Женни спокойно подаетъ ему свою бѣлую ручку, а онъ спокойно ее поцѣлуетъ и пойдетъ повеселѣвшій и успокоенный.

Гловацкая никогда не скучала и не тяготилась тихимъ однобразіемъ своей жизни. Напротивъ, она полюбила ее всѣмъ сердцемъ, и все ей было мило и понятно въ этой жизни. Она понимала и отца, и Вязмитинова, и доктора, и условія, въ которыхъ такъ или иначе боролись представлявшіеся ей люди, и осмыслена была развернутая передъ ея окномъ широкая страница вѣчной книги. Уйдутъ, бывало, ежедневные посѣтители, разсказавъ такой или другой случай, выразивъ ту или другую мысль, а эта мысль или этотъ разсказъ копошатся въ молодой головкѣ, складываются въ ней все опредѣленнѣе, формулируются стройно выраженнымъ вопросомъ и предстаютъ на строгій, безпристрастный судъ, не сходя съ очереди, прежде чѣмъ дождутся обстоятельнаго рѣшенія.

По колоссальной живой страницѣ, глядя на которую

Евгенія Петровна задумала свои первыя дѣвичьи думы, текла тихая мелководная рѣчка съ некрутыми черноземными берегами. Берегъ, на которомъ стоялъ городъ, былъ еще нѣсколько круче, а противоположный берегъ уже почти совсѣмъ отлогъ, и съ него непосредственно начиналась огромная, кажется, только въ одной просторной Россіи возможная, пойменная луговина. Разстплалась эта луговина по тотъ бокъ рѣчки на такое далекое пространство, что большая раскольничья деревня, раскинутая у предгорья, заканчивавшаго съ одной стороны луговую пойму, изъ города представлялась чѣмъ-то въ родѣ длиннаго обоза, или даже овечьяго стада. Вообще, низенькіе деревенскіе домики казались не выше луговыхъ кочекъ, усѣвшихся на переднемъ планѣ необъятнаго луга. А когда бархатная поверхность этого луга мало-по-малу сѣрѣла, клочилась и росла, деревня вовсе исчезала и только длинные журавли ея колодцевъ медленно и важно, какъ бы по собственному произволу, то поднимали, то опускали свои шеи, точно и въ самомъ дѣлѣ были настоящіе журавли, живыя, вольныя птицы Божьи, которыхъ не гнетъ за носъ къ землѣ веревка, привязанная человѣкомъ. По горѣ росли горохъ и чечевица, далѣе влѣво шелъ глубокій оврагъ съ красно-бурыми обрывами и совершенно черными впадинами, дававшими нѣкогда пріютъ смѣлымъ удальцамъ Степана Разина, сына Тимоѳеевича. Затѣмъ шелъ старый сосновый лѣсъ, густою, черно-синею щеткою покрывавшій гору и уходившій по ней подъ самое небо; а къ этому лѣсу, кокетливо поворачиваясь то въ ту, то въ другую сторону, подбѣгала мелководная рѣчечка, заросшая по загибинамъ то звонкимъ красноватымъ тростникомъ, махавшимъ своими переломленными листочками, то зелено-синимъ початникомъ. Много этого початника росло по мелководной рѣчкѣ Саванкѣ. Вымечется этотъ початникъ и славно смотрѣть на него издали. На однихъ стебляхъ качаются развѣтистыя кисточки съ какими-то красными узелками, точно деревенскія молодки въ бахромчатыхъ повязкахъ. А на

другихъ стебляхъ все высокіе, черные, бархатистые султаны; ни-дать-ни-взять, тѣ прежніе султаны, что высоко стояли и шатались на высокихъ гренадерскихъ шапкахъ. Смирно стоятъ въ воздухѣ гордые, статные гренадеры въ высокомъ, синемъ ситникѣ, и только болѣе шаткія, спрятавшіяся въ томъ же ситникѣ молодочки кокетливо потряхиваютъ своими бахромчатыми, красноватыми повязочками. А дунетъ вѣтерокъ, гренадеры зашатаются съ какими-то рѣшительными намѣреніями, повязочки суетливо метнутся изъ стороны въ сторону, и все это вдругъ пригнется, юркнетъ въ густую чащу початника; наверху не останется ни повязочки, ни султана, и только синія лопасти холостыхъ стеблей шумятъ и передвигаются, будто давая кому-то мѣсто, будто сговариваясь о секретѣ, и стараясь что-то укрыть отъ звонкаго тростника, вѣчно шумящаго своими болтливыми листьями. Пронесется тучка, сбѣжитъ вѣтерокъ и изъ густой травы снова выпрыгиваютъ гренадерскіе султаны, и за ними лѣниво встаютъ и застѣнчиво отряхиваются бахромчатыя повязочки.

Видъ этотъ измѣнялся нѣсколько разъ въ годъ. Онъ не похожъ былъ на наше описаніе раннею весною, когда вся пойма покрывалась мутными водами разлива; онъ иначе смотрѣлъ послѣ Петрова дня, когда по поймѣ лежали густые ряды буйнаго сѣна; иначе еще позже, когда по убранному лугу раздавались то тихое ржанье сосуночка, то неистово-страстный храпъ спутаннаго жеребца и дѣтскій крикъ малолѣтняго табунщика. Еще иначе все это смотрѣло позднею осенью, когда пойма чернѣла и покрывалась лужами, когда черные, бархатные султаны становились бѣлыми, сѣдыми, когда между ними уже не мелькали бахромчатыя повязочки и самый ситникъ валился въ воду, совершенно обнажая подопрѣвающія цибастыя ноги гренадеръ. Дулъ сѣдовласый Борей, и картина вступала въ свою послѣднюю смѣну: пойма блестѣла бѣлымъ снѣгомъ, деревня рѣзко обозначалась у подгорья, оврагъ постепенно исчезалъ подъ нивелирующею рукою пушистой

зимы и просвирнины гуси, съ глупою важностью, дѣлали свой променадъ черезъ окаменѣвшую рѣку. Рѣдкій изъ сѣдыхъ гренадеръ достоитъ до этого суроваго времени и, совершенно потерявшись, ежится бѣднымъ инвалидомъ до тѣхъ поръ, пока просвирнина старая гусыня подойдетъ къ нему, дернетъ для своего развлеченія за вымерзлую ногу и броситъ на потѣху холодному вѣтру.

Въ смотрительскомъ флигелѣ всѣ спали тихимъ, но крѣпкимъ сномъ, когда меревскій Нарцисъ заколотилъ кнутовищемъ въ наглухо-запертыя ворота.

Черезъ полчаса послѣ этого стука, кухарка, зѣвая и крестясь, вошла со свѣчею въ комнату Евгеніи Петровны.

Дѣвушку какъ громомъ поразило извѣстіе о неожиданномъ и странномъ пріѣздѣ Лизы въ Мерево. Протянувъ инстиктивно руку къ лежавшему на стулѣ возлѣ ея кровати ночному шлафору, она совершенно растерялась и не знала, что ей дѣлать.

— Прочитайте, матушка, письмо-то, — сказала ей Пелагея.

Женни бросила шлафоръ и, сидя въ постели, развернула запечатанное письмо доктора.

«Спѣшите какъ можно скорѣе въ Мерево, писалъ докторъ.—Ночью неожиданно пріѣхала Лизавета Егоровна, больная, разстроенная и перезябшая. Мы ее ни о чемъ не разспрашивали, да это, кажется, и не нужно. Я останусь здѣсь до вашего пріѣзда и даже долѣе, если это будетъ необходимо; но, во всякомъ случаѣ, она очень потрясена нравственно, и вы теперь для нея всѣхъ нужнѣе.

Д. Розановъ».

Черезъ часъ Женни сѣла въ отцовскія сани. Около нея лежалъ узелокъ съ бѣльемъ, платьемъ и кое-какой домашней провизіей.

Встревоженный Петръ Лукичъ проводилъ дочь на крыльцо, перекрестилъ ее, велѣлъ Яковлевичу ѣхать поскорѣе и, возвратясь въ залу, началъ накручивать опустившіяся гири стѣнныхъ часовъ.

На дворѣ брезжилось и стоялъ жестокій крещенскій морозъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Утро мудренѣе вечера.

Въ одиннадцать часовъ довольно ненастнаго зимняго дня, наступившаго за бурною ночью, въ которую Лиза такъ неожиданно появилась въ Мерево, въ бахаревской сельской конторѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ ночью спалъ докторъ Розановъ, теперь весело кипѣлъ не совсѣмъ чистый самоваръ. Около самовара стояли четыре чайныя чашки, чайникъ, съ обдѣланнымъ въ олово носикомъ, молочный кубанъ съ нѣсколько замерзшимъ сверху настоемъ, бумажные сверточки чаю и сахару и связка баранокъ. Далѣе еще что-то было завязано въ салфеткѣ.

За самоваромъ сидѣла Женни Гловацкая, а напротивъ ея докторъ и Помада.

Женни хозяйничала.

Она была одѣта въ темно-коричневый ватошникъ, ловко подпоясанный лакированнымъ поясомъ и застегнутый спереди большими бархатными пуговицами, нашитыми отъ самаго воротника до самаго подола; на плечахъ у нея былъ большой сѣрый платокъ изъ козьяго пуха, а на головѣ бѣленькій фламандскій чепчикъ, красиво обрамлявшій своими оборками ея прелестное, разгорѣвшееся на морозѣ личико и завязанный у подбородка двумя широкими бѣлыми лопастями. Густая черная коса въ нѣсколькихъ мѣстахъ выглядывала изъ-подъ этого чепца буйными кольцами.

Евгенія Петровна была восхитительно хороша въ своемъ дорожномъ неглиже, и прелесть впечатлѣнія, производимаго ея присутствіемъ, была тѣмъ обаятельнѣе, что Женни нимало этого не замѣчала.

Прелесть эту за то ясно ощущали докторъ и Помада, и вліяніе ея на каждомъ изъ нихъ выражалось по-своему.

Евгенія Петровна пріѣхала уже около полутора часа

назадъ и успѣла разспросить доктора и Помаду обо всемъ, что они знали насчетъ неожиданнаго и страннаго прибытія Лизы.

Свѣдѣнія, сообщенныя ими, разумѣется, были очень ограниченны и нимало не удовлетворили безпокойнаго любопытства дѣвушки.

Теперь уже около получаса они сидѣли за чаемъ и всѣ молчали.

Женни находилась въ глубокомъ раздумьѣ; молча она наливала подаваемые ей стаканы и молча передавала ихъ доктору или Помадѣ.

Помада пилъ чай очень медленно, хлебая его ложечкою, а докторъ съ какимъ-то неестественнымъ аппетитомъ выпивалъ чашку за чашкою и давилъ въ ладоняхъ довольно черствыя уѣздныя баранки.

— Хорошо ли это, однако, что она такъ долго спитъ?— спросила, наконецъ, шопотомъ Женни.

— Ничего, пусть спитъ, — отвѣчалъ докторъ, и опять подалъ Гловацкой опорожненную имъ чашку.

Въ контору вошла птичница, а за нею черезъ порогъ двери клубомъ перекатилось сѣдое облако холоднаго воздуха и поползло по полу.

— Лѣкаря спрашиваютъ, — проговорила птичница, относясь ко всей компаніи.

— Кто?—спросилъ докторъ.

— Генеральша прислали.

— Что ей?

— Просить велѣла безпремѣнно.

— Что бы это такое? — проговорилъ докторъ, глядя на Помаду.

Тотъ пожалъ, въ знакъ совершеннаго недоумѣнія, плечами и ничего не отвѣтилъ.

— Скажи, что буду,—рѣшилъ докторъ и махнулъ бабѣ рукою на дверь.

Птичница медленно повернулась и вышла, снова впустивъ другое, очередное облако стоявшаго за дверью холода.

— Больна она, что ли?—спросилъ докторъ.

— Не знаю,—отвѣчалъ Помада.

— Ты же вчера набиралъ тамъ вино и прочее.

— Я у ключницы выпросилъ.

За тонкою тесовою дверью скрипнула кровать.

Общество молча взглянуло на перегородку и внимательно прислушивалось.

Лиза кашлянула и еще разъ повернулась.

Гловацкая встала, положила на столъ ручникъ, которымъ вытирала чашки, и сдѣлала два шага къ двери, но докторъ остановилъ ее.

— Подождите, Евгенія Петровна, сказалъ онъ.—Можетъ быть это она во снѣ ворочается. Не мѣшайте ей: ей сонъ нуженъ. Можетъ быть, за все это она однимъ сномъ и отдѣлается.

Но вслѣдъ за симъ Лиза снова повернулась и проговорила:

— Кто тамъ шепчется? Пошлите ко мнѣ, пожалуйста, какую нибудь женщину.

Гловацкая тихо вошла въ комнату.

— Здѣсь лампада гаснетъ и такъ воняетъ, что мочи нѣтъ дышать,—проговорила Лиза, не обращая никакого вниманія на вошедшую.

Она лежала обернувшись къ стѣнѣ.

Женни встала на стулъ, загасила догоравшую лампаду, а потомъ подошла къ Лизѣ и остановилась у ея изголовья.

Лиза повернулась, взглянула на своего друга, откинулась назадъ и, протянувъ обѣ руки, радостно воскликнула:

— Женька! какими это судьбами?

Подруги нѣсколько разъ кряду поцѣловались.

— Какъ ты это узнала, Женька?—спрашивала между поцѣлуями Лиза.

— Мнѣ дали знать.

— Кто?

— Докторъ записку прислалъ.

— А ты и пріѣхала?

— А я и пріѣхала.

— Гадкая ты моя ледышка, — съ навернувшимися на глазахъ слезами сказала Лиза и, схвативъ Женину руку, жарко ее поцѣловала.

Потомъ обѣ дѣвушки снова поцѣловались и обѣ повеселѣли.

— Ну, чаю теперь хочешь?

— Давай, Женни, чаю.

— А одѣваться?

— Я такъ напьюсь, въ постели.

— А мужчины?—прошептала Женни.

— Что-жъ, я въ порядкѣ. Зашпиль мнѣ кофту, и пусть придутъ.

— Господа—крикнула она громко:—не угодно ли вамъ придти ко мнѣ. Мнѣ что-то вставать не хочется.

— Очень, очень угодно, — отвѣчалъ входя докторъ и поцѣловалъ поданную ему Лизою руку.

За нимъ вошелъ Помада и, по примѣру Розанова, тоже приложился къ Лизиной ручкѣ.

— Вотъ теплая простота и фамильярность!—смѣясь замѣтила Лиза:—патріархальное лобызаніе ручекъ!

— Да; у насъ по-деревенски,—отвѣтилъ докторъ.

Помада только покраснѣлъ, и голова потянула его въ уголъ.

Женни вышла въ контору налить Лизѣ чашку чаю.

— Ну, а о здоровьѣ, кажется, слава Богу, нечего спрашивать?—шутливо произнесъ докторъ.

— Кажется, нечего: совсѣмъ здорова, — отвѣчала Лиза.

— Дайте-ка руку.

Лиза подала руку.

— Ну, передразнитесь теперь.

Лиза засмѣялась и показала доктору языкъ.

— Все въ порядкѣ, произнесъ онъ, опуская ея руку:—только вотъ что это у васъ глаза?

— Это у меня давно.

— Болятъ они у васъ?

— Да. При огнѣ только.

— Отчего же это?

— Докторъ Майеръ говорилъ, что отъ чтенія по ночамъ.

— И что же дѣлалъ съ вами этотъ почтенный д-ръ Майеръ?

— Не велѣлъ читать при огнѣ.

— А вы, разумѣется, не послушались?

— А я, разумѣется, не послушалась.

— Напрасно,—тихо сказалъ Розановъ и всталъ.

— Куда вы? — спросила его Женни, входившая въ это время съ чашкою чая для Лизы.

— Пойду къ Меревой. Мое мѣсто у больныхъ, а не у здоровыхъ, — произнесъ онъ съ комическою важностью на лицѣ и въ голосѣ.

— Когда бываетъ вамъ грустно, докторъ?—смѣясь спросила Гловацкая.

— Всегда, Евгенія Петровна, всегда и можетъ быть теперь болѣе, чѣмъ когда нибудь.

— Этого, однако, что-то не замѣтно.

— А зачѣмъ же, Евгенія Петровна, это должно быть замѣтно?

— Да такъ... прорвется...

— Да прорваться-то прорвется, только лучше пусть не прорывается. Пойдемъ-ка, Помада!

— Куда-жъ вы его-то уводите?

— А нельзя-съ; онъ долженъ идти читать свое чистописаніе будущей графинѣ Бутылкиной. Пойдемъ, братъ, пойдемъ, настаивалъ онъ, взявъ за рукавъ поднявшагося Помаду,—пойдемъ, отдѣлаешься скорѣе, да и къ сторонѣ. Въ городъ вмѣстѣ махнемъ къ вечеру.

Дѣвушки остались вдвоемъ.

Долго онѣ обѣ молчали.

Спокойствіе и веселость снова слетѣли съ лица Лизы, бровки ея насупились и какъ будто ломались посерединѣ.

Женни сидѣла подперши голову рукою и, не сводя глазъ, смотрѣла на Лизу.

— Что-жъ такое было?—спросила она ее наконецъ. Ты разскажи, тебѣ будетъ легче, чѣмъ такъ. Сама супишься, мы ничего не понимаемъ: что это за положеніе?

Лиза молчала.

— Исторія была?—спросила, спустя нѣсколько минутъ, Гловацкая.

— Да.

— Большая?

— Нѣтъ.

— Скверная?

— То есть какая скверная? Въ какомъ смыслѣ?

— Ну, непріятная?

— Да, разумѣется; непріятная.

— У васъ дома?

— Нѣтъ.

— Гдѣ же?

— У губернатора на балѣ.

— Ты была на балѣ.

— Была. Это третьяго дня было.

— Ну, и что-жъ такое?

— И вышла исторія.

— Изъ-за чего же?

— Изъ-за вздора, изъ глупости, изъ-за тебя, изъ-за чего ты хочешь... Только я объ этомъ нимало не жалѣю,—добавила Лиза, подумавъ.

— И изъ-за меня!

— Да, и изъ-за тебя частію.

— Ну, говори же, что именно это было и какъ было.

— Я вѣдь тебѣ писала, что я довольно счастлива, что мнѣ не мѣшаютъ сидѣть дома и не заставляютъ являться ни на вечера, ни на балы?

— Ну, писала.

— Недавно это почему-то вдругъ все измѣнилось. Какъ начались выборы, мать рѣшила, что мнѣ невозможно оставаться дома, что я непремѣнно должна выѣзжать. По этому поводу шелъ цѣлый рядъ отвратительно нѣжныхъ траги-

комедій. Чтобы все кончить, я уступила и стала ѣздить. Третьяго дня злая-презлая я поѣхала на балъ съ матерью и съ Софи. Одѣвая меня, мнѣ турчала въ голову няня, и тутъ, между прочимъ, я имѣла удовольствіе узнать, что мною «антересуется» этотъ молодой богачъ Игинъ. Дорогою мать запѣла. Пѣла, пѣла и допѣлась опять до Игина. Злость меня просто душила. Входимъ: въ дверяхъ встрѣчаютъ Канивцовъ и Игинъ. Канивцовъ за Софи, а тотъ берется за меня. Мнѣ стало скверно, я ему сказала какую-то дерзость. Онъ отошелъ. Зоветъ меня танцовать—я не пошла. Мать выговоръ. Я увидала, что въ одной залѣ дамы играютъ въ лото и усѣлась съ ними, чтобы избавиться отъ всевозможныхъ приглашеній. Мать совсѣмъ надулась. «Иди, говоритъ, порѣзвись, потанцуй». Я поблагодарила и говорю, что я въ выигрышѣ, что мнѣ очень везетъ, что я хочу испытать мое счастье. Мать еще болѣе надулась. Передъ ужиномъ я отошла съ Зининымъ мужемъ къ окну; стоимъ за занавѣской и болтаемъ. Онъ разсказывалъ, какъ дворяне сговаривались забаллотировать предводителя, и вдругъ всѣ единогласно его выбрали снова, посадили на кресла, подняли, понесли по залѣ и, остановясь передъ этой дурой, предводительшей, которая сидѣла на хорахъ, ни съ того, ни съ сего тамъ что-то заорали, ура, или рады стараться.

— Ты сошлась съ Зининымъ мужемъ?—спросила Женни.

— Да. Онъ совсѣмъ не дурной человѣкъ и поумнѣе многихъ. Ну,—продолжала она, послѣ этого отступленія,—болтаемъ мы стоя, а за колонной, совсѣмъ почти возлѣ насъ начинается разговоръ, и слышу то мое, то твое имя. Это ораторствовалъ тотъ бѣлобрысый губернаторскій адъютантъ: «я, говоритъ, ее еще лѣтомъ видѣлъ, какъ она только изъ института ѣхала. Съ нею тогда была еще пріятельница, дочь какого-то смотрителя. Прелесть, батюшка, разсказываетъ, что такое. Бѣлая, стройная, коса, говоритъ, такая, глаза, такіе, шея такая, а плечи, плечи...»

Женни вспыхнула и прошептала: какой дуракъ!

— Ну, словомъ, точно лошадь тебя описываетъ, и

вдобавокъ, та, говоритъ, совсѣмъ не то, что эта; та (т. е. ты-то) совсѣмъ глупенькая... Фу, чортъ возьми! думаю себѣ, что же это за наглецъ. А Игинъ его и спрашиваетъ (онъ все это Игину разсказывалъ): «А какого вы мнѣнія о Бахаревой»? «Такъ, говоритъ, дѣвочка ничего, смазливенькая, *годится*». Слышись, *годится*? Годится! Ну, знаешь, что это у нихъ значитъ, на ихъ скотскомъ языкѣ... Это подлость... «А объ умѣ ея, о характерѣ, что вы думаете?» опять спрашиваетъ Игинъ. «Ничего; она, говоритъ, не дура, только избалована, много о себѣ думаетъ, первой умницей себя, кажется, считаетъ».—И сейчасъ же разсуждаетъ: «Но вѣдь это, говоритъ, пройдетъ: это тамъ, въ институтѣ, да дома легко прослыть умницею-то, а въ свѣтѣ какъ разъ да два щелкнуть хорошенько по курносому носику-то такъ и опуститъ хохолъ». Можешь ты себѣ вообразить мое положеніе! Но стою, молчу, а онъ еще далѣе разъѣжаетъ: я, говоритъ, еслибы она мнѣ нравилась, однако, не побоялся бы на ней жениться. Я умѣю ихъ школить. Имъ только не надо давать потачки, такъ онѣ шелковыя станутъ. Я бы ее скоро молчать заставилъ. Я бы ее то, да я бы ее то заставилъ дѣлать—только и слышно... Ну, ничего.—За ужиномъ я сѣла между Зиной и ея мужемъ и ни съ кѣмъ постороннимъ не говорила. И простились, и вышло все это прекрасно, благополучно. Но ужъ въ передней, стали мы надѣвать шубы и сапоги,—вдругъ возлѣ насъ выростаютъ Игинъ и адъютантъ. Народу ужасъ сколько; ничего не допросишься и не доищешься. Этотъ болванчикъ съ своими услугами. Приноситъ шубы и сапоги. Я взяла у него шубу и подаю ее своему человѣку: «подержи, говорю, Алексѣй, пожалуйста», и сама надѣваю. «Отчего-жъ вы мнѣ не позволили имѣть эту честь?» вдругъ обращается ко мнѣ эта мразь.—«Какую, говорю, честь?»—«Подать вамъ шубу». Я совершенно холодно отвѣчала, что лакейскія обязанности, по моему мнѣнію, никому не могутъ доставить особенной чести. — Нѣтъ-таки неймется! — «За то, говоритъ, въ иныхъ случаяхъ онѣ могутъ доставить очень большое удовольствіе»,—и самъ осклабляется. Даже жалокъ

онъ мнѣ тутъ сталъ, и я такъ-таки, совсѣмъ безъ всякой злости, ему буркнула, что «это дѣло вкуса и натуры». А онъ, вообрази ты себѣ, вѣрно тутъ свою теорію насчетъ укрощенія нравовъ вспомнилъ; вдругъ принялъ на себя этакой какой-то смѣшной, даже вовсе не свойственный ему, серьезный видъ и этакимъ, знаешь, внушающимъ тономъ и такъ, что всѣмъ слышно, говоритъ: «извините, mademoiselle, я вамъ скажу франшеманъ, что вы слишкомъ рѣзки. Мнѣ припомнился въ эту секунду весь его пошлый разговоръ и хвастовство. Вся кровь моя бросилась въ лицо, и я ему также громко отвѣтила: «извините и меня monsieur, я тоже скажу вамъ франшеманъ, что вы дуракъ».

И слушательница, и разсказчица разомъ расхохотались.

— Ай, ай, ай,—протянула Гловацкая, качая головой.

— Да, айкай, сколько угодно.

— Да какъ-же это ты, Лиза?

— А что жо мнѣ было дѣлать?—раздражительно и съ гримасой спросила Бахарева.

— Могла бы ты иначе его остановить.

— Такъ лучше: одинъ пріемъ, и все кончено, и приставать болѣе не будетъ.

Женни опять покачала головой и спросила:

— Ну, а дальше что же было?

— А дальше дома были обмороки, стенанія, крики «опозорила», «осрамила», «обезчестила» и тому подобное. Даже отецъ закричалъ и даже...

Лиза вспыхнула и добавила дрожащимъ голосомъ.

— Даже — толкнулъ меня въ плечо. Потомъ я цѣлую ночь проплакала въ своей комнатѣ; утромъ рано одѣлась и пошла пѣшкомъ въ монастырь посовѣтоваться съ теткой. Думала упросить тетку взять меня къ себѣ, — тамъ мнѣ все-таки съ нею было бы лучше. Но потомъ опять пришло мнѣ на мысль, что и тамъ сахаръ, хоть и въ другомъ родѣ, да и отецъ, пожалуй, упрется, не пуститъ, а тутъ покачаловскій мужикъ Сергѣй ѣдетъ. — Овесъ, что-ли провозилъ— сѣла въ сани, да вотъ и пріѣхала сюда. Только чуть не

замерзла дорогой, — даже оттирали въ Покачаловѣ. Одѣта была скверно. Но ничего,—это все пройдетъ, а ужъ за то теперь меня отсюда не возьмутъ.

— Ты здѣсь рѣшила жить?

— Рѣшила.

— Одна.

— Да, до лѣта, пока наши въ городѣ, буду жить одна.

— Что-жъ это такое, мой милый докторъ, значитъ?— выславъ всѣхъ вонъ изъ комнаты, разспрашивала у Розанова камергерша Мерева.

— А ничего, матушка, ваше превосходительство, не значитъ, отвѣчалъ Розановъ: — семейное, что нибудь разумѣется, во что и входить-то со стороны, я думаю, нельзя. Пословица говорится: «свои собаки грызутся, а чужія подъ столъ». О здоровьѣ своемъ не извольте безпокоиться: начнется изжога — магнезіи кусочекъ скушайте и пройдетъ, а намъ туда прикажите теперь прислать бульонцу, да кусочекъ мяса.

— Какъ же, какъ же, я ужъ распорядилась.

— Вотъ русская-то натура и въ аристократкѣ, а все свое беретъ! Прежде напой и накорми, а тогда и спрашивай.

— Ну, ужъ ты льстецъ, ты наговоришь,—весело шутила задобренная камергерша.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Изъ большой тучи маленькій громъ.

Вечеромъ, когда сумракъ сливаетъ покрытыя снѣгомъ поля съ небомъ, по направленію отъ Мерева къ уѣздному городу, ѣхали двое небольшихъ пошевней. Въ переднихъ саняхъ сидѣли Лиза и Гловацкая, а въ заднихъ докторъ въ огромной волчьей шубѣ и Помада въ вытертомъ котиковомъ тулупчикѣ, который, по милости своего страннаго фасона, назывался «халатикомъ».

Дорога была очень тяжкая, снѣжная и сверху опять порошилъ снѣжокъ.

— Хорошія дѣвушки, — проговорилъ Помада, какъ бы отвѣчая на свою долгую думу.

— Да, хорошія, — отвѣчалъ молчаливый до сихъ поръ докторъ.

Можно было полагать, что и его думы бродили по тому же тракту, по которому путались мысли Помады.

— А которая изъ нихъ по-твоему лучше? — спросилъ шопотомъ Помада, обернувшись лицомъ къ воротнику докторской шубы.

— А по-твоему, какая?—спросилъ, смѣясь, докторъ.

— Я, братъ, не знаю; не могу рѣшить. Я ихъ, просто, боюсь.

Докторъ разсмѣялся.

— Ну, которой же ты больше боишься?

— Обѣихъ, братецъ ты мой, боюсь.

— Ну, а которой больше-то? Все же ты которой нибудь больше боишься.

— Нѣтъ, равно боюсь. Эта, просто, бѣдовая; говори съ ней, да оглядывайся; а та еще хуже.

Докторъ опять разсмѣялся самымъ веселымъ смѣхомъ.

— Ну, а въ которую ты сильнѣе влюбленъ?—спросилъ онъ шопотомъ.

— Н-ну! Чортъ знаетъ, что болтаешь! — отвѣчалъ Помада, толкнувъ доктора локтемъ и, подумавъ, прибавилъ:— какъ ихъ полюбить-то?

— Отчего же?

— Да такъ. Передъ этой, какъ передъ грознымъ ангеломъ стоишь, а та такая чистая, что гдѣ ты ей человѣка найдешь. Какъ къ ней съ нашими-то грязными руками прикоснуться.

Докторъ задумался.

— Вы это что о насъ съ Лизой распускаете, Юстинъ

Феликсовичъ?—спрашивала на другой день Гловацкая входящаго Помаду.

Это было вечеромъ, за чайнымъ столомъ.

Помада покраснѣлъ до ушей и уронилъ свою студентскую фуражку.

Всѣ сидѣвшіе за столомъ разсмѣялись. А за столомъ сидѣли: Лиза, Гловацкій, Вязмитиновъ (сдѣлавшійся давно ежедневнымъ гостемъ Гловацкихъ), докторъ и сама Женни, глядѣвшая изъ-за самовара на сконфуженнаго Помаду.

— Оправься, скомандовалъ докторъ: — ни о чемъ иномъ идетъ рѣчь, какъ о твоей боязни предъ Лизаветой Егоровной и Евгеніей Петровной. Проболтался, сердце мое,— прости.

— Да, да, Юстинъ Феликсовичъ, чего-жъ это вы насъ боитесь-то?

— Я не говорилъ.

— А такъ вы, докторъ, и сочинять умѣете!

— Помада! и ты, честный гражданинъ Помада,—не говорилъ?—Трусъ ты,—самообличенія въ тебѣ нѣтъ.

— Чѣмъ же мы такія страшныя? — приставала Женни, развеселившаяся сегодня болѣе обыкновеннаго.

— Чистотой!—рѣшительно отвѣтилъ Помада.

— Чѣ-ѣмъ?

— Чистотой.

Опять всѣ засмѣялись.

— Такъ насъ и любить нельзя?—спросила Женни.

— «Страшно васъ любить»,—проговорилъ Помада, оправляясь и воспоминая пѣсенку, нѣкогда слышанную имъ отъ цыганокъ въ Харьковѣ.

— И отлично, Помада. Бойтесь насъ, а то, въ самомъ дѣлѣ, долго ли до грѣха, — влюбитесь. Я вѣдь, говорятъ, недурна, а Женни красавица; вы же, по общему отзыву, Сердечкинъ.

— Кто это вамъ вретъ, Лизавета Егоровна? — ожесточенно и въ то же время сильно обиженно крикнулъ Помада.

— А-а! развѣ можно такъ говорить съ дѣвушками?

— Подлость какая!—воскликнулъ Помада опять такимъ оскорбленнымъ голосомъ, что докторъ счелъ нужнымъ скорѣе перемѣнить разговоръ и спросилъ:

— А въ самомъ дѣлѣ, что же это, однако, съ вашими глазами, Лизавета Егоровна?

— Да болятъ?

— Такъ это не съ холоду только?

— Нѣтъ, давно болятъ.

— Ну, вы смотрите: это не шутка. Шутя этакъ, можно и ослѣпнуть.

— Я очень много читаю и не могу не читать. Это у меня какой-то запой. Что же мнѣ дѣлать.

— Я вамъ буду читать, — чистымъ и радостнымъ голосомъ вдругъ вызвался Помада.

И такъ счастливо, такъ преданно и такъ честно глядѣлъ Помада на Лизу, высказавъ свою просьбу заслонить ея больные глаза своими, что никто не улыбнулся. Всѣ только случайно взглянули на него, совсѣмъ съ хорошими чувствами, и лишь одна Лиза вовсе на него не взглянула, а небрежно проронила:—Хорошо, читайте.

— Дома всѣ?—крикнулъ изъ передней голосъ, заставившій вздрогнуть цѣлую компанію.

— Дома, и милости просимъ,—отвѣчалъ Гловацкій вставая и, взявъ со стола одну изъ двухъ свѣчекъ, пошелъ навстрѣчу гостю.

Лиза молча встала и пошла за Гловацкимъ.

Въ передней былъ Егоръ Николаевичъ Бахаревъ и Марина Абрамовна.

Когда Гловацкій освѣтилъ до сихъ поръ темную переднюю, Бахаревъ стоялъ нагнувъ свою голову къ Абрамовнѣ, а она обивала своими бѣлыми, шерстяными вязенками съ синей надвязкой, густой слой снѣга, насѣвшаго въ воротникъ господской медвѣжьей шубы.

— Снѣжно, видно, стало?—спросилъ Гловацкій.

— Занесло, братъ, совсѣмъ,—отвѣчалъ Бахаревъ самымъ веселымъ тономъ.

— Ого! — подумалъ Петръ Лукичъ.

— Ого! — подумали прочіе, и всѣ повеселѣли.

— Здравствуйте! — говорилъ Бахаревъ, цѣлуя по ряду всѣхъ. Здравствуй, Лизокъ! — добавилъ онъ, обнявъ, наконецъ стоявшую Лизу, поцѣловалъ ее три раза и потомъ поцѣловалъ ея руку.

Возобновили чай. Разговоръ шелъ веселый и нимало не касался Лизы. Только Абрамовна поздоровалась съ нею нѣсколько сухо, тогда какъ Женни она расцѣловала и огладила ея головку.

— Кушай, няничка, — сказала Женни, подавая Абрамовнѣ въ свою спальню стаканъ чаю со сливками и большимъ ломтемъ домашней булки.

— Спасибо тебѣ, моя красавица, — отвѣчала Абрамовна и поцѣловала въ лобъ Женни.

— Кушай, няня, еще, — сказала Лиза, подавая Абрамовнѣ другой стаканъ.

— Не безпокойся, умница,—отвѣчала Абрамовна, отворачиваясь искать чего-то неположеннаго.

А Егоръ Николаевичъ разсказывалъ о выборахъ, шутилъ и вообще былъ веселъ, но избѣгалъ разговора съ дочерью.

Только, выходя изъ за ужина, когда уже не было ни Розанова, ни Вязмитинова, онъ самъ заперъ за ними дверь и ласково сказалъ:

— Я тебѣ, Лиза, привезъ Марину. Тебѣ съ нею будетъ лучше... Книги твои тоже привезъ... и есть тебѣ какая-то записочка отъ тетки Агнессы. Куда это я ее сунулъ?.. Не знаю, что она тебѣ тамъ пишетъ.

Старикъ вынулъ изъ бумажника письмо и подалъ его Лизѣ.

«Я на тебя сердита, Лиза, — писала мать Агнія племянницѣ. — Такихъ штукъ выкидывать нельзя, легкое ли дѣло, что мы передумали? Развѣ это хорошо? Посмотри

ты на своего отца, который хотѣлъ тебя избранить и связать, а потомъ, какъ ребенокъ, радъ летѣть къ тебѣ на старости лѣтъ. Я тебя нимало не защищала и теперь говорю съ тобою, какъ съ женщиною, одаренною умомъ и великодушіемъ. Я говорю съ тобою какъ съ *Бахаревою* (въ этомъ мѣстѣ Лиза сдѣлала гримаску, которую нельзя было истолковать въ пользу родовыхъ аргументацій матери Агніи). Посмотри ты на старика! Онъ вѣдь весь осунулся. Развѣ это можно такъ поступать, дитя мое? Онъ не только твой отецъ, но онъ еще старикъ, цѣлую жизнь честно исполнявшій то, что ему казалось его человѣческимъ долгомъ. Ты боишься людской черноты и пошлости, бойся же, другъ мой, гадчайшаго порока въ жизни, — бойся пренебрежительности и нетерпимости, и, вѣрь или не вѣрь въ Бога, а вѣрь, что даже въ этой жизни есть неотразимый законъ возмездія, помни, что проклято то сердце, которое за любовь не умѣетъ заплатить даже состраданіемъ.

«Твоя тетка

инокиня *Агнія*».

«P. S. Никакого насилія, никакихъ рѣзкостей противъ тебя употреблено не будетъ, только не бунтуйся ты сама, Бога ради».

Прочитавъ это письмо, Лиза тщательно сложила его, сунула въ карманъ, потомъ встала, подошла къ отцу, поцѣловала его самого и поцѣловала его руку.

— Что? что, мой, котенокъ?—спросилъ совсѣмъ расцвѣтшій старикъ.

— Я очень виновата передъ вами, папа.

— Да, кажется,—отвѣчалъ старикъ, смаргивая нервную слезу и притворяясь, что ему попалъ въ глаза дымъ.

— Но я не могла поступить иначе,—замѣтила Лиза.

— Ну, Богъ съ тобой, если не могла.

Лиза опять обезоружилась.

— Но все-таки я виновата,—простите меня.

Бахаревъ нагнулъ дочь къ себѣ и поцѣловалъ ее.

— Тетя пишетъ, что вы не будете меня принуждать... Позвольте мнѣ жить зиму въ деревнѣ.

— Да живи, живи! Я тебѣ нарочно Марину привезъ, и книги твои тебѣ привезъ. Живи, Богъ съ тобой, если тебѣ нравится.

Лиза снова расцѣловала отца, и семья съ гостями разошлась по своимъ комнатамъ. Бахаревъ пошелъ съ Гловацкимъ въ его кабинетъ, а Лиза пошла къ Женни.

Скоро все улеглось и заснуло.

Легко было всѣмъ засыпать, глядя вслѣдъ безпокоившей ихъ огромной тучѣ, изъ которой вышелъ такой маленькій громъ.

Только одинъ старикъ Бахаревъ часто вздыхалъ и ворочался, лежа на мягкомъ диванѣ въ кабинетѣ Гловацкаго.

Наконецъ, далеко за полночь, тоска его одолѣла: онъ всталъ, отыскалъ впотьмахъ свою трубку съ черешневымъ чубукомъ, раскурилъ ее и, тяжело вздохнувъ старою грудью, въ одномъ бѣльѣ присѣлъ въ ногахъ у Гловацкаго.

— Что ты не спишь? — спросилъ его пробудившійся Петръ Лукичъ.

— Не спится, Петруха, — растерянно отвѣчалъ старикъ.

— Перестань думать-то.

— Не могу, братъ. Жаль мнѣ ее, а никакъ ничего не пойму.

— Оставь времени дѣлать свое дѣло.

— Да что оставлять, когда ничего не пойму! Вижу что не права она, а жаль. И что это такое? что это такое въ ней?

— Нравъ, братъ, такой! стремленія...

— Да какія же стремленія?

— То-то: вѣкъ, идеи,—все это...

— Да что за идеи-то, ты мнѣ разъясни?

— Пытливость разума, ну, безпокойство... пройдетъ все.

Бахаревъ затянулся, освѣтилъ комнату разгорѣвшимся табакомъ, потомъ, спустивъ трубку съ колѣнъ, лѣниво,

но съ особеннымъ тщаніемъ и ловкостью осадилъ большимъ пальцемъ правой ноги поднявшійся изъ нея пепелъ, и, тяжело вздохнувъ, побрелъ неслышными шагами на диванъ.

— Я, Лизокъ, оставилъ Николаю Степановичу деньженокъ. Если тебѣ книги какія понадобятся, онъ тебѣ выпишетъ, — говорилъ Бахаревъ, прощаясь на другой день съ дочерью.

— Очень благодарю васъ, папа.

— Да. Я заѣду въ Мерево, обряжу тебѣ залу и мой кабинетъ, а ты тутъ погости дня два, три, пока домъ отойдетъ.

— Хорошо-съ.

— Ну, будь здорова. А къ намъ побываешь? Побывай: я лошадей тебѣ оставлю. Будь же здорова; Христосъ съ тобою.

Бахаревъ перекрестилъ дочь и уѣхалъ, а Лиза осталась одна, самостоятельною госпожею своихъ поступковъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ пустомъ домѣ.

Вся наша знакомая уѣздная молодежь немного размышляла о положеніи Лизы, но всѣ были очень рады ея переселенію въ Мерево. Надѣялись безпрестанно видѣть ее у Гловацкихъ, разсчитывали вмѣстѣ читать, гулять, спорить и вообще разгонять, чѣмъ Богъ пошлетъ, утомительное semper idem уѣздной жизни.

А дѣло вышло вовсѣмъ иначе.

Лиза какъ уѣхала въ Мерево, такъ тамъ и засѣла. Правда, въ два мѣсяца она навѣстила Гловацкую раза четыре, но и то, какъ говорится, пріѣзжала словно жару хватить. Пріѣдетъ утречкомъ, посидитъ, вытребуетъ къ себѣ Вязмитинова, сообщитъ ему свои желанія насчетъ книгъ и домой собирается.

— Что это съ тобой дѣлается, Лиза? — спрашивала ее Гловацкая:—я, просто, не узнаю тебя. Сердишься ты на меня, что ли?

— За что же мнѣ на тебя сердиться, — я нимало къ тебѣ не измѣняюсь.

— Чего же ты отъ насъ скрываешься?

— Я не скрываюсь.

— То, бывало, жалуешься, что нельзя къ намъ ѣздить, а теперь едва въ двѣ недѣли разъ глаза покажешь, да и то на одну минуту. Что этому за причина?

— Какая же тутъ причина нужна? Мнѣ очень хорошо теперь у себя дома, я занимаюсь—вотъ и вся причина.

Женни и спрашивать ее перестала, а если, бывало, скажетъ ей, прощаясь: «пріѣзжай скорѣе Лиза», то та отвѣтитъ «пріѣду», да и только.

— Что же Лизавета Егоровна?—спрашивали Гловацкую докторъ, Вязмитиновъ и Зарницынъ.

Женни краснѣла при этомъ вопросѣ. Ей было досадно, что Лиза такъ странно ставитъ дѣло.

— Ужъ не поссорились ли вы? — спрашивалъ ее нѣсколько разъ отецъ.

— Фуй, папа! что вамъ за мысль пришла? — отвѣчала, вся вспыхнувъ, Женни.

— То-то, я думаю, что бы это сдѣлалось: были такіе друзья, а тутъ вдругъ и охладѣли.

Женни становилось обидно за свое чувство, безпричинно заподозрѣваемое по милости страннаго поведенія Лизы.

Это была первая непріятность, которую Женни испытала въ отцовскомъ домѣ.

Она попробовала съѣздить къ Лизѣ. Та встрѣтила ее очень привѣтливо и радушно, но Женни казалось, что и въ этой привѣтливости нѣтъ прежней теплоты и задушевности, которая ихъ связывала цѣлые годы ранней юности.

Женни старалась увѣрить себя, что это въ ней говоритъ предубѣжденіе, что Лиза точно та же, какъ и прежде, что

это только въ силу предубѣжденія ей кажется, будто даже и Помада измѣнился.

Она не видала его почти два мѣсяца. Только разъ онъ прискакалъ въ городъ точно курьеръ съ запискою Лизы къ Вязмитинову, перемѣнилъ книги и опять улетѣлъ. Даже не присѣлъ и не раздѣлся.

— Некогда, некогда, — отвѣчалъ онъ на приглашеніе Женни хоть съѣсть что нибудь и обогрѣться.

Даже къ доктору не зашелъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть, что нибудь спѣшное,— подумала тогда Женни и не обратила на это никакого вниманія.

За то теперь, встрѣтивъ Помаду у одинокой Лизы, она нашла, что онъ какъ-то будто вышелъ изъ своей всегдашней колеи. Во всѣхъ его движеніяхъ замѣчалась при Лизѣ какая-то живость и нѣсколько смѣшная суетливость. Взошелъ смѣлой, но тревожною поступью, поздоровался съ Женей и сейчасъ же началъ докладъ, что онъ прочелъ Милля и сдѣлалъ отмѣтки.

— Вотъ мѣсто замѣчательное, — началъ онъ, положивъ передъ Лизою книжку, и, указывая костянымъ ножемъ на открытую страницу, заслонивъ ладонью ротъ, читалъ черезъ Лизино плечо: «Въ каждой цивилизованной странѣ число людей, занятыхъ убыточными производствами, или ничѣмъ незанятыхъ, составляетъ, конечно, пропорцію, болѣе чѣмъ въ двадцать процентовъ сравнительно съ числомъ хлѣбопашцевъ». Четыреста двадцать четвертая страница,— закончилъ онъ, закрывая книгу, которую Лиза тотчасъ же взяла у него и стала молча перелистывать.

Помада опять бросился къ кучкѣ принесенныхъ имъ книгъ и, открывъ «Русскій Вѣстникъ», говорилъ: «А тутъ вотъ...» Помада тревожно взглянулъ на необращавшую на него никакого вниманія Лизу и затихъ. Потомъ, дождавшись, какъ она отбросила перелистываемую ею книгу, опять началъ: «а тутъ вотъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» какой драгоцѣнный выводъ въ одной статьѣ.

«Статистика въ Англіи доказываетъ, что пьяницъ женщинъ въ пять разъ менѣе, чѣмъ мужчинъ. Вообще такъ приходится:

«Одинъ пьяница на семьдесятъ четыре мужчины.

«Одна на четыреста тридцать четыре женщины.

«Одинъ на сто сорокъ пять жителей обоего пола».

— Препнтересный выводъ!—воскликнулъ Помада и продолжалъ читать далѣе: «Отношеніе, замѣчательно совпадающее съ отношеніемъ, существующимъ между преступниками обоихъ половъ, по которому мужескихъ преступниковъ ровно *въ пять разъ болѣе женскихъ*».

— Замѣчательный выводъ!—опять воскликнулъ Помада, окинувъ взоромъ всѣхъ присутствовавшихъ и остановивъ его на Лизѣ.

— Отложите мнѣ, я это буду читать,—небрежно проговорила Лиза.

— Все-то уже, прости Господи, пересчитали; оттого-то, видно, уже скоро и считать нечего станетъ,— произнесла кропотливо Абрамовна, убирая свою работу и отправляясь накрывать на столъ.

За обѣдъ Помада сѣлъ какъ семьянинъ. И за столомъ, и послѣ стола до самой ночи, онъ чего-то постоянно тревожился, бросался и суетливо оглядывался, чѣмъ бы и какъ услужить Лизѣ. То наливалъ ей воды, то подавалъ скамейку; или какъ только она сходила съ одного мѣста и садилась на другое, онъ переносилъ за нею ея платокъ, книгу и костяной ножикъ.

Женни нѣсколько разъ хотѣлось улыбнуться, глядя на это пажеское служеніе Помады, но эта охота у нея пропадала тотчасъ, какъ только она взглядывала на серьезное лицо Лизы и болѣзненно тревожную внимательность кандидата къ каждому движенію ея сдвинутыхъ бровей.

Женни осталась ночевать. Вечеромъ всѣ спокойно усѣлись на отоманахъ въ бахаревскомъ кабинетѣ.

Тутъ же сидѣла и Абрамнвна. Убравъ чай, она надѣла себѣ на носъ большія очки, достала изъ шкафа толстый

мотокъ нитокъ и, надѣвъ его на свои старческія колѣни, начала разматывать.

Мотокъ безпрестанно соскакивалъ, какъ только старуха чуть-чуть неловко дергала нитку.

— О, прахъ тебя побери!—восклицала Абрамовна каждый разъ послѣ такого казуса.

— Тебѣ неловко, няня?—спросила Женни.

— Какая тутъ ловкость, моя красавица!—отвѣчала сердясь старуха:—ничего нѣтъ, ни моталки, ничего, ничего. Заѣхали въ виръ-болото, да и куликуемъ.

— Дай я тебѣ подержу.

— Ну, что вздоръ! И такъ размотаю. Не къ спѣху дѣло, не къ смерти грѣхъ.

— Полно, няня, церемониться, давай,—перебила Женни, чувствуя, что ей самой нечего дѣлать, и, сѣвши противъ старухи, взяла мотокъ на свои руки.

Въ одиннадцать часовъ Лиза сказала:

— Поѣсть бы нужно, няня.

Няня молча вышла и принесла два очищенные копченые рыбца и масленку съ сливочнымъ масломъ.

— Огурца нѣтъ, няня?

— Нѣту, сударыня, не принесла.

— А нельзя принести?

— Будить-то теперь бабу, да въ погребъ-то посылать. Помада вскочилъ и взялся за свою неизмѣнную фуражку.

— Куда вы?—спросила, надвинувъ брови, Лиза.

— Къ себѣ; я сейчасъ отъ себя принесу.

— Сдѣлайте одолженіе, успокойтесь; никто васъ не проситъ о такой любезности.

Помада сконфузился, но безпрекословно повиновался и положилъ фуражку.

Тотчасъ послѣ закуски онъ сталъ прощаться. Женни подала Помадѣ руку, а Лиза на его поклонъ только сухо проговорила:

— Прощайте.

Помада вышелъ. Въ эти минуты въ немъ было что-то

страдальческое, и Женни очень не понравилось, какъ Лиза съ нимъ обращается.

— Что ты имъ недовольна за что-нибудь?—спросила она.

— Нисколько. Отчего это тебѣ показалось?

— Да что за пренебреженіе такое въ обращеніи?

— Никакого пренебреженія нѣтъ: обращаюсь просто, какъ со всѣми. Ты меня извинишь, Женни, я хочу дочитать книгу, чтобы завтра ее съ тобой отправить къ Вязмитинову, а то нарочно посылать придется,—сказала Лиза, укладываясь спать и ставя возлѣ себя стулъ со свѣчкой и книгой.

— Пожалуйста, читай,—отвѣчала спокойно Женни, но въ душѣ ей это показалось очень обидно.

Дѣвушки легли на одной отоманкѣ, голова къ головѣ, а старуха напротивъ, на другомъ отоманѣ.

Она долго молилась передъ образомъ. Женни лежала молча и думала; Лиза читала. Абрамовна стояла на колѣняхъ. Въ комнатѣ было только слышно какъ шелестили листы.

— Что это, матушка! опять за свои книжечки по ночамъ берешься? Видно-таки хочется ослѣпнуть, заворчала на Лизу старуха, окончивъ свою долгую вечернюю молитву.— Спать не хочешь, продолжала она, такъ хоть бы подругито постыдилась! Въ кои-то вѣки она къ тебѣ пріѣхала, а ты при ней чтеніемъ занимаешься.

— Перестань, няня; — я у Женни просила извиненія. Мнѣ надо кончить книгу.

— Ну какъ не надо! Очень надобность большая, — къ спѣху вѣдь. Не все еще переглодала. Еще поищи по угламъ; не завалилась ли еще гдѣ какая... Ни дать, ни взять фараонская мышь,—что ни попадетъ—все сгложетъ.

— Ахъ, какъ это, наконецъ, скучно! терпѣнья нѣтъ!— сказала Лиза, сдѣлавъ движеніе и швырнувъ на колѣни книгу; но тотчасъ же взяла ее снова и продолжала читать.

Далеко за полночь читала Лиза; няня крѣпко спала; Женни, подложивъ розовый локотокъ подъ голову, думала

о Лизѣ, о матери, объ отцѣ, о дѣтскихъ годахъ, и опять о Лизѣ, и о теперешней перемѣнѣ въ ея характерѣ.

— Неужто она не добрая, думала Женни:—неужто я въ ней ошибалась?

И Женни сейчасъ же гнала отъ себя прочь эту мысль.

— Нѣтъ, рѣшала она, это случайность; она все такая же и любитъ меня... А странно, размышляла Женни далѣе:—развѣ можно забыть человѣка для книги? Нельзя. Я бы этого никакъ не могла. «Не для книги, не для бумажной книги, а для живой, всемогущей, творческой мысли, для неугасимой жажды свѣта и правды; для нихъ уне есть человѣку погибнути», говорилъ ей другой голосъ. Да, но развѣ это необходимо? развѣ это даже нужно? Развѣ исканіе свѣта и правды становится труднѣе съ сердцемъ, согрѣтымъ животворною теплотою взаимности и сочувствія?..

— Что нашъ «*прахъ*» спитъ?—прошептала Лиза.

Веселое, что-то прежнее звучало Женни въ этомъ шопотѣ.

Гловацкая вскинула головку, а Лиза, облокотясь на подушку, держитъ у рта пальчикъ и другою рукою грозитъ ей, указывая на спящую старуху.

— Спитъ, думаешь?—еще тише спросила Лиза.

— Да, навѣрно.

— Давай покуримъ.

— Я уже совсѣмъ отвыкла, но давай, покурю.

Лиза встала въ одной рубашкѣ, подошла неслышными шагами къ висѣвшему на гвоздѣ платью, вынула оттуда пачку съ папиросами и зажгла себѣ одну, а другую подала Женни.

— Зачѣмъ ты не куришь при ней?—прошептала Женни.

— Помилуй! начнетъ прибирать «прахъ», да «распрахъ», и конца нѣтъ.

— А добрая старуха.

— Добрѣйшая, но чудиха ужасная. Я ее иногда злю.

— Зачѣмъ ты это дѣлаешь? Нехорошо.

— Вѣдь она не сердится, — праховъ мнѣ насулитъ, и только.

Лиза весело засмѣялась тѣмъ беззвучнымъ смѣхомъ, которымъ женщины умѣютъ смѣяться, обманывая ворчливую мать или ревниваго мужа.

Дѣвушки лежали, облокотясь на подушки другъ противъ друга, и докуривали папироски. Женни внимательно глядѣла въ умненькіе глаза Лизы, смотрѣвшіе теперь какъ глаза ручной птицы, и въ ея веселенькое личико, безпрестанно складывавшееся въ невинную улыбку надъ обманутой старушкой.

Наконецъ, оба лица стали серьезнѣе, и дѣвушки долго молча смотрѣли другъ на друга.

— Что ты такъ смотришь, Женька—спросила вздохнувъ Лиза.

— Я хотѣла тебя спросить, зачѣмъ ты стала меня чуждаться?—собиралась было сказать Гловацкая, обрадованная добрымъ расположеніемъ Лизы, но прежде чѣмъ она успѣла выговорить вопросъ, возникшій въ ея головкѣ, Лиза погасила о подсвѣчникъ докуренную папироску и молча опустила глаза въ книгу.

Передъ Гловацкою уже опять не было прежней Лизы, передъ нею снова была Лиза, уязвившая ея чистое сердце впервые отверженнымъ безъ всякой вины чувствомъ.

Женни молча опустилась на подушку.

— Говорятъ,—думала она, стараясь уснуть,—говорятъ, нельзя опредѣлить момента, когда и отчего чувство зарождается,—а можно ли опредѣлить, когда и отчего оно гаснетъ? Приходитъ... уходитъ. Дружба придетъ, а потомъ уйдетъ. Всякая привязанность также: придетъ... уйдетъ... не удержишь. Одна любовь!.. та ужъ... «придетъ и уйдетъ», отвѣчалъ утомленный мозгъ, рѣшая послѣдній вопросъ вовсе не такъ, какъ его хотѣло рѣшить дѣвичье сердце Женни.

Но сердце ея не слыхало этого рѣшенія и тихо билось въ груди, обѣщавшей кому-то много-много хорошаго, прочнаго счастья.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Два внутренніе міра.

1.

Какъ всегда бываетъ въ жизни, что смирными и тихими людьми занимаются меньше, чѣмъ людьми смѣло заявляющими о своемъ существованіи: такъ, кажется, идетъ и въ нашемъ романѣ. Мы до сихъ поръ только слегка занимались Женею и гораздо невнимательнѣе входили въ ея жизнь, чѣмъ въ жизнь Лизы Бахаревой, тогда какъ она, по плану романа, имѣетъ не меньшее право на наше вниманіе. Мы должны были въ послѣднихъ главахъ показать ея обстановку для того, чтобы не возвращаться къ прошлому и, не рисуя читателю мелкихъ и неинтересныхъ сценъ однообразной уѣздной жизни, выяснить, при какихъ декораціяхъ и мотивахъ спокойная головка Женни доходила до составленія себѣ ясныхъ и совершенно самостоятельныхъ понятій о людяхъ и ихъ дѣятельности, о себѣ, о своихъ силахъ, о своемъ призваніи и обязанностяхъ, налагаемыхъ на нее долгомъ въ дѣйствительномъ размѣрѣ ея силъ. Наконецъ, мы должны теперь хотя на нѣсколько минутъ еще ближе подойти къ этой нашей героинѣ, потому что, едва знакомые съ нею, мы скоро потеряемъ ее изъ виду надолго, и встрѣтимся съ нею уже въ иныхъ мѣстахъ и при иныхъ обстоятельствахъ.

Въ своей черезчуръ скромной обстановкѣ, Женни, одна-одинешенька, додумалась до многаго. Въ ней она рѣшила, что ея отецъ простой, очень честный и очень добрый человѣкъ, но не герой, точно такъ же, какъ не злодѣй; что она для него дороже всего на свѣтѣ, и что потому она станетъ жить только такимъ образомъ, чтобы заплатить старику самой теплой любовью за его любовь и освѣтить его закатывающуюся жизнь. Все другое на второмъ планѣ, думала Женни.

Уѣздное общество ей было положительно гадко, и она весьма тщательно старалась избѣгать всякаго съ нимъ сближенія, но дѣлала это чрезвычайно осторожно, во-первыхъ, чтобы не огорчить отца, прожившаго въ этомъ обществѣ свой вѣкъ, а, во-вторыхъ, и потому, что терпимость и мягкость были преобладающими чертами ея добраго нрава.

Кружокъ своихъ близкихъ людей она тоже понимала. Зарницынъ ей представлялся добрымъ, простодушнымъ парнемъ, съ которымъ можно легко жить въ добрыхъ отношеніяхъ, но она его находила немножко фразеромъ, немножко лгуномъ, немножко человѣкомъ смѣшнымъ и до крайности флюгернымъ. Онъ ей ни разу не приснился ночью, и она никогда не подумала, какое впечатлѣніе онъ произвелъ бы на нее, сидя съ нею tète-à-tète за ея утреннимъ чаемъ.

Дьякона Александровскаго и его хорошенькую жену Женни считала очень добрыми людьми, и ей было бы больно всякое ихъ несчастіе.

Доктора она отличала отъ многихъ. Никто изъ близкихъ уѣздныхъ знакомыхъ не рисовался такъ часто надъ туманной пеленою луга. Говорятъ, подлость есть сила. Надо прибавить: скандалъ тоже есть сила. Особенно скандалъ извѣстнаго рода есть сила у женщинъ и притомъ у самыхъ лучшихъ, у самыхъ теплыхъ женщинъ. Докторъ былъ кругомъ оскандализированъ. Въ него метали грязью и плуты, и дураки, среди которыхъ онъ грызся съ судьбою. Его не упрекали темными дѣяніями по службѣ. Онъ постоянно самъ разсказывалъ, что ему безъ взятокъ прожить нельзя, но не изъ этихъ взятокъ свивался кнутъ, которымъ хлестала его уѣздная мораль. Напротивъ, и исправникъ, и судья, и городничій, и эскадронный командиръ находили, что Розановъ «тонеръ», что̀ выражало нѣкоторую, такъ сказать, пренебрежительность доктора къ благамъ міра сего и непріятную для многихъ его разборчивость на родъ взятки. Докторъ бралъ десятую часть того, что онъ могъ бы взять на своемъ мѣстѣ и не шелъ въ стачки тамъ, гдѣ другимъ было нужно покрыть его медицинскою подписью

свою юридически административную неправду. Мстили ему болѣе собственно за эту строптивую черту его характера, но поставить ее въ прямую вину доктору и ею бить его по чемъ ни попало, было невозможно. Одинъ чиновный чудакъ повелъ семью голодать на литературномъ запощеваньѣ и изобразилъ «Полицію внѣ полиціи»; надворный совѣтникъ Щедринъ началъ разсказывать такія вещи, что снова прошелъ слухъ, будто бы народился антихристъ и «дѣйствуетъ въ совѣтницкомъ чинѣ». По газетамъ и другимъ журналамъ закопошились обличители. Неловко было старымъ взяточникамъ и обираламъ въ такое время открыто говорить доктору, что ты подлецъ за то, что ты не съ нами, и мы тебѣ дадимъ почувствовать.

Нужно было стегать доктора другимъ кнутомъ, и кнутъ этотъ не замедлили свить нѣжныя, женскія ручки слабонервныхъ уѣздныхъ барынь и барышень, а тонкіе, гнуткіе ремешки для него выкроила не менѣе нѣжная ручка нимфообразной дочери купца Тихонина. Эта слабонервная дѣвица, возложившая въ первый же годъ, по пріѣздѣ доктора въ городъ, честный вѣнецъ на главу его, на третій день послѣ свадьбы пожаловалась на него своему отцу, на четвертый—замужней сестрѣ, а на пятый—женѣ уѣзднаго казначея, одѣлявшаго каждое первое число пенсіономъ всѣхъ чиновныхъ вдовушекъ города, и пономарю Ефиму, раскачивавшему каждое воскресенье желѣзный языкъ громогласнаго соборнаго колокола.

Дивное было твореніе Божіе эта Оля Тихонина.

Дивно оно для насъ тѣмъ болѣе, что всѣ ее видали въ послѣднее время въ Москвѣ, Сумахъ, Петербургѣ, Бѣлевѣ и Одессѣ, но никто, даже самъ Островскій, катаясь по темному царству, не запримѣтилъ Оли Тихониной, и не срисовалъ ее въ свой безцѣнный, мастерской альбомъ.

Во время благопотребное, тоже не здѣсь и не при здѣшней обстановкѣ, мы встрѣтимся съ этимъ простодушно-подлымъ типомъ нашей цивилизаціи, а теперь не станемъ на немъ останавливаться и пойдемъ далѣе.

Женни знала, что докторъ очень несчастенъ въ своей семейной жизни. Она знала, что его винятъ только въ двухъ порокахъ: въ склонности къ разгулу и въ какомъ-то неделикатномъ обращеніи съ женою. Она знала также, что все это идетъ о немъ изъ его же спальни. Она знала, наконецъ, что докторъ страстно, нѣжно и безпредѣльно любитъ свою пятилѣтнюю дочь и, по первому мягкому слову, все прощаетъ своей женѣ, забывая всю дрянь и нечисть, которую она подняла на него. Женни видѣла, что онъ уменъ, горячъ сердцемъ, искренъ до дерзости, и она его искренно жалѣла.

— Можетъ ли быть, думала она, глядя на поле, засѣянное чечевицей,—чтобы добрая, разумная женщина не сдѣлала его на цѣлый вѣкъ такимъ, какимъ онъ сидитъ передо мною? Не можетъ быть этого.—А пьянство?.. Да другіе еще болѣе его пьютъ... И развѣ женщина, если захочетъ, не замѣнитъ собою вина? Хмѣль—забвеніе: около женщины еще легче забываться.

Иголка все щелкала и щелкала въ рукахъ Женни, когда она, размышляя о докторѣ, рѣшала, что ей болѣе всего жаль его, что такого человѣка воскресить и приподнять для болѣе трезвой жизни было бы отличною цѣлью для женщины.

И Женни дружилась съ докторомъ и искренно сожалѣла о его печальной судьбѣ, которой, по ея мнѣнію, помочь ужъ было невозможно.

— И зачѣмъ онъ женился?—съ неудовольствіемъ и упрекомъ думала Женни, быстро дергая вверхъ и внизъ свою стальную иголку.

Вязмитинова она очень уважала и не видѣла въ немъ ни одной слабости, ни одного порока. Въ ея глазахъ это былъ человѣкъ, какимъ, по ея мнѣнію, слѣдовало быть человѣку.

Ее плѣняли и Гретхенъ, и пушкинская Татьяна, и мать Гракховъ, и та женщина, кормящая своею грудью отца,

для которой она могла служить едва ли не лучшей натурщицей въ цѣломъ мірѣ.

Она не умѣла мыслить политически, хотя и сочувствовала Корде и брала въ идеалы мать Гракховъ.

Ей хотѣлось, чтобы всѣмъ было хорошо.

— «Пусть всѣмъ хорошо будетъ».

Вотъ былъ ея идеалъ.

— Ну, а какъ достичь этого скромнаго желанія?

«Жить *каждому* въ *своемъ* домикѣ», рѣшила Женни, не заходя далеко и не спрашивая, какъ бы это отучить родъ людской отъ черезчуръ коростныхъ притязаній и дать другъ другу собственные домики.

А уѣздныя дамы все-таки лгали, называя ее дурочкой.

Она только не знала, что нельзя всѣмъ построить собственные домики и безмятежно жить въ нихъ, пока двужильный старикъ Захватъ Ивановичъ сидитъ на большой коробьѣ да похваливается, а свободная человѣчья душа ему молится: научи, молъ, меня, батюшка Захватъ Ивановичъ, какъ самому мнѣ Захватомъ стать!

Не говоря о докторѣ, Вязмитиновъ больше всѣхъ прочихъ отвѣчалъ симпатіямъ Женни. Въ немъ ей нравилась скромность, спокойствіе воззрѣній на жизнь и сердечное сожалѣніе о людяхъ лишнихъ на пиру жизни и о людяхъ, ворующихъ пироги съ жизненнаго пира.

— Скроменъ, разуменъ и трудолюбивъ... думала Женни.

— Не красавецъ, и не уродъ, — договаривало ей женское чувство.

А что она думала о Лизѣ? То есть, что она стала думать въ послѣднее время?

— Лиза умница, говорила себѣ Женни, смотря на колыхающійся початникъ.—Она героиня, она выйдетъ силой, а я... я..

Тутъ мѣшались Вязмитиновъ, отецъ, даже иногда докторъ, и вдругъ ни съ того, ни съ сего, Татьяна и мать Гракховъ, Корде и Пелагея съ вопросомъ о соусѣ, который особенно любилъ Петръ Лукичъ.

— Вязмитиновъ много знаетъ, трудится, онъ живой человѣкъ, кругозоръ его шире, чѣмъ кругозоръ моего отца, и вѣрнѣе осмотрѣнъ, чѣмъ кругозоръ Зарницына, — разсуждала Женни.

А докторъ?

— Да ему ужъ помочь нельзя,—думала она и шла къ Пелагеѣ заправлять соусъ, который особенно любилъ Петръ Лукичъ, всегда возвращающійся мученикомъ изъ своей смотрительской камеры.

— Лиза что!—размышляла Женни, заправивъ соусъ и снова сѣвъ подъ своимъ окошкомъ:—Лизѣ все бы это ни на что не годилось, и ничто ее не остановило бы. Она только напрасно думала когда-то, что моя жизнь на что-нибудь ей пригодилась бы.

— Эта жизнь ничѣмъ ее не удовлетворила бы и ни отъ чего ее не избавила бы,—подумала Женни, глядя, послѣ своей поѣздки къ Лизѣ, на просвирнину гусыню, тянувшую изъ посѣдѣлаго початника послѣдняго растительнаго гренадера.

2.

Внутренній міръ Лизы совершенно не похожъ былъ на міръ Женни.

Не было міра въ этой душѣ. Рвалась она на волю, томилась предчувствіями, изнывала въ темныхъ шарадахъ своего и чужого разума.

Мертва казалась ей книга природы; на ея вопросы не давали ей отвѣта темные люди темнаго царства.

Она страдала и искала повсюду разгадки для живыхъ, поющихъ вопросовъ, неумолчно взывавшихъ о скорѣйшемъ рѣшеніи.

Ей тоже хотѣлось правды. Но этой правды она искала не такъ, какъ искала ея Женни.

Она искала мира, когда мира не было въ ея костяхъ.

Семья не поняла ея чистыхъ порывовъ; люди ихъ перетолковывали; друзья старались ихъ усыпить; мать ко-

шекъ чесала; отецъ младенчествовалъ. Все обрывалось, *некуда* было дѣться.

Женни не взяла ее къ себѣ по искренней, дѣтской просьбѣ. «Нельзя», говорила: — Мать Агнія тоже говорила «опомнись»; а опомниться нужно было тамъ же, въ томъ же вертепѣ, гдѣ кошекъ чешутъ и злятъ регулярными пріемами черезъ часъ по ложкѣ.

Нельзя въ такихъ мѣстахъ опомниться.

Живыхъ людей по мысли не находилось, и началось безпорядочное чтеніе.

Выборъ недовольныхъ всегда падаетъ на книги протестующія, и чѣмъ сдержаннѣе, чѣмъ темнѣе выражается протестъ, тѣмъ онъ кажется серьезнѣе и даже справедливѣе.

Лиза, отъ природы нѣжная, пытливая и впечатлительная, не нашла дома ничего, таки ровно ничего, кромѣ странной, почти дѣтской ласки отца, аристократическаго вниманія тетки и мягкаго бичеванія отъ всѣхъ прочихъ членовъ своей семьи.

Врожденныя симпатіи еще влекли ее въ семью Гловацкихъ, но куда же годились эти мечтанія?

Ей хотѣлось много понимать, учиться.

Ее повезли на балы.

Все это шло противъ ея желаній.

Она искала сочувствія и нашла это сочувствіе въ книгахъ, гдѣ личность отвергалась во имя общества, и во имя общества освобождалась личность.

И стали смѣшны ей прежнія плачевныя сцены, и сентиментально-глупа показалась собственная просьба къ Женни—увезти ее отсюда.

Застыдившись своего невиннаго прошлаго, она застыдилась и памятниковъ этого прошлаго.

Всѣ близкіе къ ней по своему положенію люди стояли памятниками прошедшихъ привязанностей.

Они были ясны и въ нихъ нечего было доискиваться; а темные намеки манили невѣдомымъ счастьемъ, шириною свободной дѣятельности.

Привязанности были принесены въ жертву стремленіямъ.

Живые люди казались мразью. Духъ витали въ мірѣ иныхъ людей, въ мірѣ, износившемъ вѣщіе глаголы, въ средѣ людей чести, безкорыстія и свободы.

Всѣ живыя связи съ прошедшимъ мельчали и рвались.

Безпечальное будущее народовъ рисовалось въ лучезарномъ свѣтѣ. Недомолвки расширяли эти лучи и простыя человѣческія чувства становились буржуазны, мелки, недостойны.

Лиза порѣшила, что окружающіе ее люди—«мразь», и опредѣлила, что настоящіе ея дни есть приготовительный терминъ ко вступленію въ жизнь съ настоящими представителями безкорыстнаго человѣчества, живущаго единственно для водворенія общей высокой правды.

Иногда ей бывало жалко Женни и вообще даже жалко всего этого простенькаго мірка; но что же былъ этотъ мірокъ передъ *міромъ*, который гдѣ-то носился передъ нею, міръ обаятельный, свободный и правдивый?

Лизѣ самой было смѣшно, что она еще такъ недавно могла выходить изъ себя за вздоры и биться изъ-за ничтожныхъ уступокъ въ своемъ семейномъ быту.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Что на русской землѣ бываетъ.

Въ понедѣльникъ на четвертой недѣлѣ великаго поста, когда во всѣхъ церквахъ города зазвонили къ часамъ, Вязмитиновъ, по обыкновенію, зашелъ на минуточку къ Женни.

Женни сидѣла на своемъ всегдашнемъ мѣстѣ и работала.

— Знаете, какую новость я вамъ могу сообщить?—спросила она Вязмитинова, когда тотъ присѣлъ за ея столикомъ, и, не дождавшись его отвѣта, тотчасъ же добавила:—сегодня къ намъ Лиза будетъ.

— Вотъ какъ!

— Да и еще на цѣлую недѣлю.

— Что за благодать такая?

— Няня непремѣнно хочетъ говѣть на этой недѣлѣ.

— И Лиза Егоровна тоже?

— Да ужъ, вѣрно, и она будетъ вмѣстѣ говѣть; тамъ, вѣдь, у нихъ церковь далеко, да и холодная.

— И вы, пожалуй, тоже?

— Я хотѣла на страстной говѣть, но ужъ тоже отговѣю съ ними.

— Значитъ, теперь къ вамъ и глазъ не показывай.

— Отчего же это?

— Да спасаться будете.

— Это одно другому нимало не мѣшаетъ. Напротивъ, приходите почаще, чтобъ Лиза не скучала. Она сегодня пріѣдетъ къ вечеру, вы вечеромъ и приходите, и Зарницыну скажите, чтобы пришелъ.

— Хорошо-съ, сказалъ Вязмитиновъ, — теперь пора въ классы,—добавилъ онъ, взглянувъ на часы.

— До свиданія.

— До свиданія, Евгенія Петровна.

— Вы не знаете, докторъ въ городѣ?

— Нѣтъ, кажется нѣтъ; а зайти развѣ за нимъ?

— Да, если это васъ не затруднитъ, зайдите, пожалуйста.

Въ три часа Женни увидала изъ своего окна бахаревскія сани, на которыхъ сидѣла Лиза и старуха Абрамовна.

Лиза смѣялась и, замѣтивъ въ окнѣ Женни, весело кивнула ей головой.

Гловацкая тотчасъ встала и вышла на крыльцо, въ ту же минуту, какъ передъ нимъ остановились сани.

— Ну же, ну, вылѣзай, няня, вытаскивай свой прахъто,—говорила, смѣясь, Женни.

Абрамовна медленно высвобождалась изъ саней и ничего не отвѣчала.

— Чего ты, Лиза, смѣешься?—спросила Женни.

— Да вотъ няня всю дорогу смѣшитъ.

Няня молча вынимала подушки. Она была очень недо-

вольна, а молодой садовникъ, отряженный состоять Лизинымъ зимнимъ кучеромъ, поглядывая на барышню, лукаво улыбался.

— Что вы няню обижаете, право, — ласково замѣтила Гловацкая.

— Да что имъ, матушка, дѣлать-то, какъ не зубоскалить,—отвѣчала разсерженная старуха.

— Я вотъ хочу, Женни, вѣру перемѣнить, чтобы не говѣть никогда, подмигнувъ глазомъ, сказала Лиза.—Правда, что и ты это одобришь? Борисъ вонъ тоже согласенъ со мною: хотимъ въ нѣмцы идти.

Абрамовна плюнула и полѣзла на крыльцо; Лиза и ея кучеръ засмѣялись, и даже Женни не могла удержаться отъ улыбки, глядя на смѣшной гнѣвъ старухи.

Прошло пять дней. Женни, Лиза и няня отговѣли. Въ эти дни ихъ навѣщали Вязмитиновъ и Зарницынъ. Доктора не было въ городѣ. Лиза была весела, спокойна, охотно разсуждала о самыхъ обыденныхъ вещахъ и даже нерѣдко шутила и смѣялась.

Женни опять казалось, что Лиза словно та же самая, что и была до отъѣзда на зиму въ городъ.

— Какъ вамъ кажется Лиза?—спрашивала она отца.

— Ничего. Я не знаю, что вы о ней сочинили себѣ: она такая же—какъ была. Посолиднѣла только, и больше ничего.

Вязмитиновъ на такой же вопросъ отвѣчалъ, что Лиза ужасно подвинулась впередъ въ познаніяхъ, но что все это у нея какъ-то мѣшается. Видно, что читаетъ что попало,— заключилъ онъ свое мнѣніе.

Ни съ кѣмъ другимъ Женни не говорила о Лизѣ.

Въ субботу говѣльщицы причащались за ранней обѣдней. Въ этотъ день онѣ рано встали къ заутренѣ, уморились и, возвратясь домой, тотчасъ послѣ чаю заснули, потомъ пообѣдали и пошли къ вечернѣ.

Зарницынъ и Вязмитиновъ зашли въ церковь, чтобы

поздравить причастницъ и проводить ихъ, кстати, оттуда домой.

Погода была теплая и немножко сырая. Дулъ южный вѣтерокъ, съ крышъ капали капели, дорожки по улицамъ чернѣли и маслились, но западъ неба окрашивался холоднымъ розовымъ свѣтомъ и маленькія облачка, съ розовыми окраинами, спѣша обгоняли другъ друга.

— Будетъ морозецъ, — говорили люди, выходя отъ вечерни.

— И съ вѣтромъ,—добавляли другіе.

Посреди улицы, по мягкой, но довольно скользкой отъ саннаго натора дорожкѣ шли Женни и Лиза. Возлѣ нихъ съ обѣихъ сторонъ шли Вязмитиновъ и Зарницынъ. Няня шла сзади. Несмотря на безцеремонность и короткость своего обхожденія съ барышнями, она никогда не позволяла себѣ идти съ ними рядомъ по улицѣ.

У поворота на набережную, компанія лицомъ къ лицу встрѣтилась съ докторомъ.

Онъ велъ за руку свою дочку.

— Докторъ! докторъ! здравствуйте! — заговорили почти всѣ разомъ.

— Здравствуйте, здравствуйте, — проговорилъ докторъ съ радостью, но какъ будто отчего-то растерявшись.

Около нихъ прошла довольно стройная молодая дама въ песцовомъ салопѣ. Она вскользь, но внимательно взглянула на Женни и на Лизу, съ болѣе чѣмъ вѣжливой улыбкой отвѣтила на поклонъ учителей и, прищуривъ глаза, пошла своею дорогою.

Это была докторова жена, которую онъ поджидалъ, тащась съ ноги на ногу съ своимъ ребенкомъ.

— Къ намъ, докторъ, сегодня, приглашала Розанова Женни.—Мы, вотъ, всѣ идемъ къ намъ; приходите и вы.

— Хорошо, постараюсь.

— Нѣтъ, непремѣнно приходите; мы будемъ васъ ждать.

— Ну, хорошо.

— Придете?

— Приду, приду непремѣнно; вотъ только заведу домой дочку. Пойдемъ, Варюшка,—отнесся онъ къ ребенку, и они разстались.

— Такъ вотъ это его жена?—спросила Лиза.

— Эта,—отвѣчалъ Зарницынъ.

— Не нравится она мнѣ.

— Вы ее не разсмотрѣли: она еще недавно была очень недурна.

— Я не о томъ говорю, а что-то нехорошо у нея лицо: эти разлетающіяся брови... собранный ротикъ, дерзкіе глазки... что-то фальшивое, эгоистическое есть въ этомъ лицѣ. Нѣтъ, не нравится,—а тебѣ, Женни?

— Что-жъ, я одну минуту ее видѣла, пока мы дали ей дорогу, но мнѣ ея лицо тоже не понравилось.

Въ передней ихъ встрѣтили Петръ Лукичъ и дьяконъ съ женою.

— Какъ это мы васъ обогнали? — спрашивалъ дьяконъ, снимая съ Женни салопъ, между тѣмъ какъ его жена цѣловала дѣвицъ своими пунцовыми губками.

— Мы тихо шли и по большой улицѣ, — отвѣчала Женни.

Въ комнатѣ были пріятныя сумерки.

Дѣвицы и дьяконица вышли въ Женнину комнату; дьяконъ открылъ фортепіано, нащупалъ октаву и, взявъ два аккорда, протяжно запѣлъ довольно пріятнымъ басомъ:

Ахъ, о чемъ ты проливаешь
Слезы горькія тайкомъ,
И украдкой утираешь
Ихъ кисейнымъ рукавомъ?

Подали свѣчи и самоваръ. Всѣ усѣлись за столомъ въ залѣ.

Доктора долго ждали, но онъ не приходилъ.

Отпивши чай, всѣ перешли въ гостиную: дѣвушки и дьяконица сѣли на диванѣ, а мужчины на стульяхъ, около стола, на которомъ горѣла довольно хорошая, но очень старинная лампа.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, Василій Ивановичъ, будто вашего новаго секретаря фамилія Дюмафисъ?—спрашивалъ Зарницынъ.

— Увѣряю васъ, что Дюмафисъ, — серьезно отвѣчалъ дьяконъ.

— Что это такое? Этого не можетъ быть.

— А почему бы это, по-вашему, не можетъ быть?

— Да какъ же, помилуйте: какой изъ духовнаго званія можетъ быть Дюмафисъ?

— Стало быть можетъ, когда есть уже.

Вошелъ докторъ и Помада.

— A! excellentissime, illustrissime, atque sapientissime doctor!—привѣтствовалъ Александровскій Розанова.

Докторъ со всѣми поздоровался радушно, но довольно сухо.

Женни съ Лизою посмотрѣли на его лицо, плохо скрывающее душевное растройство, и въ одно и то же время подумали о его женѣ.

— О чемъ вы это спорили?—спросилъ докторъ.

— Да, вотъ и кстати: Докторъ, можетъ ли быть у секретаря консисторіи фамилія Дюмафисъ?—спросилъ Зарницынъ.

— Это въ православной консисторіи или въ католической?

— Въ православной.

— Отчего же? Въ православной очень можетъ.

— А, что!—поддразнилъ дьяконъ.

— Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго.

— Разумѣется. Я вѣдь вотъ вамъ сейчасъ могу разсказать, какъ у насъ происходятъ фамиліи, такъ вы и поймете, что это можетъ быть. У насъ это на шесть категорій подраздѣляется. Первое, теперь фамиліи по праздникамъ: Рождественскій, Благовѣщенскій, Богоявленскій; второе, по высокимъ свойствамъ духа: Любомудровъ, Остромысленскій; третье, по древнимъ мужамъ: Демосѳеновъ, Мильтіадскій, Платоновъ; четвертое, по латинскимъ качествамъ: Сапіен-

товъ, Аморовъ; пятое, по помѣщикамъ: помѣщикъ села, положимъ, Говоровъ, дьячекъ сына назоветъ Говоровскій; помѣщикъ будетъ Красинъ, ну дьячковъ сынъ Красинскій. Вотъ наша помѣщица была Александрова, я, въ честь ея, Александровскій. А то, шестое, ужъ по владычней милости: Мольеровъ, Рассиновъ, Мильтоновъ, Боссюэтовъ. Такъ и Дюмафисъ. Ничего тутъ нѣтъ удивительнаго. Просто по владычней милости фамилія, въ честь французскому писателю, да и все тутъ.

Доктору и Помадѣ подали чай.

— Что вы, будто какъ невеселы, нашъ милый докторъ? съ участіемъ спросилъ, проходя къ столу, Петръ Лукичъ.

Розановъ провелъ рукой по лбу и, вздохнувъ, сказалъ:

— Ничего, Петръ Лукичъ, усталъ очень, не такъ-то здоровится.

— Медику стыдно жаловаться на нездоровье,—замѣтила дьяконица.

Докторъ взглянулъ на нее и ничего не отвѣтилъ.

Женни съ Лизою опять переглянулись и опять почему-то обѣ подумали о докторшѣ.

— Вы гдѣ это побывали цѣлую недѣльку-то?

— Сегодня утромъ вернулся изъ Коробьина.

— Что тамъ, Катерина Ивановна нездорова?

— Что ей дѣлается! Нѣтъ, тамъ ужасное происшествіе.

— Что такое?

— Да жена мужа убила.

— Крестьянка?

— Да, молоденькая бабочка, всего другой годъ замужемъ.

— Какъ же это она его?

— Да не одного его, а двоихъ.

— Двоихъ?

— Ахъ, ты Боже мой!

— Сссс!—раздалось съ разныхъ сторонъ.

— Ну-съ, разскажите, докторъ.

— Да бабочка была такая, молоденькая и хорошенькая,

другой годъ, какъ говорю вамъ, всего замужемъ еще. Сталъ мужъ къ ней съ полгода неласковъ, бивалъ ее. Сосѣдки стали запримѣчать, что онъ тамъ за одной солдаткой молодой ухажпваетъ, ну и разсказали ей. Она все плакала, грустила, а онъ ее, какъ водится, все еще усерднѣе, да усерднѣе за эти слезы поколачивать сталъ. Была ярмарка; люди видѣли, какъ онъ платокъ купилъ. Баба ждетъ, что вотъ, молъ, мужъ сжалился надо мною, платокъ купилъ, а платокъ въ воскресенье у солдатки на головѣ очутился. Она опять плакать; онъ ее опять колотить. На прошлой недѣлѣ пошелъ онъ въ половень копылья тесать, а топоръ позабылъ дома. Жена видитъ топоръ, да и думаетъ: что же онъ такъ пошелъ, должно быть, забылъ; взяла топоръ, да и несетъ мужу. Приходитъ въ половень — мужа нѣтъ; туда, сюда глянула — нѣтъ нигдѣ. А тутъ въ половнѣ такъ есть плетневая загородочка для ухаботья. Тамъ всего въ поясъ вышины, или даже ниже. Она подошла къ этой перегородкѣ. да только глянула черезъ нее, а мужъ-то тамъ съ солдаткой притаившись и лежитъ. Какъ она ихъ увидала, ни одной секунды не думала. Топоръ разъ, разъ, и пошла валять.

— Ахъ!

— Га!

— Фуй!

— Боже ты мой!—раздались восклицанія.

— Обоихъ и убила?

— Только мозгъ съ ухаботьемъ перемѣшанный остался.

— Ужасное дѣло.

— Вотъ драма-то,—замѣтилъ Вязмитиновъ.

— Да. Но, вотъ видите, — вотъ старый нашъ споръ и на сцену,—вещь ужасная, борьба страстей, любовь, ревность, убійство, все есть, а драмы нѣтъ, — съ многозначительной миной проговорилъ Зарницынъ.

— А отчего же драмы нѣтъ?

— Да какая-жъ драма? Что-жъ, вы на сценѣ изобразите какъ онъ жену билъ, какъ та выла, глядючи на красный

платокъ солдатки, а потомъ головы имъ разнесла? Какъ же это ставить на сцену! Да и борьбы-то нравственной здѣсь не представите, потому что все грубо, коротко. Все не борется, а... рѣшается. Въ такомъ быту народа у него нѣтъ своей драмы, да и быть не можетъ: у него есть уголовныя дѣла, но ужъ никакъ не драмы.

— Ну, это еще старуха надвое гадала,—замѣтилъ сквозь зубы докторъ.

— По вашему, что жъ, есть драма?

— Да, по-моему есть ихъ собственная драма. Повѣрьте, бабы коробьинскія отлично входятъ въ борьбу убійцы, а мы въ нее не можемъ войти.

— Да, но искусство не того требуетъ: у искусства есть свои условія.

— А имъ очень нужно ваше искусство и его условія. Вы говорите, что пришлось бы допустить побои на сценѣ, что жъ, если таково дѣло, такъ и допускайте. Только если увидятъ, что актеръ не больно бьетъ, такъ расхохочутся. А о борьбѣ-то не безпокойтесь; борьба есть, только разсказать мы про ту борьбу не сумѣемъ.

— А они сами умѣютъ?

— Себѣ они это разъяснятъ толково, а намъ груба ихъ борьба,—вотъ и все.

— Да вѣдь преступленіе послѣдній шагъ, пятый актъ. Явленіе-то вѣдь стоитъ не на своихъ ногахъ, имѣетъ основаніе не въ самомъ себѣ, а въ другомъ. Происхожденіе явленій совершается при безпрерывномъ и безконечномъ посредствѣ самобытнаго элемента,—проговорилъ Вязмитиновъ.

Докторъ посмотрѣлъ на него и опять ничего не сказалъ.

— А по-моему, снова повторяю, въ народной жизни нѣтъ драмы, настаивалъ Зарницынъ.

— Да, удобной для воспроизведенія на сценѣ, пожалуй; но вѣдь вонъ Островскій и Писемскій нашли же драму.

— Все уголовныя дѣла.

— Напримѣръ, въ *Грозѣ*-то?

— Вездѣ.

— А по-вашему, что же, такъ у насъ нѣтъ ужъ и самобытныхъ драматическихъ элементовъ?

— Конечно; цивилизація равняетъ страсти, нивелируетъ стремленія.

— Нивелируетъ стремленія?

— Разумѣется.

— О, да! Всемѣрно такъ: всѣ стушуемся, сгладимся и будемъ одного поля ягода. Не знаю, Николай Степановичъ, что на это отвѣтитъ Гегель, а по-моему нелѣпо это, не меньше теоріи крайняго національнаго обособленія.

— Однако же, вы не станете отвергать общечеловѣческаго драматизма въ сочиненіяхъ Шекспира?

— Нѣтъ-съ, не стану. Зачѣмъ же мнѣ его отвергать?

— У всѣхъ людей натуры больше или меньше одинаковы. Воспитывайте ихъ одинаково и будетъ солидарность въ стремленіяхъ.

— Вотъ вамъ и шишка на носу туниссkаго бея!

— Да, это ужъ парадоксъ, — подтвердилъ Вязмитиновъ.

— Что-жъ, стало быть, такъ и у каждаго народа своя философія?

— Ну, еще что выдумаете! Что тутъ о философіи. Говоря о философіи-то, я ужъ тоже позайму у Николая Степановича гегелевской ереси да гегелевскими словами отвѣчу вамъ, что философія невозможна тамъ, гдѣ жизнь поглощена вседневными нуждами. Зри рѣчь ученаго мужа Гегеля, произнесенную въ Берлинѣ, если не ошибаюсь, осенью 1828 года. Такъ, Николай Степановичъ?

Вязмитиновъ качнулъ утвердительно головою.

— Это по философіи, продолжалъ докторъ, — а я вотъ вамъ еще докажу это своей методой. Можетъ быть, c'est quelque chose de moujique, ну, да и я вѣдь не имѣю времени заниматься гуманными науками, а такъ сырыми мозгами размышляю. Вы вотъ говорите, что у необразованныхъ людей драматической борьбы нѣтъ. А я вамъ доложу, что она есть, и есть она у каждаго такого народа своя, съ своимъ складомъ, хоть ее на театрѣ представлять,

эту борьбу, и неловко. Возьмите, напримѣръ, орловскую мѣщаночку Матрешу, или Гашу, въ томъ положеніи, когда на ихъ сестру шляпу надѣваютъ, и возьмите Мину, Иду, или Берту изъ Митавы въ соотвѣтственномъ же положеніи. Миночка сейчасъ свою комнатку уберетъ, распятіе повѣситъ и Гете въ золотообрѣзномъ переплетѣ на полку поставитъ, да станетъ опускать деньги въ бронзовую копилочку. И воровствомъ, или другими мастерствами она пренебрегаетъ, а ея положеніе ей не претитъ. А наша пить станетъ, сторублевыми платьями со стола пролитое пиво стираетъ, материнскій образокъ къ стѣнѣ лицомъ завернетъ или совсѣмъ вынесетъ и умретъ голодная и холодная, потому что душа ея ни на одну минуту не успокаивается, ни на одну минуту не смиряется, и драматическая борьба-то идетъ къ ней цѣлый вѣкъ. Это черта или нѣтъ?

— Давно указанная и вовсе ненужная.

Зарницынъ былъ шокированъ темами докторскаго разсказа и всѣмъ было неловко выслушивать это при дѣвицахъ. Одинъ докторъ, увлеченный пылкостью своей желчной натуры, не обращалъ на это никакого вниманія.

— Вы все драматическихъ этюдовъ отыскиваете, продолжалъ онъ.—Влѣзьте вонъ въ сердце наемщику рекруту, да и посмотрите, что тамъ порою дѣлается. Въ простой, несложной жизни, разумѣется, борьба проста, и видны только одни конечныя проявленія, входящія въ область уголовнаго дѣла, но это совсѣмъ не значитъ, что въ жизни вовсе нѣтъ драмы.

— Я готовъ перестать спорить, отвѣчалъ Зарницынъ:— я утверждаю только, что у *образованныхъ* людей всѣхъ націй драматическое въ жизни общее, и это вѣрно.

— И это невѣрно и сто тысячъ разъ невѣрно. «Гроза» не случится у француженки; ну, да это изъ того слоя, которому вы еще, по его невѣжеству, позволяете имѣть нѣкоторыя національныя особенности характера, а я вотъ вамъ возьму драму изъ того слоя, который сравненъ цивилизаціею-то съ Парижемъ и, пожалуй, съ Лондономъ. Я пять лѣтъ знаю эту драму, и теперь, когда послѣдняго ея

актера, по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, гложутъ черви, я ее разскажу. Если бъ я былъ писатель, я показалъ бы не вамъ однимъ, какъ происходятъ у насъ дикія, вѣроятно, у насъ однихъ только и возможныя, драмы, да еще въ кружкѣ, который и по-русски-то не больно хорошо знаетъ. А я вамъ уступлю это задаромъ: въ десяти словахъ разскажу. Была барыня молодая, умная, красавица, богатая; жила эта барыня не такъ далеко отсюда. Была у нея мать старушка, аристократка коренная, женщина отличнѣйшая, не смотря на свой аристократизмъ. Былъ у молодой барыни мужъ, ужъ такой былъ человѣкъ, что и сказать не могу,— просто прелесть, что за баринъ. Поженилась эта парочка по любви и жили они душа въ душу. Барыня была женщина преданная, самоотверженная, но кипучая, огневая была натура. Пріѣхала къ ней по сосѣдству кузина изъ этихъ московскихъ, съ строгими правилами: что все о морали разговариваютъ. Мужъ у нея мышей не топталъ; восемьдесятъ лѣтъ что ли ему было, изъ ума уже выжилъ совсѣмъ. Ну, она и приласкала кузининаго муженька, а тотъ, какъ водится, растаялъ. Пошли у нихъ шуры да муры. Жена плакать, онъ клясться, что все клевета да неправда, ничего, говоритъ, нѣтъ. Жена говоритъ: сознайся и перестань, я тебѣ все прощу,—не признается. Ну, смотри, говоритъ барыня, если ты мнѣ лжешь и я убѣждусь, что ты меня обманываешь, я себя не пощажу, но я тебя накажу такъ, что у тебя въ жизни минуты покойной не будетъ. — А прошу васъ ни на минуту не забывать, что она его любитъ до безумія; готова на крестъ за него взойти. — Жилъ у нихъ отставной пѣхотный капитанъ, такъ, въ родѣ придворнаго шута его мужъ содержалъ. Дуракъ, солдафонъ, гадкій, ну, однимъ словомъ, мерзость. Онъ ухаживалъ за барыней: цвѣты полевые ей приносилъ, записки любовныя писалъ. Все это всѣ знали и дурачились, потѣшались надъ нимъ. Назначила кузина барину rendez-vous ночью. Жена это узнала и ни слова никому. Мужъ легъ въ кабинетѣ, да какъ все въ домѣ заснуло,

онъ тягу. Жена услыхала, какъ скрипнула дверь и входитъ со свѣчею въ кабинетъ. Никого. Пустая кровать. Она сѣла и зарыдала. Рыдала, рыдала до истерики. Никто не входитъ. Вдругъ капитанъ этотъ проснулся и является. Брызгаетъ ее, утѣшаетъ. Она смотритъ на эту гадину и вдругъ перестала плакать. Да что было-то? Мужъ воромъ лѣзетъ въ дверь, да нишкомъ укладывается въ кровать, а жена въ одномъ бѣльѣ со свѣчей изъ капитановой комнаты выходитъ. «Теперь, говоритъ, мы квиты. Я вамъ говорила, что я себя не пощажу, вотъ вамъ и исполненіе», да и упала тутъ же замертво.

— Это французская мелодрама,—замѣтилъ Зарницынъ.

— Да какъ не мелодрама. Французская мелодрама на берегахъ Саванки. По-вашему, вѣдь, вонъ въ духовномъ вѣдомствѣ человѣкъ съ фамиліею Дюмафисъ невозможенъ, что же съ вами дѣлать. Я не виноватъ, что происшествіе, которое какой нибудь Сарду изъ своего мозга не выколупалъ бы, на моихъ глазахъ разыгралось. Да-съ, *на моихъ глазахъ*. Вотъ эти руки кровь пускали изъ несчастныхъ рукъ, налегшихъ на собственную жизнь *изъ-за любви*, мнѣ сдается. Я сумасшедшую три года навѣщалъ, когда она въ темной комнатѣ безвыходно сидѣла; я ополоумѣвшую мать училъ выговорить хоть одно слово, кромѣ «дочь моя! да дочь моя!» Я всю эту драму просмотрѣлъ,—такъ ужъ это вышло тогда. Я видѣлъ этого несчастнаго въ послѣднюю минуту въ своемъ домѣ. Какъ онъ молилъ жену хоть солгать ему, что ничего не было. Вы знаете, что она сказала: *было все*, и захохотала тѣмъ хохотомъ, послѣ котораго людей въ матрацы сажаютъ, чтобъ головы себѣ не расшибли. Вотъ вамъ и мелодрама!

Всѣ смотрѣли въ полъ или на свои ногти. Женни была красна до ушей: въ ней говорила дѣвичья стыдливость и только няня, молча, глядѣла на доктора, стоя у притолки. Она очень любила и самого его и его разсказы. Да Лиза, положивъ на ладонь подбородокъ, прямо и твердо смотрѣла въ глаза разсказчику.

— Это ужасно! — проговорилъ, наконецъ, Гловацкій.— Ужасный разсказъ вашъ, докторъ! Чтобы перемѣнить впечатлѣніе, не запить ли его водочкой? Женичка, распорядись, мой другъ!

— Пейте, а я ко двору.

— Что-жъ это, докторъ!

— Да нѣтъ ужъ не удерживайте, пожалуйста; я этого не выношу въ нѣкоторыя минуты.

— Ну, Богъ съ вами.

— Да. Прощайте.

— Послѣзавтра Лиза уѣзжаетъ, я надѣюсь, вы завтра придете къ намъ,—сказала, прощаясь съ докторомъ, Женни.

— Приду,—отвѣчалъ докторъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Лиза крѣпко пожала докторову руку, встрѣтивъ его на другой день при входѣ въ залу Гловацкихъ. Это было воскресенье и двунадесятый праздникъ съ разрѣшеніемъ рыбы, елея, вина и прочихъ житейскихъ льготъ.

— Докторъ! — сказала Лиза, ставъ послѣ чаю у одного окна: — какіе выводы дѣлаете вы изъ вашей вчерашней исторіи и вообще изъ всего того, что вы встрѣчаете въ вашей жизни, кажется, очень богатой самыми разнообразными столкновеніями? Я все думала объ этомъ, и желаю, чтобы вы мнѣ отвѣтили, потому что меня это очень занимаетъ.

— Да какіе-жъ выводы, Лизавета Егоровна? Если бъ я изобрѣлъ мазь для ращенія волосъ, — употребляю слово мазь для того, чтобы не изобрѣсть помаду при Помадѣ,— то я былъ бы богаче Ротшильда; а еслибы я зналъ, какъ людямъ выйти изъ ужасныхъ положеній безкровной драмы, мое имя поставили бы на челѣ человѣчества.

— Да, но у васъ есть же какая-нибудь теорія жизни?

— Нѣтъ, Лизавета Егоровна, и не хочу я имѣть ее. Теоріи-то эти, по моему мнѣнію, погубили и губятъ людей.

— Какъ же, вѣдь есть же теоріи правильныя, вѣрныя.

— Не знаю такихъ и смѣю дерзостно думать, что до сихъ поръ нѣтъ ихъ.

Лиза задумалась.

— Нынѣшняя теорія не гарантируетъ счастья.

— Не гарантируетъ, Лизавета Егоровна.

— А есть другія?

— И тѣ не гарантируютъ.

— Значитъ, теоріи невѣрны?

— Выходитъ такъ.

— А можетъ-быть только люди слишкомъ неспособны жить умнѣе?

— Вотъ это всего вѣрнѣе. Кто умѣетъ жить, тотъ уставится во всякой рамкѣ, а если бъ побольше было умѣлыхъ, такъ и неумѣлые поняли бы, что имъ дѣлать.

— Это такъ.

— Такъ мнѣ кажется. Мы вѣдь всѣ неумѣлые.

Лиза пристально на него посмотрѣла.

— Ну, а ваша теорія?— спросила она.

— Я вамъ сказалъ: моя теорія — жить независимо отъ теорій, только не ходить по ногамъ людямъ.

— А это не разладъ съ жизнью?

— Напротивъ, никогда такъ не легко ладить съ жизнью, какъ слушаясь ея и присматриваясь къ ней. Хотите непремѣнно имѣть знамя, ну, напишите на немъ «*испытуй и вижды*», да и живите.

— Что-жъ, по-вашему выйдетъ, что всѣ заблуждаются?

— Бедламъ, Лизавета Егоровна. Давно сказано, что свѣтъ Бедламъ.

— Такъ и мы вѣдь въ этомъ Бедламѣ, — смѣясь замѣтила Лиза.

— И мы тоже.

— Значитъ, чѣмъ же вѣрнѣе ваша теорія?

— Вы слыхали, Лизавета Егоровна, про разбойника Прокрусту?

— Нѣтъ, не слыхала.

— Ну, такъ я вамъ разскажу. У Прокрусты была кровать. Кого бы онъ ни поймалъ, онъ клалъ на эту кровать. Если человѣкъ выходилъ какъ разъ въ мѣру этой кровати, то его спускали съ нея и отпускали; если же коротокъ, то вытягивали какъ разъ въ ея мѣру, а длиненъ, такъ обрубали, тоже какъ разъ въ ея мѣру. Разумѣется и выходило, что всякаго либо повытянутъ, либо обрубятъ. Вотъ и эти теоріи-то то же самое Прокрустово ложе. Онѣ надоѣдятъ всѣмъ; повѣрьте, придетъ время, когда онѣ всѣмъ надоѣдятъ и какъ бы теоретики ни украшали свои кровати, люди отъ нихъ бѣгать станутъ. Это ужъ теперь видно. Мужчины еще и туда и сюда. У нихъ дѣла выдуманнаго очень много. А женщины, которымъ главные, простые-то интересы въ жизни ближе, посмотрите, въ какой онѣ омутъ ихъ загонятъ. Либо ужъ тѣ соскочутъ, да сами такую еще теорію отхватаютъ, что только ахнемъ.

— Ну... постойте же еще. Я хотѣла бы знать, какъ вы смотрите на поступокъ этой женщины, о которой вы вчера разсказывали?

— Это какое-то дикое, противоестественное изступленіе, которое, однако, у нашихъ женщинъ прорывается. Богъ ихъ знаетъ, какъ у нихъ тамъ выходитъ, а выходитъ. Ухаживаетъ парень за дѣвкой, а она на него не смотритъ, другого любитъ. Вдругъ тотъ ее обманулъ, она плачетъ, плачетъ, да разомъ въ ноги другому. «Отколошмать, проситъ, ты его, моего лиходѣя; вымажь ей, разлушницѣ, дегтемъ ворота — я тебя, ей-Богу, любить стану». И вѣдь станетъ любить. На зло ли это дѣлается, или какъ иначе, а уже черта своеобычная, какъ хотите.—Я на вчерашнюю исторію такъ и смотрю, Лизавета Егоровна, какъ на несчастье. Потому-то я предпочитаю мою теорію, что въ ней нѣтъ ни шарлатанства, ни самоувѣренности. Мнѣ одно понятно, что всѣ эти теоріи или вытягиваютъ чувства, или обрубаютъ разумъ, а я вѣрю, что человѣчество не будетъ счастливо, пока не открыто будетъ средство жить по чистому разуму, не подавляя присущаго нашей натурѣ чувства. Вотъ по-

чему, что бы со мною ни сталось въ жизни, я никогда не стану укладывать ея на Прокрустово ложе и надѣюсь, что за то мнѣ не отчего станетъ ни бѣжать, ни пятиться.

— Докторъ! мы всѣ на васъ въ претензіи, — сказала, подходя къ нимъ, Женни: — вы философствуете здѣсь съ Лизой, а мы хотѣли бы обоихъ васъ видѣть тамъ.

— Повинуюсь, — отвѣчалъ докторъ и пошелъ въ гостиную.

Черезъ нѣсколько минутъ туда вошла и Лиза.

Дьяконъ всталъ, обнялъ жену и сказалъ:

— Ну-ка, мать дьяконица, побренчи мнѣ для праздника на фортопласѣ.

Духовная чета вышла и черезъ минуту въ залѣ раздался довольно смѣлый аккомпаниментъ, подъ который дьяконъ запѣлъ:

Прихожу къ тому ручью,
Съ милой гдѣ гулялъ я.
Онъ бѣжитъ, я слезы лью,
Счастье убѣжало.
Томно ручеекъ журчитъ,
Дѣлитъ грусть со мною,
И какъ будто говоритъ:
Нѣтъ ея съ тобою.

— «Нѣтъ ея съ тобою», — дребезжащимъ голосомъ подтянулъ Петръ Лукичъ, подходя къ старому фортепьяно, надъ которымъ висѣлъ портретъ, подтверждавшій, что игуменья была совершенно права, находя Женни живымъ подобіемъ своей матери.

Дьяконица перемѣнила музыку и взяла другой, веселый аккордъ, подъ который дьяконъ тотчасъ запѣлъ:

Въ залѣ жарко, въ залѣ тѣсно,
Невозможно тамъ дышать;
А въ саду теперь прелестно
Пить, гулять и танцовать.

— Да, теперь тамъ очень прелестно пить, гулять и особенно танцовать по колѣно въ снѣгу,—острилъ Зарницынъ, выходя въ залу.

За нимъ вышла Женни и Вязмитиновъ.

Дьяконица заиграла вальсъ.

Зарницынъ подалъ руку Евгеніи Петровнѣ, всѣ посторонились и пара замелькала по залѣ.

— Позвольте просить васъ,—отнесся Зарницынъ, входя въ гостиную, гдѣ оставалась въ раздумьѣ Бахарева.

Лиза тихо поднялась съ мѣста и молча подала свою руку Зарницыну.

По залѣ замелькала вторая пара.

— Папа! кадриль съ вами,—сказала Женни.

— Что ты, матушка, Богъ съ тобой.—У меня ужъ ноги не ходятъ, а она въ кадриль меня тянетъ. Вонъ, бери молодыхъ.

— Докторъ, съ вами?

— Помилуйте, Евгенія Петровна, я сто лѣтъ ужъ не танцовалъ.

— Пожалуйста!

— Сдѣлайте милость, увольте.

— Фуй! дѣвушка васъ проситъ, а вы отказываетесь.

— Юстинъ Феликсовичъ, вы?

— Извольте,—отвѣчалъ Помада.

— Лиза, а ты бери Николая Степановича.

— Нѣтъ-съ, нѣтъ, я, какъ докторъ, забылъ ужъ какъ и танцуютъ.

— Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше. Смѣшнѣе будетъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, нуте-ка ихъ пару неумѣлыхъ, доктора съ Николаемъ Степановичемъ, въ кадриль. Такъ и будетъ кадриль неспособныхъ,—шутилъ Петръ Лукичъ.

— Бери, Лиза. Играйте, душка Александра Васильевна!

Женни расшалилась.

Дьяконица сыграла ритурнель.

— Ангажируйте же, господа!—крикнулъ Зарницынъ.

— Нѣтъ, позвольте, позвольте! Это вотъ какъ нужно сдѣлать, заговорилъ дьяконъ: — вотъ мой платокъ, завязываю на одномъ уголкѣ узелочекъ; теперь, господа, извольте тянуть, кто кому достанется. Узелочекъ будетъ хоть Лиза-

вета Егоровна. Ну-съ, смѣлѣе тяните, докторъ: кто кому достанется?

Дѣвушки стояли рядомъ.

Отступленіе было невозможно, всѣмъ хотѣлось веселиться.

Докторъ взялъ за уголокъ платка и потянулъ. На уголкѣ былъ узелочекъ.

— Господа!—весело крикнулъ дьяконъ:—по мудрому рѣшенію самой судьбы, доктору Розанову достается Лизавета Егоровна Бахарева, а Николаю Степановичу Вязмитинову Евгенія Петровна Гловацкая.

Обѣ пары стали на мѣста. У дверей показались Абрамовна, Паланя и Яковлевичъ.

— Чортъ знаетъ, что это такое! — размышлялъ оставшійся за штатомъ Помада, укладывая въ карманъ чистый платокъ, которымъ намѣревался обернуть руку.

Случайности не забывали кандидата.

— Шэнъ! шэнъ! вырабатывайте шэнъ, Николай Степановичъ, — кричалъ Вязмитинову докторъ, отплясывая съ Лизой.

Кадриль часто путалась и, наконецъ, по милости шэновъ, танцоры совсѣмъ спутались и стали.

Всѣ смѣялись; всѣмъ было весело.

Женни вспомнила о дьяконицѣ и сказала:

— Господа, составляйте другую кадриль, я буду играть.

— Нѣтъ, пусти, я, а ты танцуй, — возразила Лиза и сѣла за фортепьяно.

Зарницынъ танцовалъ съ Женни, Помада, обернувъ платкомъ вѣчно потѣвшія у него руки, съ дьяконицей.

Окончивъ кадриль, Лиза заиграла вальсъ.

Зарницынъ понесся съ дьяконицей, а Помада съ Женни.

Докторъ подошелъ къ Абрамовнѣ, нагнулся къ ея уху, какъ бы желая шепнуть ей что-то по секрету и, неожиданно схвативъ старуху за талію, началъ вертѣть ее по залѣ, напѣвая: о мейнъ либеръ Августенъ, Августенъ, Августенъ!

Лиза едва могла играть. Обернувшись лицомъ къ ори-

гинальной парѣ, она помирала со смѣха, такъ же какъ и вся остальная компанія.

Дьяконъ, выбивая ладонями тактъ, совсѣмъ спустился на полъ и какъ-то пищалъ отъ хохота.

У Лизы отъ смѣха глаза были полны слезъ, и она кричала:

— Прахъ, прахъ танцуетъ, вотъ онъ настоящій-то прахъ!

Къ довершенію сцены, докторъ, таская упирающуюся старуху, споткнулся на Помаду, сбилъ его съ ногъ и всѣ втроемъ полетѣли на полъ.

Музыка прекратилась. Лиза легла на клавиши и въ цѣломъ домѣ нѣсколько минутъ раздавалось:

— Охъ! ха, ха, ха! охъ, ха, ха, ха!

Няня была слишкомъ умна, чтобы сердиться, но и не хотѣла не заявить, хоть шутя, своего неудовольствія доктору. Поднимаясь, она сказала:

— Вотъ тебѣ, вертопрахъ ты этакой!

И дала весьма изрядную затрещину подвернувшемуся Юстину Помадѣ.

— О чортъ возьми, однако, что же это такое въ самомъ дѣлѣ?—вскрикнулъ Помада, выходя изъ роли комическаго лица въ балетѣ.

Общій хохотъ возобновился.

— Прости, батюшка, я, вѣдь, совсѣмъ не тебя хотѣла,— говорила старуха, обнимая и цѣлуя ни въ чемъ неповиннаго Помаду.

За полночь уже, съ шапкою въ рукѣ, дьяконъ, проходя мимо фортепьяно, не вытерпѣлъ, еще присѣлъ и запѣлъ, самъ себѣ аккомпанируя:

Сижу на бекетѣ,
Вижу все на свѣтѣ.
О, Зевесъ! помилуй меня и ее!

— «О, Зевесъ! помилуй меня и ее!» — подхватили всѣ хоромъ.

Дьяконъ допѣлъ всю эту пѣсенку съ хоральнымъ припѣвомъ и, при послѣднемъ куплетѣ, измѣнивъ этотъ при-

пѣвъ въ слова: «О, Зевесъ! помилуй Сашеньку мою!» поцѣловалъ у жены руку и рѣшительно закрылъ фортепьяно.

— Полно, набѣсились,—сказалъ онъ.

Всѣ стали прощаться.

— Прощайте,—сказалъ докторъ, протягивая руку Бахаревой.

Лиза отвѣтила:

— До свиданія, докторъ,—и пожала его руку такъ, какъ женщины умѣютъ это дѣлать, когда хотятъ рукою сказать: будемъ друзьями.

Никто никогда не видалъ Лизы такою оживленною и дѣтски веселою, какъ она была въ этотъ вечеръ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Глава безъ названія.

Постъ кончался, была страстная недѣля. Погода стояла прекрасная: дни свѣтлые, тихіе и теплые. Снѣгъ весь подернулся чернымъ тюлемъ и мѣстами показались большія прогалины, особенно по взлобочкамъ. Проходныя дорожки, съ которыхъ зимою изрѣдка сгребали лишній снѣгъ, совсѣмъ почернѣли и лежали черными лентами. Но за то шагъ со двора и окунешься въ воду, которою взялся снѣгъ. Ѣздить можно было только по шоссе. Мужички копались на дворахъ, ладя бороны до сохи, ребятишки пропускали ручейки, которыми стекали въ рѣчку всѣ плодотворные соки изъ наваленныхъ посреди двора навозныхъ кучъ. Запахъ навоза стоялъ надъ деревнями. Среди дня, казалось, что дворы топятся — такъ густы были поднимавшіяся съ нихъ испаренія. Но это никому не вредило, ни людямъ, ни животнымъ, а пѣтухи, стоя на самомъ верху кучъ теплаго, дымящагося навоза, воображали себя какими-то жрецами. Они важно топорщили свои перья, потряхивали красными гребнями и, важно закинувъ головы, возглашали: «да здравствуетъ весна, да здравствуютъ куры!»

— Изъ этого кочета прокъ будетъ; ты его, этого кочета,

береги, опираясь на вилы, говорилъ женѣ мужикъ, показывая на гуляющаго по парному навозу пѣтуха.—Это настоящая птица, ласковая къ курамъ, а того рябинькаго-то безпримѣнно надыть его зарѣзать къ празднику: какъ есть онъ пустой пѣтухъ совсѣмъ, все по угламъ одинъ слоняется.

И мужикъ, плюнувъ на руки, снова ковырялъ вилами; баба, пошевеливая плечами и понявой, шла въ сѣни, а обреченный въ лапшу стоикъ поправлялъ свои бурды.

Отлично чувствуешь себя въ эту пору въ деревнѣ, хотя и живешь, зная, что за ворота двора ступить некуда. Природа облагаетъ человѣка зажорами и, по народному выраженію, не рѣка уже топитъ, а лужа.

Была такая пора въ Меревѣ. Рѣка Саванка поднялась, вспучилась, но ледъ еще не трогался.

Всѣ ставни въ бахаревскомъ домѣ были открыты и въ нѣкоторыхъ окнахъ отворены форточки.

На дворѣ вечерѣло. Няня отправилась ставить самоваръ. Лиза стояла у окна. Заложивъ назадъ свои ручки, она глядѣла на покрывавшееся вечернимъ румянцемъ небо и о чемъ-то думала; а кругомъ тишь ненарушимая.

Бахаревскій кабинетъ, въ которомъ обитала Лиза, послѣ своего бѣгства, теперь снова не напоминалъ жилаго покоя. Въ немъ среди пола стоялъ уложенный чемоданъ, дорожный сакъ и нѣсколько узелочковъ. Подушки, всегда покоившіяся на отоманкахъ, скинули свои бѣлыя рубашечки, и, надѣвъ ситцевые капоты песочнаго цвѣта съ лиловымъ горошкомъ, лежали какъ толстыя барыни. Онѣ своимъ глуповажнымъ видомъ говорили: прощайте; мы теперь путешественницы. На насъ завтра сядутъ и мы будемъ вояжировать, будемъ любоваться природой и дышать чистымъ воздухомъ.

— Здравствуйте, Лизавета Егоровна! сказалъ кто-то сзади погруженной въ себя Лизы.

Дѣвушка вздрогнула отъ нечаянности и оглянулась: передъ нею стоялъ докторъ.

— Вотъ сюрпризъ-то! — сказала она привѣтливо, протягивая ему свою руку.

— Что, вы уѣзжаете?

— Да, завтра ѣду къ своимъ.

— Надолго?

— Я думаю, ужъ съ ними вмѣстѣ возвращусь. Какъ это вы догадались заѣхать?

— Ѣхалъ мимо изъ Лужковъ.

— Что опять людей рѣзали?

— Да, опять одного человѣчка порѣзалъ и зашилъ.

Докторъ и Лиза разсмѣялись.

— Какъ вы поѣдете? Дорогъ нѣтъ совсѣмъ. Я верхомъ на своей пристяжной, да и то совсѣмъ было и себя, и лошадь утопилъ въ зажорѣ за вашимъ садомъ.

— Да мнѣ, вѣдь, по шоссе.

— И то правда.—Вы меня чайкомъ напоите, Лизавета Егоровна?

— Какъ же, какъ же! Няня сейчасъ принесетъ самоваръ.

— Что это на васъ за странный нарядъ?

— Какъ странный?

— Вы точно турчанка.

Лиза была въ темномъ марселиновомъ платьѣ, безъ кринолина и въ домашней длинной мѣховой шубкѣ съ горностаевымъ воротникомъ и горностаевой опушкой. Этотъ нарядъ очень шелъ къ Лизѣ.

Она оглянула себя и сказала:

— Я завтра ѣду, все уложено: это мой дорожный нарядъ. Сегодня открыли домъ, день былъ такой хорошій, я все ходила по пустымъ комнатамъ, такъ славно. Вы знаете весь нашъ домъ?

— Нѣтъ, всего не знаю.

— Хотите, пойдемте, пока еще свѣтло. Я вамъ покажу свою комнату.

Солнце, совсѣмъ спускаясь къ закату, слабо освѣщало блѣдно-оранжевымъ свѣтомъ окна и трепетно отражалось

на противоположныхъ стѣнахъ. Однѣ комнаты были совершенно пусты, въ другихъ оставалась кое-какая мебель, закрытая или простынями, или просто, рогожами. Только однѣ кровати не были ничѣмъ покрыты и производили непріятное впечатлѣніе своими пустыми досками.

— Вотъ и моя комната, сказала Лиза.

— Хорошенькая комнатка.

— Да, прежде я жила вотъ въ этой; тутъ гадко и затвориться даже нельзя было. Я тутъ очень много плакала.

— Оттого, что комната нехороша?

— Нѣтъ, оттого, что глупа была.

Докторъ съ Лизой обошли весь домъ и возвратились въ залу, гдѣ Абрамовна уже наливала чай.

Старуха въ шутку избранила доктора за вертопрашество, а потомъ сказала:

— Ты вотъ дай мнѣ, а не то хоть припиши въ аптеку какой-нибудь масти, чтобы можно мнѣ промежъ крылъ себѣ ею мазать. Смерть какъ у меня промежду вотъ этихъ вотъ крылъ-то, смерть, какъ ломитъ съ вечера.

И докторъ, и Лиза были очень въ духѣ. Напившись чаю, Розановъ сталъ прощаться.

— Посидите еще,—сказала Лиза.

— Нѣтъ, не могу, Лизавета Егоровна. Если бъ могъ, я бы и самъ отъ васъ не торопился.

Совсѣмъ свечерѣло, и блѣдная луна освѣтила голубую великолѣпную ночь.

Былъ легонькій вешній морозецъ, покрывшій проталины тонкою, хрупкою слюдой.

Гость и хозяйка вышли на крыльцо. Докторъ взялъ у садовника поводъ своей лошади и протянулъ руку Лизѣ.

— Хотите, я васъ провожу до околицы? — спросила Лиза, кладя свою ручку въ протянутую ей руку доктора.

— Отказываться отъ такого милаго вниманія не смѣю, но чтобъ вы не простудились...

— Ничего, тутъ дорожка вся оттаяла, земля одна, да и я же сейчасъ надѣну калоши.

Не дожидаясь отвѣта, Лиза порхнула за дверь и черезъ минуту вышла на крыльцо въ калошахъ и большомъ мериносовомъ платкѣ.

Они пошли рядомъ; сзади ихъ, опустя голову, потягивая ноздрями воздухъ, шла на поводу осѣдланная розановская лошадь.

Какія этой порой бываютъ ночи прелестныя, нельзя разсказать тому, кто не видалъ ихъ, или видѣвши, не чувствовалъ крѣпкаго могучаго и обаятельнаго ихъ вліянія. Въ эти ночи, когда подъ ногою хруститъ бѣленькая слюда, раскинутая по чернымъ талинамъ, нельзя размышлять нн о грозномъ часѣ послѣдняго разсчета съ жизнью, ни о ловкомъ обходѣ подводныхъ камней моря житейскаго. Даже сама досужая старушка-нужда забывается легкимъ сномъ и не слышно ея ворчливыхъ соображеній на счетъ завтрашняго дня.

Надеждъ! надеждъ! сколько темныхъ и неясныхъ, но благотворныхъ и здоровыхъ надеждъ слетаютъ къ человѣку, когда онъ дышетъ воздухомъ голубой, свѣтлой ночи, наступающей послѣ теплаго дня въ концѣ марта. «Августъ теплѣе марта», говоритъ пословица. Точно, жарки и сладострастны нѣмыя ночи августа, но нѣтъ у нихъ того таинственнаго могущества, которымъ мартовская ночь каждаго смертнаго хотя на нѣсколько мгновеній обращаетъ въ кандидата правъ Юстина Помаду.

— Какая чудесная ночь!—невольно воскликнула Лиза, выходя съ докторомъ за уголъ сада.

— Поэтическая ночь!—замѣтилъ докторъ, дыша полною грудью.

— А вы вѣрите, докторъ, въ поэзію?

— Какъ же, Лизавета Егоровна, не вѣрить въ то, что существуетъ?

— Странно! доктора всѣ матеріалисты. По крайней мѣрѣ, мнѣ они всегда такими представлялись.

— Это обнаруживаетъ въ васъ большую наблюдательность. Больше или меньше мы, дѣйствительно, всѣ мате-

ріалисты, да и врядъ ли можно идеальничать, возясь со скальпелемъ въ разлагающейся махинѣ, именуемой человѣкомъ.

— То-то я и удивляюсь, что вы восторгаетесь ночью, точно какъ Юстинъ Феликсовичъ.

Докторъ засмѣялся.

— Странны, право, бываютъ въ обществѣ многія понятія, но ужъ страннѣе того, которое досталось этому несчастному матеріализму, и придумать нельзя. Думаютъ, матеріализмъ—это ужъ могила всѣмъ радостямъ земнымъ, а наипаче радостямъ чистымъ, возвышающимъ и укрѣпляющимъ душу. Да, я говорю: *душу*. Вы не забудьте, Лизавета Егоровна, что въ ряду медицинскихъ наукъ есть психіатрія,— наука, можетъ быть, самая поэтическая и имѣющая дѣло исключительно съ тѣмъ, что отличаетъ насъ отъ ближнихъ и дальнихъ кузеновъ нашей общей родственницы Юліи Пастраны. Странно, право,—продолжалъ онъ, помолчавъ,— будто ужъ за то, что я понимаю, какъ дѣйствуютъ на меня нѣкоторыя внѣшнія условія, я ужъ и не могу чувствовать прекраснаго. Положимъ, Юстину Помадѣ сдается, что онъ въ такую ночь вотъ безпричинно хорошо себя чувствуетъ, а еще кому нибудь кажется, что тамъ вонъ по проталинкамъ сидятъ этакіе гномики, обязанные веселить его сердце, а я думаю, что мнѣ хорошо потому, что этотъ здоровый воздухъ сильнѣе гонитъ мою кровь, и всѣ мы все-таки чувствуемъ эту прелесть. А поэзію какъ же я стану отвергать, когда я чувствую ее и въ природѣ, и въ сочетаніи звуковъ. Какъ отвергать, что

„Есть сила благодатная
Въ созвучьи словъ живыхъ“.

Вотъ ночь, этотъ льющійся воздухъ, трепетный, робкій свѣтъ, искренній разговоръ съ молодой, чуткой женщиной,— тутъ поэзія, а тамъ вонъ проза.

— Гдѣ это?

— Въ городѣ.

Лиза задумалась и потомъ спросила:

— Вамъ, я думаю, тяжело иногда жить, докторъ?

— Да, нелегко иногда бываетъ, Лизавета Егоровна.

— Что вы не вырветесь изъ вашего положенія?

— Да какъ же изъ него вырываться? Тутъ нужно и вырываться, и прорываться, и надрываться, и разрываться, и все, что хотите.

— Ну, и что-жъ такое?

— А то, что силъ у меня на это не хватитъ, да и, откровенно скажу вамъ, думаю я, что изгаженнаго въ конецъ ужъ не склеишь и не поправишь.

— Какой вздоръ! Вы вѣдь еще очень молоды, я думаю.

— Да, мнѣ немного лѣтъ.

— И при вашихъ-то дарованіяхъ, въ этомъ возрастѣ, вы считаете себя уже погибшимъ и отпѣтымъ!

— Да, считаю, Лизавета Егоровна, и увѣренъ, что это на самомъ дѣлѣ. Я не могу ничего сдѣлать хорошаго: силъ нѣтъ. Я вѣдь съ дѣтства въ какомъ-то разладѣ съ жизнью. Мать при мнѣ отца поѣдомъ ѣла за то, что тотъ не умѣлъ низко кланяться; молодость моя прошла у моего дяди, такого нравственнаго развратителя, что и нѣтъ ему подобнаго. Еще тогда всѣ мои чистые порывы повытоптали. Попробовалъ полюбить всѣмъ сердцемъ... совсѣмъ чортъ знаетъ что вышло. Вся смѣлость меня оставила.

— Уѣзжайте отсюда въ столицу, ищите каѳедры, — проговорила Лиза послѣ небольшой паузы.

— А семья?

— Да, бракъ ужасное дѣло!—тихо проговорила Лиза.

— Для мужчины дѣло страшное.

— Я думаю, и для женщины.

— Ну, съ извѣстной точки зрѣнія, женщина все-таки меньшимъ рискуетъ.

— Это какъ?

— Да, напримѣръ, въ экономическомъ отношеніи женщина пріобрѣтаетъ себѣ работника и потомъ даже, въ случаѣ неудачи, у женщины, хотя мало-мальски достойной

чувства, все-таки еще остается надежда встрѣтиться съ новой привязанностью и отдохнуть въ ней.

— А у мужчины развѣ не то же самое?

— Нѣтъ-съ, далеко не то самое. Женщину ея несчастіе въ бракѣ дѣлаетъ еще гораздо интереснѣе, а для женатаго мужчины, если онъ несчастливъ, что остается? Связишки, интрижки и всякая такая гадость,—а любви нѣтъ.

— Отчего же?

— Оттого, что порядочная женщина не видитъ себѣ мѣста въ такой любви.

— Странно! Я думаю совсѣмъ напротивъ. *Порядочная*-то, т. е. настоящая женщина, всегда найдетъ себѣ мѣсто въ такой любви.

— Это по теоріи.

— Но развѣ и эта теорія не вѣрна?

— Нѣтъ, кажется, вѣрна, да на практикѣ только не оправдывается.

— Помилуйте: развѣ можетъ быть что нибудь пріятнѣе для женщины, какъ поднять человѣка на честную работу?

— Да только какъ-то не бываетъ этого. Это для насъ должно быть философія будущаго. Теперь же мужчина: повѣсился—мотайся, оторвался—катайся... А вонъ катитъ и Помада. Прощайте, Лизавета Егоровна.

Подъѣхалъ въ саночкахъ Помада, возвратившійся изъ города. Докторъ повидался съ нимъ и вспрыгнулъ на лошадь.

— Прощайте, сказала ему Лиза:—только вы обдумайте нашъ разговоръ. Вы, кажется, очень ошибаетесь на этотъ разъ. По-моему, безысходныхъ положеній нѣтъ.

— Хорошо, Лизавета Егоровна, буду думать,—шутливо отвѣтилъ докторъ и поѣхалъ крупной рысью въ городъ, а Лиза съ Помадою пошли къ дому.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

На одномъ полѣ разныя ягоды.

Вязмитиновъ былъ сынъ писца изъ губернскаго правленія: воспитывался въ училищѣ дѣтей канцелярскихъ служителей, потомъ, въ числѣ двухъ лучшихъ учениковъ, былъ опредѣленъ въ четвертый классъ гимназіи, оттуда въ университетъ и, наконецъ, попалъ на мѣсто учителя исторіи и географіи при знакомомъ намъ трехклассномъ уѣздномъ училищѣ. Раннее сиротство, бѣдность и крутая суровость воспитанія въ заведеніи, устроенномъ для дѣтей канцелярскихъ служителей, положили на Вязмитинова неизгладимые слѣды. Онъ былъ постоянно задумчивъ, кротокъ въ обхожденіи со всѣми, немножко застѣнчивъ, скрытенъ и даже лукавъ, но съ довольно положительнымъ умомъ и постоянствомъ въ преслѣдованіи того, къ чему онъ разъ рѣшился стремиться.

О наружности Вязмитинова распространяться нечего: онъ имѣлъ довольно пріятную наружность, хотя съ того самаго дня, когда его семилѣтнимъ мальчикомъ привели въ суровое училище, онъ пріобрѣлъ странную манеру часто пожиматься и моргать глазами. Первая изъ этихъ привычекъ былъ усвоена ребенкомъ вслѣдствіе неловкости, ощущенной имъ въ новой куркѣ изъ толстаго сукна, съ натирающимъ до-красна воротникомъ, а вторая получена отъ безпрерывнаго опасенія ежеминутныхъ колотушекъ, затрещинъ, взвошекъ, взъефантуливанья и пришпандориванья. Но ни одна изъ этихъ привычекъ не дѣлала Вязмитинова смѣшнымъ и не отнимала у него права на званіе молодого человѣка съ пріятною наружностью.

Жилъ онъ скромно, въ двухъ комнатахъ у вдовы дьяконицы, неподалеку отъ уѣзднаго училища, и платилъ за свой столъ, квартиру, содержаніе и прислугу двѣнадцать рублей серебромъ въ мѣсяцъ. Такимъ образомъ проживалъ онъ съ самаго поступленія въ должность.

Въ подобныхъ городкахъ и теперь еще живутъ съ такими средствами, съ которыми въ Петербургѣ надо бы умереть съ голоду, живя даже на Малой Охтѣ, а нѣсколько лѣтъ назадъ, еще какъ безнуждно жилось-то съ ними въ какой-нибудь Обояни, Тиму или Карачевѣ, гдѣ за пятьсотъ рублей становился цѣлый домъ, дававшій своему владѣльцу право, по испитіи третьей косушечки, говорить:

— Я, братецъ ты мой, теперь, слава-те, Господи, городской обыватель.

Дьяконицыны знакомые даже находили, что ей ужъ, кто ее знаетъ за что, въ этомъ учителѣ счастье такое Создатель спосылаетъ.

— Ну, пусть, положимъ, теперича, разсуждали между собою пріятельницы,—двадцать пять рублей за харчи. Какія ужъ тамъ она ему даетъ харчи, ну только ужъ тамъ будемъ считать: ну, двадцать пять рублей. Ну, десять съ полтиной за комнаты: ну, тридцать пять съ полтиной. А, вѣдь, она сорокъ два рубля беретъ! За что она шесть съ полтиной беретъ? Шесть съ полтиной деньги: вѣдь это безъ пятналтыннаго два цѣлковыхъ.

Собственные труды и безпокойства при этихъ смѣтахъ, обыкновенно, вовсе не принимаются въ соображенія, потому что время и руки ничего не стоятъ.

При такой дешевизнѣ, бережливости и ограниченности своихъ потребностей, Вязмитиновъ умѣлъ жить такъ, что бѣдность изъ него не глядѣла ни въ одну прорѣху. Онъ былъ всегда отлично одѣтъ, въ квартирѣ у него было чисто и уютно, всегда онъ могъ выписать себѣ журналъ и нѣсколько книгъ, и даже подъ случай у него можно было позаимствоваться деньжонками, включительно отъ трехъ до двадцати пяти рублей серебромъ.

Зарницынъ, единственный сынъ мѣлкопомѣстной дворянской вдовы, былъ человѣкомъ другого сорта. Онъ жилъ въ одной просторной комнатѣ съ самымъ страннымъ убранствомъ, которое всячески давало посѣтителю чувствовать, что квартирантъ вчера пріѣхалъ, а завтра непремѣнно очень

далеко выѣдетъ. Даже большой стѣнной коверъ, составлявшій одну изъ непослѣднихъ «шикозностей» Зарницына, висѣлъ микосъ-накось, какъ будто его здѣсь не стоило прибивать поровнѣе и покрѣпче, потому что владѣлецъ его скоро вонъ выѣдетъ.

Каковъ былъ Зарницынъ въ своей домашней обстановкѣ, таковъ онъ былъ и во всемъ. Докторъ Розановъ его напрасно обзывалъ Рудинымъ: онъ гораздо болѣе былъ Хлестаковымъ, чѣмъ Рудинымъ, а можетъ-быть и это сравненіе не совсѣмъ идетъ ему. Зарницынъ, находясь въ положеніи Хлестакова, при тогдашней средѣ, сильно тяготѣлъ бы и къ хлестаковщинѣ, и къ репетиловщинѣ. Въ эпоху, описываемую въ нашемъ романѣ, тоже нельзя сказать, чтобы онъ не тяготѣлъ къ нимъ. Но въ эту эпоху ни Репетиловъ не хвастался бы тѣмъ, что «шумимъ, братецъ, шумимъ», ни Иванъ Александровичъ Хлестаковъ не разсказывалъ бы о тридцати тысячахъ скачущихъ курьерахъ и неудержимой чиновничьей дрожкѣ, начинающейся непосредственно съ его появленіемъ въ департаментъ. Позволительно думать, что они могли хлестаковствовать и репетиловствовать совсѣмъ иначе, изобличая извѣстную солидарность натуръ съ натурою несмѣтнаго числа Зарницыныхъ (которыхъ нисколько не должно оскорблять такое сопоставленіе, ибо они никакимъ образомъ не могутъ быть почитаемы наихудшими людьми земли русской).

Зарницынъ не любилъ заниматься по-вязмитиновски, серьезно. Онъ бралъ все кое-какъ, налетомъ, и все у него сходило. Новая весна его застала въ положеніи очень скучномъ. Ему какъ-то все принадоѣло. Онъ не зналъ, чѣмъ заняться, и началъ обличительную повѣсть съ самыми картинными намеками и съ неисчерпаемымъ моремъ гражданскаго чувства. Но повѣсть на первыхъ же порахъ запуталась въ массѣ этого новаго чувства — и стала. Зарницынъ тревожно тосковалъ, суетился, заговаривалъ о темныхъ предчувствіяхъ, о борьбѣ съ собою, наконецъ, прочитавъ нѣсколько народныхъ сценъ, появившихся въ это время въ

печати, ужъ задумалъ было коробейничать. Но милосердому року угодно было указать ему на иной путь, а на этомъ пути и развлеченіе.

Въ одно очень погожее утро одного погожаго дня, Зарницынъ получилъ съ почты письмо, служившее довольно яснымъ доказательствомъ, что мѣстный уѣздный почтмейстеръ вовсе не имѣлъ слабости Шпекина къ чужой перепискѣ.

Получивъ такое письмо, Зарницынъ выросъ на два вершка. Онъ прочелъ его разъ, прочелъ другой, наконецъ третій и побѣжалъ къ Вязмитинову.

— Что, ты на-дняхъ ничего не получалъ?—спросилъ онъ, входя и кладя фуражку.

— Ничего,—отвѣчалъ Вязмитиновъ.

— Ни откуда?

— Ни откуда.

— Гм!

— А что такое?

— Такъ.

Зарницынъ зашагалъ по комнатѣ то улыбаясь, то приставляя ко лбу палецъ. Вязмитиновъ, зная Зарницына, далъ ему порисоваться. Походивъ, Зарницынъ остановился передъ Вязмитиновымъ и спросилъ:

— Ты помнишь этихъ двухъ господъ?

— Какихъ?—спокойно спросилъ Вязмитиновъ, моргнувъ при этомъ какимъ-то экстраординарнымъ образомъ.

— Ну, Боже мой! что были прошлой осенью на балѣ у Бахарева.

— Да тамъ много было.

— Ну, этотъ, какъ его, иностранецъ... Райнеръ?

— Помню,—съ невозмутимымъ спокойствіемъ отвѣчалъ Вязмитиновъ.

— Съ нимъ былъ молодой человѣкъ Пархоменко.

— И этого помню.

— Вотъ его письмо.

— Что-жъ это такое—спросилъ Вязмитиновъ, безучастно глядя на положенное передъ нимъ письмо.

— Читай!

Вязмитиновъ медленно развернулъ письмо.

— Вотъ отсюда читай,—указалъ Зарницынъ.

«Нужны люди, способные дѣйствовать, вести скорую подземную работу. Я былъ слишкомъ занятъ, находясь въ вашемъ городѣ, но слышалъ о васъ мелькомъ и по тѣмъ *невыгоднымъ* отзывамъ, которые доходили до меня на вашъ счетъ, вы должны быть нашъ человѣкъ, и на васъ можно разсчитывать. Надо приготовлять всѣхъ. На-дняхъ вы получите посылку: *книги*. Старайтесь ихъ распространять вездѣ, особенно между раскольниками: *они всѣ наши* и ими должно воспользоваться. Въ другихъ мѣстахъ дѣло идетъ уже очень далеко и идетъ отлично.

«Пусть моя полная подпись служитъ вамъ знакомъ моего къ вамъ довѣрія. *Вашъ Пархоменко.*

«P. S. Надѣюсь, что вы также не забудете писать все, что совершаютъ ваши безобразники. У насъ теперь это отлично устроено: опасаться нечего и на четвертый день тамъ.

«Еще P. S. Не стѣсняйтесь сообщать свѣдѣнія всякія. Тамъ послѣ разберемся, и если случится ошибка, то каждый можетъ оправдаться».

Вязмитиновъ перечелъ все письмо второй разъ и, оканчивая, произнесъ вслухъ: «а если случится ошибка, то каждый можетъ оправдаться».

— Гдѣ же это оправдаться-то?—спросилъ онъ, возвращая Зарницыну письмо.

— Да, разумѣется, тамъ же!

— А кто же знаетъ туда дорогу?

— Да вотъ дорога,—произнесъ Зарницынъ, ударивъ рукою по Пархоменковому письму.

— Да вѣдь это ты знаешь, а другіе почемъ ее знаютъ?

— Передамъ.

Вязмитинову все это казалось очень глупо, и онъ не сталъ спорить.

— Ну, что же?—спросилъ его Зарницынъ.

— Что?

— Ты готовъ содѣйствовать?

— Я?

Вязмитиновъ собирался сказать самое рѣшительное «нѣтъ», но, подумавъ, сказалъ:

— Да, пожалуй.

— Нѣтъ, не *пожалуй*; это надо дѣлать не въ видѣ уступки, а нужно дѣйствовать съ энергіей.

— Да то-то, какъ дѣйствовать? что дѣлать нужно?

— Подогрѣвать, подготовлять, волновать умы.

— На подпись, что ли, склонять? что же вы полагаете-то?

— *Мы*...—Зарницыну очень пріятно прозвучало это *мы*.— Мы намѣрены пользоваться всѣмъ. Ты видишь въ письмѣ и раскольники, и помѣщики, и крестьяне. Одни пусть подписываютъ коллективную бумагу, другіе требуютъ свободы, третьи земли... понимаешь?

— Понимаю, землю-то требовать будутъ мужики?

— Ну да.

— Отъ тѣхъ самыхъ помѣщиковъ, которыхъ нужно склонять подписывать коллективную бумагу?

— Ну да, ну да, разумѣется. Неужто ты не понимаешь?

— Нѣтъ, теперь я понимаю: я это только сначала.

— А вотъ, вѣдь, я помню, какъ вы съ докторомъ утверждали, что этотъ Пархоменко глупъ.

— Да, это правда.

— А видишь, какой онъ человѣкъ.

— Да.

— Какъ ты думаешь: доктору сообщить? — шопотомъ спросилъ Зарницынъ.

— На что путать лишнихъ людей!

— И то правда.

Пріятели разстались.

Тотчасъ по уходѣ Зарницына, Вязмитиновъ одѣлся и, идучи въ училище, зашелъ къ доктору, съ которымъ они поговорили въ кабинетѣ и, разставаясь, Вязмитиновъ сказалъ:

— Смотрите же, Дмитрій Петровичъ, держите собя такъ же, какъ я, будто ничего знать не знаемъ, вѣдать не вѣдаемъ.

— Добре,—отвѣчалъ докторъ.

— Да Помаду надрессируйте.

— Добре, добре,—опять отвѣчалъ, запирая двери, докторъ.

Вечеромъ Вязмитиновъ писалъ очень длинное письмо, въ которомъ, между прочимъ, было слѣдующее мѣсто: «Вы, я полагаю, сами согласитесь, что мы и съ вами вели себя слишкомъ легкомысленно, позволивъ себѣ обѣщать вамъ свое содѣйствіе въ дѣлѣ столь щекотливомъ. Будемъ говорить откровенно. За личность вашу намъ никто и ничто не ручается. Лицо, съ которымъ вы, по вашимъ словамъ, были такъ близки, не снабдило васъ ни одной рекомендательной строчкой, а въ уполномочіи, даннымъ вами такому человѣку, какъ П—ко, мы не можемъ не видѣть или крайнѣйшей безтактности и недальновидности, или... просто плана гораздо худшаго. Вы насъ извините, мы не подозрѣваемъ васъ въ злонамѣренности. Спаси насъ Боже! Мы вамъ вѣримъ, но служить дѣлу, начинаемому по вашей иниціативѣ, съ такими еще сотрудниками мы не можемъ. Намъ нужны старые люди; безъ нихъ ничего въ этомъ родѣ не сдѣлаешь, а они прежде всего недовѣрчивы. Письмо полковника Стопаненки *для насъ* достаточное ручательство, а для нихъ оно ничего не значитъ. Безъ нхъ же участія дѣлу не быть. При связяхъ Роз—ова мы еще надѣялись все кое-какъ подготовить исподволь и незамѣтно; но теперь, когда вашему политическому другу вздумалось ввѣрить наши планы людямъ, на скромность и выдержанность которыхъ мы не разсчитываемъ, намъ не остается ничего болѣе, какъ жалѣть объ этой ошибкѣ и посовѣтовать вамъ искать какія-нибудь другія средства для заявленія умѣренныхъ желаній, которымъ будетъ сочувствовать вся страна.

«Смѣю надѣяться, что это не испортитъ нашихъ добрыхъ отношеній другъ къ другу. Вашъ N. B.

Письмо это было вложено въ книгу, зашитую въ холстъ и переданную черезъ приказчиковъ Никона Родіоновича его московскому повѣренному, который долженъ былъ собственноручно вручить эту посылку иностранцу Райнеру, проживающему въ домѣ купчихи Козодавлевой, вблизи Лефортовскаго дворца.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

Half-yearly review.

Бахаревская придворная швея Неонила Семеновна, сидя у открытаго окна, пѣла:

Прошло лѣто, прошла осень,
Прошла теплая весна,
Наступило злое время,
То холодная зима.

Пѣсня на этотъ разъ выражала, дѣйствительно, то, что прошло и что наступило въ природѣ.

Тонкія паутины плелись по темнѣющему жнивью, по лиловымъ мохрамъ репейника проступала почтенная сѣдина, дикія утки сторожко смотрѣли, тихо двигаясь зарями по сонному пруду, и рѣзвая стрекоза, пропѣвъ свою веселую пору, безнадежно ползла, скользя и обрываясь съ каждаго скошеннаго стебелечка, а по небу низко-низко тащились разорванныя полы широкаго шлафора, въ которомъ разгуливалъ сѣверный волшебникъ, ожидая пока ему позволено будетъ раскрыть старые мѣхи съ холоднымъ вѣтромъ и развязать заиндивѣвшій мѣшокъ съ бѣлоснѣжной зимой.

Двѣ поры года прошли для нѣкоторыхъ изъ нашихъ знакомыхъ не безслѣдно, и мы въ короткихъ словахъ опишемъ, что̀ съ кѣмъ случилось въ это время.

Бахаревы вскорѣ послѣ Святой недѣли всей семьей переѣхали изъ города въ деревню, а Гловацкіе жили, по обыкновенію, безвыѣздно въ своемъ домикѣ.

Женни оставалась тѣмъ, чѣмъ она была постоянно. Она

только съ большимъ трудомъ перенесла извѣстіе, что братъ Ипполитъ, котораго и она, и отецъ съ нетерпѣніемъ ожидали къ каникуламъ, арестованъ и попалъ подъ слѣдствіе по дѣлу студентовъ, расправившихся собственнымъ судомъ съ нѣкоторымъ бариномъ, оскорбившимъ одного изъ ихъ товарищей. Это обстоятельство было страшнымъ ударомъ для старика Гловацкаго. Для Женни это было еще тяжелѣе, ибо она страдала и за брата, и за отца, терзанія котораго ей не давали ни минуты покоя. Но, несмотря на все это, она крѣпилась и всячески старалась утѣшить страдающаго старика.

Вязмитиновъ безпрестанно писалъ ко всѣмъ своимъ прежнимъ университетскимъ пріятелямъ, прося ихъ разъяснить Ипполитово дѣло и слѣдить за его ходомъ. Отвѣты приходили рѣдко и далеко не удовлетворительные, а старикъ и Женни дорожили каждымъ словомъ, касающимся арестанта. Самымъ радостнымъ изъ всѣхъ извѣстій, вымоленныхъ Вязмитиновымъ во время этой томительной тревоги, былъ слухъ, что дѣло ожидаетъ прибытія сильнаго лица, въ благодушіе и мягкосердечіе котораго крѣпко вѣровали.

Ни старикъ, ни Женни, ни Вязмитиновъ не осуждали Ипполита, но сильно скорбѣли объ ожидавшей его участи. Зарницынъ потиралъ отъ радости руки и горой стоялъ за Ипполита.

— Молодецъ! молодецъ! — говорилъ онъ. — Время словъ кончается, надо дѣйствовать и дѣйствовать. Да, надо дѣйствовать, надо. Вѣкъ жертвъ очистительныхъ проситъ; жертвъ вѣкъ проситъ!

Старикъ и Женни не возражали, они чувствовали только неутѣшную скорбь.

Доктора это обстоятельство тоже сильно поразило. Другое дѣло слышать объ извѣстномъ положеніи человѣка, котораго мы лично не знали, и совсѣмъ другое, когда въ этомъ положеніи представляется намъ человѣкъ близкій, да еще столь молодой, что привычка все заставляетъ глядѣть на него, какъ на ребенка. Доктору было жаль Ипполита; онъ

злился и молчалъ. Лиза относилась къ этому дѣлу весьма спокойно.

— Что-жъ дѣлать!—сказала она, выслушавъ первый разъ отчаянный разсказъ Женни.—Береги отца, вотъ все, что ты можешь сдѣлать, а горемъ ужъ ничему не поможешь.

Возвратясь въ деревню съ семьею, послѣ непродолжительнаго житья въ городѣ, Лиза опять измѣнилась. Ея глаза совсѣмъ выздоровѣли; она теперь не раздражалась, не сердилась и даже много меньше читала, но видимо сосредоточилась къ себѣ и не то, чтобы примирилась со всѣмъ ее окружающимъ, а какъ бы не замѣчала его вовсе. Въ Лизѣ обнаружился тонкій житейскій тактъ, котораго до сихъ поръ не было. Свои холодныя, даже презрительныя отношенія къ ежедневнымъ хлопотамъ и интересамъ всѣхъ окружающихъ ее людей она выдерживала ровно, съ невозмутимымъ спокойствіемъ, никому ни въ чѣмъ не попереча, никого ничѣмъ не задирая. Ольга Сергѣевна находила, что Лиза упрыгалась и начинаетъ браться за умъ. Сестры тоже были ею очень довольны. Она равнодушно выслушивала всѣ ихъ заявленія, ни въ чемъ почти не возражала и давала на все самые терпимые отвѣты. Къ отцу Лиза была очень нѣжна и внимательна, къ Женни тоже. Но какъ ни спокойна была собственная натура Женни, ее не удовлетворяла спокойная внимательность Лизы. Она ничего отъ нея не требовала, старалась избѣгать всякихъ разсужденій о ней, но чуяла сердцемъ, что происходитъ въ подругѣ, и нимало не радовалась ея видимому спокойствію.

Зина, Софи и Ольга Сергѣевна были все тѣ же. Зина не могла застегнуть лифа; ходила въ широкихъ блузахъ, необыкновенно шедшихъ къ ея высокой фигурѣ, и безпрестанно совѣщалась съ докторами и акушерами. Она готовилась быть матерью, но снова уѣхала отъ мужа и проживала въ Меревѣ. Софи тосковала до-нельзя; гусары выступили и въ деревнѣ шла жизнь, невыносимая для женщинъ, подобныхъ этой барышнѣ, безучастной ко всему, кромѣ болтовни и шума. Ольга Сергѣевна Богу молилась, кошекъ чесала, иногда

раскладывала гранпасьянсъ и въ антрактахъ ныла. Чаще всего онѣ ныли втроемъ: Ольга Сергѣевна, Зина и Софи. Ныли онѣ обо всемъ: о предстоящихъ родахъ Зины, о грубости Егора Николаевича, объ отсутствіи жениховъ для Сони, о тоскѣ деревенской жизни и объ ехидствѣ прислуги, за которою никакъ не усмотришь. Объ Ипполитѣ Гловацкомъ онѣ не заныли, но по два разавоскликнули:

— Боже мой! Боже мой!—и успокоились на его счетъ.

Бахаревъ горячо принялъ къ сердцу горе своего пріятеля. Онъ сперва полетѣлъ къ нему, дергалъ усами, дымилъ безъ пощады, разводилъ врозь руки и говорилъ:

— Ты, того, Петруха... ты не этого... не падай духомъ. Все, братъ, надо переносить. У насъ въ полку тоже это случилось. У насъ разъ этого ротмистра разжаловали въ солдаты. Разжаловали, пять лѣтъ былъ въ солдатахъ, а потомъ отличился и опять пошелъ: теперь полиціймейстеромъ служитъ на Волгѣ; женился на нѣмкѣ и два дома собственные купилъ. Ты не огорчайся: мало ли что въ молодости бываетъ!

Петра Лукича все это нисколько не утѣшало.

Бахаревъ поѣхалъ къ сестрѣ. Мать Агнія съ большимъ вниманіемъ и участіемъ выслушала всю исторію и глубоко вздохнула.

— Что ты думаешь, сестра?—спросилъ Бахаревъ.

— Что-жъ тутъ думать: не минуетъ, бѣдняжка, красной шапки да ранца.

— Какъ бы помочь?

— Ничѣмъ тутъ не поможешь.

— Написать бы кому нибудь.

— Ну, и что-жъ выйдетъ?

— Да все-таки...

— Ничего не сдѣлаешь, будетъ солдатомъ непремѣнно.

— Старика жаль.

— Да и его самого не меньше жаль: парень молодой.

— Онъ-то выслужится!

— Хоть и выслужится, а лучшіе годы пропали.

— Ты подумай, сестра, нельзя ли чего попробовать.

Игуменья скрестила на груди руки и задумалась.

— Тамъ кто теперь генералъ-губернаторомъ? — спросила она послѣ долгаго размышленія.

Бахаревъ назвалъ фамилію.

— Я съ его женой когда-то коротка была, да вѣдь это давно; она забыла ужъ, я думаю, что я и на свѣтѣ-то существую.

Вышла пауза.

— Попробуй, попроси,—сказалъ Бахаревъ.

— Да, я сама думаю такъ. Что-жъ: спытокъ—не убытокъ.

Игуменья медленно встала, вынула изъ комода зеленый бархатный портфель, достала листокъ бумаги, аккуратно сравняла его края и, подумавъ съ минутку, написала двѣ заглавныя строчки.

Бахаревъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ, стараясь ступать возможно тише, какъ волтижорскій и дрессированный конь, безпрестанно смотря на задумчивое лицо пишущей сестры.

Подстерегши, когда мать Агнія, дописавъ страничку, повертывала листокъ, опять тщательно сравнивая его уголышки и сглаживая сгибъ длиннымъ розовымъ ногтемъ, Бахаревъ остановился и сказалъ:

— Вѣдь, что публично-то все это надѣлали, вотъ что гадко.

— Да непублично этихъ дѣлъ и не дѣлаютъ,—спокойно отвѣчала игуменья.

— Положимъ, ну вздуй его, каналью, на конюшнѣ, ну, наконецъ, на улицѣ; а то въ такомъ зданіи!

Мать Агнія обмакнула перо и, снимая съ него приставшее волоконце, проговорила: «пословица есть, мой милый, что «дуракамъ и въ алтарѣ не спускаютъ», и съ этимъ начала новую страницу.

— Ну, вотъ тебѣ и письмо,—посылай. Посмотримъ, что̀ выйдетъ, — говорила игуменья, подавая брату совсѣмъ готовый конвертъ.

— Хоть бы скорѣе одинъ конецъ былъ.

— Будетъ и конецъ.

Помада кипѣлъ и весь расходовался на споры, находя средства поддерживать ихъ даже съ Зиной и Софи, не представлявшими ему никакихъ возраженій.

— За идею, за идею,—шумѣлъ онъ.—Идею должно отстаивать. Ну, что-жъ дѣлать: ну, будетъ солдатъ! Что-жъ дѣлать? За идею права нельзя не стоять; нельзя себя беречь, когда идея права попирается. Отсюда выходитъ индифферентизмъ: самое вреднѣйшее общественное явленіе. Я этого не допускаю. Прежде *идея*, потомъ я, а не я выше моей *идеи*. Отсюда я долженъ лечь за мою идею, отсюда героизмъ, общественная возбужденность, горячее служеніе идеаламъ, отсюда торжество идеаловъ, торжество идей, царство правды!

Помадѣ, обыкновенно, никто не возражалъ въ Меревѣ.

Роль Помады въ домѣ камергерши нѣсколько измѣнилась. Лѣтнее его положеніе въ домѣ Бахаревыхъ не похоже было на его зимнее здѣшнее положеніе. Лизѣ не нравилось болѣе его неотступное служеніе идеѣ, которую кандидатъ воплотилъ для себя въ Лизѣ, и она его поставила на позицію. Кандидатъ служилъ, когда его призывали къ его службѣ, но уже не пажествовалъ за Лизой, какъ это было зимою, и опять нѣсколько возвратился къ болѣе спокойному состоянію духа, которое въ прежнія времена не оставляло его во весь лѣтній сезонъ, пока Бахаревы жили въ деревнѣ.

Новая встрѣча съ давно знакомыми женскими лицами подѣйствовала на него весьма успокоительно, но во снѣ онъ все-таки часто вздрагивалъ и отчаянно искалъ то костяной ножикъ Лизы, то ея носовой платокъ или подножную скамейку.

Многостороннія удобства Лизиной комнаты не совсѣмъ выручали одинъ ея весьма непріятный недостатокъ. Лѣтомъ въ ней съ девяти или даже съ восьми часовъ до четырехъ

было до такой степени жарко, что жàра этого рѣшительно невозможно было выносить.

Лиза въ это время никакъ не могла оставаться въ своей комнатѣ. Каждое утро, напившись чаю, она усаживалась на легкомъ плетеномъ стулѣ подъ окномъ залы, въ которую до самаго вечера не входило солнце. Здѣсь Лизѣ не было особенно пріютно, потому что по залѣ часто проходили и сестры, и отецъ, и безпрестанно сновали слуги; но она привыкла къ этой бѣготнѣ и не обращала на нее ровно никакого вниманія. Лиза обыкновенно спокойно шила у открытаго окна и ее никто не отвлекалъ отъ работы. Развѣ отецъ иногда придетъ и выкуритъ возлѣ нея одну изъ своихъ безчисленныхъ трубокъ и при этомъ о чемъ-нибудь перемолвится; или няня подойдетъ да посмотритъ на ея работу и что-нибудь разскажетъ, впрочемъ, для собственнаго удовольствія. Юстинъ Помада являлся къ обѣду.

Лизу теперь бросило на работу: благо глаза хорошо служили. Она не покидала иголки цѣлый день и только вечеромъ гуляла и читала въ постели. Не только трудно было найти швею прилежнѣе ея, но далеко не всякая изъ швей могла сравниться съ нею и въ искусствѣ.

Отъ полотняной сорочки и батистовой кофты до скромнаго жаконетнаго платья и шелковой мантильи, на ней все было сшито ея собственными руками. Лиза съ жадностью училась работать у Неонилы Семеновны и работала, рукъ не покладывая, и ни въ чемъ уже не уступая своей учительницѣ.

— Мастерица ты такая!—говорила Марина Абрамовна, разсматривая чистую строчку, которую гнала Лиза на отцовской рубашкѣ, безкорыстно помогая въ этой работѣ Неонилѣ Семеновнѣ.

— Вы, барышня, у насъ хлѣбъ скоро отобьете, — добавляла, любуясь тою же мастерской строчкою, Неонила Семеновна.

Лиза подъ окномъ въ залѣ шила себѣ сѣренькое платье изъ суроваго батиста; было утро знойнаго дня; со стола

только что убрали завтракъ и въ залѣ было совершенно тихо.

Въ воздухѣ стоялъ страшный зной, мигавшій надъ полями трепещущею сѣткою. Озими налились и сочное зерно быстро крѣпло, распирая эластическую ячейку усатаго колоса. Съ деревенскаго выгона, отчаянно вскидывая спутанными передними ногами, прыгали крестьянскія лошади, отмахиваясь головами и хвостами отъ насѣдавшихъ на нихъ мухъ, оводовъ и слѣпней. Деревья, какъ разслабленныя, тяжело дремали, опустивъ свои размягченные жаромъ листья, и колосистая рожь стояла неподвижнымъ зеленобурымъ моремъ, изнемогая подъ невыносимымъ дыханіемъ лѣтняго бога, наблюдающаго своимъ жаркимъ глазомъ за спѣшною химическою работою въ его необъятной лабораторіи. Только одни листья прибрежныхъ водорослей, то многоугольные, какъ листья «мать и мачиха», то длинные и остроконечные, какъ у нѣкоторыхъ видовъ пустынной пальмы, лѣниво покачивались, роскошничая на мелкой ряби тихо бѣжавшей рѣчки. Остальное все было утомлено, все потеряло всякую бодрость и, говоря языкомъ поэтовъ: «просило вечера скорѣе у Бога».

Лиза вшила одну кость въ спину лифа и взглянула въ открытое окно. Въ тѣни дома, лежавшей темнымъ силуэтомъ на ярко освѣщенныхъ кустахъ и клумбахъ палисадника, подъ самымъ окномъ, растянулась Никитушкина Розка. Собака тяжело дышала, высунувъ свой длинный языкъ и безпрестанно отмахиваясь отъ докучливой мухи.

— Что, Розанька? — ласково проговорила Лиза, взглянувъ на смотрѣвшую ей въ глаза собаку: — жарко тебѣ? Пойди искупайся.

Собака подобрала языкъ, потянулась и, зѣвая, отвѣтила дѣвушкѣ протяжнымъ «аиаай».

Лиза вметала другую кость и опять подняла голову. Далеко-далеко за меревскимъ садомъ по дорогѣ завиднѣлась какая-то точка. Лиза опять поработала и опять взглянула на эту точку. Точка разрасталась во что-то въ родѣ

экипажа. Видна стала городская, затяжная дуга и что-то бѣлѣлось; очевидно, это была не крестьянская телѣга. Еще нѣсколько минутъ, и все это скрылось за меревскимъ садомъ, но зато вскорѣ выкатилось на спускъ въ формѣ дрожекъ, на которыхъ сидѣла дама въ бѣломъ кашемировомъ бурнусѣ и соломенной шляпкѣ.

«Кто бы эта такая? — подумала Лиза. — Женни? Нѣтъ, это не Женни; и лошадь не ихъ, и у Женни нѣтъ бѣлаго бурнуса. Охота же ѣхать въ такую жару!» подумала она и, не тревожа себя дальнѣйшими догадками, спокойно начала зашивать накрѣпко вметанную полоску китоваго уса.

За садовою рѣшеткою послышался тяжелый топотъ лошади, аккомпанируемый сухимъ стукомъ колесъ, и дрожки остановились у крыльца Бахаревскаго дома.

Розка было поднялась, залаяла, но тотчасъ же досадливо махнула головою, протянула «аиаай», и снова улеглась подъ свѣсившуюся травку клумбы.

Въ залу вошелъ лакей. Онъ съ замѣшательствомъ тщательно заперъ за собою дверь изъ передней и пошелъ на цыпочкахъ къ коридору, но потомъ вдругъ повернулъ къ Лизѣ и, остановясь, тихо произнесъ:

— Какая-то дама пріѣхали.

— Какая дама?—спросила Лиза.

— Незнакомыя совсѣмъ.

— Кто-жъ такая?

— Ничего не сказали; барина спрашиваютъ-съ, дѣло къ нимъ имѣютъ.

— Ну, такъ чего же ты мнѣ объ этомъ говоришь? Папа въ Зининой комнатѣ,—иди и доложи.

Лакей на цыпочкахъ снова направился къ коридору, а дверь изъ передней отворилась, въ залу взошла пріѣхавшая дама и сѣла на ближайшій стулъ.

Ни Лиза, ни пріѣзжая дама не сочли нужнымъ раскланяться. Дама, усѣвшись, тотчасъ опустила свою голову на руку, а Лиза спокойно взглянула на нее при ея входѣ и снова принялась за иголку.

Пріѣзжая дама была очень молода и недурна собою. Лизѣ казалось, что она ее когда-то видѣла и даже внимательно ее разсматривала, но гдѣ именно—этого она теперь никакъ не могла вспомнить.

По коридору раздались скорые и тяжелые шаги Бахарева, и вслѣдъ затѣмъ Егоръ Николаевичъ, въ бѣломъ кителѣ съ пышнымъ батистовымъ галстучкомъ подъ шеею, вступилъ въ залу.

Гостья приподнялась при его появленіи.

Эксъ-гусаръ подошелъ къ ней, вѣжливо поклонился и ожидалъ, что̀ она скажетъ.

Лиза спокойно шила.

Дама сначала какъ будто немного потерялась и не знала что̀ ей говорить, но̀ тотчасъ же безсвязно начала:

— Я къ вамъ пріѣхала, какъ къ предводителю... Меня некому защитить отъ оскорбленій... У меня никого нѣтъ, и я все должна терпѣть... но я пойду всюду, а не позволю... я пойду пѣшкомъ въ Петербургъ, я скажу самому государю...

— Въ чемъ дѣло? въ чемъ дѣло?—спросплъ съ участіемъ предводитель.

— Мой мужъ... я его не охуждаю и не желаю ему вредить ни въ чьемъ мнѣніи, но онъ подлецъ, я это всегда скажу... я это скажу всѣмъ, передъ цѣлымъ свѣтомъ. Онъ, можетъ-быть, и хорошій человѣкъ, но онъ подлецъ... И нигдѣ нѣтъ защиты! нигдѣ защиты!

Дама заплакала, удерживая платкомъ рыданія.

— Успокойтесь; Бога ради, успокойтесь,—говорилъ мягкій старикъ. — Разскажите спокойно: кто вы, о комъ вы говорите?

— Мой мужъ—Розановъ,—произнесла, всхлипывая, дама.

— Нашъ докторъ?

— Дддааа,—простонала дама снова.

Лиза взглянула на гостью и теперь ей хорошо припомнились расходившіяся изъ-за платка брови.

Услыхавъ имя Розанова, Лиза быстро встала и начала проворно убирать свою работу.

— Что-жъ такое?—спрашивалъ, между тѣмъ, Бахаревъ.

— Онъ разбойникъ, у нихъ вся семья такая и мать его— всѣ они разбойники.

— Но что я тутъ могу сдѣлать?

— Онъ меня мучитъ; я вся исхудала... мое дитя... онъ развратникъ, онъ меня... убьетъ меня.

— Позвольте; Бога ради, успокойтесь прежде всего.

— Я не могу успокоиться.

Розанова опять закрылась и заплакала.

— Ну сядьте, прошу васъ,—уговаривалъ ее Бахаревъ.

— Это какъ же... это невозможно... Вы предводитель, вѣдь непремѣнно должны быть разводы.

— Сядьте, прошу васъ,—успокаивалъ Бахаревъ.

По гостиной зашелестѣло шелковое платье; Лиза быстро дернула стулъ и сказала по-французски:

— Папа! да просите же къ себѣ въ кабинетъ.

— Нѣтъ, это все равно,—отозвалась Розанова:—я никого не боюсь, мнѣ нечего бояться, пусть всѣ знаютъ...

Лиза вышла и, встрѣтивъ въ гостиной Зину, сказала ей:

— Не ходи въ залу: тамъ папа занятъ.

— Съ кѣмъ?

— Тамъ съ дамой какой-то,— отвѣчала Лиза и прошла съ работою въ свою комнату.

Передъ обѣдомъ къ ней зашла Марина Абрамовна.

— Слышала ты, мать моя, камедь-то какая? — спросила старуха, опершись ладонями о Лизинъ рабочій столикъ.

— Какая?

— Дохторша-то! Экая шальная бабешка: на мужа-то чи-чи-чи такъ и стрекочитъ. А твоя маменька съ сестрицами, замѣстъ того, чтобъ съудержать глупую, еще съ нею финтифанты разсуждаютъ.

— Какъ, маменька съ сестрами?—спросила удивленная Лиза.

— Да какъ же: вѣдь она у маменьки на постели лежитъ. Шнуровку ей распустили, лодеколономъ брызгаютъ.

— Гм!

Лиза незамѣтно улыбнулась.

— Камедь! повторила нараспѣвъ старуха, обтирая полотенцемъ губы, и на ея умномъ старческомъ лицѣ тоже мелькнула ироническая улыбка.

— Этакая аларма, право!—произнесла старуха, направляясь къ двери и, вздохнувъ, добавила:—наслалъ же Господь на такого простодушнаго барина, да этакого,—прости Господи,—чорта съ рогами.

Выйдя къ обѣду, Лиза застала въ залѣ всю семью. Тутъ же была и Ольга Александровна Розанова и Юстинъ Помада.

Розанова сидѣла подъ окномъ, окруженная Ольгой Сергѣевной и Софи. Передъ ними стоялъ, держа сзади фуражку, Помада, а Зина, съ многозначительной миной на лицѣ, тревожно ходила взадъ и впередъ по залѣ.

— Лиза! madame Розанова, очень пріятное знакомство,—проговорила Ольга Сергѣевна вошедшей дочери.—Это моя младшая дочь,—отнеслась она къ Ольгѣ Александровнѣ.

— Очень пріятно познакомиться, — проговорила Розанова съ сладкой улыбкой и тѣмъ самымъ тономъ, которымъ, по нашему соображенію, хорошая актриса должна исполнять главную роль въ пьесѣ: «Въ людяхъ ангелъ—не жена».

Лиза поклонилась молча и, подавъ мимоходомъ руку Помадѣ, стала у другого окна.

Все существо кандидата выражало полнѣйшую растерянность и смущеніе. Онъ никакъ не могъ разгадать причину внезапнаго появленія Розановой въ Бахаревскомъ домѣ.

— Когда-жъ Дмитрій Петровичъ возвратился? разспрашивалъ онъ Ольгу Александровну.

— Третьяго дня,—отвѣчала она тѣмъ же ласковымъ голосомъ изъ пьесы: «Въ людяхъ ангелъ».

— Какъ онъ только живъ съ его перелетами, — сочувственно отозвался Помада.

— О-о! онъ очень здоровъ, ему это ничего не значитъ,— отвѣчала Розанова тѣмъ же нѣжнымъ голосомъ, но съ особымъ оттѣнкомъ.

Лиза полуоборотомъ головы взглянула на собранный ротикъ и разлетающіяся бровки докторши и снова отвернулась.

— Ему, я думаю, еще веселѣе въ разъѣздахъ,—простонала Ольга Сергѣевна.

— Натура сносливая, — шутя замѣтилъ простодушный Помада.—Вода у нихъ на Волгѣ,—этакой все народъ здоровый, крѣпкій, смышленый.

— Разбойники эти поволжцы,—проговорила Ольга Александровна съ такой веселой и нѣжной улыбкой, какъ будто съ ней ничего не было и какъ будто она высказывала какую-то ласку мужу и его землякамъ.

— Нѣтъ-съ, — талантливый народъ, преталантливый народъ: сколько оттуда у насъ писателей, артистовъ, ученыхъ! Преталантливый край! расписывалъ Помада.

Подали горячее и сѣли за столъ. За обѣдомъ Ольга Александровна совсѣмъ развеселилась и подтрунивала вмѣстѣ съ Софи надъ Помадою, который, однако, очень находчиво защищался.

— Какъ пріѣхала сюда Розанова? — спросилъ онъ, подойдя послѣ обѣда къ Лизѣ.

— Не знаю, — отвѣтила Лиза и ушла въ свою комнату.

— Няня, разскажи ты мнѣ, какъ къ вамъ Розанова пріѣхала?—отнесся Помада къ Абрамовнѣ.

— На мужа, батюшка, барину жалобу произносила. Что же хорошей дамѣ и дѣлать, какъ не на мужа жаловаться? отвѣчала старуха.

— Ну, а съ Ольгой Сергѣевной какъ же она познакомилась?

— Дурноты да перхоты разныя приключились у барина въ кабинетѣ, ну и сбѣжались всѣ.

— И Лизавета Егоровна?

— Эта чохъ-мохъ-то не любитъ. Да она про то-жъ, спасибо, и не слыхала.

Немного спустя послѣ обѣда, Лизу попросили въ угольную кушать ягоды и дыню.

Все общество здѣсь снова было въ сборѣ, кромѣ Егора Николаевича, который, по славянскому обычаю, пошелъ къ себѣ всхрапнуть на диванѣ.

Десертъ стоялъ на большомъ столѣ, за которымъ на угольномъ диванѣ сидѣла Ольга Сергѣевна, выбирая булавкой зрѣлыя ягоды малины; Зина, Софи и Розанова сидѣли въ углу за маленькимъ столикомъ, на которомъ стояла чепечная подставка. Помада сидѣлъ поодаль, ближе къ гостиной, и ѣлъ дыню.

Около Розановой стояла тарелка съ фруктами, но она къ нимъ не касалась. Ея пальцы быстро собирали рюшъ, ловко группировали его съ мелкими цвѣточками и приметывали все это къ висѣвшей на подставкѣ наколкѣ.

— Какъ мило!—стонала Ольга Сергѣевна, глядя на работу Розановой и сминая въ губахъ ягодку малины.

— Очень мило! восклицала томно Зина.

— Все такъ сэмпль, это вамъ будетъ къ лицу, maman,— утверждала Софи.

— Да, я люблю сэмпль.

— Теперь все дѣлаютъ сэмпль — это гораздо лучше,— замѣтила Ольга Александровна.

Лиза сидѣла противъ Помады и съ напряженнымъ вниманіемъ смотрѣла черезъ его плечо на непріятный ротъ докторши съ бѣленькими, дробными мышиными зубками и на ея брови, разлетающіяся къ вискамъ, какъ крылья копчика, отчего этотъ лобъ получалъ какую-то странную форму, не безобразную, но весьма непріятную для каждаго привыкшаго искать на лицѣ человѣка чертъ, болѣе или менѣе выражающихъ содержаніе внутренняго міра.

— Я вамъ говорю, что у меня тоже есть свой талантъ,— весело произнесла докторша.

Затѣмъ она встала и, подойдя къ Ольгѣ Сергѣевнѣ, начала примѣривать на нее наколку.

— Мило!

— Очень мило!

— Очень мило!—раздавалось со всѣхъ сторонъ.

— Я думаю завести мастерскую.

— Что-жъ, прекрасно будетъ, — отвѣчала Ольга Сергѣевна.

— Никакой трудъ не постыденъ.

— Разумѣется.

— Кто-жъ будетъ покупать ваши произведенія?—вмѣшался Помада.

— Кому нужно,—отвѣчала съ веселой улыбкой Ольга Александровна.

— Всѣ изъ губернскаго города выписываютъ.

— Я стану работать дешевле.

— Вставать надо рано.

— Буду вставать.

— Не будете.

— О, не безпокойтесь, буду. Работа займетъ.

— Чего-жъ вы теперь не встаете?

— Вы не понимаете, Юстинъ Феликсовичъ: тогда у нея будетъ свое дѣло, она будетъ и знать для чего трудиться. А теперь на что же Ольгѣ Александровнѣ?

— Развѣ докторъ и дочь не ея дѣло?—спокойно, рѣзко замѣтилъ Помада.

Ему никто ничего не отвѣтилъ, но Ольга Сергѣевна, помолчавъ, протянула:

— Всякій трудъ почтененъ, всякій трудъ заслуживаетъ похвалы и поощренія и не унижаетъ человѣка.

Ольга Сергѣевна произнесла это, не ожидая ни откуда никакого возраженія, но, къ величайшему удивленію, Помада вдругъ, не въ бровь, а прямо въ глазъ, бухнулъ:

— Это разсуждать, Ольга Сергѣевна, такъ отлично, а сами вы модистку въ гости не позовете и за столъ не посадите.

Это возраженіе сильно не понравилось матери, двумъ дочерямъ и гостьѣ, но зато Лиза взглянула на Помаду ободряющимъ и удивленнымъ взглядомъ, въ которомъ въ

одно и то же время выражалось: «вотъ какъ ты нынче!» и «валяй, братъ, валяй ихъ смѣлѣе».

Но этотъ взглядъ былъ такъ быстръ, что его не замѣтилъ ни Помада, ни кто другой.

— Мнѣ пора ѣхать,—послѣ нѣкоторой паузы проговорила Розанова.

— Куда же вы? Напейтесь у насъ чаю, остановили ее Зина и Ольга Сергѣевна.

— Нѣтъ, пора: меня ждетъ... Ольга Александровна картинно вздохнула и досказала: — меня ждетъ мой ребенокъ.

— А то остались бы. Мы поѣхали бы на озеро: тамъ есть лодка, покатались бы.

— Ахъ, я очень люблю воду!—воскликнула Ольга Александровна.

Въ концѣ концовъ Розанова уступила милымъ просьбамъ и на конюшню послали приказаніе готовить долгуши.

Лиза тихо вышла и, пройдя черезъ гостиную и залу, вошла въ кабинетъ отца.

— Вы спите, папа! Пора вставать, сказала она, направляясь поднять штору.

Бахаревъ спалъ въ одномъ жилетѣ, закрывъ свое лицо отъ мухъ синимъ фуляромъ.

— Что, мой другъ?—спросилъ онъ, сбрасывая съ лица платокъ.

— Я хочу васъ о чемъ-то просить, папа.

— О чемъ, Лизочка?

— Не вмѣшивайтесь вы въ это дѣло.

— Въ какое дѣло?

— Да вотъ въ эту жалобу.

— Охъ, и не говори! Самому мнѣ смерть это непріятно.

— И не мѣшайтесь.

— Онъ такой милый; всѣ мы его любимъ; всегда онъ готовъ на всякую услугу и за тобой онъ ухаживалъ, а тутъ вдругъ налетѣла та-та-та, и вотъ тебѣ цѣлая вещь.

— Не мѣшайтесь, папа, не мѣшайтесь.

— Разумѣется. Семейное дѣло, вспышка женская. Она какая-то взбалмошная.

— Она дрянь,—сказала Лиза съ презрительной гримасой.

— Ну-у ужъ ты—вторая тетушка Агнесса Николаевна! Гдѣ она, Розанова-то?

— Въ рощу ѣдетъ, по озеру кататься.

— Въ рощу-у?

— Да.

Старикъ расхохотался неудержимымъ хохотомъ и закашлялся.

Лиза не поѣхала на озеро и Бахаревъ тоже. Ѣздили однѣ дамы съ Помадой и возвратились очень скоро.

Сумерками Розанова, уѣзжая, перецѣловала всѣхъ совершенно фамильярно. Съ тою же теплотою она обратилась было и къ Лизѣ, но та холодно отвѣтила ей: «прощайте» и сдѣлала два шага въ сторону.

Прощаясь съ Бахаревымъ, Розанова не возобновила никакой просьбы, а старикъ, шаркнувъ ей у двери, сказалъ:

— Кланяйтесь, пожалуйста, отъ меня вашему мужу,— и, возвратясь въ залъ, опять залился веселымъ хохотомъ.

— Чего это? чего это?—съ недовольной миной спрашивала Ольга Сергѣевна, а Бахаревъ такъ и закатывался.

Лиза понимала этотъ хохотъ.

— Бѣдный Дмитрій Петровичъ!—говорилъ Помада, ходя съ Лизою передъ ужиномъ по палисаднику. —Каково ему это выносить! Каково это выносить, Лизавета Егоровна! Скандалъ! срамъ! сплетни! Жена родная, жена жалуется! Каково! вѣдь это надо имѣть мѣдный лобъ, чтобы еще жить на свѣтѣ.

— И чего она хотѣла!

— Да вотъ пожаловаться хотѣла. Она завтра проснитъ до полудня и все съ нея, какъ съ гуся вода. А онъ? Онъ, вѣдь, теперь...

— Что онъ сдѣлаетъ?

— Запьетъ!—произнесъ Помада, отворачиваясь и смиги-

вая слезу, предательски выбѣжавшую на его сѣрыя, совиныя вѣки.

Лиза откинула пальцемъ свои кудри и ничего не отвѣчала.

— Туда же къ государю! Всякую этакую шушвару-то такъ тебѣ предъ государя и представятъ,—ворчала Абрамовна, раздѣвая Лизу и непомѣрно раздражаясь на докторшу.—Вѣдь этакая прыть! «Къ самому царю доступлю». Только ему, царю-то нашему, и дѣла, что васъ, пигалицъ этакихъ, съ мужьями разбирать.

Лиза разсмѣялась.

— Коза драная; право, что коза, — бормотала старуха, крестя барышню и уходя за двери.

Дня черезъ четыре послѣ описаннаго происшествія Помада нашелъ случай съѣздить въ городъ.

— Все это такъ и есть, какъ я предполагалъ,—разсказывалъ онъ, вспрыгнувъ на фундаментъ передъ окномъ, у котораго работала Лиза: — эта сумасшедшая орала, бѣсновалась, хотѣла бѣжать въ одной рубашкѣ по городу къ отцу, а онъ ее удержалъ. Она выбѣжала на дворъ кричать,—а онъ ей зажалъ рукой ротъ, да впихнулъ назадъ въ комнаты, чтобы люди у воротъ не останавливались: только всего и было.

— Почему-жъ это вы сочли долгомъ тотчасъ же сообщить мнѣ эти подробности?—спросила холодно Лиза.

— Я такъ разсказалъ,—отвѣчалъ сконфузясь Помада и, спрыгнувъ съ фундамента, исчезъ за кустами палисадника.

— Папа! дайте мнѣ лошадку съѣздить къ Женни,— сказала Лиза черезъ недѣлю послѣ Помадинаго доклада.

Ей запрягли кабріолетъ, она сѣла въ него съ Помадою, вмѣсто грума, и поѣхала.

На дворѣ былъ въ началѣ десятый часъ утра. День стоялъ суровый: ни грозою, ни дождемъ не пахло и тучъ на небѣ не было, но кругомъ все было сѣро и тянуло хо-

лодомъ. Народъ говорилъ, что непремѣнно гдѣ-де-нибудь недалеко градъ выпалъ.

На хорошей лошади отъ Мерева до уѣзднаго города было всего часъ ѣзды, особенно холодкомъ, когда лошадь не донимаетъ ни муха, ни разслабляющій припекъ солнца.

Лиза проѣхала всю дорогу, не сказавъ съ Помадою ни одного слова. Она вообще не была въ расположеніи духа, и въ сѣромъ воздухѣ, нагнетенномъ низко ползущимъ небомъ, было много чего-то такого, что непріятно дѣйствовало на окисленіе крови и дѣлало человѣка способнымъ легко тревожиться и раздражаться.

Съ пьяными людьми часто случается, что, идучи домой, единымъ Божіимъ милосердіемъ хранимы, въ одномъ какомъ-нибудь расположеніи духа, они помнятъ откуда они идутъ, а взявшись за ручку двери, неожиданно впадаютъ въ совершенно другое настроеніе, или вовсе теряютъ понятіе о всемъ, что было съ ними прежде, чѣмъ они оперлись на знакомую дверную ручку. Съ трезвыми людьми происходитъ тоже что-то въ родѣ этого. До двери идетъ одинъ человѣкъ, а въ дверь ни съ того, ни съ сего войдетъ другой.

Въѣхавъ на училищный дворъ и бросивъ Помадѣ вожжи, Лиза бодро вбѣжала на крылечко, которымъ входили въ кухню Гловацкихъ.

Лиза съ перваго визита всегда входила къ Гловацкимъ чрезъ эти двери, и теперь она отперла ихъ безъ всякаго расположенія молчать и супиться, какъ во время всей дороги.

Переступивъ черезъ порогъ небольшихъ, но очень чистыхъ и очень свѣтлыхъ дощатыхъ сѣней, Лиза остановилась въ недоумѣніи.

Посреди сѣней, между двухъ оконъ стояла Женни, одѣтая въ мундиръ штатнаго смотрителя. Довольно полинявшій голубой бархатный воротникъ сидѣлъ хомутомъ на ея бѣленькой шейкѣ, а слежавшіяся отъ долгаго неупотребленія фалды далеко разбѣгались спереди и пресмѣшно растягивались сзади на довольно полной юбкѣ платья. Въ рукахъ Женни держала треугольную шляпу и тщательно водила

по ней горячимъ утюгомъ, а возлѣ нея, на доскѣ, закрывавшей кадку съ водою, лежала шпага.

— Что это такое?—спросила смѣясь Лиза.

— Ахъ, Лиза, душка моя! Вотъ кстати-то пріѣхала,— вскрикнула Женни и, обнявъ подругу, придавила ей ухо мѣдною пуговицею мундирнаго обшлага.

— Что это такое?—переспросила снова Лиза, осматривая Гловацкую.

— Что?

— Да зачѣмъ ты въ мундирѣ? На службу, что ли, поступаешь?

— Ахъ, объ этомъ-то! Я держу Пелагеѣ мундиръ, чтобъ ей было ловчѣе чистить.

Тутъ Лиза увидѣла Пелагею, которая, стоя на колѣняхъ сзади Гловацкой, ревностно отскребала ногтемъ какое-то пятно, лѣтъ пять тому назадъ попавшее на конецъ фалды мундира Петра Лукича.

— Ты вѣдь не знаешь, какая у насъ тревога!—продолжала Гловацкая, стоя попрежнему въ отцовскомъ мундирѣ и снова принявшись за утюгъ и шляпу, положенные на время при встрѣчѣ съ Лизой:—сегодня, всего съ часъ назадъ, пріѣхалъ чиновникъ изъ округа отъ попечителя,— ревизовать будетъ. И папа, и учители всѣ въ такой суматохѣ, а Яковлевича взяли на парадномъ подъѣздѣ стоять. Говорятъ, скоро будетъ въ училищѣ. Папа тамъ все хлопочетъ и боленъ еще... такъ непріятно, право!

— А-у,—такъ вотъ это что!

Въ сѣни вошелъ Помада.

— Евгенія Петровна! Что это?! — воскликнулъ онъ; но прежде чѣмъ ему кто-нибудь отвѣтилъ, изъ кухни выбѣжалъ Петръ Лукичъ въ бѣломъ жилетѣ съ торчавшею сбоку рыжею портупеею.

— Мундиръ! мундиръ! давай, давай, Женюшка, ужъ некогда чиститься. Ахъ, Лизанька, извините, другъ мой, что я въ такомъ видѣ. Бѣгаю по дому, а вы вонъ куда зашли... поди тутъ. Эхъ, Женни, да давай, матушка, что ли!

Пока Женни сняла съ себя мундиръ, отецъ надѣлъ треуголку и засунулъ шпагу, но, надѣвъ мундиръ, почувствовалъ, что эфесу шпаги неудобно находиться подъ полою, снова выдернулъ это смертоносное орудіе и, держа его въ лѣвой рукѣ, побѣжалъ въ училище.

— Пойдемъ, Лиза, я тебя напою шоколадомъ: я давно берегу для тебя палочку; у меня нынче есть отличныя сливки,—сказала Женни, и онѣ пошли въ ея комнату, между тѣмъ какъ Помада юркнулъ за двери и исчезъ за ними.

Черезъ пять минутъ онъ явился въ комнату Евгеніи Петровны, гдѣ сидѣла одна Лиза, и, наклонясь къ ней, прошепталъ:

— «Статскій совѣтникъ Сафьяносъ».

— Что такое-е? — съ удареніемъ и наморщивъ бровки спросила Лиза своимъ обыкновеннымъ голосомъ.

— Статскій совѣтникъ Сафьяносъ,—опять еще тише прошепталъ Помада.

— Что же это такое? Пароль или лозунгъ такой?

Помада откашлянулся, закрывъ ладонью ротъ, и отвѣчалъ:

— Это ревизоръ.

— Фу, Боже мой, какой вы шутъ, Помада!

Кандидатъ опять кашлянулъ, заслоняя ладонью ротъ, и, увидя Евгенію Петровну, входящую съ чашкою шоколада въ рукахъ, произнесъ гораздо громче:—Статскій совѣтникъ Сафьяносъ.

— Кто это?—спросила, остановясь, Женни.

— Этотъ чиновникъ: онъ только проѣздомъ здѣсь; онъ будетъ ревизовать гимназію, а здѣсь такъ только проѣздомъ посмотритъ,—отвѣчалъ Помада.

Гловацкая, подавъ Лизѣ сухари, исправлявшіе должность бисквитовъ, принесла шоколаду себѣ и Помадѣ. Въ комнатѣ началась сперва бесѣда о томъ, о семъ и ни о чемъ, а потомъ о докторѣ. Но лишь только Женни успѣла сказать Лизѣ: «да, это очень гадкая исторія!»—въ комнату вбѣжалъ Петръ Лукичъ, попрежнему держа въ одной рукѣ шпагу, а въ другой шляпу.

— Женни! обѣдъ, обѣдъ!—сказалъ онъ запыхавшись.

— Еще не готовъ обѣдъ, папа; рано еще, — отвѣчала Женни, ставя торопливо свою чашку.

— Ахъ, Боже мой! Что ты это на смѣхъ, что ли, Женни? Я тебѣ говорю, чтобъ былъ хорошій обѣдъ, что ревизоръ у насъ будетъ обѣдать, а ты толкуешь, что не готовъ обѣдъ. Эхъ, право!

— Хорошо, хорошо, папа, я не поняла.

— То-то «не поняла». Есть когда разсказывать.

Смотритель опрометью бросился изъ дома.

— Боже мой! что я дамъ имъ обѣдать? Когда теперь готовить?—говорила Женни, находясь въ затруднительномъ положеніи дочери, желающей угодить отцу, и хозяйки, обязанной не ударить лицомъ въ грязь.

— Женни! Женни! — кричалъ снова вернувшійся съ крыльца смотритель:—пошли кого-нибудь... да и послать-то некого.. Ну, сама сходи скорѣе къ Никону Родивонычу въ лавку, возьми вина... разнаго вина и получше: каркавелло, хересу, кагору бутылочки двѣ и того... полушампанскаго... Или, чортъ знаетъ ужъ, возьми шампанскаго. Да сыру. сыру, пожалуйста, возьми. Они сыръ любятъ. Возьми швейцарскаго, а не голландскаго, хорошаго, поноздреватѣе который бери, да чтобы слезы въ ноздряхъ-то были. Съ слезой, непремѣнно съ слезой.

— Хорошо, папа, сейчасъ пойду. Вы только не безпокойтесь.

— Да... да того... что это, бишь, я хотѣлъ сказать?.. Да! изъ приходскаго-то училища учителя вели позвать, только чтобы одѣлся онъ.

— Онъ рыбу пошелъ удить, я его встрѣтилъ, — проговорилъ Помада.

— Рыбу удить! О, Господи! что это за человѣкъ такой! Ну, хоть отца дьякона: онъ все-таки еще законоучитель. Сбѣгайте къ нему, Юстинъ Феликсовичъ.

— А того... Что, бишь, я тоже хотѣлъ?.. Да! Женичка! А Зарницынъ-то хорошъ? Нѣту, всякій понедѣльникъ его

нѣту, съ самой весны зарядилъ. О, Боже мой! что̀ это за люди!

Петръ Лукичъ бросился въ залу, заправляя въ десятый разъ свою шпагу въ портупею. Шпага не лѣзла въ свернувшуюся мочку. Петръ Лукичъ сдѣлалъ усиліе, и кожаная мочка портупеи шлепнулась на полъ. Смотритель отчаянно крикнулъ:

— Эхъ, Женни! тоже осматривала!.. швырнулъ на полъ шпагу и выбѣжалъ за двери безъ оружія.

Какъ только смотритель вышелъ за двери, Лиза расхохоталась и сказала:

— Проклятый купчишка Абдулинъ! Не видитъ, что у городничаго старая шпага!

Женни тоже было засмѣялась, но при этомъ сравненіи, хотя сказанномъ безъ злого умысла, но не совсѣмъ кстати, сдѣлалась серьезною и незамѣтно подавила тихій дѣвичій вздохъ.

Лиза прочитала болѣе десяти печатныхъ листовъ журнала, прежде чѣмъ раскраснѣвшаяся отъ стоянія у плиты Женни вошла и сказала:

— Ну, слава Богу: все будетъ въ порядкѣ.

Помада объявилъ, что будетъ и дьяконъ, и докторъ, котораго онъ пригласилъ по желанію Женни.

Въ четыре часа въ передней послышался шумъ. Это входили Гловацкій, Саренко, Вязмитиновъ и Сафьяносъ.

— Пузаносто, пузаносто, не безпокойтесь пузаносто,— раздался изъ передней незнакомый голосъ.

Женни вышла въ залу и стала какъ хозяйка.

Входилъ невысокій, толстенькій человѣкъ, лѣтъ пятидесяти, съ орлинымъ носомъ, черными глазами и кухмистерской рожей.

Вообще грекъ по всѣмъ правиламъ греческой механики и архитектуры. Одѣтъ онъ былъ въ мундирный фракъ министерства народнаго просвѣщенія.

Это былъ ревизоръ, статскій совѣтникъ Апостолъ Асигкритовичъ Сафьяносъ. За нимъ шелъ самъ хозяинъ, потомъ Вязмитиновъ, потомъ дьяконъ Александровскій въ новой

рясѣ съ необъятными рукавами и потомъ уже сзади всѣхъ учитель Саренко.

Саренкѣ было на видъ за пятьдесятъ лѣтъ; онъ былъ какая-то глыба грязнаго снѣга, въ которой ничего нельзя было разобрать. Самъ онъ былъ великъ и толстъ, но лицо у него казалось еще болѣе всего туловища. Съ поларшина длины было это лицо, при столь же соразмѣрной ширинѣ, но не было на немъ ни слѣда мысли, ни знака жизни. Свиные глазки тонули въ немъ, ничего не выражая, и самою замѣчательною особенностію этой головы была ея странная растительность. Ни на вискахъ, ни на темени у Саренки не было ни одной волосинки и только изъ-подъ воротника по затылку откуда-то выползала довольно черная косица, которую педагогъ разстилалъ по всей головѣ и въ видѣ лавроваго вѣнка соединялъ ея концы надъ низенькимъ лбомъ. Кто-то распустилъ слухъ, что эта косица вовсе не имѣетъ своего начала въ головѣ Саренки, но что у него есть очень хорошій, густой хвостъ, который педагогъ укладываетъ кверху вдоль своей спины и конецъ его выпускаетъ подъ воротникъ и разстилаетъ по черепу. Многіе очень серьезно вѣрили этому довольно сомнительному сказанію и разспрашивали цырюльника Козлова о всѣхъ подробностяхъ Саренкинаго хвоста.

Итакъ, гости вошли, и Петръ Лукичъ представилъ Сафьяносу дочь, при чемъ тотъ не по чину съежился, и, взглянувъ на роскошный бюстъ Женни, сжалъ кулаки и засосалъ по-гречески губу.

— Оцэнь радъ, цто слуцай позволяетъ мнэ имѣть такое знакомство,—заговорилъ Сафьяносъ.

Женни вскорѣ вышла и вслѣдъ затѣмъ подали холодную закуску, состоявшую изъ полотка, ветчины, редиски и сыра съ слезами въ ноздряхъ.

— Пожалуйте, ваше превосходительство! — просилъ Гловацкій.

— Мозно! мозно, адмиральтэйскій цасъ ударилъ.

— Давно ударилъ, ваше превосходительство, — бойко

отвѣчалъ своимъ бархатнымъ басомъ развязный Александровскій.

— Вы какую кушаете, ваше превосходительство?—спрашивалъ тихимъ, покорнымъ голосомъ Саренко, держа въ рукахъ графинчикъ.

— Этуо это такое?

— Это рябиновая,—такъ же отвѣчалъ Саренко.

— Нэтъ, я не пью рябиновая.

— Нехороша, ваше превосходительство,—еще покорнѣе разсуждалъ Саренко:—точно, водка она безвредная, но не во всякое время, и, поставивъ графинъ съ рябиновой, взялся за другой.

— Рябиновая слабитъ,—замѣтилъ басомъ Александровскій: — а вотъ мятная, та крѣпитъ, и калгановка тоже крѣпитъ.

— Это справедливо, — точно высказывая государственный секретъ, замѣтилъ опять Саренко, наливая рюмку его превосходительству.

Когда Лиза съ Женни вышли къ парадно-накрытому въ залѣ столу, мужчины уже значительно повеселѣли.

Кромѣ лицъ, вошедшихъ въ домъ Гловацкаго вслѣдъ за Сафьяносомъ, теперь въ залѣ былъ Розановъ. Онъ былъ въ довольно поношенномъ, но ловко сшитомъ форменномъ фракѣ, тщательно выбритый и причесанный, но очень странный. Смирно и потерянно, какъ семинаристъ въ помѣщичьемъ домѣ, стоялъ онъ, скрестивъ на груди руки, у одного окна залы, и по лицу его то тамъ, то сямъ безпрестанно проступали пятна.

Женни подошла къ нему и съ участіемъ протянула свою руку. Докторъ неловко схватилъ и крѣпко пожалъ ея руку, еще неловче поклонился ей передъ самымъ носомъ, и красныя пятна еще сильнѣе забѣгали по его лицу.

Лиза ему очень сухо поклонилась, держа передъ собою стулъ.

Отвѣчая на этотъ сухой поклонъ, докторъ побагровѣлъ всплошную.

Сѣли за столъ.

Женни сѣла въ концѣ стола, Петръ Лукичъ на другомъ. Съ правой стороны Женни помѣстился Сафьяносъ, а за нимъ Лиза.

— Между двухъ прекрасныхъ розъ,—проговорилъ Сафьяносъ, разстилая на колѣняхъ салфетку и стараясь опредѣлить пріятность своего положенія между дѣвушками.

Женни, наливая тарелку супу, струсила, чтобы Лиза не отозвалась на эту любезность словомъ, неотвѣчающимъ обстоятельствамъ, и взглянула на нее со страхомъ, но опасенія ея были совершенно напрасны.

Лиза съ веселой улыбкой приняла изъ рукъ Сафьяноса переданную ей тарелку и ласково сказала: mercі.

— Я много слисалъ о васемъ папинькѣ,—началъ, обращаясь къ ней, Сафьяносъ:—они много заботятся о просвисеніи и завтра непремѣнно хоцу къ нимъ визитъ сдѣлать.

— Папа теперь дома,—отвѣчала Лиза, и разговоръ нѣсколько времени шелъ въ этомъ тонѣ.

Однако, Сафьяносъ, сидя между двумя розами, не забылъ удостоить своимъ вниманіемъ и подчиненныхъ.

— Оцэнь созалѣю, оцэнь созалѣю, отецъ дьяконъ, цто вы оставляетэ уцилиссе, — отнесся онъ къ Александровскому.—Хуць минэ некогда било смотрѣть самому, ну, насъ поцтенный хозяинъ рекомэндуетъ васъ съ самой лестной стороны.

— Да, покидаю, покидаю. Линія такая подошла, ваше превосходительство,—отвѣчалъ дьяконъ съ развязностью русскаго человѣка передъ сильнымъ лицомъ, которое, вслѣдствіе особыхъ обстоятельствъ, отнынѣ уже не можетъ попробовать на немъ своей силы.

— Мозетъ бить, тамъ тозэ захоцете заняться?

— Преподаваніемъ? О, нѣтъ! Тамъ уже некогда. То недѣлю нужно править, а тамъ архіерейское служеніе. Нѣтъ, тамъ ужъ не до того.

— Да, да: это тоцно.

— Въ гору пошелъ нашъ отецъ дьяконъ, — замѣтилъ, относясь къ Сафьяносу, Саренко.

— Да цто-зъ! Талантъ усигда найдетъ дорогу.

— И чудесно это какъ случилось, заговорилъ Александровскій:—за первенствующаго послѣ смерти протодьякона Павла Дмитріевича ѣздилъ по епархіи Савва Благостынскій. Ну и всѣ говорили, что онъ будетъ настоящимъ протодьякономъ. Такъ всѣ и думали, и полагали на него. А тутъ пріѣхали владыко къ намъ, литургисаютъ въ соборѣ; меня регентъ Омофоровъ вторствующимъ назначилъ. Ну, я и дѣйствовалъ; при облаченіи еще даже довольно, могу сказать, себя показалъ, а Апостолъ я сталъ чести, Благостынскій и совсѣмъ оробѣлъ. — Александровскій разсмѣялся и потомъ серьезно добавилъ: — Регентъ Омофоровъ тутъ же на закускѣ у Никона Родивоновича сказалъ: «нѣтъ, говоритъ, ты, Благостынскій, швахъ». А тутъ и владычное предписаніе пришло, что быть мнѣ протодьякономъ на мѣсто покойнаго Павла Дмитріевича.

— Тссссъ, сказытэ пузаноста!—воскликнулъ Сафьяносъ, качая головою.

— Лестно! — произнесъ Саренко.

— Да! — да вѣдь что пріятно-то? — вопрошалъ Александровскій: — то пріятно, что безъ всякихъ это протекцій. Конечно, регенту нужно что нибудь, презентикъ какой-нибудь этакой, а все же вѣдь прямо могу сказать, что не по искательству, а по заслугамъ отличенъ и почтенъ.

— Ну, конецно, конецно,— подтвердилъ Сафьяносъ.

Уже доѣдали жаркое, и Женни уже волновалась не подожгла бы Пелагея «кудри», которые должны были явиться на столъ подъ малиновымъ вареньемъ, какъ въ окно залы со вздохомъ просунулась лошадиная морда, а съ сѣдла веселый голосъ крикнулъ: «хлѣбъ да соль».

Всѣ оглянулись и увидѣли Зарницына.

Онъ сидѣлъ на прекрасной, смѣлой лошади и держалъ у козырька руку въ красножелтой лайковой перчаткѣ.

Увидя чужого человѣка, Зарницынъ догадался, что происходитъ что-то особенное, и отъѣхалъ.

Черезъ минуту онъ картинно вошелъ въ залу въ коротенькой жакеткѣ и съ изящнымъ хлыстикомъ въ огненной перчаткѣ.

Кромѣ дьякона и Лизы, всѣ почувствовали себя очень неловко при входѣ Зарницына, который въ передней успѣлъ мимоходомъ спросить о гостѣ, но, нимало не стѣсняясь своей подчиненностью, бойко подошелъ къ Женни, потомъ пожалъ руку Лизѣ и, наконецъ, изящно и развязно поклонился Сафьяносу.

— Оцэнь радъ,—произнесъ Сафьяносъ торопливо, протягивая свою руку.

— Зарницынъ, учитель математики, — счелъ нужнымъ отрекомендовать его Гловацкій.

Сафьяносъ хотѣлъ принять начальственный видъ, даже думалъ потянуть назадъ свою пухлую греческую руку, но эту руку Зарницынъ уже успѣлъ пожать, а въ начальственную форму лицо Сафьяноса никакъ не складывалось по милости двухъ розъ, любезно поздоровавшихся съ учителемъ.

— Мнѣ очень мило, началъ Зарницынъ, — мнѣ очень мило, хоть теперь, когда я уже намѣренъ оставить родъ моей службы, засвидѣтельствовать вамъ мое сочувствіе за тѣ реформы, которыя хотя слегка, но начинаютъ уже чувствоваться по нашему учебному округу.

— Цортъ возьми, думалъ Сафьяносъ, — еще онъ мнѣ сопувствія изъявляетъ!—Но сказалъ только.—Я самъ оцень радъ сблизиться съ насыми сотовариссами.

— Да, настала пора взаимодѣйствія, пора, когда и голова, и сердце понимаютъ, что для правильности ихъ отправленій нужно, чтобы правильно дѣйствовалъ желудокъ. Именно, чтобы правильно дѣйствовалъ желудокъ, чтобы былъ здоровъ желудокъ.

— Желудокъ всему голова,—подтвердилъ дьяконъ.

— Я, пока служилъ, всегда говорилъ это всѣмъ, что верхніе безъ нижнихъ ничего не сдѣлаютъ. Ничего не сдѣлаютъ

верхніе безъ нижнихъ; я и теперь, разставаясь съ службой, утверждаю, что безъ нижнихъ верхніе ничего не сдѣлаютъ.

Зарницынъ ловко закинулъ руку за спинку стула, поставленнаго нѣсколько въ сторонѣ отъ Сафьяноса, и щелкнулъ себя по сапогу хлыстикомъ.

— Стуо-зъ вы разви увольняетесь?—спросилъ Сафьяносъ.

— Я сегодня буду имѣть честь представить вамъ прошеніе о своемъ увольненіи,—граціозно кланяясь, отвѣтилъ Зарницынъ.

Саренко тихо кашлянулъ и смялъ въ боковомъ карманѣ тщательно сложенный листикъ, на которомъ было кое-что написано про учителя математики, и разгладилъ по темени концы своего хвоста.

— Стуо-зъ типэрь карьеры отлицныя, — уже совсѣмъ либерально замѣтилъ Сафьяносъ.

— Я не ищу карьеры. Теперь каждому человѣку много дѣятельности открывается и внѣ службы.

— Да, эти компаніи.

— И безъ компаній.

— Стуо-зъ вы хотите?

Зарницынъ пожалъ многозначительно плечами, еще многозначительнѣе улыбнулся и произнесъ:

— Дѣло у каждаго изъ насъ на всякомъ мѣстѣ, возлѣ насъ самихъ и, вздохнувъ гражданскимъ вздохомъ, добавилъ:—именно возлѣ насъ самихъ, дѣло повсюду, повсюду дѣло ждетъ рукъ, доброй воли и умѣнья.

— Это тоцно,—отвѣтилъ Сафьяносъ, не понимающій что онъ говоритъ и что за странное такое обращеніе допускаетъ съ собою.

— Но нужны, ваше превосходительство, и учители, и учители тоже нужны: это фактъ. Я былъ бы очень счастливъ, если бы вы мнѣ позволили рекомендовать вамъ на мое мѣсто очень достойнаго и способнаго молодаго человѣка.

— Я усигда готовъ помочь молодымъ людямъ, ну только

это полозено типэрь съ согласіемъ близайсаго нацальства дѣлать.

— Ближайшее начальство вотъ—Петръ Лукичъ Гловацкій. Петръ Лукичъ! вы желали бы, чтобы мое мѣсто было отдано Юстину Феликсовичу?

— Да, я буду очень радъ.

— И я буду рада,—весело сказала Лиза.

— И вы?—оскаливъ зубы, спросилъ Сафьяносъ.

— И я тоже, — сказала съ другой стороны закраснѣвшись Женни.

— И вы?—оскабляясь въ другую сторону, спросилъ ревизоръ и, тотчасъ же мотнувъ головою, какъ ужъ, въ обѣ стороны, произнесъ: — Ну, поздравьте васего протязе съ мѣстомъ.

— Поздравляю! — сказала Лиза, указывая пальцемъ на Помаду.

Въ шкафѣ была еще бутылка шампанскаго и ее сейчасъ же роспили за новое мѣсто Помады.

Сафьяносъ первый поднялъ бокалъ и проговорилъ:

— Поздравляю васъ, господинъ Помада — чокнулся съ нимъ и съ обѣими розами, также державшими въ своихъ рукахъ по бокалу.

— Вотъ случай! — шепталъ кандидатъ, толкая Розанова:—выпей же хоть бокалъ за меня.

— Отстань, не могу я пить ничего,—отвѣчалъ Розановъ.

Въ числѣ различныхъ практическихъ и непрактическихъ странностей, придуманныхъ англичанами, нельзя совершенно отрицать цѣлесообразность обычая, предписывающаго дамамъ послѣ стола удаляться отъ мужчинъ.

Наши дѣвицы очень умно поступили, отправившись тотчасъ послѣ обѣда въ укромную голубую комнату Женни, ибо даже самъ Петръ Лукичъ черезъ часъ послѣ обѣда вошелъ къ нимъ съ неестественными розовыми пятнышками на щекахъ и до крайности умильно восхищался простотою обхожденія Сафьяноса.

— Не узнаю начальственныхъ лицъ: простота и благодушіе!—восклицалъ онъ.

Было уже около шести часовъ вечера, на дворѣ потеплѣло и показалось солнце.

Ученое общество продолжало благодушествовать въ залѣ. Съ каждымъ новымъ стаканомъ Сафьяносъ все болѣе и болѣе вовлекался въ свою либеральную роль и имъ овладѣвалъ хвастливый бѣсъ многорѣчія, любящій всѣ пьяныя головы вообще, а греческія въ особенности.

Сафьяносъ уже вволю навралъ объ Одессѣ, о греческомъ клубѣ, о предполагаемыхъ реформахъ по министерству, о стремленіи начальства сблизиться съ подчиненными и о своихъ собственныхъ многостороннихъ занятіяхъ по округу и по ученымъ обществамъ, которыя избрали его своимъ членомъ.

Всѣ благоговѣйно слушали и молчали. Изрѣдка только Зарницынъ или Саренко вставляли какое-нибудь словечко.

Выбравъ удобную минуту, Зарницынъ всталъ и, отведя въ сторону Вязмитинова, сказалъ:

— Добрыя вѣсти.

— Что такое?

Зарницынъ вынулъ листокъ почтовой бумаги и показалъ нѣсколько строчекъ, въ которомъ было сказано: «У насъ ужъ на фабрикахъ и въ казармахъ вездѣ поютъ эту пѣсню. Посылаю вамъ ея сто экземпляровъ и сто программъ адреса. Распространяйте, и т. д.».

— И это все опять по почтѣ?

— По почтѣ,—отвѣчалъ Зарницынъ и разсмѣялся.

— Что-жъ ты будешь дѣлать?

— Пускать, пускать надо.

— Вѣдь это одно противъ другого пойдетъ.

— Ничего, теперь всѣ во всемъ согласны.

— Ты сегодня совсѣмъ весь толкъ потерялъ.

— Разсказывай,—отвѣчалъ Зарницынъ.

— Хоть съ Сафьяносомъ-то будь поосторожнѣе.

— Э! вздоръ! Теперь ихъ ужъ нечего бояться: ихъ надо шевелить, шевелить надо.

Между тѣмъ изъ-за угла показался высокій отставной солдатъ. Онъ былъ босикомъ, въ прежней солдатской фуражкѣ, тарелочкой, въ синей пестрядинной рубашкѣ на выпускъ и въ мокрыхъ холщевыхъ портахъ, закатанныхъ выше колѣнъ. На плечѣ солдатъ несъ три длинныя, гнуткія удилища, съ правильно раскачивавшимися на волосяныхъ лесахъ поплавками и бичевку съ нанизанными на ней карасями, подъязками и плотвой.

— Стуо у васъ много рыбы? — освѣдомился Сафьяносъ, взглянувъ на солдата.

— Есть-съ рыба,—таинственно отвѣтилъ Саренко.

— И какъ она.., то есть, я хочу это знать... для русскаго географицескаго обсества. Это оцэнъ вазно, оцэнъ вазно въ географицескомъ отношеніи.

— И въ статистическомъ,—подсказалъ Зарницынъ.

— Да, и въ статистицескомъ. Я бы дазэ хотѣлъ самъ поразспросить этого рыбаря.

— Служба! служба! — поманулъ въ окно угодливый Саренко.

Солдатъ подошелъ.

— Стань, милый, поближе; тебя генералъ хочетъ спросить.

Услыхавъ слово «генералъ», солдатъ положилъ на траву удилища, снялъ фуражку и вытянулся.

— Стуо ты поньмаесъ рыба?—спросилъ Сафьяносъ.

— Понимаю, ваше превосходительство! — твердо отвѣчалъ воинъ.

— Какую ты больсе поньмаесъ рыбу?

— Всякую рыбу понимаю, ваше превосходительство!

— И стерлядь поньмаесъ?

— И стерлить могу понимать, ваше превосходительство.

— Будто и стерлядь поньмаесъ?

— Понимаю, ваше превосходительство: длинная этакая рыба и съ носомъ, — шиловатая вся. Скусная самая рыба.

— Гм! Ну, а когда ты болсе поньмаесъ?

Солдатъ, растопыривъ врозь пальцы и подумавъ, отвѣчалъ:

— Всегда равно понимаю, ваше превосходительство!

— Гм! И зимою дозэ поньмаесъ?

Солдатъ вовсе потерялся и, выставивъ впередъ ладони, какъ будто держитъ на нихъ передъ собою рыбу, нерѣшительно произнесъ:

— Намъ, ваше превосходительство, такъ показывается, что все единственно рыба, что лѣтомъ, что зимой, и завсегда мы ее одинаково понимать можемъ.

Сафьяносъ далъ солдату за это статистическое свѣдѣніе двугривенный и тотчасъ же занотовалъ въ своей записной книгѣ, что по рѣкѣ Саванкѣ во всякое время года въ изобиліи ловится всякая рыба и даже стерлядь.

— Это все оцэнъ вазно,—замѣтилъ онъ и изъявилъ желаніе взглянуть на самые рыбные затоны.

Затоновъ на Саванкѣ никакихъ не было и удильщики ловили рыбу по колдобинкамъ, но все-таки тотчасъ достали двувесельную лодку и всѣмъ обществомъ поѣхали вверхъ по Саванкѣ.

Докторъ и Вязмитиновъ понимали, что Сафьяносъ и глупъ, и хвастунъ; остальные не осуждали начальство, а Зарницынъ слушалъ только самого себя.

Лодка доѣхала до самаго Разинскаго оврага, откуда пугачъ, сидя надъ черной разсѣлиной, привѣтствовалъ ее крикомъ: «шуты, шуты!» Отсюда лодка поворотила. На дворѣ стояла ночь.

По отъѣздѣ ученой экспедиціи, Пелагея стала мести залу и готовить къ чаю, а Лиза сѣла у окна и, глядя на рѣчную луговину, крѣпко задумалась. Она не слыхала, какъ Женни поставила передъ нею глубокую тарелку съ лѣсными орѣхами и ушла въ кухню готовить новую кормежку.

Лиза все сидѣла какъ истуканъ. Можно было поручиться, что она не видала ни одного предмета, бывшаго передъ ея глазами, и если бы судорожное подергиванье бровей, по временамъ, не нарушало мертвой неподвижности ея безжиз-

ненно блѣднаго лица, то можно было бы подумать, что ее хватилъ столбнякъ или она такъ застыла.

— Аахъ! — простонала она, выведенная изъ своего состоянія донесшимся до нея изъ Разинскаго оврага зловѣщимъ крикомъ пугача и, смахнувъ со лба тяжелую думу, машинально разгрызла одинъ орѣхъ и столь же машинально перегрызла цѣлую тарелку, прежде чѣмъ цапля, испуганная подъѣзжающей лодкой, поднялась изъ осоки и тяжело замахала своими длинными крыльями по синему ночному небу.

— И это люди называются! И это называется жизнь, это среда! — прошептала Лиза при приближеніи лодки и, хрустнувъ пальцами, пошла въ комнату Женни.

Пили чай; затѣмъ Сафьяносъ, Петръ Лукичъ, Александровскій и Вязмитиновъ усѣлись за пульку. Зарницынъ явился къ Евгеніи Петровнѣ въ кухню, гдѣ въ это время сидѣла и Лиза. За нимъ вскорѣ явился Помада и еще чрезъ нѣсколько минутъ тихонько вошелъ докторъ.

Странно было видѣть нынѣшнюю застѣнчивость и робость Розанова въ домѣ, гдѣ онъ былъ всегда милымъ гостемъ и держался безъ церемоніи.

— Не мѣшаемъ мы вамъ, Евгенія Петровна? — застѣнчиво спросилъ онъ.

— Вы—нѣтъ, докторъ, а вотъ Алексѣй Павловичъ тутъ толчется и никакъ его выжить нельзя.

— Погодите, Евгенія Петровна, погодите! будетъ время, что и обо мнѣ поскучаете!—шутилъ Зарницынъ.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, куда это вы отъ насъ уходите?

— Землю пахать, пахать землю, Евгенія Петровна. Надо дѣло дѣлать.

— Гдѣ-жъ это вы будете пахать? Мы пріѣдемъ посмотрѣть если позволите.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Вы въ перчаткахъ будете пахать?—спросила Лиза.

— Зачѣмъ? Онъ чужими руками все вспашетъ,—проронилъ Розановъ.

— А ты, Гамлетъ, весь день молчалъ и то заговорилъ.

— Да ужъ очень ты занятенъ нынче.

— Погоди, братъ, погоди,—будетъ время, когда ты перестанешь смѣяться; а теперь прощайте, я нарочно фуражку въ карманѣ вынесъ, чтобы уйти незамѣченнымъ.

Женни удерживала Зарницына, но онъ не остался ни за что.

— Дѣло есть, не могу, ни за что не могу.

— Чья это у тебя лошадь?— спросилъ его, прощаясь, докторъ.

— А что?

— Такъ, ничего.

— Хорошій конь. Это я у Катерины Ивановны взялъ.

— У Кожуховой?

— Да.

— Купилъ?

— Н...нѣтъ, такъ... пока взялъ.

Зарницынъ вышелъ и черезъ нѣсколько минутъ по двору послышался легкій топотъ его быстрой арабской лошади.

— Что это онъ за странности дѣлаетъ сегодня?— спросила Женни.

— Онъ женится,—спокойно отвѣчалъ докторъ.

— Какъ женится?

— Да вы развѣ не видите? Посмотрите, онъ скоро женится на Кожуховой.

— На Кожуховой!—переспросила, расширивъ удивленные глаза, Женни.—Этого не можетъ быть, докторъ.

— Ну вотъ увидите: она его недаромъ выпускаетъ на своей лошади. А то гдѣ-жъ ему землю то пахать.

— Ей сорокъ лѣтъ.

— Потому-то она и женитъ его на себѣ.

— Любви всѣ возрасты послушны,—проговорилъ Помада.

Женни и Лиза иронически улыбнулись, но эти улыбки нимало не относились къ словамъ Помады.

— Экая все мразь!—подумала, закусивъ губы, Лиза и гораздо ласковѣе взглянула на Розанова, который, при всей своей распущенности, все-таки болѣе всѣхъ подходилъ, въ ея понятіяхъ, къ человѣку. Въ его натурѣ сохранилось много простоты, искренности, задушевности, безхитростности и въ то же время живой русской сметки, которую онъ самъ называлъ мошенническою философіею. Правда, у него не было недостатка въ нѣкоторой рѣзкости, доходящей иногда до nec plus ultra, но о бокъ съ этимъ у него порою шла нѣжнѣйшая деликатность. Онъ былъ неуступчивъ и неспособенъ обидѣть первый никого. Вязмитиновъ давно не нравился Лизѣ. Она не знала о немъ ничего дурного, но во всѣхъ его движеніяхъ, въ его сосредоточенности и сдержанности для нея было что-то непріятное. Она говорила себѣ, что никто никогда не узнаетъ, что этотъ человѣкъ когда сдѣлаетъ. Глядя теперь на покрывшееся пятнами лицо доктора, ей стало жаль его, едва ли не такъ же нѣжно жаль, какъ жалѣла его Женни, и докторшѣ нельзя было бы посовѣтовать заговорить въ эти минуты съ Лизою.

— Гдѣ эта лодка, на которой ѣздили?—спросила Лиза.

— Тутъ у берега,—отвѣчалъ докторъ.

— Я хотѣла бы проѣхаться. Вы умѣете грести?

— Умѣю.

— И я умѣю,—вызвался Помада.

Лиза встала и пошла къ двери. За нею вышли докторъ и Помада.

У самаго берега Лиза остановилась и, обратясь къ кандидату, сказала:

— Ахъ, Юстинъ Феликсовичъ, вернитесь, пожалуйста, попросите мнѣ у Женни большой платокъ, — сыро что-то на водѣ.

Помада пустился бѣгомъ въ калитку, а Лиза, вспрыгнувъ въ лодку, сказала:

— Гребите.

— А Помада?

— Гребите,—отвѣчала Лиза.

Докторъ ударилъ веслами и лодочка быстро понеслась по теченію, безпрестанно шурша выпуклыми бортами о прибрежный тростникъ извилистой Саванки.

— Гу-гу-гу-у-ой-іой-іой!—далеко уже за лодкою простоналъ овражный пугачъ, а лодка все неслась по теченію и тишина окружающей ее ночи не нарушалась ни однимъ звукомъ, кромѣ мѣрныхъ ударовъ веселъ .и тонкаго серебрянаго плеска отъ падающихъ вслѣдъ за ударомъ брызговъ.

— Доѣхавъ до лѣса, Лиза сказала:

— Вернемтесь.

Докторъ залаптилъ лѣвымъ весломъ и, повернувъ лодку, сталъ гресть противъ воды съ удвоенною силою.

На небѣ уже довольно высоко проглянула луна. Она играла по мелкой ряби бѣгущей рѣчки и сквозь воду эфектно освѣщала безчисленныя мели, то покрытыя водорослями, то тѣневыми наслоеніями струистаго ила.

Лицо доктора было въ тѣни, лицо же Лизы было ярко освѣщено полною луною.

— Докторъ!—позвала Лиза послѣ долгаго молчанія.

— Что прикажете, Лизавета Егоровна? — отозвался Розановъ.

— Я хочу съ вами поговорить.

Розановъ гребъ и ничего не отвѣтилъ.

— Я хочу говорить съ вами о васъ самихъ,—пояснила Лиза.

Отвѣта снова не было, но усиленный ударъ гребца сказалъ за него: «да, я такъ и думалъ».

— Вы слушаете, по крайней мѣрѣ?—спросила Лиза.

— Я все слышалъ.

— Что, вамъ очень хочется пропасть тутъ? Вѣдь такъ жить нельзя, какъ вы живете...

— Я это знаю.

— Или по вашему выходитъ, что еще можно?

— Нѣтъ, я знаю, да только...

— Что только?

— Дѣться некуда.

— Ну, это другой вопросъ. Прежде всего вы глубоко убѣждены въ томъ, что *такъ* жить, какъ *вы* живете, *при вашей обстановкѣ* и при вашемъ характерѣ, жить невозможно?

— Позвольте, Лизавета Егоровна... послѣ короткой паузы началъ было докторъ; но Лиза его прервала.

— Вы хотите потребовать отъ меня отчета, по какому праву я завела съ вами этотъ разговоръ? По такому же точно праву, по какому вы помѣшали мнѣ когда-то ночевать въ нетопленномъ домѣ.

— Да нѣтъ, напрасно вы объ этомъ говорите. Я совсѣмъ не о томъ хотѣлъ спросить васъ.

— О чемъ же?

— О томъ, что если вы намѣрены коснуться въ вашихъ словахъ извѣстнаго вамъ скандальнаго событія, то, умоляю васъ, имѣйте ко мнѣ жалость,—оставьте это намѣреніе.

— Фуй! Съ чего это вы взяли? Какъ будто это пошлое событіе само по себѣ имѣетъ такую важность...

— Скандалъ.

— Дѣло не въ скандалѣ, а въ томъ, что вы пропадаете, тогда какъ, мнѣ кажется... я, можетъ быть, и ошибаюсь, но во всякомъ случаѣ, *мнѣ кажется*, что вы еще можете быть очень полезны.

— Я разбитъ совсѣмъ.

— Для этого-то и нужно, чтобы вы были нѣсколько въ лучшемъ положеніи; чтобы вы были спокойнѣе, счастливѣе: чтобы ваша жизнь наполнялась чѣмъ нибудь годнымъ.

— Моя жизнь прошла.

— Ну, это хандра и ничего болѣе.

— Нѣтъ ужъ... Энергія моя пропала.

— Тѣмъ настоятельнѣе нужно спасаться.

— Какъ? гдѣ спасаться? отъ кого? Отъ домашнихъ враговъ спасенья нѣтъ.

— Какой вы вздоръ говорите, докторъ! Вы сами себѣ первый врагъ.

— А отъ себя не уйдешь, Лизавета Егоровна.

— Ну, значитъ, и говорить не о чемъ,—вспыльчиво сказала Лиза, и на ея эфектно освѣщенномъ луною молодомъ личикѣ по мѣстамъ намѣтились черты матери Агніи.

— Чортъ знаетъ, что это, въ самомъ дѣлѣ, за проклятіе лежитъ надъ людьми этой благословенной страны!— проговорила она сама къ себѣ послѣ нѣкотораго раздумья.

Она сердилась на неловкій оборотъ, данный разговору, и насупилась. Докторъ, не разъ опускавшій весла при разговорѣ, сталъ гресть съ удвоеннымъ стараніемъ.

Проѣхавъ оврагъ, Лиза сказала совсѣмъ другимъ тономъ:

— Мнѣ все равно, что вы сдѣлаете изъ моихъ словъ, но я хочу сказать вамъ, что вы непремѣнно и какъ можно скорѣе должны уѣхать отсюда. Ступайте въ Москву, въ Петербургъ, въ Парижъ, куда хотите, не не оставайтесь здѣсь. Вы здѣсь скоро... потеряете даже способность сближаться.

— Я не могу никуда уѣхать.

— Отчего это?

— Мнѣ жаль ребенка.

— А при васъ хорошо ребенку?

— Все-таки лучше.

— Старайтесь устроить ребенка, ищите каѳедры, защищайте диссертацію.

— Мнѣ и ее жаль.

— Кого?

— Ее... жену.

Лиза сдѣлала презрительную гримасу и сказала:

— Это даже смѣшно, Дмитрій Петровичъ.

— Да, я знаю, что смѣшно и даже, можетъ быть, глупо.

— Можетъ быть,—отвѣчала Лиза.

— Что-жъ дѣлать?

— Уѣхать, работать, оставить ее въ покоѣ, заботиться о дѣвочкѣ. Другой міръ, другіе люди, другая обстановка,

все это васъ оживитъ. Стыдитесь, Дмитрій Петровичъ! Вы хуже Помады, котораго вы распекаете. Вмѣсто того, чтобы выбиваться, вы грязнете, тонете, пьете водку... фуй!

Докторъ опустилъ весла и закрылъ лицо.

— Вы, кажется, плачете?—спросила Лиза.

— Плачу,—спокойно отвѣчалъ докторъ.

— Это ужъ изъ рукъ вонъ! Что, наконецъ, васъ такъ мучаетъ? Докторъ, докторъ! неужели и вы уже стали ничтожествомъ и въ васъ заглохло все человѣческое?

Розановъ долго молчалъ и разомъ спокойно поднялъ голову.

— Что?—спросила глядѣвшая на него Лиза.

— Вы правы.

— Такъ ступайте же, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— У меня нѣтъ денегъ.

— Это вздоръ. У меня есть около двухъ сотъ рублей моихъ собственныхъ и вы меня обидите, если не возьмете ихъ у меня взаймы.

— Нѣтъ, не возьму.

— Я вамъ сказала, что вы меня обидите и лишите права принять со временемъ отъ васъ, можетъ быть, бо̀льшую услугу.—Такъ уѣдете? спросила она, вставая, когда лодка причаливала къ берегу.

— Уѣду,—рѣшительно отвѣчалъ Розановъ.

— Ваше слово.

— Да.

На берегу показался Помада, сидящій съ свернутымъ большимъ платкомъ на колѣняхъ.

— И еще.. сказала Лиза тихо и не смотря на доктора,—еще... не пейте, Розановъ. Работайте надъ собой и вы объ этомъ не пожалѣете: все будетъ, все пройдетъ, и новая жизнь, и чистыя заботы, и новое счастье. Я меньше васъ вижу, но удивляюсь, какъ это вы можете не видѣть ничего впереди.

Сказавъ это, Лиза оперлась на руку Помады и, дойдя

съ нимъ молча до крыльца, прошла тихонько въ комнату Женни.

Докторъ отправился было домой, но Вязмитиновъ и Гловацкій, высунувшись изъ окна, упросили его зайти.

Въ залѣ опять былъ Зарницынъ, неожиданно возвратившійся съ нѣсколькими бутылками шампанскаго, которыя просилъ у Гловацкаго позволенія распить.

Общество было на-веселѣ и продолжалась картежная игра.

Сафьяносъ либеральничалъ съ Зарницынымъ и, по временамъ, обращаясь къ Помадѣ, говорилъ:

— Вы, господинъ Помада, подумайте о васемъ слузэніи. Я вамъ ввѣряю постъ, господинъ Помада, вы долзны руководить дѣтей къ цести: тэпэрь такое время.

— Именно такое время,—подтверждалъ Зарницынъ.

Докторъ сѣлъ у стола, и семинаристъ философскаго класса, взглянувъ на Розанова, могъ бы написать отличную задачку о внутреннемъ и внѣшнемъ человѣкѣ. Здѣсь былъ только зоологическій Розановъ, а былъ еще гдѣ-то другой, безплотный Розановъ, который леталъ то около дѣтской кроватки съ голубымъ ситцевымъ занавѣсомъ, то около постели, на которой спала женщина съ расходящимися бровями, дерзостью и эгоизмомъ на недурномъ, но искаженномъ злостью лицѣ, то бродилъ по необъятной пустынѣ, ловя какой-то неясный женскій образъ, возлѣ котораго ему хотѣлось упасть, зарыдать, выплакать свое горе и, вставши по одному слову на ноги, начать на-ново жизнь сознательную, съ безтрепетнымъ концомъ въ пятомъ актѣ драмы.

А зоологическій Розановъ машинально наливалъ себѣ пятый стаканъ хересу и молча сидѣлъ, держа на рукахъ свою отяжелѣвшую голову.

Когда далеко летавшій Розановъ возвратился въ себя, онъ не узналъ своего жилища: тамъ былъ чадъ, сквозь который все представлялось какъ-то безобразно и чувствовалась неудержимая потребность лично вмѣшаться въ это безобразіе и сдѣлать еще безобразнѣе.

— Стуо мнѣ! стуо мнѣ моздно сдѣлать! — восклицалъ

Сафьяносъ, многозначительно засосавъ губу:—у мэнэ есть свой король, свое правительство. Я всегда могу писать король Оттонъ. Стуо мнэ! Наса сторона, хоросая сторона.

— У васъ маслины все ѣдятъ,—замѣтилъ Розановъ.

— Да. У насъ усе, усе растетъ. У насъ рыба усякая, камбола такая, съ изюмомъ.

— Больше все однѣ маслины жрутъ съ прованскимъ масломъ.

— Да, и барабанское масло, и мазулины, усе у насъ, въ насей сторонѣ. Я сицасъ могу туда ѣхать. Я слузылъ въ балаклавская баталіонъ, но сицасъ могу ѣхать. Я имѣю цинъ и мундиръ, но сицасъ могу ѣхать.

— Тамъ на тебя юбку надѣнутъ,—вставилъ Розановъ и засмѣялся.

Сафьяносъ обидѣлся, хозяинъ и гости стѣснились отъ этой неожиданной фамильярности.

— У насъ каздый целовѣкъ усигда мозэтъ...

— Юбка носить, ха, ха, ха. Вотъ, господа, хорошъ онъ будетъ въ юбкѣ! Пузаноста, поѣзжай, братъ, въ своя сторона. Пузаносто, ха, ха, ха!

Докторъ совсѣмъ опьянѣлъ.

Вязмитиновъ всталъ, взялъ его подъ руку и тихо вышелъ съ нимъ въ библіотеку Петра Лукича, гдѣ Розановъ скоро и заснулъ на одномъ изъ диванов.

Сафьяносъ понялъ, что сближеніе, сдѣланное имъ экспромтомъ, можетъ его компрометировать и, понюхавъ табаку, сталъ сбираться въ гостинницу. Петръ Лукичъ все извинялся и намѣренъ былъ идти извиняться завтра, но сконфуженный Сафьяносъ тотчасъ же, придя домой, послалъ за лошадьми и уѣхалъ, забылъ даже о своемъ намѣреніи повидаться съ Бахаревымъ. Къ конфузу, полученному имъ по милости Розанова, присоединился новый конфузъ. Снимая съ себя мундирный фракъ, Сафьяносъ нашелъ въ лѣвомъ заднемъ карманѣ пачку литографированной пѣсни, пять тоненькихъ брошюрочекъ и проектъ адреса о дарованіи правъ самоуправленія, и проч. Сафьяносъ обомлѣлъ отъ этой

находки. Сначала онъ хотѣлъ все это тотчасъ же уничтожить, но потомъ, раздумавъ, сунулъ все въ чемоданъ и уѣхалъ размышляя: откуда бы это взялось въ его карманѣ? Ревизоръ не пришелъ ни къ какой опредѣленной догадкѣ, потому что онъ не надѣвалъ мундира со дня своего выѣзда изъ университетскаго города, и въ день своего отъѣзда таскался въ этомъ мундирѣ по самымъ различнымъ мѣстамъ. Но болѣе всѣхъ его подозрѣнія все-таки вертѣлись около Саренки, который держалъ себя такъ таинственно и очень близко къ нему подсаживался. Саренко, нашедши точно такой же кладъ въ своемъ карманѣ, рѣшилъ, что это ему сунулъ ревизоръ и что, значитъ, вѣетъ другой вѣтеръ и приходитъ пора запѣвать другія пѣсни. Онъ измѣнился къ Зарницыну, и по задумчивости Петра Лукича отгадалъ, что и тотъ, послѣ ухода Сафьяноса, вернулся въ свою комнату не съ пустымъ карманомъ. Саренко тщательно спряталъ свою находку и хранилъ строгое молчаніе. Петръ Лукичъ тоже ни о чемъ подобномъ не говорилъ, но изъ губернскаго города дошли слухи, что на пикникѣ всѣмъ гостямъ въ карманы наклали запрещенныхъ сочиненій и даже сунули ихъ нѣсколько экземпляровъ пріѣзжему ученому чиновнику. Сафьяносъ роздалъ всѣ свои экземпляры губернскому бомонду.

— Стоуо-то такое дазе въ воздухѣ носится,—заключалъ онъ, потягивая своимъ греческимъ носомъ.

Вслѣдъ за нимъ въ городѣ началось списыванье и толки о густой сѣти революціонныхъ агентовъ.

Вязмитиновъ, проводя Сафьяноса, вернулся за докторомъ.

Розановъ всталъ, пошатнулся, потомъ постоялъ немножко, закрылъ глаза и, безцеремонно отбросивъ руку Вязмитинова, твердо пошелъ домой по пыльной улицѣ.

— Боже мой! никогда нѣтъ покоя отъ этого негодяя!— пронеслось у него надъ ухомъ, когда онъ проходилъ на цыпочкахъ мимо спальни жены.

— Вы даже скоро дойдете до того, что обижаться пере-

станете,—прозвучалъ ему другой голосъ, и докторъ, вздохнувъ, повалился на свой продавленный диванъ.

Лиза въ это время все еще лежала съ открытыми глазами и думала:—нѣтъ, такъ нельзя. Гдѣ же нибудь да есть люди!

Черезъ два дня она опять заѣхала къ Женни и сказала, что ей нездоровится, позвала Розанова, поговорила съ нимъ нѣсколько минутъ и опять уѣхала.

А затѣмъ начинается пробѣлъ, который объяснится слѣдующею главою.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Великое переселеніе народовъ и вообще глава, резюмирующая первую книгу.

Обширная пойма, на которую выходили два окна залы Гловацкихъ, снова была покрыта бѣлымъ, пушистымъ снѣгомъ, и просвирнина гусыня снова растаскивала за ноги посѣдѣвшихъ гренадеровъ.

Въ домѣ смотрителя всѣ ходили на цыпочкахъ и говорили вполголоса. Петръ Лукичъ былъ очень трудно боленъ.

Стоялъ сумрачный декабрскій день и порошилъ снѣгъ; на дворѣ было два часа.

Женни, по обыкновенію, сидѣла и работала у окна. Глаза у нея были наплаканы до-красна и даже нѣсколько припухли.

Въ дверь, запертую изнутри передней, послышался легкій, осторожный стукъ. Женни встала, утерла глаза и отперла переднюю.

Вошелъ Вязмитиновъ.

— Что?—спросилъ онъ, снимая пальто.

— Ничего: все то же самое,—отвѣчала Женни и тихо пошла къ своему столику.

— Папа не спалъ всю ночь и теперь уснулъ очень крѣпко,—сказала Женни, не поднимая глазъ отъ работы.

— Это хорошо. А докторъ былъ сегодня?

— Нѣтъ не былъ; да что, онъ кажется...

— Ничего не понимаетъ, вы хотите сказать?

— Не знаю, и вообще онъ какъ-то не внушаетъ къ себѣ довѣрія. Папа тоже на него не полагается. Вчера съ вечера онъ все бредилъ, звалъ Розанова.

— Да, теперь Розанова по-неволѣ вспомнишь.

— Его всегда вспомнишь, не только теперь. Вы давно не получали отъ него извѣстія?

— Давно. Я всего только два письма имѣлъ отъ него изъ Москвы; одно вскорѣ послѣ его отъѣзда, такъ въ концѣ сентября, а другое въ октябрѣ; онъ на мое имя выслалъ дочери какія-то бездѣлушки.

— А вы ему давно писали?

— Тоже давно.

— Зачѣмъ же вы не пишете?

— Да о чемъ писать-то, Евгенія Петровна?

Разговоръ на нѣсколько минутъ прекратился.

— Я тоже давно не имѣю о немъ никакого извѣстія: Лиза и о себѣ почти ничего не пишетъ.

— Что она, въ самомъ дѣлѣ, тамъ дѣлаетъ? Вѣдь навѣрное же докторъ у нихъ бываетъ.

— Богъ ихъ знаетъ. Я знаю только одно, что мнѣ очень жаль Лизу.

— И кто бы могъ думать?.. проговорила про себя Женни послѣ нѣкоторой паузы.—Кто бы могъ думать, что все пойдетъ такъ какъ-то... Странно какъ идетъ нынче жизнь!

— Каждому, Евгенія Петровна, его жизнь кажется и странною и трудною.

— Ну, нѣтъ. Всѣ говорятъ, что нынче какъ-то все пошло скорѣе, что ли, или тревожнѣе.

— Старымъ людямъ всегда представляется, что въ ихъ время все было какъ-то умнѣе и лучше. Конечно, у всякаго времени свои стремленія и свои заботы: климатъ и тотъ мѣняется. Но только во всемъ, что произошло около насъ съ тѣхъ поръ, какъ вы дома, я не вижу ничего, что

было бы изъ ряда вонъ. Зарницынъ женился на Кожуховой,—это дѣло самое обыкновенное. Мужъ ея умеръ, она стала увядать, исторія съ княземъ стала ей надоѣдать, а Зарницынъ молодъ, хорошъ, говорить умѣетъ, отчего-жъ ей было не женить его на себѣ? Бахаревы уѣхали въ Москву, да отчего-жъ имъ было и не ѣхать туда, имѣя деньги и дочерей-невѣстъ? Розановъ уѣхалъ потому, что тутъ ужъ его совсѣмъ дошли.

— То-то все и странно. Зарницынъ все толковалъ о свободѣ дѣйствій, о трудѣ и женился такъ, какъ-то...

— Не безпокойтесь о немъ: онъ очень счастливъ и либералъ еще болѣе, чѣмъ когда-нибудь. Что-жъ ему. Кожухова еще и теперь очень мила, деньги есть, вездѣ приняты. Бахаревы...

— Я о нихъ не говорю,—осторожно предупредила Женни.

— Ну, а доктору нельзя было оставаться.

— Отчего же нельзя? развѣ, думаете, ему тамъ лучше?

— Конечно, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Тутъ было все: и недостатки, и необходимость пользоваться источниками доходовъ, которые ему всегда были гадки, и вражда внѣ дома, и вражда въ домѣ: вѣдь это каторга! Я не знаю, какъ онъ до сихъ поръ терпѣлъ.

— Странная его барыня,—проговорила Женни.

— Да-съ, это звѣздочка! Сколько она скандаловъ надѣлала, Боже ты мой! То убѣжитъ къ отцу, то къ сестрѣ; перевозитъ да переноситъ по городу свои вещи. То расходится, то сходится. Люди, которымъ Розановъ сапогъ бы своихъ не далъ чистить, вонъ, напримѣръ, какъ Саренкѣ, благодаря ей хозяйничали въ его домашней жизни, давали совѣты, читали ему нотаціи. Развѣ это можно вынести?

— Да что, она не любитъ, что ли?

— А Богъ ее вѣдаетъ! Ее никакъ разобрать нельзя. Ее вѣдь если разспросить по совѣсти, такъ она и сама не знаетъ изъ-за чего у нея сыръ-боръ горитъ.

— Не хотятъ уступить другъ другу. Ему бы ужъ поравнодушнѣй смотрѣть на нее, что ли?

— Да вѣдь нельзя же, Евгенія Петровна, чтобъ онъ одобрялъ ея чудотворства. Чужимъ людямъ это случай свои гуманныя словеса въ ходъ пустить, а вѣдь ему они больны.

— Да, это правда, проронила съ сожалѣніемъ Женни и замѣтила послѣ короткой паузы:—а все-таки она жалка.

— Ни капли она мнѣ не жалка.

Женни покачала неодобрительно головою.

— Право, подтвердилъ Вязмитиновъ:—что тутъ жалѣть палача. Скверная должность, да вѣдь сама такую выбрала.

— Вы думаете—она злая?

— Прежде я этого не думалъ, а теперь утверждаю, что она женщина злая.

— И какъ же онъ ее именно выбралъ?

— Что выбралъ, Евгенія Петровна! Русскій человѣкъ зачастую сапоги покупаетъ осмотрительнѣе, чѣмъ женится. А вы то скажите, что вѣдь Розановъ молодъ и для него возможны не безнадежныя привязанности, а вотъ сколько лѣтъ его знаемъ, въ этомъ родѣ ничего похожаго у него не было.

Женни промолчала.

— Вы не припомните, Николай Степановичъ, когда докторъ сталъ собираться ѣхать въ Москву?—спросила Женни послѣ долгой паузы.

— Не помню, право. Да онъ и не собирался, а какъ-то разомъ въ одинъ день уѣхалъ.

— Это было послѣ того, какъ пріѣзжала сюда Лиза и говорила, что братъ Ольги Сергѣевны выписываетъ ихъ въ Москву.

— Не помню, право. У меня плохая память, да я и не видалъ никакой связи въ этихъ событіяхъ.

И я тоже... Я только такъ спросила.

— Я не замѣтилъ, какъ это все разсыпалось и мы съ вами остались одни.

— Да,—задумчиво произнесла Женни.

— Вамъ говорилъ Помада, что и онъ собирается въ Москву?

— Говорилъ, —отвѣчала спокойно Женни.

— Сидѣлъ, сидѣлъ сиднемъ въ Меревѣ, а тутъ разошелся,—замѣтилъ Вязмитиновъ.

Гловацкій кашлянулъ въ своемъ кабинетѣ.

Женни встала, подошла на цыпочкахъ къ его двери, послушала и черезъ пять минутъ возвратилась и снова сѣла на свое мѣсто.

Въ комнатѣ было совершенно тихо.

Женни дошила нитку, вдернула другую и, взглянувъ на Вязмитинова, стала шить снова.

Вязмитиновъ долго сидѣлъ и молчалъ, не сводя глазъ съ Женни.

— Въ самомъ дѣлѣ, я какъ-то ничего не замѣчалъ, началъ онъ, какъ бы разговаривая самъ съ собою. — Я видѣлъ только себя, и ни до кого остальныхъ мнѣ не было дѣла.

Женни спокойно шила.

— Въ жизни каждаго человѣка хоть разъ бываетъ такая пора, когда онъ бываетъ эгоистомъ,—продолжалъ Вязмитиновъ тѣмъ же тономъ, нѣсколько сконфуженно и робко.

— Не должно быть такой поры,—замѣтила Женни.

— Когда человѣкъ... когда человѣку... одно существо начинаетъ замѣнять весь міръ, въ его головѣ и сердцѣ нѣтъ мѣста для этого міра.

— Это очень дурно.

— Но это всегда такъ бываетъ.

— Можетъ быть и не всегда. Почему вы можете знать, что происходитъ въ чужомъ сердцѣ? Вы можете говорить только за себя.

Вязмитиновъ порывисто всталъ и хотѣлъ ходить по комнатѣ.

Женни остановила его среди залы, сказавъ:

— Сядьте, пожалуйста, Николай Степановичъ; папа очень чутко спитъ, его могутъ разбудить ваши шаги, а это ему вредно.

— Простите, Бога ради,—сказалъ Вязмитиновъ и снова сѣлъ противъ хозяйки.

— Евгенія Петровна!—началъ онъ, помолчавъ.

— Что?—спросила, взглянувъ на него, Женни.

— Я васъ давно хотѣлъ спросить...

— Спрашивайте.

— Вы мнѣ будете отвѣчать искренно, откровенно?

— Franchement?—спросила Женни съ легкой улыбкой, которая мелькнула по ея лицу и тотчасъ же уступила мѣсто прежнему грустному выраженію.

— Нѣтъ, вы не смѣйтесь. То, о чемъ я хочу спросить васъ, для меня вовсе не смѣшно, Евгенія Петровна. Здѣсь дѣло идетъ о счастьѣ цѣлой жизни.

Женни слегка смутилась и сказала:

— Говорите.

А сама нагнулась къ работѣ.

— Я хотѣлъ вамъ сказать.... и я не вижу, зачѣмъ мнѣ молчать далѣе... Вы сами видите, что... я васъ люблю.

Женни покраснѣла какъ маковъ цвѣтъ, еще пристальнѣе потупила глаза въ работу и игла быстро мелькала въ ея ручкѣ.

— Я люблю васъ, Евгенія Петровна, повторилъ Вязмитиновъ:—я хотѣлъ бы быть вашимъ другомъ и слугою на цѣлую жизнь... Скажите-же, скажите одно слово!

— Какое вы странное время выбрали!—могла только выговорить совершенно смущенная Женни.

— Развѣ не все равно время?

— Нѣтъ, не все равно: мой отецъ боленъ, можетъ быть опасенъ, и вы въ такую минуту вызываете меня на отвѣтъ о... личныхъ чувствахъ. Я теперь должна заботиться объ отцѣ, а не... о чемъ другомъ.

— Но развѣ я не заботился бы съ вами о вашемъ отцѣ и о васъ? Вашъ отецъ давно знаетъ меня, вы тоже знаете, что я люблю васъ.

Гловацкая не отвѣчала.

— Евгенія Петровна!—началъ опять еще покорнѣе Вязмитиновъ!—я вѣдь ничего не прошу: я только хотѣлъ бы

услышать изъ вашихъ устъ одно, *одно* слово, что вы не оттолкнете моего чувства.

— Я васъ не отталкиваю,—прошептала Женни, и на ея шитье скатились двѣ чистыя слезки.

— Такъ вы любите меня?—счастливо спросилъ Вязмитиновъ.

— Какъ вамъ нужны слова! — прошептала Женни и, закрывъ платкомъ глаза, быстро ушла въ свою комнату.

Петру Лукичу послѣ покойнаго сна было гораздо лучше. Онъ сидѣлъ въ постели, обложенный подушками, и пилъ потихоньку воду съ малиновымъ сиропомъ. Женни сидѣла возлѣ его кровати; на столикѣ горѣла свѣча подъ зеленымъ абажуромъ.

Въ восемь часовъ вечера пришелъ Вязмитиновъ.

— Вотъ, Евгенія Петровна, началъ онъ послѣ перваго привѣтствія,—Розановъ-то нашъ легокъ на поминѣ. Только поговорили о немъ сегодня, прихожу домой, а отъ него письмо.

— Что-жъ онъ пишетъ вамъ? — спросила Женни, нѣсколько конфузясь того, о чемъ сегодня говорили.

— Ему прекрасно: онъ опредѣлился ординаторомъ въ очень хорошую больницу, работаетъ, готовитъ диссертацію, и тамъ въ больницѣ и живетъ. Кромѣ того перезнакомился тамъ съ разными знаменитостями, съ литераторами, съ артистами. Его очень обласкала извѣстная маркиза де-Бараль; она очень извѣстная, очень просвѣщенная женщина. Ну, и другія около нея, все ужъ такъ срушировано, конечно. И въ другихъ кружкахъ. говоритъ, встрѣтилъ отличныхъ людей, честныхъ, энергическихъ. Удивляюсь, говоритъ, какъ я могъ такъ долго вязнуть и гнить въ этомъ болотѣ.

— Ну, это для насъ, куликовъ-то, небольшой комплиментъ, проговорилъ слабымъ голосомъ больной старикъ.

— А о Лизѣ онъ ничего не пишетъ? — спросила уже смѣлѣе Женни.

— Пишетъ, что видѣлся съ нею и со всѣми, но далеко, говоритъ, живу, и дѣла много.

— Что-жъ это за маркиза де-Бараль?

— Это извѣстность.

— Молодая она женщина?

— Нѣтъ, судя по тому, сколько лѣтъ ее знаютъ всѣ, она должна быть очень немолодая: ей, я думаю, лѣтъ около пятидесяти.

Прошли святки и время уже подходило къ масленицѣ Былъ опять вечеръ.

Гловацкій обмогался; онъ сидѣлъ на постели и перетиралъ деревянною ложечкою свой нюхательный табакъ на синемъ чайномъ блюдцѣ, а Женни сидѣла у свѣчки съ зеленымъ абажуромъ и читала вслухъ книгу.

Вязмитиновъ вошелъ, поздоровался и сказалъ:

— Знаете, какая новость? Идучи къ вамъ, встрѣтился съ madame Розановой, и она мнѣ возвѣстила, что ѣдетъ надняхъ къ мужу.

— Въ Москву? — спросили въ одно слово смотритель и его дочь.

— Что-жъ это будетъ? спросила Женни, поднеся къ губамъ тоненькій мизинецъ своей ручки.

— Да, любопытенъ бы я былъ, какъ выражается Саренко, видѣть, что тамъ теперь творится въ Москвѣ? произнесъ съ улыбкою Вязмитиновъ.

По мнѣнію Женни, шутливый тонъ не долженъ былъ имѣть мѣста при этомъ разговорѣ, и она, подвинувъ къ себѣ свѣчки, начала вслухъ прерванное чтеніе новаго тома русской исторіи Соловьева.

Въ Москву, читатель.

КНИГА ВТОРАЯ.

ВЪ МОСКВѢ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Дальнее мѣсто.

Даже въ такія зимы, когда овесъ въ Москвѣ бывалъ по два съ полтиной за куль, навѣрно никому не удавалось нанять извозчика въ Лефортово дешевле, какъ за тридцать копѣекъ. Въ Москвѣ ужъ какъ-то укрѣпилось такое убѣжденіе, что Лефортово есть самое дальнее мѣсто *отовсюду*.

Авторъ «*Капризовъ и Раздумья*» позволяетъ себѣ настаивать на томъ, что на землѣ нѣтъ ни одного далекаго мѣста, которое не было бы откуда нибудь близко. Можно полагать, что выводъ этотъ не лишенъ своей доли основательности, потому что если бы его можно было опровергнуть на основаніи общихъ данныхъ, то ужъ это давно не преминули бы сдѣлать наши ученые. Но въ разсужденіи Лефортова выводъ этотъ перестаетъ имѣть общее значеніе. По крайней мѣрѣ, онъ не можетъ имѣть этого значенія для непосредственной Москвы, въ которой до Лефортова рѣшительно *отовсюду* далеко.

Въ одно погожее августовское утро, по улицамъ, прилегающимъ къ самому Лефортовскому дворцу, шелъ нашъ знакомый докторъ Розановъ. По медленности, съ которою онъ разсматривалъ оригинальный фасадъ стараго дворца и

читалъ нѣкоторыя надписи на воротахъ домовъ, можно бы подумать, что онъ гуляетъ отъ нечего дѣлать, или пщетъ квартиры.

Постоявъ передъ дворцомъ, онъ повернулъ въ длинную улицу налѣво и опять сталъ читать приклеенныя у воротъ бумажки. Одною изъ нихъ объявлялось, что «сдесь отдаюца чистые, сухіе углы съ жильцами», другою, что «отдаеца большая кухня въ видѣ комнаты у Авдотьи Аликсѣвны, спросить у прачку», и т. п. Наконецъ, надъ одною калиткой докторъ прочелъ: «Слѣдственный приставъ».

Докторъ вынулъ изъ кармана записную книжку, взглянулъ на сдѣланную тамъ замѣтку, потомъ посмотрѣлъ на домъ, на табличку и вошелъ во дворъ.

Домъ этотъ былъ похожъ на многіе дома лефортовской части. Онъ былъ деревянный на каменномъ полуэтажѣ. По улицѣ онъ выходилъ въ пять оконъ, во дворъ въ четыре, съ подъѣздомъ сбоку. Каменный полуэтажъ былъ густо выбѣленъ мѣломъ, а деревянный верхъ выкрашенъ грязновато-желтою охрой.

Надъ дверью деревяннаго подъѣзда опять была дощечка съ надписью: «Слѣдственный приставъ»; въ нижній этажъ вело особое крылечко, устроенное посреди задней части фасада. Налѣво былъ низенькій флигелекъ въ три окна, но съ двумя крыльцами. По ушатамъ, стоявшимъ на этихъ крыльцахъ, можно было догадаться, что это кухни. Далѣе шелъ длинный дровяной сарайчикъ, примкнутый съ сосѣдскому забору, и собачья конура съ круглымъ лазомъ.

Тощая цѣпная собака, завидя Розанова, громыхнула цѣпью, выскочила и залаяла.

Докторъ дернулъ за веревочку у подъѣзда съ надписью: «Слѣдственный приставъ».

Черезъ минуту крючекъ упалъ и въ растворенной двери Розановъ увидѣлъ очень хорошенькую и очень чисто одѣтую семилѣтнюю дѣвочку съ кудрявой русой головкой и съ ямками на розовыхъ щечкахъ.

— Что вамъ надо?—шепелявя, спросилъ ребенокъ.

— Пристава мнѣ нужно видѣть,—отвѣчалъ докторъ.

— Папа одѣваются.

— Пожалуйте, пожалуйте, Евграфъ Ѳедоровичъ сейчасъ выйдутъ, — крикнулъ сверху веселый женскій голосъ изъ разряда свойственныхъ молодымъ москвичкамъ пріятныхъ, хотя и довольно рѣзкихъ контральтовъ.

Докторъ взглянулъ наверхъ. Надъ лѣстницею, въ свѣтлой стеклянной галлереѣ стояла довольно миловидная, молодая, бѣлокурая женщина, одѣтая въ голубую холстинковую блузу. Передъ нею на гвоздикѣ висѣлъ форменный вицмундиръ, а въ рукахъ она держала тонкій широкій вѣникъ изъ зеленаго клоповника.

— Что бы это за особа такая?—подумалъ Розановъ, но женщина тотчасъ же помогла его раздумью.

— Мужъ сейчасъ выйдетъ, пожалуйте пока въ залу,— сказала она своимъ звонкимъ контральтомъ, указывая вѣникомъ на двери, выкрашенныя сѣрою масляною краскою.

— А ничего, миленькая,—подумалъ Розановъ и, поклонясь хозяйкѣ, вошелъ въ довольно темную переднюю, изъ которой были открыты двери въ свѣтленькую залицу.

Въ залѣ было довольно чисто. Въ углу стояло фортепіано, по стѣнамъ ясеневые стулья съ плетенками, вязаныя занавѣски на окнахъ и двѣ клѣтки съ веселыми канарейками.

Докторъ не успѣлъ осмотрѣться, какъ въ одну изъ боковыхъ дверей мужской голосъ крикнулъ:

— Даша! что-жъ вицмундиръ-то?

— Сейчасъ, Евграфъ Ѳедоровичъ, сейчасъ, — отвѣтилъ контральтъ изъ галлереи.

— Да гдѣ твоя Устинья?

— Въ лавку побѣжала. Всѣ мурашки у соловья вышли: послала мурашекъ купить.

Дверь пріотворилась и на порогѣ въ залу показался еще довольно молодой человѣкъ съ южно-русскимъ лицомъ. Онъ былъ въ одномъ жилетѣ и, выглянувъ, тотчасъ спрятался назадъ и проговорилъ:

— Извините.

— Ничего, ничего, Евграфъ, выходи, пожалуйста, поскорѣе,—произнесъ Розановъ, направляясь къ двери.

Приставъ выглянулъ, посмотрѣлъ нѣсколько мгновеній на доктора и, крикнувъ:

— Розановъ! дружище! ты ли это?—бросился ему на шею.

Слѣдственный приставъ, Евграфъ Ѳедоровичъ Нечай, былъ университетскій товарищъ Розанова. Хотя они шли по разнымъ факультетамъ, но жили вмѣстѣ и были большіе пріятели.

— Откуда ты взявся?—спрашивалъ Нечай, вводя Розанова въ свой незатѣйливый кабинетъ.

— Мѣста пріѣхалъ искать,— отвѣчалъ Розановъ, чувствуя самую непріятную боль въ сердцѣ.

— Охъ, эти мѣста, мѣста!—проговорилъ Нечай, почесывая въ затылкѣ.

— И не говори.

— А протэкцыи маешь?

Нечай имѣлъ общую многимъ малороссамъ черту. Не смотря на долгое пребываніе въ Москвѣ, онъ любилъ мѣшать свою русскую рѣчь съ малороссійскою, а если съ кѣмъ могъ, то и совсѣмъ говорилъ по-малороссійски. Докторъ же свободно понималъ это нарѣчіе и кое-какъ могъ на немъ объясняться по нуждѣ, или шутки ради.

— Ни, братику, жаднои не маю,—отвѣчалъ докторъ.

— Это кепсько.

— Ну, якъ зауважишь.

— А со всей фамиліей придрапавъ?

— Нѣтъ, семья дома осталась.

— Ну, это еще байдуже; а вотъ якъ бы у купи, то вай, вай, вай... лягай, та и помри, то шкоды только-жъ.

— Нѣтъ, я одинъ здѣсь,— невесело проронилъ докторъ.

— И давно?

— Вотъ ужъ другая недѣля.

— Что-жъ ты дося ховався?

— Да такъ. То въ университетъ ходилъ, то адреса твоего не зналъ. Да и вообще какъ-то...

— Ты коллежка не спѣши носъ-то вѣшать; живы будемъ и хлиба добудемъ. А ты съ моей бабой, вѣдь, не знакомъ?

— Нѣтъ; когда-жъ я тебя видѣлъ? Я даже не зналъ, что ты и женился.

— Даша! крикнулъ Нечай.

Вошла молодая женщина, встрѣтившая Розанова на лѣстницѣ.

— Вотъ тебѣ моя московка: баба добрая, жалѣетъ меня: поздоровъ ее Боже за это. Это мой старый товарищъ, Даша,—отнесся Нечай къ женѣ.

— Очень рада,—произнесла привѣтливо жена Нечая.— Вы гдѣ остановились?

— Я у Челышева.

— Это возлѣ театра, знаю; дорого тамъ?

— Да... такъ себѣ.

— Ты что платишь?

— Да по рублю въ сутки.

— Фю, фю, фю! Этакъ братъ тебѣ накладно будетъ.

— Вы бы искали квартирку постоянную.

— Да не знаю еще зачѣмъ искать-то? — отвѣтилъ докторъ.—Можетъ быть въ Петербургъ придется ѣхать.

— А вы какъ тутъ: по дѣламъ?

Розановъ разсказалъ въ короткихъ словахъ цѣль своего появленія въ Москвѣ.

— Да, такъ, конечно, пока что будетъ, устроиваться нельзя, замѣтила жена Нечая и сейчасъ же добавила: — Евграфъ Ѳедоровичъ! да что вы къ намъ-то ихъ, пока что будетъ, не пригласите? Пока что будетъ, пожили бы у насъ, обратилась она привѣтливо къ Розанову.

Такой это былъ простой и искренній привѣтъ, что не смѣшалъ онъ доктора и не сконфузилъ, а только съ самаго его пріѣзда въ Москву отъ этихъ словъ ему впервые сдѣлалось веселѣе и отраднѣе.

— И до правди! Ай да Дарья Аѳанасьевна, что ты у меня за умница. Чего, въ самомъ дѣлѣ: переѣзжай, Розановъ; часомъ съ тобою въ шахи заграемъ, часомъ старину вспомнимъ.

Докторъ отговаривался, а потомъ согласился, выговорилъ себѣ только, однако, право платить за столъ.

Въ существѣ, онъ плохо и отговаривался. Простая теплота этихъ людей манила его въ ихъ тихій уголокъ изъ грязнаго челышевскаго нумера.

— А вотъ тебѣ мое потомство, рекомендовалъ Нечай, подводя къ Розанову кудрявую дѣвочку и коротко остриженнаго мальчика лѣтъ пяти.—Это Милочка, первая наслѣдница, а это Грицко Голопупенко, второй экземпляръ, а тамъ въ спальнѣ есть третій, а четвертаго Дарья Аѳанасьевна еще не показываетъ.

— Ого, братъ!—проговорилъ Розановъ.

— Да, братику, Господь памятуетъ, — отвѣчалъ Нечай крякнувъ и отпуская дѣтей.

— А гроши есть?

— Чортъ ма. Ничего нѣтъ.

— Какъ же живешь?

— А отъ и живу, якъ горохъ при дорози.

— И мѣсто у тебя непріятное такое.

— И не кажи лучше. Сказываю тебѣ: живу, якъ горохъ при дорози: кто йда, то и скубне. Э! Бодай она неладна була ся жисть проклятая, якъ о ней думать. Отъ пожалѣлъ еще Господь, что жену далъ добрую; а то бы, просто, хоть повѣситься.

— Доходовъ нѣтъ?

— Бываетъ иной разъ, да что это!..

— Погано, братъ, знаю, что погано.

— А нельзя и безъ того.

— Знаю.

Пріятели оба вздохнули.

— У тебя жена здѣшняя?—спросилъ Розановъ.

— Здѣшняя; дьяконская дочь съ Арбата. А ты, Дмитрій, счастливъ въ семьѣ?

— Да, ничего,—отвѣчалъ докторъ, стараясь смотрѣть въ сторону.

Въ тотъ же день Розановъ передъ вечеромъ переѣхалъ изъ челышевскихъ нумеровъ къ Нечаю и поселился въ его кабинетѣ, гдѣ Дарья Аѳанасьевна поставила желѣзную кровать, ширмы и маленькій комодецъ.

Докторъ былъ очень тронутъ этимъ теплымъ вниманіемъ и, прощаясь послѣ ужина, крѣпко пожалъ хозяевамъ руку.

— А этотъ вашъ пріятель, Евграфъ Ѳедоровичъ, очень несчастливъ чѣмъ-то,—говорила мужу, раздѣваясь, Дарья Аѳанасьевна.

— Почему ты такъ думаешь, Даша?

— Да такъ, я ужъ это вижу. Какъ онъ вечеромъ сталъ ласкать нашу Милочку, я сейчасъ увидала, что у него въ жизни есть большое несчастье.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Первые дни и первыя знакомства.

Нечай только напрасно разсчитывалъ вспоминать съ Розановымъ на свободѣ старину или играть съ нимъ въ шахи. Ни для того, ни для другого у него не было свободнаго времени. Утро выгоняло его изъ дома и поздній вечеръ не всегда заставалъ его дома.

Тяжелая, неблагодарная, безпокойная и многоотвѣтственная служба поглощала все время пристава. Она не дозволяла ему даже налюбоваться семьею, для которой онъ былъ былъ и слугой, и кормильцемъ. Даже, возвратясь домой, онъ не имѣлъ свободнаго времени. Все корпѣлъ онъ надъ своими запутанными и перепутанными слѣдственными дѣлами.

Дарью Аѳанасьевну очень огорчала такая каторжная жизнь мужа. Она часто любила помечтать, какъ бы имъ выбиться изъ этой проклятой должности, а самъ Нечай

даже ни о чемъ не мечталъ. Онъ везъ, какъ ломовая лошадь, которая, шатаясь и дрожа, вытягиваетъ возъ изъ одного весенняго зажора, для того, чтобы попасть съ нимъ въ другой, потому что свернуть въ сторону некуда.

Благодаря строгой бережливости Дарьи Аѳанасьевны, въ домѣ Нечая не было видно грязной, неряшливой нужды, но концы едва-едва сходились съ концами и чистенькая бѣдность была видна каждому, кто умѣлъ бы повсмотрѣться въ дѣтскія платьица и перештопанные холстинковые капотики самой Дарьи Аѳанасьевны.

Сравнивая повременамъ здѣшнюю жизнь съ своею уѣздною, Розановъ находилъ, что тутъ живется гораздо потруднѣе, и переполнялся еще большимъ почтеніемъ и благодарностью къ Нечаю и особенно къ его простодушной женѣ. Съ ней они съ перваго же дня стали совершенно своими людьми и довѣрчиво болтали другъ съ другомъ обо всемъ, что брело на умъ.

Въ концѣ второй недѣли послѣ пореѣзда къ Нечаямъ, докторъ, рывшійся каждый день въ своихъ книгахъ и запискахъ, сшилъ изъ бумаги большую тетрадь и сталъ писать психіатрическую диссертацію. Наверху, подъ заглавіемъ, Розановъ выставилъ очень красивое мѣсто изъ апофтегмъ Гиппократа: «Quod medicamenta non sanat ignis sanat, quod ignis non sanat ferrum sanat, quod ferrum non sanat mors sanat». *Hippocrates: Apophthegmata.* То есть: чего не вылѣчиваютъ лѣкарства—вылѣчиваетъ огонь; чего не вылѣчиваетъ огонь—вылѣчиваетъ желѣзо; чего не вылѣчиваетъ желѣзо—вылѣчиваетъ смерть».

Но на этомъ и стала докторская диссертація лѣкаря cum euximia laude Дмитрія Розанова. Скоро ему стало не до диссертаціи.

Въ томъ каменномъ полуэтажѣ, надъ которымъ находилась квартира Нечая, было также пять жилыхъ комнатъ. Три изъ нихъ занимала хозяйка дома, штабсъ-капитанша Давыдовская, а двѣ нанималъ корректоръ одной большой московской типографіи, Ардаліонъ Михайловичъ Араповъ

Давыдовская была дородная, бѣлокурая барыня съ проборомъ на боку, съ побѣдоноснымъ взоромъ, веселымъ лицомъ, полнымъ подбородкомъ и обиліемъ всякихъ тѣлесъ. Она была природная дѣдичка своего дома и распоряжалась имъ полновластною госпожею.

Всѣ знали, что у Давыдовской былъ нѣкогда мужъ, маленькій, черненькій человѣчекъ, ходившій по праздникамъ въ мундирѣ, съ узенькими фалдочками и въ треугольной шляпѣ, съ чернымъ перомъ. Но съ давнихъ поръ это маленькое существо перестало показываться въ своемъ мундирчикѣ со шляпою на головѣ и о немъ всѣ позабыли. Никуда не уѣзжалъ мужъ Давыдовской и не выносили его на кладбище, а такъ не стало его видно, да и только. И никто о немъ не толковалъ. Если, бывало, кому-нибудь изъ сосѣдокъ доводилось, проходя мимо дома Давыдовской, увидать, какъ она стоитъ съ длиннымъ чубукомъ въ одной рукѣ, а другою рукою обираетъ сухіе листья съ волкомеріи, то сосѣдка только замѣчала: «а вѣдь Давыдовчихинъ мужъто должно что еще живъ», и всякая совершенно довольствовалась этимъ предположеніемъ. А дѣло было въ томъ, что всѣми позабытый штабсъ-капитанъ Давыдовскій восьмой годъ преспокойно валялся безъ рукъ и ногъ въ параличѣ и любовался, какъ полнѣла и добрѣла во всю мочь его грозная половина, съ утра до ночи курившая трубку съ длиннымъ черешневымъ чубукомъ и кропотавшаяся на семнадцатилѣтнюю дѣвочку Липку, имѣвшую нарочитую склонность къ истребленію зажигательныхъ спичекъ, которыя вдова Давыдовская имѣла другую слабость тщательно хранить на своемъ образникѣ, какъ нѣкую особенную драгоцѣнность, или святыню.

Кромѣ этой слабости, штабсъ-капитанша имѣла двѣ другія: она терпѣть не могла всякое начальство въ огулѣ и рабски обожала всѣхъ молодыхъ людей. Начальство она ненавидѣла искони: всѣхъ начальствующихъ лицъ, какого бы они сана и возраста ни были, называла почему-то «Моркобрунами» и готова была всегда устроить имъ ка-

кую-нибудь пакость. Эта ненависть штабсъ-капитанши особенно проявлялась въ разговорахъ о пенсіяхъ, и въ сопротивленіи всякимъ объявленіямъ, доходящимъ до нея черезъ полицейскаго хожалаго. Она, напримѣръ, не позволяла дворнику мести тротуаровъ, когда это требовалось полиціею; не зажигала въ положенные дни плошекъ; не красила трубъ и вообще демонстрировала. Причина такого озлобленія штабсъ-капитанши противъ начальства лежала въ отказѣ, полученномъ ею на просьбу о полномъ пенсіонѣ за службу мужа. Раболѣпная же любовь къ молодежи имѣла, разумѣется, другія причины, до которыхъ намъ столько же дѣла, сколько разбитому параличемъ и недвижимому капитану. Люди толковали разное; но люди, какъ извѣстно, бываютъ иногда черезчуръ подозрительны. Дворникъ Антропъ Ивановичъ и Липка, и нечаевская кухарка Устинья даже порѣшили себѣ кое-что насчетъ тѣсной пріязни Давыдовчихи съ ея жильцомъ Араповымъ, но достовѣрно, что въ этомъ случаѣ они совершенно ошибались. Тутъ дѣло было совершенно чистое. Давыдовская любила Арапова просто потому, что онъ молодъ, что съ нимъ можно врать всякую скоромь и, сидя у него, можно встрѣчаться съ разными молодыми людьми.

Арановъ нанималъ у Давыдовской двѣ комнаты, въ которыя ходъ былъ, однако, изъ общей передней. Въ первой комнатѣ, съ диваномъ и двумя большими зеркалами, у него былъ гостиный покой, а во второй онъ устроилъ себѣ кабинетъ и спальню.

Кромѣ того, при этой задней, совершенно удаленной отъ всякаго сосѣдства, комнаткѣ въ стѣнѣ была маленькая дверь въ небольшой чуланчикъ съ каменнымъ погребомъ, въ которомъ у Арапова сидѣлъ на цѣпи злющій барсукъ.

Арапову было лѣтъ тридцать отъ роду. Это былъ плотный, довольно сильный человѣкъ, съ сверкающими черными глазами во впалыхъ орбитахъ, съ черными, какъ смоль, волосами, густою окладистою бородою и смуглымъ цыганскимъ лицомъ. Онъ былъ не глупъ, очень легкомысленъ, по началу предпріимчивъ, упрямъ и падокъ на рискъ. Вос-

питывался онъ въ одной изъ гимназій серединной губерніи, пріѣхалъ въ Москву искать счастья и, добывъ, послѣ долгихъ скитальчествъ, мѣсто корректора, доставлявшее ему около шестидесяти рублей въ мѣсяцъ, проводилъ жизнь довольно безпечную и о будущемъ нимало не заботился.

По своимъ средствамъ, онъ давно бы могъ перенестись изъ Лефортова въ другую, болѣе удобную часть Москвы, но ему никогда и въ голову не приходило разстаться съ Давыдовскою и вытаскивать изъ погреба прикованнаго тамъ барсука.

Кромѣ того, у Арапова, въ окрестностяхъ Лефортовскаго дворца и въ самомъ дворцѣ, было очень большое знакомство. Въ другихъ частяхъ города у него тоже было очень много знакомыхъ. По должности корректора, онъ зналъ многихъ московскихъ литераторовъ, особенно второй руки; водился съ музыкантами и вообще съ самою разнородною московскою публикою.

У нѣкоторыхъ дамъ онъ слылъ за очень умнаго человѣка и передъ ними обыкновенно печоринствовалъ.

И Давыдовская и ея постоялецъ были ежедневными посѣтителями Нечаевъ. Даже мало сказать, что они были *ежедневными* посѣтителими,—они вертѣлись тамъ постоянно, когда имъ некуда было дѣться, когда у себя имъ было скучно, или когда никуда не хотѣлось идти изъ дома.

Такимъ образомъ Розанову пришлось познакомиться съ этими лицами въ первый же день своего переѣзда къ Нечаю, потомъ онъ сталъ встрѣчаться съ ними по нѣскольку разъ каждый день, и они-то серьезно помѣшали ему приняться вплотную за свою диссертацію.

Не успѣетъ Розановъ усѣсться и вчитаться, вдуматься, какъ по лѣстницѣ идетъ Давыдовская, то будто бы покричать на нечаевскихъ дѣтей, рискующихъ сломать себѣ на дворѣ шею, то поругать мѣстнаго квартальнаго надзирателя или квартирную комиссію, то сообщить Дарьѣ Аѳанасьевнѣ новую сплетню на ея мужа. Придетъ, да и сядетъ, и куритъ трубку за трубкою.

Послѣ двухъ часовъ возвращался домой Араповъ. Онъ съ перваго же своего знакомства съ докторомъ удостоивалъ его своего особеннаго вниманія и, съ своей стороны, успѣлъ очень сильно заинтересовать Розанова собою.

Розановъ хотя былъ человѣкъ достаточно умный и достаточно опытный для того, чтобы не поддаваться излишнимъ увлеченіямъ, но все-таки онъ былъ провинціалъ. Араповъ стоялъ передъ нимъ какъ новый типъ и казался ему существомъ въ высшей степени загадочнымъ. То Араповъ ругаетъ на чемъ свѣтъ стоитъ все существующее, но ругаетъ не такъ, какъ ругалъ иногда Зарницынъ, по-фатски, и не такъ, какъ ругалъ самъ Розановъ, съ сознаніемъ какой-то неотразимой необходимости оставаться весь вѣкъ въ пассивной роли, — Араповъ ругался яростно, съ пѣною у рта, съ сжатыми кулаками и съ искрами неумолимой мести въ глазахъ, наливавшихся кровью; то онъ ходилъ по цѣлымъ днямъ, понуривъ голову, и только повременамъ у него вырываются безсвязныя, но грозныя слова, за которыми слышатся таинственные планы міровыхъ переворотовъ; то онъ начнетъ разспрашивать Розанова о провинціи, о духѣ народа, о настроеніи высшаго общества, и разспрашиваетъ придирчиво, до мельчайшихъ подробностей; внимательно вслушиваясь въ каждое слово и стараясь всему придать смыслъ и значеніе.

А то отправятся докторъ съ Араповымъ гулять ночью и долго бродятъ, Богъ знаетъ гдѣ, по пустыннымъ улицамъ, не боясь ни ночныхъ воровъ, ни усталости. Араповъ все идетъ тихо и вдругъ, ни съ того ни съ сего, сдѣлаетъ доктору такой вопросъ, что тотъ не знаетъ, что и отвѣтить, и еще болѣе убѣждается, что правленье корректуръ не составляетъ главной заботы Арапова.

Въ одну прелестную лунную ночь, такъ въ концѣ августа или въ началѣ сентября, они вышли изъ дома погулять и шагъ за шагомъ, молча, дошли до Театральной площади. Кто знаетъ Москву, тотъ можетъ себѣ представить, какой это былъ сломанъ путь.

Докторъ не замѣтилъ, какъ онъ прошелъ это разстояніе, на которомъ могла утомиться добрая почтовая лошадь. Онъ былъ далеко; ему рисовался покинутый имъ ребенокъ, рисовалось нерадостное будущее дитяти, съ полусумасшедшею отъ природы матерью. Не замѣтилъ онъ, какъ чрезъ Никольскія ворота вступили они въ Кремль, обошли Ивана Великаго и остановились надъ кремлевскимъ рвомъ, гдѣ тонула въ тѣни маленькая церковь, а вокругъ извивалась зубчатая стѣна съ оригинальными азіатскими башнями, а тамъ тихая Москва-рѣка, съ перекинутымъ черезъ нее Москворѣцкимъ мостомъ, а еще дальше облитое луннымъ свѣтомъ Замоскворѣчье и сіяющій куполъ Симонова монастыря.

О чемъ думалъ Араповъ — неизвѣстно, но, остановясь здѣсь, онъ вздохнулъ, окинулъ взоромъ широкую картину и, взявъ Розанова за руку, сказалъ:

— Нравится вамъ этотъ видикъ?

Докторъ, выйдя изъ своего забытья, молча взглянулъ кругомъ и отвѣчалъ:

— Да, очень хорошо...

— А что, началъ тихо Араповъ, крѣпко сжимая руку Розанова,—что, еслибы все это освѣтить другимъ свѣтомъ? Еслибы все это въ темную ночь залить огнемъ? Набатъ, кровь, зарево!..

— Было-бъ ужасно!

— Пришла пора!..

Во весь обратный путь они не сказали другъ съ другомъ ни слова.

Докторъ никакъ не могъ сообразить, для какихъ цѣлей необходимо залить Москву кровью и заревомъ пожара, но страшное выраженіе лица Арапова, когда онъ высказывалъ мысль и его загадочная таинственность въ эту ночь еще болѣе усилили обаятельное вліяніе корректора на Розанова.

— Что это за человѣкъ?—думалъ, засыпая на зорькѣ, докторъ и ему снилось Богъ знаетъ что. То по кремлевскимъ стѣнамъ гуляли молодцы Стеньки Разина, то въ огнѣ стонали какіе-то слабые голоса, гудѣлъ царь-колоколъ, стрѣ-

ляла царь-пушка, гдѣ-то пѣли по-французски марсельезу. Все это былъ какой-то хаосъ. Зачѣмъ это все? обращался докторъ къ проходившимъ людямъ, и люди ему ничего не отвѣчали. Они останавливались, снимали шапки, крестились передъ Спасскими воротами и надъ Кремлемъ попрежнему сіяло солнце, башенные часы играли «Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ», бронзовый Мининъ поднималъ подъ руку бронзоваго Пожарскаго, купцы Ножевой линіи, поспѣшно крестясь, отпирали лавки. Все было тихо; все жило тою жизнью, которою оно умѣло жить и которою хотѣло жить. Розановъ спалъ спокойно до полудня. Его разбудила черезъ дверь Дарья Аѳанасьевна.

— Вставайте, докторъ!—кричала ему она, стуча рукою:— стыдно валяться. Кофейку напьемтесь. У меня что-то маленькая куксится: натерла ей животикъ бабковою мазью, все не помогаетъ, опять куксится. Вставайте, посмотрите ее, пожалуйста: можетъ быть лѣкарства какого-нибудь нужно.

— Сейчасъ, Дарья Аѳанасьевна,—отвѣтилъ докторъ, и черезъ пять минутъ, совсѣмъ одѣтый, пришелъ въ спальню, гдѣ куксилась маленькая.

— Что съ нею?

— Ничего; дайте ревеньку, и ничего больше не надо.

— Гдѣ это вы всю ночь проходили, Дмитрій Петровичъ? А! Вотъ женѣ-то написать надо!—шутливо и ласково проговорила Дарья Аѳанасьевна.

— Мы такъ съ Араповымъ проходили,—отвѣчалъ докторъ.

Дарья Аѳанасьевна покачала головкою.

— Что вы?—спросилъ, улыбаясь, Розановъ.

— Да охота вамъ съ нимъ возиться.

— А что?

— Да такъ.

— Развѣ онъ нехорошій человѣкъ?

— Н... нѣтъ, я о немъ ничего дурного не знаю, только не люблю я его.

— Не любите! А мнѣ казалось, что вы съ нимъ всегда такъ ласковы.

— Да я ничего, только...

— Только не любите?—смѣясь договорилъ Розановъ.

— Да,—коротко отвѣтила Дарья Аѳанасьевна.

— За что же вы его не любите-то?

— Такъ,—актеръ онъ большой. Все только комедіи изъ себя представляетъ.

Прошло два дня. Араповъ нѣсколько разъ заходилъ къ доктору мрачный и таинственный, но не заводилъ никакихъ загадочныхъ рѣчей, а только держался какъ-то трагически.

— Что ты думаешь объ Араповѣ?—спросилъ однажды Розановъ Нечая, перебиравшаго на своемъ столѣ бумаги.

— О комъ?—наморщивъ брови, переспросилъ приставъ.

— Объ Араповѣ?—повторилъ докторъ.

— А бодай уси воны поиздыхали, — съ нетерпѣніемъ отозвался Нечай.

— Нѣтъ, серьезно?

— Такъ соби ледащица, якъ и уси.

— Ну, врешь, братъ, онъ парень серьезный,—возразилъ докторъ.

Нечай посмотрѣлъ на него и, засмѣявшись, спросилъ:

— Это онъ тебѣ не про революцію ли про свою нагородывъ? Слухай его! Ему тольки и дѣла, что побрехеньки свои распускать. Знаю я сію революцію-то съ московьскими панычами: пугу покажи имъ, такъ геть, геть—наче зайцы драпнутъ. Ты можэ чому и справди повиривъ? Плюнь, да перекрестысь. Се ма́ра. Нехай воны на сѣли дурятъ, гдѣ люди просты, а мы бачимо на чемъ свинья хвостъ носитъ. Это можэ у васъ тамъ на провинціи такъ заразъ и виру даютъ...

— Ну, нѣтъ, братъ, у насъ-то не очень. Поговорить—такъ, а что другое, такъ нѣтъ...

— Ну, о то-жъ само и тутъ. А ты думаешь, что якъ воны що скажутъ, такъ вже и Богъ зна що поробыться! Чертъ ма! Ничого не буде зъ московьскими панычами. Якъ

ту письню спиваютъ у нихъ: «Ножки тонки, бочка звонки, хвостикъ закорючкой». Хиба ты ихъ за людей зважаешь? Хиба отъ цэ люди? Цэ крученые панычи, та й годи.

Докторъ имѣлъ въ своей жизни много доводовъ въ пользу практическаго смысла Нечая и взялъ его слова, какъ говорятъ въ Малороссіи, «въ думку», но не усвоилъ себѣ нечаевскаго взгляда на дѣла и на личность Арапова, а продолжалъ въ него всматриваться внимательнѣе.

На той же недѣлѣ Розановъ передъ вечеромъ зашелъ къ Арапову. День былъ жаркій и Араповъ въ однихъ панталонахъ валялся въ своей спальнѣ на клеенчатомъ диванѣ.

Напротивъ его сидѣла Давыдовская, въ широчайшей холстинковой блузѣ, съ волосами, зачесанными по-дѣтски, сбоку, и курила свою неизмѣнную трубку.

И хозяйка, и жилецъ были въ духѣ и вели оживленную бесѣду. Давыдовская повторяла свой любимый разсказъ, какъ одинъ важный московскій генералъ пріѣзжалъ къ ней нѣсколько разъ въ гости и по три графина холодной воды выпивалъ, да такъ ни съ чѣмъ и отошелъ.

— Ну ты! Зачѣмъ ты сюда пришелъ?—смѣясь спросила Розанова штабсъ-капитанша.

Нужно замѣтить, что она всѣмъ мужчинамъ, послѣ самаго непродолжительнаго знакомства, говорила *ты* и звала ихъ полуименемъ.

— А что? помѣшалъ, что ли, чему?—спросилъ Розановъ.

— Да нечего тебѣ здѣсь дѣлать: ты вѣдь женатый,— отвѣчала смѣясь Давыдовская.

— Ничего, Прасковья Ивановна: онъ вѣдь ужъ три рѣки переѣхалъ,—примирительно замѣтилъ Араповъ.

— О! Въ самомъ дѣлѣ переѣхалъ? Ну, такъ ты, Митька, теперь холостой,—садись, братъ. Нашъ еси, воспляшемъ съ нами.

— О чемъ дѣло-то?—спросилъ садясь докторъ.

— Де вотъ! про людей говоримъ,—отвѣчалъ Араповъ.

— Ничего не понимаю,—отвѣчалъ докторъ.

— О, толкушка безтолковая! Ты, Арапка, куда его по ночамъ водишь?—перебила хозяйка.

— Куда знаю, туда и вожу.

— Кто-то тамъ безъ него къ его женѣ ходитъ?—спросила Давыдовская, смѣясь и подмаргивая Арапову.

Доктора непріятно кольнула эта наглая шутка: въ немъ шевельнулись и сожалѣніе о женѣ, и оскорбленная гордость, и унизительное чувство ревности, пережившей любовь.

Дорого далъ бы докторъ, чтобы видѣть въ эту минуту горько досадившую ему жену и избавить ее отъ малѣйшей возможности подобнаго намека.

— Моя жена не таковская, — проговорилъ онъ, чтобы сказать что нибудь и скрыть чувство ѣдкой боли, произведенное въ немъ наглымъ намекомъ.

— А ты почемъ знаешь? Ребята, что ли, говорили? смѣясь продолжала Давыдовская. — Нѣтъ, братъ Митюша, люди говорятъ: кто вѣритъ женѣ въ домѣ, а лошади въ полѣ, тотъ дуракъ.

— Мало ли сколько глупостей говорятъ люди!

— Да, люди глупы...

Доктора совсѣмъ передернуло, но онъ сохранилъ все наружное спокойствіе и, чтобы перемѣнить разговоръ, сказалъ:

— Не пройдемтесь ли немножко, Араповъ?

— Пожалуй,—отвѣчалъ корректоръ и сталъ одѣваться.

Давыдовская вышла, размахивая трубкой, которая у нея неудачно закурилась съ одной стороны.

Розановъ съ Араповымъ пошли за Лефортовскій дворецъ, въ поле. Вечеръ стоялъ тихій, безоблачный, по мостовой отъ Сокольниковъ изрѣдка трещали дрожки, а то все было невозмутимо кругомъ.

Докторъ легъ на землю, Араповъ послѣдовалъ его примѣру и, опустясь, запѣлъ изъ «Руслана»:

Поле, поле! кто тебя усѣялъ мертвыми костями?

— Какая у васъ всегда мрачная фантазія, Араповъ,— замѣтилъ сквозь зубы докторъ.

— Каково, батюшка, на сердцѣ, такова и пѣсня.

— Да что у васъ такое на сердцѣ?

— Горе людское, неправда человѣческая, — вотъ что! Проклятъ человѣкъ, который спокойно смотритъ на все, что происходитъ вокругъ насъ въ наше время. Надо помогать, а не сидѣть сложа руки. Настаетъ грозный часъ кроваваго разсчета.

— Зачѣмъ же кроваваго?

— Нѣтъ-съ, дудки! Кроваваго-съ, кроваваго...

— Не понимаю я, чего вы хотите.

— Правды хотимъ.

— Какая это правда,—кровью! Въ силѣ нѣтъ правды.

— Клинъ клиномъ-съ выбиваютъ,—пожавъ плечами, отвѣчалъ Араповъ.

— Да какой же клинъ-то вы будете выбивать?

— Враждебную намъ силу, силу, давящую свободныя стремленія лучшихъ людей страны.

— Эхъ, Араповъ! Все это мечтанія.

— Нѣтъ-съ, не мечтанія.

— Нѣтъ, мечтанія. Я знаю Русь не по писанному. Она живетъ сама по себѣ и ничего вы съ нею не подѣлаете. Если что дѣлать еще, такъ надо ладомъ дѣлать, а не на грудцы лѣзть. Никто съ вами не пойдетъ, и что вы мнѣ ни говорите, у васъ у самихъ-то нѣтъ людей.

— А можетъ быть и есть! Почемъ вы это знаете?

— Такъ, знаю, что нѣтъ. Я въ этомъ случаѣ Ѳома невѣрный.

— А если вамъ покажутъ людей?

— Что-жъ покажутъ! Покажутъ словесниковъ, такъ я ихъ и дома видывалъ.

— Нѣтъ, вы такихъ дома не видали...

— Ну, это будетъ новость, а я себѣ такого современнаго русскаго человѣка какъ-то не могу представить.

— Какіе вы всѣ, господа, странные, воскликнулъ Араповъ.—Зачѣмъ вамъ непремѣнно русскаго!

— Какъ же? Кому же до насъ дѣло, какъ не намъ самимъ?

— Отечество человѣческое безгранично.

Доктору вдругъ почему-то припомнился Райнеръ.

— Кто-жъ это будетъ нашимъ спасителемъ? Чужой человѣкъ, стало быть?

— Да, если хотите смотрѣть съ своей узкой, патріотической точки зрѣнія, это будетъ, можетъ статься, чужой человѣкъ.

— И вы его знаете?

— И я его знаю,—самодовольно отвѣтилъ Араповъ.

«Языня ты, братъ, въ самомъ дѣлѣ»,—подумалъ докторъ.

— И вы его можете узнать, — продолжалъ Араповъ, если только захотите и дадите слово быть скромнымъ.

— Я болтливъ никогда не былъ,—отвѣчалъ докторъ.

— Ну, такъ вы его увидите. Въ слѣдующій четвергъ вечеромъ пойдемте, я васъ введу въ одно общество, гдѣ будутъ всѣ свои.

— И тамъ будетъ этотъ *чужой человѣкъ*?

— И тамъ будетъ этотъ *чужой человѣкъ*,—отвѣчалъ съ удареніемъ Араповъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Чужой человѣкъ.

Въ одну темную и чрезвычайно бурную ночь 1800 года, черезъ озеро Четырехъ-Кантоновъ переплыла небольшая черная лодка. Отчаянный гребецъ держался направленія отъ кантона Швица къ Люцерну. Казалось, что въ такую пору ни одинъ смертный не рѣшился бы переплыть обыкновенно спокойное озеро Четырехъ-Кантоновъ, но оно было переплыто. Швицкій смѣльчакъ за полночь причалилъ къ одной деревушкѣ кантона Ури, привязалъ къ дереву наполненный до половины водою челнокъ и постучалъ въ двери небольшого, скромнаго домика. Въ одномъ окнѣ домика мелькнулъ огонь и къ стеклу прислонялось испуганное женское лицо. Пріѣзжій изъ Швица постучалъ еще разъ. Смѣлый мужской голосъ изъ-за двери спросилъ:

— Кто тамъ?

— Изъ Швица отъ ландсмана,—отвѣчалъ пріѣзжій.

Ему отперли дверь и вслѣдъ затѣмъ снова тщательно заперли ее крѣпкимъ засовомъ. Республика была полна французовъ и въ окрестностяхъ стояли гренадеры Серрюрье.

Посланецъ вынулъ изъ-за пазухи довольно большой конвертъ съ огромною офиціальною печатью и подалъ хозяину.

Конвертъ былъ весь мокрый, какъ и одежда человѣка, который его доставилъ, но расплывшіяся чернила еще позволяли прочесть содержаніе сложеннаго вчетверо квадратнаго листа толстой бумаги.

На немъ было написано:

«Любезный союзникъ!

«Утѣснители швейцарской свободы не знаютъ предѣловъ своей дерзости. Ко всѣмъ оскорбленіямъ, принесеннымъ ими на нашу родину, они придумали еще новое. Они покрываютъ насъ безчестіемъ и требуютъ выдачи нашего незапятнаннаго штандарта. Въ ту минуту, какъ я пишу къ тебѣ, союзникъ, пасторъ Фрицъ уѣзжаетъ въ Бернъ, чтобы отклонить враговъ республики отъ унизительнаго для насъ требованія; но если онъ не успѣетъ въ своемъ предпріятіи до полудня, то намъ, какъ и другимъ нашимъ союзникамъ, остается умереть, отстаивая наши штандарты.

«Во имя республики, призываю тебя, союзникъ, соверши молитву въ нашей церкви, вмѣсто пастора Фрица, и укрѣпи народъ твоею проповѣдью».

— Гдѣ моя Библія? — спросилъ пасторъ, сожигая на свѣчѣ записку.

— Ты ѣдешь?— отчаянно проговорила слабая женщина по-французски.

— Гдѣ моя Библія?—переспросилъ пасторъ.

— Боже Всемогущій! Но твое дитя, Губертъ! Пощади насъ!—опять проговорила пасторша.

— Ульрихъ! — крикнулъ пасторъ, слегка толкая спавшаго на кровати пятилѣтняго ребенка.

— Боже мой! Что ты хочешь, Губертъ?

— Я хочу взять моего сына.

— Губертъ! Куда? Пощади его! Я его не дамъ тебѣ: ты его не возьмешь; я мать, я не дамъ! — повторяла жена.

— Я отецъ и возьму его, — отвѣчалъ спокойно пасторъ, бросая ребенку его штаны и камзольчикъ.

— Мама, не плачь, я самъ хочу ѣхать,—утѣшалъ ребенокъ, выходя за двери съ своимъ отцомъ и швицкимъ посланнымъ.

Пасторъ молча поцѣловалъ жену въ голову.

— Зачѣмъ ты везешь съ собою ребенка?—спросилъ гребецъ, усаживаясь въ лодку.

— Лодочники не спрашивали рыбака Теля, зачѣмъ онъ ведетъ съ собою своего сына, — сурово отвѣчалъ пасторъ, и лодка отчалила отъ Люцерна къ Швицу.

Еще задолго до разсвѣта лодка причалила къ кантону Швицъ.

Высокій, суровый пасторъ, высокій, гибкій швейцарецъ и среди ихъ маленькій карапузикъ встали изъ лодки и пѣшкомъ пошли къ дому швицкаго ландсмана.

Ребенокъ дрожалъ въ платьѣ, насквозь пробитомъ озерными волнами, но глядѣлъ бодро.

Ландсманъ погладилъ его по головкѣ, а жена ландсмана напоила его теплымъ виномъ я уложила въ постель своего мужа.

Она знала, что мужъ ея не ляжетъ спать въ эту ночь.

Люцернскій пасторъ говорилъ удивительную проповѣдь. Честь четырехъ кантоновъ, для слушателей этой проповѣди, была воплощена въ кускѣ бѣлаго полотна съ краснымъ крестомъ. Люди дрожали отъ ненависти къ французамъ.

Шайноха говоритъ, что современники видятъ только факты и не прозираютъ на результаты.

Ни ландсманъ, ни пасторъ, ни прихожане Люцерна не видѣли, что консульскія войска Франціи въ существѣ несли болѣе свободы, чѣмъ хранили ея консерваторы старой швейцарской республики.

На сценѣ были французскіе штыки, пьяные офицеры и распущенные солдаты, помнящіе времена либеральнаго конвента.

Въ роковой часъ полудня взводъ французскихъ гренадеръ вынесъ изъ дома ландсмана шестъ съ кускомъ бѣлаго полотна, на которомъ былъ нашитъ красный крестъ *).

Это былъ штандартъ четырехъ кантоновъ, взятый силою, не смотря на геройское сопротивленіе люцернцевъ.

За штандартомъ четыре гренадера несли высокаго человѣка съ круглою, рыжею головою, англійскаго склада. По его обуви струилась кровь.

За раненымъ вели ребенка, съ руками, связанными назади очень тонкимъ шнурочкомъ.

Ну, что, bourgre allemand, попался? — шутилъ съ ребенкомъ гренадеръ.

Я иду съ моимъ отцомъ, — отвѣчалъ на чистомъ французскомъ языкѣ ребенокъ.

— Tion!—ты говоришь по-французски?

— Да, моя мать не умѣетъ говорить иначе,—отвѣчало дитя.

Черезъ два дня послѣ этого происшествія изъ дома, въ которомъ квартировалъ sous-lieutenant, вынесли длинную тростниковую корзину, въ какихъ обыкновенно возятъ уголья. Это грубая корзина въ три аршина длины и полтора глубины, сверху довольно широкая, книзу совсѣмъ почти сходитъ на нѣтъ.

За такой корзиной, покрытой сверху зеленымъ полотномъ съ походной фуры, шли девять гренадеръ съ карабинами; затѣмъ въ трехъ шагахъ слѣдовалъ полувзводъ, предводимый sous-lieutenant'омъ.

---

*) Авторъ надѣется, что для него не обязательно слѣдовать неотступно свидѣтельствамъ Тьера.

Въ хвостѣ этого взвода старый гренадеръ несъ на рукахъ пятилѣтняго ребенка.

Дитя разспрашивало конвентинца, скоро ли оно увидитъ своего отца, и безпечно перебирало пухлою ручкою узорчатую плетенку кутаса и красивую шишку помпона.

Процессія остановилась у деревни, на берегу, съ котораго видна была гигантская гора, царственно возвышающаяся надъ четырьмя кантонами своею блестящею бѣлоснѣжною короною, а влѣво за нею зеленая Рютли.

Здѣсь, у извилистой горной дорожки, былъ врытъ тонкій бѣлый столбъ и возлѣ него выкопана могила.

Это было очень хорошее мѣсто для всѣхъ, кромѣ того, кого теперь принесли сюда въ угольной корзинѣ.

Гренадеры опустили корзину и вынули изъ нея пастора съ проколотыми ногами.

Онъ жестоко страдалъ отъ ранъ и испачканное угольною пылью лицо его судорожно подергивалось, но глаза смотрѣли смѣло и гордо.

Пасторъ одною рукою оперся о плечо гренадера, а другою взялъ за руку сына.

Sous-lieutenant досталъ изъ кармана четвертушку бумаги и прочелъ приговоръ, по которому пасторъ Губертъ Райнеръ, за возмутительное неповиновеніе, былъ осужденъ на разстрѣляніе, — «а въ примѣръ прочимъ», добавилъ sous-lieutenant своимъ французско-страсбургскимъ нарѣчіемъ, «съ этимъ горнымъ козломъ мы разстрѣляемъ и его козленка. Капралъ! привяжите ихъ къ столбу».

Обстоятельства дѣлали sous-lieutenant'а владыкою жизни и смерти въ мѣстности, занятой его отрядомъ. Онъ самъ составилъ и самъ конфирмовалъ смертный приговоръ пастора Райнера и могъ въ одинъ день безотвѣтственно разстрѣлять безъ всякаго приговора еще двадцать человѣкъ съ тою короткою формальностью, съ которою осудилъ на смерть молодого козленка.

Пасторъ твердо, насколько ему позволяли раненыя ноги, подошелъ и сталъ у столба.

— Вы имѣете предсмертную просьбу? — спросилъ пастора капралъ.

— Имѣю.

— Что вы хотите?

— Чтобъ мнѣ не завязывали рукъ и глазъ, и чтобъ меня разстрѣляли на той сторонѣ озера: я хочу лежать ближе къ Рютли.

Капралъ передалъ просьбу sous-lieutenant'у, и черезъ минуту сообщилъ осужденному, что первая половина его просьбы будетъ исполнена, а на Рютли онъ можетъ смотрѣть отсюда.

Пасторъ взглянулъ на блестящую, алмазную митру горы, сжалъ ручонку сына и, опершись другою рукою о плечо гренадера, спокойно сталъ у столба надъ выкопанною у него ямою.

— Подвяжите меня только подъ плечи: этого совершенно довольно,—сказалъ онъ капралу.

Просьбу его исполнили.

— Теперь хорошо, сказалъ пасторъ, поддерживаемый веревкой.—Теперь подайте мнѣ сына.

Ему подали ребенка.

Пасторъ взялъ сына на руки, прижалъ его къ своей груди и, обернувъ дитя задомъ къ выступившимъ изъ полувзвода впередъ десяти гренадерамъ, сказалъ:

— Смотри, Ульрихъ, на Рютли. Ты видишь, вонъ она тамъ, наша гордая Рютли, вонъ тамъ—за этою бѣлою горою. Тамъ, въ той долинѣ, давно-давно сошлись наши рыбаки и поклялись умереть за свободу...

До ушей пастора долетѣлъ неистовый вопль.

Онъ ждалъ выстрѣла, но не этихъ раздирающихъ звуковъ знакомаго голоса.

Пасторъ боялся, что ребенокъ также вслушается въ этотъ голосъ и заплачетъ. Пасторъ этого очень боялся и, чтобы отвлечь дѣтское вниманіе отъ материнскихъ стоновъ, говорилъ:

— Они поклялись умереть за то... чтобы по чистой Рютли не ходили подлыя ноги имперскихъ фогтовъ.

— Пали! — послышался пастору сердитый крикъ sous-lieutenant'a.

— Смотри на Рютли,—шепнулъ сыну пасторъ.

Дитя было покойно, но выстрѣла не раздавалось.

— Боже, подкрѣпи меня!—молился въ душѣ пасторъ.

А въ четырнадцати шагахъ передъ нимъ происходила другая драма.

— Мы не будемъ стрѣлять въ ребенка: эта женщина—француженка. Мы не будемъ убивать французское дитя!—вполголоса произнесли плохо державшіе дисциплину солдаты консульской республики.

— Что это? бунтъ!—крикнулъ sous-lieutenant и, толкнувъ замершую у его ногъ женщину, громко кликнулъ то самое «пали», которое заставило пастора указать сыну въ послѣдній разъ на Рютли.

Солдаты молча опустили къ ногѣ заряженныя ружья.

— Der Teufel!—произнесъ страсбургскій sous-lieutenant и велѣлъ взять ребенка.

— Прощай!—сказалъ пасторъ, отдавая капралу сына:—Будь честенъ и люби мать.

Черезъ пять минутъ въ деревнѣ всѣмъ послышалось, какъ будто на столъ ихъ была брошена горсть орѣховъ, и тотъ же звукъ, хотя гораздо слабѣе, пронесся по озеру и тихо отозвался стонущимъ эхомъ на Рютли.

Пастора Губерта Райнера не стало.

Его жена пришла въ себя, когда все уже было кончено.

Увидѣвъ маленькаго Райнера въ живыхъ, она думала, что видитъ привидѣніе: она ничего не слыхала послѣ сердитаго крика: «пали».

Вдова Райнера покинула прелестную Рютли и переѣхала съ сыномъ изъ Швица въ Женеву. Здѣсь, отказывая себѣ въ самомъ необходимомъ, она старалась дать Ульриху Райнеру возможно лучшее воспитаніе.

Въ двадцать одинъ годъ Ульрихъ Райнеръ сталъ пла-

тить матери свой денежный долгъ. Онъ давалъ уроки и перемѣнилъ съ матерью мансарду на довольно чистую комнату, и у нихъ всякій день кипѣла кастрюлька вкуснаго бульона.

Но Ульрихъ Райнеръ не былъ доволенъ этимъ.

Ему было мало одного бульона и тѣсна ему казалась Женева.

Одни и тѣ же виды, несмотря на все свое великолѣпіе, приглядываются, какъ женина красота, и подстрекаютъ любопытное влеченіе приподнять завѣсу другихъ красотъ, отдохнуть на другой груди, послушать, какъ бьется иное сердце.

Въ это время Европа поклонялась предъ могуществомъ Россіи и полна была разсказовъ о славѣ, великодушіи и просвѣщеніи Александра I.

Ульрихъ Райнеръ съ великимъ трудомъ скопилъ небольшую сумму денегъ, обезпечилъ на годъ мать и, оплаканный ею, уѣхалъ въ Россію. Это было въ 1816 году.

Ульрихъ Райнеръ пріѣхалъ въ Россію статнымъ, прекраснымъ юношею. Онъ былъ похожъ на своего могучаго отца, но выраженіе его лица смягчилось нѣкоторыми тонкими чертами матери. Съ этого лица постоянно не сходило серьезное выраженіе Губерта Райнера, но на немъ не было губертовой холодности и спокойной флегмы: вмѣсто нихъ, лицо это дышало французскою живостью характера. Оно было вмѣстѣ и серьезно, и живо.

Въ то время иностранцамъ было много хода въ Россіи, и Ульрихъ Райнеръ не остался долго безъ мѣста и безъ дѣла. Тотчасъ же послѣ пріѣзда въ Москву онъ поступилъ гувернеромъ въ одинъ пансіонъ, а оттуда, черезъ два года, уѣхалъ въ Калужскую губернію наставникомъ къ дѣтямъ богатаго князя Тотемскаго.

Здѣсь Ульрихъ Райнеръ провелъ семь лѣтъ, скопилъ малую толику капитальца и, въ исходѣ седьмого года, женился на русской дѣвушкѣ, служившей вмѣстѣ съ нимъ

около трехъ лѣтъ гувернанткой въ томъ же домѣ князей Тотемскихъ.

Жена Ульриха Райнера была прелестное созданіе. Въ ней могло плѣнять человѣка все, начиная съ ея ангельской русой головки до ангельской души, смотрѣвшей сквозь кроткіе глубокіе глаза.

Это была русская женщина, поэтически восполняющая прелестные типы женщинъ Бертольда Ауэрбаха. Она не была второю Женни и здѣсь не мѣсто говорить о ней много; но авторъ, находясь подъ неотразимымъ вліяніемъ этого типа, будетъ очень жалѣть, если у него недостанетъ силъ и умѣнья когда-нибудь въ другомъ мѣстѣ разсказать, что̀ за лицо была Марья Михайловна Райнеръ, и напомнить ею одинъ изъ нашихъ улетающихъ и всѣми позабываемыхъ женскихъ типовъ.

Женясь на Марьѣ Михайловнѣ, Ульрихъ Райнеръ переѣхалъ въ Петербургъ и открылъ съ женою частный пансіонъ, въ которомъ самъ былъ и начальникомъ, и училъ языкамъ воспитанниковъ старшихъ классовъ.

Затрудняясь говорить по-русски, Райнеръ довольствовался скромнымъ званіемъ учителя языковъ, и въ исторіи литературы читалъ своимъ ученикамъ исторію народовъ.

Дѣла Райнера шли отлично. Капиталъ его росъ, здоровье служило, врожденной энергіи было много, женою былъ счастливъ безъ мѣры,—чего же болѣе?

Но Райнеръ не былъ изъ числа людей, довольныхъ однимъ матеріальнымъ благосостояніемъ.

Черезъ два года послѣ его женитьбы у него родился сынъ, опять представившій въ себѣ самое счастливое и гармоническое сочетаніе наружныхъ чертъ своего твердаго отца съ женственными чертами матери.

Рожденіе этого мальчика было поводомъ къ тяжелымъ семейнымъ сценамъ, дорого обошедшимся и Райнеру, и его женѣ, и самому ребенку.

Ульрихъ Райнеръ хотѣлъ, чтобы сынъ его былъ названъ Робертомъ, въ честь его стараго университетскаго друга,

кельнскаго пивовара Блюма, отца прославившагося въ 1848 году нѣмецкаго демократа Роберта Блюма.

Этого нельзя было сдѣлать: сынъ швейцарца Райнера и его русской жены не могъ быть лютераниномъ.

Ульрихъ Райнеръ рѣшилъ никакъ не крестить сына, и ему это удалось.

Ребенокъ, пососавъ нѣсколько дней материнское молоко, отравленное материнскимъ горемъ, зачахъ, покорчился и умеръ.

Марія Райнеръ цѣлые годы неутѣшно горевала о своемъ некрещеномъ ребенкѣ и оставалась бездѣтною. Только весною 1840 года она сказала мужу: «Богъ услышалъ мою молитву: я не одна».

Четвертаго ноября 1840 года у Райнера родился второй сынъ.

Ульрихъ Райнеръ былъ теперь гораздо старше, чѣмъ при рожденіи перваго ребенка, и не сумасшествовалъ.

Ребенка при св. крещеніи назвали Васильемъ.

Отецъ звалъ его Вильгельмъ Робертъ. Мать, лаская дитя у своей груди, звала его Васей, а прислуга Вильгельмомъ Ивановичемъ, такъ какъ Ульрихъ Райнеръ въ Россіи именовался, для простоты рѣчи, Иваномъ Ивановичемъ. Вскорѣ послѣ похоронъ перваго сына, въ декабрѣ 1825 года, Ульрихъ Райнеръ рѣшительно объявилъ, что онъ ни за что не останется въ Россіи и совсѣмъ переселится въ Швейцарію.

Этотъ планъ очень огорчалъ Марью Михайловну Райнеръ и, несмотря на то, что крутой Ульрихъ, видя страданія жены, годъ отъ году откладывалъ свое переселеніе, но тѣмъ не менѣе все это терзало Марью Михайловну. Она была далеко не прочь съѣздить въ Швейцарію и познакомиться съ родными мужа, но совсѣмъ туда переселиться, съ тѣмъ, чтобы уже никогда болѣе не видать Россіи, она ни за что не хотѣла. Одна мысль объ этомъ повергала ее въ отчаяніе. Марья Михайловна любила родину такъ горячо и просто.

Въ такомъ состояніи была душа Марьи Михайловны Райнеръ, когда она дождалась второго сына, по ея словамъ, «вымоленнаго и выпрошеннаго у неба».

Марья Михайловна вся отдалась сыну. Она пользовалась первыми проявленіями умственныхъ способностей ребенка,— старалась выучить его молиться по-русски Богу, спѣшила выучить его читать и писать по-русски и никогда не говорила съ нимъ ни на какомъ другомъ языкѣ. Предчувствуя, что рано или поздно ея Вася очутится въ средѣ иного народа, она всѣми силами старалась какъ можно болѣе посѣять и взрастить въ его душѣ русскихъ сѣмянъ и укоренить въ немъ любовь къ материнской родинѣ. Одна мысль, что ея Вася будетъ *иностранцемъ* въ Россіи, заставляла ее млѣть отъ ужаса и, падая ночью у дѣтской кровати передъ освященнымъ образомъ Спасителя, она шептала:— «Господи! ими же вѣси путями спаси его; но пусть не моя совершится воля, а Твоя».

Отецъ не мѣшалъ матери воспитывать сына въ духѣ ея симпатій, но не оставлялъ его внѣ всякаго знакомства и съ своими симпатіями.

Пламенно восторгаясь, онъ читалъ ему Вильгельма Телля, избранныя мѣста изъ Орлеанской Дѣвы и заставлялъ наизусть заучивать огненные стихи Фрейлиграта, подготовлявшаго германскіе умы къ великому пожару 1848 года.

Мать Василья Райнера это ужасно пугало, но она не смѣла противорѣчить мужу и только старалась усилить на сына своего кроткое вліяніе.

Такъ росъ ребенокъ до своего семилѣтняго возраста въ Петербургѣ. Онъ безмѣрно горячо любилъ мать, но питалъ глубокое уваженіе къ каждому слову отца и благоговѣлъ передъ его строгимъ взглядомъ.

Ребенокъ былъ очень благонравенъ, добръ и искрененъ, Онъ съ почтеніемъ стоялъ возлѣ матери за долгими всенощными въ церкви Всѣхъ Скорбящихъ; молча и со страхомъ вслушивался въ громовыя проклятія, которыя его отецъ въ кругу пріятелей слалъ Наполеону Первому и всѣмъ роялистамъ; каждый вечеръ повторялъ передъ образомъ: «но не моя, а Твоя да совершится воля», и засыпалъ, носясь въ нарисованномъ ему мірѣ швейцарскихъ рыбаковъ и па-

стуховъ, сломавшихъ несокрушимою волею желѣзныя цѣпи несноснаго рабства.

Собою осьмилѣтній Райнеръ былъ очаровательно хорошъ. Онъ былъ высокъ не по лѣтамъ, крѣпко сложенъ, имѣлъ русыя кудри, тонкій, правильный носъ, съ кроткими, синими глазами матери и рѣшительнымъ подбородкомъ отца. Лучшаго мальчика вообразить было трудно.

Приближался 1847 годъ. Въ Европѣ становилось неспокойно: опытные люди предвидѣли бурю, которая и не замедлила разразиться.

Въ концѣ 1847 года Ульрихъ Райнеръ имѣлъ нѣсколько непріятностей по пансіону. Это его меньше огорчало, чѣмъ сердило.

Наконецъ, возвратясь въ одинъ день съ довольно долгаго объясненія, онъ громко запретилъ дѣтямъ играть въ «республику» и объявилъ, что болѣе не будетъ держать пансіона.

Марья Михайловна, блѣдная и трепещущая, выслушала мужа, запершись въ его кабинетѣ, и уже не плакала, а тихо объявила: «Мы, Васенька, должны ѣхать съ отцомъ въ Швейцарію».

Пансіонъ былъ распущенъ, деньги собраны, Марья Михайловна съѣздила съ сыномъ въ Москву поклониться русскимъ святынямъ, и Райнеры оставили Россію.

На границѣ Марья Михайловна съ сыномъ стали на колѣни, поклонились до земли востоку и заплакали; а старый Райнеръ сжалъ губы и сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе. Онъ стыдился уронить слезу.

Они ѣхали на Кельнъ.

Ульрихъ Райнеръ, какъ молодой, нетерпѣливый любовникъ, считалъ минуты, когда онъ увидитъ старика Блюма.

Наконецъ предсталъ и Блюмъ, и его пивной заводъ, и его сынъ Робертъ Блюмъ.

Это было очень хорошее свиданіе. Я такихъ свиданій не умѣю описывать.

Въ домѣ стараго пивовара всѣмъ было хорошо. Даже

Марья Михайловна вошла въ очень хорошее состояніе духа и была очень благодарна молодому Роберту Блюму, который водилъ ея сына по историческому Кельну, объяснялъ ему каждую достопримѣчательность города и напоминалъ его исторію. Марья Михайловна и сама сходила въ неподражаемую каѳедру, но для ея религіознаго настроенія здѣсь было тяжело. Причудливость и грандіозность стиля только напоминали ей объ удаленіи отъ темнаго уголка въ Чудовомъ монастырѣ и боковомъ придѣлѣ Всѣхъ Скорбящихъ.

Зато съ сыномъ ея было совсѣмъ другое.

По цѣлымъ часамъ онъ стоялъ передъ «Снятіемъ со креста», вглядываясь въ каждую черту геніальной картины, а Робертъ Блюмъ тихимъ, симпатичнымъ голосомъ разсказывалъ ему исторію этой картины и рядомъ съ нею исторію самого геніальнаго Рубенса, его безалаберность, пьянство, его униженіе и возвышеніе. Ребенокъ стоитъ пораженный величіемъ общей картины кельнскаго Дома, а Робертъ Блюмъ опять говоритъ ему хватающія за душу рѣчи по поводу недоконченнаго собора.

Ульрихъ Райнеръ оставилъ семью у Блюма и уѣхалъ въ Швейцарію. Съ помощью старыхъ пріятелей онъ скоро нашелъ очень хорошенькую ферму подъ одною изъ горъ, вблизи боготворимой имъ долины Рютли, и перевезъ сюда жену и сына.

Домикъ Райнера, какъ и всѣ почти швейцарскіе домики, былъ построенъ въ два этажа и мѣстился у самаго подножія высокой горы, на небольшомъ, зеленомъ уступѣ, выходившемъ плоскою косою въ одинъ изъ неглубокихъ заливцевъ Фирвальдштетскаго озера. Нижній этажъ, сложенный изъ сѣраго камня, былъ занятъ службами, и тутъ же было помѣщеніе для скота; во второмъ этажѣ, обшитомъ вычурною тесовою рѣзьбою, были жилыя комнаты, и наверху мостился еще небольшой мезонинъ въ два окна, обнесенный узорчатою галлереею.

Марья Михайловна поселилась съ сыномъ въ этомъ мезонинѣ, и по этой галлереѣ бѣгалъ кроткій, но рѣзвый Виль-

гельмъ-Робертъ Райнеръ, засматриваясь то на блестящія снѣговыя шапки горъ, окружающихъ со всѣхъ сторонъ долину, то слѣдя за тихимъ, медлительнымъ шагомъ коровъ, переходившихъ въ бродъ озерной заливецъ. Иногда ребенокъ взбирался съ галлереи на заросшую травою крышу и, усѣвшись на одномъ изъ лежащихъ здѣсь камней, цѣлые вечера смотрѣлъ на картины, согрѣваемыя краснымъ, горячимъ закатомъ солнца. Теплы, сильны и своеобычны эти вечернія швейцарскія картины. По мѣрѣ того, какъ одна сторона зеленаго дуба темнѣетъ и впадаетъ въ коричневый тонъ, другая согрѣвается, краснѣетъ; иглистыя ели и сосны становятся синими, въ водѣ вырастаетъ другой, опрокинутый лѣсъ; босые мальчики загоняютъ дойныхъ коровъ съ мелодическими звонками на шеяхъ; пробѣгаютъ крестьянки въ черныхъ спензеряхъ и яркоцвѣтныхъ юпочкахъ, а на рѣшетчатой скамейкѣ въ высокой швейцарской шляпѣ и сѣрой курткѣ сидитъ отецъ и ведетъ горячіе споры съ сосѣдомъ или заѣзжимъ гостемъ изъ Люцерна или Женевы.

Германская революція была во всемъ разгарѣ. Старикъ Райнеръ оставался дома и не принималъ въ ней, повидимому, никакого непосредственнаго участія, но къ нему безпрестанно заѣзжали какіе-то новые люди. Онъ всегда говорилъ съ этими людьми, запершись въ своемъ кабинетѣ, давалъ имъ проводниковъ, лошадей и денегъ, и самъ находился въ постоянномъ волненіи.

Пришло извѣстіе, что Робертъ Блюмъ разстрѣлянъ. Семья Райнеровъ впала въ ужасъ. Старушка мать Ульриха Райнера, переѣхавшая было къ сыну, отпросилась у него опять въ тихую іезуитскую Женеву. Старая француженка вездѣ ждала гренадеровъ Сюррирье и просила отпустить съ нею и внука въ ея безмятежно-молитвенный городъ.

Отцу было не до сына въ это время и онъ согласился, а мать была рада, что бабушка увезетъ ея сокровище изъ дома, который съ часу на часъ болѣе и болѣе наполнялся революціонерами.

Бабушка опредѣлила молодого Райнера въ женевскую

гимназію и водила его по воскресеньямъ въ домъ къ Джемсу Фази, но, несмотря на то, онъ черезъ годъ вернулся къ отцу ультра-клерикальнымъ ребенкомъ.

А между тѣмъ революція кончилась; Марисъ и Фрейлигратъ сидѣли за конторками у лондонскихъ банкировъ; Роберта Блюма уже не было на свѣтѣ и старческія трепетанія одряхлѣвшей нѣмецкой Европы успокоились подъ усмиряющія пѣсни публицистовъ и философовъ 1850 года. Все было тихо и германскіе владѣльцы думали, что̀ сдѣлать съ скудной складчиной, собранной на отстройку кельнской каѳедры?

Предсказанія Роберта Блюма исполнились: недостало цемента, чтобы спаять имъ со стѣною церкви камень, оставленный безъ заливки подневольнымъ каменщикомъ старой имперіи.

Старикъ Райнеръ, разбитый въ своихъ упованіяхъ, сидѣлъ одинъ, гнулся и, какъ ощипанный пѣтухъ, пряталъ свой обдерганный хвостъ.

— Эге, любезный сынокъ; да ты совсѣмъ женевскій піэтистъ сталъ у меня! — воскликнулъ, наконецъ, ощипанный старикъ и, рѣшивъ схоронить въ глубинѣ души свои разбитыя надежды, взялся самъ за воспитаніе сына.

Это воспитаніе продолжалось болѣе шести лѣтъ. Добрый германскій народъ, пошумѣвъ о единой Германіи, спокойно спалъ, пробуждаясь только для юристенъ-вальса, отвлеченныхъ словопреній и вполнѣ достигнутаго права на единое дешевое пиво. За ледяными горами Швейцаріи не такъ жарки казались вѣсти, долетавшія изъ Франціи, и старикъ Райнеръ оставался при своемъ дѣлѣ. Онъ училъ сына, пѣлъ гортанныя рулады къ республиканскимъ пѣснямъ, насвистывалъ аріи изъ Телля и, къ ужасу своей жены, каждый обѣдъ разражался адскими ругательствами надъ наполеонистами, ожидая отъ нихъ всеобщаго зла повсюду.

А время все шло.

На пятнадцатомъ году молодой Райнеръ лишился своей матери. Это былъ ужасный ударъ для юноши. Онъ вообще

не видалъ своей матери счастливою и веселою со дня переселенія на озеро Четырехъ-Кантоновъ. Марья Михайловна постоянно грустила между чужими людьми, рвалась на родину и, покоряясь необходимости, смирялась и молилась передъ образомъ въ русской золоченой ризѣ. Она только одинъ разъ была весела и счастлива. Это было вскорѣ послѣ сорокъ-осьмого года, по случаю пріѣзда къ Райнеру одного русскаго, съ которымъ бѣдная женщина ожила, припоминая то бѣлокаменную Москву, то калужскіе лѣса, живописныя чинцобы и волнообразныя нивы съ лѣнивой Окой. Этотъ русскій былъ очень чуткій, мягкій и талантливый человѣкъ. Онъ не превосходилъ себя въ дарованіяхъ, будя въ душѣ Маріи Райнеръ томительно сладкія воспоминанія. Уйдя съ Ульрихомъ Райнеромъ послѣ ужина въ его комнату, онъ еще убѣдительнѣе и жарче говорилъ съ нимъ о другихъ сторонахъ русской жизни, далеко забрасывалъ за уши свою буйную гриву, дрожащимъ, нервнымъ голосомъ съ искрящимися глазами развивалъ старику свои молодыя думы и жаркія упованія.

Старикъ Райнеръ все слушалъ молча, положивъ на руки свою серебристую голову. Кончилась огненная, живая рѣчь, приправленная всѣми ѣдкими остротами красиваго и горячаго ума. Разсказчикъ сѣлъ въ сильномъ волненіи и опустилъ голову. Старый Райнеръ все не сводилъ съ него глазъ и оба они долго молчали. Изъ-за горъ показался сѣрый утренній свѣтъ и сталъ наполнять незатѣйливый кабинетъ Райнера, а собесѣдники все сидѣли молча и далеко носились своими думами. Наконецъ Райнеръ приподнялся, вздохнулъ и сказалъ ломанымъ русскимъ языкомъ:

— Ню, а слюшайте, што я вамъ будетъ сказать: это, што вы мнѣ сказаль, никогда будетъ.

— Это будетъ!—крикнулъ русскій.

— Повѣрьте, мой друкъ, какъ это никогда будетъ.

— Вы не знаете Россіи.

— О, о-о! Я ошень карашо знаетъ Россія. Вы это никогда говорить. Я ошень карашо... Moi, je connais la Russie

parfaitement. Это совсѣмъ не приходило время. Для Россіи... C'est trop tôt pour la Russie; cela n'est pas dans son esprit national. Cela ne lui porterait pas de bonheur. Oh! je la connais bien, la Russie... Я никому буду вѣрилъ, какъ этотъ планъ рекомендовать, я знаю, какъ онъ не придить теперь.

— Я это доказалъ въ моей брошюрѣ.

— И ви это никогда будете доказать на практика... Vous ne saurez jamais appliquer! jamais!

— У насъ *der* binen mus.

— Bravo!

— Увидимъ!

— Eh bien! qui vivra, verra!

Жена Райнера, разумѣется, не слыхала этого разговора.

— Какъ странно, сказала она мужу, проводивъ гостя:— мнѣ этотъ человѣкъ всегда представлялся такимъ желчнымъ, насмѣшливымъ и сердитымъ, а онъ такой милый и простой.

— Это всего чаще случается,—отвѣчалъ Райнеръ.

— Право, я желала бы, чтобы мой Вася походилъ на него,—проговорила Марья Михайловна, глядя съ нѣжностью на сына.

— А я не желалъ бы этого,—отвѣчалъ мужъ.

— Отчего же? Такой умъ, такая задушевность, прямота...

— Очень много говоритъ. Очень большіе планы задумываетъ, фантазеръ и поэтъ.

— Не понимаю, что̀ ты говоришь.

— Говорю, что Вильгельмъ долженъ быть похожъ прежде всего самъ на себя.

Мать опять взглянула на сына, который молча стоялъ у окна, глядя своимъ взоромъ на пастуха, прыгавшаго по обрывистой тропинкѣ скалы. Она любовалась стройною фигурой сына и чувствовала, что онъ скоро будетъ хорошъ тою прелестною красотою, которая долго остается въ памяти.

Это, какъ сказано, былъ лучшій день въ швейцарской жизни Марьи Михайловны.

Къ гробу она сходила тихо и кротко, какъ жила на

свѣтѣ. Не болѣла, не горѣла, какъ говоритъ народъ, а таяла, таяла и умерла. За три дня до смерти мужъ привезъ ей русскаго священника изъ посольства. Она была чрезвычайно рада этому; благодарила мужа, причастилась и три послѣдніе дня жизни все говорила съ сыномъ. Много она говорила ему обо всемъ, стараясь прозрѣть въ его будущность. Благодарила его за почтеніе къ ней, говорила объ обязанностяхъ человѣка къ Богу, къ обществу, къ семьѣ и къ женщинѣ. Послѣдній пунктъ особенно занималъ умирающую!

— Отъ жены зависитъ все твое счастіе, Вася. Выбирай жену осмотрительно. Слушай отцовскаго совѣта. Онъ опытенъ и уменъ, заключала она долгій разговоръ, и потомъ, подумавъ и взявъ сына за руку, добавила: — И вотъ что еще, Вася. Ты ужъ не маленькій, все понимаешь. Исполни еще одну мою предсмертную просьбу; я изъ-за могилы буду тебя благодарить и буду тобой гордиться. Храни ты, Вася, себя чистымъ. Это не такъ трудно, какъ говорятъ. Подумай, какая обида женщинѣ... когда ее не ждали. Подумай опять, какъ это гадко... и какъ честно, какъ пріятно сберечь себя. Берегись, другъ мой, и чистымъ веди къ алтарю женщину въ союзъ, опредѣленный Богомъ. Я не хочу тебя обязывать словомъ, но мнѣ было бы очень отрадно умирать, надѣясь, что ты, Вася, не забудешь моей просьбы.

— Я ее исполню, матушка,—отвѣчалъ молодой Райнеръ, становясь на колѣни и цѣлуя материну руку.

Такъ умерла madame Райнеръ вдалекѣ отъ нѣжно любимой родины и схоронена на приходскомъ кладбищѣ близъ долины Рютли.

Былъ опять русскій священникъ съ дьячкомъ, который пѣлъ надъ гробомъ Марьи Михайловны о мірѣ, гдѣ нѣтъ печали и воздыханія, но жизнь безконечная.

Оба Райнера плакали, слушая эту поэтическую пѣснь о безконечной жизни, въ которую такъ крѣпко и такъ тепло вѣрила незлобивая покойница.

Послѣ этихъ похоронъ въ жизни Райнеровъ произошла большая перемѣна. Старикъ какъ-то осунулся и неохотно занимался съ сыномъ. Въ домъ переѣхала старушка-бабушка, забывшая счетъ своимъ годамъ, но отсутствіе Марьи Михайловны чувствовалось на каждомъ шагу. Болѣе всѣхъ отдавалось оно въ сердцѣ молодого Райнера.

Онъ былъ очень тщательно обученъ многому, между прочимъ, и былъ замѣчательный лингвистъ. Теперь онъ уже могъ и самъ продолжать свое домашнее образованіе безъ руководителя! Онъ могъ даже и такъ поступить въ любой университетъ, но разбитый старикъ объ этомъ пока не думалъ.

Молодому Райнеру послѣ матери часто тяжелъ былъ видъ опустѣвшаго дома, и онъ нерѣдко уходилъ изъ него на цѣлые дни. Съ книгою въ рукахъ ложился онъ на живописный обрывъ какой-нибудь скалы и читалъ, читалъ, или думалъ, пока усталость сжимала его глаза.

Молодой человѣкъ засыпалъ, начитавшись Тацита, или біографій Плутарха, и горячо настроенное воображеніе принималось рисовать передъ нимъ могучіе образы, высокія, вдохновляющія картины. То видитъ онъ перепуганное лицо, которое молитъ рыбака перевезть его черезъ озеро изъ Люцерна въ Швицъ. «Я убилъ цезарскаго фогта за то, что онъ хотѣлъ оскорбить мою жену», говоритъ испуганный человѣкъ, блѣднѣя и озираясь во всѣ стороны. А озеро бушуетъ, высокіе черные валы ходятъ и воютъ. «Никто не поѣдетъ теперь черезъ озеро», говоритъ рыбакъ испуганному человѣку. «Спасите, умоляю васъ, за мною гонятся, спасите, у меня есть жена и дѣти», молитъ убійца фогта. «Что дѣлать! Мы оба погибнемъ», отвѣчаетъ рыбакъ, «а у меня тоже есть жена и дѣти». Райнеръ слышитъ отчаянныя мольбы и видитъ сердитое озеро, грозящее смертью за дерзкія покушенія переѣхать его въ такую пору. Сердце его замираетъ отъ жалости и негодованія, а онъ не знаетъ, что́ дѣлать. Но вотъ изъ-за горы выходитъ рослый человѣкъ самаго кроткаго вида. За

спиною у него сильный охотничій лукъ. Стрѣлокъ строго разспрашиваетъ убійцу о всѣхъ обстоятельствахъ убійства и потомъ вскакиваетъ въ лодку. «Посмотри на озеро, Телль», говоритъ ему рыбакъ: «Сегодня день Симеона и Іуды и Фирвальдштетъ требуетъ своей жертвы. Не искушай Бога безумствомъ; у тебя жена и дѣти».— «Честный человѣкъ послѣ всего думаетъ о себѣ: уповай на Бога твоего и спасай твоего брата», отвѣчаетъ стрѣлокъ, отвязывая лодку. «Телль, не искушай Бога безумствомъ», говоритъ ему рыбакъ. «Посмотри на озеро и вспомни, что сегодня день Симеона и день Іуды, въ который непремѣнно кто-нибудь долженъ погибнуть въ этихъ волнахъ». — «Озеро еще можетъ смилостивиться, а цезарскій фогтъ никогда не смилуется», отвѣчаетъ охотникъ, отталкивая лодку, и челнокъ съ двумя сѣдоками то нырнетъ на свинцовыхъ волнахъ озера, то снова мелькнетъ на бѣломъ гребнѣ. Райнеръ узнаетъ въ гребцѣ лучшаго стрѣлка изъ Бюрглена въ кантонѣ Ури; онъ всматривается въ его одушевленное лицо и въ ушахъ его звучатъ простыя, евангельскія слова Вильгельма Телля: «Честный человѣкъ послѣ всего думаетъ самъ о себѣ». — Послѣ всего самъ о себѣ думаетъ въ эти минуты сонный Райнеръ и находитъ, что именно такъ только и можно думать человѣку, который хочетъ называться честнымъ. А воображеніе рисуетъ новую картину. За неумолимыми волнами озера показываются грозные всадники еще болѣе неумолимаго фогта, слышны ихъ проклятія и тяжелые удары по оставшимся на берегу беззащитнымъ людямъ. Потомъ виднѣется площадь въ Альторфѣ. Люди работаютъ себѣ темницу и постыдно шутятъ надъ своей неволей. — «Кто поселится въ этомъ подземельѣ, о томъ и пѣтухъ не запоетъ», говоритъ каменщикъ, сгибаясь подъ тяжелой ношей. — «Что руками состроено, то руки и разобрать могутъ», отвѣчаетъ прохожій. Этотъ прохожій опять Телль. Вотъ съ кровли тюрьмы падаетъ человѣкъ и убивается на мѣстѣ; кто-то разсказываетъ, что у него отняли воловъ цезарскіе

солдаты; кто-то говоритъ о старикѣ, ослѣпленномъ пытальщиками. «Смерть фогтамъ за ослѣпленіе моего отца! Пора положить конецъ нашимъ угнетеніямъ!» восклицаетъ молодой голосъ. «Фогтъ живетъ въ недоступномъ Зарингѣ», говоритъ другой голосъ.—«Хоть бы онъ жилъ выше того мѣста, гдѣ вѣчная Юнгфрау сидитъ въ своемъ туманномъ покрывалѣ,—я найду его», отвѣчаетъ молодой голосъ.

И все опять тихо; шопотъ совсѣмъ не слышенъ и Райнеръ только отличаетъ тихій голосъ Телля: «Я не пойду на Рютли. Разсуждайте сами, а если вамъ понадобится дѣло, тогда зовите меня».

Райнеру видится его дѣдъ, стоящій у столба надъ выкопанной могилой. «Смотри, тамъ Рютли», говоритъ онъ ребенку, заслоняя съ одной стороны его дѣтскіе глаза. «Я не люблю много словъ. Пусть Вильгельмъ будетъ похожъ самъ на себя», звучитъ ему отцовскій голосъ. — «Что я сдѣлаю, чтобъ походить самому на себя?» спрашиваетъ сонный юноша. «Они сдѣлали уже все, что имъ нужно было сдѣлать для этихъ горъ».

«Рютли! прекрасная Рютли! Было время, когда ты была такъ же прекрасна, и трава твоя щедро поливалась слезами», думаетъ Райнеръ, забываясь новымъ сномъ. И другое время встаетъ передъ нимъ. Стоитъ знойный полдень. По зеленой долинѣ и по горнымъ откосамъ шныряютъ фогтскіе сыщики. По лѣстницамъ, скользя и обрываясь, торопливо взбираются на скалы испуганные люди и слышатся свистящіе удары ремней. Потомъ ночь,—темная швейцарская ночь. Озеро спитъ спокойнымъ зеркаломъ, отражая рѣдкія звѣзды, взошедшія на небо. По скаламъ, со стороны Унтервальдена, осторожно, безъ малѣйшаго звука, опускаются десять человѣкъ и становятся въ темной Рютли. Стража прокричала два, изъ Швица слышенъ тонкій, замирающій звукъ монастырскаго колокола.—«Зажгите кучу хвороста, а то они не найдутъ насъ», говоритъ молодой голосъ. Краснымъ пламенемъ вспыхиваетъ хворостъ и освѣщаетъ еще десять че-

ловѣкъ, идущихъ со стороны Швица. Изъ-за горъ, надъ озеромъ, восходятъ двѣ луны. Это старая пора, это тысяча триста шестой годъ. Только въ этотъ годъ надъ озеромъ Четырехъ-Кантоновъ всходила двойная луна. «Гдѣ-же люди изъ Ури?» спрашиваютъ, оглядываясь, швицы. Кто-то отвѣчаетъ, что «имъ нужно обходить собакъ фогта». Со стороны Ури пробираются тридцать три человѣка. Урійцы отыскали вѣрныхъ людей болѣе, чѣмъ было условлено. Мелихталь разсказываетъ. Его разсказъ ужасенъ. «Я былъ вездѣ,—говоритъ онъ, — я видѣлъ моего слѣпого отца, лежащаго на чужой соломѣ, и... я не заплакалъ. Любовь отворила мнѣ двери фогта и я его видѣлъ, и я... его не убилъ. Но я высосалъ изъ кровавыхъ глазъ моего отца месть и отмщу нашимъ злодѣямъ».—«Мы не должны мстить за старое;—мы имѣемъ только право не допускать зла въ будущемъ», произнесъ симпатичный голосъ.

И Райнеръ видитъ два воткнутые въ землю меча и слышитъ взаимныя клятвы не храбриться напрасно, не гибнуть безслѣдно порознь. Слышитъ разсказы о равнодушіи германскаго императора къ жалобамъ швейцарцевъ и грозный обѣтъ собирать людей и отстоять свою свободу. Все предписываетъ осторожность. «Даже излишняя ревность къ дѣлу будетъ преступленіемъ, ибо кто осмѣлится самовольно вступаться въ общее дѣло, тотъ грабитъ общее достояніе», рѣшаетъ ночное рютлійское собраніе, расходясь въ виду зари, заигравшей на дѣвственномъ снѣгу окружныхъ горъ...

— «Кто осмѣлится самовластно вступиться въ общее дѣло, тотъ грабитъ чужое достояніе», — пробудясь, повторяетъ Райнеръ.

И еще разъ засыпаетъ Райнеръ и видитъ шестъ, а на шестѣ пустая шляпа, и возлѣ нея стоятъ два часовыхъ. Издали идетъ Телль съ сыномъ. Они не замѣчаютъ шляпы и разговариваютъ.—«Отецъ! правда ли, что тотъ лѣсъ заколдованъ и изъ его листьевъ сочится кровь?» — спрашиваетъ ребенокъ.—«Да», говоритъ Телль, «лѣсъ заколдованъ, чтобъ сдерживать лавины; но дитя мое, для каждой страны

страшны не заколдованные лѣса и лавины, а люди, не имѣющіе вѣры другъ къ другу».—«Онъ не оказалъ почтенія къ шляпѣ!» кричатъ солдаты, хватаясь за Телля. Выскакиваютъ изъ домовъ лучшіе граждане Альторфа, просятъ, молятъ за Телля — все напрасно. «У двухъ солдатъ немудрено взять и насильно», говоритъ кто-то изъ толпы.— «Бунтъ!» кричатъ солдаты, и на планѣ картины показывается кавалькада. Фогтъ Геслеръ на конѣ и съ соколомъ, а съ нимъ красавица швейцарка Берта, впереди прочихъ. Фогтъ судитъ Телля.

Ребенка ставятъ у тополя и кладутъ яблоко на его головку: «Меня не нужно привязывать», говоритъ дитя и стоитъ твердо. Телль поднимаетъ лукъ, всѣ дрожатъ и закрываютъ глаза.—И видитъ потомъ Райнеръ кроткаго Телля, натягивающаго лукъ изъ ущелья, видитъ мертваго Геслера... шумъ, кровь, смерть, стоны! Наступаетъ роковая минута при Моргартенѣ: цезарскіе латники двинулись, ихъ закованныя груди невредимы; Винкельридъ бросается впередъ... втыкаетъ себѣ въ грудь пукъ вражескихъ копій и тѣмъ открываетъ своимъ дорогу. Ужасная картина! Когда она приснилась Райнеру, онъ проснулся и, увидавъ мирную Рютли и тихія окрестности, подумалъ: «Какъ хорошо, что это уже прошло и навѣрно никогда не возвратится снова. Ты теперь спокойная, счастливая сторона, на тебѣ не лежитъ чужеземное иго».

— Дайте мнѣ напиться,—проситъ юноша у крестьянки, сгибающейся подъ тяжелыми кувшинами и тянущей за собою четырехлѣтнее дитя.

«Странное дѣло! — думаетъ онъ, глотая свѣжую воду:— Этотъ ребенокъ такъ тощъ и блѣденъ, какъ мучной червякъ, посаженный на пробку. И его мать... Эта яркая юбка ветха и покрыта прорѣхами; этотъ спензеръ виситъ на ея тощей груди, какъ на палкѣ, ноги ея босы и исцарапаны, а издали это было такъ хорошо и живописно!»

— Отчего такъ худъ твой ребенокъ? — спрашиваетъ Райнеръ.

— Плохая пища, фермеръ. У меня нѣтъ дома. Я вдова, я работаю людямъ изъ хлѣба. Мнѣ некуда идти съ моимъ дитятей, я кормлю его тѣмъ, чего не съѣдятъ хозяйскія дѣти.

«Плохая пища! — думаетъ Райнеръ. — Этотъ мучной червякъ скоро умретъ, сидя на пробкѣ. Зачѣмъ люди не умѣютъ жить иначе? Какъ же иначе?.. Пусть хоть не такъ тѣсно межуютъ землю. Зачѣмъ они тѣснятся? Затѣмъ, чтобы расходиться на поиски хлѣба, потѣшать голодными пѣснями сытый развратъ. Твои свободные сыны, Швейцарія, служили наемными солдатами у деспотовъ; твои дочери ѣдутъ въ Петербургъ, Парижъ, Вѣну за такимъ хлѣбомъ, который становится поперекъ горла, пока его не смочатъ горючія слезы. Тѣсно людямъ! Мало имъ мѣста на широкомъ свѣтѣ!..»

И вотъ Райнеру рисуется просторъ, необъятный просторъ, не загроможденный скалами, не угрожаемый лавинами. По этому широкому раздолью тянутся широкія, голубыя ленты рѣкъ, стоятъ мѣстами дремучіе лѣса, колышатся буйныя нивы и въ воздухѣ носится сильный, немножко удушливый запахъ головастой конопли и пустоцвѣтныхъ замашекъ. Изрѣдка только по этому простору сидятъ убогія деревеньки, въ которыхъ живутъ люди, незнакомые почти ни съ какими удобствами жизни; еще рѣже видны бѣдныя церкви, куда народъ вноситъ свое горе, свою радость. Все здѣсь дѣлается не спѣша, тихо, опустя голову. Протяжно и уныло звучитъ изъ-за горки караульный колоколъ ближайшей церкви и еще протяжнѣе, еще унылѣе замираетъ въ воздухѣ пѣсня, весь смыслъ которой меньше заключается въ словахъ, чѣмъ въ надрывающихъ душу аханьяхъ и оханьяхъ, которыми эти слова пересыпаны.— А тамъ серебряная лампада, слабо мерцающая надъ серебряной ракой, мать, Робертъ Блюмъ и отецъ, заказывающій не многорѣчить и походить самому на себя...

Таково было дѣтство и ранняя юность Вильгельма Райпера.

— Тебѣ надо ѣхать въ университетъ, Вильгельмъ, — сказалъ старый Райнеръ, послѣ этого грустнаго, поэтическаго лѣта сновъ и мечтаній сына. — Въ Женевѣ теперь піитисты, въ Лозаннѣ и Фрейбургѣ іезуиты. Надо быть подальше отъ этихъ католическихъ пауковъ. Я тебя посылаю въ Германію. Сначала поучись въ Берлинѣ, а потомъ можешь перейти въ Гейдельбергъ и Боннъ.

Вильгельмъ Райнеръ уѣхалъ. Полтора года онъ слушалъ лекціи въ Берлинѣ и подружился здѣсь съ Оскаромъ Бекеромъ, сдѣлавшимъ себѣ впослѣдствіи такую печальную извѣстность. Потомъ сходился на лекціяхъ въ Боннѣ съ молодыми владѣтельными принцами въ Германіи и, наконецъ, попалъ въ Гейдельбергъ. Теперь онъ былъ совершеннымъ красавцемъ. Прелестныя русыя кудри вились и густыми локонами падали на плечи, открывая только съ боковъ античную бѣлую шею; по лицу проступалъ легкій пушокъ, обозначалась небольшая раздваивающаяся бородка и надъ верхней губою вились тоненькіе усики. Сентиментальныя нѣмочки Гейдельберга, любуясь очаровательною головою Райнера, въ шутку прозвали его *Christuskopf*, и скоро эта кличка замѣнила для него его настоящее имя.

Гедвига и Ида изъ Bier-Halle, около которыхъ всегда толпилась цѣлая куча студентовъ, дѣлали глазки Райнеру и весьма недвусмысленно улыбались, подавая ему кружку пива; но Райнеръ не замѣчалъ этого, какъ онъ не замѣчалъ и всѣхъ остальныхъ женщинъ, со стороны ихъ притягательнаго вліянія на мужчину.

Въ Гейдельбергѣ Райнеръ ближе всѣхъ держался славянскаго кружка и преимущественно сходился съ русскими и поляками. Чеховъ здѣсь было немного, но зато изъ среды ихъ Райнеръ выбралъ себѣ крѣпкаго друга. Это былъ Іосифъ Коляръ, поэтъ, энтузіастъ и славянскій федералистъ, родомъ изъ окрестностей Карлова Тына.

На двадцать второмъ году Вильгельмъ Райнеръ возвратился домой, погостилъ у отца и съ его рекомендательными письмами поѣхалъ въ Лондонъ. Отецъ рекомендовалъ сына

Марпсу, Фрейлиграту и своему русскому знакомому, прося ихъ помочь молодому человѣку пристроиться къ хорошему торговому дому и войти въ общество.

Просьба старика была выполнена самымъ удовлетворительнымъ образомъ. Черезъ мѣсяцъ послѣ пріѣзда въ Лондонъ, молодой Райнеръ былъ подручнымъ клеркомъ у Джемса Смита и имѣлъ входъ въ нѣсколько семейныхъ домовъ самыхъ разныхъ слоевъ.

Болѣе Райнеръ держался континентальнаго революціоннаго кружка и знакомился со всѣми, кто мало-мальски примыкалъ къ этому кружку. Отсюда, черезъ годъ, у Райнера составилось весьма обширное знакомство, и кое-кто изъ революціонныхъ эмигрантовъ стали поглядывать на него съ надеждами и упованіями, что онъ будетъ отличный слуга дѣлу.

Личныя симпатіи Райнера влекли его къ соціалистамъ. Ихъ теорія сильно отвѣчала его поэтическимъ стремленіямъ.—Поборниковъ національной независимости онъ уважалъ за проявляемыя ими силу и настойчивость и даже желалъ имъ успѣха; но къ ихъ планамъ не лежало его сердце. Никакого обособленія онъ не признавалъ нужнымъ при раздѣлѣ естественныхъ правъ человѣческаго рода.

Строгая англійская семья, съ чинными, благовоспитанными женщинами, имѣла на Райнера свое вліяніе. Онъ пересталъ избѣгать и бояться женщинъ и держался истымъ джентльменомъ, но природная застѣнчивость его не оставляла. Большого удовольствія въ этомъ обществѣ онъ не находилъ съ самаго начала, и къ концу перваго же года оно ему совершенно опротивѣло своею чопорностью, мелочностью и искусственностью. Его возмущало, что и хозяйка, и ея дочери, и ихъ кузины могутъ смертельно поблѣднѣть оттого, напримѣръ, что неосторожный гость свалитъ головою плетеный, бумажный «макассаръ» съ кресла, или совершитъ другое, столь же возмутительное преступленіе противъ общественнаго благоприличія. Онъ былъ въ семьяхъ квакеровъ и ирвингитовъ; говорилъ съ ихъ «ангелами» и

ѣлъ ростбифъ съ ихъ «серафимами». Онъ всматривался въ женщинъ этого оригинальнаго кружка, и онѣ ему тоже не нравились. А между тѣмъ Райнеръ сталъ подумывать о женщинахъ, удаляя, впрочемъ, всякій сладострастный помыселъ и стремясь къ отысканію какого-то чистаго, сильнаго, героическаго, но весьма туманнаго идеала.

Въ это время Райнеру совершенно опротивѣлъ Лондонъ. Онъ уѣхалъ въ Парижъ, и черезъ полгода ему сталъ гадокъ и Парижъ съ его императорскими бульварами, зуавами, галлереями, съ его сонными cochers, важными sergents de ville, голодными и раскрашенными raccrocheuse, ложью въ семьѣ и утопленницами на выставкѣ сенскаго Морга.

Революціонные парижскіе кружки тоже не нравились Райнеру. Еще онъ могъ симпатизировать федеративнымъ стремленіямъ чеховъ, но участіе католическаго духовенства и аристократіи въ дѣлахъ польской національности отворачивало его отъ этихъ дѣлъ. Брошенныя отцомъ сѣмена презрѣнія къ папизму крѣпко разрослись въ молодомъ Райнерѣ, и онъ не могъ вообразить себѣ никакой роли въ какомъ бы то ни было участіи съ католическимъ попомъ. Къ тому же, какъ уже сказано, Райнеръ не былъ почитателемъ принципа національностей.

И тутъ-то ему вспомнились опоэтизированные разсказы о русской общинѣ, о прирожденныхъ наклонностяхъ русскаго народа къ соціализму: припомнились русскіе люди, которые заявили свою рѣшительность, и люди, пріѣзжавшіе изъ Россіи съ разсказами о своей рѣшительности и объ удобствѣ настоящей поры для коренного соціальнаго переворота, къ которому общество созрѣло, а народъ готовъ искони, и все ждетъ только опытныхъ вождей и смѣлыхъ застрѣльщиковъ.

Вильгельмъ Райнеръ вернулся въ Англію. Долго не раздумывая и вовсе не списываясь съ отцомъ, онъ спѣшно покончилъ свои дѣла съ конторою, обвертѣлъ себя листами русской лондонской печати и весною того года, въ который начинается нашъ романъ, явился въ Петербургѣ.

По соображеніямъ Райнера, самымъ логическимъ образомъ выведеннымъ изъ слышанныхъ разсказовъ русскихъ либераловъ-туристовъ, раздумывать было некогда: въ Россіи каждую минуту могла вспыхнуть революція въ пользу дѣла, которое Райнеръ считалъ законнѣйшимъ изъ всѣхъ дѣлъ человѣческихъ и за которое давно рѣшилъ положить свою голову.

— —

Таковъ былъ Райнеръ, съ которымъ мы мелькомъ встрѣтились въ первой книгѣ романа и съ которымъ намъ не разъ еще придется встрѣтиться.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Свои люди.

Наступилъ вечеръ великаго дня, въ который Араповъ долженъ былъ ввести Розанова къ *своимъ людямъ* и при этомъ случаѣ показать *чужого человѣка*.

Это былъ тяжелый, сѣрый день, безъ утренняго разсвѣта и безъ вечернихъ сумерекъ; день, непосредственно смѣняющій замѣшкавшуюся ночь и торопливо сгоняемый другою ночью,

Араповъ былъ не въ духѣ. Его что-то разстроило съ самаго утра и, къ тому же, онъ, какъ человѣкъ очень нервный, былъ весьма чувствителенъ къ атмосфернымъ вліяніямъ.

— Идемте,—сухо сказалъ онъ Розанову, взойдя къ нему въ семь часовъ вечера.

И они пошли.

Выйдя за ворота, Розановъ хотѣлъ взять извозчика, но Араповъ сказалъ, что не надо.

Они держали путь прямо къ старому казенному зданію.

— Здѣсь намъ надо повидать одного человѣка, — говорилъ Араповъ, входя подъ темную арку стараго зданія.

«Юлія, или подземелья замка Мадзини» и всѣ картинные ужасы эффектныхъ романовъ лэди Редклифъ вставали въ памяти Розанова, когда они шли по темнымъ коридо-

рамъ оригинальнаго дворца. Взошли въ какую-то круглую комнату, ощупью добрались до одной двери и опять коридоръ, опять шаги раздаются какъ-то страшно и торжественно, а навстрѣчу никого не попадается. Потомъ пошли какіе-то завороты, лѣсенки и опять снова коридоръ. Въ темнотѣ, да для человѣка непривычнаго—точныя катакомбы. Наконецъ впереди мелькнуло сѣрое пятно: это была выходная дверь на какой-то дворикъ.

Приближаясь къ этому выходу, Розановъ сталъ примѣчать, что по сторонамъ коридора есть тоже двери, и у одной изъ нихъ Араповъ остановился и стукнулъ три раза палкой.

Въ отвѣтъ на этотъ стукъ послышались сначала очень глухіе шаги, потомъ они раздались близко и, наконецъ, дверь отворилась.

Передъ посѣтителями стоялъ солдатъ съ сальною свѣчою въ рукахъ.

— Дома? — спросилъ Араповъ, безцеремонно проходя мимо солдата.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе,—отвѣтилъ деньщикъ.

— Ну, все равно: дай мнѣ, Трошка, огня, я напишу ему записочку.

Солдатикъ пошелъ на цыпочкахъ, освѣщая сальною свѣчкою длиннѣйшую комнату, въ окна которой свѣтилъ огонь изъ противоположнаго флигеля. За первою комнатою начиналась вторая, немного меньшая; потомъ третья, еще меньшая, и, наконецъ, опять большая, въ которой были растянуты длинныя ширмы, оклеенныя обойною бумагою.

Вездѣ было очень пусто, даже почти совсѣмъ пусто, и только поразительнѣйшій безпорядокъ послѣдняго покоя придавалъ ему нѣсколько жилой видъ.

— Господинъ Райнеръ былъ у васъ нынче? — спросилъ Араповъ.

— Это французъ?

— Французъ.

— Были-съ.

— А чортъ дома? — спросилъ еще Араповъ, садясь за столъ, который столько же могъ назваться письменнымъ, сколько игорнымъ, обѣденнымъ или даже швальнымъ.

Здѣсь въ безпорядкѣ валялись книги, бумага, недошитый сапогъ, разбитыя игорныя карты, и тутъ же стояла тарелка съ сухарями и кровяной колбасой, бутылка съ пивомъ и чернильница.

Араповъ велѣлъ позвать къ себѣ «чорта» и оторвалъ кусокъ бумаги отъ какой-то тетради; а Розановъ присѣлъ было на придвинутое къ столу кресло, но тотчасъ же, вмѣстѣ съ нимъ, полетѣлъ на полъ.

— Садитесь на диванъ; оно безъ ножки, — проговорилъ засмѣявшись Араповъ и опять сталъ писать.

Изъ двери, въ которую исчезъ деньщикъ, сопя и покачиваясь, выступила тяжелая, массивная фигура въ замасленномъ, дубленомъ полушубкѣ.

— Это ты, чортъ? — спросилъ, не оборачиваясь, Араповъ.

— Я-съ,—произнесла сиплымъ голосомъ фигура.

— Отыщи ты сейчасъ капитана.

— Слушаю-съ.

— Ты знаешь, гдѣ онъ?

— Нѣтъ, не знаю-съ.

— Ну, разыщи.

Араповъ сталъ складывать записку, а докторъ разсматривалъ стоящаго у двери «чорта».

Богъ знаетъ, что̀ это было такое: роста огромнаго, ручищи длинныя, ниже колѣнъ, голова какъ малый пивной котелъ, говоритъ сиплымъ басомъ, ротъ до ушей и такой непріятный, и подлый, и чувственный, и холодно-жестокій.

— На, и иди, — сказалъ Араповъ, подавая «чорту» записку, послѣ чего тотъ сейчасъ же исчезъ за дверью.

— У кого это мы были? — спрашивалъ Аранова Розановъ, выходя изъ-подъ темной арки на улицу.

— Узнаете,—нехотя отвѣтилъ Араповъ.

— А что это за чортъ?

— А это, батюшка, артистъ: иконописаніемъ занимался и бурлакомъ былъ и чортъ его знаетъ, чѣмъ онъ не былъ.

— А теперь, что онъ тутъ дѣлаетъ?

— Ничего,—папиросы намъ дѣлаетъ, да паспорта себѣ ожидаетъ съ того свѣта,—отвѣчалъ, улыбнувшись, Араповъ.

Розановъ видѣлъ, что «чортъ» одна изъ тѣхъ многочисленныхъ личностей, которыя обитаютъ въ Москвѣ, цѣлый вѣкъ таясь и пресмыкаясь, и понималъ, что этому созданію съ вѣроятностью можно ожидать паспорта только на тотъ свѣтъ; но какъ могли эти ручищи свертывать и подклеивать тонкую папиросную гильзу—Розановъ никакъ не могъ себѣ вообразить, однакоже ничего не сказалъ угрюмому Арапову.

По трехпогибельному тротуару одной изъ недальнихъ улицъ Розановъ вмѣстѣ съ Араповымъ дошли до параднаго подъѣзда одного очень опрятнаго домика и по чистенькой лѣсенкѣ, освѣщенной мѣдною лампочкою, вошли въ тепленькую и опрятную квартиру.

Пока человѣкъ бралъ ихъ верхнее платье, въ довольно ярко освѣщенномъ зальцѣ показался весьма миловидный молодой офицеръ въ нѣсколько длинноватомъ сюртукѣ.

Въ то время нѣкоторое удлиненіе полъ противъ форменнаго покроя, въ извѣстныхъ военныхъ кружкахъ, считалось признакомъ благовоспитанности, солиднаго либерализма и порядочности.

— Хозяинъ дома, Казимиръ Викентьевичъ Рациборскій, сказалъ Розанову Араповъ,—вамъ честь имѣю рекомендовать Дмитрія Петровича Розанова, добавилъ онъ, обращаясь къ хозяину.

Рациборскій очень любезно пожалъ руку Розанова и поблагодарилъ его за знакомство.

— Что-жъ, никого еще нѣтъ?—спросилъ Араповъ, когда они перешли изъ маленькаго зальца въ столь же маленькую и уютную гостиную.

— Нѣтъ, кое-кто есть,—отвѣчалъ Рациборскій.

— До «шваховъ» еще долго?

— Да, теперь въ началѣ восьмой; раньше восьми никто не будетъ,—отвѣчалъ скромно хозяинъ.

Вообще всѣ его слова и манеры были какъ нельзя болѣе подъ-стать его сюртуку, краснорѣчиво говорили о его благовоспитанности и съ перваго же раза располагали въ его пользу.

— Такъ время дорого,—замѣтилъ Араповъ.

— Да, произнесъ, улыбаясь, Рациборскій:—оно всегда дорого, и не спѣша добавилъ:—Позвольте попросить васъ, г. Розановъ, въ мою рабочую комнату.

Всѣ втроемъ они перешли по мягкому ковру въ третью комнатку, гдѣ стояла кровать хозяина и хорошенькая спальная мебель.

Рациборскій подошелъ къ приставленному у стѣны шкафу краснаго дерева и не повернулъ, а подавилъ внутрь вложенный въ двери ключъ.

Шкафъ открылся и показалъ другую дверь, которую Рациборскій отперъ, потянувъ ключъ на себя.

За второю дверью висѣло толстое зеленое сукно.

Рациборскій отдернулъ за шнурокъ эту плотную занавѣску, и они вошли въ большую, ярко освѣщенную комнату, застланную во весь полъ толстымъ плетенымъ ковромъ и съ окнами, закрытыми тяжелыми шерстяными занавѣсками.

Убранство этой комнаты было также весьма мило и изящно, но придавало покою какой-то двойственный характеръ. Вдоль всей стѣны, подъ окнами,—стоялъ длинный, некрашеный столъ, въ которомъ были въ рядъ четыре выдвижные ящика съ мѣдными ручками. На этомъ столѣ помѣщалось нѣсколько картонныхъ коробокъ для бумагъ, небольшая гальваническая батарея, двѣ модели нарѣзныхъ пушекъ, двѣ чертежныя доски, съ натянутыми на нихъ листами ватманской бумаги; доска съ закрытымъ чертежомъ, роскошная чернильница, портретъ Лелевеля, портретъ

Герцена и художественно-исполненная свинцовымъ карандашомъ женская головка съ подписью:

«To Litwinka, dziewica bohater,
Wodz Powstancôw: Emilia Plater».

Надъ столомъ еще висѣлъ портретикъ прекрасной молодой женщины, подъ которымъ изъ того же поэта можно было бы написать:

«I nie potrzeba tlumaczyé,
Co chce slyszaé, co zobacyé».

Столъ освѣщался большою солнечною лампою.

Далѣе, въ углубленіи комнаты, стояли мягкій полукруглый диванъ и нѣсколько такихъ же мягкихъ креселъ, обитыхъ зеленымъ трипомъ. Передъ диваномъ стоялъ небольшой орѣховый столикъ съ двумя свѣчами. Къ стѣнѣ, выходившей къ спальнѣ Рациборскаго, примыкала длинная оттоманка, на которой свободно могли улечься два человѣка, ноги къ ногамъ. У четвертой стѣны, прямо противъ дивана и орѣховаго столика, были два шкафа съ книгами и между ними опять тяжелая занавѣска изъ зеленаго сукна, ходившая на кольцахъ по мѣдной проволокѣ.

— Господа! позвольте мнѣ представить вамъ новое лицо, которое мы должны принять по-братски,—произнесъ Рациборскій, подводя Розанова за руку къ столику, передъ которымъ сидѣли четыре человѣка.

Гости встали и вѣжливо поклонились вошедшимъ.

— Студентъ Каетанъ Слободзиньскій, съ Волыня, рекомендовалъ Розанову Рациборскій:—капитанъ Тарасъ Никитичъ Барилочка, продолжалъ онъ, указывая на огромнаго офицера,—иностранецъ Вильгельмъ Райнеръ и мой дядя, старый офицеръ бывшихъ польскихъ войскъ, Владиславъ Ѳомичъ Ярошиньскій. Съ послѣднимъ и вы, Араповъ, незнакомы: позвольте васъ познакомить, добавилъ Рациборскій и тотчасъ же пояснилъ:—мой дядя соскучился обо мнѣ, не вытерпѣлъ, пока я возьму отпускъ, и вчера пріѣхалъ на короткое время въ Москву, чтобы повидаться со мною

— Да, да́вно южъ не видѣлись, захотѣлъ повидѣться,— проговорилъ бывшій офицеръ польскихъ войскъ, пожавъ руки Арапову и Розанову.

Райнеръ поклонился Розанову, какъ совершенно незнакомому человѣку, и, отойдя, сталъ у рабочаго стола Рацибо́рскаго.

Арановъ сказалъ Барилочкѣ, что они сейчасъ заходили къ нему и послали за нимъ «чорта», и тотчасъ же завязалъ разговоръ съ Ярошиньскимъ, стараясь держаться какъ-то и таинственно, и рѣшительно, и ловко.

Розановъ присѣлъ на концѣ длинной оттоманки и сталъ разсматривать комнату и лицъ, въ ней находящихся.

Изъ неодушевленной обстановки онъ замѣтилъ то, что мы упомянули, описывая физіономію рабочаго покоя Рацибо́рскаго. Розановъ зналъ, въ какую сферу его вводитъ новое знакомство, и обратилъ свое вниманіе на живыхъ людей, которые здѣсь присутствовали.

Капитанъ Барилочка былъ хохолъ не хитрой расы, но типъ, прямо объясняющій «звиткіля вінъ узявся». Если бы Барилочку привезти на полтавскую или на роменскую ярмарку, то непремѣнно бы заговорили: «Дывись, дывись отъ цэ, якъ вырядився Фонфачки сынокъ, що зъ Козельце».

Капитанъ былъ человѣкъ крупный, тѣлесный, нрава на видъ мягкаго, веселаго и тоже на видъ откровеннаго. Голосъ имѣлъ громкій, бакенбарды густѣйшія, носъ толстый, глазки слащавые, и что въ его мѣстности называется «очи пивныя». Усы, закрывавшіе его длинную верхнюю губу, не позволяли видѣть самую характерную черту его весьма незлого, но до крайности ненадежнаго лица. Лѣтъ ему было подъ сорокъ.

Студентъ Слободзиньскій былъ на видъ весьма кроткій юноша,—высокій, довольно стройный, съ нѣсколько ксендзовскимъ, острымъ носомъ, сѣрыми умными глазами и очень сдержанными манерами. Ему было двадцать два, много двадцать три года.

Офицеръ польскихъ войскъ была фигура показная. Это

былъ типъ старопольскаго пана средней руки. Онъ имѣлъ на видъ лѣтъ за пятьдесятъ, но на головѣ у него была густая шапка сѣдыхъ, буйно разметанныхъ волосъ. Подбородокъ его и щеки были тщательно выбриты, а ротъ совсѣмъ закрывался сѣдыми усищами, спускавшимися съ угловъ губъ длинными концами ниже челюстей. Высокій, умный, но холодный лобъ Ярошиньскаго былъ правильно подлиненъ двумя почти сходившимися бровями, изъ которыхъ еще не совсѣмъ исчезъ черный волосъ молодости, но еще болѣе молодости было въ черныхъ, тоже очень умныхъ его глазахъ. Манеры Ярошиньскаго были вкрадчивыя, но пріятныя. Одѣтъ онъ былъ въ суконную венгерку со шнурами, и руки почти постоянно держалъ въ широкихъ шароварахъ со сборами.

Не успѣлъ докторъ осмотрѣть эти лица, на что было истрачено гораздо менѣе времени, сколько израсходовалъ читатель, пробѣжавъ сдѣланное мною описаніе, какъ надъ суконною занавѣсою, противъ дивана, раздался очень тихій звонокъ.

— Швахи наступаютъ, — произнесъ, обращаясь къ Рациборскому, Араповъ.

Рациборскій ничего не отвѣтилъ, но тотчасъ же вышелъ въ дверь черезъ свою спальню.

Райнеръ все стоялъ, прислонясь къ столу и скрестя на груди свои сильныя руки; студентъ и Барилочка сидѣли молча, и только одинъ Араповъ спорилъ съ Ярошиньскимъ.

— Нѣтъ-съ, говорилъ онъ Ярошиньскому въ то время, когда вышелъ Рациборскій и когда Розановъ пересталъ смотрѣть, а началъ вслушиваться.—Нѣтъ-съ, вы не знаете, въ какую мы вступаемъ эпоху. Наша молодежь теперь не прежняя, вездѣ есть движеніе и есть люди на все готовые.

— Оповядалъ мнѣ Казя, оповядалъ, и шкода мнѣ этихъ людзей, если они есть такіе.

— Какъ же вы жалѣете ихъ? Нужно же кому-нибудь гибнуть за общее дѣло. Вы же сами сражались вѣдь за свободу.

— О, да! Мы стары люди: мы не терезнейшихъ... Мы не тэпершнейшего вѣку, — снисходительно говорилъ Ярошиньскій.

— Да вѣдь вотъ то-то и есть несчастье Польши, что она Россіи не знаетъ и не понимаетъ.

— Вотъ этое, что правда, то правда,—подтвердилъ полякъ, зная, что уста его надежно декорированы усами, сквозь которые ничей глазъ не замѣтитъ презрительно насмѣшливой улыбки.

— А вотъ передъ вами сколько человѣкъ? Одинъ, два, три... ну, четвертый, положимъ, полякъ... и всѣ одного мнѣнія и всѣ пойдемъ и ляжемъ...

Подъ сѣдыми усами, вѣроятно, опять что-то шевельнулось, потому что Ярошиньскій не сразу заговорилъ:

— Оборонь васъ Боже, панове. Я и Ка́зю про̀силъ и тебѣ говору, Каетанцю, обратился онъ къ студенту,—не руштесь вы. Хи́ба еще мало и польской и россійской шляхетной крови пролялось. Сѣдьте тихо, посядайте науки, да молите Пана Бога. Оструженость, велика оструженость потребна въ такей порѣ. На́родъ злый сталъ. Цо я тутай слышалъ отъ Ка̀зи и что вы мнѣ говòрите, я разумѣю за дзецинады... за дѣтинство, — пояснилъ Ярошиньскій, очень затрудняясь наборомъ русскихъ словъ:—Але якъ вы може́те такъ звращать увагу на иньшихъ людзей! Якій-кольвекъ блазень, якій кольвекъ лёкай, хлопъ, а найгоржей хлопъ тыле людзей може загубить, же самъ и сотки одъ нихъ не вартъ.

— О, нѣтъ-съ! Ужъ этого вы не говорите. Нашъ народъ не таковъ, да ему не изъ-за чего насъ выдавать. Наше начало тѣмъ и вѣрно, тѣмъ несомнѣнно вѣрно, что мы стремимся къ революціи, на совершенно иномъ принципѣ.

Въ комнату снова вошелъ Рациборскій и, подойдя къ Арапову, подалъ ему сложенную бумажку.

— Что это?

— Вѣрно ваше письмо.

— Какое?

— «Чортъ» принесъ, Тараса Никитича отыскивалъ.

— Вы сказали, что его нѣтъ.

— Да, сказалъ, что нѣтъ.

— А тамъ кто у васъ?

— Никого еще пока: это «чортъ» звонилъ.

— Co to za nazwisco ciekawe? Powiedź mnie Kaziu, proszę ciebie, произнесъ удивленный старикъ, обращаясь къ племяннику.—Co to jest takiego: chyba już doprawdy wy i z diabłami tutaj poznajomiliście?—добавилъ онъ смѣючись.

— Да, это вотъ они, мужики, одного «чортомъ» зовутъ,—отвѣчалъ по-русски Рациборскій.

— То-то, а я, якъ провинцыялъ, думаю, что можетъ тутейшая наука млодыхъ южъ и дьябла до ỳслугъ сѐбѣ забрала,—проговорилъ опять играя старикъ.

Надъ занавѣскою снова раздался мелодическій звонъ, и Рациборскій опять ушелъ черезъ свою спальню.

— Гости?—спросилъ старикъ Арапова.

— Вѣрно гости.

— Все такіе, якъ и вы?

— Нѣтъ, тамъ всякіе бываютъ: мы ихъ зовемъ «швахами».

— Ну, такъ я къ нимъ; бесѣдуйте себѣ, — я мое сдѣлалъ, лучше волю не слышать, ежели не хотите меня послухать,—проговорилъ шутя старикъ и поднялся.

Проходя мимо Арапова, онъ потрепалъ его, на старческомъ правѣ, по плечу и тихо проронилъ со вздохомъ:

— Охъ глòва, глòва горячая, не даромъ тебѣ згинуты.

Совершивъ свою манипуляцію и пророческое предсказаніе надъ головою Арапова, Ярошиньскій ушелъ въ ту же дверь, въ которую передъ тѣмъ вышелъ его племянникъ.

Надъ занавѣскою опять прозвонило и вслѣдъ затѣмъ голосъ Рациборскаго произнесъ въ комнатѣ:

— Идите кто-нибудь, много чужихъ.

Розановъ съ изумленіемъ оглядѣлъ комнату: Рациборскаго здѣсь не было, а голосъ его раздавался у нихъ надъ самымъ ухомъ.

Араповъ и Барилочка расхохотались.

— Механика, батюшка,—произнесъ Араповъ съ видомъ авторитетнаго старѣйшинства,—каменія глаголятъ.

Въ двери, которою до сихъ поръ входили, показался Рациборскій и сказалъ:

— Идите, господа, понемножку; идите вы, Тарасъ Никитичъ.

Барилочка всталъ и исчезъ за занавѣскою, надъ которой повременамъ раздавался тоненькій звонъ серебрянаго колокольчика.

— Чего вы смѣетесь, Араповъ? спросилъ Рациборскій.

Араповъ разсказалъ, въ смѣшномъ видѣ, розановское удивленіе при звонкахъ и таинственномъ зовѣ, и вышелъ изъ этой комнаты.

— Это простая вещь, я виноватъ, что не разсказалъ вамъ ранѣе, любезно проговорилъ Рациборскій: — Я живу одинъ съ человѣкомъ, часто усылаю его куда нибудь, а самъ сижу постоянно за работою, въ этой комнатѣ, такъ долженъ былъ позаботиться о нѣкоторыхъ ея удобствахъ. Отсюда ничего не слышно; этотъ коверъ и мебель удивительно скрадываютъ звуки, да я и самъ заботился, чтобы мнѣ ничто не мѣшало заниматься; поэтому звонокъ, который вы здѣсь слышите, просто соединенъ, на случай выхода слуги, съ наружнымъ колокольчикомъ. А голосъ... это просто... видите,—Рациборскій подошелъ къ открытому мѣдному отдушнику и пояснилъ:—это не въ печкѣ, а въ деревянной стѣнѣ, печка вотъ гдѣ. Это я сдѣлалъ, чтобы знать кто приходитъ, потому что иногда нѣтъ покоя отъ посѣтителей. Когда тотъ конецъ открытъ, здѣсь все слышно, что говорится въ передней. Вы извините, пожалуйста, что я не предупредилъ васъ, здѣсь нѣтъ никакихъ тайнъ,—проговорилъ Рациборскій и, пригласивъ гостей идти въ общія комнаты, вышелъ.

За Рациборскимъ тотчасъ же ушелъ за занавѣску подъ звонкомъ Слободзиньскій.

Розановъ остался одинъ съ Райнеромъ.

— Какъ вамъ живется, Райнеръ?—освѣдомился докторъ.

— Благодарю. Какими вы здѣсь судьбами?

Розановъ наскоро сообщилъ цѣль своего пріѣзда въ Москву и спросилъ:

— Зачѣмъ вы меня не узнали?

— Такъ, я не сообразилъ, какъ мнѣ держаться съ вами, вы вошли такъ неожиданно. Но мы можемъ сдѣлать видъ, что слегка знакомы. Секретъ не годится: Пархоменко все сболтнетъ.

— Да и здѣсь, можетъ быть, стѣны слышатъ, что мы говоримъ съ вами,—прошепталъ ему на ухо Розановъ.

— Идемте, отнако,—сказалъ Райнеръ.

— Пойдемте.

— Нѣтъ, вмѣстѣ нельзя; идите вы впередъ, вотъ въ эту дверь: она ведетъ въ буфетъ и васъ тамъ встрѣтитъ человѣкъ.

Розановъ отодвинулъ занавѣску, потомъ отворилъ дверь, за нею другую дверь, и вышелъ изъ шкафа въ чистенькую коморочку, гдѣ стояла опрятная постель слуги и буфетный шкафъ.

Его встрѣтилъ слуга и черезъ дверь, сдѣланную въ дощатой перегородкѣ, отдѣлявшей переднюю отъ буфета, проводилъ до залы.

По залѣ ходили два господина. Одинъ высокій, стройный брюнетъ, лѣтъ двадцати пяти; другой маленькій блондинчикъ, щупленькій и какъ бы сжатый въ комочекъ. Брюнетъ былъ очень хорошъ собою, но въ его фигурѣ и манерахъ было очень много изысканности и чего-то говорящаго: «не тронь меня». Черты лица его были тонки и правильны, но холодны и дышали эгоизмомъ и безучастностью. Вообще физіономія этого красиваго господина тоже говорила «не тронь меня»; въ ней видимо преобладали цинизмъ и половая чувственность, мелкая завистливость и злобная мстительность исподтишка. Красавецъ былъ одѣтъ безукоризненно и не снималъ съ рукъ тонкихъ лайковыхъ перчатокъ блѣднозеленаго цвѣта.

Блондинчикъ, напротивъ, былъ грязноватъ. Его сухіе, изжелта-сѣрые, нѣсколько волнистые волосы лежали весьма

некрасиво; бѣлье его не отличалось такою чистотою, какъ у брюнета; одѣтъ онъ былъ въ пальто безъ таліи, сшитое изъ коричневаго трико, съ какою-то малиновою искрой. Маленькіе сѣрые глазки его безпрестанно щурились и смотрѣли умно, но измѣнчиво. Минутою въ нихъ глядѣла самонадѣянность и заносчивость, а потомъ вдругъ это выраженіе быстро падало и уступало мѣсто какой-то робости, самоуничиженію и задавленности. Маленькія сѣрыя ручки и сморщенное сѣрое личико блондина придавали всему ему какой-то неотмываемо грязный и непріятный видъ. Словно сквозь кожистые покровы проступала внутренняя грязь.

Розановъ, проходя, слегка поклонился этимъ господамъ, и въ отвѣтъ на его поклонъ брюнетъ отвѣчалъ самымъ вѣжливымъ и изысканнымъ поклономъ, а блондинъ только прищурилъ глазки.

Въ гостиной сидѣли панъ Ярошиньскій, Араповъ, хозяинъ дома и какой-то рыжій, растрепанный коренастый субъектъ. Араповъ продолжалъ бесѣду съ Ярошиньскимъ, а Рациборскій разговаривалъ съ рыжимъ.

При входѣ Розанова, Рациборскій всталъ, пожалъ ему руку и потомъ отрекомендовалъ его Ярошиньскому и рыжему, назвавъ при этомъ рыжаго Петромъ Николаевичемъ Бычковымъ, а Розанова—пріятелемъ Арапова.

При вторичномъ представленіи Розанова Ярошиньскому полякъ держалъ себя такъ, какъ будто онъ до сихъ поръ ни разу нигдѣ его не видѣлъ.

Не успѣлъ Розановъ занять мѣсто въ укромной гостиной, какъ въ залѣ послышался веселый, громкій говоръ и вслѣдъ затѣмъ въ гостиную вошли три человѣка: блондинъ и брюнетъ, которыхъ мы видѣли въ залѣ, и Пархоменко.

Пархоменко былъ черномазенькій хлопчикъ, лѣтъ весьма молодыхъ, съ широкими скулами, непропорціонально узкимъ лбомъ и еще болѣе непропорціонально узкимъ подбородкомъ, на которомъ, по вычисленію пріятелей, съ одной стороны росло семнадцать коротенькихъ волосинокъ, а съ дру-

гой—двадцать четыре. Держалъ себя Пархоменко весьма развязнымъ и весьма нескладнымъ развихляемъ, питалъ національное предубѣжденіе противъ носовыхъ платковъ и въ силу того безпрестанно дергалъ лѣвою щекою и носомъ, а въ минуты размышленія съ особеннымъ тщаніемъ и ловкостью выдавливалъ пальцемъ свой правый глазъ. Лиза нимало не ошиблась, назвавъ его «дурачкомъ» послѣ меревскаго бала, на которомъ Пархоменко впервые показался въ нашемъ романѣ. Пархоменко былъ такъ себѣ, шальной, дурашливый, петербургскій хохликъ, что называется «безглуздая ледащица».

При входѣ Пархоменки, опять началась рекомендація.

— Прохоръ Матвѣевичъ Пархоменко, — сказалъ Рациборскій, представивъ его разомъ всей компаніи, и потомъ поочередно назвалъ ему Ярошиньскаго и Розанова.

— А мы давно знакомы!—воскликнулъ Пархоменко при имени Розанова, и протянулъ ему по-пріятельски руку.

— Гдѣ же вы были знакомы?

— Мы познакомились нынѣшнимъ лѣтомъ въ провинціи, когда я ѣздилъ съ Райнеромъ.

— Такъ и вы, Райнеръ, старые знакомые съ докторомъ?

— Да, я мелькомъ видѣлъ господина Розанова и, виноватъ, не узналъ его съ перваго раза,—отвѣчалъ Райнеръ.

Рациборскій познакомилъ Розанова съ блондиномъ и брюнетомъ. Брюнета онъ назвалъ Петромъ Сергѣевичемъ Бѣлоярцевымъ, а блондина Иваномъ Семеновичемъ Завуловымъ.

— Такъ и есть, что изъ семи-овчинныхъ утробъ, — подумалъ Розановъ, принимая крохотную, костлявую ручку сѣренькаго Завулонова, который тотчасъ же крякнулъ, зашелестилъ ладонью по своей желтенькой гривкѣ и, взявъ за локоть Бѣлоярцева, потянулъ его опять въ залу.

— Ну что, Пархомъ удобоносительный, что новаго?— спросилъ шутливо Араповъ Пархоменку.

Пархоменко, значительно улыбнувшись, вытащилъ изъ кармана нѣсколько вчетверо свернутыхъ листиковъ печатной

бумаги, ударилъ ими шутя по головѣ Арапова и сказалъ:

— Семь дней всего какъ изъ Лондона.

— Что это: *Колоколъ?*

— А то что̀-жъ еще?—съ улыбкою отвѣтилъ Пархоменко и, сѣвъ съ нѣкоторою такъ сказать либеральною важностію на кресло, тотчасъ же засунулъ указательный палецъ правой руки въ глазъ и выпятилъ его изъ орбиты.

Араповъ сталъ читать новый нумеръ лондонскаго журнала и прочелъ его отъ первой строчки до послѣдней. Всѣ слушали, кромѣ Бѣлоярцева и Завулонова, которые, разговаривая между собою полушопотомъ, продолжали попрежнему ходить по залѣ.

Начался либеральный разговоръ, въ которомъ Ярошиньскій мастерски облагалъ сомнѣніями всякую мысль о возможности революціоннаго успѣха, оставляя, однако, всегда незагороженнымъ одинъ какой нибудь выходъ. Но за то выходъ этотъ, послѣ высказанныхъ сомнѣній Ярошиньскаго во всемъ прочемъ, незамѣтно становился такимъ яснымъ, что Араповъ и Бычковъ внѣ себя хватались за него и начинали именно его отстаивать, уносясь, однако, каждый разъ опрометчиво далѣе, чѣмъ слѣдовало, и открывая вновь другія слабыя стороны. Ярошиньскій неподражаемо мягко бралъ ихъ за эти нагіе бока и, слегка пощекочивая своимъ скептицизмомъ, началъ обоихъ разомъ доводить до нѣкотораго бѣшенства.

— Все такъ, все такъ,—сказалъ онъ, наконецъ, послѣ двухчасового спора, въ которомъ никто не принималъ участія, кромѣ его, Бычкова и Арапова, только шкода людей, да и нима людей.—Что-жъ эта газета, этихъ мыслѣй еще никто въ Россіи не понимаетъ.

— Что! что! Этихъ мыслей мы не понимаемъ?—закричалъ Бычковъ, давно уже оравшій во всю глотку.—Это мысль наша родная; мы съ ней родились; ее сосали въ материнскомъ молокѣ. У насъ правда по закону свята, принесли ту правду наши дѣды черезъ три рѣки на нашу землю. Еще Гагстгаузенъ это видѣлъ въ нашемъ народѣ. Вы думаете

тамъ, въ Польшѣ, что онъ намъ образецъ?.. Онъ намъ тьфу!— Бычковъ плюнулъ и добавилъ:—вотъ что это онъ намъ теперь значитъ.

Ярошиньскій тихо и внимательно глядѣлъ молча на Бычкова, какъ будто видя его насквозь, и только соображая, какъ идутъ и чѣмъ смазаны въ немъ разныя, то безъ пардона бѣгущія, то заскакивающія колесца и пружинки; а Бычковъ входилъ все въ бо̀льшій азартъ.

Такъ прошло еще съ часъ. Говорилъ ужъ рѣшительно одинъ Бычковъ; даже араповскимъ словамъ не было мѣста.

— Что за чортъ такой!—думалъ Розановъ, слушая страшныя угрозы Бычкова. Это не были нероновскія желанія Арапова полюбоваться пылающей Москвою и слушать стонъ и плачъ des boyards moskovites. Араповскія стремленія были нѣжнѣйшая сентиментальность передъ тѣмъ, чего желалъ Бычковъ. Этотъ бралъ шире: «залить кровью Россію, перерѣзать все, что къ штанамъ карманъ пришило. Ну пятьсотъ тысячъ, ну милліонъ, ну пять милліоновъ, говорилъ онъ. Ну, что-жъ такое? Пять милліоновъ вырѣзать, за то пятьдесятъ пять останется и будутъ счастливы».

— Пятьдесятъ пять не останется, — замѣтилъ Ярошиньскій.

— Отчего такъ?

— Такъ. Вотъ мы, напримѣръ, первые такей революціи не потршебуемъ: не въ нашемъ характе́рѣ. У насъ земя купіона, альбо тожъ унаслѣдова̀на. Кажденъ повиненъ удовольниться тимъ, цо ему Панъ Богъ далъ, и благодарить Его.

— Ну, это у васъ... Впрочемъ, что-жъ: отдѣляйтесь. Мы васъ держать не станемъ.

— И Литва тежъ такей революціи не прагнетъ.

— И Литва пусть идетъ.

— И козаччина.

— И она тоже. Пусть всѣ отдѣляются, кому съ нами не угодно. Мы стараго, какого-то мнимаго права собственности признавать не станемъ; а кто не хочетъ съ нами:

живи самъ себѣ. Пусть и финны, и лифляндскіе нѣмцы, пусть всѣ идутъ себѣ доживать свое право.

— Запомнилъ панъ мордву и цыганъ,—замѣтилъ улыбаясь Ярошиньскій.

— Всѣ, всѣ пусть идутъ, мы съ своимъ народомъ все сдѣлаемъ...

— А вашъ народъ собственности не любитъ?

Бычковъ нѣсколько затруднился, но тотчасъ же вмѣсто отвѣта сказалъ:

— Читайте Гагстгаузена: народъ нашъ исповѣдуетъ естественное право аграрнаго коммунизма. Онъ гнушается правомъ поземельной собственности.

— Правда, такъ панове?—спросилъ Ярошиньскій, обратясь къ Розанову, Райнеру, Барилочкѣ, Рациборскому, Пархоменкѣ и Арапову.

— Да, правда,—твердо отвѣтилъ Араповъ.

— Да,—произнесъ такъ же утвердительно и съ сознаніемъ Пархоменко.

— Мое дѣло, «скачи враже, якъ *міръ* каже», шутливо сказалъ Барилочка, измѣняя однимъ русскимъ словомъ значеніе грустной пословицы. «Скачи, враже, якъ панъ каже», выработавшейся въ дни польскаго пановапья.—А что до революціи, то я и душой, и тѣломъ за революцію.

Оба молодые поляка ничего не сказали и, къ тому же, Рациборскій всталъ и вышелъ въ залу, а оттуда въ буфетъ.

— Ну, а вы, пане Розановъ?—вопросилъ Ярошиньскій.

— Для меня, право, это все ново.

— Ну, однако, якъ вы уважаете на то?

— Я знаю одно, что такой революціи не будетъ. Утверждаю, что она невозможна въ Россіи.

— Отъ чловѣкъ, такъ чловѣкъ!—радостно подхватилъ Ярошиньскій:—Ро́ссія повинна сѣдзець и чекаць.

— А отчего-съ это она невозможна?—сердито вмѣшался Бычковъ.

— Оттого, что народъ не захочетъ ея.

— А вы знаете народъ?

— Мнѣ кажется, что знаю.

— Вы знаете его, какъ чиновникъ,—ядовито замѣтилъ Пархоменко.

— А! Такъ бы вы и сказали: я бы съ вами и спорить не сталъ, отозвался Бычковъ.—Народъ съ служащими русскими не говоритъ, а вы послушайте, что народъ говоритъ съ нами. Вотъ разспросите Бѣлоярцева или Завулонова: они ходили по Россіи, говорили съ народомъ и знаютъ, что народъ думаетъ.

— Ничего, значитъ, народъ не думаетъ,—отвѣтилъ Бѣлоярцевъ, который незадолго передъ этимъ вошелъ съ Завулоновымъ и сѣлъ въ гостиной, потому что въ залѣ человѣкъ началъ приготовлять закуску.—Думаетъ теперича онъ, какъ ему, что ни въ самомъ что ни есть наилучшемъ видѣ сосѣда поприжать.

— По-душевному, милый человѣкъ, по-душевному, по-божиному,—подсказалъ въ тонъ Бѣлоярцеву Завулоновъ.

Оба они чрезвычайно искусно подражали народному говору и этими короткими фразами заставили всѣхъ разсмѣяться.

— Закусить, господа,—пригласилъ Рациборскій.

Господа проходили въ залу группами и доканчивали свои разговоры.

— Конечно, мы ему за прежнее благодарны,—говорилъ Ярошиньскому Бычковъ,—но для теперешняго нашего направленія онъ отсталъ; онъ слабъ, сентименталенъ; слишкомъ церемонливъ. Размягченіе мозга ужъ чувствуется... Ужъ такой возрастъ... Разумѣется, мы его вызовемъ, но только съ тѣмъ, чтобы ужъ онъ насъ слушалъ.

— Да, говорилъ Райнеру Пархоменко,—это необходимо для однообразія. Теперь въ тамошнихъ школахъ будутъ читать и въ здѣшнихъ. Я двумъ распорядителямъ ужъ роздалъ по четыре экземпляра «звѣздъ» и Фейербаха на школу, а то черезъ васъ вышлю.

— Да вы еще останьтесь здѣсь на нѣсколько дней.

— Не могу; то-то и есть, что не могу. Птицынъ пи-

шетъ, чтобы я немедленно ѣхалъ: они тамъ безъ меня не знаютъ, гдѣ что пораспахано.

— Такъ, или нѣтъ?—раболѣпно спрашивалъ проходя въ двери Завулоновъ Бѣлоярцева.

— Я постараюсь, Иванъ Семеновичъ,—отвѣчалъ пріятнымъ баскомъ Бѣлоярцевъ.

— Пожалуйста, приставалъ молитвенно Завулоновъ, — мнѣ только бы съ нею развязаться, и чортъ съ ней совсѣмъ. А то я сейчасъ сяду, изображу этакую штучку въ листикъ, или въ полтора. Только бы хоть двадцать пять рубликовъ впередъ.

— Да ужъ я постараюсь,—отвѣчалъ Бѣлоярцевъ, а Завулоновъ только крякнулъ селезнемъ и сдѣлалъ движеніе, въ которомъ было что-то говорившее: «знаемъ мы, какъ ты, подлецъ, постараешься! Еще нарочно отсовѣтуешь».

Какъ только всѣ выпили водки, Ярошиньскій ударилъ себя въ лобъ ладонью и проговорилъ :

— О до сту дьзябловъ; и запомнилъ потрактовать пановъ моей старопольской водкой; не пейте панове, я заразъ, и Ярошиньскій выбѣжалъ.

Но предостереженіе послѣдовало поздно: паны уже выпили по рюмкѣ. Однако, когда Ярошиньскій появился съ дорожною фляжкою въ рукахъ и съ серебрянною кружечкою съ изображеніемъ Косцюшки, всѣ еще попробовали и «польской старки».

Перваго Ярошиньскій попотчивалъ Розанова и обманулъ его, выпивъ самъ рюмку, которую держалъ въ рукахъ.

Райнеръ и Рациборскій не пили «польской старки», а всѣ прочіе, кромѣ Розанова, во время закуски два раза приложились къ мягкой, маслянистой водкѣ, безъ всякаго сивушнаго запаха. Розановъ не повторилъ, потому что ему показалось, будто и первая рюмка какъ-то ужъ очень сильно ударила ему въ голову.

Ярошиньскій выпилъ двѣ рюмки, и за каждою изъ нихъ проглотилъ по маленькой сахарной лепешечкѣ.

Онъ ничего не ѣлъ; жаловался на слабость стараго желудка.

А гости сильно опьянѣли и опьянѣли сразу: языки развязались и болтали вздоръ.

— Пейте, Райнеръ,—приставалъ Араповъ.

— Я никогда не пью и не могу пить,—спокойно отвѣчалъ Рейнеръ.

— Эхъ вы, нѣмецъ!

— Что нѣмецъ,—нѣмецъ еще пьетъ, а онъ баба,—подсказалъ Бычковъ.—Нѣмецъ говоритъ: Wer liebt nicht Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang.

Райнеръ покраснѣлъ.

— А панъ Райнеръ и женщинъ не любитъ?—спросилъ Ярошиньскій.

— И пѣсенъ тоже не люблю,—отвѣтилъ, мѣшаясь, застѣнчивый въ подобныхъ случаяхъ, Райнеръ.

— Ну, да. Пословица какъ разъ по шерсти,—замѣтилъ неспособный стѣсняться Бычковъ.

Райнера эта новая наглость бросила изъ краски въ мертвенную блѣдность, но онъ не сказалъ ни слова.

Ярошиньскій всѣхъ наблюдалъ внимательно и не давалъ застыть живымъ темамъ. Разговоръ о женщинахъ, вѣроятно, представлялся ему очень удобнымъ, потому что онъ его поддерживалъ во время всего ужина и, начавъ полушутя, полусерьезно говорить объ эротическомъ значеніи женщины, перешелъ къ значенію ея, какъ матери, и, наконецъ, какъ патріотки и гражданки.

Райнеръ весь обращался въ слухъ и вниманіе, а Ярошиньскій все болѣе и болѣе распространялся о значеніи женщинъ въ исторіи, цитировалъ цѣлыя латинскія мѣста изъ Тацита, изобличая познанія, нисколько не отвѣчающія званію простого офицера бывшихъ войскъ польскихъ, и, наконецъ, свелъ какъ-то все на необходимость женскаго участія во всякомъ прогрессивномъ движеніи страны.

— Да, у насъ есть женщины,—у насъ была Марѳа Посадница новгородская!—воскликнулъ Араповъ.

— А что было, то не есть и не пишется въ реестръ,— отвѣтилъ Ярошиньскій.

Между тѣмъ со стола убрали тарелки и оставалось одно вино.

— Цѣли Марѳы Посадницы узки, крикнулъ Бычковъ.— Что-жъ, она стояла за вольности новгородскія, ну, и что-жъ такое? Что-жъ такое государство?—фикція. Аристократическая выдумка и ничего больше, а свобода отношеній есть фактъ естественной жизни. Наша задача и задача нашихъ женщинъ шире. Мы прежде всѣхъ разовьемъ свободу отношеній. Какое право нераздѣлимости? Женщина не можетъ быть собственностью Она родится свободною: съ какихъ же поръ она дѣлается собственностью другого?

Розановъ улыбнулся и сказалъ:

— Это напоминаетъ старый анекдотъ изъ римскаго права: когда яблоко становится собственностью человѣка: когда онъ его сорвалъ, когда съѣлъ или еще позже?

— Что намъ ваше римское право! — еще пренебрежительнѣе крикнулъ Бычковъ: — у насъ свое право. Наша правда по закону свята, принесли ту правду наши дѣды, черезъ три рѣки на нашу землю.

— У насъ такое право: заперъ покрѣпче въ коробью, такъ вотъ и *мое*,—произнесъ Завулоновъ.

— Мы бракъ долой.

— Такъ зачѣмъ же наши женщины замужъ идутъ? — спросилъ Ярошиньскій.

— Оттого, что еще неурядица пока во всемъ стопъ; а устроимъ общественное воспитаніе дѣтей и будутъ свободныя отношенія.

— Маткамъ шкода будетъ дѣтей покидать.

— Это вздоръ: родительская любовь предразсудокъ — и только. Связь есть *потребность*, законъ природы, а остальное должно лежать на обязанностяхъ общества. Отца и матери, въ извѣстномъ смыслѣ слова, вѣдь нѣтъ же въ естественной жизни. Животныя, вырастая, не соображаютъ своихъ родословныхъ.

У Райнера набѣжали на глаза слезы, и онъ, выйдя изъ-за стола, прислонился лбомъ къ окну въ гостиной.

— У женщины, съ которой я живу, есть ребенокъ, но что это до меня касается?..

Становилось ужъ не одному Райнеру гадко.

Ярошиньскій всталъ, взялъ изъ угла очень хорошую гитару Рациборскаго и, сыгравъ нѣсколько аккордовъ, запѣлъ:

«Kwarta, da półkwarty,
To półtory kwarty,
A jeszcze półkwarty,
To będzie dwie kwarty.
O la, o la!
To będzie dwie kwarty».

Бѣлоярцевъ и Завулоновъ вполголоса попробовали подтянуть refrain.

Ярошиньскій сыгралъ маленькую варіаційку, и продолжалъ:

Terezniejsze chłopcy,
To co wietrzne młyny,
Latają od jednéj
Do drugiéj dziewczyny.
O la! o la!
Do drugiéj dziewczyny».

Бѣлоярцевъ и Завулоновъ хватили:

«О ля! о ля!
До другой дѣвчины».

Пѣсенка пропѣта.

Ярошиньскій заигралъ другую и запѣлъ:

«Wypił Kuba,
Do Jakóba,
Paweł do Michała.
Cupu, łupu,
Łupu, cupu,
Kompanja cała».

— Ну-те, россійскую,—попросилъ Ярошиньскій.

Бѣлоярцевъ взялъ гитару и заигралъ «Ночь осеннюю». Спѣли хоромъ.

— Вотъ еще, якъ это поется: «Ты помнишь ли, товарищъ славы бранной!»—спросилъ Ярошиньскій.

— Э, нѣтъ, чортъ съ ними, эти патріотическіе гимны!—возразилъ оньянѣвшій Бычковъ, и запѣлъ, пародируя извѣстную арію изъ оперы Глинки:

«Славься свобода и честный нашъ трудъ!»

— О, сильныя эти россійскія спѣвы! Поментаю, якъ ихъ поютъ на Волгѣ,—проговорилъ Ярошиньскій.

Гитара заныла, застонала въ рукахъ Бѣлоярцева какимъ-то широкимъ, разметистымъ стономъ, а Завулоновъ, зажавъ рукою ухо, запѣлъ:

«Эхъ, что жъ вы, ребята, призауныли;
Иль у васъ, ребята, денегъ нѣту?»

Араповъ и Бычковъ были внѣ себя отъ восторга.

Араповъ мычалъ, а Бычковъ выбивалъ тактъ и при послѣднихъ стихахъ запѣлъ въ разладъ:

«Разводите, братцы, огонь пожарчѣе,
Кладите въ огонь вы мого дядю съ теткой.
Тутъ-то дядя скажетъ: «денегъ много»;
А тетушка скажетъ: «смѣты нѣту».

У Бычкова даже ротъ до ушей растянулся отъ удовольствія, возбужденнаго словами пѣсни. Выраженіе его рыжей физіономіи до отвращенія вѣрно напоминало морду борзой собаки, лижущей въ окровавленныя уста молодую лань, загнанную и загрызанную ради безчеловѣчной человѣческой потѣхи.

Русская публика становилась очень пьяна; хозяинъ и Ярошиньскій пили мало; Слободзинскій пилъ, но молчалъ, а Розановъ почти ничего не пилъ. У него все ужасно кружилась голова отъ рюмки польской старки.

Бѣлоярцевъ началъ скоромить.

Онъ сдѣлалъ гримасу и запѣлъ нѣсколько въ носъ солдатскимъ отхватомъ:

«Ты куды, куды, ежъ ползешь?
Ты куды, куды, собачій сынъ, идешь?
Я иду, иду на барскій дворъ,

Къ Акулини Стипановнѣ,
Къ Лизавети Богдановнѣ».

— «Стукъ, стукъ у воротъ»,—произнесъ театрально Завулоновъ.

— «Кто тамъ?»—спросилъ Бѣлоярцевъ.

Завулоновъ отвѣчалъ:

— «Ежъ».

— «Куда, ежъ, ползешь?»

— «Попить, погулять, съ красными дѣвушками поиграть».

— «Много ли денегъ несешь?»

— «Грошъ».

— «Ступай къ чорту, не гожъ».

Пьяный хоръ подхватилъ припѣвомъ, въ которомъ «ежъ» жаловался на жестокость красныхъ дѣвушекъ, старухъ и молодушекъ.

Это было такая грязь, такое сало, такой цинизмъ и насмѣшка надъ чувствомъ, что даже Розановъ не утерпѣлъ, всталъ и подошелъ къ Райнеру.

Черезъ нѣсколько минутъ къ нимъ подошелъ Ярошиньскій.

— Какое знаніе народности!—сказалъ онъ по-французски, восхищаясь удалью пѣвцовъ.

— Только на что оно употребляется, это знаніе—отвѣтилъ Розановъ.

— Ну, молодежь... Что ее осуждать строго,—проговорилъ снисходительно Ярошиньскій.

А пѣвцы все пѣли одну гадость за другою и потомъ вдругъ заспорили. Вспоминали разныя женскія и мужскія имена, дѣлали изъ нихъ грязнѣйшія комбинаціи, и, наконецъ, остановясь на одной изъ такихъ пошлыхъ и совершенно нелѣпыхъ комбинацій, раздѣлились на голоса. Одни утверждали, что *да*, а другіе, что *нѣтъ*.

На сценѣ было имя маркизы: Розановъ, Ярошиньскій и Райнеръ это хорошо слышали.

— Что тамъ спорить, воскликнулъ Бѣлоярцевъ: — дѣло

всѣмъ извѣстное, коли про то ужъ пѣсня поется; изъ пѣсни слова не выкинешь, — и, дернувъ рукою по струнамъ гитары, Бѣлоярцевъ запѣлъ на голосъ «Ивушки»:

«Ты Баралиха, Баралиха,
Шальная голова,
Что жъ ты, Баралиха,
Не весела сидишь?
— Что жъ ты, Баралиха,
Не весела сидишь?

подхватывалъ хоръ, и, продолжая пародію, пропѣлъ подлѣйшее предположеніе о причинахъ невеселаго сидѣнья «Баралихи».

Розановъ пожалъ плечами и сказалъ:

— Это ужъ изъ рукъ вонъ подло.

Но Райнеръ совсѣмъ не совладѣлъ собой. Блѣдный, дрожа всѣмъ тѣломъ, со слезами, брызнувшими на щеки, онъ скоро вошелъ въ залу и сказалъ:

— Господа, объявляю вамъ, что это низость.

— Что такое?—спросили остановившіеся пѣвцы.

— Низость, это низость, ходить въ домъ къ честной женщинѣ и пѣть на ея счетъ такія гнусныя пѣсни. Здѣсь нѣтъ ея дѣтей, и я отвѣчаю за нее каждому, кто еще скажетъ на ея счетъ хоть одно непристойное слово.

Вмѣшательствомъ Розанова, Ярошиньскаго и Рацибор-скаго сцена эта прекращена безъ дальнѣйшихъ послѣдствій.

Райнера увели въ спальню Рациборскаго; веселой компаніи откупорили новую бутылку.

Но у пѣвцовъ уже не заваривалось новое веселье. Они полушопотомъ подтрунивали надъ Райнеромъ и пробовали было запѣть что-то, чтобы не изобличать своей трусости и конфуза, но ужъ все это не удавалось, и они стали собираться домой.

Только не могли никакъ уговорить идти Барилочку и Аранова. Эти упорно отказывались, говоря, что у нихъ здѣсь еще дѣло.

Бычковъ, Пархоменко, Слободзинскій, Бѣлоярцевъ и Завулоновъ стали прощаться.

— Вы не сердитесь, Райнеръ, — увѣщательно сказалъ Бѣлоярцевъ.

— Я и не сердился,—отвѣчалъ тотъ вѣжливо.

— То-то, это вѣдь смѣшно.

— Ну, это мое дѣло, — проговорилъ Райнеръ, высвобождая слегка свою руку изъ руки Бѣлоярцева.

Переходя черезъ залу, компанія застала Арапова и Барилочку за музыкальными занятіями.

Барилочка щипалъ безъ толку гитару и пѣлъ:

«Попереду иде Согайдачный,
Що промінявъ жинку,
На тютунъ да люльку
Необачный».

А Араповъ дурѣлъ:

«Славься свобода и честный нашъ трудъ!»

Какъ ихъ ни звали, чѣмъ ни соблазняли «въ ночной тишинѣ»,—«дѣло есть», отвѣчалъ коротко Араповъ и опять, хлопнувъ себя ладонями по колѣнямъ, задувалъ:

«Славься свобода и честный нашъ трудъ!»

А Барилочка, въ отвѣтъ на приглашеніе, махалъ головой и ревѣлъ:

«Эй, вирныся Согайдачный,
Возьми свою жинку,
Подай мою люльку
Необачный».

Бычковъ пошелъ просить Розанова, чтобы онъ взялъ Арапова.

Когда онъ вошелъ въ спальню Рациборскаго, Райнеръ и Розановъ уже прощались.

— Вотъ то-то я и мувю,—говорилъ Ярошиньскій, держа въ своей рукѣ руку Розанова.

— Да. Надо ждать; все же теперь не то, что было. «Сила есть и въ терпѣньѣ». Надо испытать всѣ мирныя средства, а не подводить народъ подъ страданія.

— Такъ, такъ,—утверждалъ Ярошиньскій.

— По крайней мѣрѣ вѣрно, что задача не въ томъ, чтобы мстить,—тихо сказалъ Райнеръ.

— Народъ и не помышляетъ ни о какихъ революціяхъ.

— Такъ, такъ,—хлопы всегда хлопы.

— Нѣтъ, не то, а они благодарны теперь,—вотъ что.

— Такъ, такъ, опять подтвердилъ Ярошиньскій, — якъ это отъ разу видать, что панъ Розановъ знаетъ свою краину.

— Къ чорту, этакое знаніе!—крикнулъ Бычковъ. — Народъ нужно знать по его духу, а въ вицмундирѣ его не узнаютъ.

Райнеръ и Розановъ пошли вонъ, ничего не отвѣчая на эту выходку.

— Ой, шкода людей, шкода такихъ отважныхъ людей, якъ вы, говорилъ Ярошиньскій, идучи сзади ихъ съ Бычковымъ.—Цалый край еще дикій.

— Мы на то идемъ, отвѣчалъ Бычковъ: — Отмстимъ за вѣковое порабощеніе и ляжемъ.

— Жалую васъ, вельми жалую.

— На наше мѣсто выростетъ поколѣніе: мы удобримъ ему почву, мы польемъ ее кровью,— яростно сказалъ Бычковъ и захохоталъ.

Ярошиньскій только пожалъ ему сочувственно руку.

Прощаясь, гости спрашивали Ярошиньскаго, увидятся ли они съ нимъ снова.

— Я мыслю, я мыслю,—это якъ мой племянникъ. Якъ не выгонитъ, такъ я посѣдю еще дней кильки. Do jutra,— сказалъ онъ, прощаясь съ Слободзинскимъ.

— Do jutra, — отвѣтилъ Слободзинскій, и компанія, топоча и шумя, вышла на улицу.

У воротъ дома капитанши Давыдовской компанія приглашала Розанова и Арапова ѣхать провести повеселѣе ночку.

Розановъ наотрѣзъ отказался, а Райнера и не просили.

— Отчего вы не ѣдите? — приставалъ Араповъ къ Розанову.

— Полноте, у меня есть семья.

— Что-жъ такое, семья? И у Бѣлоярцева есть жена, и у Барилочки есть жена и дѣти, да вѣдь ѣдутъ же.

— А я не поѣду—усталъ и завтра буду работать.

Компанія сѣла. Суетившійся Завулоновъ занялъ у Розанова три рубля и тоже поѣхалъ.

По улицѣ раздавался пьяный голосъ Барилочки, кричавшаго:

«Мени съ жинкой не возыться,
А тютюнъ да люлька
Казаку въ дорози
Знадобится».

Чтобъ отвязаться отъ веселаго товарищества, Райнеръ зашелъ ночевать къ Розанову, въ кабинетъ Нечая.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Патеръ Роденъ и аббатъ Дегриньи.

Какъ только орава гостей хлынула за двери квартиры Рациборскаго, Ярошиньскій быстро повернулся на каблукахъ и, пройдя молча черезъ залъ, гостиную и спальню, вошелъ въ уединенную рабочую хозяина.

Ласковое и внимательное выраженіе съ лица Ярошиньскаго совершенно исчезло: онъ былъ серьезенъ и сухъ.

Проходя по гостиной, онъ остановился и, указавъ Рациборскому на кучу пепла и сора, сказалъ:

— Велите убирать эту мерзость.

Рациборскій поклонился и вернулся къ человѣку, а Ярошиньскій вошелъ въ рабочую.

Черезъ десять минутъ Рациборскій два раза стукнулъ въ дверь этой комнаты.

— Войдите, — отвѣчалъ изнутри голосъ Ярошиньскаго по-польски.

Но Ярошиньскаго здѣсь не было. Не было здѣсь добродушнаго, сѣдого офицера бывшихъ войскъ польскихъ. По комнатѣ быстрыми шагами ходилъ высокій, сухой чело-

вѣкъ, лѣтъ тридцати-пяти или сорока. Его черные какъ смоль и блестящіе волосы изрѣдка начинали покрываться раннею серебряною искрой. Судя по живому огню глазъ и живости движеній, сѣдина очень торопилась сходить на эту, подъ бритву остриженную, голову. Лицо незнакомца дышало энергіей. Его далеко выдававшійся впередъ широкій подбородокъ говорилъ о волѣ, прямыя и тонкія блѣдныя губы—о холодности и хитрости, а прекрасный, гордый польскій лобъ съ ранними, характерно ломавшимися надъ тонкимъ носомъ морщинами, — о сильномъ умѣ и искушенномъ тяжелыми опытами прошломъ.

Теперь на томъ, кого мы до сихъ поръ называли Ярошиньскимъ, былъ надѣтъ длинный черный сюртукъ. Толсто-настеганная венгерка, въ которой онъ сидѣлъ до этого времени, лежала на диванѣ, а на столѣ, возлѣ лампы, былъ брошенъ артистически-устроенный сѣдой, клочковатый парикъ и длинные польскіе усы.

Рациборскій, взойдя, переложилъ ключъ и заперъ за собою дверь. Онъ дернулъ было занавѣску другой двери, что вела въ буфетъ, но Ярошиньскій сказалъ:

— Здѣсь уже заперто.

Рациборскій подошелъ къ печкѣ и, заложивъ назадъ руки, сталъ молча.

— Велите ложиться спать лакею, — сказалъ Ярошиньскій, продолжая быстро ходить по комнатѣ и смотря въ полъ.

— Михаль! ложись спать, — крикнулъ по-польски Рациборскій въ фальшивый отдушникъ и, тотчасъ же закрывъ его войлочнымъ колпачкомъ, лежавшимъ на шкафѣ, сталъ снова у печки.

Съ минуты выхода гостей здѣсь всѣ говорили по-польски.

Прошло болѣе часа, какъ загадочный человѣкъ сдѣлалъ послѣднее домашнее распоряженіе, а онъ все ходилъ по комнатѣ, опустивъ на грудь свою умную голову и смотря на схваченныя спереди кисти бѣлыхъ рукъ. Онъ былъ необыкновенно интересенъ: его длинная черная фигура, съ

широко-раздувающимися длинными полами тонкаго матерчатаго сюртука, придавала ему видъ какого-то мрачнаго духа, а мрачная печать, лежавшая на его бѣломъ лбу и неслышные шаги по мягкому ковру еще болѣе увеличивали это сходство. Онъ не ходилъ, а точно леталъ надъ поломъ на своихъ черныхъ, крылообразно-раздувающихся фалдахъ.

Рациборскій стоялъ молча. Столовые часы мелодически прозвонили три раза.

— Это все, что я видѣлъ?—спросилъ незнакомецъ, продолжая ходить и смотрѣть на свои опущенныя къ колѣнямъ руки.

— Это все, панъ канонникъ,—отвѣчалъ тихо, но съ достоинствомъ Рациборскій.

— Странно!

— Это, такъ есть.

Опять началось долгое молчаніе.

— И другого ничего?

— Ксендзъ канонникъ можетъ мнѣ вѣрить.

— Я вѣрю,—отвѣчалъ канонникъ, и послѣ долгой паузы сказалъ:—Я желаю, чтобы вы мнѣ изложили, почему вы такъ дѣйствовали, какъ дѣйствуете.

— Я сходился и наблюдалъ; болѣе я ничего не могъ дѣлать.

— Почему вы увѣрены, что, кромѣ этихъ господъ, нѣтъ другихъ удобныхъ людей?

— Я съ ними сходился: здѣшніе почти всѣ въ этомъ родѣ.

— Въ этихъ *родахъ* скажите: они всѣ разно мыслятъ.

— Таковы всѣ; у нихъ что ни человѣкъ, то партія.

По тонкимъ губамъ канонника пробѣжала презрительная улыбка.

— Нужно выбрать что-нибудь поэфектнѣе и поглупѣе. Эти скоты ко всему пристанутъ.

Канонникъ опять походилъ и добавилъ:

— Араповъ и рыжій весьма удобные люди.

— Фразеры.

— А что вамъ до этого?—сказалъ канонникъ, остановясь и быстро вскинувъ голову.

— Съ ними ничего нельзя сдѣлать.

— Отчего?

— Пустые люди: всѣхъ выдадутъ и все испортятъ.

— А вамъ что за дѣло?

— Общество очень скоро пойметъ ихъ.

— А пока пойметъ?

— Они попадутся.

— А вамъ что за дѣло?

— И перегубятъ другихъ.

— Вамъ что за дѣло? Что вамъ за дѣло?—спрашивалъ съ удареніемъ канонникъ.

Рациборскій молчалъ.

— Ваше дѣло не разсуждать, а повиноваться: законы ордена вамъ извѣстны?

— Я прошу позволенія...

— Вы должны слушать, молчать.

— Кзендзъ канонникъ Кракувка!—вспыльчиво вскрикнулъ Рациборскій.

— Что, панъ поручикъ московской службы?—съ презрительной гримасой произнесъ Кракувка, оглянувшись черезъ плечо на Рациборскаго.

Рациборскій вздохнулъ, медленно провелъ рукою по лбу и, сдѣлавъ шагъ на середину комнаты, спокойно сказалъ:

— Я прошу извиненія.

— Прощенія, а не извиненія,—сухо замѣтилъ канонникъ, не обращая никакого вниманія на Рациборскаго.

— Я прошу прощенія,—выговорилъ молодой человѣкъ.

Канонникъ не отвѣтилъ ни слова и продолжалъ ходить молча.

— Принесите мнѣ стаканъ воды съ сиропомъ,—прошепталъ онъ черезъ нѣсколько минутъ.

Рациборскій вышелъ и пока онъ возвратился, Кракувка что-то черкнулъ карандашемъ въ своемъ бумажникѣ.

— Вы дурно дѣйствовали,—началъ Кракувка, выпивъ воды и поставивъ стаканъ на столъ.

— Здѣсь ничего нельзя дѣлать.

— Неправда; дураковъ можно заставлять плясать, какъ куколъ. Зачѣмъ они у васъ собираются?

— Они любятъ сходиться.

— Бездѣльники! Что-жъ они думаютъ, зачѣмъ они собираются у васъ?

— Имъ кажется, что они дѣлаютъ революцію.

— Только и умно, что вы тѣшите ихъ этой обстановкой. Но что они ничего не дѣлаютъ—это ваша вина.

— Ксендзъ каноникъ многаго отъ меня требуетъ.

— Многаго?—съ презрѣніемъ спросилъ Кракувка.—Они бредятъ коммунизмомъ своего народа, да?

— Да.

— Такъ я имъ завтра дамъ что дѣлать,—сказалъ съ придыханіемъ Кракувка.

— Но и это не все; лучшіе, умнѣйшіе изъ нихъ не пойдутъ на это.

— А зачѣмъ вамъ лучшіе? Зачѣмъ вамъ этотъ лѣкарь?

— Мнѣ его рекомендовалъ Араповъ.

— Это очень глупо: онъ только можетъ мѣшать.

— Онъ знаетъ страну.

— Надо держать крѣпче тѣхъ, которые меньше знаютъ. У васъ есть Араповъ, рыжій, этотъ Пархоменко и капитанъ, да Райнеръ,—помилуйте, чего-жъ вамъ? А что эти Бѣлоярцевъ и Завулоновъ?

— Трусы.

— Совсѣмъ трусы?

— Совсѣмъ трусы и не глупы.

— Гм! Ну, этихъ можно бросить, а тѣхъ можно употребить въ дѣло. При первой возможности, при первомъ случаѣ, пустить ихъ. Каждый дуракъ имѣетъ себѣ подобныхъ.

— Райнеръ не дуракъ.

— Энтузіастъ и неоплатоникъ,—это все равно, что и дуракъ: матеріалъ лѣпкій.

— Розановъ тоже уменъ.

— Одолжить его. Въ чемъ онъ нуждается?

— Онъ ищетъ мѣста.

— Дать ему мѣсто. Послѣ завтра вышлите мнѣ въ Петербургъ его бумаги, — и онъ можетъ пригодиться. Ваше дѣло, чтобъ онъ только зналъ, что онъ намъ обязанъ. А что это за маркиза?

— Женщина очень пылкая и благородная.

— А, это прекрасно.

— Она «*бѣлая*».

— Это все равно.

— Она ни къ чему не годна: только суетится.

— Надо ее увѣрить, что она дѣйствуетъ.

— Она это и такъ думаетъ.

— И прекрасно. Спутать ихъ какъ можно больше.

— Ксендзъ канонникъ...

— Панъ поручикъ!

— Между ними есть честнѣйшіе люди. Я не смѣю возражать ничего противъ всѣхъ, но Розанова, Райнера и маркизу... за что же ихъ? Они еще могутъ пригодиться?

— Кому? кому? опять съ придыханіемъ спросилъ каноникъ.—Этой шизмѣ вы бережете людей. Ей вы ихъ сберегаете?

— Я не могу не уважать человѣческихъ достоинствъ во всякомъ.

— Кто хвалитъ чужое, тотъ уменьшаетъ достоинства своего.

— Они также могутъ содѣйствовать человѣческому счастью.

Канонникъ остановился посреди комнаты, заложилъ назадъ руки и, закинувъ голову, спросилъ:

— Вы вѣруете въ чистоту и благость стремленій общества Іисусова?

— Свято вѣрую,—отвѣчалъ съ искреннимъ убѣжденіемъ Рациборскій.

— Такъ помните же, — подлетая на своихъ черныхъ

крыльяхъ къ Рациборскому, началъ канонникъ,—помните, что со временъ Поссевина намъ нѣтъ здѣсь мѣста и мы пресмыкаемся здѣсь или въ этомъ шутовскомъ маскарадѣ (ксендзъ указалъ на свой парикъ и венгерку), или въ этомъ московскомъ мундирѣ, который хуже всякаго маскарада. Помните это!

— Я помню.

— Австрія, эта проклятая ракушанка, даетъ намъ пріютъ, а въ нашей хваленой Россіи мы хуже жидовъ.

— Они не понимаютъ святыхъ заботъ общества.

— Такъ надо, чтобъ они ихъ поняли, произнесъ захохотавъ Кракувка.—Первый случай, и въ ходъ всѣхъ этихъ дураковъ. А пока пріобрѣтайте ихъ довѣріе.

— Это, ксендзъ канонникъ, не стоитъ труда: эти готовы вѣрить всякому, и никѣмъ не пренебрегаютъ,—даже «чортомъ».

— И отлично; нѣтъ ли еще гдѣ жида крещеннаго?

— Можетъ быть, найдутъ.

— И отлично. Чего же вамъ? Съ такимъ-то матеріаломъ не заложить постройки!

— Я искалъ другихъ людей.

— Лучше этихъ не надо. Полезнѣе дураковъ и энтузіастовъ нѣтъ. Ихъ можно заставить дѣлать все.

— Глупое,—сказалъ Рациборскій.

— Ничего умнаго и не надо намъ; поручикъ не стоитъ au courant съ интересами отечества.

Рациборскій грустно молчалъ.

Кракувка остановился, посмотрѣлъ на него, и, медленно подойдя къ висѣвшему надъ столомъ женскому портрету, сказалъ съ разстановкой:

— Урсула слишкомъ поторопилась дать свое слово: она не можетъ быть и никогда не будетъ женою нерѣшительнаго человѣка.

Рациборскій встрепенулся и взглянулъ на ксендза умоляющимъ взоромъ.

— Дайте мнѣ еще воды и простимся, — день наступаетъ,—тихо произнесъ Кракувка.

Если читатель вообразитъ, что весь описанный нами разговоръ шелъ съ безконечными паузами, встрѣчающимися въ разговорахъ обыкновенныхъ людей, то ему станетъ понятно, что при этихъ словахъ, сквозь густыя шторы Рациборскаго, на іезуитовъ взглянуло осеннее московское утро.

Въ десять часовъ Ярошиньскій давалъ аудіенцію нѣкоему Доленговскому, пожилому человѣку, занимающемуся въ Москвѣ стряпческими дѣлами.

Главнымъ предметомъ разговора было внушеніе Доленговскому строгой обязанности неуклонно наблюдать за каждымъ шагомъ Рациборскаго и сообщать обо всемъ Ярошиньскому, адресуя въ Вѣну, poste-restante, на имя сеньора Марцикани.

Потомъ дана была аудіенція Слободзинскому, на которой молодому человѣку, между прочимъ, было велѣно слѣдить за его университетскими товарищами и обо всемъ писать въ Парижъ, патеру Кракувкѣ, rue St-Sulpice, № 6, для передачи Ярошиньскому.

При этомъ Слободзинскому оставлена нѣкоторая сумма на безнуждное житье въ университетѣ.

Въ двѣнадцать часовъ Рациборскій проводилъ Ярошиньскаго на петербургскую желѣзную дорогу, постоялъ у барьера, пока тронулся поѣздъ и, кивнувъ другъ другу, іезуитъ подчиненный разстался съ іезуитомъ начальникомъ.

Ѣдучи съ Рациборскимъ на желѣзную дорогу, Кракувка объявилъ, что онъ долженъ брать отпускъ заграницу и готовиться въ Парижъ, гдѣ онъ получитъ обязанности болѣе сообразныя съ его характеромъ, а на его мѣсто въ Москву будетъ назначено другое лицо.

Эту ночь не спали еще Розановъ и Райнеръ.

Райнеръ говорилъ, что въ Москвѣ все ненадежные люди, что онъ ни въ комъ не видитъ серьезной преданности, и

что, наконецъ, не знаетъ даже, съ чего начинать. Онъ разсказывалъ, что былъ у многихъ изъ извѣстныхъ людей, но что всѣ его приняли холодно и даже подозрительно.

— Это же, добавлялъ Райнеръ,—все деморализовано до конца.

Райнеръ очень жалѣлъ, что онъ сошелся съ Пархоменко; говорилъ, что Пархоменко непременно напутаетъ чего нибудь сквернаго, и сѣтовалъ, что онъ никому, ни здѣсь, ни въ Петербургѣ, ни въ другихъ мѣстахъ, не можетъ открыть глазъ на этого человѣка.

Вообще Райнеръ казался какъ-то разбитымъ, и при ночномъ разговорѣ съ Розановымъ, на него будто находили порою столбняки.

Розановъ рѣшительно говорилъ, что надо все бросить и не возиться; что никакихъ элементовъ для революціи нѣтъ.

Райнеръ слушалъ терпѣливо все, что Розановъ сообщалъ ему о настроеніи народа и провинціальнаго общества, но не могъ отказаться отъ своей любимой идеи произвести соціально-демократическій переворотъ, начавъ его въ Россіи.

— Все это такъ, но мы вѣдь не знаемъ, что народъ думаетъ,—говорилъ онъ.

— Отчего же не знаемъ?

— Да такъ. Мы слышимъ, что онъ говоритъ, а не знаемъ, что онъ думаетъ.

О партіи московскихъ умѣренныхъ Райнеръ отозвался съ сострадательной улыбкой, что на нихъ вовсе нечего разсчитывать.

— Или кабинетныя муміи, или шуты, говорилъ онъ:— та же фраза, та же рисовка и ничего болѣе. Вотъ поѣдемте въ воскресенье къ маркизѣ, — тамъ разный народъ бываетъ,—увидите сами.

— Какъ она такъ рискуетъ, принимая людей, за которыми навѣрное уже смотрятъ?

— Ахъ, ничѣмъ она не рискуетъ: тамъ ничего не дѣлаютъ, только болтаютъ.

— Она, говорятъ, всегда была близка съ передовыми людьми.

— Лжетъ, какъ мавзолей,—ничему вѣрить нельзя.

— Такъ изъ-за чего же она бьется?

— Все это эффекты и ничего болѣе. Да вотъ присмотритесь, сами увидите, — добавилъ онъ и, закрывъ глаза, задремалъ въ креслѣ, въ то самое время, когда Рациборскій подалъ Кракувкѣ второй стаканъ воды съ морсомъ.

На слѣдующее утро Розановъ познакомилъ Райнера съ Нечаемъ и его женою.

Райнеръ имъ очень понравился, а Нечай тоже произвелъ на него хорошее впечатлѣніе.

Рациборскій отдалъ Розанову визитъ на другой день послѣ отъѣзда Кракувки.

Онъ былъ необыкновенно милъ, любезенъ и такъ деликатно вызвался помочь Розанову, въ полученіи пока ординаторскаго мѣста, что тотъ и не замѣтилъ, какъ отдалъ Рациборскому свои бумаги, немедленно уѣхавшія въ Петербургъ къ галиційскому помѣщику Ярошиньскому.

Рациборскій, между словъ, узналъ, что Розановъ скоро познакомится съ маркизой, и сказалъ, что ему будетъ очень пріятно съ нимъ тамъ встрѣчаться, что это домъ очень почтенный.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Углекислыя феи Чистыхъ-Прудовъ.

На Чистыхъ-Прудахъ всѣ дома́ имѣютъ какую-то пытливую физіономію. Всѣ они точно къ чему-то прислушиваются и спрашиваютъ: что тамъ такое? Между этими домами самую любопытную физіономію имѣлъ домъ полковника Стец—каго. Этотъ домъ не только спрашивалъ: что тамъ такое? но онъ говорилъ: ахъ, будьте милосердны, скажите, пожалуйста, что тамъ такое?

Домъ этотъ состоялъ изъ главнаго двухъэтажнаго кор-

пуса, выходившаго на Чистые-Пруды, и множества самыхъ странныхъ флигелей, настроенныхъ въ серединѣ двора.

Въ бель-этажѣ главнаго дома обитала маркиза Ксенія Григорьевна де-Бараль, съ сыномъ, девятнадцатилѣтнимъ маркизомъ, и двумя взрослыми дочерьми, дѣвицами.

Въ нижнемъ этажѣ жилъ либеральный московскій архитекторъ, Истукарій Михайловичъ Брюхачевъ, съ молоденькою женою и недавно произошедшемъ отъ сего союза приплодомъ.

Во флигеляхъ мѣстилось множество самыхъ разнородныхъ людей, но самый большой изъ этихъ флигелей занимали пять сестеръ Ярославцевыхъ: Серафима Романовна, Рогнѣда Романовна, Аріадна Романовна, Раиса Романовна и Зоя Романовна.

Всѣ сестры Ярославцевы жили въ дѣвствѣ, а маркиза вдовствовала.

Эти-то шесть женщинъ, т. е. пять сестеръ Ярославцевыхъ и маркиза де-Бараль, назывались въ нѣкоторыхъ московскихъ кружкахъ углекислыми феями Чистыхъ-Прудовъ, а домъ, въ которомъ онѣ обитали, былъ извѣстенъ подъ именемъ вдовьяго загона.

Мы непремѣнно должны познакомиться и съ углекислыми феями Чистыхъ-Прудовъ, и съ законами вдовьяго загона.

Старшею феею, по званію, состоянію и общественному положенію, была маркиза де-Бараль. У нея былъ соединенный гербъ. Въ одной сторонѣ щита была изображены колчанъ со стрѣлами и на-крестъ татарская ногайка, а въ другой вертелъ. Первая половина щита свидѣтельствовала о какой-то услугѣ, оказанной предкомъ маркизы, казанскимъ татариномъ Маймуловымъ, отцу Ивана IV, а вторая должна была символически напоминать, что какой-то предокъ маркизинаго мужа накормилъ сбившагося съ дороги короля Людовика Святого.

Маркизѣ было подъ пятьдесятъ лѣтъ. Теперь о ея красотѣ, конечно, уже никто и не говорилъ; а смолоду, разсказывали, она была очень неавантажна. Маленькая, верт-

лявая и сухая, съ необыкновенно подвижнымъ лицомъ, она была весьма непрезентабельна. Разсуждала она рѣшительно обо всемъ, о чемъ вы хотите, но болѣе всего любила говорить о томъ, какое значеніе можетъ имѣть просвѣщенное содѣйствіе, или просвѣщенная оппозиція просвѣщенныхъ людей, «стоящихъ на челѣ общественной лѣстницы». Маркиза не могла разсуждать спокойно и послѣдовательно; она не могла, такъ сказать, *разсуждать разсудительно.* Она, какъ говорятъ поляки, «miala zaiąca w glowie» и этотъ заяцъ до такой степени безпутно шнырялъ подъ ея черепомъ, что догнать его не было никакой возможности. Даже никогда нельзя было видѣть ни его заднихъ лапокъ, ни его куцаго, поджатаго хвостика. Безпокойное шнырянье этого торопливаго звѣрка чувствовалось только потому, что изъ-подъ его ножекъ вылетали: «чела общественной лѣстницы» и прочія умныя слова, спутанныя въ самыя безпутныя фразы.

Однако, несмотря на то, что маркиза была персона не видная, и что у нея шнырялъ въ головѣ очень безпокойный заяцъ, были въ Москвѣ люди, которые очень долго этого вовсе не замѣчали. По уставу, царицею углекислыхъ фей непремѣнно должна быть дѣвица и притомъ настоящая, совершенно непорочная дѣвица, но для маркизы, даже въ этомъ случаѣ, было сдѣлано исключеніе: въ описываемую нами эпоху она была ихъ царицею. Феи оперлись на то, что маркизѣ совершенно безопасно можно было ввѣрить огонь, и вручили ей всѣ знаки старшинства.

Принявъ во вниманіе возрастъ, котораго достигла маркиза, на Чистыхъ-Прудахъ никто не думалъ упрекать фей въ легкомысліи. Всѣ одобряли ея избраніе. Къ тому же, маркиза была поэтъ: ее любила погребальная муза. У маркизы хранилось шесть большихъ стихотвореній: на смерть Пушкина, который, во время ея дѣтства, посадилъ ее однажды къ себѣ на колѣни; на смерть Лермонтова, который, однажды, во время ея дѣтства, подарилъ ей бонбоньерку; на смерть двухъ-трехъ московскихъ ученыхъ, которыхъ она

знала и считала своими друзьями, и на смерть Шарлоты Кордай, Маріи Антуанеты и madame Роланъ, которыхъ она хотя лично не знала, но тоже считала своими друзьями. Кромѣ того, у маркизы было заготовлено стихотвореніе на смерть Мирабо, но оно было написано только до половины и остановлено безъ окончанія, до тѣхъ поръ, пока будетъ нѣкоторое основаніе опровергнуть весьма распространенный слухъ о политической продажности этого умѣреннаго либерала. Далѣе, было у нея нѣсколько стихотвореній только начатыхъ. Въ нихъ маркиза намѣрена была оплакивать кончину своихъ живущихъ друзей. Углекислыя феи каждая имѣла себѣ по отдѣльному стихотворенію, и самое большое изъ нихъ назначалось Рогнѣдѣ Романовнѣ. Это прекрасное стихотвореніе было уже совсѣмъ отдѣлано и даже переписано на почтовую бумагу. Оно называлось «Пѣснь женщины надъ гробомъ чистѣйшаго созданія», и начиналось такъ:

Дружбѣ вѣнокъ безкорыстный
Женскою, слабой рукою, и т. д.

Стихи были бѣлые и бѣлизна ихъ доходила до такой степени, что когда маркизъ случайно зажегъ ими свою трубку, то самая бумага, на которой они были написаны, сгорѣла совершенно безцвѣтнымъ пламенемъ.

Это печальное обстоятельство случилось на третью весну послѣ бракосочетанія маркиза, а послѣ этой весны маркиза уже видѣла двадцать два раза, какъ таетъ зимній ледъ на Чистыхъ-Прудахъ.

Несмотря на то, что маркиза никогда не была оцѣнена по достоинству своимъ мужемъ и рано осталась одна съ двумя дочерьми и двумя сыновьями, она все-таки были замѣчально счастливою женщиною. У нея всегда была хорошенькая квартирка, попугай, лошадь съ дрожками, лакей въ нитяныхъ бѣлыхъ перчаткахъ, канарейка въ клѣткѣ и множество друзей. Главнѣйшимъ образомъ счастье маркизы заключалось во множествѣ друзей. Они ей были рѣшительно необходимы и у нея въ нихъ никогда не было никакого

недостатка. У нея были друзья всякіе: были друзья, которые ей льстили; были друзья, которые ее злили, какъ кошку; были друзья, которые считали ее набитою дурою и сумасшедшею; но за то у нея былъ одинъ истинный другъ, имѣвшій всѣ нужныя свойства, чтобы назваться истиннымъ другомъ. Онъ былъ безкорыстенъ, мягкосердеченъ, благодаренъ и глупъ. Вдобавокъ, этотъ другъ былъ женщина, потерявшая всякую надежду вкусить сладости любви. Звали эту женщину Рогнѣдой Романовной. Словомъ, это была вторая углекислая фея Чистыхъ-Прудовъ.

Конечно, не всякій можетъ похвалиться, что онъ имѣлъ въ жизни такого друга, какимъ была для маркизы Рогнѣда Романовна, но маркиза была еще счастливѣе. Ей казалось, что у нея очень много людей, которые ее нѣжно любятъ и готовы за нею на край свѣта. Положимъ, что маркиза въ этомъ случаѣ очень сильно ошибалась, но тѣмъ не менѣе она все-таки была очень счастлива, заблуждаясь такимъ пріятнымъ образомъ. Это сильно поддерживало ея духовныя силы и давало ей то, что въ Москвѣ называется «форсомъ».

У маркизы былъ сынъ Орестъ, который долго назывался «Оничкой», дочь Антонина, дѣвица взрослая, дочь Сусанна, дѣвица на возрастѣ, и сынъ Веніаминъ, молодой человѣкъ еще въ самой зеленой порѣ. Маркиза относилась къ своему Веніамину совсѣмъ не такъ, какъ относился къ своему Веніамину патріархъ Іаковъ. Она боготворила Оничку. Одни увѣряли, что это идолослуженіе Оничкѣ основано на томъ, яко-бы, что извѣстная Ленорманъ, посмотрѣвъ на этого мальчика, закричала: «Vicomte!—Marqsis!—Ministre!—Poète! Homme célèbre»; другіе же просто говорили, что маркиза любила Оничку болѣе всѣхъ потому, что онъ былъ ея первенецъ, и этому можно вѣрить, потому что родительская нѣжность маркизы къ Оничкѣ нимало не пострадала даже послѣ того, когда московскій пророкъ Иванъ Яковлевичъ назвалъ его «ослицей ваалovой».

Дочерей маркиза тоже любила не ровно. Антонина пользовалась у нея несравненно большимъ фаворомъ, чѣмъ Су-

санна, и за то Антонина любила свою мать на маковое зерно болѣе, чѣмъ Сусанна, которая не любила ея вовсе.

Сусанна росла недовольною Коринной у одной своей тетки, а Веніаминъ, обличавшій въ своемъ характерѣ нѣкоторую весьма раннюю нетерпимость, получалъ отъ родительницы каждое первое число по двадцати рублей и жилъ съ нѣкоторыми военными людьми въ одномъ казенномъ заведеніи. Онъ оттуда какимъ-то образомъ умѣлъ приходить на университетскія лекціи, но къ матери являлся только разъ въ мѣсяцъ. Да, впрочемъ, и сама мать стѣснялась его посѣщеніями.

— Онъ какъ-то огрубѣлъ и опустился, говорила Рогнѣда Романовна болтливымъ людямъ, удивлявшимся, что у маркизы никогда не видно ея Веніамина.

Рогнѣда Романовна отъ природы была очень правдива, и, можетъ-быть, она не лгала даже и въ настоящемъ случаѣ, но все-таки ей нельзя было вовсемъ вѣрить на слово, потому что она была жѣнщина «политичная». — Давно извѣстно, что въ русскомъ обществѣ недостатокъ людей *политическихъ* всегда щедро вознаграждался обиліемъ людей *политичныхъ*, и Рогнѣда Романовна была однимъ изъ лучшихъ экземпляровъ этого завода.

Вообще было много основаній съ большою обстоятельностью утверждать, что политичность Рогнѣды Романовны, всѣхъ ея сестеръ и самой маркизы много выигрывала отъ того, что онѣ не знали ничего такого, что стоило бы скрывать особенно ловкими пріемами, но умѣли жить какъ-то такъ, что какъ-то всѣмъ о нихъ хотѣлось разспросить.

Маркизинъ зайчикъ тутъ больше всѣхъ работалъ и нужно ему отдать справедливость, онъ былъ самый первый политиканъ во всемъ вдовьемъ загонѣ.

Кромѣ того, этотъ маленькій звѣрекъ обладалъ непомѣрнымъ самолюбіемъ. Онъ никогда не занимался обыкновенными, недальновидными людьми и предоставлялъ имъ полное право вѣрить въ маркизинъ умъ, предполагать въ ней обширныя способности и даже благоговѣть предъ ея

фразами. Но за-то онъ вволю потѣшался надъ людьми умными.

Когда умнымъ людямъ случалось заходить къ маркизѣ, а уходя отъ нея размышлять о томъ, что она при нихъ наговорила, умные люди обыкновенно спрашивали себя:

— Однако, чортъ меня возьми совсѣмъ, если можно понять, что у нея сидитъ въ мозгу!

— Чортъ возьми, что же это у нея сидитъ въ мозгу? спрашивалъ себя умный человѣкъ, даже задувая дома свѣчку и оборачиваясь къ стѣнкѣ; но ни одного раза ни одинъ умный человѣкъ не отгадалъ, что въ мозгу у маркизы просто сидитъ заяцъ.

Это открытіе принадлежитъ къ самымъ позднѣйшимъ открытіямъ и оно совершилось гораздо позже избранія маркизы царицею углекислыхъ фей на Чистыхъ-Прудахъ.

По справедливости этотъ санъ гораздо болѣе шелъ къ Аріаднѣ Романовнѣ, чѣмъ къ маркизѣ; онъ болѣе шелъ бы даже къ Серафимѣ Романовнѣ, но онѣ его не получили.

Рогнѣда Романовна не могла претендовать ни на какое первенство, потому что въ ней надо всѣмъ преобладало чувство преданности, а Раиса Романовна и Зоя Романовна были особы безъ рѣчей. Судьба ихъ нѣкоторымъ образомъ имѣла нѣчто трагическое и общее съ судьбою Тристрама Шанди. Когда онѣ только что появились близнецами на свѣтъ, повивальная бабушка, растерявшись, взяла вмѣсто пеленки пустой мѣшочекъ и обтерла имъ головки новорожденныхъ. Съ той же минуты младенцы сдѣлались совершенно глупыми и остались такими на цѣлую жизнь.

Таковы были, въ общихъ чертахъ, углекислыя феи, которыя въ свое время играли нѣкоторыя роли на Чистыхъ-Прудахъ и не могутъ пройти совсѣмъ незамѣтными для снисходительныхъ читателей этого романа.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Красные, бѣлые, пестрые и буланые.

Прекраснымъ осеннимъ вечеромъ, когда румяная заря яркимъ полымемъ догорала на золоченыхъ кремлевскихъ вышкахъ, Розановъ съ Райнеромъ выѣхали изъ одного переулка въ Чистые-Пруды и остановились у воротъ дома полковника Сте—цкаго.

Углекислыя феи нынѣшній годъ немножко замѣшкались въ Кунцовѣ, и только около двухъ недѣль перенеслись въ свои зимовыя обиталища.

Тотчасъ за воротами было два подъѣзда: направо къ маркизѣ, налѣво къ Ярославцевымъ.

Маркиза жила въ бель-этажѣ, начинавшемся съ парадnаго подъѣзда не совсѣмъ чистою переднею.

Розанова и Райнера встрѣтилъ высокій, смуглый лакей въ сѣромъ казинетовомъ сюртукѣ, не по сезону, и въ бѣлыхъ бумажныхъ перчаткахъ. Онъ не пошелъ о нихъ докладывать, а только отворилъ имъ двери въ залу.

По залѣ прогуливались: молодая дѣвушка весьма развязнаго вида, часто встряхивавшая черныя кудри своей совершенно круглой головки, некрасивой, но весьма оригинальной; высокая, худая фея, съ черными вороньими глазами, длиннымъ, мертвенносинимъ носомъ и съ чернобурыми веснушками. Этихъ двухъ особъ сопровождали: съ одной стороны низенькій офицеръ въ темнозеленомъ сюртукѣ, съ бѣлыми аксельбантами, и молодой человѣкъ весь въ черномъ. Офицеръ былъ съ виду очень невзрачный, желтенькій и плюгавенькій, съ бурымъ войлокомъ, вмѣсто волосъ, на головѣ. Молодой же человѣкъ, въ черномъ, не могъ нравиться ни одной женщинѣ, достигшей извѣстнаго возраста, но его непремѣнно должны были обожать институтки. Онъ былъ похожъ на всѣхъ Малекъ-Аделей, которыхъ «кафушки» начинаютъ рисовать карандашами, а выпускныя иллюминуютъ красками и видятъ во снѣ краду-

щимися изъ-за шторъ полутемнаго дортуара. Смугленькій, чистенькій, съ черными, лоснящимися и слегка вьющимися волосами, черными, продолговатыми глазками, тоненькими, черными же усиками, слегка выпушающеюся бородкою и маленькимъ ротикомъ, съ остренькими пунцовыми губками, въ видѣ выпуклой пуговочки. Совсѣмъ, такъ-таки совсѣмъ былъ институтскій Малекъ-Адель: вотъ сейчасъ поцѣлуетъ, завернется краснымъ плащемъ и, улегшись въ мусульманскую гробницу, скажетъ: «плачь обо мнѣ, прекрасная христіанка, и умри на моемъ гробѣ».

Райнеръ подошелъ къ этой группѣ, поздоровался со всѣми и потомъ отрекомендовалъ Малекъ-Аделю Розанова.

Малекъ-Адель былъ старшій сынъ маркизы, надъ которымъ madame Ленорманъ и Иванъ Яковлевичъ сдѣлали два разнорѣчивыя предсказанія.

Малекъ-Адель поздоровался съ Розановымъ вѣжливо, но холодно, съ тѣмъ особымъ оттѣнкомъ, который умѣютъ придавать своимъ привѣтствіямъ министры и вообще люди, живущіе открытымъ домомъ и равнодушно смотрящіе на всякаго новаго посѣтителя.

— Maman у себя въ гостиной, — сказалъ онъ Райнеру, и молодой маркизъ присталъ опять къ разгуливающей тройкѣ.

Во время этого короткаго церемоніала Розановъ слышалъ, какъ изъ гостиной несся шумный говоръ, изъ котораго выдавался восторженный женскій голосъ.

Розановъ только могъ разобрать, что этотъ голосъ произносилъ: «звонокъ дзынь, влетаетъ одинъ: il est mort; опять дзынь,—другой: il est mort, и еще, и еще. Полноте, говорю, господа, вы мнѣ звонокъ оборвете».

Въ довольно хорошенькой гостиной была куча народа, располагавшагося и группами, и вразбивку. Здѣсь было человѣкъ болѣе двадцати пяти обоего пола.

Самая живая группа, изъ семи особъ, располагалась у одного угольнаго окна, на которомъ сидѣлъ бѣлый попугай, а возлѣ него, на довольно высокомъ креслѣ, сама маркиза

въ черномъ чепцѣ, черномъ кашемировомъ платьѣ, безъ кринолина и въ яркой полосатой турецкой шали.

Около нея помѣщались рыжій Бычковъ, Пархоменко, Аріадна Романовна—фея собой довольно полная и пріятная, но все-таки съ вороньимъ выраженіемъ въ глазахъ и въ очертаніи губъ и носа, Серафима Романовна—фея мечтательная, Раиса Романовна и Зоя Романовна—феи прихлопнутыя. Воронье выраженіе было у всѣхъ углекислыхъ. Исключеніе составляла Серафима Романовна, въ которой было что-то даже пріятное. Тутъ же помѣщался Бѣлоярцевъ и нѣкій господинъ Сахаровъ. Послѣдній очень смахивалъ на большого, вырощеннаго и откормленнаго кантониста, отпущеннаго для пропитанія родителей. Его солдатское лицо хранило выраженіе завистливое, искательное, злое и, такъ сказать, человѣконенавистное; но онъ могъ быть человѣкомъ способнымъ всегда «стать на точку вида» и спрятать въ карманъ довѣрчиваго ближняго. Бѣлоярцевъ былъ нынче выхоленъ, какъ показной конь на выводъ, и держался показно, позволяя любоваться собою со всѣхъ сторонъ. Онъ сидѣлъ какъ куколка, не прислоняясь къ стѣнкѣ, но выдвигаясь впередъ, — образецъ мужской скромности, своего рода московской изящности и благовоспитанности; гладко вычищенную шляпочку онъ держалъ на колѣняхъ, а на ея поляхъ держалъ свои правильныя руки, въ тугонатянутыхъ лайковыхъ перчаткахъ.

Райнеръ представилъ маркизѣ Розанова.

Она сердечно обрадовалась, съ радушіемъ встала, потрясла ему руку и усадила въ свой кружокъ.

— Я, мой милый Райнеръ, — начала она, оживляясь и слегка дергаясь на стулѣ, только-что разсказывала, какъ мнѣ приносили вѣсть. Только что я встала и еще не была одѣта, какъ вдругъ «дзынь», входитъ одинъ: «il est mort»; потомъ другой...

— Вы мнѣ это говорили.

— Говорила? Да, это ужасно было, обратилась она къ

Розанову.—Только одинъ взойдетъ, другой «дзынь», — il est mort, а по улицамъ люди, люди, люди...

— Маркиза!—произнесъ у двери гармоническій женскій голосъ.

Всѣ оглянулись на дверь, а лицо маркизы одушевилось артистическимъ восторгомъ и слезка блеснула на ея черныхъ глазкахъ.

На порогѣ, опустясь на колѣни, сложивъ на груди руки и склонивъ очаровательную головку, стояла прелестная молодая женщина въ легкомъ черномъ платьѣ и черной тюлевой наколкѣ.

Надъ этой изящной, колѣнопреклоненной фигурой рисовалась широкая грудь, на которой сидѣла большая русая голова, съ русою же окладистою бородою и голубыми глазами.

Задняя фигура могла быть очень удобна въ живой картинѣ, гдѣ былъ бы нуженъ типъ извѣстнаго русскаго человѣка, торгующаго своимъ братомъ, скотомъ.

— Мареичка!—воскликнула маркиза.—Икаръ, поднимите ее и подведите ко мнѣ.

Русая головища нагнулась, безцеремонно подняла за локти красивую даму и подвела ее къ маркизѣ.

Всѣ встали и дали дамѣ мѣсто преклониться предъ маркизой, а маркизѣ обнять и облобызать даму.

— Маркиза, я преступница!—шутливо, но съ сознаніемъ тяжкой вины начала дама, не вставая съ колѣней и обнимая маркизу за талію.

— Что такое? въ чемъ это?

— Нѣтъ, прежде простите меня: до тѣхъ поръ не скажу.

— Ну, прощаю, прощаю,—шутила маркиза.

— Браслетъ,—проговорила дама, наморщивъ брови, но не скрывая внутренняго смѣха.

— Что браслетъ, моя милясюсинька?

— Потеряла, маркиза.

— Потеряла?

— Да, я знаю, что это фамильная вещь, что вы ею дорожите и хотѣла умереть, чтобъ ужь не сказать вамъ этого горя.

— О, моя миля, миля, что-жъ дѣлать,—произнесла маркиза, поцѣловала взасосъ поднявшуюся даму и, посадивъ ее противъ, стала любоваться ею, оглаживая ея головку и роскошные черные волосы.

Это были заброшенный сирота, пріемышъ маркизы (нынѣ архитекторъ) Брюхачевъ и его жена Марья Николаевна, окрещенная маркизою, по страсти къ передѣлкѣ именъ въ ласкательныя клички, изъ Марьи въ Мареичку.

Марья Николаевна Брюхачева была очень красива, изящна, граціозна и все, что вы хотите, но полюбить ее могъ только Брюхачевъ, волочиться за нею могли только пламенные кавалеристы до штабъ-офицерскаго чина. Но зато, еслибы ея дѣвственная юность была обставлена повальяжнѣй, на ней смѣло могъ бы жениться кто нибудь пофигурнѣе.

Потѣсненный новымъ наплывомъ, кружокъ маркизы раздвинулся, разбился и заговорилъ на разныя темы.

— Какая сласть,—сказалъ Бычковъ Бѣлоярцеву, глядя на Мареичку.

— Марья Маревна, Киперская королевна-то?—спросилъ Бѣлоярцевъ и сейчасъ же добавилъ; — недурна, должно быть, въ натуральномъ видѣ.

А между тѣмъ гости снова оглядывались и ворошились.

По гостиной, съ таинственнымъ, мрачнымъ видомъ проходилъ Араповъ. Онъ не далъ перваго, обычнаго привѣтствія, хозяйкѣ, но проходилъ, пожимая руки всѣмъ по ряду и не смотря на тѣхъ, кого удостоивалъ своего рукожатія. Къ маркизѣ онъ тоже отнесся съ рядовымъ привѣтствіемъ, но что-то ей буркнулъ такое, что она, эфектно улыбнувшись, сказала:

— Ну, батюшка, неисправимъ, хоть брось.

— Красный, совершенно красный, яростный,—шепнула маркиза, съ серьезной миною, стоявшему возлѣ нея Роза-

нову и сейчасъ же снова обратилась къ Мареичкѣ. А Арапонъ, обойдя знакомыхъ, взялъ за руку Бычкова и отвелъ его въ уголъ.

— Конвентъ въ маломъ видѣ,—опять проговорила маркиза, кивнувъ съ улыбкой на Бычкова и Арапова. — А смотрите, какая фигура у него, — продолжала она, глядя на Арапова,—какіе глаза-то, глаза—страсть. А тотъ-то, тотъ-то—просто Маратъ.—Маркиза засмѣялась и злорадно сказала:—Будетъ имъ, будетъ, какъ эти до нихъ доберутся да начнутъ ихъ трепать.

А судя по портрету надо полагать, что маркиза не обидѣла Бычкова, сравнивая его съ Маратомъ. Въ звѣрскомъ, сорока-лѣтнемъ лицѣ Марата не было, по крайней мѣрѣ, низкой чванливости и преступнаго легкомыслія, лежавшихъ между всякой всячины на лицѣ Бычкова.

— И они это напечатали? спрашивалъ Бычковъ разсказывавшаго ему что-то Арапова.

— Какъ же: я хочу вздуть ихъ, вздуть.

— Подлецы!

— Они тамъ этакъ фигурничаютъ, «съ точки зрѣнія справедливости», да то, да другое, а все-таки не честно объ этомъ говорить.

— Разумѣется; вы напишите, что это подло, растолкуйте имъ, что смертная казнь должна быть, но она должна быть только въ странахъ республиканскихъ...

— Батюшка! батюшка мой, пожалуйте-ка сюда! говорилъ Арапонъ, подзывая къ себѣ Сахарова. — Что-жъ это у васъ печатается?

— Отстаньте, Бога ради, ничего я этого не знаю,— отвѣчалъ смѣясь кантонистъ, пущенный для пропитанія родителей.

— Какъ не знаете?

— Такъ, не знаю: «мы люди скромные, не строимъ баррикадъ и преспокойнѣйше гніемъ въ своемъ болотѣ».

— Да гадости копаете?

— Да гадости копаемъ, отвѣчалъ также шутливо кан-

тонистъ.—Нѣтъ, вотъ вамъ, Бычковъ, спасибо: пробрали вы насъ. Я сейчасъ узналъ по статейкѣ, что это ваша. Терпѣть не могу этого бѣлаго либерализма: то есть чортъ знаетъ, что за гадость.

— Они все говорить будутъ, когда нужно дѣло. Вонъ въ Петербургѣ ужъ дѣлаютъ.

— Что-жъ, что тамъ дѣлаютъ?—впился Сахаровъ.

— Помилуйте, тамъ ужъ аресты идутъ. Недѣлю назадъ, говорятъ, двадцать человѣкъ въ одну ночь арестовали.

Къ товарищамъ подошелъ высокій, благообразный юноша лѣтъ двадцати-двухъ.

— Вонъ, Персіянцевъ, людей ужъ арестовываютъ десятками: видно идетъ дѣло.

— Ахъ, когда бы, когда бы дѣло какое нибудь! тоскливо проговорилъ Персіянцевъ, смотря своими чистыми, но тоскливо скучающими дѣтскими глазами.

— Мой милый! мой милый!—звала кантониста маркиза:— вы тамъ съ ними не очень сближайтесь: вы еще довѣрчивы, они васъ увлекутъ.

— Да-съ, увлечемъ,— отвѣтилъ глядя исподлобья, Араповъ.

— Любви никакой нѣтъ-съ, это иллюзія и только,— гортанилъ Пархоменко, выпячивая колѣни къ платью Мареички.

— Какъ нѣтъ любви? Какъ нѣтъ любви?—вскипѣла маркиза:—Ггааа, это ихъ петербургскій матеріализмъ: радуйтесь. Вы матеріалистъ? Вы матеріалистъ? пристала она къ Пархоменкѣ.

Пархоменко сробѣлъ и сказалъ, что онъ не матеріалистъ.

— Я только противъ брака. Я разсуждаю по разуму,— говорилъ онъ, стараясь поправиться отъ конфуза.

— Ну, и что-жъ такое? Ну, и что-жъ такое вы разсуждаете противъ брака?—взъѣлась на него опять маркиза.

— Что брака не должно быть въ наше время.

— А что-жъ должно быть? Развратъ?

— Гм!.. что вы еще называете развратомъ,—надо знать.

— А я называю развратомъ вотъ этакую пошлую болтовню при молодой женщинѣ, которая только что вышла замужъ и слѣдовательно, уважаетъ бракъ.

Пархоменко заковырилъ все глубже глазъ и видя, что къ нему подходятъ Бычковъ и Араповъ, воодушевлялся.

— Да мало ли что въ Москвѣ могутъ уважать!—произнесъ онъ, засмѣявшись и хракнувъ носомъ.

Маркиза закусила поводья, зайчикъ нырнулъ ей въ самый затылокъ и мозги у нея запрыгали:

— Гггааа! Что вы этимъ хотите сказать? То, что Москва сберегла свою физіономію; то, что по ней можно читать исторію народа; то, что она строена не по плану присяжнаго архитектора и взведена не на человѣческихъ костяхъ; то, что въ ней живы памятники великаго прошлаго; то, что...

Маркиза понеслась зря. Всѣ ее слушали, кто удерживая смѣхъ, кто съ изумленіемъ, и только одна Рогнѣда Романовна, по долгу дружбы, съ восторгомъ, да Малекъ-Адель—съ спокойною важностью, точно барышня вырѣзала его изъ картинки и приставила дыбки постоять у стѣнки. А Бѣлоярцевъ, смиренно пригнувшись къ уху Арапова, слегка отпрукивалъ маркизу, произнося съ разстановкой: «тпру, тпру, тпрусь, милочка, тпрусь».

Заяцъ швырялъ и ногами и ушами: неоцѣнимыя заслуги Москвы и богопротивныя мерзости Петербурга такъ и летѣли, закидывая съ головы до ногъ ледащинькаго Пархоменку, который все силился насмѣшливо и ядовито улыбаться, но вмѣсто того только мялся и не зналъ, какъ подостойнѣе выйти изъ своего положенія.

Онъ ухватился за казармы и сказалъ:

— Наши казармы, по крайней мѣрѣ, менѣе вредны.

— Да, въ нихъ воздухъ чище,—насмѣшливо возразила, оглядываясь по сторонамъ, маркиза.

— Именно воздухъ чище: въ нихъ меньше все прокурено ладаномъ, какъ въ вашихъ палатахъ. И еще въ Москвѣ нѣтъ разума: онъ потерянъ. Здѣсь идетъ жизнь не по

разуму, а по предразсудкамъ. Свободомыслящихъ людей нѣтъ въ Москвѣ,—говорилъ ободренный Пархоменко.

— Какъ нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Это вы серьезно говорите?

— Серьезно.

— Господинъ Араповъ! я рѣшительно не могу васъ благодарить за доставленіе мнѣ знакомства съ господиномъ Пархоменко.

Маркиза дернулась и отворотилась лицомъ къ окну.

Араповъ сдѣлалъ поклонъ, который можно было истолковать различно, а Бѣлоярцевъ опять прошепталъ у него надъ ухомъ: «тпрюсь, милая, тпрю».

Ново было впечатлѣніе, произведенное этою сценою на Розанова и Райнера, но всѣ другіе оставались совершенно покойны, будто этому всему непремѣнно такъ и надо быть.

Никто даже не удивился, что маркиза, послѣ сдѣланнаго ею реприманда Пархоменкѣ, не усидѣла долго, оборотясь къ окну, и вдругъ, дернувшись снова, обратилась къ нему съ словами:

— А у васъ что? Что тамъ у васъ? Гггааа! ни одного человѣка путнаго не было, нѣтъ и не будетъ. Не будетъ, не будетъ!—кричала она, доходя до истерики.—Не будетъ потому, что вашъ воздухъ и болота не годятся для русской груди... И вы... (маркиза задохнулась) вы смѣете говорить о нашихъ людяхъ, и мы васъ слушаемъ, а у васъ нѣтъ терпимости къ чужимъ мнѣніямъ; у васъ Маратъ—богъ; золото, чины, золото, золото да развратъ—вотъ ваши боги.

— Все же это положительное,—возразилъ Пархоменко.

— Да что-жъ это положительное-то?

— Все. А ваши ученые, что они сдѣлали. Что вашъ Грановскій?

— Гггааа!

Маркиза закатилась.

— Ma chére,—шепнула сзади Рогнѣда Романовна.

— Ну, ну, что Грановскій?

— Ma chére!—щелкнула опять Рогнѣда Романовна, тронувшись за плечо маркизы.

— Постой, Нэда, отвѣчала маркиза и пристала:—ну, что. что нашъ Грановскій? Не честный человѣкъ былъ, что ли? Не свѣтлыя и высокія имѣлъ понятія?..

— Какія же понятія? Извѣстное дѣло, что онъ вѣрилъ въ безсмертіе души.

— Ну такъ что-жъ?

— И только.

— И только?

— И этого довольно. Одной только пошлости довольно.

— Да, ужъ вашей къ этому прибавить нельзя, прошептала, совсѣмъ вскипѣвъ, маркиза и, вставъ á la Ristori, съ протянутою къ дверямъ рукою, произнесла:—Господинъ Пархоменко! прошу васъ выйти отсюда и болѣе сюда никогда не входить.

Выговоривъ это, маркиза схватила съ окна бѣлый платокъ и побѣжала на балконъ.

Видно было, что она душитъ рыданія.

За нею вышли три фен, Мареичка, Брюхачевъ, который мимоходомъ наступилъ на ногу одиноко сидѣвшему Завулонову, и попугай, который имѣлъ страсть исподтишка долбить людей въ ноги и теперь мимоходомъ прорвалъ сапогъ и пустилъ слегка кровь Сахарову.

— Сапогомъ его чорта, сказалъ Бычковъ,—но Сахаровъ не ударилъ попугая сапогомъ, а только всѣмъ показывалъ дырку.

Какъ праотецъ, изгнанный изъ рая, вышелъ изъ воротъ маркизинаго дома Пархоменко на улицу и, увидѣвъ на балконѣ маркизино общество, самымъ твердымъ голосомъ сторговалъ, за пятиалтынный, извозчика въ гостиницу Шевалдышева.

Когда успокоившаяся маркиза возвратилась и сѣла на свой пружинный тронъ, Бычковъ ткнулъ человѣкъ трехъ въ ребра и подступилъ къ ней съ словами:

— Однако хороша и ваша терпимость мнѣній! За что вы человѣка выгнали вонъ?

— Я не могу слушать мерзостей,—отвѣчала маркиза, снова уже кипятясь и кусая кончикъ носового платка.

— Значитъ, то же самое.

— Я не за мнѣніе, а за честную память вступилась.

— За память мертваго обижать живого.

— Память такихъ людей священна.

— Съ памятью извѣстныхъ людей связано почтеніе къ извѣстной идеѣ,—произнесъ тихо, но твердо Персіянцевъ.

Розановъ оглянулся: ему почудилось, будто онъ Помаду слышитъ.

— Ерундища какая-то, произнесъ Бычковъ:—мертвые берегутъ идеи для живыхъ, вмѣсто привѣта—вонъ, и толковать еще о какой-то своей терпимости.

— А у васъ, что ли, у васъ, что ли, терпимость?—забарабанила маркиза:—Гггааа! у васъ ножъ, а не слово, вотъ ваша терпимость.

И пошло. Только порою можно было слышать:

— Такъ всѣхъ что ли, порѣжете?

— Всѣхъ,—рѣшалъ Бычковъ.

— А съ кѣмъ сами останетесь?

— Кто уцѣлѣетъ, тотъ останется,—вмѣшивался Араповъ.

— Гаа!—гоготала, всплескивая руками, маркиза.

— Гаа!—гоготали и каркали за нею углекислыя феи.

Брюхачевъ стоялъ за женою и по-временамъ цѣловалъ ея ручки, а Бѣлоярцевъ, стоя рядомъ съ Брюхачевымъ, не цѣловалъ рукъ его жены, но далеко запускалъ свои черные глаза подъ ажурную косынку, закрывавшую трепещущія, еще почти дѣвственныя груди Марьи Маревны, Киперской королевы. Сахаровъ все старался залѣпить вырванный попугаемъ клочекъ сапога, въ то время, какъ Завулоновъ, ударяя себѣ въ грудь, говорилъ ему:

— Сдѣлайте милость, Сергѣй Сергѣевичъ, выхлопочите мнѣ хоть рублей бы такъ съ восемь или десять: очень нужно, ей-Богу, очень нужно. Настасья больна, и гроша нѣтъ.

— Да что вы съ ней не развяжетесь?—шутливо и язвительно замѣчалъ Сахаровъ.

Завулоновъ кряхтѣлъ и увѣрялъ, что непремѣнно развяжется, только бы деньжонокъ.

— Вонъ просилъ этого буланаго, говорилъ онъ, указывая на Бѣлоярцева,—такъ что-жъ, развѣ онъ скажетъ за кого слово: адъ холодный.

Персіянцевъ вздыхалъ около Райнера и, смотря на него скучающими, дѣтскими глазками, говорилъ:

— Ахъ, Боже мой, Боже мой! хоть бы какое-нибудь дѣло.

Райнеръ молча слушалъ споръ маркизы съ Бычковымъ и дослушалъ его какъ разъ до тѣхъ поръ, пока маркиза стала спрашивать:

— Такъ по-вашему и Робеспьеръ, въ самомъ дѣлѣ, былъ хорошій человѣкъ?

— Робеспьеръ дуракъ.

— Насилу-то!

— Онъ даже подлецъ, не умѣлъ рѣзать въ то время, когда надо было все вырѣзать до конца.

— Маратъ, значитъ, лучше?

— Еще бы! Не будь этой мерзавки, онъ бы спасъ человѣчество.

— Это кого же, кого назвали мерзавкой?

— Корде. Не угодно ли вамъ и меня выгнать вонъ!

— Нѣтъ, зачѣмъ же; вы еще зарѣжете, — пошутила маркиза.

— Да я и такъ зарѣжу.

— И насъ всѣхъ зарѣжете?

— Еще бы! Всѣхъ.

Картина, дѣйствительно, выходила живенькая и характерная: Бычковъ сидитъ, точно лупоглазый ночной филинъ, а около него стрекочутъ и каркаютъ денныя вороны.

— Гаа! гаа! гаа!—Каркаютъ всѣ встревоженныя феи, а онъ сидитъ, да словно и въ самомъ дѣлѣ думаетъ: дайте-ка вотъ еще понадвинетъ потемнѣе, такъ я васъ перещелкаю.

— Общество краснѣетъ! краснѣетъ общество! — воскликала маркиза, отбирая отъ всѣхъ показаніе, кто красный, кто бѣлый.

Искренно отвѣтили только Араповъ и Бычковъ, назвавшіе себя прямо красными. Остальные, даже не исключая Райнера, играли словами и выходили какими-то пестрыми. Неприкосновенную бѣлизну сохранили однѣ феи, да еще Брюхачевъ съ Бѣлоярцевымъ не солгали. Первый ничего не отвѣтилъ и цѣловалъ женину руку, а Бѣлоярцевъ сказалъ, что онъ въ жизни понимаетъ только одно прекрасное и никогда не будетъ принадлежать ни къ какой партіи.

Впрочемъ, Бѣлоярцевъ тѣмъ и отличался, что никогда не вмѣшивался ни въ какой разговоръ, ни въ какой серьезный споръ, вѣчно отходя отъ нихъ своимъ художественнымъ направленіемъ. Онъ съ мужчинами или сквернословилъ, или пѣлъ, и только иногда развязывалъ языкъ съ женщинами, да и то тамъ, гдѣ надъ его словами не предвидѣлось серьезнаго контроля.

— Да, я и забыла, что вы поэтъ и художникъ,—отозвалась маркиза.

Часъ былъ поздній и стали прощаться. Кажется ужъ не изъ чего бы начаться новымъ спорамъ, но маркиза въ два слова дошла съ Бычковымъ до того, что вмѣсто прощанья Бычковъ кричалъ:

— Да ужъ не жерондисты съ Чистыхъ-Прудовъ что-нибудь сдѣлаютъ.

— И не монтаньяры со Вшивой-Горки, — отвѣчала въ экстазѣ маркиза.

— Да ужъ не жирондисты.

— Да ужъ и не монтаньяры.

— И не жирондисты.

— И не монтаньяры.

Розановъ и Райнеръ оставались еще нѣсколько минутъ, послушали, какъ маркиза поносила монтаньяровъ со Вшивой-Горки и говорила о печальной необходимости прини-

мать этихъ неотесовъ, свидѣтельствуясь въ этомъ, безъ всякой нужды, примѣромъ madame Роланъ, которая пускала въ свой салонъ нѣкоторыхъ якобинцевъ.

Чортъ знаетъ, что дѣлалось съ Райнеромъ и Розановымъ отъ этихъ столкновеній съ особеннымъ выдѣленіемъ московскаго люда.

Розановъ только чувствовалъ, что и здѣсь опять какъ-то все гадко и неумно будто. Но иногда такъ же какъ Райнеръ размышлялъ о народѣ, онъ размышлялъ объ этихъ людяхъ: это они кажутся такими, а чортъ ихъ знаетъ, что они думаютъ и что могутъ сдѣлать.

Онъ еще завернулъ раза три къ маркизѣ и всякій разъ заставалъ у нея Сахарова. Маркиза ему искала мѣста. Розанову она тоже взялась протежировать и отдала ему самому письмо для отправленія въ Петербургъ, къ одному важному лицу. Розановъ отправилъ это письмо, а черезъ двѣ недѣли къ нему заѣхалъ Рациборскій и привезъ извѣстіе, что Розановъ опредѣленъ ординаторомъ при одной гражданской больницѣ; сообщая Розанову это извѣстіе, Рациборскій ни однимъ словомъ не далъ почувствовать Розанову, кому онъ обязанъ за это опредѣленіе.

Розановъ благодарилъ и Рациборскаго, и маркизу, которая была серьезно увѣрена, что это она его устроила.

Розановъ ей пока очень нравился умѣренностью своихъ воззрѣній, что̀ маркиза принимала за чистый жирондизмъ.

Такъ нашъ Розановъ и сдѣлался временнымъ московскимъ гражданиномъ. При больницѣ были холостыя помѣщенія для четырехъ ординаторовъ и одно изъ нихъ теперь доставалось Розанову.

Дмитрій Петровичъ былъ очень обрадованъ, со слезами благодарилъ за радушіе Нечаевъ, надарилъ на послѣднія деньги платьевъ и рубашечекъ ихъ дѣтямъ, простился съ Лефортовымъ и, переѣхавъ въ больницу, занялся службой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Люди древняго письма.

Доктору Розанову очень нравилось его новое мѣсто. Онъ уютно устроился въ двухъ комнатахъ казеннаго флигеля и рѣшился немедленно же приняться за диссертацію. Отличное пошло житье, и полное, и довольно стройное. Утромъ, только что Розановъ проснется, а иногда еще прежде, чѣмъ онъ проснется, къ нему является его новый товарищъ, молодой ординаторъ Лобачевскій, необыкновенно трудящійся, симпатичный, свѣтлый человѣкъ и хорошій медикъ. Всегда они пили утренній чай вмѣстѣ, поспоривая кое-о-чемъ, кое-о-чемъ совѣтуясь, кое-надъ-чѣмъ подтрунивая. Лобачевскій былъ лѣтъ на пять моложе Розанова, но въ немъ обнаруживалось больше зрѣлости и спокойнаго отношенія къ жизни, чѣмъ въ Розановѣ. Лобачевскій только третій годъ окончилъ курсъ, но уже напалъ на торную дорогу. Онъ неусыпно занимался женскими и дѣтскими болѣзнями и успѣлъ составить себѣ репутацію хорошаго спеціалиста. Въ это же время онъ отдѣлывалъ свою докторскую диссертацію и мечталъ о заведеніи собственной, частной лѣчебницы. Лобачевскій былъ не охотникъ до знакомствъ и сидѣлъ почти безвыходно дома, или, въ послѣднее время, у Розанова, съ которымъ они жили дверь обо дверь и съ первой же встрѣчи какъ-то стали очень коротки.

Послѣ утра, проведеннаго вмѣстѣ, врачи отправлялись на раннія визитаціи по своимъ палатамъ. Это брало около трехъ часовъ времени, особенно у Розанова, получившаго себѣ сыпную палату, гдѣ требовались безпрестанныя ванны, да промыванья и обтиранья. Въ два часа Розановъ съ Лобачевскимъ съѣдали вмѣстѣ обѣдъ, за который каждый изъ нихъ платилъ эконому по семи рублей въ мѣсяцъ. Затѣмъ Лобачевскій начиналъ читать тотъ или другой иностранный клиническій или медицинскій журналъ, а Розановъ слушалъ,

лежа на диванѣ. Въ пять часовъ снова нужно было идти на вечернія визитаціи, которыя хотя были короче утреннихъ, но все-таки брали около получаса времени. А ужъ попозже Розанова подмывало или въ Лефортово, или на Чистые-Пруды, и онъ исчезалъ до полуночи, или даже и за полночь; Лобачевскій же читалъ у себя тоже до полуночи, или и за полночь.

Лобачевскій никогда не освѣдомлялся гдѣ бываетъ Розановъ, и, встрѣчая его выходящимъ изъ квартиры въ пальто и съ палочкой въ рукѣ, только говорилъ, улыбаясь:

— Во походъ пошли гусары.

— Во походъ,—улыбаясь, отвѣчалъ Розановъ и уходилъ.

— А странно,—нѣсколько разъ думалъ докторъ, всегда на меня непріятно дѣйствуютъ этотъ вопросъ и эта улыбка.

Такъ шло время мѣсяца съ полтора. Розановъ все входилъ въ большій фаворъ и довѣріе и въ Лефортовѣ, и на Чистыхъ-Прудахъ, но кругъ его знакомства не разнообразился.

Въ одинъ погожій осенній день медики послѣ обѣда занимались чтеніемъ, когда въ дверь просунулась русая голова, съ волосами, подстриженными на лбу, и спросила:

— Можно войти?

— Можно, можно, Парменъ Семеновичъ,—отозвался Лобачевскій.

Въ комнату Розанова вступилъ человѣкъ, остриженный по-купечески, въ длинноломъ коричневомъ сюртукѣ, съ цѣпочкою гранатнаго бисера по жилету и въ узкихъ шароварахъ, заправленныхъ въ козловые сапоги. Лицо гостя напоминало лица охотниковъ въ княжеской охотѣ кіевскаго Ярославова собора.

— Рекомендую вамъ, Розановъ: Парменъ Семеновичъ Канунниковъ, главноуправляющій дѣлами нашего подрядчика, древняго обычая поборникъ,—проговорилъ Лобачевскій.

— Просимъ быть знакомыми,—произнесъ Канунниковъ, протягивая свою руку плашмя къ Розанову.

Они познакомились.

— Ты говори о древнемъ-то,—началъ Канунниковъ, усаживаясь противъ Лобачевскаго и пригладивъ подстриженные надо лбомъ волосы, — а какое теперича скудоуміе, я тебѣ скажу, я слышалъ.

— Ну!

— Слышалъ, сударь ты мой, я такія рѣчи, что ужъ ни стараго, ни новаго, никакого закона не надо.

— Да.

— Скудоуміе,—говорю.

— Гдѣ-жъ это ты слышалъ, Парменъ Семеновичъ?

— Да такъ, у нашего частнаго маіора, именинишки были, такъ тамъ его сынокъ разсуждалъ. «Никакой, говоритъ, вѣры не надо. Еще, говоритъ, лютареву ересь одну кое время можно попотерпѣть, а то, говоритъ, не надыть никакой. Такъ вотъ ты и говори: не то, что нашу, а и вашу-то новую и тое подъ сокрытіе хотятъ, — добавилъ смѣясь Канунниковъ.—Подъ лютареву ересь теперича всѣхъ произведутъ.

— Что ты ихъ, молокососовъ, слушаешь?—шутя произнесъ Лобачевскій.

— О! исправди не слушать ихъ?—лукаво улыбаясь, спросилъ Канунниковъ;—ну, будь по твоему: будь они не ладны, не стану ихъ слушать. Спасибо, научилъ. Такъ я, братъ, и хлѣба-соли имъ теперь не дамъ, а тебя съ товарищемъ попотчую. Послѣзавтра моя баба именины справляетъ; пріѣзжайте вечеромъ пирога поѣсть.

— Если можно будетъ.

— Вечеромъ-то?

— А, вечеромъ; я не разслышалъ. Вечеромъ буду.

— А вы, новый баринъ?—отнесся Канунниковъ къ Розанову.

— Покорно васъ благодарю, и я буду.

— Ну вотъ. Вы, милостивый государь, съ нами познакомьтесь. Мы хоша и мужики пишемся, ну мы людей понимаемъ, какой сортъ къ чему относится. Мы тебя не оби-

димъ... только насъ не обидь, — опять, усмѣхнувшись, докончилъ Канунниковъ.

— Пріѣзжай, продолжалъ онъ: — у насъ тоже барышни наши будутъ; позабавитесь, на фортопьянѣ сыграютъ. Имѣемъ эти забавки-то. Хоть и не достоитъ было, да что ты съ ними, съ бабами-то подѣлаешь! Въ мірѣ живя, грѣха мірскаго огребатися по всякъ часъ не можно.

— Только вотъ, Розановъ, если васъ Парменъ Семеновичъ позоветъ лѣчить у себя кого-нибудь, такъ ужъ, предупреждаю васъ, не ѣздите,—сказалъ Лобачевскій.

— Экой язвительный баринъ! Ты его не слушай,—отшучивался Канунниковъ.

— Какъ же! Капустой больныхъ кормитъ, у женщины молока нѣтъ, и онъ кормить ребенка велитъ, да и лѣчи, говоритъ.

— Ишь, ишь! Каково вретъ рѣчисто, — опять улыбаясь и кивая на Лобачевскаго, произнесъ Парменъ Семеновичъ.

— А что-жъ, не правда? Согласился ты взять кормилицу?

— Баринъ! баринъ! что ты это поешь-то? Какія такія въ нашемъ званіи кормилицы полагаются? Это у васъ кормилицы. Въ законѣ сказано: «сосцы матэрэ моэя, ими же воспита мя». Ну, что-жъ ты можешь противъ закона?

— Ну, вотъ, и толкуйте съ нимъ!

— «Толкуй больной съ подлѣкаремъ», — проговорилъ вставая Канунниковъ: — у меня еще дѣловъ и Боже мой. Прощайте. Прощай, лукавый рабе,—отнесся онъ къ Лобачевскому.—Молокососовъ-то не одобряешь, а самъ такой же, только *потаенный*. *Потаенный*, — шутилъ онъ, тряся руку молодому медику;—волки, всѣ вы волки, отличные господа передъ Господомъ. А ты, новый баринъ, древности тоже сопротивникъ?

— Я ни древней, ни новой не порочу, — отвѣчалъ Розановъ.

— Значитъ, ты *опытный*, а тѣ-то *неиспытанные*. Прощайте, — произнесъ онъ и до самыхъ воротъ больницы донесъ на лицѣ насмѣшливую улыбку.

У Пармена Семеновича былъ собственный двухъ-этажный домъ у Введенья въ Барашахъ. Когда Розановъ съ Лобачевскимъ подъѣхали къ этому дому, изъ него во всѣ окна глядѣлъ теплый, веселый свѣтъ.

Вечеринка уже началась.

Парменъ Семеновичъ встрѣчалъ гостей въ передней, жалъ имъ руки, привѣтливо кланялся и разводилъ, кого въ залъ и гостиную, гдѣ былъ собранъ женскій полъ и нѣсколько мужчинъ помоложе, а кого прямо на лѣстницу, въ собственные покои Пармена Семеновича съ его холостымъ сыномъ.

Лобачевскаго и Розанова онъ провелъ въ гостиную и представилъ своей сожительницѣ, толстой особѣ, въ повязочкѣ, съ черными зубами и добродушно глупымъ лицомъ.

— Нюра! Нюрочка! Шаша!—позвалъ Парменъ Семеновичъ, подойдя къ двери, и на этотъ зовъ предстали двѣ весьма миловидныя дѣвушки, одна на видъ весьма скромная, а другая съ смѣлыми, лукавыми глазками, напоминающими глаза отца, но обѣ во вкусѣ такъ называемаго «размое-мое».

— Позаймитесь вотъ съ гостями-то,—указалъ имъ Парменъ Семеновичъ и опять побѣжалъ въ переднюю.

Дѣвушки смѣло подали руки Лобачевскому и сѣли съ нимъ обѣ.

Розанова здѣсь никто не зналъ и онъ сидѣлъ молча, наблюдая новое общество.

Въ двери ему было видно, какъ по залѣ, сплетясь руками, взадъ и впередъ ходили длинною вереницею розовыя, бѣлыя, палевыя и голубыя барышни, то прекаренастыя и приземистыя, то высокія и роскошныя, а около нихъ ходили два кавалера, одинъ въ панталонахъ на выпускъ, другой по законному, въ сапоги.

Дѣвицы чаще заворачивали свои головки къ господину въ панталонахъ на выпускъ и не безъ пріятности съ нимъ разговаривали.

Въ гостиной на диванѣ и вдоль по стѣнамъ на стульяхъ

сидѣли дамы, лѣтъ по преимуществу почтенныхъ; нѣкоторыя въ повязочкахъ, другія въ наколкахъ.

Разговора общаго не было.

Розанову, наконецъ, наскучило сидѣть молча и онъ подошелъ къ хозяйкѣ.

— Славный домикъ у васъ,—началъ онъ, помѣстясь у дивана.

— М-мъ! Да, невеликъ только,—застѣнчиво отвѣчала хозяйка, кашлянувъ и заслоняя ротъ рукою.

— Будто для васъ здѣсь тѣсно?

— Семейство большое и сродники тоже есть: сестра Пармена Семеновича у насъ живетъ. А вы не здѣшніе?

— Нѣтъ, я недавно пріѣхалъ.

— По какой части?

— Я лѣкарь.

— А, лѣкарь! А я думала такъ, что по нашей части по торговой.

— Нѣтъ, я лѣкарь.

— У меня вотъ все гулька по спинѣ катается, такъ и катается. Вотъ такая въ орѣшекъ будетъ гуличка.

— Это ничего!

— О? А я все боюсь; говорятъ, какъ бы она на сердце не пала. Такъ-то сказываютъ у одного полковника было: тоже гуличка, да кататься, да кататься, да кататься, кататься, да на сердце пала—тутъ сейчасъ ему и конецъ сдѣлался.

— Нѣтъ, не бойтесь, не упадетъ, успокоивалъ Розановъ.

— Всѣмъ бы вотъ, всѣмъ благодарю моего Господа, да вотъ эта страсть мучитъ все. Просто, не повѣрите, покоя себѣ даже во снѣ не могу найти. Все мнѣ кажется, какъ эта гулька къ сердцу будто идетъ. Я вотъ теперь ужъ бальзамъ такой достала,—дорогой бальзамъ, сейчасъ покажу вамъ.

Хозяйка встала и принесла стклянку, завернутую въ печатную бумажку.

Розановъ развернулъ бумажку и читалъ:

«Балсамъ іерусалимскій изъ новыхъ и старыхъ рецептовъ».

«Сей балсамъ пользуетъ салвомо оному Стомахе помогаетъ ему къ варенію укрѣпляетъ сердце утоляетъ запоръ чрева полезный противо утесненія персей и лехна то (то суть вѣлія нитганны) дипзоетъ и прогоняетъ мѣсячныя тови женски нанѣсонныя раны коликіи стары толикіе новыя напримѣръ съ удареніями меча иля ножа и иныя сѣченія употребляется съ травомъ замово ланионитъ исцѣляетъ всякую фистулу и вся смраднія нужда кіисти достиго долны чудно полезный есть и за текущею ухо капляучи у тодленап три капли съ гукно виномъ омодойною полагается и на раненія зубныя десны и иснѣдаетъ ю утверждаетъ и колсышіяся и испасти хотяща зубы сохраняетъ отъ умори т. е. куги и помогаетъ отъ всѣхъ скорбей душевныхъ и вкупѣ тѣлесныхъ, внутренное ево употребленіе да Будутъ Ю или АЪ до 15 капанума а віна или воды вечеръ и заутра кто его употребитъ и саміамъ искуствомъ чудное богодѣйствіе разумѣти Будетъ».

— Не все понимаемъ, сказала хозяйка.—Это изъ Бѣлой иноки, что по поповщинѣ, принесли. Помогать точно, во всемъ помогаетъ, а не понимаемъ. Тови-то это мы поняли; должно, что поняли; а *стомаха*, ужъ все споръ идетъ. Что такое это *стомаха*?

— Желудокъ, отвѣчалъ Розановъ, продолжая разсматривать курьезную рекламу.

— Желудокъ?—Агафья Ивановна! а Агафья Ивановна! назвала хозяйка.

— Слышите: *стомаха*-то, это желудокъ называется, а не то, что мы думали. А мы совсѣмъ, вѣдь, что другое думали,—пояснила она, обратясь къ Розанову.

— Ну, впрочемъ, отличный бальзанъ. Нюрочка застудилась разъ, такъ сейчасъ ей помогло.

— А есть бальзанъ Кіръ Аншидъ, знаете? Извѣстенъ онъ вамъ?—таинственно спрашивала дама, къ которой хозяйка отнеслась, разъясняя истинное значеніе *стомахи*.—

Только настоящаго этого бальзана нѣтъ, а все поддѣльный дѣлаютъ.

— Нѣтъ, вотъ, говорятъ, гаремскія капли на ночь хорошо принимать.

— Вамъ не годятся гаарлемскія капли! вы полны очень.

— То-то я и говорю, что мнѣ, при моей полнотѣ, совсѣмъ надобны особенныя лѣкарства, потому я, какъ засну съ вечера, очень крѣпко засну, а какъ къ заутренямъ въ колоколъ, сейчасъ у меня вступитъ противъ сердца, тутъ вотъ въ горлѣ меня сдушитъ и за спину хватаетъ.

Розанову становилось скучно и онъ шатался, подсаживаясь то къ той, то къ другой кучкѣ, но нигдѣ не могъ встрять въ бесѣду.

Въ чайной комнатѣ засѣдали нѣсколько старушекъ въ темненькихъ платьицахъ и темненькихъ платочкахъ. Докторъ присѣлъ было къ нимъ и заговорилъ съ хозяйской сестрой: не пошло дѣло. Только одна старушка, держа ладонь на груди у другой старушки, стѣсняясь, шептала: «по розовому песочку и алыя вѣточки,—очень хороши пошли ситцы». Около самаго чайнаго стола еще женская группа. Здѣсь всѣ тоже слушаютъ другую старушенцію, а старушенція разсказываетъ: «Мать хоть и приспитъ дитя, а все-таки душеньку его не приспитъ, и душа его жива будетъ и къ Богу отъидетъ, а свинья, если ребенка съѣстъ, то она его совсѣмъ съ душою пожираетъ, потому она и на небо не смотритъ, очи горѣ не можетъ возвести,—поясняла разсказчица, поднимая кверху ладони и глядя на потолокъ.

Парменъ Семеновичъ захватилъ Розанова наверхъ. Тутъ засѣдалъ одинъ мужской полъ. У доктора опять никого не оказалось знакомыхъ. Хозяинъ ему назвалъ человѣкъ съ десятокъ, но Розановъ какъ-то не съумѣлъ никого запомнить и отличить; все древнее письмо: лобочки съ подстриженнымъ начесомъ, штанцы со скромностью въ голенищи прячутся, сюртучки длинные, законные. Нѣсколько человѣкъ новѣйшаго фасона тоже стереотипны, какъ всѣ рыцари Ножевой линіи. Вниманіе Розанова еще удержалось на Ильѣ

Артамоновичѣ Нестеровѣ, хозяинѣ Пармена Семеновича, высокомъ, совершенно бѣломъ, какъ лунь, старикѣ, съ очень умнымъ и честнымъ лицомъ; на кавалерѣ древняго же письма, но имѣющемъ одежду вкратцѣ «еллинскую» и штаны на выпускъ, да на какой-то тупоумнѣйшей головѣ.

Эта голова сидѣла во второй комнатѣ, на самомъ почетномъ мѣстѣ и неустанно молчала. Только нерѣдко она тупо ухмылялась и кланялась подходящимъ къ ней людямъ древняго письма и опять сидѣла сложивъ на колѣняхъ руки.

А около нея шелъ оживленный и веселый разговоръ.

— Ну; такъ, пускай есть науки, а что по тѣмъ наукамъ значится? говорилъ пожилой человѣкъ господину, имѣющему одежду вкратцѣ и штаны навыпускъ.—Ты вотъ книжки еретическія читаешь, а изъясни ты намъ, какого звѣря въ Ноевомъ ковчегѣ не было?

— Всѣ звѣри тамъ были: чистые по семи паръ, а нечистые по парѣ,—отвѣчалъ щеголь.

— А какого звѣря не было-то? — смѣясь допрашивалъ начетчикъ.

— Всѣ звѣри были.

— Анъ не всѣ. Вотъ ты и уменъ называешься, а не знаешь... А рыба была въ ковчегѣ?

Всѣ разсмѣялись надъ щеголемъ.

Розановъ перешелъ къ кружку, гдѣ раздавался голосъ Лобачевскаго. Здѣсь сидѣлъ Илья Артамоновичъ, Парменъ Семенычъ и еще нѣсколько человѣкъ.

— Все это, сударь, не наше, русское; все это эллинскія забавы, да блуду человѣческому потворство, — говорилъ Илья Артамоновичъ.

— Помилуйте, извѣстное дѣло, что воспитательные домы до сихъ поръ единственное средство остановить дѣтоубійство,—возражалъ Лобачевскій.

— Я противъ этого ничего-съ. Пусть пріютъ для младенцевъ будетъ, только при этихъ-то порядкахъ это все грѣхъ одинъ. Мы во грѣхѣ живемъ, во грѣхѣ и каемся, а

тутъ будто все твердо. А что твердаго-то? Теперь дѣвка мальчика родила, несетъ его въ воспитательный домъ, принимаютъ, и ни записи никакой, ничего, а черезъ годъ она еще дѣвочкой раздобылась и опять такимъ же манеромъ несетъ. Тѣ тамъ черезъ сколько лѣтъ подросли да побрались, да и вотъ тебѣ есть мужъ и жена. Блудомъ на землю потопъ низведенъ былъ; блудомъ данилова обитель разрушилась; блудомъ и весь свѣтъ окаянный зле погибнетъ,— что тутъ еще говорить!

Тутъ надъ Лобачевскимъ смѣялись.

— Или адресные билеты, зачиналъ другой. — Что это за билеты? Склыка одна да безпокойство. Нѣтъ, это не такъ надо устроить! Это можно устроить въ два слова по цѣлой Россіи, а не то, что здѣсь да въ Питерѣ, только склыка одна. Деньги нужны—зачѣмъ не брать, только съ чего-жъ бы и насъ не спросить.

— Или опять пятипроцентные, замѣчалъ третій. — Съ чего они упали? Какъ объ этомъ ученые понимаютъ? А мы просто это дѣло понимаемъ. Мѣняло скупаетъ пяти процентные: куда онъ дѣваетъ? Ему деньги нужны, а онъ билеты скупаетъ. Дѣло-то видно, куда они идутъ: все въ однѣ руки и идутъ и оттуда опять къ цѣнѣ выйдутъ, а казна въ сторонѣ.

Пошли внизъ къ ужину.

Проходя мимо головы въ коричневомъ парикѣ, Розановъ слышалъ, какъ молчаливыя уста разверзлись и вѣщали:

«Вы объ этомъ не стужайтесь. Есть-бо и правда въ пагубу человѣкомъ, а ложь во спасеніе. Апостолъ Петръ и солгалъ, отрекаясь Христа, да спасся и ключи отъ царствіи Его держитъ, а Іюда беззаконный и правду рекъ, яко азъ вамъ предамъ его, да зле окаянный погибе, яко и струпъ его разсѣдся на полы.

Ужинъ былъ безконечный.

Розановъ сидѣлъ между Лобачевскимъ и щеголемъ въ штанахъ на выпускъ.

Щеголь держался съ достоинствомъ, но весьма привѣтливо угощалъ медиковъ.

— Какъ вамъ наши старики показываются? — спросилъ онъ Розанова.

— Ничего. очень нравятся.

— Крѣпкіе старики, объяснилъ щеголь: — упрямы бываютъ, но крѣпкіе, настоящіе люди, своему отечеству патріоты. Я, разумѣется, человѣкъ центральный; я, можно сказать, въ самомъ центрѣ нахожусь: политику со всѣми веду, потому что у меня всѣ разсчеты и отправки, и со всякими людьми я имѣю обращеніе, а только наши старики—крѣпкіе люди: нельзя ихъ ничѣмъ покорить.

— Вы съ Парменомъ Семеновичемъ вмѣстѣ дѣла ведете?

— Да-съ. Мы служащіе у Ильи Артамоновича Нестерова, только Парменъ Семеновичъ надъ всѣми дѣлами надзираютъ, въ родѣ какъ директора, а я часть имѣю; рыбными промыслами завѣдую. Вы пожалуйте ко мнѣ какъ нибудь, вотъ вмѣстѣ съ господиномъ Лобачевскимъ пожалуйте. Я тамъ же въ нестеровскомъ домѣ живу. Въ контору пожалуйте. Спросите Андріяна Николаева: это я и есть Андріянъ Николаевъ.

Розановъ поблагодарилъ.

Послѣ безконечнаго ужина, мужчины опять пошли наверхъ.

При входѣ Розановъ замѣтилъ, что голова въ парикѣ сидѣла въ низенькомъ клобучкѣ, изъ подъ котораго вились длинные черные волосы.

— Кто это такой? — спросилъ Розановъ Андріяна Николаева.

— Инокъ изъ скитовъ, шопотомъ отвѣтилъ Андріянъ Николаевъ:—Ни рыбы, ни вина не вкушаетъ и съ мірскими не трапезуетъ: ему сюда подавали на рабскомъ столѣ.

На столѣ, передъ инокомъ, дѣйствительно, стояли двѣ тарелки съ остатками грибного соуса и отваренныхъ плодовъ.

— Кушали, отецъ Разслоней? — внимательно спросилъ инока Парменъ Семеновичъ.

— Вкушая, вкусивъ мало и се отъиду,—отвѣчалъ пнокъ подобравъ однимъ пріемомъ волосы, и, надѣвъ снова парикъ, всталъ и началъ прощаться.

— Даже чаю не употребляетъ,—опять шопотомъ замѣтилъ Розанову Андріянъ Николаевъ.

Два молодца внесли въ комнаты два огромные серебряные подноса, уставленные бутылками различнаго вина и стаканами.

Старики, проводивъ отца Разслонея, возвратились и началась попойка.

Долго пили безъ толку и безъ толку же шумѣли. Розановъ все сидѣлъ съ Андріяномъ Николаевымъ у окошка, смѣняли бутылочки и вели искреннюю бесѣду, стараясь говорить какъ можно тише.

Впрочемъ большую осторожность наблюдалъ Розановъ, а Андріянъ Николаевъ часто забывался и покрикивалъ:

— Мы ему за это весьма благодарны, весьма благодарны. Богато, богато пишетъ.

— Потише,—остерегалъ Розановъ.

— Ничего-съ, у насъ насчетъ этого будьте покойны. Мы всѣ свои, — но Андріянъ Николаевъ начиналъ говорить тише. Однако, это было ненадолго; онъ опять воскликалъ: — Богато, одно слово богато; честь мужу сему. Мнѣ эти всѣ штучки исправно доставляютъ, — добавилъ онъ съ значительной улыбкой. Пріятель есть военный офицеръ, шкиперомъ въ морской флотиліи служитъ: все черезъ него имѣемъ.

Парменъ Семеновичъ, проходя нѣсколько разъ мимо Андріяна Николаева и Розанова, лукаво на нихъ посматривалъ и лукаво улыбался въ свою русую бороду.

Въ третьей комнатѣ что-то зарыдало и заплакало разрывающимъ душу тихимъ рыданіемъ. Изъ двухъ первыхъ комнатъ всѣ встали и пошли къ дверямъ, откуда несся мѣрный плачъ.

— Что это?—спросилъ Розановъ.

— Э, глупости, это Финогешка поетъ.

— Что онъ поетъ?

— Заставили его вѣрно: Стихъ поетъ; плачъ іосифовскій называется стихъ, отвѣчалъ Андріянъ Николаевъ.—Илья Артамонычъ его любитъ.

— Пойдемте, пожалуйста, сказалъ Розановъ; и они встали.

Третья комната была полна гостей; Илья Артамоновичъ сидѣлъ на диванѣ, возлѣ него сидѣлъ Парменъ Семенычъ, потомъ, стоя и сидя, мѣстились другіе, а изъ уголка несся плачъ, собравшій сюда всю компанію.

Въ уголкѣ стоялъ худенькій, маленькій человѣкъ, съ бѣлокурою головою и жиденькой бородкой. Длинный сюртукъ висѣлъ на немъ какъ на вѣшалкѣ, маленькіе его голубые глазки, сверкающіе фантастическимъ воодушевленіемъ, были постоянно подняты къ небу, а руки сложены крестомъ на груди, изъ которой съ нѣвучимъ рыданіемъ летѣлъ плачъ Іосифа, ѣдущаго на верблюдахъ въ неволю и видящаго гробъ своей матери, среди пустыни, покинутой ихъ родомъ.

Когда Розановъ смѣшался со слушателями, Финогешка пѣлъ:

Кто бы мнѣ далъ источникъ слезъ,
Я плакалъ бы и день, и нощь.
Рыдалъ бы я о грѣхахъ своихъ.
Проливалъ бы я слезы отъ очію.
Рѣки, рѣки эдемскія,
Погасите огни геенскіе!

Илья Артамоновичъ выбивалъ слегка тактъ, всѣ внимательно слушали, два старика плакали.

Кто бы мнѣ далъ голубицу,
Вѣщающу бесѣдами,

продолжалъ Финогешка:

Возвѣстила бы Израилю,
Отцу моему Іакову:
Отче, отче Іакове!
Пролей слезы ко Господу.
Твои дѣти, мои братія.
Продаше мя во ину землю.
Исчезнуша мои слезы
О моемъ съ тобой разлученіи.

Къ двумъ плачущимъ старикамъ присоединилось еще нѣсколько, а Финогешка взывалъ и выплакивалъ:

Земле! земле, возопившая
За Авеля ко Господу!
Возопій нынѣ къ Іакову,
Отцу моему Израилю.
Видѣхъ я гробъ моей матере
Рахили, началъ плачъ многій:
Отверзи гробъ, моя мати,
Прими къ себѣ чадо свое
Любимое, во ину землю
Ведомое погаными.
Пріими, мати, лишеннаго,
Отъ отца моего разлученнаго..,

И рыдалъ, и рыдалъ приказчикъ Финогешка, тянучи долгій плачъ Іосифа, разсказывая по порядку, какъ:

Злая жена Пентеферія
Прельстить его умыслила.
Дерзни на мя, Іосифе,
Иди ко мнѣ, преспи со мной.
Держитъ крѣпко Іосифа,
Влечетъ къ себѣ во ложницу...

и какъ Іаковъ:

Возопи съ плачемъ и рыданіемъ
И съ горькимъ воздыханіемъ:
Сія риза моего сына,
Козья несетъ отъ нея псина.
Почто не съѣлъ меня той звѣрь,
Токмо бы ты былъ, сыне, цѣлъ.

Розановъ не замѣтилъ, какъ понемножку, одинъ за другимъ, всѣ стали подтягивать пѣвцу и гнусящимъ хоромъ доканчивали плачевный стихъ.

— Смотрите, смотрите, Илья Артамоновичъ-то тоже плачетъ, шепнулъ Розанову умилившійся духомъ Андріянъ Николаевъ.—Это они всегда, про сына вспомнятъ и заплачутъ. Сынъ у нихъ Матвѣй съ француженкой закороводился и пропалъ.

— Гдѣ же онъ?

— Богъ его знаетъ. Былъ въ Петербургѣ, говорятъ, а

теперь совсѣмъ пропалъ. Пріѣзжалъ съ нею какъ-то въ Москву, да Илья Артамоновичъ ихъ на глаза не приняли. Совѣстно, знаете, противъ своихъ, что съ француженкой,— и не приняли. Крѣпкій народъ и опять дикій, въ разсужденіи любви,—дикій, суровый нравъ у стариковъ.

Внимательно смотрѣлъ Розановъ на этихъ стариковъ, изъ которыхъ въ каждомъ сидѣлъ семейный тиранъ, способный прогнать свое дитя за своеволіе сердца, и въ каждомъ рыдалъ Израиль «о своемъ съ сыномъ разлученіи».

— Экая порода задалася!—думалъ Розановъ, разсматривая начинавшихъ расходиться гостей: — пробей ее вотъ чѣмъ хочешь! Кремни, что называется, ни крестомъ, ни пестомъ ихъ не проймешь.

— Идемте?—спросилъ Лобачевскій, подойдя къ Розанову.

— Пойдемте.

Они стали прощаться.

— Ну, спасибо, спасибо, что покучились,—говорилъ Канунниковъ, тряся Розанову обѣ руки.—А еще спасибо, что бабамъ стомаху разобралъ, — добавилъ онъ смѣючись: у насъ изъ-за этой стомахи столько, скажу тебѣ, споровъ было, что бѣда, а тутъ, наконецъ того, дѣло совсѣмъ другое выходитъ.

— Стомаха желудокъ означаетъ, — вмѣшался Андріянъ Николаевъ.

— Дыть, чудакъ ты этакой! Теперь, какъ докторъ разъяснилъ, такъ и мы понимаемъ, что желудокъ.

— Это и безъ нихъ можно было понять по писанію. У апостола же Павла въ первомъ посланіи, глава пятая, читаете: «Къ тому не пій воды, но мало вина пріемли стомаха ради твоего и чистыхъ недугъ твоихъ».

— Тсъ! Ахъ ты башка съ кишкамъ! Экой даръ у него къ писанію!—воскликнулъ удивленный и восхищенный Парменъ Семеновичъ и обратился къ другимъ отходящимъ гостямъ.

Розановъ, Лобачевскій и Андріянъ Николаевъ вышли

вмѣстѣ и переулочка два прошли пѣшкомъ, пока нашли извозчиковъ.

— Нѣтъ, этакую штучку-то пустить бы этакъ въ оборотъ, — разсуждалъ, прощаясь у угла, Андріянъ Николаевъ, — богато.

— Да какъ же пустить?—спросилъ Розановъ.

— Какъ? Одно слово: взялъ да и пустилъ. Теперь, къ примѣру скажемъ, я. Я небольшой человѣкъ, кто какъ разумѣетъ, можетъ и совсѣмъ человѣкъ маленькій, а я центральный человѣкъ. У насъ теперь по низовью рыбацкія артели: нѣсколько сотъ артель одна, такъ что-жъ мнѣ.

Розановъ посмотрѣлъ ему въ самые глаза.

— Вотъ слово-то, — произнесъ сквозь смѣхъ Андріянъ Николаевъ: — Чего только это стоитъ?—и смѣясь же зашагалъ по переулку, увертываясь воротникомъ лисьей шубы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Два гриба въ одинъ борщъ.

— Evrica, Розановъ, evrica!—восклицалъ Араповъ, котораго докторъ засталъ у себя на другой день, возвратясь съ ранней визитаціи.

— Что это такое обрѣтено?

— Человѣкъ.

— Безъ фонаря нашли?

— Да, Діогенъ дуракъ былъ; ну ихъ совсѣмъ покойниковъ... нехай гніютъ.

«Великій Цезарь нынѣ прахъ и тлѣнъ
И на поправку онъ истраченъ стѣнъ».

— Ну ихъ! Человѣкъ найденъ и баста.

— Да, а какой человѣкъ скажу вамъ...

— «Великій Цезарь прахъ и»...

— «Тлѣнъ»,—нетерпѣливо подсказалъ Араповъ и, надвинувъ таинственно брови, избоченился и сталъ эфектно выкладывать по пальцамъ, приговаривая:—безъ рода и племени,—разъ; еврей, угнетенная національность,—это два;

полонъ ненависти и злобы,—это три; смѣлъ, какъ чортъ,—четыре; изворотливъ и хитеръ, пылаетъ мщеніемъ, ищетъ дѣла и *литографъ-съ*! — Что скажете? произнесъ, отходя и становясь въ позу, Араповъ.

— Гдѣ вы такого звѣря нашли?

— Ужъ это, батюшка, секретъ.

Розановъ промолчалъ.

— Теперь сборамъ конецъ, начнемъ дѣйствовать,—продолжалъ Араповъ

Розановъ опять промолчалъ и сталъ доставать изъ шкафа холодный завтракъ.

— Что-жъ вы молчите?—спросилъ Араповъ.

— Не нравится мнѣ это.

— Почему же-съ?

— Такъ: что это за жидокъ, откуда онъ, что у него въ посу?—чортъ его знаетъ. Я и дѣлъ-то не вижу, да еслибъ они и были, то это дѣла не жидовскія.

— Какъ средство! какъ орудіе! Какъ орудіе все хорошо. Мы будемъ играть на его національныхъ стремленіяхъ.

— Помилуйте, какія у жидка стремленія!

— Что это вы говорите, Розановъ! А Гейне не жидъ? А Берне не жидъ?

— Да и Маккавеи и Гедеонъ были жиды,—были жиды еще и почище ихъ.

— Такъ что-жъ вы говорите!

— Я то говорю, что оставьте вы вашего жидка. Жидъ, ктурый пршивыкъ тарговаць цибулько, гужалькемъ, ходзить въ ляпсардаку, попиратьця палькемъ,—такъ жидомъ всегда и будетъ.

— Пошелъ рефлекторствовать!

— Ну, какъ хотите.

— Хотите сегодня вечеромъ къ маркизѣ?—спросилъ Араповъ, перемѣняя разговоръ.

— Нѣтъ, я сегодня буду спать: я всю ночь не спалъ,—отвѣчалъ Розановъ.

— Гдѣ-жъ это вы были?

Розановъ разсказалъ свое вчерашнее пированье у Канунникова, привелъ нѣсколько разговоровъ, описалъ личности и особенно распространился насчетъ Андріяна Николаевича и его рѣчей.

Араповъ такъ и впился въ Розанова.

— Какъ хотите, познакомьте. Вы должны познакомить меня съ нимъ. Не ради любопытства васъ прошу, а это нужно. У насъ ни одного раскольника еще нѣтъ, а они сила. Давайте мнѣ этого.

— Да вы увлекаетесь, Араповъ. Я вѣдь вамъ говорю, съ какой точки онъ на все смотритъ.

— Это все равно-съ,—возражалъ Араповъ:—надо всѣмъ пользоваться. Можно что-нибудь такое и въ ихъ духѣ. Ну, благочестіе, ну и благочестіе, а тамъ чортъ съ ними. Лишь бы на первый разъ деньги и содѣйствіе.

— Зарницынъ нумеръ второй, — подумалъ Розановъ, замкнувъ за Араповымъ дверь и ложась соснуть до обѣда.

Дня черезъ три Розановъ, передъ вечеркомъ, мимоѣздомъ, забѣжалъ къ Арапову и засталъ у него молодого толстоносаго еврейчика, въ довольно оборванномъ сюртучкѣ.

— Нафтула Соловейчикъ, — отрекомендовалъ Розанову своего новаго гостя Араповъ.

Еврей неловко съёжился.

— Вы изъ какихъ странъ?—спросилъ докторъ Соловейчика.

— Я изъ Курляндъ.

Розановъ заговорилъ съ Араповымъ о какихъ-то пустякахъ и, неожиданно обратясь къ Соловейчику, спросилъ его по-польски:

— Вы давно въ Москвѣ?

— Już kilka mies... началъ было Нафтула Соловейчикъ, но спохватился и добавилъ:—я совсѣмъ мало понимаю по-польски.

Розановъ еще поддержалъ общій разговоръ и у Соло-

вейчика еще два раза вырвалось польское *co*? Русская же рѣчь его была преисполнена полонизмовъ.

— Онъ изъ Бердичева или вообще изъ-за днѣпровской Украйны, — сказалъ Розановъ, прощаясь на крыльцѣ съ Араповымъ.

— Это вы почему думаете?

— По разговору.

— Развѣ онъ въ Митавѣ не могъ научиться по-польски?

— Нѣтъ, это польскій жидъ.

— Э, полноте; ну, а наконецъ польскій и пусть будетъ польскій: что намъ до этого за дѣло? А вы вотъ меня съ тѣмъ-то, съ раскольникомъ-то, сведите.

— Да постойте, я самъ еще его не знаю: всего разъ одинъ видѣлъ. Вотъ, дайте срокъ, побываю, тогда и улажу какъ-нибудь.

— Позовите его къ себѣ.

Докторъ обѣщалъ на-дняхъ съѣздить къ Андріяну Николаеву и какъ-нибудь попросить его къ себѣ.

— Нѣтъ-съ, не на-дняхъ, а ступайте завтра, — настаивалъ Араповъ.

— Ну ладно, ладно, поѣду завтра,—отвѣтилъ Розановъ.

Трясясь отъ Лефортова до своей больницы, Розановъ все ломалъ голову, что̀ бы эта за птица такая этотъ либеральный Соловейчикъ.

А человѣкъ, котораго Араповъ называетъ Нафтулою Соловейчикомъ, и самъ бы не отвѣтилъ, что̀ онъ такое за птица. Родился онъ въ Бердичевѣ; до двухъ лѣтъ пилъ козье молоко и ѣлъ селедочную утробку, которая валялась по грязному полу; трехъ лѣтъ стоялъ, выпятивъ пузо, на порогѣ отцовской закуты; съ четырехъ до восьми, въ ермолкѣ и широкомъ отцовскомъ ляпсардакѣ, обучался бердичевскимъ спеціальностямъ: воровству-кражѣ и воровству-мошенничеству, а девяти сданъ въ рекруты, подъ видомъ двѣнадцатилѣтняго, на основаніи присяжнаго свидѣтельства двѣнадцати добросовѣстныхъ евреевъ, утверждавшихъ за полкарбованца, что мальчику уже сполна минуло двѣнад-

цать лѣтъ, и онъ можетъ поступить въ рекруты за свое чадолюбивое общество.

Тутъ жизнь отдѣленнаго члена бердичевской общины пошла скачками да прыжками. Во-первыхъ, онъ излѣчился въ военномъ госпиталѣ отъ паршей и золотухи, потомъ совершилъ длинное путешествіе на сѣверо-востокъ, потомъ окрестился въ православіе, выучился читать, писать и спускать бабамъ за четвертаки натертыя ртутью копѣйки. Потомъ онъ сдѣлалъ себѣ паспортикъ, бѣжалъ съ нимъ, окрестился второй разъ, получилъ сто рублей отъ крестной матери и тридцать изъ казначейства, поступилъ въ откупную контору, присмотрѣлся, между дѣломъ, какъ литографируютъ ярлыки къ штофамъ, отлитографировалъ себѣ новый паспортъ и, обокравъ кассу, очутился въ Одессѣ. Здѣсь восточная чувственность, располагавшая теперь не копѣйками, натертыми ртутью, а почтенною тысячною суммою, свела его съ черноокой гречанкой, съ которою они, страшась ревнивыхъ угрозъ прежняго ея любовника, за неимѣніемъ заграничнаго паспорта, умчались въ Гапсаль. Счастливое лѣто шло въ Гапсалѣ быстро; въ вокзалѣ показался статный итальянскій графъ, засматривающійся на жгучую красоту гречанки; толстоносый Іоська становился ей все противнѣе и противнѣе, и въ одно прекрасное утро гречанка исчезла, вмѣстѣ съ значительнымъ еще остаткомъ украденной въ откупѣ кассы, а съ этого же дня никто болѣе не встрѣчалъ въ Гапсалѣ и итальянскаго графа— поѣхали въ тотъ край, гдѣ апельсины зрѣютъ и яворы шумятъ.

Человѣкъ, котораго нынче называютъ Нафтулою Соловейчикомъ, закручинился.

Младая, но вѣроломная гречанка въ шкатулкѣ захватила и его перстни, и паспортъ, и ничего не заплатила даже за квартиру.

Безъ паспорта и безъ гроша денегъ въ карманѣ, іерусалимскій дворянинъ явился въ древней русской столицѣ и потерялся въ ней, среди изобилія всего съѣстного, среди

дребезги, трескотни, шума кареть и сиплаго голоса голоднаго разврата.

Первая мысль была еще разъ окреститься и взять вспомоществованіе, но негдѣ было достать еврейскаго паспорта, не изъ чего было сдѣлать печати, даже русскаго паспорта пріобрѣсть не на что.

Да и что въ немъ проку. Жить? Такъ прожить-то въ Москвѣ, съ умомъ живучи, и безъ паспорта можно хоть до второго пришествія.

А все-таки худо было бѣдному страннику, и Богъ вѣсть, что̀ бы онъ предпринялъ, если бы случай не столкнулъ его съ Араповымъ.

Чуткое ухо еврея давно слышало о какихъ-то особенныхъ людяхъ; тонкое еврейское пониманіе тотчасъ связало эти слухи съ одесской торговлей запрещенными газетами, и Нафтула Соловейчикъ, раскусивъ сразу Арапова, выдавалъ у него четвертаки и вторилъ его словесамъ, выдавая себя за озлобленнаго представителя непризнанной націи.

— Чортъ ихъ знаетъ, знакомить ли ихъ съ Андріяномъ Николаевымъ? — размышлялъ Розановъ, вертясь изъ перелка въ переулокъ.

— Все это какъ-то... нелѣпо очень... А впрочемъ,— приходило ему опять въ голову, — что-жъ такое? Тотъ такой человѣкъ, что его не оплетешь, а какъ знать, чего не знаешь. По началу конецъ точно виденъ, ну да и иначе бываетъ.

— Нѣтъ, поѣду завтра къ Андріяну Николаеву,—рѣшилъ Розановъ, разсчитываясь съ извозчикомъ.

А случилось такъ, что рѣшеніе это и не исполнилось.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Бахаревы въ Москвѣ.

Розановъ хотѣлъ побывать у Андріяна Николаева въ конторѣ, между своими утренними визитаціями и обѣдомъ.—

Обойдя отдѣленіе и вымывъ руки, онъ зашелъ домой, чтобы перемѣнить платье и ѣхать къ Введенію, что въ Барашахъ, но, отворивъ свою дверь, изумился. На крайнемъ стульцѣ его пріемной комнаты сидѣлъ бахаревскій казачокъ Гриша.

— Гриша! воскликнулъ Розановъ, протягивая руки къ румяному мальчику съ размасленной головой и ватными патронами на синемъ казакинѣ.

— Я-съ, Дмитрій Петровичъ,—отвѣчалъ мальчикъ.

Они обнялись и три раза поцѣловались, а потомъ Гриша поймалъ Розанова руку и поцѣловалъ ее.

— Съ господами?

— Точно такъ-съ, Дмитрій Петровичъ.

— Гдѣ же вы стоите?

— У барынинаго братца пока пристамши.

— У Богатырева?

— Да-съ, только должно квартеру будемъ искать.

— Когда же вы пріѣхали?

— Шестой день ужъ, Дмитрій Петровичъ.

— Что-жъ ты, сверчокъ этакой, до сихъ поръ не прибѣжалъ?

— Некогда, Дмитрій Петровичъ. Непорядки все. Я вѣдь да няня, поваръ Сергѣй, да швея Ненила, только всего и людей. Нынче вотъ барышня Лизавета Егоровна пожаловали на извозчика и приказали разыскать васъ и просить. Я ужъ съ полчаса мѣста дожидаюсь.

— Ну, на́ тебѣ еще на извозчика и валяй домой, а я тоже сейчасъ буду.

Менѣе чѣмъ черезъ часъ докторъ остановился у подъѣзда довольно большого дома, въ приходѣ Николы Явленнаго.

На мѣдной дощечкѣ, довольно неряшливо прибитой гвоздиками къ двери, значилось: «Сенаторъ Алексѣй Сергѣевичъ Богатыревъ».

Розановъ позвонилъ и ему отперъ дверь лакей въ довольно грязномъ коричневомъ сюртукѣ, но въ жилетѣ съ гербовыми пуговицами и въ гороховыхъ штиблетахъ.

Входъ, передняя и залъ также подходили къ лакею. Въ передней помѣщалась массивная, ясневая вѣшалка и мизерное зеркальце съ фольговой лирой вверху черной рамки; въ углу стояла ширма, сверхъ которой виднѣлись вбитые въ стѣнку гвозди и развѣшанная на нихъ простыня. Залъ ничѣмъ не изобличалъ сенаторскаго жилья. Въ немъ стояли только два большія зеркала съ хорошими подзеркальниками. Остальное все было грязновато и ветхо, далѣе была видна гостиная поопрятнѣе, а еще далѣе — довольно роскошный женскій будуаръ.

Изъ темной передней шли двери направо и налѣво, но разсмотрѣть ихъ, за темнотою, было невозможно.

— Батюшки! батюшки! Русью духъ пахнетъ, и самъ Гуфеландъ нашъ здѣсь!—закричалъ знакомый голосъ, прежде чѣмъ Розановъ успѣлъ снять калоши, и вслѣдъ затѣмъ старикъ Бахаревъ обнялъ Розанова и сталъ тыкать его въ лицо своими прокопченными усищами.—Ай да, Дмитрій Петровичъ! Вотъ уважилъ, голубчикъ, такъ уважилъ: пойдемте же къ намъ наверхъ. Мы, тутъ, на антресоляхъ.

По коридорчику да по узенькой лѣстничкѣ Розановъ съ Бахаревымъ взошли на антресоли, состоящія изъ трехъ довольно просторныхъ, но весьма низенькихъ комнатокъ.

— Сюда, сюда,—звалъ Бахаревъ, указывая на маленькую дверцу.—Ну, что вы? какъ? — разспрашивалъ Бахаревъ Розанова.

— Ну, а вы какъ?—разспрашивалъ въ свою очередь Розановъ Бахарева.

Извѣстны ужъ эти разговоры. Кто спрашиваетъ—спрашиваетъ безъ толку, и кто отвѣчаетъ—тоже не гонится за толковостью. Не скоро или, по крайней мѣрѣ, ужъ никакъ не сразу, на дорогу выйдутъ.

— И таки-ничего вамъ здѣсь?

— Ничего, Егоръ Николаевичъ.

— Хорошо?

— Пока я всѣмъ очень доволенъ.

— Ну, и хвалите Бога, благодарите Его.

— А какъ же это вы-то?

— Да вотъ, видите, пріѣхали.

— И надолго?

— Да, какъ Богъ грѣхамъ потерпитъ. Зимку бы надо прожить. Вѣдь ужъ засидѣлись, батюшка.

— А выборы?

— Да Богъ съ ними. Я ужъ старъ,— пора и костямъ на мѣсто.

— Ну, а ваши-жъ гдѣ?—спросилъ, осматриваясь, Розановъ.

— Да Лиза съ матерью пошли квартирку тутъ одну посмотрѣть, а Соня сейчасъ только поѣхала. Я думалъ, вы ее встрѣтили.

— Я встрѣтилъ какую-то незнакомую даму на лѣстницѣ.

— А, это брата Ольги Сергѣвнинаго Алексѣя Сергѣевича Богатырева жена, Варвара Ивановна. Модница, батюшка, и щеголиха: въ большомъ свѣтѣ стоитъ.

Дамы не возвращались, но минутъ черезъ пять послѣ этого разговора въ комнатку Бахарева просунулась маленькая, подъ гребенку остриженная, сѣденькая головка, съ кротчайшими голубыми глазками. Головка эта сидѣла на крошечномъ, худенькомъ туловищѣ, получавшемъ нѣкоторую представительность единственно лишь отъ высокаго атласнаго галстука, довольно граціозно возносившаго головку надъ узенькими плечиками. Общее выраженіе лица этого старичка было самое добродушное, привѣтливое и весьма симпатичное. Несмотря на далеко запавшій ротъ и на ямки въ щекахъ, закрывающихъ беззубыя челюсти, лицо это исключало всякую необходимость освѣдомиться: не братъ ли это Ольги Сергѣвны? Всякій, съ перваго взгляда, видѣлъ, что это ея братъ.

Бахаревъ познакомилъ Розанова съ Алексѣемъ Сергѣевичемъ, который тотчасъ же внимательно пожалъ Розанову руку, разспросилъ, гдѣ онъ служитъ, каково ему живется, какіе у нихъ въ больницѣ порядки и проч.

— Алексѣй Сергѣевичъ у насъ, вѣдь, самъ полуврачъ,—

замѣтилъ Бахаревъ: — онъ никогда не лѣчится у докторовъ.

— И прекрасно дѣлаете,—сказалъ Розановъ.

— Да-съ, я все самъ.

— Гомеопатіей,—подсказалъ Бахаревъ.

— Вы вѣрите въ гомеопатію?

— Да какъ же не вѣрить-то-съ? Шестой десятокъ съ нею живу, какъ не вѣрить? Жена не вѣритъ, а самъ я, люди, прислуга, крестьяне, когда я бываю въ деревнѣ: всѣ изъ моей аптечки пользуются. Вотъ вы не знаете ли, гдѣ хорошей оспы на лѣто достать? Не понимаю, что̀ это значитъ! Въ прошломъ году пятьдесятъ стеклышекъ взялъ, какъ ѣхалъ. Вы сами посудите, пятьдесятъ стеклышекъ,— вѣдь это не бездѣлица, а царапалъ, царапалъ все лѣто— ни у одного ребенка не принялась.

— Алексѣй Сергѣевичъ!—позвалъ снизу повелительный женскій голосъ.

— Сейчасъ, Варинька,—отвѣчалъ, вскочивъ, старичокъ, пожалъ Розанову руку, и торопливо побѣжалъ къ двери.

— Смерть боится жены,—прошепталъ Бахаревъ,—а самъ отличныхъ правилъ и горячій родной.

Вся эта рекомендація была какъ нельзя болѣе справедлива. Несмотря на свою поразительную кротость, сенаторъ Богатыревъ не умѣлъ шутя смотрѣть на свои гражданскія обязанности. По натурѣ онъ былъ болѣе поэтъ, рыболовъ, садоводъ и охотникъ; вообще мирный помѣщикъ, равнодушный ко всѣмъ приманкамъ почести и тщеславія, но служилъ весь свой вѣкъ, былъ прокуроромъ въ столицѣ, потомъ губернаторомъ въ провинціи, потомъ сенаторомъ въ несравненной Москвѣ, и на всякомъ мѣстѣ онъ стремился быть человѣкомъ и былъ имъ, насколько позволяли обстоятельства. Повсюду онъ неуклонно слѣдовалъ идеѣ справедливости, не увлекаясь, однако, неумытною строгостію, не считая грѣхомъ снисхожденіе человѣческимъ слабостямъ и не ставя кару главною задачею правосудія. Добрые, голубые глаза Алексѣя Сергѣевича смотрѣли прямо и без-

трепетно, когда онъ отстаивалъ чужое право и писалъ подъ протоколомъ «остаюсь при особомъ мнѣніи». Только собственнаго своего права дома онъ никогда отстоять не умѣлъ. Варвара Ивановна до такой степени поработила и обезправила Богатырева, что онъ ужъ отрекся даже и отъ всякой мечты о какой бы то ни было домашней самостоятельности. Все служебное время года онъ читалъ дѣла, обрабатывалъ свои «мнѣнія», да исподтишка любовался сыномъ Сержемъ, только что перешедшимъ во второй курсъ университета, а лѣтомъ подбивалъ дорожки въ саду своей подмосковной, лѣчилъ гомеопатіею бабъ и мужиковъ, да прививалъ оспу ребяткамъ, опять издали любуясь сыномъ, поставленнымъ матерью въ положеніе, совершенно независимое отъ семейства. Въ поэтической душѣ старичка, правда, было и нѣчто манловское, но это маниловское выходило какъ-то такъ мило, что чувствующему человѣку надъ этимъ никакъ нельзя было засмѣяться ядовито и злобно. Сенаторъ очень любилъ родню. Если бы воля ему была отъ Варвары Ивановны, онъ бы пособралъ около себя всѣхъ племянниковъ, племянницъ, всѣхъ внучатныхъ и четвероюродныхъ, искалъ бы ихъ, какъ Фамусовъ, «на днѣ морскомъ» и всѣмъ бы имъ порадѣлъ. Варвара Ивановна терпѣть не могла этого радѣтельства, и Алексѣй Сергѣевичъ смирялся. Онъ давно не видался съ сестрою Ольгою Сергѣевною и выписалъ Бахаревыхъ погостить къ себѣ. Только Лиза, да даже и сама Ольга Сергѣевна съ перваго же дня своего пребыванія увидѣли, что имъ жить въ домѣ Алексѣя Сергѣевича неудобно, и рѣшились поселиться отдѣльно отъ него, гдѣнибудь по сосѣдству.

— Егоръ Николаевичъ, мы еще съ Лизой квартирку нашли,—произнесла, входя въ шляпкѣ, Ольга Сергѣевна и, увидѣвъ Розанова, тотчасъ добавила: — ахъ, Дмитрій Петровичъ! Вотъ сюрпризъ-то! Ну, какъ вы? что съ вами?

— Ничего; покорно васъ благодарю, Ольга Сергѣевна,— живу,—отвѣчалъ вставая Розановъ:—Какъ васъ Богъ милуетъ?

— Слава Богу.—Ну, а семейство ваше? Гловацкіе вамъ кланяются, Вязмитиновъ, Зарницынъ. Онъ женился.

— На Кожуховой?

— Да. А вы почемъ знаете? Писали вамъ? Да, да-съ, женился, передъ самымъ нашимъ отъѣздомъ свадьба была. Гловацкіе ѣздили, и насъ звали, да мы не были... Егоръ Николаевичъ, впрочемъ, былъ.

— Докторъ, здравствуйте! — весело произнесла Лиза, нѣсколько раскраснѣвшись, не то отъ усталости, не то отъ чего другого.

Розановъ крѣпко пожалъ ея руку.

— Ну?—спросила она, глядя ему въ глаза.

— Живу, Лизавета Егоровна.

— Очень рада, очень рада! — отвѣтила она и еще разъ пожала ему руку.

Взошла и Софи, сказала нѣсколько казенныхъ радостей по поводу свиданія.

Потомъ вошла Варвара Ивановна,—крупная, довольно еще свѣжая и красивая барыня, съ высокимъ греческимъ профилемъ и низкимъ замоскворѣцкимъ бюстомъ.

Ей представили Розанова, какъ стараго друга; она сказала: «очень пріятно» и обратилась къ Ольгѣ Сергѣевнѣ.

Взошелъ молодой, довольно рыхлый студентъ, съ гривкой; Бахаревъ назвалъ его Розанову Сергѣемъ Алексѣевичемъ Богатыревымъ.

Молодой человѣкъ поклонился Розанову и, тряхнувъ гривкой, отошелъ грѣть у печки себѣ спину.

Старичокъ Богатыревъ пришелъ извѣстить, что обѣдъ поданъ, и пригласилъ Розанова остаться отобѣдать.

«Отчего же и не остаться?» подумалъ Розановъ и пошелъ со всѣми въ столовую. Ему очень хотѣлось поговорить наединѣ съ Лизой, но это ему не удалось.

За обѣдомъ все шли толки о квартирѣ, или держался другой общій разговоръ о предметахъ, весьма интересныхъ.

Розановъ сидѣлъ между Бахаревымъ и Сержемъ Богатыревымъ.

— Ты давно, Сержъ, вернулся съ лекцій? — спросила между разговоромъ Варвара Ивановна.

— Я не былъ сегодня на лекціяхъ, — отвѣчалъ юноша, съ прежнимъ строгимъ достоинствомъ.

— Развѣ нынче не было лекцій?

— Нѣтъ были, да мнѣ было некогда.

— Чѣмъ же ты былъ занятъ?—допрашивала ласковымъ голосомъ мать.

Старикъ только молча смотрѣлъ на сына.

— Я былъ у маркиза.

— Что онъ боленъ?

— Нѣтъ-съ. Дѣло было.

— Охъ, Сержъ, что тебѣ до этихъ сходокъ? Положимъ, маркизъ очень милый молодой человѣкъ, но что̀ это за сборища у васъ заводятся?

— Нельзя же, maman, не собраться, когда дѣло касается бѣдныхъ товарищей.

— Полно, пожалуйста: ты меня этимъ тревожишь. Я не знаю, право, какъ на это смотритъ маркиза, зачѣмъ она все это позволяетъ сыну. На нее самое, я думаю, во сто глазъ смотрятъ, а она еще позволяетъ сыну.

Молодой Богатыревъ презрительно улыбнулся и сказалъ:

— Маркиза не такая женщина, чтобы стала растлѣвать натуру сына и учить его эгоизму.

— Все эти вздоры вы выдумываете. О бѣдныхъ студентахъ заботятся правительство и общество, даютъ въ ихъ пользу вечера, концерты, а это все ваши пустыя выдумки.

Студентъ улыбнулся еще презрительнѣе и проговорилъ:

— Конечно, что же можетъ быть пустѣе, какъ выдумка жить круговою порукою и стоять другъ за друга.

— Другъ о другѣ, а Богъ обо всѣхъ, — произнесъ Алексѣй Сергѣевичъ и, не замѣтивъ брошеннаго на него женою холоднаго взгляда, продолжалъ спокойно кушать.

Послѣ обѣда Бахаревъ отправился, по деревенской привычкѣ, всхрапнуть; старикъ Богатыревъ, извинившись, также

ушелъ подремать; Ольга Сергѣевна съ Варварой Ивановной ушли въ ея будуаръ, а Софи сѣла за фортепіано. Она играла, что у насъ называется, «*съ чувствомъ*», т. е. значитъ играла не про господъ, а про свой расходъ, играла какъ играютъ дѣвицы, которымъ не дано ни музыкальной руки, ни музыкальнаго уха, и игра которыхъ отличается *чувствомъ* оскорбительной дерзости перевирать великія творенія, не видя ни въ пасторальной симфоніи Бетховена, ни въ великой ораторіи Гайдна ничего, кромѣ значковъ, написанныхъ на чистой бумагѣ.

Лиза зажгла папироску и сѣла у окна; Розановъ тотчасъ же помѣстился возлѣ нея, а Сержъ Богатыревъ, молча, ходилъ по залѣ.

— Ну, и какъ же, Дмитрій Петровичъ?—начала Лиза:— прежде всего спокойны ли вы?

— Да, мнѣ хорошо, Лизавета Егоровна.

— Тамъ тоже все хорошо: вамъ тревожиться нечего. Теперь скажите, какъ называется ваше мѣсто и какіе у васъ виды на будущее?

— Я служу ординаторомъ, а виды какіе же? Надо служить.

— Да, надо служить. А диссертація?.. Пишете?

— Началъ,—отвѣчалъ сквозь зубы докторъ.

— Вотъ и прекрасно.

— Кузина!—произнесъ, остановясь передъ ними, Сержъ Богатыревъ.—А вѣдь дѣло рѣшили.

— Рѣшили?

— Да.

— Ну, и что же?

— Будетъ все.

— Будетъ! Это очень похвально. Вы знаете, Дмитрій Петровичъ, что̀ затѣвается въ университетѣ? — спросила Лиза, обратясь къ Розанову.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ, взглянувъ на Богатырева.—Я ничего особеннаго не слышалъ.

— Они всѣ хотятъ идти на кладбище и отслужить тамъ панихиду.

— По комъ?.. Ахъ, да! Это-то я слышалъ какъ-то. Что-жъ, дѣйствительно прекрасное дѣло.

— Въ этомъ есть огромный смыслъ,—торжественно произнесъ студентъ.

— Конечно, есть свой смыслъ. Въ странѣ, гдѣ не умѣютъ цѣнить и помнить заслугъ, никогда не мѣшаетъ напоминать о нихъ.

Студентъ улыбнулся.

— Нѣтъ-съ, это имѣетъ несравненно бо̀льшее значеніе, чѣмъ вы думаете,—проговорилъ онъ.

— Панихида?

— По комъ панихида-съ? Все это отъ того зависитъ — *по комъ?*

— Ну, да, я это понимаю; только что-жъ—эта панихида будетъ по самомъ мирномъ и честномъ гражданинѣ.

— А то-то и дѣло, что у насъ этого и нѐ дозволятъ.

— Ну, я думаю, вамъ никто мѣшать не станетъ.

— Почемъ знать? — пожавъ плечами, произнесъ студентъ:—Мы готовы на все. Другіе могутъ поступать какъ хотятъ, а мы отъ своего не отступимъ: мы это сегодня рѣшили. Я, маркизъ и еще двое, мы пойдемъ и отслужимъ.

— Да и всѣ пойдутъ.

— Какъ кому угодно.

— Пойдемте и мы, Лизавета Егоровна.

— Я непремѣнно пойду,—отвѣтила Лиза.

— Не совѣтую, кузина.

— Да чего же вы опасаетесь за вашу кузину?

— Кто знаетъ, что̀ можетъ случиться?

— Помилуйте! Я маркиза хорошо знаю. Если не ошибаюсь, вы говорите о маркизѣ де-Бераль?

— Да.

— О, пойдемте Лизавета Егоровна!

— Да, я непремѣнно пойду.

— А теперь мнѣ пора; мнѣ еще нужно обойти свою палату.

Розановъ сталъ прощаться. Онъ поклонился Варварѣ

Ивановнѣ и пожалъ руки Ольгѣ Сергѣевнѣ, Софи, Лизѣ и Сержу Богатыреву.

Стариковъ здѣсь не было.

— Вы хорошо знакомы съ маркизой? — спросила его Лиза.

— Да.

— Настолько, что можете познакомить съ нею другое лицо?

— Да.

— Я о ней ужъ очень много слышу интереснаго.

— Хотите, я ей скажу?

— Да, я ужъ вамъ говорилъ, кузина,—вмѣшался Сержъ,— что это и я могу сдѣлать.

— Какъ ты берешься, Сержъ! — замѣтила Богатырева.

— Отчего же не браться-съ?

— Она не чванлива,—примирительно сказалъ докторъ.

— Да, можетъ-быть; но у ней столько серьезныхъ занятій, что я не думаю, чтобъ ей доставало времени на мимолетныя знакомства. Да и Лизанька ничего не найдетъ въ ней для своихъ лѣтъ.

— Отчего же? — опять примирительно произнесъ Розановъ.

— Нѣтъ, оставьте, Дмитрій Петровичъ, не надо, — спокойно отвѣтила Лиза, не глядя на тетку, и Розановъ ушелъ, давши Бахаревымъ слово навѣщать ихъ часто.

Только что Розановъ зашелъ за уголъ, какъ носъ къ носу встрѣтился съ Бѣлоярцевымъ.

— Куда это вы?—спрашиваетъ его.

— Къ вамъ, въ морельницу.

— Что у васъ тамъ за дѣло?

— Барышню знакомую навѣстить.

— Какую барышню?

— Есть тамъ, въ седьмой палатѣ, весьма пріятная барышня.

— А, въ седьмой! Навѣстите, навѣстите. Сзади бросишь, впереди найдешь.

— Безпремѣнно такъ,—отвѣчалъ, смѣясь, Бѣлоярцевъ.

Они взяли извозчика и поѣхали вмѣстѣ. Было довольно холодно, и Бѣлоярцевъ высоко поднялъ воротникъ своего барашковаго пальто.

— Что вы Райнера давно не видали? — спросилъ Розановъ.

— Давно. Онъ, сказывалъ, совсѣмъ собрался было въ Петербургъ и вдругъ опять вчера остался.

— Вчера?

— Да, вчера Персіянцевъ видѣлъ его у маркизы.

— Докторъ! докторъ!—позвалъ женскій голосъ.

— Вотъ она на поминѣ-то легка, — произнесъ Бѣлоярцевъ, еще глубже вдвигая въ воротникъ свой подбородокъ.

Розановъ всталъ и подошелъ къ маркизѣ, которая остановила своего кучера.

— Мой милый!—начала она торопливѣе обыкновеннаго, по-французски:—заходите ко мнѣ послѣзавтра, непремѣнно. Въ четвергъ на той недѣлѣ чтобъ всѣ собрались на кладбищѣ. Всѣ будутъ, Оничка и всѣ, всѣ. Пусть ихъ лопаются. Только держите это въ секретѣ.

— Да что же здѣсь за секретъ, маркиза?

— Гггааа! Какъ можно? Могутъ предупредить и выйдетъ фіаско.

— Во второй разъ слышу и никакъ въ толкъ не возьму. Что-жъ тутъ такого? Вѣдь рѣчей неудобныхъ, конечно, никто не скажетъ.

— О, конечно! Зачѣмъ рисковать попусту; но, понимаете, вѣдь это протестъ. Вѣдь это, милый, протестъ!

— Не понимаю.

— Гггааа! Приходите, я вамъ многое сообщу.

— Что она вамъ разсказывала?—спросилъ Бѣлоярцевъ.

— Чортъ знаетъ, что это такое. Вы не слыхали ни о какой панихидѣ?

— Слышалъ.

— Ну, вотъ, въ секретѣ держать, говоритъ, дѣло важное.

Бѣлоярцевъ, вмѣсто отвѣта, проговорилъ:

Черная галка,
Чистая полянка,
Ты же, Марусенька,
Черноброва,
Врать всегда здорова.

— Что вы думаете, это неправда?

— Кто же ихъ знаетъ.

— Да какое-жъ это можетъ имѣть политическое-то значеніе?

— Ничего я въ политикѣ не понимаю.

— Опять увертываться.

— Чѣмъ? Надоѣдаете вы мнѣ, право, господа, вашими преслѣдованіями. Я просто, со всею откровенностью говорю, что я художникъ и никакихъ этихъ ни жирондистовъ, ни соціалистовъ не знаю и знать не хочу. Не мое это дѣло. Вотъ барышни,—добавилъ онъ шутя,—это наше дѣло.

— Экая натура счастливая! сказалъ Розановъ, прощаясь съ Бѣлоярцевымъ у дверей своей палаты.

— Что, вы слышали новость-то? спросилъ Розановъ, зайдя по окончаніи визитаціи къ Лобачевскому.

Лобачевскій въ своей комнатѣ писалъ лежа на полу. Отъ безпрерывной работы онъ давно не могъ писать сидя и уставалъ стоять.

— Слышалъ,—отвѣчалъ онъ. пожавъ плечами и бросивъ препаратъ, который держалъ лѣвой рукою.

— Ну, и какого вы мнѣнія?

— Мнѣнія скорбнаго, Розановъ.

— А я думаю, что это вздоръ.

— Вздоръ! Нѣтъ, покорно васъ благодарю. Когда гибнетъ дѣло, такъ хорошо начатое, такъ это не вздоръ. По крайней мѣрѣ для меня это не вздоръ. Я положительно увѣренъ, что это какой-нибудь негодяй нарочно подстраиваетъ. Помилуйте, — продолжалъ онъ, вставая, — сегодня еще передъ утромъ зашелъ, какъ нарочно, и всѣ три были

здоровехоньки, а теперь вдругъ приходитъ и говоритъ: «пуздыхалы воны».

— Да вы о чемъ это говорите? — спросилъ удивленный Розановъ.

— А вы о чемъ?

Розановъ разсказывалъ свои разговоры съ маркизою и молодымъ Богатыревымъ.

Лобачевскій плюнулъ и разсмѣялся.

— Что?

— Слышалъ я это; ну, да что намъ за дѣло до этихъ глупостей.

— А вы о чемъ же говорили?

— Кролицы мои издохли.

Теперь Розановъ плюнулъ, и оба расхохотались.

— Экой вздоръ какой вышелъ,—произнесъ Розановъ.

— Да еще бы вы съ такимъ вздоромъ пріѣхали. Вѣдь охота же, право, вамъ, Розановъ, Богъ знаетъ съ кѣмъ якшаться. Дѣло бы дѣлали. Я вотъ васъ запрячь хочу.

— Ну-те?

— Да вотъ. Давайте людей учить.

— Чему учить?

— А вотъ чему: я вѣдь отъ своего не отстану. Если не умру еще пятнадцать лѣтъ, такъ въ Россіи хоть три женщины будутъ знать медицину. А вы мнѣ помогите начать. Я сегодня ужъ началъ слегка съ Бекомъ. Онъ намъ позволитъ по воскресеньямъ читать въ секціонной. Поѣду къ Пармену Семенову, къ Лучкову, къ Тришину, уговорю пускать къ намъ ребятъ; вы человѣкъ народный, разсказывайте имъ попонятнѣе гигіеническіе законы, говорите о лѣченіи шарлатановъ и все такое. Вы это отлично можете дѣлать; а я дѣвушекъ ужъ найду такихъ, что захотятъ дальше учиться.

— Пожалуй, только что изъ этого выйдетъ?

— Ужъ вреда не выйдетъ, а у меня изъ двадцати хотя пять, хоть двѣ найдутся способныя идти далѣе. Терпѣніе ужъ необходимое.

— А чѣмъ онѣ жить будутъ?

— Найдемъ, чѣмъ жить.

— Не лучше ли бы, ужъ если такъ, то примкнуть къ воскреснымъ школамъ,—сказалъ Розановъ.

— Къ воскреснымъ школамъ! Нѣтъ, намъ надо дѣло дѣлать, а онѣ частенько тамъ... Нѣтъ, мы сами по себѣ. Вы только идите со мною къ Беку, чтобъ не заподозрилъ, что это я одинъ варганю. А современемъ я вамъ дамъ за то каѳедру судебной медицины въ моей академіи. Только нѣтъ,—продолжалъ онъ, махнувъ весело рукою, — вы неисправимы. Бѣгучій господинъ. Долго не посидите на одномъ мѣстѣ. Провинція да идеализмъ загубили васъ.

— Меня идеализмъ загубилъ? — смѣясь переспросилъ Розановъ.

— Да какъ же? Водитесь съ какими-то химеристами, ко всему этому химерному провинціально довѣрчивы, все вѣдь это что? Провинціальная довѣрчивость сама собою, а прежде всего идеализмъ.

— Ну, это первое такое обвиненіе слышу, что я идеалистъ.

— Пламеннѣйшій!

— Нельзя же, мой милый Лобачевскій, всѣмъ быть только спеціалистами.

— Зачѣмъ? и не надо; только зачѣмъ попусту разбрасываться.

— А можетъ-быть человѣчеству полезнѣе будетъ, чтобъ мы были помногостороннѣе, такъ сказать, *увлекались* бы немножко.

— Ну, какъ же!

Въ это же время въ домѣ Богатырева на антресоляхъ горѣла свѣчечка, за которою Лиза строчила шестую записочку.

Пять мелко изорванныхъ листковъ почтовой бумаги свидѣтельствовали, что записка, составляемая Лизою, выходила изъ ряда ея обычной корреспонденціи.

Наконецъ записка была кончена, надписана, запечатана и положена въ карманъ платья.

На другой день казачокъ Гриша отдалъ ее на городскую почту, а еще черезъ день онъ подалъ Лизѣ элегантный конвертикъ, съ штемпелемъ московской городской почты.

Вотъ что было написано въ полученномъ Лизою письмѣ:

«Вы меня плѣнили прелестью вашего милаго письма и я очень благодарна вамъ за желаніе со мною познакомиться. Никакія занятія не должны мѣшать сходиться сочувствующимъ людямъ,— особенно въ наше живое время. Я встаю въ десять часовъ и пью чай въ постели. Такъ я принимаю иногда нѣкоторыхъ друзей, между которыми одна женщина, съ которою я васъ познакомлю, есть неотступная тѣнь моя. Мы съ ней дружны скоро двадцать лѣтъ и вмѣстѣ жили вездѣ, и за границею, и въ Ниццѣ, и въ Россіи. Потомъ я беру холодную ванну въ 8 R. и только въ это время никого изъ постороннихъ не принимаю, а затѣмъ ѣмъ мой завтракъ и работаю. Въ часъ я ѣду кататься на своей Люси: такъ называется моя лошадь. Къ тремъ бываю дома. Въ это время всего лучше меня видѣть. Послѣ обѣда я сижу у себя съ моими друзьями; а вечеромъ приходитъ разный народъ, но преимущественно свои, хорошіе знакомые и мои друзья. Въ двѣнадцать часовъ я ложусь спать, а иногда засиживаемся и до бѣлаго утра. Такъ вы можете сами выбрать время, когда мы свидимся, я всегда къ вашимъ услугамъ».

«Кс. де-Бараль».

— Отъ кого это, Лизочка, ты получила письмо?—спросила Ольга Сергѣевна.

— Отъ маркизы,—спокойно отвѣчала Лиза.

— Что-жъ она вамъ пишетъ? — освѣдомилась Варвара Ивановна.

— Она зоветъ меня къ себѣ; я хочу съ ней познакомиться.

Лиза купила себѣ дешевой цѣной перваго врага въ Москвѣ, въ лицѣ своей тетушки Варвары Ивановны.

Розановъ былъ у маркизы на минуточку и засталъ ее въ страшной агитаціи. Она сидѣла калачикомъ на оттоманкѣ, крутила полосочку пахитосной соломинки и вся дергалась, какъ въ родимцѣ. Передъ нею, молча, сидѣлъ Персіянцевъ.

Она ни о чемъ не могла говорить складно и все стояла на панихидѣ.

— Гдѣ Орестъ Григорьевичъ?—спросилъ ее Розановъ.

— Что?

Розановъ повторилъ вопросъ.

— Гггааа! — воскликнула маркиза: — Оничка тамъ. Онъ часъ одинъ спалъ во всю ночь и не завтракалъ.

— Что-жъ такъ?

— Нельзя же, мой милый: взялись, такъ ужъ надо сдѣлать.

— Да что тамъ такъ много хлопотъ?

— Гггааа! Какъ же? Цвѣты будутъ и все.

Персіянцевъ поднялся и, вынувъ изъ кармана коротенькую германскую трубочку и бумажку съ кнастеромъ, пошелъ въ залу.

Розановъ смотрѣлъ на маркизу. Она сидѣла молча и судорожно щипала соломинку, на глазахъ у нея были слезы, и она старалась сморгнуть ихъ, глядя въ сторону.

Доктору стало жаль ее.

— Чего вы такъ безпокоитесь? — сказалъ онъ успокоительно.

— За Оничку страшно мнѣ,—отвѣчала маркиза голосомъ, въ которомъ слышна была наша простоволосая русская мать, питательница, безучастная ко всякой политикѣ.

— Да успокойтесь, ему ничто не угрожаетъ.

— Гггааа! какъ вы это говорите, мой милый докторъ.

— Вѣдь это не заговоръ, ничто, а самая простая вещь, панихида по почтенномъ человѣкѣ и только.

— Да, да, только эти монтаньяры со Вшивой горки чтобъ не надѣлали какихъ-нибудь гадостей.

— Они, я думаю, совсѣмъ къ этому равнодушны.

— Да, помилуй Богъ! Надо все сдѣлать тихо, смирно. Одно слово глупое, одинъ жестъ и сейчасъ придерутся. Вы, мой милый, идите возлѣ него, пожалуйста; пожалуйста, будьте съ нимъ, — упрашивала маркиза, какъ будто сыну ея угрожала опасность, при которой нужна была скорая медицинская помощь.

«Экъ натолковала себѣ!»—подумалъ Розановъ, прощаясь съ маркизою, которую все болѣе оставляла храбрость.

— Черезъ два дня увидимся? — спросила она, отирая глаза.

— Увидимся, маркиза.

— Что будетъ, черезъ эти два дня... Боже мой!.. А я васъ познакомлю съ одной замѣчательной дѣвушкой. Въ ней виденъ положительный талантъ и чувство,—добавила маркиза, вставая и впадая въ свою обычную колею.

— Кто это такая?

— Весьма замѣчательная дѣвушка. Я теперь о ней еще не хочу говорить. Мнѣ нужно прежде хорошенько поэкзаменовать ее, и если она стоитъ, то мы должны ею заняться.

Розановъ чуть было не заикнулся о Лизѣ, но ничего не сказалъ и уѣхалъ, думая: «Можетъ-быть и къ лучшему, что Лизавета Егоровна отказалась отъ своего намѣренія. Кто знаетъ, что выйдетъ, если онѣ познакомятся?»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Разворошенный муравейникъ.

Предсказанія Розанова сбылись вполнѣ: никто не помѣшалъ панихидѣ, тревожившей маркизу. Радость на Чистыхъ-Прудахъ была большая; но въ этой радости было что-то еще болѣе странное, чѣмъ въ томъ непонятномъ унынiи, въ которое здѣсь приходили въ ожиданiи этого торжественнаго обстоятельства. Всѣ какъ-то неимовѣрно высоко задрали носы и подняли головы. Точно была одержана блистательнѣйшая побѣда и побѣдители праздновали свой тріумфъ,

влача за своими колесницами надменныхъ вождей вражьяго стана. Маркиза совсѣмъ ужъ, какъ говорятъ въ Москвѣ, даже въ мысляхъ разстроилась: сидитъ да прядетъ между пальцевъ обрывочки пахитосокъ и вся издергалась, словно окунь на удочкѣ. Что ни вечеръ,—да что вечеръ!—что ни часъ, то у нея экстраординарное собраніе. Madame Роланъ уже совсѣмъ позабыта. Страсти славянской натуры увлекли маркизу. Собственно чему она радовалась—самъ чортъ не зналъ этого. У народа есть пословица: «Радъ зайка, что желѣзце нашелъ». Невѣдомо, на что̀ было зайкѣ это желѣзце, точно такъ, какъ невѣдомо, что̀ приводило теперь въ высокоторжественное настроеніе маркизу. Было дѣло совсѣмъ простое и прошло оно совсѣмъ попросту, никѣмъ не отмѣченное ни въ одной лѣтописи, а маркиза всклохталась, какъ строившаяся пчелиная матка.

— Слышали вы? — спрашивала она, встрѣчая Розанова.

— Я самъ былъ, — отвѣчалъ Розановъ, догадавшись о чемъ идетъ дѣло.

— Гггааа! это ужасно! Оничка шелъ и всѣ... Пусть лопаются.

«Фу ты, дьяволъ возьми, что это такое!» — думалъ Розановъ,—«изъ-за чего это у нея сыръ-боръ горитъ?»

— Ужасно, — разсказывала маркиза другимъ: — народъ идетъ, и Оничка идетъ, и все это идетъ, идетъ...

«Экъ, чортъ возьми, фантазируетъ»,—думали другіе.

— Теперь ужъ не удержать, — радостно смѣясь, замѣчала маркиза:—общество краснѣетъ.

Нѣкоторые, точно, краснѣли. Въ числѣ краснѣющихъ былъ Розановъ, Райнеръ и Рациборскій.

Въ тотъ вечеръ, когда происходилъ этотъ разговоръ, было и еще одно существо, которое было бы очень способно покраснѣть отъ здѣшнихъ ораторствъ, но оно здѣсь было еще ново и не успѣло осмотрѣться.

Маркиза возвѣщала объ этомъ существѣ необыкновенно торжественно.

— Какую я, батюшка, дѣвочку пріобрѣла!—говорила она

Розанову, цѣлуя кончики своихъ пальцевъ,—матеріялъ. Мы за нее возьмемся.

— Какую я, батюшка, дѣвушку пріобрѣла!—говорила она Рациборскому, цѣлуя кончики своихъ пальцевъ,—матеріялъ. Мы за нее возьмемся.

То же самое она сказала и Бычкову, и Бѣлоярцеву, и Брюхачеву.

Бѣлоярцевъ сейчасъ же успки по губкѣ расправилъ и ножки засучилъ, какъ зеленый кузнечикъ: «мы, дескать, насчетъ дѣвочки всегда какъ должно; потому женскій полъ наипаче передъ всѣмъ принадлежитъ свободному художеству».

Этимъ временемъ въ гостиную изъ заднихъ комнатъ вошли три дѣвушки. Одна изъ нихъ была Рогнѣда Романовна, другая—дочь маркизы, а третья—Лиза.

Лиза-то и была тотъ матеріалъ, о которомъ говорилось.

Пренепріятно было маркизѣ, что Розановъ оказался старымъ знакомымъ Лизы.

Она о немъ ужъ слишкомъ много ей наговорила.

— Матеріялъ,—говорила она:—не глупъ, связи имѣетъ и практиченъ! Мы за него возьмемся.

— Кто же это такой?—пытала Лиза.

— Увидите, мое дитя,—отвѣчала таинственно маркиза.

А тутъ вышло, что и глядѣть имъ другъ на друга нечего.

Другимъ Лиза не понравилась. Брюхачевъ сказалъ о ней, что это сверчокъ, а Бѣлоярцевъ буркнулъ: «карандашъ».

Такъ она въ этотъ вечеръ и звалась «карандашомъ».

Лизу теребили нарасхватъ и не давали Розанову сказать съ нею ни одного слова.

Розановъ только зналъ, что Лиза попала сюда «сама», но какъ это она сама сюда попала—онъ не могъ добраться.

Отъ маркизы честная компанія зашла въ Барсовъ трактиръ и, угощаясь пивомъ и прочими назидательностями, слушала Бѣлоярцевскія предположенія насчетъ «карандаша» въ натурѣ.

Райнера здѣсь не было, а Розановъ могъ все слушать,

и его способность слушать *все* насчетъ Лизы черезъ нѣсколько страницъ, можетъ-быть, и объяснится.

По привычкѣ возиться въ грязи и тинѣ, Розановъ не замѣчалъ нѣкоторой особенной теплоты въ участи Лизы и, не будучи самъ циникомъ, безъ особаго возмущенія могъ слушать о ней такіе разговоры, которыхъ Лиза не могла слышать на губернаторскомъ балѣ о Женни.

То прекрасное качество, которое благовоспитанные люди называютъ «терпимостью», въ нѣкоторыхъ случаяхъ было усвоено Розановымъ въ весьма достаточномъ количествѣ. Онъ не вытерпѣлъ бы, если бы Лизу злословили, ну, а цинически разбирать женщину.—Это что же? Это не вредитъ. Остановить—въ другомъ мѣстѣ заговорятъ еще хуже.

Прошло нѣкоторое время. Бахаревы переѣхали на собственную квартиру; Лиза еще побывала раза три у маркизы; докторъ досконально разузналъ, какъ совершилось это знакомство, и тоже навѣдывался.

Побѣдный духъ маркизы все еще торжествовалъ, но торжество это начинало пріѣдаться.

Съ неимовѣрною быстротою свѣдѣнія о городскихъ со студентами событіяхъ облетѣли Москву, и Розановъ съ яростнѣйшимъ негодованіемъ бросился къ маркизѣ.

Онъ весь дрожалъ отъ безсильной злобы.

Маркиза сидѣла на стулѣ въ передней и вертѣла пахитосную соломинку. Передъ нею стоялъ Брюхачевъ и Мареичка. Брюхачевъ доказывалъ, что студенты поступаютъ глупо, а маркиза слушала: она никакъ не могла опредѣлить, какую роль въ подобномъ дѣлѣ приняла бы madame Роланъ.

Розановъ рыкнулъ на Брюхачева и сказалъ:

— Все это вздоръ; надо стоять тамъ, гдѣ людей бьютъ, а не ораторствовать.

Это было въ четвертомъ часу пополудни.

Лобачевскій посмѣялся надъ подбитымъ носомъ Розанова и сказалъ:

— Такъ вамъ и слѣдовало.

— За что же это?—спросилъ Розановъ.

— Такъ, чтобъ не болтались попусту.

Розановъ немножко разсердился и пошелъ въ свою комнату.

— Я у васъ одну барышню велѣлъ дегтемъ помазать,— крикнулъ вслѣдъ ему Лобачевскій.

— Какую это?

— Тамъ увидите,—на пятой койкѣ лежитъ.

— А вы были въ моей палатѣ?

— Надобно-жъ было кому-нибудь посмотрѣть на больныхъ,—отвѣчалъ Лобачевскій.

Тѣмъ этотъ день и покончился, а черезъ три дня нашихъ московскихъ знакомыхъ ужъ и узнать нельзя было. Только одно усиленное стараніе Лобачевскаго работать по больницѣ за себя и Розанова избавляло послѣдняго отъ дурныхъ послѣдствій его крайней неглижировки службой. Онъ исчезалъ по цѣлымъ суткамъ и пропадалъ безъ вѣсти. Квартира Арапова сдѣлалась мѣстомъ сходокъ всѣхъ нашихъ знакомыхъ. Тамъ кипѣла дѣятельность. По другимъ мѣстамъ тоже часто бывали собранія; у маркизы были «эписпастики» — какъ Араповъ называлъ собранія, продолжавшіяся у ней.

На этихъ собраніяхъ бывали: Розановъ, Араповъ, Райнеръ, Слободзинскій, Рациборскій и многіе другіе. Теперь маркиза уже не начинала разговора съ «il est mort», или «толпа идетъ, и онъ идетъ». Она теперь говорила преимущественно о жандармахъ, постоянно окружающихъ ея домъ.

Романовны также каркали объ опасномъ положеніи маркизы, но отставали въ сторону; Брюхачевъ отзывался недосугами; Бычковъ велъ какое-то особенное дѣло и не показывался; Сахаровъ ничего не дѣлалъ; Бѣлоярцевъ и Завулоновъ исчезли съ горизонта.

Лиза слушала, жадно слушала и забывала весь міръ. Маркиза росла въ ея глазахъ, и жандармы, которыхъ ждала маркиза, не тронулись бы до нея, иначе какъ черезъ Лизу.

Персіянцева тоже нѣкоторое время не было видно.

Наконецъ, по городской почтѣ въ домѣ маркизы получилась пустая и ничтожная литографированная записочка, относящаяся къ происходящимъ обстоятельствамъ.

Маркиза взбѣленилась; показывала ее всѣмъ по секрету и всѣхъ просила молчать.

Рѣшено было, что въ Москвѣ уже сложилась оппозиціонная сила.

Все было болѣзненно встревожено этою запискою; каждый звонокъ заставлялъ маркизу блѣднѣть и вздрагивать.

Только Араповъ, Райнеръ и Розановъ оставались спокойными.

Выходя отъ марказы, Араповъ много смѣялся, Райнеръ упрямо молчалъ, а Розановъ какъ-то словно разслабѣлъ, раскисъ и одинъ уѣхалъ въ свою больницу.

Съ тѣхъ поръ Розановъ, по выраженію Арапова, началъ отлынивать, и Араповъ сталъ поговаривать, что Розановъ тоже «швахъ».

Лобачевскій только сказалъ:

— Это хорошо, что вы, Розановъ, возвратились изъ бѣговъ: а то Бекъ ужъ сильно сталъ на васъ коситься.

Такъ прошло недѣли съ двѣ. Розановъ только и отлучался, что къ Бахаревымъ. Онъ ввелъ къ нимъ въ это время Райнера и изрѣдка попадалъ на студентскія сходки, къ которымъ невѣдомо какимъ образомъ примыкали весьма различные люди.

Лиза то-и-дѣло была у маркизы, даже во время ваннъ, при чемъ въ прежнія времена обыкновенно вовсе не было допускаемо ничье присутствіе.

Между Розановымъ и Лизою не послѣдовало ни одного сердечнаго разговора; все поглотила изъ ничего возникшая суматоха, оставившая вдалекѣ за собою университетское дѣло, съ котораго все это распочалось.

Общество было неспокойно; въ городѣ шли разные слухи.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Que femme veut, Dieu le veut.

Варвара Ивановна Богатырева, возвратясь одинъ разъ домой въ первомъ часу ночи, была до крайности изумлена кучею навѣшеннаго въ ея передней платья и длинною шеренгою различныхъ калошъ.

Прежде чѣмъ лакей успѣлъ объяснить ей что̀ это значитъ, слухъ ея былъ пораженъ многоголоснымъ крикомъ изъ комнаты сына.

— Кто у молодого барина?—спросила она человѣка.

— Студенты-съ.

Варвара Ивановна бросилась въ залу.

— Гдѣ Алексѣй Сергѣевичъ?—спросила Варвара Ивановна, остановясь посреди комнаты, въ чрезвычайной ажитаціи.

— Они тамъ-съ.

— Гдѣ?

— Съ господами. Тамъ двери отъ молодого барина въ кабинетъ открыли.

— Боже мой!—простонала Варвара Ивановна и опустилась на стулъ.

— Чего стоишь? Позови ко мнѣ барина!—крикнула она черезъ нѣсколько минутъ человѣку.

— Ну, не глупецъ ли вы? Не врагъ ли вы семейному благополучію? — начала она, какъ только Алексѣй Сергѣевичъ показался на порогѣ комнаты: — затворите, по крайней мѣрѣ, двери.

Богатыревъ затворилъ двери въ переднюю.

— Что это такое?—спросила его съ грознымъ придыханіемъ Варвара Ивановна.

— Что?—робко переспросилъ Богатыревъ.

— Сходка? Да? Отвѣчайте же: сходка у нихъ, да? Что жъ вы онѣмѣли, что ли?

— Да никакой нѣтъ сходки. Ничего тамъ законопротивнаго нѣтъ. Такъ сошлись у Сережи, и больше ничего. Я самъ тамъ былъ все время.

— Самъ былъ все время! О, Создатель! Онъ самъ тамъ былъ все время! И еще признается! Колпакъ вы, батюшка, колпакъ. Вотъ какъ сына упекутъ, а васъ пошлютъ съ женою гусей стеречь въ Рязанскую губернію, такъ вы и узнаете, какъ «я самъ тамъ былъ».

— Но ужъ нѣтъ, извините меня, Фалилей Трифоновичъ! начала она съ декламаціей.—Васъ пусть посылаютъ куда угодно, а ужъ себя съ сыномъ я спасу. Нѣтъ, извините. Сами можете отправляться куда вамъ угодно, а я нѣтъ. Извините...

— Да чѣмъ же я виноватъ?—казанскою сиротою произнесъ Алексѣй Сергѣевичъ.

— Чѣмъ? И вы смѣете спрашивать чѣмъ? Двухъ молодыхъ людей только-что наказали, а вы потихоньку отъ жены учреждаете у себя сходки и еще смѣете спрашивать, чѣмъ вы виноваты.

— Да это не я, а Сергѣй. Я съ какой же стати... Это его знакомые.

— А! а! Вотъ вамъ и отецъ! Головою сына выдаю, молъ: извольте его вамъ, только меня, сѣдого дурака, не трогайте. Прекрасно! прекрасно! Вотъ отецъ такъ отецъ!

— Да что вы пугаете? Кого наказали и какая тутъ сходка?

— А о чемъ тамъ говорятъ? — спросила Варвара Ивановна съ придыханіемъ и указывая большимъ пальцемъ руки въ сторону, откуда долетали студентскіе голоса.

— Объ университетскихъ порядкахъ говорятъ.

— Какъ калоши ставить въ швейцарской, или что другое?

— Нѣтъ, о начальствѣ.

— Какъ его не слушаться?

— Нѣтъ, только о деньгахъ говорятъ.

— Ну да, то-то, чтобъ денегъ не платить?

— Да.

— Это оборвыши эти разсуждаютъ?

— Всѣ говорятъ.

— А вы слушали?

— Да, что же тутъ такого, право? Они разсуждаютъ резонно.

Варвара Ивановна отодвинулась отъ мужа одинъ шагъ назадъ, окинула его взоромъ неописаннаго презрѣнія и, плюнувъ ему въ самый носъ, шибко выбѣжала изъ залы.

Оставивъ въ залѣ совершенно потерявшагося мужа, madame Богатырева перебѣжала гостиную, вскочила въ свой будуаръ и, затворивъ за собою дверь, щелкнула два раза ключемъ.

Алексѣй Сергѣевичъ постоялъ въ залѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ давалъ отчетъ своей супругѣ, потомъ подошелъ къ зеркалу, приподнялъ съ подзеркальнаго столика свѣчу и, внимательно осмотрѣвъ свое лицо, тщательно вытеръ бѣлымъ платкомъ глаза и переносицу.

Затѣмъ онъ потихоньку подошелъ къ жениному будуару и взялся за ручку замка.

Дверь была заперта на-глухо.

— Варвара Ивановна!—произнесъ, откашлянувшись, Богатыревъ.

Отвѣта не было.

— Варинька!—повторилъ Алексѣй Сергѣевичъ.

— Что вамъ нужно здѣсь? — сердито крикнула изъ-за двери Варвара Ивановна.

— Я на минуточку.

— Нечего вамъ здѣсь дѣлать.

— Да я хочу только посовѣтоваться,—умолялъ Богатыревъ, поспѣшно прикладывая ухо къ створу дверей.

— Не о чемъ.

— Да что же дѣлать? Я не знаю, что дѣлать.

— Такъ я знаю, что нужно дѣлать,—отвѣтила Варвара Ивановна.

И Алексѣй Сергѣевичъ слышалъ, какъ она перешла изъ будуара въ спальню и затворила за собою другую дверь.

Въ это же время въ передней послышался топотъ и гомонъ.

Сходка расходилась.

Послѣдніе изъ комнаты Сержа Богатырева ушли Розановъ и Райнеръ. Для нихъ еще подали закусить, и они ушли ужъ въ третьемъ часу утра.

Сергѣй Богатыревъ самъ заперъ за ними дверь и, возвратясь, легъ спать.

Варвара Ивановна на другой день встала ранѣе обыкновеннаго. Она не позвала къ себѣ ни мужа, ни сына и страшно волновалась, безпрестанно посматривая на часы. Въ одиннадцать часовъ она велѣла закладывать для себя карету и къ двѣнадцати выѣхала изъ дома.

Глаза у Варвары Ивановны были сильно наплаканы и лицо немножко подергивалось, но дышало рѣшимостью и притомъ такою рѣшимостью, какая нисходитъ на лицо людей, изобрѣтшихъ геніальный путь къ своему спасенію и стремящихся осуществить его во что бы то ни стало.

Карета Варвары Ивановны остановилась сначала у одного большого дома неподалеку отъ университета.

Варвара Ивановна вошла въ круглый, строго-меблированный залъ и сказала свою фамилію дежурному чиновнику.

Черезъ двѣ минуты ее попросили въ кабинетъ.

Варвара Ивановна начала плачевную рѣчь, въ которой призывалось великодушное вмѣшательство начальства, упоминалось что-то объ обязанностяхъ старшихъ къ молодости, о высокомъ постѣ лица, съ которымъ шло объясненіе, и, наконецъ, объ общественномъ судѣ и слезахъ бѣдныхъ матерей.

— Но что же я могу сдѣлать, сударыня? Вашъ сынъ, слава Богу, еще даже ни въ чемъ не замѣшанъ, — возражалъ ей хозяинъ.

— Да, это правда; но онъ можетъ быть замѣшанъ; его могутъ увлечь.

— Удержите его.

— Я васъ прошу объ этомъ. Я васъ прошу защитить его.

— Да отъ чего же защитить? Помилуйте, я васъ увѣряю, его ни въ чемъ не подозрѣваютъ.

— Это все равно: онъ ходитъ... или можетъ ходить на сходки.

— Уговорите его, чтобъ не ходилъ.

— Развѣ они слушаютъ?

— Вы мать,— онъ васъ скорѣе всѣхъ послушается.

— Ахъ, развѣ они слушаютъ.

— Но что же я-то могу для васъ сдѣлать?

— Вы начальникъ.

— Да ужъ если матери не слушаютъ, то какъ же вы надѣетесь, чтобы начальника послушались.

— Запретите имъ собираться на сходки.

— Ихъ давно объ этомъ просили.

— Что просить? Запретите просто.

— Мы не можемъ ходить за ними въ каждый домъ. Москва велика,—они вездѣ собираются.

— Прекратить какъ-нибудь всѣ эти безпорядки.

— Только объ этомъ и заботимся; но это вовсе не такъ легко, какъ нѣкоторые думаютъ; нужно время, чтобы все пришло въ порядокъ.

— О, Боже мой! ну, выслать ихъ вонъ изъ города, ну, закрыть университетъ.

Хозяинъ пожалъ плечами и сказалъ:

— Сударыня, это отъ насъ не зависитъ и желательно, чтобы этого не случилось.

— Баба! я всегда говорила, что ты баба,—баба ты и есть,—подумала Варвара Ивановна, усѣвшись въ карету и велѣвъ ѣхать вверхъ по Тверской.

Въ другомъ официальномъ домѣ объясненія Богатыревой были неудачнѣе первыхъ. Здѣсь также успокоивали ее отъ всякихъ тревогъ за сына, но все-таки она опять выслушала такой же рѣшительный отказъ отъ всякаго вмѣшательства, способнаго оградить Сержа на случай всякихъ его увлеченій.

— Ну, наконецъ, арестуйте его, пока это все кончится!— воскликнула Богатырева, выведенная изъ всякаго терпѣнія спокойнымъ тономъ хозяина.

— Что такое?— переспросилъ тотъ, полагая, что ослышался.

— Арестуйте его, — повторила Богатырева: — я мать, я имѣю право на моего сына, и если вы не хотите сдѣлать ничего въ удовлетвореніе моей справедливой просьбы, то я мать, *сама мать*, прошу васъ арестуйте его, чтобъ онъ только ни во что не попался.

Хозяинъ посмотрѣлъ на Богатыреву и нетерпѣливо отвѣтилъ:

— Я вамъ уже имѣлъ честь доложить, что у насъ нѣтъ въ виду ни одного обстоятельства, обвиняющаго вашего сына въ поступкѣ, за который мы могли бы взять его подъ арестъ. Можетъ быть, вы желаете обвинить въ чемъ-нибудь, тогда, разумѣется, другое дѣло: мы къ вашимъ услугамъ. А безъ всякой вины у насъ людей не лишаютъ свободы.

— Нѣтъ, я не обвиняю, но я прошу васъ арестовать его, чтобъ впередъ чего не случилось... я прошу васъ...

— Извините, сударыня: у меня много дѣла. Я вамъ сказалъ, что людей, которыхъ ни въ чемъ не обвиняютъ, нельзя сажать подъ арестъ. Это, наконецъ, запрещено закономъ, а я внѣ закона не въ правѣ поступать. Впередъ мало ли кто что можетъ сдѣлать: не посажать же подъ арестъ всѣхъ. Повторяю вамъ, *это запрещено закономъ.*

— И это запрещено закономъ! И это запрещено закономъ!—воскликнула отчаянная мать.

Начальникъ, взглянувъ еще разъ на Богатыреву, удерживая улыбку, подтвердилъ:

— Да-съ, это запрещено закономъ,—а затѣмъ обратился къ другимъ просителямъ.

— Это запрещено закономъ! когда-жъ это было запрещено закономъ? Знаемъ мы васъ, законниковъ. Небось своего сына ты бы такъ упряталъ, что никто бы его и не нашелъ, а къ чужимъ такъ ты законы подбираешь, — ворчала Варвара Ивановна, возвращаясь домой съ самымъ растерзаннымъ и замирающимъ сердцемъ.

Но материнскій инстинктъ великъ и силенъ.

У поворота къ бульварамъ Варвара Ивановна велѣла

кучеру ѣхать назадъ, проѣхала Тверскую, потомъ взяла налѣво Софійской и, наконецъ, остановилась у маленькаго деревяннаго домика въ одномъ изъ переулковъ, прилегающихъ къ Лубянской площади.

Здѣсь жилъ частный стряпчій, завѣдывавшій дѣлами Богатыревыхъ.

На счастье Варвары Ивановны стряпчій былъ дома. Онъ выслушалъ ея разсказъ, предложилъ ей воды и затѣмъ разспросилъ, чего ей хочется.

— Удалить его хоть изъ Москвы, — отвѣчала Богатырева.

— Такъ пошлите его въ Рязанскую губернію.

— Да не ѣдетъ. Вѣдь не связаннаго же его отправить!

Стряпчій подумалъ съ минуту и потомъ отвѣтилъ:

— Мы это уладимъ.

Черезъ полчаса богатыревская карета остановилась въ одномъ изъ переулковъ Арбата. Изъ кареты сначала вышелъ стряпчій и вошелъ въ дверь, надъ которою была табличка, гласившая: «квартира надзирателя такого-то квартала».

Варвара Ивановна осталась въ каретѣ.

Спустя десять минутъ пришла и ея очередь вступить въ «квартиру надзирателя квартала».

Въ очень хорошо и со вкусомъ меблированной комнатѣ ее встрѣтилъ военный господинъ, съ нѣмецкимъ лицомъ и очень страшными усами.

Въ его фигурѣ и лицѣ было что-то весьма сложное, такъ сказать, нѣмецко-вахмистровски-полицейско-гусарское. Видно было, однако, что онъ уменъ, ловокъ, не разборчивъ на средства и съ извѣстной стороны хорошій знатокъ человѣческаго сердца.

Онъ внимательно усадилъ Варвару Ивановну въ кресло, терпѣливо выслушалъ ея отчаянный разсказъ, соболѣзновалъ ей и, наконецъ, сказалъ, что онъ тоже не въ правѣ для нея сдѣлать многаго, но, видя ея безпомощное положеніе, готовъ сдѣлать что можетъ.

— Бога ради,—умоляла его Варвара Ивановна.

— Будьте спокойны, сударыня.

— Я васъ прошу принять отъ меня эту бездѣлицу,— проговорила самымъ сладкимъ голосомъ Варвара Ивановна, подавая надзирателю сторублевую бумажку.

Надзиратель сказалъ:

— Напрасно безпокоитесь,—и спряталъ бумажку.

Богатырева встала и, разинтимничавшись, порицала нерѣшительное, по ея мнѣнію, начальство.

— Какое это начальство! — восклицала она: — удалить такое начальство нужно, а не давать ему людьми распоряжаться.

Надзиратель посмотрѣлъ на нее при этомъ приговорѣ и подумалъ:

— Вотъ тебя бы, дуру, такъ сейчасъ можно спрятать даже и безъ всякой благодарности,—но не сказалъ ни слова и спокойно проводилъ ее съ лѣстницы.

Варвара Ивановна уѣхала совершенно спокойная. Передъ вечеромъ она пожаловалась на головную боль; попросила сына быть дома и затѣмъ ушла къ себѣ въ спальню.

У Сережи были два товарища, сосѣдъ Бахарева — Ступинъ, и сынъ одесскаго купца, Іона Каценъ.

Молодые люди уснули и, кажется, весь домъ заснулъ до полуночи. Но это только такъ казалось, потому что Варвара Ивановна быстро припрыгнула на постели, когда въ четвертомъ часу ночи въ передней послышался смѣлый и громкій звонокъ.

Прежде чѣмъ сонный лакей успѣлъ повернуть ключъ въ двери, звонокъ раздался еще два раза и съ такою силою, что заводъ, на которомъ тянули проволоку, соединявшую звонокъ съ ручкою, имѣлъ бы полное право хлопотать о привилегіи.

Наконецъ дверь отворили и въ переднюю, брязгая шпорами и саблей, вошелъ квартальный нѣмецко-вахмистровски-полицейски-гусарскаго вида.

Лакей зажегъ свѣчу и побѣжалъ за шкафъ надѣть что нибудь сверхъ бѣлья.

Изъ-за разныхъ дверей высунулись и тотчасъ же спрятались назадъ разныя встревоженныя, мужскія и женскія, лица.

Квартальный стоялъ подпершись руки фертомъ и ожидалъ, пока лакей снова появится изъ-за шкафа.

Въ это время Варвара Ивановна успѣла накинуть на себя платье и, выйдя въ залу, сама пригласила надзирателя.

— Бога ради скорѣе все кончите,—говорила она ломая руки.

— Не безпокойтесь,—отвѣчалъ надзиратель: — я только боюсь одного.

— Ничего не бойтесь.

— Я боюсь, чтобы вашъ мужъ не надѣлалъ завтра тревоги.

— О, за это я вамъ даю мое слово.

— Что это такое? — тихо спросилъ входящій Алексѣй Сергѣевичъ.

— За Сергѣемъ, — вздохнувъ, отвѣчала Варвара Ивановна, не глядя на мужа.

— Сережу арестуютъ?

— Вѣдь видите; что же тутъ еще спрашивать?

— Наша печальная обязанность... началъ было надзиратель, но въ залу вошелъ Сергѣй Богатыревъ. Онъ дрожалъ какъ въ лихорадкѣ и старался держать себя какъ можно смѣлѣе.

— За мной? — спросилъ онъ

— За вами.

— Что-жъ, я готовъ.

У него стукнули зубы.

— Лошади внизу, — спокойно отвѣчалъ надзиратель: — но мнѣ для порядка нужно взглянуть на вашу комнату. Тамъ, конечно, ничего нѣтъ?

— Не знаю, можетъ быть, что нибудь и есть, — отвѣчалъ блѣдный студентъ.

— Сережа! Сережа! что ты говоришь? простонала съ упрекомъ Варвара Ивановна.

— Я вѣрю на слово вашей матушкѣ, съ достоинствомъ сказалъ надзиратель и прошу васъ собраться.

Варвара Ивановна взяла сына въ спальню, дала ему пачку ассигнацій, заплакала, долго-долго его крестила и, наконецъ, вывела въ залу. Здѣсь арестантъ простился еще разъ съ матерью, съ отцомъ, съ лакеемъ и дрожащими ногами вышелъ изъ дома.

Долго они ѣхали молча въ открытыхъ дрожкахъ надзирателя, наконецъ тому надоѣло это.

— Послушайте,—сказалъ онъ:—мнѣ жаль вашу мать: я самъ имѣю дѣтей. Если вы можете скрыться изъ Москвы, я пущу васъ и скажу, что не нашелъ васъ дома. А между тѣмъ все это кончится, и вы возвратитесь.

— Вы! вы меня пустите?

— Да, пущу. Со мной не было понятыхъ. Если вы дадите слово удирать отсюда подальше, я пущу васъ.

— О, клянусь вамъ.

— Не клянитесь, я и такъ повѣрю.

— Я уѣду въ Рязань.

— Ступайте.

— Только нѣтъ подорожной.

— Какой вздоръ. Были бы деньги. Возьмите вольныхъ у Рогожской.

Сергѣй Богатыревъ предложилъ надзирателю ассигнацію, отъ которой тотъ благодарно отказался, потомъ спрыгнулъ съ дрожекъ, взялъ перваго ваньку и запрыгалъ къ Рогожской.

— Что? — спросила Варвара Ивановна мужа, когда надзиратель вышелъ съ Сережей за двери.

— Пропадетъ теперь.

— Нё, теперь нюни: «пропадетъ», — передразнила Варвара Ивановна.

— Господа! — крикнула она студентамъ, войдя въ комнату сына: — вы видѣли, что было съ Сережей? За это я

вамъ обязана: вчера была сходка, а сегодня арестантъ. Прошу васъ оставить мой домъ.

Студенты только этого теперь и желали.

— А вы у меня ни во что не смѣйте мѣшаться,—пригрозила она стоявшему посреди залы мужу, — не смѣйте ничего разсказывать: Сержъ черезъ три дня будетъ въ Богатыревкѣ.

— Ка-а-къ?

— Т-а-а-къ, какъ вы не знаете, — проговорила Варвара Ивановна, отходя въ свою комнату.

И Алексѣй Сергѣевичъ до самаго разсвѣта простоялъ въ залѣ.

Обстоятельства совершенно смутили его.

Вечеромъ въ этотъ же день были три сходки, на которыхъ толковали о внезапномъ арестѣ Сергѣя Богатырева и всячески допытывались, кто бы могъ донесть о богатыревской сходкѣ.

— Изъ нашихъ никто; за это можно ручаться головою!— кричали нѣсколько молодыхъ голосовъ.

— Такъ кто же? Кто? нужно знать доносчика.

Кто-то громче другихъ произнесъ имя Райнера.

— А въ самомъ дѣлѣ, кто онъ? Кто этотъ Райнеръ?

Что онъ?

— Зачѣмъ онъ здѣсь?

— Зачѣмъ онъ на сходкахъ?

Ни на одинъ этотъ вопросъ никто не умѣлъ дать отвѣта.

— Кто ввелъ его?

— Докторъ Розановъ,—отвѣчалъ кто-то.

— А что такое самъ Розановъ?

— Онъ знакомый маркизы; его многіе знаютъ.

Вытребовать Розанова, вытребовать Розанова! — закричало нѣсколько голосовъ.

— И судить его.

— За что судить? Пусть объяснится.

— Гдѣ-жъ собираться?

— У маркиза, послѣзавтра, у маркиза.

— А завтра тамъ?

— Ну да, только одни свои.

Завтра уже во всѣхъ либеральныхъ кружкахъ Москвы заговорили о бывшей у Богатыревыхъ сходкѣ и о послѣдовавшемъ затѣмъ внезапномъ арестѣ молодаго Богатырева.

Не очень чуткое ухо могло легко слышать, какъ при этихъ разсказахъ вполголоса поминалось имя Райнера.

Содержаніе этихъ полголосныхъ разсказовъ, вѣроятно, было довольно замысловато, потому что докторъ, услыхавъ одинъ такой разговоръ, прямо объявилъ, что кто позволяетъ себѣ распускать такіе слухи, тотъ человѣкъ нечестный.

Теперь докторъ догадывался, какихъ отъ него потребуютъ объясненій, и собирался говорить круто и узловато.

А въ эту ночь была еще сходка, послѣ которой, передъ утромъ дня, назначеннаго для допроса Розанова, было арестовано нѣсколько студентовъ.

Изъ этихъ арестантовъ уже ни одинъ не соскочилъ съ полицейскихъ дрожекъ и не уѣхалъ на вольныхъ въ свою Богатыревку.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Delirium tremens.

Новыя трепетанія не успокоивались. Москва ждала скандала и чуть не дождалась его.

Утромъ одного дня Араповъ вышелъ изъ своего дома съ Персіянцевымъ, взяли извозчика и поѣхали ко Введенію въ Барашахъ.

Они остановились у Нестеровскаго дома.

— Ступайте, — сказалъ Араповъ, тревожно оглядываясь и подавая Персіянцеву изъ-подъ своей шинели тючекъ, обшитый холстомъ.

— Вы?—спросилъ Персіянцевъ.

— Я подожду здѣсь: всюду надо смотрѣть.

Персіянцевъ вошелъ на чистый купеческій дворъ и, отыскавъ двери съ надписью: «*контора*», поднялся по лѣстницѣ.

Посланный имъ артельщикъ возвратился съ Адріаномъ Николаевымъ.

— Отъ Розанова,—сказалъ Персіянцевъ.

— А! милости прошу, пожалуйте, — воскликнулъ центральный человѣкъ.—Какъ они, въ своемъ здоровьѣ?

— Ничего, — отвѣчалъ краснѣя, непривычный ко лжи Персіянцевъ.

— Давно вы ихъ видѣли?

— Вчера,—отвѣчалъ еще болѣе краснѣя Персіянцевъ.— Вы получили вчера его письмо?

— Получили-съ, получили. А это что: товаръ?

— Да.

— Сколько же тутъ?

— Триста.

— Что-жъ, поскупились, али недостача? шутилъ центральный человѣкъ и, взявъ тючекъ изъ рукъ Персіянцева, пригласилъ войти далѣе.

Проходя третью комнату конторы, Персіянцевъ увидѣлъ Пармена Семеновича, любезно бесѣдовавшаго съ частнымъ приставомъ.

— Андріяша! чайку не хочешь ли?—Спросилъ Парменъ Семеновичъ.

— Нѣтъ, Парменъ Семеновичъ, только что пилъ,—отвѣтилъ, проходя, центральный человѣкъ.

— Дѣй Митревъ! крикнулъ онъ, сѣвъ за конторку и усадивъ Персіянцева, нѣсколько растерявшагося при видѣ частнаго пристава.

Показался артельщикъ самаго древняго письма.

— Положь-ка эту штучку, да завтра ее въ низовой посылкѣ отправь Жилину.

— Слушаю,—отвѣчалъ Дѣй Митревъ и унесъ съ собою

тючекъ въ кладовую почетнаго гражданина и 1-й гильдіи купца Нестерова.

— Будетъ исполнено, — сказалъ Персіянцеву центральный человѣкъ, и они простились.

Проходя мимо Пармена Семеновича, Персіянцевъ раскланялся съ нимъ и съ частнымъ приставомъ.

— Кланяйтесь господину доктору,—сказалъ опять Адріанъ Николаевъ Персіянцеву у порога.

Арапова не было у воротъ.

Персіянцевъ глянулъ туда, сюда—нѣту.

Онъ пошелъ одинъ.

Но не успѣлъ Персіянцевъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, его нагналъ Араповъ.

— Что?—спросилъ онъ мрачно.

Персіянцевъ ему разсказалъ все, что мы знаемъ.

— А гдѣ это вы были? Я васъ не видалъ за воротами.

— Я сидѣлъ въ трактирѣ, оттуда виднѣе. Я видѣлъ, какъ вы вышли.

— Ну,—говорилъ Араповъ, усѣвшись дома передъ Персіянцевымъ и Соловейчикомъ: — теперь за новую работу, ребята.

День цѣлый Араповъ строчилъ, потомъ бѣгалъ къ Райнеру, къ Рациборскому. Правили, переправляли и, наконецъ, сочинили что-то.

— Теперь черти, Соловейчикъ,—сказалъ Араповъ.

И Соловейчикъ сталъ чертить.

За полночь Соловейчикъ кончилъ свое ковырянье на литографическомъ камнѣ, сдѣлалъ валькомъ пару пробныхъ оттисковъ и ушелъ изъ квартиры Арапова.

На Чистыхъ-Прудахъ становилось скучновато. Новостей эфектныхъ не было. Маркизъ жаловался, что сходка топчетъ въ его комнатѣ полы и раздавила зубную щеточку накладного серебра.

Самымъ пріятнымъ занятіемъ маркизы было воспитаніе Лизы. Ей внушался бѣлый либерализмъ и изъяснялось его превосходство передъ монтаньярствомъ. Маркиза сидѣла

какъ Калипсо въ своемъ гротѣ; около нея феи, а передъ ними Лиза, и онѣ дудѣли ей объ образцахъ, приводя для контраста женщинъ изъ времени упадка нравовъ въ Римѣ, женщинъ развратнѣйшихъ дней Франціи и нѣкую московскую дѣвицу Бертольди, возмущающую своимъ присутствіемъ чистоту охраняемыхъ феями нравственныхъ принциповъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Московскіе мизерабли.

Въ ряду московскихъ особенностей не послѣднее мѣсто должны занимать *пустые дома*. Такіе дома еще въ наше время изрѣдка встрѣчаются въ нѣкоторыхъ старыхъ губернскихъ городахъ. Въ Петербургѣ такихъ домовъ вовсе не видно, но въ Москвѣ они есть и ихъ хорошо знаютъ многіе, а особенно люди извѣстнаго закала.

Пустой домъ въ губерніи исключительно бываетъ домъ или спорный, или выморочный, или за безцѣнокъ взятый въ залогъ одурѣвшимъ скрягою. Встрѣчаются такіе дома преимущественно въ городахъ, гдѣ требованіе на помѣщенія относительно не велико, доходъ съ домовъ не вѣренъ, а обыватель не охотникъ ни до какихъ затратъ на ремонтъ зданія. Но страннѣе всего, что встрѣчаются такіе дома и въ нашей оригинальной столицѣ и даже нерѣдко стоятъ они среди самой густонаселенной мѣстности. Кругомъ биткомъ набито всякаго народа, а тутъ вдругъ стоитъ домъ: никогда въ его окнахъ не видно свѣта, никогда не отворяются его ворота и никто имъ, повидимому, не интересуется. Словно никому этотъ домъ не принадлежитъ и никому онъ не нуженъ.

Иногда въ такомъ домѣ обитаетъ какой-нибудь солдатъ, занимающійся починкою старой обуви, и солдатка, ходящая на повой. Платитъ имъ жалованье какой-то опекунъ, и живутъ они такъ десятки лѣтъ, сами не задавая себѣ никакого вопроса о судьбахъ обитаемаго ими дома. Сидятъ въ

укромной теплой каморкѣ, а по хоромамъ вѣтеръ свищетъ, да бѣгаютъ рослыя крысы и бархатныя мышки.

Одинъ такой домъ стоялъ невдалекѣ отъ московской Сухаревой башни. Домъ этотъ былъ довольно большой, двухъэтажный, въ одинъ корпусъ, безъ всякихъ флигелей. Домъ стоялъ посреди большого двора, нѣкогда вымощеннаго камнемъ, а нынѣ заросшаго шелковистою муравкою. На улицу выходила одна каменная ограда съ давно неотворявшимися воротами и ветхой калиткой. Въ кухнѣ дома жилъ дворникъ, какой и долженъ находиться въ такомъ домѣ. Это былъ отставной солдатъ, промышлявшій теркою и продажею особеннаго нюхательнаго табаку, а въ сожительствѣ онъ имѣлъ солдатку, не свою, а чужую солдатку, гадавшую сосѣдямъ пустого дома на картахъ. Въ конурѣ у калитки еще жила старая цѣпная собака, и болѣе, казалось, никто не обиталъ въ этомъ домѣ.

Но это только такъ казалось.

По вечерамъ въ калитку дома входили три личности. Первая изъ этихъ личностей былъ высокій, рыжій атлетъ, въ полушубкѣ, человѣкъ свирѣпаго и рѣшительнаго вида; вторая — его товарищъ, былъ прекоренастый черный мужикъ, съ волосами, нависшими на лобъ. Онъ былъ слѣпъ, угрюмъ и молчаливъ.

Далѣе, сюда входилъ еще молодой парнекъ, котораго здѣсь звали Андреемъ Тихоновичемъ.

Все это были люди безпаспортные и никому изъ ближнихъ сосѣдей ни съ какой стороны не извѣстные.

Слѣпецъ и его рыжій товарищъ жили въ большой, пустой комнатѣ второго этажа и платили сторожу по три четвертака въ мѣсяцъ, а молодой жидокъ, котораго здѣсь звали Андреемъ Тихоновичемъ, жилъ въ продолговатой узенькой комнатѣ за ними.

Обѣ эти комнаты были совершенно пусты такъ же, какъ и всѣ остальные покои пустого дома.

У мужиковъ на полу лежали два войлока, по одной засаленной подушкѣ въ набойчатыхъ наволочкахъ, синій гли-

няный кувшинъ съ водою, деревянная чашка, двѣ ложки и мѣшечекъ съ хлѣбомъ; у Андрея же Тихоновича въ покоѣ не было совсѣмъ ничего, кромѣ пузыречка съ чернилами, засохшаго гусиннаго пера и трехъ или четырехъ четвертушекъ измаранной бумаги. Бумага, чернила и перья скрывались на полу въ одномъ уголкѣ, а Андрей Тихоновичъ ночлеговалъ, сворачиваясь на окнѣ, безъ всякой подстилки и безъ всякаго возглавія.

Андрей Тихоновичъ тоже былъ безпаспортный и проживалъ здѣсь съ половины лѣта, платя сторожу въ мѣсяцъ по полтинѣ серебра.

Теперь и Андрею Тихоновичу, и рыжему съ слѣпымъ приходилось плохо. Сторожъ не выгонялъ ихъ; но холода, доходившіе до восьми градусовъ, дѣлали дальнѣйшее пребываніе въ пустомъ, нетопленномъ домѣ довольно затруднительнымъ.

Перелетнымъ птицамъ приходилось искать новаго, болѣе или менѣе теплаго и притомъ опять дешеваго и безопаснаго пріюта; а по этому случаю жильцы пустого дома желчны и безпокойны.

Въ ночь, когда Араповъ поручилъ Нафтулѣ Соловейчику послѣднюю литографскую работу, и когда Соловейчикъ, окончивъ ее, сдѣлалъ два пробные оттиска, онъ, дойдя до забора пустого дома, перескочилъ его за собачьей конурою и, такъ сказать, перекинувшись Андреемъ Тихоновичемъ, прошелъ въ свою пустую казарму.

Часъ былъ поздній, но сосѣди жидка еще не спали: они ругались съ холода.

Андрей Тихоновичъ постоялъ одну минутку, послушалъ и потомъ началъ ходить, безпрестанно останавливаясь и приставляя палецъ ко лбу.

По гримасамъ и ужимкамъ жидовскаго лица видно было, что въ душѣ Нафтулы Соловейчика кипитъ какой-то смѣлый и опасный планъ, заставляющій его не слыхать ругательствъ сосѣдей и не чувствовать немилосердаго холода пустой горницы.

— Да, такъ, такъ,—проговорилъ къ полуночи Соловейчикъ и, вынувъ изъ кармана бумажный сверточекъ, досталъ оттуда стеариновый огарочекъ. Изъ другого кармана онъ вынулъ спичку и, добывъ ею огня, сталъ моститься въ уголышкѣ. Сначала Соловейчикъ капнулъ нѣсколько разъ на полъ стеариномъ и приставилъ къ незастывшимъ еще каплямъ огарокъ. Потомъ подошелъ къ двери сосѣдей, послушалъ и, отойдя опять на цыпочкахъ, прилегъ къ огарку, досталъ изъ кармана сверточекъ чистой бумаги, разложилъ его передъ собою и, вынувъ ломаный перочинный ножикъ, сталъ поправлять перо.

Черезъ пять минутъ жидокъ, скосоротившись, вывелъ титулъ должностнаго лица, которому назначалась бумага, и остановился. Потомъ покусалъ верхушку пера, пососалъ губы и началъ: «хотя и находясь въ настоящую время въ противозаконномъ положеніи безъ усякій письменный видъ, но по долгу цести и совѣсти свяссеною обязанностію за долгъ себѣ всегда поставляю донести, что...» и т. д. Соловейчикъ все писалъ, словно исторію сочинялъ, или новое поминанье заводилъ. Именъ, именъ въ его сочиненіи было, какъ блохъ въ собачьей шкурѣ: никого не забылъ и всѣмъ нашелъ мѣстечко. Прошло болѣе часа, прежде чѣмъ Соловейчикъ окончилъ свое сочиненіе строками: «а посему, если благоугодно будетъ дозволить мнѣ жительство и снабдить приказаніями, то я надѣюсь въ сей должности еще полнѣе оправдать довѣріе начальства».

— Нѣтъ, брешешь! Семь пачекъ я самъ знаю, что есть, да что въ нихъ въ семи-то пачкахъ? Чортъ ты! Антихристъ ты, дьяволъ ты этакой; ты меня извести хочешь; ты думаешь, я не вижу, чего ты хочешь, ворище ты треанаѳемскій! ругался въ сосѣдствѣ слѣпой.

— Молчи!—прошипѣлъ рыжій.

— Молчи! Нѣтъ, не замолчу, не замолчу, а я тебя въ Сибирь сошлю.

— Молчи, чтобъ тебѣ высадило.

— Не стану молчать: ты подай мнѣ свою подушку, а

мою возьми. Ты меня обворовалъ: бумажекъ мнѣ навязалъ, а деньги себѣ взялъ.

— Молчи!—прошипѣлъ рыжій.

— Не замолчу, я до государя доведу. Я виноватъ, я и повинюсь, что я виноватъ: казните, милуйте: загубилъ христіанскую душу. Тебя просилъ: не грѣши, Антошка; дѣли какъ по-божинскому. Вмѣстѣ бпли почтальона, вмѣстѣ намъ и казна пополамъ, а ты теперь, видя мое калѣчество, что мнѣ напхалъ въ подушку?

— Молчи, чортъ, въ подушкѣ твои деньги.

— Врешь: ты деньги вытащилъ, а напхалъ бумажекъ. Я вчера досталъ одну, всѣмъ показывалъ: вотъ, говорю, баринъ одинъ мнѣ сигнацію подарилъ; говорятъ: чайная бумажка. Это ты, разбойникъ, это твое дѣло.

Соловейчикъ обезумѣлъ.

— Подай мнѣ свою подушку, — кричалъ разъяренный слѣпецъ.

— Молчи, дьяволъ!—шипѣлъ рыжій.

— Подай.

— Убью, молчи.

— А, убьешь!—проревѣлъ слѣпой, и вслѣдъ затѣмъ рыжій вскрикнулъ.

Соловейчикъ толкнулъ дверь и увидалъ, что слѣпой сидитъ на рыжемъ и душитъ его за горло, а тотъ одною рукою слабо защищается, а въ другой держитъ набойчатую подушку.

Еврей въ одно мгновеніе сообразился: онъ схватилъ свой перочинный ножикъ, подскочилъ съ нимъ къ борющимся, ловко воткнулъ лезвее ножа въ лѣвый глазъ рыжаго; и въ то же мгновеніе схвативъ выпущенную нищимъ подушку слетѣлъ съ лѣстницы и, перебросившись съ своимъ пріобрѣтеніемъ черезъ заборъ, ударился по улицѣ.

На дворѣ былъ холодъ, звонили къ заутренямъ и изъ переулочковъ выныривали темныя личности, направлявшіяся съ промышленнымъ ночью товарцемъ къ Сухаревой, Лубянкѣ и Смоленскому рынку.

Соловейчикъ, разумѣется, никому не продалъ своей подушки и теперь уже не думалъ о забытомъ на прежней квартирѣ сочиненіи, со множествомъ знакомыхъ и незнакомыхъ намъ именъ.

Сочиненіе это, въ числѣ прочихъ бумагъ бѣжавшаго Соловейчика, черезъ нѣкоторое время было взято сторожемъ пустого дома и поступило на коническія заверточки, при мелочной продажѣ нюхательнаго табаку.

Дальнѣйшая судьба этого сочиненія достовѣрно неизвѣстна. Но если въ это время у сторожа никто не купилъ табаку полфунта разомъ, то врядъ ли сочиненіе Соловейчика сохранится для потомка, который задумаетъ вполнѣ изобразить своимъ современникамъ всѣ многоразличныя чудеса вашего достославнаго времени.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Генералъ Стрепетовъ.

Вскорѣ послѣ описанныхъ послѣднихъ событій, Розановъ съ Райнеромъ спѣшно проходили по одному разметенному и усыпанному пескомъ московскому бульвару. Стоялъ ясный осенній день и бульваръ былъ усѣянъ народомъ. На Спасской башнѣ пробило два часа.

Райнеръ съ Розановымъ шли довольно скоро и не обращали вниманія на бульварную толпу.

На одной лавочкѣ, въ концѣ бульвара, сидѣлъ высокій сутуловатый человѣкъ, съ большою головою, покрытою совершенно бѣлыми волосами и съ сильнымъ выраженіемъ непреклонной воли во всѣхъ чертахъ умнаго лица. Онъ былъ одѣтъ въ ватную военную шинель старой формы, съ капюшономъ и въ широкодонной военной фуражкѣ, съ бархатнымъ околышемъ и красными кантами.

Рядомъ съ этимъ человѣкомъ сидѣлъ Илья Артамоновичъ Нестеровъ.

Оба эти лица вели между собою спокойный разговоръ, который, однако, не тёкъ плавнымъ потокомъ, а шелъ ла-

конически, отдѣльными замѣчаніями, насмѣшечками и сдержанными улыбками, дополнявшими лаконическія недомолвки устной рѣчи.

Изъ толпы людей, проходившихъ мимо этой пары, многіе отвѣшивали ей низкіе поклоны. Кланялись и старики, и кремлевскіе псаломщики, и проходившій казанскій протопопъ, и щеголеватый комми съ Кузнецкаго моста, и толстый хозяинъ трехъ лавокъ изъ Охотнаго ряда, и университетскій студентъ въ ветхихъ панталонахъ съ обитыми низками и въ зимнемъ пальто, подбитомъ весеннимъ вѣтромъ.

Военный старикъ спокойно снималъ свою фуражку и совершенно съ одинаковымъ вниманіемъ отвѣчалъ на каждый поклонъ. Съ нимъ вмѣстѣ откланивался и Илья Артамоновичъ. Иногда военный старикъ останавливалъ кого нибудь изъ извѣстныхъ ему людей и предлагалъ одинъ-два короткіе вопроса и затѣмъ опять дѣлалъ своему сосѣду короткія односложныя замѣчанія, послѣ которыхъ они улыбались едва замѣтною улыбкою и задумывались.

Поровнявшись съ этою парою, Розановъ, не смотря на свою сосредоточенность, замѣтилъ ее и поклонился.

— Кому это вы кланялись? — спросилъ, оглядываясь, Райнеръ.

— Вонъ тому старику.

— Кто-жъ это такой?

— Генералъ Стрепетовъ, — съ нѣкоторою національною гордостью отвѣчалъ докторъ.

— Вотъ это-то Стрепетовъ!—воскликнулъ Райнеръ.

— Будто вы его не узнали?

— Я его никогда не видалъ. Какая голова львиная!

— Да, это голова.

— Вы съ нимъ знакомы?

— Нѣтъ: ему здѣсь всѣ кланяются.

— Съ кѣмъ же это онъ сидитъ?

— А это купецъ Нестеровъ, старовѣръ.

Докторъ съ Райнеромъ повернули съ бульвара направо и исчезли въ одномъ переулкѣ.

Можно было предположить, что докторъ только отвелъ куда-то Райнера, гдѣ не требовалось его собственнаго присутствія, ибо онъ вскорѣ снова появился на бульварѣ и такъ же торопливо шелъ въ обратную сторону.

Генералъ и старовѣръ еще сидѣли на той же лавочкѣ. Толпа стала рѣдѣть.

— Господину доктору,—произнесъ Нестеровъ, кланяясь во второй разъ Розанову.

— Здравствуйте, Илья Артамоновичъ,—отвѣтилъ Розановъ, откланиваясь и не останавливая своего шага.

— Здравствуйте, господинъ докторъ! — вдругъ неожиданно произнесъ генералъ Стрепетовъ.

Доктора очень удивило это неожиданное привѣтствіе и онъ, остановясь, сдѣлалъ почтительный поклонъ генералу.

— Не хотите ли присѣсть?—спросилъ его Стрепетовъ, показывая рукою на свободную половину скамейки.

Розановъ поблагодарилъ.

— Присядьте, прошу,—повторилъ генералъ.

Розановъ сѣлъ.

— Устали?—началъ Стрепетовъ, внимательно глядя въ лицо доктора.

— Нѣтъ, не особенно усталъ.

— Что вы давно въ Москвѣ?

— Нѣтъ, очень недавно.

— Здѣшняго университета?

— Нѣтъ, я былъ въ кіевскомъ университетѣ.

— Значитъ, панъ муви по-польску: «бардзо добжэ».

— Я говорилъ когда-то по-польски.

— Ну, а что у насъ въ университетѣ?

— Кажется, ничего теперь.

— Депутація вернулась?

— Да, они возвратились.

— Не солоно хлебавши,—досказалъ генералъ съ ядовитою улыбкой, въ которой, впрочемъ, не было ничего осо-

бенно обиднаго для депутатовъ, о которыхъ шла рѣчь.

Генералъ еще пошутилъ съ Розановымъ и простился съ нимъ и Нестеровымъ у конца бульвара.

Вечеромъ въ этотъ день докторъ зашелъ къ маркизѣ: она сидѣла запершись въ своемъ кабинетѣ съ полковникомъ Степаненко.

Докторъ ушелъ къ себѣ, взялъ книгу и завалился на диванъ.

Около полночи къ нему зашелъ Райнеръ.

— Что это у нашей маркизы?—спросилъ онъ на первомъ шагу, входя къ Розанову.

— А что?

— Такая таинственность. Шторы спущены, двери кругомъ заперты и никого не принимаетъ.

— Она съ Степаненко сидитъ.

— То-то, что жъ это тамъ за секреты вдругъ?

— Да такъ, другъ друга на выгонки пугаютъ.

Райнеръ засмѣялся.

— Комедія, право, весело вставилъ докторъ: — трусъ труса пугаетъ. Вотъ, Райнеръ, нѣтъ у насъ знакомаго полицейскаго, надѣть бы мундиръ да въ дверь. Только духъ бы сильный пошелъ.

Райнеръ опять засмѣялся.

— А что на сходкѣ?—спросилъ докторъ.

— Ахъ, тоже безтолковщина. Начнутъ о дѣлѣ, а свернутъ опять на шпіоновъ.

— Вы заходили къ Бахаревымъ?

— Да, на минутку былъ,—отвѣчалъ Райнеръ довольно сухо и какъ бы вовсе нехотя.

Докторъ пересталъ спрашивать и продолжалъ чтеніе. Райнеръ остался у него ночевать, раздѣлся и тотчасъ же уснулъ.

Утромъ Райнеръ съ докторомъ собирались выйти вмѣстѣ и, снаряжаясь, пошучивали надъ вчерашнимъ экстреннымъ засѣданіемъ у маркизы. Райнеръ говорилъ, что ему надо ѣхать въ Петербургъ, что его вызываютъ.

Въ это время въ воротахъ двора показался высокій человѣкъ въ волчьей шубѣ съ капюшономъ и въ киверообразной фуражкѣ. Онъ докликался дворника, постоялъ съ нимъ съ минуту и пошелъ прямо въ квартиру Розанова.

Розановъ все это видѣлъ изъ окна и никакъ не могъ понять, что бы это за посѣтитель такой?

Черезъ минуту это объяснилось: это былъ лакей генерала Стрепетова, объявившій, что генералъ приказали кланяться и просятъ побывать у нихъ сегодня вечеромъ.

Лакей ничего не сказалъ больше.

Докторъ обѣщался прійти. Цѣлый день онъ ломалъ себѣ голову, отыскивая причину этого приглашенія и путаясь въ разныхъ догадкахъ. Райнера тоже это занимало.

Вечеромъ, въ половинѣ восьмого часа, Розановъ выпилъ наскоро стаканъ чаю, вышелъ изъ дома, сторговалъ извозчика на Мясницкую и поѣхалъ.

На Мясницкой докторъ остановился у невысокаго каменнаго дома съ мезониномъ и вошелъ въ калитку. Вечеръ былъ темный, какъ вообще осенніе вечера въ серединной Россіи, и домъ, выкрашенный грязно-желтою краскою, смотрѣлъ нелюдимо и непривѣтливо. Въ двухъ окнахъ ближе къ старинному крыльцу свѣтилось, а далѣе въ окнахъ было совсѣмъ черно и только въ одномъ изъ нихъ вырѣзалась слабая полоска свѣта, падавшаго изъ какого-то другого помѣщенія.

Въ передней на желтомъ коникѣ сидѣлъ довольно пожилой лакей и сладко клевалъ носомъ. Около него, облокотясь руками на столъ, спалъ казачекъ. Въ передней было чисто: стояла ясеневая вѣшалка съ военными шинелями, пальто и тулупчикомъ, маленькій столикъ, зеркало и коникъ, а на стѣнѣ висѣлъ жестяной подсвѣчникъ съ зеркальнымъ рефлекторомъ, такой подсвѣчникъ, какой въ Москвѣ почему-то называется «передней лампой».

При входѣ доктора старый лакей проснулся и толкнулъ казачка, который всталъ, потянулся и опять опустился на коникъ.

Розанову вся эта обстановка нѣсколько напоминала губернскіе нравы.

— Дома генералъ?—спросилъ онъ лакея.

— У себя-съ,—отвѣчалъ старикъ.

— Могу я его видѣть?

— Вы чиновникъ?

— Нѣтъ, не чиновникъ,—отвѣчалъ докторъ.

— Пожалуйте,—ласково пригласилъ старикъ, вѣшая докторское пальто.

— Кто же доложитъ обо мнѣ? спросилъ докторъ.—Надо доложить, что Розановъ, за которымъ Александръ Павловичъ присылалъ нынче утромъ.

— Пожалуйте, пожалуйте, докладывать не надо. Я вотъ только посвѣчу вамъ: генералъ въ своемъ кабинетѣ, въ мезонинѣ.

Докторъ, слѣдуя за лакеемъ, прошелъ черезъ залу, которая, при минутномъ освѣщеніи, обратила на себя его вниманіе крайнею простотою убранства; затѣмъ они повернули въ корридоръ и стали подниматься по деревянной лѣстницѣ.

Дойдя до поворота, гдѣ лѣстница образовывала небольшую площадку, лакей со свѣчею остановился и, сдѣлавъ доктору знакъ, пропустилъ его впередъ.

Докторъ одинъ, безъ провожатаго, поднялся на вторую половину лѣстницы и очутился въ довольно большой комнатѣ, гдѣ за столомъ сидѣлъ весьма почтенный человѣкъ и читалъ газету.

При появленіи доктора человѣкъ всталъ, окинулъ его съ ногъ до головы спокойнымъ, умнымъ взглядомъ и, взявшись за ручку одной изъ боковыхъ дверей, произнесъ вполголоса:

— Пожалуйте.

Въ отворенную дверь Розановъ увидѣлъ еще большую комнату, съ диванами и большимъ письменнымъ столомъ посрединѣ. На этомъ столѣ горѣли двѣ свѣчи и ярко освѣщали величественную фигуру колоссальнаго сѣдого орла.

Этотъ орелъ былъ генералъ Стрепетовъ.

Генералъ Стрепетовъ сидѣлъ на креслѣ по самой серединѣ стола и, положивъ на руки большую бѣлую голову, читалъ толстую латинскую книжку. Онъ былъ одѣтъ въ сѣрый тулупчикъ на лисьемъ мѣху, синія суконныя шаровары со сборками на животѣ и безъ галстука. Ноги мощнаго старика, обутыя въ узорчатые азіятскіе сапоги, покоились на раскинутой подъ столомъ медвѣжьей шкурѣ.

При входѣ доктора генералъ поднялъ голову, покрылъ ладонью глаза и, всмотрѣвшись въ гостя, произнесъ:

— Прошу покорно.

Докторъ поклонился.

— Очень благодаренъ, что пожаловали, сказалъ опять Стрепетовъ и, указывая на стулъ, стоявшій сбоку стола, добавилъ:—прошу садиться.

Докторъ ничего не отвѣчалъ и молча сѣлъ на указанный ему стулъ.

Стрепетовъ вынулъ изъ кармана синій фуляръ съ бѣлыми кольцами, осмотрѣлъ его и, громко высморкавшись, спросилъ:

— Вы вѣдь изъ революціонеровъ?

Розановъ смѣшался.

Стрепетовъ, свертывая платокъ, взглядывалъ исподлобья на Розанова.

— Это нехорошо отрекаться отъ своего званія,—замѣтилъ Стрепетовъ, послѣ довольно долгой паузы.

— Я не знаю, что вы хотите сказать этимъ?—проговорилъ смущенный Розановъ.

Стрепетовъ посмотрѣлъ на него и, не сводя своего орлинаго взгляда, сверкавшаго изъ-подъ нависшихъ бѣлыхъ волосъ, началъ:

— Я васъ сконфузилъ. Это утѣшительно: значитъ, вы, дѣйствительно, еще русскій человѣкъ, своего смысла не утратили. Чувствуете, что затѣваютъ дѣло не ладное.

Докторъ выжидалъ, что будетъ далѣе.

— Р-е-в-о-л-ю-ц-і-я! произнесъ съ большою разстановкою

Стрепетовъ.—Это какое слово? Слышится, будто что-то какъ нерусское, а? Съ кѣмъ же это вы хотите дѣлать революцію на Руси?

— Вы мнѣ, Александръ Павловичъ, уже разъ замѣтили, что я отрекаюсь отъ своего званія, а мнѣ и еще разъ придется отречься. Я никакой революціи не затѣваю.

— Вѣрю. Ну, другіе?

— Почемъ же мнѣ знать, что думаютъ другіе! «У всякаго барона своя фантазія».

— У всякаго есть свой царь въ головѣ, говорится по-русски,—замѣтилъ Стрепетовъ.—Ну, а я съ вами говорю о тѣхъ, у которыхъ свой царь-то въ отпускѣ. Вы, вѣдь, ихъ знаете, а Стрепетовъ старый солдатъ, а не сыщикъ, и ему, кромѣ плутовъ и воровъ, всѣ вѣрятъ.

— И я вамъ вѣрю,—произнесъ Розановъ, смѣло и откровенно глядя въ грозное лицо старика.

Теперешній Стрепетовъ былъ не похожъ на Стрепетова, сидѣвшаго вчера на лавочкѣ бульвара. Онъ былъ суровъ и гнѣвенъ. Умный лобъ его морщился, брови сдвигались, онъ шевелилъ своими большими губами и грозно смотрѣлъ въ сторону изъ-подъ нависшихъ бровей. Даже бѣлый стогъ волосъ на его головѣ какъ будто двигался и шевелился.

— Недаромъ тобой дѣтей-то пугали,—подумалъ Розановъ, сидя спокойно и храня мертвое молчаніе.

Это тянулось нѣсколько минутъ.

— Асессоръ!—крикнулъ наконецъ Стрепетовъ, ударяя два раза въ ладоши.

По лѣстницѣ раздались шаги спускающагося человѣка, потомъ по ней кто-то быстро взбѣжалъ и въ комнату вошелъ казачекъ.

— Прикажи подать чаю,—велѣлъ Стрепетовъ, и опять водворилось молчаніе.

Черезъ десять минутъ подали генералу большую чайную чашку чаю, а Розанову стаканъ.

— Вы и *должны* мнѣ вѣрить,—раздражительно произнесъ Стрепетовъ, проглотивъ два глотка чаю.

— Я вамъ и вѣрю,—отвѣчалъ Розановъ.

— Со мной нечего бояться откровенности. Откровенничаете же съ кѣмъ попало, лишь бы вамъ потакали по васъ.

— Я съ вами готовъ быть совершенно откровеннымъ,— спокойно произнесъ Розановъ.

Генералъ взглянулъ на него и потребовалъ себѣ другую чашку чаю.

Онъ видимо обезоруживался, но оставался чрезвычайно возбужденнымъ и серьезнымъ.

— Кто-жъ это у васъ коноводомъ? Кто этимъ дѣломъ коноводитъ?

— Я хочу отвѣчать вамъ, Александръ Павловичъ, совершенно откровенно, а мой отвѣтъ опять вамъ можетъ показаться увертkой: никакого коновода я не знаю, и никто, мнѣ кажется, ничѣмъ не коноводитъ.

Стрепетовъ взглянулъ на доктора, потомъ хлѣбнулъ чаю и проговорилъ:

— Ну, это значитъ еще умнѣе.

— Такъ оно и есть, какъ я говорю.

— А какой это иностранецъ тутъ у васъ сидитъ?

— Вѣрно вы изволили слышать о Райнерѣ?

— Можетъ быть. Что-жъ оно такое этотъ, какъ вы его называете, Райнеръ?

— Очень честный и умный человѣкъ.

— Отзывъ завидный. Вы его хорошо знаете?

— Утвердительно на этотъ вопросъ отвѣчать не могу; но мы пріятели.

— А-а?

— Да.

— Откуда-жъ у васъ началось съ нимъ знакомство?

Докторъ разсказалъ въ общихъ чертахъ все, что мы знаемъ.

— И вамъ не пришло въ голову ничего разузнать, чего онъ сидитъ здѣсь, въ Россіи?

— Онъ очень скрытенъ.

— Значитъ, одинъ за всѣхъ молчитъ. Ну-съ, а если онъ?..

— Это клевета, Александръ Павловичъ, это невозможно: я головою отвѣчаю, что онъ честный человѣкъ.

— Ну, съ головою-то, батюшка, не торопитесь: она вѣдь пока одна у васъ. Вѣдь не за деньгами же онъ пріѣхалъ?

— Нѣтъ.

— Значитъ, что же онъ такое?

— Если вамъ угодно... пожалуй, революціонеръ.

— Ну, да, *соціалистъ*, конечно. Другого-то вѣдь ничего быть не можетъ.

Докторъ промолчалъ.

— Ну, вотъ. А говорите: *умный человѣкъ* онъ; какой ужъ тутъ умъ.

— Эхъ-ма хма! протянулъ, немного помолчавъ и глубоко вздохнувъ, Стрепетовъ: какіе-то соціалисты, да клубисты! Бѣдная ты наша матушка Русь.—Съ такими опекунами да помощниками не скоро ты свою муштру отмуштруешь.

— Ну, а эти мокроногія у васъ при какихъ же должностяхъ?

— Вы говорите о...

— Ну, о вашихъ француженкахъ-то.

— Ни при какихъ, мнѣ кажется. Болтаютъ и только.

— Экія сороки! Нѣтъ, ей-ей, право, это начальство совсѣмъ безъ сердца. Ну, что бы такое хоть одну изъ нихъ попугать; взять бы, да попугать блохъ-то.

— Да взять-то не за что.

— Да такъ, изъ вѣжливости, а то бьются, бьются бабы, и никакого имъ поощренія нѣтъ.

Докторъ улыбнулся и самъ генералъ не выдержалъ, разсмѣялся.

— Зачѣмъ же вы, господа, раскольниковъ-то путаете?— началъ Стрепетовъ.—Ну, помилуйте скажите: есть ли тутъ смыслъ? Ну, что общаго, напримѣръ, скажемъ хоть съ этими вашими сойгами у русскаго человѣка?

— Мнѣ кажется, ихъ не мѣшаютъ.

— А книженки на Волгу черезъ кого посылали?

Докторъ недоумѣвалъ.

— Вы полагаете, что я этого не знаю. Слухомъ, батюшка, земля полнится. Я съ-диву дался, узнавши это. Вчера ихъ мужики только отколотили при всемъ честномъ народѣ, а они опять съ ними заигрываютъ.

— Я ни о чемъ такомъ не имѣю никакого понятія,— проговорилъ Розановъ.

Стрепетовъ зорко посмотрѣлъ на него исподлобья и проговорилъ:

— Какъ же-съ, какъ же! Илья Артамоновичъ всю эту кладь въ воду спустилъ.

— Бросилъ книжки въ воду?

— Бросилъ-съ.

— Въ обществѣ полагаютъ, что раскольники недовольный элементъ.

— А вы какъ полагаете, господинъ докторъ?

— И я тамъ же думаю.

— И думаете, что они пойдутъ войною противъ царя?

— Нѣтъ, я этого не думаю.

— То-то и есть: вы вѣдь живали въ народѣ, вамъ стыдно не знать его; ну, какой же онъ революціонеръ? Эхъ, господа! господа!

— Мнѣ будетъ странно говорить вамъ, Александръ Павловичъ, что я, вѣдь, самъ опальный. Я безъ мало почти то же самое часто разсказываю. До студентской исторіи я вѣрилъ въ общественное сочувствіе; а съ тѣхъ поръ я вижу, что все это сочувствіе есть одна модная фраза.

— И умно дѣлаете. Затѣмъ-то я васъ и позвалъ къ себѣ. Я старый солдатъ; мнѣ, можетъ быть (извините меня), съ *революціонерами* и говорить бы, пожалуй, не слѣдовало. Но пусть каждый думаетъ, кто какъ хочетъ, а я по-своему всегда думалъ и буду думать. Молодежь есть наше упованіе и надежда Россіи. Къ такому положенію нельзя оставаться равнодушнымъ. Ихъ жалко. Я не говорю объ университетскихъ исторіяхъ. Тутъ что-жъ говорить! Тутъ говорить нечего. А есть, говорятъ, другія затѣи...

Генералъ вдругъ остановился и проницательно посмо-

трѣлъ въ глаза доктору. Тотъ выдержалъ этотъ взглядъ спокойно.

— Вѣдь все вздоры какіе-то.

— Это ясно,—проговорилъ докторъ.

— Да какъ же не ясно? Надо изъ ума выжить, чтобъ не видать, что все это безуміе. Изъ раскольниковъ, смирнѣйшихъ людей въ мірѣ, которымъ дай только право молиться свободно, да вѣрить по своему, революціонеровъ посочинили. Тутъ... вонъ... общину въ коммуну перетолковали: сумасшествіе, да и только! Недостаетъ, чтобъ еще въ храмѣ Божіемъ манифестацію сдѣлали: разныя этакія афиши, что ли, бросили... такъ народъ-то еще одинъ разъ кулаки почешетъ.

Генералъ опять воззрился въ глаза доктора. Тому очень трудно было сохранить спокойствіе, но онъ сохранилъ его, тоже какъ человѣкъ, который рѣшилъ, что онъ будетъ дѣлать.

— Дѣти! произнесъ генералъ, и послѣ нѣкоторой паузы началъ опять:—А вы вотъ что, господинъ докторъ! Вы ихъ тамъ болѣе или менѣе знаете, и всѣхъ ихъ попытнѣе, такъ вы должны вести себя честно, а не хромать на оба колѣна. Говорите имъ прямо въ глаза правду, пользуйтесь вашимъ положеніемъ... На вашей совѣсти будетъ, если вы имъ не воспользуетесь.

— Я принимаю вашъ совѣтъ и что могу сдѣлаю,—отвѣчалъ, подумавъ, Розановъ.

— Ну, давайте руку. Я очень радъ, что я въ васъ не ошибся. Теперь прощайте. Мы все переговорили и я усталъ: силы плохи.

Докторъ поднялся.

— Прощайте, ласково сказалъ Стрепетовъ.—Богъ дастъ еще, можетъ быть, увидимся, не на этомъ свѣтѣ, такъ на томъ.

Докторъ пожалъ протянутую ему старикомъ руку.

— Такъ вотъ вы какіе гуси! Кротами подъ землей рое-

тесь, а наружу щепки летятъ. Нечего сказать, ловко дѣйствуете!—подумалъ Розановъ и, не возвращаясь домой нанялъ извозчика въ Лефортово.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Измѣна.

Было уже близко къ полуночи, когда Розановъ остановился въ Лефортовѣ у дома, гдѣ жилъ слѣдственный приставъ Нечай и Араповъ.

Долго докторъ дергалъ за веревку, прежде чѣмъ заспанный Антропъ Ивановичъ вышелъ и отперъ ему калитку.

Розановъ не зашелъ къ Нечаю, а прямо постучался въ квартиру Арапова. Босая Липка откинула дверной крючекъ и, впустивъ Розанова безъ всякаго опроса, бросилась опрометью на свой блошливый войлокъ.

Розановъ потрогалъ дверь араповскаго ложемента,—она была заперта. Не поднимая никакого шума, докторъ отперъ дверь своимъ ключемъ и, войдя, тотчасъ же заперъ за собою двери и не вынулъ ключа, такъ чтобы уже еще никто не могъ отпереть ее, а долженъ былъ бы постучаться.

Въ комнатахъ Арапова было тихо и темно. Только чуть-чуть на этой темнотѣ намѣчались туманныя пятна, обозначавшія мѣста оконъ.

Докторъ, пройдя первую комнату, кликнулъ вполголоса Арапова и Персіянцева; никто не отзывался. Онъ нащупалъ араповскую кровать и диванъ,—тоже никого нѣтъ. Розановъ толкнулъ дверь въ узенькій чуланчикъ. Изъ-подъ пола показалась свѣтлая линія. Наклонясь къ этой линіи, Розановъ взялся за желѣзное кольцо и приподнялъ люкъ погреба. Изъ творила на него пахнуло сыростью, а трепетный свѣтъ изъ ямы въ одно мгновеніе погасъ, и доктора окружила совершенная тьма и сверху, и снизу, и со всѣхъ сторонъ.

— Араповъ!—крикнулъ докторъ, наклонясь надъ открытымъ твориломъ.

Отвѣта не было.

— Араповъ! произнесъ онъ во второй разъ.—Это я, Розановъ, и больше никого нѣтъ.

— Это вы, Дмитрій Петровичъ?—отозвался изъ ямы голосъ Персіянцева.

— Да я же, я,—откликнулся докторъ.

Вслѣдъ затѣмъ, въ погребѣ чиркнула фосфорная спичка и опять освѣтилась и яма, и творило.

Докторъ полѣзъ въ яму.

Подземная картина была очень оригинальна.

Она помѣщалась въ узенькомъ, но довольно глубокомъ погребкѣ, какіе московское купечество весьма часто устраиваетъ въ отдаленныхъ комнатахъ своихъ домовъ для храненія винъ, мариновки, варенья и прочихъ вещей, до которыхъ не положено касаться наемной рукѣ, а за которыми ходитъ сама хозяйка, или ея дочь, или свояченица, или падчерица.

Въ дальнемъ углу, на кирпичномъ полу этого кирпичнаго погреба стоялъ на колѣняхъ Парсіянцевъ. Передъ Персіянцевымъ лежалъ весьма небольшой литографическій камень, черепокъ съ типографской краской, кожаный валикъ, полоскательная чашка съ водою, губка и огромная грязная тряпка. На одной изъ прилаженныхъ по стѣнамъ полокъ можно было замѣтить кучку бумажныхъ листовъ маленькаго формата, такъ, менѣе чѣмъ въ осьмушку. Съ краевъ полокъ свѣшивалось и торчало много, много такихъ же клочковъ На полу, въ углу, шагахъ въ трехъ отъ Персіянцева, свернувшись, лежалъ барсукъ.

Все это слабо освѣщалось одною стеариновою свѣчкою, стоявшею передъ литографическимъ камнемъ, за которымъ на корточкахъ сидѣлъ Персіянцевъ.—При этомъ слабомъ освѣщеніи, совершенно исчезавшемъ на темныхъ стѣнахъ погреба, и только съ грѣхомъ пополамъ озарявшемъ камень и работника, молодой энтузіастъ какъ нельзя болѣе напоминалъ собою швабскаго поэта, обращеннаго хитростью Ураки въ мопса и обязаннаго кипятить горшокъ у вѣдьмы

до тѣхъ поръ, пока его не размокситъ совершенно непорочная дѣвица.

При входѣ Розанова онъ разогнулся, поправилъ поясницу и сказалъ: «ухъ! работаю».

— А много ли сдѣлали?

— Да вотъ четвертую сотню качаемъ. Бумага паскудная такая, что мочи нѣтъ. Красная и желтая ничего еще, а эта синяя,—чортъ ее знаетъ,—вся подъ валькомъ крутится. Или опять и зеленая; вотъ и глядите, ни чорта на ней не выходитъ.

Персіянцевъ прокатилъ валькомъ.

— Мастеръ вы, видно, плохой,—сказалъ Розановъ.

— И у Арапова такъ точно выходило.

— А гдѣ Араповъ?

— Онъ въ городѣ долженъ быть.

— Что жъ, вы еще много будете печатать?

— Да, до пяти сотъ надо добить. Только спать мочи нѣтъ хочется. Двѣ ночи не спалъ.

— То-то я и зашелъ: ложитесь, а я поработаю.

Персіянцевъ всталъ и зажегъ папироску.

Докторъ сѣлъ на его мѣсто, внимательно осмотрѣлъ камень, стеръ губкой, намазалъ его, потомъ положилъ листокъ и тиснулъ.

— Это пятно ужъ на всѣхъ есть?—спросилъ онъ Персіянцева, показывая оттискъ.

— На всѣхъ. Никакъ его нельзя было обойти на камнѣ.

— Ну, идите, спите спокойно. Ключъ тамъ въ дверп; вы его и не вынимайте. Я не лягу спать, и если Араповъ вернется, услышу.

Персіянцевъ вышелъ изъ погреба и повалился на диванъ. Онъ былъ очень утомленъ и заснулъ въ ту же минуту.

По выходѣ Персіянцева, Розановъ, сидя на корточкахъ, опустилъ руки на колѣни и тяжело задумался. Въ погребъ уже болѣе часа долетали рулады, которыя вырабатывалъ носомъ и горломъ сонный Персіянцевъ; приготовленныя бумажки стали вянуть и съ уголковъ закручиваться; стеари-

новая свѣчка стала много ниже ростомъ, а Розановъ все находился въ своемъ столбняковомъ состояніи.

Это продолжалось еще и другой часъ, и третій. Свѣчи ужъ совсѣмъ оставалось намалѣ; ночь проходила.

Докторъ, наконецъ, очнулся и тихо сказалъ самъ себѣ:

— Нѣтъ, ничего все это не стоитъ.

Затѣмъ онъ спокойно всталъ, потеръ ладонями пересиженныя колѣни, собралъ всѣ отпечатанныя литографіи и приготовленные листки, сложилъ ихъ вмѣстѣ съ губкою и валькомъ въ большую тряпку и пронесъ мимо Персіянцева въ большую комнату. Здѣсь докторъ открылъ осторожно трубу, сунулъ въ печку все принесенное имъ изъ погреба и, набивъ туда еще нѣсколько старыхъ араповскихъ корректуръ, сжегъ все это и самымъ тщательнымъ образомъ перемѣшалъ пепелъ съ печною золою. Послѣ этой операціи Розановъ вернулся въ погребъ, подобралъ окурки папиросъ и всякій соръ, выкинулъ все это наверхъ, потомъ взялъ камень, вынесъ его наружу, опустилъ люкъ и опять, пройдя мимо крѣпко спавшаго Персіянцева, осторожно вышелъ изъ Араповской квартиры съ литографскимъ камнемъ подъ полою.

Дворъ уже былъ отпертъ и Антропъ Ивановичъ привязывалъ спущенную на ночь Алегру.

Докторъ долго шелъ пѣшкомъ, потомъ взялъ извозчика и поѣхалъ за Москву-рѣку.

На небѣ чуть сѣрѣло, и по улицамъ уже встрѣчались люди, но было еще темно.

У Москворѣцкаго моста Розановъ отпустилъ извозчика и пошелъ пѣшкомъ. Черезъ двѣ минуты что-то бухнуло въ воду и потонуло.

Два проходившіе мѣщанина оглянулись на доктора: онъ оглянулся на нихъ, и каждый пошелъ своею дорогою.

Съ моста докторъ взялъ переулкомъ налѣво и, встрѣтивъ другого извозчика, порядилъ его домой и поѣхалъ.

На дворѣ все еще не было настоящаго свѣта, а такъ только—сѣрѣлось.

ГЛАВЫ СЕМНАДЦАТАЯ и ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

На столѣ въ своей пріемной комнатѣ Розановъ нашелъ записку Арапова.

«Я, Бычковъ и Персіянцевъ были у васъ и всѣ втроемъ будемъ снова въ 12-ть часовъ. Надѣюсь. что въ это время вы будете дома и потрудитесь на нѣсколько минутъ оставить свою постель. Мы имѣемъ къ вамъ дѣло».

Подписано: «А. А.»

По тону записки и торжественности разъѣздовъ въ трехъ лицахъ, Розановъ догадался, за какимъ объясненіемъ явятся Бычковъ, Персіянцевъ и Араповъ.

Онъ посмотрѣлъ на свои часы, было четверть двѣнадцатаго.

Розановъ сѣлъ и распечаталъ конвертъ, лежавшій возлѣ записки Арапова. Это было письмо отъ его жены. Ольга Александровна въ своемъ письмѣ и лгала, и ползала, и бѣсилась. Розановъ все читалъ равнодушно, но при послѣднихъ строкахъ вскочилъ и поблѣднѣлъ. Письмо вдругъ переходило въ тонъ исключительно нѣжный и заключалось выраженіемъ рѣшительнѣйшаго намѣренія Ольги Александровны въ самомъ непродолжительномъ времени прибыть въ Москву для совмѣстнаго сожительства съ мужемъ, на томъ основаніи, что онъ ей мужъ и что она еще надѣется на его исправленіе.

— Еще мало!—пропзнесъ, опускаясь на стулъ Розановъ, и, дѣйствительно, этого было еще мало, даже на сегодня этого было мало.

У дверей Розанова послышался лошадиный топотъ.

Это вваливали Араповъ, Бычковъ и Персіянцевъ.

Впереди всѣхъ шелъ Араповъ.

Огонь горѣлъ въ его очахъ,
И шерсть на немъ щетиной зрилась.

За нимъ съ простодушно-кровожаднымъ рыломъ двигался въ развалъ Бычковъ въ огромныхъ ботикахъ и

спущенной съ плечъ шинели, а за ними дѣвственный Персіянцевъ.

Вошедшіе не поклонились Розанову и не протянули ему рукъ, а остановились молча у стола, за которымъ его застали.

— Господинъ Розановъ, вы уничтожили въ самомъ началѣ общее дѣло, вы злоупотребляли нашимъ довѣріемъ.

— Да, я это сдѣлалъ.

— Зачѣмъ же вы это сдѣлали?

— Затѣмъ, чтобы всѣхъ васъ не послали понапрасну въ каторгу.

Араповъ постоялъ молча и потомъ, обратясь къ Бычкову и Персіянцеву, произнесъ:

— Разговаривать болѣе нечего; господинъ Розановъ врагъ нашъ и человѣкъ достойный всякаго презрѣнія. Господинъ Розановъ!—добавилъ онъ, обратясь къ нему:— вы человѣкъ, съ которымъ мы отнынѣ не желаемъ имѣть ничего общаго.

— Сердечно радуюсь,—отвѣтилъ Розановъ.

Араповъ завернулся и пошелъ къ двери. За нимъ слѣдовали Бычковъ и воздыхающій Персіянцевъ.

— Что это за таинственные посѣтители? — спросилъ, входя къ Розанову, Лобачевскій, изъ комнаты котораго чрезъ двери былъ слышенъ этотъ разговоръ.

— Это мои знакомые,—отвѣчалъ сквозь зубы Розановъ.

— Съ которыми вы строили планы?—самымъ серьезнымъ тономъ спросилъ Лобачевскій.

Розанову стало очень совѣстно; всѣ его московскія похожденія представились ему какъ на ладони.

«Гдѣ же умъ былъ?» — спрашивалъ онъ себя, шагая по комнатѣ.

«Бросилъ одну прорву, попалъ въ другую, и все это даже не жалко, а только смѣшно и для моихъ лѣтъ непростительно глупо. Вонъ диссертація валяется... а дома Варинька...»

Тутъ опять ему припомнился труженикъ Нечай, съ

его нескончаемою работою и спокойнымъ презрѣніемъ къ либеральному шутовству, а потомъ этотъ спокойно слѣдящій за нимъ глазами Лобачевскій, весь сколоченный изъ трудолюбія, любознательности и настойчивости; Лобачевскій, не удостоивающій эту суету даже и нечаевскаго презрительнаго отзыва, а просто игнорирующій ее, не дающій Араповымъ, Баралямъ, Бычковымъ и tutti frutti даже никакого мѣста и значенія въ общей экономіи общественной жизни.

Лобачевскій долго слѣдилъ за Розановымъ и въ его спокойныхъ сѣрыхъ глазахъ даже засвѣтилось какое-то сожалѣніе къ Розанову, душевныя терзанія котораго ясно отражались на его подвижномъ лицѣ.

Наконецъ Лобачевскій всталъ, молча зажегъ свою свѣчку и, молча протянувъ Розанову свою руку, отправился въ свою комнату. А Розановъ проходилъ почти цѣлую зимнюю ночь и только передъ разсвѣтомъ забылся непріятнымъ, тревожнымъ сномъ, нисходящимъ къ человѣку послѣ сильнаго потрясенія его оскорбленіями и мучительнымъ сознаніемъ собственныхъ промаховъ, отнимающихъ у очень нервныхъ и нетерпѣливыхъ людей вѣру въ себя и въ собственный свой умъ.

Розанову сдавалось, что Лобачевскій, выходя отъ него, проговорилъ въ себѣ: «пустой вы человѣкъ, мой милый», и это очень щипало его за сердце.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Различныя послѣдствія тяжелаго дня

Араповъ съ Бычковымъ и Персіянцевымъ, несмотря на поздній ночной часъ, не поѣхали отъ Розанова домой, а отправились къ маркизѣ. Они хорошо знали, что тамъ обыкновенно засиживаются далеко за полночь и позднее ихъ прибытіе никого не потревожитъ, а къ тому же бурный водоворотъ признаваемыхъ этимъ кружкомъ полити-

ческихъ событій разрѣшалъ всѣхъ членовъ этого кружка отъ многихъ стѣсненій.

Маркиза еще не спала; у нея была Лиза и всѣ пять углекислыхъ фей.

Араповъ, торопливо поздоровавшись со всѣми, тотчасъ же попросилъ маркизу въ сторонку. Здѣсь онъ эфектно сообщилъ ей, по секрету, что Розановъ и Райнеръ шпіоны, что ихъ нужно остерегаться и что теперь, когда они открыты и разоблачены, отъ нихъ можно ожидать всего.

Маркиза вскудахталась, взяла Рогнѣду Романовну и ей пошептала, потомъ Серафиму Романовну,—той пошептала; потомъ третьей, четвертой и такъ далѣе, всѣмъ по секрету и, наконецъ, вышло, что ужъ секретничать нечего.

— Га! га-аа! ггааха!—раздавалось по комнатѣ.

Лиза вспыхнула; она жарко вступилась за Розанова и смѣло настаивала, что этого не можетъ быть. Ей не очень вѣрили, но все-таки она въ значительной мѣрѣ противодѣйствовала безапелляціонному обвиненію Райнера и Розанова въ шпіонствѣ.

Маркиза ужъ колебалась. Ей очень нравилась «опасность», но она была слишкомъ честна для того, чтобы играть чужимъ именемъ изъ одной прихоти.

— Вы, мой другъ, не знаете, какъ они хитры, только говорила она, обобщая фактъ. Они меня какими людьми окружали?.. Ггга! Я это знаю... а потомъ оказывалось, что это все ихъ шпіоны. Вонъ Корней человѣкъ или Оничкинъ Прохоръ, кто ихъ знаетъ,—пожалуй, все шпіоны,—я даже увѣрена, что они шпіоны.

— Да вы знаете, ужъ если на то пошло, то Розановъ съ Райнеромъ сегодня осуждены нами,—произнесъ торжественно Араповъ.

— Кааааакъ!—вспрыгнула маркиза.

— Такъ-съ; они ни больше, ни меньше, какъ выдали студента Богатырева, котораго увезли въ Петербургъ въ крѣпость; передавали все, что слышали на сходкахъ и въ домахъ и, наконецъ, Розановъ укралъ, да-съ, укралъ у меня

вещи, которыя, вѣроятно, сведутъ меня, Персіянцева и еще кого нибудь въ каторжную работу. Но тутъ дѣло не о насъ. Мы люди, давно обреченные на гибель, а онъ убилъ этимъ все дѣло.

— Гггааа! и такіе люди были у меня! И я въ моемъ домѣ принимала такихъ людей! вопила маркиза, закрывая рукою свой лобъ.—Гдѣ Оничка?

Оказалось, что Онички нѣтъ дома. У маркизы сдѣлалась лихорадка; феи уложили ее въ постель, укутали и сѣли по сторонамъ кровати; Лиза поѣхала домой, Араповъ пошелъ ночевать къ Бычкову, а Персіянцева упросилъ слетать завтра утромъ въ Лефортово и привезти ему, Арапову, оставленныя имъ на столѣ корректуры.

Маркиза всю ночь вскрикивала:

— Обыскъ? а! идутъ? Ну, такъ что-жъ такое?

При этомъ она дергалась и стучала зубами.

— Это убьетъ ее!—говорили феи.

Лиза возвратилась домой, сѣла въ ногахъ своей кровати и такъ просидѣла до самаго утра: въ ней шла сильная нравственная ломка.

Утромъ, выйдя къ чаю, Лиза чувствовала, что большая часть разрушительной работы въ ней кончена. и когда ей подали письмо Женни, въ которомъ та, съ своимъ всегдашнимъ добродушіемъ, освѣдомлялась о Розановѣ, Лиза почувствовала что-то гадкое, въ родѣ непріятнаго напоминанія о прошлой глупости.

Такъ кончилось прежде начала то чувство, которое могло бы, можетъ быть, во что нибудь сформироваться, если бы внутренній міръ Лизы не раздвигался, ослабляя прежнюю почву, въ которой держалось нѣкоторое вниманіе къ Розанову, начавшееся на провинціальномъ безлюдьѣ.

Маркизинъ кружокъ не былъ для Лизы тѣмъ высокимъ міромъ, къ которому она стремилась, гадя людьми къ ней близкими со дня ея выхода изъ института, но все-таки этотъ міръ заинтересовалъ ее и она многаго отъ него ожидала.

— Шпіонъ! думала Лиза.—Ну, это навѣрно какой нибудь вздоръ; но онъ трусъ, мелкій и пустой, робкій ничтожный человѣкъ,—это ясно.

Персіянцевъ на другой день утромъ пріѣхалъ къ Бычкову безъ лица.

Никакихъ корректуръ на столѣ Арапова онъ не нашелъ, но привезъ ему вальяжную новость.

— У васъ ночью былъ обыскъ,—сказалъ онъ Арапову, который при этомъ извѣстіи привскочилъ на диванѣ и поблѣднѣлъ пуще Персіянцева.

— Ну?—произнесъ онъ робко.

— Ну, и ничего.

— Ничего не нашли?

— Ничего: да что-жъ было находить!

Араповъ смотрѣлъ то на Бычкова, то на Персіянцева.

— И что же еще?—спросилъ онъ, совсѣмъ теряясь.

— Только всего: васъ спрашивали.

— Спрашивали?

— Спрашивали.

— Меня? меня?

— Ну да, васъ.

— А васъ?

— А меня не спрашивали.

— А его?

Араповъ указалъ на Бычкова.

— И его не спрашивали,—отвѣчалъ Персіянцевъ.

— Да меня съ какой же кстати?—какъ-то отчуждающимся тономъ произнесъ Бычковъ.

— Эко, братъ, «съ какой кстати»! «съ какой кстати»! будутъ они «тебѣ» стать разбирать,—совершенно другимъ какимъ-то привлекающимъ тономъ возразилъ Араповъ.

— Ну, какъ же! Такъ и чирій не сядетъ, а все почесать прежде надо,—отрекался Бычковъ.

— А Розанова спрашивали?—отнесся Араповъ къ Персіянцеву.

— Зачѣмъ же Розанова? Нѣтъ, никого, кромѣ васъ, не спрашивали.

— Возьмутъ?—произнесъ Араповъ глядя на Бычкова и на Персіянцева.

— Вѣроятно,—отвѣчалъ Бычковъ.

— Теперь мнѣ отсюда и выйти нельзя.

— Да ужъ не отсидишься. А по моему иди лучше самъ.

— Какъ самъ? Чортъ знаетъ, что ты выдумываешь! Съ какой кстати я пойду самъ? Ни за что я самъ не пойду.

— Такъ поведутъ.

— Ну, ужъ пусть ведутъ, а самъ я не пойду. Лучше вотъ что,—началъ онъ,—лучше слетайте вы, милый Персіянцевъ...

— Куда?—спросилъ тотъ, пыхнувъ своей трубочкой.

— Въ Лефортово опять, спросите тамъ Нечая, знаете, полицейскаго, что живетъ наверху.

— Ну, знаю.

— Попросите его развѣдать обо мнѣ и пріѣзжайте скорѣе сюда.

Персіянцевъ ушелъ.

Араповъ посмотрѣлъ на Бычкова, который спокойно стоялъ у окна, раздувая свои щеки и подрѣзывая перочиннымъ ножичкомъ застывшее на рукавѣ халата пятнышко стеарина.

— У! у! скотина жестокая!—подумалъ Араповъ, глядя на тщательную работу Бычкова, а тотъ какъ будто услыхалъ это, тотчасъ же вышелъ за двери и, взявъ въ другой комнатѣ своего ребенка, запѣлъ съ нимъ.

«Ципки, ципки, ципки, ципки,
Ципки, ципки, ципки»,

а потомъ

«Та-та-ри, Та-та-ри,
Та-та-ри-ри».

Араповъ завернулся, поскребъ себя ногтями по лѣвому боку и жалостно охнулъ.

Болѣе полутора часа пролежалъ въ такомъ положеніи

одинъ-одинёшенекъ бѣдный корректоръ. Никто къ нему не входилъ въ комнату, никто о немъ не понавѣдался: хозяина и слуха и духа не было.

Наконецъ дверь отворилась: Араповъ судорожно приподнялся и увидѣлъ Персіянцева.

— Ну, что?—спросилъ онъ въ одно и то же время робко и торопливо.

— Ничего,—все хорошо.

— Ну! — вскрикнулъ, привскочивъ, обрадованный Араповъ.

— У васъ ничего подозрительнаго не нашли, и на томъ дѣло и кончено. Только одно подозрѣніе было.

Араповъ всталъ и началъ скоро одѣваться.

— Ничего!—радостно произнесъ онъ навстрѣчу входившему Бычкову, съ которымъ они только что наблюдали другъ друга безъ масокъ. — Подозрѣніе было, и теперь все кончено. Хорошо, что я дома не ночевалъ, а то, чортъ возьми, напрасно бы сцена могла выйти: я бы ихъ всѣхъ въ шею.

— Поблагодари лучше Розанова,—замѣтилъ Бычковъ.

— Да,—но, впрочемъ, нѣтъ. При мнѣ бы ничего; я бы не допустилъ.

— Въ погребѣ были. Прямо туда и пошли,—произнесъ Персіянцевъ.

Араповъ опять отупѣлъ.

— Однако, указаньица вѣрныя были,—проронилъ, помолчавъ, Бычковъ.

Араповъ съ Персіянцевымъ вышли и разстались за воротами: Араповъ уѣхалъ въ Лефортово; Персіянцевъ пошелъ къ себѣ.

— Арапка!—крикнула Давыдовская, входя вслѣдъ за корректоромъ въ его комнаты.—А у тебя ночью гости были.

— Знаю-съ,—мрачно отвѣчалъ Араповъ.

— Цѣлое маркобрунство.

— Знаю-съ, знаю. А вы бы, Прасковья Ивановна, могли

не допустить до обыска: безъ хозяина квартиры обыскивать не позволено.

— Ахъ, батюшка Аника воинъ, не ширись такъ, сдѣлай свое одолженіе! Ты прежде разспроси, мало ли я тутъ съ ними страженія имѣла: я, можетъ быть, горло все надсадила. Го-го-го! не бойся, будутъ помнить. Я, говорю, знаю такихъ лицъ, къ которымъ васъ и въ переднюю-то не пустятъ. Ко мнѣ, говорю, самъ князь ѣзжалъ, по три графина холодной воды выпивалъ, возлѣ меня сидя.— А то я ихъ, маркобруновъ, бояться стану! Но вѣдь ничего нельзя сдѣлать,—нахрапомъ лѣзутъ: позвали Нечая, сосѣда Ларивонова, дворника Антропа Иванова и пошли шарить.

— Чего они искали?

— Не сказали; я спрашивала — не сказали. Ревизію, говорятъ, имѣемъ предписаніе произвести. Ну, да ужъ за то скажу тебѣ, Арапка, и смѣху-жъ было! Только спустились двое хожалыхъ въ погребъ, смотримъ, летятъ оба. «Ай! ай! тамъ чортъ, говорятъ, сидитъ». Смотрю, у одного всѣ штаны такъ и располосованы. Впотьмахъ-то, дуракъ, на твоего барсука налѣзъ. Много хохотали послѣ.

— Гм!—крякнулъ Араповъ:—а вы вотъ что, Прасковья Ивановна, вы велите Антропу, если ко мнѣ покажется этотъ маленькій жидокъ, что у меня перепиской занимался, такъ въ шею его. Понимаете: отъ воротъ прямо въ шею.

— Хорошо.

— И другихъ тоже.

— Всѣхъ гнать?

— Въ шею, отъ воротъ и въ шею. Никого ко мнѣ не пускать.

Оставшись одинъ, Араповъ покусалъ губы, пожалъ лобъ, потомъ вошелъ въ чуланчикъ, взялъ съ полки какую-то ничтожную бумажку и разорвалъ ее; наконецъ, снялъ со стѣны висѣвшій надъ кроватью револьверъ и остановился, смотря то на окно комнаты, то на дуло пистолета.

Въ такомъ колебаніи прошло нѣсколько минутъ: въ глазахъ Арапова выражалась совершенная потерянность.

Однако онъ, наконецъ, сдѣлалъ рѣшительный шагъ, вошелъ въ чуланчикъ, открылъ погребъ, сталъ на самый край чернаго квадрата, обозначавшаго поднятое творило, и взялъ пистолетъ въ правую руку.

Черезъ нѣсколько секундъ раздался выстрѣлъ, послѣ котораго въ погребѣ послышался отчаянный визгъ боли и испуга. Цѣпь громыхнула, дернулась и въ это же время послышался крикъ Арапова, опять визгъ; еще пять одинъ за другимъ въ мгновеніе ока послѣдовавшихъ выстрѣловъ, и Араповъ, блѣдный и растрепанный, съ лѣвою ладонью у сердца, и съ теплымъ пистолетомъ въ правой рукѣ выбѣжалъ изъ чулана.

Онъ напоминалъ собою Макбета болѣе чѣмъ всѣ современные актеры, терзающіе Шекспира, и это ему было тѣмъ легче, что тутъ онъ не «игралъ изъ себя комедіи», какъ говорила жена Нечая, а дѣйствительно былъ объятъ страшнымъ ужасомъ и, выронивъ пистолетъ, тяжело рухнулся на полъ въ сильномъ обморокѣ, закончившемъ его безумство.

Барсукъ былъ убитъ наповалъ и очнувшійся къ вечеру Араповъ самъ не понималъ, зачѣмъ онъ убилъ бѣднаго звѣря.

Хожалый былъ отомщенъ. Барсукъ былъ облитъ кровью, а самъ Араповъ заставлялъ жалѣть, что въ теченіе этихъ трехъ или четырехъ часовъ его жизни не могъ наблюдать хоть Розановъ, для своей психіатрической диссертаціи, или великій драматическій талантъ, для типическаго созданія героя современной комедіи.

Розановъ писалъ свою диссертацію. Недѣля шла за недѣлей и уже приближались рождественскіе праздники, а Розановъ не дѣлалъ ни шагу за ворота больницы. Онъ очень хорошо зналъ, что слухи о его «подлости» и «шпіонствѣ» непремѣнно достигли до всѣхъ его знакомыхъ, и сначала

не хотѣлъ идти никуда, чтобъ и людей не волновать своимъ появленіемъ, и себя не подвергать еще длинному ряду незаслуженныхъ оскорбленій. Оправдываться же онъ не могъ. Во-первыхъ, все это было ему до такой степени больно, что онъ не находилъ въ себѣ силы съ должнымъ хладнокровіемъ опровергать взведенныя на него обвиненія, а во-вторыхъ, что же онъ и могъ сказать? Одни обвиненія были просто голословныя клеветы или подозрѣнія, для опроверженія которыхъ нельзя было подыскать никакихъ доказательствъ, а другихъ нельзя было опровергать, не подводя нѣкоторыхъ людей прямо къ неминуемой тяжелой отвѣтственности. Докторъ не хотѣлъ купить этою цѣною возстановленіе своей репутаціи и молчалъ, сидя безвыходно дома и трудясь надъ своей диссертаціей. Единственнымъ отдыхомъ ему была бесѣда съ Лобачевскимъ, который оставался съ Розановымъ въ прежнихъ, неизмѣнно хорошихъ, не то что пріятельскихъ, а товарищескихъ отношеніяхъ. Но, несмотря на то, что въ этихъ отношеніяхъ не было ни особенной теплоты, ни знаковъ нѣжнаго сочувствія, они дѣйствовали на Розанова чрезвычайно успокоительно и до такой степени благотворно, что ему стало казаться, будто онъ еще никогда не былъ такъ хорошо пристроенъ, какъ нынче. Въ этакомъ-то положеніи онъ работалъ, забывъ о всей Москвѣ и самъ забытый, повидимому, всею Москвою.

Мало-по-малу Розановъ такъ освоился съ своимъ положеніемъ, что ужъ и не думалъ о возобновленіи своихъ знакомствъ и даже находилъ это окончательно неудобнымъ.

Диссертація подвигалась довольно успѣшно и Лобачевскій былъ ею очень доволенъ, хотя нѣсколько и подтруниваль надъ Розановымъ, утверждая, что его диссертація болѣе художественное произведеніе, чѣмъ диссертація. «Она, такъ сказать, *пріятная* диссертація», говорилъ онъ, добавляя, что «впрочемъ, ничего; для медицинскаго поэта весьма одобрительна».

Розановъ шелъ скоро и написалъ болѣе половины.

Кромѣ Лобачевскаго, его два или три раза посѣщалъ

Парменъ Семеновичъ, вообразившій, что у него либо восса, либо волосъ въ пяткѣ.

— Свербитъ мочи нѣтъ, говорилъ онъ:—бабка выливала, и волосъ шелъ по водѣ, а опять точитъ.

Лобачевскій съ Розановымъ лѣчили Пармена Семеновича для его утѣхи, а сами для своей потѣхи всѣ втроемъ травили другъ друга. Парменъ Семеновичъ въ это время вообще глумился надъ медициной. Въ это время его супруга нашла магнетизера.

— Щупаетъ, говорилъ Парменъ Семеновичъ, — ни самъ ничѣмъ не дѣйствуетъ, ни изъ аптекъ не прописываетъ, а только все ее щупаетъ, просто руками щупаетъ и, хвалить Бога,—зримымъ веществомъ идетъ помощь.

Былъ и Адріанъ Николаевъ; навѣстить заѣхалъ и съ различными ужимками говорилъ Розанову, чтобъ онъ былъ покоенъ, что все пошло въ порядкѣ.

— Что такое пошло? — спросилъ удивленный Розановъ.

Центральный человѣкъ разсказалъ о бумагахъ, полученныхъ имъ для отсылки на Волгу.

— Батюшка мой! я и сномъ и духомъ не вѣдаю!—отвѣчалъ Розановъ.

Адріанъ Николаевъ успокоивалъ его, что это ничего и, наконецъ, пересталъ спорить и возымѣлъ о Розановѣ сугубо выгодное понятіе, какъ о человѣкѣ «остромъ», осторожномъ.

Розановъ никакъ не могъ додумать, что это за штука, и теперь ему стали понятны слова Стрепетова; но какъ дѣло уже было кончено, то Розановъ такъ это и бросилъ. Ему ужасно тяжело и непріятно было возвращаться къ памятникамъ прошедшаго, кипучаго періода его московской жизни.

О томъ, что дѣлалось въ кружкѣ его прежнихъ знакомыхъ, онъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія: всѣ связи его съ людьми этого кружка были разорваны; но тѣмъ не менѣе Розанову иногда сдавалось, что тамъ, вѣроятно, что-нибудь чудотворятъ и суетятъ суету.

Розановъ въ этомъ ошибался; нашъ знакомый кружокъ вдругъ не разошелся, а просто какъ-то разсыпался. Люди не узнавали себя. Самъ Розановъ, вызывавшій нѣкогда Илью Муромца съ булавой стопудовою, не замѣчалъ, какъ онъ перешелъ далеко за свой радикализмъ, но оправдывалъ себя только тѣмъ, что именно нуженъ былъ Илья Муромецъ, а безъ Ильи Муромца и дѣлать нечего. Фіаско, погрозившее опрометчивымъ попыткамъ сдѣлать что-то безъ ясно опредѣленнаго плана, безъ средствъ и безъ общественнаго сочувствія, вдругъ отрезвило большинство людей этого кружка.

Все это не объяснялось, не разошлось, вслѣдствіе формальнаго разлада, а такъ бросило то, что еще такъ недавно считало своимъ главнымъ дѣломъ, и сидѣло по своимъ норамъ. Нѣкоторые, впрочемъ, сидѣли и не въ своихъ норахъ, но изъ нашихъ знакомыхъ эта доля выпала только Персіянцеву, который былъ взятъ тотчасъ по возвращеніи домой, въ тотъ день, когда Араповъ разстрѣлялъ своего барсука, а Бычковъ увлекся впервые родительскою нѣжностью къ отрасли своего естественнаго брака.

Въ Лизѣ эта возбужденность не ослабѣвала ни на минуту. Она, напротивъ, только укрѣплялась въ своихъ убѣжденіяхъ о необходимости радикальнаго перелома и, не заходя въ вопросъ глубоко и практически, ждала разрѣшенія его горстью людей, не похожихъ на всѣ тѣ личности, которыя утомляли и въ провинціи, и на тѣ, которыя сначала обошли ее либеральными фразами въ Москву, открывъ всю внутреннюю пустоту и безсодержательность своихъ натуръ. Послѣ смиренства, налегшаго на этотъ кружокъ съ арестомъ кроткаго Персіянцева, взявшаго на себя грѣхи сумасбродства своего кружка, и нѣсколько скандальнаго возвращенія Сережи Богатырева изъ Рязанской деревни, передъ Лизою какъ-то вдругъ обнажилась вся комическая сторона этого дѣла. Но, не смотря на это, Лиза все-таки продолжала навѣщать маркизу, ожидая, что не можетъ же быть, чтобы столь либеральный кружокъ такъ-таки выходилъ совсѣмъ *ничего*. Дни шли за днями; домъ маркизинъ замѣтно пу-

стѣлъ, феи хотя продолжали презрительно говорить объ одной партіи, но столь же презрительно, и даже еще болѣе презрительно, отзывались и о другой. Особенно часто былъ терзаемъ Бычковъ и нѣкая дѣвица Бертольди. Эта «стриженая дѣвка», какъ ее называла маркиза въ своихъ бурнопламенныхъ очистительныхъ критикахъ, выходила какимъ-то чортомъ, какимъ-то вреднымъ общественнымъ наростомъ, какимъ-то полипомъ, который непремѣнно надо взять и съ корнемъ вырвать изъ общественнаго организма и выжечь раскаленнымъ желѣзомъ самое мѣсто, на которомъ этотъ полипъ гнѣздится.

— Иначе, говорила маркиза,—эта монтаньярская гидра разсадится по лицу земли русской и погубитъ насъ въ Россіи, какъ она погубила насъ во Франціи.

А какъ собственно феи ничего не дѣлали и даже не умѣли сказать, что бы такое именно, по ихъ соображеніямъ, слѣдовало обществу начать дѣлать, то Лиза, слушая въ сотый разъ ихъ анаѳематство надъ дѣвицей Бертольди, подумала: «Ну, это, однако, было бы не совсѣмъ худо, если бы въ числѣ прочей мелочи могли бы снести и васъ». И Бертольди стала занимать Лизу. — «Это совсѣмъ новый закалъ, должно быть»,—думала она:—«очень интересно бы посмотрѣть, что это такое».

Лиза даже какъ-то постарѣла и пожелтѣла, ее мучили тоска, бездѣйствіе и безлюдье. Розановъ оправдался, не произнося ни одного слова въ свое оправданіе. Его оправдалъ Персіянцевъ,—который, идучи домой отъ Бычкова, въ послѣдній день своей свободы, встрѣтилъ Рогнѣду Романовну и разсказалъ ей исторію съ Араповымъ, прибавивъ, что «насъ всѣхъ спасъ Розановъ».

Его только, бѣдняжку, не спасло розановское благоразуміе. Чистый и фанатически преданный дѣлу Персіянцевъ несъ на себѣ всю опасность предпріятія, и такъ неловко обставился въ своей маленькой комнаткѣ, что ему, застигнутому врасплохъ, не было никакого спасенія. Онъ и не спасся.

Но еще болѣе оправдало Розанова возвращеніе Сережи Богатырева изъ деревни. Это было такъ смѣшно, что ужъ никто не позволялъ себѣ и запкнуться насчетъ Розанова. Шпіономъ остался одинъ Райнеръ.

Углекислый либерализмъ поступалъ иначе. Дорожа правомъ говорить о своемъ безпристрастіи и другихъ качествахъ, отличающихъ людей высшаго развитія, онъ торжественно возстановилъ доброе имя Розанова и напрасно тотъ избѣгалъ встрѣчъ съ углекислыми: здѣсь ему готовы были честь и мѣсто.

Но мнѣнія углекислыхъ не уходили дальше своей сферы и если бы они даже вышли за предѣлы ея, то не принесли бы этимъ никакой пользы для Розанова, а только были бы новымъ поводомъ къ вящшимъ для него обвиненіямъ. Бѣлые были въ это время жертвами искупленія общей глупости.

На Лизу, впрочемъ, все это очень мало вліяло. Она знала и безъ того, что обвиненія, взводимыя на Розанова, чистѣйшій вздоръ, но Розановъ ей былъ совсѣмъ чужой человѣкъ и жалкая, досадившая ей «*посредственность*». И потому она не понимала, какъ этотъ человѣкъ, бывшій въ уѣздной глуши радикаломъ, здѣсь сталъ вдругъ удерживать другихъ отъ крушительной работы Ильи Муромца. Когда одинъ разъ Розановъ прислалъ ей съ сторожемъ деньги, занятыя имъ у нея предъ отъѣздомъ въ Москву, она равнодушно прочла его вѣжливую записочку, надписала на своей карточкѣ «получила и благодарю», и только.

Старикъ Бахаревъ не выѣзжалъ: у него обнаружились признаки каменной болѣзни; у Софи наклевывались женишки, но какъ-то все только наклевывались, а изъ скорлупы не вылѣзали.

Лиза желтѣла и становилась чрезвычайно раздражительная. Она сама это замѣчала, большую часть дня сидѣла въ своей комнатѣ и только предъ обѣдомъ выходила гулять неподалеку отъ дома.

Изъ Петербурга получилось извѣстіе, что Пархоменко

также нашелъ себѣ казенную квартиру, о Райнерѣ не было ни слуха, ни духа. Одни утверждали, что онъ въ Петербургѣ, но что его нельзя узнать, потому что онъ ходитъ переодѣтый, въ синихъ очкахъ и съ выкрашенными волосами; другіе утверждали, что видѣли Райнера въ Парижѣ, гдѣ онъ слоняется между русскими и всякій день ходитъ то въ парижскую префектуру, то въ наше посольство. Наконецъ прошелъ слухъ, что Райнеръ вовсе не Райнеръ, а польскій жидъ Ренарскій. Нѣсколько пріятелей получали письма, пришедшія на имя Райнера, во время его отсутствія, распечатали ихъ и ничего въ нихъ не нашли, хотя тѣмъ не менѣе все-таки остались о немъ при своемъ мнѣніи. А Райнеръ, между тѣмъ, былъ на Рютли, и обкладывалъ зеленымъ швейцарскимъ дерномъ свѣжую могилу своего отца. Затѣмъ онъ, собравъ окрестныхъ пауперовъ, сдалъ имъ свою ферму, выговоривъ себѣ только одни проценты на капиталъ и сталъ спѣшно собираться въ Россію, къ своимъ политическимъ друзьямъ, требушившимъ здѣсь его письма.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Скоропостижная дама.

Неудачи въ это время падали на нашихъ знакомыхъ какъ періодическіе дожди: даже Лобачевскій не ушелъ отъ нихъ. Главный докторъ больницы рѣшительно отказалъ ему въ дозволеніи устроить при заведеніи приватную медицинскую школу для женщинъ. Сколько Лобачевскій его ни убѣждалъ, сколько ни упрашивалъ, нѣмецъ сталъ на своемъ— и баста.

Это ужасно огорчило Лобачевскаго, вообще неспособнаго отставать отъ того, за что онъ разъ взялся и что положилъ себѣ непремѣнною обязанностію, во что бы то ни стало, сдѣлать.

Онъ, недолго думая, объяснился съ Бекомъ, въ томъ родѣ, что такъ какъ онъ, Бекъ, не можетъ позволить ему.

Лобачевскому, завести приватную медицинскую школу для женщинъ, которая никому и ничему мѣшать не можетъ, то, въ силу своего непреодолимаго влеченія къ этому дѣлу, онъ, Лобачевскій, не можетъ болѣе служить вмѣстѣ съ нимъ, Бекомъ, и проситъ отпуска.

Беку жаль было хорошаго ординатора, но еще болѣе жаль было бы ему своего хорошаго мѣста, и Лобачевскій получилъ отпускъ.

Проводивъ Лобачевскаго на двѣ недѣли въ Петербургъ, Розановъ сидѣлъ одинъ-одинешенекъ и часто раздумывалъ о своемъ давно-прошедшемъ и недавно-прошедшемъ. Изъ этихъ думъ невольно вытекали вопросы о будущемъ. Розановъ никакъ не могъ сдѣлать ни одного болѣе или менѣе вѣроятнаго предположенія о томъ, что будетъ далѣе съ нимъ самимъ и съ его семействомъ? Сначала неопредѣленность собственнаго положенія, потомъ хлопотливая суета и ожиданія, вытекавшія изъ временной политической возбужденности кружка, удаляли Розанова отъ этихъ размышленій; но теперь, съ возвращеніемъ въ самого себя, онъ крѣпко задумывался.

— Ну, что-жъ, думалъ онъ, — ну, я здѣсь, а они тамъ; что-жъ тутъ прочнаго и хорошаго. Конечно, все это лучше, чѣмъ быть вмѣстѣ и жить чортъ знаетъ какъ, а все же и такъ мало проку. Все кругомъ пустота какая-то... несносная пустота. Ничего, таки рѣшительно ничего впереди, кромѣ труда, труда и труда изъ-за одного насущнаго хлѣба. Ребенокъ?.. Да Богъ его знаетъ, что и изъ него выйдетъ при такой обстановкѣ,—думалъ докторъ, засыпая.

Часу въ четвертомъ его разбудили и подали ему телеграфную депешу: Ольга Александровна извѣщала его изъ ближайшаго губернскаго города, что она ѣдетъ и завтра будетъ въ Москвѣ.

Розановъ привскочилъ съ постели, протеръ глаза и опять взялъ брошенную на столѣ депешу: ясно и четко синимъ карандашомъ было написано: «Мы ѣдемъ къ вамъ

съ попутчиками и завтра будемъ въ Москвѣ. Встрѣтьте насъ на Солянкѣ, домъ Рѣпина».

— Вотъ тебѣ и орѣхъ съ масломъ! — произнесъ Розановъ и сталъ поспѣшно одѣваться.

Надо было куда-нибудь пріютить ѣдущихъ, а въ тѣсной казенной квартиркѣ это было рѣшительно невозможно. Съ одной стороны здѣсь очень тѣсно, а съ другой... Ольга Александровна... Какъ за нее поручиться? А тутъ Лобачевскій, которому Розановъ даже никогда не говорилъ, что онъ женатъ. Не годится это. Розановъ вспомнилъ Нечаевъ, но это опять не подходило: тамъ тѣснота и дѣти, да и снова Ольга Александровна можетъ сразу выкинуть колѣно, которое развернетъ передъ чужими людьми то, что Розановъ всегда старался тщательно скрывать и маскировать. Пойти къ Бахаревымъ! Эти ужъ болѣе или менѣе все знаютъ и отъ нихъ скрываться нечего. Розановъ, дождавшись утра, взялъ извозчика и поѣхалъ къ Бахаревымъ.

Дорогою Розановъ все смотрѣлъ на бумажки, означавшія свободныя квартиры, и думалъ, какъ бы это такъ устроиться, чтобы подальше отъ людей; чтобы никто не видалъ никакихъ сценъ.

— А можетъ быть теперь и сценъ никакихъ не будетъ: она пожила, упрыгалась, ѣдетъ сама, безъ зова... а я буду поравнодушнѣе, стану учить Варюшку..

Розанову даже становилось весело и онъ, забывая всѣ тревоги, радовался, что черезъ нѣсколько часовъ онъ снова будетъ съ семьею, и потомъ пойдетъ тихая, осмысленная жизнь на пользу ребенка, и т. п.

Розанову это представлялось совершенно возможнымъ.

Бахаревыхъ докторъ засталъ за утреннимъ чаемъ и замѣтилъ, что всѣ они, кромѣ Лизы, были необыкновенно веселы. Это объяснилось тѣмъ, что маркиза сдѣлала визитъ Ольгѣ Сергѣевнѣ и, встрѣтясь здѣсь съ Варварой Ивановной Богатыревой, очень много говорила о себѣ, о людяхъ, которыхъ она знала, о преслѣдованіяхъ, которыя терпѣла отъ правительства въ теченіе всей своей жизни и, наконецъ,

объ обществѣ, въ которомъ она трудится на пользу просвѣщенія народа. Въ концѣ концовъ маркиза завербовала Богатыреву въ это полезное общество, сказавъ: «у меня все-таки будетъ на моей сторонѣ лишній голосъ», и уѣхала.

Визитъ этотъ былъ сдѣланъ въ тѣхъ соображеніяхъ, что нехорошо быть знакомой съ дочерью и не знать семейства. За окончаніемъ всего этого маркиза снова дѣлалась дамой, чтущей законы свѣта, и спѣшила обставить свои зады сообразно всѣмъ требованіямъ этихъ законовъ. Перваго же шага она не боялась, во-первыхъ, по своей добротѣ и взбалмошности, а во-вторыхъ и потому, что считала себя достаточно высоко поставленною для того, чтобы не подвергнуться обвиненіямъ въ искательствѣ.

Лизѣ отъ этого визита было ни жарко, ни холодно, но онъ ей былъ почему-то непріятенъ. Къ тому же, вѣтреная маркиза во время полуторачасового пребыванія у Бахаревыхъ, какъ нарочно, не удостоивала Лизу никакого вниманія и исключительно занималась съ Богатыревой, которая ей очень понравилась своимъ свѣтскимъ видомъ и положеніемъ.

Ольга Сергѣевна не замѣчала этого, но Варвара Ивановна это замѣтила и порѣшила, что маркиза сразу отличила ее какъ женщину, стоящую всѣмъ выше здѣшнихъ хозяевъ.

— А у насъ вчера была гостья! — начала, встрѣтивъ Розанова, Ольга Сергѣевна, а какая—не отгадаете.

— А у меня завтра будутъ двѣ,—отвѣчалъ Розановъ.

— Кто-жъ такія?

— Тоже не отгадаете.

Наконецъ, Ольга Сергѣевна похвалилась своею вчерашнею гостьею, похвалился и Розановъ своими завтрашними гостями.

— Умница Ольга Александровна, — сказала Ольга Сергѣевна.

— Да куда мнѣ ихъ дѣть-то-съ?

— Ну... развѣ мало квартиръ.

Лиза, выслушавшая весь этотъ разговоръ безъ всякаго участія, встала изъ-за стола и вышла въ гостиную.

Розановъ торопился и сталъ тотчасъ же прощаться.

— Прощайте, Лизавета Егоровна,—сказалъ онъ, входя съ фуражкою въ гостиную, гдѣ никого не было, кромѣ Лизы.

— Прощайте, отвѣчала она, кладя книгу: — скажите, какъ же это случилось?

Розановъ разсказалъ о неожиданной депешѣ.

— Удивительно!—произнесла Лиза:—Что же вы теперь думаете дѣлать?

— Что же дѣлать: надо устраиваться и жить.

— Вмѣстѣ! — воскликнула Лиза.

— Да какъ же иначе?

— Вмѣстѣ! Вмѣстѣ съ женщиной, съ которой вы доходили до такихъ сценъ?

— Да что же дѣлать, Лизавета Егоровна?

— Что, вы думаете, этого здѣсь не повторится?

— Да ужъ теперь я могу смотрѣть на это равнодушнѣе.

— Нѣтъ, Дмитрій Петровичъ, извините, я въ хроническое равнодушіе не вѣрю.

— Да вѣдь нечего дѣлать: что же дѣлать-то, скажите?

Лиза отвѣчала:

— Ну, ужъ это вамъ больше знать, что должно дѣлать.

Розановъ пожалъ плечами и простился.

Выходя, онъ думалъ: только надо подальше отъ всѣхъ, и мимоходомъ нанялъ первую попавшуюся имъ квартиру въ четыре комнаты; купилъ у Сухаревой подержанную мебель, нанялъ дѣвушку и заказалъ топить, а на другой день, передъ вечеромъ, встрѣтилъ на дворѣ купца Рѣпина на Солянкѣ дорожный возокъ, изъ котораго вылѣзли три незнакомыя барыни, а потомъ и Ольга Александровна съ дочкой.

Ну, были и радости, и поцѣлуи, и объятія, и даже слезы раскаянія и сожалѣнія о прошломъ.

Началась у Розанова семейная жизнь въ Москвѣ, жизнь

весьма тяжелая, въ которой концы трудно связывались съ концами.

Не замедлили къ этимъ трудностямъ поспѣшить и другія.

Ольга Александровна не ссорилась и старалась быть всѣмъ довольною. Только квартира ей не совсѣмъ нравилась: сырована оказалась, да Ольгѣ Александровнѣ хотѣлось имѣть при жильѣ разныя хозяйственныя удобства, которыхъ Розановъ не имѣлъ въ виду при спѣшномъ наймѣ. Еще Ольгѣ Александровнѣ очень не понравилась купленная мужемъ тяжелая мебель изъ краснаго дерева, но она и въ этомъ случаѣ ограничилась только тѣмъ, что почасту называла эту мебель то дровами, то убоищемъ.

Кто знаетъ, какъ бы это шло далѣе мѣсяца, но случай не далъ дѣлу затянуться и такъ долго.

Маркиза въ это время, за отсутствіемъ всякой гражданской дѣятельности, страдала необузданнымъ стремленіемъ благодѣтельствовать.

— Какъ-таки держать молодую бабочку взаперти? — говорила она всѣмъ и каждому при разспросахъ о пріѣздѣ Розановой.

Лиза при этихъ разговорахъ обыкновенно молчала; да она и довольно рѣдко видалась теперь со всѣмъ углекислымъ гнѣздомъ.

Маркиза одинъ разъ освѣдомилась у Лизы, знаетъ ли она madame Розанову? но Лиза коротко отвѣчала, что не знаетъ.

— Какъ же это, онъ, стало-быть, и тамъ ее никому не показывалъ?—крикнула въ изступленіи маркиза. — Гаааа! Нэда! что жъ это такое? Это какой-то уѣздный Отелло: слышишь, онъ и тамъ никуда не пускалъ жену.

Репутація Розанова въ другихъ отношеніяхъ, однако, еще держалась, и въ силу того съ нимъ еще пока церемонились. Положено было только подрессировать его; мягкимъ образомъ заставить его дать женѣ «свободу и жизнь».

Но пока это ходило въ предположеніяхъ, къ которымъ, къ тому же, никто, кромѣ Рогнѣды Романовны, не изъ-

являлъ горячаго сочувствія, маркиза столкнулась у Богатыревой съ Ольгою Сергѣевной Бахаревой, наслушалась отъ той, какъ несчастная женщина бѣгала просить о защитѣ, додумала три короба собственныхъ словъ сильнаго значенія, и надъ Розановымъ грянулъ судъ, ошельмовавшій его заочно до степеней самыхъ невозможныхъ. Даже самый его либерализмъ ставился ему въ вину. Маркиза сопѣла, говоря:

— Либераль! вѣдь тоже либераль! жену тиранить и либераль.

Непонятно было, изъ-за чего такъ кипятилась маркиза, а ей случалось такъ кипятиться не въ рѣдкость. Словно муха злая ее укуситъ, такъ и лѣзетъ, какъ вѣтряная опухоль. Но, несмотря на все бѣснованіе, положено было все-таки дѣйствовать на Розанова осторожно: высвободить жертву тонко, такъ, чтобы тиранъ этого и не замѣтилъ. Даже предполагалось, что тиранъ еще можетъ до извѣстной степени исправиться.

— Вѣдь онъ не глупъ, говорила маркиза:—нужно ближе взять его въ наше общество; онъ увидитъ, какъ живутъ другіе, какъ живетъ Икаръ съ Марсичкой, и измѣнится.

Между тѣмъ къ Розанову, какъ онъ только попадался на глаза, приставали, чтобы онъ привелъ свою жену и дочку.

Думалъ, думалъ Розановъ и понималъ, что худая для него игра начинается, и повелъ Ольгу Александровну къ маркизѣ.

Послѣ перваго знакомства съ маркизою и феями, Ольга Александровна начала къ нимъ учащать и учащать. Ее тамъ нѣжили и ласкали, и она успѣла ужъ разсказать тамъ всѣ свои несчастія.

Маркиза и феи, слушая ее, только дивились, какъ можно было столько лѣтъ прожить съ такимъ человѣкомъ, какъ Розановъ.

Ольга Александровна тоже стала этому удивляться, и дома опять началась старая пѣсня, затѣвавшаяся по поводу тяжелыхъ стульевъ «убоищъ» и оканчивавшаяся тѣмъ,

какъ добрые люди «женамъ все доставляютъ, а есть и подлецы, которые...» Выходило обыкновенно, что всѣ подлецы всегда живутъ именно такъ, какъ живетъ Розановъ.

Розановъ нашъ засмутился: чуялъ онъ, что дѣло плохо.

Впрочемъ, Ольга Александровна иногда бывала и довольно благодушна; но въ ней зато начали обнаруживаться самовластіе и упрямство.

Разъ приходитъ Розановъ домой, а Ольга Александровна тихо и мирно ему объявляетъ, что они переходятъ на другую квартиру.

— Какъ на другую квартиру? Куда?—освѣдомился Розановъ.

— Въ домѣ, гдѣ живетъ маркиза, я наняла квартиру и лучше, и дешевле,—отвѣчала Ольга Александровна.

Розановъ хотѣлъ было поудержать жену отъ этого перехода, но квартира, дѣйствительно, была и лучше, и дешевле. Ольга Александровна съ видомъ крайней покорности сообщила маркизѣ, что мужъ ея не хочетъ брать этой квартиры, пошли толки, и Розановъ уступилъ.

Черезъ нѣсколько дней онъ жилъ на новой квартирѣ, а еще чрезъ нѣсколько дней увидалъ, что онъ спеленутъ по всѣмъ членамъ и ему остается работать, смотрѣть, слушать и молчать.

Работы у него было много, а смотрѣть тоже было на что: Ольга Александровна дѣлала разныя чудеса и стала брать у Рогнѣды Романовны какіе-то уроки.

Феи дружно заботились о ея развитіи. Одна только Серафима Романовна стояла въ сторонкѣ, и хотя не одобряла Розанова, но не любила его и порицать въ глаза женѣ.

Розановъ и не оглянулся, какъ его смяли и стигостили. Онъ снова увидѣлъ себя въ переплетѣ крѣпче прежняго; но молчалъ.

Лобачевскій, возвратясь изъ Петербурга, съ удивленіемъ разспрашивалъ:

— Когда же это вы, Розановъ, женились?

— Да ужъ было такое время,—отвѣчалъ Розановъ, ста-

раясь сохранять видимое спокойствіе и даже нѣкоторую веселость.

Впрочемъ, разъ онъ прорвался при Лобачевскомъ и, помогая ему укладывать книги и препараты, которые тотъ перевозилъ въ Петербургъ, гдѣ получилъ новое мѣсто, сказалъ:

— Грустно мнѣ будетъ безъ васъ, Лобачевскій.

— Работайте, Розановъ.

— Да что работать?

— Всего лучше: полно вамъ лошачкомъ-то скакать. У васъ жена.

Поговорили на эту тему и договорились до того, что Лобачевскій сказалъ:

— Я видѣлъ, что ваша жена съ душкомъ, ну, да что жъ такое, женщины вѣдь всѣ сумасшедшія. А вы себѣ табакерку купите: она капризничать, а вы табачку понюхайте, да свое дѣло дѣлайте.

Лобачевскій уѣхалъ въ Петербургъ: прощались они съ Розановымъ по-дружески. Розановъ даже заплакалъ, цѣлуясь съ нимъ на дебаркадерѣ: иначе онъ не умѣлъ проститься съ человѣкомъ, который ему сталъ милъ и близокъ. Лобачевскій тоже поцѣловалъ Розанова теплыми устами.

По отъѣздѣ Лобачевскаго, для Розанова опустѣла даже и больница. Ему даже нерѣдко становилось жаль и своего уѣзднаго захолустья. Тамъ, бывало, по-крайней-мѣрѣ всѣ его знали; тамъ былъ Вязмитиновъ, веселый Зарницынъ, кроткій Петръ Лукичъ, привѣтливая, добрая Женни. Все тамъ было *свое*, какъ-то: нажгутъ дома, на происшествіе поѣдешь, лошадки фыркаютъ, обдавая тонкимъ облакомъ взметеннаго снѣга, ночь въ избѣ, на соломѣ, споръ съ исправникомъ, курьезные извороты прикосновенныхъ къ дѣлу крестьянъ, или ѣзда теплою вешнею ночью, проталины, жаворонки такъ и замираютъ, рѣя въ воздухѣ, или, наконецъ, еще позже, ѣдешь и думаешь... тарантасикъ подкидываетъ, а поле какъ посеребренное, и по немъ ходятъ то тяжелыя драхвы, то стальнокрылые стрепеты... А тутъ...

служба, потомъ дома игра въ молчанку или задиранье. Уйти? да и уйти некуда; въ театръ—часомъ денегъ нѣтъ; въ трактиръ—подло, да и скучно одному и, наконецъ, совѣстно. Ну, а пойдешь, попьешь чаю, и опять скучно. Маркиза и феи разжеваны до мякоти. Ребенокъ? Но онъ и занимался ребенкомъ, да и на этотъ разъ не умѣлъ всецѣло отдаться одному дѣлу. Табакерки онъ тоже не купилъ. О диссертаціи забылъ и думать. Что жъ ему оставалось? Лиза?.. совсѣмъ стала холодная: она имѣла на это свои причины. Ей жаль было Розанова, да больше всего все это ей гадко не въ мѣру стало.—«Ну, что это за люди?»—спрашивала она себя.

Ей тоже было нестерпимо скучно.

Бахаревское Мерево, переѣхавъ въ Москву, осталось тѣмъ же Меревомъ. Только дворнѣ да Софи стало повеселѣе: у нихъ общества поприбыло и разговоровъ поприбавилось, а Егору Николаевичу, Ольгѣ Сергѣевнѣ и Лизѣ все было то же. Егоръ Николаевичъ даже еще болѣе скучалъ въ Москвѣ, чѣмъ въ своемъ городѣ или въ Меревѣ. Онъ не сдѣлался ни членомъ, ни постояннымъ гостемъ никакого клуба, а сидѣлъ почти безвыходно дома и бесѣдовалъ только съ Богатыревымъ, который заходилъ къ нему по субботамъ и воскресеньямъ. Ольга Сергѣевна обмѣняла мать попадью на странницу Алену Лукьяновну; Софи женихалась и выѣзжала съ Варварою Ивановною, которая для выѣздовъ была сто разъ удобнѣе Ольги Сергѣевны, а Лиза... она опять читать начала и читала.

Зато ей и былъ ниспосланъ старый сюрпризъ: она ослѣпла.

Хуже этой муки Лизѣ трудно было изобрѣсти; исчезло послѣднее утѣшеніе—нельзя было читать.

Сидитъ она, сидитъ въ своей комнатѣ, заставляя горничную читать чуть не по складамъ, броситъ и сама возьмется; прочитаетъ полчаса, глаза болятъ, она и сойдетъ внизъ.

А внизу, въ трехъ парадныхъ, вѣчно пустыхъ комнатахъ,

тоже тошно. Лиза пойдетъ въ столовую и видитъ Елену Лукьяновну и слушаетъ все одинъ разговоръ Елены Лукьяновны о волшебствѣ, да о чудахъ.

— Чудо, мать моя, говоритъ Елена Лукьяновна: — въ Казанской губерніи разбойникъ объявился. Объявился и сталъ онъ народъ смущать. Идите, говоритъ, я поведу въ златыя обители. Стали его разстригивать, а онъ подъ землю. Какъ только офицеръ по своему скомандовалъ, а онъ подъ землю.

— Все влашебство, говорила Елена Лукьяновна: — Мужикъ былъ и на духъ хаживалъ, а тутъ его разстригнули, а онъ подъ землю. Офицеръ: «пали», а онъ подъ землю.

Ольга Сергѣевна удивляется.

— Теперь, продолжаетъ Елена Лукьяновна,—теперь два отрока сидѣли въ темницѣ, въ подводной, не забудь ты, темницѣ.

Слышитъ Лиза, какъ разсказчица сахарочку откусила.

— Ну, и сидѣли, и отлично они сидѣли. Крѣпость подводная со всѣхъ сторонъ; никуда имъ выйти невозможно.

— Да!—говоритъ Ольга Сергѣевна.

— Все отлично, такъ что же, ты думаешь, выдумали? «Дайте, говорятъ начальнику своему, дайте намъ свѣчечки кусочекъ». Доложили сейчасъ генералу, генералъ и спрашиваетъ:—«на что вамъ свѣчечки кусочекъ?»

— Это въ подводной крѣпости? — спрашиваетъ Ольга Сергѣевна.

— Тамъ, отвѣчаетъ странница, — «священную Библію», говорятъ, «почитать». Вѣдь разумѣй, что выдумать надо было. Ну, и дали. Утромъ приходятъ, а они ушли.

— Ушли?

— Ушли.

— Какъ же такъ?

— Такъ подъ водою и прошли.

— Съ огарочкомъ?

— Такъ съ огарочкомъ и прошли.

Слушаетъ все это Лиза равнодушно; все ей скучнѣе и скучнѣе становится.

«Гдѣ же эти люди?»—спрашиваетъ она нерѣдко себя.—«Что это за Бертольди такая еще? что это за чудовище?»—думаетъ Лиза.—«Вѣрно это лицо смѣлое и оригинальное».

А тутъ Елена Лукьяновна сидитъ да и разсказываетъ:

— Ну, ужъ, мать, былъ кіятеръ. Были мы въ суконныхъ баняхъ. Вспарились, сѣли въ передбанникъ, да и говоримъ, какъ его солдаты-то изъ ружьевъ растригнули, а онъ подъ землю. Странница одна и говоритъ: Онъ, говоритъ, опять по землѣ ходитъ. — Какъ, говоримъ, по землѣ ходитъ? — Ходитъ, говоритъ. А тутъ бабочка одна въ баню пошла, да какъ, мать моя, выскочитъ оттуда, да какъ гаркнетъ безъ ума, безъ разума: «мужикъ въ банѣ». Глянули, исправда онъ. Такъ и стоитъ такъ, то есть такъ и стоитъ.

— Боже мой!—простонала Ольга Сергѣевна.

— Да. Какъ женщины увидали, сичасъ въ разбродъ. Банчикъ сичасъ ворота. Мы подъ ворота. Ну, опять насъ загнали, — Трясемся. Чего, говоритъ, спужались? Говоримъ, влашебникъ ходитъ. Глядимъ, а она женскую рубашку одѣваетъ въ предбанникѣ.—Ну, барышня вышла. Вотъ грѣха-то набрались! Смерть. Ей-Богу смерть, что было: стриженая, ловкая какъ есть мужчина, Бертолева барышня называется.

— Экая мерзавка, — замѣчала Ольга Сергѣевна.

— Стриженая.

— Фуй.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Дѣвица Бертольди.

Лиза гуляла. Былъ одиннадцатый часъ очень погожаго и довольно теплаго дня.

Лиза обошла Патріаршіе пруды и хотѣла уже идти

домой, какъ изъ воротъ одного деревяннаго дома вышла молодая дѣвушка, въ драповомъ бурнусѣ и черномъ атласномъ капорѣ, изъ-подъ котораго спереди выглядывали клочки подстриженныхъ въ кружокъ золотистыхъ волосъ.

Дѣвушка шла довольно скоро, нѣсколько въ развалъ. Въ рукахъ у нея были двѣ книги, пачка папиросныхъ гильзъ, стклянка съ безцвѣтной жидкостью.

Поровнявшись съ Лизой, дѣвушка хотѣла ее обойти, но поскользнулась, уронила папиросныя гильзы и стклянку, которая тотчасъ же разбилась и пролилась.

Лиза инстинктивно нагнулась, чтобы поднять разбитую стклянку и гильзы.

— Не трогайте,—спокойно произнесла тонкимъ дискантомъ дѣвица.

— Я хотѣла поднять ваши гильзы.

— Нѣтъ, это ужъ ни на что не годится. Онѣ облиты ѣдкимъ веществомъ, ихъ теперь нельзя набивать. Какая досада! — окончила дѣвушка, отряхивая марселиновую юбку. — Это все прогоритъ теперь, продолжала она, указывая на брызги.

— Что-жъ это было въ этой стклянкѣ?

— Это была кислота для опытовъ.

— Скажите, пожалуйста, вы не mademoiselle Бертольди?—спросила, нѣсколько конфузясь, Лиза.

— Допустимъ-съ, что это такъ.

— Я слыхала о васъ.

— Бранятъ меня?

— Да... нѣкоторые.

— А васъ какъ зовутъ?

— Бахарева, — отвѣчала Лиза.

— Слыхала, Бычковъ говорилъ о васъ. Вы гдѣ живете?

— Я далеко.

— Зачѣмъ же вы идете сюда на Бронную? А впрочемъ, я не знаю, зачѣмъ я объ этомъ васъ спрашиваю.

— Я гуляю, — отвѣчала Лиза.

— Вы работаете надъ чѣмъ нибудь?

Лиза затруднилась отвѣтомъ.

— Я читаю, — отвѣчала она.

— Я теперь работаю надъ Прудономъ. Онъ часто завирается и надъ нимъ надо работать, да работать, а то сейчасъ загородитъ вздоръ. Вы знакомы съ Прудономъ?

— Только по журнальнымъ рецензіямъ.

— О! Наша спеціальность — доведеніе мысли до состоянія непроизводительности. Это фактъ.

— Ну, не все же пропадаетъ, — возразила Лиза.

— Фактъ.

— Я, впрочемъ, не читала Прудона.

— Зайдите ко мнѣ, я вамъ дамъ.

Лиза поблагодарила.

— Только работайте надъ нимъ, а не берите ничего на вѣру: у него тоже есть подлая жилка.

— У Прудона?

— Фактъ, зарѣшила Бертольди и, остановясь у калитки одного грязнаго двора въ Малой Бронной, сказала: — входите.

Лиза вошла во дворъ, за нею перешагнула Бертольди.

— Прямо!—сказала она, направляясь къ флигелю съ мезониномъ.

Лиза пошла за Бертольди на деревянное крылечко, съ котораго онѣ поднялись по покосившейся деревянной лѣстницѣ въ мезонинъ.

Бертольди отворила дверь и опять сказала:

— Входите.

Лиза очутилась въ довольно темной передней, изъ которой шло нѣсколько тонкихъ досчатыхъ дверей, оклеенныхъ обоями. Одна дверь была отворена и въ ней виднѣлась кухня.

— Акулина Ивановна дома?—крикнула ни къ кому не относясь Бертольди.

— Нѣтути, ушедчи, съ полчаса будетъ какъ ушедчи,— отвѣчалъ женскій голосъ изъ кухни.

— Досадно, проговорила Бертольди, и сейчасъ же добавила:—поставьте, Елена, мнѣ самоваръ, я ѣсть хочу.

Бертольди отворила дверь, которой Лиза до сихъ поръ вовсе не замѣчала, и ввела свою гостью въ маленькую, довольно грязную комнатку съ полукруглымъ окномъ, задернутымъ до половины полинялою ситцевою занавѣскою.

— Кореневъ!—крикнула она, стукнувъ рукою въ сосѣднюю дверь.

— Асиньки!—отозвался мужской голосъ.

— Есть у васъ гильзы?

— Имѣемъ.

— Доставьте нѣкоторое количество.

— Гутъ.

Между тѣмъ Лиза оглядѣлась.

Комната Бертольди была непредставительна и не отличалась убранствомъ.

Въ углу, между сосѣднею дверью и круглою желѣзною печью, стояла узкая деревянная кроватка, закрытая стеганымъ бумажнымъ одѣяломъ; развернутый ломберный столъ, на которомъ валялись книги, листы бумаги, высыпанный на бумагу табакъ, половина булки и тарелка колотаго сахару со сверточкомъ чаю; три стула, одно кресло съ засаленной спинкой и ветхая этажерка, на которой опять были книги, бумаги, картузикъ табаку, человѣческій черепъ, акушерскіе щипцы, колба, стеклянный сифонъ и лакированный поясъ съ бронзовою пряжкой.

Гардероба Бертольди было вовсе не замѣтно. Въ уголку, на деревянной вѣшалкѣ, висѣло что-то въ родѣ люстриноваго платья и полотенца, но ни запасной юбки, ничего прочаго, повидимому, не имѣлось.

Бурнусъ свой и капоръ Бертольди какъ вошла, такъ и бросила на кровать и не трогала ихъ оттуда.

— А у меня какая досада, начала она, встрѣчая отворившаго дверь рослаго студента:—пролила acidum nitricum, что далъ Суровцовъ.

— Ну!—воскликнулъ студентъ, не затворяя за собою двери.

— Фактъ, вотъ и свидѣтельница. Да! знакомьтесь: студентъ Кореневъ, естественникъ, и дѣвица Бахарева.

Студентъ и Лиза холодно поклонились другъ другу.

— Въ Прудона безусловно вѣритъ,—произнесла Бертольди, показывая на Лизу и уходя изъ комнаты.

Студентъ дунулъ въ гильзу и началъ набивать себѣ папироску.

Бертольдя возвратилась съ бутылкою молока и ломтемъ хлѣба.

— Хотите?—спросила она Лизу.

Та поблагодарила.

— А вы?—отнеслась она къ Кореневу.

Тотъ тоже отказался.

— А что сходка?—спросила студента Бертольди.

— Что сходка?—переспросилъ студентъ.

— Когда будетъ?

— Не знаю.

— Да вѣдь третьягодня оповѣщали.

— Ну, она и была вчера.

— Какая подлость! Зачѣмъ же вы мнѣ не сказали?

— Такъ не сказалъ,—отвѣчалъ спокойно студентъ.

— Вы, можетъ быть, такъ же поступите, когда состоится опытъ?

— Нѣтъ, не поступлю.

— Вы имѣете понятіе объ искусственномъ оплодотвореніи?—отнеслась Бертольди къ Лизѣ, жуя и прихлебывая изъ бутылки.

— Нѣтъ,—отвѣчала Лиза.

— Это очень интересный опытъ. Онъ у насъ будетъ производиться на одной частной квартирѣ надъ кроликами. Ни одного ученаго генерала не будетъ. Хотите видѣть.

Лиза не знала что отвѣчать.

— Я думаю, что это для меня будетъ безполезно: я вѣдь не имѣю нужныхъ свѣдѣній для того, чтобы судить

объ этомъ опытѣ, — проговорила она, скрывая застѣнчивость.

— Это пустяки. Вы заходите къ намъ какъ нибудь въ это время; у Коренева есть отличный препаратъ; онъ вамъ разскажетъ все обстоятельно и объяснитъ, что нужно знать при опытахъ.

Студентъ и Лиза не сказали при этомъ ни слова.

— Или вы работаете исключительно надъ гуманными науками? продолжала Бертольди.—Гуманныя науки сами по себѣ однѣ ничего не значатъ. Всему корень матерія. Въ нашъ вѣкъ нельзя быть узкимъ спеціалистомъ. Я недавно работала надъ Прудономъ, а теперь занимаюсь органической химіей, переводами и акушерствомъ.

— Вы что̀ переводили изъ Прудона?—спросила Лиза.

— Я не переводила Прудона. Я перевожу тутъ для одного пошляка-редактора кое-что въ газету, изъ насущнаго хлѣба. А кстати, чтобъ не забыть о Прудонѣ,—вотъ онъ подъ табакомъ.

Лиза поблагодарила и взяла книгу.

— Вы заходите, мы вами займемся, сказала прощаясь съ нею, Бертольди.—Бычковъ говорилъ, что у васъ есть способности. Вамъ для вашего развитія нужно близко познакомиться съ Бычковымъ; онъ не откажется содѣйствовать вашему развитію. Онъ талантъ. Его теперешнюю жену нельзя узнать, что онъ изъ нея сдѣлалъ въ четыре мѣсяца, а была совсѣмъ весталка.

Лиза ушла домой съ Прудономъ и черезъ пять дней понесла его назадъ Бертольди.

Скоро они близко познакомились, и чѣмъ усерднѣе углекислыя феи порицали стриженую барышню, тѣмъ быстрѣе шло ея сближеніе съ Лизой, которой въ существѣ Бертольди вовсе не нравилась.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Независимая пора.

Такъ жили наши знакомые не весело и разъединенно до самой весны, а весна пришла хорошая и ранняя. Еще какъ только солнышко стало нагрѣвать и начались просовы,—пошли толки и предположенія насчетъ лѣта. Сергѣй Сергѣевичъ Богатыревъ Христомъ Богомъ умолялъ сестру и Егора Николаевича не возвращаться домой, а прожить лѣто у него въ подмосковной и потомъ на зиму остаться опять въ Москвѣ. Егоръ Николаевичъ поупрямился было, но его дружнымъ нападеніемъ сбили съ пункта: согласился. Лиза осталась въ Москвѣ, потому что ея глаза требовали леченія и потому, что она терпѣть не могла своей тетки, точно такъ, какъ та не любила ея. Сонюшку же Варвара Ивановна непремѣнно обѣщалась выдать замужъ за богатаго сосѣда.

Феи тоже уѣзжали на лѣто въ свою небольшую деревушку въ Калужской губерніи и брали съ собою Ольгу Александровну съ ребенкомъ.

Розановъ былъ ко всему этому совершенно равнодушенъ; онъ даже радовался, что останется на нѣкоторое время одинъ.

Ярославцевъ съ Ольгой Александровной отъѣхалъ въ первыхъ числахъ мая, а пятнадцатаго мая уѣхали и Богатыревы съ Бахаревыми. Лиза осталась одна съ дѣвушкой.

Въ опустѣвшихъ домахъ теперь пошла новая жизнь. Розановъ, проводивъ Бахаревыхъ, въ тотъ же день вечеромъ зашелъ къ Лизѣ и просидѣлъ долго за полночь. Говорили о многомъ, и по-прежнему пріятельски, но не касались въ этихъ разговорахъ другъ друга.

На другой день Розановъ, зайдя къ Лизѣ, засталъ у нея Бертольди, съ которой они познакомились безъ всякихъ церемоній, и знакомство это скоро сблизило ихъ до весьма короткихъ пріятельскихъ отношеній, такъ что Розановъ шутя

подтрунивалъ надъ Бертольди, какъ она перепугала бабъ въ банѣ и даже называлъ ее въ шутку злосчастной Бертольдинькой.

Бертольди не умѣла держать себя постоянно въ роли и открывала много довольно смѣшныхъ сторонъ, надъ которыми и Розановъ и даже Лиза изрѣдка позволяли себѣ подсмѣиваться.

Прошла еще недѣлька и Лизинъ кружокъ увеличился еще однимъ новымъ лицомъ. Лиза случайно встѣтилась съ однимъ своимъ старымъ институтскимъ другомъ, Полинькой Рѣжневой, которая двумя годами ранѣе Лизы окончила курсъ, и уже успѣла выйти замужъ за нѣкоего отставного корнета Калистратова. Особа эта была молода и не столько хороша собою, сколько изящна своею граціозною простотою. Она была высокая, очень тоненькая блондинка, съ черными глазами, розовымъ прозрачнымъ лицомъ, гибкою таліею и необыкновенно мягкими бѣлыми ручками. Въ лицѣ Полиньки Калистратовой, какъ называла ее Лиза, преобладало передъ всѣмъ выраженіе не грустное, а какое-то несчастное. Впечатлѣніе, производимое ея лицомъ, еще болѣе поддерживалось звукомъ Полинькинаго голоса. Она говорила мягкимъ, разбитымъ голосомъ, такимъ голосомъ, какимъ люди начинаютъ говорить, обмогаясь послѣ остраго воспаленія легкихъ.

Полинька Калистратова, въ самомъ дѣлѣ, была женщина очень несчастная. Довольно богатая сирота, она, выйдя изъ института, очутилась въ домѣ своего опекуна и дяди: прожила тамъ съ полгода и совершенно несмыслимо вышла замужъ за корнета Калистратова, которому приглянулась на коренской ярмаркѣ и которому была очень удобна для поправленія его до крайности разстроеннаго состоянія. Полинька сама не знала, любила ли она своего мужа, но ей было его жаль, когда вскорѣ послѣ свадьбы она стала слышать о немъ самые дурные отзывы. Полинька болѣе всѣхъ слышала такіе отзывы отъ тѣхъ самыхъ своихъ дядей, которые общими усиліями устраивали ея свадьбу съ Кали-

стратовымъ, и приписывала большинство дурныхъ толковъ о мужѣ злобѣ дядей, у которыхъ Калистратовъ, наступя на горло, отбиралъ каждую порошинку, принадлежавшую Полинькѣ. Но вскорѣ ей самой стало очень не нравиться поведеніе мужа: онъ все водился съ какими-то странными героями; въ домѣ у нихъ никто почти не показывался, а самъ мужъ нисколько не заботился восполнить одиночество Полиньки и леталъ Богъ знаетъ гдѣ, исчезая на цѣлыя недѣли. Наконецъ, на домъ ихъ стали цѣлою оравою наѣзжать «владѣльцы троекъ удалыхъ и покровители цыганокъ»; пошла игра, попойки, ночной развратъ, дневное спанье и домъ превратился въ балаганъ коренской ярмарки.

Полинька долго плакала молча и скрывала отъ мужа свое страданіе.

Въ одну ночь мужъ подошелъ къ ея постели со свѣчей и листкомъ бумаги и заставилъ ее подписать свое имя подъ его подписью.

— Что такое это?—спросила трепещущая Полинька, принимая перо изъ рукъ мужа.

— Подписывай скорѣе,—это пустое.

— Да что же такое?

— Ну, что ты за меня ручаешься.

Полинька вздохнула и подписала.

Это было за два мѣсяца передъ тѣмъ, какъ Полинька сдѣлалась матерью.

Съ появленіемъ ребенка, Полинька стала смѣлѣе и нѣсколько разъ пыталась остановить мужа, но это уже не имѣло никакого значенія.

Калистратовъ давно велъ большую игру и, спустивъ все свое состояніе, ухнулъ болѣе половины Полинькинаго.

Полинькѣ написалъ дядя, чтобы она береглась, что она скоро будетъ нищею. Она попробовала отказаться отъ подписи новыхъ векселей; Калистратовъ взбѣсился, открылъ окно и сказалъ, что сейчасъ выкинетъ ребенка.

Полинька подписала вексель на все свое состояніе и къ утру былая нищая.

Съ тѣхъ поръ мужъ обращался съ нею звѣремъ. Вѣчно пьяный, онъ выгонялъ ее ночью изъ дома, грозился раздавить голову ребенку, обзавелся солдаткой, но никуда не выѣзжалъ.

Жизнь Полиньки была невыносима: умъ ея словно присохъ и она жила, не видя никакого выхода изъ своего печальнаго положенія.

Между тѣмъ, мужъ ея вдругъ поправился: отрезвился, сталъ снова разъѣзжать, привозя каждый разъ довольно цѣнные подарки женѣ и ребенку.

Полинька не понимала, что это значитъ, и не смѣла ни о чемъ спросить мужа.

Наконецъ все разрѣшилось: въ одно прелестное утро все имѣніе Полиньки описали въ удовлетвореніе кредиторовъ, представившихъ векселя Калистратова, съ поручительною подписью его жены. Полинька сознала свою подпись, долги мужа превышали ея состояніе и ее выгнали изъ ея имѣнія.

Они переѣхали въ городъ, но не успѣла Полинька здѣсь осмотрѣться, какъ мужа ея взяли въ острогъ за составленіе и выдачу фальшивыхъ векселей.

Полинька осталась одна съ ребенкомъ.—Къ дядямъ она не хотѣла возвращаться и быть имъ обязанной.

Оставались у нея еще маленькія деньжонки и вещицы. Полинька подумала, погадала и открыла маленькую гостинницу для пріѣзжающихъ.

Дѣло у нея кое-какъ пошло и при ея неутомимыхъ стараніяхъ обѣщало ей сдѣлаться дѣломъ очень выгоднымъ. Но въ это же время окончился судъ надъ мужемъ.

Калистратовъ, по недостатку дозазательствъ, былъ освобожденъ изъ острога и оставленъ въ сильномъ подозрѣніи.

Оставаясь въ городѣ, онъ сталъ осаждать Полиньку безпрерывными требованіями вспомоществованія, приходилъ къ ней, заводилъ дебошъ и, наконецъ, обратился къ полиціи съ требованіемъ обязать жену къ совмѣстному съ нимъ сожительству.

Въ Полинькѣ нѣкоторыя губернскія власти приняли уча-

стіе, наскоро свертѣли передачу ея гостинницы другому лицу, а ее самоё съ ребенкомъ выпроводили изъ города. Корнету же Калистратову было объявлено, что если онъ хоть мало-мальски будетъ безпокоить свою жену, то немедленно будетъ начато дѣло о его жестокомъ обращенін съ нею и о неоднократномъ его покушеніи на жизнь ребенка.

Корнетъ утихомирился и куда-то изчезъ, такъ что и слуха о немъ не было, а Полинька явилась со своимъ сыномъ въ Москву, придумывая, за что бы взяться и чѣмъ жить.

У нея теперь оставались ужъ самыя ничтожныя деньги.

Съ наступленіемъ весны, Полинька пріютилась въ одной комнатѣ въ Сокольникахъ и стала работать чепчики на одну лавочку въ Ножевой линіи.

Работа эта была меледа, игра не стоющая свѣчъ; но Полинька все-таки работала и жила нуждно и одиноко, не имѣя въ виду ничего лучшаго.

Знакомыхъ у нея никого не было; ребенокъ часто хворалъ.

Въ такомъ-то положеніи Полинька Калистратова встрѣтилась съ Лизой и очень ей обрадовалась.

— Тебя нельзя узнать, Полинка!—говорила ей Лиза.

— Ахъ, мой другъ! Поживи съ мое, такъ и сама себя не узнаешь!—отвѣчала Полинька.

— Да много ли ты меня старше? Три, четыре года какіе нибудь?

— Горе, другъ мой, а не годы считать надо.

— Ты очень несчастлива?

— Я очень несчастлива.

— Гдѣ же твой мужъ?

— Не знаю: можетъ быть въ острогѣ, можетъ быть въ кабакѣ, можетъ быть въ каторгѣ,—ничего я о немъ не знаю и на все готова.

Разсказывать о своемъ несчастіи Полинька не любила и уклонялась отъ всякаго разговора, имѣющаго что нибудь общее съ ея судьбою. Поэтому, познакомясь съ Розановымъ, она тщательно избѣгала всякой рѣчи о его положеніи, и не говорила о себѣ ничего никому, кромѣ Лизы, да и той ска-

зала только то, что мы слышали. что невольно сорвалось при первомъ свиданіи.

Полинька была довольно умна и еще болѣе благоразумна, горда и несловоохотлива.

Таково прошлое и таковъ въ общихъ чертахъ характеръ этого новаго лица. Лиза познакомила Полиньку и съ Бертольди, и Полинька пришлась по нраву Бертольди, которой она нравилась болѣе какъ лицо подлежащее развитію. Онѣ навѣстили разъ Полиньку въ Сокольникахъ и вздумали сами переѣхать на дачу.

Не успѣлъ Розановъ услыхать объ этомъ предположеніи, которое онъ вполнѣ одобрялъ, какъ узналъ, что Бертольди уже слетала и наняла двѣ комнаты въ Богородицкомъ.

Дача была отвратительная, на голомъ косогорѣ, подъ вѣчнымъ солнечнымъ припекомъ.

Городской квартиры Бахаревыхъ нельзя было оставить совсѣмъ пустою и Лиза переѣхала на дачу съ одною Бертольди.

Отношенія Лизы къ Бертольди были таковы, что хотя Бертольди при ней была совершенно свободна и ничѣмъ не стѣснялась, но она не получила не только никакого вліянія на Лизу, а, напротивъ, даже сама на нее посматривала. Можетъ быть, это въ значительной степени происходило и оттого, что у Лизы были деньги, и Бертольди чувствовала, что живетъ на ея счетъ.

Какъ только переѣхали Лиза съ Бертольди, Розановъ немедленно отправился навѣстить ихъ и остался очень недоволенъ ихъ дачею.

Лиза тоже была сю недовольна, но молчала, а Розановъ раскорилъ ее ни къ стру, ни къ смотру.

Дѣйствительно, дача была изъ рукъ вонъ гадкая.

Бертольди никакъ не хотѣла съ этимъ согласиться, надулась на Розанова и ушла за досчатую переборку.

— Бертолина! гдѣ вы скрылись?—позвалъ Розановъ, вовсе не подозрѣвая, что она обидѣлась.

Бертольди не отвѣчала.

— Прощайте, Бертольдинька,—сказалъ Розановъ, уходя вмѣстѣ съ Калистратовою, которую вызвался проводить до Сокольниковъ.

— Я васъ прошу не фамильярничать со мною, рѣзко отозвалась Бертольди.

Лиза улыбнулась и проводила своихъ гостей.

— Что это она разсердилась, кажется?—спросилъ Калистратову Розановъ, когда они вышли.

— Разумѣется.

— За что же?

— Не знаю; она вѣдь смѣшная.

Для Калистротовой Бертольди была только *смѣшная*.

О Розановѣ она думала хорошо: ей нравилось, что онъ говоритъ, большею частію, дѣло и знаетъ людей не по писанному.

Навѣстивъ еще раза два дачницъ, Розановъ прельстился ихъ жизнью и рѣшилъ самъ перебраться изъ города. Онъ раздобылся за недорогую цѣну на все лѣто незавидною верховою лошадкою, чтобы ѣздить въ больницу, и поселился въ Сокольникахъ неподалеку отъ Полиньки.

Докторъ ожидалъ, что они своимъ маленькимъ кружечкомъ превесело проведутъ лѣто и наберутся силы на повтореніе пережитой зимней скуки, суши и дрязгъ.

Отчего-жъ было на это и не надѣяться?

Но, однако, это не такъ вышло. Лиза жила, отдыхая довольно спокойно, и Богъ знаетъ, что она думала. Она была порою очень весела, порою довольно зла, и презрительно начала выражаться о чрезвычайно большомъ числѣ людей, и даже нерѣдко подтрунивала и надъ общимъ человѣческимъ смысломъ. Вообще, возобновивъ прежнее близкое знакомство съ Лизой, Розановъ сталъ замѣчать въ ней какакія-то странныя противорѣчія самой себѣ. То она твердо отстаивала то, въ чемъ сама сомнѣвалась; то находила удовольствіе оставлять подъ сомнѣніемъ то, чему вѣрила; читала много и жаловалась, что всѣ книги глупы; задумывалась и долго смотрѣла въ пустое поле, смотрѣла такъ,

что не было сомнѣнія, какъ ей жаль кого-то, какъ ей хотѣлось бы что-то облегчить, поправить,—и сейчасъ же на языкѣ насмѣшка, часто холодная и непріятная, насмѣшка надъ чувствомъ и надъ людьми чувствительными. Потомъ въ Лизѣ было равнодушіе, такое равнодушіе, что ей все равно, что около нея ни происходитъ; но вдругъ она во что-нибудь вслушается, во что нибудь всмотрится и ни съ того, ни съ сего приметъ въ этомъ горячее участіе, тогда какъ собственно дѣло ея нимало не интересуетъ, и она ему болѣе не сочувствуетъ, чѣмъ сочувствуетъ.

Такъ она, напримѣръ, вовсе не имѣла опредѣленнаго плана, какой характеръ придать своему лѣтнему житью въ Богородицкомъ, но ей положительно хотѣлось прожить потише, безъ тревогъ,—просто отдохнуть хотѣлось. Бертольди же не искала такой жизни и подбивала Лизу познакомиться съ ея знакомыми. Она настаивала позвать къ себѣ на первый разъ хоть Бычкова, съ которымъ Лиза встрѣчалась у маркизы и у Бертольди.

Настаивала Бертольди на этомъ до тѣхъ поръ, пока Лиза, думая о чемъ-то другомъ, проговорила: да дѣлайте, Бертольди, какъ знаете.

Бертольди тотчасъ сѣла къ столу и начала писать. Сочиненіе у нея не ладилось и она разорвала нѣсколько записокъ.

Въ это время къ Лизѣ зашли Калистратова и Розановъ, который обыкновенно провожалъ Полиньку въ Богородицкое.

Бертольди кивнула головою пришедшимъ и спѣшно докончила свою записку.

Послѣдняя редакція ей нравилась.

— Слушайте, Бахарева, что я написала, сказала она вставши и прочла вслухъ слѣдующее: «Мы живемъ самостоятельною жизнью и, къ великому скандалу всѣхъ маменекъ и папенекъ, набираемъ себѣ знакомыхъ порядочныхъ людей. Мы знаемъ, что ихъ немного, но мы надѣемся сформировать настоящее общество. Мы войдемъ въ сношенія съ Красинымъ, который живетъ въ Петербургѣ и о кото-

ромъ вы знаете: онъ дастъ намъ письма. Мѣтя на васъ, *только какъ на порядочнаго человѣка*, мы предлагаемъ быть у насъ въ Богородицкомъ, съ того угла въ домѣ Шуркина». Хорошо?

— Что это такое?—спросилъ Розановъ.

— Письмо,—отвѣчала, не обращая на него вниманія, Бертольди.

— Знаю, что письмо, да къ кому же это такое торжественное письмо?

— Вамъ оно не нравится?

— Нѣтъ, напротивъ, это въ своемъ родѣ совершенство, но къ кому же это?

— Къ Бычкову.

Розановъ засмѣялся.

— Дайте-ка письмо,—сказала Лиза.

Бертольди подала ей листокъ.

— Да, письмо очень хорошо написано,—сказала Лиза, возвращая листокъ Бертольди.

— Помилуйте, Лизавета Егоровна, что за охота давать на себя такіе документы!—возразилъ Розановъ.

— Какіе документы? Что это такое *документы?*—съ гримаской спросила Бертольди.—Кого это можетъ компрометировать? Намъ надоѣла шваль, мы ищемъ порядочныхъ людей,—и только. Что-жъ, пусть всѣ это знаютъ: не генерала же мы къ себѣ приглашаемъ.

— Да не то-съ, а зачѣмъ это—«къ скандалу всѣхъ маменекъ и папенекъ», зачѣмъ этотъ Красинъ?...

— Такъ.

— Да зачѣмъ же? Вы вѣдь съ Бычковымъ давно знакомы: можете просто пригласить его и только. Къ чему же тутъ все это путать? И то, что вы его приглашаете «только какъ порядочнаго человѣка» совсѣмъ лишнее. Неужто онъ такъ глупъ, что истолкуетъ ваше приглашеніе какъ-нибудь иначе, а это письмо просто васъ компрометируетъ своею...

— Глупостью, вы хотите сказать? — перебила его Бертольди.

— Нѣтъ, письмо очень хорошо, спокойно произнесла Лиза:—пошлите его завтра или запечатайте. Дмитрій Петровичъ броситъ его завтра въ ящикъ.

Розановъ пересталъ возражать, но ему это было непріятно, ему казалось, что начнутся разныя знакомства, одинъ по одному найдетъ народу, изъ сообщества котораго едва ли выйдетъ что нибудь хорошее, а Лизѣ это не обойдется безъ большихъ непріятностей отъ родства и свойства.

Розановъ, спустя нѣкоторое время, замѣтилъ это Лизѣ; но она сказала:

— Не безпокойтесь напрасно, Дмитрій Петровичъ; я такъ хочу и такъ сдѣлаю.

— То-то и дѣло, Лизавета Егоровна, что вы этого даже и не хотите, а дѣлаете.

— Это, однако, смѣшно,—отвѣчала иронически Лиза.

Розановъ такъ и оставилъ.

Черезъ нѣсколько дней Розановъ засталъ у Лизы Бычкова и съ его женою.

Подруга Бычкова была вдвое его моложе: ей было лѣтъ девятнадцать. Это была простенькая, миловидная и добродушная московская швейка, благоговѣющая передъ его непонятными словами и неумѣющая никакъ опредѣлить себѣ своего положенія. Ее всѣ звали просто Стешей, какъ звали ее, когда она училась въ магазинѣ.

Въ Бычковѣ, послѣ окончанія московскаго революціоннаго періода, произошла весьма рѣзкая перемѣна. Онъ теперь не свирѣпствовалъ, а все поучалъ всѣхъ, и тонъ крайне грозный измѣнилъ на тонъ крайне наглый.

— Я ужъ васъ разовью непремѣнно, говорилъ онъ, косоротясь и развалившись противъ Лизы. — Вы только должны идти неуклонно по дорогѣ, которую я вамъ буду показывать. Вы тутъ, все равно, ничѣмъ не рискуете: я вѣдь всѣхъ умныхъ людей знаю. Ну, есть умнѣе меня два,

ну три, ну четыре, наконецъ, человѣка, да и только. Да и то гдѣ они? Въ Лондонѣ одинъ, въ Петербургѣ одинъ, ну даже хоть два, да въ Парижѣ одинъ и тотъ завирается, да и всѣ они завираются. А здѣсь и ихъ нѣтъ. Здѣсь я одинъ, и вы, стало быть, ничѣмъ не рискуете, ввѣряя мнѣ свое развитіе.

— Фу ты чортъ возьми, что-жъ это за наглость?—говорилъ Розановъ, идучи домой съ Калистратовою, послѣ двухчасового наслажденія новымъ краснорѣчіемъ Бычкова.

— Очень смѣшно,—замѣчала Полинька.

Предчувствія Розанова сбылись. Въ двѣ недѣли домика Лизы ужъ узнать было невозможно: Бычковъ любилъ полныя аудиторіи, и у Лизы часто недоставало чайныхъ стакановъ.

Бѣлоярцевъ, молодой маркизъ, оставшійся единственною особою въ Москвѣ, студентъ Кореневъ, нѣкій студентъ Незабитовскій (изъ богородицкихъ дачниковъ), и вообще всѣ уцѣлѣвшія особы разсыпавшагося кодла стали постоянно стекаться къ Лизѣ на ея вечерніе чаи и засиживались долго за полночь, препровождая время въ преніяхъ, или, чаще всего, въ безмолвномъ слушаніи Бычковскихъ лекцій.

Розанова это общество стало утомлять и становилось ему досаднымъ, тѣмъ болѣе, что среди Бычковскихъ разглагольствованій, Розанову часто-часто случалось подмѣчать выраженіе несносной скуки и усталости на молодомъ, не живя отживающемъ личикѣ Лизы.

Къ тому же, Бертольди при всѣхъ разсказала Бычкову, что Розановъ уговаривалъ Лизу не приглашать его.

Розанову это было очень непріятно и онъ сдѣлалъ Бертольди замѣчаніе, что это не годится.

— Отчего же? — возразила Бертольди. — Надо всегда жить такъ, чтобы не было секретовъ. Если вы считаете его дурнымъ человѣкомъ, такъ говорите въ глаза, а не интригуйте.

Розановъ только порою сердился на Бертольди, а то

болѣе относилея къ ней весело и шутя; но она его уже очень недолюбливала, и скоро вдругъ совсѣмъ возненавидѣла.

Случилось это такимъ образомъ: Лиза возвратила Розанову одну книгу, которую брала у него за нѣсколько времени. Розановъ, придя домой, сталъ перелистывать книгу и нечаянно нашелъ въ ней листокъ почтовой бумаги, на которомъ рукою Бертольди, съ особеннымъ тщаніемъ были написаны стишки. Розановъ прочелъ сверху «*Рай*» и, не видя здѣсь ничего секретнаго, сталъ читать далѣе:

«Какъ все небесное прекраснѣй,
Мы ужъ привыкли отличать,
Такъ сладострастье сладострастнѣй
Въ раю мы въ правѣ ожидать,
И Магометъ, пророкъ и геній,
Недаромъ эту мысль развилъ,
Для лучшихъ рая наслажденій
Туда онъ гурій насадилъ».

— Чортъ знаетъ, что за гадость такая! — воскликнулъ, разсмѣявшись, Розановъ:—вѣдь это она вѣрно сама такую чепуху сочинила, и Розановъ, не посмотрѣвъ болѣе на листокъ, спряталъ его въ свой бумажникъ, чтобы отдать Бертольди.

При первомъ же свиданіи, Розановъ вынулъ бумажку и подалъ Бертольди.

— Что это такое?—спросила она.

— Стишки,—отвѣчалъ Розановъ.

— Вѣчныя пошлости!

— Да возьмите, вамъ говорятъ: это ваши стихи.

Бертольди отвернулась.

— Ну-те-ка, покажите,—произнесъ Бычковъ и безцеремонно выдернулъ сложенный листокъ изъ рукъ Розанова, развернулъ и сталъ читать: «Рай православныхъ и рай Магомета».

Всѣ хохотали, а Бертольди хранила совершенное спокойствіе; но когда Бычковъ перевернулъ бумажку и прочелъ: «А. Т. Кореневу на память, Елена Бертольди», Бер-

тольди, по женской логикѣ, разсердилась на Розанова до послѣдней степени.

— То-то Бертольдинька, надо всегда жить такъ, чтобы не было никакихъ секретовъ,—говорилъ ей Розановъ, повторяя въ шутку ея собственныя слова.

Бертольди его возненавидѣла.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Старый другъ.

По поводу открытой Бычковымъ приписки на «раѣ Магомета» у Лизы задался очень веселый вечеръ. Переходя отъ одного смѣшного предмета къ другому, гости засидѣлись такъ долго, что когда Розановъ, проводивъ до воротъ Полиньку Калистратову, пришелъ къ своей калиткѣ, былъ уже второй часъ ночи.

Входя въ свою комнату, Розановъ на самомъ порогѣ столкнулся въ темнотѣ съ какою-то фигурою и, отскочивъ, крикнулъ:

— Кто это?

— Дмитрій! душа! здравствуй!—отозвался голосъ, котораго Розановъ никакъ не узналъ сразу.

— Не узнаешь, не ждалъ, шельмецъ ты этакой! — продолжалъ гость, цѣлуя Розанова и сминая его въ своихъ объятіяхъ.

— Помада!—крикнулъ Розановъ.

— Онъ, онъ, братъ, самый!—отвѣчалъ Помада.

— Какъ это ты?

— Такъ, просто. Зажигай скорѣе огня.

— Что же ты-то сидишь въ потемкахъ?

— Да я, братъ, давно; я еще засвѣтло пріѣхалъ: все жду тебя. Такъ все ходилъ; славно здѣсь. Ну, ужъ Москва ваша!

— Что?

— Отличный, братецъ, городъ. Ѣхалъ, ѣхалъ, да и чортъ возьми совсѣмъ: дома какіе, — фу-ты, Господи! — Ну, что Бахаревы?

Розановъ зажегъ свѣчку.

— Ну, а ѣлъ ли ты что-нибудь?

— Голоденъ, братъ, какъ волкъ.

— Постой же, я разстараюсь чего-нибудь.

— И водочки, Дмитрій.

— Всего, если достану.

— Куда же ты пойдешь?

— Тутъ трактирчикъ есть: вѣрно отопрутъ сзади.

— Такъ пойдемъ вмѣстѣ; что-жъ я одинъ буду тутъ дѣлать. Ну, Москва!—говорилъ Помада, надѣвая сапоги, которые онъ снялъ, чтобы дать отдохнуть ногамъ.

— Экъ ты загорѣлъ-то какъ.

— Жаръ, братъ, пыль.

— Чего-жъ ты это пріѣхалъ?

— На каникулярное время, повидаться пріѣхалъ.

— А это, что-жъ это такое Сокольники? Деревня, что-ль это такая?—спрашивалъ Помада, выйдя за ворота и оглянувшись назадъ по улицѣ.

— Дача.

— Отлично, братъ, — ну ужъ городь! Ивана Великаго ямщикъ за пятнадцать верстъ показывалъ; непремѣнно надо будетъ сходить. Какъ же-то... ты мнѣ и не сказалъ: какъ Лизавета Егоровна?

— Да ничего; вотъ завтра вечеромъ пойдемъ къ ней.

— Они въ городѣ?

— Нѣтъ, тутъ на дачѣ.

— Отлично, — ну, я, братъ, утромъ долженъ сходить; вечеромъ нехорошо: цѣлый день пріѣхалъ, и вечеромъ идти. Я утромъ.

Розановъ проникъ заднимъ ходомъ въ заведеніе, набралъ тамъ посудину водочки, пару бутылокъ пива, бутербродовъ, закусокъ—въ родѣ крутыхъ яицъ и огурцовъ.

Черезъ пять минутъ Розановъ и Помада были дома.

Розановъ, тотчасъ по приходѣ домой, сталъ открывать водку и пиво, а Помада бросился въ уголъ къ крошечному старенькому чемоданчику, изъ разряда тѣхъ «конверти-

ковъ», которые нерѣдко покупаютъ по три четвертака за штуку солдатики, отправляющіеся въ отпускъ.

— Тутъ, братъ, я тебѣ привезъ и письма, и подарокъ отъ Евгеніи Петровны...

— О!

— Да, — и Лизаветѣ Егоровнѣ тоже... Ей, братъ, еще что,—я ей еще вотъ что привезъ! — воскликнулъ Помада, вскакивая и ударяя рукою по большой связкѣ бумаги.

— Что же это такое?

— Ага! Смотри.

Помада торопливо развязалъ шнурочекъ и сталъ перебирать и показывать Розанову тетрадь за тетрадью.

— «Вопросы жизни», Пирогова, — самъ списалъ изъ «Морского Сборника», она давно хотѣла ихъ; Кантъ «О чувствахъ высокаго и прекраснаго», — съ заграничнаго изданія списалъ; «Русскій народъ и соціализмъ», письмо къ Мишле,—тоже списалъ у Зарницына.

— У нея это есть печатное.

— О!

— Право, есть; да ты оставь, а вотъ ѣшь-ка пока.

— Сейчасъ. А вотъ это: Милль «О свободѣ», этого нѣтъ?

— Этого, кажется, нѣтъ.

— Ну, вотъ и отлично. Я, братъ, все, что у Зарницына могъ достать, все списалъ.

Розановъ со вниманіемъ смотрѣлъ на счастливаго Помаду.

— Добролюбова одна, двѣ, три, четыре, пять статей вырвалъ изъ «Современника» и переплелъ.

— Это же зачѣмъ?

— Дивныя, братецъ, статьи.

— Знаю; да вѣдь у нея есть это все.

— Есть?—досадно; ну, да все равно. Шевченки «Сонъ», Огарева, тутъ много еще...

— Ѣшь прежде.

— Сейчасъ. Видъ фотографическій изъ ея оконъ въ Меревѣ.

— Это ты какъ добылъ?

— А-а! То-то вы Помаду не хвалите. Фотографъ жидъ пріѣзжалъ; я ему пять цѣлковыхъ далъ и работки кое у кого досталъ,—онъ и сдѣлалъ.

— Сейчасъ и видно, что жидовская фотографія.

— Ну, а это?

— Евгеніи Петровны портретъ.

— Да, и тебѣ тоже прислала: все здѣсь уложено. Ну, а это?

— Да полно, ѣшь, сдѣлай милость.

— Нѣтъ, ты смотри.

— Нѣтъ, ужъ полно.

Розановъ взялъ новый узелокъ изъ рукъ Помады и, сунувъ его назадъ, закрылъ чемоданчикъ.

Помада выпилъ рюмку водки и съѣлъ нѣсколько яицъ.

— Ну, какъ же тамъ у васъ живется?—спросилъ Розановъ, когда гость его подкрѣпился и они принялись за пиво.

— Живемъ, братъ. Евгенія Петровна, знаешь вѣрно,—замужъ идетъ.

— Знаю.

— За Вязмитинова: онъ, братъ, въ гору пойдетъ.

— Это какъ?

— Какъ же,—его статью вездѣ расхвалили.

— Ну, это еще вилами писано.

— Нѣтъ, напечатано, и попечитель о немъ директора спрашивалъ.

— А старикъ?

— Плохъ, кашляетъ все, а ужъ Евгенія Петровна, я тебѣ скажу...

Помада поцѣловалъ свои пальчики.

— И такая-жъ добрая?

— Все такая-жъ. Ахъ!..

Помада вскочилъ, вынулъ изъ чемоданчика маленькій сверточекъ и, подавъ Розанову, сказалъ:

— Это тебѣ.

Въ сверточкѣ была вышитая картина для столоваго портфеля.

— Поцѣлуй,—это ея ручки шили.

— Спасибо ей, — сказалъ Розановъ и въ самомъ дѣлѣ поцѣловалъ картину, на которой долго лежали ручки Женни.

— О тебѣ, братъ, часто, часто мы вспоминали: на твоемъ мѣстѣ теперь такой лѣкаришка... гордый, интересанъ. Разъ не заплати,—другой не поѣдетъ.

— Вотъ это пуще всего,—сказалъ, смѣясь, Розановъ.

— Нѣтъ, таки-дрянь. А Зарницынъ, братъ! Вотъ баринъ какой сталъ: на лежачихъ рессорахъ дрожки, карета, арапа нанялъ.

— Ну-у!

— Право, арапа нанялъ. А скука у насъ... ужъ скука! У васъ-то какая прелесть!

— Да что тебѣ тутъ какъ нравится?

— Помилуй, братъ: чувствуешь себя въ большомъ городѣ. Жизнь кипитъ, а у насъ ничего.

— Эхъ, братъ, Юстинъ Феликсовичъ: надо, милый, дѣло дѣлать, надо трудиться, снискивать себѣ добрую репутацію, вотъ что надо дѣлать. Никакими форсированными маршами тутъ идти некуда.

— Ну, однако...

— Поживи, братъ, здѣсь, такъ и увидишь. Я все видѣлъ, и съ опыта говорю: некуда метаться. Россія идетъ своей дорогой, и никому не свернуть ее.

— А Лизавета Егоровна?

— Что это ты о ней при этой стати вспомнилъ?

— Да такъ; что она теперь какъ смотритъ?

Розановъ легъ на постель и долго еще разговаривалъ съ Помадой о Лизѣ, о себѣ и о своихъ новыхъ знакомыхъ.

— Ну, а какъ денегъ у тебя?—спросилъ Помада.

— А денегъ у меня никогда нѣтъ.

— И безъ прислуги живешь?

— Хозяинъ лошадь мою кормитъ, а хозяйка самоваръ ставитъ, вотъ и вся прислуга.

— А Ольга Александровна?

— Что?

— Такая-жъ какъ была?

Розановъ махнулъ рукой и отвернулся къ стѣнкѣ.

Помада задулъ свѣчу и легъ было на диванъ, но черезъ нѣсколько минутъ всталъ и началъ все снова перекладывать въ своемъ чемоданчикѣ.

Работа эта видно его очень занимала. Сидя въ одномъ бѣльѣ на полу, онъ тщательнѣйшимъ образомъ разобралъ вещи, пересмотрѣлъ ихъ, и когда уложилъ снова, то на дворѣ было уже свѣтло.

Помада посмотрѣлъ съ четверть часа въ окна и, увидя прошедшаго по улицѣ человѣка, сталъ одѣваться.

— Розановъ!—побудилъ онъ доктора.

— Ну!—отозвался Розановъ и, взглянувъ на Помаду, который стоялъ передъ нимъ съ фуражкой въ рукѣ и съ чемоданчикомъ подъ мышкой, спросилъ:—куда это ты?

— Выпусти меня, мнѣ не спится.

— Куда-жъ ты пойдешь?

— Такъ, погуляю.

— А чемоданъ-то зачѣмъ тащишь?

— Я погуляю и зайду прямо къ Лизаветѣ Егоровнѣ.

— Вѣдь ты не найдешь одинъ.

— Нѣтъ, найду; ты только встань, выпусти меня.

Розановъ пожалъ плечами и проводилъ Помаду, заперъ за нимъ двери и легъ досыпать свою ночь, а Помада самымъ торопливымъ шагомъ подралъ по указанной ему дорожкѣ къ Богородицкому.

Частые свертки не сбили Помаду: звѣзда любви безошибочно привела его къ пяти часамъ утра въ Богородицкое и остановилась надъ крылечкомъ дома крестьянина Шуркина, ярко освѣщеннымъ раннимъ солнышкомъ.

Гдѣ стала звѣзда, тутъ подъ нею сѣлъ и Помада.

Солнышко погрѣвало его и сонъ сталъ его омаривать. Помада крѣпился, смотрѣлъ зорко въ синѣющую даль и видитъ, что идетъ оттуда Лиза, веселая такая, кричитъ:

«здравствуйте, Юстинъ Феликсовичъ! здравствуйте, мой старый другъ!»

Помада захотѣлъ что-то крикнуть, издалъ только какой-то звукъ и вскинулъ глазами.

Передъ нимъ стояла баба съ ведрами и коромысломъ.

— Не скоро они встанутъ-то, молодецъ, говорила она Помадѣ;—гости у нихъ вчера долго были; не скоро теперь встанутъ.

— Ничего, я подожду.

— Ну, жди; извѣстно, коли тебѣ такъ приказано, надо ждать.

Баба проходила.

Помада смотритъ на дымящіяся тонкимъ парочкомъ верхушки сокольницкаго бора и видитъ, какъ по вершинкамъ сосенъ ползетъ туманная пелена, и все она рѣдѣетъ, рѣдѣетъ и, наконецъ, исчезаетъ вовсе, оставляя во всей утренней красотѣ иглистую сосну, а изъ-за окраины лѣса опять выходитъ уже настоящая Лиза, такая, въ самомъ дѣлѣ, хорошая, въ бѣломъ платьѣ, съ голубымъ поясомъ.—Здравствуйте, говоритъ.—Помада ей кланяется.—Мы старые друзья, говоритъ Лиза,—что намъ такъ здороваться, давайте, поцѣлуемтесь.—Помада хотѣлъ дружески обнять Лизу, но она вдругъ поскользнулась, покатилась въ оврагъ.—Ай, ай, помогите! закричалъ Помада, бросаясь съ обрыва за Лизою, но его удержала за плечо здоровая, сильная десница.

— Ахъ ты, парень, парень: какъ тебя омариваетъ-то! Вѣдь это долго-ль, сейчасъ ты съ этого крыльца можешь себѣ шею сломать, а нѣтъ, всее морду себѣ расквасить,— говоритъ Помадѣ стоящій возлѣ него мужикъ въ розовой ситцевой рубахѣ и синихъ китайчатыхъ шароварахъ.

— Ранецъ-то свой подыми, — продолжалъ мужикъ, указывая на валяющійся подъ крылечкомъ чемоданчикъ.

Помада поднялъ чемоданчикъ и усѣлся снова.

— Поди холодною водою умойся, а то тебя моритъ.

Помада пошелъ умыться.

— Издалека?—спросилъ хозяинъ, подавая ему полотенце.

Помада назвалъ губернію.

— Стало, ихній что ли будешь?

— Ихній,—отвѣчалъ Помада.

— Дворовый, или какъ съ родни доводишься?

— Нѣтъ, такъ знакомый.

— А-а! — сказалъ мужикъ и, почесавъ спину на крылечкѣ, пошелъ почесать ее въ горницѣ.

Сонъ Помады былъ въ руку. Какъ только хозяйка побудила Лизу и сказала, что ее, еще гдѣ тебѣ, давно ждетъ какой-то разносчикъ, Лиза встала и, выглянувъ немножко изъ окна, крикнула:

— Помада! Юстинъ Феликсовичъ!

Черезъ двѣ минуты Лиза въ бѣломъ пеньюарѣ встрѣчала Помаду, взяла его за обѣ руки и сказала:

— Ну, мы старые друзья, что намъ такъ здороваться; давайте поцѣлуемтесь.

И Лиза поцѣловала Помаду.

Много перевернулъ и порѣшилъ этотъ простой, дружескій поцѣлуй въ жизни Помады.

Нужно быть хорошимъ художникомъ, чтобы передать благородное и полное, едва ли не преимущественно нашей русской женщинѣ свойственное выраженіе лица Лизы, когда она, сидя у окна, принимала изъ рукъ Помады одну за другой ничтожныя вещицы, которыя онъ везъ какъ нѣкое безцѣнное сокровище, хранилъ ихъ паче зѣницы ока и теперь ликовалъ нетерпѣливо, принося ихъ въ даръ своему кумиру.

Лиза вся обложилась Помадиными подарками. Послѣдними были ей поданы два письма и три затѣйливо вышитые воротничка работы Женни Гловацкой.

Когда Помада вынулъ изъ своего ранца послѣдній свертокъ, въ которомъ были эти воротнички, и затѣмъ, не поднимаясь отъ ногъ Лизы, скаталъ трубочкою свой чемоданчикъ, Лиза смотрѣла на него до такой степени тепло, что, казалось, одного движенія со стороны Помады было бы достаточно, чтобы она его расцѣловала не совсѣмъ только лишь дружескимъ поцѣлуемъ.

Лиза была тронута, видя, что Помада, живучи за сотни верстъ, помнилъ только одну ее.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Самая маленькая главка.

Помада устроился въ Москвѣ очень скоро. Лиза захотѣла, чтобы онъ жилъ къ нимъ ближе, а онъ ничего иного и не хотѣлъ. Бертольди свела его съ Незабитовскимъ, и Помада поселился у Незабитовскаго, считая только для блезира, что онъ живетъ у Розанова.

При всей своей расположенности къ Розанову, Помада отошелъ отъ него далеко въ первое же время, ибо въ первое же время, чтобы долго не раздумывать, онъ послалъ просьбу объ отставкѣ.

Онъ сдѣлалъ это потому, что Лиза сказала, что ей съ нимъ лучше.

Между тѣмъ, дружба Помады съ Розановымъ въ существѣ хранилась ненарушимо: Розановъ очень мягко относился къ увлеченію Помады, и Помада цѣнилъ это.

Мало-по-малу Помада входилъ въ самую суть новой жизни и привѣшивался къ новымъ людямъ, но новые люди его мало понимали, и сама Бертольди, у которой сердца все-таки было больше, чѣмъ у иныхъ многихъ, только считала его «монстромъ» и «дикобразомъ».

Въ эти дни у нашихъ знакомыхъ случилось маленькое происшествіе, для короткаго описанія котораго собственно и посвящена эта короткая главка.

Назвалась Лиза и Полинька къ Розанову на чай. Напились чаю, скушали по порціи мороженаго и задумали идти въ лѣсъ.

Бертольди захотѣла показала «монстру» сокольницкую террасу и общество. Желаніе вовсе и не свойственное Бертольди, тѣмъ не менѣе оно пришло ей.

Лизѣ очень не хотѣлось идти на террасу, а Полиньку просто страхомъ обдавало при мысли показаться на люди.

У Полиньки Калистратовой, какъ говорятъ женщины, предчувствіе было, что ей не должно идти къ террасѣ, и предчувствіе ея оправдалось.

Только что общество наше вышло на площадку, оно повстрѣчалось съ тремя ухарскими франтами, изъ которыхъ средній, атлетъ, страшнаго роста, косая сажень въ плечехъ, съ усами à la Napoléon III, выпятивъ впередъ высоко поднятый локоть лѣвой руки, сорвалъ съ себя шляпу и, сдѣлавъ Полинькѣ гримасу, сказалъ:

— Же ву салю, мадамъ.

Докторъ, съ которымъ Полинька и Лиза шли подъ руку, почувствовалъ, что Калистратова отъ этой встрѣчи такъ и затрепетала, какъ подстрѣленная голубка. Въ эту же минуту голіаѳъ, оставивъ товарищей и нагнувшись къ Полинькиному ребенку, который шелъ впереди матери, схватилъ и понесъ его.

— Что это такое?—спросилъ Розановъ блѣднѣющую и падающую Полиньку.

— Молчите, молчите,—отвѣчала она, стараясь удержаться за его руку.

Розановъ направился къ скамейкѣ и попросилъ для Полиньки мѣста. Калистратова сѣла, но, шатаясь, рвалась впередъ и опять падала къ спинкѣ; дыханье у нея судорожно спиралось и докторъ ожидалъ, что вотъ-вотъ у нея начнется обморокъ.

Лиза, Бертольди и Розановъ стали около Полиньки такъ, чтобы, по возможности, закрыть ее отъ безчисленныхъ глазъ гуляющей толпы, но все-таки, разумѣется, не могли достичь того, чтобы Полинька своимъ состояніемъ не обратила на себя непріятнаго вниманія очень большого числа людей.

Прошла минута, двѣ, пять, Розановъ съ Лизою перешепнулись и послали Помаду нанять первый экипажъ, какъ въ это же мгновеніе сіяющій голіаѳъ поставилъ передъ Полинькой ребенка, опять высоко поднявъ локоть, сорвалъ съ себя шляпу, опять сказалъ съ насмѣшливою важностью «же ву салю, мадамъ» и, закрутивъ усъ, пошелъ по дорожкѣ.

Полинька съ минуту послѣ прощанья голіаѳа, молча смотрѣла ему вслѣдъ и потомъ вдругъ схватила своего ребенка и зарыдала.

У нея сдѣлался сильный истерическій припадокъ, котораго ни остановить, ни скрыть среди толпы народа было невозможно, и наши знакомые провели пренепріятную четверть часа, прежде чѣмъ Полиньку посадили въ карету, которую предложилъ какой-то старичокъ.

Вмѣстѣ съ Полинькою сѣлъ Розановъ, какъ медикъ, и Полинькинъ мальчикъ.

Въ ручкахъ у ребенка оказался довольной длинный кусокъ розоваго рагатъ-лакума и новенькій серебряный гривенничекъ.

Это были родительскіе подарки.

Полинька довольно долго не могла успокоиться и просила кого-нибудь изъ дѣвицъ переночевать у нея.

— Я боюсь теперь быть одна,—говорила Полинька.

— Чего ты боишься?

— Его, Лиза, его, моего мужа: вы не знаете, какой онъ человѣкъ.

И Лиза, и Бертольди охотно остались ночевать у Полиньки; а такъ какъ ни Лиза, ни Бертольди спать не ложились, а Полинька лежала въ блузѣ, то и докторъ съ Помадою остались проводить эту страшную ночь вмѣстѣ.

Когда всѣ собрались къ Полинькѣ вечеромъ, на другой день послѣ этого происшествія, она уже совсѣмъ поправилась; смѣясь надъ своею вчерашнею истерикою и трусостью, говорила, что она теперь ничего не боится, что ее испугало не внезапное появленіе мужа, а то, что онъ схватилъ и унесъ дитя.

— Такъ вдругъ мысль пришла, что онъ убьетъ ребенка,— говорила Полинька.

Полинька, успокоившись, была веселѣе обыкновеннаго и нѣсколько нарушила свое обычное молчаніе, скромно, но прехарактерно разсказавъ нѣкоторые трагикомическіе случаи своей жизни.

Разсказы эти почти совсѣмъ не касались мужа и относились къ тому, какъ Полинька передѣлывалась изъ богатой помѣстной барыни въ бѣдненькую содержательницу провинціальной гостиницы съ номерами, буфетомъ и бильярдомъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Новыя наслоенія въ обществѣ и кое-что новое въ романѣ.

«Чтобы чортъ меня взялъ, думалъ Розановъ:—прекрасная эта бабочка Полинька Калистратова! Вотъ если бы вмѣсто Ольги-то Александровны была такая женщина,—и громъ бы меня не отшибъ. Да, только ужъ видно такъ и шабашъ».

— Розановъ!—крикнулъ звонкій дискантъ.

— Что, Бертольдинька?

— Можно?

— Очень возможно, я въ покровахъ.

— Идите со мною.

— Куда это? Вы меня, можетъ-быть, убить хотите.

— Не стоитъ рукъ марать. Я съ вами не шутить пришла, а идемте къ Полинькѣ Калистратовой: ея сынъ умираетъ.

Докторъ взялъ шляпу и пошелъ съ Бертольди.

Онъ первый разъ шелъ въ квартиру Калистратовой.

Полинька Калистратова жила въ одной комнаткѣ, выходившей окнами на дорожку, за которой начинался Сокольницкій лѣсъ. Въ комнаткѣ было бѣдно, но замѣтно, что здѣсь живетъ молодая женщина со вкусомъ и привычкою къ опрятности и даже къ изяществу. Бѣлый деревянный столикъ былъ обколотъ ловко собранной бѣлой кисеей, на окнахъ тоже были чистыя занавѣски, дѣтская кроватка подъ зеленымъ ситцевымъ пологомъ, сундукъ, нѣсколько игрушекъ на полу, пять стульевъ, крашеный столикъ, диванъ и на стѣнѣ деревянная вѣшалка, закрытая бѣлою простынею,—это было все убранство жилища Полины Петровны и ея ребенка.

Теперь это жилище было нѣсколько въ большемъ безпо-

рядкѣ. Не до порядковъ было его хозяйкѣ. Когда докторъ и Бертольди вошли къ Полинькѣ Калистратовой, она стояла у дѣтской кроватки. Волосы у нея были наскоро собраны пукомъ на затылкѣ и платье, видно, не снималось нѣсколько сутокъ.

Увидя Розанова и Бертольди, она кивнула имъ молча головою и не отошла отъ кроватки.

— Что съ вашимъ ребенкомъ?—произнесъ шопотомъ Розановъ.

— Не знаю, докторъ. Я ходила въ Москву, въ почтамтъ, и долго тамъ прождала. Вернулась, онъ спалъ, и съ тѣхъ поръ едва откроетъ глазки и опять заводитъ, опять спитъ. Послушайте, какъ онъ дышитъ... и ничего не проситъ. Это вѣдь не простой же сонъ?

У ребенка была головная водянка. Розановъ опредѣлилъ болѣзнь очень вѣрно и сталъ лѣчить внимательно, почти не отходя отъ больного. Но что̀ было лѣчить! Ребенокъ былъ въ состоянiи совершенно безпомощномъ, хотя для неопытнаго человѣка и въ состоянiи обманчивомъ. Казалось, ребенокъ вотъ отоспится, да и встанетъ розовый и веселенькiй.

Розановъ третьи сутки почти безвыходно сидѣлъ у Калистратовой. Былъ вечеръ чрезмѣрно тихiй и теплый, надъ Сокольницкимъ лѣсомъ стояла полная луна. Ребенокъ лежалъ въ забытьѣ, Полиньку тоже докторъ уговорилъ прилечь, и она, послѣ многихъ безсонныхъ ночей, крѣпко спала на диванѣ. Розановъ сидѣлъ у окна и, облокотясь на руку, совершенно забылся.

Думы его начались тѣмъ, какъ будетъ все, когда умретъ этотъ ребенокъ, а умретъ этотъ ребенокъ непремѣнно очень скоро — не завтра, такъ послѣзавтра. Потомъ ему представлялась несчастная разбитая Полинька, съ ея разбитымъ голосомъ и мягкими руками; потомъ ея мѣдно-красный мужъ съ циничными, дерзкими манерами и жестокостью; потомъ свой собственный ребенокъ и, наконецъ, жена. Но жена припомнилась какъ-то такъ холодно, какъ еще ни разу она не вспоминалась. Ни гнѣва, ни любви, ни рев-

ности, ни досады,—ничего не было въ этомъ воспоминаніи. Такъ промелкнулъ какъ-то ея капризный, сварливый образъ и тотчасъ же исчезъ, не оставивъ даже за собою слѣда. Даже состраданіе, обыкновенно неразлучное съ этимъ воспоминаніемъ, явилось какимъ-то такимъ жиденькимъ, что самъ докторъ его не замѣтилъ.

Къ полуночи Полинька Калистратова проснулась, приподняла голову и осмотрѣлась.

Дитя попрежнему лежало тихо, докторъ попрежнему тихо сидѣлъ.

Полинька встала, поправила голову и сѣла къ окну.

Въ комнатѣ долго только раздавалось тяжелое дѣтское дыханіе.

Докторъ съ Калистратовою просидѣли молча цѣлую ночь и обоимъ имъ сдавалось, что всю эту ночь они вели самую задушевную, самую понятную бесѣду, которую только можно бы испортить всякимъ звукомъ голоса.

Утромъ ребенокъ тихо умеръ.

Прошли тяжелыя сцены похоронъ, вынесли дѣтскую кроватку изъ комнаты Полиньки Калистратовой.

— Пусто стало, — говорила дрожащимъ голосомъ Полинька, относя къ комнатѣ внутреннюю пустоту своей нѣжной натуры, у которой смерть отняла послѣдній предметъ необходимой живой привязанности.

Докторъ ежедневно приходилъ къ осиротѣлой Полинькѣ и, какъ умѣлъ, старался ее развлечь и успокоить. Часто они ходили вдвоемъ вечеркомъ въ Богородицкое къ Лизѣ и вдвоемъ оттуда возвращались въ Сокольники.

Такъ прошло съ мѣсяцъ послѣ смерти ребенка. Разъ Розановъ получилъ непріятное извѣстіе отъ жены и, встревоженный, зашелъ въ семь часовъ вечера къ Калистратовой, чтобы идти къ Лизѣ.

Лизу они застали за чтеніемъ. Она была не въ духѣ и потому не очень привѣтлива.

Помада стругалъ палочку.

— Что это ты сооружаешь?—спросилъ его докторъ.

— Это мухоловка будетъ.

— Какъ же ты ее сдѣлаешь?

Помада надѣлъ на рогульки мѣшокъ изъ кисеи и замахалъ имъ по комнатѣ.

— Полноте, пожалуйста, вертѣться, — остановила его Лиза.

— Видишь сколько, показывалъ Помада Розанову, держа жужжащихъ въ мѣшкѣ мухъ.

— Механикъ!—замѣтилъ, улыбаясь, Розановъ. — А гдѣ ваша Бертольдинька?

— Она сейчасъ будетъ, отвѣчалъ Помада, излавливая мухъ, летавшихъ у порога:—она въ городъ поѣхала.

— Вы ничего не слыхали, докторъ, о Красинѣ?—спросила Лиза.

— Нѣтъ, ничего не слыхалъ, Лизавета Егоровна.

— Его сейчасъ привезетъ Бертольди.

— Что-жъ это за Красинъ?

— Соціалистъ.

— Изъ Петербурга?

— Да.

— Ну ужъ...

— Что такое?

— Знаемъ мы этихъ русскихъ соціалистовъ изъ Петербурга!

— Что вы знаете? Ничего вы не знаете.

— Нѣтъ, знаю-съ кое-что.

— Зная кое-что, вы еще не имѣете права чернить честныхъ людей.

— Да Богъ святой съ ними; я ихъ не черню и не бѣлю. Что мнѣ до нихъ. Имъ одна дорога, а мнѣ другая.

— Да, вамъ словами играть, а они дѣло дѣлаютъ.

— Какое такое они дѣло дѣлаютъ, Лизавета Егоровна?

— Какое бы ни дѣлали, да они первые его дѣлаютъ.

— Да это что-жъ... А вотъ Бертольди.

Бертольди разсчитывалась съ извозчикомъ; возлѣ нея

стоялъ высокій долгогривый человѣкъ съ смуглымъ лицомъ, въ гарибальдійской шляпѣ и широкомъ мэкъ-ферланѣ.

— Вонъ какой!—произнесъ подъ ухомъ Розанова Помада.

— Да, и по рылу видать, что не изъ простыхъ свиней,—замѣтилъ Розановъ.

— Господинъ Красинъ,—произнесла Бертольди, входя и представляя Лизѣ гостя.

Красинъ поклонился довольно неловко и тотчасъ же сѣлъ.

Розановъ во всѣ глаза смотрѣлъ на петербуржца, а Бертольди во всѣ глаза смотрѣла на доктора и съ сіяющимъ лицомъ набивала для Красина папироски.

— Что будутъ дѣлать ваши? — спросила Лиза, единственное лицо, начавшее разговоръ съ петербуржцемъ.

— Опровергать лжеученія идеалистовъ и экономистовъ, стремиться къ уничтоженію семейственнаго и общественнаго деспотизма, измѣнять понятія о нравственности и человѣческомъ правѣ. Первое дѣло—раздѣлить поровну хлѣбъ по желудкамъ.

— Это не легко.

— Трудное — не невозможно. Не нужно терять много словъ, а нужно дѣлать. Живой примѣръ — самый лучшій способъ убѣжденія.

— Но что вы сдѣлаете съ деспотизмомъ семьи и общества?

— Откроемъ пріютъ для угнетенныхъ; сплотимся, дружно поможемъ общими силами частному горю и защитимъ личность отъ семьи и общества. Сильный поработаетъ за безсильнаго: желудки не будутъ пугать, такъ и головы смѣлѣе станутъ. Дѣло простое.

Разговоръ шелъ все въ этомъ родѣ часовъ до десяти. У Полиньки Калистратовой, вообще все еще разстроенной и не отдохнувшей, стала болѣть голова. Розановъ замѣтилъ это и предложилъ ей идти въ Сокольники.

— Что вы сегодня такой молчаливый?—спросила Бертольди, прощаясь съ Розановымъ и торжественно глядя на Красина.

— Вами, мой другъ, любуюсь,—отвѣтилъ ей на ухо Розановъ.

— Вѣчныя пошлости!—пропищала Бертольди, вырвавъ у него свою руку.

— Кто это такой?—спросилъ Красинъ по уходѣ Розанова и Калистратовой.

— Это врачъ одной больницы,—мой старый знакомый,—отвѣчала Лиза.

— Онъ медикъ?

— Да.

— И идеалистъ,—подсказала Бертольди.

— То-есть, какъ идеалистъ? Зачѣмъ клеветать?—замѣтила Лиза. — Онъ очень не глупый и честный человѣкъ, только тяжелый спорщикъ и пессимистъ.

— Что-жъ, это хорошо.

— Да вы что думаете, что онъ ничего не признаетъ? Нѣтъ, онъ все стоитъ за какой-то непонятный правильный прогрессъ,—возразила Бертольди.

— Постепеновецъ, значитъ.

— Какъ вы назвали?

— *Постепеновецъ.*

— Вотъ, Бахарева! вотъ именно для Розанова слово: *постепеновецъ.*

— Ну, изъ этихъ господъ прока не будетъ: они сто разъ вреднѣе ретроградовъ,—замѣтилъ Красинъ.

— А! Бахарева, какъ это, въ самомъ дѣлѣ, идетъ къ нему *постепеновецъ*,—опять приставала Бертольди.

— А что это очень умный человѣкъ?—спрашивала Розанова Полинька Калистратова, подходя къ дому.

Розановъ засмѣялся и сказалъ:

— А вамъ какъ кажется?

— Я, право, не поняла.

— Я тоже,—отвѣчалъ докторъ, пожавъ у воротъ ея ручку.

На другой день Розановъ съ Калистратовой пришли къ Лизѣ нѣсколько позже и застали у нея цѣлое общество.

Былъ Помада, Незабитовскій, Бычковъ со Стешей и съ сынишкомъ, маркизъ, Бѣлоярцевъ и Красинъ.

Когда Розановъ и Калистратова вошли, Лиза сидѣла на своемъ мѣстѣ у окна, Бертольди насыпала папироски, а всѣ остальные молча слушали Красина.

— Физіологія все это объясняетъ, говорилъ Красинъ, при входѣ Розанова:—человѣкъ одинаково не имѣетъ права насиловать свой организмъ. Каждое требованіе природы совершенно въ равной степени заслуживаетъ удовлетворенія. Функція и ничего болѣе.

— Фактъ,—подтвердила Бертольди.

Маркизъ косился и вертѣлъ нижнюю губу. Бѣлоярцевъ разсматривалъ сердечко розы, остальные молча смотрѣли на Красина.

— Вотъ Розановъ тоже долженъ съ этимъ согласиться,— сказала Бертольди, чтобы втянуть въ споръ Розанова.

— Съ чѣмъ это я долженъ согласиться? — спросилъ Розановъ, пожимая руки гостей и кланяясь Красину.

— Съ законами физіологіи.

— Ну-съ?

— Естественно ли признавать законность однихъ требованій организма и противодѣйствовать другимъ?

— Нѣтъ, не естественно.

— И вредно?

— Конечно, и вредно. Противодѣйствіе природѣ не можетъ совершаться въ интересахъ той же природы.

— А что же ваши разглагольствованія о любви?

— Какія разглагольствованія? Мы съ вами объ этомъ столько перетолковали, что всего не припомнишь.

— О вѣрности и ревности.

— Ну, при чемъ же онѣ тутъ?

— Какъ же, во имя вѣрности вы должны жить сдержанно.

— Да.

— Ну, гдѣ же естественность?

— Право не понимаю, о чемъ тутъ шла рѣчь до моего прихода.

— О томъ, что никто не имѣетъ права упрекать и осуждать женщину за то, что она живетъ какъ ей хочется.

— Совершенно справедливо.

— Ну, и только.

— Фактъ,—смѣясь подтвердилъ докторъ.

— А вы же разсказывали о нравственныхъ обязательствахъ.

— Да, такъ что-жъ такое?

— А эти ваши нравственныя обязательства не согласны съ правилами физіологіи. Они противорѣчатъ требованіямъ природы; ихъ нѣтъ у существъ, живущихъ естественною жизнью.

— Фу ты пропасть! Словъ-то, словъ-то сколько! Въ чемъ дѣло? Вы хотите сказать, что, любя человѣка, вы не признаете себя обязанною хранить къ нему вѣрность?

— Если...

— Если ваша природа этого потребуетъ? Отлично. Вы имѣете полнѣйшее право сдѣлать что вамъ угодно, точно такъ же, какъ онъ имѣетъ право перестать васъ любить.

— За это? Перестать любить за пользованіе своимъ правомъ?!

— Да, хоть и за это.

— На какихъ же это разумныхъ началахъ?—иронически спросилъ Красинъ.

— На началахъ взаимнаго довѣрія и уваженія,—отвѣчалъ Розановъ.

— Да за что же вы перестанете уважать? Развѣ вы перестанете уважать вашу любовницу, если она напилась, когда ей пить хотѣлось? Функція.

— Но я не стану ее уважать, если она, сидя здѣсь вотъ, напримѣръ, вздумаетъ здѣсь же непремѣнно отправлять всѣ свои функціи, а животныя вѣдь ничьимъ сообществомъ не стѣсняются.

Мужчины засмѣялись.

— И мы стѣсняемся только изъ предразсудковъ,—отвѣтилъ Красинъ.

— Ну, покорно благодарю за такую свободу. Если я поберегу немножко чужія чувства, еще не произойдетъ никакого зла.

— Вы вѣдь медикъ?

— Да, я учился медицинѣ.

— И вы отрицаете право природы?

— Нѣтъ-съ. Я его не отрицаю, а я только понимаю любовь къ женщинѣ, а не къ животному.

— Что же, вы—платонистъ?

— Я медикъ.

— Вы, значитъ, держитесь матеріалистическихъ воззрѣній?

— Я не люблю идеальной философіи.

— И соглашаетесь съ шутами, что...

— «Если изба безъ запора, то и свинья въ ней бродитъ», какъ говоритъ пословица. Соглашаюсь, и всегда буду съ этимъ соглашаться. Я не стану осуждать женщину за то, что она даетъ широкій просторъ своимъ животнымъ наклонностямъ. Какое мнѣ дѣло? Это ея право надъ собою. Но не стану и любить эту женщину, потому что любить животное нельзя такъ, какъ любятъ человѣка.

— А вы медикъ?

— Я медикъ и все-таки позволю вамъ напомнить, что извѣстная разнузданность въ требованіяхъ человѣческаго организма является вслѣдствіе разнузданности воли и фантазіи. И наконецъ, скажу вамъ не какъ медикъ, а какъ человѣкъ, видѣвшій и наблюдавшій женщинъ: женщина съ цѣльной натурой не полюбитъ человѣка только чувственно.

— У васъ какая-то идеальная любовь. Мы допускаемъ, что женщина можетъ жить гражданскою любовью къ обществу и на все остальное смотрѣть разумно... такъ... Функція.

— И это называется *разумно*?

— Функція, — отвѣчалъ, пожавъ презрительно плечами, Красинъ.

Розановъ глядѣлъ на него молча.

— Вы слѣдите за тѣмъ, что вырабатываетъ мысль передовыхъ людей?—спросилъ наставительно Красинъ.

— Стараюсь.

— Вы читаете этотъ журналъ?— опять вопросилъ въ томъ же тонѣ Красинъ, поднимая вверхъ лежавшую на столѣ книгу.

— Нѣтъ, этого я не читаю.

— Почему же-съ, смѣю спросить?

— Да потому, что я всегда мѣсяца за четыре впередъ въ оригиналахъ читаю все, о чемъ здѣсь пишутъ, и переводныхъ извращеній терпѣть не могу.

— Напрасно. Если бы вы вникли, такъ увидѣли бы, что здѣсь есть особая мысль.

— Да, я это и не читая вижу,—отвѣчалъ Розановъ и, закуривъ сигару, вышелъ походить по садику.

— Каковъ, батюшка, разговоръ при дѣвушкахъ?—спрашивалъ его, колтыхая по дорожкѣ, косолапый маркизъ.

— Да.

— И вамъ-то охота поддерживать.

— Да ужъ тутъ нечего отмалчиваться, когда слушаютъ во всѣ уши: полезнѣе же разбивать, чѣмъ молчать.

— А до васъ-то что было: ужасъ! ужасъ! просто къ свободно-перемѣнному сожительству приглашалъ.

— Ну, вотъ видите, — Петръ Сергѣевичъ! позвалъ докторъ, остановясь у окна и толкнувъ Бѣлоярцева.

Бѣлоярцевъ оглянулся и высунулся въ окно.

— Что вы тамъ сидите? Гулять бы идти.

— Пожалуй.

— Или бесѣда нравится?

— Мнѣ вотъ цвѣтокъ нравится, — отвѣчалъ, улыбаясь, Бѣлоярцевъ.—Видите, какъ это расходится; видите. все изъ одной точки, а, а, а! восклицалъ онъ, указывая на лепестки розы:—все изъ одной точки.

— Бертольди! крикнулъ слегка докторъ: — гулять пойдемте.

Бертольди махнула отрицательно головою, какъ молящаяся женщина, у которой спрашиваютъ, не брала ли она ключей отъ комода.

— Штучку скажу, право скажу, соблазнялъ ее докторъ,—хорошенькую штучку.

Бертольди молча отошла дальше.

Въ садикъ вышелъ Помада и Полинька Калистратова да Бѣлоярцевъ, а прогулка до чаю такъ и не состоялась.

— Что вы какого мнѣнія о сихъ разговорахъ?—спрашивалъ Розановъ Бѣлоярцева; но всегда уклончивый Бѣлоярцевъ отвѣчалъ, что онъ художникъ, и внѣ сферы чистаго художества его ничто не занимаетъ,—такъ съ тѣмъ и отошелъ. Помада говорилъ, что «все это просто скотство»; косолапый маркизъ дѣлалъ ядовито-лукавыя мины и изображалъ изъ себя крайнее вниманіе, а Полинька Калистратова сказала,—что «это, Богъ знаетъ, что-то такое совсѣмъ неподобное».

За чаемъ Лиза вызвалась провожать сокольничанъ и москвичей.

Напились чаю и пошли, разбившись на двѣ группы. Бѣлоярцевъ шелъ съ Бычковымъ, Лизой, Бертольди, Калистратовой и Незабитовскимъ. Вторая группа шла, окружая Стешу, которая едва могла тащить свой животъ и соннаго полугодового ребенка. Дитятю у нея взяли; Розановъ и Помада несли его на рукахъ поперемѣнно, а маркизъ колтыхалъ рядомъ съ переваливающейся уточкою Стешею и внимательно разсматривалъ ея лицо своими утомляющими, круглыми глазами.

На полянѣ вошли на холмикъ и присѣли подъ тремя соснами.

Стеша сѣла немножко поодаль отъ другихъ, взяла у Помады своего ребенка и закрыла его платкомъ.

— Холодно,—сказала она.

— Какой вздоръ!—возразилъ Бычковъ.

— Намъ ничего, а ему холодно, — отвѣчала покорно Стеша, укутывая своего ребенка.

— А зачѣмъ таскаешь,—замѣтилъ Бычковъ.

— Вамъ лишь бы спорить, Розановъ.

— Полноте, Лизавета Егоровна, что мнѣ за радость препровождать свою жизнь въ спорахъ.

— Однако, вотъ препровождаете.

— Потому что не могу согласиться съ тѣмъ, что часто слышу.

— Солидарности не видите?

— Да-съ, солидарности не вижу.

— Какъ же это: ни съ кѣмъ не видите въ себѣ солидарности?—иронически спросилъ Красинъ.

— Да, ни съ кѣмъ-съ,—спокойно отвѣчалъ докторъ.

— Особенный человѣкъ,—замѣтила Лиза: — съ Чистыми Прудами былъ несогласенъ...

— Несогласенъ,—подсказалъ Розановъ.

— Съ Лефортовымъ тоже несогласенъ.

— Несогласенъ.

— Съ студентами разошелся,—продолжала Лиза.

— Разошелся,—спокойно подтверждалъ докторъ.

— Съ теоріями петербургскихъ молодыхъ людей несогласенъ: готовъ даже за неразрѣшимый бракъ стоять.

— Ну, это, Лизавета Егоровна, вы сами придумали, а мое мнѣніе о теоріяхъ я еще сто лѣтъ назадъ вамъ высказывалъ. Не вѣрю въ теоретиковъ, что-жъ мнѣ дѣлать.

— Ну, вотъ поляки ужъ не теоретики.

— О полякахъ и говорить нечего. Съ ними у меня общаго менѣе, чѣмъ съ кѣмъ-нибудь.

— Отчего-жъ это? перегинаясь спросилъ Красинъ.

— Такъ. Оттого, что я ихъ знаю.

— Отчего-жъ мы находимъ солидарность?

— Оттого, что, вѣрно, не понимаете дѣла.

— Это интересно,—смѣясь сказала Бертольди.

— Очень даже интересно, — отвѣчалъ Розановъ. — Вы, г. Красинъ, человѣкъ нелогичный. Я вамъ сейчасъ это докажу. Вы вчера говорили объ узкости національныхъ интересовъ и о стремленіи вашей секты дать человѣчеству ши-

рокія, равныя права и уничтожить принципы семьи. Поляки этого не хотятъ. Поляки бьются за національное обособленіе; они католики, слѣдовательно не матеріалисты; они собственники, а вашъ девизъ—общность имущества; ваши женщины должны руководиться функціями, а у каждой польки сидитъ по три ксендза во лбу и, наконецъ, иниціатива нынѣшнихъ стремленій поляковъ аристократически-католическая, а не соціально-демократическая. Вы, г. Красинъ, заигрываете съ Незабитовскимъ, когда увѣряете его въ вашей солидарности съ поляками. У васъ нѣтъ этой солидарности, и я вызываю васъ доказать мнѣ, что я ошибаюсь.

— У насъ одинъ общій врагъ.

— Врагъ одинъ у всего человѣчества. Это—его невѣжество и упадокъ нравовъ. Противодѣйствуйте ему.

— Чѣмъ же-съ?

— Чѣмъ хотите, только не насиліемъ и не ксендзами.

— Полиціей, пропищала Бертольди. — Вотъ, Розановъ, нѣтъ ли у васъ съ нею солидарности?

Многіе засмѣялись.

Розановъ помолчалъ и потомъ, обратясь къ Бертольди, сказалъ:

— Я вамъ сто разъ говорилъ, Бертольдинка, что вы выше закона и обращать вниманіе на ваши слова непозволительно.

— А о католичествѣ, панъ Розановъ, ошибаешься,—сказалъ по-польски Незабитовскій.

— Не думаю,—по-польски же отвѣчалъ Розановъ.

— Мы терпимъ ксендзовъ, пока они теперь намъ нужны, а потомъ къ чорту ихъ всѣхъ.

— Э! дудки это, панове! Ксендзы похитрѣе васъ. У васъ въ каждомъ домѣ, что ни женщина, то ксендзовскій адвокатъ. Ксендзы да жиды крѣпче васъ самихъ въ Польшѣ. Разоряйтесь понемножку, такъ жиды васъ всѣхъ заберутъ въ лапы, и будетъ новое еврейское царство.

— Если всѣ такъ будутъ разсуждать только, вмѣшался,

понявъ послѣднія слова, Бычковъ,—то, разумѣется, ничего не будетъ, а нужно дѣлать.

— Да дѣлайте, кто-жъ вамъ мѣшаетъ, дѣлайте. Идите въ польскіе лѣса, ложитесь костьми.

— И пойдутъ.

— Кто?

— Люди пойдутъ.

— Можетъ быть, кто-нибудь и пойдетъ, а ужъ вы не пойдете, за это я вамъ ручаюсь. Ну, кто, господа, въ повстанье? записывайте Незабитовскій.

— Полноте шумѣть,—внушительно замѣтилъ Бычковъ.

— А, шумѣть!

— Нѣтъ, вы серьезно несносны сдѣлались, Розановъ, съ вашимъ резонерствомъ,—проговорила, вставая, Лиза.

— Можетъ-быть, Лизавета Егоровна. Я не виноватъ, что въ такіе дни живу, когда люди умъ теряютъ. А вотъ, не угодно ли вамъ спросить поляка Незабитовскаго, что̀ они думаютъ о нашемъ либерализмѣ? Они дорожатъ имъ, какъ прошлогоднимъ снѣгомъ, и болѣе готовы уважать рѣзкое слово, чѣмъ безплодныя заигрыванія. Наши либералы надули того, на кого сами молились; надуютъ и поляковъ, и васъ, и себя, и всѣхъ, кто имѣетъ слабость вѣрить ихъ заученнымъ фразамъ. Самоотверженныхъ людей столько сразу не родится, сколько ихъ вдругъ окликнулось въ это время. Мы съ вами видѣли одного самоотверженнаго человѣка-то, такъ онъ похожъ на нашихъ, какъ колесо на уксусъ? Одно воспитаніе выдѣляетъ Богъ знаетъ какъ. А это что? Пустозвоны, да и только.

— Только и есть будто на свѣтѣ людей, Розановъ?

— Нѣтъ, еще одного знаю.

— Покажите же намъ,—пропищала Бертольди.

— Не разглядите.

— Что это такое?

— Да такъ; не умѣли до сихъ поръ разглядѣть, Лизавета Егоровна, такъ ужъ не разглядите.

— Это не вы ли?—спросила Бертольди.

— Нѣтъ, не я и не вы, Бертольдинька.

— А кто это былъ первый?—спросилъ Красинъ.

— Я думаю, онъ говорилъ о Райнерѣ,—отвѣчала Лиза.

— О Райнерѣ! — воскликнулъ изумленный Красинъ. — Помилуйте, Райнеръ шпіонъ.

— Ну, вотъ вамъ и поздравляю,—замѣтилъ Розановъ.

И пошелъ споръ о Райнерѣ, закончившійся тѣмъ, что Райнеръ, точно, человѣкъ сомнительный.

— Да, шутъ гороховый этотъ Райнеръ, — произнесъ въ концѣ спора Розановъ:—несло его сюда къ намъ; говорилъ ему, упрашивалъ уѣхать, нѣтъ-таки, ну, упрямая овца волку жъ корысть.

— Что жъ это по-вашему, мы такая ужъ дрянь, — начала, было, Бертольди, но Розановъ перебилъ ее.

Давно всѣ знали въ Москвѣ, что и въ Петербургѣ политическая возбужденность совсѣмъ упала, и въ обществѣ начался критическій разборъ либерализма, но еще въ Москвѣ не знали хорошо, во что̀ ударились разсѣянные остатки петербургскихъ псевдолибераловъ. Теперь это разомъ объяснилось Розанову; они не сложили рукъ, какъ московскіе, и не взялись за работу, а выдумали новый, совершенно безопасный и невызывающій ничьего противодѣйствія союзъ, придавая ему характеръ псевдо-соціальной борьбы. Розановъ понялъ это и, остановивъ Бертольди, сказалъ:

— Да, мы съ вами ужъ такая дрянь, что и нѣтъ хуже. Говорить даже гадко: и въ коробъ не лѣземъ, и изъ короба не идемъ; дрянь, дрянь, ужасная дрянь.

А на дворѣ ужъ занималась зорька, оттѣняя верхушки высокихъ сосенъ сокольницкаго лѣса. Общество разсталось довольно холодно; Розановъ повелъ домой Калистратову.

— А вы большой спорщикъ,—говорила она, подходя къ дому.

— Надоѣдаютъ мнѣ эти хлыщи, Полина Петровна. Это, вѣдь, что же? Былъ застой; потомъ люди проснулись, ну, поддались несбыточнымъ увлеченіямъ, надѣлали глупостей, порастеряли даромъ людей, но все, вѣдь, это было человѣ-

ческое, а это что же? Воевать съ вѣтряными мельницами, воевать съ обществомъ, злить понапрасну людей и покрывать это именемъ какого-то новаго союза. Ну, что̀ это за *союзъ*? Вы посмотрите, что это такое: женщинокъ побольше посбивать съ толку, пожить съ ними до безстыдства, до наглости, а потомъ будь, что̀ будетъ. Имъ, вѣдь, ничего, а тѣ будутъ рѣпку пѣть. О, подлецы, подлецы неописуемые!

— Полноте браниться-то такъ, Дмитрій Петровичъ, — смѣясь проговорила Полинька.—Ну, что вамъ до нихъ?

— Какъ что-съ? Они слабыхъ людей сколько могутъ увлечь? Попробовали бороться съ правительствомъ, видятъ— кусается, ну, такъ вотъ теперь другое выдумали. Дѣло точно безопасное. Что жъ, развратъ вездѣ терпится, подъ весьма различными формами, только зачѣмъ же изъ него дѣлать какое-то общественное служеніе. Любви у насъ и такъ нѣтъ; женщинъ мы всегда умѣли перемѣнять; трудиться серьезно никогда не умѣли; дѣтей тоже прикидывали на долю одной матери, либо на заботы опекунскаго совѣта; но зачѣмъ же опять все это формулировать въ какую-то революцію? Честность, честность въ отношеніи съ женщинами. Чтобъ любовь-то была, а не «волненье крови молодой», чтобъ нравственныя обязательства, вытекающія изъ союза съ любимой женщиной, были крѣпки и святы, а не считались вздоромъ. Я самъ нищъ и убогъ на всѣхъ пунктахъ, такъ мнѣ бы нечего ихъ оспаривать: пусть дѣлятъ чертковскій домъ, авось и мнѣ уголочекъ бы какой-нибудь достался; пусть.

— Что *пусть?*

— Ничего-съ.

— Это, вѣрно, насчетъ женщинъ?

— Да-съ, насчетъ женщинъ.

— Что же это такое?

— Да, что жъ вы думаете, мнѣ полюбить-то и быть любимымъ не хочется, что ли?

— Хочется?

— Еще бы! даже и очень.

— Зачѣмъ же дѣло стало?

— Какъ зачѣмъ?

— Вѣдь вы были влюблены въ Бахареву.

— Господи помилуй! и въ помышленіи никогда не было.

— Напрасно; а она не изъ тѣхъ, чтобы передъ чѣмъ-нибудь остановилась.

— Да это что говорить, Полина Петровна!

— Что?

— Это не идетъ намъ.

— Отчего это?

— Такъ; я человѣкъ съ большими недостатками и слабостями, а она дѣвушка сильная и фанатичка. Мы не можемъ ладить. Я ей благодаренъ за многое, но любить ее...

— Не можете?

— Не могу-съ.

— Отчего же не можете любить сильной женщины?

— Да такъ; оттого что лычко съ ремешкомъ не вяжется. Она меня не поддержитъ, а я человѣкъ разбитый: мнѣ нужно много снисхожденія. Я хотѣлъ бы хоть каплю простого, теплаго участія.

— Какая сентиментальность.

— Нѣтъ-съ, не сентиментальность. Любить человѣка въ моемъ положеніи надо много смѣлости. Сентиментальная трусиха и эгоистка на такую любовь не годится.

— А какая же годится?

— Такъ вотъ, простая, здравомыслящая и добрая женщина.

— Простая, здравомыслящая и добрая: вы сущихъ пустяковъ желаете, Дмитрій Петровичъ.

— А что жъ вы думаете?

— Ну, поищите же ее до второго пришествія.

— Отчего? Да вонъ ваша же подруга, Женни Гловацкая...

— Ну, не думаю; правда, я ее знала ребенкомъ; можетъ быть, теперь она очень перемѣнилась, а когда я ее знала въ институтѣ, она не подавала такихъ надеждъ. Я, вѣдь, раньше ихъ вышла за два года, но все-таки не ду-

маю, чтобы Женни на такую штуку рискнула,—произнесла тономъ опытной женщины Калистратова.

— А вы сами? Вы тоже не рискнули бы?

Калистратова слегка покраснѣла, но твердо сказала:

— Я еще объ этомъ не думала.

— А вы, вѣдь, прелестная женщина!

— Будто?

— Право, прелестная. Ни при одной женщинѣ такъ хорошо себя не чувствуешь, какъ при васъ.

— Все это вы себѣ сочиняете,—проговорила Полина, и ея блѣдныя щеки еще болѣе зарумянились.

— Нѣтъ, это не сочиненіе, а...

— Полноте,—сказала, перервавъ его серьезно, Полина.

— Отчего же не сказать правды? Я очень часто о васъ думаю.

— Полноте,—еще строже остановила Калистратова.

— Какъ хотите; а я радъ, что, узнавъ васъ, я еще почувствовалъ, что могу привязаться къ женщинѣ. Да...

— Розановъ! я васъ два раза просила перестать. Это мнѣ, наконецъ, непріятно.

— Если это васъ оскорбляетъ.

— Не оскорбляетъ,—оскорбляться нечѣмъ, а... зачѣмъ такіе разговоры.

Они дошли молча.

— Вы сердитесь?—спросилъ Розановъ у калитки.

— Я ужъ вамъ сказала, что сердиться мнѣ не за что,—отвѣчала Полинька, и спокойно дала ему поцѣловать свою руку.

Чортъ знаетъ какъ гадко послѣ такого разговора очутиться въ пустой, одинокой комнатѣ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Разрывъ.

Розановъ три вечера кряду ходилъ съ Полинькой Калистратовой къ Лизѣ и три раза не заставалъ дома ни Лизы, ни Бертольди, ни Помады.

Спустя два дня, онъ опять зашелъ послѣ обѣда къ Калистратовой, чтобъ идти съ нею къ Лизѣ.

— Да что жъ ходить, Дмитрій Петровичъ, отвѣчала Полинька,—пожалуй опять не застанемъ.

— Попробуемте; все равно—вечеръ хорошій, пройдемся.

— Пожалуй; гдѣ это они пропадаютъ?

— Диковина.

— Эта Лизочка все суетится, бѣдная.

— Какъ это? Что вы думаете?

— Да вѣрно все съ этимъ Красинымъ возится.

— Ну, Богъ знаетъ, что!

— Да отчего же.

Полинька Калистратова ни духомъ, ни словомъ не давала Розанову замѣтить, что она помнитъ о его признаніи. Все шло такъ, какъ будто ничего не было.

Лизу на этотъ разъ они застали дома и притомъ одну; Бертольди и Помады не было. Розановъ освѣдомился о нихъ и получилъ въ отвѣтъ, что они поѣхали къ Красину.

— А вы какъ же дома?—спросилъ онъ съ притворнымъ удивленіемъ.

— Я дѣлаю то, что я хочу,—отвѣчала Лиза.

Никакъ разговоръ не клеился.

— Вы больны сегодня, Лизавета Егоровна?—спросилъ Розановъ.

— Нѣтъ, я здорова,—и сейчасъ же добавила:—что ты, Полинька, какъ поживаешь, чѣмъ занимаешься?

— Ничѣмъ мой другъ; бѣлье себѣ шью, понемножку поправляю кое-что.

— Этакъ твой капиталъ скоро изсякнетъ.

— Да у меня остается пятьсотъ рублей.

— Гм! не много.

— Что дѣлать.

Вышла довольно большая и довольно тяжелая пауза.

— Пойду на мѣсто, какъ оправлюсь немного.

— Въ гувернантки?

— Да, теперь я одна: вездѣ могу быть.

— Все это очень непрочно.

— Да что жъ дѣлать, Лиза.

— И осуждаетъ на вѣчное одиночество.

— Ну ужъ объ этомъ, душка, и говорить нечего, я давно съ этимъ свыклась.

— Есть другія возможности устроиться независимо; напримѣръ,— самостоятельный трудъ.

— Надо имѣть капиталъ, Лизавета Егоровна, чтобъ было къ чему приложить трудъ, а однѣми руками ничего не сдѣлаешь.

— Нѣтъ, въ Петербургѣ уже это устроивается.

— Исторія!—крикнула, влетая, Бертольди.

— Что это вы?—спросила ее Лиза.

— Красинъ поспорилъ съ Бычковымъ о вѣрности; мнѣнія раздѣлились и Красинъ разбилъ всѣхъ на-голову; фактами доказалъ, что должно противодѣйствовать этому застарѣлому понятію.

— О вѣрности?—спросилъ Розановъ.

— Да-съ, о вѣрности въ бракѣ. Красинъ всѣмъ доказалъ, что женщина не имѣетъ права быть вѣрною отсутствующему человѣку.

— Ибо?

— *Ибо* она лишаетъ тѣмъ полноты жизни другихъ ее окружающихъ.

— Экая скотина!

— Кто это: Красинъ?

— Да, разумѣется.

— Дмитрій Петровичъ, мы съ вами старые знакомые, это правда; но это не даетъ вамъ права оскорблять при мнѣ моихъ новыхъ знакомыхъ,—вспыльчиво произнесла Лиза.

— Этотъ шальной Красинъ вашъ другъ?

— Прошу васъ такъ о немъ не выражаться! еще вспыльчивѣе проговорила Лиза.

— Человѣкъ, проповѣдующій такой цинизмъ, можетъ быть вашимъ другомъ?

— Я вамъ сказала, и болѣе намъ говорить не о чемъ. Бертольди, куда вы послали Помаду?

— Я ему велѣла зайти купить для васъ стаканъ. Онъ тамъ тоже спорилъ.

— Отвергалъ вѣрность?—спросилъ Розановъ.

— Нѣтъ, онъ съ вами и со всѣми отсталыми.

— Слава Богу, что не съ вами. А вы позволите откровенно спросить, Лизавета Егоровна, вы тоже за красинское мнѣніе?

— Разумѣется, поспѣшила сказать Бертольди:— предразсудки не должны останавливать женщину, желающую содѣйствовать гражданскому успѣху. Волокитствомъ да любовью есть время заниматься только пустымъ идеалистамъ.

Розановъ вдругъ всталъ, посмотрѣлъ на Бертольди, потомъ на Лизу, хотѣлъ ее спросить что-то, но опять сѣлъ и сталъ смотрѣть въ окно.

Бертольди захохотала.

— А вы думали, что еще долго люди будутъ развлекаться любовью?—спросила она Розанова.

— Ну, извините, я ужъ не могу съ вами и говорить послѣ того, что вы сказали при двухъ женщинахъ.

— А по-вашему, честнѣе обмануть женщину любовью? Зачѣмъ же ложь,—лучше поступать откровенно.

— Вы просто ничего неспособны понимать.

— Фактъ.

— Что это *фактъ*?

— То, что я вамъ сказала.

— Нѣтъ, это ужъ выше силъ. Я не знаю, какъ вы все это слушаете, Лизавета Егоровна.

— Я пріучила себя *все* слушать; вы вѣдь тоже говорите не стѣсняясь,—отвѣчала сухо Лиза.

— Но я не оскорбляю человѣческихъ чувствъ моими словами.

— Въ словахъ Бертольди есть свои основанія.

— Вы этого не думаете, Лизавета Егоровна.

— Почемъ знать. Не думаете ли вы, что я согласна съ

вами, потому что я съ вами съ нѣкотораго времени не спорю.

— Вы меня хотите обидѣть, Лизавета Егоровна, или такъ это говорите?

— Какой наивный вопросъ!—воскликнула, засмѣявшись, Бертольди.

— Что же, однако, это не идетъ Помада?—спрашивала Лиза.

— Онъ, вѣрно, еще зайдетъ къ прачкѣ, я его посылала туда, да онъ не засталъ ее утромъ дома,—отозвалась Бертольди.

— Лизавета Егоровна, началъ послѣ паузы Розановъ,— я былъ бы очень радъ, если бы вы мнѣ позволили получить отъ васъ прямой и откровенный отвѣтъ.

— Извольте,—спокойно отвѣчала Лиза.

— Мы съ вами только натягиваемъ наши отношенія.

— Это правда.

— Я это давно вижу.

— Еще бы?—буркнула Бертольди, набивая себѣ папироску.

— Мы стали во всемъ расходиться.

— Мы никогда и не сходились.

— Ну, нѣтъ; было время, что мы находили о чемъ говорить.

— Да, я тогда принимала васъ совсѣмъ за другого человѣка; а вы вовсе не то. что я о васъ думала.

— То-есть, что же я, негодяй какой, или предатель, врагъ чего-нибудь хорошаго?

— Нѣтъ, но вы эгоистъ.

— Я! я эгоистъ!

— Да, въ пространномъ смыслѣ слова; вы все-таки больше всѣхъ любите себя.

— Лизавета Егоровна! это не вамъ бы говорить, не мнѣ бы слушать.

— Отчего же-съ: что вы любили когда-то свою жену и что любите, можетъ-быть, ребенка,—это еще не велика заслуга передъ человѣчествомъ. Вы себя въ нихъ любите.

— Лизавета Егоровна, это не такъ!

— А какъ же? человѣкъ любитъ семью для себя. Вѣдь вы же перестали любить жену, когда она стала дѣлать вамъ гадости.

— Нѣтъ, не тогда я пересталъ ее любить.

— Ну, это все равно. Дѣло не въ томъ, а вы равнодушны къ человѣческому горю; вы только пугаете людей и стараетесь при каждомъ, рѣшительно при каждомъ случаѣ, отклонять людей отъ готовности служить человѣчеству. Вы портите дѣло, вы отстаиваете рутину,—вы, по-моему, человѣкъ рѣшительно вредный. Это мое откровенное о васъ мнѣніе.

— Покорно васъ благодарю за эту откровенность, сказалъ, приподнимаясь, Розановъ.—Что-жъ, послѣ такого разговора, я полагаю, нѣтъ причины продолжать наше знакомство.

— Какъ хотите, Дмитрій Петровичъ, спокойно отвѣчала Лиза:—я на васъ не сержусь, но общаго между нами ничего нѣтъ, и вы, дѣйствительно, только разъединяете наше общество своимъ присутствіемъ.

— Я этого болѣе не буду дѣлать, отвѣчалъ, поднимаясь и берясь за шляпу, Розановъ.—Но я тоже хотѣлъ бы заплатить вамъ, Лизавета Егоровна, за вашу откровенность откровенностью же. Вы мнѣ наговорили много о моемъ эгоизмѣ и равнодушеніи къ ближнимъ; позвольте же и мнѣ указать вамъ маленькое пятнышко въ вашей гуманности, пятнышко, которое тоже очень давно заставляетъ меня сомнѣваться въ этой гуманности.

— Какое пышное словоизверженіе, — пропищала Бертольди.

Калистратова встала и начала надѣвать шляпку.

— Вы когда нибудь останавливались въ вашихъ размышленіяхъ надъ положеніемъ человѣка, который весь одна любовь къ вамъ?

— Это вы о комъ говорите?

— Я говорю о Помадѣ.

— Что это такое? что такое о Помадѣ?

— Я говорю о Помадѣ, котораго вы губите, вмѣсто того чтобы быть ему полезною.

— Какъ вы смѣете мнѣ говорить это!

— Смѣю-съ, смѣю, Лизавета Егоровна, потому что вы поступаете съ нимъ жестоко, безчеловѣчно, гадко. Вы ничего, таки ровно ничего для него не сдѣлали; скажу еще разъ: вы его погубили.

— Дмитрій Петровичъ?

— Ничего-съ, положено быть откровенными. Помада...

— Помада никогда ничего не дѣлалъ всю свою жизнь.

— Ну, какъ это сказать: было же время что онъ учился и отлично учился, а это онъ ужъ послѣ опустился и ошалѣлъ.

— Не я, надѣюсь, въ этомъ виновата.

— Въ этомъ не вы виноваты, а въ томъ, что онъ совсѣмъ потерялъ голову теперь,—виноваты вы. Вы видѣли, что онъ влюбляется въ васъ, и держали его возлѣ себя, позволяли ему еще болѣе и болѣе къ вамъ привязаться. Я васъ и въ этомъ еще строго не осуждаю: этому способствовали и обстоятельства и его привязчивая натура; но вы должны были, по крайней мѣрѣ, оцѣнить эту преданность, а вы ея не оцѣнили: вы только были съ нимъ презрительно холодны. Вы могли, очень легко могли употребить его привязаннесть въ его пользу, пробудить въ немъ вашимъ вліяніемъ дѣятельность, гордость, энергію, — вы этого не сдѣлали. Вы могли не любить его, если онъ вамъ не нравится, но вы должны были заплатить этому бѣдняку за все, что онъ вамъ отдалъ, самою теплою дружбою и вниманіемъ. Онъ вѣдь не дуракъ, онъ даже, можетъ быть, поумнѣе многихъ умниковъ; онъ бы не полѣзъ на стѣну и удовольствовался бы вашей дружбой, онъ бы васъ слушался и вы бы могли сдѣлать изъ него человѣка, а вы что изъ него дѣлаете? За посудой его посылаете; гоняете къ прачкѣ и равнодушно смѣетесь надъ тѣмъ, что онъ ничего не дѣ-

лаетъ и живетъ, какъ птица небесная, только для того, чтобы служить вамъ?

— Это говоритъ въ васъ злоба, — замѣтила Бертольди.

— Какая злоба?

— Хотите выйти отсюда героемъ, защитникомъ угнетенныхъ и обиженныхъ.

— Отчего вы не говорили мнѣ прежде?—спросила Лиза.

— Стѣснялся; не хотѣлъ васъ смущать; ждалъ, что вы сжалитесь надъ нимъ; а теперь, когда мы съ вами разстаемся, я вамъ это высказываю.

— Потрудитесь, пожалуйста ужъ, образумить и вашего Помаду.

— Какой же онъ мной? Онъ болѣе вашъ чѣмъ мой.

— А мнѣ до него съ этихъ поръ нѣтъ дѣла: я попрошу его оставить меня и дѣлать, что ему тамъ нужно и полезно.

— Вотъ и прекрасно: этого только не доставало. Вотъ ваша и гуманность: съ рукъ долой—и кончено.

— Да чего же вы, наконецъ, отъ меня хотите?—запальчиво крикнула Лиза.

— Хочу? Ничего я отъ васъ не хочу, а желаю, чтобы необъятная ширь вашихъ стремленій не мѣшала вамъ, любя человѣчество, жалѣть людей, которые васъ окружаютъ, и быть къ нимъ поснисходительнѣе. Пока мы не будемъ считать для себя обязательнымъ участіе къ каждому человѣку, до тѣхъ поръ всѣ эти гуманныя теоріи—вздоръ, ахинея и ложь, только вредящая дѣлу. Вы вонъ Красина-то за человѣка считаете, а Красинъ сто разъ хуже Арапова, хуже Зарницына, хуже всѣхъ. Васъ отуманиваетъ ваша горячая натура и честныя стремленія, и вы не видите, кого вы принимаете за людей. Это трусы, которымъ хочется прослыть дѣятелями и которые выдумали играть безопасную для себя комедію, разславляя, что это какое-то политическое дѣло. Отлично! За это въ Сибирь не сошлютъ и даже подъ арестъ не посадятъ; а между тѣмъ нѣкоторое время мы эдакъ порисуемся. Но за то, вотъ помяните мое слово, проснется общественное сознаніе, очнутся нѣкоторые изъ нихъ са-

михъ, и не будетъ для нихъ на русской землѣ людей поганѣе этихъ Красиныхъ; не будетъ ни одного изъ нихъ самими ими неразоблаченнаго и незаплеваннаго. Это не то увлеченіе, которое недавно прошло и которому рѣдкій, рѣдкій не поддавался, это даже не фанатизмъ; такой фанатизмъ вотъ можетъ проявляться въ васъ, въ другихъ честныхъ людяхъ, а это просто игра человѣческою глупостью и страстями, это эксплоатація людей, легко увлекающихся. Погодите: теперь они легко вербуютъ оттого, что люди еще гонятся за именемъ либерала, а вотъ они окажутъ отечеству иную услугу. Они устраиваютъ такъ, что порядочный человѣкъ станетъ стыдиться названія русскаго либерала. Да-съ, Лизавета Егоровна, *стыдиться* станутъ, и это устроятъ они, а не ретрограды, не рутинисты. Вы думаете, это что нибудь новое? Вѣдь все это ужъ старо. Въ 1802 году дѣды наши читали «Естественный Законъ» изъ сочиненій господина Вольтера. Помилуйте, да въ наше университетское время тоже было стремленіе къ радикализму; всѣ мы болѣе или менѣе были радикалы, и многіе до сихъ поръ ими остаются.

— Не вы ли, напримѣръ?—спросила Бертольди.

— Я, напримѣръ, да-съ.

— А что же вы сдѣлали? женились и скверно жили съ женою?

— Да-съ. Мы довели общество до того, что оно, ненавидя насъ, все-таки начинало насъ уважать и за насъ пока еще нынче церемонится съ вами, а вы его избавите и отъ этой церемонности.

— И лучше,—на чистоту.

— Ну, увидимъ.

— Не думаете ли вы, что мы вашего *общества* побоимся.

— Да кто вы? Кто это вы? Много-ли *васъ-то?* Васъ и пугать не станутъ,—сами попрячетесь, какъ мыши. Силачи какіе! Вы посмотрите, вѣдь на это не надо ни воли,

ни знаній, ни смѣлости; на это даже, я думаю, Бѣлоярцевъ, и тотъ пойдетъ.

— Еще бы? да онъ нашъ. Что-жъ вы такъ разсуждаете о Бѣлоярцевѣ?

— Милосердный Боже! и Ты это видишь и терпишь! И Бѣлоярцевъ во либералахъ! Еда и Саулъ во пророцѣхъ!— Лизавета Егоровна! да я готовъ васъ на колѣняхъ умолять, осмотритесь вы, прогоните вы отъ себя эту сволочь.

— Вы забыли, что отсюда прогоняютъ *васъ?* — съ презрительною улыбкой сказала Бертольди.

Лиза хранила мертвое молчаніе.

— Да, я это, дѣйствительно забылъ, — произнесъ Розановъ и, поклонившись Лизѣ, пошелъ за двери.

— Подождите же меня, Дмитрій Петровичъ, крикнула ему въ окно Калистратова и, простясь съ Лизой и Бертольди, тоже вышла вслѣдъ за Розановымъ.

Лиза все сидѣла и молча смотрѣла на полъ.

— Какая свиньища, однако же, этотъ Розановъ: его тоже непремѣнно нужно будетъ похерить, — проговорила Бертольди, сдѣлавъ нѣсколько концовъ по комнатѣ.

— Всѣ очень хороши въ своемъ родѣ,—тихо отвѣтила Лиза и, перейдя на диванъ, прислонилась къ подушкѣ и завела вѣки.

На дворѣ отходилъ густой и необыкновенно теплый вечеръ и надвигалась столь же теплая ночь.

Розановъ съ Калистратовой, отойдя съ полверсты, встрѣтили Помаду. Онъ шелъ съ большимъ узломъ на плечѣ и съ палкой. Можно было догадаться, что Помада очень веселъ, потому что онъ задувалъ въ разладъ:

Nos habeeeebit huuuumus.
Nos habeeebit huumus.

— Помада—окрикнулъ его докторъ.

— Э!—отозвался Помада и соскочилъ съ высокой окраины дорожки, которою шелъ.

— Откуда?

— Изъ разныхъ мѣстъ, братецъ; здравствуйте, Полина

Петровна,—добавилъ онъ, снимая свой неизмѣнный блинъ съ голубымъ околышемъ, и сейчасъ же продолжалъ:—взопрѣлъ, братецъ, какъ лошадь; такой узлище тяжелый, чтобъ его чертъ взялъ совсѣмъ.

— Что это у тебя въ узлѣ-то?

— Бѣлье отъ прачки несу Елизаветѣ Егоровнѣ.

Калистратова засмѣялась, а Розанову было досадно.

— Слуга-личарда вѣрный, сказалъ онъ Помадѣ,—когда ты дѣло-то будешь дѣлать?

— А мнѣ, братъ, ужъ мѣсто обѣщено.

— Какое-жъ мѣсто?

— Богатыревъ меня въ сенатъ опредѣляетъ.

— Писателемъ?

— Да, пока; чудакъ ты; вѣдь нельзя же разомъ.

— Десять сребрениковъ будешь получать въ мѣсяцъ?

— Нѣтъ, я думаю больше.

— Хорошо-жъ твое дѣло! Прощай, спѣши съ бѣльемъ.

— Или спать ложатся?

— Кажется.

— О, чортъ меня возьми!—воскликнулъ Помада и, взваливъ на плечо узелъ, замаршировалъ бѣглымъ шагомъ, даже забывъ проститься.

Розановъ съ Калистратовой обернулись и молча смотрѣли на Помаду, пока бѣлѣвшійся на его плечѣ огромный узелъ съ бѣльемъ исчезъ въ темнотѣ ночи.

— Это у него, значитъ, и на извозчика нѣту,—произнесла Полинька.

— Да нѣту же, нѣту.

И Розановъ, и Калистратова почти ничего не говорили во всю дорогу. Только у своей калитки Калистратова, пожавъ руку Розанову, сказала:

— Вы, Дмитрій Петровичъ, не огорчайтесь. Я очень жалѣю, что все это такъ вышло; но вѣдь это не нынче, такъ завтра должно было непремѣнно случиться.

— Да, я ужъ привыкъ къ такимъ встрепкамъ, только досадно подумать, за что это на мою долю ихъ такъ много

выпадаетъ. Вѣдь вотъ всегда такъ, какъ видите. Ну, чѣмъ я виноватъ сегодня?

— Вы сегодня совершенно правы и потому должны быть совсѣмъ спокойны.

— А между тѣмъ я же все сиротѣю и сиротѣю; даже жизнь иной разъ становится постылой!

— Не вамъ однимъ такъ,—отвѣчала своимъ разбитымъ голоскомъ Калистратова, дружески пожавъ его руку, и Розановъ потянулся по пустымъ улицамъ Сокольниковъ на свою квартиру.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Осенняя Liebesfieber.

Послѣ разрыва съ Лизою, Розанову некуда стало ходить, кромѣ Полиньки Калистратовой; а лѣто, хотя уже и пришло къ концу, но дни стояли прекрасные, теплые и дачники еще не собирались въ пыльный городъ. Даже Помада сталъ избѣгать Розанова. На другой день послѣ описаннаго въ прошедшей главѣ объясненія, онъ рано прибѣжалъ къ Розанову, взволнованнымъ, обиженнымъ тономъ выговаривалъ ему за желаніе поссорить его съ Лизою. Никакого средства не было урезонить его и доказать, что такого желанія вовсе не существовало.

— На что тебѣ было говорить обо мнѣ! на что мѣшать мое имя! хотѣлъ самъ ссориться, ну и ссорься, а съ какой стати мѣшать меня. Я очень дорожу ея вниманіемъ, что тебѣ мѣшать меня! Я вѣдь не маленькій, чтобы за меня заступаться, — частилъ Помада и съ этихъ поръ началъ избѣгать встрѣчъ съ Розановымъ.

Онъ не разошелся съ Розановымъ и не разлюбилъ его, а сталъ его бояться и, къ тому же, въ отчужденіи отъ Розанова онъ полагалъ заслугу передъ своимъ идоломъ.

Калистратова навѣщала Лизу утрами, но гораздо рѣже, отговариваясь тѣмъ, что вечеромъ ей не съ кѣмъ ходить.

Лиза никогда не спрашивала о Розановѣ и какъ рыба

молчала при всякомъ разговорѣ, въ которомъ съ какой бы то ни было стороны касались его имени.

Розановъ же въ первый одинокій вечеръ опять было развернулъ свою диссертацію, но не усидѣлъ за столомъ и пошелъ къ Калистратовой.

Съ того дня онъ аккуратно каждый вечеръ являлся къ ней, и они до поздней ночи бродили по сокольницкому лѣсу.

Въ этихъ ночныхъ бесѣдахъ ни она, ни онъ никогда не говорили о своемъ будущемъ, но незамѣтно для нихъ самихъ, самымъ тщательнымъ образомъ разсказали другъ другу свое прошедшее. Передъ Розановымъ все болѣе и болѣе раскрывалась нѣжная душа Полиньки, а въ Полинькѣ укрѣплялось сожалѣніе къ доктору.

Дружба и теплота ихъ взаимныхъ отношеній все заходили далѣе и далѣе. Часто цѣлыя короткія ночи просиживали они на холмикѣ, говоря о своемъ прошедшемъ. О своемъ будущемъ они никогда не говорили, потому что они были *люди безъ будущаго*.

Темная синева московскаго неба, истыканная серебряными звѣздами, блѣднѣетъ, роса засеребрится по сѣрѣющей въ полумракѣ травкѣ, потомъ поползетъ рѣдкій сѣдой туманъ и спокойно поднимается къ небу, то ласкаясь на прощанье къ дремлющимъ березкамъ, то расчесывая свою рѣдкую бороду о колючія полы сосенъ; въ сторонѣ отчетисто и звучно застучатъ зубами лошади, чешущіяся по законамъ взаимнаго вспоможенія; гудя пройдетъ тяжелымъ шагомъ убѣжавшій быкъ, а люди безъ будущаго все сидятъ. Розановъ сидитъ, обхвативъ руками свои колѣни и уткнувъ въ нихъ свой подбородокъ, а Полинька, прислоня къ щечкѣ палецъ и облокотясь рукою на брошенное на травѣ розановское пальто.

Такъ проводили время наши сокольницкіе пустынники, какъ московское небо стало хмуриться, и въ одно прекрасное утро показался снѣжокъ. Снѣжокъ, конечно, былъ пустой, только выпалъ и сейчасъ же растаялъ; но тѣмъ не менѣе онъ оповѣстилъ дачниковъ, что зима стоитъ неда-

леко за Валдайскими горами. Надо было переѣзжать въ городъ.

Это обстоятельство очень непріятно напомнило Розанову о томъ страшномъ житьѣ, которое, того и гляди, снова начнется съ возвращеніемъ жены и углекислыхъ фей. А Розанову было такъ хорошо стало, жизнь будто еще разъ начиналась послѣ всѣхъ досадныхъ тревогъ и опостылѣвшихъ сухихъ споровъ.

Прощались они съ Полинькою самымъ теплымъ, самымъ задушевнымъ образомъ, даже давали другъ другу совѣты, какъ жить въ Москвѣ.

Розановъ возвращался на Чистые Пруды, а Полинька переѣзжала въ Грузины, къ нѣкоей благодѣтельницѣ Варварѣ Алексѣевнѣ, у которой приставали отыскивающія мѣстъ гувернантки и бонны. У Варвары Алексѣевны было десять или двѣнадцатъ коморочекъ, весьма небольшихъ, но довольно чистенькихъ, сухихъ, теплыхъ и свѣтлыхъ; да и сама Варвара Алексѣевна была женщина весьма теплая и весьма честная: обращалась съ своими квартирантками весьма ласково, охраняла ихъ отъ всякихъ обидъ; брала съ нихъ по двѣнадцати рублей со всѣмъ: со столомъ, чаемъ и квартирой и, вдобавокъ, нерѣдко еще «обжидала» деньженки. Варвару Алексѣевну очень любили ея разбитыя и безпомощныя жилицы почти тою же самою любовью, которая очень надолго остается у нѣкоторыхъ женщинъ къ ихъ бывшимъ институтскимъ наставницамъ и воспитательницамъ. Полинька ни за что не хотѣла возвращаться къ дядѣ, не хотѣла жить одна или съ незнакомыми людьми, и возвращалась подъ крылышко Варвары Алексѣевны, у которой жила она до переѣзда въ Сокольники.

Въ розановской квартирѣ было все въ безпорядкѣ; навороченная мебель стояла грудами,—все глядѣло нехорошо какъ-то.

Но Розанову недолго приходилось скучать безпорядкомъ и одиночествомъ. За послѣдними, запоздавшими журавлями, поднялось и потащилось къ городамъ русское дворянство,

и въ одно подлѣйшее утро Ольга Александровна пріѣхала дѣлать порядокъ въ розановской жизни.

Въ первый день Ольга Александровна, по обыкновенію, была не въ мѣру нѣжна; во второй—не въ мѣру чувствительна и придирчива, а тамъ у нея во лбу сощелкивало, и она несла зря, что ни попало.

Нынѣшній разъ процессъ этотъ совершился даже гораздо быстрѣе: Ольга Александровна обругала мужа къ вечеру же на второй день пріѣзда и объявила, что она возвратилась къ нему только для того, чтобы какъ должно устроиться и потомъ разстаться. Ольга Александровна не могла не торопиться отдѣлкою своего мужа, ибо, во-первыхъ, въ теченіе цѣлаго лѣта онъ могъ совсѣмъ отвыкнуть отъ проборокъ, могъ, какъ она выражалась, «много о себѣ возмечтать»; а во-вторыхъ, и удобный случай къ этому представился. Ребенокъ, по мнѣнію доктора, былъ дурно содержанъ въ теченіе лѣта. Дѣвочка вернулась нимало не поправившись, такая же изнѣженная, слабая, — вдобавокъ съ нѣкоторыми, весьма нехорошими, по мнѣнію Розанова, наклонностями.

Съ перваго же указанія на это, Ольга Александровна поставила себя въ отношеніи къ мужу на военное положеніе. Ея всегдашняя безцеремонность въ обращеніи съ мужемъ не только нимало не смягчилась отъ долговременнаго общенія съ углекислыми феями, но, напротивъ, стала еще рѣзче. Къ тому же, Ольга Александровна вообразила себѣ, что она въ кого-то платонически влюблена и имъ платонически любима. При столь благопріятныхъ шансахъ Ольга Александровна хотѣла быть нарочито рѣшительною: — разводъ, и кончено. Прошла недѣля, другая, — содомъ не унимался. Розановъ сталъ серьезно втупикъ. Скандалъ скандаломъ, но и ребенка жаль, да куда же дѣться? а жить порознь въ Москвѣ, въ виду этого самаго кружка, онъ ни за что бы не согласился.

Пока Розановъ волновался такими тяжелыми раздумьями и съ совершеннымъ отчаяніемъ видѣлъ погибшими всѣ

свои надежды довести жену до житья, хоть не сладкаго, но, по крайней мѣрѣ, и не постыднаго, Ольга Александровна шла forte-fortissime. Ей непремѣнно нужно было «*стать на ногу*», а стоять на своей ногѣ, по ея соображеніямъ, можно было только начавъ сепаратныя отношенія съ мужемъ. Углекислыя феи давно уже смотрѣли на Розанова какъ на человѣка скупого, грубаго и неудобнаго для совмѣстнаго жительства съ «нѣжною женщиною». Давно онѣ склонялись на сторону разъединенія этой смѣшной и жалкой пары, но еще останавливались передъ вопросомъ о дѣвочкѣ, которую Розановъ, какъ отецъ, имѣлъ право требовать. Теперь же это все порѣшилось разомъ. На основаніи новыхъ свѣдѣній, сообщенныхъ Ольгою Александровною о грубости мужа, дошедшей до того, что онъ неодобрительно относится къ воспитанію ребенка, въ которомъ принимали участіе сами феи, — всѣ нашли несообразнымъ тянуть это дѣло долѣе, и Дмитрій Петровичъ, возвратясь одинъ разъ изъ больницы, не засталъ дома ни жены, ни ребенка. Въ женином спальнѣ онъ увидалъ комодъ съ выдвинутыми пустыми ящиками; образа изъ образника были вынуты; дѣтскій занавѣсъ снятъ; мелкія вещицы съ комода куда-то убраны, — вообще все, какъ послѣ отъѣзда.

— Что бы это такое? — подумалъ Розановъ, зная, что хорошаго это предвѣщать не можетъ.

Ничего хорошаго и не было. По показанію кухарки и горничной, Ольга Александровна часовъ въ одиннадцать вышла изъ дома съ ребенкомъ, черезъ полчаса возвратилась безъ ребенка, но въ сопровожденіи Рогнѣды Романовны, на скорую руку забрала кое-что въ узлы, остальное замкнула и ушла. Куда ушла Ольга Александровна— этого не могли Розанову сообщить ни горничная, ни кухарка, хотя обѣ эти женщины весьма сочувствовали Розанову и, какъ умѣли, старались его утѣшить. Главнѣйшимъ утѣшеніемъ онѣ ставили то, что Ольга Александровна испорчена и что ее надо отчитывать. Впрочемъ, вѣрила порчѣ

одна кухарка, женщина недавно пришедшая изъ села; горничная же, дѣвушка давно обжившаяся въ городѣ и насмотрѣвшаяся на разныя супружескія траги-комедіи, только не спорила объ этомъ при Розановѣ, но въ кухнѣ говорила: «точно ее, барыню-то нашу, надо отчитывать: разложить, хорошенько пороть, да и отчитывать ей: живи, молъ, съ мужемъ, не срамничай, не бѣгай по чужимъ дворамъ. А больше всего,—резонировала горничная,—больше всего мнѣ эти сороки длиннохвостыя. Вмѣсто того, чтобы добру научить, онѣ только съ толку сбиваютъ. Ухъ, ужъ я-бъ ихъ, будь я теперь на бариновомъ мѣстѣ, какъ бы я ихъ теперича отдѣлала, только любо-бъ два. Будь это моя жена, сейчасъ бы на его мѣстѣ пошла бы и всѣхъ бы оттрепала».

Между тѣмъ день сталь склоняться къ вечеру; на столѣ у Розанова все еще стоялъ нетронутый обѣдъ, а Розановъ, мрачный и задумчивый, ходилъ по опустѣвшей квартирѣ. Наконецъ и стемнѣло; горничная подала свѣчи и еще разъ сказала:

— Да кушайте, баринъ.

Розановъ отказался ѣсть. Горничная убрала со стола и подала самоваръ. Розановъ не сталъ пить и чаю. Внутреннее состояніе его дѣлалось съ минуты на минуту тревожнѣе. «Гдѣ онѣ странствуютъ? Гдѣ мычется это несчастное дитя?» раздумывалъ онъ, чувствуя, что его оставляетъ не только внутренняя твердость, но даже и физическія силы.

— И зачѣмъ ѣхала? спрашивалъ онъ себя. — Чтобы еще разъ согнать меня съ пріюта, который достался мнѣ съ такими трудами; чтобы и здѣсь обмарать меня и надѣлать скандаловъ. А дитя? дитя? что оно вынесетъ изъ всего этого.

— Вы, Дмитрій Петровичъ, не убивайтесь, говорила ему съ участіемъ горничная: — съ ними ничего не случилось: онѣ здѣсь-съ.

— Гдѣ здѣсь? — спросилъ Розановъ

— Да извѣстно гдѣ: у энтихъ сорокъ. Я, какъ огни зажгли, все подъ окна смотрѣла. Тамъ онѣ... и барышня наша тамъ, на полу сидятъ, съ собачкой играютъ.

— Съ собачкой?

— Да-съ, съ собачкой съ нашей играютъ. Тамъ гости теперь; вы обождите, да и подите туда.

— Нѣтъ, Паша, не надо.

— Отчего? Вотъ глупости какія! Вы — супругъ возьмите за ручки, да и домой.

— Нѣтъ, Паша.

— Гмъ! Ну, записочку напишите.

Розановъ подумалъ, потомъ всталъ и написалъ: «Перестаньте срамиться. Васъ никто даже не обижаетъ; возвращайтесь. Лучше же все это уладить мирно, съ общаго согласія, или, по крайней мѣрѣ, отпустите ко мнѣ ребенка».

Паша проходила съ этой записочкой болѣе получаса и возвратилась ни съ чѣмъ. Ольга Александровна не дала никакого отвѣта.

Розановъ далъ Пашѣ денегъ и послалъ ее за Помадой. Это былъ единственный человѣкъ, на котораго Розановъ могъ положиться и которому не больно было повѣрить свое горе.

Помада довольно скоро явился съ самъ живымъ участіемъ и готовностью на всякую услугу.

Дѣвушка еще дорогой разсказала ему все, что у нихъ произошло дома. Помада зналъ Ольгу Александровну такъ хорошо, что много о ней ему разсказывать было нечего.

— Что-жъ, братъ, дѣлать? — спросилъ онъ Розанова.

— Сходи ты къ ней и попробуй ее обрезонить.

— Хорошо.

— Скажи, что я самъ безъ всякихъ скандаловъ готовъ все сдѣлать, только пусть она не дѣлаетъ срама. О, Боже мой! Боже мой!

Помада пошелъ и черезъ полчаса возвратился, объявивъ, что она совсѣмъ сошла съ ума; сама не знаетъ, чего хо-

четъ; ребенка ни за что не отпускаетъ и собирается завтра ѣхать къ генералъ-губернатору.

— Чего же къ генералъ-губернатору?

— А вотъ спроси ее.

— А дѣвочка моя?

— Спать ее при мнѣ повели: проснлась съ тобою проститься.

— Просилась?

— Да.

— Господи! что-жъ это за мука.

Въ передней послышался звонокъ.

— Вотъ во-время гости-то, — сказалъ Розановъ, стараясь принять спокойный видъ.

Вошелъ Сахаровъ, веселый, цвѣтущій, съ неизмѣнною злорадною улыбкою на лицѣ, раскланялся Розанову и освѣдомился о его здоровьѣ.

Докторъ отвѣчалъ казенною фразою.

— А я къ вамъ не своей охотою, началъ весело Сахаровъ: — я отъ барынь...

— Ну-съ, — произнесъ Розановъ.

— Вы, Дмитрій Петровичъ, оставьте все это: вамъ о ребенкѣ нечего безпокоиться.

— Ужъ объ этомъ предоставьте знать мнѣ.

— Ну, какъ хотите, только его вамъ не отдадутъ.

— Какъ это не отдадутъ?

— Такъ-таки не отдадутъ. Для этого завтра будутъ приняты мѣры.

— А вы думаете, я не приму своихъ мѣръ?

— Ну, вы свои, а мы—свои.

— Вы-то здѣсь что же такое?

— Я? я держу правую сторону.

— Кто жъ васъ сдѣлалъ моимъ судьей?

Сахаровъ состроилъ обидную гримасу и отвѣчалъ:

— Я всегда буду заступаться за женщину, которую обижаютъ.

— Уйдите, однако, отъ меня,—проговорилъ Розановъ.

— Позвольте,—весело отвѣчалъ Сахаровъ и, пожавъ руку Помадѣ, вышелъ.

— Пойдемъ ко мнѣ ночевать,—сказалъ Помада, чувствуя, что Розанову особенно тяжелъ теперь видъ его опустѣвшей квартиры.

Розановъ подумалъ, одѣлся, и они вышли.

Долго шли они молча; зашли въ какой-то трактирчикъ, попили тамъ чайку, ни о чемъ не говоря другъ съ другомъ, и вышли.

На дворѣ былъ девятый часъ вечера.

Дойдя до Помадиной квартиры, Розановъ остановился и сказалъ:

— Нѣтъ, я не пойду къ тебѣ.

— Отчего не пойдешь?

— Такъ, я домой пойду.

Сколько Помада ни уговаривалъ Розанова, тотъ настоялъ-таки на своемъ и они разстались.

Помада въ это время жилъ у одной хозяйки съ Бертольди и нѣсколькими студентами, а Розановъ вовсе не хотѣлъ теперь встрѣчаться ни съ кѣмъ и тѣмъ болѣе съ Бертольди.

Простившись съ Помадою, онъ завернулъ за уголъ и остановился среди улицы. Улица, не смотря на ранній часъ, была совершенно пуста; подслѣповатые московскіе фонари слабо свѣтились, двѣ цѣпныя собаки хрипло лаяли въ подворотни, да въ окна одного большого купеческаго дома тихо и безмятежно смотрѣли строгіе лики окладныхъ образовъ, ярко освѣщенныхъ множествомъ теплящихся лампадъ.

Розановъ пошелъ зря.

Ничего не понимая, дошелъ онъ до театральной площади и забрелъ къ Барсову.

Заведеніе уже было пусто: только за однимъ столикомъ сидѣли два человѣка, передъ которыми стояла водка и ветчина съ хрѣномъ.

— Можно чайку? — спросилъ Розановъ знакомаго полового.

— Еще можно-съ, Дмитрій Петровичъ, — отвѣчалъ половой.

Розановъ сталъ полоскать поданный ему стаканчикъ и отъ нечего дѣлать всматривался въ сидящую неподалеку отъ него пару съ ветчиной и водкой.

Одинъ изъ этихъ господъ былъ толстый, сѣрый человѣкъ, съ маленькимъ носомъ и плутовскими, предательскими глазками; лицо его было блѣдно, а голова покрыта желто-сѣрыми клочьями. Вообще это былъ типъ мелкостатейнаго трактирнаго шулера на билліардѣ, биксѣ и въ трынкѣ. Собесѣдникъ его былъ голіавъ, смуглый, съ быстрыми, чрезвычайно лживыми коричневыми глазами, гладко и довольно кокетливо причесанными напередъ черными волосами и усами á la Napoleon III. Голіавъ смотрѣлъ молодцомъ, но молодцомъ тоже темнаго разбора: это былъ не столько тонкій плутъ и пролазъ, сколько безпутникъ и нахальный шулеръ, но, однако, шулеръ степенью покрупнѣе своего товарища. Это былъ что называется, шулеръ *воинствующій*, шулеръ способный, сдѣлавъ подлость, не ускользать, а обидѣться за первое замѣчаніе и неотразимо стремиться расшибить мощнымъ кулачищемъ всякую личность, которая посмѣла бы пикнуть не въ его пользу. Лицо голіава не было лишено даже своего рода благообразности, — благообразности, напоминающей, напримѣръ, лицо провинціальныхъ актеровъ, когда они изображаютъ «благородныхъ отцовъ» въ драмахъ, трагедіяхъ и траги-комедіяхъ. Глядя на него, вы чувствовали, что онъ не только трактирный завсегдатель, но и внѣ трактировъ членъ извѣстнаго общества; что онъ, сокрушивъ одну, двѣ обобранныя имъ бѣлогубыя рожи, могъ не безъ пріятности и не безъ надежды на успѣхъ пройтись между необъятными кринолинами разрумяненныхъ и подсурмленныхъ дамъ жирнаго Замоскворѣчья, Рогожской, Таганки и Преображенскаго кладбища. Вы чувствовали, что дамы этихъ краевъ, узрѣвъ этого господина, весьма легко могли сказать своей или сосѣдской кухаркѣ: «вотъ, погляди, Акулинушка, какой чудес-

ный мужчина ходитъ. Очень мнѣ такіе мужчины ндравятся».

Розанову показалось, что онъ когда-то видѣлъ эту особу, и, дѣйствительно, онъ ее мелькомъ видѣлъ одинъ разъ на сокольницкомъ гуляньѣ и теперь узналъ ее: это былъ мужъ Полиньки Калистратовой.

Розановъ отъ нечего дѣлать сталъ теперь всматриваться въ Калистратова и старался открыть въ немъ хоть слабые внѣшніе слѣды тѣхъ достоинствъ, которыми этотъ герой когда-то покорилъ себѣ Полиньку или расположилъ въ свою пользу ея дядей.

Ничего этого въ немъ не было, и Розановъ задумался надъ странною игрою, которая происходитъ при подтасовкѣ паръ, соединяемыхъ по волѣ случая, разсчета или собственныхъ увлеченій.

Между шулерами шла бесѣда.

— Видишь, — говорилъ Калистратовъ сѣрому, поставивъ ребромъ ладонь своей руки на столѣ,—я иду такъ по тротуару, а она вотъ такъ изъ-за угла выѣзжаетъ въ каретѣ. (Калистратовъ взялъ столовый ножъ и положилъ его подъ прямымъ угломъ къ своей ладони). Понимаешь?

Сѣрый мотнулъ утвердительно головою.

— Лошади вдругъ хватили, понимаешь?

Сѣрый опять мотнулъ головою.

— У кучера возжа хлопъ, перелетѣла... лошади на дыбы и понеслись. Она распахнула дверцы и кричитъ: «спасите! спасите!» а карета рррръ-рррръ изъ стороны въ сторону. Она все кричитъ своимъ голоскомъ: «спасите!» а народъ, разиня ротъ, стоитъ. Понимаешь?

Сѣрый еще кивнулъ.

— Я сейчасъ,—продолжалъ нараспѣвъ Калистратовъ,— разъ, два, рукою за дверцу, а она ко мнѣ на руки. Крохотная такая и вся разодѣтая какъ херувимчикъ. «Вы, говоритъ, мой спаситель; я вамъ жизнью обязана. Примите, говоритъ, отъ меня это на память». Видишь тамъ ея портретъ?

— Вижу, — отвѣчалъ сѣрый, прищуривая глаза и поднося къ свѣчѣ дорогой браслетъ съ женскимъ портретомъ.

— Хороша?—спросилъ Калистратовъ.

— Худенькая должна быть.

— Ну, худенькая! Тебѣ все ковригъ бы купеческихъ; тѣ ужъ надоѣли, а это субтиль-жантиль миньёночка: про праздники беречь будемъ.

Калистратовъ все вралъ: онъ не спасалъ никакой дамы, никакая женская ручка не дарила ему этого браслета, а взялъ онъ его самъ посредствомъ четверки и сыпнòго туза у нѣкоего другого корнета, пріобрѣтшаго страстишку къ картамъ и ключикъ къ туалетному ящику своей жены.

Сѣрый отлично понималъ это, но не разочаровывалъ голіафа, зная, что тотъ сейчасъ же заоретъ: «да я тебѣ, подлецу, всю рожу растворожу, щеку на щеку умножу, носъ вычту, а зубы въ дробь обращу».

Калистратовъ взялъ изъ рукъ сѣраго браслетъ и, дохнувъ на него, сказалъ:

— Я, братъ, разъ тарантасъ за задній ходъ удержалъ.

— Тссс!—протянулъ, какъ бы изумляясь, сѣрый.

— Я ѣхалъ изъ своей деревни жениться, — продолжалъ Калистратовъ, тщательно вытирая платкомъ браслетъ: — вещей со мною было на сто тысячъ. Я сошелъ дорогой, а ямщикъ, рррракалья этакая, хвать по лошадямъ. Я догналъ сзади и за колеса: тпру, и стой.

— А то ты знаешь какъ я женился?—продолжалъ Калистратовъ, завертывая браслетъ въ кусокъ «Полицейскихъ Вѣдомостей»:—дяди моей жены рррракальи были, хотѣли ее обобрать. Я всталъ и говорю: переломаю.

— И отдали?—спросилъ сѣрый.

— Сполна цѣлостію. Нѣтъ, говорю: она моя жена теперь, шабашъ. У меня женщину трогать ни-ни. Я вотъ этой Кòлобихѣ говорю: дай пять тысячъ на разводъ, сейчасъ разведусь и благородною тебя сдѣлаю. Я ужъ не отопрусь. Я слово далъ и не отопрусь.

Калистратовъ выпилъ водки и началъ снова.

— Я даже какъ женюсь, такъ сейчасъ прежней женѣ пенсію: получай и живи. Только честно живи; гдѣ хочешь, но только честно, не марай моего имени. А теперь хочешь уѣхать, такъ разставайся. Дай тысячу рублей, я тебѣ сейчасъ свидѣтельство и живи гдѣ хочешь; только опять честно живи, моего имени не марай.

— А Колобиха скряга!

— Ну да скряжничай, не скряжничай — не отвертится. Мое слово олово. Я сказалъ: внѣ брака болѣе ничего не будетъ, ни-ни-ни... А перевѣнчаемся, ужъ я ей это припомню, какъ скряжничать.

— Тогда забудете.

— Увѣчить ее, стерву, буду, а не забуду!—воскликнулъ, ударивъ по столу, Калистратовъ.

Пара разошлась и вышла.

Приходилось идти и Розанову. Некуда было ему идти, до такой степени некуда, что онъ, подозвавъ полового, спросилъ:

— Нельзя ли мнѣ тутъ соснуть, Василій?

— Не позволено, сударь, — отвѣчалъ половой. — Развѣ вамъ утромъ куда нужно рано-съ?

— Да, тутъ по близости нужно.

— Буфетчика спрошу, въ диванной не дозволитъ ли?

Розановъ посмотрѣлъ въ отворенную дверь темной диванной, вообразилъ, какъ завтра рано утромъ купцы придутъ сюда парить свои слежавшіяся за ночь души, и сказалъ:

— Нѣтъ ужъ, не надо.

— Здѣсь почти рядомъ по семи гривенъ можно имѣть нумеръ,—говорилъ ему половой.

— Да, пойду туда,—отвѣчалъ Розановъ.

И въ больницѣ, и на Чистыхъ-Прудахъ головы потеряли, доискиваясь, куда бы это дѣлся Розановъ. Даже съ Ольги Александровны разомъ соскочилъ весь форсъ и она очутилась дома.

Розановъ пропадалъ третій день: онъ не возвращался съ тѣхъ поръ, какъ вышелъ съ Помадой.

Отыскать Розанова было довольно трудно. Выйдя отъ Барсова, онъ постоялъ на улицѣ, посмотрѣлъ на мигавшіе фонари и, вздохнувъ, пошелъ въ то отдѣленіе сосѣдней гостинницы, въ которомъ онъ стоялъ съ пріѣзда въ Москву.

— Нумерочекъ!—спросилъ онъ знакомаго корридорнаго.

— Пожалуйте, вы одни-съ?

— Одинъ,—отвѣчалъ Розановъ.

— Пожалуйте.

Корридорный ввелъ гостя въ чистенькій нумеръ съ мягкою мебелью и чистою постелью, зажегъ двѣ свѣчи и остановился.

— Иди,—сказалъ Розановъ, садясь на диванъ.

— Ничего не прикажете?

— Нѣтъ, ничего.

— Закусить, или чаю?

— Ну, дай ужъ закусить что нибудь.

— И водочки?

— Пожалуй, дай и водочки.

Розанову подали котлетку и графинчикъ водочки, и съ тѣхъ поръ графинчика у него не снимали со стола, а только одинъ на другой перемѣняли.

Помада ноги отходилъ, искавши Розанова, и наконецъ, напавъ на его слѣдъ, по разсказамъ барсовскаго полового, нашелъ Дмитрія Петровича одиноко сидящимъ въ нумерѣ. Онъ снова запилъ мертвымъ запоемъ.

Помада забѣжалъ на Чистые-Пруды и сказалъ, чтобы о Розановѣ не безпокоились, что онъ цѣлъ и никуда не пропалъ.

Слухъ о Розановскомъ пьянствѣ разнесся по Чистымъ-Прудамъ и произвелъ здѣсь дикій гоготъ, бури дыханью подобный. Бѣдная madame Розанова была оплакана и ей ужъ не оставалось никакихъ средствъ спастись отъ опеки углекислыхъ. Маркиза даже предложила ей чуланъ на

антресоляхъ, чтобы къ ней какъ нибудь ночью не ворвался пьяный мужъ и не задушилъ ее, но Ольга Александровна не воспользовалась этимъ приглашеніемъ. Ей надоѣлъ уже чуланчикъ, въ которомъ она высидѣла двое сутокъ у Рогнѣды Романовны, и она очень хорошо знала, что мужъ ее не задушитъ. Она даже ждала его въ эту ночь, но ждала совершенно напрасно. Розановъ и на четвертую ночь домой не явился, даже не явился онъ и еще двое сутокъ и ужъ о мѣстѣ пребыванія его въ теченіе этихъ двухъ сутокъ никто не имѣлъ никакихъ свѣдѣній. Но мы можемъ посмотрѣть, гдѣ онъ побывалъ и что подѣлывалъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь.

Помада съ горькимъ соболѣзнованіемъ сообщилъ о пьянствѣ Розанова и Лизѣ. Онъ разсказалъ это при Полинькѣ Калистратовой, объяснивъ по порядку все, какъ это началось, какъ шло и чѣмъ кончилось, или чѣмъ должно кончиться.

— Несчастный человѣкъ!—сказала Лиза съ жалостью и съ презрѣніемъ.—Такъ онъ и пропадетъ?

— Какъ же, Лиза, надо бы что-нибудь сдѣлать,— тихо сказала послѣ Помадинаго разсказа Полинька Калистратова.

— Что же съ пьянымъ человѣкомъ дѣлать?

— Остановить бы его какъ нибудь.

— Какъ его остановить? Я ужъ пробовала это, добавила, помолчавъ, Лиза:—человѣкъ безъ воли и характера: ничего съ нимъ не сдѣлаешь.

Лиза была въ это время въ разладѣ со своими и не выходила за порогъ своей комнаты. Полинька Калистратова навѣщала ее аккуратно каждое утро и оставалась у ней до обѣда. Бертольди Ольга Сергѣевна ни за что

не хотѣла позволить Лизѣ принимать въ своемъ домѣ; изъ-за этого-то и произошла новая размолвка Лизы съ матерью.

Полинька Калистратова обыкновенно уходила отъ Лизы домой около двухъ часовъ, и нынче она ушла отъ Лизы въ это же самое время. Во всю дорогу и дома за обѣдомъ Розановъ не выходилъ изъ головы у Полиньки. Жаль ей очень его было. Ей приходили на память его теплая расположенность къ ней и хлопоты о ребенкѣ, его одиночество и неумѣнье справиться со своимъ положеніемъ. А впрочемъ, что можно и сдѣлать изъ такого положенія? думала Полинька и вышла немножко погулять.

Розановъ опять былъ съ Полинькой и до такой степени неотвязчиво онъ ее преслѣдовалъ, что она начала раздражаться. Искреннее сожалѣніе о немъ быстро смѣнялось пылкимъ гнѣвомъ и досадой. Полинька вдругъ приходила въ такое состояніе, что, какъ женщины иногда выражаются, «вотъ просто взяла бы да побила его». И въ эти-то минуты гнѣва она шла торопливыми шагами, точно она не гуляла, а спѣшила на трепетное роковое свиданіе, на которомъ ей нужно обличить и осыпать укорами человѣка, играющаго какую-то серьезную роль въ ея жизни. Да, Полинька и сама не думала теперь, что она просто гуляетъ: она сердилась и спѣшила. На дворѣ начинался вечеръ.

Въ одинокомъ нумеркѣ тоже вечерѣло. Румяный свѣтъ заката черезъ крышу сосѣдняго дома весело и тепло смотрѣлъ между двухъ занавѣсокъ и освѣщалъ спокойно сидящаго на диванѣ Розанова.

Докторъ сидѣлъ въ вицъ-мундирѣ, какъ возвратился четыре дня тому назадъ изъ больницы, и завивалъ въ рукахъ длинную полоску бумажки. Въ нумерѣ все было въ порядкѣ и самъ Розановъ тоже казался въ совершенномъ порядкѣ: во всей его фигурѣ не было замѣтно ни слѣда четырехдневнаго пьянства и лицо его смотрѣло одушевленно и опрятно. Даже оно было теперь свѣжѣе и счастливѣе, чѣмъ

обыкновенно. Это бываетъ у нѣкоторыхъ людей, страдающихъ запоемъ, въ первые дни ихъ болѣзни.

Передъ Розановымъ стоялъ графинчикъ съ водкой, ломоть ржаного хлѣба, солонка и рюмка.

Въ комнатѣ была совершенная тишина.

Розановъ вздохнулъ, приподнялся отъ стѣнки дивана, налилъ себѣ рюмку водки, проглотилъ ее и принялъ снова свое спокойное положеніе.

Въ это время дверь изъ корридора отворилась и вошелъ корридорный лакей, а за нимъ высокая дама въ длинномъ, клѣтчатомъ плюшевомъ бурнусѣ, съ густымъ вуалемъ на лицѣ.

— Выйди отсюда,—сказала дама лакею, спокойно входя въ нумеръ, и сейчасъ же спросила Розанова:

— Вы это что дѣлаете?

Розановъ промолчалъ.

— Это что?—повторила дама, ударивъ рукою возлѣ графина и рюмки.—Что это, я васъ спрашиваю?

— Водка,—отвѣчалъ тихо Розановъ.

— Водка!—произнесла презрительно дама и, открывъ форточку, выбросила за нее графинъ и рюмку.

— Вы узнаете меня?—спросила дама.

— Какъ же, узнаю: вы Калистратова.

— А я васъ не узнаю.

— Я гадокъ: я это знаю.

— И пьянствуете? Гдѣ вы были все это время?

— Я все здѣсь сидѣлъ. Мнѣ очень тяжело, Полина Петровна.

— Еще бы вы больше пили!

— Тяжело мнѣ очень. Какъ Каинъ безпріютный... Я бы хотѣлъ поскорѣе... покончить все разомъ.

Полинька, не снимая шляпы, позвонила лакея и велѣла подать счетъ.

Розановъ пропилъ на водкѣ, или на него насчитали на водкѣ, шестнадцать рублей.

Онъ вынулъ портмоне и отдалъ деньги.

— Дайте мнѣ ваши деньги,—потребовала Калистратова.

Розановъ отдалъ. Въ портмоне было еще около восьмидесяти рублей.

Полинька пересчитала деньги и положила ихъ себѣ въ карманъ.

— Теперь собирайтесь домой,—сказала она Розанову.

— Я не могу идти домой.

— Отчего это не можете?

— Не могу,—мнѣ тамъ скверно.

— Сударыня! они не спали совсѣмъ, вы имъ позвольте уснуть покрѣпче, — вмѣшался лакей, внесшій тазъ и кувшинъ со свѣжей водой.

— Умывайтесь, сказала Полинька,—ничего не отвѣчая лакею.

Розановъ сталъ подниматься, но тотчасъ же сѣлъ и началъ отталкивать отъ себя что-то ногою.

— Пожалуйте, сударь,—позвалъ его лакей.

— Ты прежде выкинь это,—отвѣчалъ Розановъ, указывая пальцемъ лѣвой руки на полъ.

— Что такое выкинуть? съ нѣсколько нетерпѣливою гримаскою спросила Калистратова, хорошо понимая, что у Розанова начинаются галлюцинаціи.

— Змѣйка, вонъ, вонъ на полу змѣйка зелененькая,—говорилъ Розановъ, указывая лакею на пустое мѣсто.

— Не сочиняейте вздоровъ,—сказала Полинька, наморщивъ строго брови.

Розановъ всталъ и пошелъ за занавѣску.

Полинька стала у окна и, глядя на блѣднѣющую закатную зорьку, вспомнила своего буйнаго пьянаго мужа, вспомнила его дикія ругательства, которыми онъ угощалъ ее за ея участіе; гнѣвъ Полинькинъ исчезъ при видѣ этого смирнаго, покорнаго Розанова.

Лакей раздѣлъ и уложилъ доктора въ кровать. Полинька велѣла никого не пускать сюда и говорить, что Розановъ уѣхалъ. Потомъ она сняла шляпу, бурнусъ и калоши, ра-

зорвала полотенце и, сдѣлавъ компрессъ, положила его на голову больного.

Розановъ вздрогнулъ отъ холода и робко посмотрѣлъ на Полиньку.

Часа полтора сряду она перемѣняла ему компрессы и въ это время больной не разъ ловилъ и жадно цѣловалъ ея руки.

Полинька смотрѣла теперь добро и снисходительно.

— Вамъ пора домой,—сказалъ Розановъ, стуча зубами отъ лихорадки.

— Старайтесь заснуть,—отвѣчала Полинька.

— Поздно будетъ,—настаивалъ докторъ.

— Спите, вамъ говорятъ,—тѣмъ же спокойнымъ, но настойчивымъ тономъ отвѣчала Калистратова.

Розановъ даже и на этотъ разъ оказался весьма послушнымъ, и Калистратова, видя, что онъ забываетея, перестала его безпокоить компрессами.

Розановъ спалъ цѣлые сутки и, проснувшись, ничего не могъ вспомнить. Онъ не забылъ только того, что произошло у него дома, но все послѣдующее для него исчезало въ какомъ-то дикомъ чаду. Глядя въ темный потолокъ комнаты, онъ старался припомнить хоть что-нибудь, хоть то, гдѣ онъ и какъ сюда попалъ? но ничего этого Розановъ припомнить не могъ. Наконецъ ему какъ-то мелькнула Полинька, будто какъ онъ ее недавно видѣлъ, вотъ тутъ гдѣ-то, близко, будто разговаривалъ съ нею. Розановъ взохнулъ и, подумавъ, «какой хорошій сонъ», началъ тихо одѣваться въ лежавшее возлѣ него платье.

Одѣвшись, Розановъ вышелъ за драпировку и остолбенѣлъ: онъ подумалъ, что у него продолжаются галлюцинаціи. Онъ протеръ глаза и, несмотря на стоявшій въ комнатѣ густой сумракъ, ясно отличилъ лежащую на диванѣ женскую фигуру.—Боже мой! неужто это было не во снѣ? Неужто, въ самомъ дѣлѣ, здѣсь Полинька? И она видѣла меня здѣсь!.. Это гостинница! припомнилъ онъ, взглянувъ на нумерную обстановку.

Спящая пошевелилась и приподнялась на одну руку.

— Это вы, Дмитрій Петровичъ? — спросила она чуть слышно.

— Я,—отвѣчалъ шопотомъ Розановъ.

— Зажгите свѣчу,—здѣсь у зеркала спички.

Розановъ очень долго зажигалъ свѣчу: ему было совѣстно взглянуть на Полиньку.

Но не такова была Полинька, чтобы человѣкъ не нашелся сказать слова въ ея присутствіи.

Черезъ полчаса Розановъ сидѣлъ противъ нея за столомъ, на которомъ кипѣлъ самоваръ, и толково разсуждалъ съ нею о своемъ положеніи.

— Дмитрій Петровичъ, говорила ему Полинька,—совѣтовать въ такихъ дѣлахъ мудрено, но я не считаю грѣхомъ сказать вамъ, что вы непремѣнно должны уѣхать отсюда. Это смѣшно: Лиза Бахарева присовѣтовала вамъ бѣжать изъ одного города, а я теперь совѣтую бѣжать изъ другого, но ужъ дѣлать нечего: при вашемъ несчастномъ характерѣ и неумѣньи себя поставить, вы должны отсюда бѣжать. Оставьте ее въ покоѣ, оставьте ей ребенка...

— Ни за что!—воскликнулъ Розановъ.

— Позвольте. Оставьте имъ ребенка: дѣвочка еще мала; ей ничего очень дурного не могутъ сдѣлать. Это вы ужъ такъ увлекаетесь. Подождите полгода, годъ и вамъ отдадутъ дитя съ руками и съ ногами. А такъ что же будетъ: дойдетъ, вѣдь, до того, что очень можетъ быть худо.

Долго приводила Полинька сильные и ясные доводы, доказывая Розанову неотразимую необходимость оставить Москву и искать себѣ новаго пріюта.

— Да не только новаго пріюта, а и новой жизни, Дмитрій Петровичъ,—говорила Полинька:—теперь я ясно вижу, что это будетъ безконечная глупая пѣсенка, если вы не устроитесь какъ-нибудь умнѣе. Ребенка вамъ отдадутъ, въ этомъ будьте увѣрены. Некуда имъ дѣть его: это, вѣдь, дѣло не легкое; а жену обезпечьте; откупитесь, наконецъ.

Розановъ не противорѣчилъ.

— Богъ съ ними, деньги: спокойны будете, такъ заработаете; а тосковать глупо и не о чемъ.

— Ахъ, хорошо вы говорите, Полина Петровна, а все это не такъ легко, право.—Развѣ къ Лобачевскому съѣздить въ Петербургъ?

— А что-жъ? Съѣздите. Лучше ужъ вамъ въ Петербургѣ чего-нибудь искать. Будемъ тамъ видаться.

— Какъ будемъ видаться?

— Такъ; и я тоже ѣду надняхъ въ Петербургъ.

— А ваши бумаги?

— Вотъ для нихъ-то я и поѣду.

— Это вамъ не поможетъ.

— Нѣтъ, я знаю; ужъ бывали примѣры. Вотъ видите, Дмитрій Петровичъ, я женщина и кругомъ связанная, да не боюсь, а вы трусите.

— Я слабый человѣкъ, никуда негодный.

— Нѣтъ, не то что никуда негодный, а слишкомъ впечатлительный. Вамъ нужно отряхнуться, оправиться... да вотъ такихъ чудесъ болѣе не выкидывать.

— Не говорите, пожалуйста...

— Да я васъ не упрекаю, а совѣтую вамъ, — сказала Полинька и стала надѣвать шляпку.

— Тоска ужасная! вотъ пока вы здѣсь были, было отлично, а теперь опять.

— Господи Боже мой! ну, будемъ жить друзьями; ходите ко мнѣ, если мое присутствіе вамъ такъ полезно.

— Да, еслибы... вы меня выслушали.

— Ничего я, Дмитрій Петровичъ, не буду слушать, — проговорила Полинька, краснѣя и отворачиваясь къ зеркалу завязывать шляпку.

Розановъ сидѣлъ молча.

— Пока... начала Полинька и снова остановилась.

— Пока что?—спросилъ Розановъ.

— Пока вы не устроите вашей жены, до тѣхъ поръ вы мнѣ не должны ни о чемъ говорить ни слова.

— А тогда? Я это и безъ того готовъ сдѣлать для нея все, что могу.

— Да все, *все, что вы можете.*

— А тогда?—опять спросилъ Розановъ.

— Дмитрій Петровичъ! я провела у васъ сутки здѣсь: для васъ должно быть довольно этого въ доказательство моей дружбы; чего же вы меня спрашиваете.

Розановъ сжалъ и поцѣловалъ Полинькину руку, а другая его рука тронулась за ея талію, но Полинька тихо отвела эту руку.

— Если хотите быть счастливы, то будьте благоразумны; все зависитъ отъ васъ: а теперь дайте мнѣ мой бурнусъ.

Докторъ подалъ Полинькѣ бурнусъ и надѣлъ свое пальто.

Взявшись за ручку двери, Полинька остановилась, постояла молча и, обернувшись къ Розанову лицомъ, тихо сказала:

— Ну.

Розановъ вѣрно понялъ этотъ звукъ и поцѣловалъ Полиньку въ розовыя губки, или, лучше сказать, Полинька, не дѣлая никакого движенія, сама поцѣловала его своими розовыми губками.

Если любовь молоденькихъ дѣвушекъ и страстныхъ женщинъ бальзаковской поры имѣетъ для своего изображенія своихъ спеціалистовъ, то нельзя не пожалѣть, что нѣтъ такихъ же спеціалистовъ для описанія своеобычной, причудливой и въ своемъ родѣ прелестной любви нашихъ разбитыхъ женщинъ, дожившихъ до тридцатой весны безъ сочувствія и радостей.—А хороша эта прихотливая любовь, часто начинающаяся тѣмъ, чѣмъ другая кончается, но тѣмъ не менѣе любовь нѣжная и преданная. Если бы на Чистыхъ Прудахъ знали, что Розанова поцѣловала такая женщина, то даже и тамъ бы не удивлялись рѣзкой перемѣнѣ въ его поведеніи.

Розановъ даже до сцены съ собою не допустилъ Ольгу

Александровну. Ровно и тепло сдержалъ онъ радостные восторги встрѣтившей его прислуги, спокойно повидался съ женою, которая сидѣла за чаемъ и находилась въ тонахъ; отвѣтилъ спокойнымъ поклономъ на холодный поклонъ сидѣвшей здѣсь Рогнѣды Романовны и, освѣдомясь у дѣвушки о здоровьѣ ребенка, прошелъ въ свою комнату.

Цѣлую ночь Розановъ не ложился спать. Ольга Александровна слышала, что мужъ все шуршалъ бумагами и часто открывалъ ящики своего письменнаго стола. Она придумала какъ встрѣтить каждое слово мужа, который, по ея соображеніямъ, непремѣнно не нынче, такъ завтра сдастся и пойдетъ на мировую; но дни шли за днями, а такого поползновенія со стороны Розанова не обнаруживалось. Онъ казался очень озабоченнымъ, но былъ ровенъ, спокоенъ, и по обыкновенію, нѣженъ съ ребенкомъ и ласковъ съ прислугою. Ольга Александровна нѣсколько разъ пробовала заводить его, заговаривая съ ребенкомъ, какіе бываютъ хорошіе мужья и отцы и какіе дурные, причемъ обыкновенно всѣ дурные были похожи капля въ каплю на Розанова; но Розановъ точно не понималъ этого и оставался невозмутимо спокойнымъ.

Черезъ пять или шесть дней послѣ его возвращенія, одна изъ углекислыхъ дѣвъ, провожая въ Тверь другую углекислую дѣву, видѣла, какъ Розановъ провожалъ въ Петербургъ какую-то молоденькую даму, и представилось дѣвѣ, что эта дама, проходя къ вагонамъ, мимолетно поцѣловала Розанова.

На другой день Дмитрій Петровичъ слушалъ разговоръ Ольги Александровны,—какіе на свѣтѣ бываютъ подлецы и развратники, грубые съ женами и нѣжные съ метресками. Но и это нимало не вывело Розанова изъ его спокойнаго положенія. Онъ только поблѣднѣлъ немножко при словѣ *метреска*: не шло оно къ Полинькѣ Калистратовой.

А Полинька Калистратова, преслѣдуемая возобновившимися въ послѣднее время нашествіями своего супруга, уѣхала въ Петербургъ одна. Розановъ всячески спѣшилъ управиться такъ, чтобы ѣхать съ нею вмѣстѣ, но не успѣлъ;

да и сама Полинька говорила, что этого вовсе не нужно.

— Очень трогательно будетъ, шутила она за день до своего отъѣзда.—Вы прежде успокойте всѣмъ, чѣмъ можете, вашу жену, да тогда и пріѣзжайте; я васъ буду ждать.

— Будете ждать?—спросилъ ее Розановъ.

Полинька какъ бы не слыхала этого и продолжала укладываться.

Прошла недѣля. Розановъ получилъ изъ Петербурга два письма, а изъ больницы отпускъ. Въ этотъ же день, вечеромъ, онъ спросилъ у дѣвушки свой чемоданчикъ и началъ собственноручно укладываться.

Ольга Александровна часу во второмъ ночи отворила дверь въ его комнату и сказала:

— Вы бы позаботились о ребенкѣ.

— Какъ прикажете позаботиться?—спросилъ ее Розановъ, убирая свои бумаги.

— Васъ, вѣдь, правительство заставитъ о немъ заботиться.

— Да я не отказываюсь и безъ правительства.

— Я вашимъ словамъ не вѣрю.

— Ну, вотъ вамъ бумага.

— Что это?—спросила Ольга Александровна, принимая поданный ей мужемъ листъ.

— Мое обязательство выдавать вамъ ежегодное вспоможеніе.

— Это мнѣ; а на ребенка?

— Я вамъ даю сколько въ силахъ. Вы сами очень хорошо знаете, что я болѣе не могу.

— Не пьянствуйте съ метресками, такъ будете въ силахъ дать болѣе.

Розановъ промолчалъ.

— Васъ заставитъ правительство,—задорно продолжала Ольга Александровна.

— Пусть заставляетъ.

— Я знаю законъ.

— Вамъ же лучше.

— У васъ будутъ вычитать изъ жалованья.

— Пусть вычитаютъ: сто рублей получите.

— Что сто рублей! Не храбритесь, батюшка, и все возьмутъ. Я все опишу. Найдутся такіе люди, что опишутъ, какое вы золото.

Розановъ опять ничего не отвѣтилъ.

Ольгѣ Александровнѣ надоѣло стоять и она повернулась, говоря:

— Я завтра еще покажу эту бумагу маркизѣ, а отъ васъ всякой подлости ожидаю.

— Показывайте хоть чорту,—сказалъ Розановъ и заперъ за женою дверь на ключъ.

— Мерзавецъ!—послышалось ему изъ-за двери.

Отбирая бумаги, которыя намѣревался взять съ собою, Розановъ вынулъ изъ стола свою диссертацію, посмотрѣлъ на нее, прочелъ нѣсколько страницъ и, вздохнувъ, положилъ ее на прежнее мѣсто. На эту диссертацію легла лаконическая печатная программа диспута Лобачевскаго; потомъ долженъ былъ лечь какой-то литографированный листокъ, но докторъ, пробѣжавъ его, поморщился, разорвалъ бумажку въ клочки и съ негодованіемъ бросилъ эти кусочки въ печку.

«До чего ты, жизнь моя, довела меня, домыкала!» подумалъ онъ и, задвинувъ столовые ящики, легъ уснуть до утра.

Передъ отъѣздомъ доктору таки выпала нелегкая минутка: съ дитятею ему тяжело было проститься; смущало оно его своими невинными рѣчами.

— Ты, вѣдь, скоро вернешься, папочка?

— Скоро, дружокъ мой,—отвѣчалъ докторъ.

— Мнѣ скучно будетъ безъ тебя,—лепеталъ ребенокъ.

— Ну, поѣдемъ со мной,—пошутилъ докторъ.

— Мнѣ будетъ безъ мамы скучно.

— Ну, какъ же быть?

— Я хочу, чтобъ вы были вмѣстѣ. Я и тебя люблю, и маму.

— Люби, мой другъ, маму,—отвѣчалъ докторъ, поцѣловавъ ребенка и берясь за свой саквояжъ.

— А ты пріѣдешь къ намъ?

— Пріѣду, пріѣду.

Ольга Александровна не прощалась съ мужемъ.

Онъ ее только спросилъ:

— Вы болѣе не сомнѣваетесь въ моемъ обязательствѣ?

— Маркиза покажетъ его юристамъ,—отвѣчала madame Розанова.

— А! это прекрасно,—отвѣчалъ докторъ, и уѣхалъ на желѣзную дорогу въ сопровожденіи Юстина Помады.

— Что-жъ ты думаешь, Дмитрій?—спросилъ его дорогою Помада.

— Ничего я братъ, не думаю,—отвѣчалъ Розановъ.

— Ну, а такъ-таки?

— Такъ-таки ничего и не думаю.

— Разойдитесь вы, наконецъ.

— Мы ужъ разошлись,—отвѣчалъ Розановъ.

— А какъ она опять пріѣдетъ?

— А ты ее не пускай.

— А я какъ ее не пущу?

— А я какъ?

— Ну, и что-жъ это будетъ?

— А чортъ его знаетъ, что будетъ.

— Пропадешь ты, братъ, совсѣмъ.

— Ну, это еще старуха надвое ворожила,—процѣдилъ сквозь зубы докторъ.

Такъ они разстались.

Розановъ, выѣхавъ изъ Москвы, сверхъ всякаго ожиданія, былъ въ такомъ хорошемъ расположеніи духа всю дорогу до Петербурга, что этого расположенія изъ него не выколотилъ даже переѣздъ отъ московскаго вокзала до Калинкина моста, гдѣ жилъ Лобачевскій.

Лобачевскаго Розановъ не засталъ дома, сложилъ у него свои вещи и улетучился.

Проснувшись утромъ, Лобачевскій никакъ не могъ по-

нять, гдѣ бы это запропастился Розановъ, а Розановъ не могъ сказать правды, гдѣ онъ былъ до утра.

Дѣла Розанова шли ни хорошо и ни дурно. Мѣстъ служебныхъ не было, но Лобачевскій обѣщалъ ему хорошую работу въ одномъ изъ спеціальныхъ изданій, — обѣщалъ и сдѣлалъ. Слово Лобачевскаго имѣло вѣсъ въ своемъ мірѣ. Розановъ прямо становился на полторы тысячи рублей годового заработка, и это ему казалось очень довольно.

Все это обдѣлалось въ три или четыре дня и Розановъ могъ бы свободно возвращаться для окончательнаго разсчета съ Москвою, но онъ медлилъ.

Отчего-жъ ему было и не помедлить?.. Въ первое же утро послѣ его пріѣзда Полинька такъ хорошо пустое *вы* сердечнымъ *ты* ему, обмолвясь, замѣнила.

— У васъ, Розановъ, вѣрно есть здѣсь романчикъ?—шутилъ надъ нимъ Лобачевскій.

— Ну, съ какой стати?

— Да ужъ такъ: вы вѣдь ни на шагъ безъ жизненныхъ прикрасъ.

— А мы лучше о васъ поговоримъ.

— Да обо мнѣ что говорить.

— Хорошо вамъ?

— Ничего.—Мнѣ каѳедру предлагаютъ.

— А вы что-жъ?

— А я не беру.

— Это отчего?

— Что-жъ въ каѳедрѣ. На каѳедрѣ всякій свое дѣло дѣлаетъ, а я тутъ подъ рукой институтецъ заведу. Тутъ просвѣщенные монголы мнѣ въ этомъ дѣлѣ помогаютъ.

— Это опять о женщинахъ.

— Да, опять о нихъ, все о нихъ.

— У васъ нѣтъ ли еще мѣста ученицѣ?

— Это вашъ романъ?

— Нѣтъ, какой романъ!

— Ну, да это все равно.

Розановъ свозилъ Лобачевскаго къ Полинькѣ.

Полинька получила бумагу, разрѣшавшую ей жить, гдѣ угодно, и ограждавшую ея личность отъ всякихъ притязаній человѣка, который владѣлъ правомъ называться ея мужемъ.

Лобачевскому Полинька очень понравилась и онъ взялся ее пристроить.

— Это у васъ очень пріятный романъ, — говорилъ онъ Розанову, возвращаясь отъ Полиньки.

— Какой романъ, съ чего вы берете?

— Да такъ ужъ *сочиняю.*

— Да вы читали ли хоть одинъ романъ отъ роду?

— Четыре читалъ.

— Удивительно; а больше ужъ не читаете?

— Нѣтъ; все одно во всѣхъ повторяется.

— Какъ же одно во всѣхъ?

— А такъ, влюбился да женился; влюбился да застрѣлился: скучно ужъ очень.

— А страданія?

— Страданія все отъ бездѣлья.

Была такая длинная ночь, которую Полинька Калистратова цѣликомъ провела, читая Розанову длинную нотацію, и затѣмъ наступило утро, въ которое она поила его кофеемъ и была необыковенно тревожна, а затѣмъ былъ часокъ, когда она его раструнивала, говоря, что онъ въ Москвѣ снова растаетъ и, наконецъ, еще была одна минута, когда она ему шептала: «пріѣзжай скорѣй, я тебя ждать буду».

Розановъ хорошо ѣхалъ и въ Москву, только ему непріятно было, когда онъ вспоминалъ, какъ легко относился къ его роману Лобачевскій. «Я вовсе не хочу, чтобъ это была интрижка, я хочу, чтобъ это была любовь»,—рѣшалъ онъ настойчиво.

Москва стояла Москвою. Быстрыя повышенія въ чины и не менѣе быстрыя разжалованія попрежнему были свойственны углекислому кружочку. Розановъ не могъ понять, откуда вдругъ взялась къ нему крайняя ласка де-Бараль. Маркиза прислала за нимъ тотчасъ послѣ его пріѣзда, ра-

достно сжала его руку, заперлась съ нимъ въ кабинетъ и спросила:

— Ну что, мой милый, въ Петербургѣ?

— Ничего, маркиза.

— Тихо?

— Не шелохнетъ.

— Гааа! И красные молчатъ?

— Можетъ быть и говорятъ, только шопотомъ.

— Такъ тамъ рѣшительно тихо? Гааа! Нѣтъ, въ этой сторонушкѣ жить дольше невозможно.

«Да, думалъ докторъ, въ этой сторонушкѣ на какихъ вздумаешь крыльяхъ летать—летать просторно, только бываетъ, что сѣсть некуда».

— Вашъ документъ, мой милый, отлично сдѣланъ. Я его показывала юристамъ.

— Напрасно и безпокоились, я его писалъ посовѣтовавшись съ юристами,—отвѣчалъ Розановъ.

— Я порѣшила съ вашей женой: я возьму ее съ дѣвочкой на антресоли и буду...

— Оставьте, пожалуйста, маркиза: я этого не могу равнодушно слушать.

— Вашей дѣвочкѣ хорошо будетъ.

— Ну, тѣмъ лучше.

Въ послѣднюю ночь, проведенную Розановымъ въ своей московской квартирѣ, Ольга Александровна два раза приходила въ комнату искать зажигательныхъ спичекъ. Онъ видѣлъ это и продолжалъ читать. Передъ утромъ она пришла взять свой платокъ, который будто забыла на томъ диванѣ, гдѣ спалъ Розановъ, но онъ не видалъ и не слыхалъ.

Прошелъ для Розанова одинъ прелестный зимній мѣсяцъ въ холодномъ Петербургѣ и онъ получилъ письмо, которымъ жена приглашала его возвратиться въ Москву; прошелъ другой и она приглашала его уже только взять отъ нея хоть ребенка.

Ну вотъ! я была права,—сказала Полинька.

Розановъ поѣхалъ и возвратился въ Петербургъ съ своей дѣвочкой, а его жена поѣхала къ отцу.

Разлука ихъ была весьма дружеская. Углекислота умаяла Ольгу Александровну, и, усаживаясь въ холодное мѣсто дорожнаго экипажа, она грѣлась *дружбою*, на которую оставилъ ей право нѣкогда горячо любившій ее мужъ. О Полинькѣ Ольга Александровна ничего не знала.

Съ Лизою Розановъ въ послѣдній разъ вовсе не видался. Они ужъ очень разбились, да, къ тому же, и тамъ шла своя семейная драма, пятый актъ которой читатель увидитъ въ слѣдующей главѣ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Послѣдняя сцена изъ пятаго акта семейной драмы.

Собственныя дѣла Лизы шли очень худо: всегдашніе плохіе лады въ семьѣ Бахаревыхъ, по возвращеніи ихъ въ Москву отъ Богатыревыхъ, смѣнились сплошнымъ разладомъ. Первый поводъ къ этому разладу подала Лиза, не перебиравшаяся изъ Богородицкаго до самаго пріѣзда своей семьи въ Москву. Это очень не понравилось отцу и матери, которые ожидали встрѣтить ее дома. Пошли упреки съ одной стороны, рѣзкіе отвѣты съ другой, и кончилось тѣмъ, что Лиза, наконецъ, объявила желаніе вовсе не переходить домой и жить отдѣльно.

— Убей, убей отца, матушка; заплати ему за его любовь этимъ!—говорила Ольга Сергѣевна, послѣ самой раздирающей сцены по поводу этого предположенія.

Лиза попросила мать перестать, не говорить ничего отцу и въ тотъ же день переѣхала въ семью.

Егоръ Николаевичъ ужасно быстро старѣлъ; Софи рыхлѣла; Ольга Сергѣевна ни въ чемъ не измѣнилась. Только къ кошкамъ прибавила еще левретку.

Однако, несмотря на первую уступчивость Лизы, трудно было надѣяться, что въ семьѣ Бахаревыхъ удержится

хоть какой нибудь миръ, который былъ бы лучше доброй ссоры. Такъ и вышло.

Въ одинъ прекрасный день въ передней Бахаревыхъ показалась Бертольди: она спросила Лизу и ее проводили къ Лизѣ.

— Ma chère! ma chère! позвала Ольга Сергѣевна, когда Бертольди черезъ полчаса вышла въ сопровожденіи Лизы въ переднюю.

Бертольди благоразумно не оглянулась и не отозвалась на этотъ окликъ.

— Я васъ зову, madame, съ провинціальною ядовитостью проговорила Ольга Сергѣевна.

— Госпожа Бертольди!

— Что-съ?—спросила, глянувъ черезъ плечо, Бертольди.

— Я васъ прошу не удостоивать насъ вашими посѣщеніями.

— Я васъ и не удостоиваю; я была у вашей дочери.

— Моя дочь пока еще вовсе не полновластная хозяйка въ этомъ домѣ. Въ этомъ домѣ я хозяйка и ея мать, отвѣчала Ольга Сергѣевна, показывая пальцемъ на свою грудь.—Я хозяйка-съ, и я прошу васъ не бывать здѣсь, потому что у меня дочери дѣвушки, и мнѣ дорога ихъ репутація.

— Я не съѣмъ ее.

— Бертольди! я никогда не забуду этого незаслуженнаго оскорбленія, которое вы изъ-за меня перенесли сейчасъ,—съ жаромъ произнесла Лиза.

— Я не сержусь на грубость. Прощайте, Лиза: приходите ко мнѣ,—отвѣчала Бертольди, выходя въ двери.

— Да, я буду приходить къ вамъ.

— Нѣтъ, не будешь,—запальчиво крикнула Ольга Сергѣевна.

— Нѣтъ, буду,—спокойно отвѣчала Лиза.

— Нѣтъ, не будешь, не будешь, не будешь!

— Отчего это не буду?

— Оттого, что я этого не хочу, оттого, что я пойду къ

генералъ-губернатору: я мать, я имѣю всякое право, хоть бы ты была генеральша, а я имѣю право; слово скажу и тебя выпорютъ, да, даже выпорютъ, выпорютъ.

— Полноте срамиться-то, — говорила Абрамовна Ольгѣ Сергѣевнѣ, которая, забывшись, кричала свои угрозы во все горло по-русски.

— Я ее въ смирительный домъ, — кричала Ольга Сергѣевна.

— Пожалуйста, пожалуйста,—проговорила шопотомъ молчавшая во все это время Лиза.

— Мнѣ въ этомъ никто не помѣшаетъ: я мать.

— Пожалуйста, отправляйте,—опять шопотомъ и кивая головою проговорила Лиза.

У нея, какъ говорится, голосъ упалъ: очень ужъ все это на нее подѣйствовало.

Старикъ Бахаревъ вышелъ и спросилъ только: что такое? что такое?

Ольга Сергѣевна застрекотала; онъ не сталъ слушать, сейчасъ же замахалъ руками и ушелъ.

Лиза ушла къ себѣ совершенно разбитая нечаянностью всей этой сцены.

— Охота тебѣ такъ безпокоить maman,—сказала ей вечеромъ Софи.

— Оставь, пожалуйста, Соничка,—отвѣчала Лиза.

— Если ты убьешь мать, то ты будешь виновата.

— Я, я буду виновата,—отвѣчала Лиза.

Проходили сутки за сутками; Лиза не выходила изъ своей комнаты и къ ней никто не входилъ, кромѣ няни и Полиньки Калистратовой.

Няня не читала Лизѣ никакой морали; она даже отнеслась въ этомъ случаѣ безразлично къ обѣимъ сторонамъ, махнувъ рукою и сказавъ:

— Ну васъ совсѣмъ, срамницъ этакихъ.

Горячая расположенность Абрамовны къ Лизѣ выражалась только въ жаркихъ баталіяхъ съ людьми, распростра-

нявшими сплетни, что барыня поймала Лизу, остригла ее и заперла.

Абрамовна отстаивала Лизину репутацію даже въ глазахъ самыхъ ничтожныхъ людей, каковы для нея были: дворникъ, кучеръ, сосѣдскія дѣвушки и богатыревскій поваренокъ.

— А то ничего; у насъ по Москвѣ въ барышняхъ этого фальшу много бываетъ; у насъ и въ газетахъ какъ-то писали, что даже младенца... начиналъ поваренокъ, но Абрамовна его сейчасъ сдерживала: «то ваши московскіе; а мы не московскіе».

— Это точно; ну только ничего. Въ столицѣ всякую сейчасъ могутъ обучить,—настаивалъ поваренокъ и получалъ отъ Абрамовны подзатыльникъ, отъ котораго старухиной рукѣ было очень больно, а праздной дворнѣ весьма весело.

Полинькѣ Калистратовой Лиза никакихъ подробностей не разсказывала, а сказала только, что у нея дома опять большія непріятности. Полинькѣ это происшествіе разсказала Бертольди, но она могла разсказать только то, что произошло до ея ухода, а остального и она никогда не узнала.

Кромѣ Полиньки Калистратовой, къ Лизѣ допускался еще Юстинъ Помада, съ которымъ Лиза въ эту пору опять стала несравненно теплѣе и внимательнѣе.

Заключеніе, которому Лиза сама себя подвергла, вообще не было слишкомъ строго. Не говоря о томъ, что ее никто не удерживалъ въ этомъ заключеніи, къ ней несомнѣнно свободно допустили бы всѣхъ, кромѣ Бертольди; но никто изъ ея знакомыхъ не показывался. Маркиза, встрѣтясь съ Ольгой Сергѣевной у Богатыревой, очень внимательно разспрашивала ее о Лизѣ и показала необыкновенную терпѣливость въ выслушиваніи жалостныхъ материнскихъ намековъ. Маркиза вспомнила аристократическій тактъ и разыграла, что она ничего не понимаетъ. Но, однако, все-таки маркиза дала почувствовать, что съ мнѣніями силою бороться неразумно.

А Варвара Ивановна Богатырева, напротивъ, говорила Ольгѣ Сергѣевнѣ, что это очень разумно.

— Она очень умная женщина, говорила Варвара Ивановна о маркизѣ,—но у нея ужъ умъ за разумъ зашелъ; а мое правило просто: ты дѣвушка и повинуйся. А то нынче онѣ очень ужъ сòвки, да неловки.

— Да мы, бывало, какъ идетъ покойница мать... бывало, духу ея боимся: невѣстою ужъ была, а материнскаго слова трепетала; а нынче... вонъ хоть вашъ Сержъ надѣлалъ...

— Сынъ другое дѣло, ma chère, а дочь вся въ зависимости отъ матери, и мать несетъ за нее отвѣтственность передъ обществомъ.

Пуще всего Ольгѣ Сергѣевнѣ понравилось это новое открытіе, что она несетъ за дочерей отвѣтственность передъ обществомъ: такъ она и стала смотрѣть на себя, какъ на лицо весьма отвѣтственное.

Егоръ Николаевичъ, ко всеобщему удивленію, во всей этой передрягѣ не принималъ ровно никакого участія. Старъ ужъ онъ становился, удушье его мучило, и къ этому удушью присоединилась еще новая болѣзнь, которая очень пугала Егора Николаевича и отнимала у него послѣднюю энергію.

Онъ только говорилъ:

— Не ссорьтесь вы, Бога ради не ссорьтесь.

— Что ты все сидишь тутъ, Лиза? говорилъ онъ въ другое время дочери.

— Что-жъ мнѣ, папа, выходить? Выходить туда только для оскорбленій.

— Какія ужъ оскорбленія! Развѣ мать можетъ оскорбить?

— Я думаю, папа.

— Чѣмъ? чѣмъ она тебя можетъ оскорбить?

— Да, maman хотѣла меня отправить въ смирительный домъ, что-жъ! Я ожидаю: отправляйте.

— Полно врать,—какой тамъ еще смирительный домъ?

— Я не знаю какой.

— Ну, что тамъ: въ—сердцахъ мать что-нибудь сказала, а ты ужъ и поднялась.

— Это, папа, можетъ повторяться, потому что я такъ жить не могу.

— Э, полно вздоръ городить!

Тѣмъ это и кончилось: но Лиза ни на волосъ не измѣнила своего образа жизни.

Въ это время разыгралась извѣстная намъ исторія Розанова.

Маркиза и Романовны совсѣмъ оставили Лизу. Маркиза охладѣла къ Лизѣ по крайней живости своей натуры, а Романовны охладѣли потому, что охладѣла маркиза. Но какъ бы тамъ ни было, а о «молодомъ дичкѣ», какъ нѣкогда называли здѣсь Лизу, теперь не было и помина: маркиза устала отъ долгой политической дѣятельности.

Съ отъѣздомъ Полиньки Калистратовой, кругъ Лизиныхъ посѣтителей сократился рѣшительно до одного Помады, черезъ котораго шла у Лизы жаркая переписка и дѣлались кое-какія дѣла.

У Лизы шелъ заговоръ, въ которомъ Помада принималъ непосредственное участіе, и заговоръ этотъ разразился въ то время, когда мало-способная къ послѣдовательному преслѣдованію Ольга Сергѣевна смягчилась до-зѣла и начала сильно желать искренняго примиренія съ дочерью.

Шло обыкновенно такъ, какъ всегда шло въ семьѣ Бахаревыхъ и какъ многое идетъ въ другихъ русскихъ семьяхъ. Безводная, или весьма малопричинная злоба смѣнялась столь же безпричинною снисходительностью и уступчивостью, готовою доходить до самыхъ непонятныхъ размѣровъ.

Среди такого положенія дѣлъ, въ одно морозное февральское утро, Абрамовна съ совершенно потерянным видомъ вошла въ комнату Ольги Сергѣевны и доложила, что Лиза куда-то собирается.

— Какъ собирается? спросила, не совсѣмъ понявъ дѣло, Ольга Сергѣевна.

— Рано, гдѣ тебѣ, встала сегодня и укладывается.

Ольга Сергѣевна поблѣднѣла и бросилась въ комнату Лизы.

— Что это?—спросила она у стоявшей надъ чемоданомъ Лизы.

— Ничего-съ,—отвѣчала спокойно Лиза.

— Зачѣмъ это ты укладываешься?

— Я сегодня уѣзжаю.

— Какъ уѣзжаешь? Какъ ты смѣешь уѣзжать?

— Увидите.

— Ахъ ты, разбойница, прошипѣла мать и крикнула:— Егоръ Николаевичъ!

— Не поднимайте, maman, напрасно шуму,—проговорила Лиза.

— Егоръ Николаевичъ!—повторила еще громче Ольга Сергѣевна и, покраснѣвъ какъ буракъ, сѣла сложа на груди руки.

Лиза продолжала соображать, какъ ей что удобнѣе размѣстить по чемодану.

— Какъ же это вы однѣ поѣдете, сударыня?

— Это для васъ все равно, maman. Я у васъ жить рѣшительно не могу: вы меня лишаете общества, которое меня интересуетъ; вы меня грозили посадить въ смирительный домъ, ну, сажайте. Я съ вами не ссорюсь, но жить съ вами не могу.

— Ахъ, ахъ, разбойница! ахъ, разбойница! она не можетъ жить съ родителями! Но я за тебя несу отвѣтственность передъ обществомъ.

— Передъ обществомъ, maman, всякій отвѣчаетъ самъ за себя.

— Но я, милостивая государыня, наконецъ, ваша мать!— вскрикнула со стула Ольга Сергѣевна.—Понимаете ли вы съ вашими науками, что значитъ слово *мать*: мать отвѣчаетъ за дочь передъ обществомъ.

— Maman, если бъ вы меня знали...

— Гдѣ мнѣ понимать такую умницу!

— Положимъ и такъ.

— Философка, сочиненія сочинять будетъ, а мать дура.

— Я этого не говорю.

— Еще бы! А я понимаю одно, что я слабая мать; что я съ тобою церемонилась; не умѣла учить, когда поперекъ лавки укладывалась.

— Прошлаго, maman, не воротишь; но если васъ безпокоитъ ваша отвѣтственность за меня передъ обществомъ, то я вамъ ручаюсь...

— Гм! въ чемъ это вы ручаетесь?

— Я потому и сказала, что вы меня не знаете...

— Да.

— Я неспособна...

— Вы только неспособны къ благодарности, къ хорошему вы неспособны; къ остальному ко всему вы очень способны.

— Положимъ и такъ, maman. Я только хочу успокоить васъ, что вы никогда не будете компрометированы передъ обществомъ.

— Какъ! какъ я не буду компрометирована? А это что?

Ольга Александровна указала на чемоданъ.

— Это ничего, maman: я уѣду и буду жить честно; вы не будете краснѣть за меня ни передъ кѣмъ.

— Ахъ, ты, разбойница этакая!—прошептала Ольга Сергѣевна и порывисто бросилась къ Лизѣ.

Лиза осторожно отвела ее отъ себя и сказала:

— Успокойтесь, maman, успокойтесь.

— Вонъ, вынимай вонъ вещи.

По лѣстницѣ поднимался Егоръ Николаевичъ.

— Что это такое?—спрашивалъ онъ.

— Вотъ вамъ, батюшка-баловникъ, любуйтесь на свою балованную дочку! Охъ! охъ! воды мнѣ, водды... воддды!

Ольга Сергѣевна упала въ обморокъ, продолжавшійся болѣе часа. Послѣ этого припадка ее снесли въ спальню, и по дому пошелъ шопотъ.

— Чтобъ я этого и не слыхалъ болѣе!—строго сказалъ Лизѣ отецъ и вышелъ.

— Папа, я рѣшилась, и меня ничто не удержитъ,—отвѣчала вслѣдъ ему Лиза.

— И слышать не хочу,—махнувъ рукой, крикнулъ Бахаревъ и ушелъ въ свою комнату.

Лиза окончила свою работу и сѣла надъ уложеннымъ чемоданомъ.

Вошла няня. Говорила, говорила, долго и много говорила старуха; Лиза ничего не слыхала.

Наконецъ, ударило одиннадцать часовъ. Лиза встала, сослала внизъ свои вещи и, одѣвшись, твердою поступью сошла въ залу.

Егоръ Николаевичъ сидѣлъ и курилъ у окна.

— Прощайте, папа,—сказала, подойдя къ нему, Лиза.

Старикъ не взглянулъ на нее и ничего не отвѣтилъ.

Лиза подошла къ двери материной комнаты; сестра ее не пустила къ Ольгѣ Сергѣевнѣ.

— Ну, прощай,—сказала Лиза сестрѣ.

Онѣ холодно поцѣловались.

— Папа, прощайте, я уѣзжаю,—сказа Лиза, подойдя снова къ отцу.

— Иди отъ меня,—отвѣчалъ старикъ.

— Я васъ ничѣмъ не огорчаю, папа; я не могу здѣсь жить: я хочу трудиться.

— Пошла, пошла отъ меня.

Лиза поймала и поцѣловала его руку.

— Да, что это, однако, за вздоръ въ самомъ дѣлѣ,—сказалъ со слезами на глазахъ старикъ.—Я тебѣ приказываю.

Лиза молчала.

— Я тебѣ приказываю, чтобъ это все сейчасъ было кончено.

— Не могу, папа.

— Съ кѣмъ же ты ѣдешь? Безъ бумаги, безъ денегъ ѣдешь?

— У меня есть мой дипломъ и деньги.

— Ты врешь! Какія у тебя деньги? Что ты врешь!

— У меня есть деньги; я продала мой фермуаръ.

— Боже мой! фермуаръ, такой прелестный фермуаръ! застонала, выходя изъ дверей гостиной Ольга Сергѣевна.— Кто смѣлъ купить этотъ фермуаръ?

— Этотъ фермуаръ мой, maman; онъ принадлежалъ мнѣ, и я имѣла право его продать. Его мнѣ подарила тетка Агнія.

— Фамильная вещь, Боже мой! наша фамильная вещь!— стонала Ольга Сергѣевна.

Лизѣ становилось все тяжелѣе, а часовая стрѣлка безучастно заползала за половину двѣнадцатаго.

— Прощай,—сказала Лиза нянѣ.

Абрамовна стояла молча, давая Лизѣ цѣловать себя въ лицо, но сама ее не цѣловала.

— Оставаться!—крикнулъ Егоръ Николаевичъ,—иначе... я велю людямъ...

— Папа, насильно вы можете приказать дѣлать со мною все, что вамъ угодно, но я здѣсь не останусь,—отвѣчала, сохраняя всю свою твердость, Лиза.

— Мы поѣдемъ въ деревню.

— Туда я вовсе ни за что не поѣду.

— Какъ не поѣдешь? Я тебѣ велю.

— Связанную меня можете везти всюду, но добровольно я не поѣду. Прощайте, папа.

Лиза опять подошла къ отцу, но старикъ отвернулъ отъ нея руку.

— Вàрварка! вáрварка! убíйца! — вскрикнула, падая, Ольга Сергѣевна.

Лиза, блѣдная какъ смерть, повернула къ двери.

Мимоходомъ она еще разъ обняла и поцѣловала Абрамовну.

Старуха вынула изъ-подъ шейнаго платка принесенный ею на этотъ случай небольшой образочекъ въ серебряной ризѣ и подняла его надъ Лизой.

— Дай сюда образъ! — крикнулъ, сорвавшись съ мѣста, Егоръ Николаевичъ:—дай я благословлю Лизавету Его-

ровну,—и, выдернувъ изъ рукъ старухи икону, онъ поднялъ ее надъ своею головой противъ Лизы и сказалъ:

— Именемъ Всемогущаго Бога да будешь ты отъ меня проклята, проклята, проклята; будь проклята въ сей и въ будущей жизни!

Съ этими словами старикъ уронилъ образъ и упалъ на первый стулъ.

Лиза зажала уши и выбѣжала за двери.

Минутъ десять въ залѣ была такая тишина, такое мертвое молчаніе, что, казалось, будто всѣ лица этой живой картины окаменѣли и такъ будутъ стоять въ этой комнатѣ до скончанія вѣка. По полу только раздавались чокающіе шаги бродившей левретки.

Наконецъ, Егоръ Николаевичъ поднялъ голову и крикнулъ:

— Лошадь, скорѣе лошадь.

Черезъ десять минутъ онъ почти вскачь несся къ петербургской желѣзной дорогѣ.

При поворотѣ на площадь старикъ услышалъ свистокъ.

— Гони!—крикнулъ онъ кучеру.

Лошадь понеслась вскачь.

Егоръ Николаевичъ бросился на крыльцо вокзала.

Въ эту же минуту раздалось мѣрное пыхтенье локомотива, и изъ дебаркадера выскочило и понеслось густое облако сѣраго пара.

Поѣздъ ушелъ.

Егоръ Николаевичъ схватился руками за перила и закачался. Мимо его проходили люди, жандармы, носильщики,—онъ все стоялъ, и въ глазахъ у него мутилось. Наконецъ, мимо его прошелъ Юстинъ Помада, но Егоръ Николаевичъ никого не видалъ, а Помада, увидя его, свернулъ въ сторону и быстро скрылся.

— Воротить! — хотѣлось крикнуть Егору Николаевичу, но онъ понялъ, что это будетъ безполезно и тутъ только вспомнилъ, что онъ даже не знаетъ, куда поѣхала Лиза.

Ее никто не спросилъ объ этомъ: кажется, всѣ думали, что она только пугаетъ ихъ.

Изъ оставшихся въ Москвѣ людей, извѣстныхъ Бахаревымъ, все дѣло зналъ одинъ Помада, но о немъ въ это время въ цѣломъ домѣ никто не вспомнилъ, а самъ онъ никакъ не желалъ туда показываться.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

Ночь въ Москвѣ, ночь надъ рѣкой Саванкой и ночь въ «Италіи».

1.

Я видѣлъ мать, только что проводившую въ рекруты единственнаго сына, и видѣлъ кошку, возвращавшуюся въ домъ хозяина, закинувшаго ея котятъ.

Мой дѣдъ былъ птичный охотникъ. Я спалъ у него въ большой низенькой комнатѣ, гдѣ висѣли соловьи. Наши соловьи признаются лучшими въ цѣлой Россіи. Соловьи другихъ мѣстъ не умѣютъ такъ хорошо пѣть о любви, о разлукѣ и обо всемъ, о чемъ сложена соловьиная пѣсня.

Комната, въ которой я спалъ съ соловьями, выходила окнами въ старый плодовитый садъ, заросшій густымъ вишенникомъ, крыжовникомъ и смородиною.

Въ хорошія ночи я спалъ въ этой комнатѣ съ открытыми окнами и въ одну такую ночь въ этой комнатѣ произошелъ бунтъ, имѣвшій весьма печальныя послѣдствія.

Одинъ соловей проснулся, ударился о зеленый, коленкоровый подбой клѣтки и затѣмъ началъ неистово метаться. За однимъ поднялись всѣ и начался бунтъ. Дѣдъ былъ въ ужасѣ.

— Ему приснилось, что онъ на волѣ и онъ умретъ отъ этого, — говорилъ дѣдъ, указывая на клѣтку начавшаго бунтъ соловья.

Птицы нещадно метались и къ утру три изъ нихъ были мертвы. Я смотрѣлъ, какъ околѣвалъ соловей, которому приснилось, что онъ можетъ летѣть куда ему хочется. Онъ не могъ держаться на жердочкѣ и его круглые черные

глазки безпрестанно закрывались, но онъ будилъ самъ себя и до послѣдняго зѣвка дергалъ ослабѣвшими крыльями.

У красивой, сильной львицы, сидящей въ Jardin des plantes въ Парижѣ, раннею весною прошлаго года родился львенокъ. Я не знаю, какъ его взяли отъ матери, но я его увидѣлъ первый разъ, должно быть, такъ въ концѣ февраля; онъ тогда лежалъ на крылечкѣ большой галлереи и грѣлся. Это была красивая граціозная крошка и передъ нею стояла куча всякаго народа и особенно женщинъ. Львенокъ былъ привязанъ только на тоненькой цѣпочкѣ и, катаясь по крылечку, обтиралъ свою мордочку бархатною лапкою, за которую его тармошили хорошенькія лапочки парижскихъ львицъ въ лайковыхъ перчаткахъ.

Это было запрещено и это всѣмъ очень нравилось.

Одна маленькая ручка очень надоѣла львенку и онъ тряхнулъ головенкою, издалъ короткій звукъ, на который тотчасъ же раздался страшный ревъ.

Въ ту же минуту нѣсколько служителей бросились къ наружной части галлереи и заставили отдѣленіе львицы широкими черными досками, а сзади въ этомъ отдѣленіи послышались скрипъ и стукъ желѣзной кочерги по желѣзнымъ полосамъ. Вскорѣ неистовый ревъ смѣнило тихое, глухое рычаніе.

Я дождался, пока снова отняли доски отъ клѣтки львицы. Львица казалась спокойною. Прижавшись въ заднемъ углу, она лежала, пригнувъ голову къ лапамъ; она только вздыхала и, не двигаясь ни однимъ членомъ, тревожно бросала во всѣ стороны взоры, исполненные въ одно и то же время и гордости, и отчаянья.

Львенка увели съ крыльца и толпа, напутствуемая энергическими замѣчаніями служителей, разошлась. Передъ галлереей проходилъ служитель въ синей курткѣ и робеспьеровскомъ колпакѣ изъ краснаго сукна.

Этотъ человѣкъ, по виду, не былъ такъ сердитъ, какъ его товарищи, и я подошелъ къ нему.

— Monsieur, спросилъ я: — сдѣлайте милость, скажите, что это сдѣлалось съ львицей?

— Tiens? отвѣчалъ французъ—elle rève qu'elle est libre.

Я еще подошелъ къ клѣткѣ и долго смотрѣлъ сквозь желѣзныя полосы въ страшныя глаза львицы. Она хотѣла защитить свое дитя и, понявъ, что это для нея невозможно, она была велика въ своемъ грозномъ молчаніи.

Егоръ Николаевичъ Бахаревъ теперь какъ-то напоминалъ собою всѣхъ: и мать, проводившую сына въ рекруты, и кошку, возвращающуюся послѣ поиска утопленныхъ котятъ, и соловья, вспомнившаго о минувшихъ дняхъ короткаго счастія, и львицу, смирившуюся въ желѣзной клѣткѣ.

Возвратясь домой, онъ все молчалъ. До самаго вечера онъ ни съ кѣмъ не сказалъ ни слова.

— Что съ тобою, Егоръ Николаевичъ?—спрашивала его Ольга Сергѣевна.

Онъ только махалъ рукою. Не грозно махалъ, а какъ-то такъ, что, молъ, «силъ моихъ нѣтъ,—отвяжитесь отъ меня ради Создателя».

Въ сумерки онъ прилегъ на диванѣ въ гостиной и задремалъ.

— Тссъ! командовала по заднимъ комнатамъ Абрамовна.—Успокоился баринъ, не шумите.

Баринъ, точно, чуть не успокоился. Когда Ольга Сергѣевна пришла со свѣчею, чтобы побудить его къ чаю, онъ лежалъ съ открытыми глазами, давалъ знакъ одною рукою и лепеталъ какой-то совершенно непонятный вздоръ заплетающимся языкомъ.

Въ домѣ начался адъ. Людей разослали за докторами. Ольга Сергѣевна то выла, то обмирала, то цѣловала мужнины руки, согрѣвая ихъ своимъ дыханіемъ. Остальные всѣ заурядъ потеряли головы и суетились. По дому только слышалось: «барина въ гостиной параличъ ударилъ», «переставляется баринъ».

Каждый посланецъ нашелъ по доктору, и черезъ часъ Егора Николаевича, выдержавшаго лошадиное кровопусканіе, отнесли въ его спальню.

Къ полуночи одинъ докторъ заѣхалъ еще разъ навѣстить больного; посмотрѣлъ на часы, пощупалъ пульсъ, велѣлъ аккуратно перемѣнять компрессы на голову и уѣхалъ.

Старикъ тяжело дышалъ и не смотрѣлъ глазами.

Съ Ольгой Сергѣевной въ гостиной поминутно дѣлались дурноты; ее оттирали одеколономъ и давали нюхать спиртъ.

Софи ходила скорыми шагами и ломала руки.

Къ тремъ часамъ Бахареву не было лучше, ни крошечки лучше.

Абрамовна вышла изъ его комнаты съ бѣлымъ салатникомъ, въ которомъ растаялъ весь ледъ, приготовленный для компрессовъ. Возвращаясь съ новымъ льдомъ черезъ гостиную, она подошла къ столу и задула догоравшую свѣчу. Свѣтъ былъ здѣсь не нуженъ. Онъ только могъ мѣшать крѣпкому сну Ольги Сергѣевны и Софи, пріютившихся въ теплыхъ уголкахъ мягкаго плюшеваго дивана.

Абрамовна опять усѣлась у изголовья больного и опять принялась за свою фельдшерскую работу.

Старческая кожа была не довольно чутка къ температурнымъ измѣненіямъ. Абрамовна положила одинъ очень холодный компрессъ, отъ котораго больной поморщился и, открывъ глаза, остановилъ ихъ на старухѣ.

— Что, батюшка?—прошептала съ ласковымъ участіемъ Абрамовна.

Больной только тяжко дышалъ.

— Трудно тебѣ? — спросила она, продолжая глядѣть въ тѣ же глаза, черезъ полчаса.

Старикъ кивнулъ головою: дескать «трудно».

— Гдѣ она?—пролепеталъ онъ черезъ нѣсколько минутъ, однако, такъ невнятно, что ничего нельзя было разобрать.

— Что, батюшка, говоришь?—спросила Абрамовна.

— Гдѣ она?—съ большимъ напряженіемъ и разстановкою произнесъ явственнѣе Бахаревъ.

— Кто, родной мой? О комъ ты спрашиваешь?

— О Лизѣ, — съ тѣхъ же усиліемъ и разстановкою выговорилъ Егоръ Николаевичъ.

Старуха хотѣла отмолчаться и стала выжимать смоченный компрессъ.

— Она умерла? — устремивъ глаза, спрашивалъ Бахаревъ.

— Нѣтъ, батюшка, Христосъ Царь небесный съ нею, она жива. Уѣхала. Вы, батюшка, успокойтесь; она вернется. Не тревожь себя, родной, понапрасну.

— У-ѣ-х-а-л... — опять совсѣмъ уже невнятно прошепталъ больной.

Онъ какъ будто впалъ въ забытье; но черезъ четверть часа опять широко .раскрылъ глаза и скоро-скоро, какъ бы боясь, что ему не будетъ время высказать свое слово, залепеталъ:

— Я полковникъ: я старикъ, я израненный старикъ. Меня всѣ знаютъ... мои ордена... мои раны... она дочь моя... Гдѣ она? Гдѣ о-н-а? произнесъ онъ, тупѣя до совершенной невнятности.—О-д-н-а!.. р-а-з-в-р-а-т-ъ... Разбойники! не обижайте меня; отдайте мнѣ мою дочь,—выговорилъ онъ вдругъ съ усиліемъ, но довольно твердо, и заплакалъ.

Сѣрый свѣтъ зарождающагося утра заглянулъ изъ-за спущенныхъ сторъ въ комнату больного, но былъ еще слишкомъ слабъ и робокъ для того, чтобы сконфузить мигавшую подъ зеленымъ абажуромъ свѣчу. Бахаревъ снова лежалъ спокойно, а Абрамовна, опершись рукою о кресло, тихо, усыпляющимъ тономъ, ворчала ему:

— Иная, батюшка, и при отцѣ съ матерью живетъ, да ведетъ себя такъ, что за стыдъ головушка гинетъ, а другая и сама по себѣ, да чиста и передъ людьми, и передъ Господомъ. На это взирать нечего. Къ чистому поганое не пристанетъ.

— Ты по-ѣз-жай,—прошепталъ старикъ.

Старуха промолчала.

— Возь-ми де-негъ и по-ѣз-жай;—повторялъ больной.

— Хорошо, сударь, поѣду.

— Ддда, поѣзжай... а куда?

Старуха зачесала головной платокъ.

— К-у-д-а?—повторилъ больной.

Старуха пожала плечами и пошла потушить свѣчу. Тяжелая ночь прошла и наступило еще болѣе тяжелое утро.

Недавно публика любовалась картинкою, помѣщенною въ одномъ изъ остроумныхъ сатирическихъ изданій. Рисунокъ изображалъ отца, у котораго дочь *ушла*. Отецъ былъ изображенъ на этомъ рисункѣ съ ослиными ушами.

Мы сомнѣваемся, что художникъ самъ видѣлъ когда-нибудь отца, у котораго *ушла* дочь. Художественная правда не позволила бы заглушить себя гражданской тенденціи и заставила бы его, кромѣ ослиныхъ ушей, увидать и отцовское сердце.

2.

Во флигелѣ Гловацкихъ ничего нельзя было узнать. Комнаты были ярко освѣщены и набиты различными гостями; подъ окнами стояла и мерзла толпа мѣщанъ и мѣщанокъ, кабинетъ Петра Лукича вовсе исчезъ изъ дома, а къ дѣвственной кроваткѣ Женни была смѣло и твердо приставлена другая кровать.

Полтора часа назадъ Женни перевѣнчали съ Николаемъ Степановичемъ Вязмитиновымъ, занявшимъ должность штатнаго смотрителя, вмѣсто Петра Лукича, который выслужилъ полный пенсіонъ и получилъ отставку.

Сегодня въ четыре часа послѣ обѣда Петръ Лукичъ отправилъ въ домъ покойной жены свой ветхій гардеробъ и книги. Сегодня же онъ проведетъ первую ночь внѣ училищнаго флигеля, уступая новому смотрителю, вмѣстѣ съ мѣстомъ, и свою радость, свою красавицу Женни.

Между гостями, наполняющими флигель уѣзднаго училища, мы прежде всѣхъ узнаемъ Петра Лукича. Онъ постарѣлъ еще болѣе, голова его совсѣмъ бѣла, и длинная фигура нѣсколько горбится; онъ и веселъ, и озабоченъ, и задумчивъ. Потомъ на почетномъ мѣстѣ сидитъ посаженый отецъ жениха, нашъ давній знакомый Алексѣй Павловичъ Зарницынъ. Онъ пополнѣлъ, и въ лицѣ его много важно-

сти и самоувѣренности. Онъ ораторствуетъ и заставляетъ всѣхъ себя слушать. Къ нему часто подходитъ и благопристойно его ласкаетъ немолодая, но еще очень красивая и изящная дама. Это Катерина Ивановна, бывшая вдова Кожухова (нынѣ madame Зарницына), владѣтельница богатаго села Коробина. Она одѣта по-бальному, роскошно и нѣсколько молодо; но этотъ нарядъ никому не бросается въ глаза. Онъ даже заставляетъ всѣхъ чувствовать, что хотя сама невѣста здѣсь, безъ сомнѣнія, есть самая красивая женщина, но и эта барыня совсѣмъ не вздоръ въ нашъ вѣкъ болѣзненный и хилый. Катерина Ивановна здѣсь едва ли не самое видное лицо: она всѣмъ распоряжается и на всемъ лежитъ ея иниціатива. Благодаря ей, пиръ великолѣпенъ и роскошенъ. Петръ Лукичъ самъ не знаетъ, откуда у него что берется. Саренко, въ высочайшемъ жабо, тоже здѣсь съ своею Лурлеей и съ половиной въ желтой шали. Онъ сочиняетъ приличныя, по его мнѣнію, настоящему торжеству пошлости и, разглаживая по головѣ свой хвостъ, ищетъ случая ихъ позамѣтнѣе высказать новобрачной парѣ.

О новобрачной парѣ говорятъ разно. Женни утомлена и задумчива. Мужчины находятъ ее красавицей, женщины говорятъ, что она тонируетъ. Изъ дамъ ласковѣе всѣхъ къ ней madame Зарницына, и Женни это чувствуетъ, но она, дѣйствительно, черезчуръ разсѣяна; ей припоминается и Лиза, и лицо, отсутствіе котораго здѣсь въ настоящую минуту очень замѣтно. Женни думаетъ объ умершей матери.

Вязмитиновъ нехорошъ. Ему не идетъ бѣлый галстукъ съ бѣлымъ жилетомъ. Вырѣзаясь изъ чернаго фрака, они непріятно оттѣняютъ гладко выбритое лицо и дѣлаютъ Вязмитинова какъ будто совсѣмъ безъ груди. Онъ сосредоточенъ и часто моргаетъ.

Вообще онъ всегда былъ несравненно лучше, чѣмъ сегодня.

Въ кучкахъ гостей мужчины толкуютъ, что Вязмитинову будетъ трудно съ женою на этомъ мѣстѣ; что Алексѣй Павловичъ Зарницынъ пристроился гораздо умнѣе, и что Ка-

терина Ивановна не въ эти выборы, такъ въ другіе непремѣнно выведетъ его въ предводители.

— А тутъ что? — добавляли къ этимъ разсужденіямъ. Любовь! Любовь, батюшка,—морковь: полежитъ и завянетъ.

— Она премилая дѣвушка!—замѣчали дѣвицы.

— Что, сударыня, милая!—возражала жена Саренки. Съ лица-то не воду пить, а жизнь пережить—не поле перейти.

Изъ постороннихъ людей не злоязычили втихомолку только Зарницынъ съ женою. Первому было некогда, да онъ и не былъ злымъ человѣкомъ, а жена его не имѣла никакихъ основаній въ чемъ бы то ни было завидовать Женни, и искренно желала ей добра въ ея скромной долѣ.

Самое преданное Женни женское сердце не входило въ пиршественные покои. Это сердце билось въ груди сестры Ѳеоктисты.

Еще при первомъ слухѣ о помолвкѣ Женни, мать Агнія запретила Петру Лукичу готовить что бы то ни было къ свадебному наряду дочери.

— Оставь это, батюшка, мнѣ. Я хочу вмѣсто матери сама все приготовить для Геши, и ты не въ правѣ мнѣ въ этомъ препятствовать.

Петръ Лукичъ и не препятствовалъ.

Вечеромъ, подъ самый день свадьбы, изъ губернскаго города пріѣхала сестра Ѳеоктиста съ длиннымъ ящикомъ, до крайности стѣснявшимъ ее на монастырскихъ саняхъ.

Въ ящикѣ, который привезла сестра Ѳеоктиста, было цѣлое приданое. Тутъ лежалъ великолѣпный подвѣнечный уборъ: платье, дѣвичья фата, гирлянда и даже бѣлые атласные ботинки. Далѣе, здѣсь были четыре атласные розовые чехла на подушки съ нынѣшними оборками, два великолѣпно выстеганныя атласныя одѣяла, вышитая кофта, ночной чепецъ, маленькія женскія туфли, вышитыя золотомъ по масаковому бархату, и мужскія туфли, вышитыя золотомъ по черной замшѣ, коверъ подъ ноги и синій атласный халатъ на мягкой тафтяной подкладкѣ, тоже съ вышивками и съ шнурками. Игуменья по-матерински справила къ вѣнцу

Женни. Даже между двухъ образовъ, которыми благословили новобрачныхъ, стоялъ оригинальный образъ св. Іуліаніи, княжны Ольшанской. Образъ этотъ былъ въ дорогой золотой ризѣ, не кованой, но шитой, съ нѣсколькими яхонтами и изумрудами. А на фіолетовомъ бархатѣ, покрывавшемъ заднюю часть доски, золотомъ же было вышито: «Симъ образомъ св. дѣвственницы, княжны Іуліаніи, благословила на бракъ Евгенію Петровну Вязмитинову настоятельница Введенскаго Богородицкаго дѣвичьяго монастыря смиренная инокиня Агнія».

Въ брачный вечеръ Женни всѣ эти вещи были распредѣлены по мѣстамъ, и Ѳеоктиста, похаживая по спальнѣ, то оправляла оборки подушекъ, то осматривала кофту, то передвигала мужскія и женскія туфли новобрачныхъ.

Въ два часа ночи Катерина Ивановна Зарницына вошла въ эту спальню и открыла одѣяла кроватей. Вслѣдъ затѣмъ она вышла и ввела сюда за руку Женни.

Въ домѣ уже никого не было постороннихъ.

Послѣдній, крестясь и перхая, вышелъ Петръ Лукичъ. Теперь и онъ былъ здѣсь лишній.

Катерина Ивановна и Ѳеоктиста раздѣли молодую и накинули на нее бѣлый пеньюаръ, вышитый собственными руками игуменьи.

Ѳеоктиста надѣла на ноги Женни туфли.

Женни дрожала и безмолвно исполняла все, что ей говорили.

Облаченная во все бѣлое, она, отъ усталости и волненія, робко присѣла на край кровати.

— Помолитесь Заступницѣ,—шепнула ей Ѳеоктиста.

Женни стала на колѣни и перекрестилась.

Свѣчи погасли и осталась одна лампада передъ образами.

— Молитесь ей, да ниспошлетъ Она вамъ бракъ честенъ и соблюдетъ ложе ваше нескверно,—опять учила Ѳеоктиста, стоя въ своей черной рясѣ надъ бѣлою фигурою Женни.

Женни молилась.

Изъ бывшаго кабинета Гловацкаго, Катерина Ивановна ввела за руку Вязмитинова въ синемъ атласномъ халатѣ.

Ѳеоктиста нагнулась къ головѣ Женни, поцѣловала ее въ темя и вышла.

Женни еще жарче молилась.

Катерина Ивановна тоже вышла и сѣла съ Ѳеоктистой въ свою карету.

Дальше мы не имѣемъ права оставаться въ этой комнатѣ.

3.

Поднимаемъ третью завѣсу.

Слуга взнесъ за Бертольди и Лизою ихъ вещи въ третій этажъ, получилъ плату для кучера и вышелъ.

Лиза осмотрѣлась въ маленькой комнаткѣ, съ довольно грязною обстановкою.

Здѣсь былъ пружинный диванъ, два кресла, четыре стула. комодъ и полинялая драпировка, за которою стояла женская кровать и разбитый по всѣмъ назамъ умывальный столикъ.

Лакей подалъ спрошенный у него Бертольди чай, повѣсилъ за драпировку чистое полотенце, чего-то поглазѣлъ на пріѣхавшихъ барышень, спросилъ ихъ паспорты и вышелъ.

Лиза какъ вошла—сѣла на диванъ и не трогалась съ мѣста. Эта обстановка была для нея совершенна нова: она еще никогда не находилась въ подобномъ положеніи.

Бертольди налила двѣ чашки чаю и подала одну Лизѣ, а другую выпила сама и непосредственно затѣмъ налила другую.

— Пейте, Бахарева,—сказала она, показывая на чашку.

— Я выпью,—отвѣчала Лиза.

— Что вы повѣсили носъ?

— Нѣтъ, я ничего, — отвѣчала Лиза и, вставши, подошла къ окну.

Улица была ярко освѣщена газомъ, по тротуарамъ мелькали прохожіе, посерединѣ неслись большіе и маленькіе экипажи.

Допивъ свой чай, Бертольди взялась за бурнусъ и сказала:

— Ну, вы сидите тутъ, а я отправлюсь, разыщу кого-нибудь изъ нашихъ и сейчасъ буду назадъ.

— Пожалуйста, поскорѣе возвращайтесь,—проговорила Лиза.

— Вы боитесь?

— Нѣтъ... а такъ, непріятно здѣсь одной.

— Романтичка!

— Это вовсе не романтизмъ, а кто знаетъ какіе тутъ люди.

— Что жъ они вамъ могутъ сдѣлать? Вы тогда закричите.

— Очень пріятно кричать.

— Да это въ такомъ случаѣ, если бы что случилось.

— Нѣтъ, лучше пусть ничего не случается, а вы возвращайтесь-ка поскорѣе. Тутъ есть въ двери ключъ?

— Непремѣнно.

— Вы посмотрите, запираетъ ли онъ?

— Запираетъ, разумѣется.

— Ну, попробуйте.

Бертольди повернула въ замкѣ ключъ, произнесла: «фактъ», и вышла за двери.

Лиза встала и заперлась.

Инстинктивно она выпила остывшую чашку чаю и начала ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

Комната была длиною въ двѣнадцать шаговъ.

Долго ходила Лиза.

На улицѣ движеніе становилось замѣтно тише, прошелъ часъ, другой и третій: Бертольди не возвращалась.

Кто-то постучалъ въ двери.

Лиза остановилась.

Стукъ повторился.

— Что здѣсь нужно?—спросила Лиза черезъ двери.

— Приборъ.

— Какой приборъ?

— Чайный приборъ принять.

— Это можно послѣ; я не отопру теперь, — отвѣтила Лиза и снова стала ходить взадъ и впередъ.

Прошло еще два часа.

— Гдѣ бы это запропала Бертольди?—подумала Лиза, зѣвнувъ и остановясь противъ дивана.

Она очень устала и ей хотѣлось спать, но она постояла, взглянула на часы и сѣла.

Былъ третій часъ ночи.

Теперь только Лиза замѣтила, что этотъ часъ въ здѣшнемъ мѣстѣ не считается позднимъ.

За боковыми дверями съ обѣихъ сторонъ ея комнаты шла оживленная бесѣда и по корридору безпрестанно слышались то тяжелые мужскіе шаги, то чекающій, пріятный стукъ женскихъ каблучковъ и раздражающій шорохъ платьевъ.

Лиза до сихъ поръ какъ-то не замѣчала этого, ожидая Бертольди; но теперь, потерявъ надежду на ея возвращеніе, она стала прислушиваться.

— Это какіе жъ порядки?—говорилъ за лѣвою дверью пьяный басъ.

— Какіе порядки!—презрительно отзывалась столь же пьяная мужская фистула.

— Теперь опять же хучь-ба, скажемъ такъ, гробовщики, начиналъ басъ: что съ меня, что типеръ съ гробовщика одна подать, потому въ одномъ расчисленіи. Что я, значитъ, что гробовщикъ, все это въ одномъ званіи: я столарь, и онъ столарь. Ну, порядки жъ это? Какъ типерь кто можетъ нашу работу супроть гробовщиковъ равнять. Наше дѣло, ты вотъ хоть столъ,—это я такъ къ примѣру говорю, будемъ располагать къ примѣру, что вотъ этотъ столъ взялся я представить. Что же теперь должонъ я съ нимъ сдѣлать? Должонъ я его теперь сперва наперво сичасъ въ лучшемъ видѣ отдѣлать, потомъ должонъ его сполировать, должонъ въ него замокъ врѣзать, или рѣзьбу тамъ какую сичасъ приставить...

— Что говорить! — взвизгнула фистула. — Выпейте-ка, Петръ Семеновичъ.

Слышно, что выпили, и басъ, хрустя зубами, опять начинаетъ:

— А гробовщикъ теперь что? Гробовщика мебель тлѣнная. Онъ посуду покупаетъ оптомъ, а тутъ цвяшки, да бляшки, да и сто рублей. Это что? Это порядки называются?

— Что говорить,—отрицаетъ фистула.

— Нѣтъ, я васъ спрашиваю: это порядки или нѣтъ?

— Какіе порядки!

— Съ гробовщиковъ-то и съ столарей одну подать брать порядки это?

— Какъ можно!

— А-а! Поняли теперь. Нашъ братъ, будь я бѣлодеревной, будь я краснодеревной, все я долженъ работу въ своемъ видѣ сдѣлать, а гробовщикъ мастеръ тлѣнный. Вѣрно я говорю или нѣтъ?

— Выпьемте, Петръ Семеновичъ.

— Нѣтъ, вы прежде объясните мнѣ, какъ вѣрно я говорю или нѣтъ? Или неправильно я разсуждаю? А! Ну, какое вы объ этомъ имѣете расположеніе? Пущай вы и пріѣзжій человѣкъ, а я вотъ на вашу совѣсть пущаюсь. Вѣдь вы хоть и пріѣзжій, а все же, вѣдь, вы можете же какое-нибудь разсужденіе имѣть.

За другою дверью, справа, шелъ разговоръ въ другомъ родѣ.

— Простить, — сквозь свистъ и сапъ гнусилъ сильно пьяный мужчина.

— Нѣтъ, Барановъ, не говори ты этого,—возражалъ довольно молодой, но тоже не совсѣмъ трезвый женскій голосъ. Нашей сестрѣ никогда, Барановъ, прощенья не будетъ.

— Врешь, будетъ.

— Нѣтъ, и не говори этого, Барановъ.

— А впрочемъ, чортъ васъ возьми совсѣмъ.

— Да не говори этого, — продолжала, не разслушавъ, женщина.

Послышался храпъ.

— Барановъ!—позвала женщина.

— М-мъ?

— Можно еще графинчикъ?

— Чортъ съ тобою, пей.

Женщина отворила дверь въ коридоръ и велѣла подать еще графинчикъ водочки.

Въ концѣ коридора стукнула дверь и по полу зазвенѣла кавалерійская сабля.

— Номеръ!—громко крикнулъ голосъ.

Лакей побѣжалъ и заговорилъ что-то на ходу.

— Какая такая пріѣзжая?—спросилъ голосъ.

— Ей-Богу-съ, пріѣзжая.

— Покажи намъ ее!

— Нѣтъ-съ, ей-Богу-съ, настоящая пріѣзжая, и паспортъ вонъ у меня на шкафѣ лежитъ.

— Врешь.

— Нѣтъ, ей-Богу-съ: вотъ посмотрите.

Лиза слышала, какъ развернули ея институтскій дипломъ и прочитали вслухъ: «дочь полковника Егора Николаевича Бахарева, дѣвица Елизавета Николаевна Бахарева, семнадцати лѣтъ».

— Одна?—спросилъ голосъ тише.

— Теперь одна-съ,—отвѣчалъ лакей.

— А съ кѣмъ пріѣхала?

— Тоже, должно съ подругою, да та уѣхала куда-то съ вечера.

— Ты завтра за ней помастери.

— Слушаю-съ.

— Ну, а теперь чортъ съ тобою, давай хоть тотъ номеръ.

Мимо Лизиныхъ дверей прошли сапоги въ шпорахъ, сапоги безъ шпоръ и шумливое шелковое платье.

У Лизы голова ходила ходуномъ.

— Гдѣ я? Боже мой! Гдѣ я? Куда насъ привезли! спрашивала она сама себя, боясь шевельнуться на диванѣ.

А свѣчка уже совсѣмъ догорала.

— Такъ вотъ ты, Барановъ, и сообрази,—говорилъ гораздо тише совсѣмъ опьянѣвшій женскій голосъ. Что жъ она, Жанетка, только, вѣдь, что француженка называется, а что она противъ меня? Тьфу, вотъ что она. Гдѣ-жъ теперь, Барановъ, правда!

— Нѣтъ, вы теперь объясните мнѣ: согласны вы, чтобы гробовщики жили на одномъ правилѣ съ столярами? приставалъ басъ съ другой стороны Лизиной комнаты. — Согласны,— такъ, такъ и скажите. А я на это ни въ жизнь, ни за что не согласенъ. Я самъ доступлю къ князю Суворову и къ министру, и скажу такъ и такъ и извольте это дѣло разсудить, потому какъ ваша на все это есть воля. Какъ вамъ угодно, такъ это дѣло и разсудите, но только моего на это согласія никакого нѣтъ.

Огарокъ догорѣлъ и потухъ, оставивъ Лизу въ совершенной темнотѣ. Нѣсколько минутъ все было тихо, но вдругъ одна дверь съ шумомъ распахнулась настежъ, кто-то вылетѣлъ въ коридоръ и упалъ, тронувшись головою о Лизину дверь.

Лиза вскочила и бросилась къ окну, но дверь устояла на замкѣ и петляхъ.

Въ коридорѣ сдѣлался шумъ. Отворилось еще нѣсколько дверей. Лакей помогалъ подниматься человѣку, упавшему къ Лизиной комнатѣ.

Потомъ зашелестѣло шелковое платье и женскій голосъ сталъ кого-то успокоивать.

— Нѣтъ, это не шутка, возражалъ плачевнымъ тономъ упавшій.—Онъ, если шутитъ, такъ онъ долженъ говорить, что онъ это шутя дѣлаетъ, а не бить прямо въ серьезъ.

— Душенька штатскій, ну, полноте, ну, помиритесь, ну, что вамъ изъ-за этого обижаться, уговаривало шелковое платье.

— Нѣтъ, я не обижаюсь, а только я послѣ этого не хочу съ нимъ быть въ компаніи, если онъ дерется, отвѣчалъ душенька штатскій.—Согласитесь, это не всякому же можетъ

быть пріятно, добавилъ онъ, и рѣшительно отправился къ выходу.

Шелковое платье вернулось въ номеръ, щелкнуло за собою ключемъ, и все утихло.

Трепещущая Лиза, ни жива, ни мертва, стояла, прислонясь къ холодному окну.

Уличные фонари погасли и по комнатѣ засѣрѣлось.

Лиза еще подождала съ полчаса и дернула за сальную сонетку.

Вошелъ заспанный коридорный въ одномъ бѣльѣ.

Лиза попросила себѣ самоваръ.

Черезъ часъ явился чайный приборъ, но самовара все-таки не было.

Видъ растерзаннаго лакея, въ одномъ бѣльѣ, окончательно вывелъ Лизу изъ терпѣнія.

Она мысленно рѣшила не пить чаю, а уйти куда-нибудь отсюда, хоть походить по улицѣ.

Въ этихъ соображеніяхъ, она попросила дать ей адресъ гостиницы и тихо опустилась въ уголъ дивана.

Усталость и молодость брали свое. Лизу клонилъ сонъ.

Чтобы не заснуть, она взяла выброшенную Бертольди изъ сака книжку. Это было Молешотово «Ученіе о пищѣ».

Лиза стала читать, ожидая, пока ей дадутъ адресъ, безъ котораго она, не зная города, боялась выйти на улицу.

«Ничто не подавляетъ до такой степени наши духовныя силы, какъ голодъ. Отъ голода голова и сердце пустѣютъ. И хотя потребность въ пищѣ поразительно уменьшается при напряженной духовной дѣятельности, тѣмъ не менѣе ничего нѣтъ вреднѣе голода для спокойнаго мышленія. Потому голодный во сто разъ сильнѣе чувствуетъ всякую несправедливость и, стало быть, не прихоть породила идею о правѣ каждаго на трудъ и хлѣбъ. Мудрость и любовь требуютъ обсудить всякій взглядъ, но мы считаемъ себя обязанными неотразимую убѣдительность фактовъ противопоставить той жестокой мысли, по которой право человѣческое становится въ зависимость отъ милости человѣческой».

— Нельзя, нельзя мечтать, какъ Помада... шепчетъ Лиза, откидывая отъ себя книгу. — Мнѣ здѣсь холодно, я теперь *одна*, на всю жизнь одна, но Богъ съ ними, со всѣми. Что въ ихъ теплотѣ! Они вертятся около своего вѣчнаго солнца, а мнѣ не нужно этого солнца. Тяжело мнѣ, и пусть...

Лиза взяла маленькій англійскій волюмчикъ «The poetical works of Longfellow», и прочла:

«Въ моей груди нѣтъ иного свѣта и, кромѣ холоднаго свѣта звѣздъ, я ввѣряю первую стражу ночи красной планетѣ Марсу.

«Звѣзда непобѣдимой воли, она восходитъ въ моей груди: ясная, тихая и полная рѣшимости, спокойная и самообладающая.

«И ты также, кто бы ни былъ ты, читающій эту короткую пѣсню, если одна за другой уходятъ твои надежды, будь полонъ рѣшимости и спокоенъ.

«Не пугайся этого ничтожнаго міра, и ты скоро узнаешь, какое высокое наслажденіе страдать и быть крѣпкимъ духомъ».

Лиза опять взяла Молешота, но онъ уже не читался, и видѣла Лиза сквозь опущенныя вѣки, какъ по свалившемуся на полъ «Ученію о пищѣ» шевелилась какая-то знакомая группа. Тутъ были: няня, Женни, Розановъ и вдругъ мартовская ночь, а не комната съ сальной обстановкой. Въ небѣ поютъ жаворонки, Розановъ говоритъ, что

Есть сила благодатная
Въ созвучьѣ словъ живыхъ.

Потомъ Райнеръ. Гдѣ онъ? Онъ долженъ быть здѣсь... Отецъ клянетъ... Образъ падаетъ изъ его рукъ... Какая тяжкая сцена!.. «Укоръ невѣждъ, укоръ людей»... Отецъ! отецъ!

— Бахарева! что съ вами? Чего вы рыдаете во снѣ, спрашиваетъ Лизу знакомый голосъ.

Она подняла утомленную головку.

Въ комнатѣ свѣтло. Передъ ней Бертольди развязываетъ

шляпку, на полу «Ученіе о пищѣ», у двери двое незнакомыхъ людей снимаютъ свои пальто, на столѣ потухшій самоваръ и карточка.

— Ревякинъ и Прорвичъ, произнесла Бертольди, торжественно показывая на высокаго, рыжаго, угреватаго господина и его замурзаннаго черненькаго товарища.

Заспавшаяся Лиза ничего не могла сообразить въ одно мгновеніе. Она закрыла рукою глаза и, открывъ ихъ снова, случайно прежде всего прочла на лежащей у самовара карточкѣ: Въ С.-Петербургѣ, по Караванной улицѣ, № 7, гостиница дль пріѣзжающихъ съ нумерами «Италія».

Прорвичъ и Ревякинъ протянули Лизѣ свои руки.

КНИГА ТРЕТЬЯ.

НА НЕВСКИХЪ БЕРЕГАХЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Старые знакомые на новой почвѣ.

Прошло два года. На дворѣ стояла сырая, ненастная осень; сѣрые петербургскіе дни смѣнялись темными холодными ночами: столица была неопрятна и видъ ея неспособенъ былъ плѣнять ничьего воображенія. Но какъ ни безотрадны были въ это время картины людныхъ мѣстъ города, онѣ не могли дать и самаго слабаго понятія о впечатлѣніяхъ, производимыхъ на свѣжаго человѣка видами пустырей и безконечныхъ заборовъ, огораживающихъ болотистыя улицы одного изъ печальнѣйшихъ угловъ Петербургской стороны.

По одной изъ такихъ пустынныхъ улицъ, часу въ двѣнадцатомъ самаго ненастнаго дня, по ступицу, въ жидкой, болотистой грязи плыли маленкія одномѣстныя дрожечки, запряженныя парою бойкихъ, рыженькихъ шведокъ. Толстенькія, крѣпкія лошадки съ тщательно переваленными гривками и ловко подвязанными куколкою хвостами; хорошая упряжь и хорошій кожаный армякъ кучера давали чувствовать, что это собственныя, хозяйскія лошадки, а спокойное вниманіе, съ которымъ сѣдокъ глядѣлъ черезъ

пристяжную впередъ и предостерегалъ кучера при объѣздахъ затопленныхъ камней и водомоинъ, въ одно и то же время позволяли догадываться, что этотъ сѣдокъ есть самъ владѣлецъ шведокъ и экипажа, и что ему какъ пять пальцевъ собственной руки знакомы подводные камни и бездонныя пучины этого угла Петербургской стороны. Лицо этого господина было неудобно разсмотрѣть, потому что, защищаясь отъ досадливо-бьющей въ лицо мги, онъ почти до самыхъ глазъ закрывалъ себя поднятымъ воротникомъ камлотовой шинели; но по бодрости, съ которою онъ держится на балансирующей эгоисткѣ, видно, что онъ еще силенъ и молодъ. На немъ, какъ выше сказано, непромокаемая камлотовая шинель, высокіе юхтовые сапоги, какіе часто носятъ студенты, и форменная фуражка съ кокардою.

Прыгая съ тряской взбуравленной мусорной насыпи въ болотистыя колдобины и потомъ тащась безконечною полосою жидкой грязи, дрожки повернули изъ пустынной улицы въ узенькій кривой переулочекъ, потомъ не безъ опасности повернули за уголъ и остановились въ началѣ довольно длиннаго пустого переулка. Далѣе невозможно было ѣхать по переулку, представлявшему сплошное болото, гдѣ пролегала только одна узенькая полоска жидкой грязи, обозначавшая проѣзжую дорожку, и на этой дорожкѣ стояли три воза, наполненные диванчиками, стульями, ширмами и всякимъ домашнимъ скарбомъ, плохо покрытымъ изодранными извозчичьими рогожами, не защищавшими мебель отъ всюду проникающей осенней мги.

Около остановившихся подводъ вовсе не было видно ни одного человѣка. Только впереди слышались неистовыя ругательства, хлопанье кнутьевъ и отчаянные возгласы, заглушавшіе сердитые крики кучера, требовавшаго дороги.

Человѣкъ, ѣхавшій на дрожкахъ, привсталъ, посмотрѣлъ впередъ и, спрыгнувъ въ грязь, пошелъ къ тому, что на подобныхъ улицахъ называется «тротуарами». Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ по тротуару, онъ увидалъ, что передняя лошадь обоза лежала, барахтаясь въ глубокой грязи. Около

несчастнаго животнаго, крича и ругаясь, суетились извозчики, а въ сторонкѣ, немножко впереди этой сцены, прислонясь къ заборчику, сидѣла на корточкахъ старческая женская фигура въ ватошникѣ и съ двумя узелками въ бѣлыхъ носовыхъ платкахъ.

— Что-жъ теперь будемъ дѣлать, ребята?—крикнулъ извозчикамъ проѣзжій.

Мужики оглянули его недовольнымъ взглядомъ, крикнули, и кнутья опять засвистали.

Старушка, сидѣвшая подъ заборомъ, встала, взяла свои узелочки и, подойдя къ проѣзжему, остановилась отъ него въ двухъ шагахъ. Проѣзжій на мгновеніе обернулся къ старушкѣ, посмотрѣлъ на торчавшій изъ узелка бѣлый носикъ фарфороваго чайника, сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе плечами и опять обернулся къ извозчикамъ, немилосердно лупившимъ захлебывающуюся въ грязи клячу.

— Что я васъ хочу спросить, батюшка, ваше высокоблагородіе,—начала тихонько старушка, относясь къ проѣзжему.

— Что, матушка, говорите?—отвѣчалъ тотъ, быстро обернувшись къ старушкѣ.

— Извините, пожалуйста, сударь, не Дмитрій ли Петровичъ Розановъ вы будете?

— Няня! Абрамовна!—вскрикнулъ Розановъ.

— Я же, батюшка; я, другъ ты мой милый!

— Откуда ты?

Розановъ обнялъ и радостно нѣсколько разъ поцѣловалъ старуху въ ея сморщенныя и влажныя отъ холодной мги щеки.

— Какими ты здѣсь судьбами?—разспрашивалъ Абрамовну Розановъ.

— А вотъ, видишь, на квартиру, батюшка, переѣзжаемъ.

— Куда это?

— Да вотъ, вонъ видишь, вонъ въ тотъ домъ.

Старуха костлявою рукою указала на огромный, старый, весьма запущенный домъ, одиноко стоящій среди тянущагося по переулку безконечнаго забора.

— Кто-жъ тутъ изъ вашихъ?

— Одна барышня.

— Лизавета Егоровна?

— Да съ нею я. Вотъ ужъ два года какъ я здѣсь съ нею. Господи, твоя воля! вотъ радость-то Богъ послалъ. Я ужъ про тебя спрашивала, спрашивала, да и спрашивать перестала.

— Что-жъ это вы однѣ здѣсь?

— Да то-жъ, вотъ все, какъ и знаешь, какъ и прежде бывало: моркотно молоденькой,—нигдѣ мѣста не найдемъ.

— Ну, а Егоръ Николаевичъ?

— Приказалъ тебѣ, сударь, долго жить.

— Умеръ!

— Скончался; упокой его Господи! Его-то волю соблюдаючи, только здѣсь и мычусь на старости лѣтъ.

Розановъ внимательно посмотрѣлъ въ глаза старухи: видно было, что ей очень не по себѣ.

— Ну, а Софья Егоровна?—спросилъ онъ ее спокойно.

— Замужъ вышла,—отвѣчала старуха, смаргивая набѣгающую на глаза слезу.

— За кого-жъ она вышла?

— За гаціанта одного вышла, тутъ на своей дачѣ жили,—тихо объяснила старуха, продолжая управляться съ слезою.

— А Ольга Сергѣевна?

— Все примерло: черезъ полгодочка убралась за покойникомъ.—Ну, а вы же какъ, Дмитрій Петровичъ?

— Вотъ, живу, няня.

— Вы зайдите къ моей-то,—зайдите. Она рада будетъ.

— Гдѣ же теперь Лизавета Егоровна?

— Да вотъ въ этомъ же домѣ, отвѣчала старуха, указывая на тотъ же угрюмо-смотрящій домъ.—Рада будетъ, моя-то, продолжала она убѣждающимъ тономъ.—Поминали мы съ ней про тебя не разъ; сбили вѣдь ее: охъ, разумъ нашъ, разумъ нашъ женскій! Зайди, батюшка, утѣшь ты меня, старуху, поговори ты съ ней! Можетъ, она тебя въ чемъ и послушаетъ.

— Что ты это, няня!

—Охъ, такъ... и не говори лучше... что наша только за жизнь,—одурь возьметъ въ этой жизни.

Абрамовна тихо заплакала.

Розановъ тихо сжалъ старуху за плечо и, оставивъ ее на мѣстѣ, пошелъ по тротуару къ уединенному дому.

— Смотри же, зайди къ моей-то,—крикнула ему вслѣдъ няня, поправляя выползавшій изъ ея узелочка чайникъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Domus.

Домъ, къ которому шелъ Розановъ, нѣсколько напоминалъ собою и покинутыя барскія хоромы, и острогъ, и складочный пакгаузъ, и богадѣльню. Сказано уже, что онъ одинъ-одинёшенекъ стоялъ среди пустыннаго, болотистаго переулка и не то уныло, а какъ-то озлобленно смотрѣлъ на окружающую его грязь и сѣрые заборы. Домъ этотъ былъ построенъ въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны и правленіе приснопамятнаго Россіи герцога Курляндскаго. Архитектура дома какъ нельзя болѣе хранила характеръ своего времени. Это было довольно длинное и несоразмѣрно высокое каменное строеніе, не смотря на то, что въ немъ было два этажа съ подваломъ и мезониномъ во фронтонѣ. Весь домъ былъ когда-то густо выбѣленъ мѣломъ, но побѣлка на немъ отстала и обнаружила огромныя пятна желтобурой охры. Крыша на домѣ была изъ почернѣвшихъ отъ времени черепицъ.

По низу, почти надъ самымъ тротуаромъ, въ домѣ было прорѣзано девять узкихъ параллелограммовъ, безъ стеколъ, но съ крѣпкими желѣзными рѣшетками, скрѣпленными кольчатою вязью. Надъ этимъ подвальнымъ этажемъ, аршина на два вверхъ, начинался другой, уже жилой этажъ, съ оконными рамами, до которыхъ тоже нельзя было дотронуться иначе, какъ сквозь крѣпкія желѣзныя рѣшетки. Опять вверхъ, гораздо выше перваго жилого этажа, шелъ второй.

въ которомъ только въ пяти окнахъ были желѣзныя рѣшетки, а четыре остальныя съ гражданскою самоувѣренностью смотрѣли на свѣтъ Божій только одними мелкошибчатыми дубовыми рамами съ зеленоватыми стеклами. Еще выше надо всѣмъ этимъ возвышался выступавшій изъ крыши фронтонъ съ однимъ полукруглымъ окномъ, въ которомъ хотя и держалась дубовая рама съ остатками разбитыхъ зеленоватыхъ стеколъ, но теперь единственное противодѣйствіе вѣтрамъ и непогодамъ представляла снова часто повторяющаяся съ уличной стороны этого дома желѣзная рѣшетка. Въ самомъ нижнемъ, такъ сказать, въ подземномъ этажѣ дома, шли огромные подвалы, развѣтвлявшіеся подъ всѣмъ строеніемъ и представлявшіе собою огромныя удобства для всякихъ хозяйственныхъ сбереженій и для изученія неэкономности построекъ минувшаго періода въ архитектурномъ отношеніи. Здѣсь, кромѣ камеръ съ дырами, выходившими на свѣтъ Божій, шелъ цѣлый лабиринтъ, въ который лучъ солнечнаго свѣта не западалъ съ тѣхъ поръ, какъ послѣдній кирпичъ заключилъ собою тяжелые своды этихъ подземныхъ норъ. Въ нѣкоторыхъ стѣнахъ этихъ вѣчно-темныхъ погребовъ были вдѣланы толстыя желѣзныя кольца подъ впадинами, въ половинѣ которыхъ выдавались каменные уступы. Къ этимъ кольцамъ древнее боярство присаживало когда-то подневольныхъ ему холопей. Это были пытальныя, которыя человѣкъ, пишущій эти строки, видѣлъ назадъ тому лѣтъ около пяти,—пытальныя, въ которыя не западалъ лучъ солнца. По мокрому, давно заплывшему грязью плитяному полу этого этажа давно не ступала ничья нога, и только одно холодное шлепанье медленно скачущихъ по немъ пузатыхъ жабъ нарушало печальное безмолвіе этого подземелья. Первый жилой этажъ представлялъ нѣсколько иное зрѣлище. Сюда вели два входа. Одинъ тотчасъ изъ воротъ, по каменному безобразному крыльцу съ далеко выдающимся навѣсомъ велъ въ большія комнаты, удобныя скорѣе для солдатской швальни, чѣмъ для жилого помѣщенія. Съ другого крылечка можно было вхо-

дить въ огромную низкую кухню, соединявшуюся съ рядомъ меньшихъ покоевъ перваго этажа. Всѣхъ комнатъ здѣсь было восемь и половина изъ нихъ была темныхъ. Въ двухъ комнатахъ, примыкавшихъ къ кухнѣ, вовсе не было оконъ: это были не то кладовыя, не то спальни. Этажъ этотъ вообще производилъ тяжелое впечатлѣніе, свойственное виду пустыхъ казармъ.

Изъ просторныхъ сѣней этого этажа шла наверхъ каменная лѣстница безъ перилъ и съ довольно выбитыми кирпичными ступенями. Наверху тоже было восемь комнатъ, представлявшихъ гораздо болѣе удобства для жилого помѣщенія. Весь домъ окруженъ былъ просторнымъ заросшимъ травою дворомъ, на заднемъ планѣ котораго тянулась нѣкогда окрашенная, но нынѣ совершенно полинявшая рѣшетка, а за рѣшеткой былъ старый, но весьма негустой садъ.

Домъ этотъ лѣтъ двѣнадцать былъ въ спорномъ искѣ и стоялъ пустой; а потому, на каждомъ кирпичѣ, на каждомъ кускѣ штукатурки, на каждомъ вершкѣ двора и сада, здѣсь лежала печать враждебнаго запустѣнія.

Розановъ, подойдя къ калиткѣ этого дома, поискалъ звонка, но никакого признака звонка не было. Докторъ отошелъ немного въ сторону и посмотрѣлъ въ окно верхняго этажа. Сквозь давно немытыя стекла на нѣкоторыхъ окнахъ видны были какіе-то узлы и подушки, а на одномъ можно было отличить двѣ женскія фигуры, сидѣвшія спиною къ улицѣ.

Розановъ, постоявъ съ минуту, опять вернулся къ калиткѣ и крѣпко толкнулъ ее ногою. Калитка быстро отскочила и открыла передъ Розановымъ большой мокрый дворъ и сѣрый мрачный подъѣздъ, съ растворенными настежъ желтыми дверями.

Розановъ взошелъ на крыльцо, взглянулъ въ отворенную дверь нижняго этажа и остановился. Все тихо. Онъ опять подумалъ на мгновеніе и съ нарочитымъ стукомъ сталъ подниматься по лѣстницѣ.

Вверху лѣстницы была довольно широкая платформа, выстланная дурно отесанными плитами; одна узенькая дверь, выбѣленная мѣломъ, и другая, обитая войлокомъ и старою поспенною клеенкою.

Розановъ отворилъ дверь, обитую поспенною клеенкою.

Передъ нимъ открылась довольно большая и довольно темная передняя, выкрашенная сѣрою краскою. Прямо противъ входной двери виднѣлся длинный корридоръ, а влѣво была отворена дверь въ большую залу. Въ залѣ лежало нѣсколько огромныхъ узловъ, увязанныхъ въ простыни и ватныя одѣяла. На одномъ изъ оконъ этой комнаты сидѣли двѣ молодыя женщины, которыхъ Розановъ видѣлъ сквозь стекла съ улицы; обѣ онѣ курили папироски и болтали подъ платьями своими ногами; а третья женщина, тоже очень молодая, сидѣла въ углу на полу надъ тростниковою корзиною и намазывала масломъ ломоть хлѣба стоящему возлѣ нея пятилѣтнему мальчику въ изорванной бархатной поддевкѣ.

Сидѣвшія на окнѣ женщины, при появленіи Розанова въ открытой передъ ними передней, не сдѣлали ни малѣйшаго движенія и не сказали ни слова.

Розановъ бросилъ на каминъ передней свою непромокаемую шинель и тихо вошелъ въ залу.

— Извините, началъ онъ, обращаясь къ сидѣвшимъ на окнѣ дамамъ:—мнѣ сказали, что въ эту квартиру переѣзжаетъ одна моя знакомая и я хотѣлъ бы ее видѣть.

Дама, приготовлявшая бутербродъ для ребенка, молча оглянулась на Розанова, и сидящія на окнѣ особы женскаго пола тоже смотрѣли на него самымъ равнодушнымъ взглядомъ, но не сказали ни слова, давая этимъ чувствовать, что относящійся къ нимъ вопросъ недостаточно ясно формулированъ и въ такой редакціи не обязываетъ ихъ къ отвѣту.

— Я желалъ бы видѣть Лизавету Егоровну Бахареву,— пояснилъ, стоя въ прежнемъ положеніи, Розановъ.

— Пошлите сюда Бахареву, — крикнула въ сосѣднюю

дверь одна изъ сидящихъ на окнѣ дамъ и, стряхнувъ мизинцемъ пепелъ своей папироски, опять замолчала.

Розановъ молча отошелъ къ другому окну и сталъ смотрѣть на грязную улицу.

— Кто зоветъ Бахареву?—спросилъ новый голосъ.

Розановъ оглянулся и на порогѣ дверей залы увидѣлъ Бертольди. Она почти нимало не измѣнилась: тѣ же короткіе волосы, то же неряшество наряда, только развѣ въ глазахъ виднѣлось еще больше суетной самоувѣренности, довольства собою и сознанія достоинствъ окружающей ее среды.

— Здравствуйте, Бертольди,—произнесъ докторъ.

— Ахъ, Розановъ! вотъ встрѣча!

— Неожиданная?

— Да. Вы хотите видѣть Бахареву. Я скажу ей сейчасъ.

Бертольди повернулась и исчезла.

Розановъ видѣлъ, что Бертольди что-то какъ будто неловко, и, повернувшись опять къ окну, сталъ опять смотрѣть на улицу.

Черезъ двѣ минуты въ комнату вошла Лиза и сказала:

— Здравствуйте, Дмитрій Петровичъ!

Розановъ радостно сжалъ ея руки и ничего ей не отвѣтилъ.

— Какъ давно... начала было Лиза.

— Очень давно, Лизавета Егоровна,—подтвердилъ докторъ.

— Какъ это вы вспомнили...

— Я никогда не забывалъ,—отвѣчалъ Розановъ, снова сжавъ ея руки.

— Ну, пойдемте ко мнѣ, въ мою комнату; я нездорова и, кажется, совсѣмъ разболѣюсь съ этою перевозкою.

— Вы очень перемѣнились,—замѣтилъ Розановъ.

— Худѣю, старѣюсь?

— Не стану лгать,—и похудѣли, и постарѣли.

— Часто хвораю, отвѣчала спокойно Лиза и, еще разъ

позвавъ за собою Розанова, пошла впереди его черезъ переднюю по корридору.

Вдоль темнаго корридора Розановъ замѣтилъ нѣсколько дверей влѣво и, наконецъ, вошелъ за Лизою въ довольно большую комнату, окрашенную желтою краскою.

Въ этой комнатѣ стоялъ старенькій, вѣроятно, съ какого-нибудь чердачка снесенный столикъ, за которымъ, стоя, ѣли изъ деревянной чашки три прехорошенькія горничныя дѣвушки. Съ ними вмѣстѣ помѣщался на бѣлой деревянной табуреткѣ, обѣдалъ и, повидимому, очень ихъ смѣшилъ молодой человѣкъ въ коричневомъ, домашнемъ архалучкѣ.

Проходя мимо трапезующихъ, Розановъ взглянулъ на молодого господина и, остановясь, вскрикнулъ:

— Ба, Бѣлоярцевъ!

Бѣлоярцевъ положилъ на столъ ложку, медленно приподнялся, обтеръ усики и, направляясь къ Розанову, произнесъ съ достоинствомъ:

— Здравствуйте, Дмитрій Петровичъ.

— Какими вы судьбами здѣсь?

— И волей, и неволей, и своей охотой, батюшка Дмитрій Петровичъ, отвѣчалъ Бѣлоярцевъ шутя, но съ тѣмъ же достоинствомъ.—Вы къ Лизаветѣ Егоровнѣ идете?

— Да,—отвѣчалъ Розановъ.

— Ну, тамъ мы увидимся,—произнесъ онъ, пожимая руку Розанова.

Докторъ направился въ дверь, которою вышла Лиза.

Здѣсь опять ему представился новый коридоръ съ четырьмя дверями и въ одной изъ этихъ дверей его ожидала Лиза.

— Что это, Лизавета Егоровна?—недоумѣвая спросилъ шопотомъ Лизу Розановъ.

— Что?—переспросила его она.

— Какъ эта... тутъ что же?.. Ваша комната?

— Да, это моя комната: входите, Дмитрій Петровичъ.

— Вы тутъ какъ же? нанимаете, что ли?

— Да, нанимаю.

— Со столомъ?

— Да...

— Что вы такъ далеко забрались?

— Отъ чего же далеко?

— Ну, отъ города.

— А что мнѣ городъ?

— И дорого платите здѣсь?

— Нѣтъ, очень дешево. Мы наняли весь этотъ домъ за восемьсотъ рублей въ годъ.

— На что же вамъ весь домъ? — спросилъ съ удивленіемъ Розановъ.

— Жить, — отвѣчала ему, улыбаясь, Лиза.

— Да; но кто же вашъ хозяинъ?.. у кого вы здѣсь живете?

— Сами у себя. Что это васъ такъ удивляетъ?

— Да кто же у васъ хозяинъ?

— Ахъ, никто особенно не хозяинъ и, если хотите, всѣ хозяева. Будто ужъ безъ особеннаго антрепренера и жить нельзя!

— Лиза! — позвала, отворивъ дверь, Бертольди; — скажите не у васъ ли я оставила списокъ вопросовъ?

— Не знаю, — въ такомъ хаосѣ ничего не замѣтишь; поищите, — лѣниво проговорила, оглядываясь по комнатѣ, Лиза.

Бертольди впорхнула въ комнату и начала рыться на окнѣ.

— Ну, что, какъ вы нынче живете, mademoiselle Бертольди? — спросилъ ее Розановъ.

— Весьма хорошо, — отвѣчала она.

— Надъ чѣмъ работаете?

— Надъ собою.

— Почтенное занятіе.

— А вы давно въ Петербургѣ? — обратился Розановъ къ Лизѣ.

— Да вотъ уже третій годъ.

— Удивительное дѣло: никогда и не встрѣтились. Вы гдѣ же жили?

— Въ разныхъ сторонахъ, Дмитрій Петровичъ.

— Папа вашъ умеръ.

— Умеръ.

— Ну, а матушка, а сестра?

— Сестра вышла замужъ и, кажется, здѣсь теперь.

— А вы не видаетесь?

— Нѣтъ, не видаемся.

— За кого же вышла Софья Егоровна?

— За какого-то австрійскаго барона Альтерьона.

— Хорошій человѣкъ?

— Не видала я его.

— Ну, а мать Агнія?

— Тетка жива.

— И болѣе ничего о ней не знаете?

— Ничего не знаю.

— Кто эта такая, Лиза, мать Агнія? — спросила Бертольди.

— Сестра моего отца.

— Что она, монахиня?

— Да.

— Какихъ антиковъ у васъ нѣтъ въ родствѣ!

Лиза ничего не отвѣчала.

— Ну, а что же вы меня ни о чемъ не спросите, Лизавета Егоровна: я вѣдь вамъ о многомъ кое о чемъ могу разсказать.

— Въ самомъ дѣлѣ, какъ же вы живете?

— Да я не о себѣ; я служу.

— При университетѣ?

— Нѣтъ, при полиціи; mademeiselle Бертольди когда-то предсказала мнѣ сойтись съ полиціей, — судьба меня и свела съ нею.

— Что же вы такое при полиціи?

— Я полицейскій врачъ этой счастливой части.

— Вотъ какъ!

— Да, Лизавета Егоровна, — достигъ степеней извѣстныхъ.

— А вы знаете, что Полина Петровна и Евгенія Петровна съ мужемъ тоже здѣсь въ Петербургѣ?

— Нѣтъ, не знала, — равнодушно проговорила Лиза.

— Что это такое, Лизавета Егоровна? — произнесъ съ тихимъ упрекомъ Розановъ. — Я думалъ, что обрадую васъ, а вы...

— Я очень рада... Зачѣмъ же здѣсь Женни?

— Ея мужъ получилъ тутъ мѣсто очень видное.

— Вотъ какъ!—опять еще равнодушнѣе замѣтила Лиза.

— Да онъ пойдетъ. Они ужъ около мѣсяца здѣсь и тоже устраиваются. — Мы очень часто видимся, — добавилъ, помолчавъ, Розановъ.

— А что Полинька?

— Она живетъ.

— Съ вами? — неожиданно спросила Бертольди.

Розановъ сначала немножко покраснѣлъ, но тотчасъ же поправился и, разсмѣявшись, отвѣчалъ:

— Нѣтъ, не со мною. Я живу съ моей дочерью и ея нянькою, а Полина Петровна живетъ одна. Вы не знаете,— она вѣдь повивальная бабка.

— Полинька акушерка!

— Какъ же: у нея дѣла идутъ.

— Это не диковина, — вставила Бертольди.

— Ну, однако: не такъ-то легко устроиться въ этомъ омутѣ

— Если заботиться только о своей собственной особѣ, то вездѣ можно отлично устроиться.

Розановъ промолчалъ.

— Другое дѣло жить, преслѣдуя общее благо, да еще имѣя на каждомъ шагу скотовъ и пошляковъ, которые всему вредятъ и все портятъ...

Прежде чѣмъ Бертольди могла окончить дальнѣйшее развитіе своей мысли, въ дверь раздались два легкіе удара; Лиза крикнула: «войдите», и въ комнатѣ появился Бѣлоярцевъ.

Онъ вошелъ тихо, медленно опустился въ кресло и, взявъ съ окна гипсовую статуэтку Гарибальди, длиннымъ ногтемъ лѣваго мизинца началъ вычищать пыль, набившуюся въ углубляющихся мѣстахъ фигуры.

— У нея много практики?—равнодушно спросила Лиза.

— Есть: то есть я хотѣлъ сказать бываетъ; но у ней есть жалованье и квартира при заведеніи.

— Это у кого? — сквозь зубы спросилъ Бѣлоярцевъ.

— У Полиньки Калистратовой, отвѣтила Бертольди. — Вы знаете: Розановъ говоритъ, что она акушерка и отлично устроилась, а я говорю, что, заботясь только о самомъ себѣ, всякому очень легко устроиться. Права я?

— Разумѣется,—отвѣтилъ сквозь зубы Бѣлоярцевъ.

— Ну, а вы, Бѣлоярцевъ, что подѣлываете?

— Работаемъ, Дмитрій Петровичъ, работаемъ.

— Вы видѣли его послѣднюю работу? — спросила Бертольди, тряхнувъ кудрями.

— Не видѣли?

— Не видѣлъ.

— И ничего о ней не знаете?

— Не знаю.

— Ничего не знаете объ «отцѣ семейства»?

— Не знаю же, не знаю.

Бертольди захохотала.

— Что это за работа? — спросилъ Розановъ.

— Такъ себѣ, картинка, отвѣчалъ Бѣлоярцевъ:—«Отецъ семейства» да и только.

— Посмотрите, такъ и поймете, что и искусство можетъ служить не для одного искусства, наставительно проговорила Бертольди: — голодныя дѣти и зеленая жена въ лохмотьяхъ повернутъ ваши понятія о семейномъ бытѣ. Глядя на нихъ поймете, что семья есть безобразнѣйшая форма того, что дураки называютъ цивилизаціею.

— Ну, это еще вопросъ, mademoiselle Бертольди.

— Вопросъ-съ, только вопросъ давно рѣшенный отрицательно.

— Кѣмъ же это онъ такъ ясно рѣшенъ?

— Свѣтлыми и честными людьми.

— Отчего же это рѣшеніе не всѣмъ ясно?

— Оттого, что человѣчество подло и глупо. Отрѣшитесь отъ своихъ предразсудковъ и вы увидите, что семья только вредна.

— То-то я съ этимъ вотъ не согласенъ.

— Нѣтъ, это такъ, примирительно замѣтилъ Бѣлоярцевъ.—Что семья—учрежденіе безнравственное, объ этомъ спорить нельзя.

— Отчего же нельзя? Неужто вы находите, что и взаимная любовь, и отцовская забота о семьѣ, и материнскія попеченія о дѣтяхъ безнравственны?

— Конечно,—горячо замѣтила Бертольди.

— Все это удаляетъ человѣка отъ общества и портитъ его натуру,—по-прежнему безстрастнымъ тономъ произнесъ Бѣлоярцевъ.

— Даже портитъ натуру!—воскликнулъ Розановъ.

— Да,—разслабляетъ ее, извращаетъ.

— Боже мой! Я не узнаю васъ, Бѣлоярцевъ. Вы, человѣкъ, жившій въ области чистаго художества, говорите такія вещи!

— Неужто вашему сердцу ничего не говоритъ мать, забывающая себя надъ колыбелью больного ребенка.

— Фю, фю, фю, какая идиллія,—произнесла Бертольди.

— Дѣло въ томъ-съ, Дмитрій Петровичъ, что какая же польза отъ этого материнскаго сидѣнья? По-моему въ тысячу разъ лучше, если надъ этимъ ребенкомъ сядетъ не мать съ своею сантиментальною нѣжностью, а простая, опытная сидѣлка, умѣющая ходить за больными.

— Еще бы!—воскликнула Бертольди.

— И материнскія слезы, и материнскія нѣжности по-вашему, что-жъ: тоже...

— Слезы—глупость, а нѣжности—разнузданное сладострастіе. Мать, цѣлуя своего ребенка, только удовлетворяетъ въ извѣстной мѣрѣ своимъ чувственнымъ стремленіямъ.

Розановъ ничего не нашелся отвѣчать. Онъ только обвелъ глазами маленькое общество и остановилъ ихъ на Лизѣ, которая сидѣла молча и, повидимому, весьма спокойно.

— Мать, цѣлуя своего ребенка, удовлетворяетъ своей чувственности! — повторилъ Розановъ и спросилъ:—какъ вы думаете объ этомъ, Лизавета Егоровна?

— Это вамъ сказалъ Бѣлоярцевъ, а не я,—спокойно отвѣчала Лиза, не измѣняя своего положенія и не поднимая даже глазъ на Розанова.

— И это вамъ скажетъ всякій умный человѣкъ, понимающій жизнь, какъ ее слѣдуетъ понимать, проговорила Бертольди:—отъ того, что матери станутъ лизать своихъ дѣтей, дѣти не будутъ ни умнѣе, ни красивѣе.

— Тутъ все дѣло въ узкости. Надо, чтобъ не было узкихъ заботъ только о себѣ или только о тѣхъ, кого сама родила. Наши силы—достояніе общественное, и терпѣться должно только то, что полезно, опять поучалъ Бѣлоярцевъ:—задача въ томъ, чтобъ всѣмъ равно было хорошо, а не въ томъ, чтобы нѣкоторымъ было отлично.

— Высокая задача!

— И легкая.

— Но едва ли достижимая.

— Ну, вотъ мы посмотримъ!—весело и многозначительно крикнула Бертольди.

Бѣлоярцевъ и Лиза не сдѣлали никакого движенія, а Розановъ, продолжая свою мысль, добавилъ:

— Трудно есть противъ рожна прати. Человѣчество живетъ приговаривая: мнѣ своя рубашка ближе къ тѣлу, такъ что-жъ тутъ толковать.

— Не толковать, monsieur Розановъ, а дѣлать. Вы говорите о человѣчествѣ, о дикой толпѣ, а забываете, что въ ней есть люди и люди эти будутъ дѣлать.

— То-то, гдѣ эти люди: не московскій ли Бычковъ, не здѣшній ли Красинъ?

— Да, да, да, и Бычковъ, и Красинъ, и я, и она, высчитывала Бертольди, показывая на себя, на Лизу и на

Бѣлоярцева,—и тамъ вонъ еще есть люди,—добавила она, махнувъ рукой въ сторону залы.

— Ну, слава Богу, что собралось вмѣстѣ столько хорошихъ людей, — отвѣчалъ, удерживаясь отъ улыбки, Розановъ,—но вѣдь это одинъ домъ.

— Да, одинъ домъ и именно *домъ*, а не семейная тюрьма. Этотъ одинъ домъ покажетъ, что нѣтъ нужды глодать свою плоть, что сильный и безсильный должны одинаково до-сыта наѣсться и вдоволь выспаться. Это домъ... это... дѣдушка осмысленнаго русскаго быта, это домъ... какими должны быть и какими непремѣнно будутъ всѣ дома въ мірѣ: здѣсь всѣ равны, всѣ понесутъ поровну и никто судьбой не будетъ обиженъ.

— Давай Богъ, давай Богъ!—произнесъ Розановъ полусерьезно, полушутливо и обернулся къ двери, за которою послышалось шлепанье мокрыхъ башмаковъ и старческій кашель Абрамовны.

Старуха вошла молча съ тѣмъ же узлочкомъ, съ которымъ Розановъ ее увидѣлъ на улицѣ и молча зашлепала къ окну, на которое и положила свой узелокъ.

— Что ты, няня, устала?—спросила ее, не оборачиваясь, Лиза.

— Гдѣ, сударыня, устать: всего верстъ десять прошла, да часа три по колѣни въ грязи простояла. Съ чего-жъ тутъ устать? дождичекъ Божій, а косточки молодыя, — помылъ,—хорошо.

— Хотите водочки, няня?—отозвался Бѣлоярцевъ.

— Нѣтъ, покорно благодарю, батюшка, — отвѣчала старуха, развязывая платокъ.

— Выпейте немножко.

— Съ роду моего его не пила и пить не стану.

— Да чудная вы: съ холоду.

— Ни съ холоду, сударь, ни съ голоду.

— Для здоровья.

— Какое отъ дряни здоровье.

— Простудитесь.

— Простужусь—выздоровѣю, умру—жалѣть некому.

Лиза поморщилась и прошептала:

— Ахъ, какъ это несносно!

Розановъ всталъ и, протягивая руку Лизѣ, сказалъ:

— Ну, однако, у меня дѣло есть; прощайте, Лизавета Егоровна.

— Прощайте,—отвѣчала ему Лиза:—простите, что я не пойду васъ проводить: совсѣмъ разнемогаюсь.

— Крѣпитесь; а я, если позволите, заверну къ вамъ: я вѣдь про всякій случай все-таки еще врачъ.

Лиза поблагодарила Розанова.

— Ну, а что прикажете сказать Евгеніи Петровнѣ? — спросилъ онъ.

— Ахъ, пожалуйста, поклонитесь ей—отвѣчала неловко Лиза.

Розанову тоже стало такъ неловко, что онъ, какъ бы растерявшись, простился со всѣми и торопливо пошелъ за двери.

— Другъ ты мой дорогой! что ты это сказалъ? — задыхаясь спросилъ его въ темномъ корридорѣ дрожащій голосъ Абрамовны и старуха схватила его за руку. — Мнѣ словно послышалось, какъ ты будто про Евгенію Петровну вспомнилъ.

— Да, да: здѣсь она, няня, здѣсь!

— Какъ здѣсь, что ты это шутишь!

— Нѣтъ, право, пріѣхали они сюда и съ мужемъ, и съ дѣтьми.

— И съ дѣтьми!

— Двое.

— Красотка ты моя! и дѣти у ней ужъ есть! Гдѣ жъ она? Стой, ну, на минутку, я тебѣ сейчасъ карандашъ дамъ, адресъ мнѣ напиши.

Когда Розановъ писалъ адресъ Вязмитиновой, няня, увлекаясь, говорила:

— Пойду, пойду къ ней. Ты ей только не сказывай

обо мнѣ, я такъ изъ пзнависти къ ней хочу. Чай безпримѣнно мнѣ обрадуется.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Гражданская семья и генералъ безъ чина.

Послѣ выхода Розанова изъ Лизиной комнаты, общество сидѣло молча нѣсколько минутъ; наконецъ Бѣлоярцевъ поставилъ на окно статуэтку Гарибальди и, потянувъ носомъ, сказалъ:

— Оказывается, что въ нынѣшнемъ собраніи мы не можемъ ограничиться рѣшеніемъ однихъ общихъ вопросовъ.

Бертольди отошла отъ окна и стала противъ его стула.

— Представляются новые вопросы, которые требуютъ экстреннаго рѣшенія.

Бертольди, тряхнувъ головою, пошла скорыми шагами къ двери и по корридору раздался ея звонкій голосокъ:

— Ступина! Петрова! Жимжикова! Каверина! Прорвичъ!—кричала она направляясь къ залѣ.

Бѣлоярцевъ всталъ и тоже вслѣдъ за Бертольди вышелъ изъ Лизиной комнаты.

Лиза оставалась неподвижною одна-одиношенька въ своей комнатѣ. Мертвая апатія, недовольство собою и всѣмъ окружающимъ, съ усиліемъ подавлять все это внутри себя, рѣзко выражались на ея болѣзненномъ личикѣ. Немного нужно было имѣть проницательности, чтобы, глядя на нее теперь, сразу видѣть, что она во многомъ обидно разочарована и ведетъ свою странную жизнь только потому, что твердо рѣшилась не отставать отъ своихъ намѣреній — до послѣдней возможности содѣйствовать попыткѣ избавиться отъ семейнаго деспотизма.

Лиза, давно отбившаяся отъ семьи и отъ прѣжняго общества, сдѣлала изъ себя многое для практики того соціальнаго ученія, въ которомъ она искала исхода изъ лабиринта сложныхъ жизненныхъ условій, такъ или иначе спутавшахъ

ея вольную натуру съ перваго шага въ свѣтъ и сдѣлавшихъ для нея эту жизнь невыносимою.

Лиза давно стала очень молчалива, давно заставляла себя стерпливать и сносить многое, чего бы она не стерпѣла прежде ни для кого и ни для чего. Своему идолу она приносила въ жертву всѣ свои страсти и, разочаровываясь въ искренности жрецовъ, раздѣлявшихъ съ нею одно кастовое служеніе, даже лгала себѣ, стараясь по возможности оправдывать ихъ и въ то же время не дать повода къ первому ренегатству.

Лиза съ самаго пріѣзда въ Петербургъ поселилась съ Бертольди на небольшой квартиркѣ. Ихъ скоро со всѣхъ сторонъ обложили *люди дѣла*. Это была самая разнокалиберная орава. Тутъ встрѣчались молодые журналисты, подрукавные литераторы, артисты, студенты и даже два приказчика.

Женская половина этого кружка была тоже не менѣе пестраго состава: жены, отлучившіяся отъ мужей; дѣвицы, бѣжавшія отъ семействъ; дѣвицы, полюбившія всѣми сердцами людей, не имѣвшихъ никакого сердца и оставившихъ имъ живые залоги своихъ увлеченій, и tutti quanti въ этомъ родѣ.

Все это были особы того умственнаго пролетаріата, о судьбѣ котораго недавно перепугались у насъ нѣкоторые умные люди, прочитавшіе печальныя разсужденія и выводы Риля. Изъ всѣхъ этихъ пролетаріевъ Лиза была самый богатый человѣкъ.

Егоръ Николаевичъ Бахаревъ, скончавшись на третій день послѣ отъѣзда Лизы изъ Москвы, хотя и не сдѣлалъ никакого основательнаго распоряженія въ пользу Лизы, но, оставивъ все состояніе во власть жены, онъ, однако, успѣлъ сунуть Абрамовнѣ восемьсотъ рублей, съ которыми старуха должна была ѣхать разыскивать бунтующуюся бѣглянку, а жену въ самыя послѣднія минуты неожиданно прерванной жизни клятвенно обязалъ давать Лизѣ до ея выдѣла въ годъ по тысячѣ рублей, гдѣ бы она ни жила и даже какъ

бы ни вела себя. Лиза и жила постоянно съ этими средствами съ той самой поры, какъ старуха Абрамовна, схоронивъ старика Бахарева, отыскала ее въ Петербургѣ. Другіе изъ *людей дѣла* вовсе не имѣли никакихъ опредѣленныхъ средствъ и жили непонятнымъ образомъ, паразитами на счетъ имущихъ, а имущіе тоже были не Богъ вѣсть какъ сильны и притомъ же вели дѣла свои въ послѣдней степени безалаберно. Здѣсь не было замѣтно особенной хлопотливости о мѣстахъ, которая можетъ служить врядъ ли не самою характерною чертою петербургскаго умственнаго пролетаріата. Напротивъ, здѣсь преобладала полная беззаботливость о себѣ и равносильное равнодушіе къ имущественнымъ сбереженіямъ ближняго. Жизнь не только не исчезла въ заботахъ о хлѣбѣ, но самые недостатки и лишенія почитались необходимыми украшеніями жизни. Неимущій считалъ себя въ правѣ пожить на счетъ имущаго и это все не изъ одолженія, не изъ-за содѣйствія, *а по принципу*, «по гражданской обязанности». Такимъ образомъ на долю каждаго болѣе или менѣе работающаго человѣка приходилось, по крайней мѣрѣ, по одному человѣку ничего не работающему, но постоянно собирающемуся работать. Лиза хотя и не жила своими трудами, но, какъ имущая, содержала Бертольди и снабжала чѣмъ могла кое-кого изъ прочей компаніи. Абрамовна жила постоянно съ Лизой и постоянно старчески раздражала ее, возставая противъ непривычныхъ для нея порядковъ. Здравый умъ диктовалъ старухѣ ея горячія рѣчи противъ этихъ людей, ихъ образа жизни, взаимныхъ отношеній другъ къ другу. Не смотря на видную простоту и безыскусственность этихъ отношеній, они сильно не нравились старухѣ, и она съ ожесточеніемъ смотрѣла на связь Лизы съ людьми, изъ которыхъ, по мнѣнію Абрамовны, одни были простяки и подаруи, а другіе—дармоѣды и объѣдалы. Къ разряду простодушныхъ у нея относились ея собственная Лиза, одна изъ ея новыхъ сверстницъ, безмужняя жена Анна Львовна Ступина и Райнеръ. Послѣдній съ полгода опять

появился на петербургскомъ горизонтѣ. Симпатіи молодого соціалиста крѣпко гнули его къ Россіи и нимало не ослабѣли послѣ минованія угасшаго политическаго раздраженія: Райнеръ, владѣвшій прекрасно почти всѣми европейскими языками, нашелъ себѣ здѣсь очень хорошую работу при одномъ изъ ученыхъ учрежденій и не могъ отбиться отъ весьма выгодныхъ уроковъ въ частныхъ домахъ.

Вскорѣ по пріѣздѣ его въ Петербургъ, онъ встрѣтился случайно съ Лизой, сталъ навѣщать ее вечерами, перезнакомился со всѣмъ кружкомъ, къ которому судьба примкнула Бахареву, и самъ сдѣлался однимъ изъ самыхъ горячихъ членовъ этого кружка. Нѣсколько наглая безцеремонность отношеній многихъ изъ этихъ господъ и ихъ образъ жизни рѣзко били по чувствительнымъ струнамъ Райнерова сердца, но за то постоянно высказываемое ими презрѣніе къ формамъ стараго общежитія, ихъ равнодушіе къ карьерамъ и небреженіе о кошелькахъ заставляли Райнера примиряться со всѣмъ, что его въ нихъ возмущало.

«Это и есть тѣ полудикіе, но не повихнутые цивилизаціею люди, съ которыми должно начинать дѣло»,—подумалъ Райнеръ, и съ тѣхъ поръ всю нравственную нечисть этихъ людей сталъ разсматривать какъ остатки дикости свободолюбивыхъ, широкихъ натуръ.

Проявленія этой дикости нерѣдко возмущали Райнера, но за то они никогда не приводили его въ отчаяніе, какъ англійскіе мокассары, разсужденія нѣмцевъ о національномъ превосходствѣ или французскихъ буржуа о слабости существующихъ полицейскихъ законовъ. Словомъ, эти натуры болѣе отвѣчали пламеннымъ симпатіямъ энтузіаста и, какъ мы увидимъ, онъ долго всѣми неправдами старался отыскивать въ ихъ широкомъ размахѣ силу для водворенія въ жизни тѣмъ или другимъ путемъ новыхъ соціальныхъ положеній.

Въ отношеніяхъ Райнера къ этимъ людямъ было много солидарнаго съ отношеніями къ нимъ Лизы.

Райнеръ получалъ очень хорошія деньги. Свою ферму въ Швейцаріи онъ сдалъ бѣднымъ работникамъ на самыхъ невыгодныхъ для себя условіяхъ, но онъ личнымъ трудомъ зарабатывалъ въ Петербургѣ болѣе трехсотъ рублей серебромъ въ мѣсяцъ. Это давало ему средство занимать въ одной изъ лучшихъ улицъ города очень просторную квартиру, представлявшую съ своей стороны полную возможность помѣститься въ ней часто измѣняющемуся, но всегда весьма немалому числу широкихъ натуръ, состоявшихъ не у дѣлъ.

Таковые порядки вскорѣ не замедлили заявить свои нѣкоторыя неудобныя стороны.

Разговоры о неестественности существующаго распредѣленія труда и капитала, какъ и разсужденія о вредѣ семейнаго начала, начинали прискучивать: всѣ давно были между собою согласны въ этихъ вопросахъ. Многимъ чувствовалась потребность новыхъ темъ, а нѣкоторымъ еще крѣпче чувствовалась потребность перейти отъ толковъ къ дѣлу.

У однихъ эта потребность вытекала изъ горячаго желанія основать образцовую общину на безкорыстныхъ началахъ. Такихъ было немного и къ числу ихъ принадлежали: Лиза, Райнеръ, Ступина и Каверина. Другимъ просто хотѣлось суетиться; третьимъ, полагаю, хотѣлось и суетиться, и половчѣе уйти отъ безцеремонныхъ прижи-вальщиковъ, заставивъ и ихъ что нибудь да дѣлать, или, по крайней мѣрѣ, не лежать всею тяжестію на одной чужой шеѣ. Ко всему же этому всѣ уже чувствовали необходимость переходить отъ словъ къ дѣлу, ибо иначе духовный союзъ угрожалъ рушиться за недостаткомъ матеріальныхъ средствъ.

При такихъ обстоятельствахъ со стороны давно извѣстнаго намъ художника Бѣлоярцева послѣдовало заявленіе о возможности прекраснаго выхода изъ тѣснаго положенія гражданъ путемъ еще большаго ихъ сближенія и отожествленія ихъ частныхъ интересовъ въ интересѣ общемъ.

Въ послѣдніе два года, когда они перенесли свои силы и раздраженіе на общество и въ его симпатіяхъ и антипатіяхъ открыли своего настоящаго, давно искомаго врага, духъ противорѣчія обществу во всемъ сдѣлался главнымъ направленіемъ этихъ силъ. Но какъ противорѣчія эти никого не обязывали ни къ какимъ рискованнымъ предпріятіямъ, а между тѣмъ представляли извѣстную возможность *дѣйствовать* внѣ обыденной сферы и выдѣляться изъ общественной среды, то кружки недовольныхъ и протестующихъ составлялись необыкновенно быстро и легко.—Въ составъ этихъ кружковъ попадали и Фальстафы, непобѣждаемые въ крикѣ и «воины смирные средь мечей». Даже не только они попадали въ эти кружки, но нерѣдко становились во главѣ ихъ и дѣлались ихъ генералами.

Это было такое безхитростное время, въ которое изолировавшійся кружокъ, толковавшій объ общественныхъ реформахъ, не видалъ ничего у себя подъ носомъ и легко подчинялся каждому, кто бы захотѣлъ подумать и, изловчившись, покрѣпче схватить его за носъ.

Такимъ положеніемъ лучше всѣхъ успѣлъ воспользоваться нашъ почитатель отвлеченнаго искусства Бѣлоярцевъ. Онъ также уже давненько переселился въ Петербургъ и фланируя надумался нѣсколько измѣнить свое служеніе искусству для искусства. Онъ понялъ счастливый оборотъ дѣлъ, при которомъ, служа только себѣ и ровно ничѣмъ не рискуя, можно было создать себѣ же самому амплуа нѣсколько повліятельнѣе, и пожелалъ этимъ воспользоваться. Для перваго дебюта онъ написалъ картинку «Отецъ семейства», о которой такъ эфектно объявляла Бертольди и которая, недуманно-негаданно для самого Бѣлоярцева, сразу дала ему въ своемъ кружкѣ имя великаго *гражданскаго художника*. Бѣлоярцевъ пріосанился, въ самомъ дѣлѣ сталъ показывать себя гражданиномъ, надвинулъ брови и началъ вздыхать гражданскими вздохами.

Продолжая фланировать въ новой маскѣ, онъ внимательно прислушивался къ частымъ жалобамъ недовольныхъ

порочными наклонностями общества, болѣлъ передъ ними гражданскою болѣзнью и сносилъ свои скорби къ Райнеру, у котораго, тотчасъ же послѣ его пріѣзда въ Петербургъ, водворилась на жительствѣ цѣлая импровизованная семья. По диванамъ и козеткамъ довольно обширной квартиры Райнера разселились: 1) студентъ Лукьянъ Прорвичъ, молодой человѣкъ, недовольный университетскими порядками и желавшій утвержденія въ обществѣ коммунистическихъ началъ, безбрачія и вообще *естественной* жизни; 2) Неофитъ Кусицынъ, студентъ, окончившій курсъ, — маленькій, востроглазенькій, гнусливый человѣкъ, лишенный средствъ совладать съ своимъ самолюбіемъ, также поставившій себѣ обязанностью написать свое имя въ ряду первыхъ поборниковъ *естественной* жизни; 3) Ѳеофанъ Котырло, то, что поляки характеристично называютъ wielke nic,—человѣкъ, не умѣющій ничего понимать иначе, какъ понимаетъ Кусицынъ, а впрочемъ, тоже коммунистъ и естественникъ; 4) лѣкарь Сулима, человѣкъ безъ занятій и безъ опредѣленнаго направленія, но съ непреодолимымъ влеченіемъ къ бездѣйствію и покою; лицомъ черенъ, глаза словно двѣ маслины; 5) Никонъ Ревякинъ, уволенный изъ духовнаго вѣдомства иподіаконъ, умѣющій вездѣ пристроиваться на чужой счетъ и почитаемый неповрежденнымъ типомъ широкой русской натуры. Искателенъ и не прочь дѣйствовать исподтишка противъ лучшаго изъ своихъ благодѣтелей; 6) Емельянъ Бочаровъ, толстый, бѣлокурый студентъ, способный на все и ничего не дѣлающій, изъ всѣхъ его способностей болѣе другихъ разрабатывается имъ способность противорѣчить себѣ на каждомъ шагу и не считаться деньгами, и 7) Авдотья Григорьевна Быстрова, двадцати-лѣтняя дѣвица, не знающая, что ей дѣлать, но полная презрѣнія къ обыкновенному труду.

Шесть объѣдалъ Райнера, принадлежавшіе къ мужскому полу, какъ выше сказано, размѣщались по диванамъ его квартиры, а Авдотьѣ Григорьевнѣ Быстровой Райнеръ уступилъ свою послѣдюю комнату, а самъ съ тѣхъ поръ по-

мѣщался на коврѣ между диванами, занятыми Кусицынымъ и Ревякинымъ.

Кромѣ этихъ лицъ, въ квартирѣ Райнера жила кухарка Афимья, московская баба, весьма добрая и безалаберная, но усердная и искренно преданная Райнеру. Афимья, съ тѣхъ поръ какъ поступила сюда въ должность кухарки, еще ни разу не упражнялась въ кулинарномъ искусствѣ и пребывала въ нескончаемыхъ посылкахъ у приживальщиковъ.

Несмотря на собственную безалаберность, Афимья презрительно относилась къ такой жизни и говорила:

— Такъ ужъ мы тутъ живемъ, такъ живемъ, что всѣмъ намъ пропасть надо, да и давно слѣдуетъ. Ни порядку у насъ, ни распорядку—живемъ, какъ испорченые.

Райнера Афимья любила, но считала его ребенкомъ.

— Маломысленный совсѣмъ баринъ, говорила она, разсказывая о его пропадающихъ вещахъ и деньгахъ.—А это, вотъ это оравище-то,—это самые, что есть черти. Жулики настоящіе: такъ бы вотъ и взяла бы лопату, да — вонъ! кышь, дрянь вы этакая.

Изъ всѣхъ объѣдалъ одинъ Бѣлоярцевъ умѣлъ снискать расположеніе Афимьи, ибо онъ умѣлъ съ нею разговориться по-любезному и на глаза ей не лѣзъ, счастливый около Райнера чистымъ метальцемъ, такъ что Афимья объ этомъ не знала и не вѣдала.

Въ этомъ кодлѣ Бѣлоярцевъ былъ постояннымъ гостемъ. Сюда онъ приносилъ свои первыя гражданскія воздыханія и здѣсь же воспитывалъ въ себѣ гражданскую болячку.

За исключеніемъ Райнера, здѣсь никто ничего не дѣлалъ и толковать всегда было съ кѣмъ вволю.

Райнеръ, рано утромъ, выпивъ наскоро стаканъ молока, убѣгалъ на свои уроки, а въ квартирѣ его только около полудня начиналось вставанье, или, правильнѣе, просыпанье и питье чая. Самоваръ ставился за самоваромъ, по мѣрѣ того, какъ одинъ приживальщикъ продиралъ за другимъ свои глаза. Цѣлые дни шла безконечная сутолка и

неумолчныя рѣчи о томъ, при какихъ мѣрахъ возможно достиженіе общей гармоніи житейскихъ отношеній? Обыкновенно выходило, что надо непремѣнно жить совсѣмъ иначе. Это ужъ такъ велось и прилаживалось. Прямымъ послѣдствіемъ такихъ рѣчей явилась мысль зажить *на новыхъ началахъ*; создать вмѣсто вредной, родовой семьи, семью разумную, соединяемую не родствомъ, а единствомъ интересовъ и стремленій, и такимъ образомъ защитить каждаго общими силами отъ недостатковъ, притѣсненій и напастей. Словомъ, рѣшено было основать тотъ «общественный домъ», въ которомъ Розановъ встрѣтилъ Лизу въ началѣ третьей книги этого романа.

Бѣлоярцевъ такъ часто толковалъ объ этомъ «*домѣ*», такъ красно и горячо увлекалъ всѣхъ близкихъ къ своему кружку людей описаніемъ всѣхъ прелестей общежительства, что, по мѣрѣ того, какъ эта мысль распространялась, никто не умѣлъ ни понять, ни выразить ее отдѣльно отъ имени Бѣлоярцева. Бѣлоярцевъ, развлекаясь сладкими разговорами о сладкомъ житьѣ гражданской семьи, и самъ не замѣтилъ, какъ это дѣло подвигалось къ осуществленію и какъ самъ онъ попадалъ въ генералы зачинающагося братства. Нѣсколько мужчинъ и нѣсколько женщинъ (въ числѣ послѣднихъ и Лиза Бахарева) рѣшились сойтись жить вмѣстѣ, распредѣливъ между собою обязанности хозяйственныя и соединивши усилія на добываніе работъ и составленіе общественной кассы, при которой станетъ возможно достиженіе высшей цѣли братства: *огражденіе работающаго пролетаріата отъ произвола, обидъ и насилій тучнѣющаго капитала и разубѣжденіе слѣпотствующаго общества живымъ примѣромъ въ возможности правильной организаціи труда, безъ антрепренеровъ-капиталистовъ.*

Случай помогъ скоро осуществиться этой великой мысли.

Въ числѣ разнородныхъ лицъ, посѣщавшихъ открытую для всѣхъ квартиру Райнера, былъ молодой человѣкъ, Грабилинъ, сынъ одного изъ извѣстныхъ золотопромышленниковъ.

Грабилинъ, воспитанный въ модномъ пансіонѣ, гнушался торговыми занятіями и, гоняясь за репутаціею современнаго молодого человѣка, очень дорожилъ знакомствомъ такихъ либераловъ, какіе собирались у Райнера.

Отношенія Грабилина къ Бѣлоярцеву какъ нельзя болѣе напоминали собою отношенія подобныхъ Грабилину личностей въ уѣздныхъ городахъ къ соборному дьякону, въ губернскихъ къ регенту архіерейскаго дома, а въ столицахъ— къ пѣвцамъ и актерамъ. Грабилинъ съ благопокорностью переносилъ отъ Бѣлоярцева самыя оскорбительныя насмѣшки, улыбался прежде, чѣмъ тотъ собирался что-нибудь сказать, поилъ его шампанскимъ и каталъ въ своей колескѣ.

У этого-то Грабилина Бѣлоярцевъ и предложилъ взять взаймы двѣ тысячи рублей серебромъ подъ общею другъ за друга порукою въ уплатѣ. Грабилинъ, дорожа знакомствомъ столь высокаго въ его мнѣніи либеральнаго кружка, не посмѣлъ отказать Бѣлоярцеву въ его просьбѣ и такимъ образомъ, посредствомъ этого займа, образовался первый общественный фондъ, поступившій тоже въ руки Бѣлоярцева.

Бѣлоярцевъ пріобрѣталъ все болѣе силы и значенія. Получивъ въ свои руки деньги, онъ вдругъ развернулся и сталъ распоряжаться энергически и самостоятельно. Онъ объѣздилъ городъ, осмотрѣлъ множество домовъ и, наконецъ, въ одинъ прекрасный день объявилъ, что имъ нанято прекрасное и во всѣхъ отношеніяхъ удобное помѣщеніе. Это и былъ тотъ самый изолированный домъ на Петербургской сторонѣ, въ которомъ мы встрѣтили Лизу.

Произвольный выборъ этого дома былъ очень неловкимъ поступкомъ со стороны Бѣлоярцева. Домъ былъ осмотрѣнъ всѣми, собирающимися на новое жительство, и большинство было довольно его устройствомъ, хотя многіе и находили, что дальность разстоянія его отъ людныхъ мѣстъ города имѣетъ много неудобствъ.

Бѣлоярцеву, однако, не трудно было успокоить эти неудовольствія.

— Здѣсь далеко, да смѣло, отвѣчалъ онъ.—Я удивляюсь, какъ вы, господа, не хотите сообразить, что мы только и безопасны, живя въ такой мѣстности, гдѣ за нами неудобно слѣдить и мѣшать намъ.

Труднѣе гораздо ему было сладить съ другимъ нападеніемъ.

Лиза замѣтила, что все это прекрасно, что со всѣмъ можно помириться, но что она удивляется, какимъ образомъ Бѣлоярцевъ могъ позволить себѣ сдѣлать выборъ квартиры, не получивъ на этотъ выборъ предварительно общаго согласія всей собирающейся семьи. Бѣлоярцевъ смѣшался, убѣждалъ Лизу, что въ этомъ съ его стороны нѣтъ никакого самовластія, что онъ просто дорожилъ случаемъ не упустить удобной квартиры и проч. Лиза находила, что все это не резонъ, что это опять смахиваетъ на родительскую опеку, о которой Бѣлоярцева никто не просилъ, и что онъ во всякомъ случаѣ нарушилъ общественное равноправіе на первомъ шагу.

Новые семьяне старались убѣдить Лизу, что это пустяки, вздоръ, на которые не стоитъ обращать такъ много вниманія, но она оставалась при своемъ мнѣніи и утверждала, что Бѣлоярцевъ былъ не въ правѣ такъ распоряжаться.

Это былъ первый ударъ, полученный Бѣлоярцевымъ въ его генеральскомъ чинѣ, и онъ его очень затруднялъ. Бѣлоярцеву хотѣлось выйти съ достоинствомъ изъ этого спора и скорѣе затушевать его. Онъ подошелъ къ Лизѣ и сказалъ:

— Ну, прекрасно, Лизавета Егоровна, ну, если я, дѣйствительно, по вашему мнѣнію, поступилъ опрометчиво,— простите меня, каюсь, только перестанемте объ этомъ говорить.

Бѣлоярцевъ мало зналъ Лизу и не понималъ, какой новый и довольно рѣшительный ударъ онъ наносилъ своему генеральству, прося у нея извиненія.

Онъ понялъ свой промахъ только тогда, когда Лиза вмѣсто того, чтобы пожать протянутую ей Бѣлоярцевымъ въ знакъ примиренія руку, холодно отвѣтила:

— Вы не меня обидѣли, а всѣхъ, и я не имѣю права извинять вамъ вашего самовольничанья.

Всѣ, однако, были гораздо снисходительнѣе къ Бѣлоярцеву. Дѣло это замялось, и въ тотъ ненастный день, когда мы встрѣчаемъ Розанова въ глухомъ переулкѣ, начался переѣздъ въ общественный домъ, который положено было впередъ называть «*Domus concordiae*» (*Домомъ Согласія*).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Вопросы дня.

Въ большой, довольно темной и еще совсѣмъ неубранной залѣ «*Дома Согласія*», сохранявшей всѣ слѣды утренняго переѣзда, въ восемь часовъ вечера кипѣлъ на кругломъ столѣ самоваръ, за которымъ сидѣли новыя семьянки: Ступина, Каверина, Жимжинова, Бертольди и Лиза. Бертольди наливала чай, Каверина шила дѣтскую рубашечку, Лиза внимательно читала, пошевеливая свои волосы костянымъ книжнымъ ножикомъ. Бѣлоярцевъ въ архалучкѣ ходилъ вдоль стѣны, держа подъ руку маленькаго, черненькаго Прорвича, нѣкогда встрѣтившаго Лизу въ гостинницѣ «Италія» (Прорвичъ былъ пока единственное лицо, принятое сюда изъ Райнеровской богадѣльни).

— Этого жизнь не можетъ доказать, толковалъ Бѣлоярцевъ вполголоса и съ важностью Прорвичу. — Вообще цѣлое это положеніе есть глупость и притомъ глупость, сочиненная во вредъ намъ. Спорьте смѣло, что если теорія вѣрна, то она оправдается. Что такое теорія?—Ноты. Отчего же не пѣть по нотáмъ, если умѣешь?

У дамъ шелъ довольно оживленный разговоръ, въ которомъ не принимала участія только одна Лиза, не покидавшая своей книги, но у нихъ не было общаго согласія.

— Бѣлоярцевъ!—позвала Бертольди,—разрѣшите, пожалуйста, нашъ споръ.

Бѣлоярцевъ остановился у стола и выпустилъ руку Прорвича.

— Есть смыслъ въ томъ, чтобы мужчина отворялъ мнѣ двери?

— Куда?—спросилъ Бѣлоярцевъ.

— Куда? ну, куда-нибудь? Если я иду съ вами рядомъ подхожу къ двери,—разумно ли, чтобы вы ее передо мною растворяли, какъ будто у меня своихъ рукъ нѣтъ?

Бѣлоярцевъ затянулся папироской.

— Это меня унижаетъ, какъ женщину; какъ человѣка, меня унижаетъ; напоминаетъ мнѣ о какой-то моей конфектности,—чекотала Бертольди.

— Да, ничтожныя услуги въ этомъ родѣ вредны,—проговорилъ Бѣлоярцевъ.

— Ну, не правда ли!—подхватила Бертольди;—вѣдь это все лицемѣріе, пошлость и ничего болѣе. Ступина говоритъ, что это пустяки, что это такъ принято: тѣмъ-то и гадко, что принято. Они подаютъ бурнусы, поднимаютъ съ полу носовые платки, а на каждомъ шагу, въ серьезномъ дѣлѣ подставляютъ женщинѣ ногу; не даютъ ей хода и свободы.

— Что-жъ тутъ носовые платки мѣшаютъ?—произнесла мягкимъ и весьма пріятнымъ голосомъ та, которую называли Ступиной.

— А нѣтъ, Анна Львовна, этого нельзя говорить, снисходительно замѣтилъ Бѣлоярцевъ. — Это только такъ кажется, а въ существѣ это и есть тотъ тонкій путь, которымъ развратъ вводится въ человѣческое общество. Я вамъ подаю бурнусъ, я вамъ поднимаю платокъ, я передъ вами растворяю двери, потому что это ничего не стоитъ, потому что это и вамъ самимъ легко было бы сдѣлать безъ моей помощи.

— А если дверь трудно отворяется, тогда можно? пошутила Ступина.

— Нѣтъ, вы не шутите. Вы сами вникните, вамъ самимъ же отъ этого плохо. Платокъ вамъ помогутъ поднять, а, напримѣръ, обзаведись вы ребенкомъ, такъ...

— Бросятъ,—подсказала Ступина.

— Ну, вотъ вамъ и слѣды такого отношенія къ женщинѣ.

— А если не станете поднимать платковъ, такъ не будете бросать, что ли?—весело отвѣчала Ступина.—Хороши вы всѣ, господа, пока не наигрались женщиной! А тамъ и съ глазъ долой, по первому капризу.—Нѣтъ, ужъ кланяйтесь же, по крайней мѣрѣ; хоть платки поднимайте, — добавила она разсмѣявшись,—больше съ васъ взять нечего.

— Ну, это хоть бы и въ Москвѣ такое разсужденіе,— произнесла Бертольди.

— Нѣтъ, позвольте, m-lle Бертольди. Сердиться здѣсь не за что, замѣтилъ Бѣлоярцевъ.—Анна Львовна немножко односторонне смотритъ на дѣло, но она имѣетъ основаніе. При нынѣшнемъ устройствѣ общества это зло, дѣйствительно неотвратимо. Люди злы по натурѣ.

— То-то и дѣло, замѣтила Ступина. — Еслибы вы были добрѣе, такъ и несчастій бы столькихъ не было, и мы бы вамъ вѣрили.

— Да, что это вы говорите, вмѣшалась Бертольди. — Какое же дѣло кому-нибудь вѣрить или не вѣрить. На пріобрѣтеніе ребенка была ваша воля, что-жъ вамъ за это деньги платить, что ли? Это, наконецъ, смѣшно! Ну, отдайте его въ воспитательный домъ. Удивительное требованіе: я рожу ребенка и въ награду за это должна получать право на чужой трудъ.

— Не совсѣмъ чужой... тихо произнесла Ступина.

— А, вы такъ смотрите! Ну, такъ считайтесь; подавайте просьбу; а по-моему, лучше ничьего содѣйствія и ничьего вмѣшательства.

— Все это уладится гораздо умнѣе и справедливѣе,— тихо замѣтилъ Бѣлоярцевъ.

— Да, должно быть, что уладится, — съ легкой ироніей отвѣчала Ступина и, вставъ изъ-за стола, вышла изъ залы.

— А эта барыня ненадежна, проговорила, по уходѣ Ступиной, Бертольди. — Не понимаю, зачѣмъ она съ нами сошлась.

— Да-съ, оказывается, что намъ нужно много подумать о томъ, кто съ нами сходится и съ кѣмъ намъ сходиться.

Я вотъ по этому именно поводу и хотѣлъ сегодня попросить васъ посовѣтоваться.

Бѣлоярцевъ откашлянулся и сѣлъ за столъ на табуретку.

— Какъ бы обдуманнымъ ни казалось всякое новое дѣло, а всегда выходитъ, что что-нибудь недодумано и забыто, началъ онъ своимъ бархатнымъ баскомъ.—Мы рѣшили, какъ намъ жить и какъ расширить свое дѣло, а вотъ сегодняшній случай показалъ, что это далеко не все. Сегодня вотъ у Лизаветы Егоровны былъ гость.

Лиза подняла свою головку отъ книги.

— Это показываетъ, что у каждаго изъ насъ, кромѣ гостей, извѣстныхъ нашему союзу, могутъ быть свои, особые, прежніе знакомые, и эти знакомые, чуждые по своему направленію стремленіямъ нашей ассоціаціи, могутъ насъ посѣщать: не здѣсь, — не такъ ли? — Рождается отсюда вопросъ: какъ мы должны вести себя въ отношеніи къ такимъ гостямъ?

— Я думаю, какъ кому угодно,—отвѣчала Лиза.

— Я хотѣлъ сказать: принимать ихъ, или нѣтъ?

— Я своихъ буду принимать.

— Да; но позвольте, Лизавета Егоровна: вѣдь это дѣло общее. Вѣдь вы же мнѣ дѣлали выговоръ за мнимое самоволіе.

— Это совсѣмъ другое дѣло: вы дѣлали выборъ, зависѣвшій отъ всѣхъ, а я распоряжаюсь сама собою. Мои гости касаются меня.

— Нѣтъ, позвольте: каждый входящій въ домъ ассоціаціи касается всѣхъ.

— Я не понимаю такой зависимости,—отвѣчала Лиза.

— Не зависимости, а безопасности, Лизавета Егоровна. Насъ могутъ предать.

— Кому?

— Правительству.

— А мы что дѣлаемъ правительству? Развѣ у насъ заговоръ,—или прокламаціи печатаются?

— Да положимъ, что не заговоръ и не прокламаціи, а

все же мы не друзья существующаго порядка и намъ могутъ помѣшать, могутъ разстроить наше дѣло.

Лиза подумала и сказала:

— Ну, хорошо, это будетъ видно.

— Такъ отложимъ это,—отвѣчалъ Бѣлоярцевъ,—и обратимся къ другому не менѣе важному вопросу. Насъ должно быть четырнадцать членовъ, а теперь насъ здѣсь пока всего шестеро, если прислугу не считать нашими сочленами, такъ какъ вопросъ о ней до сихъ поръ еще не совсѣмъ рѣшенъ. Остальные наши члены должны перейти къ намъ на этихъ же дняхъ. Большая часть этихъ членовъ должны присоединиться къ намъ вмѣстѣ съ Васильемъ Ивановичемъ Райнеромъ, съ которымъ они живутъ теперь. Обстоятельство, по поводу котораго я заговорилъ о гостяхъ, даетъ мнѣ мысль заявить вамъ: не найдете ли нужнымъ нѣсколько поотложить переходъ Райнера и его товарищей въ домъ ассоціаціи? Конечно, намъ отъ этого будетъ нѣсколько тяжелѣе на одинъ мѣсяцъ, но зато мы себя оградимъ отъ большихъ опасностей. Райнеръ — человѣкъ, за которымъ смотрятъ.

— Ахъ! нѣтъ, возьмемте Райнера: онъ такой хорошій человѣкъ,—вмѣшалась вошедшая Ступина.

— Хорошій, Анна Львовна, да только все-таки лучше подождемте. Онъ можетъ здѣсь бывать, но не жить *пока*... понимаете, *пока* мы не окрѣпли. А тогда всѣхъ, и его, и всѣхъ, кто у него живетъ, всѣхъ примемъ. До тѣхъ же поръ вотъ Грабилину уступимъ три комнаты: онъ одинъ можетъ платить за три.

— Да Грабилинъ что же за членъ нашей ассоціаціи?

— Да такъ *пока*.

— Смѣшно, сказала, вставая, Лиза. — Розанова принимать опасно; Райнера опасно пустить жить, а принимать можно; людей, которые живутъ у Райнера, тоже нельзя пустить жить съ нами, тогда какъ на нихъ разсчитывали при устройствѣ этого жилья, а какого-то Грабилина, у котораго только деньги заняли, надо пускать, чтобы комнаты

не гуляли! Какое же это соціальное общежительство! Это выходятъ chambres garnis Бѣлоярцева съ компаніею — и только.

— Ахъ, Лизавета Егоровна, какъ вы странно иногда понимаете простыя вещи!—воскликнулъ Бѣлоярцевъ.

— Да-съ, я ихъ понимаю.

— Вотъ вы еще и сердитесь.

— Вамъ непріятно видѣть Розанова, потому что онъ напоминаетъ вамъ ваше прошлое и неловко укололъ васъ вашимъ бывшимъ художественнымъ направленіемъ.

Бѣлоярцевъ сдѣлалъ недоумѣвающую мину.

— Райнеръ, — продолжала Лиза, — представляетъ намъ вашу совѣсть.

— Лизавета Егоровна!—позвольте, однако, если я человѣкъ съ плохою совѣстью, то я...

— Позвольте, я знаю, что вы художникъ, можете сыграть всякую роль, но я вамъ говорю, что вы хитрите и съ перваго же дня оттираете людей, которые могутъ вамъ мѣшать.

— Въ чемъ-съ, смѣю спросить?

— Рисоваться.

— Я стараюсь не обижаться и поставлю вамъ на видъ, что я не одного Райнера прошу повременить, а всю его компанію. Неужели же я всѣхъ боюсь.

— Конечно. Вы ихъ знали, пока они были вамъ нужны, а теперь... вы братоваться съ ними не хотите. Вамъ нравится первая роль.

— Вотъ и начало!—грустно произнесъ Бѣлоярцевъ.

— Да, скверное начало: старайтесь поправить,—произнесла Лиза и, поклонившись всѣмъ, пошла къ дверямъ коридора.

— Ну, характерецъ,—сказала ей вслѣдъ Бертольди.

Бѣлоярцевъ покачалъ головой, другіе не сказали ни слова.

«Выгнать ее, или все бросить,—другого спасенья нѣтъ»,

подумалъ Бѣлоярцевъ и, подойдя къ окну, съ неудовольствіемъ крикнулъ:

— Чей это образъ тутъ на виду стоитъ?

— Моя, сударь, моя икона, — отозвалась вошедшая за Лизинымъ платкомъ Абрамовна.

— Такъ уберите ее,—нервно отвѣчалъ Бѣлоярцевъ.

Няня молча подошла къ окну, перекрестясь взяла икону и, вынося ее изъ залы, вполголоса произнесла:

— Видно мутитъ тебя ликъ-то Спасовъ,—не стерпишь.

— Ну, господа, а другіе вопросы, — возгласила Бертольди и, вынувъ изъ кармана бумажку, начала читать:— «*Вопросъ первый*: о прислугѣ, о ея правахъ и обязанностяхъ въ ассоціаціи, какъ ея сочленовъ».—Впрочемъ, я съ ними уже говорила: они ничего не понимаютъ и хотятъ платы.—«*Вопросъ второй*: о дняхъ отдохновенія и собраній». — Мнѣніе Бѣлоярцева, Красина, Прорвича и Ревякина устранить христіанскій календарь и принять раздѣленіе на декады. Десятый день будетъ днемъ отдохновеній и собраній.—Къ вопросу о прислугѣ, Бѣлоярцевъ, вы говорили присоединить, гдѣ наши слуги должны обѣдать: особо, или съ нами? Вносить завтра этотъ вопросъ?

— А? вносите, что хотите, — порывисто отвѣтилъ Бѣлоярцевъ и, ни съ кѣмъ не простившись, пошелъ въ свою комнату.

Женщины посидѣли еще нѣсколько минутъ въ раздумьѣ и тоже одна за другой тихо разошлись по своимъ комнатамъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Дуэнья.

Ступина, проходя мимо двери Лизы, зашла къ ней на одну минутку.

— Знаете, какъ, однако, что-то непріятно.

— Холодно въ домѣ,—проронила Лиза.

— Нѣтъ, какая-то пустота, тоска... Право, мнѣ, кажется, ужъ стало жаль своей квартирки.

— Охъ, пожалѣешь, матушка! еще и не разъ одинъ пожалѣешь, — отозвалась ей няня, внося тюфячекъ и подушки.

— Тебѣ же, няня, поставлена постель въ особой комнатѣ,—замѣтила Лиза.

— А поставлена, пусть тамъ и стоитъ.

— Гдѣ же ты тутъ будешь спать?

— А вотъ, гдѣ стою, тутъ и лягу. Пора спать, матушка,— отнеслась она къ Аннѣ Львовнѣ, разстилая тюфячекъ поперекъ двери.

— И охота вамъ, няня, здѣсь валяться.

— Охота, другъ ты мой, охота. Боюсь одна спать въ комнатѣ. Непривычна къ особымъ покоямъ.

Няня, проводивъ Ступину, затворила за нею дверь, не запиравшуюся на ключъ и легла на тюфячекъ, постланный поперекъ порога. Лиза читала въ постели. По коридору два раза раздались шаги пробѣжавшей горничной и въ домѣ все стихло. Ночь стояла бурная. Вѣтеръ со взморья рвалъ и сердито гудѣлъ въ трубахъ.

— Разбойники, — тихо, какъ бы во снѣ, проговорила няня.

— Такъ ихъ и папенька покойный, отпуская свою душечку честную, назвалъ разбойниками, — прошептала она еще черезъ нѣсколько минутъ.

— Господи! Господи, за что только я-то на старости лѣтъ гублю свою душу въ этомъ вертепѣ анаѳемскомъ,— начала она втретьи.

Лиза молча читала, не обращая никакого вниманія на эти монологи.

— Сударыня!—воскликнула, наконецъ, старуха.

— Ну, отозвалась Лиза.

— Я завтра рано уйду.

— Иди.

— Пойду къ Евгеніи Петровнѣ.

— Иди, иди, пожалуйста.

— Хоть, посмотрю, какъ добрые люди на свѣтѣ живутъ.

Лиза опять промолчала.

— А мой вотъ тебѣ сказъ, начала няня: — срамъ намъ такъ жить. Что это?

— Что?—спросила Лиза.

— Это... распутные люди такъ живутъ.

Лиза вспыхнула.

— Гдѣ ты живешь? ну гдѣ? гдѣ? Этакъ развѣ дѣвушки добрыя живутъ? Ты со вставанья съ голой шеей пройдешь, а на тебя двадцать человѣкъ смотрѣть будутъ.

— Оставь, няня,—серьезно произнесла Лиза.

— Не оставлю, не оставлю, пока я здѣсь, черезъ кости мои старыя развѣ кто перейдетъ. Лопнетъ мое терпѣнье, тогда что хочешь, то и твори.—Срамница!

Лизой овладѣло совершенное бѣшенство.

— Ты просто глупа,—сказала она рѣзко Абрамовнѣ.

— Глупа, мать моя, глупа,—повторила старуха, никогда не слыхавшая такого слова.

— Не глупа, а просто дура, набитая, старая дура,— повторяла еще злѣе Лиза и, дунувъ на свѣчку, завернулась съ головою въ одѣяло.

Обѣ женщины молчали и обѣимъ имъ было очень тяжело; но няня не умилялась надъ Лизой и не слыхала горькихъ слезъ, которыми до бѣла свѣта проплакала подъ своимъ одѣяломъ со всѣми и со всѣмъ расходящаяся дѣвушка.

Не спалъ въ этомъ домѣ еще Бѣлоярцевъ. Онъ проходилъ по своей комнатѣ цѣлую ночь въ сильной тревогѣ. То онъ бралъ въ руки одинъ готовый слѣпокъ, то другой, потомъ опять онъ бросалъ ихъ и тоже только передъ утромъ совсѣмъ одѣтый упалъ на диванъ, не зная какъ вести себя завтра.

— Чортъ меня дернулъ заварить всю эту кашу и взять на себя такую обузу, особенно еще и съ этимъ чертенкомъ въ придачу, — думалъ онъ, стараясь заснуть и позабыть непріятности своего генеральскаго поста.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Тополь да березка.

На разсвѣтѣ слѣдующаго дня Абрамовна, приготовивъ все нужное ко вставанью своей барышни, перешла пустынный дворъ ассоціаціоннаго дома и поплелась въ Измайловскій полкъ. Долго она освѣдомлялась объ адресѣ и, наконецъ, нашла его.

Абрамовна не пошла на указанный ей парадный подъѣздъ, а отыскала черную лѣстницу и позвонила въ дверь въ третьемъ этажѣ. Старуха сказала дѣвушкѣ свое имя и присѣла на стульцѣ, но не успѣла она вздохнуть, какъ за дверью ей послышался радостный воскликъ Женни и въ ту же минуту она почувствовала на своихъ щекахъ теплый поцѣлуй Вязмитиновой.

— Голубка моя, красавица моя!—лепетала старуха, ловя ручку Евгеніи Петровны. — Ручку то, ручку-то мнѣ свою пожалуй.

— Какъ это ты, няня? Откуда ты? — спрашивала ее между тѣмъ Женни и ничего нельзя было разобрать, кто о чемъ спрашивалъ и кто что отвѣчалъ.

Евгенія Петровна показала старухѣ дѣтей, квартиру и, наконецъ, стала поить ее чаемъ.

Черезъ полчаса вышелъ Вязмитиновъ, тоже встрѣтилъ старуху привѣтливо и скоро уѣхалъ.

Послѣ его отъѣзда Евгенія Петровна въ десятый разъ принялась разспрашивать старуху о житьѣ Лизы и все никакъ не брала въ толкъ ея разсказа.

— Я и сама, другъ мой, ничего не понимаю, что это они дѣлаютъ,—отвѣчала няня, покачивая на колѣняхъ двухлѣтняго сынишку Евгеніи Петровны.

— Поѣдемъ къ ней, няня!

— Поѣдемъ, душа моя, пожалуйста поѣдемъ!

Евгенія Петровна накинула бурнусъ и вышла со старухой. Черезъ часъ онѣ остановили своего извозчика у дома ассоціаціи.

— Пойдемъ по черной лѣстницѣ,—сказала няня и, введя Евгенію Петровну въ узенькій коридоръ, отворила передъ нею дверь въ комнату Лизы.

Лиза стояла спиною къ двери и чесала сама свою голову. Услыхавъ, что отворяютъ дверь, она оглянулась.

— Безстыдница, безстыдница, произнесла, покачивая головой, Вязмитинова и остановилась. Не узнаешь?—спросили она, дрожа отъ нетерпѣнія.

— Женни!—спокойно сказала Лиза.

— Я, душка моя, я, Лиза моя милая, злая, недобрая, я это,—отвѣчала Евгенія Петровна и, обнявъ Бахареву, цѣловала ея лицо.

— И не стыдно, говорила она, прерывая свои поцѣлуи:—за что, про что разорвала дѣтскую дружку, пропала, не отвѣчала на письма и теперь не рада! Ну, скажи, вѣдь не рада совсѣмъ?

— Нѣтъ, очень рада. Какъ ты похорошѣла, Женни.

— Помилуй, двое дѣтей, какое ужъ похорошѣть! Ну, а ты?

— А я, вотъ какъ видишь.

— Одна все?

— Нѣтъ, съ людьми,—отвѣчала Лиза, слегка улыбнувшись.

— Замужъ нейдешь.

— Никто не беретъ.

— За капризы?

— Вѣрно такъ. Чаю, Женни, хочешь?

— Давай, будемъ пить.

— Вотъ прекрасно-то! раздался изъ-за двери голосъ, который нѣсколько удивилъ Лизу.

— Можно взойти?—спросилъ тотъ же голосъ.

— Это Розановъ,—идите, идите!—крикнула Женни.

На порогѣ показался Розановъ и съ нимъ дама подъ густымъ чернымъ вуалемъ.

Лиза взглянула на этотъ сюрпризъ, насупивъ бровки.

Дама откинула вуаль и, улыбнувшись, сказала:

— Здравствуйте, Лиза.

— Полинька! Вотъ гостиный день у меня неожиданно.

— А вы отшельницей живете, скрываетесь. Мы съ Женни сейчасъ же отыскали другъ друга, а вы!.. Цѣлые годы въ одномъ городѣ и не дать о себѣ ни слуху, ни духу. Дѣлаютъ такъ добрые люди?

— Господа! не браните меня, пожалуйста: я вѣдь одичала, отвыкла отъ васъ. Садитесь лучше, дайте мнѣ посмотрѣть на васъ. Ну, что ты теперь, Полина?

— Я?—Бабушка, мой другъ, бабушка-повитушка. Выходи замужъ, принимать буду.

— Боже мой! что это тебя кинуло?

— А что?—я очень довольна.

— А ты, Женни?

— Мать двухъ дѣтей.

— Чиновница?

— Да.

— И счастлива?

— Да, и мужъ не бьетъ, какъ ты когда-то предсказывала.

— Значитъ, счастлива?

— Значитъ, счастлива.

Кто-то постучалъ въ двери.

— Войдите,—произнесла Лиза и на порогѣ показался высокій, стройный Райнеръ.

Онъ возмужалъ и даже немножко не по лѣтамъ постарѣлъ.

Розановъ съ Райнеромъ встрѣтились горячо, по-пріятельски.

— Здравствуйте, шпіонъ!—произнесъ Розановъ при его появленіи.

Райнеръ весело улыбнулся въ отвѣтъ, и они поцѣловались.

Въ залѣ общество сидѣло нахмурившись: все по-вчерашнему еще было въ безпорядкѣ, окна плакали, затопленная печка гасла и забивала дымомъ.

Бѣлоярцевъ молча прохаживался по залѣ и, останавли-

ваясь у окна, дѣлалъ нетерпѣливыя движенія при видѣ стоящихъ у подъѣзда двухъ дрожекъ.

— Бахарева наша уѣзжаетъ куда-то,—сказала, входя въ залу, Бертольди.

— Куда это?—буркнулъ Бѣлоярцевъ.

— Съ своими друзьями.

— И отлично дѣлаетъ.

Евгенія Петровна упросила Лизу погостить у нея два-три дня, пока домъ немножко отогрѣется и все приведется въ порядокъ.

Лиза сдалась на общую просьбу и уѣзжала.

— А сегодняшнее засѣданіе?—крикнула Бертольди проходившей черезъ переднюю Лизѣ.

— Я не буду.

— Какое это у васъ засѣданіе?—спросилъ ее Розановъ на лѣстницѣ.

У Вязмитиновыхъ въ Измайловскомъ полку была прехорошенькая квартира. Она была не очень велика, всего состояла изъ шести комнатъ, но расположеніе этихъ комнатъ было обдумано съ большимъ соображеніемъ и давало возможность расположиться необыкновенно удобно. Кромѣ очень изящной гостиной, зальца и совершенно уединеннаго кабинета Николая Степановича, влѣво отъ гостиной шла спальня Евгеніи Петровны, передѣленная зеленой шелковой драпировкой, за которой стояла ея кровать, и тутъ же въ стѣнѣ была дверь въ маленькую закрытую нишь, гдѣ стояла бѣлая каменная ванна. Затѣмъ были еще двѣ комнаты для стола и для дѣтей и, наконецъ, не въ счетъ покоевъ, шли дѣвичья съ чернаго входа и передняя съ парадной лѣстницы.

У Вязмитиновыхъ уже все было приведено въ порядокъ, все глядѣло тепло и пріятно.

— Рай у тебя, моя умница,—говорила, раздѣвшись въ дѣтской, няня.

— Дѣйствительно хорошо,—подтвердила Лиза.

Вязмитиновъ, возвратясь къ обѣду домой, былъ очень радъ, заставъ у себя неожиданную гостью. Вечеромъ пріѣхалъ Розановъ и они посидѣли, вспоминая многое изъ своего прошлаго. Лиза только тщательно уклонялась отъ пытливыхъ вопросовъ Николая Степановича о ея настоящемъ житьѣ. Они взаимно произвели другъ на друга непріятное впечатлѣніе. Лиза сказала о Вязмитиновѣ, что онъ сталъ неисправимымъ чиновникомъ, а онъ отозвался о ней же, какъ о какой безпордонной либералкѣ, которая непремѣнно хочетъ передѣлать весь свѣтъ на какой-то свой особенный ладъ, о которомъ и сама она едва ли имѣетъ какое нибудь опредѣленное понятіе.

На ночь Евгенія Петровна уложила Лизу на диванѣ за драпри въ своей спальнѣ и нѣсколько разъ пыталась добиться у нея откровеннаго мнѣнія о томъ, что она думаетъ съ собой сдѣлать, живя такимъ страннымъ и непонятнымъ для нея образомъ.

— Мой другъ, оставь меня самой себѣ,—тихо, но рѣшительно отвѣчала ей Лиза.

На другой день Розановъ привезъ къ вечеру Райнера. Вязмитинову это очень не понравилось.

— Вѣдь ты же съ нимъ былъ знакомъ,—убѣждалъ его докторъ.

— Да мало ли съ кѣмъ я былъ знакомъ,—отвѣчалъ Вязмитиновъ.

— Чудно, братъ, какъ ты такъ въ генералы и лѣзешь.

— Да, Николая Степановича трудно иногда становится узнавать,—произнесла, краснѣя, Женни, при которой происходилъ этотъ разговоръ.—Ему какъ будто мѣшаютъ теперь люди, которыхъ онъ прежде любилъ и хвалилъ.

Вязмитиновъ замолчалъ и былъ очень вѣжливъ и внимателенъ къ Райнеру.

— Тебѣ, кажется, нравится Райнеръ?—спросила Лизу, укладываясь въ постель, Женни.

— Да, онъ лучше всѣхъ, кого я до сихъ поръ знала,

отвѣчала спокойно Лиза и тотчасъ же добавила:—чудо какъ хорошо спать у тебя на этомъ диванѣ.

Бахарева прогостила у подруги четверо сутокъ и стала собираться въ *домъ*. Въ это время произошла сцена: няня расплакалась и Христомъ-Богомъ молила Лизу не возвращаться.

— Я здѣсь по лѣстницѣ двѣ комнатки нашла, говорила она со слезами. — Пятнадцать рублей на мѣсяцъ всего. Отлично намъ съ тобою будетъ: кухмистеръ есть на дворѣ, по восьми рублей беретъ, столъ, говоритъ, у меня всегда свѣжій. Останься, будь умница, утѣшь ты хоть разъ меня, старуху.

Лиза сердилась.

— Матушка, Женюшка! умоли-жъ хоть ты ее неумолимую,—приставала, рыдая, старушка.

Ничто не помогло: Лиза уѣхала.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мірское и гражданское житье.

Прошло полгода. Зима кончилась и начиналась гнилая петербургская весна. Въ положеніи нашихъ знакомыхъ произошло нѣсколько незначительныхъ перемѣнъ. Николай Степановичъ Вязмитиновъ получилъ еще одно повышеніе по службѣ и орденъ, который его директоръ привезъ ему сюрпризомъ во время его домашняго обѣда. Николай Степановичъ, увидя на себѣ орденъ, растерялся, заплакалъ... Вязмитиновъ шелъ въ гору. У него была толпа завистниковъ и ему предсказывали чины, кресты, деньги и блестящую карьеру. Вся эта перемѣна имѣла на бывшаго уѣзднаго педагога свое вліяніе. Онъ много и усердно трудился и не задиралъ еще носа; не говорилъ ни «какъ-съ?», ни «что-съ», но уже видимо солиднѣлъ и не желалъ якшаться съ невинными людьми, величавшими себя въ эту пору громкимъ именемъ *партіи прогресса*. Николай Степановичъ твердымъ шагомъ шелъ впередъ по простой

дорогѣ. Начавъ съ отреченія отъ людей и партіи безпардоннаго прогресса, онъ очень въ скоромъ времени нашелъ случай вовсе отречься отъ всѣхъ молодыхъ людей.

Ему предложили очень хорошее мѣсто начальника одного учебнаго заведенія. Николай Степановичъ отказался, объявивъ, что «при его образѣ мыслей, съ теперешними молодыми людьми дѣлать нечего».—Этотъ характерный отзывъ далъ Вязмитинову имя свѣтскаго человѣка съ «либерально-консервативнымъ направленіемъ, а вскорѣ затѣмъ и мѣсто, а съ нимъ и дружеское расположеніе одного директора департамента,—консервативнаго либерала и генерала Горностаева, нѣкогда сотрудника-корреспондента заграничныхъ русскихъ публицистовъ, а нынѣ ксати и некстати повторяющаго: «des reformes toujours, des outopies jamais».

Вмѣстѣ съ этимъ Николай Степановичъ попалъ, черезъ Горностаева, въ члены нѣсколькихъ ученыхъ обществъ и вошелъ въ кружокъ чиновной аристократіи съ либерально-консервативнымъ направленіемъ, занимавшей въ это время видныя мѣста въ департаментской іерархіи.

Новому положенію, новымъ стремленіямъ и симпатіямъ Николая Степановича только немножко не совсѣмъ отвѣчала его жена.

Всѣ консервативные либералы разныхъ вѣдомствъ, сошедшіеся съ Николаемъ Степановичемъ, были очень внимательны и къ Женни. Кроткая, простодушная и красивая Евгенія Петровна производила на нихъ самое выгодное впечатлѣніе, но сама она оставалась равнодушною къ новымъ знакомымъ мужа, не сближалась ни съ ними, ни съ ихъ женами и скоро успѣла прослыть нелюдимкою и даже дурочкой. Женни же, привыкшая къ тишинѣ и безмятежности своей уѣздной жизни, просто тяготилась новыми знакомствами въ той же мѣрѣ, въ какой она дорожила юношеской дружбой Лизы и расположенностью своихъ старыхъ знакомыхъ. Къ тому же, ее не занимали вопросы, интересовавшіе ея мужа, и кружокъ его новыхъ знакомыхъ. Вязмитинову это было очень непріятно. Сначала онъ жаловался

женѣ на ея нелюдимство, вредное для его отношеній, потомъ сталъ надѣяться, что это пройдетъ, старался втянуть жену въ новые интересы и съ этою цѣлью записалъ ее въ члены комитета грамотности и общества для вспомоществованія бѣднымъ. Но Женни въ комитетѣ грамотности заскучала о дѣтяхъ и уѣхала, не дождавшись конца засѣданія, а о благотворительномъ обществѣ, въ которое ее записали членомъ, отозвалась, что она тамъ сконфузится и скажетъ глупость.

Вязмитиновъ отказался отъ усилій дать женѣ видное положеніе и продолжалъ уравнивать себѣ дорогу. Только изрѣдка онъ покашивался на Женни за ея вниманіе къ Розанову, Лизѣ, Полинькѣ и Райнеру, тогда какъ онъ не могъ отъ нея добиться такого же или даже хотя бы меньшаго вниманія ко многимъ изъ своихъ новыхъ знакомыхъ.

Впрочемъ, они жили довольно дружно и согласно. Женни ни въ чемъ не измѣнилась, ни въ нравѣ, ни въ привычкахъ. Сдѣлавшись матерью, она только еще болѣе полюбила свой домашній уголъ и разставалась съ нимъ лишь въ крайней необходимости, и то весьма неохотно. Мужу она ни въ чемъ не противорѣчила, но если бы всмотрѣться въ жизнь Евгеніи Петровны внимательно, то можно бы замѣтить, что Николай Степановичъ въ глазахъ своей жены не вырастаетъ, а малится.

Между различными посѣтителями дома Вязмитиновыхъ исключительными гостями Евгеніи Петровны были только ея прежніе знакомые: Розановъ, Лиза, Полинька Калистратова и Райнеръ.

Если эти лица заходили къ Евгеніи Петровнѣ въ такое время, когда мужа ея не было дома и не случалось никого постороннихъ, то они обыкновенно проходили къ ней черезъ драпированную спальню въ ея розовую чайную и здѣсь заводились долгія задушевныя бесѣды, напоминавшія былую простоту дома Главацкихъ. Обыкновенно эти гости набѣгали къ Женни около одиннадцати или двѣнадцати часовъ и частехонько засиживались до звонка, возвѣщавшаго въ

четыре часа возвращеніе Вязмитинова къ обѣду. Случалось, что Николай Степановичъ, входя въ свою квартиру, въ передней какъ разъ сталкивался съ уходящими пріятелями своей жены и каждый разъ послѣ этого дулся.

Какъ многіе люди, старающіеся изолировать себя отъ прежнихъ знакомствъ, Николай Степановичъ раздражался, видя, что прежніе знакомые понимаютъ его и начинаютъ сами отъ него удаляться и избѣгать съ нимъ натянутыхъ отношеній. Вязмитиновъ не требовалъ, чтобы жена его не принимала въ его отсутствіе своихъ провинціальныхъ друзей, но каждый разъ, встрѣтясь съ кѣмъ нибудь изъ нихъ или со всѣми вмѣстѣ въ передней, надувался на нѣсколько дней на жену и тщательно хранилъ многознаменательное молчаніе. Иногда онъ заходилъ нѣсколько далѣе и, наскучивъ молчаніемъ, начиналъ за обѣдомъ разговоръ съ того:

— А что, еслибы васъ спросили, какъ относится madame Калистратова къ Розанову? Что бы вы на это отвѣтили?

— Никто меня объ этомъ не спроситъ,—обыкновенно очень спокойно отвѣчала въ такихъ случаяхъ Женни, подавая мужу тарелку, и тотчасъ же мягко переводила разговоръ на другую тему.

Или другой разъ Николай Степановичъ начиналъ рѣчь съ вопроса о томъ, какъ записанъ Полинькинъ ребенокъ?

— Почемъ мнѣ знать это,—отвѣчала Женни.

— А, однако, странно ея положеніе,—замѣчалъ Вязмитиновъ.

Женни конфузилась.

Не менѣе оскорбительные и непріятные запросы Вязмитиновъ часто предлагалъ женѣ насчетъ Лизы и Райнера, но, впрочемъ, всѣхъ ихъ, даже самъ, иногда приглашалъ къ себѣ на ужинъ или чашку чаю.

Въ отношеніи къ Розанову онъ держался иной, не то болѣе искренней, не то болѣе осторожной политики. Розановъ ему служилъ напоминаніемъ прошлаго и, не обращая вниманія на перемѣну, происшедшую въ положеніи Вязмитинова, держалъ себя съ нимъ съ прежнею короткостью,

заставлявшею Вязмитинова хотя нехотя жить по-старому. Розановъ говорилъ ему по-прежнему *ты*; когда тотъ начиналъ топорщиться, онъ, шутя, называлъ его «царемъ Берендеемъ», подтрунивалъ надъ привычкою его носить постоянно орденъ въ петлицѣ фрака и даже съ нѣкоторымъ цинизмомъ отзывался о достоинствахъ консервативнаго либерализма. Но Вязмитиновъ все это сносилъ и не могъ ни отбиться отъ Розанова, ни поставить его къ себѣ въ болѣе почтительныя отношенія.

Старуха Абрамовна водворилась въ домѣ Вязмитиновыхъ вслѣдствіе нѣсколько ошибочнаго разсчета и жила здѣсь, выдерживая «карахтеръ».

Погостивъ съ Лизою у Женни во время приведенія въ порядокъ общественнаго *Дома*, старушка совершенно упилась мирными прелестями тихаго семейнаго житья, къ которому она привыкла, и не могла безъ трепета вспомнить о гражданскомъ *Домѣ* и житьѣ подъ командою Бѣлоярцева, при новыхъ совершенно непріятныхъ ей порядкахъ. Она просила, умоляла Лизу позволить ей увезти оттуда всѣ ихъ вещи; плакала, бранилась и, наконецъ, объявила:

– Ну, когда такъ хочешь жить, такъ я тебѣ не слуга.

Старушка разсчитывала запугать Лизу и очень грустно ошиблась. Лиза спокойно отказалась отъ ея услугъ и даже похвалила ее за это намѣреніе.

— И что-жъ такое! И Богъ съ тобою совсѣмъ: я и останусь. Авось безъ куска хлѣба не пропаду. Найдутся добрые люди, хоть изъ куска хлѣба возьмутъ еще. На старости лѣтъ хоть болонокъ на дворъ выпущать гожусь.

Лиза не упрашивала, но предложила старухѣ на особое житье денегъ, отъ которыхъ та съ гордостью отказалась и осталась у Женни. Здѣсь она взялась вводить въ дѣтской патріархальные порядки и съ болѣзненнымъ нетерпѣніемъ выжидала, когда Лиза придетъ и сознается, что ей безъ нея плохо.

Время шло; Лиза изрѣдка навѣщала Вязмитинову, но

рѣчи о томъ, что ей плохо безъ Абрамовны, никогда не заходило.

Абрамовна съ своей стороны выдерживала характеръ. Съ каждымъ приходомъ Лизы она въ ея присутствіи удвоивала свои заботы о дѣтяхъ Вязмитиновой и вертѣлась съ младшимъ около чайнаго стола, за которымъ обыкновенно шли бесѣды.

Только когда Лиза поднималась идти домой, старуха исчезала изъ комнаты и выползала въ переднюю боковой дверью. Кропочась на прислугу, она съ серьезной физіономіей снимала съ вѣшалки теплое пальто Лизы и, одѣвая ее, ворчала:

— Хоть бы вѣшалку-то, сударыня, приказала прикрѣпить своимъ фрелинамъ.

Полинька Калистратова жила въ небольшой уютной квартиркѣ у Египетскаго моста. Жилье ея состояло изъ двухъ удобныхъ и хорошо меблированныхъ комнатъ, кухни и передней. Съ нею жила опрятная кухарка-нѣмка и то маленькое, повитое существо, которое, по мнѣнію Вязмитинова, ставило Полиньку Калистратову въ весьма фальшивое положеніе. Полинька сама любила это существо со всею материнской горячностью, но еще не привыкла, когда Лиза или Женни освѣдомлялись у нея о ребенкѣ. Одной Абрамовнѣ, когда той случалось навѣстить Полиньку, она показывала ребенка съ восторгомъ. Старушка ласкала дитя, ласкала мать и утѣшала ихъ, говоря:

— Живите, други, живите. А ихъ-ма-хма, что дѣлать-то! Богъ грѣшниковъ прощаетъ.

Розановъ былъ у Полиньки каждый день и привязанность его къ ней нимало не уменьшалась. Напротивъ, гдѣ бы онъ ни былъ, при первомъ удобномъ случаѣ рвался сюда и отдыхалъ отъ всѣхъ трудовъ и непріятностей въ уютной квартиркѣ у Египетскаго моста.

Взглянемъ на житье гражданъ.

Въ *мірѣ* изъ *Дома* доходило очень мало извѣстій, и тѣ, которыя доходили до мірскихъ ушей, были, по большей

части, или слишкомъ преувеличены, или совсѣмъ чудовищно извращены и носили самый грязный, циничный характеръ. Въ мірѣ *Домъ* представлялся прежде всего чѣмъ-то въ родѣ турецкаго гарема или такого жилища, гдѣ главною задачею стоитъ самое безцеремонное отношеніе живущихъ тамъ гражданъ съ живущими гражданками. О нравахъ обитателей этого *Дома* разсказывались чудеса. Въ мірѣ о нравахъ и жизни новаго гражданскаго *Дома* имѣли гораздо меньше вѣрныхъ свѣдѣній, чѣмъ о жизни въ старыхъ католическихъ монастыряхъ, о которыхъ когда-то любили разсуждать.

Гдѣ только міряне интересовались *Домомъ*, тамъ они и сочиняли о немъ разныя небылицы самаго рѣшительнаго характера, не додумываясь до воспроизведенія простыхъ, обыденныхъ будничныхъ явленій обитателей *Дома*. Копошась въ безднѣ грѣховной, міряне, которыхъ гражданскій *Домъ* интересовалъ своею оригинальностью и малодоступностью, судили о его жильцахъ по своимъ склонностямъ и побужденіямъ, упуская изъ виду, что «граждане Дома» старались ни въ чемъ не походить на обыкновенныхъ смертныхъ, а стремились стать выше ихъ; стремились быть для нихъ нравственнымъ образцомъ и выкройкою для повсемѣстнаго распространенія въ Россіи новаго соціальнаго устройства.

Въ *Домѣ* жилось сообразно особымъ уставамъ, безпрестанно обсуживавшимся, реформировавшимся и никогда ни на одну недѣлю не устанавливавшимся statu quo. Комплектъ жильцовъ *Дома* до сихъ поръ считался неполнымъ. Не проходило дня, чтобы тотъ или другой членъ общей квартиры или, какъ ее называлъ Бѣлоярцевъ, «ассоціаціи» не предлагалъ новаго кандидата или кандидатки, но Бѣлоярцевъ всегда находилъ въ предлагаемомъ лицѣ тысячу разныхъ дурныхъ сторонъ, по которымъ оно никакъ не могло быть допущено въ «ассоціацію». Безгласный сателлитъ Бѣлоярцева, Прорвичъ, не могъ сдѣлать ему никакой оппозиціи; другихъ мужчинъ въ *Домъ* до сихъ поръ еще не

было допущено, женщины молчали, недоумѣвая, что съ ними дѣлаютъ и что имъ дѣлать, чтобы все шло иначе. Онѣ уже ясно начинали чувствовать, что равноправія и равносилія въ ихъ ассоціаціи не существуетъ, что вся сила и воля сосредоточивались въ Бѣлоярцевѣ. Такъ прошелъ первый и другой мѣсяцъ совмѣстнаго житья. Въ теченіе этихъ двухъ мѣсяцевъ каждый день разбирались вопросы: можно ли брать за работу дороже, чѣмъ она стоитъ, хотя бы это и предлагали? Справедливо ли заставлять слугъ открывать двери гостямъ, которые ходятъ не къ нимъ, а къ самимъ гражданамъ? Можно ли писать къ своимъ родителямъ? Можно ли оставаться въ гражданствѣ, обвѣнчавшись церковнымъ бракомъ? и т. п. А главное все твердилось о трудѣ: о формѣ труда, о правильномъ раздѣленіи труда, о выгодахъ ассоціаціонной жизни, о равномѣрномъ раздѣлѣ заработковъ, а самаго труда производилось весьма мало и заработковъ ни у кого, кромѣ Бѣлоярцева, Прорвича и Кавериной, не было никакихъ.

Протянувъ первый мѣсяцъ, Бѣлоярцевъ свелъ счетъ произведеннымъ въ этотъ мѣсяцъ издержкамъ и объявилъ, что онъ прочитаетъ отчетъ за прошедшій мѣсяцъ въ день первой декады второго.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Первый блинъ.

Дни декадъ, учрежденные гражданами *Дома*, тоже прививались плохо. Въ *Домъ* вообще было вхожихъ немного, но и тѣ часто путали декады и являлись не въ урочные дни. Третья декада имѣла особенный интересъ, потому что въ день ея окончанія долженъ былъ огласиться мѣсячный отчетъ *Дома*, а этимъ интересовались не только граждане, обитающіе въ *Домѣ*, но и всѣ прочіе граждане, связанные съ ними духовнымъ единствомъ. Поэтому, въ день третьей декады, въ *Домъ*, къ восьми часамъ вечера, наѣхало около пятнадцати человѣкъ все гражданскаго направленія. Въ

числѣ гостей были: Красинъ, одна молодая дама, не живущая съ мужемъ маіорша Мечникова, съ молоденькою шестнадцатилѣтнею сестрою, только что выпущенною съ пансіонерской скамейки, Райнеръ съ своимъ пансіономъ, Ревякинъ, нѣкогда встрѣтившій Лизу вмѣстѣ съ Прорвичемъ въ гостиницѣ «Италія», и два молодыхъ человѣка, приведенныхъ Красинымъ въ качествѣ стороннихъ посѣтителей, которыхъ надлежало убѣдить въ превосходствѣ новаго рода жизни.

Пустынная зала, приведенная относительно въ лучшій порядокъ посредствомъ сбора сюда всей мебели изъ цѣлаго дома, оживилась шумными спорами гражданъ. Женщины, сидя около круглаго чайнаго стола, говорили о трудѣ; мужчины говорили о женщинахъ, въ углу залы стоялъ Бѣлоярцевъ, окруженный пятью или шестью человѣками. Передъ нимъ стояла госпожа Мечникова, держа подъ руку свою шестнадцатилѣтнюю сестру.

— Прекрасно-съ, прекрасно-съ, говорилъ Бѣлоярцевъ молоденькой дѣвушкѣ, — даже и такимъ образомъ я могу доказать вамъ, что никто не имѣетъ права продать или купить землю. Пусть будетъ по-вашему, но почитайте-ка внимательнѣе и вы увидите, что тамъ сказано: «*наслѣдите землю*», а не «продайте землю», или не «купите землю».

— Да, это, точно, тамъ сказано такъ, отвѣчала очень мило и смѣло дѣвочка.

— Вотъ видите!

— Да, только позвольте, тогда вѣдь, когда было это сказано, не у кого было ее покупать, вмѣшалась сама Мечникова.

— А, это совсѣмъ другое дѣло, отвѣчалъ Бѣлоярцевъ.

— Нѣтъ, какъ же, это необходимо надо разобрать, вставила Бертольди.

— Ахъ, это совсѣмъ не о томъ рѣчь, отвѣчалъ нетерпѣливо Бѣлоярцевъ.

— Ну, а если у меня, напримѣръ, есть наслѣдственная земля? спросила Мечникова.

— Такъ это не въ томъ же смыслѣ совсѣмъ сказано.

— Стало-быть, если я получу по наслѣдству тысячу десятинъ, то я имѣю право одна наслѣдовать эту землю? освѣдомилась Бертольди.

— Ничего вы не получите по наслѣдству, отшутился Бѣлоярцевъ.

— Нѣтъ, это непремѣнно надо разобрать, отвѣчала Бертольди.

Въ девять часовъ убрали самоваръ и Бѣлоярцевъ, попросивъ гостей къ столу, развернулъ мелко исписанный листъ бумаги, откашлянулся и началъ читать:

«Отчетъ свободной русской ассоціаціи, основанной на началахъ полнаго равенства, за первыя три декады ея существованія.

«Ассоціація наша, основанная въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ для того, чтобы избѣжать всякихъ опасностей, возможныхъ при новизнѣ дѣла и преслѣдованіи его полиціей, въ теченіе трехъ декадъ, или одного христіанскаго мѣсяца своего существованія, имѣла, милостивые государи, слѣдующіе расходы».

Начинались самыя подробныя исчисленія всѣхъ расходовъ на житье въ теченіе прошедшаго мѣсяца.

По окончаніи исчисленія расходовъ, Бѣлоярцевъ продолжалъ:

«Такимъ образомъ, милостивые государи, вы можете видѣть, что на покрытіе всѣхъ рѣшительно нуждъ семи наличныхъ членовъ ассоціаціи, получавшихъ въ *Домѣ* рѣшительно все имъ нужное, какъ-то: квартиру, отопленіе, прислугу, столъ, чай и чистку бѣлья (что составляетъ, при отдѣльномъ житьѣ, весьма немаловажную статью), на все это издержано триста двадцать шесть рублей восемьдесятъ три копѣйки, что на каждаго изъ насъ составляетъ по двадцати пяти рублей съ ничтожными копѣйками. Надѣюсь, милостивые государи, что это недорого и

что въ раздѣльности каждый изъ насъ не могъ бы прожить на эту сумму, имѣя всѣ тѣ удобства, какія намъ дало житье ассоціаціей».

— И освѣщеніе въ этомъ же числѣ? спросилъ кто-то изъ гостей.

— Освѣщеніе? Нѣтъ, освѣщенія нѣтъ въ этомъ счетѣ. Въ теченіе первой декады опытъ показалъ, что общественное освѣщеніе неудобно. Нѣкоторые изъ членовъ ассоціаціи желали заниматься въ своихъ комнатахъ; нѣкоторые исключительно занимались по ночамъ, и потому было составлено экстренное засѣданіе, на которомъ положено имѣть общественное освѣщеніе только для прислуги.

— А въ общественныхъ комнатахъ?

— До сихъ поръ у насъ было приготовленное сначала освѣщеніе для этой комнаты.

— Ну, это, однако, надо обсудить, замѣтила Бертольди.

— Такъ вотъ, господа, началъ Бѣлоярцевъ, — вы сами видите на опытѣ несомнѣнныя выгоды ассоціаціи. Ясное дѣло, что, издержавъ въ мѣсяцъ только по двадцати пяти рублей, каждый изъ насъ можетъ сдѣлать невозможныя для него въ прежнее время сбереженія и ассоціація можетъ дозволить себѣ на будущее время несравненно большія удобства въ жизни и даже удовольствія.

— Менъ, но нужно же капитализировать сначала эти сбереженія, замѣтилъ, гнуся и раскачиваясь, Кусицынъ, проживающій у Райнера на «ласковомъ хлѣбѣ».

— Они и будутъ капитализироваться. На мою долю падаетъ двадцать пять рублей съ копѣйками, вотъ я ихъ и представляю въ кассу ассоціаціи.

Бѣлоярцевъ вынулъ изъ кармана двадцати пяти рублевую ассигнацію съ мелкою серебряною монетою и положилъ ихъ на столъ передъ Прорвичемъ, избраннымъ въ кассиры ассоціаціи.

Прорвичъ сдѣлалъ то же, положивъ свои деньги къ деньгамъ Бѣлоярцева.

Лиза приподнялась, посмотрѣла серебряную монету, по-

ложенную Бѣлоярцевымъ вмѣстѣ съ ассигнаціею, и вышла въ свою комнату.

Черезъ минуту она воротилась съ двадцати пяти рублевымъ билетомъ и серебряной монетой, которые положила къ деньгамъ Прорвича и Бѣлоярцева.

Во время склада этихъ денегъ общество хранило молчаніе.

Когда Лиза положила деньги и сѣла на свое мѣсто, Бѣлоярцевъ постоялъ нѣсколько минутъ и, обратясь къ Ступиной, которая, краснѣя, шептала что-то Бертольди, спросилъ вполголоса:

— Что вы хотите сказать, Анна Львовна?

Ступина еще болѣе покраснѣла и, смотря на свою мантилію, съ принужденной улыбкой выговорила:

— У меня нѣтъ денегъ; я не могла ничего заработать.

— Что жъ такое, — снисходительно отвѣчалъ Бѣлоярцевъ.—Ассоціація можетъ вамъ кредитовать.

— Въ этомъ-то и сила ассоціаціи,—замѣтила Бертольди.

— Это васъ не должно стѣснять.

— Какъ же не должно?—еще болѣе конфузясь, проронила Ступина, чувствуя, что на нее всѣ смотрятъ.

— Вотъ madame Каверина имѣла заработокъ, разсуждалъ Бѣлоярцевъ,—но она имѣла непредвидѣнные расходы по случаю болѣзни своего ребенка, и ей ассоціація тоже кредитуетъ, такъ же какъ и другимъ, которые еще не оріентировались въ своемъ положеніи.

— Менъ, но я думаю, что лѣченіе больныхъ должно быть общею обязанностью ассоціаціи,—замѣтилъ опять Кусицынъ.

— Да-съ, это такъ; но пока все это еще не совсѣмъ конституировалось, отвѣчалъ Бѣлоярцевъ, — это нѣсколько трудно.

— Менъ, что жъ тутъ труднаго: внести на общій счетъ, и только.

— Да, это будетъ, это все будетъ современемъ.

— Объ этомъ, однако, надо разсудить,—вставила Бертольди.

— Да, конечно: можно будетъ ангажировать доктора.

— Розановъ охотно согласится лѣчить безъ всякой платы,—замѣтила Лиза, глядя сквозь свои пальцы на свѣчу.

— Ну, видите... Розановъ... Это не такъ удобно,—отвѣчалъ Бѣлоярцевъ.

— Отчего жъ это неудобно?

— Мы можемъ найти другого врача. Наконецъ, изъ сбереженій... Да вотъ и Сулима не откажется.

— Я очень радъ,—отвѣчалъ Сулима.

— Да, а то Розановъ, конечно, человѣкъ свѣдущій, но... Неудобно какъ-то. Полицейскій врачъ,—пояснилъ Бѣлоярцевъ, обращаясь ко всему обществу.

— У васъ все неудобно, тихо произнесла Лиза.

— Да, наконецъ, это все, Лизавета Егоровна, можетъ устроиться и безъ одолженій. Начало хорошо и будемъ тѣмъ пока довольны.

Бѣлоярцевъ сложилъ свой отчетъ и всталъ съ своего мѣста.

— Мм... ну, а что же вторая половина отчета?—освѣдомился, не оставляя стула, Кусицынъ.

— Отчетъ конченъ.

— Мм... а гдѣ же доходы ассоціаціи?

— Какіе же еще доходы?

— Ну, прибыль отъ труда?

— Да, это самое интересное,—отозвался Красинъ.

— Какая же, господа, прибыль? Теперь еще нѣтъ сбереженій.

— Мм... ну, а что же въ кассу поступило?

— Да, вотъ, семьдесятъ пять рублей поступаетъ въ возвратъ.

— Менъ, ну, а остатки отъ вашего заработка?

— Какъ отъ моего заработка?

— Ну, да, отъ заработка. Вы сколько заработали въ теченіе этого мѣсяца?

— Я?

— Мм... ну, да, вы.

— Я... я, право, не считалъ.

— Ну, какъ же. Это надо считать.

— Позвольте, для чего же это считать?

— Мм... ну, для того, чтобы знать, что поступаетъ въ общую кассу прибылью.

Бѣлоярцевъ затруднялся.

— Позвольте, господа, началъ онъ, я думаю, что никому изъ насъ нѣтъ дѣла до того, какъ кто поступитъ съ своими собственными деньгами. Позвольте, вы, если я понимаю, не того мнѣнія о нашей ассоціаціи. Мы только складываемся, чтобы жить дешевле и удобнѣе, а не преслѣдуемъ другихъ идей.

— Менъ! Ну, такъ это значитъ все пусто дѣло стало. Я думалъ, что весь заработокъ складывается вмѣстѣ и изъ него общій расходъ: вотъ это дѣло достойное вниманія.

— Нѣтъ, совсѣмъ не то...

— Менъ,—ну, да: это значитъ у васъ общія комнаты съ общимъ столомъ.

— Нѣтъ, опять не то-съ.

— Нѣтъ, именно то.

— Господа!—сказалъ, поднимаясь, молчавшій до сихъ поръ Райнеръ.—При первой мысли объ устройствѣ этой общины, въ обсужденіи котораго мнѣ позволено было участвовать, я имѣлъ честь много разъ заявлять, что община эта будетъ имѣть значеніе тогда, если въ ней станутъ трудиться *всѣ*, не считаясь, кто можетъ сколько заработать, и *соединять заработокъ*, чтобы изъ него производить расходъ на всѣхъ. Тогда положеніе дамъ, вошедшихъ въ этотъ общественный союзъ, было бы, дѣйствительно, улучшено, потому что онѣ, трудясь столько же, какъ всѣ прочіе, получили бы столько же и удобствъ и сбереженій, какъ всѣ прочіе члены союза. Мнѣ кажется, что такъ это было понято и всѣми.

Всѣ молчали.

— Нѣтъ, это только говорилось,—произнесъ Бѣлоярцевъ.

— Ну, по крайней мѣрѣ, я пока понималъ это такъ и

искалъ чести принадлежать только къ такому союзу, гдѣ бы избытки средствъ, данныхъ мнѣ природою и случайностями воспитанія, могли быть раздѣлены со всѣми по праву, которое я признаю за обществомъ, но о такомъ союзѣ, какимъ онъ выходитъ, судя по послѣднимъ словамъ господина Бѣлоярцева, я такого же мнѣнія, какъ и господинъ Кусицынъ.

— Менъ, ну, конечно: это комнаты съ мебелью и общимъ столомъ.

— И только, подтвердилъ, садясь, Райнеръ.

Женщины *Дома* и гости молчали. Бѣлоярцевъ находился въ замѣшательствѣ.

— Господа!—началъ онъ весьма тихо,—всякое дѣло сначала должно вести полегоньку. Я очень хорошо понимаю, къ совершенію чего призвана наша ассоціація, и надѣюсь, что при дружныхъ усиліяхъ мы достигнемъ своей цѣли, но пока не будьте къ намъ строги, дайте намъ осмотрѣться; дайте намъ, какъ говорятъ, на головѣ поправить.

— Да, объ этомъ надо разсудить, это нельзя такъ оставить,—возгласила Бертольди.

Засѣданіе считалось конченнымъ.

Райнеръ и нѣсколько другихъ встали и начали ходить по смежной комнатѣ.

Черезъ полчаса *Домъ* опустѣлъ отъ всѣхъ стороннихъ посѣтителей, кромѣ Райнера, котораго Бѣлоярцевъ упросилъ ночевать, чтобы посовѣтоваться.

— Менъ, Райнеръ, вы остаетесь здѣсь?—спросилъ, вступая изъ передней въ залу, Кусицынъ.

— Да, я останусь,—отвѣчалъ Райнеръ.

— Менъ, ну, такъ дайте же мнѣ денегъ на извозчика.

Райнеръ покопался въ карманѣ и сказалъ:

— Со мною нѣтъ денегъ.

— Ну, а какъ же завтра на обѣдъ? Вы займите у кого-нибудь.

Райнеръ взялъ у Прорвича три рубля и отдалъ ихъ Кусицыну.

— Гмъ! а туда же о трудѣ для общей пользы толкуетъ,— произнесъ, туша лишнія свѣчи, Бѣлоярцевъ.

— Тс! полноте,—остановилъ его, покраснѣвъ до ушей, Райнеръ.

Бѣлоярцевъ уложилъ Райнера въ своей комнатѣ и долго толковалъ съ нимъ, стараясь всячески держаться передъ Райнеромъ покорнымъ ученикомъ, который послушенъ во всемъ, но только имѣетъ опытъ, обязывающій его принимать теоретическіе уроки, соображая ихъ съ особенными условіями, въ которыхъ учитель не компетентенъ.

Загасивъ часа въ три свѣчу и завернувшись въ одѣяло, Бѣлоярцевъ думалъ:

«Это, значитъ, подъ весь заработокъ подходитъ. Ахъ, ты чортъ васъ возьми! Вотъ если бы теперь вмѣшалась въ это полиція, да разогнала насъ! Милое бы дѣло было. Не зналъ бы, кажется, которому святителю молиться и которымъ чудотворцамъ обѣщаться».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Девятый валъ.

Со страхомъ, какъ мореходецъ ждетъ девятаго вала, ждалъ Бѣлоярцевъ девятой декады, въ которую должно было происходить третье общее собраніе гражданъ.

Трепка, вынесенная ими въ первомъ общемъ собраніи, его еще не совсѣмъ пришибла. Онъ скоро оправился, просилъ Райнера не обращать вниманія на то, что сначала дѣло идетъ не совсѣмъ на полныхъ соціальныхъ началахъ, и все-таки помогать ему словомъ и содѣйствіемъ. Потомъ обошелъ другихъ съ тою же просьбою; со всѣми ласково поговорилъ и успокоился.

Преданный всякому общественному дѣлу, Райнеръ хотѣлъ вѣрить Бѣлоярцеву и нимало не сердился на то, что тотъ оттеръ его отъ *Дома*, хотя и хорошо понималъ, что весь этотъ маневръ произведенъ Бѣлоярцевымъ единственно для того, чтобы не имѣть возлѣ себя никого, кто бы могъ

помѣшать ему играть первую роль и еще вдобавокъ вносить такія невыгодныя для собственнаго кармана начала, какихъ упорно держался энтузіастъ Райнеръ.

Ничего этого Райнеръ не помнилъ, когда дѣло касалось до дѣла.

Какъ Алексѣй Сергѣевичъ Богатыревъ отыскивалъ родственниковъ, такъ онъ ползкомъ, на днѣ морскомъ, гдѣ только могъ, добывалъ работу для гражданокъ *Дома;* которой добылъ переводы, которой нашелъ музыкальные уроки, которой уступилъ часть своихъ уроковъ,—словомъ въ теченіе мѣсяца всѣмъ досталъ занятій, кромѣ Бертольди, которая, какъ вышло на повѣрку, хвастала своими трудами у какого-то извѣстнаго ей московскаго пошляка-редактора. Она, за исключеніемъ папиросъ, ничего не умѣла дѣлать, и чистосердечный Райнеръ съ полнѣйшею наивностью предлагалъ ей клеить папиросныя гильзы для табачной лавочки, обѣщаясь самъ всегда сбывать ихъ. Бертольди очень оскорбилась этимъ предложеніемъ и съ гордостью его отвергнула.

— Вѣдь все равно трудъ,—говорилъ ей Райнеръ.

— Нѣтъ-съ, это еще нужно обсудить, отвѣчала Бертольди.—Заготовленіе предметовъ роскоши я не признаю трудомъ, достойнымъ развитого работника. Дѣлать букли, перчатки или кружева по-моему значитъ поощрять человѣческую пошлость.

— Но вѣдь вы говорили, что папиросы потребность.

— Да, но не первая потребность.

— Ну, я не знаю,—отвѣчалъ Райнеръ, опять ломая голову, какую бы работу приноровить этому гражданскому экземпляру.

— Посовѣтуйте ей давать танцовальные уроки,—сказалъ шутя Розановъ, у котораго Райнеръ при встрѣчѣ просилъ, нельзя ли достать Бертольди какихъ-нибудь занятій.

Райнеръ при своемъ взглядѣ на трудъ и это принялъ серьезно.

— Вотъ, mademoiselle Бертольди, и для васъ нашлось

занятіе,—сказалъ онъ, усаживаясь къ чайному столу, за которымъ сидѣло общество.

— Что такое?—пискнула Бертольди.

— Не хотите ли давать уроки танцевъ?

— Что тако-ое?

— Танцовать учить не хотите ли?—повторилъ Райнеръ, и не могъ понять, отчего это не только Бѣлоярцевъ и Прорвичъ, но всѣ дамы и случившійся здѣсь Красинъ и даже Лиза такъ и покатилась отъ смѣха, глядя на кругленькую фигурку Бертольди.

Райнеръ нѣсколько смѣшался и, глядя на всѣхъ, не понималъ, что случилось, достойное такого смѣха. По его понятіямъ о трудѣ, онъ съ совершеннымъ спокойствіемъ передалъ бы ни къ чему неспособной Бертольди предложеніе даже прыгать въ обручъ въ манежѣ или показывать фокусы, или, наконецъ, приготовлять блестящую ваксу, такъ какъ она когда-то, по ея собственнымъ словамъ, «работала надъ химіей».

— Танцовальные уроки, объяснялъ онъ,—обѣщался для васъ найти Розановъ.

— А, такъ это онъ! О, этотъ Розановъ всесовершеннѣйшій подлецъ!—воскликнула Бертольди, раздражаемая нескончаемымъ смѣхомъ гражданъ.

Райнеръ, круглый невѣжда въ женской красотѣ, все-таки не понималъ, что дурного или смѣшного было въ переданномъ имъ предложеніи Розанова, но, однако, рѣшился впередъ оставить Бертольди въ покоѣ и прекратилъ неудачные поиски удобныхъ для нея занятій.

Впрочемъ, кромѣ Кавериной, всѣ прочія женщины работали плохо. Каверина зарабатывала болѣе всѣхъ. Лиза влегла въ работу, какъ горячая лошадь въ потный хомутъ, но работа у ней не спорилась и требовала поправокъ; другія работали еще безуспѣшнѣе.

Райнеръ помогалъ каждой насколько былъ въ силахъ, и это не могло не отозваться на его собственныхъ занятіяхъ, въ которыхъ начали замѣчаться сильныя упущенія.

Къ концу мѣсяца Райнеру отказали за неглежировку отъ нѣсколькихъ уроковъ. Онъ перенесъ это весьма спокойно и продолжалъ еще усерднѣе помогать въ работахъ женщинамъ *Дома*.

Такимъ образомъ, не допущенный въ дѣйствительные члены союза, онъ на самомъ дѣлѣ былъ главнымъ и притомъ совершенно безкорыстнымъ его работникомъ.

Бѣлоярцевъ очень радовался такому обороту дѣлъ и оказывалъ Райнеру всѣ видимые знаки вниманія.

Бѣлоярцевъ, впрочемъ, никогда никого не осаживалъ въ глаза и никому не отказывалъ въ знакахъ своего благорасположенія.

У него была другая метода для разсчета съ людьми, которые ему не нравились или которыхъ почему-нибудь просто ему нужно было спрятать въ карманъ.

Онъ, напримѣръ, не тронулъ Кусицына, залившаго ему сала за шкуру въ засѣданіи третьей декады и не выругалъ его передъ своими, послѣ его отъѣзда, а такъ, спустя денька два, началъ при каждомъ удобномъ случаѣ представлять его филантропію въ жалко-смѣшномъ видѣ. И ужъ при этомъ не позабыто было ничто: ни его лисья мордочка, ни его мычащій говоръ, ни его проживательство у Райнера, ни даже занятые, по его безцеремонному требованію, три рубля. И все это дѣлалось всегда такъ во-время, такъ кстати, что никто не заподозрилъ бы Бѣлоярцева въ затаенной враждѣ къ гражданину Кусицыну; всякому этотъ Кусицынъ становился жалокъ и смѣшонъ и самыя замѣчанія, сдѣланныя имъ Бѣлоярцеву, обращались въ укоръ ему же самому.

Такъ и всегда поступалъ Бѣлоярцевъ со всѣми и, надо ему отдать честь, умѣлъ онъ дѣлать подобныя дѣла съ неподражаемымъ артистическимъ мастерствомъ. Проснется послѣ обѣда, покушаетъ въ своей комнатѣ конфетокъ или орѣшковъ, надѣнетъ свой архалучекъ и выйдетъ въ общую залу пошутить свои шуточки—и ужъ пошутитъ!

Къ концу шестой декады Бѣлоярцевъ былъ въ самомъ

игривомъ расположеніи духа. Ожидая второго общаго собранія, онъ сдѣлывался съ нѣкоторыми господами не только за прошлое, но устанавливалъ нѣкоторыхъ на точку вида и для будущаго. «Такъ какъ, молъ, вы, милочки мои, можете говорить то-то и то-то, соображалъ Бѣлоярцевъ, такъ я сдѣлаю, чтобъ ваши слова принимались вотъ такъ-то и такъ-то». Вообще Бѣлоярцеву довольно было открыть, что извѣстный человѣкъ его видитъ и понимаетъ, и этотъ человѣкъ тотчасъ же становился предметомъ его заботливости до тѣхъ поръ, пока удавалось дискредитовать этого человѣка въ мнѣніи всѣхъ людей, нужныхъ такъ или иначе Бѣлоярцеву. Зато Бѣлоярцевъ любилъ и поощрять своихъ сателитовъ и вербовалъ ихъ, особенно въ послѣднее время, безъ особенной трудности.

Авторитетъ Бѣлоярцева въ *Домѣ* росъ и крѣпъ, какъ сказочный богатырь, не по днямъ, а по часамъ. Этого авторитета не признавали только Райнеръ и Лиза, видѣвшіе Бѣлоярцева насквозь, но они молчали, а онъ передъ ними до поры до времени тоже помалчивалъ.

Второго общаго собранія онъ ожидалъ съ нетерпѣніемъ. Община крѣпла, можно было показать заработки и поговорить о сбереженіяхъ. Чтобы оправдать свои соображенія насчетъ близкой возможности доставлять членамъ союза не только одно полезное, но дажо и пріятное, Бѣлоярцевъ одинъ разъ возвратился домой въ сопровожденіи десяти человѣкъ, принесшихъ за нимъ болѣе двадцати вазоновъ разныхъ экзотическихъ растеній, не дорогихъ, но весьма хорошо выбранныхъ.

Дамы безъ конца благодарили за этотъ любезный сюрпризъ, и Бѣлоярцевъ прелюбезно устранялъ отъ себя эти благодарности.

А между тѣмъ наступила шестая декада и въ восемь часовъ вечера начали сходиться граждане.

Засѣданіе шестой декады началось очень оживленно.

Райнеръ пріѣхалъ въ *Домъ* часа за два до сбора гражданъ и привезъ съ собою рѣдкость, китайца Фи-ю-фи, съ

которымъ онъ былъ знакамъ, живя въ Англіи. Китаецъ былъ человѣкъ весьма молодой и любознательный: онъ прожилъ около двухъ лѣтъ въ Европѣ, объяснялся немного по-англійски, много видѣлъ и теперь возвращался домой черезъ Россію. Отличительною чертою характера Фи-ю-фи было то, что онъ никогда ничему не удивлялся, или, по крайней мѣрѣ, весьма тщательно скрывалъ свое удивленіе и любилъ для всѣхъ чудесъ европейской цивилизаціи отыскивать подобія въ китайской жизни. Онъ былъ консерваторъ и пессимистъ. Онѣ не вѣрилъ ни въ какія реформы, считалъ все существующее на землѣ зло необходимымъ явленіемъ своего времени, и хотя не отвергалъ какого-то прогресса, но ожидалъ его не отъ людей, а отъ времени, и людямъ давалъ во времени только пассивное значеніе. Райнеръ, познакомясь съ Фи-ю-фи, часто бесѣдовалъ съ нимъ объ учрежденіяхъ поднебесной имперіи и указывалъ ему на поражающую нищету бѣднаго китайскаго населенія; Фи-ю-фи указывалъ Райнеру на то же самое въ Англіи и Италіи и другихъ мѣстахъ цивилизованной Европы. Райнеръ показывалъ ему Poor Union въ Борнетѣ,—Фи-ю-фи нашелъ, что это для него вовсе не ново. Райнеръ разъяснилъ ему трактаты объ экономическихъ реформахъ,—китаецъ и къ нимъ относился совершенно равнодушно.

— Да, говорятъ, говорятъ, отвѣчалъ онъ, но только.

Встрѣтясь съ этимъ азіатскимъ экземпляромъ въ Петербургѣ, Райнеръ сдѣлался его чичероне и привезъ его, между прочимъ, въ качествѣ рѣдкаго посѣтителя, въ *Домъ*, предупредивъ, что здѣсь будутъ жить такъ, какъ онъ читалъ въ нѣкоторыхъ трактатахъ.

Китаецъ очень радъ былъ видѣть все, что имѣло для него какую-нибудь новизну.

Важно расшаркиваясь и внимательно, съ крайнею осторожностью, осматриваясь во всѣ стороны, онъ вступилъ за Райнеромъ въ *Домъ Согласія*. Они застали всѣхъ гражданъ *Дома* въ залѣ бесѣдующими о трудѣ. Бѣлоярцевъ всталъ при входѣ необычайнаго посѣтителя и привѣтствовалъ его

съ тонкостью образованнаго европейца и съ любезностью фермера, приготовляющагося удивить посѣтителя своимъ стадомъ тонкорунныхъ овецъ.

— Это жрецъ?—спросилъ китаецъ Райнера.

Райнеръ объяснилъ ему, что̀ такое Бѣлоярцевъ и женщины, которыхъ они видятъ за столомъ.

Китаецъ мотнулъ головой, Райнеръ сталъ объяснять ему порядки *Дома*: китаецъ опять моталъ головою.

— Это Фо; это значитъ они принадлежатъ къ религіи Фо,—говорилъ онъ Райнеру, тономъ глубочайшаго убѣжденія.

— Что онъ говоритъ?—безпрестанно освѣдомлялась Бертольди.

Райнеръ перевелъ ей это замѣчаніе.

— Странно! Онъ глупъ вѣрно,—произнесла Бертольди.

— Вы ему разъясните, что это не всѣ мы здѣсь, что у насъ есть свои люди и въ другихъ мѣстахъ.

— Да, это какъ Фо, говорилъ китаецъ, выслушавъ объясненія Райнера.—Фо всѣ живутъ въ кумирняхъ и ихъ поклонники тоже приходятъ. Они вмѣстѣ работаютъ: это я знаю. Это у всѣхъ Фо.

— Вы разскажите, что мы это разовьемъ, что у насъ будутъ и удобства. Вотъ цвѣты уже у насъ.

— Вотъ этотъ человѣкъ сюда цвѣты принесъ,—говорилъ Райнеръ китайцу.

— Да это все какъ у Фо; Фо всегда вмѣстѣ живутъ и цвѣты приносятъ.

— Что за пошлякъ!—отозвалась Бертольди, допытавшись у Райнера, о чемъ говоритъ китаецъ.

Между тѣмъ собрались граждане. Собраніе было больше прежняго. Явилось нѣсколько новыхъ гражданъ и одна новая гражданка Чулкова, которая говорила, что она не намѣрена себѣ ни въ чемъ отказывать; что она разъ встрѣтила въ Лѣтнемъ саду человѣка, который ей понравился, и прямо сказала ему:

— Не хотите ли быть со мною знакомымъ.

— Это такъ и слѣдовало,—сказалъ ей тихонько Бѣлоярцевъ.

Чтеніе отчета за вторыя три декады началось въ девять часовъ вечера и шло довольно безпорядочно. Прихожіе граждане развлекались разговорами и плохо слушали отчетъ *Дома*. Резюме отчета было то же, что и въ первый разъ: расходовъ приходилось по двадцати семи рублей на человѣка; уплатили свои деньги Бѣлоярцевъ, Прорвичъ, Лиза и Каверина. Прочіе хотя и имѣли кое-какой заработокъ, но должны были употребить его на покрытіе другихъ нуждъ своихъ и въ уплату ничего представить не могли. Бѣлоярцевъ утѣшался и снова повторялъ объ ожидаемыхъ сбереженіяхъ и объ удобствахъ, которыя съ помощію ихъ станутъ возможны для ассоціаціи. Многіе, однако, чуяли, что это вздоръ и что никакихъ сбереженій не будетъ.

Засѣданіе кончилось довольно рано и довольно скучно. Гости стали расходиться въ одиннадцатомъ часу, торопясь каждый уйти къ своему дому. Китаецъ всталъ и захлопалъ глазами.

— Это когда же начнется?—спросилъ онъ тихонько Райнера.

— Что такое когда начнется?

— Театръ.

— Театръ! Какой театръ?

— Развѣ не будетъ театра?

Райнеръ всталъ и потащилъ съ собою своего азіатскаго друга, ожидавшаго все время театральнаго представленія.

Представленіе началось вскорѣ, но безъ постороннихъ зрителей.

— Сколько стоятъ эти цвѣты?—спросила Лиза Бѣлоярцева, когда онъ возвратился, проводивъ до передней послѣдняго гостя.

— Что-то около шестнадцати рублей, Лизавета Егоровна.

— Какъ же вы смѣли опять позволить себѣ такое самоволіе! Зачѣмъ вы купили эти цвѣты?

— Господи Боже мой! сколько вы времени видите здѣсь

эти цвѣты и вдругъ такой букетъ,—отвѣчалъ обиженнымъ тономъ Бѣлоярцевъ.

— Я васъ спрашиваю, какъ вы смѣли ихъ купить на общественный счетъ?

— Да отчего же вы ничего не говорили прежде? Вѣдь это, Лизавета Егоровна, странно: такъ жить нельзя.

— И такъ нельзя, нельзя,—отвѣчала запальчиво Лиза.— Mesdames! Васъ не оскорбляетъ этотъ поступокъ? Вспомните, что это второй разъ господинъ Бѣлоярцевъ дѣлаетъ, что хочетъ.

— Вѣдь онъ подарилъ эти цвѣты?—вмѣшалась Ступина.

— Вы подарили эти цвѣты? Ваши они, наконецъ, или общіе? Надѣюсь, общіе, если вы записали ихъ въ отчетъ? Да? Ну, говорите же... Ахъ, какъ вы жалки, смѣшны и... гадки, Бѣлоярцевъ,—произнесла съ неописуемымъ презрѣніемъ Лиза и, вставъ изъ-за стола, пошла къ двери.

— Лизавета Егоровна! — позвалъ ее обиженно Бѣлоярцевъ.

Лиза остановилась и молча оглянулась черезъ плечо.

— По крайней мѣрѣ, мы съ вами послѣ этого говорить не можемъ,—произнесъ, стараясь поправиться, Бѣлоярцевъ.

Лиза пошла далѣе, не удостоивъ его никакимъ отвѣтомъ.

— Это ужасно! это ужасно! — повторяли долго въ залѣ, группируясь около Бѣлоярцева и упоминая часто имя Лизы.

— Или она, или я,—говорилъ Бѣлоярцевъ.

Рѣшено было, что, конечно, не Бѣлоярцевъ, а Лиза должна оставить *Домъ Согласія*.

Лиза узнала объ этомъ рѣшеніи въ тотъ же вечеръ и объявила, что она очень рада никому не мѣшать пресмыкаться передъ кѣмъ угодно, даже передъ Бѣлоярцевымъ.

Съ Лизою поднялась и Ступина, которой все не жилось въ *Домѣ*.

Дней пять онѣ ѣздили, отыскивая себѣ квартиру, но не находили того, чего имъ хотѣлось, а въ это время случились два непріятныя обстоятельства: Райнеръ простудился и заболѣлъ острымъ воспаленіемъ легкихъ, и прислуга *Дома*

Согласія, наскучивъ безтолковыми требованіями гражданъ, взбунтовалась и требовала разсчета.

— Что вамъ такое? чѣмъ вамъ худо?—урезонивалъ Бѣлоярцевъ кухарку и дѣвушекъ.

— Какъ не худо, помилуйте,—отвѣчала въ одинъ голосъ прислуга,—не знаемъ у кого живемъ и кого слушаться.

— Да на что вамъ слушаться?

— Да какъ же хозяина не слушаться! А тутъ, кто тутъ старшій?

— А на что тебѣ старшій! Ну, я вамъ всѣмъ старшій. Надя! приказываю тебѣ, чтобъ ты нынче пришла мнѣ пятки почесать.—Я тебѣ старшій, ты, смотри, слушайся,—приходи.

Дѣвушки фыркали надъ бѣлоярцевскими прибаутками, но дня черезъ два опять начинали:

— Нѣтъ вы, какъ вамъ угодно, а вы извольте себѣ другую прислугу имѣть.

Надо было перемѣнять прислугу.

Лизы никогда не было дома. На вопросы, которые Бѣлоярцевъ предлагалъ о ней другимъ, ему отвѣчали, что Лиза теперь занята, что она днюетъ и ночуетъ у Райнера, но что она непремѣнно ихъ оставитъ.

Обстоятельство это было для Бѣлоярцева очень непріятно. Онъ началъ поговаривать, что въ интересахъ ассоціаціи это нужно бы прекратить, что онъ готовъ пожертвовать своимъ самолюбіемъ, и проч., и проч.

Ассоціація соглашалась, что лишаться такого члена, какъ Лиза, да еще на первыхъ порахъ, для нихъ весьма не выгодно.

— Это такъ,—подтвердилъ Бѣлоярцевъ, и на слѣдующій день утромъ прочелъ всѣмъ своимъ слѣдующее письмо: «Лишивъ себя права говорить съ вами, я встрѣтилъ въ васъ, Лизавета Егоровна, въ этомъ отношеніи такое сочувствіе, которое меня поставило въ совершенную невозможность объясниться съ вами еще разъ. Вы, повидимому, не находите въ этомъ надобности, но я нахожу и еще разъ

хочу испытать, насколько возможно разъяснить возникшія между нами недоразумѣнія. Рѣшившись писать къ вамъ, я вовсе не имѣю въ виду оправдываться въ вашихъ глазахъ въ чемъ бы то ни было. Въ настоящую минуту, если настроеніе вашихъ мыслей еще не измѣнилось, если вы ничего сами себѣ не разъяснили, — то я считаю это дѣломъ безполезнымъ. Странно было бы объяснять кому-нибудь, что я вовсе не то, что̀ обо мнѣ думаютъ, въ то время, когда, можетъ-быть, вовсе не желаютъ никакъ обо мнѣ думать. Я хочу говорить не о себѣ, а о васъ и, устранивъ на время всѣ личные счеты, буду съ вами объясняться просто, какъ членъ извѣстной ассоціаціи съ другимъ членомъ той же ассоціаціи.

«Я слышалъ, что вы насъ покидаете. Въ числѣ прочихъ я считаю необходимымъ высказать по этому поводу мое мнѣніе.

«Еще очень недавно я желалъ, чтобы вы насъ оставили, потому что видѣлъ въ васъ причину всѣхъ раздоровъ, возникавшихъ у насъ въ послѣднее время. Я даже высказалъ это мнѣніе въ полной увѣренности, что вы его узнаете. Нѣсколько позже, когда я уже успѣлъ освободиться изъ-подъ вліянія того предубѣжденія, которое развилось у меня относительно васъ, — нѣсколько позже, положивъ руку на сердце, я могъ уже безпристрастнѣе взглянуть на дѣло и, слѣдовательно, быть строже и къ самому себѣ; я пришелъ къ тому заключенію, что высказывать свои личныя желанія относительно другого никто изъ насъ не въ правѣ, тѣмъ болѣе, если эти желанія клонятся къ удаленію одного изъ членовъ. Если двое не уживаются, то, повидимому, справедливѣе всего было бы предоставить это дѣло сужденію общаго собранія, которое можетъ по этому случаю назначить экстренное засѣданіе и рѣшить этотъ спорный вопросъ на томъ основаніи: кто изъ двухъ полезнѣе для общества, т. е. ассоціаціи.

«Это мнѣніе я высказалъ всѣмъ нашимъ, но тутъ же убѣдился, что эта мѣра, не смотря на всю свою справед-

ливость, вовсе не такъ практична и легко примѣнима, какъ мнѣ казалось прежде.—Разсуждать о возможной полезности людей, не принесшихъ еще никакой существенной пользы, дѣйствительно неловко. Богъ знаетъ, что еще мы сдѣлаемъ; во всякомъ случаѣ заставить нашихъ почтенныхъ членовъ разсуждать объ этомъ, отрывать ихъ для того только, чтобы они, проникнувшись пророческимъ духомъ, изрекли каждый, по мѣрѣ силъ своихъ, прорицанія по поводу нашихъ домашнихъ дрязгъ,—желать этого, по-моему, очень безразсудно.—Такимъ образомъ самъ я разрушилъ мною самимъ созданныя предположенія и планы и пришелъ къ тому заключенію, что время, и одно только время, сдѣлаетъ все, что нужно и притомъ гораздо лучше того, какъ мы думаемъ. Время устроитъ правильныя отношенія и покажетъ людей въ настоящемъ ихъ свѣтѣ и вообще поможетъ многому.

«Все это, разумѣется, можетъ случиться только тогда, когда мы всецѣло рѣшимся довѣриться тѣмъ истинамъ, которыя выработаны частію людьми нашего взгляда за границею, а частію нами самими. Будемъ лучше руководиться тѣмъ, что выработаетъ время, т. е. самая жизнь, нежели своимъ личнымъ минутнымъ и, слѣдовательно, не безпристрастнымъ мнѣніемъ.

«Все это въ переводѣ на разговорный русскій языкъ можетъ быть выражено въ слѣдующей формѣ:

«Лизавета Егоровна!

«Хотя я твердо увѣренъ, что вы противъ меня не правы, но для общаго блага я прошу васъ:

«Лизавета Егоровна!

«Попробуйте *на-время* забыть все, что̀ между нами было, и не покидайте насъ.

«Съ отличнымъ уваженіемъ имѣю честь быть Бѣлоярцевъ».

— Это надо прочесть въ экстренномъ засѣданіи,—замѣтила, по окончаніи письма, Бертольди.

— Помилуйте, на что же тутъ экстренное засѣданіе, когда мы все равно всѣ въ сборѣ?

— Да, но все-таки...

— Э, вздоръ: одобряете вы, господа, такое письмо?

Всѣ одобрили письмо, и въ первый разъ, какъ Лиза пріѣхала домой отъ больного Райнера, оно было вручено ей черезъ Бертольди.

Лиза, пробѣжавъ письмо, сказала «хорошо» и снова тотчасъ же уѣхала.

— Что же значитъ это *хорошо*?—добивался Бѣлоярцевъ у Бертольди.

— Ну, разумѣется, остается,—отвѣчала она съ увѣренностью.

А между тѣмъ приближалась девятая декада, тотъ девятый валъ, котораго Бѣлоярцевъ имѣлъ много основаній опасаться. По болѣзни Райнера, ни у кого изъ женщинъ не было никакой работы; самъ Бѣлоярцевъ, находясь въ тревогѣ, тоже ничего не сдѣлалъ въ этотъ мѣсяцъ; прислуга отошла и вновь никого нельзя было нанять. Жили съ одной кухаркой, деревенской бабой Марѳой, и ея мужемъ, маленькимъ мужиченкомъ, Мартемьяномъ Ивановымъ, носившимъ необыкновенно огромные сапожищи, подбитые въ три ряда шляпными гвоздями. Мужиченко этотъ состоялъ истопникомъ, ставилъ самовары и исправлялъ должность лакея и швейцара.

Бѣлоярцевъ вовсе и не составлялъ отчета за три послѣднія декады. Нечего было составлять; все шло въ дефицитъ. Онъ ухищрялся выдумать что-нибудь такое, чему бы дать значеніе вопроса, не терпящаго ни малѣйшаго отлагательства, и замять рѣчь объ отчетѣ.

Вопросъ о прислугѣ помогъ ему. Бѣлоярцевъ рѣшилъ предложить, чтобы дать болѣе мѣста равенству, обходиться вовсе безъ прислуги и самимъ раздѣлить между собою всѣ домашнія обязанности.

— Бахарева можетъ наливать чай, говорилъ онъ, сдѣлавъ это предложеніе въ обыкновенномъ засѣданіи и стараясь, такимъ образомъ, упрочить самую легкую обязанность за Лизою, которой онъ сталъ не въ шутку бояться.—

Я буду мести комнаты, накрывать на столъ, а подавать блюда будетъ Бертольди, или нѣтъ, лучше эту обязанность взять Прорвичу. Бертольди нѣтъ нужды часто ходить изъ дому—она пусть возьметъ на себя отпирать двери.

— Я согласна, отвѣчала Бертольди, — только не ночью; я ночью крѣпко сплю.

— Ночью Мартемьянъ Ивановъ спитъ въ передней.

— Ну, а днемъ я согласна.

— А остальныя обязанности вы, mesdames, разберите между собою.

Такъ рѣшено было жить безъ прислуги и въ день общаго собранія занять публику изложеніемъ выгодъ отъ этой новой мѣры, выработанной самою жизнью.

Вечеръ, въ который должно было происходить третье общее собраніе, былъ темный, гадкій, туманный, какими нерѣдко наслаждается Петербургская сторона.

По дому давно все было готово къ принятію гостей, но гостей никого не было. Такъ прошелъ часъ и другой. Бѣлоярцевъ похаживалъ по комнатѣ, поправлялъ свѣчи, перевертывалъ цвѣточные вазоны и опять усаживался, а гостей попрежнему не было.

— Вѣрно, никого не будетъ,—проговорилъ онъ.

— Да, надо обсудить, при скольких лицахъ мы можемъ составлять общее собраніе,—замѣтила Бертольди.

— Что жъ тутъ обсуждать: общее собраніе наличныхъ членовъ, да вотъ и все...

— Стало-быть, мы сейчасъ можемъ открыть общее собраніе.

— Конечно, можемъ.

— Господа! по мѣстамъ; интересная вещь: вопросъ о прислугѣ. Бахарева, кажется, еще не знакома съ этимъ вопросомъ.

Лиза, по обыкновенію читавшая, приподняла голову и посмотрѣла вопросительно на Бертольди.

Бѣлоярцевъ воспользовался этимъ движеніемъ и, остановясь противъ Лизы въ полупочтительной, полунебрежной

позѣ, самымъ вкрадчивымъ дипломатическимъ баскомъ произнесъ: «Въ одномъ изъ экстренныхъ засѣданій, бывшихъ въ ваше отсутствіе, мы имѣли разсужденіе по вопросу о прислугѣ. Вамъ, Лизавета Егоровна, извѣстно, что всѣ попытки ввести бывшихъ здѣсь слугъ въ интересы ассоціаціи и сдѣлать ихъ нашими товарищами были безуспѣшны. Выросши въ своекорыстномъ обществѣ, они не могли себѣ усвоить нашихъ взглядовъ и настаивали на жалованьи. Потомъ и жалованье ихъ не удовлетворяло, имъ захотѣлось имѣть *хозяина* (Бѣлоярцевъ пожалъ плечами съ сострадательнымъ удивленіемъ). Мы должны были отпустить трехъ дѣвушекъ и остались при одной Марѳѣ съ ея мужемъ. Вновь приходившіе слуги тоже оказываются неудобными: ни одной нельзя растолковать выгодъ ея положенія въ нашемъ устройствѣ. Что жъ дѣлать! (Бѣлоярцевъ вздохнулъ).

«Мы, Лизавета Егоровна, рѣшили, какъ въ видахъ экономіи, такъ и преслѣдуя идею совершеннаго равенства и братства, жить безъ прислуги. Мы вотъ какъ полагали раздѣлить наши обязанности по дому. (Бѣлоярцевъ разсказалъ то, что мы уже знаемъ, и добавилъ). Мы ждали только вашего согласія для того, чтобы считать это дѣло вполнѣ рѣшеннымъ и практиковать его».

— Что жъ, если это нужно, я согласна,—отвѣчала Лиза, едва удостоивая Бѣлоярцева во все время этого разговора лѣнивымъ и равнодушнымъ полувзглядомъ.

— Значитъ, мы, господа, можемъ считать этотъ вопросъ вполнѣ рѣшеннымъ.

— Да, если другіе на него согласны, — отвѣчала Лиза.

— Другіе всѣ уже вотировали этотъ вопросъ въ экстренномъ засѣданіи,—отвѣчалъ Бѣлоярцевъ и, измѣнивъ тонъ въ еще болѣе ласковый, благодарилъ Лизу за ея вниманіе къ его просьбѣ.

— Я осталась потому, что это находили нужнымъ для дѣла, а вовсе не для васъ. Вамъ благодарить меня не за что,—отвѣчала Лиза.

Прескучно и пренатянуто становилось, а вечера еще

оставалось много. Бѣлоярцевъ кропотался и упрекалъ русскія натуры, неспособныя ничего держаться постоянно.

— Два раза пришли и конецъ, и надоѣло, — разсказывалъ онъ, все болѣе вдохновляясь и расходясь на русскую натуру.

— Они очень умно поступаютъ, — произнесла во время одной паузы Лиза.

— Умно, Лизавета Егоровна?

— Конечно. Здѣсь тоска, комедіи и больше ничего.

Бѣлоярцевъ сталъ оправдываться. Лиза дала ему возможность наговорить бездну умныхъ словъ и потомъ сказала:

— Вы, пожалуйста, не думайте, что я съ вами примирилась. Я не уважаю людей, которые ссорятся для того, чтобы мириться, и мирятся для того, чтобы опять ссориться. Я въ васъ не вѣрю и не уважаю васъ. (Растерявшійся Бѣлоярцевъ краснѣлъ и даже поклонился. Онъ, вѣроятно, хотѣлъ поклониться съ ироніей, но ироніи не вышло въ его неумѣстномъ поклонѣ).—Я думаю, что наше дѣло пропало въ самомъ началѣ и пропало оно потому, что между нами находитесь вы, продолжала Лиза. — Вы своимъ мелкимъ самолюбіемъ отогнали отъ насъ полезныхъ и честныхъ людей, преданныхъ дѣлу безъ всякаго сравненія больше, чѣмъ вы, человѣкъ фальшивый и тщеславный. (Бѣлоярцевъ пунсовѣлъ: раздувавшіяся ноздерки Лизы не обѣщали ему ни пощады, ни скораго роздыха).—Вы, продолжала Лиза,— все постарались перепортить и ничему не умѣете помочь. Безъ всякой нужды вы отдѣлили насъ отъ всего міра.

— Этого требовала безопасность.

— Полноте, пожалуйста: этого требовали ваши эгоистическіе виды. Вмѣсто того, чтобы привлекать людей удобствами жизни нашего союза, мы замкнулись въ своемъ узкомъ кружочкѣ и обратились въ шутовъ, надъ которыми начинаютъ смѣяться. Прислуга насъ бросаетъ; люди не хотятъ идти къ намъ; у насъ скука, тоска, которыя вамъ нужны для того, чтобы только всѣ слушали здѣсь васъ, а не кого другого. Вмѣсто чистыхъ началъ демократизма и

всепрощенія, вы ввели самый чопорный аристократизмъ и нетерпимость. Вы вводите теперь равенство, заставляя насъ обтирать башмаки другъ другу, и сортируете людей, искавшихъ возможности жить съ нами, строже и придирчивѣе, чѣмъ каждый, сдѣлавшійся губернскимъ аристократомъ. Вы толкуете о беззаконности наказанія, а сами отлучаете отъ нашего общества людей, имѣющихъ самые обыкновенные пороки. Если бы вы были не фразеръ, если бы вы искали прежде всего возможности спасти людей отъ дурныхъ склонностей и привычекъ, вы бы не такъ поступали. Мы бы должны принимать всякаго, кто къ намъ просится, и дѣйствовать на его нравственность добрымъ примѣромъ и готовностью служить другъ другу. Я полагала, и всѣ или многіе такъ думали, что это такъ и будетъ, а вышло... вотъ эта комедія, разговоры, споры, засѣданія, трата занятыхъ подъ общую поруку денегъ и больше ничего.

— Деньги же цѣлы; онѣ восполняются.

— Неправда. Вы читаете отчеты, въ которые не включается плата за квартиру; вы не объявляете, сколько остается занятыхъ денегъ.

— Денегъ еще много.

— А напримѣръ?

— Около девятисотъ рублей.

— Всего около девятисотъ рублей!

— Да, это за исключеніемъ того, что заплачено за квартиру, на обзаведеніе и на все, на все.

— Ну, господа, мы, значитъ, можемъ себя поздравить. Въ три мѣсяца мы издержали тысячу сто рублей, кромѣ нашего заработка; а домъ у насъ пустъ и о работѣ только разговоры идутъ. Можно надѣяться, что еще черезъ три мѣсяца у насъ ничего не будетъ.

— Что жъ? если вы рисуете себѣ все это такими черными красками и боитесь... началъ было Бѣлоярцевъ, но Лиза остановила его словами, что она ничего не боится и

остается вѣрною своему слову, но уже ничего не ожидаетъ ни отъ кого, кромѣ времени.

— А наши личныя отношенія съ вами, monsieur Бѣлоярцевъ, добавила она,—пусть останутся прежнія: намъ съ вами говорить не о чемъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Камрады.

Райнеръ очень медленно оправлялся послѣ своей тяжкой и опасной болѣзни. Во все это время Лиза не оставляла его: она именно у него дневала и ночевала. Ея должность въ чайной *Дома* исправляла Ступина. Райнера навѣщали и Полинька, и Евгенія Петровна; но постоянной и неотлучной сидѣлкой его все-таки была одна Лиза. Въ это время въ *Домѣ* и за *Домомъ* стали ходить толки, что Лиза влюблена въ Райнера, и въ это же время Лиза имѣла случай болѣе, чѣмъ когда-нибудь, узнать Райнера и людей его окружающихъ. Она пришла къ нему на четвертый день его болѣзни, заставъ его совершенно одинокаго съ растерявшейся и плачущей Афимьей, которая разсказала Лизѣ, что у нихъ нѣтъ ни гроша денегъ, что она боится, какъ бы Василій Ивановичъ не умеръ, и чтобы ее не потащили въ полицію.

— За что же въ полицію?—спросила Лиза.

— Да какъ же, матушка барышня. Я ужъ не знаю, что мнѣ съ этими архаровцами и дѣлать. Словъ моихъ они не слушаютъ, драться съ ними у меня силушки нѣтъ, а они все тащатъ, все тащатъ: кто что зацѣпитъ, то и тащитъ. Придутъ будто навѣстить, чаи имъ ставь, да въ лавкѣ колбасы на книжечку бери, а оглянешься—кто-нибудь какую вещь зацѣпилъ и тащитъ. Стану останавливать, мы, говорятъ, его спрашивали. А его что спрашивать! Онъ все равно, что подаруй безштанный. Какъ дитя малое, все у него бери.

Лиза освѣдомилась, гдѣ же товарищи Райнера?

— Да вотъ ихъ, всѣ разбѣжались. Какъ вороны, почуяли, что корму нѣтъ больше, и разбѣжались всѣ. Теперь, докладываю вамъ, который только наскочитъ, цапнетъ что ему надо и мчитъ.

— Кто жъ его лѣчитъ?—освѣдомилась опять Лиза.

— Да кто лѣчитъ? Сулима нашъ прописываетъ. Вотъ сейчасъ передъ вашимъ приходомъ чуть съ нимъ не подралась: рицептъ прописалъ, да смотрю, свои осматки съ ногъ скидаетъ, а его новые сапожки надѣваетъ. Вамъ, говоритъ, пока вы больны, выходить некуда. А онъ молчитъ. Ну, что же это такое: послѣдніе сапожонки, и то у живого еще съ ногъ волокутъ! Вѣдь это жъ аспиды, а не люди.

Лиза взяла извозчика и поѣхала къ Евгеніи Петровнѣ. Оттуда тотчасъ же послала за Розановымъ. Черезъ часъ Розановъ вмѣстѣ съ Лобачевскимъ были у Райнера, назначили ему лѣченіе и послали за лѣкарствомъ на розановскихъ же лошадяхъ.

Лиза возвратилась къ больному отъ Евгеніи Петровны съ бѣльемъ, вареньемъ, лимонами и деньгами. Она застала еще у него Розанова и Лобачевскаго.

— Что?—спросила она шопотомъ Розанова.

— Ничего пока, болѣзнь трудная, но отчаиваться не слѣдуетъ.

— А вы, докторъ, какого мнѣнія?—отнеслась она къ Лобачевскому.

— Наблюдайте, чтобъ не было вѣтру, но чтобъ воздухъ былъ чистъ и чтобъ не шумѣли, не тревожили больного.— Вы заѣзжайте часамъ къ десяти, а я буду передъ утромъ,— добавилъ онъ, обратясь къ Розанову, и вышелъ, никому не поклонившись.

Это было въ началѣ вечера.

Лиза зажгла свѣчу, надѣла на нее лежавшій на каминѣ темненькій, бумажный абажурчикъ и, усѣвшись въ уголкѣ, развернула какую-то книгу. Она плохо читала. Ее занимала судьба Райнера и вопросъ, что онъ дѣлать и что сдѣ-

лаетъ? А тутъ эти странные люди! Что же это такое за подборъ странный, думала Лиза.—Тамъ вездѣ было чортъ знаетъ что такое, а это ужъ совсѣмъ изъ рукъ вонъ. Неужто этому нахальству нѣтъ никакой мѣры и неужто все это дѣлается во имя принципа?

Часовъ въ десять къ больному заѣхалъ Розановъ, посмотрѣлъ, попробовалъ пульсъ и сказалъ:

— Ничего новаго.

Въ четвертомъ часу ночи заѣхалъ Лобачевскій, перемѣнилъ лѣкарство и ничего не сказалъ.

Передъ утромъ Лиза задремала въ креслѣ и, проспавъ около часа, встрепенулась и опять начала давать больному лѣкарство.

Въ десять часовъ Райнера навѣстили Розановъ и Лобачевскій.

— Слава Богу, ему лучше, сказалъ Лизѣ Розановъ.— Наблюдайте только, Лизавета Егоровна, чтобы онъ не говорилъ и чтобы его ничѣмъ не безпокоили. Лучше всего, добавилъ онъ,—чтобы къ нему не пускали посѣтителей.

Доктора обѣщались заѣхать вечеромъ.

Въ два часа Лиза слышала, какъ Афимья выпроваживала лѣкаря Сулиму.

— Тутъ ужъ настоящіе лѣкаря были,—говорила она ему.

— Поди ты, дура, прочь,—говорилъ Сулима.

— Ну, дура, не дура, а васъ пускать не приказано и ходить вамъ сюда нечего,—отвѣчала раздраженная баба.

Сулима чертокнулъ ее, хлопнулъ дверью и ушелъ.

Около полудня, когда Афимья пошла въ аптеку за новымъ лѣкарствомъ, въ комнату Райнера явились Котырло и Кусицынъ.

— Ну, что, каково вамъ, Райнеръ?—громкимъ и веселымъ голосомъ крикнулъ Котырло.

Лиза остановила его, но было уже поздно: больной проснулся, открылъ на нѣсколько секундъ глаза и завелъ ихъ снова.

— Лучше ему?—нѣсколько тише спросилъ Лизу Котырло.

— Не знаю: ему очень нуженъ покой,—отвѣчала Лиза, кладя конецъ разговору.

— Ну, я пойду, Кусицынъ. Мы себѣ наняли очень хорошенькую квартиру,—счелъ онъ нужнымъ объяснить Лизѣ, которую встрѣчалъ на общихъ собраніяхъ въ *Домѣ Согласія*, кивнулъ головой и вышелъ.

— У него, мнѣ кажется, нѣтъ и денегъ, — прошепталъ Кусицынъ.

Лиза кивнула утвердительно головою.

Кусицынъ подошелъ къ столику, взялъ райнерово портмоне и пересмотрѣлъ деньги. Тамъ были три рублевые билета и очень немного мелочи.

— Это что! это еще что такое! — раздался громкій голосъ Афимьи въ узенькомъ коридорчикѣ, какъ разъ за спальнею Райнера. — Положьте, вамъ говорю, положьте! (Слышно было, что Афимья у кого-то что-то вырываетъ).

Лиза встала и поспѣшно вышла въ залу.

Въ дверяхъ, у входа въ узенькій коридорчикъ, ей представилась фигура Афимьи, которая съ яростью вырывала у кого-то, стоящаго въ самомъ коридорѣ, сѣрый райнеровъ халатъ на бѣлыхъ мерлушкахъ.

При появленіи Лизы, бѣдная женщина сдѣлала отчаянное усиліе и халатъ упалъ къ ея ногамъ.

— Халатъ послѣдній уже волокутъ! воскликнула она, показывая Лизѣ свои трофеи. — Ахъ, вы, глотики проклятые, нѣтъ на васъ пропасти!

— Кто же это? — освѣдомилась Лиза.

— Да вотъ же все эти, что опивали да объѣдали его, а теперь тащатъ, кто за что схватится. Ну, вотъ видите, не правду жъ я говорила: послѣдній халатъ,—вотъ онъ,—одинъ только и есть, ему самому, станетъ обмогаться, не во что будетъ одѣться, а этотъ глотикъ ужъ и тащитъ безъ меня.—«Онъ, говоритъ, самъ обѣщалъ», перекривляла Афимья. Да кто вамъ, нищебродамъ, не пообѣщаетъ! Вы-

просите. — А вотъ онъ обѣщалъ, а я не даю: вотъ тебѣ и весь сказъ.

Шумъ, произведенный Афимьею и Котырло при ихъ сраженіи за халатъ, разбудилъ больного и онъ тревожно спросилъ о причинѣ этого шума. Кусицынъ, мыча и расхаживая по комнатѣ, разсказалъ ему, что это и за что происходитъ.

Райнеръ сдѣлалъ нетерпѣливо раздражительное движеніе и попросилъ Кусицына кликнуть къ нему Афимью.

— Отдавайте; зачѣмъ вы отнимаете, Афимья!

— А какъ же: такъ и давать имъ все?

— Ахъ, пусть ихъ! — болѣзненно произнесъ Райнеръ.

Афимья разставила руки и пошла бормоча: «ну, что-жъ, пусть тащатъ! Видно надо бросить все: волоки, ребята, кто во что гораздъ».

Кусицынъ продолжалъ ходить по комнатѣ и, остановясь передъ столикомъ у Райнерова изголовья, произнесъ:

— Гмъ, у васъ, Райнеръ, тутъ три рубля: я вамъ рубль оставлю, а два мнѣ нужны перевезтись на квартиру.

Райнеръ качнулъ головою въ знакъ согласія и закрылъ вѣки. Кусицынъ вынулъ изъ его портмоне два рубля, спокойно положилъ ихъ въ свой жилетный карманъ и еще спокойнѣе вышелъ.

Лиза, наблюдавшая всю эту сцену, остолбенѣла.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Совершенно независимая дама.

Мѣсяцевъ за семь до описываемой нами поры, когда еще въ Петербургѣ было тепло, и бѣлыя ночи, утомляя глаза своимъ непріятнымъ полусвѣтомъ, сокращали расходы на освѣщеніе бѣдныхъ лачугъ, чердаковъ и подземельевъ, въ довольно просторной, но до крайности неопрятной и невеселой квартирѣ происходила довольно занимательная сцена.

Квартира, о которой идетъ рѣчь, была въ четвертомъ

этажѣ огромнаго, неопрятнаго дома въ Офицерской улицѣ. Подниматься въ нее нужно было по черной, плитяной лѣстницѣ, всегда залитой брызгами зловонныхъ помой и мѣстами закопченной теплящимися здѣсь, по зимнимъ вечерамъ, ночниками. Со входа въ квартиру была довольно большая и совершенно пустая передняя, съ тремя дверями. Одна изъ этихъ дверей, налѣво отъ входа, вела въ довольно просторную кухню; другая, прямо противъ входа, — въ длинную узенькую комнатку съ однимъ окномъ и каминомъ, а третья, направо противъ кухонной двери,— въ залъ, за которымъ въ сторонѣ была еще одна, совершенно изолированная, спокойная комната съ двумя окнами. Все убранство первой, узенькой комнаты состояло изъ мягкаго пружиннаго дивана, обитаго нѣкогда голубою матеріею, двухъ плохенькихъ стульевъ и ломбернаго стола, на которомъ были разложены разныя письменныя принадлежности. Въ залѣ было еще пустѣе. Кромѣ шести плетеныхъ стульевъ и круглаго обѣденнаго стола, здѣсь не было ровно ничего. Задняя комната служила спальнею. Меблировка ея тоже не отличалась ни роскошью, ни вкусомъ, ни особеннымъ удобствомъ, но все-таки эта комната была много полнѣе прочихъ. Здѣсь около стѣнъ стояли двѣ ясеневыя кровати, изъ которыхъ одна была покрыта сѣрымъ байковымъ, а другая ватнымъ кашемировымъ одѣяломъ. Въ головахъ у кровати, покрытой кашемировымъ одѣяломъ, стоялъ орѣховый спальный шкафикъ, а въ ногахъ женская поясная ванна. Далѣе, здѣсь были два мягкія кресла съ ослабѣвшими пружинами; столъ на подобіе письменнаго; шкафъ для платья, комодъ и этажерка, на которой въ безпорядкѣ лежало нѣсколько книгъ и двѣ мацерованныя человѣческія кости.

Въ этой квартирѣ жила, разъѣхавшаяся съ мужемъ, красивая маіорша Мечникова, которую мы встрѣчали въ *Домѣ Согласія*.

Маіорша Мечникова, смѣлая, красивая и не столько страстная, сколько чувственная женщина, имѣла лѣтъ

около двадцати семи или восьми. Она была очень неглупа, воспріимчива и способна легко понимать и усвоивать многое, но, по крайней живости своего характера, не останавливалась серьезно ни надъ чѣмъ въ теченіе всей своей жизни. Умъ и нравственныя достоинства людей она могла разбирать довольно ясно, но положительно не придавала имъ никакого особеннаго значенія. Она сходилась съ тѣми, съ кѣмъ ее случайно сталкивали обстоятельства, и сближалась весьма близко, но безъ всякой дружбы, безъ любви, безъ сочувствій: вообще безъ всякаго участія какого-нибудь чистаго, глубокаго чувства. Она никогда не толковала ни о какой потерѣ и легко переходила къ новымъ знакомствамъ и новымъ связямъ, которыя судьба бросала на ея дорогу. Она не была злою женщиной и способна была помочь встрѣчному и поперечному чѣмъ только могла; но ее надо было или прямо попросить объ этой помощи, или натолкнуть на нее: сама она ни на чемъ не останавливалась и постоянно неслась стремительно впередъ, отдаваясь своимъ неразборчивымъ инстинктамъ и побужденіямъ. Въ два года, которые провела разставшись съ дѣтьми и мужемъ, она успѣла совершенно забыть и о дѣтяхъ, и о мужѣ, и считала себя лицомъ, вполнѣ свободнымъ отъ всякихъ нравственныхъ обязательствъ.

По образу своей жизни и нѣкоторымъ своимъ воззрѣніямъ, Мечникова вовсе не имѣла ничего общаго съ женщинами новыхъ гражданскихъ стремленій. Она дорожила только свободою дѣлать, что̀ ей захочется, но до всего остального міра ей не было никакого дѣла. Ей было все равно, благоденствуетъ ли этотъ міръ, или изнываетъ въ безысходныхъ страданіяхъ: ей и въ голову не приходило когда-нибудь помогать этимъ страданіямъ. Трудиться она не умѣла и никогда не пускалась ни въ какія разсужденія о трудѣ, а съ младенческою безпечностью проживала свои приданыя деньжонки, сбереженныя для нея мужемъ. О томъ, что̀ будетъ впереди, когда эта небольшая казна изсякнетъ, Мечникова не задумывалась ни на минуту.

Жила она безалаберно, тратила много и безразсчетливо, давала взаймы и начинала послѣднюю сотню рублей такъ же весело и безпечно, какъ тогда, когда, пріѣхавъ въ столицу, расщипала трехтысячную связку ассигнацій.

Съ гражданами она познакомилась черезъ Красина, къ которому по пріѣздѣ въ Петербургъ отнеслась какъ къ другу своего дѣтства, и съ которымъ весьма скоро успѣла вступить въ отношенія, значительно согрѣвшія и восполнившія ихъ дѣтскую дружбу.

Въ это время въ Петербургѣ происходилъ наборъ гражданъ.

Красинъ очень хорошо зналъ, что печень Мечниковой не предрасположена ни къ какой гражданской хворобѣ, но неразборчивость новой корпораціи, вербовавшей въ свою среду все, что̀ стало какъ-нибудь въ разладъ съ такъ-называемой разумной жизнью,—все, что̀ приняло положеніе исключительное и относилось къ общественному суду и общественной морали болѣе или менѣе пренебрежительно или равнодушно, дѣлала умѣстнымъ сближеніе всякаго такого лица съ этою новою гражданскою группою. Образъ жизни Мечниковой, по принципамъ этой группы, не могъ казаться ни зазорнымъ, ни неудобнымъ для сопричисленія ея къ этой же группѣ.

Красинъ познакомилъ Мечникову съ Бертольди, та поговорила съ нею, посмотрѣла на ея житье-бытье и объявила своимъ, что Мечникова глупа, но фактическая гражданка.

Съ сей поры это почетное званіе осталось за Мечниковой, и она при иныхъ смѣтахъ сопричислялась къ разбросанному еще въ то время кружку гражданъ.

Сталъ заводиться *Домъ Согласія*. Бѣлоярцевъ первый явился къ Мечниковой, красно и убѣдительно развилъ ей всѣ блага, которыя ожидаютъ въ будущемъ соединяющихся гражданъ, и приглашалъ Мечникову. Мечникова сначала было и согласилась, но потомъ, раздумавъ непривычною къ размышленію головою, нашла, что все это какъ-то непонятно, неудобно, даже стѣснительно, и отказалась.

— Отчего же? Вы будете совершенно свободны во всѣхъ вашихъ дѣйствіяхъ,—безуспѣшно убѣждалъ ее, позируя, Бѣлоярцевъ.

— Нѣтъ, monsieur Бѣлоярцевъ, отвѣчала съ своей всегдашней улыбкой Мечникова,—я не могу такъ жить: я люблю совершенную независимость и, къ тому же, у меня есть сестра, ребенокъ, которая въ нынѣшнемъ году кончаетъ курсъ въ пансіонѣ. Я на-дняхъ должна буду взять къ себѣ сестру.

— Что же, это тѣмъ лучше, настаивалъ Бѣлоярцевъ.— Для правильнаго развитія молодой дѣвушки будетъ гораздо болѣе шансовъ тамъ, въ сообществѣ людей, выработавшихъ себѣ истинные жизненные принципы, чѣмъ въ средѣ людей, развращенныхъ рутиною. Мнѣ кажется, что это обстоятельство именно и должно бы склонить васъ въ пользу моего предложенія. Вы видите, сколькихъ трудовъ и усилій надъ собою стоило намъ, чтобы выдѣлиться изъ толпы и стать выше ея предразсудковъ. Зачѣмъ же вашу сестру опять вести тою же тяжелой дорогой? Одно поколѣніе должно приготовлять и вырабатывать для другого. Мы прошли одно,—они должны идти дальше насъ. Имъ не нужно терять попусту времени на черную работу, которую мы должны были производить, вырывая изъ самихъ себя завѣты нашего гнилого прошедшаго. Помилуйте! За что же оставлять ее съ ворами и лицемѣрами. Если вы несомнѣнно вѣрите (а этому нельзя не вѣрить), что всѣ наши пороки и своекорыстныя стремленія, и ложный стыдъ, и ложная гордость прививаются намъ въ цвѣтущіе годы нашей юности, то какъ же вамъ не позаботиться удалить дѣвушку отъ растлѣвающаго вліянія среды. Надо поставить ее въ сообщество людей, понятія которыхъ о жизни свѣтлы, честны и свободны.

— Нѣтъ, нѣтъ, monsieur Бѣлоярцевъ,—рѣшительно отозвалась Мечникова, позволившая себѣ слегка зѣвнуть во время его пышной рѣчи,—моя сестра еще слишкомъ молода и еще, Богъ ее знаетъ, что теперь изъ нея вышло. Надо

прежде посмотрѣть, что она за человѣкъ,—заключила Мечникова и, наскучивъ этимъ разговоромъ, рѣшительно встала съ своего мѣста.

— Я вамъ говорила, что она дура, сказала Бертольди, выслушавъ разсказъ Бѣлоярцева о его разговорѣ съ Мечниковою.—Она по натурѣ прямая гражданка, но такъ глупа.

Вскорѣ послѣ этого разговора госпожа Мечникова вышла у своей квартиры изъ извозчичьей кареты и повела на черную, облитую зловонными помоями лѣстницу молодое семнадцатилѣтнее дитя въ легкомъ бѣленькомъ платьицѣ и съ гладко причесанной русой головкой.

— Вотъ здѣсь мы будемъ спать съ тобою, Агата, говорила Мечникова, введя за собою сестру въ свою спальню,— здѣсь будетъ наша зала, а тутъ твой кабинетецъ, докончила она, введя дѣвушку въ извѣстную намъ узенькую комнатку.—Здѣсь ты можешь читать, пѣть, работать и вообще дѣлать, что тебѣ угодно. Въ своей комнатѣ ты полная госпожа своихъ поступковъ.

Пансіонерка расцѣловала сестру за комнату, за дарованную ей свободу, за конфекты, за ленты, которыми ее дарила госпожа Мечникова, и водворилась на жительство въ ея квартирѣ.

Отсюда начинается одинъ анекдотъ, который случился съ этою дѣвушкою и былъ поводомъ къ самымъ печальнымъ явленіямъ для нѣкоторыхъ лицъ въ нашемъ романѣ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Анекдотъ.

Сестрѣ госпожи Мечниковой шелъ только семнадцатый годъ. Она принадлежала къ натурамъ не рано складывающимся и формирующимся. Фигура ея была еще совершенно дѣтская, талія прямая и узенькая, руки длинныя, въ плечахъ не было еще той пріятной округлости, которая составляетъ ихъ манящую прелесть, грудь едва обозначалась,

губы довольно блѣдны и въ глазахъ преобладающее выраженіе наивнаго дѣтскаго любопытства.

— Уморительный человѣкъ моя Агата, совершенный ребенокъ еще,—говорила Мечникова, обращаясь къ кому-нибудь изъ своихъ обыкновенныхъ посѣтителей.

Агата, точно, была ребенокъ, но ребенокъ весьма замѣчательный и всѣми силами рвавшійся разстаться съ своимъ дѣтствомъ.

Сестра была къ ней всегда ласкова и довольно внимательна къ ея матеріальнымъ нуждамъ, но нимало не способна позаботиться о ея духовныхъ интересахъ. Агата очень любила читать и разсуждать. Сестриныхъ книгъ ей стало ненадолго, а разсуждать madame Мечникова не любила. Красинъ вступился въ спасенье Агаты: онъ приносилъ ей книгъ исключительнаго направленія и толковалъ съ нею по цѣлымъ часамъ. Не столько подъ вліяніемъ этихъ книгъ, сколько подъ впечатлѣніемъ устныхъ разсужденій Красина, молоденькая сестра Мечниковой начала сочувствовать самостоятельности и задачамъ женщинъ, о которыхъ ей разсказывалъ Красинъ. Самостоятельность сестры проходила мимо ея вниманія. Она не видѣла ничего привлекательнаго ни въ ея житьѣ, ни въ ея положеніи. Ей хотѣлось дѣйствовать, распоряжаться собою сознательно, сдѣлать изъ себя *гражданку*. Гражданки, съ которыми ее познакомилъ Красинъ, смотрѣли на нее, какъ на ребенка. Никто изъ нихъ не замѣчалъ, какъ вытягивается впередъ тоненькая, смуглая шейка и какъ внимательно смотрятъ огромные, черные глаза Агаты при всякомъ разговорѣ о правахъ и обязанностяхъ человѣка; а этими разговорами исключительно и были полны гражданскія бесѣды. Дѣвушкѣ часто хотѣлось вмѣшаться въ эти разговоры, она чувствовала, что уже много понимаетъ и можетъ вмѣшаться во многое, а ее считали ребенкомъ, и только одинъ Красинъ да Бѣлоярцевъ говорили съ ней, хотя въ наставительномъ тонѣ, но все-таки какъ со взрослой женщиной. Агату очень обижало это, какъ ребенка, который непремѣнно хочетъ, чтобы его

признали большимъ. Она, какъ ребенокъ же, часто плакала, сама не зная о чемъ. Дѣвочка со дня на день становилась впечатлительнѣе и раздражительнѣе.

Мечникова говорила, что Агата скучаетъ и со скуки начинаетъ капризничать, что ей непремѣнно нужно развлеченіе, а не однѣ книги.

Въ это счастливое лѣто на долю Петербурга выпадали нерѣдко погожіе дни и Мечникова, пользуясь ими, возила сестру по окрестностямъ столицы.

Обыкновеннымъ спутникомъ ихъ въ этихъ прогулкахъ бывалъ Красинъ или одинъ, или же вдвоемъ съ извѣстнымъ намъ Ревякинымъ, огромнымъ, сильнымъ мужчиною, съ рыжею головой, саженными плечами и непомѣрной силищей. Ревякинъ былъ непривлекателенъ лицомъ, но останавливалъ на себѣ вниманіе своимъ геркулесовскимъ сложеніемъ. Онъ служилъ въ гражданахъ, но не пользовался тамъ никакимъ авторитетомъ. Отъ природы онъ былъ не очень уменъ, воспитаніе получилъ грошевое и вдобавокъ смѣшно косноязычилъ. Толстый, мясистый, какъ у попугая, языкъ занималъ такъ много мѣста во рту этого геркулеса, что для многихъ звуковъ въ этомъ рту не оставалось никакого мѣста. Ревякинъ самъ рекомендовалъ себя обыкновенно «Левякинымъ», вмѣсто пора говорилъ «пола», вмѣсто рѣчь— «лѣчь» и т. п. Бѣлоярцевъ, великій охотникъ подтрунить надъ ближнимъ, очень ловко умѣлъ наводить Ревякина на разсказы о томъ, какъ къ нему въ окно одинъ разъ залѣзъ воръ. Ревякинъ говорилъ:

— Визу лѣзетъ волъ; я его плямо за волосы, а онъ по тлубѣ внизъ.

— Это кто же соскочилъ по трубѣ?—каждый разъ переспрашивалъ Бѣлоярцевъ.

— Волъ,—спокойно отвѣчалъ разсказчикъ.

Этотъ Ревякинъ съ нѣкотораго времени сталъ учащать къ Мечниковой и, повидимому, не наскучалъ ей. Красинъ смотрѣлъ на это, какъ на новый, свойственный этой женщинѣ капризъ, и держался съ Ревякинымъ въ добрыхъ от-

ношеніяхъ, благопріятствующихъ общему ихъ положенію въ этомъ домѣ.

Въ одинъ изъ хорошихъ, теплыхъ дней,—именно въ тотъ день, когда случился нижеслѣдующій анекдотъ,—Ревякинъ, Красинъ и Мечникова съ Агатой наняли карету и отправились въ Парголово. Оставивъ экипажъ, они пошли побродить по лѣсу и разбрелись. Агата шла съ Красинымъ, а Мечникова какъ-то пріотстала съ Ревякинымъ и очень долго одна пара не могла въ лѣсу найти другую.

Нагулявшись досыта, компанія кое-какъ собралась въ ресторанѣ, у котораго была оставлена карета. Они слегка закусили, даже выпили пару бутылокъ шампанскаго, за которое заплатила Мечникова, и поѣхали въ Петербургъ. Спокойная, убаюкивающая качка довольно спокойнаго экипажа дѣйствовала нѣсколько различно на путешественниковъ. Мечникова закрыла глаза и не хотѣла смотрѣть на свѣтъ Божій. Она не то дремала, не то нѣжилась и, подчиняясь качкѣ, подвигалась къ сидѣвшему напротивъ нея Ревякину. Ревякинъ сидѣлъ молча и тупо глядѣлъ въ окно, какъ бы не замѣчая приближенія своей vis-á-vis. Красинъ, сидѣвшій напротивъ Агаты, былъ спокоенъ и курилъ папироску за папироскою, не сводя при этомъ своихъ глазъ съ Агаты. Агата же сидѣла, положивъ локотокъ на поднятое стекло дверцы, и то супила бровки, то тревожно переводила свои глаза съ одного лица на другое.

Разговоровъ никакихъ не было во всю дорогу.

Бѣлая, подслѣповатая ночь стояла надъ Петербургомъ, когда карета нашихъ знакомыхъ остановилась у квартиры Мечниковой. По случаю праздничнаго дня кухарка была отпущена, загулялась и не возвращалась, а между тѣмъ Мечниковою тотчасъ по возвращеніи домой овладѣлъ весьма естественный послѣ долгой прогулки аппетитъ и необыкновенная веселость.

— Господа! — крикнула она, снявъ шляпу,—допируемте хорошенько этотъ день дома. Давайте сами поставимъ са-

моваръ, кто-нибудь сходитъ купить чего-нибудь поѣсть; купимте бутылку вина и посидимте.

Гости охотно согласились на это предложеніе.

Мечникова подала Красину двадцать рублей и онъ отправился за покупками. Самоваръ взялась ставить Агата.

Она была очень скучна и ей хотѣлось что-нибудь дѣлать, чтобы занять свое время.

Ревякинъ молча усѣлся на стулѣ въ большой комнатѣ, спиною къ окну, и курилъ папироску.

Madame Мечникова походила по комнатамъ, принесла на столъ чашки, потомъ опять походила и, подойдя къ Ревякину, стала у самаго его стула и начала смотрѣть на сосѣднюю крышу.

Ревякинъ протянулъ лѣвую руку и обнялъ Мечникову. Она не сопротивлялась. Ревякинъ нагнулся и поцѣловалъ ее. Мечникова молча наклонилась къ геркулесу и тихо поцѣловала его страстнымъ, но беззвучнымъ поцѣлуемъ, потомъ тотчасъ же оглянулась, отвела его руку и, направляясь къ кухнѣ, гдѣ Агата ставила самоваръ, сильнымъ контр-альтомъ запѣла изъ Троватора:

«Въ милыя горы
Мы возвратимся:
Тамъ ты на лютнѣ
Будешь игрррать».

«*Играть*» Мечникова не спѣла, а, сжавъ свой сладострастный ротикъ, сыграла на губахъ, подражая раскатывающимся звукамъ духового инструмента.

Агата стояла у кухоннаго окна съ красными глазами.

— Ты опять плачешь?—спросила ее сестра.

— Тутъ дымъ отъ самовара, — отвѣтила, отворачиваясь, дѣвушка.

— Чего же тебѣ недостаетъ? — спросила ее, послѣ довольно долгой паузы, Мечникова.

— Ничего,—еще тише буркнула Агата и начала снова раздувать лѣниво закипавшій самоваръ.

— Все ребячества, — равнодушно замѣтила Мечникова, выходя изъ кухни.

Агата ничего не отвѣтила ей на это замѣчаніе и, оставивъ самоваръ, приняла свое прежнее положеніе у открытаго окна, изъ котораго черезъ крышу низенькаго сосѣдняго флигеля видны были блѣдные образы, бѣгающіе по неуспокоившейся еще блѣдной улицѣ.

Полтора часа спустя, компанія имѣла нѣсколько иной, болѣе оживленный характеръ. Красинъ распорядился отлично: было чего ѣсть, пить и закусывать. Былъ хересъ, ванильный ликеръ, коньякъ и шампанское. За столомъ было всячески весело.

— Люба моя!—начиналъ нѣсколько разъ Ревякинъ, обращаясь къ Мечниковой, но та каждую такую фамильярную попытку останавливала.

Красинъ ни на что это не обращалъ никакого вниманія и все говорилъ съ Агатой, которая казалась не въ духѣ, что̀ въ Москвѣ называютъ «въ нерасположеніи».

— Зачѣмъ вы, Агата Осиповна, не пьете ничего?—спрашивалъ Ревякинъ.

— Она еще молода; ей рано пить,—отвѣчала Мечникова.

Сестра Мечниковой встала и выпила рюмку ликера.

— Пьешь?—спросила Мечникова.

— Пью,—отвѣчала дѣвушка, наливая себѣ другую рюмку, и опять ее выпила.

— Агата, тебѣ будетъ вредно,—произнесла madame Мечникова.

— А вамъ не угодно? — спросила ее сестра и выпила третью рюмку.

— Посмотрите, что̀ она дѣлаетъ!—говорила, смѣясь, Мечникова,—она будетъ пьяна; непремѣнно пьяна будетъ.

— Не буду, отвѣчала, улыбаясь, Агата, чувствуя, что у нея въ самомъ дѣлѣ въ глазахъ все какъ-то начинало рябить и двоиться.—Вы думаете, что я, въ самомъ дѣлѣ, пятилѣтняя дѣвочка: я могу дѣлать то же, что̀ и всѣ; я вотъ беру еще стаканъ шампанскаго и выпиваю его.

Агата, произнося эти слова, подняла стаканъ, выпила его однимъ пріемомъ и захохотала.

— Нѣтъ, она, господа, пьяница будетъ, — шутила madame Мечникова, находившаяся такъ же, какъ и всѣ, подъ вліяніемъ вина, волновавшаго ея и безъ того непослушную кровь.

Дѣвушка встала, хотѣла пойти и споткнулась на ногу Красина.

— Пьяна, пьяна, твердили, глядя на нее, и хозяйка, и гости.

— Пьяна? Вы говорите, что я пьяна? А хотите, я докажу вамъ, что я трезвѣе всѣхъ васъ? Хотите? настойчиво спрашивала Агата и, не ожидая отвѣта, принесла изъ своей комнаты англійскую книгу и положила ее передъ Красинымъ. — Выбирайте любую страницу, сказала она самонадѣянно, — я обязываюсь, не выходя изъ своей комнаты, сдѣлать переводъ безъ одной ошибки.

Красинъ заломилъ уголъ страницы и подалъ книгу Агатѣ; та повернулась и пошла въ свою комнату.

— Я буду смотрѣть за вами, проговорилъ Красинъ, и вышелъ вслѣдъ за нею.

Дѣвушка присѣла къ окну и торопливо писала карандашомъ поставленный на споръ переводъ, а Красинъ, положивъ ногу на ногу, нѣжился на ея оттоманкѣ.

Съ небольшимъ черезъ полчаса Агата перечитала свой переводъ, сдѣлала въ немъ нужныя, по ея соображенію, поправки и, весело спрыгнувъ съ подоконника, выбѣжала въ залу. Черезъ нѣсколько секундъ она возвратилась совершенно растерянная, сминая исписанный ею полулистъ бумаги.

— Что̀ сказали? Мнѣ лѣнь встать, спросилъ ее Красинъ.

— Н-ничего, отвѣтила, потупляясь, Агата.

— Какъ ничего?

— Ну, ничего, еще растерянѣе отвѣчала дѣвушка.

— Что̀ такое! произнесъ вполголоса Красинъ и, лѣниво поднявшись съ дивана, пошелъ въ залу.

Зала, къ небольшому, впрочемъ, удивленію Красина, была пуста.

Красинъ подумалъ съ минуту и слегка стукнулъ въ запертыя двери комнаты Мечниковой.

— Что тамъ нужно? произнесла изъ-за дверей m-me Мечникова.

Красинъ махнулъ рукой и на цыпочкахъ возвратился въ узенькую комнату Агаты.

Дѣвушка, при входѣ Красина, покраснѣла еще болѣе.

И онъ, и она сидѣли неподвижно и хранили мертвое молчаніе.

Такъ прошелъ битый часъ. Ни о Мечниковой, ни о Ревякинѣ не было ни слуху, ни духу.

Красинъ всталъ и началъ искать шляпу.

— Куда вы спѣшите? спросила Агата.

— Пора домой.

— Подождите.

Красинъ сѣлъ, зѣвнулъ и потянулся.

— Усталъ, произнесъ онъ.

Агата поднялась съ своего мѣста, придерживая рукою шумѣвшія юбки, вышла въ залу и возвратилась оттуда съ бутылкою вина и двумя стаканами.

— Пейте, сказала она, подавая Красину одинъ стаканъ, а другой сама выпила до половины.

— Я выпью, говорилъ Красинъ, —но зачѣмъ вы шалите?

— Такъ хочу... скучно.

Агата молча допила вино и снова налила стаканы.

— Отчего это за мной никто не ухаживаетъ?

Красинъ посмотрѣлъ на нее: она, очевидно, была совсѣмъ пьяна.

— Оттого, что васъ окружаютъ развитые люди, произнесъ онъ.—Развитый человѣкъ не можетъ тратить времени на эти, какъ вы называете, ухаживанья. Мы уважаемъ въ женщинѣ равноправнаго человѣка. Ухаживать, какъ вы выражаетесь, надо имѣть цѣль, иначе—это глупо.

— Какъ?.. уронила Агата.

— А такихъ женщинъ немного, которыя не имѣютъ въ виду сдѣлать человѣка своимъ оброчникомъ, продолжалъ Красинъ.—Для этого нужно много правильнаго развитія.

Агата поднялась и стала ходить по комнатѣ, пощелкивая своими пальчиками.

Красинъ помолчалъ и, взявъ опять свою шляпу, сказалъ:

— У каждой женщины есть своя воля и каждая сама можетъ распорядиться собою, какъ хочетъ. Человѣкъ не въ правѣ склонять женщину, точно такъ же, какъ не въ правѣ и останавливать ее, если она распоряжается собою сама.

Дѣвушка остановилась передъ лежащимъ на диванѣ Красинымъ и закрыла ручкою глаза...

— Сама, да, сама, сама, пролепетала она и, пошатнувшись, упала на колѣни Красина...

Въ три часа ночи раздался звонокъ запоздавшей кухарки Ей отперъ Красинъ и, идучи за шляпой, столкнулся въ залѣ съ Мечниковой и Ревякинымъ. Оба они раскланялись съ хозяйкой и пошли благополучно.

Агата проспала всю ночь, одѣтая, на диванѣ, и проснулась поздно съ страшно спутанными волосами и еще болѣе спутанными воспоминаніями въ больной головѣ.

Этому такъ тихо совершившемуся анекдоту не суждено было остаться въ безгласности. Ни Агата, ни Красинъ ничего о немъ, разумѣется, никому не разсказывали. Самой m-me Мечниковой ничего на этотъ счетъ не приходило въ голову, но Бертольди одинъ разъ, сидя дома за вечернимъ чаемъ, нашла въ книжкѣ, взятой ею у Агаты, клочекъ почтовой бумажки, на которой было сначала написано женскою рукою: «Я хотя и не намѣрена дѣлать васъ своимъ оброчникомъ и ни въ чемъ васъ не упрекаю, потому что во всемъ виновата сама, но меня очень обижаютъ ваши ко мнѣ отношенія. Вы смотрите на меня только какъ на нужную вамъ подчасъ вещь и, кажется, вовсе забываете, что я женщина, и, дойдя до сближенія съ человѣкомъ, хотѣла бы, чтобъ онъ смотрѣлъ на меня, какъ на человѣка: сло-

вомъ, хотѣла бы хоть пріязни, хоть вниманія; а для васъ,— я вижу,—я только вещь. Я много думала надъ своимъ положеніемъ, много плакала, не безпокоя, однако, васъ своими слезами, и находя, что вы ставите меня въ роль, которая меня унижаетъ въ моихъ собственныхъ глазахъ, рѣшилась сказать вамъ: или перемѣните свое обращеніе со мною, и я стану беречь и любить васъ, или оставьте меня въ покоѣ, потому что такимъ, каковы вы были со мною до этой поры, вы мнѣ рѣшительно противны, и я представляюсь себѣ ничтожною и глупою».

Подписи не было, но тотчасъ же подъ послѣднею строкою начиналась приписка бойкою мужскою рукою: «Такъ какъ, вслѣдствіе особенностей женскаго организма, каждая женщина имѣетъ право иногда быть пошлою и надоѣдливою, то я смотрю на ваше письмо, какъ на проявленіе патологическаго состоянія вашего организма и не придаю ему никакого значенія; но если вы и черезъ нѣсколько дней будете разсуждать точно такъ же, то придется думать, что у васъ есть та двойственность въ принципахъ, встрѣчая которую въ человѣкѣ, нужно отъ него удаляться. Во всякомъ случаѣ, я не сдѣлаю перваго шага къ возобновленію тѣхъ простыхъ отношеній, которыя вамъ угодно возводить на степень чего-то очень важнаго». Подписано: «Красинъ».

Бертольди прочла это письмо при всѣхъ и въ томъ числѣ при Райнерѣ. Бѣлоярцевъ узналъ почеркъ Агаты.

Письмо это было, по настоянію Бѣлоярцева, положено обратно въ книгу и возвращено съ нею по принадлежности, а о самой исторіи, сколь она ни представлялась для нѣкоторыхъ возмутительною, положено не разносить изъ кружка, въ которомъ она случайно сдѣлалась извѣстною.

Зимою m-me Мечникова, доживая послѣднюю сотню рублей, простудилась, катаясь на тройкѣ, заболѣла и въ нѣсколько дней умерла. Сестрѣ ея нечего было дѣлать въ этой квартирѣ. Она забрала доставшуюся ей по наслѣдству ветхую мебелишку и переѣхала въ комнату, нанятую за

четыре рубля въ одномъ изъ разрушающихся деревянныхъ домовъ Болотной улицы.

Съ той поры объ Агатѣ вспоминали очень рѣдко.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Опыты и упражненія.

Съ тѣхъ поръ какъ Лиза, по поводу болѣзни Райнера, только числилась въ *Домѣ* и показывалась тамъ лишь гостьею, здѣсь, въ самомъ дѣлѣ, водворилось гораздо болѣе тишины и согласія, на что Бѣлоярцевъ и не пропускалъ случая обращать вниманіе своихъ сожителей. Въ теченіе мѣсяца, прожитаго безъ Лизы, Бѣлоярцевъ день-ото-дня чувствовалъ себя лучше: къ нему возвратилась его прежняя веселость, аппетитъ его не страдалъ отъ ежечасной боязни сценъ, радражительность успокоилась и смѣнилась самымъ благодушнымъ настроеніемъ. Дѣла *Дома* шли по-старому, т. е. у большинства домашнихъ гражданъ не было никакой работы, и готовыя деньги проживались съ невозмутимымъ спокойствіемъ, но зато спокойствіе это было ужъ истинно невозмутимое.

Проснется Бѣлоярцевъ утромъ, выйдетъ въ своемъ архалучкѣ въ залу, походитъ, польетъ цвѣты, оботретъ мокрою тряпочкой листья. Потомъ явится въ залу Прорвичъ,—Бѣлоярцевъ поговоритъ съ нимъ о трудѣ и о хорошихъ принципахъ. Еще попозже выйдутъ дамы, начнется чай. Бѣлоярцевъ сядетъ къ круглому столику, погуляетъ насчетъ какого-нибудь ближняго, поговоритъ о своихъ соображеніяхъ насчетъ неизбѣжнаго распространенія въ обществѣ исповѣдуемыхъ имъ принциповъ, потрактуетъ о производительномъ и непроизводительномъ трудѣ и, взявъ половую щетку, начнетъ мести комнаты. Затѣмъ Бѣлоярцевъ уходитъ до обѣда изъ дому, или иногда посидитъ часокъ-другой за мольбертомъ. Въ четыре часа Прорвичъ накроетъ на столъ, подастъ чашу съ супомъ, начнется обѣдъ и всегда непремѣнно съ наставительною бесѣдою. Потомъ Бѣлоярцевъ пой-

детъ поспать, въ сумерки встанетъ, съѣстъ у себя въ комнатѣ втихомолочку вареньица или миндальныхъ орѣшковъ и выходитъ въ томъ же архалучкѣ въ залу, гдѣ уже кипитъ самоваръ и гдѣ всѣ готовы слушать его веселыя и умныя рѣчи. Иногда Бѣлоярцевъ бывалъ и не въ духѣ, хмурился, жаловался на нервы и выражался односложными, отрывистыми словами; но это случалось съ нимъ не очень часто и, къ тому же, нервность его успокоивалась, не встрѣчая со стороны окружающихъ ничего, кромѣ вниманія и сочувствія къ его страданіямъ.

Бѣлоярцевъ вообще былъ очень нетребователенъ; онъ, какъ Хлестаковъ, любилъ только, чтобы ему оказывали «преданность и уваженіе,—уваженіе и преданность».

Встрѣчая въ людяхъ готовность платить ему эту дань, онъ смягчался; нервы его успокоивались; онъ начиналъ жмурить котикомъ свои черные глазки и вести бархатнымъ баскомъ разумныя и поучительныя рѣчи.

При Лизѣ у Бѣлоярцева только одинъ разъ случился нервный припадокъ, ожесточавшійся въ теченіе часа отъ всякой бездѣлицы: отъ стука стакана за чаемъ, отъ хрустѣнья зубовъ кусавшаго сухарикъ Прорвича, отъ бѣганья собачки Ступиной и отъ шлепанья башмаковъ ухаживавшей за Лизою Абрамовны. Это болѣзненное явленіе приключилось съ Бѣлоярцевымъ вечеромъ на первый, не то на второй день по переходѣ въ *Домъ* и выражалось столь нестерпимымъ образомъ, что Лиза посовѣтовала ему уйти успокоиться въ свою комнату, а Абрамовна, постоянно игнорировавшая по своему невѣжеству всякое присутствіе нервовъ въ человѣческомъ тѣлѣ, по уходѣ Бѣлоярцева, замѣтила:

— А какъ мой згадъ,—взять бы въ руки хорошую жичку, да хорошенько ею тебя по нервамъ-то, да по нервамъ.

— Какую это *жичку?*—спросила, смѣясь, Ступина.

— А ременную, матушка, ременную, — отвѣчала нелюбившая Бѣлоярцева старушка.

— И какъ же его бить *по нервамъ?*

— А такъ, просто бить пониже спины да приговаривать: расти великъ, будь счастливъ.

Теперь Бѣлоярцеву выпала лафа и онъ наслаждался въ домѣ основанной имъ ассоціаціи спокойнѣйшею жизнью старосвѣтскаго помѣщика.

Зря и не боясь никакой критики, онъ выдумывалъ новые планы, ставилъ новыя задачи и даже производилъ нѣкоторыя эволюціи.

Такъ, напримѣръ, одно время со скуки онъ увѣрялъ Ступину, что въ ея умѣ много игры и способностей къ художественной воспроизводительности.

— Вамъ только надобно бы посмотрѣть на народъ въ его собственной исключительной обстановкѣ, твердилъ онъ Ступиной:—и вы бы, я увѣренъ, могли писать очень хорошіе разсказы, сцены и очерки. Посмотрите, какая гадость печатается въ журналахъ: срамъ! Я нимало не сомнѣваюсь, что вы съ перваго же шага стали бы выше всѣхъ ихъ.

— Знаете что? — говорилъ онъ ей въ другой разъ, уже нажужжавъ въ уши о ея талантахъ:—одѣньтесь попроще; возьмите у Марѳы ея платье, покройтесь платочкомъ, а я надѣну мою поддевку и пойдемте смотрѣть народныя сцены. Я увѣренъ, что вы завтра же захотите писать и напишите отлично.

Ступина долго не вѣрила этому, смѣялась, отшучивалась и, наконецъ, повѣрила.

«Чѣмъ чортъ, дескать, не шутитъ! А можетъ-быть и въ самомъ дѣлѣ правда, что я могу писать», — подумала она и одѣлась въ Марѳино платье, а Бѣлоярцевъ въ поддевочку, и пейзанами пошли вечеркомъ посидѣть въ портерную.

Другой разъ сходили они въ помѣщавшееся въ какомъ-то подвалѣ питейное заведеніе, потомъ еще въ такое же подвально трактирное заведеніе. Наконецъ, эти экскурсіи перестали забавлять Бѣлоярцева, а Ступина ничего не написала и изъ всѣхъ слышанныхъ ею словъ удержала въ

памяти только одни оскорблявшія ея уши площадныя ругательства.

Бѣлоярцевъ пересталъ говорить о талантахъ Ступиной и даже не любилъ, когда она напоминала о совершенныхъ ею, по его совѣту, походахъ.

Онъ началъ говорить о томъ, что они своимъ кружкомъ могли бы устроить что-нибудь такое веселое, что дѣлало бы жизнь ихъ интереснѣе и привлекало бы къ нимъ ихъ знакомыхъ, лѣниво посѣщающихъ ихъ въ дальнемъ захолустьѣ.

— Театръ домашній,—говорила Каверина.

— Да, но театръ требуетъ расходовъ.—Нѣтъ, надо придумать что-нибудь другое, чтобы было занимательно и не стоило денегъ.

— Вотъ что сдѣлаемъ, говорилъ онъ на другой вечеръ:— составимъ живыя картины.

— Опятъ же нужны расходы.

— Въ томъ-то и дѣло, что никакихъ расходовъ не нужно: мы такія картины составимъ. Напримѣръ, торгъ невольницами; пиръ дикихъ; похищеніе сабинянокъ... Да мало ли можно придумать такихъ картинъ, гдѣ не нужно никакихъ расходовъ?

Женщины, выслушавъ это предложеніе, такъ и залились истерическимъ хохотомъ.

Это обидѣло Бѣлоярцева. Онъ всталъ съ своего мѣста и, пройдясь по залѣ, замѣтилъ:

— Вотъ то-то и есть, что у насъ отъ слова-то очень далеко до дѣла. На словахъ вотъ мы отрицаемся важныхъ чувствъ, выдуманныхъ цивилизаціею, а на дѣлѣ какой-нибудь ужъ чисто-ложный стыдъ сейчасъ насъ и останавливаетъ.

Женщины разсмѣялись еще искреннѣе.

Бѣлоярцевъ прошелся во время продолжавшагося хохота по комнатѣ и, разсмѣявшись самъ надъ своимъ предложеніемъ, обратилъ все это въ шутку.

А то онъ обратился къ женщинамъ съ упрекомъ, что онѣ живутъ даромъ и никого не любятъ.

— Что-жъ дѣлать, когда не любится? — отвѣчала Ступина.—Давайте кого любить! Некого любить; нѣтъ людей по сердцу.

— Ну да, вотъ то-то и есть, что все вамъ «*по сердцу*» нужно,—отвѣчалъ съ неудовольствіемъ Бѣлоярцевъ.

— А то какъ же.

— А вы любите по разуму, по долгу, по обязанности.

— По какой это обязанности?

— По весьма простой обязанности. По обязанности тѣснѣе соединять людей въ нашъ союзъ, по обязанности поддерживать наши принципы.

— Такъ это, Бѣлоярцевъ, будетъ служба, а не любовь.

— Ну, пускай и служба.

Женщины наотрѣзъ отказались отъ такой службы и только одна Бертольди говорила, что это надо обсудить.

— А сами вы развѣ такъ каждую женщину подъ-рядъ можете любить?—спросила Ступина.

— Разумѣется,—отвѣчалъ Бѣлоярцевъ.

Ступина сдѣлала презрительную гримаску и замолчала.

Бѣлоярцевъ дулся нѣсколько дней послѣ этого разговора и высказывалъ, что во всякомъ дѣлѣ ему съ часу на часъ все приходится убѣждаться, что его не понимаютъ.

Въ утѣшеніе Бѣлоярцева судьба послала одно внѣшнее обстоятельство.

Въ одинъ прекрасный день онъ получилъ по городской почтѣ письмо, въ которомъ довольно красивымъ женскимъ почеркомъ было выражено, что «слухъ о женскомъ пріютѣ, основанномъ имъ, Бѣлоярцевымъ, разнесся повсюду и обрадовалъ не одно угнетенное женское сердце; что имя его будетъ болѣе драгоцѣннымъ достояніемъ исторіи, чѣмъ имена всѣхъ людей, величаемыхъ ею героями и спасителями: что съ него только начинается новая эпоха для лишенныхъ всѣхъ правъ и обезсиленныхъ воспитаніемъ русскихъ жен-

щинъ» и т. п.—Далѣе авторъ письма сообщалъ, что она дѣвушка, что ей девятнадцатый годъ, что ея отецъ рутинистъ, мать ханжа, а братья бюрократы, что изъ нея дѣлаютъ куклу, тогда какъ она чувствуетъ въ себѣ много силы, энергіи и желанія жить жизнью самостоятельной. Она поясняла, что готова на все, чтобы избавиться отъ своего тяжелаго положенія, и просила у Бѣлоярцева совѣта. Въ концѣ письма былъ адресъ, по которому отвѣтъ черезъ горничную автора могъ дойти по назначенію.

Письмо это было написано по-французски, а какъ Бѣлоярцевъ не умѣлъ свободно справляться съ этимъ языкомъ, то его читала и переводила Каверина. Ее же Бѣлоярцевъ просилъ перевести на французскій языкъ и переписать составленный имъ отвѣтъ. Отвѣтъ этотъ былъ нарочито великъ, полонъ умныхъ словъ и самыхъ курьезныхъ совѣтовъ.

На письмо Бѣлоярцева отвѣчали другимъ письмомъ, и завязалась переписка, весьма жаркая и весьма занимавшая нашего гражданина. Но, наконецъ, ему надоѣло переписываться съ незнакомкой и онъ пожелалъ видѣть свою новую обожательницу.

— Надо ее просто вырвать изъ дома и увезти къ намъ: другихъ средствъ я не вижу,—твердилъ онъ нѣсколько дней и, наконецъ, одѣвшись попроще, отправился, въ видѣ лакея, по извѣстному адресу, къ горничной, черезъ которую происходила переписка.

Незнакомка Бѣлоярцева была дочь одного генерала, жившаго въ бель-этажѣ собственнаго дома, на одной изъ лучшихъ улицъ Петербурга. Въ этомъ домѣ знали о Бѣлоярцевѣ и о его заведеніи по разсказамъ одного мѣстнаго Репетилова, привозившаго сюда разныя новости и, между прочимъ, разсказывавшаго множество самыхъ невѣроятныхъ чудесъ о сожительствѣ гражданъ.

Изъ разспросовъ у дворника Бѣлоярцевъ узналъ, съ кѣмъ ему приходится имѣть дѣло, и освѣдомился каковъ генералъ?

— Генералъ ничего, говорилъ, дворникъ,—генералъ у насъ баринъ добрый. Онъ теперь у насъ такой: въ поряд-

кахъ справедливъ, ну, ужъ а только жа-шь и строгъ-же!

— Строгъ?—переспросилъ Бѣлоярцевъ.

— У-у! и Боже мой! Съѣсть онъ готовъ тебя на этомъ на самомъ мѣстѣ. Настоящій, вотъ какъ есть, турка. Сейчасъ тебѣ готовъ башку ссѣчь.—А ты иль дѣло къ нему имѣешь?—разспрашивалъ Бѣлоярцева дворникъ.

— Нѣтъ, я такъ думалъ, что лакея имъ не требуется ли.

— Нѣтъ, лакея намъ, другъ ты милый, не требуется.

— Вотъ она, на какого чорта было наскочилъ,—подумалъ, заворачивая лыжи, Бѣлоярцевъ, и, возвратясь домой не въ духѣ, объявилъ, что съ этою дѣвочкою много очень хлопотъ можно нажить; что взять ее изъ дому, конечно, можно, но что послѣ могутъ выйти исторіи, весьма невыгодныя для общаго дѣла.

— Жаль ее, однако,—говорили женщины.

— Да-съ, да вѣдь лучше одному человѣку пропадать, чѣмъ рисковать дѣломъ, важнымъ для всего человѣчества,—отвѣчалъ Бѣлоярцевъ.

Лестныя для самолюбія Бѣлоярцева письма незнакомки окончательно дѣлали его въ своихъ глазахъ великимъ человѣкомъ.

Онъ отказался отъ небезопаснаго намѣренія похитить генеральскую дочь и даже пересталъ отвѣчать ей на полученныя послѣ этого три письма; но задумалъ сдѣлаться въ самомъ дѣлѣ наставникомъ и руководителемъ русскихъ женщинъ, видящихъ въ немъ, по словамъ незнакомки, свой оплотъ и защиту.

Бѣлоярцевъ только думалъ, какъ бы за это взяться и съ чего бы начать.

Въ это время, онъ, противъ своего обыкновенія, рѣшился прочесть рекомендованную ему кѣмъ-то скандалезную книжечку: «Правда о мужчинѣ и женщинѣ».

Эта книжечка опредѣлила Бѣлоярцеву его призваніе и указала ему, что дѣлать. Бѣлоярцевъ сталъ толковать о гигіенѣ и, наконецъ, рѣшился прочесть нѣсколько лекцій о физическомъ воспитаніи женщинъ. Эти лекціи многимъ до-

ставили обильный матеріалъ для подтруниванья надъ Бѣлоярцевымъ. Онъ было, послѣ первой попытки, хотѣлъ оставить педагогическое поприще, но слушательницы упросили его продолжать,—и онъ прочелъ свой полный курсъ, состоявшій изъ пяти или шести лекцій. Бертольди довела до свѣдѣнія Бѣлоярцева, что «женщины ждутъ отъ него другихъ наукъ». Бѣлоярцевъ купилъ два вновь вышедшія въ русскомъ переводѣ географическія сочиненія и заговорилъ, что намѣренъ читать курсъ географіи для женщинъ.—Мужчинъ на своихъ лекціяхъ Бѣлоярцевъ терпѣть не могъ и въ крайнемъ случаѣ допускалъ ужъ только самыхъ испытанныхъ гражданъ, ставящихъ выше всего общій выводъ и направленіе. Надѣялись, что Бѣлоярцевъ современемъ прочтетъ и курсъ математики для женщинъ, и курсъ логики для женщинъ; но Бѣлоярцевъ не оправдалъ этихъ надеждъ. Человѣку, не пріучившему себя къ усидчивому труду, читать, да выбирать, да компилировать—работа скучная. Бѣлоярцевъ почувствовалъ это весьма скоро и, забросивъ свои географическія книги, пересталъ и вспоминать о лекціяхъ. Онъ опять началъ понемножку скучать, но не оказывалъ большой нетерпимости и частенько даже сознавался въ нѣкоторомъ пристрастіи къ мірскимъ слабостямъ. Онъ самъ разсказывалъ, какъ бывало въ мірѣ они сойдутся, выпьютъ бездѣлицу, попоютъ, поскоромятъ, посмѣются, да и привздохнетъ, глядя на зѣвающій и самъ себѣ надоѣвшій народъ *Дома*. Бѣлоярцевъ въ это время ужъ не боялся даже дискредитоваться. Онъ до такой степени чувствовалъ превосходство своего положенія, что уже не стѣснялся постоянно дѣлать и самого себя, и каждое свое дѣйствіе образцовыми. Скажетъ ли кто нибудь, что ему скучно, Бѣлоярцевъ сейчасъ замѣчаетъ: «Отчего же мнѣ не скучно?»—У кого нибудь животъ заболитъ. — Бѣлоярцевъ сейчасъ поучаетъ: «Да, да, болитъ! вотъ теперь и болитъ. Разумѣется, что будетъ болѣть, потому что ѣдите безъ толку. Отчего-жъ у меня не болитъ?»—Кто нибудь пріѣдетъ и разскажетъ, что нынче на Невскомъ на торцахъ очень лошади падаютъ;

Бѣлоярцевъ и тутъ остановитъ и скажетъ: «Падаютъ! Нужно смотрѣть, чтобъ у извозчика лошадь была на острыхъ шипахъ, такъ и не упадетъ. Отчего же у моихъ извозчиковъ никогда лошади не падаютъ?».

Бѣлоярцевъ доходилъ до самообожанія и изъ-за этого даже часто забывалъ объ обязанностяхъ, лежащихъ на немъ по званію соціальнаго реформатора. Хотя онъ и говорилъ: «отчего же мнѣ не скучно?» но въ существѣ нудился болѣе всѣхъ и одинъ разъ при общемъ восклицѣ: «какая скука! какая скука!» не отвѣтилъ: «отчего же мнѣ не скучно?», а походилъ и сказалъ: «Да, надо кого нибудь позвать. Я убѣдился, что намъ ихъ бояться такимъ образомъ ничего. Въ жизни, въ принципахъ мы составляемъ особое цѣлое, а такъ, одною наружною стороною, отчего же намъ не соприкасаться съ ними?.. Я подумаю и мы, кажется, даже уничтожимъ декады, а назначимъ простые дни въ недѣлю,— это даже будетъ полезно для пропаганды».

На другой же день послѣ такого разговора, Бѣлоярцевъ пошелъ погулять и, встрѣчаясь съ старыми своими знакомыми по житью въ мірѣ, говорилъ:

— А что вы къ намъ никогда не завернете? Заходите, пожалуйста.

— Да вы, — Богъ васъ тамъ знаетъ, — совсѣмъ особеннымъ какъ-то образомъ живете и не принимаете старыхъ знакомыхъ, — отвѣчалъ мірянинъ.

— Ахъ, фуй! Что это вы такое! Полноте, пожалуйста, останавливалъ мірянина Бѣлоярцевъ. — Никакихъ у насъ особенностей нѣтъ: живемъ себѣ вмѣстѣ, чтобъ дешевле обходилось, да и только. Вы, сдѣлайте милость, заходите. Вотъ у насъ въ пятницу собираются, вы и заходите.

Бѣлоярцевъ, благодушно гуляя, зашелъ навѣстить и Райнера. Больной спалъ, а въ его залѣ за чаемъ сидѣли Розановъ, Лобачевскій, Полинька и Лиза.

— Ситуайэнъ Бѣлоярцевъ! — произнесъ вполголоса Розановъ при входѣ гостя.

Они поздоровались и удовлетворили бѣлоярцевскіе вопросы о Райнеровомъ здоровьѣ.

— А что съ вами, Дмитрій Петровичъ? Гдѣ вы побываете, что подѣлываете? Вы совсѣмъ запропастились, — заигрывалъ съ Розановымъ Бѣлоярцевъ.

— Всегда на виду, отвѣчалъ Розановъ: — занимаюсь прохожденіемъ службы; начальствомъ, могу сказать, любимъ, подчиненныхъ не имѣю.

— Что же вы къ намъ никогда?

Розановъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ и отвѣчалъ:

— Помилуйте, зачѣмъ же я буду ходить къ вамъ, когда мое присутствіе васъ стѣсняетъ?

Бѣлоярцевъ нѣсколько смутился и сказалъ:

— Нѣтъ... Это совсѣмъ не такъ, Дмитрій Петровичъ, я именно противъ личности вашей ничего не имѣю, а если я что нибудь говорилъ въ этомъ родѣ, то говорилъ о несходствѣ въ принципахъ.

— Какихъ принципахъ? — спросилъ Розановъ.

— Ну, мы во многомъ же не можемъ съ вами согласиться...

Розановъ пожалъ въ недоумѣніи плечами.

— Вы выходите изъ однихъ началъ, а мы изъ другихъ...

— Позвольте, пожалуйста: я отъ васъ всегда слыхалъ одно...

— Ну да, — то было время.

— Вы всегда утверждали, что вы художникъ и вамъ нѣтъ дѣла ни до чего внѣ художества: я васъ не оспаривалъ и никогда не оспариваю. Какое мнѣ дѣло до вашихъ принциповъ?

— Да, да, это все такъ, но все же вѣдь всѣ наши недоразумѣнія выходятъ изъ-за несходства нашихъ принциповъ. Мы отрицаемъ многое, за что стоитъ...

— Э! полноте, Бѣлоярцевъ! Повторяю, что мнѣ нѣтъ никакого дѣла до того, что съ вами произошелъ какой-то

куркенъ-переверкенъ. Если между нами есть, какъ вы ихъ называете, недоразумѣнія, такъ тутъ ни причемъ ваши отрицанія. Мой пріятель Лобачевскій несравненно большій отрицатель, чѣмъ всѣ вы; онъ даже вонъ отрицаетъ васъ самихъ со всѣми вашими хлопотами и всего ждетъ только отъ выработки вещества человѣческаго мозга, но между нами нѣтъ же подобныхъ недоразумѣній. Мы не мѣшаемъ другъ другу. — Какіе тамъ особенные принципы!..

Бѣлоярцевъ выносилъ это объясненіе съ спокойствіемъ, дѣлающимъ честь его умѣнью владѣть собою, и довелъ дѣло до того, что въ первую пятницу въ *Домѣ* было нѣчто въ родѣ вечерочка. Были тутъ и граждане, было и нѣсколько мірянъ. Даже здѣсь появился и пріѣхавшій изъ Москвы нашъ давній знакомый Завулоновъ. Бѣлоярцевъ былъ въ самомъ пріятномъ духѣ: каждаго онъ привѣтилъ, каждому, кѣмъ онъ дорожилъ хоть каплю, онъ попалъ въ ноту.

— Вотъ чѣмъ люди прославлялись! — сказалъ онъ Завулонову, который разсматривалъ фотографическую копію съ бруніевскаго «Мѣднаго змѣя». — Хороша идея!

Завулоновъ молча покряхтывалъ.

— Родись мы съ вами въ то время, начиналъ Бѣлоярцевъ, — что бы... можно сдѣлать?

— Все равно, васъ бы тогда не оцѣнили, — подсказывала Бертольди, не отлучавшаяся отъ Бѣлоярцева во всѣхъ подобныхъ случаяхъ.

— Ну, и что-жъ такое? — говорилъ Бѣлоярцевъ въ другомъ мѣстѣ, защищая какого-то мелкаго газетнаго сотрудника, побиваемаго маленькимъ путейскимъ офицеромъ. — Можно и сто разъ смѣшнѣе написать, но что же въ этомъ за цѣль? Онъ, напримѣръ, написалъ: «*свинья въ ермолкѣ*», и смѣшно очень, а я напишу: «собака во фракѣ», и будетъ еще смѣшнѣе. Вотъ вамъ и весь вашъ Гоголь; вотъ и весь его юморъ!

Черезъ нѣсколько минутъ не менѣе рѣзкій приговоръ былъ высказанъ и о Шекспирѣ.

— А чортъ его знаетъ; можетъ быть, онъ былъ дуракъ.

— Шекспиръ дуракъ!

— Ну да, нужныхъ мыслей у него нѣтъ.—Про героевъ сочинялъ, что такое?

— Шекспиръ дуракъ! — вскрикивалъ, весь побагровѣвъ, путейскій офицеръ.

— Очень можетъ быть. Въ Отеллѣ, такъ какую-то бычачью ревность изобразилъ... Можетъ быть, это и дорого стоитъ... А что онъ человѣкъ безполезный и ничтожный,— это фактъ.

— Шекспиръ?

— Ну, Шекспиръ же-съ, Шекспиръ.

Вечеръ, впрочемъ, шелъ совсѣмъ безъ особыхъ гражданскихъ онеровъ. Только Бертольди, когда кто нибудь изъ мірянъ, прощаясь, протягивалъ ей руку, спрашивала:

— Зачѣмъ это?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Начало конца.

Райнеръ выздоровѣлъ и въ первый разъ выѣхалъ къ Евгеніи Петровнѣ. Онъ встрѣтилъ тамъ Лизу, Полиньку Калистратову и Помаду. Появленіе послѣдняго несказанно его удивило. Помада пріѣхалъ изъ Москвы только нѣсколько часовъ и прежде всего отправился къ Лизѣ. Лизы онъ не засталъ дома и пріѣхалъ къ Евгеніи Петровнѣ, а вещи его оставилъ у себя Бѣлоярцевъ, который встрѣтилъ его необыкновенно привѣтливо и радушно, пригласилъ погостить у нихъ. Бѣлоярцевъ въ это время хотя и пересталъ почти совсѣмъ бояться Лизы и даже опять самымъ искреннимъ образомъ желалъ, чтобы ея не было въ *Домѣ*, но съ одной стороны ему хотѣлось, пригласивъ Помаду, показать Лизѣ свое доброжелательство и поворотъ къ простотѣ, а съ другой — непрезентабельная фи-

гура застѣнчиваго и неладнаго Помады давала ему возможность погулять за глаза на его счетъ и показать гражданамъ, что вотъ-де у нашей умницы какіе друзья.

Лиза поняла это и говорила Помадѣ, что онъ напрасно принялъ бѣлоярцевское приглашеніе; она находила, что лучше бы ему остановиться у Вязмитиновыхъ, гдѣ его знаютъ и любятъ.

— А вы, Лизавета Егоровна, ужъ и знать меня не хотите развѣ? — отвѣчалъ съ кроткимъ упрекомъ Помада.

Лизѣ невозможно было разъяснить ему своихъ соображеній.

Помада очень мало измѣнился въ Москвѣ. По крайней ветхости всего его костюма, можно было безошибочно полагать, что житье его было не сахарное. О службѣ своей онъ разговаривалъ неохотно и только нѣсколько разъ принимался разсказывать, что долги свои онъ уплатилъ всѣ до копѣечки.

— Я бы давно былъ здѣсь, говорилъ онъ:—но все должишки были.

— Зачѣмъ же вы пріѣхали?—спрашивали его.

— Такъ, повидаться захотѣлось.

— И надолго къ намъ?

— Денька два пробуду,—отвѣчалъ Помада.

Въ этотъ день Помада обѣдалъ у Вязмитиновыхъ и тотчасъ же послѣ стола поѣхалъ къ Розанову, обѣщаясь къ вечеру вернуться, но не вернулся. Вечеромъ къ Вязмитиновымъ заѣхалъ Розановъ и крайне удивился, когда ему сказали о внезапномъ пріѣздѣ Помады: Помада у него не былъ. У Вязмитиновыхъ его ждали до полуночи и не дождались. Лиза поѣхала на розановскихъ лошадяхъ къ себѣ и прислала оттуда сказать, что Помады и тамъ нѣтъ.

— Сирена какая нибудь похитила,—говорилъ утромъ Бѣлоярцевъ.

На другое утро Помада явился къ Розанову. Онъ былъ, по обыкновенію, сердеченъ и тепелъ, но Розанову показалось, что онъ какъ-то неспокоенъ и разсѣянъ. Только о

Лизѣ онъ разспрашивалъ со вниманіемъ, а ни городъ, ни положеніе всѣхъ другихъ извѣстныхъ ему здѣсь лицъ не обращали на себя никакого его вниманія.

— Что ты такой странный?—спрашивалъ его Розановъ.

— Я, братъ, давно такой.

— Гдѣ же ты ночевалъ?

— Тутъ у меня родственникъ есть.

— Откуда у тебя родственникъ взялся?

— Давно... всегда былъ тутъ дядя... у него ночевалъ.

Этотъ день и другой затѣмъ Помада или пребывалъ у Вязмитиновыхъ, или уѣзжалъ къ дядѣ.

У Вязмитиновыхъ онъ впадалъ въ самую дѣтскую веселость, цѣловалъ ручки Женни и Лизы, обнималъ Абрамовну, цѣловалъ Розанова и даже ни съ того, ни съ сего плакалъ.

— Что ты это, Помада?—спрашивалъ его Розановъ.

— Что? Такъ, Богъ его знаетъ, дѣтскіе годы... старое все какъ-то припомнилъ, и скучно разстаться съ вами.

Чѣмъ его болѣе ласкали здѣсь, тѣмъ онъ становился разстроеннѣе и тѣмъ чаще у него просились на глаза слезы. Вещи свои, заключающіяся въ давно извѣстномъ намъ ранцѣ, онъ еще съ вечера перевезъ къ Розанову и отъ него хотѣлъ завтра уѣхать.

— Увидимся еще завтра? — спрашивала его Женни.— Поѣздъ идетъ въ Москву въ двѣнадцать часовъ.

— Нѣтъ, Евгенія Петровна, я завтра у дяди буду.

Никакъ нельзя было уговорить его, чтобы онъ завтра показался.

Прощаясь у Вязмитиновыхъ со всѣми, онъ расцѣловалъ руки Женни и вдругъ поклонился ей въ ноги.

— Что вы! что вы дѣлаете? Что съ вами, Юстинъ Феликсовичъ?—спрашивала Женни.

— Такъ... разстроился, — тихо произнесъ Помада и, вдругъ измѣнивъ тонъ, подошелъ спокойною, твердою поступью къ Лизѣ.

— Я вамъ много надоѣдалъ, началъ онъ тихо и ровно.—

Я помню каждое ваше слово. Мнѣ безъ васъ было скучно. Ахъ, еслибы вы знали какъ скучно! Не сердитесь, что я пріѣзжалъ повидаться съ вами.

Лиза подала ему обѣ руки.

— Прощайте!—пролепеталъ Помада и, припавъ къ рукѣ Лизы, зарыдалъ какъ ребенокъ.

— Живите съ нами,—сказала ему сквозь слезы Лиза.

— Нѣтъ, другъ мой, — Помада улыбнулся и сказалъ:— можно васъ назвать «другомъ?»

Лиза отвѣчала утвердительнымъ движеніемъ головы.

— Нѣтъ, другъ мой, мнѣ съ вами нельзя жить. Я такъ долго жилъ безъ всякой опредѣленной цѣли. Теперь мнѣ легко. Это только такъ кажется, что я разстроенъ, а я въ самомъ дѣлѣ очень, очень спокоенъ.

— Что съ нимъ такое? — говорила Лиза, обращаясь къ Розанову и Женни.

— Ну вотъ! Ахъ вы, Лизавета Егоровна!—воскликнулъ Помада сквозь грустную улыбку. — Ну скажите, ну, что я за человѣкъ такой? Пока я скучалъ да томился, никто надъ этимъ не удивлялся, а когда я, наконецъ, спокоенъ, это всѣмъ удивительно. На свою дорогу напалъ: вотъ и все.

Пріѣхавъ къ Розанову, Помада попросилъ его дать ему бумаги и тотчасъ же сѣлъ писать. Онъ окончилъ свое писаніе далеко за полночь, а въ восемь часовъ утра стоялъ передъ Розановымъ во всемъ дорожномъ облаченіи.

— Куда ты такъ рано? — спросилъ его, просыпаясь, докторъ.

— Прощай, мнѣ пора.

— Да напейся же чаю.

— Нѣтъ, пора.

— Вѣдь до двѣнадцати часовъ еще долго.

— Нѣтъ пора, пора: прощай, братъ Дмитрій.

— Постой же, лошадей запрягутъ.

Розановъ крикнулъ человѣка и велѣлъ скорѣе запречь лошадей, а самъ сталъ наскоро одѣваться.

— Ты что хочешь дѣлать?

— Проводить тебя хочу.

— Нѣтъ! Бога ради, не надо, не надо этого! Ни лошадей твоихъ не надо, ни ты меня не провожай.

Розановъ остановился, выпяливъ на него глаза.

— Прощай! Вотъ это письмо передай, только не по почтѣ. Я не знаю адреса а Красинъ его знаетъ. Передай и оставайся.

— Да что же это такое за мистификація! Куда ты ѣдешь, Помада? Ты не въ Москву ѣдешь.

— Будь же уменъ и деликатенъ: простимся, и оставь меня.

Съ этими словами Помада поцѣловалъ Розанова и быстро вышелъ.

— Живи!—крикнулъ онъ ему изъ-за двери, взялъ перваго извозчика, и поѣхалъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Механики.

Письмо, оставленное Помадою въ рукахъ Розанова, было надписано сестрѣ Мечниковой, Агатѣ.

Розановъ положилъ это письмо въ карманъ и около десяти часовъ того же утра завезъ его Райнеру, а при этомъ разсказалъ и странности, обнаруженныя Помадою при его отъѣздѣ.

— Да, все это странно, очень странно, говорилъ Райнеръ!—но погодите, у меня есть нѣкоторыя догадки... Съ этой дѣвушкой дѣлаютъ что нибудь очень скверное.

Райнеръ взялъ письмо и обѣщался доставить его самъ. Вечеромъ Розановъ, встрѣтивъ его у Вязмитиновыхъ и, улучивъ минуту, когда остались одни, спросилъ:

— Ну, что ваши догадки?

— Оправдались.

— Что же съ этой дѣвушкой?

— Очень нехорошо. О, Боже мой! еслибъ вы знали, какіе есть мерзавцы на свѣтѣ!

— Очень знаю.

— Нѣтъ, не знаете.

— Помилуйте, на землѣ четвертый десятокъ начинаю жить.

— Нѣтъ, ни на какой *землѣ* не встрѣчалъ я такихъ мерзавцевъ, какъ здѣсь.

— Болотные,—подсказалъ Розановъ.

Послѣ этого разговора, при которомъ Райнеръ казался нѣсколько взволнованнымъ, его противъ обыкновенія не было видно около недѣли, и онъ очень плохо могъ разсказать, гдѣ онъ все это время исчезалъ и чѣмъ занимался.

Разскажемъ, что дѣлалъ въ теченіе этого времени Райнеръ.

Тотчасъ, разставшись съ Розановымъ, онъ отправился съ письмомъ Помады въ Болотную улицу и обойдя, съ безполезными разспросами нѣсколько печальныхъ домовъ этой улицы, наконецъ, нашелъ квартиру Агаты.

— Пожалуйте, пожалуйте за мной, трещала ему кривая грязная баба, идя впереди его по темному, вонючему коридорчику, съ неровнымъ поломъ, заставленнымъ ведрами, корытами, лоханками и всякой нечистью.—Онѣ давно ужъ совсѣмъ собрамшись; давно ждутъ васъ.

— Пріѣхали за вами!—крикнула баба, отворивъ дверь въ небольшой чуланчикъ, оклеенный засаленными бумажками.

Къ двери быстро подскочила Агата. Она много измѣнилась въ теченіе того времени, какъ Райнеръ не видалъ ее: лицо ея позеленѣло и немного отекло, глаза сдѣлались еще больше, фигура сильно испортилась въ таліи. Агата была беременна, и беременности ея шелъ седьмой мѣсяцъ. Бѣлоярцевъ давно разсказывалъ это; теперь Райнеръ видѣлъ это своими глазами. Беременность Агаты была очевидна, не смотря на то, что бѣдная женщина встрѣтила Райнера въ дорожномъ платьѣ. На ней былъ надѣтъ шерстяной линючій

ватошникъ и сверху драповый бурнусъ, подъ которымъ былъ поддѣтъ большой ковровый платокъ; другой такой же платокъ лежалъ у нея на головѣ. При входѣ Райнера, она тотчасъ начала связывать концы этого платка у себя за спиною и торопливо произнесла:

— Вотъ какъ! Такъ это вы за мною, monsieur Райнеръ?

— Я къ вамъ, а не за вами. Вотъ вамъ письмо.

— Отъ кого это?—спросила Агата и, поспѣшно разорвавъ конвертъ, пробѣжала коротенькую записочку.

— Что это значитъ?—спросила она, блѣднѣя.

— Не знаю,—отвѣчалъ Райнеръ.

Агата передала ему записку:

«Я васъ не могу взять съ собою, писалъ Помада, я уѣзжаю одинъ. Я вамъ хотѣлъ это сказать еще вчера, когда видѣлись у № 7, но эти было невозможно, и это было безполезно въ присутствіи № 11. Въ вашемъ положеніи вы не можете вынесть предпріятія, за которое беретесь, и взять васъ на него было бы подлостью и притомъ подлостью безполезною и для васъ, и для дѣла. Видѣться съ вами я не могъ, не зная вашего адреса и будучи обязанъ не знать его. Я рѣшился васъ обмануть и оставить. Я все это изложилъ въ письмѣ къ лицамъ, которыя должны знать это дѣло, и беру всю отвѣтственность на себя. Васъ никто не упрекнетъ ни въ трусости, ни въ безхарактерности, и всѣ честные люди, которыхъ я знаю по нашему дѣлу, вполнѣ порадуются, если вы откажетесь отъ своихъ намѣреній. Повѣрьте, что они вамъ будутъ не подъ силу. Вспомните, что вы вѣдь *русская*. Зачѣмъ вамъ быть съ нами? Примите мой совѣтъ: успокойтесь; будьте русскою женщиною и посмотрите, не вѣрно ли то, что странѣ вашей нужны прежде всего хорошія матери, безъ которыхъ трудно ждать хорошихъ людей». Подписано: «Гижицкій».

— Вы хотѣли ѣхать въ Польшу?—спросилъ Райнеръ, возвращая Агатѣ письмо Помады, подписанное чужою фамиліею.

— Ну да, я должна была сегодня ѣхать съ Гижицкимъ.

Видите, у меня все готово,—отвѣчала Агата, указывая на лежавшій посреди комнаты крошечный чемоданчикъ и связокъ въ кашемировомъ платкѣ.

— Что-жъ вы тамъ хотѣли дѣлать?

— Ходить за больными.

— Да вы развѣ полька?

— Нѣтъ, не полька.

— Ну, сочувствуете польскому дѣлу: аристократическому дѣлу?

— Ахъ, Боже мой! Боже мой! что только они со мною дѣлаютъ! произнесла вмѣсто отвѣта Агата и, опустившись на стулъ, поникла головою и заплакала.—То уговариваютъ, то оставляютъ опять на эту муку въ этой проклятой конурѣ,—говорила она, раздражаясь и нервно всхлипывая.

По коридору и за стѣнами конуры со всѣхъ сторонъ слышались человѣческіе шаги и то любопытный шопотъ, то сдержанный сиплый смѣхъ.

— Перестаньте говорить о такихъ вещахъ,—тихо проговорилъ по-англійски Райнеръ.

— Что мнѣ беречь! Мнѣ нечего терять и нечего бояться. Пусть будетъ все самое гадкое. Я очень рада буду,—отвѣчала по-русски и самымъ громкимъ, нервнымъ голосомъ Агата.

Райнеръ постоялъ нѣсколько секундъ молча и, еще понизивъ голосъ, опять по-англійски сказалъ ей:

— Поберегите же другихъ, которымъ можетъ повредить ваша неосторожность.

Дѣвушка, прислонясь лбомъ къ стѣнкѣ дивана, старалась душить свои рыданія, но, спустя пару минутъ, быстро откинула голову и, взглянувъ на Райнера покраснѣвшими глазами, сказала:

— Выйдите отъ меня, сдѣлайте милость! Оставьте меня со всякими своими совѣтами и нравоученіями.

Райнеръ взялъ съ чемодана свою шляпу и сталъ молча надѣвать калоши, стараясь не давать пищи возрастающему раздраженію Агаты.

— Фразеры гнусные!—проговорила она вслухъ, запирая на крючекъ свою дверь тотчасъ за Райнеровой спиной.

Райнера нимало не оскорбили эти обидныя слова: сердце его было полно жалости къ несчастной дѣвушкѣ и презрѣнія къ людямъ, желавшимъ сунуть ее куда попало для того только, чтобы спустить съ глазъ.

Райнеръ понималъ, что Агату ничто особенное не тянуло въ Польшу, но что ее склонили къ этому, пользуясь ея печальнымъ положеніемъ. Онъ вышелъ за ворота грязнаго двора, постоялъ нѣсколько минутъ и пошелъ, куда вели его возникавшія соображенія.

Черезъ часъ Райнеръ вошелъ въ комнату Красина, заставъ гражданина готовящимся выйти изъ дома.

Они поздоровались.

— Красинъ, перестали ли вы думать, что я шпіонъ?— спросилъ ex adrupto Райнеръ.

— О, конечно, какъ вамъ не стыдно и говорить объ этомъ!—отвѣчалъ Красинъ.

— Мнѣ нужно, во что бы то ни стало, видѣть здѣшняго комиссара революціоннаго польскаго правительства: помогите мнѣ въ этомъ.

— Но... позвольте, Райнеръ... почему вы думаете, что я могу вамъ помочь въ этомъ?

— Я это знаю.

— Ошибаетесь.

— Я это достовѣрно знаю: № 7 третьяго дня видѣлся съ № 11.

— Вы хотите идти въ возстаніе?

— Да,—тихо отвѣчалъ Райнеръ.

Красинъ подумалъ и походилъ по комнатѣ.

— Я тоже имѣю это намѣреніе, сказалъ онъ, остановясь передъ Райнеромъ, и началъ качаться на своихъ высокихъ каблукахъ.—Но, вы знаете, въ польской организаціи можно знать очень многихъ ниже себя, а старше себя только того, отъ кого вы получили свою номинацію, а я еще не имѣю

номинаціи. То есть я могъ бы ее имѣть, но она мнѣ пока еще не нужна.

— Укажите же мнѣ хоть кого-нибудь,—упрашивалъ Райнеръ.

— Не могу, батюшка. Вы напишите, что вамъ нужно, я поищу случая передать; но указать, извините никого не могу. Самъ не знаю.

Райнеръ сѣлъ къ столику и взялъ чертвертку писчей бумаги.

— Пишите безъ излишней скромности: если вы будете бояться ихъ, они вамъ не повѣрятъ.

Райнеръ писалъ: «Я, швейцарскій подданный Вильгельмъ Райнеръ, желаю идти въ польское народное возстаніе и прошу дать мнѣ возможность видѣться съ кѣмъ-нибудь изъ петербургскихъ агентовъ революціонной организаціи». Засимъ слѣдовала полная подпись и полный адресъ.

— Постараюсь передать,—сказалъ Красинъ.

На другой день, часу въ восьмомъ вечера, Афимья подала Райнеру карточку, на которой было написано: «*Коллежскій совѣтникъ Иванъ Венедиктовичъ Петровскій*». Райнеръ попросилъ г. Петровскаго. Это былъ человѣкъ лѣтъ 35, блондинъ, съ чисто выбритымъ благонамѣреннымъ лицомъ и со всѣми пріемами благонамѣреннѣйшаго департаментскаго начальника отдѣленія. Мундирный фракъ, въ которомъ Петровскій предсталъ Райнеру, и анненскій крестъ въ петлицѣ усиливали это сходство еще болѣе.

— Я имѣю честь видѣть господина Райнера? — началъ мягкимъ вкрадчивымъ голосомъ Петровскій.

Райнеръ далъ гостю надлежащій отвѣтъ, усадилъ его въ спокойномъ креслѣ своего кабинета и спросилъ, чему онъ обязанъ его посѣщеніемъ.

— Вашей записочкѣ, отвѣчалъ коллежскій совѣтникъ вынимая изъ бумажника записку, отданную Райнеромъ Красину.—А вотъ не угодно ли вамъ будетъ, продолжалъ онъ спустя немного,—взглянуть на другую бумажку.

Петровскій положилъ передъ Райнеромъ тонкій листокъ,

величиною съ листки, употребляемые для телеграфическихъ депешъ. Это была номинація г. Петровскаго агентомъ революціоннаго правительства. На лѣвомъ углу бумаги была круглая голубая печать Rządu Narodowego.

Райнеръ немного смѣшался и, торопливо пробѣжавъ бумагу, взглянулъ на двери: Петровскій смотрѣлъ на него совершенно спокойно. Не торопясь, онъ принялъ изъ рукъ Райнера его записку и вмѣстѣ съ своею номинаціей опять положилъ ихъ въ бумажникъ.

— Я беру вашу записку, чтобы возвратить ее тому, отъ кого она получена.

Райнеръ молча поклонился.

— Чѣмъ же прикажете служить? — тихо спросилъ коллежскій совѣтникъ.— Вы вѣдь не имѣете желанія идти въ возстаніе: мы знаемъ, что это съ вашей стороны былъ только предлогъ, чтобы видѣть комиссара. Я самъ не знаю комиссара, но, увѣряю васъ, что онъ ни васъ, никого принять не можетъ. Что вамъ угодно довѣрить, вы можете, не опасаясь, сообщить мнѣ.

Это начало еще болѣе способствовало Райнерову замѣшательству, но онъ оправился и съ полною откровенностью разсказалъ революціонному агенту, что, подъ видомъ сочувствія польскому дѣлу, имъ навязываютъ дѣвушку въ такомъ положеніи, въ которомъ женщина не можетъ скитаться по лѣсамъ и болотамъ, а имѣетъ всякое право на человѣческое снисхожденіе.

— Если вы отправите ее, прибавилъ Райнеръ:— то тысячи людей объ этомъ будутъ знать; и это не будетъ выгодно для вашей репутаціи.

— Совершенно такъ, совершенно такъ, подтверждалъ коллежскій совѣтникъ, пошевеливая анненскимъ крестомъ.— Я былъ пораженъ вчера этимъ извѣстіемъ и будьте увѣрены, что эта дѣвица никогда не будетъ въ возстаніи. Ей еще вчера послано небольшое вспоможеніе за безпокойство, которому она подверглась, и вы за нее не безпокойтесь.— Мы вѣдь въ людяхъ не нуждаемся, сказалъ онъ съ снисхо-

дительной улыбкой, и, тотчасъ же принявъ тонъ благородно-негодующій, добавилъ:—а это насъ подвели эти благородные русскіе друзья Польши.—Конечно, началъ онъ послѣ короткой паузы:—въ нашемъ положеніи здѣсь мы должны молчать и терпѣть, но эта почтенная партія можетъ быть увѣрена, что ея серьезныя занятія не останутся тайною для исторіи.

— Чѣмъ вы думаете испугать ихъ!—съ горькой улыбкой проговорилъ Райнеръ.

— Чѣмъ можемъ.

— Что имъ судъ исторіи, когда они сами увѣрены, что лгутъ себѣ и людямъ, и все-таки ничѣмъ не стѣсняются.

— Они полагаютъ, что цѣлый свѣтъ такъ же легко обманывать, какъ они обманываютъ своимъ соціализмомъ полсотни какихъ-нибудь юбокъ.

Петровскій сдѣлалъ тонкую департаментскую улыбку и сказалъ:

— Да, на русской землѣ выросли соціалисты, достойные полнѣйшаго удивленія.

— Какіе жъ это соціалисты! вскричалъ Райнеръ.

— Ну, фурьеристы.

— Это... просто...

— Дрянь! горячо сорвалъ Петровскій.

— Н-нѣтъ, игра въ лошадки, маскарадъ, въ которомъ интригуютъ для забавы. Конечно, они... иногда... пользуются увлеченіями...

— И все во имя теоріи! Нѣтъ, Богъ съ ними, съ ихъ умными теоріями и съ ихъ сочувствіемъ. Мы ни въ чемъ отъ нихъ не нуждаемся и будемъ очень рады какъ можно скорѣе освободиться отъ ихъ вниманія. Наше дѣло, продолжалъ Петровскій, не сводя глазъ съ Райнера:—добыть нашимъ бѣднымъ хлопкамъ землю, раздѣлить ее по-братски,—и пусть тогда будетъ народная воля.

Райнеръ посмотрѣлъ на коллежскаго совѣтника во всѣ глаза.

— Прощайте, господинъ Райнеръ, очень радъ, что имѣлъ случай познакомиться съ такимъ благороднымъ человѣкомъ, какъ вы.

— Какую вы новую мысль дали мнѣ о польскомъ движеніи! Я его никогда такъ не разсматривалъ и, признаюсь, его такъ никто не разсматриваетъ.

Коллежскій совѣтникъ улыбнулся и проговорилъ:

— Что жъ намъ дѣлать! и простился съ Райнеромъ.

Петровскаго, какъ онъ только вышелъ на улицу, встрѣтилъ молодой человѣкъ, которому коллежскій совѣтникъ отдалъ свой бумажникъ съ номинаціею и другими бумагами. Тутъ же они обмѣнялись нѣсколькими словами и пошли въ разныя стороны. У перваго угла Петровскій взялъ извозчика и велѣлъ ѣхать въ Нѣмецкій клубъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Неожиданный оборотъ.

Агата осталась въ Петербургѣ. Съ помощью денегъ, полученныхъ ею въ запечатанномъ конвертѣ черезъ человѣка, который встрѣтилъ ее на улицѣ и скрылся прежде, чѣмъ она успѣла сломать печать, бѣдная дѣвушка наняла себѣ уютную коморочку у бабушки-голландки и жила совершенно пропавъ для всего свѣта.

Она ждала времени своего разрѣшенія и старалась всячески гнать отъ себя всякую мысль о будущемъ. Райнеръ пытался отыскать ее, чтобы, по крайней мѣрѣ, утѣшить обѣщаніемъ достать работу, но Агата спряталась такъ тщательно, что поиски Райнера остались напрасными.

Въ *Домѣ Согласія* все шло попрежнему, только Бѣлорцевъ все болѣе заявлялъ себя доступнымъ міру и мірянамъ. Въ одинъ вечеръ, занимаясь набивкою чучела зайца, котораго застрѣлила какая-то его знакомая мірянка, онъ даже выразилъ насчетъ утилитарности такое мнѣніе, что «полезно все то, что никому не вредно и можетъ доста-

влять удовольствіе». Тутъ же онъ какъ-то припомнилъ нѣсколько знакомыхъ и, между прочимъ, сказалъ:

— Вотъ и Райнеръ выздоровѣлъ, вездѣ бываетъ, а къ намъ и глазъ не кажетъ. — А я полагаю, что теперь мы бы безъ всякаго риска могли предложить ему жить съ нами.

Мысль эта была выражена Бѣлоярцевымъ въ виду совершеннаго истощенія занятаго фонда: Бѣлоярцевъ давненько началъ подумывать, какъ бы сложить нѣкоторыя непріятныя обязанности на чужія плечи, и плечи Райнера представлялись ему весьма удобными для этой перекладки.

Женщины и самый Прорвичъ удивительно обрадовались мысли, выраженной Бѣлоярцевымъ насчетъ Райнера, и пристали къ Лизѣ, чтобы она немедленно же уговорила его переходить въ *Домъ*. Просьба эта отвѣчала личнымъ желаніямъ Лизы, и она на нее дала свое согласіе.

— Пойдетъ ли только теперь къ намъ Райнеръ?—усомнилась Ступина.—Онъ вѣрно обиженъ.—Но это сомнѣніе было опровергнуто всѣми.

— Райнеръ не такой человѣкъ, чтобы подчиняться личностямъ,—утвердила Лиза, приставая къ голосамъ, нераздѣлявшимъ опасеній Ступиной.

На другой день Лиза поѣхала къ Вязмитиновой.

Лиза вообще въ послѣднее время рѣдкій день не бывала у Женни, гдѣ собирались всѣ извѣстныя намъ лица: Полинька, Розановъ, Райнеръ и Лиза. Здѣсь они проводили время довольно не скучно и вовсе не обращали вниманія на являвшагося букою Николая Степановича.

Къ великому удивленію Лизы, полагавшей, что она знаетъ Райнера, какъ самое себя, онъ, выслушавъ ея разсказъ о предложеніи, сдѣланномъ вчера Бѣлоярцевымъ, только насмѣшливо улыбнулся.

— Что значитъ эта острая гримаса?—спросила его недовольная Лиза.

— То, что господинъ Бѣлоярцевъ очень плохо меня понимаетъ.

— И что же дальше?

— Дальше, очень просто: я не стану жить съ нимъ.

— Можно полюбопытствовать почему?

— Потому, Лизавета Егоровна, что онъ въ моихъ глазахъ человѣкъ вовсе негодный для такого дѣла, за которымъ нѣкогда собирались мы.

— То есть собирались и вы?

— Да, и я, и вы, и многіе другіе. Женщины въ особенности.

— Такъ вы въ нѣкоторыхъ вѣрите же?

— Вѣрю. Я вѣрю въ себя, въ васъ. Въ васъ я очень вѣрю, вѣрю и въ другихъ, особенно въ женщинъ. Ихъ самая пылкость и увлеченіе говоритъ, если не за ихъ твердость, то за ихъ чистосердечность. А такіе господа, какъ Красинъ, какъ Бѣлоярцевъ, какъ множество имъ подобныхъ... Помилуйте, развѣ съ такими людьми можно куда-нибудь идти!

— Некуда?

— Совершенно некуда.

— Такъ что же по вашему теперь: бросить дѣло?

Райнеръ пожалъ плечами.

— Это какъ-то мало походитъ на все то, что вы говорили мнѣ во время вашей болѣзни.

— Я ничего не дѣлаю, Лизавета Егоровна, безъ причины. Дѣло это, какъ вы его называете, выходитъ вовсе не дѣло. По милости всякаго шутовства и лжи, оно сдѣлалось общимъ посмѣшищемъ.

— Такъ спасайте его!

Райнеръ опять пожалъ плечами и сказалъ:

— Испорченнаго въ конецъ нельзя исправить, Лизавета Егоровна. Я вамъ говорю, что при внутренней безладицѣ всего, что у васъ дѣлается, васъ преслѣдуетъ всеобщая насмѣшка. Это погибель.

— Ничтожная людская насмѣшка!

— Насмѣшка не ничтожна, если она основательна.

— Мнѣ кажется, что все это родится въ вашемъ воображеніи,—сказала, постоявъ молча, Лиза.

— Нѣтъ, къ несчастію, не въ моемъ воображеніи. Вы, Лизавета Егоровна, далеко не знаете всего, что очень многимъ давно извѣстно.

— Что же по вашему нужно дѣлать? — спросила Лиза опять послѣ долгой паузы.

— Я не знаю. Если есть средства начинать снова на иныхъ простыхъ началахъ, такъ начинать.—Когда я говорилъ съ вами больной, я именно это разумѣлъ.

— Ну, начинайте.

— Средствъ нѣтъ, Лизавета Егоровна. Нужны люди и нужны деньги, а у насъ ни того, ни другого.

— Такъ клиномъ земля русская и сошлась для насъ!

— Мы, Лизавета Егоровна, русской земли не знаемъ и она насъ не знаетъ. Можетъ быть на ней есть и всякіе люди, да съ нами нѣтъ такихъ, какіе намъ нужны.

— Вы же сами признаете искренность за нашими женщинами.

— Да средствъ, средствъ нѣтъ, Лизавета Егоровна! Ничего начинать вновь при такихъ обстоятельствахъ невозможно.

— И вы рѣшились все оставить?

— Не я, а само дѣло показываетъ вамъ, что вы должны его оставить.

— И жить по-старому?

— И эту исторію тянуть дальше невозможно. Все это неминуемо должно будетъ разсыпаться само собою при такихъ учредителяхъ.

— Ну, идите же къ намъ: ваше участіе въ дѣлѣ можетъ его поправить.

— Не можетъ, не можетъ, Лизавета Егоровна, и я не желаю вмѣшиваться ни во что.

— Пусть все погибнетъ?

— Пусть погибнетъ и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— Это говорите вы, Райнеръ!

— Я, Райнеръ.

— Соціалистъ!

— Я, соціалистъ Райнеръ, я, Лизавета Егоровна, отъ всей души желаю, чтобы такъ или иначе скорѣе уничтожилась жалкая, смѣшная поцытка, профанирующая ученіе, въ которое я вѣрю. Я, соціалистъ Райнеръ, буду радъ, когда въ Петербургѣ не будетъ *Дома Согласія*. Я благословлю тотъ часъ, когда эта безобразная, эгоистичная и безнравственная куча самозванцевъ разойдется и не станетъ мотаться на людскихъ глазахъ.

Лиза стояла молча.

— Поймите же, Лизавета Егоровна, что я не могу, я не въ силахъ видѣть этихъ ничтожныхъ людей, этихъ самозванцевъ, по милости которыхъ въ человѣческомъ обществѣ безчестятся и предаются позору и посмѣянію принципы, въ которыхъ я выросъ и за которые готовъ сто разъ отдать всю свою кровь по каплѣ.

— Понимаю,—тихо и презрительно произнесла Лиза.

Оба они стояли молча у окна пустой залы Вязмитиновыхъ.

— Вы сами скоро убѣдитесь, началъ Райнеръ:—что...

— Всѣ соціалисты вздоръ и чепуха,—подсказала Лиза.

— Зачѣмъ же подсказывать не то, что человѣкъ хотѣлъ сказать.

— Что же? Вы человѣкъ, которому я вѣрила, съ которымъ мы во всемъ согласились, съ которымъ... даже думала никогда не разставаться...

— Позвольте: изъ-за чего же намъ разставаться?

— И вы вотъ что вышли! Трусить, идти на попятный дворъ и, наконецъ, желать всякаго зла соціализму!—перебила его Лиза.

— Не соціализму, а... вздорамъ, которые во имя его затѣяны пустыми людьми.

— Гдѣ же ваше снисхожденіе къ людямъ? Гдѣ же то воспрещеніе, о которомъ вы такъ красно говорили?

— Вы злоупотребляете словами, Лизавета Егоровна, — отвѣчалъ, покраснѣвъ, Райнеръ.

— А вы дѣлаете еще хуже. Вы злоупотребляете...

— Чѣмъ-съ?

— Довѣріемъ.

Райнеръ вспыхнулъ и тотчасъ же поблѣднѣлъ какъ полотно.

— И это человѣкъ, которому... на которомъ .. съ которымъ я думала...

— Но Бога ради: вѣдь вы же видите, что ничего нельзя дѣлать!—воскликнулъ Райнеръ.

— Тому, у кого коротка воля и кто мало дорожитъ довѣріемъ къ своимъ словамъ.

Райнеръ хотѣлъ что-то отвѣчать, но слово застряло у него въ горлѣ.

— А какъ красно вы умѣли разсказывать!—продолжала Лиза.—Трудно было думать, что у васъ меньше рѣшимости и мужества, чѣмъ у Бѣлоярцева.

— Вы пользуетесь правами вашего пола, отвѣчалъ весь дрожа Райнеръ.—Вы меня нестерпимо обижаете съ тѣмъ, чтобы возбудить во мнѣ ложную гордость и заставить дѣйствовать противъ моихъ убѣжденій. Этого еще никому не удавалось.

Въ отвѣтъ на эту тираду Лиза сдѣлала нѣсколько шаговъ на середину комнаты и, окинувъ Райнера уничтожающимъ взглядомъ, тихо выговорила:

— Безъисходныхъ положеній нѣтъ, monsieur Райнеръ.

Черезъ четверть часа она уѣхала отъ Вязмитиновой, не простясь съ Райнеромъ, который оставался неподвижно у того окна, у котораго происходилъ разговоръ.

— Что тутъ у васъ было?—спрашивала Райнера Евгенія Петровна, удивленная внезапнымъ отъѣздомъ Лизы.

Райнеръ уклончиво отдѣлался отъ отвѣта и уѣхалъ домой.

— Ну, что, Бахарева?—встрѣтили Лизу вопросомъ женщины *Дома Согласія!*

— Райнеръ не будетъ жить съ нами.

— Отчего же это?—освѣдомился баскомъ Бѣлоярцевъ.— Манерничаетъ! Ну, я къ нему схожу завтра.

— Да, сходите теперь; покланяйтесь хорошенько: это и идетъ къ вамъ,—отвѣтила Лиза.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

И сырыя дрова загораются.

Три дня, непосредственно слѣдовавшіе за этимъ разговоромъ, имѣютъ большое право на наше вниманіе.

Въ теченіе этихъ трехъ дней Райнеръ не видался съ Лизою. Каждый вечеръ онъ приходилъ къ Женни часомъ ранѣе обыкновеннаго и при первыхъ привѣтствіяхъ очень внимательно прислушивался не отзовется ли изъ спальни хозяйки другой знакомый голосъ, не покажется ли въ дверяхъ Лизина фигура. Лизы не было. Она не только не выѣзжала изъ дома, но даже не выходила изъ своей комнаты и ни съ кѣмъ не говорила. Въ эти же дни Николай Степановичъ Вязмитиновъ получилъ командировку, взялъ подорожную и собирался черезъ нѣсколько дней уѣхать мѣсяца на два изъ Петербурга и, наконецъ, въ одинъ изъ этихъ дней Красинъ обронилъ на улицѣ свой бумажникъ, о которомъ очень сожалѣлъ, но не хотѣлъ объявить ни въ газетахъ, ни въ кварталѣ и даже вдругъ вовсе пересталъ говорить о немъ.

Вечеромъ послѣдняго изъ этихъ трехъ дней Женни сидѣла у печки, топившейся въ ея спальнѣ. На колѣняхъ она держала младшаго своего ребенка и шутя говорила ему, когда онъ будетъ жить и расти. Няня Абрамовна сидѣла на креслѣ и сладко позѣвывала.

— Будемъ красавицы, умницы, добрыя, будутъ насъ любить, много, много будутъ насъ любить,—говорила Евгенія Петровна съ разстановкой, заставляя ребенка ласкать самого себя по щечкамъ собственными ручонками.

— Гадай, гадай, дитятко, — произнесла въ отвѣтъ ей старуха.

— Да ужъ угадаемъ, ужъ угадаемъ,—шутила Женни, цѣлуя дѣвочку.

— А на мой згадъ, какъ Фараонъ царь мальчиковъ побивалъ, такъ теперь слѣдуетъ выдать законъ, чтобъ побивали дѣвочекъ.

— За что это насъ убивать? за что убивать насъ?— относилась Женни къ ребенку.

— А за то, что нынче дѣвки не въ модѣ. Право, посмотришь,—свѣтъ-то навыворотъ пошелъ. Бывало въ домахъ ли гдѣ, въ собраніяхъ ли какихъ, видишь все-то кавалеры съ дѣвушками, съ барышнями, а барышни съ кавалерами, и таково-то славно, таково-то весело и пристойно. Парка парку себѣ отыскиваетъ. А нынче ужъ нѣтъ! Все пошло какъ-то таранты на вонъ. Всѣ мужчины, какъ идолы какіе оглашенные, все только около замужнихъ женщинъ такъ и вертятся, такъ и кривляются, какъ пауки; а тѣ тоже чи-чи-чи! да га-га-га! Сами на шею и вѣшаются.

Женни засмѣялась.

— Гадостницы,—проговорила Абрамовна.

Кто-то позвонилъ у дверей.

Абрамовна встала и отперла. Вошелъ Райнеръ.

— Идите сюда, Василій Ивановичъ, здѣсь печечка топится.

— Вы одни?—спросилъ, тихо входя, Райнеръ.

— Вотъ съ няней, да съ дочерью бесѣдую. Садитесь вы къ намъ.

— Я думалъ, что и Николай Степановичъ здѣсь.

— Нѣтъ; его нѣтъ совсѣмъ дома. Онъ уѣзжаетъ въ концѣ этой недѣли. Все ѣздитъ теперь къ своему начальнику. Лизы вы не видали?

— Нѣтъ, не видалъ.

— Хотите сейчасъ ее выпишемъ?

— Какъ вамъ угодно.

— Вамъ какъ угодно?

Райнеръ слегка покраснѣлъ, а Женни зажгла свѣчечку и написала нѣсколько строчекъ къ Лизѣ.

— Няня милая! возьми извозчика прокатайся,—сказала она Абрамовнѣ.

— Куда это, матушка?

— Привези Лизу.

— Это въ вертепъ-то ѣхать!

Райнеръ и Женни засмѣялись.

— Ну давай, давай съѣзжу,—отвѣчала старуха, черезъ десять минутъ одѣлась и отправилась въ вертепъ.

Въ это время, шагахъ въ тридцати не доходя дома, гдѣ жили Вязмитиновы, на тротуарѣ стоялъ Розановъ съ какимъ-то мѣщаниномъ въ калмыцкомъ тулупѣ.

— Уморительный маскарадъ! — говорилъ Розановъ тулупу.

— Именно *уморительный*, потому что умариваешься, какъ чортъ,— отвѣчалъ тулупъ.

— И долго вы еще здѣсь проиграете?

— Нѣтъ: птица сейчасъ юркнула куда-то сюда. Сейчасъ вынырнетъ, а дома тамъ его ждутъ.

— Да, что это воръ что ли?

— Какой воръ! Иностранецъ по политическому дѣлу: этихъ ловить не трудно.

— А кто такой, если можно?

— Райнеръ какой-то.

— Чортъ его знаетъ, не знаю,—отвѣчалъ Розановъ и, пожавъ руку переодѣтаго въ тулупъ, пошелъ неторопясь по улицѣ и скрылся въ воротахъ дома, гдѣ жили Вязмитиновы.

Райнеръ преспокойно сидѣлъ съ Евгеніи Петровной у печки въ ея спальнѣ и они не замѣтили, какъ къ нимъ черезъ дѣтскую вошелъ Розановъ, поднявшійся по черной лѣстницѣ.

Войдя въ спальню, Розановъ торопливо пожалъ руку хозяйки и, тронувъ слегка за плечо Райнера, поманилъ его за собою въ гостиную.

— Васъ сейчасъ схватятъ,—сказалъ онъ безъ всякихъ обиняковъ и въ сильномъ волненіи.

— Меня? Кто меня схватитъ?—спросилъ, блѣднѣя, Райнеръ.

— Извѣстно кто беретъ: полиція. Что вы сдѣлали въ это время, за что васъ могутъ преслѣдовать?

— Я, право, не знаю, началъ было Райнеръ, но тотчасъ же ударилъ себя въ лобъ и сказалъ:—ахъ, Боже мой! вѣрно эта бумага, которую я писалъ къ полякамъ.

Онъ вкратцѣ разсказалъ извѣстную намъ исторію, по скольку она относилась къ нему.

Подозрѣнія его были вѣрны: его выдавала извѣстная намъ записка, представленная въ полицейскій кварталъ городовымъ, поднявшимъ бумажникъ Красина.

— Кончено: спасенья нѣтъ, произнесъ Розановъ.

— Господи! къ счастію вы такъ неосторожно говорили, что я поневолѣ все слышала, сказала, входя въ гостиную, Вязмитянова.—Говорите, въ чемъ дѣло, можетъ быть, что-нибудь придумаемъ.

— Нечего придумывать, когда полиція слѣдитъ его по пятамъ и у вашего дома люди.

— Боже мой! Я поѣду, отыщу моего мужа, а вы подождите здѣсь. Я буду просить мужа сдѣлать все, что можно.

Розановъ махнулъ рукой.

— Мужъ вашъ не можетъ ничего сдѣлать, да и не станетъ ничего дѣлать. Кто возьметъ на себя такія хлопоты? Это не о мѣстѣ по службѣ попросить.

Надъ дверью громко раздался звонокъ и, жалобно звеня, закачался на дрожащей пружинѣ.

Розановъ и Женни остолбенѣли. Райнеръ всталъ совершенно спокойный и поправилъ свои длинные русые волосы.

— Мужъ!—прошептала Женни.

— Полиція!—произнесъ еще тише Розановъ.

— Бѣгите заднимъ ходомъ,—захлебываясь, прошептала Женни и, посадивъ на кушетку ребенка, дернула Райнера за руку въ свою спальню.

— Невозможно!—остановилъ ихъ Розановъ:—тамъ ваши люди: вы его не спасете, а всѣхъ запутаете.

Ребенокъ, оставленный на диванѣ въ пустой гостиной, заплакалъ, а надъ дверью раздался второй звонокъ вдвое громче прежняго.

За дѣтскою послышались шаги горничной.

— Сюда!—кликнула Женни и, схвативъ Райнера за рукавъ, толкнула его за драпировку, закрывавшую ея кровать,

Дѣвушка въ то же мгновеніе пробѣжала черезъ спальню и отперла дверь, надъ которою въ это мгновеніе раздался уже третій звонокъ.

Розановъ и Женни ни живы, ни мертвы стояли въ спальнѣ.

— Что это ты, матушка, ребенка-то одного бросила?— кропотливо говорила, входя, Абрамовна.

— Такъ, это ты няня?

— Что такое я, сударыня?

— Звонила?

— Да я же, я, вотъ видишь.

— А мы думали... что ты по черной лѣстницѣ войдешь.

— Носъ тамъ теперь расшибить.

Евгенія Петровна немножко оправилась и взяла ребенка.

— Не поѣхала,—сказала няня, входя и протягивая руки за ребенкомъ.

Женни вспомнила, что няня ѣздила за Лизой.

— Не поѣхала?—переспросила она ее.—Отчего же она не поѣхала?

— А не поѣхала, да вотъ тебѣ и только. Знаешь, чай, у ней сказъ коротокъ.

Женни была какъ на ножахъ. Мало того, что каждую минуту за драпировку ея спальни могли войти горничная или Абрамовна, тутъ могъ войти мужъ, котораго она ожидала безпрестанно.

Женни вертѣлась около опущенныхъ занавѣсокъ драпировки и понимала, что, во-первыхъ, ея караульное положеніе здѣсь неестественно, а, во-вторыхъ, она не знала, что дѣлать, если горничная или няня подойдетъ къ ней и попросить ее дать дорогу за драпировку.

Бѣдная женщина стояла, держа палецъ одной руки у рта, а другою удерживая крѣпко стучавшее сердце.

— Что намъ дѣлать?—шепнула она Розанову.

Тотъ пожалъ плечами и поникнулъ головою въ совершенномъ недоумѣніи.

Вязмитинова неслышными шагами подвинулась за занавѣску и черезъ полминуты Розановъ услыхалъ, какъ щелкнулъ замокъ въ ея ванной. Вслѣдъ затѣмъ Женни выскочила, какъ бы преслѣдуемая страшнымъ привидѣніемъ, схватила со стола свѣчу и побѣжала черезъ залъ и гостиную въ кабинетъ мужа. Во все это время она судорожно совала что-то въ карманъ своего платья и, остановясь у мужниного письменнаго стола, что-то уронила на полъ.

Розановъ нагнулся и поднялъ ключъ.

Женни сѣла и оперлась обѣими локтями на письменный столъ. Голова ея шаталась отъ тяжелаго дыханія.

— Дайте мнѣ воды,—прошептала она Розанову.

Докторъ налилъ ей стаканъ воды. Она выпила полстакана и вопросительно посмотрѣла на Розанова.

— Возьмите ключъ,—сказалъ онъ ей тихо.

Евгенія Петровна схватила ключъ, дрожащею рукою сунула его въ карманъ и закрыла разрѣзъ складкою широкой юбки.

— Что ему могутъ сдѣлать?—начала она очень тихо.

— Могутъ сдѣлать очень дурное. Законъ строгъ въ такихъ случаяхъ.

— Боже мой, и неужто нѣтъ никакой возможности спасти его? Пусть бѣжитъ.

— Какъ, куда и съ чѣмъ?

— Заграницу.

— А гдѣ паспортъ?

— Пусть скроется пока въ Россіи.

— Все-таки нуженъ видъ, нужны деньги.

— Я найду немного денегъ.

— А видъ?

Женни замолчала.

— Что это за бумага?—спросила она черезъ нѣсколько минутъ, указывая на лежащую на столѣ подорожную мужа. Это подорожная,—да? Съ нею можно уйти изъ Петербурга,—да? Говорите же: да или нѣтъ?

— Да,—отвѣчалъ Розановъ.

Женни взяла бумагу и, поднявъ ее вверхъ, встала со стула.

— А что будетъ, если эта бумага пропадетъ?—спросила она, глядя тревожными и восторженными глазами на Розанова.—Отвѣчайте мнѣ чистую правду.

— Если эту подорожную у Николая Степановича украдутъ?

— Да, если ее у него украдутъ? Скорѣе, скорѣе отвѣчайте.

— Если украдутъ, то... ему выдадутъ новую, а объ этой объявятъ въ газетахъ.

— И только? Говорите же: и только!

— И только, если она будетъ украдена и пропадетъ безъ вѣсти. Въ противномъ случаѣ, если Райнеръ съ нею попадется, то... будетъ слѣдствіе.

— Да, но мой мужъ все-таки не будетъ отвѣчать, потому что онъ ничего не зналъ? Я скажу, что я... сожгла ее, изорвала...

— Да, что до вашего мужа, то онъ внѣ всякихъ подозрѣній.

— Держите же ее, берите, берите,—произнесла дрожа Женни.

Она выбѣжала изъ кабинета и черезъ часъ вернулась съ шелковымъ кошелькомъ своей работы.

— Здѣсь что-то около сорока рублей. У меня болѣе ничего нѣтъ, лепетала она, безпрестанно мѣняясь въ лицѣ.—Берите это все и ступайте домой.

— Что вы такое задумали, Евгенія Петровна! Вспомните что вы дѣлаете!

— Берите и ступайте, приготовьте ему какое-нибудь платье: онъ ночью будетъ у васъ.

— Какъ вы это сдѣлаете? Подумайте только, у насъ не старая, не прежняя полиція.

— Ахъ, идите Бога ради домой, Дмитрій Петровичъ. Я все обдумала.

Розановъ положилъ въ карманъ подорожную, деньги и отправился домой.

Женни возвратилась въ свою спальню, пожаловалась, что она нехорошо себя чувствуетъ и, затворивъ за собою дверь изъ дѣтской, опустилась передъ образникомъ на колѣни.

Темные лики иконъ, озаренные трепетнымъ свѣтомъ лампады, глядѣли на молящуюся строго и спокойно.

Въ дѣтской послышался легкій старческій сапъ няни.

Евгенія Петровна тихо прошла со свѣчею по заднимъ комнатамъ. Въ другой маленькой дѣтской спала крѣпкимъ сномъ мамка, а далѣе, закинувъ голову на спинку дивана похрапывала полнокровная. Хозяйка тѣмъ же осторожнымъ шагомъ возвратилась въ спальню. Вязмитиновъ еще не возвращался. Въ залѣ стучалъ медленно раскачивающійся маятникъ стѣнныхъ часовъ.

Женни осторожно повернула ключъ въ завѣтной двери, Райнеръ спокойно сидѣлъ на краю ванны.

— Вы можете уходить нынче ночью, начала торопливо его спасительница.—Вотъ вамъ свѣча, зеркало и ножницы: стригите ваши волосы и бороду. Ночью я васъ выпущу черезъ подъѣздъ. Розановъ будетъ ждать васъ дома. Если услышите шаги, гасите свѣчу.

— Евгенія Петровна! зачѣмъ вы...

— Тссъ, — произнесла Женни, и ключъ .снова повернулся.

Въ одиннадцать часовъ возвратился Вязмитиновъ. Онъ очень удивился, заставъ жену въ постели.

— Я очень нездорова, — отвѣчала дрожа Евгенія Петровна.

— Что у тебя, лихорадка?—разспрашивалъ Вязмитиновъ взявъ ее за трепещущую руку.

— Вѣрно лихорадка: мнѣ нуженъ покой.

— За докторомъ послать?

— Ахъ, мнѣ покой нуженъ, а не докторъ. Дайте же мнѣ покою.

— Ну, Богъ съ тобой, если ты нынче такая нервная.

— Да, я въ самомъ дѣлѣ чувствую себя очень разстроенной.

— Я тоже усталъ,—отвѣчалъ Вязмитиновъ и, поцѣловавъ жену въ лобъ, ушелъ въ свой кабинетъ.

Женни отослала горничную, сказавъ, что она раздѣнется сама.

Наступила ночь; движеніе на улицѣ совершенно стихло; часы въ залѣ ударили два.

Женни осторожно приподнялась съ кровати и, подойдя неслышными шагами къ дверямъ, внимательно слушала: вездѣ было тихо. Изъ кабинета не доходило ни звука, повсюду темнота.

— Пора!—шепнула Женни, отворивъ дверь райнеровой темницы.

Райнера невозможно было узнать. Ни его прекрасныхъ волосъ, ни усовъ, ни бороды не было и слѣда. Неровно и клочковато, но весьма коротко, онъ снесъ съ своей головы всю растительность.

— Скорѣй и тише,—шепнула Женни.

Райнеръ вышелъ по мягкому ковру за драпировку.

— Вы губите себя,—шепталъ онъ.

— Вы здѣсь губите меня болѣе, чѣмъ когда вы уйдете,—такъ же тихо отвѣчала, оглядываясь, Женни.

— Я никогда не прощу себѣ, что послушался васъ сначала.

— Тссъ!—произнесла Женни.

— Для кого и для чего вы такъ рискуете? Боже мой!

— Я такъ хочу... для васъ самихъ... для Лизы. Тссъ!—опять произнесла она держа одною рукою свѣчу, а другою холодную руку Райнера.

Все было тихо, но Женни оставила Райнера и, подойдя къ двери дѣтской, отскочила въ испугѣ: свѣча ходенемъ заходила у нея въ рукѣ.

Съ той стороны двери въ эту же щель створа глядѣлъ на нее строгій глазъ Абрамовны.

— Зачѣмъ ты, зачѣмъ ты здѣсь, няня!—нервно шептала, глотая слова, Женни.—Спи, иди спи!

Абрамовна отворила дверь, перешагнула въ спальню и, посмотрѣвъ на Райнера, повертѣла свою головную повязку.

— Я тебѣ разскажу, все разскажу послѣ,—пролепетала Женни и, быстро вскочивъ, взяла Райнера за руку.

— Куда? страмовщица: опомнись! — остановила ее старуха.—Только того и надо, чтобы на лѣстницѣ кто нибудь встрѣтилъ.

Старуха вырвала у Евгеніи Петровны свѣчу, махнула головою Райнеру и тихо вышла съ нимъ изъ залы.

Женни осталась словно окаменѣлая; даже сильно бившееся до сихъ поръ сердце ея не стучало.

Легкій звонъ ключа сказалъ ей, что няня съ Райнеромъ прошли залу и вышли на лѣстницу.

Женни вздрогнула и опять упала на колѣни.

Абрамовна съ Райнеромъ такъ же тихо и неслышно дошли по лѣстницѣ до дверей параднаго подъѣзда. Старуха отперла своимъ ключемъ дверь и, толкнувъ Райнера на улицу, закричала пронзительнымъ старушечьимъ крикомъ: «Если не застанешь нашего доктора, бѣги къ другому, да скорѣе бѣги-то; скорѣе; скажи очень молъ худо».

Райнеръ побѣжалъ бѣгомъ.

— Да ты бери извозчика!—крикнула вдогонку старуха и захлопнула двери.

Райнеръ взялъ перваго извозчика и, виляя на немъ изъ переулка въ переулокъ, благополучно доѣхалъ до розановской квартиры.

Докторъ ждалъ гостя. Онъ не обременялъ его никакими вопросами, помогъ ему хорошенько обриться; на счастье Розановъ умѣлъ стричь, онъ наскоро поправилъ райнерову стрижку, далъ ему теплые сапоги, шапку, немного

бѣлья и выпроводилъ на улицу часа за полтора до разсвѣта.

— Боже! за что я всѣхъ васъ подвергаю такому риску, я, одинокій, никому ненужный человѣкъ,— говорилъ Райнеръ.

— Вы уходите скорѣй и подальше: это всего нужнѣе. Теперь ужъ раздумывать нечего,—отвѣчалъ Розановъ.

Когда послышался щелкъ ключа въ двери, которую запирала няня, Евгенія Петровна вскочила съ колѣнъ и остановилась передъ поднятыми занавѣсками драпировки.

Старушка вошла въ спальню строгая и суровая.

— Няня!—позвала ее Евгенія Петровна.

— Ну!

Евгенія Петровна заплакала.

— Перестань,—сказала старуха.

— Ты... не думай, няня... Я клянусь тебѣ дѣтьми, отцомъ клянусь, я ничего...

— Ложись, говорю тебѣ. Будто я не знаю, что ли, глупая ты!

Старуха поправила лампаду, вздохнула и пошла въ свою комнату.

Райнера не стало въ Петербургѣ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Землетрясеніе.

Четвертые сутки Лизѣ не удалось просидѣть въ своей комнатѣ.

Бѣлоярцевъ въ этотъ день не обѣдалъ дома и прискакалъ только въ шесть часовъ. Онъ вошелъ, придавая своему лицу самый встревоженный и озабоченный видъ.

— Всѣ дома?—спросилъ онъ, пробѣгая въ свою комнату.

— Всѣ,—лѣниво отвѣтила Бертольди.

— А Бахарева? — спросилъ онъ, снова выбѣжавъ въ залу.

— Она въ своей комнатѣ.

— Зовите ее скорѣе сюда. У насъ сегодня непремѣнно будетъ полиція.

— Полиція!—воскликнуло разомъ нѣсколько голосовъ.

— Да, да, да, ужъ когда я говорю, такъ это такъ. Сегодня ночью арестовали Райнера; квартира его опечатана и всѣ бумаги взяты.

Бертольди бросилась съ этой новостью къ Лизѣ.

— Нужно все сжечь, все, что можетъ указать на наши сношенія съ Райнеромъ, — говорилъ Бѣлоярцевъ, оглядываясь на всѣ стороны и соображая, чтобы такое начать жечь.

Вошла Лиза. Она была блѣдна и едва держалась на ногахъ. Ее словно расшибло извѣстіе объ арестѣ Райнера.

— У васъ, Лизавета Егоровна, могутъ быть письма Райнера?—отнесся къ ней Бѣлоярцевъ.

— Есть,—отвѣчала Лиза.

— Ихъ нужно немедленно уничтожить.

— Все пустыя, обыкновенныя письма: они не имѣютъ никакого политическаго значенія.

— Все-таки ихъ нужно уничтожить: они могутъ служить указаніемъ на его связь съ нами.

Лиза встала и черезъ пять минутъ возвратилась съ пачкою записокъ.

— Сжигайте,—сказала она, положивъ ихъ на столъ.

Бѣлоярцевъ развязалъ пачку и началъ кидать письма по одному въ пылающій каминъ.

Лиза молча глядѣла на вспыхивающую и берущуюся чернымъ пепломъ бумагу. Въ душѣ ея происходила ужасная мука. «Всѣхъ ты разогнала и растеряла», шептало ей чувство, болѣзненно сжимавшее ея сердце.

— У васъ есть еще что-нибудь?—освѣдомился Бѣлоярцевъ.

— Ничего,—отвѣчала Лиза, и то же чувство опять словно съ хохотомъ давнуло ея сердце и сказало: — да у тебя больше нѣтъ ничего.

— Что же еще жечь?—Давайте что жечь? — добивался Бѣлоярцевъ.

Ступина принесла и бросила какія-то два письма, Каверина кинула въ огонь свой давній дневникъ, Прорвичъ—составленный имъ лѣтъ шесть тому назадъ проектъ демократической республики, умѣщавшійся всего на шести писанныхъ страничкахъ. Одна Бертольди нашла у себя очень много матеріала, подлежащаго сожженію. Она безпрестанно подносила Бѣлоярцеву цѣлыя кипы и съ торжествомъ говорила:

— Жгите.

Но, наконецъ, и ея запасъ горючаго вещества изсякъ.

— Давайте же?—спрашивалъ Бѣлоярцевъ.

— Все,—отвѣтила Бертольди.

Бѣлоярцевъ всталъ и пошелъ въ свою комнату. Долго онъ тамъ возился и, наконецъ, вынесъ оттуда огромную груду бумагъ. Бросивъ все это въ каминъ, онъ раскопалъ кочережкою пепелъ и сказалъ:

— Ну, теперь милости просимъ.

Женщины сидѣли молча въ весьма непріятномъ раздумьѣ; скука была страшная.

— Да, — началъ Бѣлоярцевъ, — пока пожалуютъ дорогіе гости, намъ нужно условиться, что говорить. Надо сказать, что всѣ мы родственники и говорить это въ одно слово. Вы, mademoiselle Бертольди, скажите, что вы жена Прорвича.

— Отлично,—отозвалась Бертольди.

— Вы назовитесь хоть моею женою, — продолжалъ онъ, относясь къ Ступиной,—а вы, Лизавета Егоровна, скажите, что вы моя сестра.

— Къ чему же это?

— Такъ, чтобы замаскировать нашу ассоціацію.

— Это очень плохая маска: никто не повѣритъ такой баснѣ.

— Отчего же-съ?

— Оттого, что если полиція идетъ, такъ ужъ она знаетъ,

куда идетъ и, наконецъ, вмѣстѣ жить и чужимъ людямъ никому не запрещено.

— Ну вѣдь вотъ то-то и есть, что съ вами не сговоришь. Отчего-жъ я думаю иначе? Вѣрно ужъ я имѣю свои основанія, — заговорилъ Бѣлоярцевъ, позволившій себѣ по поводу экстреннаго случая и съ Лизою бесѣдовать въ своемъ любимомъ тонѣ.

Лиза ничего ему не отвѣтила. Не до него ей было.

— И опять, надо знать, какъ держать себя, началъ Бѣлоярцевъ. — Надо держать себя съ достоинствомъ, но безъ выходокъ, вѣжливо, надо лавировать.

— А пока они придутъ, надо сидѣть вмѣстѣ или можно ложиться?—спросила Бертольди.

Бѣлоярцевъ походилъ молча и отвѣчалъ, что надо посидѣть.

— Можетъ-быть, разойтись по своимъ комнатамъ?

— Зачѣмъ же по своимъ комнатамъ. Семья развѣ не можетъ сидѣть въ залѣ.

Всѣ просидѣли съ часокъ: скука была нестерпимая и, не смотря на тревожное ожиданіе обыска, иные начали позѣвывать.

— Возьмите какія-нибудь тетради, будто переводите что ли, или работу возьмите,—командовалъ Бѣлоярцевъ.

— На переводахъ есть райнеровскія поправки,—отозвалась Ступина.

— Что жъ такое что поправки: никто не станетъ листовать вашихъ тетрадей.

Бертольди принесла двѣ тетради, изъ которыхъ одну положила передъ собою, а другую передъ Ступиной. Каверина вышла къ своему ребенку, который былъ очень боленъ.

Въ залѣ снова водворилось скучное молчаніе. Бѣлоярцевъ прохаживался, поглядывалъ на часы и, остановясь у одного окна, вдругъ воскликнула:

— Ну да, да, да: вотъ у насъ всегда такъ! О поправ-

кахъ на тетрадяхъ помнимъ, а вотъ такіе документы разбрасываемъ по окнамъ!

Онъ поднесъ къ столу пустой конвертъ, надписанный когда-то Райнеромъ «Ступиной въ квартирѣ Бѣлоярцева».

— Еще и «въ квартирѣ Бѣлоярцева», — произнесъ онъ съ упрекомъ, сожигая на свѣчѣ конвертъ.

— Это пустяки,—проговорила Ступина.

— Пустяки-съ! Я только не знаю, отчего вы не замѣчаете, что я не пренебрегаю никакими пустяками?

— Вы особенный человѣкъ, — отвѣчала та съ легкой ироніей.

Вышла опять скучнѣйшая пауза.

— Который часъ?—спросила Ступина.

— Скоро десять.

— Не идти ли спать со скуки?

— Какой же сонъ! Помилуйте, Анна Львовна, ну, какой теперь сонъ въ десять часовъ!

— Да чего жъ напрасно сидѣть. Ничего не будетъ.

— Ну да; вамъ больше знать, — полупрезрительно протянулъ Бѣлоярцевъ.

Въ это мгновеніе на дворѣ стукнула калитка, потомъ растворилась дверь ведущая со двора на лѣстницу и по кирпичнымъ ступенямъ раздался тяжелый топотъ, кашель и голоса.

— А что-съ!—воскликнулъ, блѣднѣя, Бѣлоярцевъ, злобно глянувъ на Ступину.

Блѣдность разомъ покрыла всѣ лица. Изъ корридора показалась блѣдная же Каверина, а изъ-за нея спокойное широкое лицо Марѳы.

Шаги и говоръ раздались у самой лѣстницы и, наконецъ, дрогнулъ звонокъ.

Бѣлоярцевъ присѣлъ на окно. Зала представляла неподвижную живую картину ужаса.

Послышался второй звонокъ.

— Ну, отпирайте, вѣдь не отсидимся ужъ, — сказала Каверина.

Бертольди пошла въ переднюю, въ темнотѣ перекрестилась и повернула ключъ.

Тяжелый роковой топотъ раздался въ темной передней и на порогъ залы выползла небольшая круглая фигурка въ крытомъ сукномъ овчинномъ тулупѣ, воротникъ котораго былъ завернутъ за уши.

Фигура приподняла было ко лбу руку съ сложенными перстами, но, не находя по угламъ ни одного образа, опустила ее снова и, слегка поклонившись, проговорила:

— Наше почтенье-съ.

Граждане переглянулись.

— Я, господа, къ вашей милости,—начала фигура.

Ступина подошла со свѣчою къ тулупу и увидала, что за нимъ стоитъ мужъ Мароы, да держащаяся за дверь Бертольди и болѣе никого.

— Я, какъ вамъ угодно, только я не то, что изъ капризу какого-нибудь, а я рѣшительно вамъ говорю, что, имѣя себѣ капиталъ совершенно, можно сказать, что самый незначительный, то я болѣе ожидать не могу-съ. По мелочной торговлѣ, это нельзя-съ. Сорокъ рублей тоже для нашего брата въ оборотѣ свой разсчетъ имѣютъ.

Ступина не выдержала и залилась самымъ веселымъ смѣхомъ.

— Отчего же я не смѣюсь?—тономъ слабаго упрека остановилъ ее Бѣлоярцевъ.

Упрекъ этотъ, при общей обстановкѣ картины, такъ мало отвѣчавшей совершенно другимъ ожиданіямъ, заставилъ расхохотаться не только всѣхъ женщинъ, но даже Прорвича. Не смѣялись только Лиза, лавочникъ да Бѣлоярцевъ.

— Я вѣдь это по чести только пришелъ, началъ лавочникъ, обиженный непонятнымъ для него смѣхомъ,—а то я съ вами, милостивый вы государь, и совсѣмъ иначе завтра сдѣлаюсь,—отнесся онъ къ Бѣлоярцеву.

— Да что же тутъ я? Мы всѣ брали и заплатимъ. Чудной ты человѣкъ, Афанасій Ивановичъ! Брали и заплатимъ.

— Нѣтъ, это чудакъ, ваше благородіе, баранъ, что до

Петрова дня матку сосетъ, а мы здѣсь въ своемъ правилѣ. На насъ также не ждутъ. Моя рѣчь вся вотъ-она: денежки на столъ и душа на просторъ, а то я завтра и въ фарталъ сведу.

Ступина, глянувъ на Бѣлоярцева, опять прыснула неудержимымъ смѣхомъ.

Это окончательно взбѣсило лавочника.

— А если и мамзели въ томъ же разсчетѣ, такъ мы тоже попросимъ туда и мамзелей, — проговорилъ онъ, озирая женщинъ.

При этихъ славахъ Лиза сорвалась съ мѣста и, вынеся изъ своей комнаты пятидесяти-рублевую ассигнацію, сказала:

— Вотъ тебѣ деньги; принеси завтра сдачу и счетъ.

Лавочникъ ушелъ и за нимъ загромыхалъ своими бахилами Мартемьянъ Ивановъ.

Бѣлоярцевъ былъ совершенно разбитъ и тупо ждалъ, когда умолкнетъ дружный, истерическій хохотъ женщинъ.

— Ну-съ, господинъ Бѣлоярцевъ! взялась за него Лиза.— До чего вы насъ довели?

Бѣлоярцевъ молчалъ.

— Завтра мнѣ мой счетъ чтобъ былъ готовъ: я ни минуты не хочу оставаться въ этомъ смѣшномъ и глупомъ домѣ.

Лиза вышла; за нею, посмѣиваясь, потянули и другія. Въ залѣ остались только Марѳа и Бертольди.

— А вамъ очень нужно было отпирать! накинулся Бѣлоярцевъ на послѣднюю.—Отчего-жъ я не летѣлъ, какъ вы, сломя голову?

— Это, я думаю, моя обязанность,—нѣсколько обиженно отозвалась Бертольди.

— И твой мужъ, Марѳа, тоже хорошъ, продолжалъ Бѣлоярцевъ:—лѣзетъ, какъ будто цѣлый полкъ стучитъ.

— Батюшка мой, да у него, у моего мужа, сапожищи-то вѣдь демоны,—оправдывала Марѳа супруга.

— Демоны! демоны! отчего же...

Бѣлоярцевъ по привычки хотѣлъ сказать: «отчего же у меня сапоги не демоны», но спохватился и уже, не ставя себя образцомъ, буркнулъ только:

— Пусть другіе сдѣлаетъ. Нельзя же такъ... тревожить весь домъ своими демонами.

— А Каверпной ребенокъ очень плохъ,—зашелъ сказать ему Прорвичъ.

— Ахъ, ты Боже мой! воскликнулъ Бѣлоярцевъ, сорвавъ съ себя галстукъ.—Начнется еще теперь это бабье вытье; похороны; пятьсотъ гробовъ наставятъ въ залъ! Ну, что-жъ это за пытка такая!

Онъ побѣгалъ по комнатѣ и, остановясь передъ Прорвичемъ, озадаченнымъ его грубою выходкою, спросилъ, выставя впередъ руки:

— Ну, скажите же мнѣ, пожалуйста, ну, гдѣ же? гдѣ она ходитъ, эта полиція? Когда же всему этому будетъ послѣдній конецъ.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Въ Бѣловѣжѣ.

Заповѣдный заказникъ, занимающій огромное пространство въ Гродненской губерніи, извѣстенъ подъ именемъ Бѣловѣжской пущи. Этотъ безконечный лѣсъ съ незапамятныхъ поръ служилъ любимымъ и лучшимъ мѣстомъ королевскихъ охотъ; въ немъ водится туръ или зубръ и онъ воспѣтъ Мицкевичемъ въ одномъ изъ самыхъ безсмертныхъ его твореній. Теперь въ густой пущѣ давно уже нѣтъ и слѣда той бѣлой башни, отъ которой она, по догадкамъ польскихъ историковъ, получила свое названіе, но съ мыслью объ этомъ лѣсѣ у каждаго литвина и поляка, у каждаго человѣка, кто когда-нибудь бродилъ по его дебрямъ или плелся по узенькимъ дорожкамъ, насыпаннымъ въ его топкихъ внутреннихъ болотахъ, связаны самыя грандіозныя воспоминанія. Видѣвъ одинъ разъ пущу, цѣлую жизнь нельзя забыть того тихаго, но обыкновенно глубокаго впе-

чатлѣнія, которое она производитъ на теряющагося въ ней человѣка. Непроглядныя чащи, засѣвшія на необъятныхъ пространствахъ, обитаемыя зубрами, кабанами, ланями и множествомъ разнаго другого звѣря, всегда молчаливы и серьезны. Углубляясь въ нихъ, невольно вспоминаешь исчезнувшіе лѣса тевтоновъ, описанные съ неподражаемою прелестью у Тацита. Самая большая изъ проложенныхъ черезъ пущу дорожекъ пряма, но узка и окружающія ее деревья, если смотрѣть впередъ на разстояніи нѣсколькихъ шаговъ, сливаются въ одну темную массу. Слѣдуя этой дорожкой, человѣкъ видитъ только землю подъ ногами, двѣ лиственныя стѣны и узенькую полоску свѣтлаго неба сверху. Идешь по этой дорожкѣ, какъ по дну какого-то глубокаго рва или по безконечной могилѣ. Кругомъ тишина, изрѣдка только нарушаемая шорохомъ кустовъ, раздвигаемыхъ торопливою ланью или трескомъ валежника, хрустящаго подъ тяжелымъ копытомъ рогатаго тура. На каждомъ шагу, въ каждомъ звукѣ, въ каждомъ легкомъ движеніи вѣтра по вершинамъ задумчиваго лѣса вездѣ чувствуется сила цѣлостной природы гордой своею независимостью отъ человѣка. Непроглядныя чащи мѣстами пересѣкаются болотистыми потовинами, заросшими лозою. Черезъ эти болота тянутся колеблющіяся, узенькія насыпныя дорожки, на которыхъ очень трудно разъѣхаться двумъ встрѣчнымъ литовскимъ фурманкамъ. Шагъ въ сторону съ этой дорожки невозможенъ: болото съ неимовѣрною быстротою обойметъ своею холодною грязью и затянетъ. Крестьяне нерѣдко видали въ этихъ болотахъ торчащіе изъ трясины рога тура или окоченѣвшую головку замерзшей въ страданіяхъ данельки. Деревень въ пущѣ очень немного и тѣ, кромѣ самаго селенія Бѣловѣжи, раскинуты по окраинамъ, а средина дебри совершенно пуста. Только въ нѣсколькихъ пунктахъ можно наткнуться на одинокую хату одинокаго стражника, а то все звѣрь да дерево. Пуща представляла очень много удобствъ для возстанія. Кромѣ того, что отрядамъ инсургентовъ въ ней можно было формироваться и скрываться

отъ преслѣдованія сильнѣйшихъ отрядовъ русскаго войска, въ пущѣ есть поляны, на которыхъ стоятъ стога сѣна, заготовляемаго для зубровъ на все время суровой зимы; здѣсь по лѣсу пробѣгаетъ нѣсколько ручьевъ и рѣчекъ и, наконецъ, лѣсъ полонъ смѣлой и ненапуганной крупной звѣрины, которою всегда можно пропитать очень большую партію.

Послѣднее возстаніе отлично понимало всѣ выгоды, которыя ему представляла собою непроходимая дебрь, съ своими полянами, заготовленнымъ сѣномъ и звѣриною.

Пуща одно время была пріютомъ для многихъ формировавшихся шаекъ и въ нее старались прорываться сформированные отряды, нуждавшіеся въ роздыхѣ или укомплектованіи.

Поздними осенними сумерками холоднаго литовскаго дня одинъ изъ такихъ отрядовъ, состоявшій изъ тридцати хорошо вооруженныхъ всадниковъ, осторожно шелъ узенькою болотною дорожкою по пущѣ, на сѣверъ отъ Бѣловѣжи. Отрядъ этотъ двигался довольно рѣдкою цѣпью по два въ рядъ, наблюдая притомъ глубочайшую тишину. Не только не брячала ни одна сабля, но даже не пырхала ни одна усталая лошадь, и несмотря на все это, молодой предводитель отряда все-таки безпрестанно останавливался, строго произносилъ «тс!» и съ заячьей осторожностью то прислушивался къ трепетному шопоту слегка колеблющихся вершинъ, то старался, кажется, пронизать своимъ взглядомъ чащу, окружающую трясину.

Только перейдя болото и видя, что послѣдняя пара его отряда сошла съ дорожки, кое-какъ насыпанной черезъ топкое болото, онъ остановилъ лошадь, снялъ темно-малиновую конфедератку съ бѣлой опушкой и, обернувшись къ отряду, перекрестился.

— Ну, вынесъ Богъ, сказалъ молодой человѣкъ, стараясь говорить какъ можно тише. — Будь здѣсь спрятаны десять москалей, мы бы всѣ, какъ куры, пропали въ этомъ болотѣ.

Отрядъ тоже снялъ шапки и всѣ набожно перекрестились: старикъ трубачъ, ѣхавшій возлѣ предводителя, сложилъ на груди свои костлявыя руки и, склонивъ къ нимъ сѣдую голову, началъ шептать пацержи.

— Огеръ, давай сигналъ! такъ же тихо произнесъ предводитель, не сводя глазъ съ той стороны пройденнаго болота.

Молодой мальчикъ, стоявшій на первомъ ряду, обернулся на сѣдлѣ и, опершись рукою о крупъ своей лошади, пронзительно вскрикнулъ лѣсною иволгой.

Нѣсколько повстанцевъ повернулись на своихъ сѣдлахъ и стали смотрѣть на ту сторону болота.

Въ густой чащѣ того берега простоналъ пугачъ.

— Идутъ, сказалъ молодой предводитель и осторожно тронулся впередъ съ своимъ отрядомъ.

На болотной дорожкѣ съ той стороны показался новый отрядъ человѣкъ въ шестьдесятъ. Въ такой же точно тишинѣ этотъ второй отрядъ благополучно перешелъ болото и соединился на противоположной сторонѣ съ первымъ.

Какъ только передняя пара задняго отряда догнала послѣднюю лошадь перваго, человѣкъ, ѣхавшій во главѣ этого второго отряда, обскакалъ нѣсколько паръ и, догнавъ передняго предводителя, поѣхалъ съ нимъ рядомъ.

Новый предводитель былъ гораздо старше того, который перешелъ болото съ передовымъ отрядомъ, и принадлежалъ несомнѣнно къ чистой польской расѣ, между тѣмъ какъ первый ничуть не напоминалъ собою сарматскаго типа и немногія сказанныя имъ польскія слова произносилъ не чисто. По службѣ революціонному правительству, предводитель задней партіи тоже долженъ былъ имѣть несомнѣнное старшинство надъ первымъ. Когда они поровнялись, пожилой полякъ, не удостоивая молодого человѣка своего взгляда, тихо проворчалъ изъ-подъ нависшихъ усовъ:

— Я очень благодарю пана Кулю; переходъ сдѣланъ осторожно.

Молодой человѣкъ, котораго назвали Кулею, приложилъ руку къ околышу конфедератки и, осадивъ на одинъ шагъ своего коня, поѣхалъ, уступая старшему на полъ-лошади переда.

Отрядъ продолжалъ идти въ могильной тишинѣ. На дворѣ совсѣмъ смеркалось.

Пройдя такимъ образомъ еще около половины польской мили, повстанцы достигли довольно большой поляны, на которой сквозь сѣрый сумракъ можно было отличить два высокіе и длинные стога сѣна.

— Ну, прошу ротмистра освѣдомиться, — произнесъ старшій.

Куля позвалъ съ собою стараго трубача да двухъ рядовыхъ повстанцевъ и тихо выѣхалъ съ ними на поляну, правя прямо къ чернѣвшимся стогамъ.

Отрядъ остался на дорогѣ.

Куля впереди трехъ человѣкъ уже почти доѣхалъ до одного стога, какъ его молодая лошадь вдругъ вздрогнула, поднялась на дыбы и бросилась въ сторону.

Куля осадилъ коня на первыхъ же шагахъ и, давъ ему крѣпкія шпоры, заставилъ карьеромъ броситься къ стогу. Добрая лошадь повиновалась, но на полукурсѣ снова вдругъ неожиданно метнулась и смяла трубачеву лошадь.

— Вѣрно старикъ стоитъ у сѣна, проговорилъ шопотомъ трубачъ.—Не муштруйте, панъ ротмистръ, напрасно коня: непривычный конь не пойдетъ на старика.

— А, можетъ-быть, это засада!

— Нѣтъ, не засада. Пусть панъ ротмистръ мнѣ вѣритъ, я тутъ взросъ. Это старикъ гдѣ-нибудь стоитъ подъ стогомъ.

Въ эту минуту облачное небо какъ бы нарочно прорвалось въ одномъ мѣстѣ и блѣдная луна, глянувъ въ эту прорѣху, освѣтила пожелтѣвшую поляну, стоящіе на ней два стога и передъ однимъ изъ нихъ черную, чудовищную фигуру стараго зубра. Громадное животное, отогнанное стадомъ за преклонность лѣтъ и тяжесть своего тѣла, оче-

видно, ужъ было очень старо и искало покоя у готоваго сѣна. Нужно полагать, что зубръ уже наѣлся и отдыхалъ. Онъ стоялъ задомъ къ стогу и, слегка покачивая своими необъятными рогами, смотрѣлъ прямо на подъѣзжавшихъ къ нему всадниковъ.

— Панъ ротмистръ видитъ теперь, что это старикъ! Вотъ былъ бы добрый ужинъ намъ и добрая полендвица офицерамъ.

Куля качнулъ отрицательно головою и, повернувъ лошадь въ объѣздъ стогу, направился къ пересѣкавшей поляну узкой лѣсной косѣ, за которою днемъ довольно ясно можно было видѣть, сквозь черные пни деревъ, небольшую хатку стражника.

Быкъ тоже тронулся съ мѣста и лѣниво, престарѣвшимъ Собакевичемъ, зашагалъ съ поляны въ чащу.

— Не ужинъ это стоялъ намъ, а гробъ. Старикъ никогда не попадается даромъ, съ суевѣрнымъ страхомъ прошепталъ здоровый рыжій повстанецъ.

— Ври больше, отвѣчалъ, также шопотомъ, старый трубачъ.

У перелѣска, отдѣлявшаго хатку отъ поляны, Куля соскочилъ съ сѣдла и, обратясь къ трубачу, сказалъ:

— Пойдемъ, Бачинскій, со мною.

— Въ сей моментъ, панъ ротмистръ, — отвѣчалъ старикъ, соскочивъ съ лошади и кидая поводья рыжему повстанцу.

Куля и Бачинскій пошли осторожно пѣшкомъ.

— Темно въ окнахъ,—прошепталъ Куля.

— Нарочно чортовъ сынъ заховался, отвѣчалъ Бачинскій.— А здѣсь самое первое мѣсто для насъ. Тамъ, сзади, проѣхали одно болото, тутъ вотъ, за хатою, съ полверсты всего — другое, а ужъ тутъ справа идетъ такая трясина, что не то что москаль, а и самъ дьяволъ черезъ нее не переберется.

Вѣтеръ расхаживался съ каждою минутою и бросалъ въ

глаза что-то мелкое и холодное, не то снѣгъ, не то ледяную мглу.

— Поганая погода поднимается, ворчалъ Бачинскій.

Съ старой плакучей березы сорвался филинъ и тяжело замахалъ своими крыльями. Сначала онъ низко потянулъ по полянѣ, цѣпляясь о сухія бурылья чернобыла и полыни, а потомъ поднялся и, сѣвши наверху стога, захохоталъ своимъ глупымъ и непріятнымъ хохотомъ.

— Проклятая птица! произнесъ Бачинскій.

— Она мышей ищетъ: за что ты ее клянешь.

— О! чортъ съ нею, панъ ротмистръ: пропала бы она совсѣмъ. Погано ее слушать.

Бачинскій нагнулся и шопотомъ прочелъ:

— Pod twoje obrone uciekamy.

Тѣмъ временемъ они перешли перелѣсокъ и остановились.

Старикъ тихо подошелъ къ темнымъ окнамъ хаты, присѣлъ на завалинку и сталъ вслушиваться.

— Что? спросилъ его шопотомъ Куля.

— Ничего... все тихо... Кто-то какъ будто стонетъ.

— Слушай хорошенько.

— Стонетъ кто-то, повторилъ Бачинскій, подержавъ ухо у тонкой стѣны хатки.

— Ну, стучи ужъ.

Старикъ слегка постучалъ въ стекло: отвѣта не было; онъ постучалъ еще и еще разъ — изъ хаты не было ни звука, ни оклика; даже стоны стихли.

— Вотъ и дѣлай съ ними что знаешь, произнесъ Бачинскій. — Смотрите, панъ ротмистръ, здѣсь, а я пролѣзу подъ застрѣху и отворю двери.

Старикъ сбросилъ чемарку и ловко заработалъ руками, взбираясь на заборчикъ. На дворѣ залаяла собачонка и, выскочивъ въ подворотню наружу, сѣла противъ воротъ и жалостно взвыла.

Старикъ, взобравшійся въ эту минуту подъ самый гребень застрѣхи, съ ожесточеніемъ плюнулъ на выскочив-

шаго пса, послалъ ему сто тысячъ дьяволовъ и однимъ прыжкомъ очутился внутри стражникова дворика.

Вслѣдъ затѣмъ, небольшія ворота тихо растворились, и Куля ушелъ за Бачинскимъ. Оставленные ими два всадника, съ четырьмя лошадьми, въ это же мгновеніе приблизились и остановились подъ деревьями, наблюдая ворота и хату.

На лай собачонки, которая продолжала завывать, глядя на отворенныя ворота дворика, въ сѣнныхъ дверяхъ щелкнула деревянная задвижка и на порогѣ показался высокій худой мужикъ въ одномъ бѣльѣ.

— Ты стражникъ? — спросилъ его Бачинскій, заходя впередъ своего ротмистра.

— Охъ! стражникъ, пане, стражникъ,— отвѣчалъ, вздыхая, крестьянинъ.

— У тебя были нынче повстанцы?

— Охъ! были же, были, пане.

— Что жъ они оставили намъ?

— Ой, не знаю, пане: смилуйтесь надо мною, ничего я не знаю.

— А москалей тутъ не чутно?

— Не знаю, пане; — да нѣтъ, не чутно, здѣсь москалей не чутно.

— Кто жъ это у тебя стонетъ?

— А вотъ ваши, что прошли, такъ двухъ бидаковъ у меня сегодня покинули: умираютъ совсѣмъ несчастливые. Говорятъ, потычка у нихъ была гдѣ-то съ москалями: ранены да разболѣлись, заслабѣли.

— Ну, веди насъ въ хату и топи печь.

— Идите, пане, дѣлайте, что̀ хотите: вся ваша тутъ будетъ воля.

Куля подозвалъ двухъ повстанцевъ, стоявшихъ съ лошадьми, и, отдавъ одному изъ нихъ черное чугунное кольцо съ своей руки, послалъ его на дорогу, къ командиру отряда, а самъ сѣлъ на завалинку у хатки и, снявъ

фуражку, задумчиво глядѣлъ на низко ползущія темныя облака.

Въ черныхъ оконцахъ хаты блеснулъ слабый красноватый свѣтъ и черезъ минуту на порогѣ сѣней показался старый трубачъ.

Опершись ладонями о притолки двери, онъ посмотрѣлъ на небо и сказалъ:

— Ночью будетъ снѣгъ, а въ хатѣ ночевать никакъ невозможно.

— Отчего? — спросилъ Куля.

— Смрадъ нестерпимый: тамъ двое умираютъ.

Куля молча поднялся и вошелъ черезъ крошечныя сѣни въ тѣсную хату стражника.

Маленькая хатка, до половины занятая безобразною печью, была освѣщена лучиной, которая сильно дымила. Въ избѣ было очень душно и стоялъ сильный запахъ гніющаго трупа.

На лавкахъ, голова къ головѣ, лежали двѣ человѣческія фигуры, закрытыя сѣрыми суконными свитками. Куля взялъ со свѣтца горящую лучину и, подойдя съ нею къ одному изъ раненыхъ, осторожно приподнялъ свитку, закрывающую его лицо.

Сильный гангренозный запахъ ошибъ Кулю и заставилъ опустить приподнятую полу. Онъ постоялъ и, сдѣлавъ усиліе подавить поднимавшійся у него позывъ къ рвотѣ, зажавъ платкомъ носъ, опять приподнялъ отъ лица раненаго уголъ свитки.

Глазамъ Кули представилась черная африканская голова, съ кучерявою шерстью вмѣсто волосъ. Негръ лежалъ широко раскрывъ остолбенѣвшіе глаза. Онъ тяжело дышалъ ускореннымъ смраднымъ дыханіемъ и шевелилъ пурпурнымъ языкомъ между запекшимися губами.

Куля оглянулся, взялъ ковшъ, висѣвшій на деревянномъ ведрѣ, зачерпнулъ воды и полилъ нѣсколько капель въ распаленныя уста негра. Больной проглотилъ и на нѣсколько мгновеній сталъ дышать тише

Куля подошелъ къ другому страдальцу. Этотъ лежалъ съ открытою головою и, казалось, не дышалъ вовсе.

Куля поднялъ со лба больного волосы, упавшіе на его лицо, и приложилъ свою руку къ его головѣ. Голова была тепла.

Куля нагнулся къ лицу больного, взглянулъ на него и въ ужасѣ вскрикнулъ:

— Боже мой! Помада!

Повстанецъ открылъ глаза, повелъ ими вокругъ и, остановивъ на Кулѣ, хотѣлъ приподняться, но тотчасъ же застоналъ и снова упалъ на дерюжное изголовье.

— Это вы, Помада? — повторилъ по-русски Куля.

Больной посмотрѣлъ долгимъ пристальнымъ взглядомъ на Кулю и, вмѣсто отвѣта, тихимъ равнодушнымъ голосомъ произнесъ:

— Райнеръ!

Кто-то забарабанилъ пальцами по стеклу и крикнулъ:— «панъ Куля!»

— Иду, — отозвался Райнеръ и, сжавъ полумертвую руку Помады, засунулъ лучину въ свѣтецъ и торопливо выскочилъ изъ хаты.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Что̀ предсказывали старый зубръ, филинъ и собака.

Не густыми, мягкими хлопьями, а рѣденькими, ледянистыми звѣздочками уже третій часъ падалъ снѣгъ и завывала буря, шумя вершинами качавшихся деревъ и приподнимая огромные клоки сѣна со стоговъ, около которыхъ расположился ночлегомъ лагерь встрѣченныхъ нами инсургентовъ.

Скверная была ночь, способная не одного человѣка заставить вспомнить о тепломъ углѣ, за жарко-истопленною домашнею печью.

Измученныя лошади не пользовались отпущенными имъ сѣдельными подпругами. Рѣдкая, какъ бы нехотя, дернетъ

клочокъ сѣна изъ стога, къ которому ихъ поставили, лѣниво повернетъ два-три раза челюстями и съ непроглоченнымъ сѣномъ во рту начинаетъ дрожать и жаться къ опустившей голову и такъ же дрожащей сосѣдкѣ. Люди проводятъ ночь не веселѣе своихъ коней. Укутавшись въ свиты и раскатанныя изъ ремней попоны, они жмутся и дрожатъ подъ стогомъ, не выпуская намотанныхъ на локти чембуровъ, потому что лошадей привязать у стоговъ не къ чему, а по опушкѣ поляны разбиваться опасно. Холодъ проникаетъ всюду и заставляетъ дрожать усталую партію, которая вдобавокъ, ожидая посланныхъ за пищею квартирьеровъ, улеглась не ѣвши и, боясь преслѣдованія, не смѣетъ развести большого огня, у котораго можно бы согрѣться и обсушиться. Сонъ, которымъ забылись нѣкоторые изъ людей этого отряда, скорѣе похожъ на окоченѣніе, чѣмъ на сонъ, способный обновить истощенныя силы. По опушкѣ поляны въ нѣсколькихъ мѣстахъ, также коченѣя и корчась, трясутся оставленные сигнальщики; около стога, служащаго центральнымъ мѣстомъ расположенія отряда, тихо бродятъ четверо часовыхъ, уткнувъ подбородки въ поднятые воротники своихъ свитъ и придерживая локтями обледенѣвшіе карабины. Въ одномъ мѣстѣ, подрывшись подъ стѣнку стога, два человѣка, стуча зубъ-о-зубъ, изрѣдка шопотомъ обмѣниваются другъ съ другомъ отрывочными фразами.

— Хоть бы сухарь,—говоритъ одинъ изъ нихъ, молоденькій мальчикъ съ едва пробивающимся пушкомъ на губахъ.

— Жди, Стась, жди,—отвѣчаетъ другой, болѣе мужественный голосъ, и опять оба молчатъ.

— А если ихъ москали поймаютъ? опять шепчетъ ребенокъ, запахиваясь попоной.—Я не могу больше терпѣть, Томашъ, я очень голоденъ... я умру съ голоду.

— Ты знаешь, опять шепчетъ тотъ же слабый голосъ,—я видѣлъ сегодня мать: задремалъ на сѣдлѣ и увидѣлъ.

— Мать—наша отчизна,—отвѣчаетъ другой голосъ.

— Томашъ! опять зоветъ шопотомъ ребенокъ,—знаешь, что я хочу тебѣ сказать: я вѣдь пропаду тутъ. У меня силы нѣтъ, Томашъ.

Томашъ ничего не отвѣчалъ.

— Я уйду, Томашъ,—совсѣмъ почти беззвучно шепнулъ мальчикъ и задрожалъ всѣмъ тѣломъ.

Томашъ опять ничего не отвѣтилъ.

Въ другомъ мѣстѣ, въ глубокой впадинѣ стога, укрывшись теплыми бараньими пальто, лежали другіе два человѣка и говорили между собою по-французски. По ихъ выговору можно было разобрать, что одинъ изъ нихъ чистый французъ, другой итальянецъ изъ Неаполя или изъ другихъ мѣстъ южной Италіи.

— У меня въ сумкѣ есть еще маленькій кусокъ сыру, хотите—мы подѣлимся?—спрашивалъ французъ.

— Оставьте его; это не годится, когда наши люди голодаютъ и мерзнутъ.

— Что вы дѣлали въ такихъ положеніяхъ въ Италіи?

— У насъ никогда не было такихъ положеній,—отвѣчалъ итальянецъ.

— Боже, какая природа, какіе люди и какіе порядки!—проговорилъ, увертываясь, голодный французъ.

Около стражнической хаты стояли два часовыхъ. Предводитель отряда, напившись теплаго чая съ ромомъ, ушелъ въ небольшой сѣнной сарайчикъ стражника и спалъ тамъ, укрывшись теплою медвѣжьей шубой съ длиннѣйшими рукавами. У дверей этого сарайчика, сидя на корточкахъ, дремалъ рядовой повстанецъ. Въ сѣняхъ, за вытащеннымъ изъ избы столикомъ, сидѣлъ извѣстный намъ старый трубачъ и пилъ изъ мѣднаго чайника кипятокъ, взогрѣтый на остаткахъ спирта командирскаго чая; въ углу, на кучѣ мелкихъ сосновыхъ вѣтвей, спали два повстанца, состоящіе на ординарцахъ у командира отряда, а задомъ къ нимъ, съ стеариновымъ огарочкомъ въ рукахъ, дрожа и безпрестанно озираясь, стоялъ самъ стражникъ.

— Ну, а сколько было фурманокъ?—спрашивалъ трубачъ стражника.

— Двѣ, пане.

— Нѣтъ, четыре.

— Ей-Богу, пане, двѣ видѣлъ.

— А по скольку коней?

— По парѣ, пане,—парныя, пане, были фурманки.

— И сколько было рудыхъ коней?

— Два сдается.

— А вотъ же брешешь—одинъ.

— Можетъ, пане, и одинъ. Мряка была; кони были мокрые. Можетъ, и точно такъ говоритъ ваша милость, рудый конь одинъ былъ.

— И обѣщали они привезть провіантъ къ вечеру?

— О! Богъ же меня убей, если не обѣщали.

— И бумаги никакой не оставляли нашему полковнику?

— Боже мой! да что жъ вы меня пытаете, пане?

— Бо ты брешешь.

— А чтобъ мои очи повылазали, если мнѣ брехать охота.

Старикъ опрокинулъ пустой чайникъ, разбудилъ спавшихъ на хворостѣ повстанцевъ и, наказавъ имъ строго смотрѣть за стражникомъ, улегся на хворостъ, читая вполголоса католическую молитву.

— Какъ это нашъ ротмистръ въ этой смердячей хатѣ пишетъ?—сказалъ онъ, ни къ кому не относясь и уворачиваясь въ свиту.

— Тепло, да смрадъ тамъ великій,—отозвался въ темнотѣ стражникъ.

Въ теплой хатѣ съ великимъ смрадомъ на одной лавкѣ былъ прилѣпленъ стеариновый огарокъ и лежали двѣ законвертованныя бумаги, которыя Райнеръ, стоя на колѣняхъ у лавки, приготовилъ по приказанію своего отряднаго командира.

Окончивъ спѣшно эту работу, Райнеръ всталъ и, подойдя тихонько къ Помадѣ, сѣлъ возлѣ него на маленькомъ деревянномъ обрубкѣ.

— Какъ вы себя чувствуете, Помада?—спросилъ онъ съ участіемъ.

Больной тяжело вздохнулъ и не отвѣтилъ ни слова.

Райнеръ посидѣлъ молча и спросилъ:

— Не надо ли васъ перевязать?

— Не надо, тихо процѣдилъ сквозь зубы Помада и попробовалъ приподняться на локоть, но тотчасъ же закусилъ губы и остался въ прежнемъ положеніи.—Не могу, сказалъ онъ,—и черезъ двѣ минуты съ усиліемъ добавилъ:—вотъ гдѣ мы встрѣтились съ вами, Райнеръ! Ну, я при васъ умру.

— Постойте, мы возьмемъ васъ.

— Нѣтъ, тутъ вотъ она... (Помада потрогалъ себя правою рукою за грудь)... я ее чувствую... Смерть чувствую,—произнесъ онъ съ очевидной усталостью.

— Вотъ, заговорилъ опять словоохотливо Помада,—три раны вдругъ получилъ, я непремѣнно долженъ умереть, а пятый день не умираю.

— Не говорите, это вамъ вредно,—остановилъ его Райнеръ.

— Нѣтъ... мнѣ все равно. У меня здѣсь пуля подъ лѣвой... подъ лѣвымъ плечомъ... я умру скоро... Да, черезъ нѣсколько часовъ я, наконецъ, умру.

— Какъ вы сюда попали?

— Я самъ просилъ, чтобы меня оставили... тряско ѣхать... хуже. Все равно, гдѣ ни умереть. Этотъ негръ,—у него большая рана въ паху... онъ тоже не могъ ѣхать...

— Отъ него гангренозный запахъ.

— Не слышу... У меня ужъ нѣтъ ни вкуса, ни обоянія... Я радъ, что я...

— Вы радуетесь близкой смерти?

Помада сдѣлалъ головою легкій знакъ согласія.

— Мнѣ давно надоѣло жить, началъ онъ послѣ долгой паузы.—Я пустой человѣкъ... ничего не умѣлъ, не понималъ, не нашелъ у людей ничего. Да, я... моя мать была полька... А вы... Я недавно слышалъ, что вы въ инсуррек-

ціи... Не вѣрилъ... Думалъ, зачѣмъ вамъ въ возстаніе? Да... Ну, а вотъ и правда... вотъ вы смѣялись надъ національностями, а пришли умирать за нихъ.

— За землю и свободу крестьянъ!

— Какъ?.. Не слыхалъ я...

— Я пришелъ умереть не за національную Польшу, а за Польшу, кающуюся передъ народомъ.

— Да... а я такъ, я... Правда, я вѣдь ничего...

Помада слегка махнулъ рукой.

Райнеръ молчалъ.

— Вотъ видите, какъ я умираю, опять началъ Помада.— Лизавета Егоровна думаетъ, можетъ-быть, что я... что я и умереть не могу твердо. Вы ей скажите, какъ я «съ свинцомъ въ груди»... Охъ!

Райнеръ еще ближе нагнулся къ больному.

— Нѣтъ, ничего... Это мнѣ показалось смѣшно, что я «съ свинцомъ въ груди»... да больно сдѣлалось... А впрочемъ, все это не то... Вотъ Лизавета Егоровна... знаете? Она васъ...

— Какое это лицо! Какое это лицо посмотрѣло въ окно?— вскрикнулъ онъ разомъ, уставивъ противъ себя здоровую руку.

Райнеръ посмотрѣлъ въ окно: ничего не было видно, кромѣ набившихся на стекла полосъ снѣга.

Райнеръ всталъ, взялъ револьверъ и вышелъ черезъ сѣни за дверь хаты.

Буря попрежнему злилась, бросая облаками леденистаго снѣга, и за нею ничего не было слышно. Коченѣющаго лагеря не было и примѣтъ.

Райнеръ вернулся и снова сѣлъ возлѣ Помады.

— Я вѣдь вамъ десять копѣекъ заплатилъ?—проговорилъ больной, глядя на Райнера.—Да, да, я заплатилъ... Теперь... теперь я свою шинель... перекрасить отдамъ... да... Она еще... очень хорошая... Да, а десять копѣекъ я заплатилъ...

Райнеръ всталъ, чтобы намочить свой платокъ и положить его на голову впавшаго въ бредъ Помады.

Когда онъ повернулся съ компрессомъ къ больному, ему самому показалось, что что-то живое промелькнуло мимо окна и скрылось за стѣною.

Помада вздрогнулъ отъ компресса, быстро вскочилъ и напряженно крикнулъ:

— Ей больно! Евгенія Петровна, пустите ея голову—и, захрапѣвъ, повалился на руки Райнера.

Черезъ райнерову руку хлынула и ручьемъ засвистала алая кровь изъ растревоженной грудной раны.

Помада умиралъ.

Райнеръ, удерживая одною рукою хлещущую фонтаномъ кровь, хотѣлъ позвать кого-нибудь изъ ночевавшей въ сѣняхъ прислуги, но прежде чѣмъ онъ успѣлъ произнесть чье-нибудь имя, хата потряслась отъ страшнаго удара и въ углу ея, надъ самою головою Райнера, образовалась щель, въ которую такъ и зашипѣла змѣею буря.

— Do broni, do broni!—отчаянно крикнулъ Райнеръ, выскочивъ въ сѣни, и, снова вбѣжавъ въ хату, изорвалъ свои пакеты и схватилъ заливающагося кровью Помаду.

Сквозь мечущихся въ перепугѣ повстанцевъ, Райнеръ съ своею тяжелою ношею бросился къ двери, но она была заперта снаружи.

— Мы погибли!—крикнулъ Райнеръ и метнулся во дворъ.

Съ одного угла крошечнаго дворика на крышу прыгнулъ зайцемъ синій огонекъ и, захлопавъ длиннымъ языкомъ, сразу охватилъ постройку.

— За мною, ребята!—скомандовалъ онъ хватавшимся за оружіе повстанцамъ.—Все равно пропадать *за свободу хлоповъ*, за мною!

Онъ перескочилъ сѣни и, неся на себѣ Помаду, со всей силы бросился въ окно.

Два штыка впились и засѣли въ спинѣ Помады; но онъ былъ уже мертвъ, а четыре крѣпкія руки схватили Райнера за локти.

— Спасайтесь! крикнулъ Райнеръ и почувствовалъ, что ему крѣпко стягиваютъ сзади руки.

Сквозь вой бури онъ слышалъ на полянѣ нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ, ружейную пальбу, даже долетѣли до него стоны и знакомый голосъ начальника отряда, который несся, крича:

— Налѣво, налѣво, дьяволы!—тамъ болото!

Дворъ и стога пылали.

Черезъ десять минутъ все было кончено. По полянѣ метались только перепуганныя лошади, потерявшія своихъ сѣдоковъ, да валялись истекавшіе кровью трупы. Казаки бросились вдогонъ за ничтожнымъ остаткомъ погибшаго отряда инсургентовъ; но продолжительное преслѣдованіе при такой теми было невозможно.

Возлѣ Райнера стоялъ такъ же крѣпко связанный рыжій повстанецъ, съ которымъ они пять часовъ назадъ подъѣзжали къ догоравшей теперь хатѣ.

— Чья это была банда?—спросилъ, подходя къ плѣннымъ, начальникъ русскаго отряда.

— Моя,—спокойно отвѣчалъ Райнеръ.

— Ваше имя?

— Станиславъ Куля.

— Такъ это? обратился русскій командиръ къ повстанцу.

— Такъ,—отвѣчалъ тотъ, глядя на Райнера.

— Сколько у васъ было человѣкъ?

— Сорокъ,—съ увѣренностью произнесъ Райнеръ.

Убитыхъ тѣлъ насчитано тридцать семь. Раненыхъ только два. Солдаты, озлобленные утомительнымъ скитаньемъ по дебрямъ и пустынямъ, не отличались мягкосердіемъ.

Отрядъ считался разбитымъ на-голову. Изъ сорока—тридцать семь было убито, два взяты и одинъ найденъ обгорѣвшимъ въ обращенной въ пепелъ хатѣ.

Райнеръ, назвавшись начальникомъ банды, зналъ, что онъ цѣлую ея половину спасаетъ отъ дальнѣйшаго преслѣдованія; но онъ не зналъ, что бѣглецовъ встрѣтило холодное литовское болото, на которое они бросились въ темнотѣ этой ужасной ночи.

Передъ утромъ связаннаго Райнера положили на фур-

манку; въ головахъ у него сидѣлъ подводчикъ, въ ногахъ часовой солдатъ съ ружьемъ. Отдохнувшій отрядъ снялся и тронулся въ походъ.

Усталый до послѣдней степени, Райнеръ, не смотря на свое печальное положеніе, заснулъ дѣтски-спокойнымъ сномъ.

Около полудня отрядъ остановился на роздыхъ. Сонъ Райнера нарушался стукомъ оружія и веселымъ говоромъ солдатъ; но онъ еще не приходилъ къ сознанію всего его окружающаго. Долетавшія до слуха русскія слова стали пробуждать его.

— Это нешто война!—говорилъ солдатикъ, составляя ранецъ на колесо фурманки.

— Одна слабая фантазія,—отвѣчалъ другой.

Райнеръ открылъ глаза и, припомнивъ ужасную ночь, понялъ свое положеніе.

На дворѣ стояла оттепель; солнце играло въ капляхъ тающаго на иглистыхъ листьяхъ сосны снѣга; невдалекѣ на землѣ было большое черное пятно, вылежанное ночевавшимъ здѣсь стадомъ зубровъ, и съ этой проталины несся сильный запахъ парного молока.

Прискакалъ какой-то верховой: ударили въ барабанъ.

— Подводчики къ командиру!—раздалось по лагерю.— Воля вамъ съ землею отъ царя пришла. Ступай всѣ, сейчасъ будутъ читать про волю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Баронъ и баронесса.

Лизавета Егоровна Бахарева не могла оставить *Дома Согласія* на другой же день послѣ происшедшей тамъ тревоги; здоровье ее не выпустило. И безъ того давно слабая и разстроенная, она не могла вынести послѣдняго извѣстія о Райнерѣ. Силы, еще кое-какъ державшія ее во время совершаемаго Бѣлоярцевымъ ауто-да-фе и при сценѣ съ лавочникомъ, оставили ее вовсе какъ только она затворилась въ своей комнатѣ. Ночь всю до бѣла свѣта она провела

одѣтая въ своемъ креслѣ, и когда Ступина утромъ осторожно постучалась въ ея дверь, привскочила съ выраженіемъ страшнаго страданія. Легкіе удары тоненькаго женскаго пальца въ досчатую дверь причиняли ей такое несносное мученіе, которое можно сравнить только съ тѣмъ, какъ если бы начали ее бить по головѣ желѣзными молотами. Тихій голосъ Ступиной, звавшей ее изъ двери къ чаю, раздавался въ ея ушахъ раздирающимъ, непріятнымъ трескомъ, какъ отъ щипанья лучины. Лиза попробовала было сказать, что она не хочетъ чаю и не выйдетъ, но первый звукъ ея собственнаго голоса дѣйствовалъ на нее такъ же раздражающе, какъ и чужой. Лиза испугалась и не знала, что̀ съ собой дѣлать: ей пришла на умъ жена Фарстера въ королевѣ Маабъ, и перспектива быть погребенною за̀живо ее ужаснула.

Лиза взяла клочокъ бумаги, написала: «пошлите когонибудь сейчасъ за Розановымъ», передала эту записочку въ дверь и легла, закрывъ голову подушками.

У нея было irritatia systemae nervorum, доходящее до такой чувствительности, что не только самый тихій человѣческій голосъ, но даже едва слышный шелесть платья, самый ничтожный скрипъ пера, которымъ Розановъ писалъ рецептъ, или звукъ отъ бумажки, которую онъ отрывалъ отъ полулиста,—все это причиняло ей несносныя боли.

Дружескія заботы Розанова, спокойствіе и тишина, которыя доставляли больной жильцы *Дома*, и отсутствіе лишнихъ людей въ три дня значительно уменьшили жестокость этихъ припадковъ. Черезъ три дня Лиза могла читать глазами книгу и переносила вблизи себя тихій разговоръ, а еще черезъ день заговорила сама.

— Дмитрій Петровичъ!—были первыя слова, обращенныя ею къ Розанову.—Вы мой старый пріятель и я къ вамъ могу обратиться съ такимъ вопросомъ, съ которымъ не обратилась бы ни къ кому. Скажите мнѣ, есть у васъ деньги?

— Сколько вамъ нужно, Лизавета Егоровна?

— Хоть тысячу рублей.

Розановъ улыбнулся и покачалъ отрицательно головой.

— Я вѣдь получу мой выдѣлъ.

— Да нѣтъ у меня, Лизавета Егоровна, а не о томъ забота, что вы отдадите. Вотъ сто или полтораста рублей—это есть, за удовольствіе сочту, если вы ихъ возьмете. Я вѣдь вашъ должникъ.

— А у Женни, не знаете—нѣтъ денегъ?

— Такихъ большихъ?

— Ну, да, тысячи или двухъ.

— Навѣрно знаю, что нѣтъ. Вотъ, возьмите пока у меня полтораста рублей.

— Мнѣ столько никуда не годится,—отвѣчала Лиза.

Черезъ день она спрашивала Розанова: можно ли ей выйти безъ опасности получить рецидивъ.

— Куда же вы пойдете?—освѣдомился Розановъ.

— Развѣ это не все равно?

— Нѣтъ, не все равно. Къ Евгеніи Петровнѣ дня черезъ два будетъ можно; къ Полинѣ Ивановнѣ тоже можно, а сюда, въ свою залу, положительно нельзя, и нельзя ни подъ какимъ видомъ.

— Я хотѣла съѣздить къ сестрѣ.

— Къ какой сестрѣ?

— Къ Софи.

— Къ Софьѣ Егоровнѣ! Вы!?

— Ну, да,—только перестаньте, пожалуйста, удивляться: это... тоже раздражаетъ меня. Мнѣ нужно у нея быть.

Розановъ промолчалъ.

— Я вамъ говорила, что мнѣ нужны деньги. Просить взаймы я не хочу ни у кого, да и не дастъ никто; вѣдь никому же неизвѣстно, что у меня есть состояніе.

Розановъ кивнулъ головой въ знакъ согласія.

— Такъ видите, что я хотѣла... мнѣ деньги нужны очень... какъ жизнь нужны... мнѣ безъ нихъ нечего дѣлать.

— А съ двумя тысячами?—спросилъ Розановъ.

Лиза помолчала и потомъ сказала тихо:

— Я заведу мастерскую съ простыми дѣвушками.

Розановъ опять молчалъ.

— Такъ видите, я хочу уладить, чтобы сестра или ея мужъ дали мнѣ эти деньги до выдѣла моей части. Какъ вы думаете?

— Конечно... я только не знаю, что̀ это за человѣкъ мужъ Софьи Егоровны.

— Я тоже не знаю, но это все равно.

— Ну, какъ вамъ сказать: нѣтъ, это не все равно! А лучше, не поручите ли вы этого дѣла мнѣ? Повѣрьте, это будетъ гораздо лучше.

Лиза согласилась уполномочить Розанова на переговоры съ барономъ и баронессою Альтерзонъ, а сама, въ ожиданіи, пока дѣло уладится, на другой же день уѣхала погостить къ Вязмитиновой. Здѣсь ей, разумѣется, были рады, особенно во вниманіе къ ея крайне-раздраженному состоянію духа.

Въ одинъ изъ дней, слѣдовавшихъ за этимъ разговоромъ Лизы съ Розановымъ, послѣдній позвонилъ у подъѣзда очень параднаго дома на невской набережной Васильевскаго острова.

Ему отперъ пожилой и очень фешенебельный швейцаръ.

— Теперь, разумѣется, засталъ дома?—спросилъ Розановъ, показывая старику свои карманные часы, на которыхъ было три четверти девятаго.

Швейцаръ улыбнулся, какъ улыбаются старые люди именитыхъ баръ, говоря о своихъ новыхъ хозяевахъ изъ карманной аристократіи.

— Спитъ?—спросилъ Розановъ.

— Нѣтъ-съ, не спитъ; съ полчаса ужъ какъ вставши, да вѣдь... не приметъ онъ васъ.

— Ну, это мы увидимъ,—отвѣчалъ Розановъ и, сбросивъ шубу, досталъ свою карточку, на которой еще прежде было написано: «Въ четвертый и послѣдній разъ прошу васъ принять меня на самое короткое время. Я долженъ

говорить съ вами по дѣлу вашей свояченицы, и смѣю васъ увѣрить, что если вы не удостоите меня этой чести въ вашемъ кабинетѣ, то я заговорю съ вами въ другомъ мѣстѣ».

Швейцаръ позвонилъ два раза и передалъ карточку появившемуся на лѣстницѣ человѣку, одѣтому, какъ одѣваются нѣкоторые концертисты.

Артистъ взялъ карточку, обмѣрилъ съ верхней ступени своего положенія стоявшаго внизу Розанова и черезъ двадцать минутъ снова появился въ зеленыхъ дверяхъ, произнеся:

— Баронъ проситъ господина Розанова.

Дмитрій Петровичъ поднялся по устланной мягкимъ ковромъ лѣстницѣ въ переднюю, изъ которой этотъ же концертистъ повелъ его по длинной анфиладѣ комнатъ необыкновенно изящно и богато убраннаго бель-этажа.

Въ концѣ этой анфилады проводникъ оставилъ Розанова, а черезъ минуту въ другомъ концѣ покоя зашевелилась массивная портьера. Вошелъ небольшой человѣкъ съ неизгладимыми признаками еврейскаго происхожденія и съ непомѣрными усиліями держать себя англичаниномъ извѣстнаго круга.

Это и былъ баронъ Альтерзонъ, доселѣ неизвѣстный намъ мужъ Софьи Егоровны Бахаревой.

— Розановъ,—назвалъ себя Дмитрій Петровичъ.

Альтерзонъ поклонился молча и не вынимая рукъ, спрятанныхъ до половины пальцевъ въ карманы.

— Я имѣю къ вамъ дѣло,—началъ, стоя, Розановъ.

Альтерзонъ снова молча поклонился.

— Извините меня, я не люблю разговаривать стоя,— произнесъ Розановъ и, сѣвши съ нарочитою безцеремонностью, началъ:—Само собою разумѣется, и вамъ, и вашей супругѣ извѣстно, что здѣсь, въ Петербургѣ, живетъ ея сестра, а ваша свояченица Лизавета Егоровна Бахарева?

— Да-съ,—процѣдилъ Альтерзонъ.

— Она сама не можетъ быть у васъ...

— Да мы и не можемъ ее принимать,—подсказалъ Альтерзонъ съ сильнымъ еврейскимъ акцентомъ.

Розанову показалось, что онъ когда-то и гдѣ-то слыхалъ этотъ голосъ.

— Отчего вы не можете ее принимать?—спросилъ онъ довольно мягко.

— Оттого... что она себя такъ странно аттестуетъ.

— Какъ же это, позвольте узнать, она себя такъ аттестуетъ, что даже родная сестра не можетъ ее принять?

— Моя жена принадлежитъ къ извѣстному обществу, мы имѣемъ свою репутацію,—надменно произнесъ Альтерзонъ.

Розановъ посмотрѣлъ на барона, и еще страннѣе ему показалось, что даже черты лица барона ему не совсѣмъ незнакомы.

— Лизавета Егоровна такая честная и непорочная въ своемъ поведеніи дѣвушка, какихъ дай намъ Богъ побольше,—началъ онъ, давая вѣсъ каждому своему слову, но съ прежнею сдержанностью.—Она не уронила себя ни въ какомъ кружкѣ, ни въ коммерческомъ, ни въ аристократическомъ.

— Я знаю, что она дѣвица образованная.

— Но что же такое-съ?

— Она живетъ въ такомъ домѣ!

— Гмъ! Вы это говорите такъ, что кто не знаетъ Лизаветы Егоровны, можетъ, по тону вашего разговора, подумать, что сестра вашей жены живетъ Богъ знаетъ въ какомъ домѣ.

— Да это почти все равно,—отвѣчалъ Альтерзонъ, топорщась индѣйскимъ пѣтухомъ.

Розановъ вспыхнулъ.

— Ну, это только показываетъ, что до васъ о житьѣ Лизаветы Егоровны доходили слишкомъ невѣрные и преднамѣренно извращенные въ дурную сторону слухи.

— Мы не собираемъ о ней никакихъ слуховъ,—процѣдилъ Альтерзонъ съ презрительной гримасой.

— Впрочемъ, мы можемъ оставить этотъ споръ, — примирилъ Розановъ.

— Я тоже такъ полагаю,—еще обиднѣе замѣтилъ Альтерзонъ.

«А дьяволъ тебя побирай, жида шельмовскаго»,—подумалъ Романовъ, но опять удержался и заговорилъ тихо:

— Лизаветѣ Егоровнѣ очень нужны небольшія деньги.

— Она получаетъ, что̀ ей назначено.

— Да, но она хочетъ получить разомъ нѣсколько болѣе, въ счетъ того, что̀ ей будетъ слѣдовать по раздѣлу.

— По какому раздѣлу?

— По раздѣлу ихъ наслѣдственнаго имѣнія.

Альтерзонъ оттопырилъ губы и помоталъ отрицательно головою.

— Какъ прикажете понимать это ваше движеніе?—спросилъ Розановъ.

— Я ничего въ этомъ дѣлѣ не знаю. Я знаю только, что Лизавета Егоровна была непочтительная дочь къ своимъ родителямъ.

— Такъ что же, она лишена наслѣдства, что ли?

— Я такъ полагаю. На это есть духовное завѣщаніе матери.

— Это басни! воскликнулъ Розановъ.—Имѣнье родовое, отцовское.

— Это до меня не касается.

— Конечно,—на это есть судъ, и вы, разумѣется, въ этомъ не виноваты. Судъ разберетъ, имѣла ли Ольга Сергѣевна право лишить, по своему завѣщанію, одну дочь законнаго наслѣдства изъ родового отцовскаго имѣнія. Но теперь дѣло и не въ этомъ. Теперь я пришелъ къ вамъ только за тѣмъ, чтобы просить васъ отъ имени Лизаветы Егоровны, какъ ея родственника и богатаго капиталиста, ссудить ее, до раздѣла, небольшою суммою.

— Какою, напримѣръ?

— Ей нужны двѣ тысячи рублей.

— И это вы называете небольшою суммою!

— Относительно. Для состоянія, которое должна получить Лизавета Егоровна, и тѣмъ болѣе для вашего состоянія, я думаю, что двѣ тысячи рублей можно назвать совершенно ничтожною суммою.

— Моего состоянія никто не считалъ!—заносчиво отвѣтилъ Альтерзонъ.

— Но вы извѣстный негоціантъ!

— Такъ что жъ? Мнѣ мои деньги нужны на честные торговые обороты, а не на то, чтобы раздавать ихъ всякой распутной дѣвчонкѣ на ея распутства.

— Что!—крикнулъ, весь позеленѣвъ и громко стукнувъ по столу кулакомъ, Розановъ.

Альтерзонъ вздрогнулъ и бросился къ сонеткѣ.

Розановъ ожидалъ этого движенія. Однимъ прыжкомъ онъ кинулся на негоціанта, схватилъ его сзади за локти.

— Ты зналъ Нафтула Соловейчика?—спросилъ онъ Альтерзона.

— Зналъ, довольно спокойно для своего положенія отвѣчалъ Альтерзонъ. — Соловейчикъ мнѣ подарилъ нѣсколько корректуръ, на которыхъ есть разныя поправки.

— Да,—ну, такъ что жъ?

— Ничего больше.

— А ничего, такъ гляди, разочти повѣрнѣй: намъ вѣдь нечего много терять, а ты, небось, отвыкъ отъ sledziane wętróbki *).

Негоціантъ молчалъ.

— Такъ дашь, жидъ, денегъ?

— Не дамъ.

— Ну, чортъ тебя возьми!—произнесъ Розановъ и посадилъ Альтерзона въ кресло такъ, что даже пружины задребезжали.

— Не ворошись, а то будешь битъ всенародно, — сказалъ онъ ему въ назиданіе и взялъ шляпу.

Въ дверяхъ кабинета показалась Софья Егоровна.

---

*) Селедочной требушки.

— Мнѣ здѣсь послышался шумъ,—сказала она, распахнувъ драпировку.

— Ахъ, Софья Егоровна!

— Дмитрій Петровичъ!

— Сколько лѣтъ, сколько зимъ! Пополнѣли, похорошѣли, — говорилъ Розановъ, стараясь принять беззаботный видъ и не сводя глазъ съ сидящаго неподвижно Альтерзона.

— А вы знакомы съ моимъ мужемъ?

— Какъ же-съ! мы давнишніе, старые пріятели съ барономъ.

— Видаетесь вы съ Лизой?

— Да, мы другъ друга не забываемъ.

— Она, говорятъ, сильно измѣнилась.

— Не всѣ цвѣтутъ, какъ вы!

— Полноте, пожалуйста! Я Женни видѣла: та очень авантажна и такъ одѣта. Она бываетъ въ свѣтѣ?

— Изъ него не выходитъ.

— Вы все шутите. — А Лиза: Боже мой, какую жизнь она ведетъ!

— Да, вотъ, чтобы перестроить эту жизнь, ей нужны взаймы двѣ тысячи рублей: ихъ вотъ именно я и просилъ у вашего благовѣрнаго, такъ не даетъ. Попросите вы, Софья Егоровна.

— Мнѣ,—я, право, никогда не мѣшаюсь въ эти дѣла.

— Ну, для сестры отступите отъ своего похвальнаго правила; вмѣшайтесь одинъ разъ. Лизаветѣ Егоровнѣ очень нужно.

— И куда это Лиза дѣваетъ свои деньги? Вѣдь ей даютъ каждый годъ девятьсотъ рублей: это не шутка для одной женщины.

— Софья Егоровна, я думаю, у васъ есть платья, которыя стоятъ болѣе этихъ денегъ.

— Да, это конечно,— проронила, нѣсколько сконфузясь, Софи.

Розановъ видѣлъ, что здѣсь болѣе нечего пробовать.

— Прощай, голубчикъ, — сказалъ онъ съ притворной

лаской попрежнему безмолвно сидѣвшему Альтерзону и, раскланявшись съ Софьею Егоровною, благополучно вышелъ на улицу.

Розановъ только Евгеніи Петровнѣ разсказалъ, что отъ Альтерзоновъ ожидать нечего и что Лизѣ придется отнимать себѣ отцовское наслѣдство не иначе, какъ тяжбою. Лизѣ онъ медлилъ разсказать объ этомъ, ожидая, пока она оправится и будетъ въ состояніи равнодушнѣе выслушать во всякомъ случаѣ весьма непріятную новость. Онъ сказалъ, что Альтерзона нѣтъ въ городѣ и что онъ пріѣдетъ не прежде, какъ недѣли черезъ двѣ.

Наконецъ, прошли и двѣ недѣли. У Лизы недоставало болѣе терпѣнія сидѣть сложа руки.

— Пока что будетъ, я хоть достану себѣ переводовъ, рѣшила она, — и если завтра не будетъ Альтерзона, то пойду сама къ сестрѣ.

Чтобы предупредить возможность такого свиданія, которое могло очень непріятно подѣйствовать на Лизу, Розановъ сказалъ, что Альтерзонъ вчера возвратился и что завтра утромъ они непремѣнно будутъ имѣть свиданіе, а потому личное посѣщеніе Лизы не можетъ имѣть никакого мѣста.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

У редактора отсталаго журнала.

Въ одиннадцать часовъ слѣдующаго утра Лиза показалась пѣшкомъ на Кирочной и, найдя нумеръ одного огромнаго дома, скрылась за тяжелыми дубовыми дверями параднаго подъѣзда.

Она остановилась у двери, на которой была мѣдная доска съ надписью: «Савелій Савельевичъ Пашошниковъ».

Здѣсь Лиза позвонила.

Опрятный и вѣжливый лакей снялъ съ нея шубку и теплые сапожки и отворилъ ей дверь въ просторную комнату, съ довольно простою, но удобною и разсудительно размѣщенною мебелью.

Въ этой комнатѣ Лиза застала четырехъ человѣкъ, которые ожидали хозяина. Тутъ былъ молодой блондинъ съ ничего незначащимъ лицомъ, безпрестанно старающійся бросить на что-нибудь взглядъ, полный презрѣнія, и бросающій вмѣсто него взглядъ, вызывающій самое искреннее состраданіе къ нему самому. Рядомъ съ блондиномъ, непристойно развалясь и потягиваясь въ креслѣ, помѣщался испитой человѣкъ, который могъ быть рѣшительно всѣмъ, чѣмъ вамъ угодно въ гадкомъ родѣ, но преимущественно трактирнымъ шуллеромъ или таперомъ. Третій гость былъ скромненькій старичокъ, повидимому, изъ старинныхъ барскихъ людей. Онъ былъ одѣтъ въ длинномъ табачневомъ сюртукѣ, камзолѣ со стоячимъ воротничкомъ и въ чистенькихъ козловыхъ сапожкахъ. Голубые глазки старичка смотрѣли тихо, ласково и спокойно, но смѣло и неискательно. Четвертый гость, человѣкъ лѣтъ шестидесяти, выглядывалъ Бурцевымъ не Бурцевымъ, а такъ во всей его фигурѣ и нетерпѣливыхъ движеніяхъ было что-то такое задорное: не то забіяка-гусаръ старыхъ временъ, не то «петербургскій гражданинъ», ищущій популярности. Лиза была пятая.

Она вошла тихо и сѣла на диванъ. Длиннополый старичокъ подвигался вдоль ряда висѣвшихъ по стѣнѣ картинъ, стараясь переступать такъ, чтобы его скрипучіе козловые сапожки не издали ни одного трескучаго звука. Блондинъ, стоя возлѣ развалившагося тапера, искательно разговаривалъ съ нимъ, но получалъ отъ нахала самые невнимательные отвѣты. Суровый старикъ держался совсѣмъ гражданиномъ: заговорить съ нимъ о чемъ-нибудь надо было напустить на себя смѣлость.

— Отчего же это?—жалобно вопрошалъ тапера блондинчикъ, пощипывая свою ужасно глупенькую бородочку.

— Да вотъ оттого же,—зѣвая и смотря въ сторону, отвѣчалъ таперъ.

— Да вѣдь они же солидарные журналы!—опять приставалъ блондинчикъ.

— Ну-съ!

— Такъ изъ-за чего же между ними полемика?.. Вѣдь они одного направленія держатся?.. они одно цѣлое,—лепеталъ блондинчикъ.

— Одно?—окрикнулъ его таперъ.

— Ну, да-съ... По крайней мѣрѣ, и я, и всѣ такъ понимаютъ.

— Вы этого, по крайней мѣрѣ, не говорите! Не говорите этого, по крайней мѣрѣ, потому что стыдно говорить такую пошлость,—обрѣзалъ таперъ.

Блондинчикъ застыдился и сталъ робко чистить залегшее горлышко.

— Какъ же вы не понимаете? гораздо снисходительнѣе началъ таперъ.—Одни въ принципѣ только соціальны, а проводятъ идеи коммунистическія; а тѣ въ принципѣ коммунисты, но проводятъ начала чистаго соціализма.

— Понимаю,—отвѣчалъ блондинчикъ, и солгалъ.

Ничего онъ не понялъ и только старался запомнить это опредѣленіе, чтобы проводить его дальше.

Таперъ опять зѣвнулъ, потянулся, погладивъ себя отъ жилета до колѣнъ, и произнесъ:

— Однако, эти постепеновскіе редакторы тоже свиньи изрядныя, живутъ у чорта въ зубахъ, да еще ожидать себя заставляютъ.

— Ну, ужъ и Тузовъ,—заикнулся было блондинчикъ.

— Что̀ Тузовъ?—опять окрикнулъ его таперъ.

— Тоже... ждешь-ждешь, да еще лакей въ передней скотина такая... и самъ тоже обращается чрезвычайно обидно. Просто иной разъ какъ мальчика приметъ: «я васъ не помню, да я васъ не знаю».

— Пхъ! Такъ тотъ вѣдь сила!

— А этотъ что̀?

Таперъ плюнулъ и произнесъ:

— А этотъ вотъ что̀,—и растеръ ногою.

Въ это время отворилась запертая до сихъ поръ дверь кабинета и на порогѣ показался высокій, рябоватый человѣкъ, лѣтъ около сорока пяти или шести. Онъ былъ до-

вольно полонъ, даже съ небольшимъ брюшкомъ и небольшою лысинкою; небольшіе сѣрые глаза его смотрѣли очень проницательно и даже немножко хитро, но въ нихъ было такъ много чего-то хорошаго, умнаго, располагающаго, что съ нимъ хотѣлось говорить безъ всякой хитрости и лукавства.

Редакторъ Папошниковъ, очень мало заботящійся о своей популярности, на самомъ дѣлѣ былъ истинно прекраснымъ человѣкомъ, съ которымъ каждому хотѣлось имѣть дѣло и съ которымъ многіе умѣли доходить до безобиднаго разъясненія извѣстной шарады: «неудобно къ напечатанію», и за всѣмъ тѣмъ все-таки думали: «этотъ Савелій Савельевичъ хоть и смотритъ кондитеромъ, но «*человѣкъ онъ*».

На кондитера же редакторъ Папошниковъ точно смахивалъ какъ нельзя болѣе и особенно теперь, когда онъ вышелъ къ ожидавшимъ его пяти особамъ.

— Извините, господа, началъ онъ, раскланиваясь.—Я не хотѣлъ отмѣнить пріемнаго дня, чтобы не заставить кого-нибудь пройтись понапрасну, а у меня боленъ ребенокъ; цѣлую ночь не спали, и вотъ я получасомъ замѣшкался.

— Чѣмъ могу служить?—обратился онъ прежде всѣхъ къ Лизѣ.

— Я ищу переводной работы, — отвѣчала она спокойно.

Папошниковъ задумался, посмотрѣлъ на Лизу своими умными глазами, придававшими доброе выраженіе его некрасивому, но симпатичному лицу, и попросилъ Лизу подождать, пока онъ кончитъ съ другими ожидающими его особами.

Лиза опять сѣла на кресло, на которомъ ожидала выхода Папошникова.

— Я пришелъ за рѣшительнымъ отвѣтомъ о моихъ работахъ, приступилъ къ редактору суровый старикъ.—Меня зовутъ Жерлицынъ; я доставилъ двѣ работы: экономическую статью и повѣсть.

— Помню-съ, отвѣчалъ Папошниковъ.—«Экономическая статья о коммерческихъ двигателяхъ»?

— Да.

— Она для насъ неудобна.

— Почему?

— Неудобна; не отвѣчаетъ направленію нашего журнала.

— А у васъ какое же есть направленіе?

Папошниковъ посмотрѣлъ на него и отвѣчалъ:

— Я вамъ ее сейчасъ возвращу: она у меня на столѣ.

— Ну-съ, а повѣсть?

— Повѣсть я не успѣлъ прочесть: потрудитесь навѣдаться на той недѣлѣ.

— Мнѣ мое время дорого,—отвѣчалъ Жерлицынъ.

— И мнѣ тоже,—сухо произнесъ редакторъ.

— Такъ отчего же вы не прочитали, повѣсть у васъ цѣлую недѣлю пролежала?

— Оттого, что не имѣлъ времени, оттого, что много занятій. У меня не одна ваша рукопись, и вамъ, вѣроятно, извѣстно, что рукописи въ редакціяхъ зачастую остаются по цѣлымъ мѣсяцамъ, а не по недѣлямъ.

— Имѣйте помощниковъ.

— Имѣю,—спокойно отвѣчалъ Папошниковъ.

— Сидите по ночамъ. У меня, когда я буду редакторомъ, все въ одну ночь будетъ очищаться.

Папошниковъ ушелъ въ кабинетъ и, возвратясь оттуда съ экономическою статьею Жерлицына, подалъ ее автору.

Старикъ положилъ статью на столъ, закурилъ папиросу и началъ считать листы рукописи.

— Вы что прикажете?—отнесся Папошниковъ къ блондину.

— Разсказъ «Роды» прочтенъ или нѣтъ еще?

— Прочтенъ-съ давно.

— И когда вы его напечатаете?

Папошниковъ погладилъ усы и, глядя въ глаза блондину, тихо проговорилъ:

— И его нельзя печатать.

— Отчего-съ?

Блондинъ безпокойно защипалъ бородку.

— Помилуйте, такія сцены.

— Тамъ невѣжество крестьянъ выставляется.

— Да не въ томъ, а что жъ это: все это до голой подробности, какъ въ курсѣ акушерства, разсказывается...

— Да вѣдь это все такъ бываетъ!

— Помилуйте, да мало ли чего на свѣтѣ не бываетъ, нельзя же все такъ прямо и разсказывать. Журналъ читается въ семействахъ, гдѣ есть и женщины, и дѣвушки, нельзя же нимало не щадить ихъ стыдливости.

— Будто онѣ, вы думаете, не понимаютъ! Онѣ всѣ лучше насъ съ вами все знаютъ.

— Да извольте, я и это вамъ уступлю, но пощадите же ихъ уши, дайте что-нибудь приличію, пожалѣйте эстетическій вкусъ.

— Нужно развивать вкусъ не эстетическій, а гражданскій.

Папошниковъ добродушно разсмѣялся и, тронувъ блондина за руку, сказалъ:

— Ну, развѣ можно описывать, какъ ребенокъ, сидя на полу, невѣжливо ведетъ себя, пока мать разрядится? Ну, что же тутъ художественнаго и что тутъ гражданскаго?

— Правда обстановки,—отстаивалъ блондинъ.

Редакторъ засмѣялся.

— А п-п-позвольте узнать, вскрикнулъ изъ-за стола Жерлицынъ, перелистовавшій свою рукопись,—что же тутъ въ моей статьѣ развѣ содержится что-нибудь противъ нравственности?

— Нѣтъ-съ,—отвѣчалъ Папошниковъ.

— Ну, противъ религіи?

— Тоже нѣтъ-съ.

— Ну, противъ вашей эстетики?

— Нѣтъ-съ.

— Такъ противъ чего же?

— Противъ здраваго смысла.

— А-а! Это другое дѣло,—протянулъ Жерлицынъ и, закуривъ новую папиросу, сталъ опять перелистывать рукопись, провѣряя ее со стороны здраваго смысла.

Папошниковъ вынесъ блондину его разсказъ и обратился къ таперу.

— Повѣсть госпожи Жбановой?

— Будетъ напечатана,—отвѣчалъ редакторъ.

— Будетъ! въ такомъ случаѣ когда деньги?

— По напечатаніи-съ.

— Она проситъ половину впередъ.

— Она этого не пишетъ.

— Она мнѣ пишетъ; я ея мужъ, и она мнѣ поручила получать деньги.

— Нѣтъ-съ, она просила деньги выслать ей за границу, и онѣ такъ будутъ высланы, какъ она просила.

— Ну, это и я вѣдь могу сдѣлать; я здѣсь служу, можете обо мнѣ узнать въ придворной конторѣ,—съ обиженнымъ лицомъ резонировалъ таперъ.

— Ну, такъ я скажу вамъ, что это ужъ сдѣлано.

— Тогда не о чемъ и толковать по-пустому.

Таперъ всталъ и, разваливаясь, ушелъ, никому не поклонившись.

— Я, залебезилъ блондинчикъ,—думалъ вамъ, Савелій Савельичъ, предложить вотъ что:—такъ какъ, знаете, я служу при женскомъ учебномъ заведеніи и могу близко наблюдать женскій вопросъ, то я могъ бы открыть у васъ рядъ статей по женскому вопросу.

— Цъ! нѣтъ-съ,—отвѣчалъ, отмахиваясь руками, редакторъ.

— Отчего же?

— Не читаютъ-съ, прокисло, надоѣло.

— Но я могу съ другой стороны, не съ отрицательной.

— Съ какой хотите, все равно.

— Да, а вы съ какой хотите?

— Нѣтъ, ужъ Богъ съ ними. Барынямъ самимъ это прискучило.

— П-п-п-пааазвольте-съ!—крикнулъ опять все сидящій за столомъ Жерлицынъ, дочитавъ скороговоркою во второй разъ свою рукопись.—Вы у Жбановой повѣсть купили?

— Купилъ-съ.

— И напечатаете ее?

— И напечатаю.

— А эта госпожа Жбанова ни больше, ни меньше, какъ совершеннѣйшій стервецъ.

Редакторъ слегка надвинулъ брови и замѣтилъ Жерлицыну, что онъ довольно странно выражается о женщинѣ.

— Нѣтъ-съ, я выражаюсь вѣрно, отвѣчалъ тотъ.—Я читалъ ея повѣсти:—бездарнѣйшій стервецъ, и только, а вы вотъ ею потчуете нашихъ читателей; грузите ее вмѣсто балласта.

Папошниковъ ничего не отвѣчалъ Жерлицыну и обратился къ скромно ожидавшему въ амбразурѣ окна смиренькому старичку.

— Нижнедѣвицкій купецъ Семенъ Лазаревъ, отрекомендовался старичокъ и протянулъ свою опрятную руку.—Года съ три будетъ назадъ, сюда наши въ Петербургъ ѣхали по дѣламъ, такъ я съ ними проектикъ прислалъ.

— О чемъ-съ?

— Обо всемъ, тамъ на гулянкахъ написано,—весело разговаривалъ старичокъ.

Папошниковъ задумался.

— Большая рукопись?—спросилъ онъ.

— Большая-съ, полторы стопы слишкомъ,—еще веселѣе разсказывалъ Лазаревъ.

— Называется: «Размышленія ипохондрика»?

— Вотъ, вотъ, вотъ, она и есть! Не напечатана еще?

— Нѣтъ-съ, еще не напечатана.

— То-то, я думаю, все не слышно ничего; вѣрно, думаю, еще не напечатана. А можетъ-быть, не годится?—добавилъ онъ, спохватившись.

— Велика-съ очень.

— Ну, тамъ вѣдь зато обо всемъ заключается: какъ все улучшить.

— Отличныя, отличныя есть мысли, помню хорошо, но объемъ!

— Это, впрочемъ, все дѣло рукъ нашихъ: сократимъ.

— Нѣтъ, вы позвольте, мы сами выборку сдѣлаемъ. Выберемъ, что идетъ къ теперешнему времени, листка на четыре, на пять.

— Что жъ, я извольте, а только имя же вѣдь мое внизу подпечатаютъ?

— Ваше, ваше.

— То-то, а то я, знаете, разъ желаю, чтобы читатели опять въ одномъ и томъ же журналѣ мое сочиненіе видѣли.

— А вы развѣ писали въ нашемъ журналѣ?

— Какъ же-съ! Въ 1831 году напечатано мое стихотвореніе. Не помните-съ?

— Не помню.

— Нѣтъ-съ, есть. А повторительно опять тоже такое дѣло: имѣлъ я въ юныхъ лѣтахъ, когда еще находился въ господскомъ домѣ, товарища, Ивана Ивановича Чашникова, и очень ихъ любилъ, а они пошли въ откупа, разбогатѣли и меня, маленькаго купца, не равно забыли, но, можно сказать, съ презрѣньемъ даже отвергли, — такъ я вотъ желаю, чтобы они увидали, что нижнедѣвицкій купецъ Семенъ Лазаревъ, хотя и бѣдный человѣкъ, а можетъ держать себя на точкѣ вида.

— Будетъ, будетъ ваше имя,—успокоилъ и проводилъ до дверей нижнедѣвицкаго купца Семена Лазаревича редакторъ Папошниковъ.

— А п-п-пааазвольте! — удержалъ его на обратномъ пути Жерлицынъ. — Завулоновъ свой разсказъ мнѣ поручилъ продать.

— Ну-съ?

— Угодно вамъ купить?

— Оставьте, я прочту.

— Я не могу оставить: купите и оставляйте.

— Я такъ не покупаю,—отозвался редакторъ и попросилъ Лизу въ кабинетъ.

— А п-позвольте! На одну минуту позвольте, остановилъ Жерлицынъ.—Вы читаете, что̀ покупаете у Тургенева?

— Читаю-съ.

— Не полагаю.—Вы вотъ въ своихъ журналахъ издѣваетесь надъ нигилистами, а...

— Нигилисты не читая покупаютъ?

— Конечно! Общій выводъ и направленіе, — вотъ все, что̀ нужно. Вы знаете Эразма Очевиднаго?

— Нѣтъ, не знаю.

— Мой зять?

— Не имѣю чести.

— Редакторъ же онъ.

— Что дѣлать, все-таки я не имѣю чести его знать и не имѣю времени о немъ говорить.

Редакторъ увелъ Лизу въ свой кабинетъ и предложилъ ей кресло.

— Видите, сударыня, началъ онъ, — мнѣ нужно знать, какого рода переводы вы можете дѣлать и съ какихъ языковъ?

Лиза разсказала.

— Да... Это значитъ, вы статей чисто научнаго содержанія переводить не можете.

— Я не переводила.

Редакторъ задумался.

— Прискорбно мнѣ огорчать васъ, началъ онъ,—такимъ отвѣтомъ, что работы, которую вы могли бы дѣлать, у меня въ настоящее время нѣтъ.

Лиза сухо встала.

— Позвольте! Куда же вы?

— У васъ работы нѣтъ:—намъ говорить не о чемъ.

Редакторъ слегка поморщился отъ этого тона и сказалъ:

— Я попрошу у васъ позволенія записать у себя вашъ адресъ. Работа можетъ случиться, и я удержу ее для

васъ, я вамъ напишу. Книжки, видите, болѣе тридцати листовъ, ихъ возможности нѣтъ наполнить отборнымъ матеріаломъ.

— Это меня мало интересуетъ и вовсе не касается.

Папошниковъ положилъ книгу журнала и взялъ адресную тетрадь. Лиза продиктовала ему свой адресъ.

— Это тамъ, гдѣ коммунисты живутъ?

— Это аккуратно тамъ, гдѣ я вамъ сказала,—опять еще суше отвѣтила Лиза, и они разстались.

Сходя по лѣстницѣ, она увидѣла Жерлицына, сидящаго на окнѣ одной террасы и листующаго свою рукопись.

— Ищу здраваго смысла,—произнесъ онъ, пожавъ плечами при видѣ сходящей Лизы.

Лиза проходила мимо его молча.

— Позвольте, догонялъ ее Жерлицынъ. — Какъ это онъ сказалъ: противъ здраваго смысла? Развѣ можетъ человѣкъ писать противъ здраваго смысла?

Лиза не отвѣчала.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Post scriptum.

Розанова Лиза застала уже у Вязмитиновой. По ихъ лицамъ она тотчасъ замѣтила, что доктору не было никакой удачи у Альтерзона и что они сговорились какъ можно осторожнѣе сообщить ей отвѣтъ сестры и зятя. Лиза терпѣть не могла этихъ обдуманныхъ и осторожныхъ введеній.

— Альтерзонъ отказалъ въ деньгахъ? — спросила она прямо Розанова.

— Да, почти,—отвѣчалъ тотъ.

— Ну, вотъ! Вы говорите *почти*, а Женни смотритъ какими-то круглыми глазами, точно боится, что я отъ денегъ въ обморокъ упаду,—забавные люди! Тутъ не можетъ быть никакого *почти*, и отказалъ, такъ, значитъ, на-чисто отказалъ.

— Ну, да.

— И сестра тоже?

— Она что-жъ? Она ничего.

— Ну, я обращусь къ Зиночкину мужу,—спокойно отвѣчала Лиза и болѣе не стала говорить объ этомъ.

— А что ваши попытки, Лизавета Егоровна? освѣдомился Розановъ.

— Такъ же счастливы, какъ и ваши,—отвѣчала она и, повидимому, была совершенно спокойна.

Пообѣдали вмѣстѣ; Розановъ попросилъ позволенія отдохнуть въ кабинетѣ Вязмитинова.

Былъ сѣрый часъ; Лиза сидѣла въ уголкѣ дивана; Евгенія Петровна скорыми шагами ходила изъ угла въ уголъ комнаты, потомъ остановилась у фортепіано, сѣла и, взявъ два полные аккорда, запѣла «Плачъ Ярославны», къ которому сама очень удачно подобрала голосъ и музыку.

— Спой еще разъ,—тихо попросила Лиза, когда смолкли послѣдніе звуки.

Евгенія Петровна взяла аккордъ и опять запѣла:

Я быстрѣй лѣсной голубки
По Дунаю полечу,
И рукавъ бобровой шубки
Я въ Каялѣ обмочу;
Князю милому предстану,
И на тѣлѣ на больномъ
Окровавленную рану
Оботру тѣмъ рукавомъ.

Пѣсня опять кончилась, а Лиза оставалась подъ ея вліяніемъ, погруженною въ глубокую думу.

— Гдѣ летаешь?—спросила, цѣлуя ее въ лобъ, Евгенія Петровна.

Лиза слегка вздохнула.

Надъ дверью задняго хода послышался звонокъ, потомъ шушуканье въ дѣвичьей, потомъ медленное шлепанье абрамовниныхъ башмаковъ и, наконецъ, въ темную залу предстала сама старуха, освѣдомляясь, гдѣ докторъ?

— Спитъ,—отвѣчала Женни.

— Спитъ,—не чуетъ, кто дома ночуетъ.

— А что такое?

— Суприз, генеральша моя хорошая, да ужъ такой суприз, что на-на! Вихорная-то его вѣдь сюда прилетѣла!

— Кто-о?

— Ну, жена же его, жена. Кучеръ его сейчасъ прибѣжалъ, говоритъ, въ гостиницѣ остановилась, а теперь къ нему прибыла и вотъ распорядилась, послала. Видно нашъ атласъ не идетъ отъ насъ!

— Ахъ, Боже мой, что̀ за несносная женщина!—воскликнула Евгенія Петровна и смѣшалась, потому что на порогѣ изъ кабинета показался Розановъ.

— Прощайте,—сказалъ онъ, протягивая руку Евгеніи Петровнѣ.

— Куда вы, Дмитрій Петровичъ?

— Домой! вѣдь надо же это какъ-нибудь уладить: податься-то некуда.

— Вы развѣ слышали?

Розановъ качнулъ утвердительно головою, простился и уѣхалъ.

Въ залѣ опять настала вызывающая на размышленіе сумрачная тишина. Няня хотѣла погулять насчетъ докторши, но и это не удалось.

— Тую-то мнѣ только жаль, — Полину-то Петровну, завела-было старуха; но, не дождавшись и на это замѣчаніе никакого отвѣта, зашлепала въ свою дѣтскую.

Прошелъ часъ, подали свѣчи; Лиза все попрежнему сидѣла, Евгенія Петровна ходила и часто вздыхала.

— Зачѣмъ ты вздыхаешь, Женни? произнесла шопотомъ Лиза.

— Такъ, мой другъ, развздыхалось что-то.

Евгенія Петровна сѣла возлѣ Лизы, обняла ее и положила себѣ на плечо ея головку.

— Какіе вы всѣ несчастные! Боже мой, Боже мой! какъ посмотрю я на васъ, сердце мое обливается кровью: тому

такъ, другому этакъ, — каждый изъ васъ не жизнь живетъ, а муки оттерпливаетъ.

— Такъ нужно, — отвѣчала послѣ паузы Лиза.

— Нужно! Отчего это, зачѣмъ такъ нужно?

— Вѣкъ жертвъ очистительныхъ проситъ.

— Жертвъ! — произнесла, сложивъ губки, Евгенія Петровна. — Мало ему безъ васъ жертвъ? Нѣтъ, просто вы несчастные люди. Что ты, что Розановъ, что Райнеръ, — всѣ вы сбились и не знаете, что̀ дѣлать: — совсѣмъ несчастные люди.

— А ты счастливая?

— Я, конечно, счастливѣе васъ всѣхъ.

— Да чѣмъ же, напримѣръ, несчастливъ Райнеръ? — произнесла, морща лобъ и тупясь, Лиза.

— Райнеръ!

— Да. Онъ молодъ, свободенъ, дѣлаетъ что̀ хочетъ, слава Богу не женатъ на дурѣ и никого особенно не любитъ.

Евгенія Петровна остановилась передъ Лизою, махнула съ упрекомъ головкою и опять продолжала ходить по комнатѣ.

— Такъ не любятъ, — прошептала послѣ долгой паузы Лиза, разбиравшая все это время бахрому своей мантиліи.

— Нѣтъ, скорѣй вотъ этакъ-то не любятъ, — отвѣчала Женни, опять остановясь противъ подруги и показавъ на нее рукою. — Разговоръ снова прекратился.

Въ седьмомъ часу въ передней послышался звонокъ. Женни сама отперла дверь въ темной передней и вскрикнула голосомъ, въ которомъ удивленіе было замѣтно не менѣе радости.

Передъ нею стоялъ ея мужъ, неожиданно возвратившійся до совершеннаго окончанія возложеннаго на него порученія, для объясненій съ своимъ начальствомъ.

Пошли обычныя при подобномъ случаѣ сцены. Люди ставили самоваръ, бѣгали, суетились. Евгенія Петровна тоже суетилась и летала изъ кабинета въ дѣвичью и изъ

дѣвичьей въ кабинетъ, гдѣ переодѣвался Николай Степановичъ, собиравшійся тотчасъ послѣ чая къ своему начальнику.

Чужому человѣку нечего дѣлать въ такія минуты. Лиза чувствовала это. Она встала, побродила по залѣ, черезъ которую суетливо перебѣгала то хозяйка, то слуги, и, наконецъ, безотчетно присѣла въ фортепіано и одною рукою подбирала музыку къ Ярославнину плачу.

Одѣвшись, Вязмитиновъ вышелъ въ залу, съ пачкою полученныхъ въ его отсутствіе писемъ, сѣлъ у стола съ стаканомъ чаю и началъ ихъ перечитывать.

У Лизы совсѣмъ отчетливо выходило:

Князю милому предстану
И на тѣлѣ, на больномъ,
Окровавленную рану
Оботру тѣмъ рукавомъ.

— Ба-ба-ба! — вскричалъ не совсѣмъ спокойно Вязмитиновъ. — Вотъ, mesdames, въ пустѣйшемъ письмѣ изъ Гродно необыкновеннѣйшій post scriptum.

— Ну, сказала Женни, проходившая съ вынутымъ изъ дорожнаго чемоданчика бѣльемъ.

Лиза перестала перебирать клавиши.

«Десять дней тому назадъ, — началъ читать Вязмитиновъ, — къ намъ доставили изъ Пружанъ молодого предводителя мятежнической банды Станислава Кулю».

У Лизы сердце затрепетало, какъ голубь, и Евгенія Петровна прижала къ себѣ пачку бѣлья, чтобы не уронить его на полъ.

«Этотъ Станиславъ Куля, — продолжалъ Вязмитиновъ, — какъ оказалось изъ захваченныхъ нашимъ отрядомъ бумагъ, есть фигурировавшій нѣкогда у насъ въ Петербургѣ швейцарецъ...»

— Райнеръ! — отчаянно крикнула Евгенія Петровна, не смотря вовсе на мертвѣющую Лизу.

«Вильгельмъ Райнеръ», — спокойно прочиталъ Вязмитиновъ и продолжалъ: «Онъ во всемъ сознался, но наотрѣзъ

отказался назвать кого бы то ни было изъ своихъ сообщниковъ, и вчера приговоренъ къ разстрѣлянію. — Приговоръ будетъ исполняться ровно черезъ недѣлю у насъ «за городомъ».

Вязмитиновъ посмотрѣлъ на дату и сказалъ:

— Это, значитъ, какъ разъ послѣзавтра утромъ нашъ Вильгельмъ Ивановичъ покончитъ свое земное странствованіе.

— Какъ? — переспросила шопотомъ Лиза.

— По разсчету, какъ здѣсь написано, выходитъ, что казнь Райнера должна совершиться утромъ послѣзавтра.

— Да... его будутъ разстрѣливать? — произнесла Лиза тѣмъ же шопотомъ, водя по комнатѣ блуждающими глазами. — Его будутъ разстрѣливать? спросила она громче, блѣдно-зеленое лицо ея судорожно искривилось, и она пошатнулась на табуретѣ.

Ее съ одной стороны схватила Женни, съ другой — Вязмитиновъ. Евгенія Петровна плакала.

— Отойдите отъ меня, — проговорила тихо Лиза, отводя отъ себя руками.

Она твердо встала, спросила свой капоръ, надѣла шубу и стала торопливо прощаться.

Евгенія Петровна уцѣпилась за нее и старалась ее удержать силою.

— Отойдите прочь отъ меня, Женни, — съ гробовымъ спокойствіемъ прошептала Лиза и, оторвавъ пальцы Евгеніи Петровны отъ своей шубы, вышла за двери.

— Что это такое? — добивался Вязмитиновъ. — Любила она его что ли?

Евгенія Петровна съ полными слезъ глазами отошла къ окну и ничего не отвѣчала.

Николай Степановичъ хотѣлъ разспросить объ этомъ жену послѣ своего возвращенія отъ начальника, но Евгенія Петровна, которая уже была въ постели, заслышавъ въ залѣ его туфли, крѣпко закуталась въ одѣяло и на всѣ шутли-

выя попытки мужа развеселить ее и заставить разговориться, нервно проронила только:

— Ахъ, какъ это, однако, несносно! Не знаю, куда бы иногда отъ всего этого бросился.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Смерть.

Въ *Домѣ Согласія* могли бы очень долго не хватиться Лизы, которая, выйдя отъ Евгеніи Петровны, заѣхала туда только на минуту, молча прошла въ свою комнату, молча вышла оттуда и уѣхала, ничего не сказавши. Въ *Домѣ Согласія* всѣ знали и странности Лизы, и то, что она послѣднее время постоянно гоститъ у Вязмитиновой, такъ на это и не обратили никакого вниманія. Вопросъ: куда дѣлась Лиза? здѣсь возникъ только на третій день, когда встревоженная Евгенія Петровна пріѣхала узнать, что̀ дѣлается съ Лизой? Оказалось, что Лизы третій день никто не видалъ, и о ней ни откуда не было никакого слуха. — Начались различныя соображенія. Евгенія Петровна съѣздила къ Полинькѣ Калистратовой—Лизы тамъ не было. У Розанова ея и не могло быть, но и туда съѣздили. Евгенія Петровна съѣздила даже къ баронессѣ Альтерзонъ и была ею принята очень радушно, но о Лизѣ нигдѣ ни слуха. Все встревожилось: всѣ знали, что въ городѣ Лизѣ быть болѣе не у кого. Пошли самыя странныя предположенія, что̀ бы это могло значить и что̀ теперь дѣлать?

— Надо подать объявленіе въ кварталъ, говорилъ Бѣлоярцевъ.—Мы въ такомъ положеніи, что должны себя отъ всего ограждать, а Бертольди кипятилась, что не надо подавать объявленія.

— Наше соціальное положеніе, доказывала она, — не позволяетъ намъ, зачѣмъ бы то ни было, обращаться къ содѣйствію правительственной полиціи.

— Но, помилуйте: — если у васъ шубу украдутъ, къ кому же вы обратитесь?—обрезонивалъ ее Бѣлоярцевъ.

Бертольди затруднялась и лепетала только:

— Это другое дѣло! то совсѣмъ другое дѣло, да и то объ этомъ про всякій случай надо разсудить: можемъ ли мы, при нашей соціальной задачѣ, имѣть какія-нибудь отношенія къ полиціи.

Это казусное обстоятельство, однако, осталось неразрѣшеннымъ, и объявленіе о пропажѣ Лизы не было подано въ теченіе пяти дней, потому что всѣ эти пять дней Бѣлоярцевъ былъ оживленъ самою горячечною дѣятельностью. Онъ имѣлъ счастливый случай встрѣтить на улицѣ гонимую судьбою Ольгу Александровну Розанову, узналъ, что она свободна, но не знаетъ, что дѣлать, сообразилъ, что Ольга Александровна баба шаломонная, которую, при извѣстной безсовѣстности, можно вертѣть куда хочешь, и пріобрѣлъ въ ея лицѣ новаго члена для Дома Согласія. Четвертый день онъ устраивалъ ея комнату, прибивалъ вѣшалки, установлялъ мебель, импровизировалъ экранъ къ камину и даже перенесъ изъ своей комнаты ширмы. Вообще, Бѣлоярцевъ ухаживалъ за Ольгой Александровной самымъ внимательнымъ образомъ, всячески стараясь при каждомъ удобномъ случаѣ затушевать самою густою краскою ея отсутствующаго мужа. Ему было очень пріятно, что онъ могъ теперь злить Розанова и заливать ему сала за кожу.

Гражданкамъ не понравилась Ольга Александровна. Бертольди сказала, что это фаля нетлѣнная, а прочихъ Ольга Александровна изумляла своею съ перваго шага худо скрываемою обидчивостью и поразительнѣйшимъ невѣжествомъ. Въ первый же день своего прибытія, при разговорѣ объ оперѣ «Юдиѳь», она спросила: въ самомъ ли дѣлѣ было такое происшествіе, или это фантазія? и съ тѣхъ поръ не уставала утѣшать серьезно начитанныхъ гражданокъ самыми непостижимыми вопросами. Утромъ на пятый день своей гражданской жизни Ольгѣ Александровнѣ стало ужъ очень грустно и непереносно. Она ушла помолиться въ Казанскій соборъ, поплакала передъ образомъ Богоматери, переходя черезъ улицу, видѣла мужа, пролетѣвшаго на

своихъ шведочкахъ съ молодою миловидною Полинькою, расплакалась еще больше и, возвратившись совершенно разбитая домой, провалялась до вечера въ неутѣшныхъ слезахъ, а вечеромъ вышла веселая, сіяющая и разражающаяся почти на всякое даже собственное слово непристойно громкимъ хохотомъ. Къ ночи съ ней сдѣлалась истерика, и Бѣлоярцевъ началъ за ней ухаживать.

— Однако, наша Юдиѳь, кажется, начинаетъ кокетничать,—заговорила Бертольди.

— Со злости,—замѣчала Ступина.

— Да, это бываетъ, подсказала Каверина.—Рокъ милосердъ къ Бѣлоярцеву, про его долю не забывается.

— Да, проговорила, потянувшись на креслѣ, Ступина.— Это вотъ только, какъ говорятъ у насъ на Украйнѣ: «do naszego brzega, nie płynie nic dobrego», — и пошла въ свою холодную комнату.

Въ девятый день Лизинаго исчезновенія изъ Петербурга, часа въ четыре пополудни, Евгенія Петровна сидѣла и шила за столомъ въ своей угольной спальнѣ. Противъ нея тоже съ работою въ рукахъ сидѣла Полинька Калистратова. Николая Степановича Вязмитинова не было дома: онъ, переговоривъ съ своимъ начальствомъ, снова отправился въ командировку; дѣвушка растапливала печи въ кабинетѣ, залѣ и гостиной; няни и мамки не было дома. Пользуясь хорошею зарею, вырвавшеюся среди то холодной, то гнилой зимы, Евгенія Петровна послала ихъ поносить по воздуху дѣтей.

Блѣднорумяная заря узкою полоскою обрѣзала небосклонъ столицы и, рефлективно отражаясь сквозь двойныя стекла оконъ, уныло-таинственно трепетала на стѣнѣ темнѣющей комнаты.

Евгенія Петровна съ Полинькой бросили иглы и, откинувшись въ кресла, молча смотрѣли другъ на друга.

— Мнѣ, конечно, произнесла вздохнувъ Полинька, — я въ него вѣрю и все перенесу: назадъ ужъ возвращаться поздно, да и... я думаю, что... онъ самъ меня не броситъ

— Ни за что,—подтвердила Евгенія Петровна.

— Да, спокойнѣе отвѣтила Полинька, какъ будто нуждавшаяся въ этомъ подтвержденіи, — но за что же она его-то мучитъ?

Евгенія Петровна промолчала.

— И ничего нельзя подѣлать! Некуда уйти, некуда скрыться!—высказывала свою мысль Полинька.

— Непріятное положеніе,—отвѣчала Женни и въ то же мгновеніе, оглянувшись на растворенную дверь дѣтской, вскрикнула, какъ вскрикиваютъ дѣти, когда страшно замаскированный человѣкъ захватываетъ ихъ въ уголкѣ, изъ котораго некуда вырваться.

— Что ты! что ты! — останавливала ее Полинька и, взглянувъ по тому же направленію, сама вскрикнула.

Въ облитой блѣднорозовымъ полусвѣтомъ, полусумракомъ дѣтской, какъ привидѣніе, сложивъ руки на груди, стояла Лиза въ своемъ черномъ капорѣ и черной атласной шубкѣ, съ обрывкомъ какого-то шарфа на шеѣ. Она стояла молча и не шевелясь.

— Лиза!—окликнула ее, оправляясь, Евгенія Петровна.

Она разняла руки и въ отвѣтъ поманила ее къ себѣ пальцемъ.

Обѣ женщины разомъ вошли въ дѣтскую и взяли гостью за руки.

Руки Лизы были холодны какъ ледъ; лицо ея, какъ говорятъ, осунулось и теперь скорѣе совсѣмъ напоминало лицо матери Агніи, чѣмъ личико Лизы; безпорядочно подоткнутая въ нѣсколькихъ мѣстахъ юбка ея платья была мокра снизу и смерзлась, а теплые бархатные сапоги выглядывали изъ-подъ обитыхъ юбокъ какъ двѣ промерзлыя рѣдьки.

— Не кричите такъ, не кричите,—прошептала Лиза.

— Ты напугала насъ.

— Глупо пугаться! ничего нѣтъ страшнаго, отвѣчала она попрежнему все шопотомъ. — Пошли скорѣй нанять

мнѣ тутъ гдѣ-нибудь комнату, возлѣ тебя чтобы,—просила она Женни.

— Да зачѣмъ же это сейчасъ?—уговаривала ее хозяйка.— Я одна, мужа нѣтъ, оставайся; дай я тебя раздѣну.

Лиза ни за что не хотѣла остаться у Евгеніи Петровны.

— Пойми ты, говорила она ей на ухо: — что я никого, рѣшительно никого, кромѣ тебя, не могу видѣть.

Послали дѣвушку посмотрѣть комнату, которая отдавалась отъ жильцовъ по задней лѣстницѣ. Комната была свѣтлая, большая, хорошо меблированная и перегороженная прочно уставленными ширмами краснаго дерева. Лиза велѣла взять ее и послала за своими вещами.

— Завтра же еще это можно будетъ сдѣлать,—говорила ей Евгенія Петровна.

— Нѣтъ, пожалуйста, позволь сегодня. Я хочу все сегодня кончить,—говорила она, давая дѣвушкѣ ключи и деньги на расходы.

Вошла возвратившаяся съ прогулки Абрамовна, обхватила Лизину голову, заплакала и вдругъ откинулась.

— Сѣдые волосы!—воскликнула она въ ужасѣ.

Женни нагнулась къ головѣ Лизы и увидѣла, что половина ея волосъ бѣлые.

Евгенія Петровна отдѣлила прядь наполовину сѣдыхъ волосъ Лизы и перевѣсила ихъ черезъ свою ладонь у нея передъ глазами. Лиза забрала пальцемъ эти волоса и небрежно откинула ихъ за ухо.

— Гдѣ ты была?—спрашивала ее Евгенія Петровна.

— Послѣ,—отвѣчала Лиза.

Только когда Евгенія Петровна одѣвала ее за драпировкою въ свое бѣлье и теплый шлафрокъ, Лиза долго смотрѣла на огонь лампады, лицо ея стало какъ будто розовѣть, оживляться, и она прошептала:

— Я видѣла какъ онъ умеръ.

— Ты видѣла Райнера?—спросила Женни.

— Видѣла.

— Ты была при его казни!

Лиза молча кивнула въ знакъ согласія головою.

Въ домѣ шептались, какъ при опасномъ больномъ. Няня обряжала нанятую для Лизаветы Егоровны комнату; сама Лиза молча лежала на кровати Евгеніи Петровны. У нея былъ лихорадочный ознобъ.

Черезъ два или три часа привезли вещи Лизы, и, еще черезъ часъ, она перешла въ свою новую комнату, гдѣ все было установлено въ порядкѣ и въ печкѣ весело потрескивали сухія еловыя дрова.

Ознобъ Лизы не прекращался, несмотря на высокую температуру усердно натопленной комнаты, два теплыя одѣяла и нѣсколько стакановъ выпитаго ею бузиннаго настоя.

Послали за Розановымъ.

Лизавета Егоровна встрѣтила его улыбкой и довольно крѣпко сжала его руку.

— Лихорадка, сказалъ Розановъ:—простудились?

— Вѣрно,—отвѣчала Лиза.

— Далеко ѣздили?—спросилъ Розановъ.

Лиза кивнула утвердительно головою.

— Въ одной своей городской шубкѣ,—подсказала Евгенія Петровна.

— Гм! — произнесъ Розановъ, написалъ рецептъ и велѣлъ приготовить теплую ванну.

Къ полуночи ознобъ неожиданно смѣнился жестокимъ жаромъ, Лиза начала покашливать и къ утру у нея появилась мокрота, окрашенная алымъ кровянымъ цвѣтомъ.

Розановъ бросился за Лобачевскимъ.

Въ восьмомъ часу утра они явились вмѣстѣ. Лобачевскій внимательно осмотрѣлъ больную, выслушалъ ея грудь, взялъ опять Лизу за пульсъ и, смотря на секундную стрѣлку своихъ часовъ, произнесъ:

— Pneumonia, quae occupat magnam partem dextri et

apecem pulmoni sinistri, complicata irritatione systemae nervorum.—Pulsus filiformis *).

— Mea opinione, отвѣчалъ на томъ же мертвомъ языкѣ Розановъ:—quod hic est indicatio ad methodi medendi antiflogistica; hirudines medicinales numeros triginta et nitrum **).

— Prognosis letalis, еще ниже заговорилъ Лобачевскій.—Consolationis gratia possumus proscribere amygdalini grana quatuor in emulsione amygdalarum dulcium uncias quatuor,—et nihil magis! ***).

— Нельзя ли перевести этотъ приговоръ на такой языкъ, чтобы я его понимала,—попросила Лиза.

Розановъ затруднялся отвѣтомъ.

— Удивительно!—произнесла съ снисходительной иронiей больная. — Неужто вы думаете, что я боюсь смерти! Будьте честны, господинъ Лобачевскій, скажите, что̀ у меня? Я желаю знать, въ какомъ я положенiи, и смерти не боюсь.

— У васъ воспаленiе легкихъ, — отвѣчалъ Лобачевскій.

— Одного?

— Обоихъ.

— Значитъ finita la comedia?

— Положенiе трудное.

— Выйдите,—сказала она, давъ знакъ Розанову, и взяла Лобачевскаго за руку.

— Люди передъ смертью бываютъ слабы, начала она едва слышно, оставшись съ Лобачевскимъ.—Физическiя муки могутъ заставить человѣка сказать то, чего онъ никогда не думалъ; могутъ заставить его сдѣлать то, чего бы онъ не

---

*) Воспаленiе, которое уже занимаетъ бо́льшую часть праваго легкаго и верхушку лѣваго, причемъ все это осложняется жестокою нервною возбужденностью. Пульсъ нитеобразный.

**) По моему мнѣнiю, нужно употребить методъ противовоспалительный: тридцать пiявокъ и селитру внутрь.

***) Предсказанiе безнадежное. Для успокоенiя больной можемъ прописать амигдалинъ четыре грана въ четырехъ унцахъ миндальной эмульсiи,—и ничего болѣе.

хотѣлъ. Я желаю одного, чтобы этого не случилось со мною... но если мои мученія будутъ очень сильны...

— Я этого не ожидаю,—отвѣчалъ Лобачевскій.

— Но если бы?

— Что же вамъ угодно?

— Убейте меня разомъ.

Лобачевскій молчалъ.

— Уважьте мое законное желаніе...

— Хорошо,—тихо произнесъ Лобачевскій.

Лиза съ благодарностью сжала его руку.

Весь этотъ день она провела въ сильномъ жару, и нервное раздраженіе ея достигало крайнихъ предѣловъ: она вздрагивала при малѣйшемъ шорохѣ, но старалась владѣть собою. Амигдалина она не хотѣла принимать и пила только ради слезъ и просьбъ падавшей передъ нею на колѣни старухи.

Передъ вечеромъ у нея началось въ груди хрипѣніе, которое становилось слышнымъ по всей комнатѣ.

— Ага, ужъ началась музыка, — произнесъ шопотомъ Лобачевскій, обращаясь къ Розанову.

— Да, худо.

— Къ утру все будетъ кончено.

— Вы не бойтесь, сказалъ онъ, держа за руку больную.—Бо̀льшихъ мученій вы не испытаете.

— Я вѣрю вамъ,—отвѣчала Лиза.

— Батюшка!.. трепеща всѣмъ тѣломъ и не умѣя удержать въ повиновеніи дрожащихъ губъ, остановила Лобачевскаго на лѣстницѣ Абрамовна.

— Умретъ, старушка, умретъ, ничего нельзя сдѣлать.

— Батю-ш-ш-шка!—опять простонала старуха.

— Ничего, ничего, няня, нельзя сдѣлать, — отвѣчалъ, спускаясь по ступенямъ, Лобачевскій.

Все существо старухи обратилась съ этой минуты въ живую заботу о томъ, чтобы больная исповѣдовалась и причастилась.

— Матушка, Лизушка, говорила она, заливаясь сле-

зами:—вѣдь отъ этого тебѣ хуже не будетъ. Ты вѣдь христіанскаго отца съ матерью дитя: пожалѣй ты свою душеньку.

— Оставьте меня,—говорила, отворачиваясь, Лиза.

— Ангелъ мой!—начинала опять старуха.

— Нельзя-ль ко мнѣ привезть Бертольди? — отвѣчала Лиза.

— На что вамъ Бертольди?—спокойно урезонивалъ больную Розановъ.—Она только будетъ раздражать васъ. Вы сами хотѣли избѣгать ихъ; теперь же у васъ съ ними вѣдь ничего нѣтъ общаго.

— Однако, оказывается больше, чѣмъ я думала,—отвѣчала раздражительно Лиза.

Розановъ замолчалъ.

— Лиза, послушайся няни, — упрашивала со слезами Женни.

— Матушка! другъ мой! послушайся няни, — умоляла, стоя у кровати на колѣняхъ, со сложенными на груди руками, старуха.

— Лизавета Егоровна! Гейне умирая поручалъ свою безсмертную душу Богу, отчего же вы не хотите этого сдѣлать хоть для этихъ женщинъ, которыя васъ такъ любятъ?—упрашивалъ Розановъ.

— Хорошо,—произнесла съ видимымъ усиліемъ Лиза.

Абрамовна вскочила, поцѣловала руку больной и послала свою кухарку за священникомъ, которая возвратилась съ какою-то длинненькою связочкою, завернутою въ чистенькій носовой платочекъ.

Сверточекъ этотъ она осторожно положила на стулъ, въ ногахъ Лизиной постели.

Больной становилось хуже съ каждою минутою. По цѣлой комнатѣ слышалось легочное клокотанье, и изъ груди появлялись окрашенныя кровью мокроты.

Пришелъ пожилой священникъ, съ прекраснымъ блѣднымъ лицомъ, обрамленнымъ ниспадающими по обѣ стороны черными, волнистыми волосами, съ легкою просѣдью.

Онъ поклонился Евгеніи Петровнѣ и Розанову, молча раскаталъ свернутый эпитрахиль, надѣлъ его, взялъ въ руки крестъ и съ дароносицею вошелъ за Абрамовною къ больной.

— Попросите всѣхъ выйти изъ этой комнаты,—шепнулъ онъ нянѣ.

Они остались вдвоемъ съ Лизою.

Священникъ тихо произнесъ предъисповѣдныя слова и наклонился къ больной.

Лиза хрипѣла и продолжала смотрѣть въ стѣну.

. . . . . .

Священникъ вздохнулъ, осѣнивъ ее крестомъ, и сильно взволнованный вышелъ изъ-за ширмы.

Провожая его, Розановъ хотѣлъ дать ему деньги. Священникъ отнялъ руку.

— Не безпокойтесь; не за что мнѣ платить,—сказалъ онъ.

Розановъ не нашелся ничего сказать.

Когда Розановъ возвращался въ комнату больной, въ передней его встрѣтила нѣмка хозяйка съ претензіею, что къ ней перевезли умирающую.

— Вамъ будетъ заплачено за всѣ безпокойства, — отвѣтилъ ей, проходя, Розановъ.

Усиливающееся легочное хрипѣніе въ груди Лизы предсказывало скорую смерть.

Заѣхалъ Лобачевскій и, не заходя за ширмы, сказалъ:

— Конецъ.

— Вы очень изнурены, это для васъ вредно, усните,— посовѣтовалъ онъ Евгеніи Петровнѣ.

Та махнула опять рукою и заплакала.

— Перестань, Женни, произнесла чуть внятно Лиза, давясь мокротой.—Душитъ меня, проговорила она еще тупѣе черезъ нѣсколько времени и тотчасъ же, дѣлая надъ собою страшное усиліе, выговорила твердо: — Съ ними у меня общаго... хоть ненависть... хоть неумѣнье мириться съ тѣмъ обществомъ, съ которымъ всѣ вы миритесь... А съ вами... ничего,—договорила она и захлебнулась.

— Батюшка! колоколецъ ужъ бьетъ,—закричала изъ-за ширмы стоявшая возлѣ умирающей Лизы Абрамовна.

Розановъ метнулся за ширмы. Лиза съ выкатившимися глазами судорожно ловила широко раскрытымъ ртомъ воздухъ.

Евгенія Петровна упала въ дурнотѣ со стула; растерявшійся Розановъ бросился къ ней.

Когда онъ лилъ воду сквозь сжатые зубы Евгеніи Петровны, въ больной груди умирающей прекратилось хрипѣніе.

Посадивъ Вязмитинову, Розановъ вошелъ за ширмы. Лиза лежала навзничь, закинувъ назадъ голову, зубы ея были стиснуты, а посинѣвшія губы открыты. На неподвижной груди ея лежалъ развернутый платочекъ Абрамовны съ тремя восковыми свѣчечками, четвертая тихо теплилась въ замершей рукѣ Лизы. Абрамовна, наклонивъ голову, шептала молитву и заводила вѣками остановившіеся глаза Лизы.

Похороны Лизы были просты, но не обошлись безъ особыхъ заявленій со стороны нѣкоторыхъ гражданъ. Одинъ изъ нихъ прошелъ въ церковь со стеариновою свѣчкою и во все время отпѣванія старался вылѣзать наружу. Съ этою же свѣчкою онъ мыкался всю дорогу до кладбища и, наконецъ, взлѣзъ съ нею на земляной отвалъ раскрытой могилы.

— Господа, мы просимъ, чтобъ рѣчей не было, этого не желала покойница и не желаемъ мы,—произнесъ Розановъ, замѣтя у гражданина съ стеариновою свѣчою какую-то тетрадку.

Всякіе гражданскіе мотивы были какъ-то ужасно противны въ эти минуты, и земля на крышку Лизинаго гроба посыпалась при одномъ церковномъ моленіи о вѣчномъ покоѣ.

Баронесса Альтерзонъ была на похоронахъ сестры и нашла, что она, бѣдняжка, очень перемѣнилась.

Бѣлоярцевъ шелъ на погребеніе Лизы тоже съ стеариновою свѣчою, но все время не зажигалъ ее и продержалъ въ рукавѣ шубы. Тонкое, лисье чутье давало ему чувство-

вать, что погода скоро можетъ перемѣниться и нужно поубрать парусовъ, чтобы было на чемъ послѣ пролавировать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Новѣйшіе моды и фасоны.

(Послѣдняя глава вмѣсто эпилога).

Девятаго мая, по случаю именинъ Николая Степановича, у Вязмитиновыхъ была пирушка. Кромѣ обыкновенныхъ посѣтителей этого дома, мы встрѣчаемъ здѣсь множество гостей, вовсе намъ не знакомыхъ, и нѣсколько такихъ лицъ, которыя едва мелькнули передъ читателемъ въ самомъ началѣ романа и которыхъ читатель имѣлъ полное право позабыть до сихъ поръ. Здѣсь вдова камергерша Мерева, ея внучка, которой Помада когда-то читалъ чистописаніе и которая нынче уже выходитъ замужъ за генерала; внукъ камергерши въ гусарскомъ мундирѣ, съ золотушнымъ шрамомъ, выходящимъ на щеку изъ-подъ лѣвой челюсти; Алексѣй Павловичъ Зарницынъ въ вицъ-мундирѣ и съ крестомъ за введеніе мирового положенія о крестьянахъ и, наконецъ, братецъ Евгеніи Петровны, Ипполитъ Петровичъ Гловацкій, котораго нѣкогда съ такими усиліями старались отратовать отъ тяжелой отвѣтственности, грозившей ему по университетскому дѣлу. Теперь Ипполитъ Гловацкій возмужалъ, служитъ чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ и старается держать себя государственнымъ человѣкомъ.

Губернія налетѣла сюда, какъ обыкновенно губерніи налетаютъ: одинъ станетъ собираться, другому дѣлается завидно, — дѣло сейчасъ находится, и, смотришь, нѣсколько человѣкъ, свободно располагающихъ временемъ и извѣстнымъ капиталомъ, разомъ снялись и полетѣли вереницею зѣвать на зеркальныя окна Невскаго проспекта и изучать то особенное чувство благоговѣйнаго трепета, которое охватываетъ человѣка, когда онъ прикасается къ топазовой ручкѣ звонка у квартиры могущественной особы.

Камергерша Мерева ѣхала, потому что сама хотѣла ото-

брать и приготовить приданое для выходящей за генерала внучки; потомъ желала просить полкового командира о внукѣ, только что произведенномъ въ кавалерійскіе корнеты, и, наконецъ, хотѣла повидаться съ какими-то старыми пріятелями и основательно разузнать о намѣреніяхъ правительства по крестьянской реформѣ.

Камергерша Мерева была твердо увѣрена, что вѣчное признаніе за крестьянами правъ личной свободы дѣло рѣшительно невозможное, и постоянно выискивала вездѣ слуховъ, благопріятствующихъ ея надеждамъ и ожиданіямъ.

Алексѣй Павловичъ Зарницынъ поѣхалъ въ Петербургъ, потому что поѣхала Мерева и потому что самому Алексѣю Павловичу давно смерть какъ хотѣлось прокатиться. Практическая и многоопытная супруга Алексѣя Павловича давно вывела его въ уѣздные предводители дворянства и употребила его для поправленія своихъ отношеній съ камергершей, которая не хотѣла видѣть Кожухову съ тѣхъ поръ, какъ та, заручившись дарственною записью своего перваго мужа, выжила его изъ его собственнаго имѣнія. Не сама Мерева, а ея связи съ аристократическимъ міромъ Петербурга были нужны Катеринѣ Ивановнѣ Зарницыной, пожелавшей въ виду кивающей ей старости оставить деревенскую идиллію и пожить окнами на Большую Морскую или на Милліонную. Катеринѣ Ивановнѣ задумалось повести жизнь такъ, чтобы Алексѣй Павловичъ въ двѣнадцать часовъ уходилъ въ должность, а она бы выходила подышать воздухомъ на Англійскую набережную, встрѣчалась здѣсь съ однимъ или двумя очень милыми несмысленышами въ мундирахъ конногвардейскихъ корнетовъ, съ едва пробивающимся на верхней губѣ пушкомъ, чтобы они поговорили про городъ, про скромные скандалы, прозябли, потомъ зашли къ ней, Катеринѣ Ивановнѣ, усѣлись въ самомъ уютномъ уголкѣ съ чашкою горячаго шоколада и, согрѣваясь, впадали въ то пріятное состояніе, для котораго еще и итальянцы не выдумали до сихъ поръ хорошаго названія. И такъ далѣе: все «въ самомъ, въ самомъ игривомъ», и

все при неотмѣнномъ присутствіи корнета съ пробивающимся на верхней губѣ пушкомъ.

Катерина Ивановна, долго засидѣвшаяся въ провинціальной глуши, обманывала себя, преувеличивая свѣтское значеніе старой камергерши. Однѣ петербургскія связи Меревой отъ времени слишкомъ вытянулись и ослабѣли, другія уже вовсе не существовали. Но Катерина Ивановна не брала этого въ разсчетъ, всячески заискивала расположенія Меревой сама и возила къ ней на поклонъ своего мужа. Алексѣй Павловичъ давно утратилъ свою автономію и плясалъ по женпной дудкѣ. Онъ былъ снаряженъ и отправленъ въ Петербургъ, съ цѣлію спеціально служить камергершѣ и открыть себѣ при ея посредствѣ служебную дорогу, но онъ всѣмъ разсказывалъ и даже самъ былъ глубоко убѣжденъ, что ѣдетъ въ Петербургъ для того, чтобы представиться министру и получить отъ него инструкцію по нѣкоторымъ весьма затруднительнымъ вопросамъ, возникающимъ изъ современныхъ дворянскихъ дѣлъ.

Губернаторскій чиновникъ особыхъ порученій Ипполитъ Гловацкій, огорчаемый узкостью губернской карьеры, поѣхалъ съ Зарницынымъ, чтобы при содѣйствіи зятя перемѣститься на службу въ Петербургъ.

— Какъ же ты оставишь отца?—спрашивала его Евгенія Петровна.

— А что же, матушка, дѣлать! Нельзя же мнѣ съ этихъ поръ закабалить себя въ провинціи и погубить свою карьеру.

— Это, къ сожалѣнію, очень грустно, но совершенно справедливо,—замѣтилъ Вязмитиновъ.

— Я сама поѣду весною съ дѣтьми къ отцу,—отвѣчала Евгенія Петровна.

— Лучше перевеземъ его сюда.

— Нѣтъ, зачѣмъ же! Для чего тащить его изъ-подъ чистаго неба въ это гадкое болото! Лучше я къ нему поѣду; мнѣ самой хочется отдохнуть въ своемъ старомъ домикѣ. Поживу съ отцомъ, погощу у матери Агніи, поставлю памятникъ на материной могилѣ.

— А что мать Агнія? спросилъ Вязмитиновъ, обращаясь къ Меревой.

Вся эта бесѣда происходитъ за круглымъ чайнымъ столомъ въ день упомянутыхъ именинъ Вязмитинова.

Камергерша сложила свои сухія, собранныя въ смокву губы и, произнося русское *у*, не какъ русское *ю*, а какъ французское *и*, отвѣчала: «ужасная чудиха!»

— Помнишь, Ипполитъ, какъ она когда-то не могла простить тебѣ твоего отзыва о монастыряхъ и о Пушкинѣ?—говорилъ весело Вязмитиновъ.

— Однако, простила же и, можетъ быть, благодаря ей Ипполитъ не сдѣлался солдатомъ,—вмѣшалась Евгенія Петровна.

— Что ея племянница?—освѣдомилась Мерева.

— Лиза? Она умерла.

— Скажите! Какъ это странно! Отчего же это она умерла?

— Простудилась.

— Всю жизнь изжила,—подсказалъ Вязмитиновъ.

— Какой ты нынче острогонъ! замѣтилъ, ставя на столъ свою чашку, Розановъ.

— Съ ней тамъ опять была исторія почти въ томъ же родѣ,—начала, выдавливая слова, Мерева.—На моего внука разсердилась:—вотъ на него, пояснила камергерша, указывая на золотушнаго гусара.

— Это вы о комъ говорите?

— Объ игуменьѣ.

— Извините, пожалуйста, я не понялъ.

— Да. Представьте себѣ, у нихъ живописцы работали. Ню, она на воротахъ назначила нарисовать страшный судъ,—картину. Ню, мой внукъ, разумѣется, мальчикъ молодой... знаете, скучно, онъ и далъ живописцу двадцать рублей, чтобы тотъ въ аду нарисовалъ и Агнію, и всѣхъ ея главныхъ помощницъ.

Нѣсколько человѣкъ захохотали и посмотрѣли на молодого гусара.

— Ню, такъ и сдѣлалъ, заключила, улыбаясь, Мерева.—

Старуха разсердилась, прогнала живописца и велѣла всѣ лица перерисовать.

— Гласность!—замѣтилъ какой-то желчный пожилой чиновникъ.

— Да, а себя, говорятъ, такъ и велѣла оставить.

— Все это было бы смѣшно, когда бы не было такъ глупо,—сказалъ за стуломъ Евгеніи Петровны Розановъ.

— Именно,—отвѣчала хозяйка.

О Ѳеоктистѣ Мерева ничего не знала.

— А объ этомъ, говорила она, захвативъ одного статскаго генерала со звѣздою,—я хоть и въ провинціи живу, но могу вамъ сообщить самыя вѣрныя свѣдѣнія, которыя прямо идутъ изъ самыхъ вѣрныхъ источниковъ. Австрійскій императоръ, французскій императоръ и прусскій король писали къ нашему императору, что такъ какъ у нихъ крестьяне всѣ освобождены безъ земли, а нашъ императоръ далъ крестьянамъ землю, то они боятся, что ихъ крестьяне, узнавши про это, бунтъ сдѣлаютъ, и просили нашего императора отобрать у нашихъ крестьянъ землю назадъ. Ню, и нашъ императоръ принялъ это во вниманіе. Я это навѣрное знаю, потому что нашъ владыка былъ здѣсь въ Петербургѣ и его регентъ, который съ нимъ тоже былъ здѣсь, все это мнѣ самой разсказывалъ.

— Смѣю васъ увѣрить, ваше превосходительство, что все это чистѣйшій вздоръ,—распинался передъ Меревою статскій генералъ, стараясь ее всячески урезонить.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Нѣтъ, вы ужъ, пожалуйста, не говорите мнѣ этого,—отпрашивалась Мерева.

— Ну, и хорошо; ну, и положимъ, что должность, какъ ты говоришь, самостоятельная; ну что же я на ней сдѣлаю?—спрашивалъ въ углу Инполитъ у Вязмитинова, который собирался сейчасъ просить о немъ какого-то генерала.

— Можешь самостоятельно работать, можешь заявлять себя съ выгодной стороны и проводить полезную инициативу.

— Да... инициатива, это такъ... но мѣсто это все-таки

выходитъ въ восьмомъ классѣ;—что же я получу на немъ? Мнѣ нуженъ классъ, дорога. Нѣтъ, ты лучше проси о томъ мѣстѣ. Пускай оно тамъ и пустое, да оно въ седьмомъ классѣ,—это важно, если меня съ моимъ чинишкомъ допустятъ къ исправленію этой должности.

— Если ты такъ смотришь, пусть будетъ по-твоему,— отвѣчалъ Вязмитиновъ.

— Да какъ же смотрѣть-то иначе?

— Пожалуй, можетъ быть, ты и правъ.

— Нѣтъ, позвольте,—говорили на перебой молодая супруга одного начальника отдѣленія и внучка камергерши Меревой, забивая на смерть Зарницына и еще нѣсколькихъ молодящихся чиновниковъ.—Что же вы, однако, предоставили женщинѣ?

— Нашъ законъ... нашъ законъ признаетъ за женщиною право собственности и по выходѣ замужъ, у насъ женщина имѣетъ право подавать свой голосъ на выборахъ... исчислялъ Зарницынъ.

— Да это законъ, а вы-то, вы-то сами что̀ предоставили женщинѣ? Что̀ у васъ женщина въ семьѣ? Мать, стряпуха, нянька вашихъ плаксивыхъ ребятъ, и только.

— Въ семьѣ каждая женщина должна...

— *Должна*! Вотъ опять *должна*! Я слышать не могу этого ненавистнаго слова: *женщина должна*. Отчего же, я васъ спрашиваю, мужчина не долженъ?

— Но позвольте, я хотѣлъ сказать, что женщина должна сама себя поставить, сама себѣ создать соотвѣтственное положеніе.

— Женщина *должна*, видите, создавать себѣ это положеніе! А отчего же *вы* не хотите ей сами устроить это положеніе? Отчего женщина не видитъ въ семьѣ предупредительности? Отчего желаніе ея не угадывается?

— Но, душечка, нельзя же, чтобы мужъ могъ отгадывать каждое женино желаніе,—вмѣшался начальникъ отдѣленія, чуя, что въ его огородъ полетѣли камешки.

— Если любитъ, такъ все отгадаетъ, зарѣшила дама.—

Женихами же вы умѣете отгадывать и предупреждать наши желанія, а женитесь... Говорятъ: «у нея молодой мужъ»,—да что мнѣ или другой изъ того, что у меня молодой мужъ, когда для него все равно, счастлива я или несчастлива. Вы говорите, что вы работаете для семьи,—это вздоръ; вы для себя работаете, а чтобы предупредить какое-нибудь пустое желаніе жены, объ этомъ вы никогда не заботитесь.

— Да, душечка, какое же желаніе,—заискивалъ опять начальникъ отдѣленія.

— Ну, самое пустое, ну чепчикъ, ну ленту, которая нравится,—бездѣлицу, да предупреди ее.

— Душечка, да отчего же женѣ самой не купить себѣ чепчикъ или ленту?

— Не лента дорога, а вниманіе: въ этомъ обязанность мужа.

— Вотъ въ чемъ обязанность мужа! Слышали?—спросилъ Евгенію Петровну Розановъ,—та только улыбнулась.

— Это правда, говорила камергерша Мерева сентиментальной сорокалѣтней женѣ богатаго домовладѣльца.—Я всегда говорила: въ молодыхъ мужьяхъ никакого проку нѣтъ, всѣ только о себѣ думаютъ. Вонъ женихъ моей внучки—генералъ и, разумѣется, хоть не старъ, но въ настоящихъ лѣтахъ, такъ это любовь. Онъ ее, какъ ребенка, лелѣетъ. Смѣшно даже, разскажу вамъ: онъ съ нею часто разговариваетъ, какъ съ ребенкомъ, знаете такъ: «стё, стё ти, моя дюся? да какая ти у меня клясавица», и привыкъ такъ. Является онъ къ своему дивизіонному начальнику, да забылся и говоритъ: «честь имѣю васему превосходительству долёзить». Даже начальникъ разсмѣялся: «что это, говоритъ, съ вами такое?» Извините, говоритъ, ваше превосходительство, это я съ невѣстой своей привыкъ.—Такъ вотъ это любовь!

— Да, я имѣю трехъ взрослыхъ дочерей, стонала сентиментальная сорокалѣтняя домовладѣлица.—Одну я выдала за богатаго купца изъ Астрахани. Онъ вдовецъ, но они

счастливы. Дворяне богатые нынче довольно рѣдки; чиновники зависятъ отъ мѣста: доходное мѣсто, и хорошо; а то и ѣсть нечего; ученые получаютъ содержаніе небольшое: я рѣшила всѣхъ моихъ дочерей за купцовъ отдать.

— Это такъ,—отвѣчала камергерша, нѣсколько обиженная предпочтеніемъ, оказываемымъ купеческому карману.— Только будетъ ли ихъ склонность?

— Н...ну, какія склонности! Помилуйте, это все выдумки.—Я сказала, чтобы у меня въ домѣ этихъ русскихъ романовъ не было. Это все русскіе романы дѣлаютъ. Пусть читаютъ по-французски: по крайней мѣрѣ, языкъ совершенствуютъ.

— Вотъ это очень, очень благоразумно,—подтверждала Мерева.

— Да сами согласитесь, къ чему они все это наклоняютъ, наши писатели? Я не вижу ничего хорошаго во всемъ, къ чему они все наклоняютъ. Трудъ, трудъ, да трудъ затрубили, а мои дочери не такъ воспитаны, чтобы трудиться.

— А кто же будетъ выходить за бѣдныхъ людей?—вмѣшался Зарницынъ.

— За бѣдныхъ?.. Домовладѣлица задумалась и, наконецъ, сказала:—пусть кто хочетъ выходитъ; но я моихъ дочерей отдамъ за купцовъ...

— За человѣка страшно!—произнесъ, пожимая плечами и отходя въ сторону, Зарницынъ.

— Просто дура,—отвѣтилъ ему кто-то.

Зарницынъ сѣлъ у окошечка и небрежно переворачивалъ гласированные листы лондонской русской газеты.

— Что читаешь? — спросилъ его, подсаживаясь, Розановъ.

— «Слова, слова, слова», отвѣчалъ, снисходительно улыбаясь, Зарницынъ.

— Гамлетъ! Зачѣмъ ты только своихъ словъ не записываешь? Хорошо бы провѣрить, что̀ ты переговорилъ въ нѣсколько лѣтъ.

— «Слова!»

— Именно всѣ вы, какъ посмотришь на васъ, не больше, какъ «слова, слова и слова».

— Ну, а что твой камрадъ Звягинъ, съ которымъ вы университетъ переворачивали: гдѣ онъ нынче воюетъ?— спрашивалъ за ужиномъ Ипполита Вязмитиновъ.

— Звягинъ воюетъ? помилуй! смиренный селянинъ, женатъ, двое дѣтей, служитъ мировымъ посредникомъ и мхомъ обрастаетъ.

— На комъ онъ женатъ?

— Никона Родивоновича помнишь?

— Еще бы!

— На его дочкѣ, на Ульяночкѣ.

— Господи Боже мой! а мотался, мотался, бурлилъ, бурлилъ!

— Изъ бродячихъ-то дрождей и пиво бываетъ,— возразилъ Розановъ.

— А ужъ поколобродилъ и подурилъ.

— Всѣ мы на свой пай и поколобродили, и подурили.

— Н-нну, не всѣ, я думаю, одинаково,—съ достоинствомъ отвѣчалъ Вязмитиновъ. — Иное дѣло увлекаться, иное метаться, какъ угорѣлому, на всякую чепуху.

— Да-съ, можемъ сказать, что, поистинѣ, какую-то безшабашную пору прожили, вмѣшался еще не старый статскій генералъ.—Ужъ и теперь даже вспомнить странно; самъ себѣ не вѣришь, что собственными глазами видѣлъ. Всюду рвались и вездѣ осрамились.

— Вещество мозга до сихъ поръ еще недостаточно выработано,—весьма серьезно вставилъ Лобачевскій.

— Н-нну, иные и съ этимъ веществомъ да никакихъ безобразныхъ чудесъ не откалывали и изъ угла въ уголъ не метались, резонировалъ Вязмитиновъ.—Вотъ моя жена была со всѣхъ сторонъ окружена самыми эмансипированными подругами, а не забывала же своего долга и не увлекалась.

— Почему вы это знаете?—спросила Евгенія Петровна съ тонкой улыбкой.

— А что?—подозлилъ Розановъ.

— Ну, по крайней мѣрѣ, ты же не моталась, не рвалась никуда.

— Потому что некуда,—опять полушутя отвѣтила Евгенія Петровна.

— А мое мнѣніе, не намъ съ тобой, братъ, Николай Степановичъ, быть строгими судьями. Мы съ тобой видѣли, какъ порывались молодыя силы, какъ не могли онѣ отыскать настоящей дороги и какъ въ криворосъ ударились. Намъ съ тобой простить наши личныя оскорбленія да пожалѣть о заблужденіяхъ,—вотъ наше дѣло.

Вязмитиновъ замолчалъ.

— Нѣтъ, позволь, позволь, братъ Розановъ, вмѣшался Зарницынъ.—Я сегодня встрѣчаю Птицына.—Ну, старый товарищъ, поздоровались и разговорились: «Ты, говорю ему, у насъ первый либералъ нынче».—Кой чортъ, говоритъ, либералъ: я тебѣ скажу: всѣ либералы свиньи.—«Ты-жъ, говорю, самъ крайній и пишешь въ этомъ родѣ!»—А чортъ ихъ, говоритъ, возьми: мало ли что мы пишемъ! Я бы, говоритъ, даже давно написалъ, что они свиньи.—«Да что же, спрашиваю?»—Напечатаютъ, говоритъ, что я пьяный на тротуарѣ валялся,—и самъ смѣется... Ну, что это за люди, я васъ спрашиваю?

— Комикъ! комикъ!—остановилъ его Розановъ.—Ну, а мало ли, что мы съ тобой говоримъ? Что-жъ мы-то съ тобой за люди?

— Повторяю вамъ, вещество человѣческаго мозга недостаточно выработано,—опять произнесъ Лобачевскій.

— Ну, а я на моемъ стою: некуда было идти силамъ, онѣ и пошли въ криворосъ. Вонъ за Питеромъ во всю ширь распахивается великое земское дѣло; оно прибрало къ себѣ Звягина, соберетъ къ себѣ и всѣхъ.

— Только ужъ не вашихъ петербургскихъ гражданъ.

— Граждане тоже люди русскіе, перебилъ Розановъ, —

еще посмотримъ, что̀ изъ нихъ будетъ, какъ они промежъ себя разбираться станутъ.

— Ню, а вашъ братъ непремѣнно очень, очень далеко пойдетъ, — радовала Евгенію Петровну на прощаньѣ Мерева.

— Онъ довольно способный мальчикъ,—равнодушно отвѣчала Вязмитинова.

— Этого мало, съ удареніемъ и жестомъ произнесла Мерева:—но онъ очень, очень искательный молодой человѣкъ: очень искательный молодой чоловѣкъ, который не можетъ не пойти далеко.

Въ эту же пору, когда гости Вязмитинова пировали у него на именинахъ, въ пустынной улицѣ, на которой стоялъ *Домъ Согласія*, происходила сцена иного характера.

Въ *Домѣ* царствовала невозмутимая тишина, и въ темныхъ стеклахъ оконъ только игралъ блѣдный мѣсяцъ. Штатъ *Дома* былъ въ разстройствѣ. Прорвичъ уѣхалъ къ отцу; Бѣлоярцевъ хандрилъ и надумалъ проѣхаться съ Бертольди въ Москву, чтобы сообразить, не выгоднѣе ли тамошнія условія для перенесенія туда *Дома Согласія*. Дома оставались только Каверина, Ступина и Ольга Александровна. Каверина, обвязанная платкомъ, валялась съ больными зубами по постели и перелистывала какую-то книгу, а Ступина, совсѣмъ одѣтая, спала у нея на диванѣ и сладко поводила во снѣ своими пунсовыми губками.

Ольги Александровны Розановой не было дома.

Часу въ одиннадцатомъ, въ концѣ пустой улицы, послышалось тихое дребезжаніе извозчичьихъ дрожекъ. Утлый экипажъ долго ползъ по немощеной улицѣ и, не доѣзжая нѣсколькихъ саженъ до дома, занятаго гражданами, остановился въ тѣни, падавшей отъ высокаго деревяннаго забора.

Съ дрожекъ легко спрыгнула довольно стройная женская фигура, закутанная въ широкій драповый бурнусъ и большой мериносовый платокъ.

— Подходи вотъ туда,—указала фигура на крайнія окна

и, держась тѣневой полосы, скользнула въ незапертую калитку пустыннаго дома.

Черезъ нѣсколько минутъ рама въ одномъ изъ указанныхъ вошедшею въ домъ женщиною оконъ задрожала. Долго она не уступала усиліямъ слабой руки, но, наконецъ, открылась и хлопнула половинками по ломаннымъ откосамъ.

Въ то же мгновеніе въ раскрытомъ окнѣ показался большой узелъ въ бѣлой простынѣ и полетѣлъ внизъ. За этимъ узломъ послѣдовалъ точно такой же другой.

Прежде чѣмъ къ этимъ узламъ осторожно подскочилъ и взялъ ихъ оставшійся въ тѣни извозчикъ, въ другомъ концѣ дома торопливо распахнулись разомъ два другія темныя окна и въ каждомъ изъ нихъ показалось по женской головѣ.

Перепуганный извозчикъ, при этомъ новомъ явленіи, рѣшительно схватилъ оба узла и помчался съ ними, насколько ему позволяла ихъ тяжесть, къ стоявшимъ въ тѣни дрожкамъ.

— Воры! Воры!—закричали въ окнахъ Каверина и Ступина, не сводя глазъ съ убѣгавшихъ подъ заборомъ бѣлыхъ узловъ.

Въ это время на заднемъ ходѣ хлопнула сильно пущенная дверь, что-то едва слышно скатилось по лѣстницѣ и изъ калитки опять выскочила знакомая намъ женская фигура.

— Воры! воры!—еще громче закричали обѣ женщины.

— Гдѣ, матушка?—вертя во всѣ стороны головой освѣдомлялся выбѣжавшій спросонья изъ передней Мартемьянъ Ивановъ.

Каверина вмѣсто отвѣта ткнула его въ окно и указала на узлы, отъѣзжавшіе на дрожкахъ вмѣстѣ съ вышедшею изъ калитки женщиною.

Мартемьянъ Ивановъ загромыхалъ по каменнымъ ступенямъ лѣстницы и, выправившись изъ калитки, побѣжалъ было по улицѣ вдогонку за похитителями, но на деся-

томъ шагу упалъ и, медленно поднявшись, началъ сидя переобуваться.

— Бѣги же, бѣги скорѣе!—кричали ему женщины.

Мартемьянъ Ивановъ только кряхтѣлъ и обувался.

— Что за увалень!—говорила, глядя на него съ отчаяніемъ, Каверина.

— Ды-ть, матушка, нѣшь онъ тому причиненъ?—ублажала ее появившаяся у нихъ за спинами Марѳа.—Онъ бы и всей своей радостной радостью радъ, да гдѣ-жъ ему догнать лошадь! Когда бы у него обувка, какъ у добрыхъ людей, ну еще бы, а то вѣдь у него сапожищи-то—демоны неспособные.

Мартемьянъ Ивановъ посидѣлъ среди улицы, вздѣлъ предательски свалившагося съ ноги неспособнаго демона и, разведя врозь руками, въ унынiи пошелъ назадъ, чтобы получить новыя инструкціи.

Тревога была напрасная: воровъ никакихъ не было. Ольга Александровна, не совладѣвъ съ собою и не найдя въ себѣ силы переговорить съ гражданами и обличить передъ ними свою несостоятельность къ продолженію гражданскаго образа жизни, просто-напросто рѣшилась убѣжать *къ мужу*, какъ другія убѣгаютъ *отъ мужа*.

— Водевиль! — говорила Ступина, ходя по опустѣвшей комнатѣ Ольги Александровны и держа въ рукахъ оставленную тою на столѣ лаконическую записку.

— А мы, матушка, съ Мартемьяномъ хотимъ завтра... проговорила Марѳа.

— Что такое завтра?—спросила Каверина.

— Прочь отъ васъ.

— Вотъ вамъ и сюрпризъ!—отнеслась она къ Ступиной.

— Кажется, намъ всѣмъ уже пора отсюда убираться,— отвѣчала Ступина, давно желая вырваться изъ этой сладкой жизни.

Каверина ничего не отвѣтила: она думала то же самое, что̀ Ступина

———

Розановъ возвратился домой отъ Вязмитиновыхъ весьма поздно. Проходя черезъ свою гостиную, онъ едва не упалъ, наткнувшись на большой узелъ, и въ то же время увидалъ, что съ стоящаго здѣсь мягкаго дивана поднялась и сѣла женская фигура въ спальномъ чепцѣ и бѣлой кофтѣ.

— Что это?—спросилъ изумленный Розановъ.

— То, что я не могу такъ оставить на вашихъ рукахъ моего ребенка,—отвѣчала фигура.

Розановъ узналъ голосъ жены.

— Что же вамъ, наконецъ, еще угодно?—спросилъ онъ спокойно.

Ольга Александровна задорно сапнула.

— Я знаю мои права,—произнесла она, поворачиваясь и толкая локтемъ уснувшую возлѣ нея дѣвочку.

— Ну-съ!

— Я... я должна обезпечить моего ребенка.

Дитя проснулось, сѣло и, ничего не понимая изъ происходящей вокругъ него сцены, терло глазки и клонилось къ оставленной подушкѣ.

— Я должна ее обезпечить,—еще смѣлѣе и громче произнесла Ольга Александровна.

Докторъ молча прошелъ въ свой кабинетъ и на утро распорядился только заставить шкапомъ однѣ двери, чтобы такимъ образомъ раздѣлить свою квартиру на двѣ какъ бы отдѣльныя половины.

Спустя мѣсяцъ послѣ только что разсказанныхъ событій, далеко отъ Петербурга, по извилистой дорожкѣ, проложенной луговою поймою рѣки Саванки, передъ вечеромъ катились незатѣйливые бѣгунцы, на которыхъ сидѣлъ коренастый молодой купецъ въ сѣромъ люстриновомъ сюртукѣ и старомодномъ картузѣ съ длиннымъ прямымъ козырькомъ.

Послѣ страшно знойнаго дня, среди котораго подъ палящими лучами солнца такъ и вспиралась, такъ кишмя и кишѣла въ высокой травѣ всяческая мелкая тварь Божія, вызванная изъ прогрѣтой и вспаренной почвы, — насталъ

упоительный вечеръ. Готовая къ покосу трава тихо стояла окаменѣвшимъ зеленымъ моремъ; ея крошечные безпокойные жильцы спустились къ розовымъ корнямъ и пестрые ужи съ сѣрыми гадинами, зачуявъ вечернюю прохладу, ушли въ свои норы. Только высокія будылья чемерицы и коневьяго щавелю торчали надъ засыпающимъ зеленымъ моремъ, оставаясь наблюдать, какъ въ сонную траву налетятъ коростели и пойдутъ трещать про свои неугомонныя ночныя заботы.

Молодого человѣка, проѣзжающаго въ этотъ хорошій вечеръ по саванскому лугу, зовутъ Лукою Никоновичемъ Масляниковымъ. Онъ сынъ того Никона Родіоновича Маслянникова, которымъ въ началѣ романа похвалялся мѣщанинъ, какъ сильнымъ человѣкомъ: захочетъ тебя въ острогъ посалить,—засадитъ; захочетъ въ полиціи розгами отодрать,—тоже отдеретъ въ лучшемъ видѣ.

Лукѣ Никоновичу перевалило уже за тридцать лѣтъ; входя въ постоянный возрастъ, онъ, по русскому обычаю, началъ вширь добрѣть и на его правильномъ молодомъ лицѣ постоянно блуждала тихая задумчивость и сосредоточенность. Велъ себя Лука Никоновичъ вообще не фертикомъ торговаго сословія, а человѣкомъ солиднымъ и дѣловымъ. Схоронивъ, три года тому назадъ, своего грознаго отца, онъ не расширялъ своей торговли, а купилъ болѣе двухъ тысячъ десятинъ земли у камергерши Меревой, взялъ въ долгосрочное арендное содержаніе три большія помѣщичьи имѣнія и всей душой пристрастился къ сельскому хозяйству. Лука Никоновичъ былъ женатъ, по приказанію родительскому, на богатой дѣвушкѣ, которой онъ не любилъ и съ которою въ жизни не нашелъ никакого утѣшенія; но сестру свою, Ульяну Никоновну, онъ выдалъ замужъ за мирового посредника Звягина, по взаимной склонности, и жилъ съ зятемъ въ большой дружбѣ, любилъ сестру, раздѣлился съ нею по-братски, крестилъ ея дѣтей и заботился поокруглить и расширить небольшой наслѣдственный зятнинъ участокъ.

— Ты послужи обществу, а это я за тебя устрою,—говорилъ онъ зятю.

У широкаго перелога Лука Никоновичъ взялъ налѣво и, проѣхавъ нѣсколько шаговъ, остановился.

Въ сторонѣ отъ дорожки, въ густой травѣ, сидѣла молодая женщина съ весьма красивымъ, открытымъ русскимъ лицомъ. Она закручивала стебельки цикорія и давала ихъ двухлѣтнему ребенку, котораго держала у себя на колѣняхъ. Возлѣ нея сидѣла дѣвочка лѣтъ восьми или девяти и лѣниво дергала за дышельце тростниковую дѣтскую телѣжку.

— Здравствуй, дворянка!—крикнулъ Лука Никоновичъ, осадивъ вожжами свою лошадь.

— Братъ, здравствуй!—радостно отвѣтила молодая женщина и, подойдя къ дрожкамъ, поцѣловала его въ губы.

— Что твой милый баринъ—дома?

— Дома; вчера пріѣхалъ и завтра опять собирается. Господи, что̀ это за служба такая: почти и не видимся.

— Лучше, не скоро другъ другу наскучите.—Садитесь-ка, я довезу тебя.

Ульяна Никоновна прыгнула къ брату на бѣгунцы, взяла у дѣвочки ребенка, и они поѣхали.

— Нельзя, матушка: надо служить обществу,—говорилъ ей ѣдучи Лука Никоновичъ.—Отпираться отъ такой службы стыдъ зазритъ.

У подъѣзда низенькаго, крытаго соломой, дома ихъ встрѣтилъ молодой человѣкъ съ симпатичною наружностью.

— Здравствуйте, господинъ Звягинъ! — привѣтствовалъ его Лука Никоновичъ.

— Газетъ привезъ?

— Привезъ, братъ, тебѣ и газетъ, и новостей со всѣхъ волостей.

Хозяйка и гость сѣли у крылечка.

— Командирша наша тебѣ кланяется.

— Мерева пріѣхала?

— Пріѣхала, братъ.

— Всѣхъ тамъ видѣла? — съ легкой гримасой спросилъ Звягинъ.

— Всѣхъ: и князей, и королей, и министровъ: всѣхъ, говоритъ, видѣла. Году, говоритъ, не пройдетъ, крестьяне опять наши будутъ.

— Не будутъ ли еще ихъ брату денегъ раздавать за убытки?

— Нѣтъ, этого должно не надѣется; денегъ у меня опять просила. — Ты, говоритъ, Лука Никоновичъ, мужикамъ даешь, а мнѣ дать не хочешь. — Мужики, говорю, ваше превосходительство, деньгу въ дѣло обращаютъ, а вамъ на что она? — Видишь, говоритъ, я внучку снаряжаю. — Ну, говорю, это, сударыня, кабы за ровню, точно что помочь надо; а такой, говорю, почтенный женихъ этакую невѣсту и безъ всего долженъ взять да на ручкахъ носить и пыль обдувать.

— Ужъ и правда!—вмѣшалась Ульяна Никоновна.

— И все тутъ?

— Къ Александру Тихонычу дочка вчерашняго числа пріѣхала изъ Петербурга. Съ мужемъ, говорятъ, совсѣмъ рѣшилась: проситъ отца въ монастырѣ келейку ей поставить и тамъ будетъ жить бѣлицей.

— Это та, что за докторомъ-то была?—спросила Ульяна Никоновна и, получивъ утвердительный отвѣтъ, добавила:— о, Господи! ужъ когда же это она у нихъ уходится?

— А вотъ теперь уходится. И мнѣ, братъ ты мой, радость. Представленіе мое разрѣшено: получилъ депешу, что представленіе головы разрѣшено во всѣхъ частяхъ.

— Теперь, значитъ, и пожарная команда, и ремесленная школка, и больница, все у тебя закипитъ.

— Закипитъ, братъ. Первое дѣло подберу сиротъ, да въ школу, чтобы не пропадали, а потомъ въ Москву.

— Чего это?

— Секретаря себѣ изъ студентовъ хочу взять въ думу. Пятьсотъ рублей своихъ дамъ, пятьсотъ соберу, да чтобы человѣкъ былъ. Возьми жалованье и живи честно.

— А надъ новымъ любишь еще подтрунивать.

— Да надъ чѣмъ новымъ! Вонъ Бахарева зять стальныхъ плуговъ навезъ мужикамъ,—извѣстно и надо смѣяться. А хорошаго, ученаго человѣка привезть, заплатить ему хорошо, да тогда и работу съ него спрашивать,—смѣху нѣтъ никакого.

— У меня тоже есть чѣмъ похвалиться: Боровковская волость составила приговоръ, чтобы больше уже не сѣчься.

— Ну, вотъ видишь! Я говорилъ, сами надумаются. Такъ-то, матушка сестрица: вотъ и пойдетъ у насъ городъ городомъ. Чего добраго, нате вамъ, еще и театръ заведемъ. Знай нашихъ!

— Заведи, заведи, а наѣдетъ на тебя какой-нибудь писака, да такъ тебя отдѣлаетъ, что всѣ твои восторги разлетятся,—шутилъ Звягинъ.

— Ну, какъ же важное блюдо на лопатѣ твой писатель. Знаемъ мы ихъ — теплые тоже ребята; ругай другихъ больше, подумаютъ, самъ, молъ, должно, всѣхъ умнѣй. Нѣтъ, братъ, насъ съ дороги этими сочиненіями-то не сшибешь. Имъ тамъ сочиняй да сочиняй, а тутъ что устроилъ, такъ то и лучше того, чѣмъ не было ничего. Я, знаешь, урывалъ время, все читалъ, а нонче ничего не хочу читать,— осерчалъ.

— Сердитъ ужъ ты очень бываешь, Лука Никоновичъ?

— Я, братъ, точно, сердитъ. Сердитъ я разъ потому, что мнѣ дохнуть некогда, а людямъ все пустяки на умѣ; а то тоже я терпѣть не могу, какъ кто не дѣло говоритъ. Мутоврятъ народъ тотъ туда, тотъ сюда, а сами, ей право, великое слово тебѣ говорю, дороги никуда не знаютъ, безъ нашего брата не найдутъ ея никогда. Все будутъ кружиться и все сѣсть будетъ некуда.

ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВОЙ КНИГИ.

Въ провинціи.

		стр.
I.	Тополь да березка	3
II.	Кто ѣдетъ въ тарантасѣ	6
III.	Пріютъ безмятежный	9
IV.	Мать Агнія.	12
V.	Старое съ новымъ	15
VI.	Молодой пересадокъ.	26
VII.	Въ ночной тишинѣ	40
VIII.	Родныя липы	44
IX.	Университетскій антикъ прошлаго десятилѣтія	55
X.	Лѣтнее утро.	68
XI.	Колыбельный уголокъ	74
XII.	Прогрессивные люди уѣзднаго города	78
XIII.	Нежданный гость.	85
XIV.	Семейная картинка въ Меревѣ.	92
XV.	Перепилили.	100
XVI.	Перчатка поднята	105
XVII.	Слово съ вѣсомъ.	112
XVIII.	Слово воплощается	121
XIX.	Крещенскій вечеръ	129
XX.	За полночь	137
XXI.	Глава, нѣкоторымъ образомъ топографически-историческая	146
XXII.	Утро мудренѣе вечера.	165
XXIII.	Изъ большой тучи маленькій громъ	174
XXIV.	Въ пустомъ домѣ.	181
XXV.	Два внутренніе міра	189
XXVI.	Что на русской землѣ бываетъ.	196
XXVII.	Кадриль въ двѣ пары	209
XXVIII.	Глава безъ названія.	216
XXIX.	На одномъ полѣ разныя ягоды.	224
XXX.	Half-Yearly-Review	231
XXXI.	Великое переселеніе народовъ и вообще глава, резюмирующая первую книгу.	274

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОЙ КНИГИ.

Въ Москвѣ.

	стр.
I. Дальнее мѣсто	282
II. Первые дни и первыя знакомства	288
III. Чужой человѣкъ	300
IV. Свои люди	327
V. Патеръ Роденъ и Аббатъ д'Егриньи	354
VI. Углекислыя феи Чистыхъ-Прудовъ	363
VII. Красные, бѣлые, пестрые и буланые	370
VIII. Люди древняго письма	384
IX. Два гриба въ одинъ борщъ	399
X. Бахаревы въ Москвѣ	404
XI. Разворошенный муравейникъ	421
XII. Que femme veut, Dieu le veux	427
XIII. Delirium tremens	438
XIV. Московскіе мизерабли	441
XV. Генералъ Стрепетовъ	446
XVI. Измѣна	458
XVII и XVIII	462
XIX. Различныя послѣдствія тяжелаго дня	464
XX. Скоропостижная дама	477
XXI. Дѣвица Бертольди	488
XXII. Независимая пора	494
XXIII. Старый другъ	506
XXIV. Самая маленькая главка	514
XV. Новыя наслоенія въ обществѣ и кое-что новое въ романѣ	517
XXVI. Разрывъ	534
XXVII. Осенняя Liebesfieber	545
XXVIII. Не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь	559
XXIX. Послѣдняя сцена изъ пятаго акта семейной драмы	574
XXX. Ночь въ Москвѣ, ночь надъ рѣкой Саванкой и ночь въ «Италіи»	585

ОГЛАВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ.

На невскихъ берегахъ.

		стр.
I.	Старые знакомые на новой почвѣ	603
II.	«Domus»	607
III.	Гражданская семья и генералъ безъ чина	621
IV.	Вопросы дня	632
V.	Дуэнья	638
VI.	Тополь да березка	641
VII.	Мірское и гражданское житье	646
VIII.	Первый блинъ	653
IX.	Девятый валъ	661
X.	Камрады	678
XI.	Совершенно независимая дама	682
XII.	Анекдотъ	687
XIII.	Опыты и упражненія	697
XIV.	Начало конца	708
XV.	Механики	712
XVI.	Неожиданный оборотъ	720
XVII.	И сырыя дрова загораются	726
XVIII.	Землетрясеніе	736
XIX.	Въ Бѣловѣжѣ	743
XX.	Что предсказывали старый зубръ, филинъ и собака	752
XXI.	Баронъ и баронесса	760
XXII.	У редактора отсталаго журнала	769
XXIII.	Post scriptum	779
XXIV.	Смерть	785
XXV.	Новѣйшіе моды и фасоны	796

LR
L6266

541986
Leskov, Nikolai
Полное собр
2.изд. т.3-4
[Translit.: Poln

DATE.	NA
May 20/59	H. Lewhh

CA
UN

SEEN BY R.T.
PRESERVATION
SERVICES
DATE MAR 3 87

FOR USE IN
LIBRARY ONLY

TIE